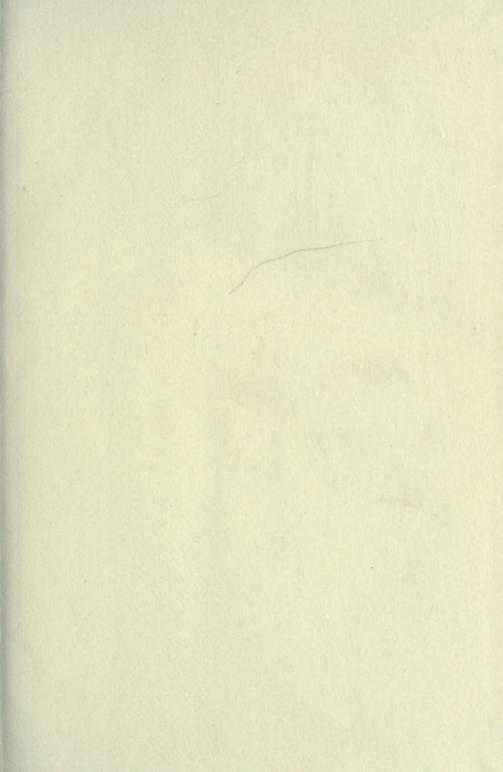
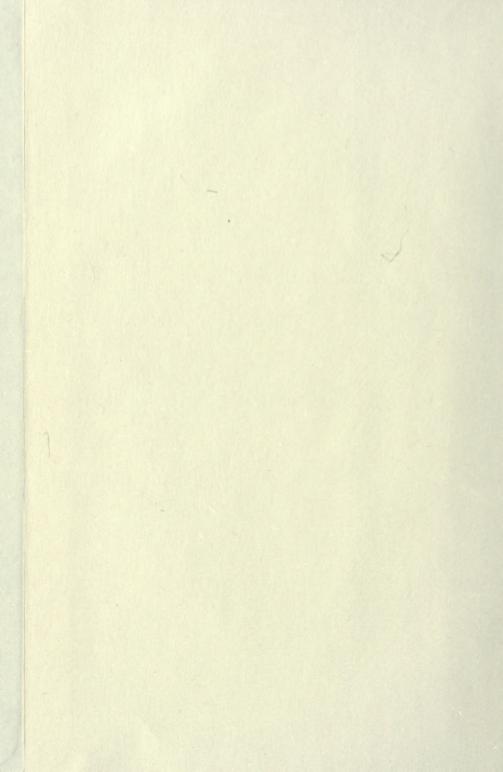
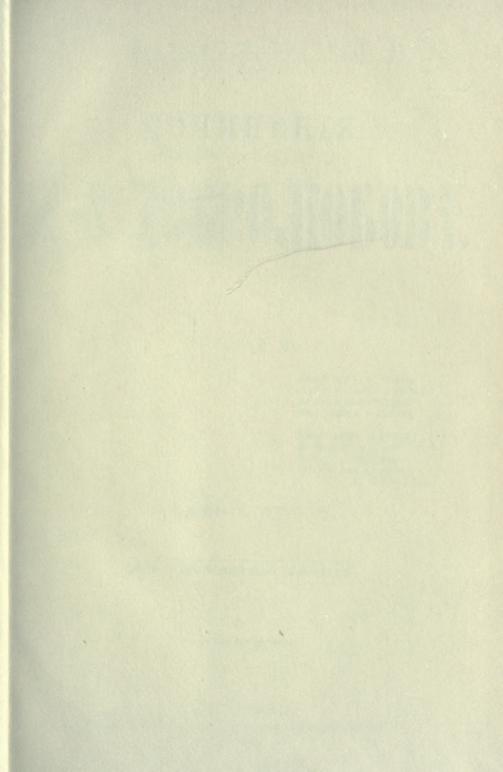
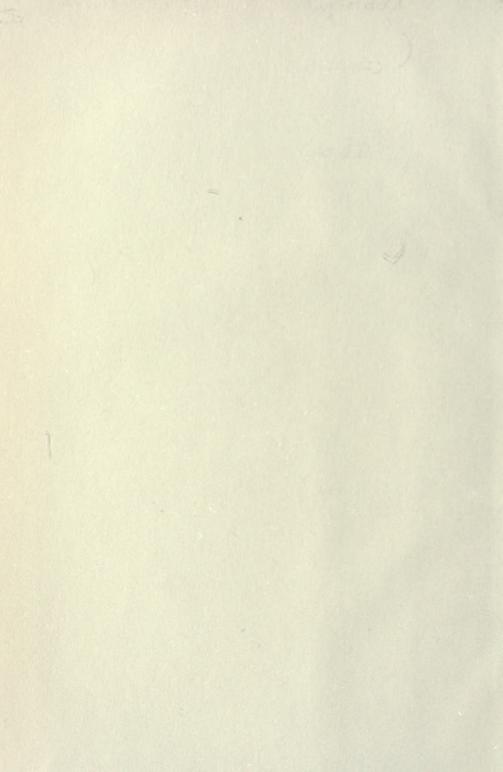


Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto









CA LOBROTYLLBOV, TETROISI TIERSUNGTONION

(ПЗДАНІЕ О. Н. ПОПОВОЙ. ) (Izd. O.N. Popovoi)

(33)

17

COUNTEHIA Sochineniya

## Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

томъ III.

v. 3

Милый другь, я умираю Оттого, что быль я честень, Но за то родному краю Върно буду я извъстень.

Милый другь, а умираю, Но спокоень а лушою... И тебя благословаяю: Шествуй тою же стезею. Н. Добролюбовь.

Izd. 5.

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

ЦЪНА ЗА ВСЪ ЧЕТЫРЕ ТОМА СЕМЬ РУБЛЕЙ.

462764



С.-ПЕТЕРБУРІЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43). 1896.

Printed in an

MOSONOU S C PIERROL

### RIHAHRPOD IN TOTAL

# l. L. Horpoliorest.

HAMOT

Henry topes, a particular three, we restrain the second state of t

adapting in critique formula, according to the parties of the construction of the cons

NEAL BINTOE

BEAR OF BEEN VETWER YOUR EXPLORATE PARTY



### оглавление ии тома.

Современникъ, 1859.

	CTPAH.
Темное царство. (Сочиненія А. Островскаго.) Двѣ статьи.	
Статья первая (№ 7)	1
Статья вторая (№ 9)	58
Стихотворенія Я. П. Полонскаго (№ 7)	130
Постановленія о литераторахъ, издателяхъ и типографіяхъ (№ 8)	141
Сватовство Ченскаго или идеализмъ и матеріализмъ. —О неизбъжности идеа-	
лизма въ матеріализмѣ, Ю. Савича (№ 8)	147
Лучи и тени, фонъ-Лизандера. — Стихотворенія В. Бажанова. — Стихотворенія	
Александрова (№ 8)	159
(Статья о брошюрь «Краткое обозрвніе двятельности Главнаго Педагогиче-	-
скаго Института», напечатанная въ № 8, и статья о русской сатиръ	
въ въкъ Екатерины, напечатанная въ № 10, помъщены въ I томъ	
настоящаго изданія.)	
Отъ Москвы до Лейицига, И. Бабста (№ 11)	170
Путешествіе на Амуръ, совершенное Р. Маакомъ (№ 12).	
Потерянный Рай, поэма Іоанна Мильтона, переводъ Елизаветы Жадовской	
(Nº 12)	
(42 12)	201
Современникъ, 1860.	
Литературные дъятели прежняго времени, Е. Колбасина (№ 1)	
(Статья о брошюрь «Рычи и Отчеть Московской Практической Академіи Ком-	
мерческихъ Наукъ», напечатанная въ № 1, и статья «Всероссійскія	
ильный, разрушаемыя розгами», также напечатанная въ № 1, по-	
мъщены въ I томъ настоящаго изданія.)	
Повъсти и разсказы С. Т. Славутинскаго (№ 2)	
Братчина (№ 2)	
Заграничныя пренія о положенія русскаго духовенства. (Русское духовенство)	
(№ 3)	237
Когда же придетъ настоящій день? (Накануні, повість И. С. Тургенева) (№ 3).	256

	CTPAH.
Кобзарь Тараса Шевченка (№ 3)	299
Сочиненія А. И. Подолинскаго (№ 4)	308
Влагонамфренность и деятельность. (Повести и разсказы А. Плещеева) (№ 7)	
Перепѣвы. Стихотворенія Обличительнаго поэта (№ 8)	336
Черты для характеристики русскаго простонародья. (Разсказы изъ народнаго	
русскаго быта, Марка Вовчка) (№ 9)	345
Лучъ свъта въ темномъ царствъ. (Гроза, драма А. Островскаго) (№ 10)	412
La confession d'un poète, par Nicolas Séménow. (Испов'ядь поэта, сочинение	
Николая Семенова) (№ 12)	484
Современникъ, 1861.	
(Статья «Отъ дождя да въ воду», напечатанная въ № 8, помещена въ I томе настоящаго изданія.)	
Забитые люди. (Сочиненія Ө. М. Достоевскаго, два тома, Униженные и оскорб-	
ленные, романъ Ө. М Достоевскаго) (№ 9)	499

the recommendation of the second

### 1859.

### ТЕМНОЕ ЦАРСТВО.

(Сочиненія А. Островскаго. Два тома. Спб. 1859 г.).

I.

Что жъ за направленье такое, что не успъещь поворотиться, а гуть ужъ и выпустить негодо, — и хоть бы какойнебудь смысль быль... Однаво жъ разнесли, стало быгь, была же какая-нибудь причина.

Torost.

Ни одинъ изъ современныхъ русскихъ писателей не подвергался, въ своей литературной деятельности, такой странной участи, какъ Островскій. Первое произведеніе его ("Картина семейнаго счастія") не было замвчено рышительно никъмъ, не вызвало въ журналахъ ни одного словани въ похвалу, ни въ порицаніе автора. Черезъ три года явилось второе произведение Островскаго: "Свои люди - сочтемся"; авторъ встрвченъ быль всеми, какъ человекъ совершенно новый въ литературе, и немедленно всеми признанъ былъ писателемъ необычайно талантливымъ, лучшимъ, послъ Гоголя, представителемъ драматического искусства въ русской литературъ. Но по одной изъ тъхъ странныхъ, для обыкновеннаго читателя и очень досадныхъ для автора, случайностей, которыя такъ часто повторяются въ нашей бъдной литературъ, - пьеса Островскаго не только не была играна на театръ, но даже не могла встрътить подробной и серьезной оценки ни въ одномъ журнале. "Свои люди", напечатанные сначала въ "Москвитянинъ", успъли выйти отдъльнымъ оттискомъ, но литературная критика и не заикнулась о нихъ. Такъ эта комедія и пропала, — какъ будто въ воду канула, на некоторое время. Черезъ годъ Островскій написаль новую комедію: "Бъдная невъста". Критика отнеслась къ автору съ уваженіемъ, называла его безпрестанно авторомъ "Своихъ людей", и даже замѣтила, что обращаетъ на него такое вниманіе болѣе за первую его комедію, нежели за вторую, которую всѣ признали слабѣе первой. Затѣмъ, каждое новое произведеніе Островскаго возбуждало въ журналистикѣ пѣкоторое волненіе, и вскорѣ по новоду ихъ образовались даже двѣ литературныя партіи, радикально противоноложныя одна другой. Одну партію составляла молодая редакція "Москвитянина", провозгласившая, что Островскій "четырьмя пьесами создалъ народный театръ въ Россіи", что онъ—

> Поэть, глашатай правды новой, Насъ міромъ новымъ окружиль, И новое сказалъ намъ слово, Хоть правдь старой послужиль,—

и что эта старая правда, изображаемая Островскимъ,

Простве, но дороже, Злоровъй действуеть на грудь,

нежели правда шекспировскихъ пьесъ.

Стихи эти напечатаны въ "Москвитянинъ" (1854 г., № 4) по поводу пьесы "Въдность не порокъ", и преимущественио по поводу одного лица ел, Любима Торцова. Надъ ихъ эксцентричностью много сиълись въ свое время, но они не были пінтической вольностью, а служили довольно върнымъ выраженіемъ критическихъ мнъній партіи, безусловно восхищавмейся каждою строкою Островскаго. Къ сожальнію, мнънія эти высказывались всегда съ удивительной заносчивостью, туманностью и неопредъленностью, такъ что для противной партіи невозможенъ быль даже серьезный сноръ. Хвалители Островскаго кричали, что онъ сказалъ новое слово;
но на вопросъ: "въ чемъ же состоитъ это новое слово?" — долгое время
ничего не отвъчали, а потомъ сказали, что это новое слово есть ни что
иное, какъ — что бы вы думали? — народность! Но народность эта была
такъ неловко вытащена на сцену по поводу Любима Торцова и такъ сплетена съ нимъ, что критика, неблагопріятная Островскому, не преминула
воспользоваться этимъ обстоятельствомъ, высунула языкъ неловкимъ хвалителямъ и начала дразнить ихъ: "такъ ваше новое слово — въ Торцовъ,
въ Любимъ Торцовъ, въ пьяницъ Торцовъ! Проноица Торцовъ — вашъ
идеалъ" и т. д. Это показыванье языка было, разумъется, не совсъмъ
удобно для серьезной ръчи о произведеніяхъ Островскаго; но и то нужно
сказать, — кто же могъ сохранить серьезный видъ, прочитавъ о Любимъ
Торцовъ такіе стихи:

Поэта образы живые Высокій комикь въ плоть облекъ... Вотъ отчего теперь епереме
По всёмъ обжитъ единый токъ.
Воть отчего театра зала
Отъ верху до нязу оннивъ
Душеннымъ, искреннимъ, роднымъ
Восторгомъ вся затрепетала.
Любимъ Торионъ предъ ней живой
Стоитъ съ подпитой головой.
Бурнусъ напяливъ обветшалый,
Съ растрепанною бородой,
Несчастный, полный, исхудилый.
Но съ русской, частою бущой.

Комедія-ль въ немъ плачеть передъ нами, Трагедія-ль хохочеть вийств съ нимъ,-Не знаемъ мы и въдать не хотимъ! Скорви въ театръ! Тамъ ломятся толпами, Тамъ по бушь теперь суляеть быть родной; Тамъ пьсия русская свободно, звонко льется. Тамъ человькъ теперь и плачеть, и смъется, Тимъ шилый міръ, меръ полный и живой. И намь, простымь, смиреннымь часамь выка Не страшно, вестло теперь за человька! На сердив такъ гендо, такъ вольно дышеть грудь, Любимь Ториовь бушь так прямо кажень путь! (куда!) Великорусская на сценъ жизнь пируетъ, Великорусское вачало торжествуеть, Великорусской рѣчи складъ И въ присказкъ лихой, и въ птень игреливой, Великорусскій умъ, великорусскій в'зглядъ, Какъ Волга магушка, широкій и сульянені. Тепло, привозьно, любо намъ, Уставшимъ жить бользненнымъ обманомъ!...

За этими стихами слъдовали ругательства на Рашель и на тъхъ. кто ею восхищался, обнаруживая тъмъ оухъ рабскаго, сагъного подражсанья. Иусть она и талантъ, пусть геній, — восклицалъ авторъ стихотворенія: — "но намъ не ко двору пришло ея искусство!" Намъ, говоритъ, нужна правда, не въ примъръ другимъ. И при сей върной оказіи стахотворный критикъ ругалъ Европу и Америку и хвалилъ Русь въ слъдующихъ поэтическихъ выраженіяхъ:

Пусть будеть фальшь мала Европв старой, Пли Америкі безаубо-молодой. Собачьей старостью больной... Но наша Русь крыка! Въ ней много силы. жара; И правду любить Русь; и правду поммать Дана ей Господомь святам благодать: И въ ней одной теперь приють находить Все то, что человъка благородить!..

Само собою разумъется, что подобные возгласы по поводу Торцова о томъ, что человъка благородитъ, не могли повести къздравому и безпристрастному разсмотръпію дъла. Они только дали критикъ противнаго направленія справедливый поводъ придти въ благородное негодованіе и воскликнуть въ свою очередь о Любимъ Торцовъ:

«И это называется у кого-то новое слово, это поставляется на видь какъ лучmiй цвыть всей нашей литературной производительности за носльдне годы: За что же такая невъжественная хула на русскую литературу? Дъйствительно, такого слова еще не говорилось въ ней, такого героя никогда и не спилось ей, благодаря тому, что въ ней еще свежи были старыя литературныя преданія, которыя не до пустили бы такого искаженія вкуса. Любимъ Торцовь могь наиться на сцень во всемь безобразіи дишь въ то время, когда они начали приходить въ забвение... Удивляетъ и непонятно поражаеть насъ то, что пьиная фигура какого-нибудь Торпова могла вырости до идеала, что ею хотять гордиться, какъ самымъ чистымъ воспроизведеніемъ народности въ поэзін, что Торцовымъ міряють успіхи литературы и навизывають его всемь въ любовь, подъ темъ предогомъ, что онъ-те намъ, «свой», что онъ у насъ «ко двору!» Не есть ли это искажение вкуся и совершенное забление вспаг чистых литературных преданий? Но выдь есть же стыдь, есть литературныя приличія, которыя остаются и послі того, какъ дучнія преданія утрачены. За что же мы будемъ срамить себя, называя Торцова «своимъ» в возводя его въ наши поэтическіе идеалы?» (От. Зап. 1854 г., № VI).

Мы сделали эту выписку изъ "Отечеств. Записовъ" потому, что изъ нея видно, какъ много вредила всегда Островскому полемика между его порицателями и хвалителями 1). "Отечеств. Записки" постоянно служили непріятельскимъ станомъ для Островскаго, и большая часть ихъ нападеній обращена была на критиковъ, превозносившихъ его произведенія. Самъ авторъ постоянно оставался въ сторонъ, до самаго послъдняго времени, когда "Отечеств. Записки" объявили, что Островскій, вифстф съ г. Григоровичемъ и г-жею Евгеніею Туръ, - уже закончило свою поэтическую дъятельность (см. "Отечеств. Записки" 1859 г., № VI). А между тъмъ, все-таки на Островскаго падала вся тяжесть обвинения въ поклоненіи Любиму Торцову, во вражде къ европейскому просвещенію, въ обожаній нашей до-петровской старины, и пр. На его дарованіе ложилась твнь какого-то старовърства, чуть не обскурантизма. А защитники его все толковали о новомь словть, — не произнося его однакожъ, — да провозглашали, что Островскій есть первый изъ современныхъ русскихъ писателей, потому что у него какое-то особенное міросозерцаніе... Но въ чемъ состояла эта особенность, они объясняли тоже очень запутанно. Большею частью отдёлывались они фразами, напр., въ такомъ родё:

<sup>1)</sup> Впрочемъ, читатели могутъ съ большимъ удовольствіемъ пропустить всю всторію критическихъ мнѣній объ Островскомъ и начать нашу статью со второй ея половины. Мы сводимъ на очную ставку критиковъ Островскаго болье за тѣмъ, чтобы они сами на себя полюбовались.

«У Островскаго, одного въ настоящую эпоху литературную, есть свое прочное, новое и вывыть идеальное міросозернаніе, съ особеннымо оттынкомо (!), обусловленнымо какъ данными эпохи, такъ, можеть быть, в данными натуры самого поэта. Этоть оттынокъ мы назовемь, нисколько не колеблясь, кореннымъ русскимъ міросозерцаніемъ, здоровымъ и спокойнымъ, юмористическимъ безъ бользненности, прямымъ безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальнымъ, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма, безъ фальшивой грандіозноста или столько же фальшивой сантиментальности» (Москв. 1853 г., № 1).

"Такъ онъ писалъ — темно и вяло" — и ни мало не разъясияль вопроса объ особенностяхъ таланта Островскаго и о значени его въ современной литературъ. Два года спустя, тоть же критикъ предположилъ цъдый рядь статей "О комедіяхъ Островскаго и ихъ значеній въ литературъ и на сценъ" (Москв. 1855 г., № 3), но остановился на первой статъъ, да и въ той выказалъ болъе претензій и широкихъ замашекъ, нежели настоящаго дъла. Весьма безперемонно нашель онъ, что нынашией критикъ пришелся не по плечу талантъ Островскаго, и потому она стала къ нему въ положение очень комическое; онъ объявилъ даже, что и "Свои люди" не были разобраны потому только, что и въ нихъ уже высказалось новое слово, которое критика хоть и видить, да зубомь нейметь... Кажется, ужъ причины - то молчанія критики о "Своихъ людяхъ" могъ бы знать положительно авторъ статьи, не пускаясь въ отвлеченныя соображенія!.. Затьмъ, предлагая программу своихъ воззрвній на Островскаго, критикъ говорить, въ чемъ, по его мивнію, выражалась самобытность таланта, которую онъ находить въ Островскомъ, - и вотъ его опредъленія. "Она выражалась—1) вз новости быта, выводинаго авторомъ и до него еще непочатаго, -если исключить нъкоторые очерки Вельтмана и Луганскаго (хороши предшественники для Островскаго!!); 2) въ новости отношенія автора къ изображаемому имъ быту и выводинымъ лицамъ; 3) вз новости манеры изображенія; 4) въ новости языка — въ его цвътистости (!), особенности (?) ". Вотъ вамъ и все. Положенія эти не разъяснены критикомъ. Въ продолжении статьи брошено еще нъсколько презрительныхъ отзывовъ о критикъ, сказано, что "солона ей этота быта (изображаемый Островскимъ), солонь его языкъ, солоны его типы, -солоны по ея собственному состоянію", - и затемъ критикъ, ничего не объясням и не доказывая, преспокойно переходить къ Льтописямъ, Домострою и Посошкову, чтобы представить "обозрвніе отношеній нашей литературы къ народности". На этомъ и покончено было дело критика, взявшагося быть адвокатомъ Островскаго противъ противоположной партіи. Вскоръ потомъ сочувственная похвала Островскому вошла уже вътъ предвли, въ которыхъ она является въ виде увесистаго булижника, бросаемаго человъку въ лобъ услужливымъ другомъ: въ первомъ томъ "Русской Бесъды" напечатана была статья г. Тертія Филиппова о комедін: "Не такъ

живи, какъ хочетси". Въ "Современникъ" было въ свое время виставлено дикое безобразіе этой статьи, пропов'ядующей, что жена должна съ готовностью подставлять спину бьющему ее пьяному мужу, и восхваляющей Островскаго за то, что онъ, будтобы, разд'яляеть эти мысля и ум'яль рельефно ихъ выразить... Въ публикъ статья эта была встръчена общимъ негодованіемъ. По всей въроятности, и самъ Островскій (которому опять досталось тутъ изъ-за его непризнанныхъ комментаторовъ) не былъ доволенъ бю; по крайней мъръ, съ тъхъ поръ онъ уже не подалъ никакого повода еще разъ накленать на него столь милыя вещи.

Такимъ образомъ, восторженные хвалители Островскаго не много сдълали для объясненія публикъ его значенія и особенностей его таланта; они только пом'вшали многимъ прямо и просто взглянуть на него Варочемъ, восторженные хвалители вообше радко бывають истиню-полезны для объясненія публикъ дъйствительнаго значенія писателя: поринатели въ этомъ случав гораздо надеживе: выискивая недостатки (даже и тамъ, гдв ихъ нъть), они все-таки представляють свои требованія и дають возможность судить, насколько писатель удовлетворяеть или не удовлетворяеть имъ. Но въ отношени въ Островскому и порицатели его оказались не лучше поклонниковъ. Если свести въ одно всъ упреки, которые дълались Островскому со всвять сторонъ, въ продолжение цвлыхъ десяти летъ, и делаются еще досель, то рышительно будеть нужно отказаться оть всякой надежды понять, чего хотъли отъ него и какъ на него смотръли критики. Каждый представляль свои требованія и каждый при этомъ браниль другихъ, имъющихъ требованія противоположныя, каждый пользовался непремвино какимъ-нибудь изъ достоинствъ одного произведенія Островскаго, чтобы вивнить ихъ въ вину другому произведеню, и наоборотъ. Одни упрекали Островскаго за то, что онъ измънилъ своему первоначальному направленію и сталь, вибсто живого изображенія жизненной пошлости купеческаго быта, представлять его въ идеальномъ свътв. Другіе, напротивъ, похваляя его за идеализацію, постоянно оговаривались, что "Своихъ людей" они считаютъ произведеніемъ недодуманнымъ, одностороннимъ, фальшивымъ даже 1). При последующихъ произведеніяхъ Островскаго, рядомъ

¹) Такъ, въ разборѣ «Вѣдность не порокъ» одинъ критикъ упрекалъ Островскаго за то, что въ первомъ своемъ произведеніи онъ «былъ чистымъ сатирикомъ: ничто противодѣйствующее не было выставлено имъ на ряду съ показаннымъ зломъ» (Москв. 1854 г., № 5). Критикъ «Русской Бесѣды» объяснялся еще рѣзче. Разбирая пьесу: «Не такъ живи, какъ хочется», онъ отозвался о «Своихъ людяхъ» слѣдующимъ образомъ: «Свои люди» есть, конечно, такое произведеніе, на которомъ лежить печать необыкновеннаго дарованія, но оно задумано подъ сильнымъ вліяніемъ отрицательнаго воззрѣнія на русскую жизнь, отчасти смягченнаго еще художественнымъ исполненіемъ, и въ этомъ отношеніи должно отнести его, какъ ни жалко, къ послѣдствіямъ матуральнаго направленія» (Русск. Бесѣд. 1856 г., № 1).

съ упреками за приторность въ прикрашиваніи той пошлой и безцвѣтной авиствительности, изъ которой браль онъ сюжеты для своихъ комедій, слышались также съ одной стороны восхваленія его за самое это прикрашиваніе 1), а съ другой — упреки въ томъ, что онъ дагеротинически изображаетъ всю грязь жизни 2). Этой противоположности въ самыхъ основныхъ воззрѣніяхъ на литературную деятельность Островскаго было бы уже лостаточно для того, чтобы сбять съ толку простодушныхъ людей, которые бы вздумали довериться притикт въ сужденіяхъ объ Островскомъ. Но противоръчіе этимъ не ограничивалось; оно простиралось еще на множество частных заметокъ о разныхъ достоинствахъ и недостаткахъ комелій Островскаго. Разнообразіе его таланта, широта содержанія. охватываемаго его произведеніями, безпрестанно подавали поводъ къ самымъ противоположнымъ упрекамъ. Такъ, напр., за "Доходное мъсто" упрекнули его въ томъ, что выведенные имъ взяточники не оовольно омерзительны 3); за "Воспитанницу" осудили, что лица, въ ней изображенння, слишком уже омерзительны 4). За "Белную невесту", "Не вы свои сани не садись", "Бъдность не порокъ" и "Не такъ живи, какъ хо-

<sup>1)</sup> Одинъ изъ критиковъ отдалъ превнущество комеліи «Бідность не порокь»—предъ «Своими дюдьми» за то, что въ «Бідности не порокь» «Островский является уже не однимъ сатирикомъ,—что, рядомъ со здомъ фальшивой цивилизации, здісь ему видится въ томъ же быту благодушная, простая, крідко связанная съ родными преданіями и обычаями жизнь, и все сочувствіе его, при столкновости такихъ дъухъ враждебныхъ началъ, естественно склоняется на сторону посділняго» (Москв. 1854 г., № 5). Критикъ «Русской Бесіды» также одобряеть Островскаго за то, что послі. «Своихъ дюдей» отришательное отношеніе къ жизни смінялось у него сочувственномо и, вмісто мрачныхъ изображеній, какія мы виділи въ «Своихъ дюдах». появляются образы, созданіе которыхъ внушено другими дучшими впечатлівніями отъ жизни».

<sup>2)</sup> Такъ, въ «Отечеств. Запискахъ, при разборь той же комедіи Відность не порокъ». Островскій заслужиль упрекъ въ томъ, что у него ссамым грязным стороны дъйствительности не только писаны поолинными ем красками, но и возведены въ достоинство идеаловъ». Видно, что критику не понравилось самое списываніе грязныхъ сторонъ дъйствительности. Упрекъ за это постоянно слышался, рядомъ съ упрекомъ въ идеализаціи, и въ недавнее время выраженъ быль даже въ такой формъ: комедія подъ перомъ г. Островскаго измінила своему художественному значенію и сділалась простою копією дъйствительной жизни» (Атен. 1859 г., № 8).

<sup>3) «</sup>Эти лица, выведенныя на сцену, должны бы возбудить въ читатель или зритель отвращение къ себь, но они сами по себь возбуждають только сострадание. Взяточничество—это общественная язва,—не очень омерзительно и ярко выставлено въ ихъ поступкахъ... А можно было бы показать, какъ взяточники и казнокрады всякаго рода терзають, безобразять и губять всюду, внутри и внѣ, нашу многострадальную, родную матушку Россію» (Атен. 1858 г., № 10).

<sup>4) «</sup>Всв лица «Воспитанницы», кромв Нади, — вовсе не лица, а какія-то отвлеченныя и фильтрированныя дозы разваго рода человвческой грязи, отъ которыхъ на душв у читателя остается самое тяжелое и непріятное впечатленіе» (Весна, статья Ахшарумова).

чется "Островскому приходилось со всёхъ сторонъ выслушивать замѣчанія, что онъ пожертвоваль выполненіемъ пьесы для своей основной задачи 1); и за тё же произведенія привелось автору слишать совёты въ родё того, чтобы онъ не довольствовался рабской подражательностью природё, а постарался расширить свой умственный горизонть 2). Мало того — ему сдёланъ быль даже упрекъ въ томъ, что вёрному изображенію дёйствительности (т.-е. исполненію) онъ отдается слишкомъ исключительно, не заботясь объ идеть своихъ произведеній. Другими словами, — его упрекали именно въ отсутствій или ничтожестві задачь, которыя другими критиками признавались ужъ слишкомъ широкими, слишкомъ превосходящими средства самаго ихъ выполненія 3).

¹) «Увлеченный благородствомъ и новостью своих задачь, авторъ не выносилъ ихъ достаточно въ душћ, не даль имъ дозръть до надзежащей полноты и неноств представленія... Сожив Островскій свою драму въ тісныя рамы, умірь нісколькосвои въ высокой степени благородныя и широкія задачи, не выброси онъ за-разъ всего, что передумано, перечувствовано имъ въ отношенів къ избранному драматическому положенію, созданіе получило бы стройность и цілость, хотя, можеть быть, утратило бы нісколько своей энергіп» (Москв. 1853 г., № 1, разборъ «Бідной невісты»).

<sup>«</sup>Избравъ для разрѣшенія своей задачи драматическую форму, авторъ, тѣмъ самымъ, принядъ на себя обязанность удовлетворить всѣмъ требованіямъ этой формы, т.-е. прежде всего произвести впечатдѣніе на читателя или зрителя драматическою колливією и движеніемъ, и этимъ путемъ напечатдѣть въ немъ основную идею комедія. Въ этомъ отношеніи мы не можемъ остаться согершенно довольны новою пыссою г. Островскаго, и пр.» (Москв. 1854 г., № 5, разборъ «Бѣдности не порокъ»).

<sup>«</sup>Въ произведеніяхъ г. Островскаго задачи не только правильны, но и полны глубокаго смысла и всегда здравы въ правственномъ отношеніи... и нельзя не пожальть, что именно это произведеніе («Не такъ живи, какъ хочется»), такъ прекрасно задуманное и такъ прекрасно, въ драматическомъ отношеніи, расположенное, по исполненію слабъе всёхъ другихъ, дотоль писанныхъ произведеній г. Островскаго» (Рус. Бес. 1856 г., № 1).

<sup>2) «</sup>Рабская подражательность—не въ языкѣ только новой комедіи, но и во всемъ почти ея содержаніи, какъ въ концепціи цѣлаго, такъ и въ подробностяхъ. Напрасно стали бы искать въ ней хоть одной ид∴альной черты: ея нѣтъ ни въ лицахъ, ни въ самомъ дѣйствіи... Мы прежде всего желали бы автору выдти изъ того тѣснаго круга, въ которомъ онъ до сихъ поръ заключилъ свою дѣятельность, и нѣсколько поболѣе расширить свой умственный горизонтъ» (Отеч. Записки 1854 г., № 6).

<sup>3)</sup> Въ особенности выразилось это въ нахальной статъѣ, недавно напечатанной въ «Атенеѣ». Заключительное слово критики таково: «произведенія г. Островскаго, выражая жизнь дѣйствительную, сами по себѣ не имѣютъ никакой жизни; въ нихъ нѣтъ ни идеи, ни дѣйствія, ни характеровъ истинно поэтическихъ... Надобно отдатъ справедливость автору въ томъ отношеніи, что онъ умѣлъ представить въ нихъ (въ комедіяхъ изъ купеческаго быта) довольно вѣрную, дѣйствительную картину купеческаго и мѣщанскаго быта—и только. Одно произведеніе вышло изъ ряду ихъ, именно: «Бѣдная невѣста», но за то она и хуже всѣхъ. Что касается до богатства мыслей, разнообразія характеровъ, то въ этомъ отношеніи мы не можемъ сказать ничего утѣшительнаго. Довольно узнать только то, что одно произведеніе служило, такъ сказать, поводомъ другому, по какому-нибудь прогивоположенію. Такъ, напр., комедія

Словомъ — трудно представить себф возможность середины, на которой можно было бы удержаться, чтобы хоть сколько-нибудь согласить требованія, въ теченіе десяти літь предъявлявшіяся Островскому разными (а ивогда и тъми же самыми) критиками. То — зачъмъ онъ слишкомъ чернить русскую жизнь, то-зачемь былить и румянить ее? То-для чего предается онъ дидактизму, то-зачемъ нетъ нравственной основы въ его произведеніяхъ .. То -- онъ слишкомъ рабски передаетъ дъйствительность, то — невъренъ ей; то — онъ очень ужъ заботится о вижиней отдълкъ. То-у него действие идеть слишкомъ вяло, то-сделань слишкомъ быстрый повороть, къ которому читатель недостаточно подготовленъ предидущимъ. То - характеры очень обывновенны, то - слишкомъ исключительны... И все это часто говорилось по поводу однихъ и тахъ же произведеній критиками, которые должны были сходиться, повидимому, въ основных воззреніях в. Если бы публик в приходилось судить объ Островскомъ только по критикамъ, десять лътъ сочинявшимся о немъ, то она должна была бы остаться въ крайнемъ недочивни о томъ: что же, наконецъ, думать ей объ этомъ авторъ? То онъ выходилъ, но этимъ критикамъ, кваснымъ натріотомъ, обскурантомъ, то прямымъ продолжателемъ Гоголя въ лучшемъ его періодъ; то славянофиломъ, то западникомъ; то создателемъ народнаго театра, то гостинодворскимъ Коцебу; то писателемъ съ новымъ особеннымъ міросозерцаніемъ, то человъкомъ, нимало не осмысливающимъ дъйствительности, которая имъ конируется. Никто до сихъ поръ не даль не только полной характеристики Островскаго, но даже не указаль техъ черть, которыя составляють существенный смыслъ его произведеній.

Отчего произошло такое странное явленіе? "Стало быть, была же какая-нибудь причина?" Можетъ быть, дъйствительно Островскій такъ часто изм'вняетъ свое направленіе, что его характеръ до сихъ поръ еще не могъ опредълиться? Или, напротивъ, онъ съ самаго начала сталь, какъ увъряла критика "Москвитянина", на ту высоту, которая превосходитъ степень пониманія современной критики? Кажется, ни то, ни другое. Причина безалаберности, господствующей до сихъ поръ въ сужденіяхъ объ

<sup>«</sup>Свои люди—сочтемся» имъетъ въ себь въ pendant драму «Не такъ живи, какъ хочется», которую можно назвать также: «Свои люди — сочтемся». «Въдная невъста» дала поводъ написать комедію «Не въ свои сани не садись», или «Вогатую невъсту»; къ нимъ очень близка комедія «Въдность не порокъ», которую можно назвать совершенно справедливо «Въдный женихъ». Изъ этого видно, насколько богата фантазія г. Островскаго запасомъ идей и образомъ для ихъ выраженія».

Припомнимъ, что долгое время хвалители Островскаго удивлялись именно неисчерпаемому богатству его фантазія въ созданія множества новыхъ типовъ и драматическихъ положеній, и намъ будетъ ясно, какъ ничтожна была сочувственная ему критика для уясненія значенія этого писателя.

Островскомъ, заключается именно въ томъ, что его хотвли непреманно сдвлать представителемъ извъстнаго рода убъжденій, и затьмъ карали за невърность этимъ убъжденіямъ или возвышали за укрѣпленіе въ нихъ, и наоборотъ. Всв признали въ Островскомъ замечательный талантъ, и велъдствие того всъмъ критикамъ хотълось видъть въ немъ поборника и проводника тахъ убъжденій, которыми сами они были проникнуты. Людямъ съ славянофильскимъ оттвикомъ очень понравилось, что онъ хорошо изображаеть русскій быть, и они безъ церемоніи провозгласили Островскаго поклонникомъ "благодушной русской старины" въ вику тлетворному Западу. Какъ человъкъ, дъйствительно знающій и любящій русскую народность. Островскій дійствительно подаль славянофиламъ много поводовъ считать его "своимъ", а они воспользовались этимъ такъ неум'вренно, что дали противной партіп весьма основательний поводъ считать его врагомъ европейскаго образованія и писателемъ ретрограднаго направленія. Но, въ сущности, Островскій никогда не быль ни тамъ, ни другимъ, по крайней мъръ, въ своихъ призведеніяхъ. Можетъ быть, вліяніе кружка и дъйствовало на него, въ смысле признанія известныхъ отвлеченныхъ теорій, но оно не могло уничтожить въ немъ върнаго чутья дъйствительной жизни, не могло совершенно закрыть предъ нимъ дороги. указанной ему талантомъ. Вотъ почему произведенія Островскаго постоянно ускользали изъ-подъ объихъ, совершенно различныхъ мърокъ, прикидываемыхъ къ нему съ двухъ противоположныхъ концовъ. Славянофилы скоро увидели въ Островскомъ черты, вовсе не служащія проповъдью смиренія, теривнія, приверженности къ обычаямъ отцовъ и ненависти къ Западу, и считали нужнымъ упрекать его — или въ недосказанности, или въ уступкахъ отрицательному воззрѣнію. Самый нельный изъ критиковъ славянофильской партіи очень категорически выразился, что у Островскаго все бы хорошо, "но у него иногда не достаетъ въшительности и смълости въ исполнении задуманнаго: ему, какъ будто, мъшаетъ ложный стыдъ и робкія привычки, воспитаныя въ немъ натуральныма направленіемъ. Оттого нерадко она затветь что-нибудь возвышенное или широкое, а память о натуральной марка и спугнеть его замысель; ену бы следовало дать волю счастливому внушенію, а онь, какъ будто, испугается высоты полета, и образъ выходить какой-то недодъланный " ("Рус. Бес."). Въ свою очередь, люди, пришедшіе въ восторгъ отъ "Своихъ людей", скоро замътили, что Островскій, сравнивая старинныя начала русской жизни съ новыми началами европеизма въ купеческомъ быту, постоянно склоняется на сторону первыхъ. Это имъ не нравилось, и саный нелыный изъ критиковь такъ-называемой западнической партін выразиль свое сужденіе, тоже очень категорическое, следующимь образомъ: "дидактическое направленіе, опредълющее характерь этихъ произведеній, не позволяеть намъ признать въ нихъ истинно - поэтическаго таланта. Оно основано на тъхъ началахъ, которыя называются у нашихъ славянофиловъ народними. Имъ-то подчиныль г. Островекій въ комедіяхъ и драмф мысль, чукство и свободную волю человъка" ("Атеней", 1859 г.). Въ этихъ двухъ противоположныхъ отрывкахъ можно найти ключъ къ тому, отчего критика до сихъ поръ не могла право и просто вяглянуть на Островскаго, какъ на писателя, изображдющато жизнь извъстной части русскаго общества, а все смотръла на него, какъ на проповъдника морали, сообразной съ понатилма той али другой партіи. Отвергнувши эту, заранбе приготовленную, изрку, критика должна была би преступить къ произведеніямъ Островскато просто для ихъ изученія, съ рёшительностью—брать то, что длеть самъ авторъ. Но тогда нужно было бы поставить на второй планъ свои предубълденія къ противной партіи, пужно было бы не обращать вимманія на самодовольными и довольно наглым выходен противной стороны... а это было чрезвычайно трудно в для той, и для другой партіи. Островскій в сдълался жертвою полемнии между пими, взявши въ угоду той и другой насколько неправильнихъ аккордовъ, и тъмъ еще болье соивше ихъ съ толку.

Къ счастію, публика мало заботилась о критическихъ перекорахъ, и сама читала комедіи Островскаго, смотръва на театръ тъ изъ нихъ, которыя допущены къ представленію, перечитывала очить и, такижъ образомъ, довольно хорошо ознакомилась съ предвиженими евсето любимаго комика. Благодаря этому обстоятельству, трудъ критика значительно облегчается тенерь. Нъть вадобности рызбирать каждую ньесу порезнь, разсказнвать содержаніе, слъдить развите дъйствія снена за сценой, подбирать по дорог мелкія неловкости, выхвалить удачныя выраженія, и т. п. Все это читателямъ уже очень хорошо взявстно: содержаніе пьесъ всё знають, о частныхъ промахахъ было говорень по порогованно и чуков и нечующе на нечующе правно на нечующе на нечующе по на нечующе на нечующе по порожно на нечующе на нечующе на

нечно, вольному воля: недавно еще одинъ критикъ питался доказать, что основная идея комедіи "Не въ свои сани не садись "состоить въ томъ, что безнравственно купчихъ лъзть замужъ за дворянина, а гораздо блатонравнъе выдти за ровню, по приказу родительскому. Тотъ же критикъ ръшилъ (очень энергически), что въ драмъ "Не такъ живи, какъ хочется "Островскій проповъдуетъ, будто "полная покорность волъ старшихъ, слъцая въра въ справедливость изстари предписаннаго закона и совершенное отреченіе отъ человъческой свободы, отъ всякаго притизанія на право заявить свои человъческій чувства, гораздо лучше, чъмъ самая мысль, чувство и свободная воля человъка ". Тотъ же критикъ весьма остроумно сообразилъ, что "въ сценахъ "Праздничный сопъ до объда "осмъяно суевъріе во сни " 1)... Но въдь теперь два тома сочиненій Островскаго въ рукахъ у читателей, — кто же повъритъ такому критику в

И такъ, предполагая, что читателямъ извъстно содержание пьесъ Островскаго и самое ихъ развитие, мы постараемся только приномнить черты, общія всёмъ его произведеніямъ или большей части ихъ, свести эти черты къ одному результату и по нимъ опредълить значение литературной двятельности этого писателя. Исполнивши это, мы только представимъ въ общемъ очеркъ то, что и безъ насъ давно уже знакомо большинству читателей, но что у многихъ, можетъ быть, не приведено въ надлежащую стройность и единство. При этомъ считаемъ нужнымъ предупредить, что мы не задаемъ автору никакой программы, не составляемъ для него никакихъ предварительныхъ правилъ, сообразно съ которыми онъ долженъ задумывать и выполнять свои произведенія. Такой способъ критики мы считаемъ очень обиднымъ для писателя, талантъ котораго всеми признанъ и за которымъ упрочена уже любовь публики и извъстная доля значенія въ литературъ. Критика, состоящая въ показаніи того, что доложено билъ сдълать писатель и насколько хорошо выполниль онъ свою долженость, бываеть еще умъстна изръдка, въ приложени къ автору начинающему, подающему некоторыя надежды, но идущему решительно ложныме путемъ и потому нуждающемуся въ указаніяхъ и совътахъ. Но вообще она непріятна, потому что ставить критика въ положеніе школьнаго педанта, собравшагося проэкзаменовать какого-нибудь мальчика. Относительно такого писателя, какъ Островскій, нельзя позволить себъ этой схоластической критики. Каждый читатель съ полной основательностью можетъ намъ замътить: "зачъмъ вы убиваетесь надъ соображеніями о томъ, что вотъ тутъ нужно было бы то-то, а здёсь недостаетъ того-то? Мы вовсе не хотимъ признать за вами право давать уроки Островскому; намъ вовсе не

<sup>1)</sup> Это все въ «Атенев»!

интересно знать, какъ бы, по вашему мненію, следовало сочинить пьесу, сочиненную имъ. Мы читаемъ и любимъ Островскаго, и отъ критики мы хотимъ, чтобы она осмыслила передъ нами то, чѣмъ мы увлекаемся часто безотчетно, чтобы она привела въ нѣкоторую систему и объяснила намъ нами собственныя впечатлѣнія. А если, уже послѣ этого объясненія, окажется, что наши впечатленія ошибочны, что результаты ихъ вредны, или что мы приписываемъ автору то, чего въ немъ пътъ, — тогда пусть критика займется разрушениемъ нашихъ заблуждений, но опять-таки на основании того, что даетъ намъ самъ авторъ". Признавая такия требования вполнъ справедливыми, мы считаемъ за самое лучшее—примънить къ произведеніямъ Островскаго критику реальную, состоящую въ обо-зрѣніи того, что намъ дають его произведенія. Здѣсь не булеть требова-ній въ родѣ того, зачѣмъ Островскій не изображаеть характеровъ такъ, какъ Шекспиръ, зачѣмъ не развиваеть комическаго дѣйствія такъ, какъ Гоголь 1), и т. п. Всѣ подобныя требованія, по нашему миѣнію, столько же ненужны, безплодны и неосновательны, какъ и требованія того, напр., чтобы Островскій быль комикомъ страстей и даваль намъ мольеровскихъ тартюфовъ и гарпагоновъ, или чтобъ онъ уподобился Аристофану и придалъ комедіи политическое значеніе. Конечно, мы не отвергаемъ того, что лучше было бы, если бы Островскій соединилъ въ себѣ Аристофана, Мольера и Шекспира; но мы знаемъ, что этого нѣтъ, что это невозможно, и все - таки признаемъ Островскаго замъчательнымъ писателемъ въ нашей литературъ, находя, что онъ и самъ по себъ, какъ есть, очень недуренъ и заслуживаетъ нашего вниманія и изученія...

Точно такъ же реальная критика не допускаетъ и навязыванья автору чужихъ мыслей. Предъ ея судомъ стоятъ лица, созданныя авторомъ, и ихъ дъйствія; она должна сказать, какое впечатлъніе производятъ на нее эти лица, и можетъ обвинять автора только за то, ежели впечатлъніе это неполно, неясно, двусмысленно. Она никогда не позволитъ себъ, напр., такого вывода: это лицо отличается привязанностью къ стариннымъ предразсудкамъ; но авторъ выставилъ его добрымъ и неглупымъ, слъдственно авторъ желалъ выставить въ хорошемъ свътъ старинные предразсудки. Нътъ, для реальной критики здъсь представляется прежде всего фактъ: авторъ выводитъ добраго и неглупаго человъка, зараженнаго старинными предразсудками. Затъмъ критика разбираетъ, возможно-ли и дъйствительно-ли такое лицо; нашедши же, что оно върно дъйствительности, она переходитъ къ своимъ собственнымъ соображеніямъ о причинахъ, породившихъ его и т. д. Если въ произведеніи разбираемаго автора эти причины указаны,

<sup>1)</sup> Эти замьчанія дьйствительно дьлались Островскому мудрыми критиками.

вритика пользуется ими и благодарить автора; если ифть, — не пристаеть къ нему съ ножомъ къ горлу, какъ, дескать, онъ смѣлъ вывести такое лицо, не объяснивши причинъ его существованія? Реальная критика относится къ произведенію художника точно такъ же, какъ въ явленіямъ дъйствительной жизни: она изучаетъ ихъ, стараясь опредѣлить ихъ собственную норму, собрать ихъ существенныя, характерныя черты, но вовсе не суетясь изъ-за того, зачьмъ это овесъ— не рожь и уголь — не алмазъ.... Были, пожалуй, и такіе ученые, которые занимались опытами, долженствовавними доказать превращеніе овса въ рожь; были и критики, занимавшіеся доказываніемъ того, что если бы Островскій такую-то сцену такъто измѣнилъ, то вышелъ бы Гоголь, а если бы такое-то лицо вотъ такъ отдѣлалъ, то превратился бы въ Пекспира... Но надо полагать, что такіе ученые и критики не много принесли пользы наукъ и искусству. Гораздо полезиъе ихъ были тѣ, которые внесли въ общее сознаніе нѣсколько скрывавшихся прежде или не совсѣмъ ясныхъ фактовъ изъ жизни или изъ міра искусства, какъ воспроизведенія жизни. Если въ отношеніи къ Островскому до сихъ поръ не было сдълано ничего подобнаго, то намъ остается только пожалѣть объ этомъ странномъ обстоятельствѣ и постараться поправить его, насколько хватитъ силъ и умѣнья.

править его, насколько хватитъ силъ и умѣнья.
Но, чтобы покончить съ прежними критиками Островскаго, соберемъ
теперь тѣ замѣчанія, въ которыхъ почти всѣ они были согласны и которыя могутъ заслуживать вниманія.

Во-первыхъ, всеми признаны въ Островскомъ даръ наблюдательности и уменье представить верную картину быта техъ сословій, изъ которыхъ брадъ онъ сюжеты своихъ произведеній.

Во - вторыхъ, всёми замізчена (хотя и не всёми отдана ей должная справедливость) міткость и віткость народнаго языка въ комедіяхъ Островскаго.

Въ-третьихъ, по согласію всёхъ критиковъ, почти всё характеры въ пьесахъ Островскаго совершенно обыденны и не выдаются ничтиъ особеннымъ, не возвышаются надъ пошлою средою, въ которой они поставлены. Это ставится многими въ вину автору, на томъ основаніи, что такія лица, дескать, необходимо должны быть безцвётными. Но другіе справедливо находять и въ этихъ будничныхъ лицахъ очень яркія типическія черты. Въ-четвертыхъ, всё согласны, что въ большей части комедій Островскаго "не достаетъ (по выраженію одного изъ восторженныхъ его хвалителей) экономіи въ планъ и въ постройкъ пьесы", и что вслъдствіе того

Въ-четвертыхъ, всѣ согласны, что въ большей части комедій Островскаго "не достаетъ (по выраженію одного изъ восторженныхъ его хвалителей) экономіи въ планѣ и въ постройкѣ пьесы", и что вслѣдствіе того (по выраженію другого изъ его поклонниковъ) "драматическое дѣйствіе не развивается въ нихъ послѣдовательно и безпрерывно, интрига пьесы не сливается органически съ идеей пьесы и является ей какъ бы нѣсколько посторонней".

Въ-пятыхъ, всёмъ не нравится слишкомъ крутая, случайная, развязка комедій Островскаго. По выраженію одного критика, въ концё пьесы "какъ будто смерчъ какой проносится по комнатё и разомъ перевертываетъ всё головы дёйствующихъ лицъ".

Вотъ, кажется, все, въ чемъ доселъ соглашалась всякая критика, заговаривая объ Островскомъ... Мы могли бы построить всю нашу статью на развитіи этихъ, всъми признанныхъ, положеній и, можетъ быть, избрали бы благую часть. Читатели, конечно, поскучали бы немного; но за то мы отдълались бы чрезвычайно легко, заслужили бы сочувствіе эстетическихъ критиковъ и даже, — почему знать? — стяжали бы, можетъ быть, названіе тонкаго цънителя художественныхъ красотъ и таковыхъ же недостатковъ. Но, къ сожальнію, мы не чувствуемъ въ себъ призванія воспитывать эстетическій вкуст публики, и потому намъ самимъ чрезвычайно скучно браться за школьную указку съ тъмъ, чтобы пространно и глубокомысленно толковать о тончайшихъ оттънкахъ художественности. Предоставляя это гг. Алмазову, Ахшарумову и имъ подобнымъ, мы изложимъ здъсь только тъ результати, какіе даеть намъ изученіе произведеній Островскаго, относительно изображаемой имъ дъйствительности. Но предварительно сдълаемъ ибсколько замъчаній объ отношеніи художественнаго таланта къ отвлеченнымъ идеямъ писателя.

Въ произведеніяхъ талантливаго художника, какъ бы они ни были разнообразны, всегда можно правъчать нъчто общее, характеризующее всъ ихъ и отличающее ихъ отъ произведеній другихъ писателей. На техническомъ языкъ искусства принято называть это міросозерцаніемъ художника. Но напрасно стали бы мы хлопотать о томъ, чтобы привести это міросозерцаніе въ опредъленныя логическія построенія, выразить его въ отвлеченныхъ формулахъ. Отвлеченностей этихъ обыкновенно не бываеть въ самомъ сознаніи художника; неръдко даже въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ онъ высказиваеть понятія, разительно противоположныя тому, что выражается въ его художественной дъятельности, — понятія, принятыя имъ на въру или добытыя имъ посредствомъ ложныхъ, наскоро, чисто внѣшнимъ образомъ составленныхъ силлогизмовъ. Собственный же взглядъ его на міръ, служащій ключемъ къ характеристикъ его таланта, надо искать въ живыхъ образахъ, создаваемыхъ имъ. Здъсь - то и находится существенная разница между талантомъ художника и мыслителя. Въ сущности, мыслящая сила и творческая способность объ равно присущи и равно необходимы и философу, и поэту. Величіе философствующаго ума и величіе поэтическаго генія равно состоятъ въ томъ, чтобы, при взглядъ на предметъ, тотчасъ умѣть отличить его существенныя черты отъ случайныхъ, затъмъ. — правильно организовать ихъ въ своемъ сознаніи и умѣть овладѣть ими такъ,

чтобы инть возможность свободно вызвать ихъ для всевозможныхъ комбинацій. Но разница между мыслителемъ и художникомъ та, что у послѣд-няго воспріимчивость гораздо живъе и сильнъе. Оба они почернають свой взглядъ на міръ изъ фактовъ, усиващихъ дойти до ихъ сознанія. Но человъкъ съ болью живой воспріимчивостью, "художническая натура", сильно поражается самымъ первымъ фактомъ извъстнаго рода, представившимся ему въ окружающей дъйствительности. У него еще пътъ теоретическихъ соображеній, которыя бы могли объяснить этотъ фактъ; но онъ видитъ, что туть есть что-то особенное, заслуживающее вниманія, и съ жалнымъ любонытствомъ всматривается въ самый фактъ, усвоиваетъ его, носить его въ своей душъ сначала какъ единичное представление, потомъ присоединяетъ къ нему другіе, однородные факты и образы и, паконецъ, создаетъ типъ, выражающій въ себъ всъ существенныя черты всъхъ частныхъ явленій этого рода, прежде замаченныхъ художникомъ. Мыслитель, напротивъ, не такъ скоро и не такъ сильно поражается. Первый фактъ новаго рода не производить на него живого впечатленія; онъ большею частію едва примъчаетъ этотъ фактъ и проходитъ мимо него, какъ мимо странной случайности, даже не трудясь усвоить его себъ. (Не говоримъ, разумъется, о личныхъ отношеніяхъ: влюбиться, разсердиться, опечалиться — всякій философъ можетъ столь же быстро, при первомъ же появленіи факта, какъ и поэть). Только уже потомъ, когда много однородныхъ фактовъ наберется въ сознанін, челов'єкъ съ слабой воспріничивостью обратить на нихъ, наконецъ, свое вниманіе. Но тутъ обиліе частныхъ представленій, собранныхъ прежде и непримътно покоившихся въ его сознании, даетъ ему возможность тотчасъ же составить изъ нихъ общее понятие и, такимъ образомъ, немедленно перенести новый фактъ изъ живой действительности въ отвлеченную сферу разсудка. А здёсь уже прінскивается для новаго понятія надлежащее мъсто въ ряду другихъ идей, объясняется его значеніе, дълаются изъ него выводы и т. д. При этомъ мыслитель, — или, говоря проще, человъкъ разсуждающій, — пользуется, какъ дъйствительными фактами, и тъми образами, которые воспроизведены изъ жизни искусствомъ художника. Иногда даже эти самые образы наводять разсуждающаго человъка на составление правильныхъ понятий о нъкоторыхъ изъ явлений дъйствительной жизни. Такимъ образомъ, совершенно яснымъ становится значение художнической дъятельности въ ряду другихъ отправлений общественной жизни: образы, созданные художникомъ, собирая въ себъ, какъ въ фокусъ, факты дъйствительной жизни, весьма много способствують со-ставленію и распространенію между людьми правильных в понятій о вещахъ.

Отсюда ясно, что главное достоинство писателя-художника состоитъ въ правдю его изображеній; иначе изъ нихъ будутъ ложные выводы, со-

ставятся, но ихъ милости, ложныя понятія. Но какъ понимать правду художественныхъ изображеній? Собственно говоря, безусловной неправды писатели никогда не выдумывають; о самыхъ нелъпыхъ романахъ и мелопрамахъ нельзя сказать, чтобы представляемыя въ нихъ страсти и пошлости были безусловно-ложны, т. е. невозможны, даже какъ уродливая случайность. Но неправда подобныхъ романовъ и мелодрамъ именно въ томъ и состоить, что въ нихъ берутся случайныя, ложния черты дъйствительной жизни, не составляющія ея сущности, ея характерных особенностей. Они представляются ложью и въ томъ отношеніи, что если по нимъ составлять теоретическія понятія, то можно придти къ идеямъ совершенно ложнымъ. Есть, напр., авторы, посвятивше свой таланть на восиввание сладострастныхъ сценъ и развратныхъ похожденій; сладострастіе изображается ими въ такомъ видъ. что, если имъ повърить, то въ немъ одномъ только и заключается истинное блаженство человъка. Заключение, разумъется, нелъпое, хотя, конечно, и бываютъ дъйствительно люди, которые, по степени своего развитія, и неспособны понять другого блаженства, кром'в этого... Были другіе писатели, еще бол'ве нелівшье, которые превозносили доблести воинственныхъ феодаловъ, предававшихъ ръки крови, созлигав-шихъ города и грабившихъ своихъ вассаловъ. Въ описаніи подвиговъ этихъ грабителей не было прямой лжи; но они представлены въ такомъ свътъ, съ такими восхваленіями, которыя ясно свидівтельствують, что въ душів автора, восивнавшаго ихъ, не было чувства человъческой правды. Такимъ образомъ, всякая односторонность и исключительность уже мѣшаетъ пол-ному соблюденію правды художнигомъ. Слѣдовательно, художникъ долженъ - или въ полной неприкосновенности сохранить свой простой, младенчески-непосредственный взглядъ на весь міръ, или (такъ какъ это совершенно невозможно въ жизни) спасаться отъ односторонности возможнымъ расширениемъ своего взгляда, посредствомъ усвоения себъ тъхъ общихъ понятій, которыя выработаны людьми разсуждающими. Въ этомъ можетъ выразиться связь знанія съ искусствомъ. Свободное претвореніе самых высшихъ умозреній въ живые образы и, вместе съ темъ, полное сознание высшаго, общаго смысла во всякомъ, самомъ частномъ и случайномъ фактъ жизни - это есть идеалъ, представляющій полное сліяніе науки и поэзіи и досел'в еще ник'ямъ не достигнутый. Но художникъ, руководи-мый правильными началами въ своихъ общихъ понятіяхъ, имфетъ все-таки ту выгоду предъ неразвитымъ или ложно развитымъ писателемъ, что можетъ свободнъе предаваться внушеніямъ своей художнической натуры. Его непосредственное чувство всегда върно указываетъ ему на предметы; но когда его общія понятія ложны, то въ немъ неизбъжно начинается борьба, сомивнія, неръшительность, и если произведеніе его и не дълается оттого окончательно фальшивымъ, то все-таки выходитъ слабымъ, безцвътнымъ и нестройнымъ. Напротивъ, когда общія понятія художника правильны в виолить гармонирують съ его натурой, тогда эта гармонія и единство отра жаются и въ произведеніи. Тогда дъйствительность отражается въ произведеніи ярче и живтье, и оно легче можетъ привести разсуждающаго чело въка къ правильнымъ выводамъ и, слъдовательно, имъть болже значені для живни.

Если мы примънимъ все сказанное къ сочиненіямъ Островскаго и при помнимъ то, что говорили выше о его критикахъ, то должны будемъ со знаться, что его литературная д'ятельность не совсим чужда была тихт колебаній, которыя происходять всявдствіе разногласія внутренняго художническаго чувства съ отвлеченными, извив усвоенными, понятіями Этими колебаніями и объясняется то, что критика могла ділать совершенн противоположныя заключенія о смыслів фактовъ, выставлявшихся въ ко медіяхъ Островскаго. Конечно, обвиненія его въ томъ, что онъ проповъ дуетъ отречение отъ свободной воли, идіотское смиреніе, покорность и т. д. должны быть прицисаны всего более недогадливости критиковъ; но всетаки, значить, и самъ авторъ недостаточно оградиль себя отъ подобных обвиненій. И дъйствительно, въ комедінхъ "Не въ свои сани не садись" "Въдность не порокъ" и "Не такъ живи, какъ хочется" — существени дурныя стороны нашего стариннаго быта обставлены въ дъйствіи такимі случайностями, которыя какъ будто заставляють не считать ихъ дурными Будучи положены въ основу названныхъ пьесъ, эти случайности доказы вають, что авторъ придаль имъ болве значенія, нежели онв имвють вт самомъ дълъ, и эта невърность взгляда цовредила цъльности и яркости самыхъ произведеній. Но сила непосредственнаго художническаго чувств не могла и тутъ оставить автора, и потому частныя положенія и отдівль шие характеры, взятые имъ, постоянно отличаются неподдальной истиною Редко-редко увлечение идеей доводило Островского до натяжки въ пред ставленім характеровъ или отдівльных драматических положеній, какъ напримъръ, въ той сценъ въ "Не въ свои сани не садись", гдъ Бородкинт объявляеть желаніе взять за себя опозоренную дочь Русакова. Во всей пьес Бородкинъ выставляется благороднымъ и добрымъ по старинному; послед ній же его поступокъ вовсе не въ духів того разряда людей, которыхъ представителемъ служитъ Бородкинъ. Но авторъ хотълъ приписать этому лиц всевозможныя добрыя качества, и въ числе ихъ приписаль даже такое отъ котораго настоящіе Бородкины, вероятно, отреклись бы съ ужасомъ Но такихъ натяжекъ чрезвычайно мало у Островскаго: чувство художественной правды постоянно спасало его. Гораздо чаще онъ какъ будто отступаль отъ своей идеи, именно по желанію остаться вфрнымъ действительности. Люди, которые желали видёть въ Островскомъ непременно сторонника своей партіи, часто упрекали его, что онъ недостаточно ярко выразиль ту мысль, которую хотьли они видьть въ его произведении. Напримъръ, желая видьть въ "Бъдности не порокъ" апоссозу смиренія и покорности старшимъ, нъкоторые критики упрекали Островскаго за то, что развязка пьесы является не необходимымъ слъдствіемъ нравственныхъ до-тоинствъ смиреннаго Мити. Но авторъ умълъ понять практическую нелъпость и художественную ложность такой развязки, и потому употребиль для нея случайное вм'вшательство Любима Торцова. Такъ точно за лицо Петра Ильича въ "Не такъ живи, какъ хочется" автора упрекали, что онъ не придалъ этому лицу той широты натуры, того могучаго размаха, какой, дескать, свойственъ русскому человъку, особенно въ разгулъ. Но художническое чутье автора дало ему понять, что его Петръ, приходящій въ себя отъ колокольнаго звона, не есть представитель широкой русской натуры, забубсиной головы, а довольно мелкій трактирный гуляка. За "Доходное м'єсто" тоже слышались довольно забавныя обвиненія. Говорили, зач'ємь Остронскій вывель представителемъ честныхъ стремленій такого плохого господина, какъ Жадовъ; сердились даже на то, что взяточники у Остроискаго такъ пошлы и наивны, и выражали мивніе, что "гораздо лучше было бы выставить на судъ публичный техъ людей, которые обдуманно и ловко созидають, развивають, поддерживають взяточничество, холонское начало и со всей энергіей противятся всьиь, чъмь могуть, проведевію въ государственный и общественный организмъ свъжихъ элементовъ". При этомъ, прибавляеть требовательный критикъ, "мы были бы самыми напряженными, страстными зрителями то бурнаго, то ловко выдерживаемаго столкновения двухъ нартій" ("Атеней" 1858 г., № 10). Такое желаніе, справедливое въ отвлеченін, доказываеть, однако, что критикъ совершенно не умъль понять то темное царство, которое изображается у Островскаго, и само предупреждаетъ всякое недоумъніе о томъ, отчего такія-то лица пошлы, такія-то по-ложенія случайны, такія-то столкновенія слабы. Мы не хотимъ никому на-вязывать своихъ мивній; но намъ кажется, что Островскій погръшиль бы противъ правды, наклепалъ бы на русскую жизнь совершенно чуждыя ей явленія, если бы вздумалъ выставлять нашихъ взяточниковъ, какъ правильно организованную, сознательную партію. Гав вы у насъ нашли по-добныя партіи? Въ чемъ открыли вы следы сознательныхъ, обдуманныхъ дъйствій? Повърьте, что еслибъ Островскій принялся выдумывать такихъ людей и такія действія, то какъ бы ни драматична была завязка, какъ бы ни рельефно были выставлены всв характеры пьесы, произведение все-таки, въ цъломъ, осталось бы мертвымъ и фальшивымъ. И то уже есть въ этой комедін фальшивый тонъ въ лицъ Жадова; но и его почувствовалъ самъ

авторъ, еще прежде всѣхъ критиковъ. Съ половины ньесы онъ начинаетъ спускать своего героя съ того пьедестала, на которомъ онъ является въ первыхъ сценахъ, а въ последнемъ акте показываетъ его решительно неспособнымъ къ той борьбе, какую онъ принялъ-было на себя. Мы въ этомъ не только не обвиняемъ Островскаго, во, напротивъ, видимъ доказательство силы его таланта. Онъ, безъ сомнения, сочувствовалъ темъ прекраснымъ вещамъ, которыя говоритъ Жадовъ; но въ то же время онъ умълъ почувствовать, что заставить Жадова дълать всѣ эти прекрасныя вещи— вначило бы исказить настоящую русскую дъйствительность. Здъзь требовначило бы исказить настоящую русскую дъйствительность. Здъсь требованіе художественной правды остановило Островскаго отъ увлеченія вившней тенденціей и помогло ему уклониться отъ дороги гг. Соллогуба и Львова. Примъръ этихъ бездарныхъ фразеровъ ноказываетъ, что смастерить механическую куколку и назвать ее честныма чиновникомъ вовсе не трудно; но трудно вдохнуть въ нее жизнь и заставить ее говорить и дъйствовать по человъчески. Занявшись изображеніемъ честнаго чиновника, и Островскій не вездъ преодолъть эту трудность; но все-таки въ его комедіи натура человъческая много разъ сказывается изъ-за громкихъ фразъ Жалова. И въ этомъ умъньи подмъчать натуру, проникать въ глубь души человъка, уловлять его чувства, независимо отъ изображенія его внѣшнихъ, оффиціальныхъ отношеній, — въ этомъ мы признаемъ одно изъ главныхъ и лучшихъ свойствъ таланта Островскаго. И поэтому мы всегда готовы оправдать его отъ упрека въ томъ, что онъ въ изображеніи характера не остался въренъ тому основному мотиву, какой угодно будеть отыскать въ немъ глубокомысленнымъ критикамъ. сленнымъ критикамъ.

Точно также мы оправдываемъ Островскаго въ случайности и видимой неразумности развязокъ въ его комедіяхъ. Гдѣ же взять разумности, когда ен нѣтъ въ самой жизни, изображаемой авторомъ? Безъ сомнѣнія. Островскій съумѣлъ бы представить для удержанія человѣка отъ пьянства какіе-нибудь резоны болѣе дѣйствительные, нежели колокольный звонъ; но что же дѣлать, если Петръ Ильичъ былъ таковъ, что резоновъ не могъ понимать? Своего ума въ человѣка не вложить, народнаго суевѣрія не передѣлаешь. Придавать ему смыслъ, котораго оно не имѣетъ, значило бы искажать его ч лгать на самую жизнь, въ которой оно проявляется. Такъ точно и въ другихъ случаяхъ: создавать непреклонные драматическіе характеры, ровно и обдуманно стремящіеся къ одной цѣли, придумывать строго соображенную и тонко веденную интригу—значило бы навязывать русской жизни то, чего въ ней вовсе нѣтъ. Говоря по совѣсти, никто изъ насъ не встрѣчалъ въ своей жизни мрачныхъ интригановъ, систематическихъ злодѣевъ, сознательныхъ іезунтовъ. Если у насъ человѣкъ и подличаетъ, такъ больше по слабости характера; если сочиняетъ мошенническія спекуляціи,

такъ больше оттого, что окружающіе его очень глупы и довърчивы; если и угнетаеть другихъ, то больше потому, что это никакого усилія не стоитъ: — такъ всъ податливы и покорны. Наши интриганы, дипломаты и злодъи постоянно напоминаютъ мнъ одного шахматнаго игрока, который говорилъ мнь: "это вздоръ, будто можно разсчитать заранье свою игру: игроки только напрасно хвалятся этимъ; а на самомъ-то дълъ больше трехъ ходовъ впередъ невозможно разсчитать". И этотъ игрокъ многихъ еще обыгрывалъ: другіе, стало быть, и трехъ-то ходовъ не разсчитывали, а такъ только—смотрвли на то, что у нихъ подъ носомъ. Такова и вся наша русская жизнь: кто видить на три шага впередъ, тоть уже считается мудрецомъ и можеть надуть и оплести тысячи людей, а туть хотять, чтобы художникъ представляль намъ въ русской кожъ какихъ-нибудь Тартюфовъ, Ричардовъ, Шей-локовъ! По нашему мнънію, такое требованіе совершенно нейдеть къ намъ и сильно отзывается схоластикой. По схоластическимъ требованіямъ, произведение искусства не должно допускать случайности: въ немъ все должно быть строго соображено, все должно развиваться послъдовательно изъ одной данной точки, съ логической необходимостью и въ то жее время естественностью! Но если естественность требуеть отсутствія логической послодовательности! По инвнію сходастиковь, не нужно брать такихъ сюжетовь, въ которыхъ случайность не можеть быть подведена подъ требованія логической необходимости. По нашему же интнію, для художественнаго произведенія годятся всякіе сюжеты, какъ бы они ни были случайны, и въ такихъ сюжетахъ нужно для естественности жертвовать даже отвлеченною логичностью, въ полной увъренности, что жизнь, какъ и природа, имъетъ свою логику, и что эта логика, можетъ быть, окажется гораздо лучше той, какую мы ей часто навязываемъ... Вопросъ этотъ, впрочемъ, слишкомъ еще новъ въ теоріи искусства, и мы не хотимъ выставлять свое миъніе, какъ непреложное правило. Мы только пользуемся случаемъ высказать его по поводу произведеній Островскаго, у котораго вездъ на первомъ планъ видимъ върность фактамъ дъйствительности и даже и вкоторое презрвніе къ логической замкнутости произведенія,—и котораго ко-медіи, несмотря на то, имъють и занимательность, и внутренній симсль. Высказавши эти бъглыя замъчанія, мы, прожде чъмь перейдемь къ

Высказавши эти бъглыя замъчанія, мы, прожде чъмъ перейдемъ къ главному предмету нашей статьи, должны сдълать още слъдующую оговорку. Признавая главнымъ достоинствомъ художественнаго произведенія жизненную правду его, мы тъмъ самымъ указываемъ и мърку, которою опредъляется для насъ степень достоинства и значенія каждаго литературнаго явленія. Судя по тому, какъ глубоко прониваетъ взглядъ писателя въ самую сущность явленій, какъ пироко захватываетъ онъ въ своихъ изображеніяхъ различныя стороны жизни,—иожно ръшить и то,

какъ великъ его талантъ. Безъ этого всв толкованія будутъ напрасны. На-примвръ, у г. Фета есть талантъ, и у г. Тютчева есть талантъ; какъ опре-двлить ихъ относительное значеніе? Безъ сомивнія, не иначе, какъ раз-смотрвніемъ сферы, доступной каждому изъ цихъ. Тогда и окажется, что талавтъ одного способенъ во зсей силв проявиться только въ уловленіи мимолетныхъ внечатлъній отъ тихихъ явленій природы; а другому доступны, кром'в того, — и знойная страстность, и суровая энергія, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихійными явленіями, но и вопросами правственными, интересами общественной жизни. Въ показаніи всего этого и должна бы собственно заключаться оцівнка таланта обоихъ поэтовъ. Тогда читатели и безъ всякихъ эстетическихъ (обыкновенно очень туманныхъ) разсужденій поняли бы, какое м'ясто въ литератур'я принадлежить и тому, и другому поэту. Такъ мы полагаемъ поступить и съ произведеніями Островскаго. Все предыдущее изложеніе привело насъ до сихъ поръ къ признанію того, что в'ярность д'яйствительности, жизненная правда— постоянно соблюдаются въ произвеленіяхъ Островскаго и стоятъ на первомъ планѣ, впереди всякихъ задачъ и заднихъ мыслей. Но этого еще мало: вѣдь и г. Фетъ очень вѣрно выражаетъ неопредѣленныя впечатлѣнія природы, и, однакожъ, отсюда вовсе не следуеть, чтобы его стихи имели большое значение въ русской литературъ. Для того, чтобы сказать что-нибудь опредъленное о таланть Островскаго, нельзя, стало быть, ограничиться общимъ выводомъ, что онъ върно изображаетъ дъйствительность; нужно еще показать, какъ общирна сфера, подлежащая его наблюденіямъ, до какой степени важны тъ стороны фактовъ, которыя его занимають, и какъ глубоко проникаетъ онъ въ нихъ. Для этого-то и необходимо реальное разсмотръніе того, что есть въ его произведеніяхъ.

Общія соображенія, которыя въ этомъ разсмотренім должны руководить насъ, состоять въ следующемь:

Островскій умфеть заглядывать въ глубь души человька, умфеть отличать натуру отъ всфхъ извиф принятыхъ уродствъ и наростовъ; оттого вифший гнетъ, тяжесть всей обстановки, давящей человъка, чувствуется въ его произведеніяхъ гораздо сильнье, чьмъ во многихъ разсказахъ, страшно возмутительныхъ по содержанію, но вифшиею, оффиціальною стороною дъла совершенно заслоняющихъ внутреннюю, человъческую сторону.

Комедія Островскаго не проникаєть въ высшіє слои нашего общества, а ограничиваєтся только средними, и потому не можеть дать ключа въ объясненію многихъ горькихъ явленій, въ ней изображаємыхъ. Но, тёмъ не менёе, она можетъ наводить на многія аналогическія соображенія, относящіяся и къ тому быту, котораго прямо не касается; это оттого, что типы комедій Островскаго нерёдко заключають въ себё не только псключительно купеческія или чиновничьи, но и общенародныя черты.

Дъятельность общественная мало затронута въ комедіяхъ Островскаго и, безъ сомнънія, потому, что сама гражданская жизнь наша, изобилующая формальностями всякаго рода, почти не представляетъ примъровъ настоящей дъятельности, въ которой свободно и широко могъ бы выразиться человъкъ. Зато у Островскаго чрозвычайно полно и рельефно выставлены два рода отношеній, къ которымъ человъкъ еще можеть у насъ приложить душу свою,— отношенія семейныя и отношенія по имуществу. Немудрено поэтому, что сюжеты и самыя названія его пьесъ вертятся около семьи, жениха, невъсты, богатства и бъдности.

Драматическія коллизіи и катастрофы въ пьесахъ Островскаго всъ происходять вслёдствіе столкновенія двухъ партій—старшихь и млаошихь, богатыхь и богдныхь, своевольныхь и безотвотныхь. Ясно, что развязка подобных столкновеній, по самому существу д'вла, должна им'вть довольно крутой характеръ и отзываться случайностью.

Съ этими предварительными сооб аженіями вступимъ теперь въ этотъ міръ, открываемый намъ произведеніями Островскаго, и постараемся всмотраться въ обитателей, населяющихъ это темное царство. Скоро вы убъдитесь, что мы не даромъ назвали его темнымъ.

Гль больше строгости, тамъ и гръха больше. Надо судить по человъчеству. OCTDOBCEIR.

Предъ нами грустно-покорныя лица нашихъ младшихъ братій, обреченных судьбою на зависимое, страдательное существование. Чувствительный Митя, добродушный Андрей Брусковъ, бъдная невъста — Марья Андреевна, опозоренная Авдотья Максимовна, несчастныя Даша и Надя - стоять передъ нами, безмольно-покорныя судьбъ, безропотно-уныдыя... Это міръ затаенной, тихо вздыхающей скорби, міръ тупой, поющей боли, міръ тюремнаго, гробоваго безмолвія, лишь изрѣдка оживляемый глухимъ, безсильнымъ ропотомъ, робко замирающимъ при самомъ зарожденіи. Нѣтъ ни свѣта, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью вѣетъ темная и тѣсная тюрьма. Ни одинъ звукъ съ вольнаго воздуха, ни одинъ лучъ свътлаго дня не проникаетъ въ нее. Въ ней вспыхиваеть по временамъ только искра того священнаго пламени, которое пылаетъ въ каждой груди человъческой, пока не будеть залито наплывомъ житейской грязи. Чуть тлъется эта искра въ сырости и смрадъ темницы, но иногда, на минуту, вспыхиваетъ она и обливаетъ свътомъ правды и добра мрачныя фигуры томащихся узниковъ. При помощи этого минутнаго освъщенія мы видимъ, что тутъ страдаютъ наши братья, что въ этихъ одичавнихъ, безсловесныхъ, грязныхъ существахъ можно разобрать черти лица человъческато, — и наше сердце стъсняется болью и ужасомъ. Они молчатъ, эти несчастные узники. — они сидятъ въ летаргическомъ оцъпенъніи и даже не потрясаютъ своими цъпями; они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положеніе; но, тъмъ не менъе, они чувствуютъ тяжесть, лежащую на нихъ, они не потеряли способности ощущать свою боль. Если они безмолвно и неподвижно перепосятъ ее, такъ это потому, что каждый крикъ, каждый вздохъ, среди этого смраднаго омута, захватываетъ имъ горло, отдается колючею болью въ груди, каждое движеніе тъла, обремененнаго цъпями, грозитъ имъ увеличеніемъ тяжести и мучительнаго неудобства ихъ положенія. И неоткула ждать имъ отрады, негдъ искать облегченія: надъ ними буйно и безотчетно владычествуетъ безсмысленное самодурство, въ лицъ разныхъ Большовыхъ, Торцовыхъ. Брусковыхъ, Уланбековыхъ и пр., не признающее никакихъ разумныхъ правъ и требованій. Только его дикіе, безобразные крики нарушаютъ эту мрачную тишину и производятъ пугливую суматоху на этомъ печальномъ кладбищъ человъческой мысли и воли.

Но не мертвецы же всё эти жалкіе люди, не въ темныхъ же могилахъ родились и живутъ они. Вольный божій свётъ разстилался когда-то и передъ ними, хоть на короткое время, въ давнюю пору ранняго, беззаботнаго дётства. Восноминаніе объ этой золотой порё не оставляеть ихъ и въ смрадной тюрьмѣ, и въ горькой кабалѣ самодурства. Грубые, необузданные крики какого-нибудь самодура, широкіе размахи руки его напоминають имъ просторъ вольной жизни, гордне порывы свободной мысли и горячаго сердца, —порывы, заглушенные въ несчастныхъ страдальцахъ, но погибшіе не совсѣмъ безъ слѣда. И вотъ, черный осадокъ педовольства, безсильной злобы, тупого ожесточенія начинаетъ шевелиться на днѣ мрачнаго омута, хочетъ всплыть на поверхность взволнованной бездны и своимъ мутнымъ наплывомъ дѣлаетъ ее еще безобразнѣе и ужаснѣе. Нѣтъ простора и свободы для живой мысли, для задушевнаго слова, для благороднаго дѣла; тяжкій самодурный запретъ наложенъ на громкую, открытую, широкую дѣятельность. Но пока живъ человѣкъ, въ немъ нельзя уничтожить стремленія жить, т.-е. проявлять себя кавимъ бы то ни было образомъ во внѣшнихъ дѣйствіяхъ. Чѣмъ болѣе стремленіе это стѣсняется, тѣмъ его проявленія бываютъ уродливѣе; но совсѣмъ не быть они не могутъ, пока человѣкъ не совсѣмъ замеръ. И такова сила самодурства въ этомъ темномъ царствѣ Торцовыхъ, Брусковыхъ и Уланбековыхъ, что много людей, дѣйствительно, замираетъ въ немъ, теряетъ и смыслъ, и волю, и даже силу сердечнаго чувства — все, что составляетъ разумную жизнь, —

и въ идіотскомъ безсиліи прозябаеть, только совершая отправленія животной жизни. Но есть и живучія натуры; тв глубоко внутри себя собирають ядъ своего недовольства, чтобы при случав выпустить его, а между твиъ неслышно ползутъ, подобно зивъ, съеживаются, извиваются и перевертываются ужомъ и жабою... Они безмолвны, неслышны, незамътны; они знають, что всякое быстрое и размашистое движение отзовется нестерпимой болью на ихъ закованномъ тель; они понимають, что, рванувшись изъ своихъ жельзъ, они не выбъгутъ изъ тюрьмы, а только вырвутъ куски мяса изъ своего тела. И вотъ они принимаются за работу, глухую и тихую: изгибаясь, вертясь и сжимаясь, они пробують всв возможныя манеры — нельзя ли втихомолку высвободить руки, чтобы потомъ распилить свои цени... Начинается воровское, урывчатое движение, съ оглядкою, чтобы кто-пибудь не подмътиль его; начинается обманъ и подлость, притворство и зложелательство, ожесточение на все окружающее и забота только о себъ, о достижении личнаго спокойствия. Тутъ нътъ злобно обдуманныхъ плановъ, нътъ сознательной ръшимости на систематическую, подземную борьбу, нътъ даже особенной хитрости: тутъ просто невольное, вынужденное вившними обстоятельствами, вовсе необдуманное и ни съ чъмъ хорошенько несоображение, проявление чувства самосохранения. Какъ у насъ невольно и безъ нашего сознанія появляются слези отъ дыма, отъ умиленія и хрівна, какъ глаза наши невольно щурятся при внезацномъ и слишкомъ сильномъ свъть, какъ тъло наше невольно сжимается отъ холода, -такъ точно эти люди невольно и безсознательно принимаются за плутовскую, лицемърную и грубо-эгоистическую дъятельность, при невозможности дела открытаго, правдиваго и радушнаго... Нечего винить этихъ людей, хотя и не машаеть остерегаться ихъ: они сами не въдаютъ, что творятъ. Подъ страхомъ нагоняя и потасовки, рабски восинтанные, — съ безпрестаннымъ опасеніемъ остаться безъ куска клъба, рабски живущів, — они всв силы свои напрягають на пріобретеніе одной изъ главныхъ рабскихъ добродътелей — безсовъстной хитрости. И чего же имъ совъститься, какую правду, какія права уважать имъ? Выдь самодурство властвуетъ надъ ними, давитъ и убиваетъ ихъ совершенно безправно, безсимсленно, безсовъстно! Въ людяхъ, воспитанныхъ подъ тавимъ владычествомъ, не можетъ развиться сознанія правственнаго долга и истинныхъ началъ честности и права. Вотъ почему безобразнъйшее мошенничество кажется имъ похвальнымъ подвигомъ, самый гнусный об-манъ—ловкою штукой. Они могутъ васъ надувать, обкрадывать, подводить подъ ножъ, и при всемъ этомъ оставаться искренно радушными и любезными съ вами, сохранять невозмутимое добросердечие и множество истинно добродътельныхъ качествъ. Въ ихъ натуръ вовсе нътъ злости, нътъ

и въроломства; но имъ нужно какъ-нибудь выплыть, выбиться изъ гиглого болота, въ которое погружены они сильными самодурами; они знаютъ, что выбраться на свъжій воздухъ, которымъ такъ своболно дышатъ эти самодуры, можно съ помощью обмана и денегъ: и котъ они принимаются хитрить, льстить, надувать, начинаютъ и по мелочи, и большими кушами, но всегда тайкомъ и рывкомъ, закладывать въ свой карманъ чужое добро. Что за дъло, что оно чужое? Въдь у нихъ самихъ отняли все, что они имъли, свою волю и свою мысль; какъ же имъ разсуждать о томъ, что честно и что безчестно? какъ не захотъть надуть другого для своей личной выгоды?

Такимъ образомъ, наружная покорность и тупое, сосредоточенное горе, доходящее до соверженнаго идіотства и плачевивишаго обезличенія, переплетаются въ темномъ царствъ, изображаемомъ Островскимъ, съ рабскою хитростью, гнусиванимъ обманомъ, безсовъстиванимъ въроломствомъ. Тутъ никто не можетъ ни на кого положиться: каждую минуту вы можете ждать, что пріятель вашъ похвалится тімь, какь опъ ловко обсчиталь или обворовалъ васъ; компаньонъ въ выгодной спекуляціи легко можетъ забрать въ руки всъ деньги и документы и засадить своего товарища въ яму за долги; тесть надуеть зятя приданымь, женихь обочтеть и обидить сваху; невъста-дочь проведеть отца и мать, жена обманеть мужа. Ничего святого, ничего чистаго, ничего праваго въ этомъ темномъ мірф: господствующее надъ нимъ самодурство - дикое, безумное, неправое - прогнало изъ него всякое сознание чести и права... И не можетъ быть ихъ тамъ, гдв повержены въ пракъ и нагло растоптаны самодурами человъческое достоинство, свобода личности, въра въ любовь и счастье и святыня честнаго труда.

А между тёмъ, тутъ же, рядомъ, только за ствною, идетъ другая жизнь, свътлая, опрятная, образованная... Объ стороны темнаго царства чувствуютъ превосходство этой жизни и то пугаются ея, то привлекаются къ ней. Но основы этой жизни, ея внутренняя сила совершенно непонятны для жалкихъ людей, отвыкшихъ отъ всякой разумности и правды въ своихъ житейскихъ отношеніяхъ. Только самыя грубня и внѣшнія, бьющія въ глаза, проявленія этой образованности понятны для нихъ, только на нихъ они нападаютъ, ежели вздумають не взлюбить образованность, и только имъ подражаютъ, ежели увлекутся страстью жить по благородному. Старикъ-самодуръ сбръетъ бороду и станетъ напиваться шампанскимъ, вмъсто водки, дочь его будетъ пъть жеестокіе романсы и увлекаться офицерами, сынъ начнетъ кутить и покупать дорогія платья и шали танцовщицамъ: вотъ и весь кодексъ ихъ образованности... За то и тъ, которые боятся новаго свъта, — если имъ попадется дурачекъ Вихо-

ревъ или Бальзаминовъ, рады его принять за представителя образованности, и по поводу его излить свое негодование на новые порядки... И такъ, черезъ всю жизнь самодурова, черезъ все страдальческое существование безотвытных проходить эта борьба съ волной новой жизни, которая, конечно, зальетъ когда-нибудь всю издавна накопленную грязь и превратитъ топкое болото въ свътлую и величавую ръку, но которая теперь еще только вздымаеть эту грязь, и сама въ нее всасывается и вийсти съ нею гність и смердить... Теперь новыя начала жизни только еще тревожать сознаніе всьхъ обитателей темнаго царства, въ род в далекаго привиденія или кошмара. Даже для техъ, которые решаются сами подражать новую моду, она все-таки тяжела такъ, какъ тяжелъ бываетъ всякій кошмаръ, хотя бы въ немъ представлялись видънія самыя прелестныя. И точно какъ послъ кошмара, даже тъ, которые, повидимому, успъли уже освободиться отъ самодурнаго гнета и успъли возвратить себъ чувство и сознаніе, -и тв все еще не могуть найтись хорошенько въ своемъ новомъ положеніи и, не понявъ ни настоящей образованности, ни своего призванія, не умъютъ удержать и своихъ правъ, не ръщаются и приняться за дъло, а возвращаются опять къ той же покорности судьбъ, или къ темнымъсдълкамъ съ ложью и самодурствомъ.

Таково общее внечатлѣніе комедій Островскаго, какъ ши ихъ понимаемъ. Чтобы нѣсколько рельефнѣе выставить нѣкоторыя черты этого блѣднаго очерка, напомнимъ нѣсколько частностей, долженствующихъ служить подтвержденіемъ и поясненіемъ нашихъ словъ. Въ настоящей статьѣ мы ограничися представленіемъ того нравственнаго растлѣнія, тѣхъ безсовѣстно-неестественныхъ людскихъ отношеній, которыя мы находимъ въ комедіяхъ Островскаго, какъ прямое слѣдствіе тяготѣющаго надъ всѣми самодурства.

Раскрываемъ первую страницу "Сочиненій Островскаго". Мы въ домѣ вупца Пузатова, въ комнатъ, меблированной безъ вкуса, съ портретами, райскими птицами, разноцвътными драпри и бутылками настойки. Марья Антиповна, девятнадцати-лътняя дъвушка, сестра Пузатова, сидитъ за пяльцами и поетъ: "Черный цетьтъ, мрачный цетьтъ". Потомъ она говоритъ сама съ собой:

«Воть ужь и лето проходить, и сентябрь на дворе, а ты сиди въ четырехъ стенахъ, какъ монашенка какая-нибудь, и къ окну не подходи. Куда какъ антиресно!»

Дъйствительно, жизнь дъвушки не очень интересна: въ домъ властвуетъсамодуръ и мошенникъ Пузатовъ, братъ Марьи Антиповны; а когда его нътъ, такъ подглядываетъ за своею дочерью и за молодой женой сына ворчливая старуха, — мать Пузатова, богомольная, добродушная и готовая за грошъ продать человъка. Съ этими людьми нътъ ни отрады, ни

покоя, ни раздолья для молодых в женщинъ; он в должны умереть съ тоски и съ огорченія на безпрестанное ворчанье старухи да на капризы хозимна. Попевол в начинають он в изыскивать для себя тайныя развлеченія и, разум'ьется, находять. Воть что говорить Марья Антиновна тотчась посл в жалобы на судьбу свою:

«Что жъ, пожалуй, не пускайте, запирайте на замокъ! тиранствуйте! А мы съ сестрицей отпросимся ко всенощной въ монастырь, разольнемся, а сами въ паркъ отличимся, либо въ Сокольники. Надо какъ-нибудъ на хитрости подыматися»...

Вотъ вамъ первый образчикъ этой невольной, ненужной хитрости. Какъ сложилось въ Марьв Антиновив такое разсуждение, отъ какихъ частныхъ случайностей стала развиваться наклонность къ хитрости, — что намъ за дъло!.. Мы знаемъ общую причину такого настроенія, указанную намъ очень ясно самимъ же Островскимъ, и видямъ, что Марья Анти-повна составляетъ не исключительное, а самое обыкновенное, почти всегдашнее явленіе въ этомъ род'в. Бол'я намъ ничего и не нужно для объ-ясненія ея ранней испорченности. Но Островскій вводить насъ въ самую глубину этого семейства, заставляеть присутствовать при самыхъ интимныхъ сценахъ, и мы не только понимаемъ, им скорбно чувствуемъ сердцемъ, что тутъ не можетъ быть иныхъ отношеній, какъ основанныхъ на обманъ и хитрости съ одной стороны, при дикомъ и безсовъстномъ деспотизм'в-съ другой. Сцены Марын Антиповны съ Матреной Саввишной, женой Пузатова, и ихъ объихъ съ кухаркой — объясняють всю гнусность разврата, на которомъ все держится въ этомъ домъ. Матрена Саввишна объясняетъ Машъ, что не нужно пріучать офицеровъ подъ окнами вздить, потому что слава дурная пойдеть, и после не развяженься. Между темъ. у нихъ ужъ послана кухарка къ какимъ-то молодцамъ, которые зовутъ ихъ въ Останкино и просятъ захватить бутилку мадеры. Разумвется, и это д'влается втихомолку и съ тренетомъ, потому что, хоть Пузатова и ивть дома, но мать его за всемъ подсматриваетъ и всему ившаетъ. Еще только увидавши въ окошко возвращающуюся Дарью, Машенька пугливо восклицаетъ: "ахъ, сестрица, какъ бы она маменькъ не попалась!" И Дарья дъйствительно попалась; но она сама тоже непромахъ, — умъла отвертъться: "за шолкомъ, говоритъ, въ лавочку бъгала". Надсмотрщицу провели на этотъ разъ. Но вотъ, среди разговора молодыхъ женщинъ съ кухаркой, раздается маленькій шумъ за сценой; кухарка пугливо прислушивается и говорить: "никакъ, матушка, самъ прівхалъ"... И дъйствительно, еще изъ передней раздается голосъ Пузатова: "жена! а жена! Матрена Саввишна!.. "Жена подходить къ дверямъ и спрашиваетъ: "что такое? " Мужъ отвъчаетъ: "здравствуй! А ты думала, Вогъ знаетъ что!.. "Этотъ приступъ даетъ уже вамъ мърку супружескихъ отношеній Антипа Анти-

пыча и Матрены Саввишны. Ясно, что жена для него въ родъ резиновой куклы, которою забавляются дети: то ноги ей вытянуть, то голову сплющать или растянуть, и смотрять, какой изъ этого видь будеть. Ни малъйшаго сознанія ея человъческихъ правъ и ни мальйшей имели объ уваженіи ся нравственной личности никогда и не бывало у Пузатова. Его отношенія къ ней ограничиваются животными побужденіями и потіхой своего самодурства. Онъ говоритъ, что жена его, "какъ разрядится, такъ лучше всякой барыни, — вальяжный, ей-Богу! Выдь ты все мелочь, съ позволенія сказать, взглянуть не на что нашему брату. А она у меня таки того... То-есть я — насчеть твлосложенія... Ну, и все такое ... И свои обязанности къ женъ, для пріобрътенія дюбви ея, онъ ограничиваеть тъмъ же. Вотъ его отзывъ: "чтобъ она меня, молодца такого, да промъняла на кого-нибудь, - красавца-то этакого!.. "А въ чемъ его красота! Вотъ его собственное определение: , то ли дело купецъ хороший, гладкий да румяный, - вотъ какъ я. Ужъ и любить то есть кого; не то что стрикулисть чахлый "... Впрочемъ, въ этомъ онъ, можетъ быть, и правъ: не даромъ же у насъ рисуются каррикатуры иншныхъ камелій во фракахъ, господъ, живущихъ на счетъ чужихъ женъ!.. И если Матрена Саввишна потихоньку отъ мужа вздить къ молодниъ людямъ въ Останкино, такъ это, конечно, означаетъ частію то, что ем развитіе направилось нъсколько въ другую сторону, частію же и то, что ей ужъ очень тошно приходится отъ самодурства мужа. А самодурство это вотъ какъ, напр., выражается. Антипъ Антипычъ, въ ожиданіи чая, сидить и смотрить по угламъ, наконецъ отпускаетъ, отъ нечего дълать, следующую штуку:

Антипъ Антипычъ (грозно). Жена! Поди сюда!

Матрена Саввишна. Что еще?

Антипъ Антипычъ. Подв сюда, говорять тебь (ударяя кулаком по столу).

Матрена Саввишна. Да что ты, очумьль, что-ли?

Антипъ Антипычъ. Что я съ тобой сдъјаю? (стучите по столу). Матрена Саввишна. Да что съ тобой? (робко) Антипъ Антипучъ...

Антипъ Антипычъ. А? испугалась! (смыется). Нъть, Матрена Саввишна, это я такъ-шутки шучу (вздыхаеть). Что же чайку-то-съ?

Видите, это онъ со скуки такія *шутки шутит*ь! Ему скучно стало чаю дожидаться... Понятно, какія чувства можеть питать къ такому мужу самая невзыскательная жена.

Но Антипъ Антипычъ — еще прогрессивный и гуманный человѣкъ въ сравненіи съ своей матушкой. Онъ считаеть удобнымъ побить жену только во хмелю, да и то не совсѣмъ одобряетъ. Выдавая сестру за Ширялова, онъ спрашиваетъ: "ты вѣдь во хмелю смирный? не дерешься?" А матушка его, Степанида Трофимовна, такъ и этого не признаетъ: она бранитъ сына, зачѣмъ онъ жену въ страхѣ не держитъ. "Мой покойникъ, — говоритъ, —

какъ меня ни любилъ, какъ ни голубилъ, а въ спальнъ на гвоздикъ плетка висъла про всякій случай". У сына ея нътъ плетки, и это она считаетъ уже за упадокъ нравственности... Но жена и безъ плетки видитъ необходимость лицемърить предъ мужемъ: она, съ притворной нъжностью, цълуетъ его, ласкается къ нему, спрашивается у него и у матушки къ вечервъ да ко всенощной, хотя и сама обнаруживаетъ нъкоторую претензію на самодурство и говоритъ, что "не родился тотъ человъкъ на свътъ, чтобы ее молчать заставилъ". Обманъ и притворство полноправно господствуютъ въ этомъ домъ и представляютъ намъ какъ будто какую-то особенную религію, которую можно назвать религію лицемърства.

Отставши отъ жены, Пузатовъ переходитъ къ сестрв и начинаетъ сватать ей жениховъ. При этомъ делаются опять разные скромные намеки на счетъ твлеснаго сложенія, отъ которыхъ не менве скромная дввушка убъгаетъ изъ комнаты. Затъмъ начинается о судьбъ ея интимный совътъ между матерью и сыномъ. Мать предлагаетъ въ женихи Ширялова, котораго рекомендуетъ такъ: "онъ хоть и старенькій, и вдовий, да денегъ-то, Антипушка, больно много - куры не клюють. Ну да и человъкъ-то степенный, набожный, примърный купецъ, въ уважении". Сынъ отвъчаетъ на это лаконически: "только, матушка, уже больно плутв". Подумаеть, что Пузатовъ уважаетъ честность и не любитъ мошенничества. Ничуть не бывало. У него есть свои собственныя понятія, по которымъ плутовать следуеть, но только до какихъ-то пределовь, хотя, впрочемь, онъ и самъ хорошенько не знаетъ, до какихъ именно... А такъ, покажется ему, что этотъ человъкъ еще не больно плута, а воть этоть такъ ужъ больно плута. И если ужъ больно плутъ, такъ у него какъ будто и совъсть зазритъ. А впрочемъ, послъдствій особенныхъ и это чувство не имъетъ. Вотъ что говорятъ мать и сынъ относительно своихъ нравственныхъ понятій На замвчаніе сына о плутовствв Ширялова, Степанида Трофимовна отвінаєть:

«Ахъ, батюшки мои! Да чёмъ же онъ плуть, скажи пожалуйста! Каждый праздикъ онъ въ церковъ ходить, да придетъ-то раньше всъхъ; посты держитъ; великимъ постомъ и чаю не пъетъ съ сахаромъ, — все съ медомъ, либо съ взюмомъ. Такъ-то, толубчикъ! не то, что ты... А если и обманетъ кого, такъ что за бъоа! Не онъ первый, не онъ послъдній; человъкъ коммерческій: тьмъ, Антипушко, и торговля то оержится. Не помимо пословица-то говорится: «не обмануть— не продать».

Антипъ Антипы чъ. Что говорить! Отчего не надуть пріятеля, коли рука подойдеть. Ничего. Можно. Да ужъ, матушка, вёдь иногда и совъеть зазрить (чешеть ватылокъ). Право слово. И смертный часъ вспомнишь. (Молчаніе). Я и самъ. гдь трафится, не хуже его мину-то подведу. Да я въдь и скажу потомъ: вотъ, молъ, я тебя, такъ и такъ, помазалъ маленько. Вотъ въ прошломъ году, Савву Саввича, при разсчетв, рубликовъ на пятьсотъ подделъ. Да вёдь я после сказалъ ему: вотъ, молъ, Савва Саввичъ, промигалъ ты полтысячки, да ужъ теперь, братъ, поздно, говорю: а ты, молъ, не зъвай. Посердился немножко, да и опять пріятели. Что за важность.

Вы видите, что Пузатовъ не считаетъ свои мошенничества дурнымъ дёломъ, не считаетъ даже обманомъ, а просто — ловкой, умной штукой, которой даже похвалиться можно. И тв, кого онъ обдуваетъ, держатся того же мивнія: Савва Саввичь посердился на то, что допустиль оплести себя, но потомъ, когда оскорбленное самолюбіе угомонилось, онъ опять сталь пріятелемь съ Антипомь Антипычемь. Обмань туть-явленіе нормальное, необходимое, какъ убійство на войнъ. Быть этого темнаго царства такъ уже сложился, что въчная вражда господствуеть между его обитателями. Тутъ всв въ войнъ: жена съ мужемъ — за его самовольство, мужъ съ женою — за ея непослушание или неугождение; родители съ дътьми за то, что дети хотять жить своимъ умомъ; дети съ родителями за то, что имъ не даютъ жить своимъ умомъ; хознева съ приказчиками, начальники съ подчиненными воюють за то, что они хотять все подавить своимъ самодурствомъ, а другіе не находятъ простора для самыхъ законныхъ своихъ стремленій; діловые люди воюють изъ-за того, чтобы другой не перебиль у нихъ барышей ихъ дъятельности, всегда разсчитанной на эксплоатацію другихъ; праздные шатуны быются, чтобы не ускользнули отъ нихъ тв люди, трудами которыхъ они задаромъ кормятся, щеголяютъ в богатыють. И всв эти люди воюють общими силами противъ людей честныхъ, которые могутъ открыть глаза угнетеннымъ труженикамъ и научить ихъ громко и настоятельно предъявить свои права. Вследствие такого порядка дёль, всё находятся въ осадномъ положени, всё хлоночуть о томъ, какъ бы только спасти себя отъ опасности и обмануть бдительность врага. На всъхъ лицахъ написаны испугъ и недовърчивость; естественный ходъ мышленія изміняется, и на місто здравых в понятій вступають особенныя, условныя соображенія, отличающіяся скотскимъ характеромъ и совершенно противныя человъческой природъ. Извъстно, что логика войны совершенно отлична отъ логики здраваго смысла. Военная хитрость восхваляется, какъ доказательство ума, направленнаго на истребление своихъ ближнихъ; убійство превозносится, какъ лучшая доблесть человъка; удачный грабежъ, -- отнятіе лагеря, отбитіе обоза и пр., -- возвышаетъ человъка въ глазахъ его согражданъ. А между тъмъ, во всъхъ законодательствахъ есть наказанія — и за обманъ, и за грабежъ, и за убійство. Мало того, во всъхъ законодательствахъ признаются смягчающія обстоятельства, и иногда самое убійство извиняется, если побудительныя причины его были слишкомъ неотразимы. А между тымъ, какія смягчающія обстоятельства имъются, напримъръ, для венгерца или славянина, идущаго на войну противъ итальянцевъ для того, чтобы Австрія могла попрежнему угнетать ихъ? Какою страшною казнію нужно бы казнить каждаго венгерскаго и славанскаго офицера или солдата за каждый выстрель, сделанный имъ по французскимъ и сардинскимъ полкамъ! Но такова сила повальнаго ослъпленія, что за убійство и грабежи на войнъ не только не казнять никого, но еще восхваляютъ и награждаютъ! Точно въ такомъ безумномъ ослъпленіи находятся всъ жители темнаго царства, возстающаго передъ нами изъ комедій Островскаго. Они въ постоянной войнъ со всъмъ окружающимъ, и потому не требуйте и не ждите отъ нихъ раціональныхъ соображеній, доступныхъ человъку въ спокойномъ и мирномъ состоянія. Пузатовъ дълаетъ такой военный силлогизмъ: "если я тебя не разобью, такъ ты меня разобьещь; такъ лучше же я тебя разобью". И что же сказать противъ тякого силлогизма? И не рождается-ли опъ самъ собою у всякаго человъка, поставленнаго въ затруднительное положеніе выбирать между побъдою и пораженіемъ? Нечего и удивляться, что, разсказывая о томъ, какъ не додалъ денегъ нъмцу, представившему счетъ изъ магазина. Пузатовъ разсуждаетъ такъ: "а то всъ ему и отдать? да за что это? Нътъ, ужъ опосля честь будетъ. Они тамъ ломять штиу, какую хотить, а-имъ съ дуруто и върять. И въ другой разъ то же сдълаю, коли векселя не возъметъ". Вы видите, что здъсь идетъ самая обыкновенная игра: кто лучше играетъ, тотъ и остается въ выигрышъ.

побъдою и пораженіемъ? Нечего и удивляться, что, разсказывая о томъ, какъ не додалъ денегъ нъмцу, представившему счетъ изъ магазина. Пузатовъ разсуждаетъ такъ: "а то всё ему и отдать? да за что это? Нѣтъ, ужъ опосля честь будетъ. Они тамъ ломятъ цтъну, какую хотятъ, а -имъ съ дуруто и впрятъ. И въ другой разъ то же сдълаю, коли векселя не возъметъ". Вы видите, что здъсь идетъ самая обыкновенная игра: кто лучше играетъ, тотъ и остается въ выигрышъ.

Но Пузатовъ самъ не любитъ собственно обмана, обмана безъ нужди, безъ надежды на выгоду; не любитъ, между прочимъ, и потому, что въ такомъ обманъ выражается не солидный умъ, занятый существенными интересами, а просто легкомысліе, лишенное всякой основательности. Ширялова же, у котораго плутовство переходитъ всякія границы, опъ не одобряетъ больше потому, что ужъ тотъ ни войны, ни мира не разбираетъ, — то во время перемирія стрълять начнетъ, то даже по своимъ ударитъ. "Это, — говоритъ Пузатовъ, — словно жидъ какой: отца родного обманетъ. Право. Такъ вотъ въ глаза и смотритъ всякому. А въдь святошей при-"Это, — говоритъ Пузатовъ, — словно жидъ какой: отца родного обманетъ. Право. Такъ вотъ въ глаза и смотритъ всякому. А въдь святошей прикидывается". Впрочемъ, и неодобреніе Пузатова нельзя въ этомъ случав принимать серьезно: въ самую минуту его брани на Ширялова, купецъ этотъ является къ Антипу Антипычу въ гости. Антипъ Антипычъ не только очень любезно принимаетъ его, не только внимательно слушаетъ его разсказы о кутежъ сына-Сеньки, вынуждающемъ старика самого жениться, и о собственныхъ плутовскихъ штукахъ Ширялова, но въ заключеніе еще сватаетъ за него сестру свою, и тутъ же, безъ согласія и безъ въдома Марыи Антиповны, окончательно слаживаетъ дъло. Что его побудило къ этому? Отвътъ высказывается въ нъсколькихъ словахъ, произносимыхъ имъ по уходъ Пирялова. "Экой воръ мужикъ-то", — самъ съ собою разсуждалъ Пузатовъ, подмигивая глазомъ: "тонкая бестія! Въдь какимъ лазаремъ прикинется! Вишь ты, Сенька виноватъ!.. А ужъ что, братъ, толковать: просто на старости блажь пришла... Что-жъ, мы съ нашимъ удовольствіемъ! просто на старости блажь пришла... Что-жъ, мы съ нашимъ удовольствіемъ!

Ничего, можно-съ!.. Только, Парамонъ Ферапонивии, насчетъ приданаго-то кто кого обманетъ, —дъло темное-съ. Мы тоже съ матушкой на свою руку охулки не положимъ"... Дѣло, стало быть, очень просто: представилась возможность выгодно сбыть сестру; кавъ же не воспользоваться случаемь? Для сестры же тутъ доброе дѣло выходитъ: все-таки будетъ пристроена!..

Таковы люди, таковы людскія отношенія, представляющіяся намъ въ "Семейной картинь", первомъ, по времени, произведеніи Островскаго. Въ немъ уже находятся задатки многаго, что поливе и ярче раскрылось въ последующихъ комедіяхъ. По крайней мерф видно, что уже и въ это время авторъ былъ пораженъ тёмъ непріязненнымъ и мрачнымъ характеромъ, какимъ у насъ большею частью отличаются отношенія самыхъ близкихъ между собою людей. Здёсь же намечены отчасти и причины этой мрачности и враждебности: безсмысленное самодурство — однихъ и робкая уклончивость, бездеятельность — другихъ. Тутъ же чрезвычайно ярко и рельефно выставлены и последствія такого неестественнаго порядка вещей — всеобщій обманъ и мошенничество, и въ семейныхъ, и въ общественныхъ дёлахъ.

Въ "Своихъ людяхъ" мы видимъ опять ту же религію лицемърства и мошенничества, то же безсимсліе и самодурство - однихъ и ту же обманчивую покорность, рабскую хитрость — другихъ, но только въ большемъ развътвленіи. Здъсь намъ представляется въсколько степеней угнетенія, указывается ніжоторая система въ распредівленій самодурства, дается бчеркъ его исторіи. Самый главный самодуръ, деспоть всехъ къ нему близкихъ, не знающій себъ никакого удержу, ость Самсонъ Силычъ Большовъ. И какой же страхъ онъ внушаетъ всему дому! Аграфена Кондратьевна, жена его, грозить своей взрослой дочери, что "отцу пожалуется"; а та отвъчаеть: "васъ на то Богъ и создалъ, чтобы жаловаться; сами-то вы не очень для меня значительны". На вторичную угрозу, она огрызается еще рвзче: "только и ладить, что отца да отца; бойки вы при немъ разговаривать - то, а попробуйте - ка сами! Видно, что Самсонъ Силычъ и для жены, и для дочери представляется чемъ-то въ роде пугала, и оне обе, хотя и стращають имъ другь друга, но составляють противъ него глухую, затаенную, само собою образовавшуюся оппозицію. Аграфена Кондратьевна, по своей крайней недальности, не можетъ сама привести въ ясность своихъ чувствъ, и только охами да вздохами выражаетъ, что ей тяжело. Но Липочка очень безцеремонно говорить: "у маменьки семь пятницъ на недълъ; тятенька—какъ не пьянъ, такъ молчитъ, а какъ пьянъ, такъ при-бъетъ, того и гляди... Каково это терпъть образованной барышнъ! " Служащіе въ дом' все насквозь пропитаны теми же мрачно-робкими чувствами:

мальчикъ Тишка жалуется на вытренки, получаемыя имъ отъ хозяина; кухарка Өоминишна имъетъ слъдующій разговоръ съ Устиньей Наумовной, свахой, пріискивающей жениха Липочкъ, дочери Большова:

Устинья Наумовна. Садись, Ооминаппа, - поги-то старыя, ломаныя.

Ооминишна. И, мать! некогда. Выдь какой грахъ-то: самь-то что-то изъ городу не вдеть. всв подъ сграхомъ ходимъ; того и глязи, пьяный придесть. А ужъ какой благой-то, Господи! Зародится же выдь этакой озорникъ!

Устинья Наумовна. Извастное дало: съ богатымъ мужикомъ, что съ чор-

томъ, не скоро спобразишь.

Ооминишил. Ужъ мы отъ него страста-то видъли. Вотъ на прошлой недълв ночью пьяный прітхаль: разноевался такъ, что на-поди. Страсти, да и только! Посуду колотитъ... «У!—говоритъ,--такія вы и этакія, убыю сразу».

И дъйствительно, Самсонъ Силычъ держитъ всъхъ, можно сказать, въ страхъ Божіемъ. Когда онъ показывается, всъ смотрятъ ему въ глаза и съ трепетомъ стараются угадать, — что, каковъ онъ вотъ небольшая сцена, изъ которой видно, какой трепетъ отъ него распространяется по всему дому. Въ комнату вбъгаетъ Ооминишна и кричитъ:

Ө о м и н и ш и а. Самсонъ Свлычъ прівхалъ, да никакъ хмельной!...

Тишка. Фю! попались!

Ооминишил. Быти, Тишка, за Лазаремъ: голубчикъ, быти скорый!..

Аграфена Кондратьевна (показывается на аветницы). Что, Ооминициа, матушка, куда онъ идеть-то?

О м и н и ш н а. Да никакъ, матушка, сюда! Охъ, запру я двери-то, ей-богу, запру; пускай его къ верху и етъ, а ужъ ты, голубушка, здъсь посиди.

И къ довершенію всего, оказывается, вѣдь, что Самсонъ Силычъ вовсе и не цьянъ; это такъ только ноказалось Ооминишив. Но замвчательно, какъ смъщиваетъ всъ понятія, уничтожаетъ всъ различія этотъ, надъ всъми тяготъющій, деспотизиъ: мать, дочь, кухарка, хозяйка, мальчишка-слуга, приказчикъ — все это въ трудную минуту сливается въ одно — въ угнетенную партію, заботящуюся о своей защить. Ооминишна, которая въ другое время быетъ Тишку и помыкаетъ имъ, упрашиваетъ его и называетъ голубчиконъ; Аграфена Кондратьевна съ жалобнымъ видомъ обращается къ своей кухаркъ съ вопросомъ: "что, Ооминишна, матушка"... Ооминишна смотритъ на нее съ состраданіемъ и готовится оказать ей покровительство запоромъ дверей... Только приказчикъ, Лазарь Подхалюзинъ, связанный какимъ-то темнымъ, неусловленнымъ союзомъ съ своимъ хозяиномъ, и готовящійся самъ быть маленькимъ деспотомъ, стоитъ несколько въ стороне отъ этого страха, разделяемаго всякимъ, кто вступаеть въ домъ Большова. Въ Подхалюзинъ намъ является другая, низшая инстанція самодурства, подавленнаго до сихъ поръ тяжелымъ гнетомъ, но уже начинающаго поднимать свою голову... Разсуждая съ Подхалюзинымъ, сваха говорить емт: "въдь, ты самъ знаешь, каково у насъ чадочко Самсонъ-то Силычъ; въдь онъ, неровенъ часъ, и чепчикъ помнетъ". А Подхалюзинъ самоувъренно

отвъчаеть: "ничего не помнетъ-съ". Въ отвътъ Тишкъ, который грозитъ пожаловаться хозяину на подзатыльники Лазаря, онъ еще ръшительнъе: "Хозяину скажу! Что мнъ твой хозяинъ! Я, коли на то пошло"... начинаеть онъ, но не договариваетъ. Видно, что и онъ-таки не забылъ еще, каково чадочко Самсонъ Силычъ. Впрочемъ, и Подхалюзинъ такъ куражится уже тогда, когда въ его рукахъ вся механика, подведенная Боль-шовымъ для объявленія себя банкрогомъ. Онъ чувствуеть себя въ положеніи человіка, успівшаго толкнуть своего тюремщика за тудверь, изъза которой самъ усивлъ выскочить. Но у тюремщика остались ключи отъ воротъ острога: надо ихъ еще вытребовать, а потому Подхалюзинъ, чувствуя себя уже не въ тюрьмъ, но зная, что онъ еще и не совстиъ на свободъ, безпрестанно переходить от самодовольной радости къ безпокойству и мъщаетъ наглость съ раболъпствомъ. Онъ уже получиль домъ и лавки Большова; нужно ему окончательно овладъть имъніемъ старика, да еще жениться на его дочери, которая пришлась ему очень по нраву. Усивхъ своихъ надеждъ Подхалюзинъ основываетъ именно на самодурствъ Большова. Не употребляя долгихъ исканій и не дълая особенно злостныхъ илановъ, онъ только подбиваеть сваху отговорить прежняго жениха Липочки, изъ благородныхъ, а самъ поддълывается къ Большову раболеннымъ тономъ и выражениемъ своего участия къ нему. Предварительныя соображения его очень нехитры. Онъ говорить самъ себъ: "а знавши-то характеръ Самсона Силыча, каковъ онъ есть, это и очень можеть случиться. У нихъ такое заведеніе: коли имъ что попало въ голову, ужъ ничѣмъ не выбьешь оттедова. Все равно, какъ въ четвертомъ году захотѣли бороду обрить: сколько ни просили Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали,—нътъ, говорить, послъ опять отпущу, а теперь поставлю на своемъ: взяли да и обрили. Такъ вотъ и это дъло: потрафь и по нихъ, или такъ взойди имъ въ голову — завтра же подъ вънецъ, и баста, и разговаривать не смъй". Исно, что тутъ весь разсчеть очень немногосложенъ: весь онъ бьетъ на деспотическій характеръ Большова. Тутъ, разумѣется, хитрости особенной и не можеть быть, потому что и всякому дураку законь не писань, а самодуруи подавно, следовательно, съ нимъ ничего не сообразишь, по выраженію Устиньи Наумовны. Подхалюзинъ такъ и знаетъ, что онъ идетъ на авось. "Потрафь, — говорить, — я по нихь, или такь взойди имь вь голову" — оба шанса равно въроятны и равно невъроятны. А что касается до потрафленья, такъ туть опять немного нужно соображенія: ври о своей покорности, благодарности, о счастій служить такому челов'єку, о своемъ ничтожеств'є передъ нимъ, — больше ничего и не нужно для того, чтобы ублажить глупаго мужика деспотическаго характера. Изъ всъхъ родовъ житейской дипломатики — это самый низшій, это не болье, какъ разсчеть

перваго слёдующаго хода въ шахматной игръ. Большовъ поддается на эту нехитрую штуку, потому что своевольныя привычки давно уже затмили въ немъ всякую сообразительность, лишили всякой возможности смотрать на вещи прямо и здраво. Себя самого онъ ставить единственнымъ закономъ и средоточіємъ всего, до чего только до ягаеть его д'ягельность. Въ своемъ семействф онъ это выражаетъ съ цинической грубостью. О дочери онъ говорить: "мое датище: хочу— съ кашей амъ, хочу— масло нахтаю". Оттого и выдача ея, противъ воли, замужъ за Подхалюзина представляется ему не болве, какъ занимательнымъ опытомъ. "А вотъ ты заходи-ка ужо къ невъстъ, — говоритъ Лазарю: — мы надъ ними шутку подшутимъ". Шутка эта состоитъ въ томъ, что онъ внезанно объявляетъ женъ и дочери, что Лазарь—женихъ Липочки. Вст растерялись: и мать, и сваха, и Ооми-нишна, и сама невъста, которая, впрочемъ, какъ образованиая, нашла въ себъ силы выразить ръшительное сопротивленіе и закричать: "не хочу, не хочу, не пойду я за такого противнаго". Разумъется, изъ этого сопротивленія ничего не можетъ выдти: Самсона Силыча не уломаеть. А туть еще Подхалюзинъ поджигаетъ его, коварно говоря: "видно, тятенька, не бывать-съ по вашему желанію". Этихъ словъ достаточно, чтобъ Вольшовъ насильно соединилъ руки жениха и невесты и возразилъ такимъ манеромъ: "какъ же не бывать, коли я того хочу? На что-жь я и отець, коли не приказывать? Даронъ, что-ли, я ее кормилъ?" Какъ видите, Большовъ изъ отцовскихъ обязанностей признаетъ только одну: давать приказанія дътямъ. А что онъ кормиль дочь, такъ это ужъ благодъяние, за которое она должна ему отплатить полнымъ отречениемъ отъ своей воли. Точно таковъ же онъ и во всей дъятельности. Онъ самъ замъчаетъ, напримъръ. что Подхалюзинъ мошенникъ; но ему до этого дела нетъ, потому что Подхалюзинъ его приказчикъ и объ его пользъ старается. Безъ малъйшей застънчивости онъ упрекаетъ его въ неблагодарности, указывая на такіе факты: "вспочни то, Лазарь, сколько разъ я замъчалъ, что ты на руку нечистъ? что жъ? Я въдь не прогналъ тебя, не ославилъ тебя на весь городъ. Я тебя сдълалъ главнымъ приказчикомъ, тебъ я все свое состояніе отдаль, да тебъ же, Лазарь, я отдаль и дочь-то своими руками". И все это въ надеждъ, что Лазарь будеть славно мошенничать и наживать деньги отъ всъхъ, кромъ, разумъется, самого Большова. То же самое и съ Рисположенскимъ, пъявымъ приказнымъ, занимающимся кляузами и дълающимъ кое-что по дъламъ Большова: Самсонъ Силычъ подсмвивается надъ тъмъ, какъ его изъ суда выгнали, и очень сурово ръшаетъ, что его надобно бы въ Камчатку сослать. На вопросъ Рисположенскаго: "за что же въ Камчатку"? Большовъ отръзываетъ: "За что! За безобразіе! Такъ не-ужели жъ вамъ потакать?" Но такой строгій взглядъ на дъятельность вы-

гнаннаго изъ службы чиновника нисколько не мѣшаетъ Самсону Силычу требовать его услугъ въ дѣлѣ замышленнаго имъ злостнаго банкрогства. Вольшовъ какъ будто считаетъ себя совершенно виѣ тѣхъ нравственныхъ правилъ, которыя признаетъ обязательныма для другихъ. Это странное Большовъ какъ будто считаетъ себя совершенно вив твхъ нравственныхъ правилъ, которыя признаетъ обязательныма для другихъ. Это странное явленіе (столь частое, однако же, въ нашемъ обществі) происходить оттого, что Большовъ не понимаетъ истинныхъ началъ общественнаго союза, не признаетъ круговой поруки правъ и обязанностей человъка въ отношеніи въ другимъ и, подобно Пузатову, смотритъ на общество, какъ на вражескій станъ. "Мив бы самому какъ нибудь получить устроиться; а тамъ, кто отъ того пострадаетъ, или прибиль получить, мяв до этого дъла ивтъ; коли пострадаетъ, такъ самъ вниовать: оплошалд, стало быть ". На такихъ соображеніяхъ держатся всв думы Большова, такими соображеніями былъ онъ подвигнутъ и на то, чтобы объявить себя несостоятельнымъ. Островскаго упрекали въ томъ, что онъ не довольно полно и ясно выразилъ въ своей комедіи, какимъ образомъ, вслѣдствіе какихъ особенныхъ вліяній, въ какой послѣдовательности и въ какомъ соотвѣтствіи съ общями чертами характера Большова явилось въ немъ намѣреніе объявить себя банкротомъ. "Влостное банкротство, — говорили критики, — есть такое преступленіе, которое ужаснѣе простого обмана, воровства и убійства. Оно соединяеть въ себѣ эти три рода преступленій; но оно еще ужаснѣе потому, что совершается обдуманно, подготовляется очень долго, требуетъ много ковариаго теривнія и самаго нахальнаго присутствія духа. Ръпиться на такое преступленіе можетъ человъкъ только при ложныхъ убъжоеміяхъ, или вслѣдствіе какихъ - нибудь особенно неблагопрінтныхъ вравственныхъ вліяній. У Островскаго не только ничего этого не показано, но даже выставлено банкротство Большова просто какъ прихоть, составщая въ томъ, что ему ме хочемся платить денегъ ". Всѣ подобныя соображенія, будучивполнѣ вѣрны въ теоретическомъ оношеніи, оказываются, однако же, совершенно неприложимыми къ русской жизнь. Въ томъ, что наша жизнь вовсе не способствуетъ виработкѣ какихъ-нибудь убѣжденій, а если у кого они и завелутся, то не лаетъ примънъть, яхъ. Одла только убъжденів и волюсть ложимыми къ русской жизни. Въ томъ-то и дъло, что наша жизнь вовсе не способствуетъ выработкъ какихъ-нибудь убъжденій, а если у кого они и заведутся, то не даетъ примънять ихъ. Одло только убъжденіе процвътаеть въ нашемъ обществъ, — это убъжденіе въ томъ, что не нужно имъть (или, по крайней мъръ, обнаруживать) нравственныхъ убъжденій. Но такое-то убъжденіе и у Самсона Силыча есть, хотя оно и не совершенно ясно въ его сознаніи: вслъдствіе этого-то убъжденія онъ и ласкаетъ Лазаря, и ведетъ дъло съ Рисположенскимъ, и ръшается на объявленіе себя несостоятельнымъ. Вообще надобно сказать, что съ помощью этого убъжденія и поддерживается нъкоторая жизнь въ нашемъ "темномъ царствъ": черезъ него здъсь и каррьеры дълаются, и выгодныя партіи составляются, и каниталы наживаются, и общее уваженіе пріобрътается. Не будь развито это

единственное убъждение въ "темномъ царствъ", въ немъ все бы остановилось, заснуло и замерло. Конечно, и люди съ твердими правственными принципами, съ честными и святыми убъяденіями тоже есть въ этомъ царств'в; но, къ сожалънію, это все люди обломовскаго типа. Они и убъжденія-то свои пріобръли не въ практической дъятельности, не въ борьбъ съ житейской неправдой, а въ чтеніи хорошихъ книжекъ, горячихъ разговорахъ съ друзьями, въ восторженныхъ клятвахъ предъ женщинами да въ благородныхъ мечтаніяхъ на своемъ диванъ. Удалось людямъ не быть втянутыми съ малолътства въ практическую дъятельнось. — и осталось имъ много свободнаго времени на обдумывание своихъ отношений къ міру и нравственныхъ началъ для своихъ поступковъ. Стоя въ сторонъ отъ практической сферы, додумались они до прекрасныхъ вещей; но за то такъ и остались негодными для настоящаго дела и оказались совершенно ничтожными, когда пришлось имъ столкнуться кое съ чемъ и кое съ кемъ въ "темномъ царствъ". Сначала яхъ-было побаивались, когда они являлись съ лорнетомъ Онъгина, въ мрачномъ плащъ Печорина, съ восторжени й ръчью Рудина; но потомъ поняли, что это все Обломовы, и что если они могуть быть страшны для некоторых в барышень, то, во всяком вслучав, для практическихъ дъятелей викакъ не могутъ быть опасны. Такъ они и остались внъ жизни, эти люди честныхъ стремленій и самостоятельныхъ убъжденій (неръдко, впрочемъ, на дълъ измънявшіе имъ, вслъдствіе свсей непрактичности). И если нельзя сказать, чтобъ они остались чисты, какъ голуби, въ своихъ столкновеніяхъ съ окружавшими ихъ хищными птицами. то, по крайней мъръ, можно сказать утвердительно, что они оказались безсильны, какъ голуби. Что же касается до тъхъ изъ обитателей "темнаго царства", которые имъли силу и привычку къ дълу, такъони всъ съ самаго перваго шага вступали на такую дорожку, которая никакъ ужъ не могла привести къ чистымъ правственнымъ убъжденіямъ. Работающему человъку никогда здёсь не было мирной, свободной и общенолезной деятельности: едва успъвши осмотръться, онъ уже чувствоваль, что очутился какимъ-то образомъ въ непріятельскомъ станъ и долженъ, для спасенія своего существованія, какъ-нибудь надуть своихъ враговъ, прикинувшись хотя обровольнымъ переметчикомъ. А тамъ начинаются хитрости, какъ бы обмануть бдительность непріятелей и спастись отъ нихъ; а ежели и это удастся, придумываются непріязненныя действія противъ нихъ, частью въ отмщеніе, частью же для огражденія себя отъ новой опасности. Гдв же туть развиться правильнымъ понятіямъ объ отношеніяхъ людей другь къ другу? Гдв тутъ воспитаться уваженію человического достоинства? Здись вси вы отвити за какую-то чужую несправедливость, всё дёлають мнё пакости за то, въ чемъ я вовсе не виноватъ, и отъ всёхъ я долженъ отбиваться, даже вовсе

не имъя желанія побить кого-нибудь. Поневоль, человъкъ дълается неразборчивъ и начинаетъ бить, кого понало, не теряя даже сознанія, что въ сущности-то никого бы не слъдовало бить. Невольно повторишь опять сравненіе жизни "темнаго царства" съ ожесточенною войною. На войнъ, въдь, не бъда, если солдатъ убъетъ такого непріятеля, который ни одного выстръла не послалъ въ нашъ станъ: онъ подвернулся подъ пулю, — и довольно. Солдата-убійцу не будетъ совъсть мучить. Такъ точно, что за бъда, если купецъ обманулъ честнъйшаго человъка, который никому въ жизни ни малъйнаго зла не сдълалъ? Довольно того, что онъ покупаетъ товаръ; торговля все равно, что война: не обмануть — не продать!.. Приложите то же самое къ помъщику, къ чиновнику "темнаго царства", къ кому котите, — выйдетъ все то же: всъ въ военномъ положени, и никого совъсть не мучитъ за обманъ и присвоеніе чужого, оттого именно, что ни у кого нътъ нравственныхъ убъжденій, а всъ живутъ сообразно съ обстоятельствами.

Такимъ образомъ, мы находимъ глубоко-върную, характеристически-русскую черту въ томъ, что Большовъ въ своемъ злостномъ банкротствъ не слъдуетъ никакимъ особеннимъ убъеменнямъ и не испытываетъ глубокой душевной борьбы, крем'в страха, какъ бы не попасться подъ уголовный... Намъ въ отвлечении кажутся всё преступления чёмъ-то слишкомъ ужаснымъ и необычайнымъ; но въ частныхъ случаяхъ они большею частью совершаются очень легко и объясняются чрезвычайно просто. По уголовному суду человъкъ оказался и грабителемъ, и убійцею; кажется, долженъ бы быть извергъ естества. А смотришь, — опъ вовсе не извергъ, а человъкъ очень обыкновенный и даже добродушный. И никакихъ у него убъжденій пътъ о похвальности грабежа и убійства; и преступленія свои совершиль онъ безъ тяжкой и продолжительной борьбы съ самимъ собою, а просто такъ, случайно, самъ хорошенько не сознавалъ, что онъ дълалъ. Поговорите съ людьми, видъвшими много преступниковъ, они вамъ подтвердятъ, что это сплошь да рядомъ такъ бываетъ. Отчего происходитъ такое явленіе? Оттого, что всякое преступленіе есть не слъдствіе натуры человъка, а слъдствіе ненормальнаго отношенія, въ какое онъ поставленъ къ обществу. И чъмъ эта ненормальность сильнъе, тъмъ чаще совершаются преступленія даже натурами порядочными, тъмъ менъе обдуманности и систематичности и болъе случайности, почти безсознательности въ преступленіи. Въ "темномъ царствъ", разсматриваемомъ нами, ненормальность общественныхъ отношеній доходить до высшихъ своихъ пределовъ, и потому очень понятно, что его обитатели теряють ръшительно всякій смысль въ нравственных вопросахъ. Въ преступленіи они понимають только внъшнюю, юридическую его сторону, которую справедливо презирають, если могуть какъ-нибудь обойти.

Внутренняя же сторона, последствія совершаемаго преступленія для друтихъ людей и для общества — вовсе имъ не представляются. Замышляя злостное банкротство, Большовъ и не думаеть о томъ, что можетъ повредить благосостоянію заимодавцевъ и, можеть быть, пустить изсколько человъкъ по-міру. Это ему не приходить въ голову даже и тогда, какъ ужъ его въ яму посадили. Онъ толкуетъ, что ему страшно на Иверскую взглянуть, проходя мимо Иверскихъ вороть, жалуется, что на него мальчишки нальцами показывають, боится, что въ Сибирь его сошлють; но о людяхъ, разоренныхъ имъ, - ни слова. Мудрено-ли же, что опъ такъ легко рвшается на преступленіе, котораго существеннъйшая-то мерзость ему и непонятна! Онъ видитъ только, что "другіе же дълають". И это для него не оправдательная фраза, не примъръ только, какъ утверждалъ одинъ строгій критикъ Островскаго. Нівть, туть исходная точка, изъ которой выводится вся мораль Большова. Онъ видить, что другіе банкротится, зажиливають его деньги, а потомъ строять себв на нихъ дома съ бельведерами да заводятъ удивительные экипажи: у него сейчасъ и прилагается здъсь общее соображение: "чтобы меня не обыграли, такъ я долженъ стараться других в обыграть . И ужъ тутъ нужды натъ, что кредиторы Большова не банкротились и не дълали ему подрыва: все равно, съ кого бы ни пришлось, только бы сорвать свою выгоду. Тутъ, какъ и въ сраженіи, разбирать личности нечего. Вотъ, кабы никто не обманывалъ, т.-е. кабы войны не было, тогда и Самсонъ Силычъ жилъ бы мирно и честно, никого не надувалъ. А то какъ же ему-то вести себя, когда всъ кругомъ мошенинчаютъ? И кому какая будетъ польза отъ его честности? Не онъ, такъ другіе надуютъ, все единственно. Вотъ разговоръ Большова съ Подхалюзинымъ на этотъ счетъ:

Вольшовъ. Вотъ ты бы, Лазарь, когда на досуть баланцъ для меня сдълаль, учелъ бы розничную по панской-то части, ну, и остальное, что тамъ еще. А то торгуемъ, торгуемъ, братецъ, а пользы ни на грошъ. Али сидъльцы, что-ли, грешатъ, таскаютъ роднымъ да любовницамъ; ихъ бы маленечко усовъщивать. Что такъ, безъ барыша-то небо коптить? Аль сноровки не знаютъ? Пора бы, кажется.

Подхалюзинъ. Какъ же это можно, Самсонъ Силычт, чтобы сноровки не знать? Кажется, самъ завсегда въ городъ бываешь и завсегда толкуешь имъ-съ.

Большовъ. Да что же ты толкуешь-то?

Подхадю з и нъ. Извъстное дъло-съ, стараюсь, чтобы все было въ порядкъ и какъ слъдуеть-съ. Вы, говорю, ребята, не зъвайте; видишь, чуть дъло подходящее: покупатель, что-ли, тумакъ навернулся, али цвътъ съ узоромъ какой барышнъ по-нравился,—взялъ, говорю, и накинулъ рубль али два на аршинъ.

Большовъ. Чай, брать, знаешь, какъ нъмны въ магазинахъ нашихъ баръ обирають. Иоложимь, что мы—не нъмцы, а христіане правосливные, да тоже пирочи-

то съ начинкой подимъ. Такъ-ли, а?

Подхалюзинъ. Дѣло понятное-съ. И мѣрять-то, говорю, надо тоже поестественнѣе, тяни да потягивай, только чтобъ, Боже сохрани, какъ не лопнуло; вѣдь, не намъ, говорю, послѣ носить. Ну, а зазъвается, такъ не кто виноватъ, — можно, говорю, и просто черезъ руку лишній аршинъ шмыгнуть.

Вольшовъ. Все единственно: въдъ, портной украдеть же. Эхъ, Лазарь, плохи

нынче барыши: не прежнія времена.

Исное дело: вся мораль Сачсона Силыча основана на правиле: чемъ другимъ красть, такъ лучше я украду. Правило это, можетъ быть, не имъетъ драматического интереса, - это ужъ какъ тамъ угодно критикамъ; но оно имбегъ чрезвычайно обширное приложение во многихъ сферахъ нашей жизни. По этому правилу иной береть взятку и кривить душой, думая: все равно, — не я, такъ другой возьметъ, и тоже рашитъ криво. Другой держить свои помъщичьи права, разечитывая: все равно, -- въдь если не мой управляющій, то окружной станеть стеснять монуть крестьянъ. Иной подличаетъ передъ начальствомъ, соображая: все равно, - въдь если не меня, такъ онъ другого найдеть для себя, а я только м вста лишусь. Словомъ - куда ни обернитесь, вездъ вы встрътите людей, дъйствующихъ по этому правилу: тотъ принимаетъ у себя негодяя; другой обираетъ богатаго простяка, третій сочиняеть донось, четвертий соблазияеть дівушку, все на основани того же милаго соображения: "не я, тако другой". Кажется, ясно, что здісь такое соображение совсімь не имбеть значения примвра... Оно есть ни что иное, какъ выражение самаго грубаго и отвратительнаго эгонзма, при совершенномъ отсутствии какихъ-нибудь высшихъ нравственныхъ началъ.

Следуя внушеніямъ этого эгоизма, и Большовъ задумываетъ свое банкротство. И его эгоизмъ еще имъетъ для себя извиненіе въ этомъ случав: онъ не только видитъ, какъ другіе наживаются банкротствомъ, но и самъ потеривлъ ивкоторое разстройство въ делахъ именно отъ несостоятельности многихъ должниковъ своихъ. Онъ съ горечью говоритъ объ этомъ Подхалюзину:

«Вотъ ты и знай, Лазарь, какова торговля-то! Ты думаешь что? Такъ воть даромь и бери деньги. Какъ не деньги, скажеть. — видаль, какъ лягушки прыгаютъ. На-ка, говоритъ, вексель. А по векселю-то съ иного что возьмешь, коли съ него взять-то нечего! У меня такихъ-то векселей тысячъ на сто, и съ протестами; только и дъло, что каждый годъ подкладывай. Хошь за нолтину серебра всь отдамъ! Должниковъ-то по нимъ, чай, и съ собаками не сыщешь: которые повымерли, а которые поразбъжались, — некого и въ яму посадить. А и посадишь-то, Лазаръ, такъ самъ не радъ: другой такъ обдержится, что его оттедова куревомъ не выкуришь. Мнѣ, говоритъ, и здъсь хорошо, а ты проваливай».

Огражденый такими разсужденіями, Большовъ считаетъ себя совершенно въ правъ сыграть съ кредиторами маленькую штуку. Сначала въ немъ является только неопредъленное желаніе—увернуться какъ-нибудь отъ платежа денегъ, — ихъ же пришлось много платить въ одно время. Онъ придумываетъ только, "какую бы тутъ механику подсмолить"; но этого ни онъ самъ, ни его совътникъ, Рисположенскій, — не знаютъ еще хорошенько. На вопросъ Большова. Рисположенскій отвъчаетъ: "а тамъ, глядя по обстоятельствамъ". Но тутъ же они придумываютъ — заставить кредиторовъ пойти на сдълку, — предложить всъмъ 25 коп. за рубль, если же кто заартачится, такъ прибавить, а то, ножалуй, и всв заплатить. Большовъ говорить: "это точно, -поторговаться не минаеть: не возьмуть по двадцатипяти, такъ полтину возьмутъ; а если полтины не возьмутъ, такъ за семь гривенъ объими руками ухватятся. Все-таки барышъ. Тамъ что хошь говори, а у меня дочь невъста, хоть сейчасъ изъ полы въ полу да съ двора долой. Да и самому-то, братецъ ты мой, отлохнуть пора: прохлаждались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту къ чорту". Вы видите, что ръшеніе Большова очень добродушно и вовсе не обнаруживаетъ сильной злодъйской натуры: онъ хочеть кое-что, по силъ возможности, вытянуть изъ кредиторовъ, въ тъхъ видахъ, что у него дочь невъста, да и самому ему покой нуженъ. Что же тутъ особенно ужаснаго, отъ чего бы Большовъ долженъ былъ необычайное волнение душевное испытывать? Онъ смотритъ на свой повый замысель, какъ на одинъ изъ техъ обмановъ, которыхъ немало довелось ему совершить на своемъ въку и которые для него находятся ръшительно въ порядкъ вещей. Его одно только и смущаетъ нъсколько то, что ему, ножалуй, не удастся чистенько обделать свою операцію. Этого онъ отчасти труситъ и потому все хочетъ устроить съ кредиторами слелку, заплативши имъ по двадцати-пяти конфекъ. Но Подхалюзинъ говоритъ ему: "а ужъ по мнъ, Самсонъ Силычъ, коли платить по двадцати-пяти, такъ пристойнъе совстмъ не платить", и Большовъ, — безъ всякихъ возраженій, очень легко соглашается. "А что, — говорить онъ: — въдь и правда, грабростью-то никого не удивишь, а лучше тихимъ-то манеромъ дъльце обдълать. Тамъ, послъ, суди Владыко на второмъ пришествии. Хлопотъ-то только куча". И ни слова, ни намека на безнравственность задуманнаго дела въ отношени къ заимодавцамъ Большова. Только о "суде Владычнемъ вспоминаетъ онъ; но и это такъ, больше для формы; "второе пришествіе" играетъ здёсь роль не более той, какую даетъ Большовъ и "милосердію Божію", въ извъстной фразъ своей: "Бонапартъ Бонапартомъ, а мы пуще всего надвемся на милосердіе Бокіе, да и не о томъ теперь рычь". Именно — не о томъ теперь рычь: Вольшова занимаеть не судъ на второмъ пришествін, который еще когда-то будеть, а предстоящія хлопоты по д'алу. Хлопоты эти очень смущають его: они вовсе не въ его натуръ. Надуть разомъ, съ-рывка, хотя бы и самымъ безсовъстнымъ образомъ, - это ему ничего; но думать, соображать, подготовлять обманъ долгое время, подводить всю эту механику — на такую хроническую безсовъстность его не станеть, и не станеть вовсе не потому, чтобы въ немъ мало было безсовъстности и лукавства, —то и другое находится въ немъ съ избыткомъ, -а просто потому, что онъ не привыкъ серьезно думать о чемъ-нибудь. Онъ самъ это сознаетъ и въ горькую минуту даже высказываетъ Рисположенскому: "то-то воть и бъда, что нашъ брать, купецъ, дуракъ, —

ничего онъ не понимаетъ, а такимъ піявкамъ, какъ ты, это и на руку". Можно сказать даже, что и все самодурство Большова происходитъ отъ непривычки къ самобытной и сознательной дѣятельности. къ которой, однакоже, онъ имѣетъ стремленіе, при несомнѣнной силѣ природной смѣтливости. Мы не видимъ изъ комедіи, какъ росъ и воспитывался Большовъ, какія вліянія на него дѣйствовали съ молоду; но для насъ ясно, что онъ воспитывался подъ вліяніями тоже неблагопріятными для здороваго, самостоятельнаго развитія. Въ его дъйствіяхъ постоянно проглядываеть отсутствіе своего ума; видно, что онъ не привыкъ самъ разумно себя возбуждать къ дъятельности и давать себъ отчетъ въ своихъ ноступкахъ. А между тъмъ, его теперешнее положение, да и самая натура его, не сломившаяся окончательно подъ гнетомъ, а сохранившая въ себъ духъ противоръчія, требуетъ теперь самобытности, которая и выражается въ упрамствъ и произволъ. Извъстно, что упрямство есть признакъ безхарактерности; точно такъ и самодурство есть върное доказательство внутренняго безсилія и холопства. Самодуръ все силится доказать, что ему никто не указъ, и что онъ, что захочеть, то и сдълаеть; между тъмъ, человъкъ, дъйствительно независимый и сильный душою, никогда не захочеть этого доказывать: онъ употребляеть силу своего характера только тамъ. гдв это нужно, не растрачивая ее, въ видъ опыта, на нельныя затьи. Большовъ съ услажденіемъ все повторяетъ, что онъ воленъ дълать, что хочетъ, и никто ему не указъ: какъ будто онъ самъ все еще не ръшается върить этому... Видно, что ого, можеть быть, отъ природы и не слабую личность сильно подавили въ свое время и отняли-таки у него значительную долю природной силы души. Отто-го, и вышедши на свою волю, онъ не умъетъ управлять собою. Онъ самодурго, и вышедши на свою волю, онъ не умбетъ управлять собою. Онъ самодурствуетъ и кажется страшенъ, но это только потому, что ни съ какой стороны ему нътъ отпора; борьбы онъ не выдержитъ... Эта черта очень ясно представлена Островскимъ въ другой его комедіи, а потому мы еще возвратимся къ ней. Но она замътна и въ Большовъ, который, даже ръшаясь на такой шагъ, какъ влостное банкротство, не только старается свалить съ себя хлопоти, но просто самъ не знаетъ, что онъ дълаетъ, отступается отъ своей выгоды и даже отказывается отъ своей воли въ этомъ дълъ, сваливая все на судьбу... Подхалюзинъ и Рисположенскій, снюхавшись между собою, подстроиваютъ такъ, что, виъсто сдълки съ кредиторами, Большовъ ръ-шается на объявление себя несостоятельнымъ. Но Подхалюзинъ для виду отговариваетъ его отъ такого поступка. Что же отвъчаетъ Большовъ? Онъ входитъ въ азартъ и говоритъ: "что-жъ, деньги заплатитъ? Да съ чего же ты это взяль? Да я лучше все отнемь сожту, а ужь имь ни копъйки не дамъ. Перевози товаръ, продавай векселя; пусть тащать, ворують, кто хочеть. а ужъ я имъ не плательщикъ". Подхалюзинъ сожалъетъ, что

"заведеніе у насъ было превосходное, а теперь все должно въ разстройство придти"; а Большовъ кричитъ: "а тебъ что за дъло? не твое было... Ты старайся только, — отъ меня забытъ не будешь". Что обуяло его? Подумаешь, что это взрывъ сильной патуры, что ужъ это такая непреклонная воля... Но, во-первыхъ, что же возбудило въ немъ такую ръшимость, противную его собственной выгодь, и почему воля его выражается только въ крикахъ съ Подхалюзинимъ, а не въ деятельномъ участія въ хлопотахъ? Во-вторыхъ — самъ Большовъ вскорв отказывается отъ своей воли. Когда Подхалюзинъ толкуетъ ему, что можетъ случиться "грвхъ какой", что, пожалуй, и имъніе отнимуть и его самого по судамъ затаскають, Вольшовъ отвъчаетъ: "что-жъ дълать-то, братецъ: ужъ, знать, такая воля Вожія, противъ нея не пойдешь". Подхалюзинъ отвъчаетъ: "Это точно-съ, Самсонъ Сильчъ", но, въ сущности, оно не "точно", а очень нелъпо. Большовъ не только хочетъ свалить съ себя всякую нравственную отвътственность, но даже старается не думать о томъ, что затъваетъ. Принятое ръшеніе засвло въ его головъ кръпко, но какъ-то не связалось ни съ чъмъ въ его мысляхъ и понятіяхъ и осталось для него чужинъ и мертвымъ. Онъ даже старается увърить, что это не онъ собственно ръшилъ, а что "такова ужъ воля Вожія: противъ нея не пойдешь". Это черта чрезвычайно распространенная въ нашемъ обществъ, и у Островскаго она подмъчена весьма тонко и върно. Она одна говоритъ намъ очень многое и рисуетъ характеръ Вольшова лучше, чъмъ могли бы обрисовать его нъсколько длинныхъ монологовъ. Эта темнота разумънія, отвращеніе отъ мышленія, безсиліе воли предъ всякимъ рискованнымъ шагомъ, порождающія этотъ тупоумный, отчаянный фатализмъ и самодурство, противное даже личной выгодъ, все это чрезвычайно рельефно выдается въ Большовъ и очень легко объясняеть отдачу имъ имънія своему приказчику и зятю, Подхалюзину, --поступокъ, въ которомъ иные критики хотёли видёть непонятный порывъ великодушія и подражание королю Лиру. Въ поступкъ Большова дъйствительно есть вившнее сходство съ поступкомъ Лира, но именно настолько, насколько можетъ комическое явленіе походить на трагическое. Лиръ представляется намъ также жертвой уродливаго развитія: поступовъ его, полный гордаго сознанія, что онъ самь, самь по себп великъ, а не по власти, которую держить въ своихъ рукахъ, поступокъ этотъ тоже служить къ наказанію его надменнаго деспотизма. Но если мы вздумаемъ сравнить Лира съ Большовымъ, то найдемъ, что одинъ изъ нихъ съ ногъ до головы король британскій, а другой — русскій купець; въ одномь все грандіозно и роскошно, въ другомъ все хило, мелко, все разсчитано на мъдныя деньги. Въ Лиръ дъйствительно сильная натура, и общее раболенство предъ нимъ только развиваетъ ее одностороннимъ образомъ-не на великія дъла любви и общей

пользы, а единственно на удовлетвореніе собственных личных прихотей. Это совершенно понятно въ человъкъ, который привыкъ считать себя источникомъ всякой радости и горя, началомъ и концомъ всякой жизни въ его царствъ. Тутъ, при внъшнемъ просторъ дъйствій, при легкости исполненія всъхъ желаній, не въ чемъ высказываться его душевной силъ. Но вотъ его самообожаніе выходить изъ всякихъ предвловъ здраваго смысла: онъ не-реносить прямо на свою личность весь тотъ блескъ, все то уваженіе, ко-торымъ пользовался за свой санъ, онъ рашается сбросить съ себя власть, увъренный, что и послатого люди не перестанутъ трепетать его. Это безумное убъждение заставляеть его отдать свое царство дочерямь и чрезъ то, изъ своего варварски-безсимсленнаго положения, перейти въ простое звание обыкновеннаго человъка и испытать всв горести, соединенныя съ человъческою жизнью. Туть-то, въ борьбъ, начинающейся вслъдъ за тъмъ, и раскрываются всв лучшія стороны его души; туть-то мы видимъ, что онъ до-ступенъ и великодушію, и нъжности, и состраданію о несчастныхъ, и самой гуманной справедливости. Сила его характера выражается не только въ проклятіяхъ дочерямъ, но и въ сознанія своей вины предъ Корделією, и въ сожалъніи о своемъ крутомъ нравъ, и въ раскаяніи, что онъ такъ мало думалъ о несчастныхъ бъднякахъ, такъ мало любилъ истинную честность. Оттого-то Лиръ и имъетъ такое глубокое значеніе. Смотря на него, мы сначала чувствуемъ ненависть къ этому безпутному деспоту; но, слъдя за развитіемъ драмы, все болъе примиряемся съ нимъ, какъ съ человъкомъ, и оканчиваемъ тъмъ, что исполняемся негодованіемъ и жгучею злобой уже не къ нему, а за него и зацълый міръ — къ тему дикому, нечеловъческому положенію, которое можетъ доводить до такого безпутства даже людей, подобныхъ Лиру. Не знаемъ, какъ на другихъ, но, по крайней мъръ, на насъ, "Король Лиръ" постоянно производилъ такое впечатлъніе.
Въ одной изъкритикъ увъряли, что и Островскій хотълъ своего Боль-

Въ одной изъ критикъ увъряли, что и Островскій хотъль своего Большова возвысить до подобнаго же трагизма и собственно для этого вывель Самсона Силыча изъ ямы, въ четвертомъ актъ, и заставилъ его упрашивать дочь изятя объ уплатъ за него 25 копъекъ кредиторамъ. Такое сужденіе обнаруживаетъ полное непониманіе не только Шекспира и Островскаго, но и вообще нравственнаго свойства драматическихъ положеній. По нашему мнѣнію, въ послѣднемъ актъ Большовъ нисколько не возвышается въ глазахъ читателя и нисколько не теряетъ своего комическаго характера. Въ послѣднихъ сценахъ есть трагическій элементъ, но онъ участвуетъ здѣсь чисто-внѣшнимъ образомъ, такъ какъ есть онъ, напр., и въ появленіи жандарма въ "Ревизоръ"... Но въ чемъ же здѣсь выразился тотъ внутрепній трагизуъ, который заставиль бы страдать за Большова и примирилъ бы съ его личностью? Гдѣ слѣды той душевной борьбы, которая

бы очистила и просвътлила заросшую тиной самодурства натуру Большова? Нътъ этихъ слъдовъ, да и не съ тъмъ цисана комедія, чтобы указывать ихъ; последній акть ея мы считаемъ только последнимъ мастерскимъ штрихомъ, окончательно рисующимъ для насъ натуру Большова, которая была остановлена въ своемъ естественномъ росте враждебными, подавляюшими обстоятельствами, и осталась равно безсильною и ничтожною, какъ при обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ широкой и самобытной дъя-тельности, такъ и въ напасти, опять ее скрутившей. Для насъ и въ последнемъ акте Большовъ не перестаетъ быть комиченъ: ни одного светлаго луча не проникло въ эту темную душу послв переворота, навлеченнаго имъ самимъ на себя. Онъ нямало не сознаетъ гадости своего поступка, онъ не мучится внутреннимъ стыдомъ; его терзаетъ только стыдъ внѣшній: кредиторы таскають его по судамь, и мальчишки на него показывають пальцами. "Каково сидвть-то въ ямъ (говорить онъ), каково по улицъто идти съ солдатомъ! Въдь меня сорокъ лъть въ городъ-то всв знають, сорокъ лътъ всъ въ поясъ кланялись, а теперь мальчишки пальцами показывають". Вотъ что у него на первомъ планв; а на второмъ является въ его мысляхъ Иверская, но и то не надолго: воспоминание о ней точчасъ смъняется у него опасеніемъ, чтобы въ Сибирь не угодить. Вотъ его слова: "а тамъ, мимо Иверской: какъ мнѣ взглянуть на нее, матушку? Знаешь, Лазарь: Іуда, въдь онъ тоже Христа за деньги продалъ, какъ мн Знаешь, Лазарь: Туда, въдь онъ тоже христа за деньги продалъ, какъ мы совъсть за деньги продаемъ... А что ему за это было?.. Въдъ я злостный, умышленный... Въдъ меня въ Сибиръ сошлютъ. Господи! Коли такъ не дадите денегъ, дайте христа ради (плачетъ)".—Жаль, что "Своихъ людей" не даютъ на театръ: талантливый актеръ могъ бы съ поразительной силой выставить весь комизтъ этого самодурнаго смъшенія Иверской съ Гудою, ссылки въ Сибирь съ христорадничествомъ. Комизтъ этой тирады возвышается еще болье предыдущимъ и дальнъйшимъ разговоромъ, въ которомъ Подхалюзинъ равнодушно и ласково отказывается илатить за Большова болве десяти конвекъ, а Большовъ-то попрекаетъ его неблагодарностью, то грозить ему Сибирью, напоминая, что имъ обоимъ одинъ конецъ; то спрашиваетъ его и дочь, есть-ли въ нихъ христіанство, то выражаетъ досаду на себя за то, что опростоволосился, и приводитъ пословицу: "сама себя раба бьетъ, коль не чисто жнетъ", —то, наконецъ, дълаетъ юродивое обращеніе къ дочери: "ну, вотъ вы теперь будете богаты, заживете по-барски; по гуляньямъ это, по баламъ, —дьявола тъшить. А не забудьте вы, Алимпіяда Самсоновна, что есть клѣтки съ жельзными рышетками, сидять тамь быдные - заключенные... Не забудьте насъ, быдныхъ-заключенныхъ". По нашему мныню, вся эта сцена очень близко подходить къ той сцены въ "Ревизоры", гды городничий ругаеть

вупцовъ, что они не помнятъ, какъ онъ имъ плутовать помогалъ. Только у Островскаго комическія черты проведены здізсь нізсколько тоньше, и притомъ надо сознаться, что внутренній комизмъ личности Большова нізсколько замаскировывается въ посліднемъ актів несчастнымъ его положеніемъ, изъ-за котораго проницательные критики и навязали Островскому такія иден и цёли, какихъ онъ, въроятно, никогда и во сне не виделъ. такія иден и цъли, какихъ онъ, въроятно, никогда и во снъ не видълъ. Хороши должны быть нравственныя понятія критика, который полагаетъ, что Большовъ въ послъднемъ актъ выведенъ авторомъ для того, чтобы привлечь къ нему сочувствое зрителей... По нашему мнънію, Большовъ къ концу пьесы оказывается пошлъе и ничтоживе, нежели во все ен продолженіе. Мы видимъ, что даже несчастіе и заключеніе въ тюрьму нимало не образумило его, не пробудило человъческихъ чувствъ, и справедливо заключаемъ, что, видно, они ужъ навъкъ въ немъ замерли, что такъ имъ ужъ и спать сномъ непробуднымъ. Онъ и теперь говоритъ, что 25 копъекъ отдать кредиторамъ—много, да что ужъ дълать-то, когда меньше не беотдать кредиторамъ—много, да что ужъ дълать-то, когда меньше не оерутъ. "Потомятъ года полтора въ ямъ—то, да каждую недѣлю будутъ съ солдатомъ по улицамъ водить, а еще, того гляди, въ острогъ перемъстятъ, такъ радъ будешь и полтину дать". Не явно-ли здѣсь комическое безсиліе этой натуры, не могущей ни рѣшиться на смѣлый шагъ, ни выдержать продолжительной борьбы? Не явно-ли и нравственное ничтожество этого человъка, у котораго ни разу во всей пьесѣ не проявлялось чувства законности и сознанія долга? Мало этого: въ его грубой душъ замер ни даже чувства отца и мужа; это мы видъли и въ первыхъ актахъ пьесы, видимъ и въ послъднемъ. Горе жены нимало не трогаетъ его, а возмутительная грубость дочери не оскорбляетъ отцовскаго чувства. Олимпіада Самсоновна говорить ему: "я у васъ, тятенька, до двадцати лътъ жила, свъту не видала, что же, мнъ прикажете отдавать вамъ деньги, а самой опять въ ситцевыхъ платьяхъ ходить?" Большовъ не находитъ ничего лучшаго сказать на это, какъ только попрекнуть дочь и зятя невольнымъ благодъяніемъ, которое онъ имъ сдълаль, передавши въ ихъ руки свое имъніе: "въдь я, — говорить, — у вась не милостыню прошу, а свое же добро". Неужели и это отношеніе отца къ дочери не комично? А мораль, которую выводить для себя Большовъ изъ всей своей исторіи, — высшій пунктъ, до котораго могъ онъ подняться въ своемъ нравственномъ развитіи: "не гонись за большимъ, будь доволенъ тѣмъ, что есть; а за большимъ погонишься, и послъднее отнимутъ! "Какую степень нравственнаго достоинства указываютъ намъ эти слова! Человѣкъ, потерпѣвшій отъ собственнаго злостнаго банкротства, не находить въ этомъ обстоятельствъ другого нравственнаго урока, кремъ сентенціи, что "не нужно гнаться за большимъ, чтобы своего не потерять"! И черезъ минуту къ этой сентенціи онъ прибавляєть сожальніе, что не уміль ловко обдівлать дільце, — приводить пословицу: "сама себя раба бьеть, коль не чисто жнеть". Какъ сильно выражаєтся въ этомъ рішительная безсмысленность и правственное пичтожество этой натуры, которая въ началі пьесы могла ещо кому - вибудь показаться сильною, судя по тому страху, какой она внушаеть всімъ окружающимъ!.. И нашлись критики, рішившіе, что послівдній актъ "Своихъ людей" должень возбудить въ зрителяхъ сочувствіе къ Большову! 1)

Но что же въ самомъ дѣлѣ даетъ намъ это лицо комедіи? Неужели смыслъ его ограничивается тѣмъ, что "вотъ, дескать, посмотрите, какіе бываютъ плохіе люди?" Нѣтъ, этого было бы слишкомъ мало для главнаго лица серьезной комедіи, слишкомъ мало для таланта такого писателя, какъ Островскій. Нравственный смыслъ впечатлѣнія, какое выносишь изъ внимательнаго разсмотрѣнія характера Большова, гораздо глубже. Мы уже имѣли случай замѣтить, что одна изъ отличительныхъ чертъта-

Мы полагаемъ, что теперь, по прекращеніи «Атенея», г. «Н. П. Некрасовъ изъ Москвы» могь бы съ успѣхомъ писать въ «Орлѣ» г. Балашевича.

<sup>1)</sup> Рашаемся привести эту выписку изъ курьезной статьи г. Н. П. Некрасова изъ Москвы, помащенной въ послюдемь № «Атенея» и отчасти объясняющей собой недолговачность этого ученаго журнала. «Спрашивается: къ чему было Большову, попавшему за свой обманъ въ тюрьму, являться опять на сцену? Пеужели авторъ коталь возбудить сочувствіе къ нему, показывая, какъ въ дайствительности бываетъ стыдно купцу сидать въ яма? По, валь, всякій имаеть право спросить: чта это Большово заслужило сочувствое?... Къ чему же вся эта плаксивая четвертая сцена въ посладнемъ дайстви? Вароятно, къ тому, чтобы показать почтеннайшей публика: «смотрите, дескать, какъ не подобаетъ купцу обманывать: пожалуй, самого обмануть еще куже». Какая прекрасная мысль, какъ велякь ея нравственный принципь!..»

Критикъ, очевидно, недалеко ушелъ отъ самого Самсона Силыча въ пониманіи нравственныхъ принциповъ, и потому приведенныя нами выше слова Вольшова: «не гонись за большимъ, чтобъ последняго не потерять», -принимаетъ за основную идею всей пьесы. Смешавъ такимъ образомъ понятія Большова съ идеями самого автора пьесы, критикъ начинаетъ читать следующее наставление Островскому: «Чувствуеть-ли авторь, какъ опасно подчинять искусство дъйствительности? Замъчаеть-ли онъ, какъ ничтожна правственная сторона его произведенія? Неужели истинно-художественное произведение можеть быть основано на такомъ житей комъ правиль: «не сбманывай, чтобы не быть обманутымь», или «не рой другому яму, — самь въ нее попадещь», или еще ближе къ нашей комедіи — «не обманывай, потому что обманъ не всегда удается». Въ чемъ же спасено здесь правственное достоинство человека? Осмѣянъли, по крайней мѣрѣ, обманъ, какъ пошлая сторона природы человѣческой? Нътъ ... Комедія не говоритъ, насколько обманъ (въ какомъ бы образѣ онъ ни проявлялся) противенъ нравственной природъ человъка, а говоритъ только, что купцы, несмотря на недостатки нашихъ законовъ о долгахъ, иногда попадаются въ своемъ обмань, и ихъ за это сажають въ тюрьму и потомъ отсыдають въ Сибирь. Да, нельзя не согласиться, —такъ дъйствительно бываетъ. Что жъ за неебходимость повторять это на сценв!... И непосредственно за наивнымъ вопросомъ критикъ побъдоносно восклицаеть: «такъ примънилъ г. Островскій выбранное имъ дъйствіе къ идев произведенія!..>

ланта Островскаго состоитъ въ умѣньи заглянуть въ самую глубь души человѣка и подмѣтить не только образъ его мыслей и поведенія, но са-мый процессъ его мышленія, самое зарожденіе его желаній. Это самое умънье видимъ мы и въ обработкъ характера Большова и находимъ, что результатомъ психическихъ наблюденій автора оказалось чрезвычайно гуманное воззрѣніе на самыя, повидимому, мрачныя явленія жизни и глубокое чувство уваженія къ нравственному достоинству челов'вческой натуры, - чувство, которое сообщаеть онь и своимъ читателямъ. Въ Большовъ, этомъ злостномо банкротъ, мы не видимъ ничего злостнаго, чудовищнаго, ничего такого, за что его слъдовало бы считать извергомъ. Авторъ сводить насъ съ оффиціальной, юридической точки зрвнія и вводить въ самую сущность совершающагося факта, заставляетъ безчестный замыселъ создаваться и рости предъ нашими глазами. И что же мы видимъ въ исторіи этого замысла, столь ужаснаго въ юридическомъ смыслъ? Ни тъни сатанинской злобы, ни признака језунтскаго коварства! Все такъ просто, добродушно, глупо! Самсонъ Силычъ — вовсе не порожденіе ада, а просто грубое животное, въ которомъ смолоду заглушены всъ симпатическія стороны натуры и не развиты никакія нравственныя понятія. Въ его характеръ нътъ того, что называють личной иниціативой или свободнымъ возбужденіемъ себя къ діятельности; онъ живеть такъ, какъ живется, не разсчитывая и не загадывая много. Самодурствуеть онъ потому, что встрівчаетъ въ окружающихъ не твердый отпоръ, а постоянную покорность; надуваеть и притесилеть другихъ потому, что чувствуеть только, какъ это ему удобно, но не въ состояніи почувствовать, какъ тяжело это имъ; на банкротство рашается опъ опять потому, что не имветъ ни малайшаго представленія объ общественномъ значенім такого поступка. Самый законъ является для него не представителемъ высшей правды, а только вившнимъ препятствіемъ, камнемъ, который нужно убрать съ дороги. Самая совъсть является у него не во внутреннемъ голосъ, а въ насмъшкахъ прохожихъ, во взглядъ на Иверскую, въ опасеніи ссылки въ Сибирь. Короче, — въ Большовъ вы видите ясно, что его преступная, безобразная дъятельность происходить именно оттого, что въ немъ не воспитанъ человъкъ. Онъ гадокъ для насъ именно темъ, что въ немъ видно почти полное отсутствие человъческихъ элементовъ; и въ то же время онъ пошлъ и смъщонъ искажениемъ и тъхъ зачатковъ человъчности, какие были въ его натуръ. Но эта самая гадость и пошлость, представленная слъдствиемъ неразвитости натуры, указываетъ намъ необходимость правильнаго, свободнаго развития и возстановляетъ предъ нами достоинство человъческой природы, убъждая насъ, что низости и преступления не лежатъ въ природъ человъка и не могутъ быть удъломъ естественнаго развитія.

Достиженію этого же результата прекрасно содъйствуеть все развитіе пьесы и всё остальныя лица, группирующіяся около Большова. Во всей пьесё нёть пикакихъ особенныхъ махинацій, пёть искусственнаго развитія дъйствія, вь угоду схоластическимъ теоріямъ и въ ущербъ дъйствительной простоте и жизненности характеровъ. Всё лица дъйствують въ своемъ смыс гё добросовъстно и ни одно не впадаетъ въ тонъ мелодрамнаго героя. Достиженію постыдной цёли не служать здёсь лучшія способности ума и благороднейшія силы души въ своемъ высшемъ развитіи; напротивъ, вся пьеса ясно показываетъ, что именно недостатокъ этого развитія и доводить людей до такихъ мерзостей. Во всёхъ лицахъ замѣтно одно человеческое стремленіе — высвободиться изъ самодурнаго гнета, подъ которымъ всё выросли и живутъ. Большовъ внёшнимъ образомъ избавился отъ него; но слёды воспитанія, стёсняющаго мысль и волю, остались и въ немъ на всю жизнь и сдѣлали его безсмысленнымъ деспотомъ. И до того заразителенъ этотъ нельшый порядокъ жизни "темнаго царства", что каждая, самая придавленная личность, какъ только освободится хоть немножко отъ чужого гнета, такъ и начинаетъ сама стремиться угнетать другихъ. Эти дикія отношенія проведены очень искусно по всей комедіи Островскаго; вотъ почему и сказали мы, что въ ней видимъ цёлую іерархію самодурства. Въ самомъ дѣлѣ. Большовъ безпрекословно царитъ надъ въми; По дхалюзинъ боится хозяина, но уже покрикиваетъ на Өомихію самодурства. Въ самомъ дѣлѣ. Большовъ безпрекословно царитъ надъвъни; Подхалюзинъ боится хозяина, но уже покрикиваетъ на Өоминишну и бьетъ Тишку; Аграфена Кондратьевна, простодушная и даже глуповатая женщина, — какъ огня боится мужа, но съ Тишкой тоже расправляется довольно энергически, да и на дочь прикрикиваетъ, и если бы сила была, такъ непремънно бы сжала ее въ ежовыхъ рукавицахъ. Посмотрите, какъ она расходилась, напримъръ, во второй сценъ перзаго акта. — "Али ты думаешь, — кричитъ она дочери, — что я не властна надътобою приказывать? Говори, безстыжіе твои глаза, съ чего у тебя взглядъто такой завистливый? Что ты, прытче матери, хочешь быть? У меня вѣды недолго: я и на кухню горшки парить пошлю. Ишь ты! А! Ахъ, матушки вы мои! Посконный сарафанъ сошью, да вотъ на голову тебъ и на въдъ надъну".

Липочка огрызается, а Аграфена Кондратьевна повторяеть: "уступи верхъ матери! словечко пикнешь, такъ языкъ ниже пятокъ пришью". Но Липочка почерпаетъ для себя силы душевныя въ сознаніи того, что она образованная, и потому мало обращаетъ вниманія на мать и въ распряхъ съ ней всегда остается побъдительницей: начнетъ ее попрекать, что она не. такъ воспигана, да расплачется, мать - то и струситъ, и примется сама же ублажать обиженную дочку. Липочка явно обнаруживаетъ наклонность къ самому грубому и возмутительному деспотизму. Она говоритъ матери:

"я вижу, что я другихъ образованнъе; что-жъ мнъ, потакать вашимъ глупостямъ? какъ же! Есть оказія!" А съ Подхалюзинымъ, при номолвкъ, они уговариваются: "старики почудили на своемъ въку, — будетъ; теперъ намъ пора"... Одинъ только Тишка не обнаруживаетъ еще ника-кихъ стремленій къ преобладанію, а, напротивъ, служитъ мишенью, въ которую направляются самодурныя замашки целаго дома: "у насъ, - жалуется онъ, — коли не тотъ, такъ другой, коли не самъ, такъ сама задастъ вытрепку; а то вотъ приказчикъ, Лазарь, а то вотъ Ооминишна, а то вотъ... всякая шваль надъ тобой командуетъ". Слъды этого командованья съ безпрестанными вытрешками уже обнаруживаются въ Тишкъ: онъ уже выучился мошенничать и воровать. А когда наворуетъ денегъ побольше, то и самъ, конечно, примется командовать такъ же безпутно и жестоко, какъ и имъ командовали. Его каррьера очень искусно обозначена Островскимъ въ немногихъ словахъ, произносимыхъ Тишкою въ сценъ, гдъ онъ считаетъ свои деньги, оставшись одинъ. "Полтина серебромъ — это Лазарь далъ (за то, что за водкой сходилъ тихонько), да намедни, какъ съ колокольни упалъ, Аграфена Кондратьевна гривенникъ дала; да четвертакъ въ орлянку выиграль; да третьевось хозяннъ забылъ на прилавкъ цълковый". Вотъ источники пріобрътенія для Тишки: сбъгать за водкой, упасть съ колокольни, выиграть, украсть. Какое нравственное чувство разовьется въ немъ при такой жизни? Какъ онъ будетъ сочувствовать страданіямъ другихъ, когда его самого утемали гривенничками за то, что онъ съ колокольни упалъ! Ясно, что и изъ него современемъ выйдетъ Подхалюзинъ... Такова ужъ почва этого "темнаго царства", что на ней другихъ продуктовъ не можетъ вырости!

Но что такое самъ Подхалюзинъ! Въдь это сознательный мошенникъ,

Но что такое самъ Подхалюзинъ? Въдь это сознательный мошенникъ, съ развитыми понятіями! Не составляетъ - ли онъ противоръчія общему впечатлъвію комедіи, заставляющей насъ признать всъ преступленія въ этой средъ слъдствіемъ темноты разумьнія и неразвитости человъческихъ сторонъ характера? Напротивъ, Подхалюзинъ окончательно убъждаетъ насъ въ върности этого впечатлънія. Въ немъ мы видимъ, что онъ именно настолько и сносенъ еще, насколько коснулось его вълніе человъческой идеи. Онъ не очертя голову бросается въ обманъ, онъ обдумиваетъ свои предпріятія, и вотъ мы видимъ, что сейчасъ же въ немъ ужъ является и отвращеніе отъ обмана въ нагомъ его видъ, и стараніе замазать свое мошенничество разными софизмами, и желаніе прінскать для своего плутовства какія - нибудь нравственныя основанія и въ самомъ обманъ соблюсти видимую, юридическую добросовъстность. Есть вещи, о которыхъ онъ вовсе и не думалъ, — какъ, напримъръ, обмъриваніе и надуваніе покупателей въ лавкъ, — такъ тамъ онъ и дъйствуетъ совершенно равнодушно

безъ зазрвнія соввсти. Но когда вышель случай необыкновенный, случай попользоваться большимъ кушемъ изъ имвнія хозянна, тутъ Подхалюзинъ задумался и началь себя оправдывать.

«Говорять, надо советь знать, — разсуждаеть онъ: — да известное дело, ного совъсть знать, да въ какомъ это смыслъ понимать нужно? Противъ хорошаго человъка у всякаго есть совесть, а коли от самъ другить обманиваеть, такъ какая же
туть совъсть? Самсонъ Силычъ купецъ богатейний, и теперича все это дело, можно
сказать, такъ, для препровождения времени затель. А я человекъ бедный Если и
попользуюсь въ этомъ деле чемъ нибудь лишнимъ, такъ и гръха нътъ никакого; потому от самъ несправедино поступаеть, противъ закога идеть. А мит что его
жальть? Вышла линія, — ну, и не плошай: отъ свою политику ведеть, а ты свою
статью готи. Еще-то-ли бы я съ нимъ сделалъ, да не приходится!»

Видите, что и Подхалюзинъ не извергъ, и онъ совъсть имъетъ, только понимаетъ ее по - своему. Онъ, какъ и вст прочіе, сбитъ съ толку военнымъ положеніемъ всего "темнаго царства"; обманъ свой онъ обдумиваетъ, — не какъ обманъ, а какъ ловкую и въ сущности справедливую, хотя юридически и незаконную штуку; прямой же неправды онъ не любитъ: свахъ онъ объщалъ двъ тысячи и даетъ сто цълковыхъ, упираясь на то, что ей не за что давать болъе. Рисположенскому онъ отдаетъ деньги по мелочи, и, только уже передавши ему нъсколько сотъ, отказывается отъ дальнъйшей уплаты, находя, что ему "пора ужъ и честь знать". За самого Большова онъ не вовсе отказывается платить кредиторамъ, но только разсчитываетъ, что 25 копъекъ — много. Притомъ же, въ этомъ случаъ онъ имъетъ видимое основаніе для своего поведенія: онъ помнитъ, что самъ Большовъ говорилъ ему, и ссылается на его же собственныя слова. Отдавая за него дочь, Самсонъ Силычъ ведетъ такой разговоръ съ будущимъ зятемъ:

Вольшовъ. Свое добро, самъ нажиль... кому хочу, тому даю... Да что тутъ разговаривать-то! На милость суда нъть! Бери все, только насъ со старухой корми, да кредиторамъ заплати копъекъ по десяти.

Подхалюзинъ. Стоитъ-ли, тятенька, объ этомъ говорить съ. Нешто я не

чувствую? Свои люди-сочтемся.

Большовъ. Говорять тебъ, бери все, да и кончено дѣло! И никто мнѣ не указъ! Заплати только кредиторамъ. Заплатишь?

Подхалюзинъ. Помилуйте, тятенька, первымъ долгомъ-съ.

Вольшовъ. Только ты смотри — имъ много не давай. А то ты чай радъ съ-дуру-то все отдать.

Подхалюзинъ, Да ужъ тамъ, тятенька, сочтемся. Помилуйте, свои люди.

Большовъ. То-то же. Ты имъ больше десяти коппекь не давай. Булеть съ нихъ.

Подхалюзинъ очень хорошо вошелъ въ эти соображенія и кротко напоминаетъ ихъ Большову, когда тотъ является къ нему изъ ямы. Претензіи кредиторовъ на 25 коп. онъ не признаетъ справедливою; напротивъ, онъ находитъ, что они "зазнались больно; а не хотятъ-ли восемь

конвекъ въ нять лётъ". Проникнутый этими мыслями, онъ радушно уго-щаетъ тестя, вмёстё съ нимъ ругаетъ кредиторовъ, выражаетъ надежду, что "какъ-нибудь отдёлаемся", ибо "Богъ милостивъ"; но заплатить требуемое кредиторами отказывается, потому что они "просятъ цёну со-всёмъ несообразную". Съ его точки зрёнія онъ поступаетъ ничуть не без-честно и не жестоко, а только благоразумно и твердо. Онъ даже выка-зываетъ значительную степень великодушія, соглашаясь платить за Боль-шова 15 копекъ виёсто 10-ти и рёшаясь даже самъ ёхать къ креди-торамъ, чтобы ихъ упрашивать. Видно, что онъ не лишенъ даже чувства состраданія и нёкоторой совёстливости; но ему все хочется отжилить поболъе, и онъ надъется, что, авось, уладить дъло повыгоднъе. Здъсь-то всего болъе и высказывается въ Подхалюзинъ мелкій плуть, образовавшійся прямо всябдствіе деспотическаго гнета, тяготвишаго надънимъ съ малольтства. У него нъть и разбойнической рышимости отказаться отъ всякой уплаты и бросить все это дъло Вольшова на произволь судьбы, съ тымъ, чтобы рышиться на новыя похожденія, съ новыми хлопотами и рискомъ; нътъ и умнаго разсчета, отличающаго мошенниковъ высокаго полета и заставляющаго ихъ брать изъ всякой спекуляціи хоть что - ни-будь, только бы покончить дъло. Ловкій мошенникъ большой руки, пустившись на такое дело, какъ злостное банкротство, не пропустиль бы случая отделаться 25 конъйками за рубль; онъ тотчасъ покончиль бы всю аферу этой выгодной сделкой и быль бы очень доволенъ. Да и какъ же не быть довольнымъ, усивещи задаромъ получить три четверти чужого имънія? Кромъ русскаго доморощеннаго плута, всякій удовлетворился бы такимъ результатомъ. Настоящій мошенникъ, по призванію посвятившій себя этой спеціальности, не старается изъ каждаго обмана вытянуть и выгорговать себъ фортуну, не возится изъ-за гроша съ аферой, которая доставила уже рубли; онъ знаеть, что за теперешней сцекуляціей ожидаеть его другая, за другой представится третья, и т. д., и потому онъ сившить обдълывать одно дъло, чтобы, взявши съ него, что можно, перейти къ другому. Совствъ не такъ поступаетъ нашъ мелкій илутъ, порожденный и возрощенный безсмысленнымъ гнетомъ самодурства. Въ немъ нъмъ именно этой размашистости, которой такъ вст восхищаются почему - то въ русскомъ человъкъ, но за то много безтолковаго сквалыжничества. Въ поступкъ Подхалюзина могутъ видъть нъкоторые тоже широту русской натуры: "вотъ, дескать, какой. — коли брать и изъ чужого добра, такъ ужъ забирай больше, бери не три - четверти, а девять-десятыхъ"... Но, въ самомъ-то дълъ, Подхалюзинъ выказываетъ здъсь именно отсутствіе предпріимчивости и увъренности въ себъ. Онъ пользуется сво-имъ обманомъ, какъ находкой, которая разъ подалась, а въ другой разъ

и не попадается, пожалуй. Поэтому-то онъ и не разстается съ своей аферой, все выжидая,— нельзя-ли изъ нея еще чего-нибудь вытвнуть: не дарой, все внжидая, — нельзя-ли изъ нея еще чего-инбудь внтянуть: не даромъ же онъ рисковалъ въ самомъ дѣлѣ! Ему такъ непривыченъ, такъ тяжелъ всякій рискъ, что онъ боится и думать о вторичной попыткъ подобнаго рода... Теперь ему только бы устроиться, а тамъ онъ пойдетъ ужъ на мелкіе обманы, какъ и объщается въ заключительномъ обращеніи къ публикѣ, по первому изданію комедіи: "а вотъ мы магазинчикъ открываемъ! Милости просимъ: малаго ребенка пришлете, — въ луковицъ не обочтемъ-съ". Это значитъ, что онъ удовольствуется той практикой, которую прежде объясняла приказчикамъ Большова... Развѣ онять подойдеть линія, гдв будеть что-нибудь плохо лежать: туть онь и побольше стянетъ себъ, что усиветъ.

Такимъ образомъ, и Подхалюзинъ не представляетъ собою изверга, не есть квинтъ - эссенція всёхъ мерзостей. Всего гаже онъ въ той сценв, гдв онъ плачеть предъ Вольшовымъ, увъряя его въ своей привязанности и пр. Но въдь тутъ онъ подмазывается къ Самсону Силычу не столько изъ корысти, сколько для того, чтобы выманить у старика объщаніе выдать за него Линочку, которую, — надо заметить, — Подхалюзинъ любить сильно и искренно... Онъ это ясно доказываетъ своимъ обращениемъ съ ней въ четвертомъ актъ, т.-е. когда она уже сдълалась его женою... А для любви такія - ли хитрости прощаемъ мы самымъ нравственнымъ героямъ, въ самыхъ романическихъ исторіяхъ.

Нечего распространяться о томъ, что общему впечатлѣнію пьесы ни-мало не вредитъ и Липочка, при всей своей нравственной уродливости. Находять, что ея обращение съ матерью и потомъ сцена съ отцомъ въ по-слъднемъ актъ переходять предълы комическаго, какъ слишкомъ омерзительныя. Намъ вовсе этого не кажется, потому что мы не можемъ признать святости кровныхъ отношеній въ такомъ семействе, какъ у Большова. На Липочкъ тоже видна печать домашняго деспотизма: только при немъ образуются эти черствыя, бездушныя натуры, эти холодныя, оттал-кивающія отношенія въ роднымъ; только при немъ возможно такое совершенное отсутствие всякаго нравственнаго смысла, какое замъчается у Липочки. А за исключеніемъ того, что осталось въ Липочкъ, какъ слъдъ давившаго ее деспотизма, она ничуть не хуже большей части нашихъ барышень, не только въ купеческомъ, но даже и въ дворянскомъ сословіи. Многія-ли изъ нихъ не наполняютъ всей своей жизни одной внѣшностью, не утёшаются въ горё нарядами, не забываются за танцами, не мечтаютъ объ офицерахъ? Если я на своемъ вёку имёлъ разговоръ съ тремя образованными барышнями, то отъ двухъ изъ нихъ ужъ, конечно, слышалъ я повтореніе извъстнаго монолога Линочки: "то - ли дело отличаться съ

военными! Ахъ, прелесть, восхищеніе! И усы, и эполеты, и мундиръ, а у иныхъ даже шпоры съ колокольчиками!.. Ужъ какое же есть сравненіе, — военный или штатскій? Всенный ужъ сейчасъ видно: и ловкость, и все; а штатскій что? Такъ, какой-то неодушевленный ... Какъ же можно барышень, произносящихъ подобные монологи, сергезно обвинять за чтонибудь? Не ясно-ли, что Липочка все, что ни сдѣлаетъ, сдѣлаетъ по совершенной неразвитости правственной и умственной, а никакъ не по злонамѣренности или природному звѣрству? Чѣмъ же возмущаться въ личности этой несчастной?

Вообще, чёмъ можно возмущаться въ "Своихъ людяхъ"? Не людьми и не частными ихъ поступками, а развё тёмъ печальнымъ безсмысліемъ, которое тягответь надъ всёмъ ихъ бытомъ. Люди, какъ мы видёли, по-казаны намъ въ комедіи съ человъческой, а не съ юридической стороны, и потому впечатлёніе самыхъ ихъ преступленій смягчается для насъ. Оффиціальнымъ образомъ мы видимъ здёсь злостнаго банкрота, еще более злостнаго приказчика, ограбившаго своего хозяина, ехидную дочь, хладнокровно отправляющую въ острогъ своего отца, — и всѣ эти лица мы клеймимъ именами злодъевъ и изверговъ. Но авторъ комедіи вводитъ насъ въ самый домашній быть этихъ людей, раскрываеть передъ нами ихъ душу, передаетъ ихъ логику, ихъ взглядъ на вещи. и мы невольно убъждаемся, что тутъ нътъ ни злодъевъ, ни изверговъ, а все люди очень обыкновенные, какъ всв люди, и что преступленія, поразившія насъ, суть вовсе не следствія исключительныхъ натуръ, по своей сущности наклонныхъ къ злодъйству, а просто неизбъжные результаты тъхъ обстоятельствъ, посреди которыхъ начинается и проходитъ жизнь людей, обвиняемыхъ нами. Слъдствіемъ такого убъжденія является въ насъ уваженіе къ человъческой натуръ и личности вообще, смъхъ и презръние въ отношения къ твиъ уродливымъ личностямъ, которыя дъйствуютъ въ комедіи и въ оф-фиціальномъ смыслъ внушають ужасъ и омеравніе, и наконецъ — глубокая, непримиримая ненависть къ темъ вліяніямъ, которыя такъ задерживають и искажають нормальное развитие личности. Затемъ мы прямо пореходимъ къ вопросу: что же это за вліянія и какимъ образомъ они дъйствуютъ? Комедія ясно говорить намъ, что всъ вредныя вліянія состоять здёсь въ дикомъ, безправномъ самовольстве однихъ надъ другими. Самый способъ действія этихъ вліяній объясняется намъ изъ комедіи очень просто. Мы видъли, что Большовъ вовсе не сильная натура, что онъ не-способенъ къ продолжительной борьбъ, да и вообще не любитъ хлопотъ; видъли мы также, что Подхалюзинъ — человъкъ смътливый и вовсе не привязанный къ своему хозяину; видъли, что и всъ домашние не очень-то расположены къ Самсону Силычу, кромъ развъ жены его, совершенно нич

тожной и глупой старухи. Что же мъщаеть имъ составить открытую оппозицію противъ неистовства Большоваї То, что они матеріально зависятъ отъ него, ихъ благосостояніе связано съ его благосостояніемъ? Но въ такомъ случав, отчего Подхалюзинъ, радвя о пользахъ хозяина, не удерживаеть его отъ опаснаго шага, на который тотъ рышается по неразумію, "такъ, для препровожденія времени"? Потому, конечно, что Подхалюзинъ самъ надвется туть нагръть руки? Да, — по здъсь-то и раскрывается въ полной силъ весь ужасъ нелъцыхъ отношеній, изображенныхъ намъ въ "Своихъ людяхъ". Видите, здъсь дело не въ личности самодура, угнетающаго свою семью и всвхъ окружающихъ. Онъ безсиленъ и ничтоженъ самъ по себъ; его можно обмануть, устранить, засадить въ яму наконецъ... Но двло въ томъ, что съ уничтожениемъ его не исчезаетъ самодурство. Оно дъйствуетъ заразительно, и съмена его западаютъ въ тъхъ самыхъ, которые отъ него страдають. Безправное, оно подрываетъ довъріе къ праву; темное и ложное въ своей основъ, оно гонитъ прочь всякій лучъ истины; безсмысленное и капризное, сно убиваетъ здравый смыслъ и всякую способность къ разумной, целесообразной деятельности; грубое и гнетущее, оно разрушаетъ всв связи любви и доверенности, уничтожаетъ даже довъріе къ самому себъ и отучаеть отъ честной, открытой дъятельности. Вотъ чъмъ именно и опасно оно для общества! Самодура уничтожить было бы не трудно, еслибъ энергически принялись за это честные люди. Но беда въ томъ, что, подъ вліяніемъ самодурства, самые честные люди мельчають и истомляются въ рабской бездвятельности, а двломъ занимаются только люди, въ которыхъ собственно человъчныя стороны характера наимение развиты. И динтельность этихъ людей, вслидствие совершеннаго извращенія ихъ понятій подъвліяніемъ самодурства, иметь тоже характеръ мелкій, частный и грубо-эгонстическій. Цівль ихъ не та, чтобы уничтожить самодурство, отъ котораго они такъ страдають, а та, чтобы только какъ-нибудь повалить самодура и самимъ занять его мъсто. И вотъ — Большовъ угодилъ въ яму, и вивсто него явился Подхалюзинъ и благоденствуетъ на твхъ же правахъ 1).

<sup>1)</sup> Впрочемъ, въ новомъ изданіи Островскаго и Подхалюзинъ не благоденствуетъ, а уводится къ концу пьесы квартальнымъ, имѣя затѣмъ въ перспективѣ Сибиръ. Намъ кажется, что эта прибавка совершенно лишняя. Конечно, авторъ сдѣдалъ ее не по своимъ убѣжденіямъ, а въ угоду нѣкоторымъ, слишкомъ ужъ строгимъ пуристамъ, требовавшимъ, чтобъ порокъ непремѣнно былъ наказанъ. Но мы видѣли, что здѣсь дѣло не въ лицахъ и не во внѣшнемъ фактѣ, а въ самомъ бытѣ, въ самыхъ связяхъ, которыми держится весь этотъ бытъ. Притомъ же мы знаемъ, что если Подхалюзанъ можетъ подвергнуться наказанію, то развѣ за какую-нибудь оплошность свою,—за то, что не совсѣмъ чисто умѣлъ обработать дѣльце. Да притомъ, у него остается еще одинъ рессурсъ: квартальнаго встрѣчаетъ онъ предложеніемъ вы-

Таковы общіє выводы, представляемые намъ комедією "Свои люди— сочтемся". Мы остановились на ней особенно долго по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, о ней до сихъ поръ не было говорено ничего серьезнаго; во-вторыхъ, краткія замітки, какія ділались о ней мимоходомъ, постоянно обнаруживали какое-то странное понимание смысла пьесы; въ третьихъ, сама по себъ комедія эта принадлежитъ къ наиболье яркимъ и выдержаннымъ произведеніямъ Островскаго; въ-четвертыхъ, не будучи играна на сценъ, она менъе популярна въ публикъ, нежели другія его пьесы... Кромъ того, она требовала болъе подробнаго разумотрънія и потому, что въ ней изображаются подвижныя плутовскія натуры, развившіяся подъ гнетомъ самодурства. Таковы здісь всі лица, исключая Аграфены Кондратьевны. Они двятельно подчинились самодурству, растлили свой умъ, сделались сами участниками гадостей, порождаемыхъ деспотическимъ гнетомъ. Разсмотръть это правственное искажение представляеть задачу, гораздо болъе сложную и трудную, нежели указать простое паденіе внутренней силы челов'вка подъ тяжестью внашняго гнета. А именно натуры последняго разряда, сдавленныя, убитыя, потерявшія всякую энергію и подвижность, представляются намъ, главнымъ образомъ, въ последующихъ комедіяхъ Островскаго, къ которымъ мы должны теперь обратиться. Въ этихъ последнихъ им уже гораздо короче постараемся проследить мертвящее вліяніе самодурства и, преимущественно, остановимся на одномъ его видъ — на рабскомъ положении нашей женщины въ семействъ. Затъмъ, въ связи съ тъмъ же вопросомъ самодурства, и даже въ прямой зависимости отъ него, разсмотримъ значение тъхъ формъ образованности, которыя такъ смущають обитателей нашего "темнаго царства", и наконецъ тъхъ средствъ, которыя многими изъ героевъ этого царства употребляются для упроченія своего матеріальнаго благосостоянія. Но разсмотреніе всёхъ этихъ вопросовъ и показаніе непосредственной связи ихъ съ самодурствомъ, — какъ оно обнаруживается въ вомедіяхъ Островскаго, - должно составить другую статью.

Теперь же мы можемъ, възаключение разбора "Своихълюдей", только спросить читателей: откажутъ-ли они изображениямъ Островскаго, такъ подробно анализированнымъ нами, въ жизненной правдъ и въ силъ ху-

пить водочки и поговорить съ нимъ, надъясь такимъ образомъ удадить дъло. Квартальный не соглащается и уводить его; но мы знаемъ, что не отъ квартальнаго зависить судьба Подхалюзина и что не всъ въ темномъ царствъ такъ несговорчивы, какъ этотъ необыкновенный квартальный... Мы даже почти увърены, по опущения занавъса, что при существующихъ общественныхъ отношенияхъ той среды, въ которой дъйствуетъ Подхалюзинъ, онъ непремънно найдетъ легкое средство вывернуться и оправдаться.

дожническаго представленія? И если эти лица и этотъ быть втрим дъйствительности, то думають-ли читатели, что тв стороны русскаго быта, которыя рисуетъ намъ Островскій, не стоять вниманія художника? Ръшатся-ли они сказать, что действительность, изображаемая имъ, имъетъ лишь частное и мелкое значение и не можеть дать никаких важных ревультатовъ для человъка разсуждающаго?.. Отвътъ на эти вопросы можеть показать, достигли-ли мы своей цели, анализируя факты, представлявшіеся намъ въ комедіяхъ Островскаго... Что касается лично до насъ, то мы никому ничего не навязываемъ, мы даже не выражаемъ ни восторга, ии негодованія, говоря о произведеніяхъ Островскаго. Мы только следимъ за явленіями, имъ изображенными, и объясняемъ, какой смыслъ имъють они для насъ. Читатели, соображаясь съ своими собственными наблюденіями надъ жизнью и съ своими понятіями о правѣ, нравственности и требованіяхъ природы человіческой, могуть різшить сами — какъ то, справедливы-ли наши сужденія, такъ и то, какое значеніе имфють жизненные факты, извлекаемые нами изъ комедій Островскаго.

## Ш

И нынв все днко и пусто кругомъ...
Не шепчутся листья съ гремучимъ ключемъ;
Напрасно пророка о тынв онъ проситъ:
Его лишь песокъ раскаленный заноситъ,
Да коршунъ хохлатый, степной нелюдимъ,
Добычу терзаетъ и щиплетъ надъ нямъ.
Ле р м о н т о в ъ.

Разсматривая комедію Островскаго "Свои люди—сочтемся", ми обратили вниманіе читателей на ніжоторыя черты русскаго, преимущественно купеческаго, быта, отразившіяся въ этой комедіи. Мы сказали, что основа комизма Островскаго заключается, по нашему мнівнію, въ изображеніи безсмысленнаго вліянія самодурства, въ обширьомъ значеніи слова, на семейный и общественний быть. Въ отношеніяхъ Самсона Силича Большова ко всімь, его окружающимъ, мы виділи, что самодурство это — безсильно и дряхло само по себі, что въ немъ ніть никакого нравственнаго могущества, но вліяніе его ужасно тімь, что, будучи само безсимсленно и безправно, оно искажаеть здравый смысль и понятіе о правіть во всіхъ, входящихъ съ нимъ въ соприкосновеніе. Мы виділи, что подъ вліяніемъ самодурныхъ отношеній развивается плутовство и пронырливость, глохнуть всіт гуманныя стремленія даже хорошей натуры, и развивается узвій, исклю-

чительный эгоизмъ и враждебное расположение къ ближнимъ. Нужно имъть гениально-свътлую голову, младенчески-непорочное сердце и титаническимогучую волю, — чтобы имъть ръшимость выступить на практическую, дъйствительную борьбу съ окружающей средою, нелъпость которой способствуетъ только развитию эгоистическихъ чувствъ и въроломныхъ стремле-

добствительную борьбу съ окружающей средою, нелъпость которой способствуетъ тодько развитію этоистических чувствъ и въроломныхъ стремленій во всякой живой и дъятельной натурѣ.

Но, чтобы выйти изъ подобной борьбы непобъжденныть, —для этого мало и всъхъ исчисленныхъ нами достоянствъ: нужно еще имътъ жельзное здоровье и, главное, вполнъ обезнеченное состояніе. А между тъмъ, по устройству "темнаго царства", — все его здо, вся его ложь тяготъетъ страданіями и лишеніями именно только надъ тъми, которые слабы, извурены и не обезнечены въ жизаи; для лючей же сильныхъ и богатыхъ — та же самая ложь служитъ къ услажденое же сильныхъ и богатыхъ — та же самая ложь служитъ къ услажденое же сильныхъ и богатыхъ — та же самая ложь служитъ къ услажденое же сильныхъ и остатыхъ — та же самая ложь служитъ къ услажденой же сильныхъ и остатихъ — та же самая дожь, бороться съ этимъ здомъ? Можно- ли ожидать, что купенъ Большовъ стапетъ требовать, напримъръ, оть своего приказчикъ истъ Большовъ стапетъ требовать, напримъръ, оть своего приказчикъ мотъ бы, проникнувшись добросовъстностью, послъдовать такому образу дъйствій. Но приказчикъ севзань съ хозянному: опъ ситъ и одъть по хозяйской милости, онъ можетъ "въ люди произойти", если хозянив полюбитъ его; а ежели не полюбитъ, то что же такое приказчикъ, со скоей непрактической добросовъстностью? Такъ, — инчтожество!. И вотъ Иодхалюзинъ начинаетъ соображать нанем своего положентя. Чловъкъ онъ не геніальный, не герой и не титать, а очень обыкновенны смертивій. Невозможно и требовать отъ него практического протеста противъ всей окружающей его среды, противъ обычаевъ, установивнихся въками, противъ ноявтій, которыя, какъ святаны, внушались ему, когда отъ бить не сеніальный, которыя, какъ святаны, внушались ему, когда отъ бить не сеніальный, которыя, какъ святаны, внушались ему, когда отъ бить не свислывшить... Ясно, что отъ долженъ пойти по той дорожкъ, которая протирена другими... Не пробовать же ему новой, никому невъдомой дороги, когда ужъ есть готовый торный проселокъ!

Не съ другой стор

обыденной жизни, постоянно имъ видимой, о томъ онъ имъетъ лишь смутныя понятія, да ни мало и не заботится, находя, что то ужъ совствъ другое, объ этомъ нашему брату и дунать нечего... А разъ рашивши это, поставивши себт такой предълъ, за который нельзи переступить, Подхалюзинъ, очень естественно, старается приспособить себя къ такому кругу, гдв ему надо дъйствовать, и для того съеживается и выгибается. Это же и не стоитъ ому большого труда, - дело привычное съ малолетства: какъ вытянутъ по спинъ аршиномъ или начнутъ объ голову кулаки оббивать, — такъ тутъ поневолъ выгнешься и сожмешься... И Подхалюзинъ, вынося самъ всякія истязанія и находя, наконецъ, что это въ порядкі вещей, глубоко затаиваетъ свои личныя, живыя стремленія, въ надеждів, что будеть же когданибудь и на его улицъ праздникъ. Между тъмъ, нравственное развитіе идетъ своимъ путемъ, логически-неизбъжнымъ при такомъ положеніи: Подхалюзинъ, находя, что личныя стремленія его принимаются всеми враждебно, мало-по-малу приходитъ къ убъжденію, что дъйствительно личность его, какъ и личность всякаго другого, должна быть въ антагонизив со всемъ окружающимъ, и что, слъдовательно, чъмъ болъе онъ отниметъ отъ другихъ, тъмъ полнъе удовлетворитъ себя. Изъ этого начала развивается то въчно-осадное положеніе, въ которомъ неизбъжно находится каждый обитатель "темнаго царства", пускающійся въ практическую дъятельность, съ намъреніемъ добиться чего-нибудь... Высшія нравственныя правила, для всёхъ равно обязательныя, существують для него только въ нёсколькихъ прекрасныхъ реченіяхъ и заповъдяхъ, никогда не примъняемыхъ къ жизни; симпатическая сторона натуры въ немъ не развита; понятія, выработанныя наукою, объ общественной солидарности и о равновъсіи правъ и обязанностей, — ему недоступны. Самые идеалы его (потому что идеалы и у Подхалюзина есть, какъ есть и у городничаго въ "Ревизоръ") грубы, тусклы, безобразны и безчеловъчны. Городничій мечтаеть о томъ, какъ онъ, сдёлавшись генераломъ, будетъ заставлять городничихъ ждать себя по пяти часовъ; такъ точно Подхалюзинъ предполагаетъ: "тятенька подурили на своемъ въку, —будетъ: теперь намъ пора". И только бы ему достичь возможности осуществить свой идеаль: онь, въ самомъ дёль, не замедлить заставить другихъ такъ же бояться, подличать, фальшивить и страдать отъ него, какъ боялся, подличалъ, фальшивилъ и страдалъ самъ онъ, пока не обезпечилъ себъ права на самодурство...

Тяжело проследить подобную карьеру; горько видеть такое искажение человеческой природы. Кажется, ничего не можеть быть хуже того дикаго, неестественнаго развития, которое совершается вы натурахы, подобныхы Подхалюзину, вследствие тяготения надынимы самодурства. Но, вы последующихы комедіяхы Островскаго, намы представляется новая сторона того

же вліянія, по своей мрачности и безобразію едва-ли уступающая той, которая была нами указана въ прошедшей стать в.

Торая была нами указана въ прошедшей статъв.

Эта новая сторона является намъ въ натурахъ подавленныхъ, безотвътныхъ. Такія натуры представляются намъ почти въ каждой изъ комедій Островскаго, съ большею или меньшею ясностью очертаній. Даже въ "Своихъ людяхъ" Аграфена Кондратьевна принадлежитъ къ такимъ натурамъ; но здѣсь она не играетъ видной роли. Ярче выставляются намъ въ послъдующихъ комедіяхъ лица Мити въ "Бѣдность не порокъ", и лѣтей Брусковихъ въ пьесъ "Въ чужомъ пиру похмѣлье", и лица дѣвушекъ почти во всѣхъ комедіяхъ Островскаго. Авдотья Максимовна, Любовь Торцова, Даша, Надя— все это безвинныя, безотвѣтныя жертвы самодурства, и то сглаженіе, отмоненіе человѣческой личности, какое въ нихъ произведено жизнью, едва-ли не безотраднѣе дѣйствуетъ на душу, нежели самое искаженіе человѣческой природы въ плутахъ, подобныхъ Подхалюзину. Тамъ еще коегдѣ пробивается жизнь, самобытность, мерцаетъ мвлутами лучъ какой-то надежды; здѣсь— тишь невозмутимая, мракъ непроглядный, здѣсь предъвами стоитъ мертвая красавица въ безлюдной степи, и общее гробовое молчаніе нарушается лишь движеніемъ степного коршуна, терзающаго въ воздухѣ добычу... Жутко, точно на кладбищѣ или въ домѣ купца-раскольника наканунѣ великаго праздника!

Чтобы видъть проявленія безотвътной, забитой натуры въ разныхъ положеніяхъ и обстоятельствахъ, мы проследимъ теперь последующія за "Своими людьми" комедіи Островскаго изъ купеческаго быта, начавши съ комедіи "Не въ свои сани не садись".

Но, упомянувши объ этой пьесв, мы считаемъ нужнымъ напомнить читателямъ то, что сказано было нами въ первой статъв— о значении вообще художнической двительности. "Не въ свои сани не садись "вызвало самыя разнообразныя сужденія объ убъжсденіяхъ Островскаго. Одни превозносили его за то, что онъ усвоилъ себв прекрасныя воззрвнія славянофиловъ на прелести русской старины; другіе возмутились твиъ, что Островскій явился противникомъ современной образованности. Всв эти разсужденія могли быть прискорбны для Островскаго, главнымъ образомъ, потому, что изъ-за толковъ о его воззрвніяхъ совершенно забывали о его талантв и о лицахъ и явленіяхъ, выведенныхъ имъ. Въ отношеніи къ Островскому такой пріемъ былъ просто неделикатенъ. Мы понимаемъ, что графа Соллогуба, напримъръ, нельзя было разбирать иначе, какъ спращивая: что онъ хотпълъ сказать своимъ "Чиновникомъ "?—петому что "Чиновникъ" есть ни что иное, какъ модная юридическая— даже не идея, а просто— фраза, драматизированная безъ малъйшаго признака таланта. Можно такъ обращаться, напримъръ, и съ стихотвореніями г. Розенгейма: поэзіи у него нътъ ни въ

одномъ стихѣ; поэтому единственною мѣркою достоинства стихотворенія остается относительное значеніе идеи, на которую оно сочинено. Такимъ остается относительное значение идеи, на которую оно сочинено. Такимъ образомъ, не входя ни въ какія художественныя разбирательства, можно, напримъръ, похвалить г. Розенгейма за то, что "Гроза", помъщенная имъ недавно въ "Русскомъ Словъ", написана имъ на тему, не имъющую той пошлости, какъ его чиновничьи и откупныя элегіи. Здѣсь мы можемъ быть совершенно спокойны, обращая вниманіе единственно на воззрѣніе автора, какое желалъ онъ выразить въ пьесъ. Комедія Островскаго заслуживаютъ другого рода критики, нотому что въ нихъ, независимо отъ теоретическихъ понятій автора, есть всегда художественныя достоинства. Мы уже закъ чали, что общія идеи принимаются, развиваются и выражаются художникомъ въ его произведеніяхъ совершенно иначе, нежели обыкновенными теоретиками. Не отвлеченным идеи и обще принципы занимають художника, а живые образы, въ которыхъ проявляется идея. Въ этихъ образахъ поэтъ можетъ, даже непримътно для самого себя, уловить и выразить ихъ внутренній смыслъ гораздо прежде, нежели опредълитъ его разсудкомъ. Иногда художникъ можетъ и вовсе не дойти до смысла того, что онъ самъ же изображаеть; но критика и существуеть за твиъ, чтобы разъяснить смысль, скрытый въ созданіяхъ художника, и, разбирая представленныя поэтомъ изображенія, она вовсе не уполномочена привязываться къ теоретическимъ его воззрѣніямъ. Въ первой части "Мертвыхъ душъ" есть мѣста, по духу своему близко подходящія къ "Перепискъ", но "Мертвыя души" по духу своему одизко подходяща въ "перепискъ, но "пертвыя души отъ этого не теряли своего общаго смысла, столь противоположнаго теоретическимъ воззръніямъ Гоголя. И критика Бълинскаго не трогала гоголевскихъ теорій, пока онъ являлся передъ нею просто какъ художникъ; она ополчилась на него тогда, когда онъ провозгласилъ себя нравоучителемъ и вышелъ къ публикъ не съ живымъ разсказомъ, а съ книжицею назидательныхъ совътовъ.

Не сравнивая значенія Островскаго съ значеніемъ Гоголя въ исторіи нашего развитія, мы замѣтимъ однако, что въ комедіяхъ Островскаго, подъ вліяніемъ какихъ бы теорій онѣ ни писались, всегда можно найти черты глубоко - вѣрныя и яркія, доказывающія, что сознаніе жизненной правлы никогда не покидало художника и не допускало его искажать дѣйствительность въ угоду теоріи. А если такъ, то, значитъ, и основныя черты міросозерцанія художника не могли быть совершенно уничтожены разсудочными ошибками. Онъ могъ брать для своихъ изображеній не тѣ жизненные факты, въ которыхъ извѣстная идея отражается наилучшимъ образомъ, могъ давать имъ произвольную связь, толковать ихъ не совсѣмъ вѣрно; но если художническое чутье не изиѣнило ему, если правда въ произведеніи сохранена, — критика обязана воспользоваться имъ для объяс-

ненія дійствительности, ракно какъ и для карактеристики таланта писателя, но вовсе не для брани его за мысли, которыхъ онъ, можетъ быть, еще и не имълъ. Критика должна сказать: "вотъ лица и явленія, выводимыя авторомъ; вотъ сюжетъ пьесы; а вотъ смыслъ, какой, по нашему мнфнію, имфють жизненные факты, изображаемые художникомъ, и вотъ степень ихъ значенія въ общественной жизни". Изъ этого сужденія само собою и окажется, върно-ли самъ авторъ смотрель на созданные имъ образы. Если онъ, напримъръ, силится возвести какое-нибудь лицо во всеобщій типъ, а критика докажетъ, что оно имъетъ значеніе очень частное и мелкое, - ясно, что авторъ повредилъ произведеню ложнымъ взглядомъ на героя. Если онъ ставить въ зависимость одинъ отъ другого нъсколько фактовъ, а по разсмотренію критики окажется, что эти факты никогда въ такой зависимости не бывають, а зависять совершенно оть другихъ причинъ, - опять очевидно само собой, что авторъ невърно понялъ связь изображаемыхъ имъ явленій. Но и туть критика должна быть очень осторожна въ своихъ заключеніяхъ: если, напримъръ, авторъ награждаетъ, въ концв пьесы, негодяя, или изображаетъ благороднаго, но глупаго че-ловъка, — отъ этого еще очень далеко до заключенія, что онъ хочетъ оправдывать негодяевъ или считаетъ всъхъ благородныхъ людей дура-ками. Тутъ критика можетъ разсмотръть только: точно-ли человъкъ, вы-ставляемый авторомъ, какъ благородный дуракъ, дъйствительно таковъ по понятіямъ критики объ умв и благородствв, - и затвиъ: такое-ли значеніе придаеть авторъ своимь лицамъ, какое имъють они въ действительной жизни?

Таковы должны быть, по нашему мнвнію, отношенія реальной критики къ художественнымъ произведеніямъ; таковы въ особенности должны они быть къ писателю при обозрвніи цвлой его литературной двятельности. Говоря объ отдвльномъ произведеніи, критика можетъ увлечься частностями и ставить въ вину писателю то, что имъ лишь недостаточно выяснено. Но при общей характеристикв, частности могутъ остаться въ сторонв, и на первомъ планв является изображеніе общаго міросозерцанія писателя, какъ оно выразилось во всей массв его произведеній. А какъ оно выразилось, это опредвляется твми предметами и явленіями, которые привлекали къ себв его внимавіе и сочувствіе и послужили матеріалами для его изображеній.

Сдълавши эти объясненія, мы можемъ теперь сказать, что вовсе не хотимъ видъть въ "Не своихъ саняхъ" апологію патріархальнаго, стариннаго быта и попытку доказать преимущества русской необразованности предъ европейскимъ образованіемъ. Мы могли бы въ этой комедіи отыскать даже нъчто противоположное, но и того не хотимъ, а просто ука-

жемъ на фактъ, служащій основою пьесы. Мы уже видѣли, что основной мотивъ цьесъ Островскаго — неестественность общественныхъ отношеній, происходящая вслѣдствіе самодурства однихъ и безправности другихъ. Чувство художника, возмущаясь такимъ порядкомъ вещей, преслѣдуетъ его въ самыхъ разнообразныхъ видоизмѣненіяхъ и передаеть на позорътого самаго общества, которое живетъ въ этомъ порядкъ. И вотъ одно изъ такихъ видоизмѣненій.

изъ такихъ видоизмъненій.

Есть на Руси купецъ-самодуръ, добрый, честный и даже, по своему, умный, — но самодуръ. У него есть дочь, которая передъ нимъ безгласна и безправна, какъ всякая дочь передъ всякимъ самодуромъ. Не признавая ея правъ, какъ самостоятельной личности, ей и не даютъ ничего, что въ жизни можетъ ограждать личность: она необразована, у ней нътъ голоса даже въ домашнихъ дълахъ, нътъ привычки смотръть на людей своими глазами, нътъ даже и мысли о правъ свободнаго выбора въ дълъ сердца. Выросши въ полный ростъ человъческій, она все еще ведетъ себя, какъ несовершеннолътняя, какъ ребенокъ неразумный. Самая любовь ея къ отцу, парализуемая страхомъ, неполна, неразумна и неоткровениа, такъ что дочка втихомолку отъ отца нанитывается понятіями своей тетушки, пожилой дъвы, бывшей въ учень на Кузнецкомъ мосту, и затъмъ съ ея голоса увъряетъ себя, что влюблена въ молодого прощалыгу, отставного гусара, на-дняхъ пріъхавшаго въ ихъ городъ. Гусаръ сватается, отепъ отказываетъ; тогда гусаръ увозитъ дъвушку, и она ръшается ъхать съ гусара, на-дняхъ прівхавшаго въ ихъ городъ. Гусаръ сватается, отепъ отказываетъ; тогда гусаръ увозитъ дъвушку, и она рфшается вхать съ нимъ, все толкуя, однако, о томъ, что вхать не надо, а лучше къ отцу возвратиться. Но на первой же станціи гусаръ узнаетъ, что отецъ не дастъ ни гроша денегъ за убѣжавшей дочерью, и тотчасъ же, конечно, прогоняетъ отъ себя бѣдную дѣвушку. Она возвращается домой; отецъ ругаетъ и хочетъ запереть ее на замокъ, чтобъ свѣта Божьяго не видѣла и его передъ людьми не срамила; но ее ръшается взять за себя молодой купчикъ, который давно въ нее влюбленъ и котораго она сама любила до встрѣчи съ Вихоревимъ. Все кончается благополучно.

Таковъ фактъ, составляющій сущность комедіи "Не въ свои сани не садись". Какой же смысль его? Даетъ-ли онъ хоть какой-нибудь поводъ къ развитію темы о преимуществахъ стараго быта, къ выраженію славянофильскихъ тенденцій? Кажется, нътъ. Смысль его тотъ, что самодурство, въ какихъ бы умфренныхъ формахъ ни выражалось, въ какую бы кроткую опеку ни переходило, все-таки ведетъ, по малой мфрф, къ обезличенію людей, подвергшихся его вліянію; а обезличеніе совершенно противоположно всякой свободной и разумной дфятельности; слъдовательно, человъкъ обезличенный, подъ вліяніемъ тяготъвшаго надъ нимъ самодурства. можетъ нехотя, безсознательно, совершить какое угодно преступленіе и погибнуть—просто по глупости и недостатку.

Это значение разсказаннаго нами факта, всего скорфе и ръзче бросающееся въ глаза, недостаточно ярко является въ комедіи, потому что въ ней на первый планъ выступаетъ контрастъ умнаго, солиднаго Русакова и добраго, честнаго Бородкина — съ жалкимъ вертопрахомъ Вихоревымъ. За эготъ контрастъ и ухватились критики и надвлали въ своихъ разборахъ такихъ предположеній, какихъ у автора, можеть быть, и на умъникогда не было. Его обвинили чуть не въ совершенномъ обскурантизмъ, и даже до сихъ поръ ивкоторые критики не хотять ему простить того, что Русаковъ — необразованный, но все-таки добрый и честный человъкъ 1). И дъйствительно, увлекшись негодованиемъ противъ мишурной образованности господъ, подобныхъ Вихореву, сбивающихъ съ толку простыхъ русскихъ людей, Островскій не съ достаточной силой и ясностью выставилъ здівсь то причины, велівдетвіе которых в русскій человік в может в увлекаться подобными господами. Но нельзя сказать, чтобы эти причины были совершенно забыты авторомъ: простой и естественный смыслъ факта не укрылся отъ него, и въ "Не своихъ саняхъ" мы находим в разбросанныя черты тахъ отношеній, которыя разумаємь подъ общимъ именемь самодурныхъ. Еслибъ эти черты были ярче, комедія имъла бы болве цільности и опредъленности; но и въ настоящемъ своемъ видъ она не можеть быть названа противною основнымъ чертамъ міросозерцанія автора. Въ темний бытъ Русаковыхъ онъ внесъ дучъ посторонняго свъта, сгладилъ и уравнялъ нъкоторыя грубыя черты; но и въ этомъ смягченномъ видъ, если всмотреться внимательные, - сущность дела осталась та же. Попробуемъ указать несколько чертъ изъ отношеній Русакова къ дочери и въ окружающимъ; мы увидимъ, что здесь основаниемъ всей истории является опять-таки то же самодурство, на которомъ утверждаются всв семейныя и общественныя отношенія этого "темнаго царства".

Максимъ Оедотычъ Русаковъ — этотъ лучшій представитель всѣхъ прелестей стараго быта, умнъйшій старикъ, русская оуша, которою славянофильскіе и кошихинствующіе критики кололи глаза нашей послѣ-петровской эпохъ и всей новъйшей огразованности, — Русаковъ, на нашъ взглядъ, служитъ живымъ протестомъ противъ этого темнаго быта, ничъмъ не осмысленнаго и безнравственнаго въ самомъ корнъ своемъ. Въ Вольшовъ мы видъли дрянную натуру, подвергнувшуюся вліянію этого быта; въ Русаковъ намъ представляется: а вотъ какими выходятъ при

<sup>1)</sup> Посят первой нашей статьи, гдт говорилось о критикахъ Островскаго, появились въ журналахъ еще двт статьи о немъ. Одна имтетъ диемрамбическій характеръ, но другая повторяетъ вст нельпости, приписывавшіяся Островскому въ прежнее время, и оканчивается ттмъ, что совтуетъ ему «мыслить, мыслить и мыслить». Впрочемъ, обт статьи совершенно незначительны.

немъ даже честныя и мягкія натуры!.. И дъйствительно, природная доброта и даже деликатность пробиваются въ Русаковъ скьозь грубыя формы. Онъ обходится со всеми ласково, о жене и дочери говорить съ умиленісив; когда Дуня, узнавъ о его рашительном вотказа Вихореву, падаеть въ обморокъ (сцена эта намъ кажется, впрочемъ, утрированною), опъ пугается и даже тотчасъ соглашается измънить для нея свое решение. Мало этого: у него голова сложена довольно хорошо и изъ нея не выбить здравый смыслъ. Онъ не говоритъ просто: "такъ должно быть потому, что я такъ хочу", а старается отыскать резоны для своихъ ръшеній. Но этичъ и ограничивается то, что могъ онъ сохранить изъ добрыхъ качествъ своей натуры; далее начинаются пріобретенія самодурства. Видно, что Русаковъ, по мягкости своей природы, съ самаго начала кротко покорился существующему порядку, признавъ его законность; значить, не было нужды доказывать ему эту законность нинками и колотушками. Оттого въ немъ и въ старости истъ той враждебности и кругости, какую замъчаемъ въ другихъ самодурахъ, выводимыхъ Островскимъ; оттого онъ не отвергаетъ даже резоновъ въ разговоръ съ низшими и младшими. Но бытъ "темнаго царства", въ которомъ онъ выросъ, ничего не далъ ему въ отношении резонности: ея нътъ въ этомъ быть, и нотому Русаковъ впадаетъ въ ту же несмысленность, въ тотъ же мракъ, въ какомъ блуждають и другіе собратья его, хуже одаренные природою.

Любопытно послушать мораль, до которой успель онъ возвыситься. Покорность, теривніе, уваженіе къ оцыту и преданію, ограниченіе себя своимъ кругомъ — вотъ его основныя положенія. Дошель онъ до нихъ грубо-эмпирически, сопоставляя факты, но ничемъ ихъ не осмысливая, потому что мысль его связана въ то же время самымъ упорнымъ, фаталистическимъ понятіемъ о судьбъ, распоряжающейся человъческими дълами. Онъ появляется на сцену съ сентенціей о томъ, что "нужно къ старшимъ за совътомъ ходить, — старикъ худа не посовътуетъ". Далъе, въ отвътъ на сватовство Бородкина, онъ говоритъ: "я, значитъ, должонъ это дъло сделать съ разумомъ, потому — мне придется за дочь Богу отвечать. На этомъ основании онъ судьбою дочери распоряжается вотъ какимъ образомъ: "статочное - ли дъло, чтобъ повърить дъвкъ, вто ей понравится? Неть, это не порядокъ: пусть мить человекъ понравится. Я не за того отдамъ, кого она полюбитъ, а за того, кого я полюблю. Да, кого я полюблю, за того и отдамъ". Въ этомъ ужъ кръпко сказывается и самодурство; но оно смягчается въ Русаковъ слъдующимъ разсужденіемъ: "какъ дъвкъ повърить? что она видъла? кого она знаетъ?" Разсужденіе справедливое въ отношени къ дочери Русакова; но ни Русакову, и никому изъ его собратьевъ, не приходитъ въ голову спросить: "отчего жъ она ничего

не видъла и никого не знаетъ? Какая же необходимость была воспитывать ее въ такомъ блаженномъ невъдъніи, что всякій ее можетъ обмануть?.. \* Если бъ они задали себъ этотъ вопросъ, то изъ отвъта и оказалось бы, что всему злу корень опять-таки ни что иное, какъ ихъ собственное самодурство. Русаковъ совершенно доволенъ своимъ положениемъ и въ бары лъзть не желаетъ, а образование онъ считаетъ исключительной принадлежностью баръ; вследствие того онъ и дочь свою такъ держитъ, что она остается, по его выраженію, дурою. Въ отвътъ на сватанье Вихорева онъ говоритъ: "ищите сеоъ барышень воспитанныхъ, а ужъ нашихъ-то дуръ оставьте намъ, мы своимь-то найдемъ жениховъ капихъ-нибудь дешевенькихъ". Въ этихъ словахъ еще слышится пронія; но Русаковъ и серьезно продолжаетъ въ томъ же родъ: "ну, какая она барыня, посудите, отецъ: жила здъсь въ четырехъ стънахъ, свъту не видала... Не за что вамъ и любить ее: она дъвушка простая, невоспитанная и совствы вамъ не пара. У васъ есть родные, знакомые, всв будуть сменться надъ ней, какъ надъ дурой, да и вамъ-то она опротивъетъ хуже горькой полыни... такъ отдамъли я дочь на такую каторгу! "

Въ этихъ разсужденіяхъ всего печальнъе то, что они совершенно справедливи. Въ самомъ дълъ—не очень-то веселан жизнь ожидала бы Авдотью Максимовну, если бы она вышла за благороднаго, хотя бы онъ и не быль такимъ шелыганомъ, какъ Вихоревъ. Она, въ самомъ дълъ, воспитана такъ, что въ ней вовсе нътъ лица человъческаго. Самая лучшая похвала ей изъ устъ самого отца—какая же?—та, что "въ глазахъ у нея только любовь, да кротость: она будетъ любить всякаго мужа, надо найти ей такого, чтобы ее-то любилъ". Это значитъ—доброта безразличная, безотвътная, именно такая, какая въ мягкихъ натурахъ выработывается подъ гнетомъ семейнаго деспотизма и какая всего болъе нравится самодурамъ. Для людей, привыкшихъ опирать свои дъйствія на здравомъ смыслъ и соображать ихъ съ требованіями справедливости и общаго блага, такая доброта противна или, по крайней мъръ, жалка. Немудрено разсудить, что если человъкъ со всъми соглащается, то у него, значитъ, нътъ своихъ убъжденій; если онъ всъхъ любитъ и всъмъ другъ, то, значитъ, всъ для него безразличны; если дъвушка всякаго мужа любить будетъ, то ясно, что сердце у ней составляетъ даже не кусокъ мяса, а просто какое-то расплывающееся тъсто, въ которое можно воткнуть, что угодно...

Для человъка, не зараженнаго самодурствомъ, вся прелесть любви заключается въ томъ, что воля другого существа гармонически сливается съ его волей, безъ малъйшаго принужденія. Оттого-то очарованіе любви и бываетъ такъ неполно и недостаточно, когда взаимность достигается какиминибудь вымогательствами, обманомъ, покупается за деньги или вообще

пріобрътается какими-нибудь внъшними и посторонними средствами. Чувство любви можеть быть истинно хорошо только при внутренией гармоніи любящихъ, и тогда оно составляеть начало и залогь того общественнаго благоденствія, которое объщается намъ, въ будущемъ развитіи человъчества, водвореніемъ братства и личной равноправности между людьми. Но самодурство и этого чувства не можеть оставить свободнымъ отъ своего гиста: въ его свободномъ и естественномъ развитіи опо чувствуетъ какуюто опасность для себя, и нотому старается убить прежде всего то, что служить его основаниемъ — личность. Для этого самодуры сочиняють свою мораль, свою систему житейской мудрости, и по ихъ толкованіямъ выхомораль, свою систему житейской мудрости, и по ихъ толкованиямъ выходить, что чёмъ болёе личность стерта, неразличима, непримѣтна, тѣмъ она ближе къ идеалу совершеннаго человѣка. "У него такой отличный характеръ, что онъ вынесетъ безропотно всякое оскорбленіе, будетъ любить самаго недостойнаго человѣка",-—вотъ похвала, выше которой самодуръ ничего не знаетъ. А на нашъ взглядъ подобный человѣкъ естъ дрянь, кисель, трянка; онъ можетъ быть хорошимъ человъкомъ, но только въ лакейскомъ смыслѣ этого слова. На другое же ни на что онъ не годенъ, и отъ него можно ожидать ровно столько же накостей, сколько и хорошихъ поступковъ: все будетъ зависъть отъ того, въ какія руки онъ попадется. Ничего этого не признаетъ Русаковъ, въ качествъ самодура, и твердить свое: "все зло на свътъ отъ необузданности; мы, бывало, страхъ имъли и стар-шихъ уважали, такъ и лучше было... бить некому нынъшнихъ молодыхъ людей, а то-то надо бы: палка-то по нихъ плачетъ". И о чемъ бы онъ ни говорилъ, - уважение къ старшимъ на первомъ планъ. Даже на Вихорева онъ сердится всего болве за то, что тотъ "со старшими говорить не умветь". И на дочь свою, когда та дълаетъ попытку убъдить отца, онъ, при всей своей мягкости, прикрикиваетъ: "да какъ ты смъещь такъ со мною разговаривать " ? А затъмъ онъ даетъ ей строгій приказъ: "вотъ тебъ, Авдотья, мое послёднее слово: или поди ты у меня за Бородкина, или я тебя и знать не хочу". И, чтобы приказъ былъ дёйствительнее, онъ подкрепляеть его попреками: "я тебя ростиль, я тебя берегь пуще глазу... Что гръха на душу принялъ, гордость меня одолъла съ тобой... Наказалъ Богъ по гръ-хамъ". Говоря безпристрастно, такое обращение нельзя назвать очень гу-маннымъ; но въ нашемъ "темномъ царствъ" и оно еще довольно мягко, и Русаковъ по справедливости можетъ быть названъ лучшимъ изъ самодуровъ.

За то и выработалась же добрая натура Авдотьи Максимовны подъ вліяніемь этого кроткаго самодурства! Трудно представить болье жалкую дввушку. Въ сущности, она даже скорье комична, нежели жалка, такъ какъ комична Софья Павловна съ своей любовью къ Молчалину, или Софья Сергьевна (въ "Новъйшемъ Оракуль" г. Потъхина) съ нъжной страстью къ Зильбербаху. Но надъ Авдотьей Максимовной нельзя смѣяться: обстановка ея слишкомъ мрачна. Когда мы одиноко идемъ въ полночь по темному склепу, между могилами, и вдругъ, за одной изъ гробницъ, предънами внезапно является какая-нибудь нелъпая рожа и дълаетъ намъ гримасу,—то, какъ бы гримаса ни была смѣшна, трудно засмѣяться въ эту минуту: невольно испугаешься. Такъ и комизмъ нашего "темнаго царства": дъло само по себъ просто забавно, но въ виду самодуровъ и жертвъ, во мракъ ими задавленныхъ, пропадаетъ охота смъяться... Авдотья Макси-мовна въ теченіе всей пьесы находится въ сильнъйшей ажитаціи, безсимсмовна въ течено всеи пьесы находится въсильнъпшен ажитации, оеземысленной и пустой, если хотите, но тъмъ не менъе возбуждающей въ насъ не смъхъ, а состраданіе: бъдная дъвушка въ самомь дълъ не виновата, что ее лишили всякой нравственной опоры внутри себя и воспитали только къ тому, чтобы въкъ ходить ей на привязи. Сердце у ней доброе, въ характеръ много довърчивости, какъ у всъхъ несчастныхъ и угиетенныхъ, не успъвшихъ еще ожесточиться; потребность любви пробуждена; но она не находить для себя ни простора, ни разумной опоры, ни достойнаго преднаходить для себя ни простора, ни разумной опоры, ни достойнаго предмета. Въ Авдотьъ Максимовић не развито настоящее понятіе о томъ, что хорошо и что дурно, не развито уваженіе къ побужденіямъ собственнаго сердца, а въ то же время и понятіе о нравственномъ долгѣ развито лишь до той степени, чтобы признать его, какъ вившною принудительную силу. Въ этомъ положеніи несчастная дъвушка и мечется, не зная, куда ей приклонить, наконецъ, свою голову. Отца она любить, но въ то же время и боится, и даже какъ - то не совсѣмъ довъряетъ ему. Бородкинъ ей нравился; но ей сказали, что онъ мужикъ необразованный, и она теряется, не знаетъ, что думать, и доходитъ до того, что Бородкинъ становится ей противенъ. Подвертывается Вихоревъ, который ничего не имъетъ, кромъ наглости и вывъсочной физіономіи; — она прельщается Вихоревымъ. Но и тутъ она только понапрасну мучитъ самоё себя: ни на одну минуту не стоитъ она на твердой почвъ, а все какъ будто тонетъ, — то всплыветъ немножко, то онять погрузится... такъ и ждень, что вотъ-вотъ сейчасъ потонетъ сото онять погрузится... такъ и ждень, что вотъ-вотъ сейчаст потонетъ совсюмъ... При первомъ ен появлени на сцену, въ концъ перваго акта, Вихоревъ сообщаетъ ей, что отецъ просваталъ ее за Бородкина; она наивно говоритъ: "не безпокойтесь, я за Бородкина не пойду". — "А если отецъ прикажетъ?" — спрашиваетъ Вихоревъ. "Нѣтъ, — говоритъ, — онъ насильно не заставитъ". — "А какъ заставитъ, — что тогда?" — "Тогда, — идіотски отвъчаетъ она, — я ужъ, право, и не знаю, что мнъ дълать съ этимъ дъломъ... такая-то напасть на меня!" Вихоревъ, для котораго всъ средства хороши, — предлагаетъ ей уъхать съ нимъ тихонько; она прихолитъ въ ужъст и воск и предлагаетъ ей уъхать съ нимъ тихонько; она прихолитъ въ ужъст и воск и предлагаетъ ей уъхать съ нимъ тихонько; она прихолитъ въ ужъст и воск и предлагаетъ ей ужъсть съ нимъ тихонько; она прихолитъ въ дить въ ужасъ и восклицаетъ: "ахъ, нътъ, нътъ, что вы это? Ни за какія сокровища!" Отчего же такой ужасъ? Да просто оттого, видите, что "отецъ

проклянетъ меня: каково мив будеть тогда жить на бъломъ свътъ". Всявдствіе того она простодушно сов'ятуєть Вихореву переговорить съ ел отцомъ; Вихоревъ предполагаєть неудачу, а она успокоиваєть его такимъ разсужденіемъ: "что же делать! знать мон такая судьба несчастная... Вчера тетенька на картахъ гадала, что-то все дурно выходило, и ужъ не мало плакала". Вихоревъ стращаетъ ее, что увдетъ на Кавказъ и будетъ стараться, чтобъ его тамъ застрълили; она и къ нему пристаетъ: "нѣтъ, не вздите. Что это вы, — какія страсти говорите". Словомъ — дъвушка со всъхъ сторонъ подъ страховъ: тамъ отцовское проклятіе грозить, тутъ на картахъ дурно выходить, а здась милаго Вихорева, того и глиди, черкесы подстрълятъ. И хоть бы какое-нибудь внутреннее противодъйствие всемъ этимъ ужасамъ явилось въ бъдной дъвушкъ! Она простодушно одинаково върить — и отцовскому проклятію, и картамъ, и гому, что Вихоревъ повдетъ подъ пули, - и всего этого одинаково боится... Правду она говорить про себя въ началв второго акта: "какъ твив какая хожу, ногъ подъ собою не слышу... только чувствуеть мое сердце, что начего изъ этого хорошаго не выйдеть. Ужъ я знаю, что много мнъ бъдной тутъ слезъ пролить". Да и какъ же не пролить при такихъ порядкахъ?...

Къ довершению горя оказывается, что она еще и Бородкина-то любить, что она съ нимъ, бывало, встрътится, такъ не наговорится: у калиточки его поджидаетъ, осенніе темные вечера съ нимъ просиживаетъ, - да и теперь его жалветь, но въ то же время не можеть никакъ оторваться отъ мысли о необычайной красотъ Вихорева. Впрочемъ, она очень недовольна собой и говорить: "на грахъ я его увидала". Но самое большое мученье для нея составляеть - просить отца о согласіи на ея желаніе выйти за Вихорева. Она приступаетъ къ этому съ какой-то особенной торжественностью, заставляетъ Вихорева сначала поклясться, что онъ ее точно любитъ, потомъ объявляетъ ему, что для доказательства своей любви она ръшается сама просить отца... "Но если бъ вы знали, чего это мив стоить", прибавляетъ она, и последующая сцена вполне объясняеть и оправдываеть ея страхъ, возможный и понятный единственно только при самодурныхъ отношеніяхъ, на которыхъ основанъ весь семейный бытъ Русаковыхъ. Кажется, чего естественные и легче для дочери — объявить свои желанія отцу, который ее нажно любить? Но Авдотья Максимовна, твердя о томъ, что отецъ ее любить, знаеть, однакоже, какого рода сцена можеть быть слёдствіемъ подобной откровенности съ отцомъ, и ея добрая, забитая натура заранъе трепещетъ и страдаетъ. Въ самомъ дълъ, — и "какъ ты смъешь?", и "я тебя ростилъ и лелъялъ", и "ты дура", и "нътъ тебъ моего благословенія" — все это градомъ сиплется на бъдную дъвушку и доводить ее до того, что даже въ ея слабой и покорной душе вдругъ подниается крот-

кій протесть, выражающійся невольнымь, безсознательнымь переломомь прежняго чувства: отцовскій приказьидти за Бородкина возбудиль вы ней отвращеніе кы нему. "Мить давеча было жаль Ваню, — говорить она про Бородкина, — а теперь оны мить опостыльль... опостыльль". Но это уже крайняя степень реакціи, на которую она способна: далже этого она не можеть идти вы своемы сопротивленіи чужой воль—и падаеть вы обморокы. Туть происходить чувствительная сцена, вы которой Русаковы умиляется и соглащается выдать дочь за Вихорева, но только—если тоть возьметь ее безы денегы. Обрадованная Авдотья Максимовна спышить вы церковы, чтобы на дорогы встрытить Вихорева и объявить отрадную новость, а Вихоревы увозить ее. Изы хода дыла оказывается, что Вихоревы увезы Авдотью Максимовны насильно, и это обстоятельство представляется очень важнымы чтобы на дорогъ встрътить Вихорева и объявить отрадную новость, а Вихоревъ увозить ее. Изъ хода дѣла оказывается, что Вихоревъ увезъ Авдотью Максимовну насильно, и это обстоятельство представляется очень важнымъ для старика Русакова. Но для насъ оно не такъ важно, потому что мы видимъ въ комедіи сцену увезенной дѣвушки съ Вихоревымъ на постояломъ дворѣ. Изъ этой сцены мы съ достовърностью можемъ заключить, что если Вихоревъ и насильно посадилъ Авдотью Максимовну въ коляску, то онъ сдѣлалъ это единственно по скорости времени, но что она и сама не могла бы устоять противъ Вихорева, если бы онъ сълъ ее уговаривать. И на постояломъ дворѣ она сначала упрашиваетъ: "Викторъ Аркадьичъ, голубчикъ! съ вами я въ огонь и въ воду готова, только пустите меня къ тятенькъ... Что съ нимъ будетъ!" и пр. Но мольбы ея исчезаютъ предъ волею Вихорева. Сталъ онъ ее уговаривать, да приласкалъ немножко, и вотъ что она уже говоритъ ему: "ненаглядный ты мой! Радость, жизнь моя! Куда хочешь—съ тобой! Никого я теперь не боюсь и никого мню не жеалко. Такъ бы вотъ улетъла съ тобой куда-нибудь! "Вслъдъ затъмъ она опять вспоминаетъ объ отцъ, и опать, разумъется, безплодно. Ей, видите, страшно было ръшнъся уѣхать съ Вихоревымъ; но, разъ попавши къ нему въ руки, она точно также боится и отъ него уѣти. Ни разу не проявилась въ ней сильная рѣшимость, свидѣтельствующая о самобытности характера. Кроткая жалоба, смиренная мольба—дальше этого она не смѣетъ идти. Когда Вихоревъ отталкиваетъ ее отъ себя, узнавши, что за ней денегъ не даютъ, она какъ будто возмущается нѣсколько и говоритъ: "не будетъ вамъ счастья, Викторъ Аркадьичъ, за то, что вы наругались надъ бѣдной дѣвушкой". Но точчасъ же она сема пугается своихъ словъ и переходитъ къ смиренному тону, въ которомъ даже хочется предположить иронію, какъ она ини вумьбетно рът поточасть и рестоправа на предположить иронію, какъ она ренному тону, въ которомъ даже хочется предположить пронію, какъ она ни неумъстна въ положеніи Авдотьи Максимовны. Доброта, лишенная всякой способности возмущаться зломъ, и тупая покорность судьбѣ — выражаются въ этихъ словахъ несчастной дввушки: "Богъ васъ накажетъ за меня, а я вамъ зла не желаю. Найдите себѣ жену богатую, да такую, чтобъ любила васъ такъ, какъ я; живите съ ней въ радости, а я, дѣвушка простая, доживу какъ-нибудь, скоротаю свой вѣкъ, въ четырехъ стѣнахъ силя, проклинаючи свою жизнь". И эта гуманно-патетическая тирада обращена къ Вихореву! А Вихоревъ думаетъ: "что-жъ, отчего и не пошалить, если шалости такъ дешево обходятся". А тутъ еще, въ заключеніе пьесы, Русаковъ, на радостяхъ, что урокъ не пропалъ даромъ для дочери и еще болѣе укрѣпилъ въ ней принципъ повиновенія старшимъ, — уплачиваетъ долгъ Вихорева въ гостинницѣ, гдѣ тотъ жилъ. Какъ видите, и тутъ сказывается самодурный обычай: на милость, дескать, нѣтъ образца: хочу—казню, хочу милую... Никто мнѣ не указъ, —ни даже самыя правила справедливости.

Такъ вотъ каково положение и развитие двухъ главныхъ лицъ комедіи "Не въ свои сани не садись". Нравится оно вамъ? Хотѣли бы вы сами быть на мѣстѣ Авдотьи Максимовны? Или, можетъ быть, вамъ было бы пріятно играть роль Русакова и довести кого-нибудь изъ близкихъ вамъ до того положенія, въ какомъ представляется намъ дочь Максима Оедотыча? Если такъ, то, конечно, вы должны восхищаться патріархальностью, чистотою и счастіемъ того быта, который изображенъ Островскимъ въ этой комедіи. Но если нѣтъ, то и эта пьеса должна вамъ представляться сильнымъ протестомъ, захватившимъ самодурство въ такомъ его фазисѣ, въ которомъ оно можетъ еще обманывать многихъ нѣкоторыми чертамл добродушія и разсудительности.

Но — могутъ сказать намъ — несчастіе, происшедшее въ семействъ Русаковыхъ, есть не болье, какъ случай, совершенно выходящій изъ ряда обыкновенныхъ явденій ихъ жизни. До прівзда Вихорева, во всей семьъ Русаковыхъ была тишь да гладь, да Божья благодать. Виною всего горя была зараза новыхъ понятій, привезенная съ Кузнецкаго моста сестрою Русакова — Ариною Федотовной. Самъ Русаковъ говорить ей: "твое дъло, порадуйся! Я ее въ страхъ воспитываль да въ добродътели, она у меня какъ голубка была чистая. Ты прівхала съ заразой-то своей. Только у тебя и разговору-то было, что глупости... Всъ ръчи-то твои были такія вздорныя. Въдь тебя нельзя пустить въ хорошую семью: ты ядъ и соблазнъ! И дъйствительно, во всей пьесъ представляется очень ярко и послъдовательно, какимъ образомъ этотъ ядъ мало-по-малу проникаетъ въ душу дъвушки и нарушаетъ спокойствіе ея тихой жизни. А въ концъ изображается опять, какъ живая сила простыхъ, патріархальныхъ отношеній береть верхъ надъ язвою современной полуобразованности, возвращаетъ заблудшую дочь въ родительскій домъ и торжествуеть, въ лицъ Бородкина, возстановляя ея естественныя права въ кругу всъхъ, ей близкихъ. Такое значеніе, очевидно, хотълъ придать пьесъ самъ авторъ, и на всъхъ вообще она производитъ впечатлъніе, не возстановляющее противъ стараго быта, а примиряющее съ нимъ.

На это мы должны сказать, что не знаемъ, что именно имълъ въ виду авторъ, задумывая свою пьесу, но видимъ въ самой пьесъ такія черты, которыя никакъ не могутъ послужить въ похвалу старому быту. Если эти черты не такъ ярки, чтобы бросаться въ глаза каждому, если впечатлъніе пьесы раздвояется, — это доказываеть только (какъ мы уже замічали въ первой стать в), что общія теоретическія убіжденія автора, при созданіи пьесы, не находились въ совершенной гармоніи съ тімъ, что выработала его художническая натура изъ впечатлівній дійствительной жизни. Но, смотря на художника не какъ на теоретика, а какъ на воспроизво-Но, смотря на художника не какъ на теоретика, а какъ на воспроизводителя явленій дъйствительности, мы не придаемъ исключительной важности тому, какимъ теоріямъ онъ слъдуетъ. Главное дъло въ томъ, чтобъ онъ былъ добросовъстенъ и не искажалъ фактовъ жизни въ пользу своихъ воззрѣній: тогда истинный смыслъ фактовъ самъ собою выкажется въ произведеніи, хотя, разумѣется, и не съ такою яркостью, какъ въ томъ случаѣ, когда художнической работъ помогаетъ и сила отвлеченной мысли... Объ Островскомъ даже самя противники его говорятъ, что онъ всегда върно рисуетъ картины дъйствительной жизни; слъдовательно, мы можемъ даже оставить въ сторонъ, какъ вопросъ частный и личный. — то, какія намъренія имълъ авторъ при созданіи своей пьесы. Положимъ, что никанамъренти имълъ авторъ при созданти своен пьесы. Положимъ, что ника-кихъ не имълъ, а такъ, просто — поразилъ его случай, неръдко совершаю-пційся въ "темномъ царствъ", котораго изображеніемъ онъ занимается, — онъ взялъ да и записалъ этотъ случай. О смыслъ его предоставляется су-дить публикъ и критикъ. Критика ръшила, что смыслъ пьесы — указачіе вреда полуобразованности и восхваленіе коренныхъ началъ русскаго быта. По нашему мнънію, это отчасти невърно, отчасти недостаточно. Настоящій же сиысль пьесы воть въ чемъ.

Русаковъ есть лучшій представитель старыхъ началъ жизни, началъ самодурныхъ. По натурѣ своей онъ добръ и честенъ, его мысли и дѣла направлены ко благу, оттого въ семьѣ его мы не видимъ тѣхъ ужасовъ угнетенія, какіе встрѣчаемъ въ другихъ самодурныхъ семействахъ, изображенныхъ самимъ же Островскимъ. Но это явленіе совершенно случайное, исключительное: въ сущности тѣхъ началъ, на которыхъ основанъ бытъ Русаковыхъ, нѣтъ никакихъ гарантій благосостоянія. Напротивъ, уничтожая права личности, ставя страхъ и покорность основою воспитания и нравственности, эти начала только и могутъ обусловливать собою произволъ, угнетеніе и обманъ. Русаковъ—случайное исключеніе, и за то первый ничтожный случай разрушаетъ все добро, которое въ его семействъ было слѣдствіемъ его личныхъ достоинствъ. Онъ полагаетъ, что все зло произошло отъ наущеній Арины Федотовны; но вѣдь это онъ только сваливаетъ съ больной головы на здоровую. Тутъ опять тотъ же силло-

гизмъ, который не такъ давно приводился противниками грамотности. "Грамотные мужики — кляузники и плуты; они обманывають неграмотныхъ; слъдовательно, не нужно учить мужиковъ грамотъ". Въ правильномъ своемъ видъ этотъ силлогизмъ долженъ имъть слъдующій видъ: "неграмотные мужики обманываются грамотными; слъдовательно, надо всъмъ грамотные мужики обманываются грамотными; слѣдовательно, надо всъмъмужикамъ дать средства учиться, чтобы оградить ихъ отъ обмана". Танъ и здѣсь: Арина Оедотовна соблазнила и надула дочь Русакова; что изъ этого? То, что надо было дѣвушкѣ дать средства оградить себя отъ соблазна. Надо было ей самой и жизнь раскрывать, и людей показывать, и пріучать ее къ самостоятельности мнѣній и поступковъ: дѣвушка развитая и привыкшая къ обществу не поддаласьбы пошлой Аринѣ Оедотовнъ и не плѣниласьбы пустоголовымъ Вихоревымъ. Но дать ей настоящее, человѣческое развитіе значило бы признать права ея личности, отказаться отъ самодурныхъ правъ, идти наперекоръ всвиъ преданіямъ, по которымъ сложился бытъ "темнаго царства"; этого Русаковъ не хотълъ и не могъ сдълать. Онъ добръ и уменъ на-столько, чтобъ не вдаваться въ крайности, чтобъ ноложить предълъ и мъру элоупотребленіямъ, до которыхъ самодурныя права доводять другихъ его собратій. Но въ немъ нътъ столько силы ума и характера, чтобъ отръшиться отъ самихъ главныхъ основъ своего быта. Онъ остановился на данной точкъ и все, что изъ нея выходитъ, обсуждаетъ довольно правильно: онъ очень върно замъчаетъ, что дочь его не трудно обмануть, что разговоры Арины Өедотовны могутъ быть для нея вредны, что невоспитанной купчихъ не сладко выходить за барина, и пр. Но во всъхъ его сужденіяхъ замътенъ тотъ неразумный, тупой консерватизмъ, который составляеть одно изъ отличительныхъ свойствъ упрямаго самодурства. Онъ остановился на томъ положеніи дівль, которое уже существуєть, и не хочеть допустить даже мысли о томъ, что это положеніе можеть или должно измівниться. Онъ сознаеть, что дочь его невоспитана и собственно потому не годится въ барыни, но онъ не выражаеть ни малейшаго сожаленія о томъ, что не воспиталъ ее. По его понятіямъ, ужъ это такъ и должно быть: купчиха — такъ купчиха, а барыня — такъ ужъ та съ темъ и родится, чтобъ быть барыней. Онъ сознаетъ и то, что его дочь не умфетъ различать людей и потому пленяется дряннымъ вертопрахомъ Вихоревымъ. Но это не наводить его на мысль, что надобно было бы хоть нѣсколько пріучить ее имѣть собственныя сужденія о вещахъ. Напротивъ, по его убѣжденію, то-то и хорошо, что она всякаго любить будетъ, кто ни попадись. Право выбирать людей по своему вкусу, любить однихъ и не любить другихъможетъ принадлежать, во всей своей общирности, только ему, Русакову, всѣ же остальные должны украшаться кротостью и покорностью: таковъ ужъ уставъ самодурства... При всей своей добротѣ и умѣ, Русаковъ, какъ самодуръ, не можетъ рѣшиться на существенныя измѣненія въ своихъ отношеніяхъ къ окружающимъ, и даже не можетъ понять необходимости такого измѣненія. Все зло происходить въ семьѣ оттого, что Русаковъ, боясь дать дочери свободу мнѣнія и право ряспоряжаться своими поступками, стѣсняетъ ея мысль и чувство и дѣлаетъ изъ нел вѣчно несовершеннолѣтнюю, почти слабоумную дѣвочку. Онъ видитъ, что зло существуетъ и желаетъ, чтобъ его не было; но для этого прежде всего надо ему отстать отъ самодурства, разстаться съ своими понятіями о сущности правъ своихъ надъ умомъ и волею дочери; а это уже выше его силъ, это недоступно даже его понятію... И вотъ онъ сваливаетъ вину на другихъ: то Арина Оедотовна съ заразой пришла, то просто — лукавый попуталъ. "Врагъ рода человѣческаго, говоритъ, всякимъ соблазномъ соблазняетъ насъ, всякимъ прельщеніемъ"... И не хочетъ понять самой простой истины: что не нужно усыплять въ человѣкъ его внутреннія силы и связывать ему руки и ноги, если хотятъ, чтобъ онъ могъ успѣшно бороться съ своими врагами.

ноги, если хотять, чтобъ онъ могь усившно бороться съ своими врагами. И за это самодурство отца дъвочка и должна поплатиться всъмъ, что могло бы доставить ей истинно-счастливую, сознательную, свътлую будущность. Общій взглядъ Максима Оедотыча на жизнь не могъ не отразиться, наперекоръ его любви, и на развитіи дочери. Онъ умълъ уберечь ее отъ всего, что даетъ человъку средства беречь самого себя и оттого-то онъ такъ плохо уберегъ ее. Кажется, чего бы лучше: роспитана дъвушка "въ страхъ да въ добродътели", по словамъ Русакова, дурныхъ книгъ не читала, людей почти вовсе не видъла, выходъ имъла только въ церковь Божію, вольнодумныхъ мыслей о непочтеніи къ старшимъ и о правахъ сердца не могла ни откуда набраться, отъ претензій на личную самостоятельность была далека, какъ отъ мысли поступить въ военную службу... Чего бы, кажется, лучше? Жила бы себъ спокойно и ровно, по плану, разъ навсегда начертанному Русаковымъ, и ничто бы, кажется, не должно было увлекать и совращать съ праваго пути это совершенное, кроткое созданіе, увлекать и совращать съ праваго пути это совершенное, кроткое созданіе, эту голубку безотвътную. Но шатко, мимолетно и ничтожно все, чему нътъ основанія и поддержки внутри человѣка, въ его разсудкѣ и сознательной рѣшимости. Только тѣ семейныя и общественныя отношенія и могутъ быть крѣпки, которыя вытекаютъ изъ внутренняго убѣжденія и оправдываются добровольнымъ, разумнымъ согласіемъ всёхъ, въ нихъ участвующихъ. Самодурство, даже въ лицъ лучшихъ его представителей, подобныхъ Русакову, не признаетъ этого — и за то терпитъ жестокія пораженія отъ первой случайной отъ первой ничтожной интрижки, даже просто шалости, не имъющей опредъленнаго смысла. Что могло быть ничтожнъе и безсмысленнъе разсужденій Арины Оедотовны? Что могло представиться пошлъе и нельпъе Вихорева Авдотьъ Максимовнъ? И однако же, эти двъ пошлости разстроиваютъ всю гармонію семейнаго быта Русаковыхъ, заставляють отца проклинать дочь, дочь — уйти отъ отца, и затъмъ ставятъ несчастную дъвушку въ такое положеніе, за которымъ, по митнію самого Русакова, слъзуетъ не только для нея самой горе и безчестье на всю жизнь, но и общій позоръ для цълой семьи. И въ самодурномъ бытъ, съ его патріархальными обычаями, не находится въ этомъ случать даже силы примиренія, потому что здъсь нарушена не только формальность цтломудрія, но и принципъ повиновенія... Для возстановленія правъ невинной, но опозоренной дтвушки нужна великодушная выходка Бородкина, совершенно исключительная и несообразная съ правами этой среды, которой неразвитость и самодурство обусловливають — какъ чрезвычайную легкость проступка Авдотьи Максимовны, такъ и невозможность примиренія.

Такимъ образомъ, мы можемъ повторить наше заключение: комедіею "Не въ свои сани не садись" Островскій, — намъренно или ненамъренно, или даже противъ воли, — показалъ намъ, что пока существуютъ самодурния условія въ самой основъ жизни, до тъхъ поръ самыя добрыя и благородныя личности ничего хорошаго не въ состояніи сдълать, до тъхъ поръ благосостояніе семейства и даже цълаго общества непрочно и ничъмъ не обезпечено даже отъ самыхъ пустыхъ случайностей. Изъ анализа характера и отношеній Русакова мы вывели эту истину въ приложеніи къ тому случаю, когда порядочная натура находится въ положеніи самодура и отуманивается своими правами. Въ другихъ комедіяхъ Островскаго мы находимъ още болье сильное указаніе той же истины, въ приложеніи къ другой половинъ "темнаго царства", — половинъ зависимой и угнетенной.

И къ Русакову могли имъть нъкоторое примъненіе стихи, поставленные эпиграфомъ этой статьи: и онъ имъетъ добрыя намъренія, и онъ желаєть пользы для другихъ. по напрасно просить о тъми" и несихаста

И къ Русакову могли имъть нъкоторое примънение стихи, поставленные эпиграфомъ этой статьи: и онъ имъетъ добрыя намърения, и онъ желаетъ пользы для другихъ, но "напрасно проситъ о тъни" и изсыхаетъ отъ палящихъ лучей самодурства. Но всего болъе идутъ эти стихи къ тъпъ несчастнымъ, которые, будучи одарены прекраснъйшимъ сердцемъ и чистъйшими стремлениями, изнемогаютъ подъ гнетомъ самодурства, убивающаго въ нихъ всякую мысль и чувство. О нихъ-то думая, мы не разъ вспоминали:

Напрасно пророка о тћим онъ проситъ: Его лишь песокъ раскаленный заноситъ. Да коршунъ хохлатый, степной нелюдимъ, Добычу терзаеть и щиплетъ надъ нимъ.

## IV.

Это все больше оть необузданности, а то и оть глупости.

Û CTPOBCKIA.

Въ горькой долъ дочери Русакова мы видимъ много неразумнаго; но тамъ внечатлъніе смягчается тъмъ, что угнетеніе все-таки не столь грубо тяготъетъ надъ ней. Гораздо болье нельнаго и дикаго представляютъ намъ въ судьбъ своей угнетенныя личности, изображенныя въ комедім "Бъдность не порокъ".

"Вѣдность не порокъ".

"Вѣдность не порокъ" намъ очень ясно представляеть, какъ честная, по слабая натура глохнеть и погибаетъ подъ безсинсліемъ самодурства. Гордъй Карпычъ Торцовъ, отецъ Любови Гордъевны, братъ Любима Торцова и хозяннъ Мити, естъ уже самодурть въ полномъ смыслѣ. Онъ и крутъ, и гордъ, и разсудка не имъетъ, по отзыву жены его, Палагеи Егоровны. Цълый домъ дрожитъ передъ нимъ. Особенно грозенъ съвлался онъ съ гъхъ поръ, какъ подружился съ Африканомъ Саввичемъ Коршуновымъ и сталъ "перенимать новую моду". На этой дружбъ и пристрасти Гордъя Карпыча къ новой модъ и основана завязка комедіи. Чвтатель номнитъ, конечно, что Торцовъ хочетъ выдать за Африкана Саввича дочь свою, которая любитъ приказчика Митю, и сама имъ любима... На этомъ основаніи критика предположила, что "Вѣдность не порокъ" написана Островскимъ съ той цѣлью, чтобы показать, какія вредныя послѣдствія производитъ въ купеческой семьъ отступленіе отъ старыхъ обычаевъ и увлеченіе новой модой... За это, съ одной стороны, неумѣренно превозносили Островскаго, съ другой — безнощадно бранили. Мы не станемъ спорить ни съ тѣми, ни съ другими критиками и не станемъ разбирать справедливости ихъ предположенія. Положимъ даже, что у Островскаго дъйствительно была та мысль, какую ему принисывали: насъ это мало теперь занимаетъ. Для насъ гораздо интереснье то, что въ Гордъв Торцовъ является намъ новый оттѣнокъ, новый видъ самодурства: здѣсь мы видимъ, какимъ образомъ воспринимается самодуромъ образованность, т.-е. тъ случайныя и разомъ воспринимается самодуромъ образованность, т.-е. тв случайныя и ничтожныя формы ея, которыя единственно и доступны его разуменю. Объ этомъ мы и поговоримъ теперь.

Самодурство и образование — вещи, сами по себё противоположныя, и потому столкновение между ними, очевидно, должно кончиться подчинениемъ одного другому: или самодуръ проникнется началами образованности, и тогда перестанетъ быть самодуромъ, или онъ образование сделаетъ слугою своей прихоти, при чемъ, разумъется, останется прежнимъ

невъждою. Послъднее произошло съ Гордъемъ Карпычемъ, какъ бываетъ почти со всъми самодурами. Онъ никакъ не предполагаетъ, что первый шагъ къ образованности дълается подчинениемъ своего произвола требованиямъ разсудка и уважениемъ тъхъ же требований въ другихъ. Ему, напротивъ, кажется, что всякая образованность, всякая логика существуетъ только затемъ, чтобы служить въ совершеннейшему исполнению его прихотей. Оттого онъ и понимаетъ только грубо-матеріальную, чисто-вившнюю сторону образованія. "Что они, — говорить, — ньють-то по необразованію своему! Наливки тамъ, вишневки разныя—а не понимають того, что на это есть шампанское! ""А за столомъ-то какое певѣжество: молодець въ поддевкѣ прислуживаеть, либо дѣвка! ""Я, говорить, въ здѣшнемъ городѣ только и вижу невѣжество да необразованіе; для того и хочу въ Москву переѣхать, и буду тамъ моду всякую подражать ". Находя, что въ этомъ-то подражани и состоитъ образованность, онъ пристаетъ къ женъ, чтобъ та на старости лътъ надъла ченчикъ вмъсто головки, задавала модные вечера съ музыкантами, отстала отъ всяхъ своихъ старыхъ привычекъ. Но онъ не видитъ никакой надобности измѣнить свои отношенія къ домашнимъ, дать здравому смыслу хоть какое нибудь участіе въ своемъ семейномъ бытв. Требовательность Гордвя Карпыча стала больше, а простора для двятельности всвхъ окружающихъ онъ не даетъ по прежнему. Жена жалуется, что съ нимъ "нельзя сговорить, при его крутомъто характеръ", особенно послъ того, какъ переняло эту образованность. "То все-таки разсудокъ имълъ. — говоритъ про него Палагея Егоровна, — а тутъ ужъ совсъмъ у него помутилось"... Даже о судьбъ дочери жена не смъеть ничего сказать ему: "смотрить звъремъ, ни словечка не ска-жеть, — точно я и не мать... Да, право... ничего я ему сказать не смъю; развъ съ къмъ поговоришь съ постороннимъ про свое горе, поплачешь, душу отведешь, только и всего"... Отношенія Гордъя Карпыча ко встмъ домашнимъ тоже грубы и притъснительны въ высшей степени. Отъ дочери онъ только и требуетъ, чтобы изъего воли не смъла выходить. На просьбу ен—не выдавать ее за Коршунова, онъ отвъчаеть: "ты, дура, сама не понимаешь своего счастія... Одно дѣло — ты будешь жить на виду, а не въ этакой глуши; а другое дъло — я такъ приказываю". И дочь отвъчаеть: "я приказу твоего не смъю ослушаться". Приказчика Митю Гордъй Карпычъ ругаетъ безцеремонно и совершенно напрасно. Узнавши, что онъ посылаетъ матери деньги, Торцовъ замъчаетъ: "себя-то бы образилъ прежде: матери-то не Богъ-знаетъ что нужно, не въ роскоши воспитана; сама, чай, хлъвы затворяла"... Въ глазахъ Гордъя Карпыча это большое преступленіе: матери деньги посылаеть человъкъ, а себъ сюртука новаго не сошьеть!.. А между тъмъ Торцовъ и не думаеть прибавить жалованья

усердному приказчику, на что даже самъ кроткій Митя жалуется: "жалованье маленькое отъ Гордъя Каримча, все обида да брань, да все бѣдностью попрекаетъ, точно я виновать... а жалованья не прибавляетъ .... Вообще—грубость и необузданность безпрестанно и очень сильно проявляются въ Гордъв Каримчъ. Входя въ комнату приказчиковъ, которые поютъ пѣсню, онъ кричитъ: "что распълись! Гордаватъ, точно мужичье!... и начинаетъ ругаться. Во второмъ актѣ, когда Палагея Егоровна устроила вечеринку и позвала ряженыхъ, вдругъ вбъгаетъ Арина, говоритъ: "самъ прівхалъ", — и всѣ присутствующіе встають въ перепутъ. Гордъв Каривать входитъ и дъйствительно—здоровается съ женой в гостями слѣдующимъ привѣтствіемъ: "это что за сволочь! Вонъ!. Жена, принимай гостя!... "Гость этотъ — Африканъ Саввичъ, и онъ-то ужъ сдерживаетъ нѣсколько порывы гиѣва Гордъв Каримча... Испо, что даже та внѣшность образованія. которая выражается въ манерахъ и приличіяхъ, не далась Гордъю Каримчу. Онъ могъ надъть новый костюмъ, завести новую жебель, пристраститься къ "шемпанскому"; но въ своей личности, въ характерѣ, даже во внѣшней манерѣ обращенія съ людьми—онть не хотѣдъ ничего измѣнить. Во веѣхъ своихъ привычкахъ онъ остался вѣренъ своей самодурпой натуръ, и въ немъ ми видимъ довольно любопытный образчикъ того, какимъ манеромъ на всякаго самодура дъйствуетъ образованіе. Казалось бы—человъкъ попалъ на хорошую дорогу: созналь недостатки того образа жизни, какой велъ доселъ, исполнился негодованіемъ противъ невъжества, поняль превосходство образованности вообще... Утъпительное явленіе! Положимъ, что все это въ немъ еще смутно, слабо, невѣрно; но все-таки начало сдѣлано, застой потревоженъ, дѣятельность получила новое направленіе... Быть можетъ, онъ пойдетъ и дальше по этому пути, и правъ его смятчится, вся жизнь приметь новый характерь... Нѣтъ, не дожидайтесь... Во всякомъ образованіе возбуждаетъ симпатическія стремлень, смятчаеть характерь, развиваеть уваженіе къ началамъ справедливости, и т. л. Но въ самолуть бъракомъ образоване сема допольности, и т. л. Но Во всякомъ другомъ образованіе возбуждаетъ симпатическія стремленія, смягчаетъ характеръ, развиваетъ уваженіе къ началамъ справедливости, и т. д. Но въ самодуръ само просвъщеніе, сама логика, сама добродътель принимають свой дикій и безобразный видъ. Отправляясь отъ той точки, что его произволъ долженъ быть закономъ для всъхъ и для всего, самодурърадъвоспользоваться тъмъ, что просвъщеніе приготовило для удобствъ человъка, радъ требовать отъ другихъ, чтобъ его воля выполнялась лучше, сообразно съ успъхами разныхъ знаній, съ введеніемъ новыхъ изобрътеній и пр. Но только на этомъ онъ и остановится. Не ждите, чтобъ онъ самъ на себя наложилъ какія-нибудь ограниченія, вслъдствіе сознанія новыхъ требованій образованности; не думайте даже, чтобъ онъ могъ проникнуться серьезнымъ уваженіемъ къ законамъ разума и къ выводамъ науки: это вовсе несообразно съ натурою самодурства. Нътъ, онъ постоянно

будетъ смотръть свысока на людей мысли и знанія, какъ на чернорабочихъ, обязанныхъ приготовлять матеріалъ для удобствъ его произвола, онъ постоянно будеть отыскивать въ новыхъ успахахъ образованности предлоги для предъявленія новыхъ правъ своихъ, но никогда не дойдетъ до сознанія обязапностей, палагаемыхъ на него тьми же успъхами образованности. Иначе и не можетъ онъ поступать, не переставая быть самодуромъ, такъ какъ первое требование образованности въ томъ именно и состоить, чтобы отказаться оть самодурства. А отказаться оть самодурства для какого-нибудь Гордия Каринча Торцова значить—обратиться въ полное ничтожество. И воть онь типится надъ всими окружающими: колеть имъ глаза ихъ невъжествомъ и преследуеть за всякое обнаруженіе ими знанія и здраваго смысла. Онъ узналь, что образованныя д'явушки хорошо говорять, и упрекаеть дочь, что та говорить не умъеть; но чуть она заговорила, кричить: "молчи, дура!" Увидъль онъ, что образованные приказчики хорошо одъваются, и сердится на Митю, что у того сюртукъ плохъ; но жалованьишко продолжаетъ давать ему самое ничтожное... Такъ точно и во всей своей жизни — онъ умъетъ извлечь изъ претензій на образованнесть только увеличеніе требованій и правъ своихъ, но никакъ не расширеніе своихъ собственныхъ обязанностей... Такова ужъ сущность этого милаго свойства, которое такъ мътко названо у Островскаго самодурствомъ! Въ раскрытін этого-то отношенія самодурства къ образованности заключается для насъ главный интересъ лица Гордъя Карпыча. Мы вовсе не понимаемъ, какимъ образомъ некоторые критики могли вывести, что въ этомъ лицъ и вообще въ комедіи "Въдность не порокъ" Островскій хотвль показать вредное двиствіе новыхъ понятій на старый русскій быть... Изъ всей комедін ясно, что Гордей Карпычь сталь та-кимь грубымь, страшнымь и нелепымь — не съ техъ поръ только, какъ съвздилъ въ Москву и перенялъ новую моду. Онъ и прежде былъ въ сущности такой же самодуръ; теперь только прибавилось у него нъсколько новыхъ требованій.

Подъ вліяніемъ такого человѣка и такихъ отношеній развиваются кроткія натуры Любови Гордѣевны и Мити, представляющія собою образецъ того, до чего можетъ доходить обезличеніе и до какой совершенной неспособности къ самобытной дѣятельности доводитъ угнетеніе даже самую симпатичную, самоотверженную натуру. Митя способенъ къ жертвамъ, онъ самъ терпитъ нужду, чтобы только помогать своей матери; онъ сносить всѣ грубости Гордѣя Карпыча и не хочетъ отходить отъ него изъ любви къ его дочери; онъ, несмотря на гнѣвъ хозяина, пригрѣваетъ въ своей комнатѣ Любима Торцова и даетъ ему даже денегъ на похмѣлье. Словомъ, у Мити такъ много самоотверженія, что, кажется, ему всякія

жертвы, всякія опасности должны быть нипочемъ... Не меньшей добротой отличается и Любовь Гордъевна. А ужъ какъ она любить Митю—этого и сказать нельзя: кажется, душу бы за него отдала съ радостью... Будь это люди нормальные, съ свободной волей и хоть съ нъкоторой энергіей, — ничто не могло бы разлучить ихъ, или, но крайней мърѣ, разлука эта не обошлась бы безъ тяжелой и страшной борьбы. Но посмотрите, какъ равыгрывается вся исторія въ семействъ Торцова. При самомъ объясненіи въ любви, собираясь просить благословенія у отца, Любовь Гордъевна говоритъ Митъ: "а ну, какъ тятенька не захочетъ нашего счастья, — что тогда?" Митя отвъчаетъ: "что загадывать впередъ! Тамъ — какъ Богъ дастъ. Не знаю, какъ тебъ, а миѣ безъ тебя жизнь не въ жизнь". Любочка ничего не находитъ отвътить на эти слова. Какъ ясно рисуется здъсь безсиліе и забитость молодыхъ людей! Они боятся даже подумать о какомъ-нибудь самостоятельномъ шагъ, стараются прогнать отъ себя даже бочка ничего не находить отвътить на эти слова. Какъ ясно рисуется здъсь безсиліе и забитость молодыхъ людей! Они боятся даже нодумать о какомъ-нибудь самостоятельномъ шагъ, стараются прогнать отъ себя даже мысль о предстоящихъ препятствіяхъ. Она съ ужасомъ говоритъ: "что будетъ, если тятенька не согласится?" — а онъ, вмъсто отвъта: "какъ Вогъ дастъ!.." Ясно, что они не въ состоянии исполнить свояхъ намърений, если встрътятъ хоть малъйшее препятствіе. И дъйствительно, въ этотъ самый вечеръ является Гордъй Карпкчъ съ Коршуновымъ, приказиваетъ дочери ласкать и цъловать его и объявляетъ, что это ем женихъ. Палагея Егоровна приходить въ ужасъ и въ какомъ-то безсознательномъ поривъ кричтъ, схватывая дочь за руки: "моя дочь, не огдамъ! батюшка, Гордъй Карпмчъ, не шути надъ материнскимъ сердцемъ! перестань... истомилъ вею душу". Но Гордъй Карпмчъ грозно вопістъ: "жена! ты меня знаешь: у меня сказано — сдълано", — и жена умолкаетъ. Начинаетъ тенерь дочь свою оппозицію. Начинаетъ она тъмъ, что падаетъ отцу въ ноги и говоритъ: "татенька! я приказа твоего не смъю ослупаться... Титенька, не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь! Передумай, титенька! Что хочешь, меня заставь, только не принуждай ты меня противъ сердца замужъ идти за немилаго". Кончается же оппозиція тъмъ, что на суровый отказъ отца невъста отвъчаетъ: "воля твоя, батюшка", кланяется и отходитъ къ матери, а Коршуновъ велитъ дъвушкамъ пъть свадебную пъсню... Борьба оказалась не очень упорною и продолжительною; но даже и такое проявленіе личныхъ своихъ желаній очень много значить въ Любови Гордъевнъ. Только крайность огорченія, только тяжелая душевная мука могли заставить ее раскрыть ротъ для произнесенія словъ, несогласныхъ съ волею родителя. Но и туть — какія слова: "передумай!" "не захоти! "Какое жалкое положеніе: не имъть даже ни малъйшаго помышленія о возможности сдълать что-нибудь самому, полагать всю надежду на чужое ръшеніе, на чужую милость, въ то время, какъ доврожововъ. т. и... намъ грозитъ кровная бъда!.. Каково должно быть извращение человъческой природы въ этомъ ужасномъ семействъ, когда даже чувство самосохранения принимаетъ здъсь столь рабскую форму!..

храненія принимаєть здівсь столь рабскую форму!...

Третій акть комедіи открываєтся тімь, что воля Гордія Карпича совершилась: гости пирують на помолькі его дочери съ Африканомъ Саввичемъ. Старая служанка, Арина, ругаєть жениха и тоскуєть объ участи невістн; Палагея Егоровна жалуєтся на свое горе, что дочка у ней погибаєть; Митя приходить прощаться: онъ рішился убхать къ матери отъ своей напасти. Слезы и жалобы Палагеи Егоровны выводять его, однако, изъ себя, и онъ начинаєть ей колоть глаза ея трусостью и безсиліємь. Не на кого—говорить—вамъ плакаться: сами отдаєте. Чімъ плакатьто, не отдавали бы лучше. За что дівний вікъ зайдаєте, въ кабалу отдаєте? Нешто это не гріхъз?" и пр. У Палагеи Егоровны одинъ отвіть: отдаете? Нешто это не гръхъ? и пр. У Палагеи Егоровны одинъ отвътъ: "внаю я все, да не моя воля; а ты бы, Митя, лучше пожалълъ меня". Тутъ Митя приходитъ въ умиленіе и разсказываетъ ей про свою любовь, а она замъчаетъ: "ахъ ты сердечный! Экой ты горькій наренекъ-то, какъ я на тебя посмотрю!.." Она сожалъетъ объ его горъ, какъ о такомъ, котораго никакими человъческими средствами отвратить ужъ невозможно, — какъ будто бы она услыхала, напримъръ, о томъ, что Митя себъ руки обрубилъ, или — что мать его умерла... Но вотъ и сама Любовь Гордъевна приходитъ; у Мити расходилось сердце до того, что онъ предлагаетъ Палагеъ Егоровнъ снарядить дочку потеплъе къ вечеру, а онъ ее увезетъ къ своей матушкъ, да тамъ и повънчается. Ръменіе это очень смъло, но оно не составляетъ обдуманнаго, серьезнаго плана, и ему суждено погабнутъ такъ же скоро, какъ оно зародилось. Самъ Митя характеризуетъ свой порывъ такою фразой: "эхъ, дайте душъ просторъ — разгуляться хочетъ! По крайности, коли придется и въ отвътъ идти, такъ ужъ за то буду знать, что потъщился". Итакъ, это отчаянная, безумная вспышка, къ какимъ бываютъ въ нъкоторыя мгновенія способны самые робкіе люди. Но у Мити нътъ силы поддержать свое требованіе и, встрътивъ отказъ отъ матери и отъ дочери, онъ довольно скоро и самъ отказывается отъ своего намъренія, говора: "ну, знать, не судьба". А Любовь Гордъевна — та ужъ вовсе убига, такъ что не можетъ допустить даже и мысли о согласіи на намъренія, говора: "ну, знать, не судьба". А Любовь Гордъевна—та ужъ вовсе убига, такъ что не можетъ допустить даже и мысли о согласіи на предложеніе Мити... И не мудрено: она въдь гораздо ближе къ Гордъю Карпычу, гораздо болъе подвергалась вліянію его самодурства, нежели Митя. Оттого она безропотно ръшается на всякія муки, только чтобъ не выступить изъ отцовскаго приказа. "Нътъ, Митя, не бывать этому,— говоритъ она: — не томи себя понапрасну, не надрывай мою душу... И такъ мое сердце все изныло во мнъ... Поъзжай съ Богомъ". И Митя отходитъ, зная, что "Любови Гордъевнъ за Коршуновымъ не иначе, какъ

погибать надобно"; и она это знаетъ, и мать знаетъ, —и всв тоскливо и тупо покоряются своей судьбъ... До такой степени гнетъ самодурства исказилъ въ нихъ человъческій образъ, заглушилъ всякое самобитное чувство, отнялъ всякую способность и ъ защить самихъ священнихъ правъ своихъ, правъ на неприкосновенность чувства, на независимость сердечнихъ влеченій, на наслажденіе взаимною лобовью!..

И, въдь, если би еще въ самомъ дълъ сила неодолимал, натура высмаго разряда тяготъва надъ этими песчастными! А то вовсе нътъ!.. Гордъй Каримчъ не только крайне ограниченъ въ своихъ поянтіяхъ, но еще и трусливъ, и слабодущенъ. Это опять-таки— неотъемлемое, неизбъжное свойство самодурства. Самодуръ дуритъ, ломается, артачится, пока не встръчаетъ себъ противодъйствія, или пока противодъйствіе робко и не-ръшительно... Но у него нѣтъ такой точки опоры, которая могла бы поддержать его въ серьезной и продолжительной борьбъ. Онъ требуетъ и прижазываетъ, но самъ хорошенько не понимаетъ — ни настонщаго смысла своихъ приказаній, ни того, на чемъ они основани.... Кромѣ того, въ немъ сетъ всегда неопредъленный, смутный страхъ за свои права: онъ чувствуетъ, что многихъ своихъ протензій не можетъ оправдать никакимъ правомъ, никакимъ общимъ закономъ... Воясь, чтобы другіе этого не примътили, онъ употребляють обыкновенную мѣру— запугиванье. Изявстно, какъскрывается подъ этою мѣрою всякая ничтожность, фальшь, нечистота, словомъ — несостоятьльность велкаго рода. Учитель, не довольно свъдущій, старается быть строже съ учениками, чтобы тъ его не разспрашивали ни о чемъ. Начальникъ, не понимающій дъла или нечистый на руку, старается быть строже съ учениками, чтобы тъ его не разспрашивали ни о чемъ. Начальникъ, не понимающій дъла или нечистота, сларается нанустить на себи важность, чтобы подчиненные не дерзали слишкомъ смъло судить о немъ. Варимающій дъла или нечистота, сларается нанустить на себи важность, чтобы поростько и грубостью предъл ланенъ... Влагодара общей дъта на свои на права на свои при потока на права на на стои на права на права на безчестность продолжають безмятежно пользоваться всёми выгодами своей наглости и всёми знаками видимаго почета отъ окружающихъ. Всеобщая потачка возвышаеть гордость самодура и даже дёйствительно придаетъ ему силы. Она вознаграждаетъ для него отсутстве сознанія о своемъ внутреннемъ достоинствъ. Такъ, господинъ, вывозящій мусоръ изъ города, могъ бы, несмотря на совершенную безцённость этого предмета, заломить за него непомёрныя деньги, если бы увидёлъ, что всё окрестные жители, по непомятной иллюзіи, придають ему какую - то особенную цёну... Но

только на подобной иллюзіи и держится значеніе самодура. Только нова жись гдівнибудь сильный и рівнительный отпоръ, — сила самодура падаєть, онъ начинаєть трусить и теряться. На первый разъ еще у него станеть храбрости и упрямства, и это объясняется даже просто привычкой: привывши встрівчать безмольное повиновеніе, онъ съ перваго раза и новіврить не хочеть, чтобы могло явиться серьезное противодійствіе его волів. Вслідствіе того, считая спачала за слідствіе недоразумівня всякій голость, имінощій хоть тінь намінренія ограничить его самовольство, онъ разражаєтся взрывомъ бінненства, пытается запугать еще больше, чінь прежде пугаль, и этимъ средствомъ по большей части успівваєть смирить или заглушить всякое недовольство. Но чуть только онъ увидить, что его сознательно не боятся, что съ нимъ идуть на споръ рішительный, что вопросъ ставится примо: "погибну, но не уступлю", — онъ немедленно отступаєть, смягчаєтся, умолкаєть и переносить свой гийвь на другів сознательно не боятся, что съ нимъ идутъ на споръ рашительний, что вопросъ ставится примо: "погибну, но не уступлю", — опъ пемедленно отступаетъ, смягчается, умолкаетъ и переноситъ свой гивъв на другіе предметы, или на другихъ людей, которые виноваты только тъмъ, что они послабъе... Всакій, кто учился, служилъ, занимался частными коммиссіями, вообще имълъ дѣла съ людьми, — натыкался, въроятно, не разъ въ жизни на подобнаго самодура и можетъ засвидътельствовать практическую справедливость нашихъ словъ. Бойтесь сказать мимософомъ слово, вопреки сердитому и безтолковому начальнику: васъ ждетъ потокъ браннихъ словъ и угрожающихъ жестовъ, крайпе оскорбительныхъ. Мало того, — васъ и внослъдствіи будетъ преслъдовать неблагопріятное митніе начальника: вы либералъ, вы непочтительны къ начальству, голова ваша набита фанаберіей... Но если вы хотите служить и вести дѣла честно, не бойтесь вступать въ серьезный, рѣшительный споръ съ самодурами. Изо ста случаевъ въ девяносто - девяти вы возьмете верхъ. Только рѣшите заранѣе, что вы на полусловѣ не остановитесь и пойдете до конца, хотя бы отъ того угрожала вашъ дѣйствительная опасность — потерять мѣсто или лимиться каквхъ - нибудь милостей. Первая ваша попытка заикнуться о вашемъ митні будетъ предупреждена возвышенемъ голоса самодура; но вы все - таки возражайте. Возраженіе вашь встрѣчено будетъ бранью или выговоромъ, болѣе или менѣе неприличными, смотря по важности и по привычкамъ лица, къ которому вы обращаетесь. Но вы не смущайтесь: возвышайте вашъ голосъ наравнѣ съ голосомъ самодура, усиливайте ваши выраженія соразмѣрно съ его рѣчью, принимайте болье и болѣе рѣштельный тонъ, смотря по степени его раздраженія. Если разговоръ прекратился, возобновляйте его на другой и на третій день, не возвращаясь назадъ, а начиная съ того, на чемъ остановились вчера, — и будьте увѣрены, что ваше дѣло будетъ выиграно. Самодуръ возненавщить васъ, но еще болѣе испугается. Онъ радъ будетъ прогнать и погубить васъ; но еще болѣе испугается. Онъ радъ будетъ прогнать и погубить васъ; но еще больс зная, что съ вами много хлопотъ, самъ постарается избѣжать повыхъ столкновеній и сдѣлается даже очень уступчивъ: во-первыхъ, у него нѣтъ внутреннихъ силъ для равной борьбы на чистоту; во-вторыхъ, онъ вообще не привыкъ къ какой бы-то ни было послѣдовательной и продолжительной работѣ, а бороться съ человѣкомъ, который смѣло и неотступно пристаетъ къ вамъ,—это тоже работа не малая...

И такъ, Гордъй Карпычъ, въ качествъ самодура, очень слабодушенъ и вовсе не имъетъ выдержки въ своемъ характеръ. Всъ качества дъйствительно-сильной натуры замъняются у него необузданнымъ произволомъ да тупоумнымъ упрямствомъ. Вотъ чъмъ объясниется и оправдывается видимая неожиданность развязки, которую далъ Островскій комедіи "В'вд-ность не порокъ". При появленіи этой комедіи всів критики возстали на ность не порокъ. При появлени этой комеди всъ критики возстали на автора за произвольность развизки. Внезапная перемъна Гордъя Карпыча, его ссора съ Африканомъ Саввичемъ и вниманіе къ требованіямъ Любима Торцова показались всъмъ неестественными. Да тутъ же еще, кстати, котъли видъть со стороны автора навязываніе какого-то великодушія Торщову и какъ будто искусственное облагораживаніе его личности. Теперь, кажется, не нужно доказывать, что такихъ намъреній не было у Островскаго: характеръ его литературной дъятельности опредълился, и въ одномъ изъ последующихъ своихъ произведеній онъ сапъ произнесъ то слово, которое, по нашему мненію, всего лучше можеть служить къ характеристике направленія его сатиры. Преследованіе самодурства во всехъ его видахъ, осмънвание его въ последнихъ его убъжищахъ, даже тамъ, гдъ оно принимаетъ личину благородства и великодушія, — вотъ, по нашему убъжденію, настоящее діло, на которое постоянно устремляется таланть Островскаго, даже совершенно независимо отъ его временныхъ воззрвній и теоретическихъ убъжденій. Въ трехъ комедіяхъ его изображаются порывы великодушія у самодуровъ, и каждый разъ они являются глупыми, ненужными или обидными. Въ "Не въ своихъ саняхъ" Русаковъ, разжалобившись надъ дочерью, тоже великодушно измѣняеть свое рѣшеніе и соглашается выдать ее за Вихорева. Спрашивается: зачѣмъ? съ какой стати? Вѣдь онъ, повидимому, вполнъ убѣжденъ, что замужество съ Вихоревимъ составитъ гибель его дочери. За нѣсколько минутъ ранъе онъ даже доказываеть это довольно резонно; за несколько минуть онъ выка-зываеть свою твердость, угрожая лишить дочь своего благословенія въ случать непослушанія. А туть вдругь великодушная уступка! Чемъ она вызвана? Отчасти добротою сердца и отцовской любовью, но всего болю совершенными отсутствиеми порочныхи основи для принятаго ими прежде рышенія. Человыки, знающій, что они дылаети, и любящій свое дыло, не отстанети оти него по минутному капризу. Тоти же Русакови не рышится

сбрить себѣ бороду или надѣть фракъ, какъ бы его дочь пи убивалась изъ-за этого. А относительно судьбы дочери у него нѣтъ въ головѣ даже такихъ прочно сложившихся и вполиѣ опредѣленныхъ убѣжденій, какъ насчетъ бороды и фрака. Оттого-то и возможно для него въ рѣшеніи о ней такое легкомысліе, которое въ глазахъ нѣкоторыхъ представлиется лаже умилительнымъ великодушіемъ, такъ же, какъ и уплата долга за Вихорева!..

Тою же неразумностью отличается и великодушіе Торнова. Онъ души не часть въ своемъ будущемъ зять Африканъ Саввичъ. "Можешь-ли ты меня теперь понимать?" спрашиваеть онъ, и ничего, кажется, не желаетъ болъе, какъ только того, чтобы зятюшка его понялъ. Чтобы угодить сму и скръпить свою дружбу съ нимъ. Торцовъ жертвуетъ дочерью, презираетъ ся мольбы и слевы матери, даже самъ видимо унижается и позволяетъ ему обходиться съ собой нъсколько свысока. Но вотъ Любимъ Торцовъ начинаетъ обижать нареченнаго зятя, зять обиженъ и даетъ это замътить Горнаетъ обижать нареченнаго зятя, зять обиженъ и даетъ это замътить Гордъю Карпычу довольно грубо, заключая свою ръчь словами: "нътъ, теперь ты приди во метъ да покланяйся, чтобъ я дочь-то твою взялъ". Этихъ словъ довольно, чтобы взбъсить Гордъя Карпыча. Онъ вспыльчиво спрашиваетъ: "я къ тебъ пойду кланяться?" А Коршуновъ подливаетъ масла въ огонь, говоря: "пойдешь, я тебя знаю. Тебъ нужно свадьбу сдълать, хоть въ петлю лъзть, да только бъ весь городъ удивить, а жениховъ-то нътъ... Вотъ несчастье-то твое". Этими словами Коршуновъ совершенно портить свое дело: онъ употребиль именно ту форму, которой самодурство никакъ не можетъ переносить, и которая сама опять-таки есть ни что иное, какъ нелъпое порождение самодурства. Одинъ самодуръ говоритъ: "ты не смъещь этого сдълать"; а другой отвъчаетъ: "нътъ. смъю". Тутъ споръ идетъ уже о томъ, кто кого передуритъ. И если одинъ изъ спорящихъ чего-нибудь добивается отъ другого, то, разумъется, побъдителемъ останется тотъ, отъ котораго добиваются; ему въдь тутъ и труда никакого не нужно: стоить только не дать, и дёло съ концомь. Такъ происходить и здёсь. Выслушавъ "не смёсшь" Коршунова, Гордей Карпычъ говорить: "опосля этого, когда ты такія слова говоришь, я самъ тебя гнать не хочу! Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдамъ. Съ деньгами, что я за ней дамъ, всякій — человъкомъ бу-детъ... Вотъ за Митьку отдамъ!.. И въ порывъ гитва, онъ итсколько разъ повторяетъ: "да, за Митьку отдамъ! На зло ему, за Митрія отдамъ!.. " Коршуновъ уходить въ ярости, а домашніе все удивлены, принимая слова Гордъя Каримча за серьезное ръшеніе: до такой степени пріучены они къ неразумности всъхъ его поступковъ. Митя, съ наивностью загнаннаго юноши, очень довфрчиваго и очень плохо понимающаго истинный синслъ

всего, что вокругъ него происходитъ, даже обращается къ Торцову съ слъдующей рѣчью: "зачѣмъ же на зло, Гордъй Кариычъ? Со зломъ такого дѣла пе дѣлаютъ. Миѣ на зло не надобно-съ. Лучше ужъ я всю жизнь буду мучиться. Коли есть ваша такая милость, такъ ужъ вы благословите насъ, какъ слѣдуетъ, — по родительски, съ любовію"... Но эти наивныя слова возбуждаютъ, разумѣется. гнѣвное изумленіе въ Торцовъ, который и не думалъ говорить серьезно объ отдачѣ дочери за Митю. "Что, что! — вскрикиваетъ онъ. — Ты ужъ и радъ случаю! Да какъ ты смълъ нодумать-то? Что она, ровня, что-ль, тебъ? Ог къмъ ты говоришь, вспомни!.." Митя становится передъ нимъ на колѣни, но это смпреніе не обезоруживаетъ Гордъя Кариыча: онъ продолжаетъ ругаться. Просьбы дочери и жены тоже остаются безсильны. Но тутъ-то является имъ на помощь Любимъ Торцовъ, — озорникъ, съ которымъ Гордъй Кариычъ ужъ достаточно повозился и никакого ладу не нашелъ... Любимъ говорить ему то же, что и Коршуновъ: "да ты поклонись въ ноги Любимъ Торцову, что онъ тебя оконфузилъ-то", и Палагея Егоровна прибавляетъ: "именно, Любимушка, надо тебъ въ ноги поклониться"... Можно бы ожидать, что Гордъй Кариычъ, на зло домашнимъ, онять упрется и выдумаетъ еще что-нибудь ка надо теов въ ноги поклониться ... можно оы ожидать, что гордън кар-пычъ, на зло домашнимъ, опять упрется и выдумаетъ еще что-нибудь на зло. Но онъ только спрашиваетъ въ недоумъніи: "что жъ я, извергъ, что-ли, какой въ своемъ семействъ!" Изъ этого вы уже замъчаете, что его на-чинаетъ пробивать великодушіе. Разъ онъ уже поставилъ на своемъ, про-гнавъ Коршунова, и, слъдовательно, самолюбіе его удовлетворено покамъстъ. Къ тому же — онъ ужъ и утомленъ напряжениемъ, которое сдълалъ, и не въ состояни теперь снова собрать ту же энергио для другой борьбы. А тутъ, вивств съ кроткими мольбами жены, допекаютъ его разсужденія и назойливыя просьбы брата Любима, который говорить съ нимъ сивло и рвпительно, бозъ всякихъ умолчаній, подкрапляя просьбы свои доказательствами, взятыми изъ собственнаго опыта. Гордай Карпычъ какъ будто заствами, взятыми изъ сооственнаго опыта. Гордъи карпычь какъ оудто затуманивается; онъ смотритъ вокругъ себя и не знаетъ, какъ ему все это понимать и что дѣлать; онъ ищетъ внутри себя, на чемъ бы опереться въ борьбъ, и инчего не находитъ, кромъ своей самодурной воли. Опа-то и внсказывается въ послѣднемъ его возражевіи: "ты мнѣ что ни говори, а я тебя слушать не хочу"... Но Любимъ не придаетъ особенной важности такому возраженію и продолжаетъ свои настоянія. Гордъй Карпычъ окончательно сбитъ съ толку и обезсиленъ; сознаніе всего окружающаго рѣшительно мутится въ сто головъ; онъ викъртъ не можетъ отыскать срои» д мительно мутится въ его головъ; онъ никакъ не можеть отыскать своилъ мыслей, которыя никогда и не были кръпко связаны между собой, а теперь ужъ совсъмъ разлетълись въ разныя стороны... Въ эту критическую минуту онъ позволяетъ себъ раскваситься, его прошибаетъ слеза, и онъ, благодаря брата Любима за назиданіе, благословляетъ будущее счастіе дътей

своихъ... Пользуясь его расположеніемъ, и племянникъ его, Гуслинъ, которому Торцовъ запрещаль жениться, проситъ разръшенія и получаетъ его... Гордъй Карпычъ говорить: "теперь просите всв, кому что нужно; теперь я сталь другой человъкъ!.."

Какой широкій размахъ великедушія, подумаеть!.. Такъ и чуеть какого-то восточнаго султана, который говорить: "все въ моей власти!.. Стоить мив мигнуть, и съ тебя голову спимуть; стоить сказать слово, и неслыханнороскошные дворцы выростуть для тебя изъ земли. Проси, чего хочешь! полъміра могу я взять и подарить, кому хочу"... Разница только въ размърахъ, а сущность дела та же самая въ словахъ Торцова. Дай ему какой-нибудь калифатъ, онъ бы и тамъ сталъ распоряжаться такъ же точно, какъ теперь въ своемъ семействъ. Дурилъ бы, презирая всъ человъческія права и не признавая другихъ законовъ, кромъ своего произвола, а подъчасъ удивлялъ бы своинъ великодущемъ, основаннымъ опять-таки на той мысли, что "вотъ, дескать, смотрите: у васъ правъ никакихъ нѣтъ, а на всемъ моя полная воля: могу казнить, могу и миловать"!.. Счастливы мы, читатель, что живенъ въ настоящее время, когда у насъ порывы подобнаго великодушія певозможны!.. Ими можно пользоваться въ извъстныя минуты, какъ воспользовались Митя и Любовь Гордвевна: ихъ дёло выиграпо, хотя Гордей Карпычъ, разумъется, и не надолго останется великодушнымъ и будетъ послъ каяться и попрекать ихъ своимъ ръшеніемъ... Но подобные выигрыши ненадежны. Когда вы разсчитываете, какъ устроить свою жизнь, то, конечно, не будете основывать своихъ разсчетовъ па томъ, что, можетъ быть, выиграете большое состояние въ лотерею. Такъ точно въ разумной, сознательной жизни невозможно разсчитывать и на выигрышь великодушія самодура... Пусть лучше не будеть этихъ благородныхъ, широкихъ барскихъ замашекъ, которыми восторгались старые, до идіотства захолопъвшіе лакен; но пусть будеть свято и неприкосновенно то, что мив принадлежить по праву; пусть у меня будеть возможность всегда употреблять свободно и разумно мою мысль и волю, а не тогда, когда выйдеть милостивое разрышение отъ какого-нибудь Гордыя Карпыча Торцова...

Но безсиліе и внутреннее ничтожество самодурства не выдается еще въ этихъ комедіяхъ съ такой поразительной яркостью, какъ въ небольшой комедіи: "Въ чужомъ пиру похмѣлье". Здѣсь есть все — и грубость, и отсутствіе честности, и трусость, и порывы великодушія, — и все это покрыто такой тупоумной глупостью, что даже люди, наиболѣе расположенные къ славянофильству, не могли одобрить Тита Титыча Брускова, а замѣтили только, что все-таки у него душа добрая... Аграфена Илатоновна, хозяйка квартиры, гдѣ живетъ учитель Ивановъ съ дочерью, отзывается о Брусковѣ, какъ о человѣкѣ "дикомъ, властномъ, крутомъ сердцемъ, словомъ

сказать—самодуръ". На вопросъ Иванова: что значитъ самодуръ?—она объясняетъ: "самодуръ—это называется, коли вотъ человъкъ никого не слушаеть: ты ему хоть колъ на головъ теши, а онъ все свое. Топнетъ ногой, скажеть: кто я? Туть ужъ всё домашніе ему въ ноги должны, такъ и лежать, а то бёда"... Продолжая свою характеристику, она замёчаеть, что "насчеть плутовства—онъ, точно, старикъ хитрый; но хоть и плутовать, а человъкъ темный. Онъ только въ своемъ домъ свиръпъ, а то съ нимъ, что хочешь дълай, — дуракъ дуракомъ; на пустомъ спугнуть можно". И дъйствительно, изъ пьесы оказывается, что всъ слова Аграфены Пла-тоновны справедливы. Она же сама, ни съ того ни съ сего, береть съ Брус-кова, зашедшаго въ квартиру Ивановыхъ, тысячу цълковыхъ за росниску, въ которой сынъего, Андрей Титычъ, объщается жениться на дочери Иванова. Росписка эта и сама по себъ ничего не значить, да Ивановъ съ дочерью и не знають о ней, и претензіи никакой не иміють; все это сама хозяйка устроиваетъ, желая ихъ облагодътельствовать... Но Брусковъ, какъ темный человъкъ, вполнъ освоившійся съ обычании "темнаго царства", не входить ни въ какія соображенія. Во первыхъ, онъ всегда готовъ къ тому, что его обмануть, такъ какъ онъ самъ готовъ обмануть всякаго. Поэтому, прочитавъ бумажку, показанную ему Аграфеной Платоновной, онъ преспокойно замъчаетъ: "это, то-есть, насчетъ грабежу. Ну, народецъ!.." И затъмъ начинаетъ торговаться, нисколько не возмущаясь этой исторіей, а только удивляясь ловкой штукв, которую сочинили съ его сыномъ. Во-вторыхъ-онъ ужаено боится всякаго суда, потому что, хоть и надвется на свои деньги, но все-таки не можеть сообразить, правъли онъ долженъ быть по суду или нътъ, — а знаетъ только, что по суду тоже придется много денегъ заплатить. На этомъ основаніи, только услышавши отъ Аграфены Платоновны, что теперь пойдеть "дёло по дёлу, а судъ по формъ", онъ чешетъ себв затылокъ и говоритъ: "по формъ". Нътъ, ужъ лучше мы такъ, между себя сдёлаемся". И это ему, дъйствительно, гораздо легче ужъ и потому даже, что подобныя сдёлки для него очень привычны. Онъ такъ объясняется съ женою на этотъ счетъ, возвратясь отъ Ивановыхъ:

Тить Титы чъ. Настасья! Сметь меня кто обидеть? Настасья Панкратьевна. Пикто, батюшка Кить Китычь, не сместь васъ обидьть. Вы сами всякаго обидите.

Титъ Титычъ. Я обяжу, я и помилую, а то и деньгами заплачу. Я за это много денегъ заплатилъ на своемъ въку.

Настасья Панкратьевна. Много, Кить Китычъ, много.

Тить Титычъ. Молчи.

Отсутствіе яснаго сознанія нравственных в началь выражается и въ обращенін, которое Брусковъ позволяеть себ'я съ Аграфеной Платоновной

в съ Ивановымъ, послъ того, какъ заплатилъ деньги и получилъ росписнув съ Ивановымъ, послѣ того, какъ заплатилъ деньги и получилъ роспискуАграфена Платоновна старается его выпроводить, но онъ усаживается и
начинаетъ ругаться, представляя такой резонъ: "нѣтъ, погоди — дай хотъ
поругаться-то за свои деньги". Но, впрочемъ, это овъ такъ-только, эло
сорвать хочетъ; въ своихъ ругательствахъ онъ не видитъ ничего оскорбительнаго, да и самъ не задътъ за живое. Когда приходитъ Ивановъ и, ничего не зная о происшедшей исторіи, съ недоумъніемъ смотритъ на Брускова, Титъ Титычъ обращается къ нему съ такой рѣчью: "ты что на меня
смотришь? На мнѣ, братъ, ничего не написано. Деньги-то взять умъли.
Вы меня хоть поподчуйте чъмъ за мои деньги-то". Ивановъ проситъ
его уйти; онъ опять начинаетъ ругаться. Ивановъ гопитъ его вонъ, — онъ его унти; онъ опять начинаеть ругаться. Мвановъ гонить его вонъ, — онъ возражаетъ: "что ты кричинь-то? Я оподо пичего, я такъ— шучу съ тобой". Ивановъ продолжаетъ гвать его, и Брусковъ полходитъ къ нему и, ударяя его по плечу, говоритъ: "ноъдемъ ко мнъ! Выпьемъ вместъ, пріятели будемъ. Что ссориться - то!" Ивановъ входитъ въ пущій азартъ, и Брусковъ, съ неудовольствіемъ замъчая: "ишь ты, какой сердитый!" — уходитъ съ новыми ругательствами... Пришедши домой, онъ дитый!" — уходить съ негудовольствани... Пришедши домой, онъ велить Захару Захарычу, пьянчужкъ-приказному, писать "такое прошеніе, чтобы троихъ человъкъ въ Сибирь сослать по этому прошенію". Я, говорить, "такъ хочу и никакихъ денегъ для этого не пожалью". Но тутъ прихедить Ивановъ, узнавшій между тъмъ все дѣло, приносить деньги, взятыя Аграфеной Платоновной, и просить назадъ росписку. Брусковъ тотчасъ смекаетъ, что Ивановъ затѣмъ ее проситъ, чтобы потомъ за нее больше содрать. Но старикъ-учитель разжалобилъ его, и онъ спрашиваетъ: "аль отдать? Сахарычъ, — отдать? "Захаръ Захарычъ говоритъ: "ни, ни, ни!" — Но Брусковъ внезапно рѣшаетъ: "а я говорю, что отлать!.. Ты молчи, не смѣй разговаривать!.." И росписка отдана и тутъ же разорвана Ивановымъ, а черезъ нѣсколько минутъ Брусковъ находитъ, что "депьги и все это — тлѣнъ", и что, слѣдовательно, сынъ его можетъ жениться на дочери Иванова, хотя она и бѣдна... "Мое слово — законъ", говоритъ онъ и посылаетъ сына сватать дочь учителя. "Да помилуйте, тятенька, онъ не отдастъ", — возражаетъ сынъ. "Я тебъ приказываю, слышишь, — говоритъ Титъ Титычъ: — какъ онъ смѣетъ не отдать, когда я этого желаю?.. Вы не смѣйте со мной разговаривать", прибавляетъ онъ. — "А если не отдастъ за тебя, ты лучше мнѣ и на глаза не показывайся!.."

Во всемъ этомъ замѣчательно то, что вся исторія сама по себъ необыкновенно глупа... Если смотрѣть здраво, то всѣ ея участники хотятъ

Во всемъ этомъ замѣчательно то, что вся исторія сама по себѣ необыкновенно глупа... Если смотрѣть здраво, то всѣ ея участники хотятъ невозможнаго, или, лучше сказать, сами не смыслять, чего они хотятъ. Аграфена Платоновна, не спросясь Ивановыхъ, беретъ съ Андрея Брускова росписку, а съ отца его—деньги. Титъ Титычъ хочетъ услать Ива-

новыхъ въ Сибирь и основываетъ это на роспискъ, которую его же вы-года требуетъ уничтожить. Ивановъ убивается, требуя—даже не уничто-женія, а именно возоращенія росписки, что ему вовсе не нужно, и только возбуждаетъ справедливыя полозрънія въ Брусковъ... Все это совершенно нелъпо и безсимсленно, какъ самъ Брусковъ и вся его жизнь. Но всего глупъе роль сына Брускова, Андрея Титыча, изъ за котораго идетъ вся эта исторія и который самъ, но его же выраженію, "какъ угорѣлый ходить по земль" и только сокрушается о томъ, что у нихъ въ домѣ "все не такъ, какъ у людей", и что его "уродомъ сдѣлали, а не человѣкомъ". И въ самомъ дѣлѣ,—смѣшно посмотрѣть, что съ нимъ дѣлають. Парню ужъ лавно за двадцать, симсломъ его природа не обидъла: по фабрикъ отцовской очь лучше всёхь повимаеть дёло, впередъ знаеть, что тре-буется, кромё того и къ наукамъ имёеть наклонность, и искусства лю-бить— "къ скрыике оченно пристрастіе иметь", словомъ сказать— па-рень совершеннолётній, добрый и неглупый; возрось онъ до того, что ужъ п жениться собирается... И вдругь онь "отъ тятеньки скрывается!.." Только заслишаль, что "самъ прівхаль",—какъ и кричить: "маменька, спрячьте меня отъ тятеньки", и бъжитъ къ матери въ спальню прятаться... Какая тому причина? Та, что тятенька его женить задумаль насильственнымь образомъ... Такъ онъ, видите, отбъгаться думаетъ!.. И способъ-то хорошій выбралъ!.. А зачъмъ тятенька хочетъ его женить насильно. на то причина одна: что такъ онъ хочетъ... Мать, впрочемъ, представляетъ и другую причину: невъста, найденная отцомъ, очень богата, "а намъ, по словамъ Настасьи Панкратьевны. — надо невъсту съ большими день-гами, потому — сами богиты" ... Логика неопровержимая!.. И Ангрей Титычь ничего хорошенько не можеть возразить противъ нея: онъ уже доведенъ отцовскимъ обращениемъ до того, что самъ считаетъ себя "просто пропащимъ человъкомъ". А обращение въ самомъ дълъ хорошее, если послушать его разсказовъ Лизаветъ Ивановиъ, дочери Иванова. По его словамъ, у него "крылья ошибены, то-есть обрублены, какъ есть". Жениться онъ долженъ не по своему выбору, а по приказу отцовскому. "А коли скажешь, что, молъ, тятенька, эта невеста не нравится: а, говоритъ, въ солдаты отдамъ!.. Ну, и шабашъ!.. Да ужъ не то, что въ этакомъ деле, прибавляеть онь, и въ другомъ-то въ чемъ воли не даютъ. Я вотъ помоложе быль, учиться хотъль, такъ и то не вельли!.. " Лизавета Ивановна совътуетъ ему, выбравши хорошую минуту, разсказать отцу откровенно все. — что онъ способности имъетъ, что учиться хочетъ, и т. п. Андрей Титычь отвъчаеть на это: "онъ такую откровенность задасть, что мъста не найдешь. Вы думасте. — онъ не знаеть, что ученый лучше неученаго? — Только хочеть на своемъ поставить... Одинъ капризъ, одна только амбиція, — что вотъ я неучень, а ты умнъе меня хочешь быть".

Ну, скажите, есть-ли какая-нибудь возможность вести разумную рачь съ этими людьми! Отецъ знаетъ, что ученый лучше неученаго, и сыну извъстно, что отецъ это знаетъ, и сынъ хочетъ учиться, и все - таки отецъ запрещаетъ, и сынъ не смъетъ ослушаться!.. Отецъ признаетъ себя пеучемъ, сознаетъ, что это дурно, и боится, чтобы сынъ его не избъжалъ этого зла!.. Сынъ знаетъ, что отецъ только вслъдствие собственнаго невъжества запрещаетъ ему учиться, и считаетъ долгомъ покориться этому невъжеству!.. Кто разбереть эту безсимсленную путаницу, внесенную самодурствомъ въ семейныя отношенія? Кто сумветь бросить лучь света модурствомъ въ семенныя отношентя: асто сучветъ оросить лучь свъта въ безобразный мракъ этой непостижимой логики "темнаго царства"! Подумаешь, что Андрей Титычъ тоже сумасшедшій, какъ его братецъ Капитоша, который представляетъ собой еще одинъ любопытный результатъ семейной дисциплины въ домѣ Брусковыхъ... Но всѣ окружающіе говорятъ, что Андрей Титычъ—умный, и онъ даже самъ такъ разумно разсуждаетъ о своемъ братѣ: " не пускаютъ, говоритъ, меня въ театръ; ту причину пригоняють, что у насъ одинь брать помвшанный отъ театру; а онъ совевмъ не отъ тентру, - такъ, съ малольтства заколотили очень "... А Андрюша еще не заколоченъ, и все-таки представляетъ изъ себя какого-то поврежденнаго. Ужъ примирился бы, что-ли, съ своимъ положеніемъ, какъ сотни и тысячи другихъ мирятся! Такъ нътъ, — этого не хочеть онь, и темъ приводить въ отчаније отца и нать. Мать сокрушается о немъ даже больше, чъмъ о другомъ сынъ своемъ, — дурачкъ. Положение Купидоши какъ-то мало безпокоитъ ее: оно ей такъ близко и сродно; она даже потвивается надъ нимъ, а печалится больше всего лишь о томъ, что онъ табачище очень кръпкій куритъ. "Купидоша у насъ совсёмъ какой-то ума рехнувшій по театру, —объясняеть она своей гостьъ Ненилъ Сидоровнъ. — Да табакъ куритъ. Ненила Сидоровна, такой кръп-кій, — просто дышать нельзя. Въ компатахъ такого курить нельзя ни подъ какимъ видомъ, — кого хочеть стошнитъ... Такъ все больте въ кухнъ пребываеть. Воть иногда скупно, позовешь его, а онь то и давай кричать по-тіатральному, — ну, и утьшаешься на него. Съ пъвчими поеть басомъ, — голось такой громкій, такъ какъ словно изъ ружья выпалитъ". Стало быть, глупость сына имветь даже свою пріятность для матери!.. Но умъ Андрюши внушаетъ ей опасенія очень серьезныя: "совсёмъ, говоритъ, отъ дому отбивается: то не хорошо, другое не по немъ, учиться, говоритъ, хочу... А на что ему много-то знать? И такъ боект, а какт обучатт - то всему, тогда ст нимт и не сговоришь; онт мать - то и уважать не станеть; хоть изъ дому бъли ... Такиль образомъ, доля самодурства Брускова переходитъ и къ женъ его, хоть на словахъ только, — и Андрюша, при всей своей любви къ знанію и при

всѣхъ природныхъ способностяхъ, должевъ вырости неучемъ, для того, чтобы сохранить уважение къ отцу и матери. Они, бъдняки, чувствуютъ, что умному-то и образованному человъку не за что уважать ихъ!..

А отчего же Андрей Титычъ, коли ужъ онъ дъйствительно человъвъ неглупый, не рашается въ самомъ дала удовлетворить своей страсти къ ученью, употребивши даже въ этомъ случав накоторое самовольство? Вадь бывали же на Руси примъры, что мальчики, одержимые страстью къ наукъ, бросали все и шли учиться, не заботись ни о мизніи родныхъ, ни о какой поддержкв въ жизни... Да, но тв мальчики, вврно, какъ-нибудь укрылись отъ мертвищаго вліянія самодурства, не были заколочены съ малолътства; оттого у нихъ и могла развитися иткоторая решимость на борьбу съ жизнью, некоторая сила воли. Отъ Андрюши и Канитоши Брусковыхъ невозможно требовать ничего подобнаго. Ихъ, несчастныхъ, колотили въ ребячествъ, ими помыкають, а полъ-часъ потъщаются, и взрослыми... Гдв ужъ тутъ развиться сввтлымъ, независимымъ соображеніямъ и могучей решимости? Андрен Титы ча телько разве на то хватитъ, чтобы вноследствін бушевать, подобно своему отцу, и дурить надъ другими, въ отместку за то, что другіе надъ нимъ дурили... Такъ изъ поколенія въ поколение и переходить эта безобразная верархія, въ которой тоть, кто выбрался наверхъ, давитъ и топчетъ тъхъ, кто остался внизу. Что же ему дълать иначе? На этой сплошной толиъ байбаковъ, поднявшихъ его степенство вверхъ, онъ только и держится: онъ поневолъ долженъ больше или меньше давить ее собою, -- иначе самъ упадетъ опять подъ ноги другимъ и-чего добраго-будеть растоптанъ... А кому же охота быть растоптаннымъ?

Но туть можеть представляться вопросъ совершенно другого свойства: отчего эти байбаки такъ упорно продолжають поддерживать надъ собою человъка, который ничего имъ хорошаго, окромя дурного, не сдълаль и не дълаетъ? Отчего Митя безотвътень предъ Торцовымъ, Андрюша терзается, но не смъетъ слова сказать Титу Титычу, и пр.? Отчего цълое общество терпитъ въ своихъ нравахъ такое множество самодуровъ, мъ-шающихъ развитію всякаго порядка и правды? Въ обществъ, воспитанномъ подъ вліяніемъ Торцовыхъ и Брусковыхъ, нътъ ръшимости на борьбу. Но въдь нельзя не сознаться, что если самодуръ, самъ по себъ, внутренно, несостоятеленъ, какъ мы видъли это выше, то его значеніе только и можетъ утверждаться на поддержкъ другихъ. Значитъ, тутъ и особеннаго героизма не нужно: только не давай ему общество этой поддержки, просто — немножко разступись толпа, сжатая для того, чтобы держать на себъ какого нибудь Торцова или Брускова, — и онъ самъ собою упадетъ и будетъ дъйствительно задавленъ, если и тутъ обнаружитъ претензію на

самодурство... Отчего же въ обществи столько десятковъ и сотепъ латъ тернится это безсильное, гнилое, дряхлое явленіе, давно уже отжившее свой въкъ въ сознаніи лучшей, истинно образованной части общества? На это есть дви важныя причины, которыя очень ясны изъ комедій Островскаго и на которыя мы теперь нам'врены обратить вниманіє читателей.

V.

Въ терпъвън тяготу сноси И безъ роптанія проси. Ломоносовъ.

Первая изъ причинъ, удерживающихъ людей отъ противодъйствія самодурству, есть - странно сказать - чувство законности, а вторая -необходимость въ матеріальном обезпеченій. Съ перваго раза об'в причины, представленыя нами, должны, разумбется, показаться нельностью. Повидимому, совершенно напротивъ: именно отсутствие чувства законности и безпечность относительно матеріальнаго благосостоянія могуть объяс нять равнодушіе людей ко всімъ претензіямъ самодурства. Люди, разсуждающіе на основаніи отвлеченных принциповъ, сейчасъ могуть вывести такія соображенія: "Самодурство не признаетъ никакихъ законовъ, кромв собственнаго произвола; вследствие того у всехъ, подвергнихся его вліянію, мало-по-малу тернется чувство законности, и они уже не считають поступковъ самодура неправыми и возмутительными и потому переносять ихъ довольно равнодущно. Кромъ того, самодурство, при раздъль благъ всякаго рода, постоянно, по своему обычаю, обижаетъ ихъ, пользуясь само львиной долей, а имъ ничего не оставляя. Если они териять это, звачить, у нихъ уже потеряна любовь къ собственному благосостоянію, они привыкли къ неплинію ничего, и мало заботятся о томъ, чтобы выдти изъ этого положенія... При такомъ равнодушій къ матеріальнымъ интересамъ всъхъ этихъ Митей и Андрюшъ, немудрено самодурамъ помыкать ими по прихоти своей "гнилой фантазіи", какъ выражается Гордей Карпычъ".

Такое разсужденіе, при всей своей видимой основательности, весьма легкомысленно. Какъ-таки предположить вълюдяхъ совершенное уничтоженіе любви къ самому себѣ, къ своему благосостоянію? И отчего же? Оттого, что кому-то вздумалось взять у меня мое добро!.. Нѣтъ, это можно было бы говорить только въ такомъ случаѣ, если бы всѣ, угнетенные самодурами, были очень довольны собой. Но вѣдь мы видимъ, что и Митя, и Андрюша, и Капитоша, и Авдотья Максимовна, и Любовь Гордѣевна

очень недовольны своей судьбой. Стало быть, ихъ не безпечность удерживаеть въ ихъ положеніи, а что то другое, поглубже... Это другое и есть чувство законности. Не будь этого чувства, т.-е. прими угнетенная сторона въ самомъ дълъ то убъжденіе, что никакого порядка, никакого закона пѣтъ и не нужно, тогда бы и пошло все иначе. Приказанія самодуровъ исполнялись бы только до тѣхъ поръ, пока они выгодны для исполняющихъ; а какъ только Торцовъ коснулся благосостоянія Мити и другихъ приказчиковъ, — они бы, ни мало не думая, взяли, да и "сверзили" его... Вѣдь ихъ же больше, они сильнѣе, чѣмъ Гордъй Карпычъ... Но они молчали передъ нимъ именно потому, что онъ хозлинъ, что его уважать слѣдуетъ. Самое то, что онъ ихъ обдѣлнетъ и обижаетъ, они считаютъ законной принадлежностью его положенія... Настасья Панкраттевна вѣдь безъ всякой ироніи. а. напротивъ, съ замѣтнымъ оттѣнкомъ благоговѣнія говорить своему мужу: "кто васъ, батюшка, Китъ Китычъ, смѣетъ обидѣть? Вы сами всякаго обидите!.."

Очень страненъ такой оборотъ дъла; но такова уже логика "темнаго Очень страненъ такой оборотъ дъла; но такова уже логика "темнаго царства". Въ этомъ случать, впрочемъ, именно темнота-то разумънія этихъ людей и служить объясненіемъ дъла. Въ общемъ смыслъ, по нашему, — что такое чувство законности? Это не есть что-нибудь неподвижное и формально - опредъленное, не есть абсолютный принципъ морали въ извъстныхъ, разъ навсегда указанныхъ, формахъ. Происхожденіе его очень просто. Входя въ общество, я пріобрътаю право пользоваться отъ него извъстнюю долею извъстныхъ благъ, составляющихъ достояніе вставъ его членовъ. За это пользованіе я и самъ обязываюсь платить тъмъ, что буду стараться объ увеличеніи общей суммы благъ, находящихся въ распоряженіи этого общества. Такое обязательство вытекаетъ изъ общаго понятія о справелливости, которое лежитъ въ природъ человъка. Но для того тія о справедливости, которое лежить въ природь человька. Но для того, чтобъ усившиве достигнуть общей цъли, т.-е. увеличить сумму общаго блага, люди принимаютъ извъстный образъ дъйствій и гарантирують его какими-нибудь постановленіями, воспрещающими самовольную пом'яху общему д'ялу съ чьей бы то ни было стороны. Вступая въ общество, я обязанъ принять и эти постановленія и об'ящаться не нарушать ихъ. Сл'ядовательно, между мною и обществомъ происходить въкотораго рода договоръ, не выговоренный, не формулированный, но подразумъваемый самъ собою. Поэтому, нарушая законы общественные и пользуясь въ то же время ихъ выгодами, я нарушаю одну, неудобную для меня, часть условія, и становлюсь лжецомъ и обманщикомъ. По праву справедливаго возмездія, общество можетъ лишить меня участія и въ другой, выгодной для меня, половинъ условія, да еще и взыскать за то, чъмъ я успълъ воспользоваться не по праву. Я самъ чувствую, что такое распоряженіе будетъ справедливо, а мой поступокъ несправедливъ, — и вотъ въ этомъто и заключается для меня чувство законности. Но я не считаю себя преступнымъ противъ чувства законности, ежели я совсѣмъ отказываюсь отъ условія (которое, надо заметить, по самой своей сущности не можеть въ этомъ случат быть прочнымъ), добровольно лишаясь его выгодъ и за то непринимая на себя его обязанностей. Я, наприм'връ, если бы поступилъ въ военную службу, можетъ быть, дослужился бы до генерала; но за то, въ солдатскомъ званіи, я обязывался, по правиламъ военной дисциплины, дівлать честь каждому офицеру. Но и не поступаю въ военную службу или выхожу изъ нея и, отказываясь такимъ образомъ отъ военной формы и отъ надежды быть генераломъ, считаю себя свободнымъ отъ обязательства — прикладывать руку къ козырьку при встръчь со всякимъ офицеромъ. А вотъ мужики въ отдаленныхъ отъ городовъ мъстахъ, - такъ тъ низко кланяются всякому встрычному, одытому въ измецкое платье. Ну на это ужъ ихъ добрая воля или, можетъ, особымъ образомъ понятое, то же чувство законности?.. Мы такого чувства не признаемъ и считаемъ себя правыми, если, не служа, не ходимъ въ департаментъ, не получая жа-лованья, не даемъ въчета въ пользу инвалидовъ, и т. п. Точно такъ сочли бы мы себя правыми, если бы, напримъръ, прівхали въ магометанское государство и, подчинившись его законамъ, не приняли, однако, ислама. Мы сказали бы: "государственные законы насъ ограждають отъ техъ видовъ насилія и несправедливости, которые здісь признаны противозаконными и могутъ нарушить наше благосостояніе; поэтому мы признаемъ ихъ практически. Но намъ нътъ никакой надобности ходить въ мечеть, потому что мы вовсе не чувствуемъ потребности молиться пророку, не нуждаемся въ истинахъ и утъщеніяхъ алкорана и не въримъ Магометову раю со встани его гуріями, следовательно, отъ ислама ничемъ не пользуемся и не хотимъ пользоваться". Мы были бы правы въ этомъ случав по чувству законности, въ его правильномъ смыслв.

Такимъ образомъ, законы имѣютъ условное значенію по отношенію къ намъ. Но мало этого: они и сами по себѣ не вѣчны и не абсолютны. Принимая ихъ, какъ выработанныя уже условія прошедшей жизни, мы, чрезъ, то никакъ не обязываемся считать ихъ совершеннѣйшими и отвергать всякія другія условія. Напротивъ, въ мой естественный договоръ съ обществомъ входитъ, по самой его сущности, и обязагельство стараться объ изысканіи возможно лучшихъ законовъ. Съ точки зрѣнія общаго, естественнаго человѣческаго права, каждому члену общества ввѣряется забота о постоянномъ совершенствованіи существующихъ постановленій и объ уничтоженіи тѣхъ, которыя стали вредны или ненужны. Нужно только, чтобъ измѣненіе въ постановленіяхъ, какъ клонящееся къ общему благу, подвер-

талось общему суду и получило общее согласіе. Если же общее согласіе не получено, то частному лицу предоставляется спорить, доказывать свои предположенія и, накопецъ, отказаться отъ всякаго участія въ томъ дѣлѣ, о которомъ настоящія правила признаны имъ ложными... Такимъ образомъ, въ силу самаго чувства законности, устраняется застой и неподвижность въ общественной организаціи, — мысли и волѣ дастся престоръ и работа; нарушеніе формальнаго statu quo нерѣдко требуется тѣмъ же чувствомъ законности...

Такъ понимаютъ и объясияютъ чувство законности люди просвъщенные, люди участвующіе, подобно намъ. въ благод вяніях в цивилизаціи. Но не такъ понимають его тъ темные люди, которых в изображаеть намъ Островскій. Въ его "темномъ царствъ" вопросъ ставится совершенно иначе. Тамъ господствуеть въра въ одиъ, разъ навсегда опредъленныя и закръплен-ныя формы. Знанія здъсь ограничены очень тъснымъ кругомъ, работы для мысли — почти никакой; все идетъ машинально, разъ-навсегда заведоннымъ порядкомъ. Отъ этого совершенно понятно, что здъсь дъти никогда не выростають, а остаются датьми до тахъ поръ, пока механически не передвинутся на мъсто отца. Понятно и то, почему средніе термины, посредствующіе между самодурами и угнетенными, вовсе не им'вотъ опредъленной личности, а заимствують свой характеръ отъ положения, въ какомъ находятся: то ползають передъ высшими, то, въ свою очередь, задирають носъ передъ низшими. Точно механическія куколки: поставять ихъ на одинъ конецъ - кланяются; передернутъ на другой - вытягиваются и загибаютъ голову назадъ... Настасья Панкратьевна исчезаетъ предъ мужемъ, дышать не смъетъ, а на сына тоже прикрикиваетъ: "какъ ты смъещь?" да "съ къмъ ты говоришь?" То же мы видъли и въ Аграфенъ Кондратьевнъ, въ "Своихъ людяхъ": Та же исторія повторяется и въ другой сферъ—съ Юсовымъ, въ "Доходномъ мъстъ". И все это происходитъ отъ недостатка внутренней самостоятельности, отъ забитости природы. Человъку съ малыхъ лътъ внушаютъ, что онъ самъ по себъ—ничто, что онъ есть некоторымъ образомъ только орудіе чьей-то чужой воли и что, вслъдствіе того, онъ долженъ не разсуждать, а только слушаться, слушаться и покоряться. Единственный предметъ. на который можетъ еще быть направлень его умъ, это - пріобретеніе уменья приноровляться къ обстоятельствамъ. Кто сумветь такъ повернуть себя, тому и благо: онъ вынырнетъ... А кто не съумфетъ, тому бъда,—задавятъ... Велъдетвіе этого-то коснънія мысли, вся дъятельная сторона чувства

Вследствіе этого-то косненія мысли, вся деятельная сторона чувства законности совершенно исчезаеть въ "темномъ царствъ", и остается одна нассивная. Какой-нибудь Тишка затвердилъ, что надо слушаться старшихъ, да такъ съ тъмъ только и остался, и останется на всю жизнь... Въ

недагогикъ есть положение, что для дътей, не способныхъ еще къ отвлеченнымъ понятіямъ, воспитатель составляеть олицетвореніе правственнаго закона, и потому необходимо довъріе ребенка къ воспитателю. Но обязанность воснитателя, продолжаеть потомъ недагогика, -состоить въ томъ, чтобы какъ можно скоръе сдълать себя ненужнимъ для ребенка, причивши его понимать правственный законъ въ его истинной сущности, независимо отъ авторитета воспитателя. Этого последеного правила боятся, какъ ножара и разбоя, всё обитатели "темнаго царства", и всё стараются дёйствовать совершенно въ противоположномъ духё. "Слушай старика, —старикъ дурно не посовётуетъ", — говорить даже лучшій изъ нихъ— Русаковъ, и тоже не признаетъ правъ образованія, которое научаетъ человъка самого, безъ чужихъ совътовъ, различать, что хорошо и что дурно. Отъ этого и выходить, что чувство законности только и выражается въ чувствъ послушанія да терпвнія, а все остальное дълается чисто невозможнымъ для обитателя "темнаго царства", нока онъ самъ не сделается самодуромъ. Тишка мететъ полы въ дом'в Большова, бъгаетъ за водкой Подхалюзину и крадетъ целковые у хозянна, — и все это для него совершенно законно... За водкой посылають его старине, а старшихъ надо слушаться: тутъ ужъ резонъ прямой. Воровать ему не велять; но все равно-воровство тоже освящено старшими: сволько разъ приказчики при немъ хвалились ловкой штукой, сколько разъ приказывали ему молчать объ ихъ мошенничествъ предъ хозянномъ, сколько разъ самъ хозяинъ даваль приказчикамъ наставленія, какъ надувать покупателей!.. Все это не пропало даромъ для бойкаго мальчика, — и вотъ откуда всё мерзости, безиятежно уживающіяся въ немъ съ глубочайшимъ чувствомъ законности... Этимъто средствомъ онъ и выбивается изъничтожества, въ которомъ находился, и начинаетъ самъ дурить, совершенно съ спокойной совъстью, считая и самодурство точно такъ же законнымъ, какъ и прежнее свое унижение.

Но, разумъется, выбиваются наверхъ не всѣ, и даже очень немнотіе: для этого надо имѣть довольно крѣпкую натуру и потомъ сверхъ-естественнымъ образомъ выборотить ее. Надо заглушить въ себѣ всѣ симпатичныя чувства, притупить свою мысль, кромѣ того, — связать себя на нѣсколько лѣть по рукамъ и ногамъ, и при всемъ этомъ умѣть и пожертвовать при случаѣ своимъ самолюбіемъ и личными выгодами, и тонко обдѣлать дѣльце, и ловкое колѣнце выкинуть... На это мастеровъ не очень много... Охотниковъ, правда, безчисленное множество, да не у всякаго есть такая выдержка, какая, напр., была у Павла Ивановича Чичикова; — а безъ выдержки тутъ ничего не добъемься... Потому-то большая часть людей, попавшихъ подъ вліяніе самодура, предпочитаетъ просто терпѣть, съ тупою надеждою, что авось какъ-нибудь обстоятельства перемѣнятся... Внутрен-

ней силы, которая бы возбуждала ихъ къ противодъйствію злу, въ нихъ нътъ, да и не можетъ быть, потому что они не ииъли возможности даже узнать хорошенько, въ чемъ зло и въ чемъ добро... Оттого-то именно въ нихъ и нътъ чувства справедливости и сознанія высшаго нравственнаго добра, а вмъсто этого есть только чувство законность, въ ея установленномъ в тъсномъ смыслъ. Для нихъ поступки и явленія жизни раздълиются не на хорошіе и дурные, а только на позволенные и ненозволеные. Что нозволено, что скръплено положительнымъ закономъ или хоть просто прижазаніемъ, то для нихъ и хорошю, и наоборотъ. А на что положительныхъ приказаній нъть, о томъ они находятся въ совершенномъ недоуивнія. Потому-то всегда и бываютъ такъ робки и медленны шаги ихъ при всякомъ новомъ вопросъ или явленіи, требующемъ измѣненія существующаго порядка... Туть мучительное безискойство овладъваеть забитыми бъдняками, подъ гнетомъ самодурства лишившимися всякой способности разсуждать. Узнавъ, что правило, которому они слѣдовали, отмѣнено или само умерло, они рѣшительно не знаютъ, куда имъ обратиться и за что взяться, — и бываютъ ужасно рады первому встрѣчному, который возьмется вести ихъ. Само собою разумѣется, что этотъ встрѣчному, который возьмется вести ихъ. Само собою разумѣется, что этотъ встрѣчному и новалить за нимъ толпа "несмышленочковъ", желаюшихъ прожить чужимъ умомъ и подъ чужой волей, хотя бы и самодурной...

Висказанным нами мысли не составляютъ плода какой-нибуль теоріи, зараифе придуманной: въ нихъ просто заключаются выводы, пряме слѣдующіе изъ ивленій русскаго быта, изображенныхъ въ комедіяхъ Островскаго. Безъ велкаго сомиѣнія, художникъ не имѣлъ въ виду доказнвать тѣхъ мыслей, какія мы теперь выводимъ изъ его комедій; но онъ сами собою сказались въ его произведеніяхъ, и сказались удивительно правильно. Лида его комелій постоянно оттаются въйънь тому по доженію, въ всегою правильно. Лида его комелій постоянно оттаются въйънь тому по доженію въ всего по наженно правильно. Лида его комелій постоянно оттаются въйънь тому по доженно прав

твхъ инслеи, какія мы теперь выводимъ изъ его комедій; но онъ сами собою сказались въ его произведеніяхъ, и сказались удивительно правильно. Лида его комедій постоянно остаются върны тому положенію, въ которое поставлены самодурнымъ бытомъ. Ни однимъ словомъ не возвышаются они надъ уровнемъ этого быта, не измъняютъ основнымъ чертамъ ихъ типа, какъ онъ сложился въ самой жизни. Даже въ лучшихъ натурахъ комедій Островскаго мы не видимъ той смълости добра, которой могли бы требовать отъ нихъ при другихъ обстоятельствахъ, но которой именно не можетъ быть нихъ при другихъ обстоятельствахъ, но которон именно не можетъ быть въ нихъ подъ гнетомъ самодурства. Едва въ слабомъ зародышъ виднъются въ нихъ начала высшаго нравственнаго развитія; но эти начала такъ слабы, что не могутъ служить побужденіемъ и оправданіемъ практической дъятельности. Оттого всъ нравственныя основанія поступковъ у честныхъ лицъ въ комедіяхъ Островскаго — внъшни и очень узко ограничены, и всъ вертятся только на исполненіи чужой воли, безъ внутренняго сознанія въ правотъ дъла. Такъ, Авдотья Максимовна, отказываясь бъжать съ Вихоревымъ, представляетъ только ту причину, что отепъ ее проклянетъ; а бъжавши съ нимъ, сокрушается только о томъ, что "отепъ отъ нея отступится, и весь городъ будетъ на нее пальцами показыватъ". У Любови Гордъевию эта вифиность подчиненія долгу, не озаренная внутреннимъ убъжденіемъ, выражается еще рѣзче. Вотъ что говоритъ она Митѣ въ оправданіе своей рѣшимости—идти за Коршунова: "теперь изъ води родительской миѣ выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Должна и ему покориться, — такая наша доля дъвшчья. Такъ, знать, тому и быть должено, такъ ужъ оно заведено изстари. Не кочу я супротивъ отца идти, чтобъ про меня люби не говорили, оа въ примъръ не ставили. Хоть я, можетъ быть, сердце свое надорвала черезъ это, да по крайности я знъю, что я по закону желоу и никто мвѣ въ глаза насмъяться не смѣетъ". Въ этихъ словахъ пѣть вѣдь ни тѣни намека на вравственное значеніе поступка; за то есть слово "законъ"... А каковъ онъ и какъ примъняется здравимъ смысломъ къ данному случаю. — гдѣ же разсуждать объ этомъ дѣвушкѣ: самодурное воспитаніе вовсе не приготовляеть къ такимъ разсужденіямъ.

Возведение послушания въ высший абсолютный законъ делается, впрочемъ, и самими самодурами, и даже еще съ большей настойчивостью, чемъ угнетенною стороною... Это совершенно понятно: во-первыхъ, самодуръ также почти не выбеть истинныхъ нравственныхъ понятій и, следовательно, не можетъ правильно различать добро и зло и, по необходимости, долженъ руководствоваться произволомъ; во-вторыхъ — безусловное послушание друсихъ очень выгодно для него, потому что затъмъ онъ можетъ ужъ ничъмъ не ственяться. Но и туть, разумвется, самодурная логика далеко уклоняется отъ общечеловъческой. По общей логикъ следовало бы, если ужъ человъкъ ставитъ какія-нибудь правила и требованія, хотя бы и произвольныя, - то онъ долженъ и самъ ихъ уважать въ данныхъ случаяхъ и отношеніяхъ, наравив съ другими. Самодуръ разсуждаеть не такъ: онъ считаетъ себя въ правъ нарушить, когда ему угодно, даже тъ правила, которыя имъ самимъ признаны и на основаніи которыхъ онъ судить другихъ. И такова темнота разумънія въ "темномъ царствъ", что не только самъ самодуръ, но и всв. обиженные и задавленные имъ, признають такой порядокъ вещей совершенно естественнымъ. Лучшимъ выражениемъ этой любопытной стороны въ организаціи "темнаго царства" представляется комедія "Не такъ живи, какъ хочется". Въ литературномъ отношеніи пьесу эту признаютъ незамъчательною, упрекаютъ въ слабости концепціи, находять натяжки въ некоторыхъ сценахъ, и пр. Мы не будемъ долго на ней останавливаться, - не потому, чтобъ она того не стоила, а потому, что, во-первыхъ, наши статьи и безъ того очень растянулись, а во-вторыхъ, сама пьеса очень проста-и по интригъ, и по очеркамъ характеровъ, такъ

что для объясненія ихъ не нужно много словъ, особенно послѣ того, что говорено было выше. Дѣло въ томъ, что Петръ Ильичъ пьянствуетъ, тиранитъ жену, бросаетъ ее, заводитъ любовницу, а когда она, узнавъ объ этомъ обстоятельствъ, хочетъ уйти отъ него къ своимъ родителямъ, общій судъ добрыхъ стариковъ признаетъ ее же виновною... Собравшись домой, она, на дорогъ, на постояломъ дворъ, встръчаетъ отца и мать, разсказываетъ имъ все свое горе и прибавляетъ, что ушла отъ мужа, чтобы жить съ ними, потому что ей ужъ теривнъя не стало. Отецъ только диву дался, услышавъ такое вольнодумство. "Какъ къ намъ? — восклицаетъ онъ, — зачъмъ къ намъ? Нѣтъ, поъдемъ, я тебя къ мужу свезу". Даша говоритъ: "нѣтъ, батюшка, не поъду я къ нему", — и отецъ, полагая, не рехнулась-ли дочь его, — начинаетъ ей такое увъщаніе:

«Да ты пойми, глупая, пойми — какъ я тебя возьму къ себъ? Въдь онъ мужъ твой!.. (Встаетъ съ лавки). Побдемте: что болтать-то пустяки, чего быть не можетъ!. Какъ ты отъ мужа бъжинь, глупая! Ты думаешь.—мий тебя не жадь? Пу, вотъ всъ виъстъ и поплачемъ о твоемъ горь—вотъ и вся наша помощь! Что я могу сдълать? Поплакать съ тобой—я поплачу. Въдь я отецъ твой, дитятко мое, милое мое! (Плачетъ и иплауетъ се). Ты одно пойми, дочка моя милая: Вотъ соединилъ, человъкъ ве разлучаетъ. Отцы наши такъ жили, не жаловались, не роптали. Ужели мы умиве ихъ? Поъдемъ къ мужу».

Эти безчеловвиныя слова внушены просто тёмъ, что старикъ совершенно не въ состояніи понять: какъ же это такъ, — отъ мужа уйти! Въ его головв никакъ не помъщается такая мысль. Это для него такая нельпость, противъ которой онъ даже не знаетъ, какъ и возражать, — все равно, какъ бы намъ сказали, что человвкъ долженъ ходить на рукахъ, а всть ногами: что бы мы стали возражать?.. Онъ только и можетъ, что повторять безпрестанно: "да какъ же это такъ?.. Да ты пойми, что это такое... Какъ же отъ мужа идта!.. Какъ же это "!..

Казалось бы, то же самое разсуждение савдовало и къ мужу примънить. Нъть, онь вив закона!.. Онъ—повелитель своей жены и самодурствуеть надъ нею, сколько душъ угодно, даже и въ то время, какъ самъ передъ нею виноватъ и знаетъ это. Снъ узналъ, что жена провъдала о его "кралечкъ", кралечка провъдала, что онъ женатъ, и прогнала его отъ себя: что же онъ? Совъстится показаться къ женъ? Чувствуетъ расканніе? Ничего не бывало; онъ еще норовитъ, воротясь домой, сорвать на ней сердце за свою неудачу у кралечки... Кажется, это ужъ должно бы возмутить родителей бъдной жены его: въ ихъ глазахъ онъ, кругомъ самъ виноватый, буйствуетъ и, не помня себя, грозитъ даже заръзать жену и выбъгаетъ съ ножомъ на улицу... Даша и говоритъ отцу: "посмотрите сами, каково сладко мое житье". А отецъ совътуетъ: "потерпи, подожди!" "Да чего мнъ отъ него ждать, когда отъ него ужъ и отецъ его отступился", возражаетъ

Даша, прикрываясь авторитетомъ. "Ничего, потерпи", твердить отецъ, и затъмъ старается представить ея несчастіе опять-таки праведной карой — все за непослушаніе, за то, что она безъ воли родителей замужъ вышла. Вотъ его ръчь:

Агафонъ Вее это не дело, все это не дело! Охъ, охъ охъ Не хорошо! Ты сама права, что-ль? Дело сделала, что насъ со старухой бросила? Говори, дело сделала? Такъ это и надо? такъ это по закону и следуеть? Врагъ васъ обуяль! Выточно какъ не люди. Вотъ ты и терпи, и терпи! Да наказанье то съ кротостью принимай, да съ благодарностью!.. А то — что это? что это? Бежать хочеть! Какой это порядокъ? Гдё это ты видала, чтобы мужья съ женами порозив жили? Пу, ны его оставинь. бросинь его, а опъ въ отчание придетъ – кто тогда виновать будеть, кто? Ну, а захвараетъ опъ, — кто за нимъ уходитъ? Это вёдь первый твой толгь. А застигнетъ его смертный часъ, захочетъ онъ съ тобой проститься, а ты по гордости ушла отъ него...

Д л ш л (бросансь ему на шею). Батюшка!

Агафонъ. Ты подумай, дочка милая, помекай... (плача). Глупы въдь мы, люди, охъ, какъ глупы! Горды мы!

Замътъте, какъ добръ и чувствителенъ этотъ старикъ, и какъ онъ въто же время жестокосердъ, единственно потому, что не имъетъ никакого сознанія о правственномъ значеніи личности и все привыкъ подчинять только внѣшнимъ законамъ, установленнымъ самодурствомъ. Не по чорствости или злобъ, а совершенно наивно, начинаетъ онъ упрекать свою дочь за прошлое, въ такую минуту, когда сердце ея и безъ того разрывается на части. И потомъ— какіе резоны онъ представляетъ? Онъ не говоритъ, что, дескать, мужъ твой будетъ страдать, хворать и пр., такъ неужто тебъ не жалко его будетъ?— или что-нибудь въ этомъ родъ, отъ сердца. Нътъ, у него совсѣмъ другое основаніе: "кто тогда будетъ виноватъ?" да: "это первый тоой долгъ"... На основаніи этой, чисто внѣшней, морали, онъ и убѣждаетъ дочь: "потерпи, потерпи— все хорото будетъ".

И въдь, дъйствительно, — глупая «лучайность приходитъ для оправданія словъ старика. — точно такъ, какъ —

Вѣдь и случается: возьметь Да и скончается купчиха, Передъ которой глупый песъ Три ночи выль, поднявши носъ. Тогда попробуй разувѣрить...

Петръ Ильичъ, допившійся до чертиковъ, съ ножомъ въ рукѣ бѣжитъ на Москву-рѣку, ничего не видя и не понимая. Вдругъ слухъ его поражается ударомъ колокола: къ заутренѣ гдѣ-то заблаговѣстили. Онъ, по машинальной привычкѣ, поднимаетъ руку, чтобы перекреститься, — и видитъ, что въ рукѣ у него ножъ, а стоитъ онъ надъ самой прорубью... Тутъ его страхъ взялъ, хмѣль мгновенно отшибло, онъ вспомнилъ увѣщанія отца и воротился домой съ полнымъ раскаяніемъ. Выслушавши разсказъ его,

отецъ Дашисамо довольно-нѣжно упрекаетъ ее: "что, дочка, говорилъ я тебъ!.." Тъмъ дѣло и кончается.

какой - то страшно - фантастическій симслъ. Нъкоторые утверждали, что здъсь заключается показаніе того, какъ благод втеленъ для народа колокольный звонъ, и какъ человъка въ самыя трудныя минуты спасають набожныя привычки, съ дътства усвоенныя. Нътъ надобности говорить, до какой степени странно подобное толкованіе. Нътъ, совствиъ другое представляется намъ въ этой драмъ, примънительно къ общей идеъ, какую находнить мы во встать произведеніяхъ Островскаго. Въ раскаявшемся Петръ Ильичъ мы во встать постарадность и безвыходность того положенія, въ которое онъ самъ и всть, близко съ нимъ связанные, ввергнуты самодурнымъ бытомъ. Петра Ильича уговариваетъ отепъ, упрашиваетъ тетка, умоляетъ жена, которую убиваетъ его поведеніе, образумливаетъ товарищъ, отвергаетъ дъвущка, для которой онъ бросаетъ жену — на него рищъ, отвергаетъ дъвушка, для которой онъ бросаетъ жену — на него ничто не дъйствуетъ. Никакихъ живыхъ началъ правственности нътъ въ немъ, сердце его грубо и темно совершенно. Даже любовь въ немъ такъ дика, такъ безобразна! Дашу полюбилъ онъ и увезъ отъ отца, а черезъ дика, такъ безобразна! Дашу полюбиль онъ и увезъ отъ отца, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ уже тиранитъ ее и считаетъ наказаніемъ своей жизни безотвѣтную, полносердечную любовь ея. По Грушѣ онъ съума сходитъ; по что же онъ дѣлаетъ, когда она, насмѣявшись надъ нииъ, выпроваживаетъ его? Онъ обращается къ Еремкѣ, у котораго естъ знакомий колдунъ, и спрашиваетъ: "можетъ онъ приворожить дѣвку, чтобъ любила, чтобъ не она надо мной, а я надъ ней куражился, какъ душъ угодно? Вотъ предметъ его стремленій, вотъ любовь его: возможность куражиться надъ любимой женщиной, какъ душѣ угодно!.. Страшно, какъ подумаешь, что вѣдь обитатели "темнаго царства", сколько мы знаемъ ихъ по Островскому, всѣ имѣютъ такія самодурныя наклонности, если сами не забиты до совершеннаго отреченія отъ своей личности... Что же можетъ вразумить этихъ мрачныхъ дюлей что можетъ спасти отъ нихъ тѣхъ несчасть до совершеннаго отреченія отъ своей личности... Что же можетъ вразумить этихъ мрачныхъ людей, что можетъ спасти отъ нихъ тѣхъ несчастныхъ, которые принуждены терпѣть отъ нихъ?.. Ничто, положительно ничто, изъ средствъ обыкповенныхъ. Никакимъ естественнымъ путемъ нельзя дойти до измѣненія ихъ понятій и характера. Нужно что-нибудь чрезвычайное, крайнее, насильственное, хотя бы и совершенно безтолковое, для того, чтобы отрезвить ихъ. Надо было Нетру у забраться къ проруби на Москвѣ - рѣкѣ, и именно въ то время, когда заблаговѣстили къ заутренѣ, — для того, чтобы очувствоваться!. Ну, а если бы этого не случилось?.. Продолжалась бы эта жалкая жизнь Петра Ильича съ женою многіе годы, какъ она у многихъ и продолжается въ ,темномъ царствѣ". Да и теперь кто поручится, что раскаяніе Петра Ильича

прочно? Есть - ли въ его характеръ какіе-нибудь задатки нравственнаго исправленія? Разумъется, — это ужъ само-по-себъ необходимо, чтобъ пьяница проспался и чтобъ человъкъ, допившійся до чертиковъ, перегодилъ немножечко, отдохнулъ и собрался съ силами. Но надолго-ли это? Не забудьте, что раскалніе Петра Ильича произошло подъ вліяніемъ призраковъ и чудовищъ, которые ему мерещились въ пьяномъ видъ... Онъ можеть увірять, и вой сосіди его могуть вірить, что это дійствительно водяникъ или другой духъ водилъ его; но въдь мы знаемъ достовърно, что все это следствие разстроенной фантазія, разгоряченнаго мозга. Какая же туть гарантія за правственное исправленіе человъка? Пока опъ еще чувствуеть истощение отъ минувшей гульбы, да пока живъ въ его цамяти страхъ недавняго происшествія, до техъ поръ онъ и поостережется... А тамъ опять примется за прежнее: этого съ достовфриостью можно ожидать, зная, что въ немъ вовсе не развито внутреннее сознаніе и необходимость честной и полезной жизни... И б'ёдная женщина—его жена— должна будетъ попрежвену страдать въ своей горькой дол'є, если опять не совершится какого-нибудь чуда. И старики—отецъ и мать ен—попрежнему будутъ о ней сокрушаться и убъждать ее терпъть!.. Имъ - то все - таки легче: они ужъ совежиъ обезличились, они всъ насквозь прониклись ученимъ, что должно-

## Съ теривныемъ тяготу сносить И безъ роптанія просить...

Но выдержить - ли несчастная женщина, въ которой молодая натура еще сохраняеть остатки жизни и все еще протестуеть по временамъ, хотя и слабо, противъ мрачной силы, безправно и безсмысленно угнетающей ее?..

Навърное нътъ! Она неизбъжно придетъ къ паденію, — не къ тому паденію, подъ которымъ, на пошломъ языкъ нашей искусственной морали. разумъется полное наслажденіе любовью, — а къ дъйствительному паденію, къ потеръ нравственной чистоты и силы. Это паденіе одинаково можетъ постигнуть и мужчину, какъ женщину; но въ любящей женской натуръ есть къ нему путь, который каждую минуту можетъ увлечь ее и по которому одинъ шагъ можетъ уже сдълать ее преступною и ногибшею въ глазахъ общества. Путь этотъ—связь съ мужчиною. Мужчина тоже можетъ въ короткихъ отношеніяхъ съ женщиною искать спасенія отъ мрака и гадостей, окружающихъ его въ практической жизни. Тутъ онъ отдихаетъ и успокаивается, тутъ онъ стараеться забытся. Но для мужчины подобныя отношенія не гибельны: на нихъ всъ такъ и смотрятъ, какъ на невинное развлеченіе, они не оставляють на немъ пятна позора передъ обществомъ. Онъ каждую минуту можетъ возвратиться отъ нихъ къ своимъ

дъловымъ отношеніямъ, вступить въ свою обычную среду, нисколько не потерявши своего нравственнаго значенія. Не то съ женщиной: разъ сдълавши невърный шагъ, она уже теряетъ, по силъ господствующихъ нравовъ, возможность спокойнаго возврата на прежнюю дорогу. Она унижена, опозорена, отвержена, предъ нею всъ двери заперты, — по крайней мъръ до тъхъ поръ, пока она прямо въ лицо обществу надменно не броситъ своего позора, украшеннаго золотомъ какого-нибудь самодура. Тогда, пожалуй, и предъ ней преклонятся, и даже станутъ подличать. Но и въ этомъ случаъ, глубокое нравственное растлъніе должно совершиться въ ем натуръ. Такимъ образомъ, — какъ ни иди дъвушка, вездъ ей тяжело и опасно, и нътъ пути, который не привелъ бы ее къ потеръ правственнаго достоинства. Пока она не совсъмъ загрубъла и опошлъла, — ее тяготитъ нужда, общее презръніе, беззащитность противъ всякаго встръчнаго, — такъ что она поневолъ и незамътно должна привыкать и къ обману, и къ бездъльничеству, и къ житью на чужой счетъ... А потомъ, когда она свыкнется съ своимъ положеніемъ и будетъ безмятежно продавать свои чувства и наслаждаться пышной праздностью. — тогда, при счастливомъ случаъ, открытое поклоненіе, зависть и низости окружающихъ выгонятъ изъ нен окончательно всякое доброе чувство и втиснутъ ее въ самую глубину разврата... Если же и счастливаго случая не встрътится, тогда... тогда объ этихъ женщинахъ даже и не говорятъ нравственние люди, по крайней мъръ въ трезвомъ видъ...

изъ нел окончательно всякое доброе чувство и втиснуть ее въ самую глубину разврата... Если же и счастливаго случая не встръгится, тогда... тогда объ этихъ женщинахъ даже и не говорятъ нравственные люди, по крайней мъръ въ трезвомъ видъ...

Но, въдъ, и эти женщины были когда-то чистыми, нравственными существами, достойными уваженія самыхъ чопорныхъ пуристовъ формальнаго цъломудрія. Какъ же началось ихъ паденіе? Какія причины заставили ихъ ступить на ложный путь? Что ръшило "первый шагъ" ихъ? Умствовать объ этомъ можно очень много; но мы не хотимъ умствовать, а дълаемъ эти вопросы только затъмъ, что находимъ прямой отвътъ на нихъ въ комедіяхъ Островскаго. Отсутствіе живого нравственнаго развитія, неимъніе опоры внутри себя и самодурный гнетъ извнъ—вотъ причины, производящія въ "темномъ царствъ" безнравственность женщинъ, равно какъ и безнравственность мужчинъ. Мы уже видъля, какъ виражается отсутствіе нравственной самостоятельности и непріязнь во всему, вызванная самодурствомъ, въ натурахъ живыхъ и физически страстныхъ. Збена и сестра Пузигова только тъмъ и живутъ, что обманываютъ его и потихоньку гуляютъ съ молодыми людьми, отпросившись въ церковь. Липочка Вольшова прельщается военными, боится отца, въ грошъ не ставитъ мать, и потомъ выходитъ за Подхалюзина и прехладнокровно отправляетъ въ яму отца, чтобы не заплатить за него по 25 копъекъ за рубль, изъ его же имънія... Видъли мы и то, какъ надаютъ и замираютъ

подъ самодурнымъ гнетомъ кроткія и нѣжиня женскія натуры. Авдотья Максимовна, въ пору зрѣлости оставшаяся ребенкомъ въ своемъ развитіи, не умѣющая понимать — ни себя самое, ни свое положеніе, ни окружающихъ людей, увлекается наущеніями Арины Оедотовны и плѣняется Вилоревымъ... Любовь Гордѣевна, не смѣющая даже сказать отцу о своей любви къ Митѣ, идетъ за Коршунова, къ которому чувствуетъ страхъ и омерзѣніе. Не менѣе безнравственно и положеніе Даши, припужденной поить виномъ своего мужа, чтобы онъ, пьяный, приколотилъ ее... Но все это факты уже конченные; мы видимъ здёсь уже совершившуюся смерть личности, и можемъ только догадаться о той агоніи, черезъ которую перешла молодая душа, прежде чвить упала въ это положение. Но есть у Островскаго пьеса, гдв подслушанъ лепетъ чистаго сердца въ ту самуюминуту, когда оно только-что еще чувствуетъ приближение вечистой мысли, - пьеса, которая объясняеть намъ весь процессъ душевной борьбы, предшествующей неразунному увлечению девушки, убиваемой самодурною силой. Пьеса эта, конечно, памятна нашимъ читателямъ, потому что она появилась въ нынъшнемъ году и обратила на себя общее вниманіе. Мы уже говорили о ней въ "Современнакъ", и потому теперь скажемъ о ней только то, что можетъ прямо относиться къ объясненію нашей мысли. Надя, воспитанница Уланбековой, — добренькая и умненькая дввушка, имвющая очень скромныя и вполив честныя стремленія. Она мечтаеть о семейномъ счастия съ любинымъ человъкомъ, заботится о томъ, чтобъ себя "облагородить", такъ, чтобы никому не стыдно было взять ее замужъ; думаетъ о томъ, какой она хорошій порядокъ будетъ вести въ домъ, вы-педши замужъ; старается вести себя скромно, удаляется отъ молодого барина, сына Уланбековой, и даже удивляется на московскихъ барышень, что онъ очень бойки въ своихъ разговорахъ про кавалеровъ да про гвар-дейцевъ. "И откуда онъ все это знаютъ?" спрашиваетъ она въ недоумъ-ніи сама себя... Словомъ, это дъвушка, которая, при другихъ обстоятельствахъ, могла бы вполив соотевтствовать идеалу многихъ и многихъ людей: она отъ всей души хочетъ и. по своей натуръ, можетъ быть хорошей женой и хорошей хозяйкой. Дайте ей еще нъкоторое образованіе, она будетъ и хорошей матерью и воспитательницей своихъ дътей. Но она живеть въ дом'в Уланбековой, этого безобразнаго самодура въ женскомъ илать'в, — и все должно пропасть для б'вдной Нади. Лицо Уланбековой замъчательно, какъ примъръ того, что значитъ самодурство, перенесенное изъ купеческаго дома въ другую сферу. Здёсь оно могуче, вліяніе его обширнъе, и потому оно еще отвратительнъе. Купецъ ограничиваетъ свое самодурство упражненіями надъ домашними да надъ близкими людьми; но въ обществъ онъ не можетъ дурить, потому что, какъ мы видъли, онъ,

въ качествъ самодура, трусливъ и слабодушенъ предъ всякимъ незави-симымъ человъкомъ. Ужъ на что Титъ Титычъ Брусковъ, — и тотъ не посмыть очень вольничать надъ. Ивановымъ и, пришедши домой, сознавался: "они только тъмъ и взяли, что я въ ихъ квартиръ былъ; а пришли бы они сюда, такъ я бы ужъ бы ихъ уконтентовалъ". Буйный Петръ Ильичь, прогнанный своей кралечкой, тоже расходился, только воротясь домой: "они надо мной насмъялись, выгнали меня!.. А здъсь я дома, — все въ прахъ разобью, щенки живой не оставлю", — кричить онъ въ изступленіи. Такимъ образомъ, многіе купеческіе самодуры "сердиты да не сильны", и общество очень много отъ нихъ страдать не можеть. Но родовыя черты самодурства остаются тъ же во всехъ сферахъ, и чемъ сфера обширнъе, тъмъ самодурство ужаснъе и вреднъе. Кругъ дъйствія Уланбековой довольно великъ. Во-первыхъ, у ней домашнихъ очень много: воспитанницы, приживалки, ключницы, горничныя, служители... Потомъ у ней есть крестьяне. Кромв того, она представляеть сильное лицо въ цъломъ околоткъ и имъетъ большое вліяніе. Она и чужія свадьбы насильно устраиваеть, и на мъста опредъляеть, и отъ суда защищаеть... А какого качества ея вліяніе. — объ этомъ можно судить по нъкоторымъ чертамъ. Она проситъ исправника за своего крестника, Неглигентова, чтобъ его столоначальникомъ сдълали: исправникъ говоритъ, что мъста нътъ. Уланбекова этимъ обижается и говоритъ ему: "вы, кажется, не по-нимаете, кто васъ проситъ". Исправникъ принужденъ объщать. По этому поводу приживалка Уланбековой, Василиса Перегриновна, разсуждаетъ: "я и понять не могу, какъ это у него языкъ-то повернулся противъ васъ. Воть ужъ сейчасъ необразование-то и видно! Положимъ, что Неглигентовъ, по жизни своей, не стоитъ, чтобы объ немъ и разговаривать много, да по васъ-то онъ долженъ сдълать для него все на свътъ, какой бы онъ тамъ ни быль негодяй... Крестникъ онъ вамь, ну, и кончено дъло, - онъ никакихъ и разговоровъ не долженъ слушать... Всё это знають, благодетельница, что вы, если захотите, такъ можете изъ грязи человъкомъ сдълать; а не захотите, такъ будь хоть семи пядей во лбу, — такъ въ ничтожествъ и пропадетъ. Самъ виноватъ: отчего не умълъ заслужить"... Весь цинизмъ самодурной морали и логики выраженъ здесь очень рельефно. Личность самодура ставится здесь центромъ всего нравственнаго міра; отъ нея все исходить и къ ней все должно возваращеми. Нетъ никакихъ правъ, кром' милости самодура, никакихъ нравственныхъ правилъ, кром' угожденія его воль... Такимъ образомъ, вопрось о законности ставится здысь съ безстыдною прямотою: законъ есть ни что иное, какъ воля самодура, и вев должны ей подчиняться, а онъ не долженъ ственяться ничвиъ... Каково жить людямъ подъ такою моралью!...

А вотъ каково. Воспитанницъ своихъ Уланбекова держитъ строго, подъ замкомъ. Если онъ осмълятся раскрыть ротъ, то она говоритъ имъ вотъ что: "я не люблю, когда разсуждаютъ, просто не люблю, да и все тутъ. Этого позволить я не могу пикому. Я съ молоду привыкла, чтобъ каждаго моего слова слушались; тебъ пора это знать! И мнъ очень странно. моя милая, что ты осмъливаешься возражать мнъ. Я вижу, что избаловала тебя; а вы въдь сейчасъ зазнаетесь"... Но за то, по словамъ старика Потапыча, она хорошо одъваетъ воспитанницъ и не заставляетъ ихъ работать: "хочу, говоритъ, — чтобъ всъ имъ завидовали". Когда же онъ выростутъ, отдаетъ ихъ замужъ по своему выбору. Объ этомъ Потапычъ такъ сообщаетъ Леониду, сыну Уланбековой:

«Скажуть: я тебь нашла жениха, и воть, скажуть, тогда-то свальба: ну, и конець, туть ужь и разговаривать ни одна не смі.й! За кого прикажуть, за того и ступай. Потому что, сударь, я разсуждаю такь: кому же пріятно, давши восинтаніе, да видьть непокорность!. А бываеть. сударь, и такь, что и жених невьств не прасчится, и невьста жениху, такъ туть ужь очень инваются... такъ даже изъ себя выходить... Пожелали онь одну воспитанницу отдать за лавочника въ городъ, а онь, человъкъ неполированный, вздумаль-было сопротивляться. Мнт. говорить, невъста не нравится, да я и жениться-то не хочу еще. Такъ въ тт поры и городничему жаловались, и отцу протопопу; ву и уломали дурака».

По мижнію Потаныча, это значить, что барыня "на всехъ свою заботливость простирають". Какое же побуждение къ этой заботливости? Объяснить это старается сама Уланбекова — въ поучении, которое она очень трогательно, со слезами на глазахъ, по словамъ Потапыча, читаетъ восинтанницамъ при выдачъ имъ зачужъ. "Вы, говоритъ, жили у меня въ богатствъ и въ роскощи и ничего не дълали; теперь ты выходишь за бъднаго, и живи всю жизнь въ бъдности, и работай, и свой долгъ исполняй. И позабудь, говорить, какъ ты у меня жила, потому что не для тебя я это дълала; я себя только тешила, а ты не должна никогда объ такой жизни и думать, и всегда ты помни свое ничтожество, и изъ какого ты званія "... И не подумайте, что это говорится со злобою или съ сарказмомъ; вовсе нътъ, - это отъ полноты души, отъ искренняго убъжденія Уланбековой. Въ ней тоже нътъ особенной наклонности къ злу; вся бъда въ томъ, что она, въ кругъ своихъ идей, ничего не можетъ признать, кромъ себя. Все остальное кажется ей созданнымь на ея службу, какъ злакъ полевой существуетъ не самъ по себъ, а собственно на службу человъкамъ... Что же прикажете делать съ такими понятіями?.. А что она действительно наклонна въ тому, чтобы даже добро делать, это доказывается темъ, какъ она заботится о мужьяхъ своихъ воспитанницъ. Потапычъ говоритъ, что которыхъ воспитанницъ выдали за приказныхъ, такъ ужъ мужьямъ жить хорошо. "Потому, если его выгнать хотять изъ суда или вовсе выгнали,

онъ сейчасъ къ барынъ къ нашей съ жалобой, и онть уже за него горой, даже самого губернатора безпокоять. И ужь этоть приказный въ тв поры можеть и пьянствовать, и все, и ужъ никого не боится "... Конечно, вы скажете, что это ужъ тоже нехорошо; но все-таки видно, что Уланбекова — не мучительница какая, не злодъйка, а женщина чувствительная, благожелательная и благольтельная.

По своей благожелательности (а не по чему другому) Уланбекова задумала отдать Надю за пьяницу Неглигентова. Она очень просто говорить объ этомъ Василист Перегриновий: "ты говоримь, что онъ дурную жизнь ведеть; такъ надобно будеть свадьбой поторопиться. Надя у менядъвушка хорошихъ правилъ, будетъ его удерживать, а то онъ отъ холостой жизни совстви избалуется . Надя сидить туть же, и слышить эти слова, и ничего не сиветь сказать противъ нихъ... Наконецъ, она уполяетъ, плачеть, ей дають выговорь и говорять: "слезы твои для веня ровно ничего не значать. Коли я что захочу сдълать, такъ ужъ поставлю на своемъ, никого въ мір'в не послушаюсь!.. И впередъ знай, что упрамство твое ни къ чему не приведеть, только разсердишь меня . Говорится все это прилично и солидно, но, разумъется. Надъ отъ того не легче. Самодурство здёсь спрятало свои кулаки и плетку, но оно не лучше отъ этого, а, пожалуй, еще похуже. Въ одной пьесъ Островскаго есть точно такая сцена въ купеческой семью; та гораздо грубфе, но все - таки не такъ возмутительна. Это сцена въ "Не сошлись характерами", гдъ Кариъ Каримчъ сообщаетъ своей дочери о свадьбв своей илемянницы и по этому новоду разсуждаетъ съ женой своей. Улитой Никитишной. Мы выпишемъ эту сцену для сравненія: она очень коротка.

Карпъ Карпычъ. А вотъ у насъ скоро свадьба: Матрену въ саду съприказчикомъ застали, такъ хочу повъвчать (Матрена закрываеть лицо рукавомъ); тысячу рублевъ ему денегь и свадьба на мой счеть.

Улита Инкитишна. Тебъ бы только пображничать гдъ было; затъмъ в

свальбу-то затьяль.

Кариъ Кари. Ну, еще что? Улита Ник. Нечего больше.

КАРПЪ КАРП. (строго). Нътъ, ты поговори!

Улита Ник. Ничего, право, ничего.

Кариъ Кари. (строже). Нътъ, поговори что-вибудь, я послушаю.

Улита Няк. Да что говорить-то, коли не слушаешь. Карпъ Карп. Что слушать-то! Слушать-то у тебя нечего. Эхъ, Улита Никитишна! (грозите пальиемь). Сказано-молчи! Я хочу, чтобъ дъвка чувствовала, а ты съ своими разговорами... (Матрена закриваеть другимь рукавомь глаза). Третью племянницу такь отдаю. Я всей родив благодьтель. Воть теперь есть еще маленькая, такъ и ту на мвето Матрены возьму, и ту въ люди выведу.

Тутъ и ругательство, и угроза, и насиліе, словомъ — самодурство въ полномъ ходу... Но оно не развилось здесь до той виртуозности, какъ въ Уланбековой. Тутъ Матрена вънчается съприказчикомъ, съ которымъ застали ее въ саду, — дъло простое и ясное. Такъ, въроятно, выдалъ Карпъ Карпъ Карпъ и другихъ своихъ племяаницъ. Если бъ онъ могъ придумать выдавать ихъ за тъхъ, за кого онъ не хотятъ и кто ихъ брать не хочетъ, то очень можетъ быть, что эта идея и понравилась бы ему... Но онъ еще ве утончился до подобныхъ выдумокъ; а Уланбекова пустилась уже и въ эту роскоты. Затъмъ, и самая манера у Карпа Карпыча другая: онъ съ женой своей обращается хуже, чъмъ Уланбенкова съ воспитанницей, онъ не даетъ ей говорить, онъ даже, можетъ быть, бивалъ ее: но все таки жена можетъ ему дълать кое-какія замъчанія, а Надя передъ Уланбековой совершенно безгласна. Вотъ какъ мало отрады приносятъ цивилизованныя формы самодурства!

безгласна. Вотъ накъ мало отради приносятъ цивилизованния форми самодурства!

И вотъ при этомъ-то, холодио и степенно панесенломъ ударъ, появляется въ Надъ то горькое, рвущее чувство, которое заставляетъ человъка бросаться безъ памяти, очертя голову, куда случится, — въ воду, такъ въ воду, въ объятія нерваго встрѣчнаго, такъ въ объятія! Ея ощущенія переданы въ пьесъ Островскаго съ изумительной силой и яркостью; такихъ глубоко - истинныхъ очерковъ немного во всѣхъ произведеніяхъ нашей литературы. Мы уже приводили въ "Современнивъ" эту сцену; но не можемъ еще разъ не напоминть читателямъ нѣкоторыхъ мѣстъ ел. "И и сама не знаю, что со мной вдругъ сдѣлалось", говоритъ Надя. "Какъ только барыня давеча сказала, чтобъ не смѣла я разговаривать а шла, за кого прикажутъ, такъ у меня все сердце перевернулось. Что, и подумала, за жизнь моя, Господи! (пасиетъ). Что въ томъ проку - то, что живу я честно, что берегу себя не только отъ слова какого, а и отъ взгляду-то?.. Такъ меня вло даже взяло на себя. Для чего, я думаю, мнъ беречь - то себя? Вотъ не хочу - жъ, не хочу!.. А у самой такъ сердце и замерло, — кажется, «ще скажи она слово, я-бъ умерла на мѣстъ". Въ этой исповъди ясно, какимъ безвыходнымъ кругомъ обводитъ самодурство всѣхъ несчастныхъ, захваченныхъ его вліяніемъ. Надя не пріучена къ тому, чтобы сохранить власть надъ собою и остаться вѣрною своичъ понятіямъ изъ внутренняго убѣжденія въ ихъ правотъ и сплѣ; у нея скромность и честность вмѣютъ прямую цѣль — сохранить себя для замужества... Но естественное чувство ея внезапно оскорбляется приказаніемъ идти за пьянаго и грязнаго негодяя... Всѣ ея дѣвическія мечты разбиты. тажелая доля ея представляется ей во всей своей безжалостной грубости. Прежде она мечтала, какъ будеть свдѣть съ женихомъ, — словно княжна какая, словно у ней каждый день праздникъ, — какъ она будетъ жить замужемъ, словно въ раю, словно гордясь чѣмъ-то... А теперь у ней другія мысли; она подавлена самодурствомъ, да и впереди ничего не видитъ, кромѣ того же само-

дурства: "чакъ подумаещь, — говорить она, — что станеть этоть безобразный человькь издываться нады тобой, да ломаться, да свою власть показывать, загубить оны твой выкь ни за что!.. Не жива, ты сы нимы состаришься... Такъ ужь, право, молодой баринь лучше "... И вы самомы дыль — она вы своей "отчаянности», какы выражается она, находить, что ей нравится Леонидь, который за ней давно ужы ухаживаеть... Прежде она оты него бытала, а теперы бросилась вы его объятія, вышедши кы нему вечеромы вы сады: оны свозиль ее на лодочкы на уединенный островокы, ихы подсмотрыла Василиса Перегриновна, донесла улан ековой, и та, пришедши вы великій гишьь, велить тотчась послать кы Неглигентову (котораго переды тымы уже выгнала оты себя за то, что оны пришель кы ней пыяный — и, слыдовательно, не выказалы ей уваженія) сказать ему, что свадьба его сы Надей должна быть какы можно скорые...

Туть является и Леонидъ со своими сожальніями... Но онъ уже зараженъ воздухомъ самодурства, онъ ничего не можетъ сделать путнаго. Въ "Воспитанницъ", мимоходомъ, но съ поразительной истиной, выставлено то, какъ эпидемія самодурства, разлитая въ атмосферф всего дтемнаго царства", непримътно, но неизбъжно заражаетъ самыя свъжія натуры. Леонидъ-мальчикъ 18 лётъ, не злой и не совсемъ глупый; характеръ его еще не сложился. Но посмотрите, какія у него замашки, какъ онъ уже испорченъ въ корив и какъ все окружающее способствуеть его дальнъйшему развращенію, какъ все вырабатываеть изъ него отвратительнейшаго самодура. Одни разговоры съ Потанычемъ чего стоять! Онъ замъчаетъ Потанычу, озирая имъніе: "въдь это все мое будеть". И Потапычъ отвъчаетъ: "Все, сударь, ваше, и мы ваши будемъ... Какъ, значитъ, при баринъ, при покойникъ, такъ все равно и вамъ делжны. Потому — одна кровь... Ужъ это прямое дело"... Затемъ Леонидъ объясняетъ, что онъ служить не намъренъ, потому что "тамъ еще писать заставять "... Потацычь и на это свою речь держить: "четь, сударь, зачёмъ же вамъ самимъ дело делать! Ужъ это не порядокъ! Вамъ такую службу найдуть, -самую барственную, великатную; работать будуть приказные, а вы будете надъними надо всеми начальникомъ. А чины ужъ сами собой пойдуть ... Затымъ Леонидъ жалуется, что дывушки отъ него быгаютъ. Потанычъ объясняетъ, что это оттого, что маменька его соблюсти желаеть, и ихъ тоже. Потомъ прибавляеть:

Да чтожь, сударь: маменька ваша, обыкновенно, должны строгость наблюдать, потому какъ онъ дамы. А вамъ что на няхъ смотрьть! Вы сами по себъ должны поступать, какъ всъ молодые господа поступають. Ужъ вамъ порядку этого теритъ не должно. Что-жь вамъ отъ другихъ-то отставать? Это будетъ къ стыду къ вашему.

Льонидъ. Такъ-то такъ, да не умъю я съ дъвушками разговаривать.

Потапычт. Да вамъ что съ ними разговаривать-то долго? Объ какихъ наукахъ вамъ съ ними разговаривать? Нешто онь что понимають! Обыкновенно — вы баринъ, ну, вотъ и конецъ...» И Леонидъ быстро напитывается этими попятіями. Въ сцепъ съ Надей въ саду онъ выказываетъ себя пустымъ и дряннымъ мальчикомъ,— не больше; но, въ послъдней сцепъ, когда онъ узналъ о гиъвъ матери и о судьбъ, грозящей Падъ, онъ просто гадокъ... Онъ сустится, спрашиваетъ, нельзя - ли помочь; жалъетъ Надю, повидимому, но въ сущности ему ужъ нътъ до нея дъла... Бъдъ можно помочь однимъ средствомъ: Уланбекова сердита, главнымъ образомъ, за то, что Гришка, 19-тилътній лакей, ея любимецъ, не ночевалъ дома; Гришка ушелъ и завалился на съпо, мало заботясь о гиъвъ барыни; но нужно послать его просить прощенья,—тогда Уланбекова развеселится, и се можно будетъ упросить за Надю. Василиса Перегриновна язвительно предлагаетъ Леониду — попросить Гришку, чтобъ шелъ къ барынъ. Но мальчикъ, немного подумакъ, отвъчаетъ: "нътъ, ужъ это ему много чести будетъ"... И ръшивъ этимъ отвътомъ исполненіе грознаго приговора надъ судьбою Нади, онъ опять начинаетъ спрашивать: "что дълать", да приставать съ сожалъніями... Надя ужъ выходитъ изъ терпънія, наконецъ, и говоритъ ему: "полноте о такихъ пустякахъ безпокоиться; вы же поъдете въ Петербургъ скоро; веселитесь себъ тамъ. А до меня что вамъ за дъло". Леонидъ обиженъ и спрашиваетъ: "зачъмъ такъ говорить мнѣ?" "Затъмъ, что вы мальчикъ еще, — отвъчаетъ Надя, и заключаетъ: — ужъ ъхали бъ вы куда-нибува лучше! А у меня, коли терпънъя не хватитъ, такъ прудъ-то у насъ недалеко!... И Леонидъ, нъсколько озадаченный, но втайнъ очень довольный, что можетъ отдълаться, говорить: "а въ самъ дълъ, я лучше И Леонидъ быстро напитывается этими понятіями. Въ сцепъ съ Надовольный, что можетъ отдёлаться, говоритъ: "а въ самъ дёлё, я лучше поёду къ сосёдямъ на недёлю"... И оставляетъ Надю, которая вчера бросилась въ его объятія—по влеченію того же чувства, по которому теперь собирается броситься въ прудъ.

И такъ, вотъ гдѣ источникъ паденій, вотъ причина нравственнаго растлѣнія, такъ обильно разлитаго по всему "темному царству" самодуровъ! "Пока я думала, что я человѣкъ, какъ и всѣ люди, — говоритъ Надя, — такъ у меня и мысли были другія. А какъ начала она мной, какъ куклой, командовать, да какъ увидѣла я, что никакой мнѣ воли, ни защиты нѣтъ, такъ отчаянность на меня напала... Куда страхъ, куда стыдъ дѣвался... Хоть день, да мой, думаю, — а тамъ что будетъ, то будетъ, ничего я и знать не хочу"... И въ этихъ мысляхъ бросилась дѣвушка на свою погибель, и дѣйствительно только часомъ какимъ-нибудь и попользовалась... Да и тотъ ужъ отнятъ у ней, потому что воспоминаніе вчерашней сцены любви уже отравлено, запачкано нынѣшнимъ поведеніемъ Леонида. "Кому я отдалась, на кого расточила я свои чистыя дѣвственныя ласки!" должна думать теперь несчастная дѣвушка. и стыдъ горькой ошибки будетъ преслѣдовать ее сильнѣе и дольше, нежели печаль объ утра-

ченной невинности. Да, собственно говоря, — и безиравственность то ея ноступка состоить въдь только въ томъ, что она, сгоряча, очень глупо распорядилась собой... А что жъ ей было дѣлать, однако?.. Ее ужъ не одно чувство законности удерживало отъ открытаго возстанія противъ воли "благодѣтельница", а просто безсиліе, невозможность. Куда же ей было дѣваться, гдѣ и какими средствами искать защиты, на какія средства существовать, наконецъ?.. Ей, кромѣ того, что она сдѣлала, только одно и осталось: утопиться въ чрудѣ... Такъ вѣдь и это тоже не велика радость!..

Здесь-то и открывается намъ другая причина, приведенная нами, на то, отчего такъ крвико держится самодурство, само по себъ несостоятельное и давно прогнившее внутри. Чувство законности, сдълавшееся чисто нассивнымъ и окаменълымъ, превратившееся въ тупое благоговъніе къ авторитету чужой воли, не могло бы такъ кротко и безмятежно сохраняться въ угнетенныхъ людяхъ, при видъ всъхъ нелъпостей и гадостей самодурства, если бы его не поддерживало что-нибудь болье живое и существенное. И действительно, оно поддерживается постоянно темъ, что въ людяхъ есть неизбъжное стремление и потребность — обезпечить свой матеріальный быть. Эта потребность, въ соединении съ тупымъ и неразумнымъ чувствомъ законности, чрезвычайно благопріятствуеть процвътанію самодурства. Если бы чувство законности не было въ людяхъ "темнаго царства" такъ неподвижно и нассивно, то, конечно, потребность въ улучшении матеріальнаго быта повела бы совству къ другимъ результа-тамъ. Митя не сталъ бы заглазно плакаться на хозяина и молчать передъ нимъ, считая закономъ его волю, а просто нашелъ бы очень законнымъ дъломъ - потребовать отъ него прибавки жалованья. Самъ Подхалюзинъ не сталь бы обивривать и обсчитывать, повинуясь воль хозяина. какъ высшему закону, и откладывая гроши себѣ въ карманъ, а просто потребовалъ бы участія въ барышахъ Большова, такъ какъ онъ уже всеми его дълами завъдывалъ. Тогда, конечно, Большову и банкротство бы не понадобилось. Да и самодурствовать-то ему было бы не слишкомъ повадно. Съ другой стороны, если бы надобности въ матеріальных благахъ не было для человъка, то, конечно, Андрей Титычъ не сталъ бы такъ дрожать передъ тятенькой, и Надя могла бы не жить у Уланбековой, и даже Тишка не сталь бы уважать Подхалюзина. Но теперь дела представляются въ такомъ видъ: матеріальныя блага нужны всякому человъку, но они уже захвачены самодурами, такъ что слабая, угнетенная сторона, находащаяся подъ ихъ вліяніемъ, должна и въ этомъ зависеть отъ самодурной милости какого-нибудь Торцова и Уланбековой; можно бы отъ нихъ потребовать того, чвить они владвють не по праву; но чувство законности запрещаеть парушать должное уважение къ нимъ... Что же изъэтого выходитъ? Следствіе, кажется, ясно: нужно "безъ роптанія просить " у самодуровъ, чтобы они, живя сами, дали жить и другимъ... Но, чтобы они исполнили просьбу, нужно снискать ихъ милость; а для этого надо во всемъ съ ними согласиться, имъ покориться и съ "терпъньемъ тяготу сносить ", если придется... А тяготы придется довольно, судя "по крутому - то характеру Тордъя Карпыча яли г-жи Уланбековой, да и по ихъ пепроходимой глупости... Ко всему этому надо себя приготовить, воспитать себя для этого, а именно: переломить свой характеръ, выбить изъ головы дурь, т.-е. собственныя убъжденія, смирить себя, т. е. отложить всякую мысль о своихъ правахъ и о человъческомъ достоинствъ. Все это самини самодурами очень успъщно и выполняется надъ всъми людьми, родящимися въ предълахъ ихъ вліянія. Оттого-то у нихъ и есть всегда подъ руками такъ много безотвътныхъ Митей, Андрюшъ, рабольпыхъ Потапычей, и т. п. Если же въ комъ и послъ самодурной дрессировки еще останется какоенибудь чувство личной самостоятельности, и умъ сохранить еще способность къ составленю собственныхъ сужденій, то для этой личности и ума готовъ торный путь: самодурство, какъ мы убъдились, но самому существу своему тупоумно и невъжественно, слъдовательно, ничего не можетъ быть легче, какъ надуть любого самодура. Человъкъ, сохранившій остатки ума, непремъно на то и пускается въ этомъ самодурномъ кругъ "темнаго царства", если только пускается въ практическую дъятельность; отсюда и произошла пословица, что "умный человъкъ не можетъ быть не плутомъ".

Такимъ образомъ, подъ самодурами два разряда ихъ воспитанниковъ п кліентовъ — живые и неживые. Неживые, задавленные, неподвижные, — такъ ужъ и лежатъ, не обнаруживая никакихъ попытокъ: перетащатъ ихъ съ одного мъста на другое, — ладно, а не перетащатъ. — такъ и сгніютъ... Живые, напротивъ, все стараются помъститься получше и поближе около самодура, а если линія подойдетъ, то и ножку ему подставить. чтобы състь на него верхомъ и самимъ задурить. И новый самодуръ ужъ бываетъ хуже, опаснъй и долговъчнъй, потому что онъ хитръе прежняго и наученъ его горькимъ опытомъ. Такъ оно все и идетъ: за однимъ самодуромъ другой, въ другихъ формахъ, болъе цивилизованныхъ, какъ Уланбекова цивилизована сравнительно, напримъръ, съ Брусковымъ, но въ сущности съ тъми же требованіями и съ тъмъ же характеромъ. Живыя натуры угнетаемой стороны пускаются въ плутни для своего обезпеченія, а неживыя стараются своей неподвижностью и покорностью заслужить себъ милость самодура и капельку живой воды (которую онъ, впрочемъ, даетъ имъ очень ръдко, чтобы не слишкомъ оживились).

Изъ этихъ короткихъ и простыхъ соображеній не трудно понять, почему тяжесть самодурныхъ отношеній въ этомъ "темномъ царствъ" обру-

шивается всего болве на женщинъ. Мы объщали въ прошедшей статьв обратить вниманіе на рабское положеніе женщины въ русской семьв, какъ оно является въ комедіяхъ Островскаго. Мы, кажется, достаточно указали на него въ настоящей статьв; остается намъ сказать нвсколько словъ о его причинахъ и указать при этомъ на одну комедію, о которой до сихъ поръ мы не говорили ни слова—на "Бъдную невъсту".

По устройству нашего общества, женщина почти вездъ инветъ совершенно то же значеніе, какое имъли паразиты въ древности: она въчно должна жить на чужой счетъ. Понятно, какое обидное мивніе о женщинв складывается въ обществъ... Правда, что на чужой счеть живутъ и сами домовладыки этого "темнаго царства", подобные Брускову, Большову и пр. Но тв упорно держать за собою какое-то, никъмъ невыговоренное, но всёми признанное право на тунеядство. Притомъ они оправдываются даже правилами политической экономіи: у нихъ ость капиталъ (откуда и какъ онъ добытъ, -- до этого ужъ что за дъло!) и они по праву пользуются процентами... А если проценты эти въ торговле ихъ и оказываются несколько чрезмърны, то опять въ этомъ никто не виноватъ: значитъ, конкурренція слаба. Наконецъ, надо и то разсуждать: самодуръ, по общему сознанію и по его собственному убъждению, есть начало, центръ и глава всего, что вокругъ него дълается; значитъ. хоть бы онъ собственно - самъ и ничего не делаль, но за то деятельность другихъ принадлежить ему. Отъ него въдь даются право и способы къ дъятельности; безъ него остальные люди ничтожны, какъ говоритъ Юсовъ въ "Доходномъ мъстъ": "обратили на тебя вниманіе, пу, ты и человъкъ, дышешь; а не обратили, — что ты?" Такъ, стало быть, о бездъятельности самихъ самодуровъ и говорить нечего. Надо говорить о другой половинъ "темнаго царства", о той, которую мы назвали угнетаемою. Туть вст трудятся болве или менте. Конечно, трудъ этотъ не свободенъ, не самостоятеленъ; трудящіеся во всемъ зависять отъ прихоти самодуровь и часто принуждены дёлать вовсе не то, что следуеть, и что имъ хочется... Вспомнимъ, какъ Андрюша Брусковъ порывается учиться, какъ Митя стремится къ тому, чтобы "обравовать себя", и какъ имъ это не удается. Они, стало быть, тоже очень стъснены въ своей дъятельности, и именно вслъдствие необезпеченности своего положенія, всявдствіе зависимости ихъ матеріальныхъ средствъ отъ первой прихоти самодура... Но все-таки они еще могутъ надъяться, что и самодуръ не вдругъ ихъ прогонитъ и броситъ: все же они что-нибудь дълаютъ и приносятъ пользу самодуру. Положимъ, Торцовъ не дорожитъ приказчиками, такъ же, какъ Вышневскій въ "Доходномъ мъств" — чиновниками, и можетъ ихъ менять каждый день. Но на место смененныхъ надо же кого-нибудь определить; следовательно, Торцовъ имеетъ

вообще нужду въ людяхъ и, следовательно, хоть вследствие своего консерватизма, не будеть зря гопять тахъ, которые ему не противятся, а угождають. Притомъ же, и самыя занятія мужчины, какъ бы они пи были второстепенны и зависимы, все-таки требують извъстной степени развитія, и потому кругъ знаній мальчика, съ самаго дітства, даже въ понятіяхъ самихъ Врусковыхъ, предполагается гораздо обшириће, чемъ для девочки. Андрюша Брусковъ, напр., по фабрикъ у отца-первый; для этого надо же ему было хоть посмотрать на что-пибудь, если ужъ не учиться систематически, какъ слъдуетъ. А о дочеряхъ мать этого же Андрюши говоритъ очень наивно: "что дочери! Дочерей и запереть можно, да и клопото со ними меньше, -- ни учить, ни что". За дочерьми, по ем мизпію, только и нуженъ присмотръ, чтобы ихъ отъ парней уберечь до замужества; а тамъ уже мужъ будетъ беречь свою жену отъ постороннихъ... Во всехъ, до сихъ поръ разсмотренныхъ нами, комедіяхъ Островскаго мы видъли, какъ всъ обитатели его "темнаго царства" выражають полнъйшее пренебрежение къ женщинъ, которое тъмъ болъе безнадежно. что совершенно добродушно. Тутъ нътъ даже и такого раз раженія, съ какимъ, напр., одинъ господинъ отдълываль купца, осмълившагося писать о крестьянскомъ вопросъ. Въ томъ раздражени, какъ оно ни высокомърно, все-таки видно боязливое вниманіе, какое-то смутное сознаніе, что въ противной сторонъ все - таки кроется нъкоторая сила; тонъ пренебреженія зд'ясь искусственъ. Ничего подобнаго нътъ въ тонъ отношеній мужей къ женамъ и отцовъ къ дочерямъ въ "темномъ царствъ" комедій Островскаго. Эти господа не раздражаются, не возстають серьезно противъ значенія женщины; они позволяють своимь женамь даже спорить съ собой... Но просто они не могутъ помъстить въ головъ мысли, что женщина есть тоже человъкъ, равный имъ, имъющій свои права. Да этого и сами женщины недумають. "Ужъ что женщина! курица не птица, женщина не человъкъ", повторяють онъ вмъстъ съ Ничкиной въ "Праздничномъ снъ". Она сама ничего не дълаетъ, ничего не пріобрътаетъ, не играетъ никакой роли въ обществъ, не составляетъ никакой инстанціи въ дълахъ. Что бы она ни была, все она только по отцъ да по мужъ... И она безропотно покоряется этому, находя, что такъ быть должно, такъ ужъ испоконъ въку заведено, и, стало быть, судьба ужъ такая... Слабыя попытки ея выказать свое значеніе ограничиваются только развъ разговорами, подобными слъдующему разговору Улиты Никитишны съ Карпомъ Карпычемъ, въ "Не сошлись характерами". Мы приводимъ этотъ разговоръ, потому что въ немъ, кромъ подтвержденія нашей мысли, находимъ одинъ изъ примеровъ того мастерства, съ какимъ Островскій умфеть передавать неуловимвишія черты пошлости и тупоумія, повсюду разлитыхъ въ этомъ "темномъ царствъ", и служащихъ, вивств съ самодурствомъ, главнымъ основаниемъ его быта.

Улита Никитишна (заваривая чай). Нынче все муаръ антикъ въ моду пошелъ.

Карпъ Карпычъ. Какой это муаръ антивъ?

Улита Ник. Такая матерія.

Карпъ Карп. Ну, и пущай ее.

Улита Ник. Дая такъ... Вотъ кабы Серафимочка замужъ вышла, такъ ужъ сшила бы себе, кажется... Всё дамы носятъ.

Карпъ Карп. А ты нешто дама?

Улита Ник. Обнавновенно дама.

Кариъ Кари. Да вотъ можешь ты чувствовать, — не могу я слышать этого слова... когда ты себя дамой называешь.

Улита Ник. Да что же такое за слово: — дама? Что въ немъ... (ищеть слова) постылнаго?

Карпъ Карп. Да коли не люблю! Вотъ тебъ и сказъ!

Улита Иик. Ну, а Серафимочка дама?

Карпъ Карп. Извъстно – дама: та ученая, да за бариномъ быза. А ты что? Все была баба, а какъ мужъ разбогатътъ, дама стала. А ты своимъ умомъ дойди.

Улита Ник. Да, пътъ! Все-таки... какъ же!

Карпъ Карп. Сказано-мозчи, ну и баста! (молчание).

Улита Ник. Когда было это страженіе?

Карпъ Карп. Какое стражение?

Улита Инк. Иу, вотъ недавно-то. Развъ не помнинь, что-ли?

Карпъ Карп. Такъ что же?

Улита Ник. Такъ много изъ простого званія въ офицеры произошли.

Карп. Карп. Въдь не бабы же. За свою службу каждый получаетъ, что соотвътственно.

Улита Ник. А какъ же вотъ, къ намъ мѣщанка ходитъ, такъ говорида, что когда племянникъ курсъ выдержитъ, такъ и она будетъ благороднан.

Карив Кари. Да, дожидайся.

Улита II и к. А говорять, въ какихъ-то земляхъ изъ женщинъ полки есть.

Карпъ Карп. (смъется). Гвардія! (молчаніе).

Улита Ник. Говорять, грешно чай пить.

Карпъ Карп. Это еще отчего?

Улита Ник. Потому-изъ векрещеной земли идеть. Карпъ Карп. Мало-ли что изъ векрещеной земли идеть.

Улита Ник. Воть тебь примъръ: хлъбъ изъ крещеной земли, мы его и влимъ во время; а чай-когда пьемъ? Люди къ объднъ, а мы за чай; вотъ теперь вечерня, а мы за чай. Вотъ и значитъ гръхъ.

Карпъ Карп. А ты пей во время.

Улита Ник. Нътъ, все-таки...

Карпъ Карп. Все-таки молчи. Ума у тебя нътъ, а разговаривать любишь. Ну, и молчи! (молчание).

Улита Ник. Какая Серафимочка у насъ счастивая! была за бариномъ—барыня стала; и овдовкла—все-таки барыня. А какъ теперь, если за князя выйдеть, такъ, пожалуй, княгиня будеть.

КАРПЪ КАРП. Все-таки по мужь.

Улита Ник. Ну, а какъ Серафимочка за князя выйдеть, неужто я такъ-таки ничего? Вёдь она мое рожденіе.

Карпъ Карп. Съ тобой говорить, только мысли въ головѣ разбивать. Я было объ дѣлѣ задумаль, а ты тутъ съ разговоромъ да съ глупостями. Вѣдь вашего бабьяго разговору всю жизнь не переслушаешь. А сказать тебѣ: молчи! такъ вотъ дѣло-то короче будетъ.

Посл'в этого разговора, Кариъ Кариовичъ замѣчаетъ про себя, что "кабы на бабъ да не страхъ, съ ними бы и не сообразилъ"... Все, говоритъ, соблазняютъ мужчинъ, и "молодой человъкъ, который и неопытный, можетъ польститься на ихъ прелесть, а человъкъ, который въ разумъ входитъ и въ лѣта постоянныя, для того женская прелесть ничего не значитъ, даже скверно"... Съ этой стороны всв и смотрятъ на женщину въ "темномъ царствъ", да еще и то считаютъ за одолженіе... Женшинъ не продаютъ такъ открыто на рынкахъ, какъ дълали на Востокъ, но нельзя сказать, чтобъ ихъ не продавали вовсе. И даже способъ продажи все еще довольно циниченъ и безстыденъ, какъ это можно видъть на пъсколькихъ экземилярахъ свахъ, выведенныхъ Островскимъ въ разныхъ его комедіяхъ. Мы не будемъ останавливаться на этихъ лицахъ, потому что и такъ уже давно злоупотребляемъ териъніемъ читателя; но не можемъ не указать на сцены сватанья въ "Бъдной невъстъ". Вся эта пьеса отличается совершенной простотой и обыденностью и отсутствіемъ всякихъ ръзкихъ чертъ, подобныхъ, напримърт, разсужденіямъ вдовы Кукушкиной въ "Доходномъ мѣстъ". Но, тъмъ не менъе. сватанье дъвушки, заботы матери о ея выдачъ, разговоры о женихахъ — все это можетъ навести ужасъ на человъка, который задумается надъ комедіей... Анна Петровна, мать Марьи Андреевны, — женщина слабая, сырая, позабывчивая, какъ она сама себя рекомендуетъ. Каждый ея шагь ясно доказываетъ, что она выросла и прожила большую часть жизни тоже подъ какимъ то гистомъ, отнявросла и прожила большую часть жизни тоже подъ какимъ-то гнетомъ, отняв-шимъ у нея всякую способность и вкусъ къ самостоятельной дъятельности. Она ничего сообразить не можетъ, не знаетъ, къ кому обратиться и чвиъ Она ничего сообразить не можетъ, не знаетъ, къ кому обратиться и чъмъ взяться, суетится и мечется безъ всякаго толку и все жалуется на дочь, что та долго замужъ не выходитъ. Сознавая свое полное ничтожество, она твердитъ безпрестанно: "какъ это безъ мужчины въ домъ. ужъ я и не знаю... Что мы знаемъ тутъ, сидя-то... Вотъ будочникъ бумагу какую-то приносилъ. Кто ее тамъ разберетъ? Вотъ поди же ты, женское - то дѣло какое! Такъ и ходишь, какъ дура... Вотъ цѣлое утро денегъ не сочту... Какъ это безъ мужчины, это я ужъ и не знаю; тутъ и безъ бѣды бѣда". Какъ видите, это ужъ такое ничтожество, что предъ мужемъ или кѣмъ бы то ни было посильные она, выроятно, и пикнуть не смыла. Но воздухъ самодурства и на нее повыяль, и она безъ пути, безъ разума распоряжается судьбою дочери, бранить, попрекаеть ее, напоминаеть ей долгь послушанія матери и не выказываетъ никакихъ признаковъ того, что она понимаетъ что такое человъческое чувство и живая личность человъка. Все это прямые и несомивные признаки самодурной закалки, доказывающіе только, какъ она легко пристаетъ даже къ самымъ неспособнымъ. Для самодурства, какъ видно, нътъ ни пола, ни возраста, ни званія. Женщини, вообще такъ забитыя и презрѣнныя въ "темномъ царствъ", могутъ тоже самодурничать, да еще какъ! Примъръ — Уланбекова... Мальчишки и старики,
купцы, чиновники, помѣщики, — всъ, кто хотите, начинаютъ, при первой
возможности, самодурничать... Человъкъ всъми презрѣнъ, тысячу разъ
битъ и оплеванъ, предъ всъми трепещетъ, кажется, ужъ такое смиренномудріе, что воды не замутитъ!.. Но заведись у него хоть одинъ сынишка,
или попади къ нему въ руки воспитанникъ, слуга, подчиненний — онъ
немедленно начнетъ надъ ними самодурничать, не переставая въ то же
время дрожать передъ каждымъ встрѣчнымъ, который ему не кланяется...
Такъ ужъ устроено "темное царство", таковы уставы его іерархіи; тутъ
личный характеръ человъка даже мало и значенія-то имѣетъ... "Больше
все дълается отъ необузданности, а то и отъ глупости", какъ выражается
Бородкинъ.

Вородкинъ.

Въ первой статъв о "темномъ царствъ" мы старались показать, какимъ образомъ самыя тяжкія преступленія совершаются въ немъ и самыя безчеловъчныя отношенія устанавливаются между людьми — безъ особенной злобы и ехидства, а просто по тупоумію и закосивлости въ данныхъ понятіяхъ, крайне ограниченныхъ и смутныхъ. Напоминая объ этомъ читателямъ, мы замѣтимъ здѣсь только, что Анна Петровна представляетъ собою одно изъ очень яркихъ проявленій этой безиравственны: она каждую минуту пилитъ Машеньку и доводитъ ее до страшнаго нервическаго раздраженія, до истерики, своими безпрерывными жалобами и попреками: "я тебя ростила, я тебя холила, а ты вотъ чьмъ платишь!.. Ты хочешь свой капризъ выдержать и нейдешь замужъ, а мать тутъ плачь на старости лѣтъ... Въдь у насъ ничего нѣтъ: куда я на старости дѣнусь, — въ кухарки мнѣ, что - ли, идти? Ты только повѣсничать любишь, а мать позабила, для матери ничего не хочешь сдѣлать... Что жъ, авось добрые люди найдутся, не оставять старуху! "Такія рѣчи повторяются передъ Марьей Андреевной постоянно, каждый день и каждый часъ. Какова же эта мать, имѣющая до такой степени барышническій взглядъ на дочь! Не ясны-ли на ней черты самодурныхъ тенденцій, коснувшихъ сдѣлать ее несносною не сродныхъ ея характеру, но все-таки успѣвшихъ сдѣлать ее несносною не сродныхъ ея характеру, но все-таки успъвшихъ сдълать ее несносною для окружающихъ? Такая личность и такія отношенія должны возмущать душу... Но Анна Петровна обезоруживаетъ насъ своимъ необычайнымъ добродушіемъ и недальностью. Въ ней нътъ положительной безнравственности, аестьтолько отсутствіе нравственности, отсутствіе всякихъ гуманныхъ началь въ ея организмъ. Выдача дочери замужъ — ея мономанія; что съ этимъ прикажете дълать? А что она настаиваетъ на согласіи Маши выдти за Беневоленскаго, такъ это происходить отъ двухъ причинъ: во-первыхъ,

Беневоленскій возьмется хлопотать объ ихъ дълв въ сенатъ, а во-вторыхъ, она не можетъ представить, чтобы дъвушкъ было не все равно, за кого ни выходить замужъ. Когда Машенька объявляетъ, что Беневоленскій ей противенъ, Анна Петровна даже сообразить этого никакъ не можетъ, — сначала не обращаетъ вниманія и говоритъ, что у Маши голова вздоромъ набита и что она сама двадцать разъ передумаетъ, — а потомъ, послъ вторичнаго отказа дочери, объясняетъ его тъмъ, что "это только капризъ, только чтобъ матери напротивъ что-нибудь сдълатъ". Между тъмъ, надо замътить, что она и сама Беневоленскаго вовсе не знаетъ и не одобряетъ. Въ заключительной сценъ, когда уже все кончено, она хватилась за умъ — сказатъ Машъ: "нравится - ли онъ тебъ? Признаться сказатъ, скоренько дъло-то сдълали; кто его знаетъ, — въ него не влъзешь". Что станете дълать съ такой наивностью? Даже и сердиться нельзя на нее... Только диву даешься, и еще грустнъе оглинешься на ту среду, въ которой выростаютъ и прозябаютъ подобные субъекты...

Въ этой - то средъ и мается Марья Андреевна, простенькая и мало

Въ этой - то средв и мается Марья Андреевна, простенькая и мало развитая дввушка, но съ натурой очень деликатною и благородною. Мается она всего больше оттого, что мать торопится ее съ рукъ сбыть, и, не довольствуясь свахами, сама хлоночетъ во всв стороны насчетъ жениховъ. До какой степени соблюдается деликатность во всемъ этомъ, видно, напримъръ, изъ письма, которое пишетъ къ Аннъ Петровнъ ея пріятель, добрый старичекъ Добротворскій. "На счетъ того пункта, о которомъ вы меня просили, — пишетъ онъ, — я въ назначенномъ вами присутственномъ мъстъ былъ: холостыхъ чиновниковъ, для Марьи Андреевны достойнихъ, нътъ; есть одинъ, но я сомнъваюсь, чтобы оный вамъ понравился, ибо очень великъ ростомъ — весьма много выше обыкновеннаго — и рябой. Но, по справкамъ моимъ отъ секретаря и прочихъ его сослуживцевъ, оказался нравственности хорошей и не пьющій, что, какъ мнъ извъстно, вамъ весьма желательно. Не прикажете - ли посмотръть въ другихъ присутственныхъ мъстахъ, что и будетъ мною исполнено съ величайшимъ удовольствіемъ". И это письмо Анна Петровна заставляетъ читать самде Машеньку! Понятно, что бъдная дъвушка обидълась; но мать никакъ не можетъ понять, чъмъ тутъ обижаться!

А изъ - за чего же терпить несчастная всё эти оскорбленія? Что ее держить въ этомъ омутё? Ясно, что: она быдная невыста, ей некуда дёваться, нечего дёлать, кромё какъ ж цать или искать выгоднаго жениха. Замужество — это ея должность, работа, карьера, назначеніе жизни. Какъ поденщикъ ищеть работы, чиновникъ — мёста, нищій — подаянія, такъ дёвушка должна искать жениха... Надъ этимъ смёются современные либералы; но интересно бы знать, — что же, въ самомъ дёлё, станеть у насъ

дълать дъвушка, не вышедшая замужъ? Если подумать, такъ и окажется, что Анна Петровна очень резонно говоритъ: "что такое незамужняя женщина? Ничего!.. Что она значитъ? Ужъ и вдовье-то дъло плохо, а дъвичьето ужъ и совсъмъ пехорошо! Ленщина должна жить съ мужемъ, хозяйничать, воспитывать дътей, а ты что-жъ будешь дълать-то старой дъвкой? Чулокъ вязать!.. "Слова эти глупо-справедливы, и они-то могутъ служить довольно категорическимъ отвътомъ на то, почему у насъ женщина въ семъв находится въ такомъ рабскомъ положеніи и почему самодурство тяготъетъ надъ ней съ особенной силою.

надъ ней съ особенной силою.

Нѣкоторую самостоятельность можетъ она пріобрѣсти, если ниѣетъ въ своихъ рукахъ деньги. Эту сторону женской жизни изобразилъ Островскій въ ньесф "Не сошлись характерами". Изящный Поль является чрезвичайно внимательнымъ и покорнымъ къ женв, надѣясь выпросить у нея денегъ. Но и сами деньги какъ-то не то значатъ въ рукахъ женщины, что у мужчины. Понитіе о богатствѣ какого нибудь самодура довольно скоро сростается съ понятіемъ о его личности, потому, въроитно, что все-таки онъ самъ своими деньгами распоряжется и пускаетъ вхъ въ ходъ. Поэтому, входя въ сношенія съ богачомъ, всякій старается какъ можно болъе участвовоать въ его выгодахъ; заводя же сношенія съ женщиной, имъющен деньги, прямо уже хлопочуть о томъ, чтобы завладъть ей достояніемъ. Сама же личность женщины остается безъ всякаго значенія. Это очень хорошо понимаетъ Серафима Карповна, върная наставленіямъ своего родителя. Выходя замужъ, она заранѣе объщаеть не давать денегъ мужу, говоря: "что жъ я буду тогда безъ капиталу! я ничего не буду значить", — на что родитель отвъчаетъ многозначительнымъ "обнаковенно"!... И по выходъ замужъ она сдерживаетъ свое объщаніе: когда мужъ попросилъ у нея денегъ, она убхала къ папенькъ, а мужу прислала письмо, въ которомъ, между прочимъ, излагалась такая философія: "что я буду значить! Когда у меня не будетъ денегъ! — тогда я ничего не буду значить! Когда у меня не будетъ денегъ, — я кого полюблю, а меня, напротивъ того, не будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги, — я кого полюблю, в меня будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги, — я кого полюблю, в меня будутъ любить, и мы будемъ счастливы" ... И въдь справедливо разсуждаетъ Серафима Карповна!.. фина Карповна!..

Но и это, вѣдь, еще рѣдкій случай, чтобы къ женщинѣ въ руки деньги попадали. Для этого надо, чтобъ она рано овдовѣла отъ богатаго мужа. А то—съ какой стати къ ней попадутъ деньги? Да и что она съ ними сдѣластъ? Разбросаетъ по моднымъ магазинамъ, либо раздастъ по монастырямъ, смотря по лѣтамъ и наклонностямъ. Больше она ничего не въ состояніи сдѣлать. Лучше же ихъ употребить на что-нибудь практически-путное... И по закону-то ей въ наслѣдство идетъ только четырнадцатая

часть, а ежели мимо закона, такъ и того не слъдуетъ... Все равно. въдь, не удержатся у ней денежки... Развъ-что жениха себъ купить хорошаго... Да и того почти никогда не бываетъ. Въ женихи къ богатычъ невъстамъ все являются Вихоревы, Баранчевскіе, Бальзаминовы, Прежневы... Всъ эти господа принадлежать къ той категоріи, которую опредвляеть Неув-деновъ въ "Праздничномъ снъ": "другой сунется въ службу, въ какую бы то ни на есть, послужить безъ году недвлю, повиляеть хвостомъ, видитъне тяга, умишка - то не хватаетъ, учился - то плохо, двухъ перечесть не умъетъ, лънь-то прежде его родилась, а побарствовать - то хочется: вотъ онъ и пойдетъ бродить по улицамъ да по гуляньямъ, — не объявится-ли какая дура съ деньгами"... Дъйствительно, всъ эти господа красивы и глуцы такъ, что о нихъ вспоминать тошно; большею частью они или служили, или желаютъ служить въ военной службъ, имъютъ наклонности къ самодурству и очень любять, когда ихъ считають образованными людьин. Но ихъ невъжество во всъхъ отношеніяхъ равняется темноть самихъ самодуровъ, и только благодаря самодурной системъ—запрещать учиться низ-шимъ и особенно женщинамъ, могутъ они не казаться смѣшными въ этой средъ. Разбирая "Не въ свои сапи не садись", мы уже достаточно говорили о томъ, почему Авдотья Максимовна могла увлечься Вихоревымъ. Здѣсь прибавимъ только указаніе на подобное же отношеніе Марьи Андреевны къ Меричу въ "Бѣдной невѣстъ". Мы заранѣе отстранили отъ себя разборъ частныхъ художественныхъ достоинствъ въ сценахъ и лицахъ комедій Островскаго; поэтому не будемъ разбирать въ подробности и характеръ Мерича. Но не можемъ не зам'втить, что для насъ это лицо изумительно по мастерству, съ какимъ Островскій ум'влъ въ немъ очертить приличнаго, не злого, не отвратительнаго, но съ ногъ до головы пошлаго человъка. Это не есть сколокъ съ одного изътъхътиповъ, которыхъ нъсколько экземпляровъ представлено въ лучшихъ нашихъ литературныхъ произведеніяхъ: онъ не Онъгинъ, не Печоринъ, не Грушницкій даже, даже вообще не лишній человъкъ. У тъхъ все таки есть внутри что-то такое, что они считаютъ своимъ достояніемъ, чёмъ дорожатъ, чёмъ воображаютъ себя серьезно проникнутыми. Бёда только въ томъ, что они мелковаты натурою и лишены серьезнаго развитія, такъ что ничто не можеть пройти въ глубину ихъ сознанія, ничему не могуть они отдаться всею душою. Но у Мерича даже и неглубокихъ-то убъжденій нътъ: отъ него всякая истина, всякое серьезное чувство и стремленіе какъ-то отскакиваеть; онъ какъ будто не только никогда не жиль сознательной жизнью, но даже вовсе и не понимаетъ, что бы это могло значить... Пошлость безконечная, ничёмъ не усиленная, не подкрашенная, а настоящая въ натуръ пошлость — отражается въ каждомъ его словъ, въ каждомъ его движеніи... И въ этого

человъка влюбляется неглупаи дъвушка, съ корошими чувствами!.. Таковы неизбълныя послъдствія самодурной системы воспитанія, счатающей своимъ долгомъ—какъ можно больше вязять и сжимать молодую натуру и какъ можно долъе оствелять се въ непроглядюмъ мракъ...

Марья Андреевна бъдна, и Мерячъ, разумъется, на ней не женится: опъ принадлежитъ тоже къ числу тъхъ, которымъ нужны ботатья нелъсты. Но бывають въ "темномъ царствъ" и такіе случая, что неразумные бъдняки женятся на бъдныхъ дъвушкахъ... И тутъ-то начинается адъ кромъний. Адъ этотъ корошо изображенъ Островскийъ въ "Доходномъ мъстъ". Читатели наши, конечно, помиятъ исторію молодого йкадова, который, будучи племянникомъ важной особи, раздражаетъ дядю своимъ мъстъ". Читатели наши, конечно, помиятъ исторію молодого йкадова, который, будучи племянникомъ важной особи, раздражаетъ дядю своимъ мъстъ "Доходнаго мъста. Изложеніе семейныхъ отношеній и указаніе ихъ вліянія на общественную дъятельность представляется намъ лучшею стороною этой комедіи. А затъвъ любошитна внутренняя, душевная сторова жизни этихъ нюдей, которыхъ мы офонціально такъ презирають и влавнить взваніями крючкотворцевъ и взяточниковъ. Здѣсь въ польой силъ выразанось одно изъ главнихъ свойствъ таланта. Остроискато—умъвье заглянуть въ душу человъка и изобразить его человъческую сторону, независимо отъ его оффиціальнаго положенія. Объ этомъ много уже говорили ми, разбирая "Свовхъ людей", и потому теперь укажемъ только на ибкоторыя черти, относящіляє спеціально къ чиновникамъ. Благодушіе и особеннато рода совътът подоб'я, и потому теперь укажемъ только на ибкоторыя черти, относящіляє спеціально къ чиновникамъ. Благодушіе и особеннато рода совътът мерты эти горяздо арче въ Иссовъ в Вълогубовъ. Лица эти прямо наводятъ нась на мкаль, что всё ихъ безаяконія—често сатъдствія ложнаго ихъ положенія въ обществъ и ложнихъ положені въ ссто ода таки въ степеней; и чъмъ выше, тъмъ с прикома обще причины всъх гасостві, темнаго ода бра на нинерства. Въ сферъ чиновнический одогняю на степеней; и чъмъ выше, тъмъ с одно

только благоговъть, а шокироваться вовсе нечъмъ. Но, въ сущности, вся бъда въ въдомствъ Вышневскаго оттого и происходитъ, что онъ самъ зараженъ самодурствомъ, а за нимъ ужъ и всъ. Законовъ никакихъ никто не признаетъ, честности никто въ толкъ взять не можетъ, ума не опредъляютъ иначе, какъ способностью нажиться, главною добродътелью признаетъ, знаютъ смиреніе предъ волею старшихъ. Юсовъ простодушно признаетъ, знаютъ смиреніе предъ волею старшихъ. Юсовъ простодушно признаетъ, что онъ гордости ни съ къмъ не имъетъ, только вотъ верхоглядовъ не любитъ, нынъшнихъ образованныхъ-то. "Съ этими, говоритъ, я строгъ и взыскателенъ; у меня правило—всячески ихъ тъснитъ для пользы службы: потому — отъ нихъ вредъ". Немудрено въ немъ такое воззръніе, потому что онъ самъ "года два былъ на побъгушкахъ, разныя комииссіи исправлялъ: и за водкой-то бъгалъ, и за пирогами, и за квасомъ, — кому съ похивлья, — и сидълъ-то не на стулъ, а у окошка, на связкъ бумагъ. и пихивлья, — и сидълъ-то не на стулъ, а у окошка, на связкъ оумагъ, и писалъ-то не изъ чернильницы, а изъ старой помадной банки, — и вотъ вышелъ въ люди", — и теперь признаетъ, что "все это не отъ насъ, свыше!.." И онъ не по злобъ и не по плутовству тъснитъ образованныхъ людей, а у него ужъ въ самомъ дълъ такое убъжденіе сложилось, что отъ нихъ вредъ для службы... То же убъжденіе передано и Бълогубову, который говоритъ: "что за польза и отъ ученья, когда въ человъкъ страху нътъ, — трепету передъ начальствомъ". Да иначе думать они и не могутъ, потому что все, ихъ окружающее, на каждомъ шагу подтверждаетъ ихъ мивніе. Даже тъ образованные, которые спорять съ ними, — какъ часто они собственнымъ же поведеніемъ обличають свою неправоту! — Такъ случилось и съ Жадовымъ. Сначала Бёлогубовъ какъ-то ежился передъ Жадовымъ и признаваль какую-то силу въ его умственномъ превосходствъ. Онъ смутно ощущалъ, что унижаться и подличать, зависъть отъ первой прихоти и отка-заться отъ своей воли — не всегда пріятно. Видя, что Жадовъ гораздо свободнѣе и независимѣе въ своихъ поступкахъ, Бѣлогубовъ почти зави-довалъ ему. На вопросъ своей невѣсты, почему онъ откладываетъ свадьбу, доваль ему. На вопросъ своей невъсты, почему онъ откладываеть свадьоу, когда Жадовъ свою не откладываеть, онъ отвъчаль: "совсъмъ другое дъло съ. У него дяденька богатый-съ, да и самъ онъ образованный человъкъ, вездъ можетъ мъсто имъть. Хоть и въ учители пойдетъ,—все хлъбъ-съ. А я что-съ? Иока не дадутъ мъста столоначальника, ничего не могу-съ"... Но получивши это мъсто, между тъмъ какъ Жадовъ и свое-то потерялъ, Бълогубовъ начинаетъ уже чувствовать самодовольное сожальніе къ Жадову, которое и выражаеть ему при встрычь въ трактирь. Что же, въ самомъ дълъ, къ чему послужило Жадову ученье безъ тре-пета? Только къ тому, что онъ мучился самъ, мучилъ цълый годъ жену свою и, наконецъ, пошелъ же къ дядъ просить Бълогубовскаго мъста... И дядя подъломъ его отчистилъ... "Вотъ, говоритъ, они, герои-то! Мо-

лодой человъкъ, который кричалъ на всъхъ перекресткахъ про взяточниковъ, говорилъ о какомъ-то новомъ поколѣніи, — идетъ къ намъ же просить доходнаго мъста, чтобъ брать взятки!.. Хорошо новое поколѣніе! "
Вообще Вышневскій, утвердившись на своей точкъ зрѣнія statu quo,
чрезвычайно логически разбиваетъ въ прахъ всъ благородныя фразы Жадова и, какъ дважды-два — четыре, доказываетъ ему, что, при настоящемъ
порядкъ вещей, невозможно честнымъ образомъ обезнечить себя и свое семейство. Честные способы пріобрътенія слишкомъ ничтожны, да и тъхъ еще
пе дадутъ тому, кто не захочетъ угождать, а будетъ противоръчить. И это
въдь не бъдственная случайность, а тяжкая необходимость, вытекающая
прямо и неизбъжно изъ системы самолурства, развитой въ \_темномъ парвтдь не объдственная случайность, а тяжкая необходимость, вытекающая прямо и неизобжию изъ системы самодурства, развитой въ "темномъ царствъ". "Будь хоть семи пядей во лоу, но если вамъ не нравится, то останется въ ничтожествъ; и самъ виноватъ: зачъмъ не умълъ заслужить вашей милости". Вотъ и всъ права, и вся философія "темнаго царства"! И вовсе не удивительно, если Юсовъ, узнавъ, что все въдомство Вышневскаго отдано подъ судъ, выражаетъ искреннее убъжденіе, что это "по гръхамъ нашимъ—наказаніе за гордость..." Вышневскій то же самое объясняетъ, только нъсколько раціональнъе: "моя быстрая карьера, говоритъ, и замътное обогащеніе вооружили противъ меня сильныхъ людей..." И, сходясь въ этомъ объясненіи, оба администратора остаются затъмъ совершенно спокойны совъстью, относительно законности своихъ дъйствій... Да и отчего бы не быть имъ спокойными, когда ихъ дъятельность, равно какъ и всъ ихъ понятія и стремленія, такъ гармопируютъ съ общимъ ходомъ дълъ и устройствомъ "темнаго царства"?..

"Но въдь есть же какой-нибудь выходъ изъ этого мрака?.. Островскій, такъ върно и полно изобразивши намъ "темное царство", показавши намъ все разнообразіе его обитателей и давши намъ заглянуть въ ихъ душу, гдѣ мы успѣли разглядъть нѣкоторыя человѣческія черты, долженъ былъ дать намъ указаніе и на возможность выхода на вольный свѣтъ изъ этого темнаго омута... Иначе—вѣдь это ужасно—мы остаемся въ неразрѣшимой дилеммѣ: или умереть съ голоду, броситься въ прудъ, сойти съ ума, — или же убить въ себѣ мысль и волю, потерять всякое нравственное достоинство и сдѣлаться раболѣпнымъ исполнителемъ чужой воли, взяточникомъ, мошенникомъ, для того, чтобы безмятежно провести жизнь свою... Если только къ этому приводитъ насъ вся художественная дѣятельность замѣчательнаго писателя, такъ это очень печально..."

Печально, — правда; но что же дълать? Мы должны сознаться: выхода изъ "темнаго царства" мы не нашли въпроизведеніяхъ Островскаго. Винить-ли за это художника? Не оглянуться-ли лучше вокругъ себя и не

обратить-ли свои требованія къ самой жизни, такъ вяло и однообразно плетущейся вокругъ насъ... Правда, тяжело намъ дышать подъ мертвящимъ давленіемъ самодурства, бушующаго въ разныхъ видахъ, отъ нервой до послѣдней страницы Островскаго; но и окончивши чтеніе и отложивши книгу въ сторону, и вышедши изъ театра нослѣ представленія одной изъ пьесъ Островскаго, — развѣ мы не видимъ наяву вокругъ себя безчисленнаго множества тѣхъ же Брусковыхъ, Торцовыхъ, Уланбековыхъ, Вышневскихъ, развѣ не чувствуемъ мы на себѣ ихъ мертвящаго дыханія?.. Поблагодаримъ же художника за то, что онъ, при свѣтѣ своихъ яркихъ изображеній, далъ намъ хоть осмотрѣться въ этомъ темномъ царствѣ. И то ужъ много значитъ... Выхода же надо искать въ самой жизни: литература только воспроизводитъ жизнь и никогда не даетъ того, чего нѣтъ въ лѣйствительности...

Впрочемъ, попытки освобожденія отъ тьмы бываютъ въ жизни: нельзя пройти мимо ихъ и въ комедіяхъ Островскаго. Только эти попытки ужасны, да притомъ и остаются все-таки только попытками. Лицъ совершенно чистыхъ отъ житейской грязи мы не находимъ у Островскаго. Мыкинъ, въ "Доходномъ мъстъ", можетъ быть чистъ, потому что ни въ какихъ общественныхъ службахъ не участвуетъ, а "учительствуетъ понемногу". Но съ нимъ мы такъ мало знакомимся изъ его разговора съ Жадовымъ, что еще не можемъ за него поручиться. Есть еще въ "Въдной невъстъ" одна дъвушка, до такой степени симпатичная и высоко нравственная, что такъ бы за ней и бросился, такъ и не разстался бы съ ней, нашедши ее. Но и эта дъвушка уже забрызгана грязью чужихъ пороковъ. Это Дуня, съ которою пять льтъ жилъ Беневоленскій до своей женитьбы и которая теперь пришла, пользуясь свадебной суматохой, взглянуть изъ толпы на невъсту своего недавняго друга. Она встрвчается съ самимъ Беневоленскимъ въ проходной комнать, въ родъ буфета; вмъсть съ нею-подруга ея Паша, которой она передъ этимъ только-что бросила нъсколько словъ о томъ, какъ онъ надъ нею, бывало, буйствовалъ, пьяный... Беневоленскій, увидя ее, конфузится и просить ее быть поосторожнье. — "А хочеть. — сейчась деботь сдълаю?" говорить она. — "Дура, дура! что ты!" — въ испугь восклицаетъ Беневоленскій; но она его тотчасъ успоконваетъ, объщаясь, что и къ нему больше не придетъ. Затемъ, онъ старается ее выпроводить, и между ними происходить следующая сцена, раскрывающая передъ нами чувства девушки, изумительныя по своей чистоте и благородству:

В в н в в о л. Здѣсь, Дуня, тебѣ что же дѣлать? Посмотри невѣсту и ступай. Дуня. Ужъ я видѣла. Хороша водь, Паша,—ужъ можно сказать, что хороша!.. (къ Беневоленскому). Только съумьешь-ли ты съ этакой женой жить? Ты, смотри, не запуби чужого въку даромъ. Грѣхъ тебѣ булетъ. Остепенись, живи хорошенько. Это вѣдь не со мной: жили, жили, да и былъ таковъ! (утираетъ слезы).

Паша. А ты говорила, что тебь его не жаль...

Дуня. Въдь я его любила когда-то... Что-жъ, надо же когда-нибудь разставаться, не въкъ такъ жить. Еще хорошо, что женится; авось будеть жити порядочно. А всетаки, Паша, ты то возьми,—зътъ цять жили... въдь жалко... Конечно, немного я отъ него добра видъла... больше слезъ... одного сраму что перенесла. Такъ, ни за что прошла молодость, и помянуть нечъмъ.

Паша. Что делать, Дуня...

Дуня. А відь, бывало, в ему рада-радешенька, какъ пріёдеть. Смотри же, живи хорошенько.

Веневол. Ну, ужъ конечно!

Дуня. То-то же. Это опот тебя на опыт, не то, что я... Ну, прощай, не поминай лихомъ, добромъ нечёмъ. Что это я, какъ дура, расплакалась, въ самомъ дълё! Э, махнемъ рукой, Паша,—завьемъ горе веревочкой!

Веневол. Прощай, Дуня.

Дуня. Адье, мусье! Пойдемъ, Паша (уходять).

Большей чистоты нравственных чувствъ им не видимъ ни въ одномъ лицъ комедій Островскаго. Это ужъ не та безразличная доброта, которою отличается дочь Русакова, не та овечья кротость, какую мы видимъ въ Любови Горд вевнв, не тв неопытныя понятія, какими руководится Надя... Здёсь сила сознательной решимости проглядываеть въ каждомъ слове; все существо этой девушки не придавлено и не убито; напротивъ, оно возвышено, просвътлено сознаніемъ того добра, которое она приноситъ, отказываясь отъ своихъ правъ на Беневоленскаго. Ей, въ самомъ дълъ, легко было сдълать дебошъ и сорвать сердце; но она не хочетъ этого; она чистосердечно отдаетъ справедливость красотъ невъсты, и сердце ез начинаетъ наполняться довольствомъ за счастіе своего бывшаго друга. Полная благожелательства, она радуется тому, что онъ женится, потому что это даеть ей надежду на его нравственное исправление... А потомъ-какая радушная, чистая заботливость о той, о соперницъ ея... И, наконецъ, какая граціозная прелесть характера выражается въ самомъ этомъ горъ, завитомъ веревочкой, и въ этомъ ломаномъ прощаніи, въ которомъ, однако, нельзя не видъть огорченія и досады все еще любящаго сердца... Да, эта дъвушка сохранила въ себъ чистоту сердца и все благородство, доступное человъку. Но что же она такое въ нашемъ обществъ? Не отвержена-ли она имъ? Да и не этому-ли отверженію, - отчужденію-ли отъ мрака самодур ныхъ дель, кишащихъ въ нашей среде общественной, надо приписать и то, что она такъ отрадно сіяетъ передъ нами благородствомъ и ясностью своего сердца?..

Есть въ комедіяхъ Островскаго и еще лицо, отличающееся большою правственной силой. Это — Любинъ Торцовъ. Онъ грязенъ, пьянъ, тижелъ; онъ надорванъ жизнью и очень запустилъ самъ себя. Но та же самая жизнь, лишивъ его готовыхъ средствъ къ существованію, унизивъ и заставивъ терпъть нужду, сдълала ему то благодъяніе, что надломила въ

немъ основу самодурства. Онъ — родной братецъ Гордъя Каримча и, но его же разсказамъ, былъ смолоду самодуромъ не хуже его. Но какъ пришлось ему паясничать на морозъ за пятачекъ, да просить милостиню, да у брата изъ милости жить, такъ тутъ пробудилось въ немъ и человъческое чувство, и сознаніе правды, и любовь къ бъднымъ братьямъ, и даже уваженіе къ труду. Прося брата, чтобъ выдалъ дочь за Митю, Любимъ Торцовъ прибавляетъ: "онъ мит уголъ дастъ; назябся ужъ я, проголодался. Літа мои прошли, тяжело ужъ мит паясничать на морозъ-то изъ-за куска хлъба; хоть подъ старость-то, да честно пожить. Въдь я народъ обманывалъ: просиль милостыню, а самъ пропивалъ. Мит работишку дадуть, у меня будетъ свой горшокъ щей ... Изъ этихъ желаній и признаній видно, что дъйствительно нужда совершила въ натуръ Любима Торцова переломъ, заставившій его устыдиться прежнихъ самодурныхъ началъ столько же, какъ и недавняго безпутства.

Въ примъръ Торцова можно отчасти видъть и выходъ изъ темнаго

Въ примъръ Торцова можно отчасти видъть и виходъ изъ темнаго царства; стоило бы и другого братца, Гордъя Карпыча, также проучить на хлъбъ, выпрошенномъ Христа-ради, — тогда бы и онъ, въроятно, почувствовалъ желаніе "имъть работишку", чтобы жить честно... Но, разумъется, никто изъ окружающихъ Гордъя Карпыча не можетъ и подумать о томъ, чтобы подвергнуть его подобному испытанію, и, слъдовательно, сила самодурства по прежнему будетъ удерживать мракъ надъвсъмъ, что только есть въ его власти!..

А свъть образованія? Онь должень же, наконець, разогнать этоть мракь? Везь всякаго сомньнія!.. Но всномните и то, какіе результаты дало образованіе въ Вихоревь, Бальзаминовь, Прежневь, въ Линочкь, Капочкь, Устенькь, въ Аринь Оедотовнь... Оглянитесь ка вокругь, — какія сцены, какіе разговоры поразять вась. Тамь Рисположенскій разсказываеть, какь въ странь необитаемой жиль маститый старець съ двънадцатью дочерьми маль-мала меньше, и какь онь пошель на распутье, — не будеть ли чего оть доброхотныхь дателей; туть наряженный медвьдь съ козой въ гостиной пляшеть, тамъ Еремка колдуеть, и колокольный звонь служить къ нравственному исправленію; тамь говорять, что гръхъ чай пить, и пр., и пр... А разговоры-то! Настасья Панкратьевна скажеть, что учиться не надо много; а Ненила Сидоровна подхватить: "да, воть на счеть ученья-то: у насъ сосъдка отдавала сына учиться, а онь глаза и выкололь". А то Ненила Сидоровна скажеть: "молодой человъкь, слушайте старшихь, вы еще не знаете, какъ люди хитры"; а Настасья Панкратьевна подтвердить: "да, да, у насъ у кучера поддевку украли — въ одну минуточку"... Или, напримъръ:

Ничкина. Да вотъ еще, скажите вы мнь: говорять, царь Фараонъ сталь по ночамъ съ войскомъ изъ моря выходить. Бальзаминовъ. Очень можетъ быть-съ.

Ничкина. А гдв это море?

Бальзаминовъ. Должно быть, недалеко отъ Палестины.

Ничкина. А большая Палестина?

Бальзаминовъ. Большая-съ.

Ничкина. Далеко отъ Царьграда?

Бальзаминовъ. Не очень далеко-съ.

Ничкина. Должно быть, шестьдесять версть. Ото ветхъ отъ такихъ мъстовъ шестьдесять версть, говорять... только Кіевь дальше...

А припомните - ка разговоръ Карпа Карпача съ Улитой Никитишной — о дамахъ!.. А разговоръ кучеровъ объ Австреякъ! Или также — разговоръ Вихорева съ Баранчевскимъ о промышленности и политической экономін, или разговоры Прежнева съ матерью о роли въ обществъ, или Недопекина съ Лисавскимъ (въ "Утръ молодого человъка") о красотъ и образованіи, или Капочки съ Устенькой объ учтив сти и общежитіи (въ "Праздничномъ снъ"). Вотъ вамъ и образованіе: этакихъ господъ, какъ Недопекинъ, Вихоревъ, такихъ дъвушекъ, какъ Липочка и Капочка, оно уже произвело довольно. Но чтобъ оно сдълало что-нибудь больше, до этого самодуры не допустять!.. Они и то говорятъ, что образованныхъ-то тъснить надо для пользы службы!.. А еще что за образованные передъ ними? Кого они испугались-то? Жадова! А Жаловъ самъ признается, что у него воли нътъ, энергіи недостаетъ... А въ самомъ дълъ—слабо должно быть самодурство, если ужъ и Жадова стало бояться!.. Въдь это хорошій признакъ!..

На этомъ хорошемъ признакъ мы и остановимся, наконецъ. Не хотимъ делать никакихъ общихъ выводовъ о таланте Островскаго. Мы старались показать, что и како охватываеть онъ въ русской жизни своимъ художническимъ чувствомъ, въ какомъ видъ онъ передаетъ воспринятое и прочувствованное имъ, и какое значение въ нашихъ понятияхъ должно придавать явленіямъ, изображаемымъ въ его произведеніяхъ. Мы нашли у Островскаго полноту изображеній русской жизни, съ ея Подхалюзинскимъ сюртучкомъ. Вихоревскими перчатками. Наденькинымъ заплаканнымъ платочкомъ, Жадовскою тросточкой и съ Торцовской самодурно-безобразной шапкой... Многое мы не досказали, объ иномъ, напротивъ, говорили очень длинно; но пусть простять насъ читатели, имъвшіе териъніе дочитать нашу статью. Виною того и другого быль болье всего способъ выраженія, - отчасти метафорическій, - котораго мы должны были держаться. Говоря о лицахъ Островскаго, мы. разумъется, хотъли ноказать ихъ значение въ дъйствительной жизни; но мы все-таки должны были относиться, главными образоми, къ произведеніями фантазіи автора, а не непосредственно къ явленіямъ настоящей жизни. Вотъ почему иногда общій смысль раскрываемой иден требоваль больших в распространеній и

потвореній одного и того же въ разныхъ видахъ. — чтобы быть попятнымъ и въ то же время уложиться въ фигуральную форму, которую мы должны были взять для нашей статьи, по требованію самого предмета... Нѣкоторыя же вещи никакъ не могли быть удовлетворительно переданы въ этой фигуральной формѣ, и потому мы почли лучшимъ пока оставить ихъ вовсе. Впрочемъ, тѣ выводы и заключенія, которыхъ мы не досказали здѣсь, должны сами собой придти на мысль читателю, у котораго достанетъ терпѣнія и вниманія до конца статьи.

Стихотворенія Я. П. Полонскаго. Дополненіе къ стихотвореніямъ, изданнымъ въ 1855 г. Спб. 1859.

**Кузнече(и)къ-музыка**н**тъ**. Шутка въ видѣ поэмы. *Я. И. По*лоискаго. Спб. 1859.

Разсказы Я. И. Полонскаго. Спб. 1859.

Задумчивость очень унылая, но не совершенно безотрадная, и томнофантастическій колорить составляють отличительные признаки поэгіи г. Полонскаго. Въ его стих'в нътъ той мрачной, демонической силы, огъ которой человъкъ можетъ содрогнуться и почувствовать, что сердце его обливается кровью. Нетъ въ немъ и того размаха, той инлкости воображенія, при которыхъ поэтомъ создается цілый волшебный міръ фантастическихъ образовъ, міръ безконечно разнообразный, яркій и оригинальный. Но въ застънчивомъ, часто неловкомъ и даже не всегда плавномъ стихъ г. Полонскаго отражается необычайно чуткая воспримчивость поэта из жизни природы и внутреннее сліяніе явленій дъйствительности съ образами его фантазін и съ порывами его сердца. Онъ не довольствуется п тастикой изображеній, не довольствуется и тімь простымь смысломь, который имъютъ предметы для обывновеннаго глаза. Онъ во всемъ видитъ какой то особенный, таинственный смысль; мірь населень для него какими-то чудными виденіями, увлекающими его далеко за пределы действительности. Нельзя не сознаться, что подобное настроеніе, не сопровождаемое притомъ могучимъ, гофмановскимъ творчествомъ, очень неблагодарно и даже опасно для усивка поэта. Оно легко можетъ перейти въ безсимсленный мистицизмъ или разсыпаться въ натянутыхъ приноровленіяхъ и аллегоріяхъ. Последнее мы нередко видали у некоторыхъ нашихъ поэтовъ, думавшихъ брать свои вдохновенія изъ классической древности. Но г. Полонскій довольно удачно уміль избіжать и того и другого: отъ теологическаго мистицизма избавила его сила образованнаго ума,

отъ бездушныхъ аллегорій спасла сила таланта. Во всёхъ стихотвореніяхъ г. Полонскаго, какъ бы они ни представлялись слабыми или эксцентричными, мы видимъ, что онъ не придумывалъ подобій, не холодно навязывалъ человівческія думы — и тучамъ, и волнамъ, и утесамъ, и насівомымъ, и деревьямъ, не изъ желанія блеснуть оригинальностью разсказываль свои фантастическія грезы, — пітъ, у него въ самомъ ділів являлись въ душів эти грезы, предъ нимъ въ самомъ ділів одушевлялись по временамъ всів мертвыя явленія природы. Еще въ прежнихъ его стихотв реніяхъ мы виділи признаки мечтательности, читая въ нихъ фантастическія впечатлівнія разныхъ періодовъ жизни поэта. Мы слышали, какъ въ дітстві поэтъ мечталь объ ангелів, сплящемъ у его изголовья и, дійствительно, чувствоваль ого присутствіе:

И мнилось мий: на ложь, близь меня, Въ сіяньи трепетномь дамиалнато отня. Въ блъдно-серебряномъ сидъль онь одъяньи: И тихо, шепотомъ я повърялъ ему, И мысли, дътскому послушныя уму. И сердцу дътскому доступныя желанья.

А въ другія минуты проходять предъ его воображеніемъ всѣ страшныя чудеса, разсказываемыя въ нашихъсказкахъ. Во снѣ видятся поэту и стеклянный дворецъ царь - дъвицы, и жарь - птицы, клюющія золотые плоды, и ключи живой и мертвой воды.

И я вижу по сив, какъ на волкъ верхомъ

Тлу я по тронинкъ льсной —
Воевать съ чарольемъ паремъ.
Въ ту страну, глъ пареъна силить полъ замкомъ.
Изнывая за кръпкой стъной...

И не только въ разсказахъ няни являлись ему чудеса: вся природа полна была для него таинственной жизни, непонятныхъ призраковъ. Когда-то, безпечнымъ отрокомъ, зашелъ опъ въ лъсъ, и ему стало странно, что лъсъ такъ пъмъ и мраченъ.

> Вдругъ свёжіе листы деревъ со всёхъ сторонъ, Какть будто бабочекъ зеленыхъ мидліонт. Дрожа задвигались...

Задвигались — и заговорили съ поэтомь...

Все нозбуждаеть въ немъ вопросъ, все представляеть ему загадку, предметь мечтательных думъ, — и въ мірѣ, и въ жизни. Муза его подобна той дѣвѣ, которой онъ въ одномъ изъ своихъ стихогвореній придаеть такіе думы и вопросы:

Что звенить тамъ вдаля,—и звенить и зоветь? И зачёмъ тамъ, въ степи, пыль столбами встлеть? И зачёмъ та рака широко разлилась? Оттого-ль разлилась, что весна началась?

И откула, откула тоть вітерь летить, Что, стряхая росу, по цвітамь шелестить. Дышеть запахомь липь и, концами вітьей Помавая, влечеть вь сумракь влажныхь аллей?

Вопросы такого рода задаеть себь неръдко и самъ поэтъ; подобные образы рисуетъ опъ неръдко очень живыми и привлекательными чертами. Природа представляется ему въ видъ какого-то загадочнаго, но милаго и очень близкаго существа, съ которымъ опъ очень любитъ разсуждать о различныхъ предметахъ, занимающихъ его воображеніе. То волны разсказываютъ ему про морскія чудеса; то лѣсъ говоритъ ему про какую-то чудную красавицу; то подслушиваетъ опъ "листьевъ осиновыхъ шепогъ ласкающій", которымъ убаюкивается молодой дубокъ; то ночь на пути заглядываетъ къ нему подъ рогожу къбитки, иежду тѣмъ какъ онъ выслушиваетъ цѣлую поэму въ звукѣ дорожнаго колокольчика; то послѣ грозы валяется у него вопросъ:

Или у природы, Какт у сердца въ жизни, Есть своя улыбка И свои невзгоды?..

Замвиательно, что даже въ разсказахъ своихъ г. Полонскій не удаляется отъ того характера, который мы находимъ господствующимъ въ его стихотвореніяхъ. Г. Полонскій разсказываетъ самыя обыденныя, даже отчасти водевильныя приключенія (какъ, напр., въ "Квартиръ въ Татарскомъ кварталъ", гдъ Хлюстинъ, по незнанію грузинскаго языка и по ошибкъ въ имени, ведетъ заочные переговоры вовсе не съ той красавицей, въ которую влюбленъ); но въ нихъ всегда рисуется предъ нами—или какая-нибудь оригинальная личность, или странное явленіе душевной жизни, или, наконецъ, придается какая-нибудь тавнственность внѣшней обстановкъ. Одинъ изъ разсказовъ—"Статуя Весны" особенно близко подходитъ къ характеру стихотвореній г. Полонскаго. Выпишемъ изъ него нѣсколько строкъ, въ которыхъ авторъ говоритъ о развитіи фантазіи въ маленькомъ Илюшъ:

«Онъ дюбиль забиться куда-нябудь въ уголокъ, и когда задумывался, большіе, сърые глаза его съ расширенными зрачками долго оставались неподвижными. Ръдко видъль онъ постороннихъ, еще ръже выходиль на улицу... Фигуры кузнецовъ, прохаживавшихся по двору, всегла въ преувеличенномъ вицъ рисовались въ его воображеніи. Однажды, проходя задней лъстницей, гдъ то въ четвертомъ этажъ услыхаль онъ бранчивый крикъ какой-то женщины и плачъ ребенка. Этого было для него достаточно, чтобъ вообразить, что наверху обитаютъ такіе злые люди, которымъ ничего не стоитъ, повстръчавшись съ нимъ, отръзать ему ухо для собственнаго удовольствія...

«Несмотря на неопредѣденное чувство грусти, имъ испытываемое, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе свыкался онъ съ своимъ одиночествомъ, которое было для чего вредвѣе всякой медленной отравы. Голова его искала 'здоровой питательной

пищи и не находила. Воображение (огонь, съ которымъ и дъгямъ пграть опасно), развивалсь въ немъ на счетъ другихъ способностей, постепенно создало ему вокругъ него тотъ странный, фангастическій и Гофмана достойный мірь, котораго никто, ниже самъ великій психологъ и философъ, подозрѣвать не могъ.

«Кто объяснить, какь это ділалось, что мальчикь всему, каждой мелочи въ домі, уміль придать какое-то особенное, въ зріломь возрасть непонятное, невообразниое значеніе? Каждая вещь была для него чімь-то одушевленнымь, требующимь отъ него извістной степени сочувствія. Стукь вбиваемаго гвоздя быль для него крикомъ несчастнаго, когорому не хочется лізть въ стіну... Когда его няня, Августа, візшала салопь свой, онь быль увітрень, что и гвоздь это чувствуєть, и салопь понимаеть свое положеніе.

«Кто бы могь подумать, что природная наблюдательность, самая замѣтная и все-таки никвиъ незамѣченная черта въ его характерь, не только не ослабъл, но, такъ сказать, помогла играть его прихотлявой, въ высшей степени прихотливой фантазіи»?

Какъ Илюша любовался статуею Весны, бывшею у его отца, какъ онъ разбиль эту статую и что отъ того произошло въ его пылкой фантазіи и слабенькомъ организив, — изображеніе этого и составляеть все содержаніе разсказа "Статуя Весни". Эксцентрическій Илюша обрисованъ авторомъ съ большой любовью, и нельзя не замѣтить, что подобные характеры находятся въ соотвѣтствіи съ постояннымъ настроеніемъ самого поэта. Оттого-то, несмотря на свою странность, разсказъ объ Илюшѣ правится намъ именно своей задушевностью и теплотою. Болѣе просты, но тоже не безъ оттѣнка странности въ характерѣ маленькаго героя, два граціозные разсказа "Груня" и "Домъ въ деревнъ". Разсказы эти помѣщены были въ "Современникъ" и, въроятно, не забыты нашими читателями, почему мы и считаемъ излишнимъ распространяться о нихъ на этотъ разъ.

Стихотворенія г. Полонскаго, нынів изданныя, также большею частью должны быть знакомы нашимь читателямь: они были уже поміщены въ разныхь журналахь, послів 1855 года, и отчасти въ "Современників". Вникая въ смысль этихъ стихотвореній и дополняя ими прежде изданныя, мы теперь ясніве можемь опредівлять значеніе мечтательной задумчивости и неясныхъ грезъ поэта. Онъ не мистикъ, — это ясно изъ многихъ стиховъ его, проникнутыхъ уваженіемъ къ науків и любовью къ реальной правдів:

Міру, какъ вовое солице, сілеть Свёточъ науки, и только при немъ Муза чело украшаеть Свёжимъ вёнкомъ.

Суевърныя впечатавнія раннихъльть жизни, нельшыя сказки нянекъ онъ прогналь отъ себя. Онъ сознается, что быль суевърень въ прежнее время:

Но изъ области мечтаній, Изъ-подъ власти темныхъ силь, Я ушель и волхиованій Мракт наукой озариль. Муза стала мий являться Жрицей мысли, безь оковъ. И учила не бояться Ни живыхъ, ни мертвеновъ.

Но что же влечеть его безпрестанно въ эту область мечтаній? Отчего онъ не удерживается въ предфлахъ живой, человъчески-ясной дъйствительности? Отвать довольно положительный находимь въ накоторыхъ его стихотвореніяхъ. Поэть радъ бы жить дъйствительностью: но она для него такъ безотрадна, скучна и безсмысленна, что онъ невольно стремится отъ нея подальше. Какъ скоро онъ принимается изображать что нибудь въ жизни, совершающейся передъ его глазами, его стихъ становится такъ уныль и безотрадень, что невольно щемить сердце. Если бъ въ талантв г. Полонскаго было мен'я мягкости и какой-то стылливости, то онъ, при своемъ грустномъ настроеніи, могъ бы извлекать изъ своей лиры страшные звуки негодованія и проклятія. Но проклинать онъ не умееть, и недовольство его выражается въ тихой, задумчивой жалобъ. Сколько мы знаемъ, только однажды уступиль онъ общему, восторженному увлеченой прелестями дъйствительности (мы не имъемъ здъсь въ виду граціозныхъ его стихотвореній, восифвающихъ наслажденіе чувствомъ любви) -- да и то въ ожиданій грядущихъ благь. Это было въ то время, когда всв были вдохновлены наступающимъ возрожденіемъ Руси посредствомъ безыменной гласности и обличительныхъ статескъ противъ мелкихъ подъячихъ. Въ стихотвореній, подъ которымъ значится 1855 г., Полонскій написаль:

> Поэтъ, въ минуты вдохновенья, Будь отъ пристрастія далекъ; Язви насмѣшкою порокъ; Насмѣшка громче наставленья,— Когда ее на кару зла Святая правда родила! и пр.

Настроеніе это, довольно оживленное и бодрое, продолжалось въ 1856 г., когда г. Полонскій написаль слідующее стихотвореніе, отзывающееся отчасти дидактизмомь, столь несвойственнымь его таланту.

## на кораблъ.

Стихаетъ. Ночь темна. Свисти, чтобъ мы не спали!.. Еще вчерашняя гроза не унялась: Тѣ жъ волны бурныя, что съ вечера плескали. Не закачавъ, еще качаютъ насъ. Въ безлунномъ мракъ мы дорогу потеряли, Разбитымъ фонаремъ не освъщенъ компасъ. Неси огия! звони, свисти, чтобъ мы не спали!

Еще вчерашняя гроза не унялась...

Нашъ флагь порывисто и безпокойно въетъ;

Нашъ капитанъ впотьмахъ стоитъ, раздумъя полнъ...

Зоря!.. друзья, зоря! Глядите, какъ ясеветъ—

И капитанъ, и мы, в гребни черныхъ волнъ.

Кто боленъ, кто усталь, кто бодръ еще, кто плачетъ;

Что бурей сломано, разбито, снесено—
Все ясно: Божій день, вставая, зла не прячетъ...

Но—не погибли мы!.. и много спасено...

Мы мачты укръпниъ, мы паруса подтянемъ,

Мы нашимъ топотомъ встреножимъ праздныхъ лѣвь—

И дальше въ путь пойдемъ, и дружно пѣсно грянемъ...

Господь, благослови грядущій день!

Къ чему привела эта смълая претензія — укръпить мачты, подтянуть паруса и встревожить льнь правдныхъ, — объ этомъ мы много разъ говорили въ "Современникъ". Кто хочетъ, тотъ можеть припомнить; а намъ теперь нътъ надобности распространиться объ этомъ. Здъсь насъ занимаетъ то настроеніе, подъ которымъ дъйствуетъ талантъ г. Полонскаго. И такъ, мы видимъ, что поэтъ не прочь отъ надеждъ, не прочь отъ общественныхъ интересовъ. Но въра въ возстановленіе правды и добра въ общественной жизни, мечта о сильной и горячей общественной дъятельности, къ сожальнію, скоро оставила его, какъ и многихъ другихъ энгузіастовъ недавняго времени, и смънилась опять тъмъ расположеніемъ духа, въ которомъ высокія мечты кажутся ему уже сумасшествоюмъ, а въ жизни представляется какая-то галиматья. Читатели наши могутъ припомнить стихотвореніе "Сумасшедшій", недавно помъщенное въ "Современникъ". А вотъ стихотвореніе "Хандра", напечатанное тоже недавно въ "Русскомъ Словъ":

На старый онъ диванъ ничкомъ Ложился, протянувши ноги, И говорилъ, дыша съ трудомъ, Такіе монологи:

«Какая жизнь! о, Боже мой!
Какіе страшные пигмей!
Добро-бъ глупцы, добро-бъ злодёй
Неотразимою враждой
Меня терзали!.. Нётъ! съ глупцами
Я-бъ тратить словъ не сталь; съ врагами
Я-бъ выступиль въ открытый бой.
Кто безкорыстно правдё служить,
Кто за себя стоить—не тужить!
Но какъ бороться съ пустотой,
Полу-слёпой, полу-глухой,
Которая мутить и кружить?

Бороться радь бы-силы изтъ... Подъ бременемъ безплодныхъ літъ Изнылъ мой духъ, увяла радость. И весь я сталь ин то, им се... И жизнь подчась такая гадость. Что не глядаль бы на нее! Я только вздоръ одинъ предвижу, Какая-то галиматья Выходить изъ того, что я Вседневно слышу иля вижу! Не только некого любить. Мив даже некого сердить. Мик даже глупо ненавидьть. Я точно-личность безъ лица. Такого даже нать глуппа. Кто-бъ захотълъ меня обидъть! Я втино ною оть заноль, А разомъ всимхнуть не уміло. Когда и плачу-стыдно слезъ, Погла смінось—за сміхъ краснію... Какая жизнь! какой хаось!»

Эго горестное сознаніе нустоты всего окружающаго, соединенное съ чувствомъ собственнаго безсилія бороться противъ нея — хоть кого прогонить въ міръ мечтаній. И благо человъку, если еще онъ можетъ хоть тамъ укрыться: тамъ онъ можетъ, по крайней мъръ, остаться человъкомъ честнымъ и добрымъ. А въ обществъ... Но вотъ взглядъ поэта на общество наше, выраженный въ одну изъ грустныхъ минутъ невольныхъ его столкновеній съ этимъ обществомъ. Мы приведемъ нъсколько строфъ изъ его стихотворенія "На пути изъ гостей":

Славный морозъ. Ночь была бы свётла,
Да застилаеть сіянье
Місяца душу—гнетущая мгла—
Жизни застывшей дыханье.
Слышится города шорохт ночной,
Снёгь подметенный сврицить подъ ногой...
Дальнихь огней вижу мутныя звёзды,
Да запертые подъёзды...
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!

Что же въ гостяхъ удержало меня?
Или мнѣ было привольно,
Въ сладкемъ забвеньи безплоднаго дня,
Мучнть себя добровольно?
Скучно и глупо безъ пѣли болтать...
И не охотникъ я въ карты играть;
Даже, признаться, не радуетъ ужинъ;
Да и кому я тамъ нуженъ!
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!

Затъмъ, изобразивъ, какъ была граціозна Мери.—невъста, ищущая доходнаго мъста,—какъ Олимпіада ловко играла Листа, а Викторъ читалъ безтолковые стихи, поэтъ продолжаетъ:

Гости бывають тамъ разныхъ сортовъ:
Въ домъ прівзжають—вертятся,
И комплименть у нихъ мигомъ готовъ;
Изь дому влуть—бравятся.
Что занимаеть ихъ—трудно понять.
Все обо всемъ они могутъ сказать;
Каждый себя самолюбьемъ измучиль,
Каждому каждый наскучиль.
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!

Въ люди какъ будто невольно идешь:
Все будто ищешь чего-то,
Вотъ-вотъ не нынче такъ завтра найдешь...
Одольнаеть зывота,
Скука томитъ... А проклятый червякъ
Въ сердил учиться не хочеть пикакъ:
Или онъ старую рану тревожитъ,
Или онъ повую глажетъ.
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду и домой!

Много есть чудныхъ, преврасныхъ людей, Свётныхъ умомъ и вполей благородныхъ. Но и они, въ роді блідныхъ тіней. Меркнутъ душою въ гостинныхъ колодныхъ. Есть у васъ такъ-называемый свётъ, Есть даже люди, а общества нётъ: Русская мысль въ одиночку созрёла, Да и гудлетъ безъ дёла.

Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!

Воть, вижу, дворинкъ силить у вороть, Въ шубь да въ шапкъ лохматой: Точно медвъдь; на усахъ его ледъ, Снъть въ бородъ, въ рукавицъ лопата... Спить-ли овъ, такъ-ли прижавшись сидить, Думаеть думу, морозы бранить, Или, какъ л же, безплодно мечтаетъ, Или меня поджадаетъ?

Боже мой! Боже мой!

Поздно приду я домой!

И все-то въ нашей общественной жизни возбуждаетъ тяжелое чувство въ поэтъ. И тъмъ тяжелъе для него это чувство, что онъ видитъ необходимость покориться факту; онъ не имъетъ силъ бороться со здомъ, его сму-

щаеть холодиая правда даже чужого безпощаднаго стиха, какъ онъ говорить въ посланіи къ И. С. Аксакову:

Когда мий въ сердие бъетъ, звеня, какъ мечъ тяжелый. Твой жесткій, безпощадный стихъ. Съ неводьнымъ трепетомъ внимаю невеселой Холодной правдё словъ твовхъ.

Въ негодованіе души твоей вникая, Собрать, пойму-ли я тебя? На смёдый годось твой откликнуться жедая, Какимъ стихомъ откликнуть я?

Не внемля шопоту соблазна, строгій геній Ведеть тебя ннымь путемь, Туда, гдв нвть уже ни жаркихь увлеченій, Ни примиренія со зломь.

И если ты блуждаль, съ тобой мы прознь блуждали. Я сняы сердца не щадиль, Ты не щадиль труда, и оба мы стралали. Ты больше мыслезь, я—любиль...

И эта любовь, эта поэтическая кротость производять то, что поэть находить въ себъ силы только грустить о господствъ зла, по не ръшается выходить на борьбу съ нимъ. Самыя дикія, безчелов'ячныя отношенія житейскія вызывають на его губы только грустную улыбку, а не проклятіе, исторгають изъ глазь его слезу, но не зажигають ихъогнемь негодованія и мщенія. Для объясненія нашихъ словъ, приведемъ въ приз връ одно стихотвореніе, которое мы считаемъ однимъ изъ замѣчательныхъ стихотвореній г. Полонскаго. Тема этого стихотворенія — нел'яный общественный обычай, по которому женщина любящая и любимая гибнеть въ общемъ мивнін, какъ скоро она отдается своему чувству вопреки накоторымъ оффиціальностямъ; тогда какъ мужчина, бывшій виною ея паденія, преспокойно можеть обмануть ее и удалиться, извиняясь тёмъ, что страсть его потухла. Вопль негодованія могъ бы вырваться у другого поэта, взявшаго подобную тему; мрачная, возмутительная картина могла бы нарисоваться изъ такихъ отношеній человъческаго сердца къ нельшимъ требованіямъ общества. Но вотъ какіе стихи вышли у г. Полонскаго:

> На устахъ ея—улыбва; Въ сердцѣ—слезы и гроза. Съ упоеніемъ и грустью, Онъ глядитъ въ ея глаза. Говорить она: обманъ твой Я предвижу—и не лгу, Что тебя возненавидѣть И хочу, и не могу.

Онъ глядитъ все такъ же грустно:
Но лицо его горитъ...
Онъ къ плечу ел устами
Припадал, говоритъ:
Берегисъ меня—я знаю,
Что тебя я погублю,
Оттого что я безумно,
Горячо тебя люблю!..

Вообще - незлобіемъ и добродушіемъ въетъ отъ всехъ словъ поэта, къ кому бы ни обращались они, — къ благоухающей-ли природъ, къ це-чальному-ли кладбищу, къ коварной-ли женщинъ. Даже въ своихъ отношеніяхъ къ общественной неправдів и угнетенію, онъ остается такъ же грустно незлобивъ, какъ и въ своемъ сожальний о прошедшей молодости, или въ досадъ на дурную погоду. Вотъ отчего грустные стихи г. Полонскаго и проходять такъ часто незамвченными для современныхъ чигателей. Намъ теперь нужны энергія и страсть; ны и безъ того слишкомъ кротки и незлобивы; им не можемъ довольствоваться тъми поэтами, которые, восхищаясь истиной, раскрытой для нихъ, не делають усилія для того, чтобы поставить ее на высокомъ пьедесталь, на видъ всемъ своимъ собратьямъ. Въ стихотвореніяхъ г. Полонскаго мы находимъ насколько пьесъ, которыя доказывають, что самь поэть сознаеть это, но, следуя своей природъ, не ръшается выйти изъ своей сферы и измънить строй своей лиры. Везъ всякаго сомнения, онъ поступаеть очень благоразумно, потому что натянутые возгласы о добродътели и то уже сбили у насъ съ толку ивсколькихъ талантливыхъ людей. Немудрено, что на ихъ дорогу попалъ бы и г. Полонскій; приведенное выше стихотвореніе "На кораблів", такъ отзывающееся аллегоріей, доказываеть справедливость этого предположенія. Но, къ счастью, самъ поэтъ лучше другихъ поняль свои силы и, недовольный окружающей действительностью, выразиль свой протесть противъ нея совершенно особеннымъ образомъ. Онъ нашелъ свою особенную дъйствительность, населилъ ее своими особыми существами, придалъ имъ мысль и страсти, заставиль ихъ волноваться, радоваться и страдать почеловъчески... И въ этомъ фантастическомъ міръ находить онъ успокоеніе и отраду отъ житейской пошлости, угнетенія и обмана. Лучшимъ примъромъ того, какъ г. Полонскій одушевляетъ всю природу, можетъ служить шуточная поэма о кузнечикъ-музыкантъ (котораго, въ пику всъмъ грамматикамъ, онъ называетъ — кузнечекъ). Содержание этой поэмы состоитъ въ томъ, что кузнечикъ влюбился въ бабочку, которая сначала была къ нему неравнодушна, но потомъ влюбилась въ соловья и улетъла за нимъ въ лъсъ. Соловей сначала поласкалъ ее, а потомъ клюнулъ, — она и упала мертвая. Кузнечикъ-артистъ, виъстъ съ однимъ изъ своихъ пріятелей,

чулякою - кузнечикомъ, отправился ночью ее отыскивать, разузналь все двло отъ осы, наконецъ огыскалъ и похоронилъ молодую сильфиду, которую такъ любилъ... Какъ видите, здась соловей играетъ роль влодаяобольстителя, и въ этомъ, если хотите, выразилась опить оригинальная натура поэта, полная любви и мирнаго расположенія ко всему живущему. Если угодно, по факту, соловей - губитель и негодяй, угнетатель невинности; но въдь нельзя же непавидъть соловья за его поступокъ съ бабочкой; нельзя винить и бабочку за вътренность, а можно только жалвть ее. Если хотите прилагать это къ человъческому сердцу (а это приложение многів читатели и читательницы непремінно сдівлають), то и въ этомъ шуточномъ, фантастическомъ разсказъ вы можете подметить сердечную боль поэта и грустное недовольство міромъ, въ которомъ нигда натъ счастья... Впрочемъ, мы совъстимся дълать изъ этой поэмки моральные выводы и рашаемся обратить на нее внимание читателей только, какъ на образчикъ того, какимъ образомъ и съ какою простотой и любовью г. Полонскій одушевляеть и очелов'ячиваеть всю природу. Въ заключеніе же нашей рецензіи представимъ читателямъ окончаніе этой поэмки, въ которомъ заключается описаніе того, какъ кузнечики хоронили мертвую сильфиду-бабочку.

> Сделали носилки, положили тело. Подняли и долго, поступью несмёлой, Шли они по травкамъ, шли они по кочкамъ. Впереди, мелькая яркимъ огонечкомъ, Шелъ свътлякъ, и сотни разныхъ насъкомыхъ, Нашему артисту вовсе незнакомыхъ, Шумно просыпались въ перелъскъ темномъ. «А! ба! вто тамъ? что тамъ?» - сдышалося въ сонномъ Царствь. Вдругь во мракь жалкій пискъ раздался: Муравей какой-то подъ ноги попался Нашему гулякъ-онъ его и тиснулъ. Всявдь за этимъ визгомъ-въ рощь кто-то свистнулъ. Комары, проснувшись и поднявшись роемъ, Затрубили въ трубы, точно передъ боемъ; Но слетвишсь кучей-и увидывь тыло. Взяли тономъ ниже (поняли въ чемъ дело)... И, трубя илачевно въ разстояные дальномъ, Огласили воздухъ маршемъ погребальнымъ. Къ свътляку другіе свътляки пристали: Свечи ихъ то гасли, то опять мелькали. Съ жалобнымъ жужжаньемъ поднимались мухи. И, жужжа, другь другу поверяли слухи. Бабочка -- Сильфиды прежняя подруга-Высунула носикъ, бледная съ испуга, И потомъ, спустившись по листочкамъ, съла На холодный камень и опъпенъла. Предразсвётный вітеръ, невидимкой вія,

Лумаль, что воскреснеть молодая фея: Шевелиль у мертвой легкими крылами. И дышаль въ лицо ей влажными устами. II потомъ далекимъ проносился стономъ, И по всемъ тропинкамъ отдавался звономъ, Чашечки лиловыхъ цвътиковъ качан. И роса, какъ слезы, холодно сверкая, Медленно стекала съ усиковъ цватущей Повилики, робко по стволамъ ползущей; И благоухали тысячи растеній; И сквозь дымъ деревья въ видь привидьній Головой кивали.—Тихо раздвигая Облака, вставала зорька золотая, --И когда все стало ясно отъ улыбки Пламенной богини, принесли подъ липкв Мертвую Сильфиду, - тамъ ее сложили, Вырыли могилку и похоронили. И когда надъ этой новою могилой Думаль злую думу мой артисть унылый. Въ жаркихъ искрахъ солнца за льсной куртиной Звучно раздавался рокоть соловьный,

## Постановленія о литераторахъ, издателяхъ и тинографіяхъ. Спб. 1859.

Давно уже замвчено одно изъ качествъ, не совсвиъ съ хорошей стороны характеризующее нашу публику. Это качество состоить въ совершенномъ равнодуши къ познанию техъ законовъ, подъ которыми мы живемъ. Юридическое образование распространено у насъ такъ мало, что неръдко приходится встръчать людей, спеціально интересующихся какойнибудь частью и не имфющихъ понятія о законахъ, къ ней относящихся. Объясняють это темь, что у насъ все общественные деятели разделяются на два разряда: одни дъйствують не своимъ умомъ, а по чужому указанію, слівдовательно, не имівють надобности справляться съ законами; другіе привыкли въ своихъ д'вйствіяхъ руководствоваться произволомъ и личными соображеніями, болье или менье посторонними закону, сльдовательно, въ законныхъ соображеніяхъ тоже мало имъють нужды. Но есля мы и примемъ въ извъстной мъръ справедливость этого объясненія, всетаки мы не вполив еще объяснимъ вопросъ. Объяснение это можеть относиться только въ лицамъ служащимъ. Но не надо забывать, что большинство населенія въ государств'в составляють не т'в, которые приміняють законы, а тв, съ которыми по законамъ поступають. Эти-то послъдніе почему же не интересуются законами? Или и они держатся того мивнія, что законъ ничего не значить, а главное дело - воля исполнителей, по

пословиць: "не бойся суда, а бойся судьи"?.. Но въдь такое мивніе не должно бы существовать въ благоустроенномъ обществъ. Если же оно существуетъ, то общество само же должно позаботиться о томъ, чтобы уничтожить его. Но какъ уничтожить?..

"Самое върное, самое дъйствительное средство — литература", кричатъ въ послъднее время. Мы бы согласились съ этимъ, если бы замътили въ кричащихъ болъе серьезное изучение условий и принадлежностей литературной дъятельности въ нашечъ обществъ. А то въдь и въ отношении къ литературъ у насъ существуетъ то же совершенное юридическое невъ-дъніе, какъ и о множествъ другихъ предметовъ. Говорятъ о литературъ, восхищаются ея успъхами, бранятъ ее, и все это такъ, по капризу, съ вътру; никто не хочетъ запяться серьезнымъ изученіемъ предмета, впикнуть въ сущность его, никто не любопытствуеть даже заглянуть въ за-коны, которымъ литература ограждается! А всё кричатъ на разные ла-ды, — то ужъ очень неблагопріятно для литераторовъ и журналистовъ, то черезчуръ ужъ лестно для общаго развитія и громаднаго вліянія литературы. Кто самъ пишетъ — а кто же теперь не пишетъ? — тотъ большею частью смотритъ нъсколько мрачно: затъмъ его статья не напечатапа? зачтиъ долго не помъщается? отчего не въ томъвида явилась она въ сватъ, кавъ онъ желалъ? Я, говоритъ, изложилъ лучшія свои соображенія. самыя завътныя мои думы, именно въ этихъ строкахъ, а ихъ-то и нътъ въ напечатанной статьв. Вы, говорить, варвары, вы губители авторскихъ талантовъ и благородныхъ стремленій, и пр., и пр. Другіе, напротивъ. ужасно довольны современной литературой: какіе вопросы подычаются, какія благородныя мысли высказываются; какъ расширился кругъ дъйствія литературы, какое вліяніе имбетъ она на исправленіе существующихъ недостатковъ, на принятіе новыхъ мъръ для общественнаго устройства, и т. д. И все это говорится большею частью по наслышкъ, безъ серьезнаго вниканія въ дело, потому что кричать нине о литературе даже такіе господа, которые ничему не учились и ничего не читали. Иной выписываеть журналы только для того, чтобъ иметь удовольствие каждый месяцъ бранить издателей за то, что журналы поздно выходять. "Неть никакой возможности выписывать: небрежно ведуть дело, чуть не месяцемъ всегда опаздывають!.. Опаздывають, опаздывають!.. "кричить онь,—и более знать ничего не хочеть... А другой считаеть обязанностью восхищаться тёмъ, что много новыхъ журналовъ появляется, и готовъ ожидать отъ этого чутьне государственнаго переворота... Разноголосица страшная, и никто не хочеть уяснить себъ дъло серьезнымъ изучениемъ тъхъ незыблемыхъ основаній, безъ которыхъ у насъ не можетъ существовать никакая литературная дъятельность! Постыдное равнодушіе въ изученію законовъ обнаруживается и здъсь, во всей своей силъ...

При такомъ положении делъ истиннымъ благоденнемъ можетъ служить книжечка "Постановленія о литераторахъ", и пр. Она составляетъ ни что иное, какъ извлечение важивйшихъ правилъ изъ цензурнаго устава и дополнительныхъ въ нему постановленій, вошедшихъ въ первое продолжение "Свода Законовъ". Такое извлечение чрезвычайно облегчаетъ знакомство съ цензурными постановленіями, если ито захочеть узнать ихъ существенныя основанія. Не всякому захочется, да и не всемъ удобно рыться въ "Сводъ Законовъ" и въ его продолженіяхъ, чтобы изучить всв подробности узаконеній, относящихся къ литературъ. А здівсь, въ маленькой книжечкъ, предлагаются публикъ главиня статьи этихъ узаконеній, вполив достаточныя для того, чтобы ознакомиться съ характеромъ нашей цензуры. Конечно, въ дълахъ человъческихъ никогда не бываетъ полнаго соотвътствія съ идеаломъ, и потому, знаніе того, что должно дълаться, еще не вполив соответствуеть наглядному познанію того, что долается. Но во всякомъ случав - то, что двлается, не находя себв оправданія въ законъ, есть только случайное уклоненіе, истинный же характеръ извъстной дъятельности всегда болъе или менъе опредъляется законодательствомъ. Вотъ почему изданіе книжки "Постановленіе о литераторахъ" мы считаемъ очень важнымъ и полезнымъ для распространенія въ публикв истинныхъ понятій о настоящихъ условіяхъ нашей литературной двятельности.

Желая по возможности содъйствовать распространению этихъ понятий, мы представимъ здъсь извлечение иъкоторыхъ правилъ, напечатапныхъ въ книжкъ, относительно цензурныхъ условій напечатанія статей и книгъ.

По общему цензурному правилу, дозволяются къ печатанію "книги в статьи всякаго рода, на всёхъ изыкахъ", равно какъ "эстамиы, рисунки, чертежи, иланы, карты, а также и ноты съ присовокупленіемъ словъ, могуть быть они запрещены только въ следующихъ случаяхъ (§ 3).

«Когда въ оныхъ содержится что-лебо клонящееся къ поколебанию учения Православной Церкви, ея преданій и обрядовь, или водіще истинь и догматовь Христіан-Ской выры.

«Когда въ овыхъ содержится что-либо нарушающее неприкосновенность верхонной Самодержавной Власти, или укажение къ Императорстому Дому. в что-либо противное кореннымь государственнымь постановлентями.

«Когда въ оныхъ оскороляются вобрые правы и благопристойность; и

«Когда въ оныхъ оскорбляется честь какого-либо лога в пристейными выраженіями или предосудительнымъ обнародованіемъ того, что относится до его нравственности или домашней жизни, а тыть болье клечетою».

Руководствуясь этими правилами, цензура "обращаетъ особенное вниманіе на видимую ціль и наміреніе автора, и въ сужденіяхъ своихъ принимаетъ всегда за основание явный смыслъ ръчи, не дозволяя себъ произвольнаго толкованія оной въ дурную сторону". Ограждая этимъ благонамѣренныхъ авторовъ, Уставъ Цензурный дастъ имъ еще болъе льготы, даже на случай неясности или неловкости ихъ выраженій: въ статът 7-й постановлено, что "цензура не дѣластъ привязки къ словамъ и отдѣльнымъ выраженіямъ"; а въ статът 19-й. — "что цензоръ, не имѣя права перемѣнять что-либо въ представляемыхъ на его разсмотрѣніе рукописяхъ и печатныхъ книгахъ, тѣмъ еще менѣе можетъ прибавлять къ онымъ отъ себя какія-либо примѣчанія или толкованія". Отмѣтивши краснымъ карандашемъ запрещаемое мѣсто, цензоръ долженъ возвратить рукопись автору или издателю — для перемѣнъ; впрочемъ, для сокращенія времени, особенно въ срочныхъ изданіяхъ, авторъ или издатель "можетъ ввѣрить и самому цензору исправленіе замѣченныхъ имъ мѣстъ, по его усмотрѣнію".

Для того, чтобы еще опредълениве показать цензору, что онъ можеть пропускать, Цензурный Уставъ даетъ еще, въ дополнение къ общимъ, слъдующия частныя правила:

«Цензура обязана отличать благонамфренныя сужленія и умозрѣнія, основанныя на познаніи Вога, человѣка и природы, отъ дерзкихъ и буйственныхъ мудрствова-

ній, равно противныхъ истинной вірь и истинному любомудрію. (§ 6).

Въ разсматриваніи сочиненій историческихъ и политическихъ, цензура ограждаеть неприкосновенность Верховной власти, строго наблюдая, чтобы въ оныхъ не содержалось ничего оскоронтельнаго, какъ для Россійскаго правительства, такъ и для правительствъ, состоящихъ въ дружественныхъ съ Россіею сношеніяхъ. Равно наблюдаетъ цензура, чтобы на издание всякаго сочинения, въ коемъ описывается событіе, относящееся до Его Императорскаго Величества и Августійшей Фамиліи. и при сообщении въ газетахъ и журналахъ извъстій объ Особь Императорскаго Величества и Членахъ Императорской Фамиліи, о придворныхъ торжествахъ и съблдахъ, было испрошено Высочаншее разрышение чрезъ Министра Императорскаго Двора; изъ сего правила исключены только извъстія о прітать и отътадь Членовъ Императорской Фамиліи, для коихъ сего разрышенія не требуется. При семъ кромі статей, поміщенныхъ въ газетахъ и журналахъ о Государів Императорів и Членахъ Августвишей Фамиліи, о придворныхъ торжествахъ и съвздахъ, доставляются Цензурными Комитетами на разсмотръніе Министра Двора только выписки изъ книгъ техъ мъсть въ коихъ описывается какос-либо событие или разсказывается анекдотъ, до сихъ Августвишихъ Особъ относящійся. - Дозволяется выпускъ изданій съ скопированными почерками рукъ и подписями Особъ Императорской Фамиліи, въ Бозъ почивающихъ, но сіе дозволеніе не распространяется на подписи в почерки Августьйшихъ Особъ здравствующихъ».

Въ отношеніи къ научнымъ свѣдѣніямъ, дозволяется "всякое общее описаніе или свѣдѣніе касательно исторіи, географіи и статистики Россіи, если только изложено съ приличіемъ и безъ нарушенія общихъ цензурныхъ правилъ"; только запрещается чиновникамъ обнародывать дѣла и свѣдѣнія, ввѣренныя имъ по службѣ. Также допускаются къ печати "всѣ описанія происшествій и дѣлъ и собственныя о нихъ разсужденія автора, если только сіи описанія и разсужденія не противны общимъ цензурнымъ правиламъ"; можно печатать также всякіе документы и записки, "если

только они согласны съ общими правилами и не содержатъ въ себъ изложенія діль тяжебных и уголовных в ".

Вообще, разсужденіямъ и описаніямъ авторовъ дается по Цензурному Уставу весьма значительный просторъ касательно всехъ "предметовъ, относящихся ка наукамъ, словесности и искусствамъ". Дозволяется разсуждать: - и о вновь выходящихъ книгахъ, и о представленіяхъ на публичныхъ театрахъ, и о другихъ зрълищахъ, и о новыхъ общественныхъ зданіяхъ, и объ улучшеніяхъ по части народнаго просвъщенія, земледълія, фабрикъ, и т. п., -если только сіи разсужденія не противны общинъ правиламъ цензуры. Запрещается же говорить только "о потребностяхъ и средствахъ къ улучшению какой-либо отрасли государственнаго хозяйства въ Имперіи, когда подъ средствами разумьются мыры, зависящія отъ правительства, и вообще сужденія о современныхъ правительственныхъ мърахъ" (§ 10. Ценз. Уставъ, ст. 12).

Полагая столь умъренныя и благоразумныя правила, Ценз. Уставъ дълаетъ оговорку, дающую авторамъ еще болъе возможности сохранить свою литературную самостоятельность: по ст. 15-й Ценз. Уст., цензоръ не долженъ входить въ разборъ частныхъ мнаній писателя, если только они не противны общимъ правиламъ цензуры, и не имъетъ права исправлять слогъ автора, если только явный смыслъ ръчи не подлежить запрешенію (§ 13).

Но всего более дается свободы повествователямь и вообще беллетристамъ. По ст. 13-й "въ вымыслахъ не требуется той строгой точности, каковая свойственна описанію предметовъ высокихъ и сочиненіямъ важнымъ". По статьъ же 14-й, "цензура, охраняя личную честь каждаго отъ оскорбленій и подробности домашней жизни — отъ нескромнаго и предосудительнаго обнародованія, не препятствуєть, однако же, печатанію сочиненій, въ конхъ подъ общими чертами осмънваются пороки и слабости, свойственные людимъ въ разныхъ возрастахъ, званіяхъ и обстоятельствахъ жизни" (§ 12).

Для того, чтобы каждое, вновь выходящее сочинение подвергалось, кром'в общей цензуры, еще суждению людей, специально знакомых в съ дъломъ, о которомъ идетъ ръчь въ сочинении, въ послъднее время постановлено, чтобы всв книги и статьи, инфющія отношеніе къ административной, законодательной или финансовой дъятельности, поступали на разсмотръніе тъхъ въдомствъ, къ которымъ они, по предмету своему, относятся. Постановленіе это приведено въ § 29 "Постановленій", изъ 42-й статьи Цензурнаго Устава, по первому продолжению въ такомъ видъ:

«Сочиненія по части законодательства, теоретическаго или историческаго содержанія, или заключающія въ себъ собственныя разсужденія самихъ авторовъ, раз-

сматриваются въ общей цензурь. Тъ изъ сихъ сочинения, въ которыхъ теорія закоподательства или финансовой и административной науки примъняется авторомъ къ существующимъ собственно у насъ учреждениямъ, когда они, но содержанию 41-й статьи, не подлежать раземотрению Второго Отделения Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи, предварительно разсмотрілян ихъ въ общей цензурь, препровождаются сею посліднею въ ть правительственныя міста и учрежденя, до которыхъ сін сочинення по предмету своему относятся, а именно къ довъреннымъ чиновлякамъ, назначеннымъ для непосредственныхъ по сему предмету свощений съ С.-Петер ургскимъ цензурнымъ комитетомъ, цензорами и редакціями періодическихъ изданій въ С.-Петербургъ. Сім довъренные чиновники назначаются отъ министерствъ: Императорскаго Двора, военнаго, морского, внутреннихъ дълъ, финансовъ, государственныхъ имуществъ, юстиціи, главнаго управленія путей сообщенія и публичныхъ зданій, главнаго штаба Его Императорскаго Величества по Военно-Учебными заведеніямь в Третьяго Отділення Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи. Довъренные отъ министерствъ и главныхъ управленій чиновники, состоя въ непосредственныхъ спошеніяхъ съ цензорами в редакціями періодическихъ изданій въ С.-Петербургь, получають прямо отъ нихъ подлежащія ихъ раземотранію сочиненія и статьи и, по разсмотрічни, возвращають оныя со своими отзывами; въ случав же сомивнія, испрашивають разрешенія своего главнаго начальства для передачи онаго цензурѣ или редакціи. Сіи отзывы принимаются цензурою за главное къ заключению своему основанје при окончательномъ разсмотрвији сочинений; въ случат же какихъ либо сомивній, цензурный комитетъ испрациваетъ разрішення главнаго управленія цензуры. Цензурныя учрежденія відомства министерства народнаго просвъщенія, находящіяся не въ С.-Петербургь, представляють сочиненія и статьи. подлежащия заключению постороннихъ въдомствъ, министру народнаго просвъщения, по распоряжению котораго сій статьи передаются довіреннымъ отъ министерствъ в главныхъ управленій чиновникамъ, и заключенія сихъ посліднихъ, или надписи на сочиненіяхъ, ими сдъланныя, сообщаются цензурнымъ учрежденіямъ, по принадлежности, которыя затьмъ поступають порядкомъ, предписаннымъ для С.-Петербургскаго цензурнаго комитета. На разръшение главнаго управления цензуры, представляются цензурными комитетами вст сомитива. встрічаемыя ими при окончательномъ разсмотряни сочинений. Если главное управление цензуры не согласится съ заключеніемъ сторонняго ведомства, то разногласіе представляется министромъ народнаго просвещенія, вместь съ минність подлежащаго министра или главноуправляющаго, на Высочайшее разрѣшеніе».

Такинъ образомъ, всё выходящія въ Россіи сочиненія вполнё гарантируются не только отъ всякихъ богохульныхъ и противозаконныхъ мыслей, но даже и отъ всякихъ разсужденій, могущихъ быть вредными для порядка или оскорбительными для тёхъ мёстъ и лицъ, къ которымъ сочиненіе относится.

Впрочемъ, такъ какъ подобное разсмотрѣніе всякаго сочивенія, особенно трактующаго о предметахъ сложныхъ, отнимаетъ много времени и можетъ задерживать изданіе въ свѣтъ книги или статьи, то Цензурный Уставъ дѣлаетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ значительное снисхо кденіе авторамъ. Такъ, напримѣръ, "книги медицинскія и ветеринарныя, наравнѣ съ прочими, до наукъ относящимися, разсматриваются общею цензурою"; въ медицинскую же цензуру отправляются только тѣ изъ нихъ, "которыя содержатъ въ себѣ лѣчебныя постановленія или правила для составленія лъкарствъ съ приложеніемъ къ болъзнямъ" (§ 30). Точно такъ же, — могуть не подвергаться цензуръ духовной "книги, относящіяся къ нравственности вообще, даже и тъ, въ коихъ разсужденія будутъ подкрыпляемы ссылкою на священное писаніе"; духовной же цензуръ подвергаются изъ нихъ только нъкоторыя "мъста совершенно духовнаго содержанія" (§ 25).

Постановляя правила, ограждающія общество отъ безпорядочной и произвольной литературной дъятельности, несоотвътствующей видамъ правительства, законъ опредъляеть и наказаніе за ихъ нарушеніе. По различнымъ статьямъ Цензурнаго Устава, преступивші его правила подвергаются наказаніямъ, смотря по важности преступленія, начиная огъ трехдневнаго ареста и доходя до наказанія плетьчи и ссылки въ каторжную работу на 10—12 лътъ (см. §§ 54—64). Наказаніямъ этимъ подвергаются равно, какъ авторы предосудительныхъ статей, такъ и редакторы журналовъ, издатели книгъ и содержатели типографій.

Таковы главнъйшія изъ дъйствующихъ нынъ постановленій о литераторахъ, издателяхъ и содержателяхъ типографий! Многія изъ любопытныхъ подробностей, изображающихъ порядокъ и ходъ дѣль въ цензурныхъ комитетахъ, мы предоставляемъ любознательнымъ читателямъ найти въ самыхъ "постановленіяхъ". Вообще съ этой книжкой не мъщаеть познакомиться многимъ, ингересующимся литературою. А то у насъ такъ много есть людей, которые толкують о высокой важности литературы, о ея значеніи для общества, о ея вліяніи на разныя отрасли государственной дѣятельности и государственнаго хозяйства, и пр., а сами между тѣмъ не хотять ознакомиться даже съ узаконеніями, подъ вліяніемъ которыхъ существовала и существуеть досель наша литературная дѣятельность. Такое легкомысліе и равнодушіе непростительны!

Сватовство Ченскаго или матеріализмъ и идеализмъ. Спб. 1859.

0 неизбѣжности идеализма въ матеріализмѣ. Ю. Савича. (Атеней, 1859 г., № 7).

"Сватовство Ченскаго" нельзя иначе объяснить, какъ статьею г. Савича, а статьи г. Савича нельзя оценть безъ "Сватовства Ченскаго". Вотъ почему и решились мы соединить оба эти произведенія, хотя одно изъ нихъ — московское, а другое, по наружности, петербургское. Впрочемъ, "не судите по наружности", — говорятъ идеалисты, и нельзя не со-

гласиться съ этой стороной ихъ ученія. Очень можеть быть, что "Сватовство Ченскаго" принадлежить Москвв, какъ и статья г. Савича, какъ и самый "Атеней". Очень можеть быть и то, что Москва, несмотря на свою хлѣбосольную славу, — ужаснѣйшая идеалистка. Вѣдь извъстно, что

Пріятно къ пышному объду Прибавить мудрую бесьду.

И о чемъ лучте бескдовать, какъ не объ идеализмъ и матеріализмъ въ то время, когда вся почтенная бескда сыта и довольна?. Идеализмъ и матеріализмъ! О, сколько условій для пріятнаго разговора соединяетъ въ себѣ ота прекрасная тема!.. Тутъ, во-нервыхъ, человѣкъ удаляется въ область чистой мысли, гдѣ ничто нечистое, ничто дѣйствительное не смущаетъ его... Ничто, потому что самый матеріализмъ вовсе не есть реализмъ; нѣтъ, это есть не болѣе, какъ милое отвлеченіе, въ родѣ хорошенькой модели паровоза, на которой, конечно, нельзя ѣхать, но для которой за то ненужно ни воды, ни дровъ, ни рабочихъ... Во-вторыхъ, бесѣда объ идеализмѣ и матеріализмѣ пріятна тѣмъ, что здѣсь можно изощрять свое остроуміе и діалектику въ показаніи антагонизма этихъ двухъ началъ. Въ-третьихъ, хороша она потому, что споры съ противниками, не доходя до существенныхъ, житейски - важныхъ раздраженій, могутъ, однакожъ, слегка щекотать самолюбіе собесѣдниковъ и чрезъ то пріятно поддерживать разговоръ. Короче, — говоря словами Бальзаминова въ пъесѣ Островскаго, — "это самый пріятный для общества разговоръ". Антиреснюй его можетъ быть развѣ только обсужденіе вопроса, предлагаемаго Устенькой, въ той же пьесѣ: "что тяжеле—жодать и не дожодаться, или — имъть и потерять?"

Но зачѣмъ же еще пишутъ люди такъ важно и глубокомысленно объ

Но зачёмъ же еще пишутъ люди такъ важно и глубокомысленно объ идеализмѣ и матеріализмѣ? Пусть бы ихъ толковали себѣ въ гостиныхъ о столь интересномъ предметѣ, и оставили бы въ поков литературу. А то, пожалуй, насъ постигнетъ опять наводненіе статей въ родѣ: О неизбѣж-ности классицизма въ романтизмѣ", "Любовь таинственнаго незнакомца къ красавицѣ, скрывающей свое имя, — или номинализмъ и реализмъ", "Сравнительный разборъ значенія сихъ и этихъ для общества", и т. и. Неужели и объ этомъ еще не довольно говорили, неужели и это еще не слишкомъ нелѣпо для нашей литературы въ настоящее время, когда заря будущаго.?. и пр... Намъ казалось, что мы съ дуализмомъ давно уже по-рѣшили; мы надѣялись, что теперь только развѣ въ психологіи г. Ки-кодзе можетъ быть разрываемо человѣческое нераздѣльное существо... Мы думали, что недостойно образованнаго человѣка заниматься теперь серьезно антагонизмами двухъ противоположныхъ началъ въ мірѣ и въ человѣкѣ. Съ

твхъ поръ, какъ распространилась общеизвъстная нынъ истина, что сила есть неизбъжное свойство матеріи и что матерія существуетъ для нашего сознанія лишь въ той мъръ, какъ обнаруживаются въ ней какія-нибудь силы, — съ этихъ поръ мы считали совершенно ненужными всъхъ этихъ Ормуздовъ и Аримановъ... Но нътъ, — г. Ю. Савичъ доказываетъ намъ противное. Онъ вообразилъ, что у пасъ сильно распространенъ матеріализмъ, — не въ смыслъ признанія силы, какъ неизбъжнаго свойства матеріи, — а въ смыслъ отрицанія всякой силы. Вслъдствіе этого, опъ ратуетъ страшно противъ матеріалистовъ, во имя идеализма. Зачъмъ? Это мы можемъ объяснить себъ только предполженіемъ. что г. Савичу не узавалось разгобъяснить себъ только предполженіемъ. объяснить себ'я только предположеніемъ, что г. Савичу не удавалось развивать своихъ идей словесно въ мудрой бес'яд'я, равно какъ и автору "Сватовства Ченскаго (если это не одно и то же лицо...), и они хотятъ наверстать это на литературъ. Отсутствіе непосредственнаго знакомства съ предполагаемыми противниками зам'ятно даже въ пріемахъ обоихъ авторовъ, равно какъ п во взглядъ ихъ на сущность своего предмета. Ихъ ровъ, равно какъ и во взглядъ ихъ на сущность своего предмета. Ихъ основное положение таково: "кто дуракъ, тотъ матеріалистъ; слъдовавательно, матеріалисты дураки". И затъмъ начинается очень остроумное развитие этого силлогизма. Но вы, можеть быть, не върите, чтобы въ ученомъ журналъ, ученая статья могла быть построена на такомъ силлогизмъ? Вы даже подозръваете, что и въ комедіи "Сватовство Ченскаго" силлогизмъ этотъ не совсъмъ таковъ, какъ мы представляемъ? Мы беремся доказать наши слова. Начнемъ съ "Сватовства".

Содержаніе комедіи состоить въ томъ, что Ченскій, отставной ротмистръ, имъетъ связь съ княгиней Лапиной, очень богатой старухой. Онъ успъль отъ нея нажить себъ состояніе и, кромъ того, взяль у нея подъ заемное письмо нъсколько милліоновъ, которые и пустиль въ торговые обороты. Между тъмъ, однажды, поъхавши гулять со старухой, онъ вывалиль ее изъ экинажа, отчего она скоро и умерла, оставивъ завъщаніе въ пользу своей племянницы. Ониной. Но, по смерти старухи, Ченскій завладъваетъ встви ея бумагами, скрываетъ завъщаніе и свее заемное письмо и пишетъ другое завъщаніе, которымъ все имъніе отказывается въ его пользу. Дъло, стало-быть, кончено. Но Ченскій матеріалистъ, слъдовательно, долженъ быть дуракомъ. Вслъдствіе этого — онъ никакъ не можетъ сообразить, что ему дълать теперь съ завъщаніемъ старухи и съ заемнымъ письмомъ. Наконецъ, въ качествъ матеріалиста, т.-е. дурака, онъ придумываетъ слъдующую штуку, для того, чтобы уладить дъло: онъ ръшается жениться на племянницъ старухи — дочери бъднаго профессора. Тогда, разсуждаетъ онъ, все будетъ прикрыто, и совокупнымъ владъніемъ возстановится законность; заемное письмо на три милліона пойдетъ виъсто приданаго бъдной дъвушкъ. Не правда-ли, какой матеріальный (разумъй—тлупий) разсчетъ!

И такъ, Ченскій является къ Онинымъ. Здісь-то и встрічаеть онъ идеализмъ. Отецъ дівушки, отставной профессоръ Онинъ, прозовіздуєть все о какихъ-то противоположныхъ началахъ и говоритъ:

«Все зависить отл началь: они—основание нашихъ поступковъ. Человіять, нови вующійся духовному началу, бываеть благеродевъ въ своихъ дійствіяхъ и способень къ величайшимъ самопожертвованиямъ: онъ какъ будго не чувстуеть нашето бреннаго тіла. Человіжъ чувственный склоневъ къ грубымъ удогольствямь, собялюбивъ и способенъ ко всякаго рода низостямъ. Все зло у нась происходить отъ недостатка живого чувства, живой вкры. Въ грубыхъ массахъ народа неосмысленый формализмъ — явленіе обыкновенное: тамъ еще человікъ не вырабогался, тамъ вще царствуетъ животное; самое простое человічское чувство должно тамъ принимать матеріальную форму, чтобъ сділаться доступнымъ; не если та же форма нерехолять, только какъ форма, и въ высийе слои общества, если чувство сознательное не беретъ тамъ перевъса, или»…

Но что же мы дълаемъ? Начали выписывать слова Онина изъ "Сватовства Ченскаго" (стр. 70), а кончили выпискою изъ статьи г. Савича (стр. 227)... Впрочемъ, разницы-то въдь никакой нътъ: пусть ужъ такъ останется... А можетъ быть, читатели и сами разберутъ, гдъ оканчиваетъ Онинъ и гдъ начинаетъ г. Ю. Савичъ?...

Такъ — Онинъ идеалистъ; у него въ домѣ есть сестра, ученая дама, занимающаяся египетскими древностями. Сама дочь Онина — тоже идеалистка. Ясно, что Ченскій не долженъ имъ нравиться. Но всего хуже то, что у Лизы Ониной есть уже женихъ, Молвинъ, тоже идеалистъ отчаянный. Этотъ говоритъ:

«Мы знаемъ, что свойства матеріи употребляются не какъ-нибуль, что они неизбѣжно направлены къ заранѣе указанной уфли, которая опредъляется идеей организаціи. Мнѣ могуті сказать, что эта ндея вытекаетъ изъ свойствъ самой матерін
хотя бы органической клѣточки, которая, будучи поставлена въ извѣстныя условін,
можетъ развиваться на счетъ окружающей среды только такъ, а не иначе. Согласенъ и на это. Но если она можетъ развиваться только такъ, а не иначе, то идея,
которая лежитъ въ образованів этихъ условій, уже опредѣлила образъ будущаго индивидуума со всѣми мельчайшими подробностями его послѣдующаго строенія. Слѣдовательно, индивидуумъ этотъ прямо вытекаетъ изъ идеи, которая въ немъ реализируется, приниман форму матеріи, подчиняя себъ матерію, обращая ее въ орудів свое»
(«Атен.», 283).

Что же это, однако? Мы опять сдёлали выписку изъ г. Савича, вмёсто "Сватовства Ченскаго"... Но что же дёлать, ежели они такъ сходны?.. Молвинъ говоритъ то же самое, только короче и даже толковёе. Вотъ его слова:

Всему основаніемъ служить идея. Ова необходимо рождается въ душѣ нашей; мы ее вносимъ въ природу; по ней разсуждаемъ, пе ней исправляемъ все».

Разница между Молвинымъ и г. Ю. Савичемъ, стало-быть, состоитъ только въ томъ, что Молвинъ признаетъ идею за произведение человѣка, вносимое имъ въ природу, а по г. Савичу идея есть какое-то особенное

животное, существующее само по себъ, независимо отъ человъческаго сезнанія, и подчиняющее себъ матерію. Кто благоразумнъе изъ этихъ двухъ идеалистовъ, ръшить нетрудно. Но будемъ продолжать разсказъ о сватовствъ Ченскаго.

Ченскій является въ Онинымъ и начинаетъ сътого, что дѣлаетъ. Інзѣ такіе комплименты:

Ченскій. Вы въ самыхъ цвітушихъ літахъ. Щечкв — какъ дві: слобныя булочки.

Онина. Какое сравнение!

Ченскій (усмыхаясь). А я хотыть сказать, - какь двв поджаренныя котлетки.

Ченскій долженъ такъ говорить, потому что у него матеріальный (т.-е. глуный) взглядъ на вещи. Но авторъ заставляеть его доходить до такихъ вещей, которыя уже такъ матеріальны (т.-е. глупы), что заставляють подозравать, не увлекся-ли самь авторь матеріализмомь (въ его же собственномъ смыслъ). Ченскій, при первомъ же свиданів, начинаеть говорить Ониной, что ему очень нравится "ея плечо полуоткрытое", и старается дотронуться до него; потомъ выражаетъ свое восхищение тъмъ, что у нея "такой тонкій станъ, и притомъ какая полнота!" — причемъ бросается на колени. Въ этомъ положении застаетъ его Молвинъ, которому онъ тотчасъ же предлагаетъ, чтобъ тотъ уступилъ ему свою невъсту за 50 тысячь. Молвинь, разумъется, отказывается, и тогда Ченскій начинаетъ двиствовать на отца Лизы. Нужно сказать, что бъдный профессоръ занялъ ижкогда у своей родственницы, княгини Лапиной, 30 тысячъ рублей серебромъ на воспитание своей дочери. На что ему понадобилась такая пропасть денегь, и какъ онъ могъ сделать такой заемъ при своихъ ничтожныхъ средствахъ? Отвътъ на это одинъ: Онинъ — идеалистъ. Извъстно, что идеалисты не умъють экономически тратить денегь. Немудрено поэтому, что Онинъ истратилъ на воспитание своей дочери 30 тысячъ и всетаки не выучиль ее даже тому, что не следовало бы ей наедине съ Ченскимъ, при первомъ свиданіи, играть на арфъ и пъть слъдующій романсь:

Оставьте заботы, оставьте вы трудь,
Склонитеся ко милой на былую грудь.
Ото страсти всесильной во ней чувства къмъюто,
И свётные взоры любовью теплёють.
Когда же на арфё она заиграеть,
Носясь и волнунсь во желаньнях живыхо,
Мечта той порою въ напёвахъ слетаеть
Со струнъ золотыхъ.

Тутъ, конечно, кромф плохихъ стиховъ, есть тоже идеализиъ; но только видно, что Лиза Онина понимаетъ его немножко по своему...

Пользуясь тёмъ, что Онинъ долженъ княгинъ, Ченскій, какъ ея наслъдникъ, требуетъ немедленной уплаты долга, въ противномъ же случаъ грозить посадить Опина въ тюрьму. Туть-то выказывается весь идеализмъ Онина. Онъ начинаетъ съ того, что резонируетъ: "уплачивать долги непремѣнно нужно; не уплачивать ихъ — эпачит воровать особенным образом ". Но, вслѣдъ затѣмъ, когда Ченскій обращается къ нему съ требованіемъ уплаты, Онинъ умиленно возражаетъ: "позвольте вамъ сказать, что если бы княгиня жила, то она простила бы мню долгъ. Она часто намекала мнъ объ этомъ въ письмахъ ". Ну, скажите, не восхитительный ли это идеализмъ! Ничего не имъя, занимать у богатой родственницы 30 тысячъ, съ тою надеждою, что она проститъ долгъ! Это такая высота идеализма, до которой, кромъ Онина, только и могъ возвыситься г. Ю. Савичъ въ "Атенеъ". Г. Савичъ, съ своей стороны, тоже находитъ, что есть такой предълъ, за которымъ ни разсчета, ни ума не нужно, а нужно только какое-то чувство, безформенное и безпредъльное. Вотъ его слова:

«Тамъ, гдъ оканчивается умъ человъческий, начинается чувство, какъ продолжение ума, какъ настойчивое, но тиметное (увы!) стремдение его къ фигуральному (по реторикъ Кошанскаго?) выражение какой-нибудь идея, по свойству своему несоямъстимой ни съ чъмъ, что предполагаетъ ограничение, и переходящей поэтому въ нъчто безформенное и безиредъльное. (Ясно-ли: отдача долга предполагаетъ ограничение идей займа: поэтому въ чувствахъ Опина уплата и несовытстима съ займомъ!). «Оно не ищетъ фактовъ, не требуетъ теорій: въ самомъ себъ несетъ оно истину, въру (въ то, чго долгъ простятъ), любовъ, и въритъ, и любитъ, безъ отрицания. безъ поязненій». (Дъйствительно, Онинъ въриль прощенію долга по однимъ намекамъ въ письмахъ княгини).

Такъ вотъ этимъ-то высокимъ чувствомъ (неизвъстно почему называемымъ у г. Савича религозныма) и руководится Онинъ. Но Ченскій, въ качествъ матеріалиста, соглашается простить долгъ только въ такомъ случав, ежели Онинъ отдастъ за него дочь. Онинъ уговариваетъ дочь, но та не соглашается. Вследствіе того, задолжавшаго профессора тащать въ тюрьму. Но туть является бывшая горничная княгини Лапиной, Дарья Семеновна Тюмина, съ которою Ченскій, живя у княгини, имълъ связьдля дешевизны, какъ онъ выражается, и съ которою прижилъ семерыхъ дътей. Эта Тюмина, узнавъ о сватовствъ Ченскаго, приходитъ къ Онинымъ, ругаетъ его и изображаетъ его матеріализмъ въ самыхъ ужасныхъ чертахъ. Напримъръ, она разсказываетъ о слъдующемъ поступкъ его: "У насъ быль слуга Өедоръ, - говорить она, - огромнаго роста, который выважаль съ княгиней и ходиль за ней, когда она прогуливалась. Разъ, когда Ченскій говыль и уже отъисповыдался, Эедорь не угодиль ему чымь-то: что же Ченскій? Ну его колотить, такъ что должень быль отказаться оть святаго причастія; и это случалось три недели сряду, и Ченсвій проговълъ три недъли" (стр. 47).

Столь ужасный матеріализмо возмущаеть всёхь, и вслёдь затёмь Тюмина, чтобь помёшать женитьбё Ченскаго и отметить ему, сламываеть его шкатулку, достаетъ оттуда заемное письмо его, завъщание княгини и подложное завъщание, составленное самимъ Ченскимъ, и все это приноситъ къ Онинымъ въ ту самую минуту, какъ Лиза, испуганная участью отца, соглащается уже выйти за Ченскаго. Тутъ, разумъется, присутствуетъ и Молвинъ и еще полицейский офицеръ, который теперь, вмъсто Онина, долженъ тащить въ тюрьму Ченскаго. Но всъ присутствующие, какъ истинные идеалисты, оказываются столь великодушны, что не только не подвергаютъ его суду, но даже оставляютъ ему всъ деньги, пріобрътенныя имъ въ торговыхъ оборотахъ, ограничиваясь лишь тъмъ, что заставляютъ его жениться на Тюминой. Такимъ образомъ, идеалисты пріобрътаютъ довольство и счастие, вполнъ вознагражденные за свое поклоненіе идеъ, а матеріалистъ остается въ дуракахъ, что и доказать надлежало...

Кажется, очевидно: Чепскому ничего нельзя сказать въ заключеніе, кром'в дурака, и если идеалисты въ "Сватовствъ" тоже оказываются достаточно глуными, такъ тъмъ хуже для Ченскаго. Значить, онъ-то еще глунъе, чъмъ они, если далъ имъ провести себя.

Но вы, вфроятно, не смотря на предыдущія выписки изъ "Атенея", все еще не вполиъ убъждены, что и г. Савичъ обощелся съ матеріалистами такъ же точно, какъ авторъ "Сватовства Ченскаго". Нътъ, — именно такъ. Онъ, видите, съ самаго начала постановиль вопросъ такимъ образомъ: чтобы система философская могла проникнуть въ глубину общаго сознанія, нужно, чтобъ она "въ своей сущности и въ приложеніяхъ была доказательна безъ доказательству, силою одной только истины". Зат выв онъ спрашиваеть: "гдъ же такая система!" Оказывается, что всъ системы сильны доказательствами, а бездоказательных в вътъ. Изъ этого для г. Савича исно, что "истина не дается мудрецамъ" и что нужно искать другую, ессобщую, универсальную истину, которой бы не только нельзя было доказать, но противъ которой были бы все вероятности, представляемыя близорукимъ разумомъ. Затемъ следуютъ ругательства на техъ, кто ищетъ доказатель. ной истины путемъ опыта, а не путемъ въры въ универсальную, бездоказательную истину: "Наше время, — съ горечью говоритъ г. Ю. Савичъ, — сдълалось особенно требовательнымъ и взыскательнымъ; на слово иниче пе върять, на всъ умозрънія махнули рукой (quelle horreur!), и наше-только то, что наука или опыть сделають доказательнымь и нагляднымь (оррёрь, оррёръ!)... Молодое поколъніе гордится своими новыми убъжденіями; оно будто бы взяло ихъ изъ науки... У насъ впереди идетъ наука, а мы, не разсуждая много, молча следуемъ за ней и только указываемъ на новые источники свъта желающимъ просвътиться по модъ, на скорую руку. Нынче на все готовая мода; готовыя убъжденія еще легче пріобрътаются, чить готовое платье, и тымъ болые нравятся, что приходятся всякому по

головъ. Въ чемъ состоятъ эти убъжденія? Въ отрицаніи всего, что пе можеть быть строго доказано опытомъ... (стр. 256).

Пересчитавши ужасы, происходящіе отъ подобнаго довфія къ опыту, г. Савичь восклицаетъ потомъ: "не перечесть всего зла, да и къ чему? Каждый изъ новыхъ людей чувствуетъ самъ, что ему недостаетъ чего-то, что онъ утратилъ что-то, очень для себя дорогое! Холодно смотритъ впередъ молодое покольніе, холодно вокругъ озирается, но не върьте этому смълому равнодушію, не называйте его зрълостью", и пр... Далье г. Савичъ объясняеть, что молодое покольніе – только такъ, прикидывается, будто въритъ наукъ и опыту, а въ самомъ-то дъль жаждетъ "универсальной, бездоказательной истины".

Да и помилуйте, — что такое наука, чтобы ей вивриться? Послушайтека г. Ю. Савича: въ важивйшихъ вопросахъ о мірѣ и человъкѣ, по его
словамъ, — "пылкіе аденты науки, упоенные успѣхами, спѣшатъ высказать
свои надежды и, увлекаясь все больше и больше, произносятъ съ комической важностью рѣшительный приговоръ, — такой грубый, такой безобразный, такой безиеловтиный приговоръ!.. Вы удивляетесь, читатель
(замѣчаетъ самъ г. Ю. Савичъ), вамъ странно слышать такое рѣзкое сужденіе надъ тѣмъ, что называютъ успъхами науки (то-есть, здѣсь разумѣются, вѣроятно, все тѣ же современныя идеи, на которыя такъ вооружаются гг. Барковъ и Кульжинскій съ братіею?). Но успокойтесь! въ
сокровищницахъ ея много есть всякаго хлама, и стараго, и новаго, — не все
же принимать за золото " (стр. 273). Но что же именно надо принять за
золото и что за хламъ? Какъ это узнать? Вѣдь всякія доказательства и
витиніе признаки г. Савичъ отвергаетъ и презираетъ!.. А вотъ слушайте:

«Только то останется истиннымъ сокровищемъ, дорогимъ достояніемъ науки, что выйлетъ чистымъ изъ горнила душевнаго, изъ сознанія нашего,—единственно возможной пробы, когда діло идетъ о предметахъ высшаго духовнаго значенія. Но если вамъ выдаютъ за истину такія понятія, которыя противорічатъ вашему сознанію, разуму, чувству—неужели вы примете ихъ, потому только, что сулятъ вамъ ихъ во имя науки? Не можетъ быть, если вы человікъ не легкомысленный и не тщеславный», и пр.

Переведемъ эти идеальныя фразы на простой языкъ; онъ будутъ значить вотъ что:

"Вы хотите учиться, потому что сознаете себя недостаточно образованнымъ. Но не думайте, что наука должна расширить вашъ взглядъ, иначе сгруппировать знакомые вамъ предметы, представить ихъ вамъ въ новомъ свътъ, сдълать доступными вашему сознанію такіе предметы, которыхъ вы прежде не сознавали, возбудить въ васъ новыя сочувствія и новыя антипатіи, невъдомыя вамъ прежде. Нътъ, вовсе нътъ! Вы должны принимать изъ науки только то, что постоянно будетъ согласоваться съ вашимъ сознаніемъ, разумомъ, чувствомъ, — на той степени, на которой они стоятъ при началъ вашихъ занятій наукой. Поэтому, ежели вамъ говорятъ, что земли движется вокругъ солнца, что солнце больше земли, а нъкоторым звъзды, видимыя вами, еще больше солнца, ит.п., — "неужеливы повърите этому, потому только, что все это говорятъ вамъ во имя науки? Не можетъ быть, если вы человъкъ не легкомысленный и не тщеславный". Точно такъ и въ мірѣ нравственныхъ началъ, — ежели вы стоите на той степени развитія, до которой дошелъ г. Дымманъ въ своей "Наукъ жизни", или г. Миллеръ-Красовскій въ своей педагогикъ, — то, пожалуйста, и оставайтесь при своемъ, ежели только вы человъкъ не легкомысленный и пр. Пусть наука толкуетъ вамъ о разныхъ филантропическихъ понятіяхъ въ воспитаніи, пусть представляетъ теорію новыхъ общественныхъ отношеній, о нованныхъ на честности и правдъ, а пе на угожденіи всякому и не на обезличеніи самого себя. Вы не должны принимать подобныхъ внушеній, потому что въ нашемъ сознаніи есть уже противоположныя начала; а если вы имъ изиъните, то покажете, что вы человъкъ легкомысленный или тщеславный".

Какое торжество для г. Дыммана, для г. полковника П. С. Лебедева, для г. Баркова, для всёхъ возможныхъ Митрофанушекъ нашего времени! Господниъ Ю. Савичъ въ "Атенев" разрёшаетъ имъ не учиться, не вёрить наукъ, презирать ее, если только она осмълится сказать что нибудь вопреки ихъ единичному сознанію и чувству. Если сознаніе и чувство откупщика заставляють его считать гибелью для государства распространеніе трезвости; если сознаніе и чувство американскаго плантатора велить ему считать святымъ и неприкосновеннымь дёломъ угнетеніе негровъ; если взяточникъ находить въ своемъ сознаніи и чувстве уголовныя обвиненія противъ людей, порицающихъ взятки, то правы эти люди, отвергая всякія логическія убъжденія, выработанныя общественными науками! По г. Савичу, слёдуетъ восхищаться ими, какъ людьми не легкомысленными и не тщеславными. Да что ужъ говорить объ этихъ людяхъ! Авторитетъ г. Савича разрёшаетъ всякому недорослю — не учиться и презирать науку. Зачёмъ же въ самомъ дёлё учиться, ежели я изъ науки не смёю и не долженъ принимать ничего, не согласнаго съ тёмъ, что теперь я знаю и чувствую? Въ чемъ же будетъ состоять мое пріобрётеніе? Гораздо лучше довольствоваться универсальной, бездоказательной истиной, которой, къ великому огорченію г. Савича, не оказывается ни въ одной философской системѣ, да заняться самознаніемъ, "въ которомъ выражается высшее органическое единство сознательной идеи", — какъ выражается не совсёмъ понятно г. Савичъ на стр. 286 1).

<sup>1)</sup> Вотъ его слова, со всеми его курсивами. «Идея—непосредственное произведене всеобъемлющаго разума, недълимато въ своей сущности, но безконечно произво-

Вообще г. Ю. Савичъ въ своемъ идеализмѣ заносится такъ далеко, что совершенно теряетъ изъ виду человѣческія потребности и всякія условія здраваго смысла. Онъ ужасно крѣпко держится на своей бездоказательной истинѣ, и въ самомъ дѣлѣ писколько не доказываетъ ее. За то реторика у него въ большомъ ходу, и онъ прибѣгаетъ къ ней даже тамъ. гдѣ вовсе этого не нужно. Напр., неужели нельзя было объяснить достоинство человѣка проще и спокойнѣе, чѣмъ какъ дѣлаетъ это г. Савичъ въ слѣдующихъ строкахъ ("Атеней", стр. 284):

«Пе можетъ быть ничего прекраснье, ничего выше и благородите человъка! Всмотритесь только поглубже въ него, и вы согласитесь со мною; вемотритесь, какъ свытлый лучь Божественной сущности прошель черезь материю вы безконечныхъ миріадахъ жизненныхъ формъ, все подчиняя безисловно и безотатино непредожнымъ. законамъ своимъ, и только въ лиць человька, самъ озаривъ себи свытомъ своимъ. узрыть, распознать себя, почусствоваль Бога 1)-сталь человькомъ. Сколько силта льется отсюда!.. Такъ вотъ гдь душа человіка-завітная кольбель добра, правосудія, разума и любви!.. Но, Боже праведный! какъ отступились отъ Тебя люди Твов. какъ дурно пользуются они свободой и разумомъ - лучшими зарами Твоими!.. Сколько втунь протекло въковъ, ничьмъ себя не отмътившихъ, или постылно прославленныхъ самозабвеніемъ человѣка, непониманіемъ Божественныхъ истинъ, злочнотребленіемъ свободы и разума... Да, много зла вопість о правосудій, и было бы, кажется, довольно одной исторіи человічества, чтобъ получить право отринать въ человікі п душу, в разумъ Вожественный... Самъ затопталъ себя въ грязь человекъ, самъ отвернулся отъ Бога своего и отрекся отъ себя, а истина все-таки светитъ въ душе его, и не закрыть ее никакими софизмами. Но пора просиуться! пора заглянуть намъ поглубже въ себя, пора намъ развъдать, откуда намъ этоть свъть и отчего, хоть при случайно-вызванномъ блескъ его, такъ тревожно бытся сердце, такъ робко шепчутся страсти, смиряется дерзая мысль. и смутно, неловко становится человьку, какт будто стыдно самого себя... Счастливыя 2) минуты! кто васъ не знаетъ. кто не отмітиль васъ хоть разъ въ своей жизни?...

Вмѣстѣ съ краснорѣчіемъ, г. Савичъ отличается и замысловатостью, которая въ иныхъ мѣстахъ грозитъ даже перейти въ глубокомысліе. Напр., послушайте, какъ г. Савичъ объясняетъ отношеніе разума къ матеріи— числовыми сравненіями.

дительного: такъ что природа вся, весь видимый міръ—живая книга, въ которой высочайшій разумъ запечатльть свои божественныя истины. Отсюда, поэтому, сльдуеть, что изученіе и раскрытіе законовъ разума, выраженныхъ во всемъ эмпирическомъ мірѣ, составляеть сущность науки. Идея, олицетворенная человѣкомъ и живущая въ немъ, составляетъ сущность его разума, какъ сознательной идеи разума. Вожественнаго, которая достигаетъ въ человѣкѣ высшаго органическаго единства, выраженнаго самосовнаніемъ».

Читателю предоставляется рёшить, что преобладаеть въ этомъ отрывкі—красноріче или туманность изложенія. Впрочемъ, оба эти качества находятся въ такомъ близкомъ родствів между собою!...»

<sup>1)</sup> Курсивъ у самого автора.

<sup>2)</sup> Счастье-то подумаешь, въ чемъ заключается!.. Когда человѣку стыдно. не-ловко, смутно, тревожено, тогда онъ и счастливъ!.. О, г. Савичъ! Не даромъ же разсуждалъ онъ еще въ прошлогоднемъ Атенев,—«объ отношении идеала человѣческаго блаженства къ идеалу счастья собачьяго»!

«Отнимите одву часть отъ единицы, и единица превратится въ часть; отнимите всв части, и единица превратится въ 0, гдв вы не найдете ни конца, ни начада. Такъ и здѣсь: еоиничности, съ одной стороны, безграничная общность, съ другой, а части являются посредниками между тѣмъ и другамъ, между всеобщимъ и единичнымъ. Читатель, пожадуй, въ шутку можеть упрекнуть меня, что я приведъ къ нудю безграничную общность разума; но если, оставивъ шутки, всмотраться въ значеніе нуля, то не трудно будеть убъдиться, что нудя не существуетъ, ни въ смыслѣ цѣляго, пи въ смыслѣ частей, жоти его непостижимое существованіе не менье того реально».

Не угодно-ли, въ самомъ дълъ, всмотръться въ "непостижимое реальное существованіе несуществующаго нуля"? Какая прекрасная задача послъ
сытнаго объда, для лучшаго пищеваренія? И какое торжество для бездоказательной, универсальной истины, открытой г. Савичемъ въ "Атенеъ"!..
Не даромъ же онъ восклицаетъ въ своей статьъ: "здъсь истина, здъсь
она—во всемъ ведичіи красоты и могущества своего! А мы, какъ слъщы,
бродили вокругъ", и пр... Опять слъдуютъ тъ же увъренія, что всъ ищущіе доказательствъ для истины—дураки круглые...
И однако—странное дъло!— у этихъ самыхъ дураковъ, у этихъ не-

И однако — странное дѣло! — у этихъ самыхъ дураковъ, у этихъ несчастныхъ, не понимающихъ универсальной истины, г. Савичъ нашелъ теорію, которая ему не правится только потому, что она слишкомъ ужъ высока и идеальна!.. Вы, конечно, не повърите этому, и потому мы еще разъприведемъ слова самого г. Савича. Онъ излагаетъ теорію, которую принимаютъ, по его словамъ, матеріалисты (разумъй: глупцы), — и вотъ какъ заставляетъ онъ ихъ высказывать свои убъжденія (стр. 275):

«У насъ теперь, какъ недавно выражался кто-то, на первомъ планъ стоятъ человъкъ и его прямое существованіе—благо. Мы ублочлись (/), что абсолютнаго ничего нътъ, а все вмъетъ значеніе и достоинство только относвтельное. А чтобъ мы были честны, великодушны и справедливы, намъ довольно только знать, что мы находимся въ кровномъ родствъ съ человъчествомъ; не нужно намъ для этого ни вашихъ принциповъ, ни душъ, съ какими то врежденными понятіями о добръ и злъ. Это все для насъ слишкомъ абстрактно. Добро и зло—понятія относительныя; не то хорошо, что нравится мнъ одному, но то, что и вамъ и встмъ приходится по сердцу; а гдъ встмъ хорошо, тамъ, новърьте, и намъ съ вами будетъ недурно. Ротъ вамъ и абсолютно-хорошее, и тъмъ же путемъ можете найти даже и абсолютно-злое, о чемъ наши философы, кажется, и не догадывались. Дъйствовать каждому за всъхъ и встмъ за каждаго, — вотъ нашъ принципъ, и ведетъ онъ насъ не къ ложному счастью».

Изложивъ мысли противниковъ, г. Савичъ представляетъ и свои опроверженія, — вотъ въ какомъ родъ:

«Прекрасное правило, если это дъйствительно правило, а не просто громкая фраза; но ею прикрывается, къ несчастью, такая пустота, такая tabulu rasa, что мы рышаемся разоблачить ее и показать изнанку той блестящей мантіи, въ которую драпируется нашь въкъ. Мы никогда не сомнѣвались въ такомъ чувствѣ, которое забываетъ о себѣ для всѣхъ, которое предпочитаетъ благо общее своимъ собственнымъ интересамъ; мы върили всегоа въ плодотворность подобнаго чувства, но знали его только, какъ исключеніе изъ общиго правила, тщательно отмъчаемое въ числъ риджихъ историческихъ примъровъ; никто бы никогда не рышился основать на немъ соли-

дорность человических в отношеній, и слидуеть для этого искать другого, болье надеженато основания».

Смыслъ этого возраженія, кажется, ясенъ. Другими словами это будетъ вотъ что: "Вы, господа матеріалисты, хотите основать общее благо на круговой порукв интересовъ, на естественной наклонности людей участвовать въ двлахъ общихъ. Въ теоріи вы справедливы; но ваши надежды слишкомъ идеальны. Мы, идеалисты, подобное сліяніе личнаго интереса съ общимъ считаемъ лишь блестящимъ исключеніемъ, которое, какъ ръдкость, отмъчается въ исторіи. Не смъйте же насъ увърять, что ваша наука, ваша породи врест до теория породи врест до теория. теорія довели васъ до такихъ результатовъ; этого быть не можетъ... Это ужъ слишкомъ хорошо и высоко... Гдв же дойти до этого вашей наукъ? Тутъ непремънно нужно другое основаніе... Вотъ мы, идеалисты, могли бы еще вывести столь благотворные результаты, да и то не выводимъ, считая ихъ лишь исключительными, релкими явленіями. Куда же, после этого, вы-то суетесь?"

Такимъ образомъ, роли перемъняются: матеріалисты упрекаются въ томъ, что они слишкомъ ужъ идеальны. Что тутъ дълать бъднякамъ, которыхъ сначала обругали, а потомъ обличаютъ въ неспособности дойти до того, до чего они ужъ дошли! Это опять повтореніе стараго анекдота о педагогъ, который ругалъ мальчика за то, что тотъ слишкомъ скоро ръшиль его задачу. "Какъ ты могъ ръшить ее, когда я самъ еще не успъль окончить вычисленія?"— "Да я по другому способу ръшиль ее". — "Какіе могутъ быть у тебя другіе способы, когда ты еще дуракъ, мальчишка, ничего не понимаешь. Это у меня можеть явиться другой способь, ибо я учитель... Да и то, воть видишь, я рышаю по старому способу... Куда жътебь?"— "Однако же, я рышиль вашу задачу, и совершенно удовлетворительно". — "Вздоръ, врешь; это только такъ кажется, — потому что всъ доказательства подведены и выводъ сдъланъ върный... А въ самомъ-то дѣлѣ гдѣ же тебѣ? Тутъ надобно универсальную истину, чтобы безъ до-казательствъ было доказательно, безъ смысла—умно", и пр. Какъ прикажете толковать съ этакимъ наставникомъ? Не лучше-ли

оставить его въ блаженномъ убъжденіи, что у него одного только ключъ къ истинъ и что всякій, кто не согласенъ съ нимъ, совершенно глупъ? Не лучше-ли и намъ покончить тъмъ же съ г. Савичемъ,—столь красноръчивымъ и последовательнымъ г. Савичемъ?

Но, разставаясь съ нимъ и съ авторомъ комедіи "Сватовство Ченскаго" (если это не одно и то же лицо)... воспользуемся случаемъ сдълать нъсколько общихъ выводовъ объ идеалистахъ и матеріалистахъ, какъ они рисуются у разсмотрънныхъ нами авторовъ.
1) По "Сватовству Ченскаго" идеалисты любятъ жить на чужой счетъ,

занимая деньги безъ отдачи.

- 2) Матеріалисты бывають очень набожны и по три недѣли говѣють, лишая себя причащенія за проявленія вспыльчивости характера (см. стр. 163).
- 3) Идеалисты любятъ върить намекамъ, особенно когда эти намеки объщаютъ имъ прощеніе долга.
- 4) По "Сватовству Ченскаго" и по г. Савичу, матеріалисты составляють синонимь дурака; они составляють фальшивыя завъщанія и хранять ихъ вмъстъ съ подлинными, составленными противъ нихъ; они держать у себя въ цълости украденныя ими заемныя письма на нихъ же...
- 5) По г. Савичу, "каждый индивидуумъ идеалиста прямо вытекаетъ изъ идеи, которая въ немъ реализируется, принимая форму вещественности.
- 6) Матеріалисты никуда не годятся, главнымъ образомъ, потому, что они слишкомъ идеальны, такъ что признають общимъ нравственнымъ требованіемъ то, чему идеалисты могуть только удивляться, какъ рёдкому исключенію.
- 7) Изъ всего этого следуетъ, что идеализмъ неизбеженъ въ матеріализмѣ, по понятіямъ г. Савича, и что оба эти начала чрезвычайно перенутаны и перемъщаны, — если не въ мірѣ, то въ головахъ г. Савича и автора "Сватовства Ченскаго" (если это не одно и то же лицо)...

**Лучи и т\*ни.** Сорокъ пять сонетовъ Д. фонг-Лизаногра. Москва. 1859.

Стихотворенія В. Бажанова. Спб. 1859.

Стихотворенія Александрова. Москва. 1859.

Господинъ Д. фонъ-Лизандеръ пріобрѣлъ уже себѣ почетную извѣстность въ нашей литературѣ, какъ участникъ знаменитаго протеста противъ поступка "Иллюстраціи". Въ 22-й книжкѣ "Русскаго Вѣстника" за прошлый годъ — имя его красуется въ числѣ протестантовъ, между именами Я. Савурскаго и Ө. Тимирязева, съ одной стороны, и Д. Хитрова, Д. Хомякова, И. Хомякова и С. Хомякова — съ другой. Слѣдовательно, нѣтъ никакой надобности говорить о возвышенности и благородствѣ чувствованій, которыми должны быть проникнуты сорокъ пять сонетовъ г. фонъ-Лизандера. Правда, высокія качества своего нравственнаго характера г. фонъ-Лизандеръ заявилъ еще во время восточной войны, когда написалъ весьма грозное пагріотическое стихотвореніе "Нашимъ врагамъ". Но это обстоятельство все еще было не столь блистательно и

рѣшительно, какъ то, когда г. фонъ-Лизандеръ сталъ въ ряди нобѣдоносной арміи, такъ громогласно ополчившейся на защиту гг. Чацкина и Горвица отъ страшнаго "Знакомаго человъка". Этотъ послѣдній подвигъ замьтно отразился на самомъ характеръ сонетовъ г. фонъ-Лизандера, большая часть которыхъ писана въ 1858 году. Бродитъ-ли онъ по въсу, — ему тотчасъ представляется грамматическая темнота въ извъстной фразъ "Иллюстраціи", темнота, освъщаемая только протестомъ... Эта поэтическая мысль возбуждаетъ въ исмъ слѣдующее обращеніе къ оушю, подъ которою можно разумѣть душу несчастнаго, оклеветаннаго "Знакомымъ человъкомъ":

О душа! Какъ ни столиились плотно Вокругь тебя печали-великаны <sup>1</sup>), По и въ тъмћ <sup>2</sup>), съ нихъ льющей и подъ ноги И на грудь, все блещуть искрометно, То какихъ-то свътлыхъ думъ поляны <sup>3</sup>). То къ какимъ-то звучнымъ днямъ дороги <sup>4</sup>).

Мы полагаемъ, что эти стихи именно относятся къ клеветть и обличению "Иллюстраціи", потому что только при такомъ объясненіи и можно найти въ нихъ нёкоторый смыслъ.

Къ этому же знаменитому дълу относятся, въроятно, и тъ стихи, въ которыхъ г. Д. фонъ-Лизандеръ увъряетъ, что морозъ не препятствуетъ ему предаваться благороднымъ порывамъ. Извъстно, по словамъ Гоголя, "всякому, даже не учившемуся въ семинаріи", — что поступокъ "Иллюстраціи" совершился въ ноябръ. Вслъдствіе того, г. фонъ-Лизандеръ и пишетъ, что прежде любовь согръвала его въ зимній холодъ:

Но теперь—не то. Иныя пънья 5)
Въ эту ночь 6) мой зрваый слухъ внимаеть.
Тени думъ въ блестящія виденья
Тайный звукъ предъ сердцемъ претворяеть,
И роскошный пламень вдохновенья 7)
И въ морозъ—грудь жаромъ обливаетъ...

На "Иллюстрацію" же, кажется, написаль г. фонь-Лизандерь и следующій сонеть:

<sup>1)</sup> Намекъ на большой форматъ «Иллюстраціи».

Здая иронія надъ самымъ названіемъ «Илиюстраціи», которое значитъ «освѣщеніе».

<sup>3)</sup> Здѣсь, вѣроятно, разумѣются «Московскія Вѣдомости», открывшія у себя поляны, т.-е. страницы для протеста.

<sup>4)</sup> Этотъ стихъ, должно быть, относится къ «Русскому Въстнику», который звучно показывалъ дорогу протестантамъ.

<sup>5)</sup> Нужно разумьть—пьвучія прокламація «Русскаго Въстника».

<sup>6)</sup> Метафорическое выражение, коимъ обозначаются обыкновенно невѣжество и нечистота сердца; а вмѣсть съ тьмъ опять и колкость «Иллюстраців».

<sup>7)</sup> Возбужденнаго подпиской противъ «Знакомаго человъка».

Сфрый день блестить темно и кисло 1), Пятна лужь покрыли грязный дворь. Мокрый быкь глядить на нихъ безъ смысла, Ціль воронь покрыла весь заборь 2). У колодца чье-то коромысло Позабыто, и ужь съ давнихъ поръ На бадьё приподнятой повнело... Воть и вес, что видить праглый взорь 3), Да не больше пиши и оля слука. Развлекла его бидияжка мука (мертиной пъсней въ лапажь паука 4). Но и сердце тянетъ пъсню ту же: И его облапила не куже, Чъмъ паукъ, смертельная тоска 5).

Если мы не ошибаемся въ смыслъ. какой даемъ этому стихотворенію, г. фонъ-Лизандеръ обладаетъ замъчательнымъ сатирическимъ талантомъ. Впрочемъ, мысль свою — основную мысль почти всѣхъ его произведеній—о томъ, что не нужно клеветать и вообще лгать.—г. фонъ-Лизандеръ выражаетъ не только въ юмористическомъ тонъ, но и въ звучныхъ диопрамбахъ. Напримъръ, вотъ заключеніе стихотворенія "Во храмъ", также написаннаго подъ вліяніемъ мысли о гнусности клеветы:

О! да, да. Пусть хоть разь и этоть блескь лампадный в. П дыть кадиль, и хорь, и сонть съятых промадный Всёть этить дътять яжи хоть разь воскликнуть грозно, Что здёсь, предъ божествоть—не мысто фариссиству, А мысто ханжеству, разврату и злотиству (sie!) Покаяться всымь сплошь, да плакать слезно, слезно.

Въ послъднихъ стихахъ недостаетъ смысла, но этотъ недостатокъ легко искупается избыткомъ благородныхъ чувствованій... по крайней мъръ въ глазахъ многихъ протестантовъ!

Впрочемъ, подвиги гражданской доблести не проходятъ даромъ поэтамъ. Одаренный, какъ видно, имлкимъ воображеніемъ, г. фонъ Лизандеръ, послъ совершенія своего благороднаго дъла, подвергся весьма безповойнымъ мечтаніямъ. Онъ представилъ себъ, что ложь, въ видъ "Зга-

<sup>1)</sup> Очевидно, здѣсь намекъ на рисунки, помѣщающіеся въ «Иллюстраціи», равно какъ и въ слѣдующемъ стихъ, гдѣ говоритея о пятише».

<sup>2)</sup> Эти два стиха, при всей своей художественной предести, составляють не слишкомъ лестный комплименть читателямъ «Иллюстраціп».

<sup>3)</sup> Это нужно относить къ бъдности рисунковъ къ «Иллюстраціи».

<sup>4)</sup> Очевидно, здѣсь олицетворяется беззащитное положеніе оклеветаннаго «Знакомымъ человѣкомъ».

<sup>5)</sup> Здѣсь поэтически выражается тоскливое чувство, произведенное во всѣхъ друзьяхъ прогресса поступкомъ «Иллюстраціи», хуже котораго они ничего не видали на Руси.

<sup>6)</sup> О да, да. Пусть хоть разъ... Замічательный спондей, могуцій поспорить съ извістнымъ образцовымъ спондеемъ: «Галлъ, Грекъ, Персъ» и пр.

комаго человъка", гонится за нимъ, и, одержимый наинческимъ стракомъ, г. фонъ-Лизандеръ бъжитъ, скачетъ... "Знакомый человъкъ" за нимъ, и г. фонъ-Лизандеръ, въ мрачномъ безнокойствъ, восклицаетъ своему ямщику:

Погоняй! По колеямъ, по глади, Погоняй! Во весь опоръ скачи! Отъ того, что мчится туть же, сзади, О, скоръй, скоръй меня умчи! Ложь въ устахъ. ложь и обманъ во взглядъ, Всъхъ надеждъ померкипе лучи, Мой кумиръ 1), во въ площадномъ нарядъвотъ что сзади... Сердце, помолчи! Тройка вскачъ, во весь опоръ несется. Я лечу, какъ мелнія летитъ... Что ни мигъ, все дальше остается Эта ложь... Но что жъ меня умчитъ Отъ моихъ слезъ. жгучихъ язвъ. стенаній. Отъ твонхъ, о память, содроганій?.

Послѣдніе стихи достойно заключають это стихотвореніе, превосходно выражающее необычайный страхъ, наводимый на поэта мыслью, что за нимъ гонится "Знакомый человъкъ" съ рисунками "Иллюстраціи".

Зная теперь, какой страхъ испытывалъ г. фонъ - Лизандеръ, мы не удивимся, узнавъ отъ него, что и самый протестъ, подъ которымъ онъ подписался, не доставляетъ ему наслажденія, а, напротивъ, казнитъ его. Въ отчаяніи г. фонъ Лизандеръ восклицаетъ:

Казнить меня, все, все: дни силь и дни безсилья, Казнить и то, чёмь жиль, и то, чёмь я не жиль, Казнить и то, куда я еле двинуль крылья, Казнить и то, къ чему во всю ихъ мочь спъшиль.

Послёдній стихъ, очевидно, указываеть на тотъ благородный энтузіазмъ, съ которымъ всё друзья нашей гласности и прогресса спёшили стать въ ряды защитниковъ гг. Чацкина и Горвица... Грустно видёть исихологическій результать, оставленный этимъ блистательнымъ дёломъ въ сердцё и умё г. фонъ-Лизандера!.. Вмёсто гордаго наслажденія и могучаго самодовольства, онъ испытываеть и выражаеть въ своихъ стихахъ лишь малодушныя мечты разстроеннаго воображенія. То у него "ужасъ и кручина — дыбомъ волосы поднимутъ на чель"; то у него "въ глаза слой ржавчины голодной глядитъ и мглы черньй"; то представляются ему "десятки палачей и тоноръ въ размахь"; то снится ему, —

Что онъ уснулъ и спитъ подъ райскими кудрями Какихъ-то райскихъ женъ, и видитъ, упоенный,

<sup>1)</sup> Какъ видно, г. фонъ-Лизандеръ въ прежнее время любилъ «Иллюстрацію», въ которой, кажется, помѣщалъ даже свои стихотворенія.

Какъ херувимовъ рой, сквозь шолкъ ихъ, благоскловно Взираетъ на него сапфирными очами...

То онъ испытываетъ странное чувство во время прогулки и вдругъ, какъ опъяненный, садится на пень и въ этомъ поэтическомъ положении размышляетъ:

Я присъдъ на пень, какъ опланенный. Свътлый воздухъ, зноемъ пропоенный, Легъ, какъ ласка милой на плечахъ...
О, Творецъ! Ужъ если здъсь такая Иъга есть,—что жъ тамъ насъ ждетъ, сіяя Въ благодатныхъ этихъ небесахъ?..

Нылкое воображеніе г. фонъ-Лизандера доходить до того, что подвергаеть его следующей непріятности. У поэта быль во владеній лесь. "Деревьевь вековыхъ наследникъ небогатый", онъ продаль ихъ на срубъ. Но когда стали ихъ рубить, то ему вообразилось вотъ что.

... Точь въ точь передо мною губять Не льсъ, – монкъ друзей, и головы имъ рубять...

Богъ знаетъ, до чего бы могло дойти разстроенное восображение г. фонъ-Лизандера, еслибы не успокоилъ его "ангелъ-хранитель" такою пъсенкой:

Спи, білный, спи! Усыпленье бевпечное— Лучшее благо сердиамь. Въ немъ ты поймень усыплен е вічное, То, что могила дастъ намъ.

И г. фонъ-Лизандеръ сиитъ, — и можно сказать, спитъ на лаврахъ, послъ знаменитаго протеста. Впросонкахъ пишетъ онъ стихи, большею частью лишенные смысла и всегда нескладные; по "когда же складны сны бываютъ?" Будемъ довольны и тъмъ, что въ сонныхъ стихахъ г фонъ-Лизандера все - таки увъковъчена для потомства исторіи знаменитаго протеста 1).

Что касается до характера поэтическаго генія г. Бажанова, то мы надвемся опреділить его довольно вірно, сказавши, что въ семъ пінті представляется намъ суровый пуританинь, одержимый эротическими страстями. Съ одной стороны—вотъ какіе обличенія и совіты:

<sup>1)</sup> Очень можеть быть, что г. фонть-Лизаниерь, или кто-нибудь другой за него (изъ протестантовъ), проснется вновь и сочинить протесть противъ насъ, въ которомъ докажетъ, что въ «Лучахъ и Тъняхъ» нътъ ни малъйшаго намека на «Плаюстрацію» и «Знакомаго человъка», и что наши предположенія составляють ни болье, ни менье, какъ «бездоказательное посягательство на мысль поэта, —это священнъйшее достояніе души человъческой». Если такой протестъ (какъ мы ожидаемъ) состоится, то заранъе просимъ дозволенія напечатать его въ «Свистав». «Свистокъ» будеть очень счастливъ, если удостоится этой чести!

О смертный! не ронщи на свой удблъ: Вооружись теривниемъ и върой, Неси свой крестъ покорно, -- и Господь Сторицею воздасть тебь въ той жизни За здішнія лишенія твои... Все тапка: богатство. почести и слава; Ты нячего съ собою не возьмешь Въ тотъ неизбіжный часъ, какъ Ангелъ смерти Отъ тяжкихъ узъ тълесныхъ разрышитъ Безсмертью предназначенилю душу;-Тогда предъ неумытнымъ Судіей Предстанеть не вельможа знаменитый И не богачъ, - предстанетъ челов! къ. Съ порочными иль добрыми ділами, И приметъ меду, заслуженную имъ... Благоговый, смирись предъ Провидываемъ: Его рука путемъ тернястымъ бъдствій Къ небесному блаженству насъ ведетъ; Зопьсь только тоть и счастлинг, и покоень, Кто, экребіем доноліствунсь споимь, Съ теривніемь удары рока спосить.

## А съ другой стороны вотъ какія "Воспоминанія старушки":

Ахъ, -- и я была когда-то молода, И слыла въ сель красавицей тогда!.. Какъ пойду, бывало, въ хороводъ, Мною весь честной любуется народъ... Парни-молодцы, какъ мухи къ меду, льнутъ И проходу красной дівкі не дають... Только слышишь: Мароа, - спой да попляши! У те голосъ, - у те ножки хороши!.. Кто орешковъ, кто гостинцевъ мнв сулитъ, Кто колечкомъ, кто платочкомъ подаритъ,-А Степанъ, -- лихой, удалый молодецъ, Заручилъ меня, младую, подъ венецъ... Подъ вынцомъ я рабла, словно маковъ цвыть, Говорили: краще девки въ свете нетъ... А теперь гдѣ ты, —скажи, моя краса?... Поседела темнорусая коса; По селу едва-едва брожу съ клюкой.-Одолела старость съ хворостью лихой, и пр.

И опять-съ одной стороны, сътованія на порочность всего міра;

Насъ обуять корысти духъ лукавый, а Его рабы,—мы съ самыхъ юныхъ лётъ, До гроба ищемъ тлённыхъ благъ и славы, Какъ будто въ насъ души нетлённой нётъ, и пр.

а съ другой—восхищение женскимъ локономъ и разсказъ о поцѣлуѣ, "полномъ нѣги безмятежной"... Да еще это бы не бѣда, — хотя, конечно, и локонъ подходитъ къ разряду *тапенныхъ* благъ. Ну, да ужъ положимъ,

что имъ еще можно утвшаться, потому что волосы все-таки не такъ скоро истлеють, какъ остальныя части тела... Но ведь дело въ томъ, что г. Бажановъ, въ своемъ пристрастіи къ локону, заходить ужъ слишкомъ далеко. Онъ восклицаеть:

Ты одина души томленье. Думы скорбныя мои, Въ грустный часъ уединенья Услаждаешь, даръ любви!

Эти стихи находятся въ совершенномъ противоръчіи съ назидательнымъ настроеніемъ г. Бажанова, ихъ нельзя признать законными дътьми его пуританской музы. Одинг локонъ услаждаетъ его т.мленье и скорбь! Каково это вамъ покажется? Какъ будто этотъ локонъ—нетлънный! Какъ будто нътъ для человъка высшихъ утъшеній!

Какъ будто въ насъ души нетавиной ньтъ!..

Точно также не можемъ мы помирить слъдующахъ противорьчій музы г. Бажанова. Въ стихотвореніи "1-е января 1858 г." онъ бросаетъ высоко-благородныя и нравственныя обличенія въ лицо развратному свъту. Здёсь онъ говоритъ, между прочимъ:

Прошла гроза, —мы весело, безпечно, Проводимъ дни въ забавахъ и пирахъ, Всъмъ жертвуя для жизни скоротечной, Изгнавъ изъ сердца стыдъ и страхъ,

А между твив, при такомъ обличительномъ направленіи, г. Бажановъ занимается воспѣваніемъ того, какъ молодая нъмка Мальвина поджидаетъ молодого француза Проспера, который къ ней,

Забывая покой, Въ часъ безмольный, ночной, На свиданье любви поспѣщаетъ...

Для всякаго другого это было бы ничего; но г. Бажанову непростительно! Конечно, поэтъ можетъ проникаться сатирическимъ духомъ и изображать пустоту и разврать свъта очень ярко. Поэтому мы не упрекаемъ въ нескромности, напримъръ, пьесу "Выборъ женяха", въ которой невъстою предпочтенъ всъмъ съдой князь,

Въ крестахъ, въ звиздахъ, На костыдяхъ.

Здёсь им видимъ тогъ же духъ, который вчушилъ поэту слёдующіе грозные стихи противъ звёздъ (въ стихотвореніи "Звёздочка"):

Такъ забудь же миріады Звіздъ блестящихъ в большихъ. И тоскующіе взгляды Отврати скорёй отъ нихъ... Имъ понятны наслажденья, А печаль для нихъ чужда: Въ нихъ участья, сожальныя Не найдешь ты никогда...

Такіе строго — обличительные стихи совершенно соотвътствують общему направленію поэта, и за нихъ можно только хвалить г. Бажанова. Но когда онъ утвинается тленнымъ локономъ и съ наслаждениемъ рисчеть сцену ночного свиданія француза Проспера съ намкой Мальвиной, или представляеть игривую амуретку корнета съ Наташей (въ стихотвореніи "Мать и Дочь"), - то нельзя не упрекнуть его музу въ легкомыслів и въ измънъ тъмъ убъжденіямъ, которыя должин бы лежать красугольнымъ камнемъ всей поэзім г. Бажанова. Возвышенный стрей его лиры даль намъ такія стихотворенія, какъ "Молитва". "Крестъ", "Не ропщи", "На копчину Императора Николая І-го", "Печаль и отрада Россіи" — стихотвореніе, не уступающее высотою чувствованій изв'єстному произведенію кн. Вяземскаго "Плачъ и Утвинене". Въ этой сферв собственно и долженъ быль бы оставаться г. Важановъ, и тогда им почти не имъли бы возможности упрекнуть его. Но, къ сожальнію, слабость природы человычесьой превозмогаетъ силу самыхъ крфпкихъ пуританскихъ убъжденій. Ръзвый купидонъ-говоря миоологически - увлекаетъ самого Зевеса-громовержца; не мудрено, что онъ и г. Бажанова увлекъ къ сочинению игривыхъ стишковъ о тавнюмъ локонъ, принадлежащемъ, можетъ быть, той самой нъмкъ Мальвинъ, которая "въ часъ вочной" поспъщала на свидание съ французомъ Просперомъ... Что делать! Эротическія расположенія овладевають, върно, и суровими пуританами, подобными тому, какимъ выставляется г. Бажановъ въ своихъ возвышенных стихотвореніяхъ. Не будемъ судить за это слишкомъ строго: говорять, что отъ стрелъ купидона никто не можеть укрыться, и въ доказательство указывають даже на г. Розенгейма. Ужъ какой, кажется, обличитель, - а и тотъ писалъ эротические стишки, еще почище (не по язяку и не по стиху, впрочемъ), чемъ г. Бажановъ. Притомъ же — что нападать на г. Бажанова, когда онъ самъ уже осудилъ такъ строго свою нравственность на первой же страницъ своей книжки:

Гори ясньй, моя лампада,
Молись теплый, луша моя...

Я рабо страстей, стлжаные ада,—
И вычныхо муко достоино я...
Смотрю въ жизнь прошлую съ боязныю;
Въ ней тщетно добрыхъ дълъ ищу;
И, какъ преступникъ передъ казнью,
Томлюсь, страдаю, трепещу...
Моя луша охолодъла.
Не внемлетъ истинъ святой
Живая въра оскудъла
И съ ней сокрылся мой покой...

Бъдный г. Бажановъ! Хоть бы пришелъ къ нему тотъ утъщитель, который поетъ г. фонъ-Лизандеру:

«Спи бъдный, спи! Усыпленіе сердечное— Лучшее благо сердцамъ!..» и пр.

Стихотворенія г. Александрова тоже нуждаются въ подобномъ утвшитель, ибо авторъ ихъ— необычайный страдалець. Половину книжки занимаеть разказь о нъкоемъ г. Задоринь и о его дочери Эммв, которую поэть, какъ отважно называеть себя г. Александровь, рисуеть съ большой любовью и съ отступленіями въ родь следующаго:

Но къ счастью, на умомъ,
Ни душею, старшая ся дочь Эмма
Пе была похожа на свою мать.
Но я вижу, что вы начинаете терять
Терпініе, что такъ вяло идетъ къ концу поэма.
Я наділось, что вы не будете бранить поэма.
За неправильное названье это;
Туть поэмы піть нисколько,
А просто это одинъ разсказъ,
Которымъ хотіль я васъ
Занять на часъ. П только.
Н оттого такъ назваль,
Что я риомы къ Эмма не сыскаль.

Въ этихъ-то отступленіяхъ, которыя уже сами по себѣ составляють страданіе, равно какъ и вся поэма и даже вся книжка г. Александрова, безпрестанно встрѣчаются такого рода жалобы:

Теперь нигде отрады не нахожу, И, какъ путникъ заблудившійся, брожу Межъ ненавистныхъ мнъ людей, Межъ пошлыхъ и холодныхъ богачей, в пр...

Или:

Давно погибли мои надежды и мечты. Жизнь моя полна душевной пустоты; Я теперь живу воспоминаньемъ однимъ, и пр...

Въ одномъ изъ мелкихъ стихотвореній, г. Александровъ также жалуется:

Время юности живой Промчалось быстро отъ меня, Съ глубокой, мрачною тоской Теперь ни на мигъ не разстаюся я; Страданія и мученія больной души Меня тревожать часто среди ночной тиши..

Въ другомъ стихотворении объясняется:

Давно во мит уснули страсти Сномъ холоднымъ мертвеца, II глубокія морщины избраздили По всімъ направленіямъ лицо: Холодъ, голодъ и многія напасти, Душевный жаръ истощили, в пр...

## Въ стихотворении "Дума" говорится:

Съ глубокой думою сижу я подъ окномъ; И все я думаю тодько объ одномъ: Что я лучийя движенья сердна утратилъ Безплодно, и святыя чувства я растратилъ Въ тяжкомъ и позорномъ бездъйствии и снъ...

## Вотъ начало стихотворенія "Ожиданіе":

Холодъ, голодъ и нищета, Отъ погибшей юности мечта, Мон спутники до гроба. Порой тоска, ненависть, злоба Меня въ жизни сопровождаютъ, Часто быструю радость отравляютъ...

И такъ далѣе, — все одно и то же... Страданіе, да и только. Мы сочли нужнымъ прежде всего указать на это читателямъ, потому что авторъ въ одномъ мѣстѣ говоритъ:

Ты меня опрометчиво не проклинай, Лучше ты мон страданія узнай...

Конечно, страданія г. Александрова не могуть имъть особенной важности и интереса для публики; но столь настойчивое напоминание собственныхъ страданій заставило насъ подумать о причинахъ, по которымъ страдаль г. Александровъ. Мы предались-было даже мечтаніямъ въ родътьхъ, какимъ предавался Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, просматривая списокъ мужиковъ, купленныхъ у Собакевича. Кто такой г. Александровъ? Гдъ и какъ протекла его юность? За что тышилась надъ нимъ злая судьба? Изъ внижви видно, что г. Александровъ-какой-то самоучка; не только о версификаціи, но даже о правописаніи онъ не имфетъ никакого понятія, но въ то же время онъ разсуждаеть объ устройств общества, о взяткахъ, о банкометахъ и понтерахъ, о балахъ и бокалахъ, упоминаетъ даже о Рафаэлъ и Перуджино... Трудно разобрать, что такое представляеть собою авторъ этихъ стихотвореній... Бъдный-ли онъ чиновникъ, на старости лътъ лишившійся иъста по неблагонадежности или вслъдствіе сокращенія штатовъ? Пом'єщикъ-ли какого-нибудь захолустья, заглянувшій разъ въ жизни въ столицу, увидавшій тамъ двухъ литераторовъ и, вследствіе того, возгорѣвшій стремленіемъ къ литературной славѣ? Или онъ отставной инвалидъ, покоящійся на лаврахъ и посвящающій свои досуги служенію музамъ? А можетъ быть, это — самоучка-мѣщанинъ, какихъ такъ много нынѣ развелось на Руси? Можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ, не посчастливилось ему въ жизни, и "голодъ, холодъ, нищета" — можетъ быть, составляютъ для него не стихотворную фразу, а дѣйствительныя лишенія, которыя онъ испыталъ... Но, въ такоиъ случаѣ, зачѣмъ онъ толкуетъ о бокалахъ, выпитыхъ имъ на пирахъ, о красавицахъ, съ которыми онъ танцовалъ на блестящихъ балахъ, и пр.?.. Ради-ли стихотворной вольности, или тоже по дѣйствительному опыту жизни?.. И что, наконецъ, привело его къ описанію этихъ страданій? Кто и какъ рѣшился издать эту безобразную книжечку, сѣрую, неопрятную, напечатанную рѣшительно безъ всякой корректуры?..

Праздные, забавные вопросы, если смотръть на нихъ съ общелитературной точки... Но нельзя отъ нихъ удержаться, когда подумаешь, сколько добродушія и совершеннъйшей нищеты духа долженъ имъть авторъ книжечки, подобной стихотвореніямъ г. Александрова. Тутъ внутренняя ничтожность и вздорность ничьмъ не прикрыты: ни звучнымъ стихомъ, ни блестящими современными фразами, ни гордыми претензівми на званіе общественнаго дъятеля, такъ часто принимаемыми у насъ за признакъ внутренней силы... Видно, что авторъ не принадлежить въ высоко - образованной фалантв протестантовъ противъ "Иллюсграціи", какъ г. фонъ-Лизандеръ, и даже не проникнутъ такою выспреннею назидательностью, какъ г. Бажановъ. И однако — въ стихахъ его всегда можно добиться смысла, чего часто не достаетъ сонетамъ г. фонъ-Лизандера; въ книжкъ г. Александрова нътъ и того страннаго "служенія Богу и мамонъ", какое замътили мы у г. Бажанова. Ясно, что если бъ г. Александровъ поучился, узналъ бы хоть грамматику и версификацію, да чуть-чуть усвоилъ бы себѣ пріемы литературные, онъ бы никакъ ужъ не нацисалъ такихъ безсинслицъ, какія находимъ у гг. фонъ - Лизандера и В. Бажанова... А между тъмъ, теперь даже и эти господа, которыхъ ученье привело только къ правильному стопосложению и къ совершеннъй шей темнотъ разум внія, даже и эти господа посмотрять, пожалуй, съ пренебрежениемъ на г. Александрова!.. Да и какъ иначе? Господинъ фонъ-Лизандеръ импеть имя въ литературъ, онъ участвовалъ въ блистательнъйшихъ литературныхъ экспедиціяхъ; г. Бажановъ тоже — если еще не имъетъ, то будетъ имъть имя: по крайней мъръ стихотворенія его помъщались въ нъкоторыхъ журналахъ, считающихъ себя весьма серьезными и значительными... А г. Александровъ презрѣнъ вездѣ и всѣми, за то собственно, что говоритъ только о своихъ страданіяхъ, да и тѣхъ не умѣетъ изложить хорошенько — по строгимъ правиламъ искусства... Вѣдный г. Александровъ! Такъ ужъ ему вѣрно судьбой назначено — во всемъ быть страдальцемъ: въ жизни страдаль онъ; когда онъ стихи свои писалъ, — тоже, должно быть, страдалъ и мучился надъ ними неимовърно; да и напечатавши свою книжечку, — ничего, въроятно, не получилъ и не получитъ отъ нея, кромъ огорченія и страдапія...

**Отъ Москвы до Лейпцига**. И. Бабста. (Изъ Атенея). Москва, 1859 г.

Двѣ великія партіи существують издавна между русскими учеными по вопросу объ отношеніяхъ Россіи къ другимъ народамъ Европы. Одна партія выражаеть свое убъжденіе на этотъ счеть формулою: "Россія цвѣтеть, а Западъ гніеть"; а когда ея представители приходять въ нѣкоторый паоссь, то начинають пѣть про Россію ту самую иѣскю, которую, по свидѣтельству г. Милюкова, въ недавно изданныхъ имъ замѣткахъ о Константинополь (стр. 130), оборванный мальчишка въ константинопольской кофейной пѣлъ про Турцію, — а именно:

«Нать края въ свъть лучше нашей Турція, нать народа умите Османдисовь! Имъ Аллахъ далъ всь сокровища мудрости, бросивъ другимъ племенамъ голько групицы разуманія, чтобъ они не вовсе остались верблюдами и могли служить правовърнымъ.

«Ньтъ города подълуною, достойнаго быть предмастьемъ нашего многоминаретнаго Стамбула 1), да хранитъ его пророкъ. Пътъ въ немъ счета двориамъ и кноскамъ

дорогимъ камнямъ и лунолицымъ кразавицамъ.

«Если бы Черное море наполнилось вивсто воды чернилами, то и его не достало бы описать, какъ сильна и богата Турція, сколько въ ней войска и денегъ, и какъ всё народы завидують ея сокровищамъ, могуществу и славѣ».

Г. Милюковъ завъряетъ, что его проводникъ изъ грековъ, переведши ему эту пъснь, нагнулся къ нему и шепнулъ, въ pendant къ ней: "собаки! настоящія собаки!..." (стр. 131).

Но дело не о собакахъ...

Въ противоположность первой великой партіи, сейчасъ охарактеризованной нами, другая должна бы говорить: "Нътъ, Россія гніетъ, а Занадъ цвѣтетъ". Но столь крайней и дерзкой формулы до сихъ поръ въ русской литературъ еще не появлялось и, конечно, не появится, ибо никто изъ насъ не лишенъ патріотизма. Партія, противная турко-подобной партіи, останавливается на положеніяхъ, гораздо болѣе умъренныхъ и основательныхъ. Она говоритъ: "каждый народъ проходитъ извѣстный путь историческаго развитія; Западъ вступилъ на этотъ путь раньше, мы позже; намъ остается еще пройти многое, что Западомъ уже пройдено, и въ этомъ

<sup>1)</sup> Здёсь разумей Москву съ ея сороками, но никакъ не Петербургъ.

шествій, умудренные чужимъ опытомъ, мы должны остеречься отъ тъхъ паденій, которымъ подверглись народы, шедшіе впереди насъ".

Къ этой второй изъ двухъ великихъ партій принадлежитъ и г. Бабстъ, какъ удостовъряютъ насъ, между прочимъ, его путевыя письма, о которыхъ мы намърепы теперь говорить. Нужно отдать справедливость г. Бабсту: опъ является въ своихъ письмахъ очень ловкимъ адвокатомъ того дъла, за которое взялся. На каждомъ шагу онъ умъетъ напомнить намъ, какъ насъ опередила Европа; въ каждомъ нѣмецкомъ городкъ умъетъ найти какое-пибудь полезное или пріятное учрежденіе, котораго у насъ еще нътъ и долго не можетъ быть; по каждому изъ главнѣйшихъ нашихъ вопросовъ опъ представляетъ такія соображенія и параллели, изъ которыхъ ясно, что если ужъ Западъ гпістъ, то и наше процвѣтаніе придется назвать плъсенью... Приведемъ нѣсколько такихъ параллелай, сдѣланпыхъ имъ мимоходомъ, во время краткихъ отдыховъ отъ скаканія по желѣзной дорогѣ, какъ опъ самъ выразился о своемъ путешествій (стр. 1).

Въ Берлинъ, говоря о неудобствахъ бюрократіи вообще, г. Бабстъ отдаетъ, однакоже, справедливость прусскому чиновничеству и дълаетъ при этомъ слъдующія замъчанія (стр. 45—47):

«Взгляните на прусскаго полицейскаго, на берлинскаго Schutzmann, войлите въ первое присутственное місто, въ почтамть, въ тюрьму, и на вась полість все-таки инымъ воздухомъ; вы чувствуете себя и среди бюрократической атмосферы свободићи, самостоятельний; вы знаете, что честь ваша не будеть и не можеть быть оскоролена наглымъ поступкомъ, безнаказанною, безсознательною трубостью; вы начинаете сознавать себя человъкомъ свободнымъ, который имъетъ свои права, начинаете понимать, что не вы существуете, работаете и живете для чиновничества, но что последнее существуеть для вась. Съ нами, русскими, происходять, какъ мив показалось, самыя развообразныя изміненія съ первымъ шагомъ за-границу. Мы, какъ хамелеоны, безпрерывно маняемъ цвата, покуда, наконецъ, не успаемъ приманиться. Сначала русскій является такимъ подобострастнымъ, віжливымъ, такъ боязливо подходить къ чиновнику на дорогь, къ полицейскому, что обращаетъ на себя общее вниманіе. «Віроятно, русскій», случалось мив не разъ слышать о какомъ-нибудь пас ажирь, о чемъ-то упрашивающемъ чиновника жельзной дороги, и упрашивающемъ непремьня уже о какомъ-вибудь синсхождения, о чемъ-вибудь противномъ правиламъ дороги. Чиновники при дорогахъ вообще чрезвычайно вѣжливы, и рѣдко встрѣтишь съ ихъ стороны отказъ, если только есть какая-нибудь возможность услужить. Но потомъ, видя, какъ все угодливо, видя, что люди здѣсь свеболны, нашъ братъ начи-наетъ чувствовать въ себъ сознаніе собственнаго достоинства, самостоятельности, начинаетъ хорохориться, и у многихъ прорываются ужъ барскія замашки, своевольничанье и даже грубость, - но это до перваго отпора Дадуть окрикъ. укажуть на законъ, и опять сделаешься — какъ шелковый. Привыкнешь, конечно, обойдешься и станешь действительно гражданиномъ, уважающимъ законъ, сознающимъ и свои права. и обязавности, - къ сожалению только, кажется, до перваго шага на родной почыв, гдь васъ разомъ обдасть иною жизнью, гдь вы, и посль корогкаго отсутствія, несмотря на радость свиданія съ близкими и друзьями, несмотря на родную вашему сердцу жизнь, чувствуете себя сначала неловко и не по себь. Вы отвыкли уже немножко отъ двкой обстановки, хоть и изъ Европы же запиствованной, но дикой по формв и переложенной какъ-то на козацкіе вравы, и въ то же почти мгновеніе вы

чувствуете, какъ въ васъ самихъ начинаютъ шевеляться скиоскія привычки, и смотришь—едва ступилъ на родную почву—норовишь уже кого-нибудь выбранить, хоть извозчика на первый разъ.

«Позвольте вамъ сообщить итсколько наблюденій.

«Много пришлось мић пробхать таможенъ: вездь васъ встръчаетъ чиновникъ съ холодною въжливостью; берутъ ваши вещи, съ невозмутимымъ спокойствіемь осматриваютъ ихъ; вездѣ допольно народа, все это дълается быстро, но безъ шума, безъ суетни, безъ грубости, безъ дикихъ формъ; комнаты, гдъ смотрятъ вещи, удобныя; для всъхъ есть мьето, и отпускають васъ очень скоро.

«Но воть бросаеть нароходь якорь въ Кроншталть. Подъезжаеть долка съ таможенными чиновниками и солдатами. Былъ съ нами на пароходь деньшикъ одного офицера, съ которымъ вздилъ за границу. И онъ, и мы вел съ любовью привітствовали родной край. «Вотъ они, орлы-то наши!» закричалъ, не выдержавъ, служивый, гляля на усачей таможенныхъ. «Сейчасъ признаешь. Воинственное есть итчто .-Мы засміялись, но не прошло и десяти минуть, какъ слухъ нашь быль оскорблень самымъ грубымъ ругательствомъ, которымъ чиновникъ чествоваль одного изъ почтенныхъ, увещанныхъ медалями усачей. Воть мы и у пристави въ Петербурга. Всв ваши вещи взяли, ввели всю ватагу нассажировь въ комнату. У одилхъ дверей стоять два часовыхъ, чтобы никого не впускать въ комнату, гдь досматриваются веши и куда должны входить пассажиры по частямъ. Грышно каждому изъ насъ было бы пожало ваться на чиновниковъ цетероургской таможни. Они несравненно двобезвые и обходительные многихъ заграничныхъ. Такъ же въжливо спращивають васъ, изгъ-ли чего запрешеннаго, всеми сидами стагаются скорте васъ отпустить: но епресимъ ихъ же самихъ, и каждый изъ нихъ самъ сознается, что вифшияя обстановка дика. многосложна, запутанна и отзывается осаднымъ положеніемъ. «Что, братъ, воинственное есть ньчто?» — спросиль я служиваго, съ грустью ожидавшаго своей очереди. — «Точно, ваше благородіе, порядокъ-то тотъ лучше-съ».

«Вдете вы въ Берлинь на жельзную дорогу. Законъ говоритъ, и въ каждой кареть прибито объявленіе, что, для избъжанія сумятицы, вы должны извозчику платить впередъ, дабы извозчики не имъли права толпиться у подъвзда къ станціи. И дъйствительно, вы прівзжаете, носильщики берутъ ваши вещи, вы выходите, извозчикъ отъвзжаетъ, а на его мъсто тотчасъ же становится другой. Въдь очень просто, кажется. Посмотримъ же на наши станціи. Извозчики кричатъ: кто проситъ прибавки, кто ругается, что не додали; жандармы кричатъ, чтобы отъвзжали, козики гращозно трясутъ нагайками; а въдь ларчикъ такъ просто открывается, и можно избъжать всей этой безурядицы. Дъло только въ томъ, что тамъ нечего полиціи—ви изъяснять закона, ни истолковывать его по своему. Постановленія объ извозчикахъ найдешь прибитыми въ каждой кареть или коляскь; каждый извозчикъ знаетъ грамотъ, и онъ не можетъ отговориться незнаніемъ, точно такъ же, какъ ни полиція, ни кто иной не можетъ съ него потребовать ничего лишняго. Чего бы мы, слъдовательно, ни коснулись, какой бы вопросъ ни затронули—результатъ одинъ, что безъ грамотности вичего не сдълаешь и что въ образованіи одно спасеніе».

Замътки и сравненія такого рода безпрестанно дълаются г. Бабстомъ въ его письмахъ. Осматриваетъ онъ библіотеку въ Вреславскомъ университетъ: — его поражаетъ обыкновеніе, господствующее здъсь, снабжать книгами изъ нея учителей гимназій, даже иногородныхъ, и онъ сравпиваетъ съ этимъ прекраснымъ обыкновеніемъ печальное положеніе нашихъ библіотекъ, въ которыхъ большая часть книгъ похоронена, какъ въ гробу, — точно будто библіотека имъетъ единственное назначеніе архива. — Ходитъ онъ въ Берлинъ по гуляньямъ и музеямъ — онъ обращаетъ вниманіе чи-

тателей на то, какъ дешевы и просты у намцевъ изящныя удовольствія, какъ легокъ доступъ въ музеи, какъ развитъ интересъ къ изищнымъ искусствамъ во всемъ народонаселении. Проважая мимо одного мъстечка, нашъ путешественникъ встръчаетъ сцену мирной семейной жизни саксонскаго лъсничаго; онъ не упускаетъ разсказать, какъ жена лъсничаго прядетъ ленъ, и пряжу отдаетъ ткать, какъ сапъ лесничій носитъ пальто изъ грубой парусины, ходить изыкомъ и пр. И затемъ прибавляеть: "Ведный, глупый окружной начальникъ саксонскихъ королевскихъ лесовъ! Какъ же ты не дошель, много учившись и трудившись, до простой операціи съ попенными деньгами, обращающимися въ хорошихъ лошадей, въ коляски, шляцки, тонкое полотно, вытканное, можеть быть, изъ той же пряжи, которую продала твоя жена? " (стр. 91). Осматриваетъ г. Бабстъ элементарную школу въ Лейнцигъ, и тутъ находить онъ поводъ сдълать нъсколько любопытнъйшихъ примъненій къ нашему быту, указывая на отношенія между собою служащихъ лицъ вълейнцигской школв. Здесь, говорить онъ, все просто, все показываеть вамъ, что люди, собранные здъсь, имъють въ виду одну цель, и общими силами, каждый въ своей сфере, къ ней стремятся. Директоръ - это тоть же учитель, только съ большей опытностью, и другіе учителя дов'вряють ему, но и сами имівють въ своемь дівлів голосъ и суждение. Затвиъ, переходя къ нашинъ училищамъ, г. Бабстъ рассуждаетъ (стр. 134-135):

«Вся разница между такою организаціей училищь в другою, вифшнимь образомь, пожалуй, съ нею и сходною, состоить въ томь, что здѣсь директорь имѣеть значеніе и первенство дѣйствительно только потому, что онъ ведетъ цѣлое заведеніе, а вовсе не потому, что онъ старше чиномь или кавалерь, тогда какъ въ иныхъ мѣстахъ онъ прежде всего начальникъ и изъ-за начальническаго своего значенія забываетъ свое настоящее положеніе и цѣль своей должности. Въ одномъ мѣстѣ цѣль и назначеніе каждаго директора и учителя — воспитаніе, образованіе дѣтей, въ другомъ обязанность директора — это быть исправнымъ по службъ, чтобы была у лѣтей хорошая выправка, чтобы на ногахъ мозолей не было, чтобы дружно кричали дѣти здравія желаю!», чтобы застегнуты были мундиры. Можетъ-ли директоръ, буль онъ отличнѣйшій человѣкъ и педагогъ, заботиться и дѣйствовать въ пользу образованія такъ, какъ бы ему хотѣлось, когда—

Свіжо преданіе, а вірится съ трудомъ-

все вниманіе его было обращено не на ученіе, а на порядокъ, когда прівзжавите ревизовать его начальники объ ученіи не только не заботились, но даже и не могли справляться; когда они больше всего смотрвли на ствны да на мундиры, когда подъ заботой о нравственности дітской разумілась забота о стрижкі волосъ. Чиновничество всосалось во всі стороны нашей педагогической жизни, развилось до удивительныхъ разміровъ и породило такую сложную администрацію, которой полобную не встрітимъ мы въ ціломъ мірів. Штатный смотритель, стоя въ полномъ мундирів унвженно передъ директоромъ училищъ, распекаетъ, въ свою очередь, біднаго убязнаго учителя, осмілившагося явиться къ нему безъ формы. Каждая гимназія совершенно, подумаещь, на военномъ положеніи,—столько въ ней сторожей и солдать: одни для чистоты, другіе для поридка, одни, чтобы по субботамъ січь мальчиковъ, другіе что-

бы мыть ихъ. Довольно того, что въ гимназіяхъ на сторожей расходуется гораздо болве денегь, чемъ на всехъ учителей. По кому это неизвестно? Все мы это хорошо знаемъ, у всехъ у насъ оно передъ глазами; наши директоры, наши учителя. - первые отъ этого страдають и жаждуть выдти изъ такого неестественнаго положения; имъ, главнымъ образомъ, оно невыносимо и грустно, - я же съ своей стороны прибавлю здісь одно скромное замічаніе, что и за образцами ходить не нужно далеко. Алмивистрація нашихъ частныхъ пансіоновъ, которые въ отношення къ ученью нетолько ни въ чемъ не уступаютъ гимназіямъ, но даже во многомъ превосходять ихъ, хотя лучшіе учителя одни и ті же и зівсь и тамъ, задминистрація ихъ, своей простотой и экономіей, могла бы во многомъ служить образномъ для будущей реформы гимназій. И это не мое личное мибніе, но многихъ изъ моихъ почтенныхъ товарищей-учителей. Когда содержатель пансіона съ 4 надзирателями и прислугой изъщати, шести человъкъ можетъ вести завеление, гдъ обучается то 150 мальчиковъ. - неужели же невозможно то же самое и из гимназіяхъ? Наконенъ, за образнами можно обратиться и къ нашей старинь. Она иногда можеть дать очень спасительные советы, Я самъ воспитывался въ гвиназів, которая въ 1838 году управлялась директоромъ да совытомъ учителей, изъ которыхъ одинъ исправлялъ директорскую должность, когда самъ директоръ отлучался на ревизію убадныхъ училищъ. При гимиали былъ всего только одинъ сторожъ (Calefactor), и все было въ порядкъ. Я помню живо наше удивленіе, когда вдругъ явилось разъ въ 1840 году, во время утренней молитвы, новое лицо, и когда намъ объявили. что это инспекторъ. Къ чему? зачемъ? - этого, въроятно, хорошо никто не могъ объяснить, - ни мы, ни директоръ, ни самъ инспекторъ, ниже кто другой. Инспекторъ былъ прекрасивйшій человікъ, умівшій снискать, впоследстви, глубокое уважение целаго города, во самъ же сознавался, что опълицо совершенно лишнее, мало того, - что его появление внесло своего рода безурялицу, вмъсто ожидаемаго свыше порядка. - безурядицу уже потому, что лиректоръ не могь сносить новаго лица, съ которымъ ему пришлось делить свои занятія».

Вообще письма г. Бабста наполнены указаніями на хорошія стороны европейской жизни, которыхъ еще недостаетъ намъ. И этого еще мало, что онъ признаетъ въ Европъ много хорошихъ сторонъ: онъ даже не думаетъ, подобно некоторымъ изъ нашихъ иыслителей и ученыхъ, что Европа умираетъ, что въ ней вътъ живыхъ элементовъ. Напротивъ, онъ подсмвивается надъ широкими натурами, которыя свысока смотрять на мъщинскія привычки Европы. Пусть тамъ и мѣщанскія натуры, замѣчаетъ онъ, —да вотъ умъли же устроить у себя то, чего широкія натуры никакъ не могутъ добиться, при всемъ своемъ желанія!.. И при этомъ почтенный профессоръ не сомнъвается, что Европа все будетъ идти впередъ, и теперь даже лучше — тверже и прямъе, — чъмъ прежде. Въ прежнемъ своемъ шествій она, по мивнію почтеннаго профессора, двлала много ошибокъ, состоявшихъ именно въ томъ, что върила въ возможность совершить что-нибудь вдругь, разомъ: теперь она поняла, что этого нельзя, что прогрессъ идетъ медленнымъ шагомъ и что, слъдовательно, все нужно изивнять и совершенствовать исподволь, понемножку... На этомъ медленномъ пути у Европы есть теперь надежные путеводители: гласность, общественное мизніе, развитіе въ народахъ образованности-и общей, и спеціальной. Съ этимъ она уже неудержимо пойдетъ виередъ, и никакія катастрофы впредь

не увлекуть ее. Теперь даже и геніальные люди, и сильныя личности не пужны Европъ: безъ нихъ все можетъ устроиться и идти отлично. благодаря дружному содъйствію общества, умъющаго избирать достойныхъ и честныхъ дъятелей для каждаго дъла. Вотъ подлинныя слова г. Бабста (стр. 17):

«Геніальные государственные люди отдки: они являются въ тяжкія переходныя минуты народной жизни; въ нихъ выражаетъ народъ свои задушевныя стремленія. свои потребности, свое неукротимое требование порышить со старымъ, дабы вы им на новую дорогу и продолжать жизнь свою по пути прогресса; но такія переходныя эпохи наступають для народа въками и, сильно сбается намь, забачи ихъ и значение въ истории чить ли не прошли безвозвратно. Запасъ сведений и знаний въ европейскомъ человъчествъ сталъ гораздо богаче, гражданскія права расширились, сознание правъ усилилось и, наконецъ, довърје къ насильственнымъ переворотамъ, вслъдствје горькихъ опытовъ, угасаетъ. Потребности государственныя и общественныя принимаются всеми близко къ сердин, гласность допускаеть всеобщій народный контроль уважение къ общественному минист въ образованнам правительствь воздерживаеть его от произнольных распоряжений, и оно же заставляеть невольно выбирать въ государственные дъятели людей, пользующихся извъетностью, людей, спеціально знакомыхъ съ частью государственнаго управленія, въ чель которой ихъ ставять, а не перваго проходимца; широко же разлитое въ народа образование, и общее и спеціальное, даеть возможность выбора достойнайшаго Въ Европа прошло или проходить, по крайней мірь, то время, когда еще думали, что хороший какалеристь можетъ быть и отличнымъ правителемъ, плохой шефъ поляціи или попросту поляціймейстерь - директоромъ важнаго спеціальнаго училища. Такія явленія возможны были прежде, когда государственная жизнь была проще и не такъ сложна, когда хорошій подководенъ могъ быть дъйствительно хорошимь администраторомъ.

Такичъ образомъ, по мивнію г. Бабста, не одна Госсія "hat eine grosse Zukunft", какъ говорилъ одинъ сладенькій нёмецъ, скакавшій вивсть съ г. Бабстомъ по жельзной дорогь. Европа тоже имветь будущее, и очень свътлое. Намъ еше нужно пройти большое пространство, чтобы стать на то мъсто, на которомъ стоитъ теперь европейская жизнь. И ма должны идти по тому же пути развитія, только стараясь избъгать ошибокъ, въ которыя впадали европейскіе народы, вслъдствіе ложнаго пониманія прогресса.

Во всемъ этомъ мы совершенно согласны съ г. Бабстомъ. Желанія его мы раздъляемъ, не раздъляемъ только его надеждъ. — ни относительно Европы, ни относительно нашей будущей непогръшимссти. Мы очень желаемъ, чтобъ Европа безъ всякихъ жертвъ и потрясеній шла теперь неуклонно и быстро къ самому идеальному совершенству; но мы не смъемъ надъяться, чтобы это совершилось такъ легко и весело. Мы еще болье желаемъ, чтобы Россія достигла хоть того, что теперь есть хорошаго въ Занадной Европъ, и при этомъ убереглась отъ всъхъ ея заблужденій, отвергла все, что было вреднаго и губительнаго въ европейской исторіи; но мы не смъемъ утверждать, что это такъ именно и будетъ... Намъ кажется,

что совершенно логическаго, правильнаго, прямолинейнаго движенія не можеть совершать ни одинь народь при томъ направленіи исторіи человъчества, съ которымь она является предъ нами съ тѣхъ поръ, какъ мы ее только знаемъ... Ошибки, уклоненія, перерывы необходимы. Уклоненія эти обусловливаются тѣмъ, что исторія дѣлается и всегда дѣлалась — не мыслителями и всѣми людьми сообща, а нѣкоторою лишь частью общества, далеко не удовлетворявшею требованіямъ высшей справедливости и разумности. Оттого - то всегда и у всѣхъ народовъ прогрессъ имѣлъ характеръ частный, а не всеобщій. Дѣлались улучшенія въ пользу то одной, то другой части общества; но часто эти улучшенія отражались весьма невыгодно на состояніи пѣсколькихъ другихъ частей. Эти, въ свою очерець, искали улучшеній для себя и опять на счетъ кого-нибуль, другого. Расширяясь удучшеній для себя, и онять на счетъ кого-нибудь другого. Расширяясь мало-но-малу, вругъ, захваченный благод вяніями прогресса, зад влъ, наконецъ, въ Западной Европъ и окраину народа, тъхъ мъщанъ, которыхъ, по мнънію г. Бабста, такъ не любять наши широкія патуры. Но что же мы видимъ? Лишь только мъщане почуяли на себъ благодать прогресса, они постарались прибрать ее къ рукамъ и не пускать дальше въ народъ. И до сихъ поръ массъ рабочаго сословія во всяхъ странахъ Европы приходится поплачиваться, напримъръ, за прогрессы фабричнаго производства, столь пріятные для мющанг. Стало быть, теперь вся исторія только въ томъ, что актеры перемѣнились, а пьеса разыгрывается все та - же. Прежде городскія общины боролись съ феодалами, стараясь получить свою долю въ благахъ, которыя человъчество, въ своемъ прогрессивномъ движеніи, завоевываетъ у природы. Города отчасти успъли въ этомъ стремленіи; но только отчасти, потому что въ правахъ имъ, наконецъ, уступленныхъ, только очень ничтожная доля взята была дъйствительно отъ феодаловъ; значительную же часть этихъ правъ пріобрѣли мѣщане отъ на-рода, который и безъ того уже былъ очень скуденъ. И вышло то, что прежде феодалы налегали на мѣщанъ и на поселянъ; теперь же мѣщане освободились и сами стали налегать на поселянь, не избавивь ихь и отъ феодаловъ. И вышло то, что рабочій народъ остался подъ двумя гнетами: и стараго феодализма, еще живущаго въ разныхъ формахъ и подъ разными именами во всей Западной Европъ, и мъщанскаго сословія, захватившаго въ свои руки всю промышленную область. И теперь въ рабочихъ классахъ наки-паетъ новое неудовольствіе, глухо готовится новая борьба, въ которой мо-гутъ повториться всѣ явленія прежней... Спасутъ-ли Европу отъ этой борьбы гласность, образованность и прочія блага, восхваляемыя г. Баб-стомъ,—за это едва - ли кто можетъ поручиться. Г. Бабстъ такъ смѣло выражаетъ свои надежды потому, что предъ взорами его проходять все люди средняго сословія, болье или менье устроенные въ своемъ быть; о

роли народныхъ массъ въ будущей исторіи Западной Европы почтенный профессоръ думаетъ очень мало. Онъ полагаетъ, кажется, что для нихъ достаточно будетъ отрицательныхъ уступокъ, уже ассигнованныхъ имъ въ мнъніи высшихъ классовъ, то-есть, если яхъ не будуть бить, грабить, мо-рить съ голоду и т. п. Но такое мнъніе — во-первыхъ, не вполнъ согла-суется съ желаніями западнаго пролетарія, а во-вторыхъ, и само по себъ довольно наивно. Какъ будто можно для фабричныхъ работниковъ считать прочными и существенными тв уступки, какія имъ делаются хозяевами и вообще капиталистами, лордами, баронами и т. д... Милостыней не устраивается бытъ человъка; тъчъ, что дано изъ милости, не опредаляются ни гражданскія права, ни матеріальное положеніе. Если капиталисты и лорды и сделають уступку работникамъ и фермерамъ, такъ или такую, которая имъ самимъ ничего не стоитъ, или такую, которая имъ даже выгодна... Но какъ скоро отъ правъ работника и фермера страдають выгоды этихъ почтенныхъ господъ, — вст права ставятся ни во что, и будутъ ставиться до тъхъ поръ, пока сила и власть общественная будутъ въ ихъ рукахъ... И пролетарій понимаеть свое положеніе гораздо лучше, нежели многіе прекраснодушные ученые, надъющієся на великодушіе стар-шихъ братьевъ въ отношеніи къменьшимъ... Пройдеть еще и всколько времени, и меньшіе братья поймуть его еще лучше. Горькій опыть научаеть понимать многія практическія истины, какъ бы ни быль человъкъ идеаленъ. Въ этомъ случав можно указать въ примъръ на "Задушевную Исповъдь" г. Макарова, напечатанную вънынъшней книжкъ "Современника". Какія необдуманныя надежды возлагаль онь на своего друга, какъ быль исполненъ мечтами о благахъ, которыя долженствовали для него произрасти изъ дружескаго великодушія! И сколько разъ онъ обманывался, сколько разъ практическій другъ толковаль ему ясньйшимъ образомъ, что ему дело только до себя и что онъ, Макаровъ, тоже долженъ самъ хлонотать для себя, если хочеть получить что-нибудь, а не надъяться на идил-лическія чувства друга. Но г. Макаровъ все не хотъль върить, все предавался сладостнымъ мечтамъ и дружескимъ изліяніямъ... Долго печальные опыты проходили ему даромъ и не раскрывали глазъ на настоящее дъло... Но, наконецъ, и онъ въдь очнулся же, и написалъ же грозную "Исповъдъ", въ которой не пощадилъ своего гнъва на свои же прошедшія отношенія...

А что ни гласность, ни образованность, ни общественное мивніе въ Западной Европъ не гарантирують спокойствія и довольства пролетарія,— на это намъ не нужно выискивать доказательствъ: они есть въ самой книгъ г. Бабста. И мы даже удивляемся, что онъ такъ мало придаетъ значенія фактамъ, которые самъ же указываетъ. Можетъ быть, онъ придаетъ имъ

частный и временный характеръ, смотритъ на нихъ, какъ на случайности, долженствующія исчезнуть отъ дальнъйшихъ успъховъ просвъщенія въ европейскихъ капиталистахъ, чиновникахъ и оптиматахъ? Но тутъ ужъ надо бы привести на помощь исторію, которую призываетъ нъсколько разъ самъ г. Бабстъ. Она покажетъ, что съ развитіемъ просвъщенія въ эксилуатирующихъ классахъ только форма эксилуатаціи мъняется и дълается болье ловкою и утонченною; но сущность все - таки остается та же, пока остается по прежнему возможность эксилоатаціи. А факты, свидътельствующіе о необезпеченности правъ рабочихъ классовъ въ Западной Европъ и найденные нами у г. Бабста, именно и выходятъ изъ принципа эксилуатаціи, служащаго тамъ основаніемъ почти всѣхъ общественныхъ отношеній. Но приведемъ нѣкоторые изъ этихъ фактовъ.

Въ Бреславлъ г. Бабстъ узналъ о безпокойствъ между рабочими одной фабрики, требовавшими возвышенія заработной платы, и о прекращеніи безпокойства военною силою. Вотъ какъ онъ объ этомъ разсказываетъ и разсуждаетъ (стр. 37—38).

Вечеромъ, провожая меня наверхъ въ мою комнату, толстый Генрихъ сообщаль мив, что где-то около Бреславля было безнокойство между рабочими. «Haben sie was vom Arbeiterkrawall gehört, Herr Professor .- Nein, - « Es sind Curusaiere dahin gegangen, haben auseinandergejagt?» (Послади туда кирасиръ, и они разогнали работниковъ). Дело въ томъ, что на некоторыхъ заводахъ хозяева понизили задыльную плату, работники отказались ходить на работу, конечно, начали собираться, толковать между собой. Это показалось бунтомъ, послали кирасиръ. и бълныхъ рабочихъ заставили разойтись и воротиться къ хозяевамъ на прежняхъ условікаъ. Начни работники дъйствительно бунтовать, позволь они себь насиле, безчинства-тогда для охраненія общественнаго спокойствія и благочинія правительство самаго свободи ло государства въ мірт не только витшивается, но и полное на это интетъ право: а какое же діло правительству до того, что работники не хотять работать за низкую плату? Употребляетъ-ли когда-нибудь полиція міры для вынужденія у фабрикантовъ возвышенія заработной платы? Такіе случав чрезвычайно какь рідки: а потому не следуеть притеснять рабочихъ, иначе все проповеди о благахъ свободной промышленности останутся пустыми и лишенными всякаго смысла фразами. Кто сместь меня принудить работать, когда я не сошелся в цвнь? Да зачьмъ же оне соединяются въ общества? Это грозить общественной безопасности! - Такъ велите фабрикантамъ прибавить жалованье. - Нътъ. это, говорятъ, будетъ противно здравымъ началамъ политической экономів. — и на этомъ основаній стачка капиталистовъ допускается, къ нимъ являются даже на помощь королевско-прусскіе кирасиры, а такое кирасирское рашение экономическихъ вопросовъ, должно сознаться, очень вредно. Оно только доказываеть, что въ современномъ намъ европейскомъ обществъ не видохлась еще старая феодальная закваска и старыя привычки смотрыть на рабочаго, какъ на чедовъка подначальнаго и служащаго. Подобные примъры полицейскаго вившательства въ дела рабочихъ и фабрикантовъ, къ сонсальнію, не рыдки, и мы можемъ уттшаться только тъмъ, что лучшие публичные органы не перестають громко и энер*ически возставать противъ всякаю прэизвольнаю выпышательства въ отношенія межоч* хозяевами и рабочими, капиталомъ и трудомъ. Такой произволъ всегда наноситъ глубокія раны промышлевности, и если не навсегда, то, по крайвей мірі, надолго оставляеть горечь и озлобление между двумя сторонами, а последствия этого бывають всегда болье или менье опасны для общественнаго спокойствія».

Разсуженія г. Бабста очень основательны; но рабочій вовсе не считаеть утвишительнымя, что за него пишуть въ газетахъ почтенные люди. Онъ на это смотрить точно такъ же, какъ (приведемъ сравненіе — о ужась! — изъ "Свистка"!) глупый ванька смотрёль на господина, который ему объщаль опубликовать юнкера, скрывшагося чрезъ сквозной дворъ и незаплатившаго извозчику денегъ... Да и мы можемъ обратить г. Бабсту его фразу совершенно въ противномъ смысль. "Лучше публичные органы не перестають громко и энергически возставать противъ взякаго произвольнаго вившательства въ отношенія между хозяевами и рабочими, капиталомъ и трудомъ; и, несмотря на то, произволь этото продолжается и по прежнему наноситъ глубокія раны промышленности. Не печально-ли это? Не говорить-ли это намъ о безсиліни, пучшахъ органовъ и пр., когда дёло касается личныхъ интересовъ сословій? "Г. Бабстъ можетъ намъ отвътить, что до сихъ поръ они были безсильны, но, наконецъ, получатъ же силу и достигнуть цёли. Но когда же это будетъ? Да еще и будетъ-ли? Призовите на полощь исторію: гдѣ и когда существенныя улучшенія народнаго быта дёлались просто вслѣдствіе убѣжденія умныхъ людей, не вынужденныя практическими требовавіями народа.

Но, положимъ даже, что это "кирасирское ръшеніе экономическихъ вопросовъ", по выраженію г. Бабста, есть не болье, какъ случайность, коти оно, по его же собственному замъчанію, случается, къ сожальнію, нерьдко... А что же сказать объ отношеніи большихъ фабрикъ въ ремесленному производству в о цеховомъ устройствъ, доставившемъ такіе забавные анекдоты для пятаго письма г. Бабста? Это ужъ никакъ не случайность. Совершенно напротивъ: тутъ видимъ цълое учрежденіе, даже усовершенствованное въ послъднее время, благодаря усивхамъ новъйшей фабричной цивилизаціи. "Послъ того, — говоритъ самъ Бабсть, — какъ рушились всъ послъдніе остатки кръпостной зависимости и обязательнаго труда, когда земля сбросила всъ средневъковыя узы, стъсняющія свободу перехода ен изъ рукъ въ руки. слъдовало бы, конечно, ожидать, чтобы развязали руки и остальнымъ отраслямъ народной промышленности, — но не тутъ-то было! Цеховыя учрежденія остались по прежнему въ полной силъ; они, слъдовательно, стъснали свободное развитіе народнаго труда, затруднили стливъ избытка земледъльческаго народонаселенія къ промысламъ, и были, смъло можно сказать, главной причиной бъдствія во мнотихъ, даже щедро надъленныхъ природою и благословенныхъ мъстностяхъ южной Германіи" (стр. 99). И въ самомъ дълъ, примъры, приводимые г. Бабстомъ, удивительны! Напр., парикмахеры тянутъ въ судъ нъсколько дъвушекъ за то, что онъ убирали волосы дамамъ, и тъмъ учинили подрывъ парикмахерскому цеху. Плотники и столяры спорять между

собою, кому принадлежитъ право постройки деревянной лъстницы; то-кари не дозволяютъ столярамъ придълывать къ стульямъ точеныя и ръзныя украшенія. Одинъ цехъ пирожниковъ имъетъ право печь только слоеные пирожки безъ варенья, а другой — пирожки съ вареньемъ, но безъ масла... Появился въ одномъ городкъ какой-то третій сортъ пирожковъ, очень понравившихся жителямъ. Но ни одинъ изъ существовавшихъ въ городъ пирожныхъ цеховъ не имълъ права печь ихъ и не позволялъ инкому другому. Городъ остался безъ любинкъ пирожковъ... Вообще, въ каждой мелочи, одинъ цехъ горко и злобно слъдитъ за другими, и, по словамъ г. Бабста, присутственныя мъста завалены процессами и жалобами разныхъ цеховъ на нарушеніе ихъ правъ. И между тъчъ ограниченіе и стъсненіе промысловъ не только не уничтожается, по еще время отъ времени пополняется и совершенствуется въ Германіи новыми постаповленіями. Въ 1845 году введены ремесленныя испытанія и регламентація промысловъ, и съ того времени мелкая промышленность въ Пруссіи стала унадать. Несмотря на столь близкій примъръ, въ 1857 году, въ Саксоніи, сочиненъ былъ новый ремесленный уставъ, о которомъ г. Бабстъ отзывается, какъ о нелъвльйшемъ созданіи канцелярской головы. По смыслу вается, какъ о недъпъйшемъ создани канцелярской головы. По смыслу его, "вездъ, при каждомъ удобномъ случат, начальство имъетъ право вмъниваться въ дъла корпорацій, наблюдать за собраніями, за книгами. Ради ремесленныхъ корпорацій, женщинамъ запрещено заниматься разными Ради ремесленных корпорацій, женщинамь запрещено заниматься разными ремеслами; ограничена также ремесленная промышленаюсть въ деревняхъ; ни одна деревня не можетъ имѣть болѣе одного сапожника, портного, столяра, и то только съ разрѣшенія начальства", и т. д. (стр. 100). И надо замѣтить, что все это дѣлается въ видахъ покровительства ремесламъ отъ преобладанія большого фабричнаго производства! А фабричное производство, разумѣется, процвѣтаетъ совершенно свободно и съ каждымъ годомъ все болѣе тяготѣетъ падъ мелкою промышленностью. Противъ этого возможно одно средство, по замѣчанію г. Бабста, — уничтоженіе всѣхъ стѣсненій и свободная ассоціація ремесленниковъ. Но что же, — стараются-ли облегчить пути къ этому тѣ классы, отъ которыхъ зависитъ въ Западной Европѣ регламентація или предоставленіе свободы мелкинъ промышленникамъ? Не заботятся-ли они напротивъ о постановления всякаго пола никамъ? Не заботятся-ли они, напротивъ, о постановлени всякаго рода препятствій и затрудненій на этомъ пути?

Конечно, г. Бабстъ и тутъ находитъ возможность утѣшить себя весьма справедливой мыслью, что "свобода труда непремѣню когда-нибудь вос-

Конечно, г. Бабстъ и тутъ находитъ возможность утѣшить себя весьма справедливой мыслью, что "свобода труда непремѣнно когда-нибудь восторжествуетъ и разобьетъ въ конецъ послѣдніе остатки средневѣковыхъ промышленныхъ стѣсненій". Конечно, такъ; но мы не знаемъ, до какой степени практично такое утѣшеніе. Въ романтическихъ твореніяхъ оно очень хорошо: когда я читалъ, бывало, романы господина Загоскина и

Рафаила Михайловича Зотова, то, въ сомнительныхъ случаяхъ, гдъ герою или героинъ угрожала опасность, я всегда успоконвалъ себя тъмъ, что въдь при концъ непремънно порокъ будетъ наказанъ, а добродътель восторжествуетъ. Но я не ръшался прикладывать этого разсужденія къ дъйствительной жизни, особенно когда увидълъ, что въ ней этого вовсе не бываетъ...

Впрочемъ, г. Бабстъ, какъ политико-экономъ, не долженъ быть упрежаемъ въ недостаткъ практичности...

Порукою за будущее служить для г. Бабста общественное мивніе. Въ доказательство великой силы его въ Германіи, онъ приводить следующій фактъ. "Посмотрите, — говоритъ онъ, — какое великое значение имъетъ здись общественное мивніе: весной 1857 года вышель проэкть новаго ремесленнаго устава (о которомъ говорили мы выше), а въ іюнв того же года собрались ремесленники въ Хемницъ и Росвейнъ, протестовали противъ ствененія промышленности, и правительство не р'вшилось предложить устава на обсужденіе палаты". Какое, въ самомъ д'вл'в, сильное доказательство!.. Ну, а "кирасирское разръшение проявшленныхъ вопросовъ" -одобряется общественнымъ мнъніемъ? А всъ стъсненія цеховъ находять себь въ общественномъ мивнін защиту?.. Да и посль протеста ремесленнивовъ, что же сдълали, — сняли стъсненія, расширили свободу промысловъ? Ничего не бывало. Отчего же это общественное мивніе, заставившее оставить проектъ новаго устава, не заставило въ то же время сделать и нъкоторыя облегченія для мелкой промышленности! Не оттого ли, что здесь общественное мнъніе (какъ угодно выражаться г. Бабсту) приняло для своего выраженія форму не совстить обычную? Не оттого ли, что хемницкія и росвейнскія сходбища были — не просто отголоском в общественнаго мнівнія, а крикоми боли притісняемых бізднякови, рішившихся, наконецъ, крикнуть, хотя это имъ и запрещено?..:

Но, разумъется, и эта уступка была сдълана только потому, что новыя стъсненія, предложенныя новымъ уставомъ, были собственно никому не нужны. Иначе общественное митьніе могло бы быть сдержано "кирасирскими возраженіями". И кто бы помъщаль въ Хемпинъ произвести въ 1857 г. то, что въ 1859 году производили кирасиры около Бреславля. или что въ 1849 г. прусскіе солдаты дълали въ Дрезденъ? Въдь самому же г. Бабсту разсказываль старый чехъ, какъ, тогда, "упоенные побъдой и озлобленные сопротивленіемъ, солдаты кидались въ дома и выбрасывали съ третьяго этажа обезоруженныхъ непріятелей, женщинъ и дътей, какъ они прокалывали плънныхъ и сбрасывали ихъ съ моста въ Эльбу" (стр. 88).

Не знаемъ, гдъ г. Бабстъ нашелъ въ Европъ существование "всеоб-

щаго народнаго контроля" (стр. 17); по мы рѣшительно сомнѣваемся даже въ его возможности при теперешнемъ порядкѣ тамошнихъ дѣлъ. Да помилуйте, какой же тутъ "всеобщій народный контроль", когда въ одинъмѣсяцъ путешествія, скача по желѣзной дорогѣ изъ города въ городъ, г. Бабстъ имѣлъ возможность сдѣлать такого рода наблюденія и замѣтки.

"Въ Берлинъ, — говорить онъ, — не успъли внести мои вещи, не успълъ еще я сбросить пальто, а ко инъ уже явились за наспортомъ, — точно изъ опасной страны прівхаль. И въдь это все Богъ знаеть для чего. Завелся такой порядокъ и держится, а зачъмъ, къ чему эти полицейскія мъры, это няньчаные съ человъкомъ и въчныя опасенія, — этого, я думаю, и самый ръяный защитникъ полицейскаго порядка хорошо объяснить не въ состояніи" (стр. 43). Отчего же это, однако, держится? Неужели въ силу того, что всеобщій народный контроль существуетъ и сила общественнаго мнънія велика?

Верлинское статистическое бюро, бывшее до 1844 года самостоятельнымъ учрежденіемъ, было въ этомъ году подчинено департаменту торговли. Мъра эта "вызвала справедливое неудовольствіе со стороны лучшихъ статистиковъ и ученыхъ Германіи; тогда сдѣлана уступка общественному мнѣнію, и въ 1848 г. статистическое бюро подчинено министерству внутреннихъ дѣлъ"... (стр. 56). Съ дрезденскимъ статистическимъ бюро поступлено еще лучше. "Еще въ маѣ, — говоритъ г. Бабстъ, — Энгель, директоръ его, жаловался, что ему нѣтъ покоя отъ камеръ, и что на него особенно негодуетъ дворянская партія (Junkerthum) за нѣкоторыя данныя, имъ выставленныя относительно дворянскихъ ичѣній, за напечатаніе приблизительнаго вычисленія ихъ доходовъ... Палата саксонская сильно, должно быть, озлобилась на статистику и отказала бюро въ прибавочныхъ 2,000 талерахъ, тогда какъ она же вотировала единогласно 25,000 талеровъ на монументъ въ честь покойнаго короля... Когда я въ августъ проъзжалъ опять черезъ Дрезденъ, — заключаетъ г. Бабстъ, — Энгель вышелъ уже, сказали мнѣ, въ отставку и посвятилъ себя частнымъ дѣламъ" (стр. 98)... Можетъ быть, и это тоже доказываетъ, что тсперь повсюду въ Европъ (исключая, конечно, Австріи!) "гласность допускаетъ всеобщій народный контроль" и что "потребности государственныя принимаются всёми близко къ сердцу"?

А до какой степени велика ужъ теперь сила образованія въ сравненіи съ силою грубаго произвола, объ этомъ очень краснорфчиво можетъ свидфтельствовать г. Бабсту исторія нъмецкихъ университетовъ, которую онъ такъ хорошо излагаетъ въ своемъ четвертомъ письмѣ. Университетамъ-ли ужъ, кажется, не быть опорами образованія? Вѣдь это учрежденіе въковое, высшее, свободное, укоренившееся въ народной жизни, особенно въ

Германіи. И что же оказалось? Университеты ограничены, стѣснены, подвергнуты преслѣдованіямъ, въ которыхъ, по словамъ г. Бабста, каждое нѣмецкое правительство какъ будто хотѣло перещеголять другъ друга... И все это прошло такъ, какъ будто бы все было въ порядкъ вещей. А между тѣмъ какъ безцеремонно поступали съ бѣдняками! Приведемъ слова г. Бабста (стр. 71):

«Не будемъ говорить объ Австріи, гдѣ императоръ Францъ сказалъ въ Ольмюцѣ профессорамъ, что дѣло не въ знаніи, не въ ученіи, а въ томъ, чтобы ему приготовили подданныхъ, богобоязненныхъ и съ хорошимъ поведеніемъ, но даже Пруссія оказала въ дѣлѣ преслѣдованія особенное рвеніе. Імѣсто того, чтобы предоставить преобразованіе самимъ университетамъ, вмѣсто того, чтобы обновить ихъ уничтоженіемъ остатковъ средневѣковаго устройства и расширить кругь ихъ дѣйствал, признавъ за ними право самостоятельности и иниціативы во всемъ, что дѣйствал, признавъ за ними право самостоятельности и свободы, безъ которыхъ иссетсав lateraram немыслима, а не глупыхъ привиллегій и исключительности.—нѣменкія правительства не тронули послѣднихъ, а наложили руку на главное, на жизненную силу университетовъ, на свободу преподаванія».

Что же это доказываетъ? Неужели опять-таки то, что нынъ въ Занадной Европъ "уваженіе къ общественному митнію въ образованномъ правительствъ воздерживаетъ его отъ произвольныхъ распораженій" ?..

Нътъ, нельзя и думать, чтобы отнывъ въ Западной Европъ всъ недостатки и злоупотребленія могли уничтожаться, и вст благія стремленія осуществляться одною силою того общественнаго мижнія, какое тамъ возможно нынъ по тамошней общественной организаців. Такъ называемое обписственное мивніе въ Европ'я далеко не есть, въ самомъ д'яль, общественное убъждение всей нации, а есть обыкновенно (за исключениемъ весьма ръдкихъ случаевъ) вивніе извъстной части общества, извъстнаго сословія или даже кружка, иногда довольно многочисленнаго, но всегда болве или менње своекорыстнаго. Оттого - то оно и имветъ такъ мало значенія: съ одной стороны оно и не принимаеть слишкомъ близко къ сердцу тъ дъйствія, даже самыя произвольныя и несправедливыя, которыя касаются низшихъ классовъ народа, еще безправныхъ и безгласныхъ; а съ другой стороны, и самъ произволъ не слишкомъ слущается неблагопріятнымъ мивніемъ тіхъ, которые сами питають наклонности къ эксплоатаціи массы народной и, следовательно, имеють свой интересь въ ея безправности и безгласности. Если раземотреть дело ближе, то и окажется, что между грубымъ произволомъ и просвъщеннымъ капиталомъ, несмотря на ихъ видиный разладъ, существуетъ тайный, невыговоренный союзъ, вследствіе котораго они и делають другь другу разныя деликатныя и трогательныя уступки, и щадять другь друга, и прощають мелкія оскорбленія, имъя въ виду одно: общими силами противостоять рабочимъ классамъ, чтобы тъ не вздумали потребовать своихъ правъ... Самая борьба городовъ съ феодализмомъ была горяча и ръшительна только до твхъ поръ, пока не начала обозначаться предъ тою и другою стороною разница между буржуазіей и работникомъ. Какъ только это различіе было понято, объ враждующія стороны стали сдерживать свои порывы и даже дълать попытки къ сближенію, какъ бы въ виду новаго, общаго врага. Это повторилось во всъхъ переворотахъ, постигшихъ Западную Европу, и, безъ сомнънія, это обстоятельство было очень благопріятно для остатковъ феодализма, какъ для партіи уже ослабъвавшей. Но для мъщанъ эта робость, сдержанность и уступчивость была вовсе невыгодна: виъсто того, чтобы окончательно побъдить слабъвшую партію и истребить самый принципъ, ее поддерживавшій, они дали ей усилиться, изъ малодушнаго опасенія, что придется подълиться своими правами съ остальною массою народа. Вслъдствіе такихъ своекорыстныхъ ошибокъ, остатки феодализма и принципы его — произволъ, насиліе и грабежъ— до сихъ поръ еще не совсѣчъ искоренены въ Западной Европъ и часто выказываются то здѣсь, то тамъ, въ самыхъ разнообразныхъ, даже цивилизованныхъ формахъ...

разнообразныхъ, даже цивилизованныхъ формахъ...
Вообще, съ измъненіемъ формъ общественной жизни, старые принципы тоже принимаютъ другія, безконечно - различныя формы, и миогіе этимъ обманываются. Но сущность дъла остается всегда та же, и вотъ почему необходимо, для уничтоженія зла, начинать не съ верхушки и по-бочныхъ частей, а съ основанія. Примъръ этого находимъ мы опять у г. Бабста, въ разсказъ о германскихъ университетахъ. Извъстно, что въ XVII и въ началъ XVIII въка университеты составляли реакцію всему, что только являлось поваго и смълаго. Это произошло вслъдствіе того, что, утомленные въ борьбъ съ духовенствомъ за свою самостоятельность и свободу, они отдались, наконецъ, въ руки тогдашней свътской власти и изъ свободной корпораціи сдълались чиновничьими учрежденіями. "Изъ нѣмецкихъ университетовъ, — говоритъ г. Бабстъ, — боявшихся за свои привчлегіи, подчипившихся, ради сохраненія сво-ихъ, потерявшихъ уже всякій смыслъ, корпоративныхъ формъ, вполнѣ ихъ, потерявшихъ уже всякій симслъ, корпоративныхъ формъ, вполнѣ государству, выходили самые ревностные доносчики" (стр. 68). Такимъ образомъ, вліяніемъ враждебныхъ обстоятельствъ, къ XVII въку самый принципъ университетской жизни измѣнился. Вслѣдствіе этой перемѣны весь характеръ дѣйствій университетовъ сталъ совершенно другой: вмѣсто самостоятельности водворилось раболѣпство, вмѣсто стремленія къ развитію — гордость своей неподвижностью, вмѣсто дружнаго содѣйствія всякому совершенствованію —злобное стараніе мѣшать всякому развитію... Въ XVII и началѣ XVIII вѣка это выражалось въ самыхъ грубыхъ и несносныхъ формахъ. Карпцовъ, представитель лейпцигскаго юридическаго факультета, хвалился тѣмъ, что онъ подписалъ 400 смертныхъ при-

говоровъ; члены галльскаго университета настояли, чтобъ выгнанъ былъ изъ него философъ Вольфъ и даже принужденъ былъ въ 24 часа оставить прусскія владѣнія, подъ опасеніемъ смертной казни; Спенера и Томазія, въ теченіе всей ихъ жизни, преслідовали профессора за ихъ вольнодунное направленіе, и т. п. Но времена измінились; смертныя казни ужъ не въ ходу; всюду проникли новыя формы общежитія... Измънились формы нетериимости и насилія и въ университетахъ германскихъ; но нетериимость и насиліе все - таки остались. Въ доказательство этого прочтите у г. Бабста то, что онъ говорить о положении привать - доцентовъ въ университетахъ, и то, что разсказываеть объ истории Бекгауза съ Бекингомъ. По словамъ г. Бабста, во многихъ, преимущественно въ маленькихъ нъмецкихъ университетахъ господствуетъ въ величайшихъ размърахъ непотизмъ; вообще же только тотъ и достигаетъ профессуры, кто поддерживается главными ординарными профессорами. Только они имвють значение и голось въ факультетв. Привать-доценты составляють ученый пролетаріать: ихъ стараются забить на второй планъ, не давать имъ читать главныхъ предметовъ, и т. п. Оттого къ нимъ и слушателей ходить очень мало: вев находять болве выгоднымь слушать ординарныхъ профессоровъ, "потому что какъ ни свободенъ буршъ, а чиновникъ и въ немъ сидитъ" (стр. 73). Такимъ образомъ тъснили и Бекгауза, особенно когда увидъли, что его лекціи привлекають много слушателей (съ каждаго слушателя, какъ извъстно, получаются деньги въ пользу профессора). На него опрокинулся цълый юридическій факультеть боннскаго университета: сплетни, подсматриванья за частной жизнью доцента, клеветы и явныя оскорбленія безпрерывно преследовали его. Наконецъ, когда онъ объявилъ, что будеть объяснять своимъ слушателямъ пандекты, которые до сихъ поръ читались только ординарными профессорами, тогда факультетъ составилъ опредъленіе, по которому Бекгаузъ потерялъ право читать лекціи... Бекгаузъ жаловался министру; министръ сказалъ, что тутъ его дело сторона. Тогда Бекгаузъ обратился къ самому королю, а между тъмъ напечаталъ всю исторію... Журналы горячо за него вступились; "но чъмъ кончилось дъло, не знаю", — заключаетъ г. Бабстъ...

Все это было въ нынвинемъ году, послъ столькихъ перемънз и маленькихъ реформъ въ устройствъ университетовъ, послъ столькихъ и столь громкихъ толковъ о коренной ихъ реформъ... Не то же-ли это самое, въ сущности, что было и въ XVII въкъ? И такъ будетъ до тъхъ поръ, пока не изивнится, наконецъ, самый принципъ университетскаго существованія въ Германіи—отношеніе его къ государственной власти...

Желаніе помочь д'влу какт-нибудь и хоть сколько-нибудь, замазать трещину хоть на короткое время, остановиться на полдорог в къ ц'вли, удо-

вольствоваться полумфрой, въ надеждѣ, что потомъ асось это сдѣлается само собой, по неминуемымъ законамъ прогресса, — такое направленіе дѣятельности вовсе не есть исключительное свойство русскаго человѣка, какъ полагаютъ нѣкоторые патріоты. Такъ поступали дѣятели всѣхъ народовъ Европы, и отъ этой невыдержанности происходила, разумѣется, большая часть ихъ неудачъ. Въ этомъ смыслѣ мы признаемъ, что народы Западной Европы постоянно впадали въ ужасную ошибку. И тъпъ болъе ны удив-ляемся, какимъ образомъ могутъ нъкоторые ученые люди защишать бла-годътельность пальятивныхъ мъръ для будущаго прогресса Западной Еврогодътельность пальятивныхъ мъръ для будущаго прогресса западной ввропы, и отвергать реформы общія и ръшительныя, какъ гибельныя для ея
благоденствія. По нѣкоторымъ предметамъ грѣшитъ въ этомъ отношеніи
и г. Бабстъ, хотя нужно признаться, что у него въ иныхъ случаяхъ выражаются требованія довольно широкія. Говоря о предоставленіи гражданскихъ правъ евреямъ и требуя для нихъ рѣшительной полноправности, а не частныхъ льготъ, онъ приводитъ слѣдующее сравненіе: "если вы
котите помочь разумному и дѣловому человѣку въ его предпріятіи, неужели хотите иомочь разумному и дѣловому человѣку въ его предпріятіи, неужели вы найдете болѣе полезнымъ отпускать ему деньги по грошамъ, чѣмъ вручить ему весь капиталъ, чтобы онъ былъ въ состояніи приняться разомъ за производство" (стр. 11). Это сравненіе очень умно, но его слѣдуетъ относить не къ однимъ евреямъ: оно такъ же хорошо приходится и ко всѣмъ общественнымъ преобразованіямъ, необходимымъ для Западной Европы... Тратиться по мелочи тамъ рѣшительно не для чего; нужво непремѣнно пустить въ оборотъ весь капиталъ, сколько его найдется.

Впрочемъ, если правду сказать. — въ Западной Европѣ часто и мелочь-то общественныхъ реформъ бываетъ фальшивая, либо краденая. Это довольно ясно, напримѣръ, по вопросу о чиновничествѣ, тоже издагаемому

довольно ясно, напримъръ, по вопросу о чиновничествъ, тоже излагаемому у г. Бабста. Видите, какое дело.

у г. Бабста. Видите, какое дёло.

Бюрократія въ Пруссіи получила страшное развитіе. Штаты чиновниковъ составлены 30 — 40 лётъ тому назадъ и съ тёхъ поръ почти не измёнились. Тогда жалованье соотвётствовало цёнамъ на жизненныя потребности и было достаточно. Теперь цёны на все возвысились, а оклады тё же. Чиновники и учителя стонутъ, и по всей Германіи раздаются громкіе толки о прибавкт имъ жалованья. Но откуда взять прибавку? "Возвышеніе окладовъ—говоритъ г. Бабстъ—не можетъ быть безъ возвышенія бюджета, безъ новыхъ налоговъ; а если взваливаютъ на общество новыя тягости, то оно, кажется, имъетъ полное право изслёдовать и спросить: дъйствительны-ли и законны-ли тъ государственныя потребности, на которыя требуютъ съ него денегъ" (стр. 93). И по этому изслёдованію оказывается вотъ что: возвышеніе задёльной платы, при возвышеніи пёнъ на все, дёлается только для труда производительнаго; трудъ же цвиъ на все, двлается только для труда производительнаго; трудъ же

прусскихъ чиновниковъ не только не производителенъ, но еще и обременителенъ для общества. "Въ Германіи общій и повсемъстный говоръ, что чиновники и служащие только мышають своей черезчурь навязчивой опекой развитію народной жизни, что ихъ уже слишкомъ много сравнительно съ потребностями общества, что занятія ихъ во многихъ отношеніяхъ слишкомъ велики. - Сообразивъ все это, придемъ къ тому результату, что большую часть занятій и дель, находящихся въ рукахъ чиновниковъ, можно и пора передать обществу, самимъ гражданамъ, распустить половину служашихъ-рабочихъ и распредълить всю получаемую ими досель задъльную плату между остальными" (стр. 96). Отличная мара! Но только что же станется съ распущенною-то половиною прусскихъ чиновниковъ? Въдь не надо забывать, что они не только чиновники, но и люди, граждане, члены этого самаго общества. Надо же имъ чемъ-нибудь себя пропитивать, а они, кром'в чиновническаго занятія, ни къ какому другому неспособям. Что же туть делать съ ними? Ведь не перебить же ихъ поголовно; а если хоть и въ тюрьму посадишь, то все кормить надобно. Великан ли же будеть польза самому обществу, если вместо тысячи людей quasi-делающихъ что-то такое и за то получающихъ съ него деньги, будутъ эти самыя деньги получать 500 человъкъ, да кромъ того обществу на шею насядеть еще 500 человъкъ уже ръшительныхъ тунеядцевъг. А въдь тъмъ непремънно должно кончиться, если прусское чиновинчество будеть такъ уполовинено, по совъту г. Бабста. Такія половинныя мізры именно и оказываются фаль-

Да, счастье наше, что мы поздиве другихъ народовъ вступили на поприще исторической жизни. Присматриваясь въ ходу развитія народовъ западной Европы и представляя себъ то, до чего она теперь дошла, мы можемъ питать себя лестною надеждою, что нашъ путь будетъ лучше. Что и мы должны пройти темъ же путемъ, -- это несомненно, и даже нисколько не прискорбно для насъ. Объ этомъ говоритъ и г. Бабстъ: "неужели обидно намъ, когда мы должны придти къ убъждению, что, оставаясь вполнъ самостоятельными, мы все-таки проходимъ и проходили тв же эпохи историческаго развитія, какъ и остальные народы Европы? Не будь этого, мы были бы какими-то выродками человічества" (стр. 103). Что и мы на пути своего будущаго развитія не совершенно избъгнемъ ошибовъ и уклоненій, — въ этомъ тоже сомнѣваться нечего. Но все-таки нашъ путь облегченъ; все-таки наше гражданское развитіе можетъ нъсколько скорью перейти тъ фазисы, которые такъ медленно переходило оно въ Западной Европъ. А главное, -- мы можемъ и должны идти ръшительнъе и тверже, потому что уже вооружены опытомъ и знаніемъ... Только нужно, чтобы это знаніе было дъйствительнымъ знаніемъ, а не самообольщеніемъ, въ родъ наивныхъ восторговъ нашей безыменной гласностью и обличительной литературой. Обольщаться своими успѣхами и принисывать себѣ излишнее значеніе всегда вредно уже и потому, что отъ этого является иѣкоторый позывъ почить на лаврахъ, умиленно улыбаясь... Наклопность къ этому всегда замѣчается у новичковъ въ дѣлѣ и у людей, отъ природы одаренныхъ нѣсколько маниловскимъ складомъ характера; они всегда готовы сказать: "довольно! пора отдохнутъ". Но, къ счастію, у насъ есть такіе энергическіе дѣятели, какъ г. Бабстъ, которые своими призывами и указаніями на то, что дѣлается у другихъ, пробуждаютъ и насъ отъ дремотной лѣни... Радуясь этому прекрасному явленію, мы рѣшились своимъ слабымъ голосомъ акомпанировать мощной рѣчи г. Бабста, съ кроткимъ намѣреніемъ замѣтить только, что и того, что сдѣлано у другихъ, все еще слиш комъ мало...

Путешествіе на Амуръ, совершенное по распоряженію Сибирскаго отдъла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, въ 1855 году, *Р. Машкомъ*. Одинъ томъ, съ портретомъ графа Муравьева-Амурскаго и съ отдъльнымъ собравіемъ рисунковъ, картъ и плановъ. Изданіе члена-соревнователя Сибирскаго отдъла, С. Ф. Соловьева. Спб. 1859.

Статей, написанных в объ Амур'в въ последние два года, такъ много, что изъ перечня ихъ могла бы, пожалуй, составиться даже особенная отрасль русской библіографической науки. Но при всемъ томъ мы до сихъ поръ не знаемъ объ Амуръ ничего положительнаго. Съ самаго начала, когда Амуръ только-что сталъ входить въ моду, мы знали положительно одно: что весь лъвый берегъ Амура занять нами и что мы черезъ это сдълали великое пріобр'втеніе. Но теперь, посл'я множества статей и всякаго рода изв'ястій объ Амуръ, и это первое положительное свъдъніе сдълалось какъ-то сбивчивымъ и неопредъленнымъ. Съ одной стороны, им слышали и читали, что съ пріобретеніемъ Амура мы сделались обладателями великольнившией рпки въ мірт, что мы теперь черезъ нее сделались уже очень страшными соперниками англичана въ Индіи, что посредствомъ Амура суждено намъ сдълаться цивилизаторами Китая, и пр. Съ другой сторовы, напротивъ, раздавались увъренія, что мы изъ Амура не можемъ извлечь ни малъйшей пользы, и что англичанъ въ Индіи намъ никогда не видать, какъ ушей своихъ. Кому върить, - невозможно было ръшить, потому что и заступники, и противники Амура представляли, въ подтверждение своихъ словъ, факты. Одни говорили, что плаванье по Амуру лучше, чемъ по Мисиссини, что тамъ давно уже устроены русскими правильныя сообщенія. что народъ туда переселяется густыми массами, что тамъ все даютъ чуть не даромъ, и пр. Другіе, напротивъ, стали увърять, что ничего подобнаго на Амурѣ нѣтъ и быть не можетъ, что темъ все дорого, пичего не устроено, и т. д. Повърять слова тѣхъ и другихъ было чрезвичайно затруднительно, потому что повърка должна была происходить на мѣстѣ; а между тѣмъ, пока статъя, напечатанная въ Петербургъ, появится на Амуръ, и пока отвътъ на нее оттуда дойдетъ до Петербурга и напечатается, проходило обыкновенно полгода, а иногда и больше. А въ это время къ одному пеосновательному извъстію прибавлялось уже нъсколько другихъ, и чуть-ли не составлялась на ихъ основаніи цѣлая система разсужденій о жизни на Амурѣ.

Такое положеніе наших свёдёній объ Амурѣ продолжается до сихъ поръ. Поэтому мы съ особеннымъ нетерпъніемъ ожидали изданія путешествія г. Маака. Г. Маакъ совершилъ экспедицію на Амуръ въ 1555 г., по порученію Сибирскаго отдѣла Русскаго Географическаго Общества, на иждивеніе члена соревнователя Сибирскаго отдѣла. С. Ф. Соловьева, пожертвовавшаго на этотъ предметъ полиуда золота. На его же счетъ издано и описаніе путешествія г. Маака, о типографскомъ изиществъ котораго было ужъ замѣчено въ "Современникъ" иѣсяцъ тому назадъ. Изданіе украшено прекрасно сдѣланнымъ портретомъ графа Муравьева - Амурскаго; кромѣ того, къ нему принадлежитъ цѣлый альбомъ велеколѣпныхъ рисунковъ, картъ и плановъ. Въ этомъ альбомѣ находится: 17 ландшафтовъ и этнографическихъ рисунковъ, относищихся большею частью къ домашнему быту при - амурскихъ народовъ, — десять ботаническихъ таблицъ, геогностическая карта береговъ А чура, карта распространенія древесныхъ и кустарныхъ растеній на берегахъ этой рѣки, планъ Айгуна и планъ Албазинскаго укрѣпленія. Всѣ рисунки исполнены превосходно; они большею частью рисованы первоначально самимъ же г. Маакомъ, а потомъ перерисованы въ Петербургъ художникомъ г. Гуномъ; нѣкоторая же часть рисунковъ взята изъ портфеля г. Мейера, также посѣщавшаго Амурскій край, или срисована петербургскими художниками съ предметовъ, привезенныхъ г. Маакомъ.

Какъ видно, г. Соловьевымъ все сдёлано для изящества и великольнія изданія, равно какъ и г. Маакомъ употреблены всё усилія для того, чтобы собрать сколько возможно болье точныя, полезныя и разнообразныя свъдънія. Отчетъ его о своемъ путешествій занимаетъ 320 страниці въ четвертку; онъ идетъ день за день, исполненъ ученыхъ цитатъ, сообщаетъ весьма точныя описанія мъстностей, растеній, ископаемыхъ — вездъ съ ла-

тинскими названіями, очень обстоятельно описываеть одежду, домашнюю утварь, рыболовные и звёроловные снаряды и т. п. при-амурскихъ народовъ, дёлаеть даже филологическія и историческія соображенія. Не довольствуясь этимъ, г. Маакъ приложилъ къ своему отчету особенныя статьи: 1) геогностическія изслёдованія; 2) обзоръ кустарныхъ и древесныхъ растеній; 3) обзоръ животныхъ. Въ этихъ статьяхъ естественномсторическія свёдёнія представлены въ систематическомъ порядкі и въ ученой обработкі, подъ руководствомъ академиковъ Врандта, Рупрехта, гг. Максимовича, Менетріе, Бремера и Герстфельда. Въ конці же книги г. Маака находимъ тунгусскій лексиконъ, который составленъ г. Шифнеромъ изъ матеріаловъ, собранныхъ г. Маакомъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, что діятельность г. Маака была чрезвычайно обширна и многостороння, за что и нельзя не отдать ему должной справедливости.

И при всемъ томъ, послѣ книги г. Маака наши свъдѣнія объ Амурѣ не сдѣлались особенно блестящими. Причиною этого надо считать неблагопріятныя обстоятельства, помѣшавшія полной успѣшности работъ экспедиціи, въ которой находился г. Маакъ. Объ этихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ самъ г. Маакъ, въ предисловіи къ своей книгѣ, говоритъ слѣдующее:

«Всего болье мышало намь то, что мы вхали чрезвычайно быстро, останавливаясь рыдко, и то на короткое время. Особенно поспышно было путешествіе наше при плаваніи внизь по Амуру. Чтобы дать понятіе объ этой поспышности и о томь. какь она должна была препятствовать нашимь ученымь дыйствіямь, достаточно укавать на одно обстоятельство, подробно изложенное въ историческомь стчеть: спускаясь по Амуру, мы пробхали всю ту часть его теченія, которая прорызываеть Хинганскій хребеть, менье, чымь въ сутки; а между тымь эта часть Амура имьеть болье 100 версть дляны и берега ея представляють одно изъ самыхь интересныхь для путешественника мысть во всемь Амурскомь крав. Конечно, на возвратномы пути мы вхали не такъ быстро; но тогда уже время года не благопріятствовало ученымь дыйствіямь и, сверхь того, самое путешествіе было сопряжено съ такими трудностями, что работы, имъвшія пылью одно только передвиженіе экспедиція, поглощали почти все наше время».

Но отчего же экспедиція мчалась такъ быстро? Вѣдь она снаряжена была совершенно самостоятельно Сибирскимъ отдѣломъ Географическаго Общества, на иждивеніе г. Соловьева. Что же могло заставить ее такъ торопиться, вопреки всѣмъ ея существеннымъ надобностямъ? На это г. Маакъ не даетъ положительнаго отвѣта, и читатель долженъ довольствоваться слѣдующими строками, въ которыхъ указывается новое препятствіе для успѣховъ экспедиціи, но все – таки не объясняется его причина.

«Много также мъщало ученымъ работамъ экспедиціи то обстоятельство, что мы проъхали большое пространство, и притомъ въ самое благопріятное для такихъ работъ время, не будучи совершенно независимыми въ нашихъ дъйствіяхъ; въ про-

полженіе всего почти іюня 1855 г. мы тхали вибств съ военнымъ отрядомъ, спускавшимся къ Маріннскому посту и, составляя какъ бы часть этого отряда, должны были во всвхъ нашихъ дъйствіяхъ сообразоваться съ его движеніями. Понятно, что, при такомъ положеніи вещей, питересы науки, всякій разъ, когда имъ приходилось сталкиваться съ военными соображеніями, должны были уступать.

Всявдствіе таких обстоятельствь, книга г. Маака, по его собственным словамь, "не заключаеть въ себв даже почти никаких общих выводовъ". Авторъ излагалъ свои наблюденія въ хронологическомъ порядкв, но, "по недостаточности матеріаловъ, не рвшалси группировать факты и высказывать какія-либо соображенія о ихъ взаимной связи и значеніи". Такимъ образомъ, г. Маакъ самъ признаетъ свою книгу полезною лишь въ видъ матеріала для будущихъ путешественниковъ на Амуръ и изслъдователей этого края. Что же касается до читающей публики, то она и книгою г. Маака далеко не избавлена еще отъ возможности кривыхъ толковъ и неосновательныхъ выводовъ объ Амуръ. Въ особенности должно это сказать въ отношеніи къ вопросамъ промышленнымъ и торговымъ, которыхъ г. Маакъ почти вовсе не касается, занятый преимущественно естественно-историческими изслъдованіями и наблюденіями этнографическими.

Само собою разумвется, что, путешествуя въ 1855 году, г. Маакъ не могъ описывать всехъ прелестей и совершенствъ, недавно открытыхъ на Амуръ нашими газетами и журналами. Все дивное устройство Амурскаго края произошло уже гораздо после, преимущественно въ прошломъ году. Въ числъ панегиристовъ Амура особенно отличался г. Д. Романовъ, въ статьяхъ своихъ, помъщенныхъ въ "Русскомъ Въстникъ" и въ "Русскомъ Словъ". Оть статей въ "Русскомъ Словъ" онъ недавно, влрочемъ, отказался печатно, говоря, что онъ напечатаны въ искаженномъ видъ. Но свои писъма въ "Русскомъ Въстникъ" онъ не только не отвергалъ, а даже защищаль въ "Сиб. Въдомостяхъ" противъ возраженій. Возраженія эти принадлежать г. Д. Завалишину, который въ теченіе воть уже двухъ лътъ выбивается изъ силъ, занимаясь разрушениемъ напвныхъ восторговъ отъ Амура. Свъдънія, представленныя г. Завалишинымъ, до сихъ поръ не встрътили серьезнаго, фактическаго опровержения, хотя нъкоторыя изъ его статей напечатаны уже очень давно. Первыя возраженія его г. Романову помъщены были въ "Морскомъ Сборникъ" 1858 г., № XI. Затъмъ были статьи въ 1859 г.. въ №№ V и VII "Морского Соориика" и, наконецъ, большая статья, составляющая начало цѣлаго ряда статей, въ № X "Въстника Промышленности", подъ названіемъ "Амуръ". Первой статьъ г. Завалишинъ далъ еще спеціальное заглавіе: "Кого обманывають и кто окончательно остается обманутымъ? "Во всехъ этихъ статьяхъ могутъ быть своего рода ошибки и недосмотры, но изъ нихъ оказывается несомивнимъ одно: что восторги, возбужденные Амуромъ, преждевременны и преувеличены. И не потому нельзя ихъ считать основательными, чтобы въ самомъ дѣлѣ естественныя условія края были дурны; вовсе нѣтъ: что они хороши или могутъ быть хороши, — въ этомъ всѣ соглашаются. Но невозможно вѣрить нанегиристамъ потому, что, вопреки ихъ увѣреніямъ, этими естественными условіями до сихъ поръ еще мы почти не пользовались и очень немного сдѣлали для того, чтобы хорошо ими воспользоваться впослѣдствій. Относительно этого предмета, г. Завалишинъ говорить въ статьѣ "Морского Сборника", отмѣчая свои слова даже курсивомъ, для большей рельефности:

"Мы всегда считали, что собственно занятие Амура было дъломъ второстепеннымъ, не представлявшимъ ни мальйшаго затрудненія (кромъ тъхъ, которыя сами создадимъ) и всегда вполнъ зависящимъ, при извъстныхъ внъшнихъ обстоятельствахъ, чисто отъ воли правительства,—да и не отъ приказинія даже его, а просто отъ дозволенія,—а что существенное дъло именно и состояло въ предварительномъ подготовленіи тъхъ условій, которыя одни могли сдълать занятіе полезнымъ и безъ которыхъ оно легко можетъ обратиться даже во вредъ,—не только здъшнему краю, но и государству ("Мор. Сб." 1859 г. № VII, стр. 39).

Затвиъ, г. Завалишинъ приводитъ множество фактовъ, доказывающихъ, что этого подготовленія до сихъ поръ на Амурѣ не было и нѣтъ. Статьи г. Завалишина очень растянуты, наполнены повтореніями однихъ и тѣхъ же фактовъ, безпрестанными восклицаніями и обращеніями. Но факты, излагаемые въ нихъ, сами по себѣ очень любопытны и дѣлаются вдвойнѣ интересными по сравненію съ тѣмъ, что писали объ Амурѣ гг. Романовъ, Назимовъ, корреспонденты "Спб. Вѣдомостей", "Иркутскихъ Вѣдомостей" и пр. Мы приведемъ нѣкоторые изъ этихъ фактовъ.

Амуръ, прежде всего, разумѣется, обращаетъ на себя вниманіе. какъ новое, прекрасное средство сообщенія. И вотъ являются статьи, въ которыхъ восхваляется сообщеніе по Амуру. Г. Романовъ сообщилъ въ "Русскомъ Вѣстникъ", что американцы восхищаются плаваніемъ по Амуру и находятъ его несравненно удобнѣйшимъ, чѣмъ по Мисиссипи, потому что въ Амурѣ нѣтъ подводныхъ камней и карчей, которыми наполнено русло Мисиссипи. Г. Назимовъ напечаталъ, что еще въ 1857 г. началось правильное лѣтнее сообщеніе по Амуру и что, съ будущаго года, число пароходовъ удвоится. Мы, разумѣется, всему этому вѣрили. Но вдругъ является г. Завалишинъ и съ крайнимъ скептицизмомъ говоритъ въ одной статьѣ: "всякая рѣка, страна, какія бы онѣ ни были, все это сами по себъ (откидывая, разумѣется, крайности) большею частью безразличныя вещи, и будутъ всегда преимущественно тѣмъ, что сумѣютъ изъ нихъ сдѣлать... Вѣдь

была же Мисиссипи слишкомъ 200 лътъ въ рукахъ французовъ и испанцевъ; а что они изъ нея сдълали, несмотря на всъ природныя ем преимущества?" Къ чему же говоритъ это г. Завалишинъ? Да все къ тому же, чтобы доказать свою мысль, что Амуръ самъ по себъ—ничего, и что сдълано на немъ — очень мало. Въ подтвержденіе своихъ словъ, г. Завалишинъ приводитъ и факты. Онъ говоритъ: здъсь построены были пароходы "Аргунь" и "Шилка"; "Аргунь" отправилась въ 1854 г. и не возоришалась, оказавнись неспособною идти противъ теченія: "Шилка", отправясь въ 1855 году осенью, недалеко отъ Шилкинскаго завода стала на мель и замерала; въ 1856 г. спущена на устъе Амура; но понытка идти противъ теченія и ей не удалась. Кромъ этихъ двухъ, ходилъ по Амуру пароходъ "Надежда"; но и онъ, по тъснотъ помъщенія и по глубокой осадвъ, оказался неудобнымъ, и послъ 1855 г., когда на немъ поднимался вверхъ по Амуру графъ Путятинъ, не доходилъ болъе до Устъ-Зеи. Затъмъ оставались дза парохода, полученные изъ Америки: "Лена" и "Амуръ". Но "Лена" въ 1857 г. совершила только одинъ рейсъ, и то въ одну только сторону, во всю навигацію; она поднялась до Шилкинскаго завода, да тамъ и зазимовала. Г. Назимовъ восхищался быстротою сообщенія, внечитавъ, что "Лена" совершила въ 30 дней 3.000 верстъ; но оказалось, что верстъ было не 3.000, а съ небольшимъ двъ, и дней не 30, а болъе; оказалось также, что на "Ленъ" ъхалъ генералъ губернаторъ, который не доххалъ на пароходъ до конца, а бросилъ его. "Слъдовательно, была причина, — говоритъ г. Завалишинъ, — что онъ бросилъ нароходъ? Что же ожидать тогда частному лицу? А мы всегда говорили, что не можемъ принимать въ счетъ проъздовъ какого-нибудь значительнато лица или чрезвычайнаго нарочнаго, для которыхъ дълаются сообщенна и пильни и принимать въ счетъ проъздовъ какого-нибудь значительнато лица или чрезвычайнаго нарочнаго, для которыхъ дълаются сообщенна и пильни визимення на започна в принимення на принимення на принимення на принимення на праване на принитъ на принимення на принимення на принимення на принимення на пр что не можемъ принимать въ счетъ провздовъ какого-нибудь значительнаго лица или чрезвычайнаго нарочнаго, для которыхъ дълаются особенныя напряженія, а правильное сообщеніе и возможность сообщенія принимаемъ только тогда, когда они существуютъ для всёхъ и каждаго" ("Мор. Сб." № 5, стр. 16). А этого-то именно и не находить на Амуръ г. Завалишинъ. Въ 1858 г. "Лена", по его словамъ въ другой. статьъ ("Мор. Сбор.", № 7), плавала столь же неудачно: отправясь отъ Шилкинскаго завода весною 1858 г., стала на мель, не доходя до Зеи, повредилась, дотащилась до Зеи, послъ исправленія медленю поднялась до Стрълки, опять спустилась до Зеи, и опять кое-какъ, послъ неуспътнаго плаванія, безпрестанно становясь на мель, дошла въ началъ августа до Срътенска, гдъ и осталась на зиму. Остается послъдній пароходъ "Амуръ": этоть, въ 1858 г. дошелъ разъ до Усть-Зеи, а возвращаясь назадъ, сталъ на мель, да тутъ и замерзъ. По этому поводу было напечатано, что "Амуръ" зимовалъ здъсь; г. Завалишинъ замѣчаеть, что это напоминаеть зимнія квиртиры Наполеона въ Россіи. Въ 1858 г. "Амуръ" три раза дохолювовъ. т. пр.

дилъ до Усть-Зеи, — и то въ послъдніе два раза уже не вилоть, чтобы не попасть на мель, какъ въ первый разъ. Что же касается до увеличенія числа пароходовъ на Амуръ, это было простое предположеніе, которое наши наивные публицисты не усомнились выдать за дъло уже ръшенное и осуществленное... Въ 1858 г. сообщенія по Амуру производились опять-таки тъми же единственными "Леною" и "Амуромъ".

Но изобрътеніемъ небывалыхъ пароходовъ не ограничилось усердіе добрыхъ людей, прославлявшихъ наши успѣхи на Амурѣ. Увѣряли (г. Ро-мановъ въ "Русскомъ Вѣстникъ"), что уже и безпрерывныя почтовыя сообщенія устроены — літомъ на лодкахъ, зимою на тройкахъ съ колокольчиками. При этомъ г. Романовъ, съ такою же гордостью, съ какою недавно "Русскій Въстникъ" возвъщалъ, что "русскій народъ благодушенъ и въ-ренъ" (см. "Р. В." 1859 г., № 20),—прибавлялъ: "ни одно государство въ свъть не можеть еще похоастаться (какъ они дорожать хоастангемз!!) непрерывнымъ сухопутнымъ путемъ отъ морей одной части света въ другую". А у насъ, говоритъ, съ нынъшней осени (1858 г.) начинается такое сообщение: "вы можете взять себъ подорожную изъ всякаго уваднаго города до Николаевска, садитесь въ кибитку и нигде васъ не потревожатъ верховою или собачьею вздою до самаго Восточнаго океана". Дъйствительно, очень заманчиво; но г. Завалишинъ увъряетъ, что и это вздоръ. Онъ приводить воть какіе факты, за 1858 годъ. Письмо изъ Николаевска от 15 іюля получено въ Чить 1 ноября. Отправившійся изъ Николаевска въ началь августа штабъ-офицеръ довхаль до Чити 14 ноября. Сътвхъ поръ были курьеры и пассажиры, довхавшие на последнемъ пароходе до Благовъщенска; но почты по Амуру изъ Николаевска не слыхали и ничего не получали; а слышали, что было двѣ почты черезъ Аянъ. Даже изъ Благовѣщенска (т.-е. Усть-Зеи) письмо отъ 2 августа получено въ Читѣ 20 сентября. Была-ли еще разъ почта, — не могли дознаться; но что въ последніе месяцы не было почты даже изъ Влаговещенска, въ томъ удостовъряетъ, по словамъ г. Завалишина, посланный нарочно адъютантъ, чтобы узнать, отчего нътъ почты. На лодкахъ люди, имъющіе всъ средства, отправясь немедленно по вскрытіи ръби изъ Маріинска, прибыли въ Читу 30 іюля. Осенью курьеры проважали отъ Благоващенска до Читы не менве, какъ въ мъсяцъ. Столько же времени вдугъ и зимнимъ путемъ, даже по казенной надобности. Впрочемъ, г. Завалишинъ увъряетъ, что вообще лошадей здъсь обязательно предписано давать только курьерамь; прочіе должны дівлаться, какъ знаютъ. Къ этому онъ прибавляетъ, что по Шилкъ пътъ провзда, а что отъ Стрелки должны сворачивать по Аргуни, по стародавнимъ станицамъ. Последние отряды казаковъ, бывшихъ въ наряде на сплаве. вместо исхода августа и сентября, какъ разсчитывали, выходили только въ декабрѣ (см. "Мор. Сборн." № 7 и "Вѣст. Пром." № 10).

Факты такого рода не могуть, конечно, свидътельствовать въ пользу непрерывныхъ сообщеній и правильныхъ почть въ Приамурскомъ крав, вилоть до Николаевскаго порта. И если увъренія г. Завалишина справедливы (а они никъмъ не опровергнуты), то мы вполнъ понимаемъ его сожатьніе о тъхъ бъднякахъ, которые, будучи обнадежены увъреніями панегиристовъ, вздумають отправиться въ пріятное путешествіе по Амурскому краю и разочтуть свое время и издержки по возгласамъ восторженныхъ публицистовъ.

публицистовъ.

Вирочемъ, несмотря на полное довольство всвиъ сделаннымъ, самъ г. Романовъ признаетъ полезнымъ у троить железную дорогу отъ залива де-Кастри до Джая, потому особенно, что 300 верстъ отъ устья теченіе Амура представляетъ большія трудности для плаванія... Американецъ Коллинсъ представилъ проектъ другой железной дороги — отъ Чити до устья Селенги, где уже предполагалось постровть Новый Аспинваль. Само собою разумъется, что сначала оба предположенія привътствованы были съ восторгомъ. Но г. Завалишинъ напомнилъ о перегрузкахъ, распутицахъ и пр.. и вообще насказалъ столько неудобствъ Коллинсу, что тоть измънилъ свой проектъ. Но какое движеніе имелъ онъ потомъ, — неизвёстно. Что же касается до г. Романова, то ему г. Завалишинъ ставитъ на видъ следующія обстоятельства. Г. Романовъ хотёлъ заказывать железо на Петровскомъ заводе и сплавлять по Амуру; но для железной дороги нужно слъдующія обстоятельства. Г. Романовъ хотъль заказывать жельзо на Петровскомъ заводь и сплавлять по Амуру; но для жельзной дороги нужно нъсколько сотъ тысячь пудъ, а Петровскій заводь выдълываеть всего до 30.000 п. въ годъ, да и то жельзо незавиднаго качества и дорого: цъны самому дурному сорту петровскаго жельза оз Читть—1 р. 60 к., а это—починый пунктъ сплава. Говорятъ, что на Петровскомъ заводъ изготовлялись рельсы для дороги на золотые прінски въ Нерчинскихъ заводахъ и обощлись въ 4 р. с. за пудъ. Да кромъ того, надо для дороги и работниковъ, и для нихъ хлъбъ. А взять этого всего—негдъ ръщительно. Саниковъ, и для нихъ хлъоъ. А взять этого всего—негдъ ръшительно. Са-мый сплавъ производить некому: сплавъ самый дешевый, по подряду куц-цовъ Зимина и Серебренникова, былъ 50 коп. съ пуда, и хотя эту цъну находили не дешевою, но въ слъдующемъ году и за такую плату не могли найти вольныхъ подрядчиковъ и принуждены на 1858 г. возложить сплавъ на козачье войско за туже цъну. Но слухи о тягостяхъ и бъдствіяхъ, пре-терпъваемыхъ при эточъ рабочими, произвели то, что козаки, назначен-ные по наряду на сплавъ, платили отъ себя наемщикамъ до 40 к. за одну сплавку, отдавая, сверхъ того, все, что приходилось получать отъ казны. Вслъдствіе того, на 1859 годъ производили сплавъ казенными рабочими, употребивъ въ дъло даже каторжныхъ. А чтобы достать людей, сама казна прибъгала, по словамъ г. Завалишина. къ различнымъ изворотамъ.

<sup>«</sup>Такъ, въ 1857 г., придрадись къ недоимкамъ, изъ которыхъ нъкоторыя произошли

вовсе не отъ вины козаковъ, а отъ собственнаго недоразумини начальства, не знавшаго, какъ истолковать двухличною льготу отъ повивностей выселеннымь изъ Читы козакамъ, и включать-ли въ нее денежный сборъ, остановленный въ 1854 г.; какъ вдругъ, въ 1857 г., ведино было не считать его включеннымъ въ льготу, и потребопалв, сверхъ текущихъ повинностей, за два старые прежие года. Я лично знаго отного козака, которому, съ треми малолітними, пришлось заплатить за четыре души за два года вдругъ, кроміт настоящаго, и у которато взяли послідняго работника, единственнаго въ семьт изъ шести душъ. Если, слідовательно, при 50-тв конфечной влать, надо прибъгать къ такимъ средствамъ, то можно посудить. что будеть егои: в дій гвительно силавъ съ пуда въ операціи, гді за все нало будеть платить по вольнымъ пінамъ... Для полноты разсчета, надо прибавить, что и въ 1857 и въ 1-5× годахъ многіе козаки, со времени наряда на работы по сплаву, возвратились домой черезъ девять міжящевъ; кроміт того, въ 185× году было много больныхъ (Вьст. Пром.» № 10, стр. 55).

Если бы казна и даромъ получала работу, то, по замъчанію г. Завалишина, это еще не могло бы служить основаніемъ для разсчетовъ въ частномъ предпріятіи. Въ казенномъ дълъ могуть быть обстоятельства и случаи, которые совершенно не должны входить въ кругъ промышленныхъ выгодъ, хотя сами по себъ эти обстоятельства и имъютъ, можетъ быть, свою долю вліянія на ходъ торговыхъ п промышленныхъ операцій. Для примъра, г. Завалишинъ разсказываетъ такой случай въ одной изъ льстностей Амурскаго края.

«Намъ извъстенъ случай (а мы говоримъ только о такихъ, которые не остались безызвъстны и начальству), — что люди, назначенные вывозить только льсъ, рубленный подъ надзоромъ офицера совсъмъ другими, потеряли 15 дней при слачѣ этому самому офицеру, браковавшему у нихъ лѣсъ, который они не рубили, заставлявшему вырубить новый и кончившему пріемкою забракованнаго. («Въстн. Пром.» № 10, стр. 54).

Подобные случан, повторяющіеся, какъ извѣстно, во иногихъ иѣстахъ Россійской имперіи, вообще весьма невыгодно дѣйствуютъ на экономическое развитіе страны. Немудрено, что и на Амурѣ они производятъ то же дѣйствіе, уничтожая такимъ образомъ всѣ чудеса прогресса, торопливо провозглашеннаго опрометчивыми публицистами... Газмышляя о подобныхъ случаяхъ, мы можемъ даже до нѣкоторой степени опредѣлить и причину такой опрометчивости публицистовъ нашихъ; они взглянули на дѣло очень абстрактно, — взяли въ разсчетъ самую страну съ ея производительными силами, но не приняли въ соображеніе всей обстановки дѣла, — то-есть, людей и нравовъ, для которыхъ эта страна открываетъ новое поприще...

Но возвратимся къ желъзной дорогъ, проектированной г. Романовымъ. По разсчету г. Романова, нужно 5.000 рабочихъ для желъзной дороги, и онъ разсчитываетъ въ этомъ случать на мъстные батальоны. Но, по словамъ г. Завалишина, линейныхъ батальоновъ отъ Кяхты до Николаевска всего 4, и изъ нихъ нельзя набрать 5.000 рабочихъ. Что же касается до козаковъ, то брать ихъ на работу не годится уже и потому, что они занимаются хлъбопашествомъ, и "всякій взятый изъ нихъ работникъ

уменьшить на нёсколько десятинь производящую хлёбь пашню". И безътого уже разныя служебныя и неслужебныя требованія разстроили у козаковъ хозяйство въ Нерчинскомъ краф, главномъ для продовольствія Амура. Обстоятельства эти произвели то, что пашня должна была уменьшиться на нёсколько тысячь десятинь; а между тёмъ, требованія казны на хлёбъ увеличились, вслёдствіе передвиженія войскъ въ Забайкальскій край... Еще въ 1852 г. представленъ быль оффиціальный разсчеть, что каждый взроглый человъкъ долженъ обрабатывать шесть десятинъ, чтобы могли быть удовлетворены обыкновенныя требованія на хлёбъ въ здъщемъ краф. А тутъ еще безпрестанно наряжають козаковъ-хлёбопашцевъ на работы, которыя, равчо какъ и требованіе на продовольствіе, все увеличиваются съ пріобръгеніемъ Амура. Естественно, что при такихъ условіяхъ, отнятіе 5.000 человъкъ отъ пашни будеть довольно чувствительно для края, и г. Завалишинъ увъряетъ даже, что самимъ этимъ работникамъ нечего ъсть будеть: негдъ будетъ достать 120.000 пудъ муки, которые, по его вычисленію, нужны для 5.000 работниковъ. Хлёбъ и то уже прошлую зиму быль въ Читъ 80—90 конъекъ, а провозъ отъ Верхнеудинска до Читы (436 верстъ) былъ рубль серебромъ... ("Мор. Сбор." № 5). А г. Романовъ возвъстиль въ "Русскомъ Вѣстникъ", что, "благодаря новому пути, даже въ Истъронавловскъ мука продается, виѣсто прежнихъ трехъ рублей, по 99 конъекъ!"...

Объяснивши всё удобства путей сообщения въ Амурскомъ крае, панегиристы, разумется, решили, что черезъ Амурь должна происходить иностранная торговля Снбири. А решивша это, они немедленно пришли въ умиленіе отъ ея широкаго развитія. "Взглянуть на зарождающуюся иностранную торговлю Сибири, — такъ просто сердце радуется". — восклицаетъ
г. Романовъ въ "Русскомъ Въстникъ". "1857-й годъ быль, можно сказать, первымъ годомъ правильной торговли и начала торговаго пароходства по Амуру, и въ этотъ первый годъ ценность всёхъ грузовъ, передвигавшихся по Амуру, простиралась до 1.000.000 руб. сер. Что же будетъ
дале при такомъ богатомъ началъ? И теперь уже жители Иркутска пьютъ
кофе съ здёшнимъ сахаромъ, курятъ сигары, привезенныя черезъ Николаевскъ изъ Маниллы и Гаваны, изъ Якутска дълаютъ заказы винъ здёшнимъ американскимъ торговцамъ, и т. д. Не чудаки-ли тё люди. которые
утверждаютъ, что Амуръ вздоръ и что. кромѣ обречененія издержками,
онъ Россіи ничего не принесетъ полезнаго?"... Къ этому прибавлялись извѣстія объ 11 судахъ, бывшихъ уже въ маѣ въ Николаевскѣ, о сахарѣ, доставленномъ по Амуру и продававшемся по 7 р. 50 к. за пудъ въ Иркутскѣ, и пр. Тутъ же, разумется, изъявлялись благія желанія, чтобы частная предпріимчивость взялась за дѣло, и раскрывались разныя надежды
и ожиданія...

Все это встрвчаемо было съ великимъ сочувствіемъ большею частью людей, привыкшихъ видъть въ розовомъ свътв и будущаесть, и все, что совершается въ настоящее время, когда, и пр... Но вотъ нъсколі ко общихъ соображеній, представленныхъ по этом; предмету г. Завальшинымъ въ "Морскомъ Сборникъ" (№ 7, стр. 48—50).

«Часто, чуть не безпрестанно, делають у насъ упрекь частной деятельности въ недостаткъ предпримчивости... Подно, такъ-ла? Это дастъ поводъ выдальныя въ это діло попристальнье. Будьте увирены, что когда какос-ливо явленге доходить до степени общности, то причины его заключаются уже не въ одника только людает. Возав, гдь массы подвергаются незаконнымъ требованиямъ со стороны казны, они вымещають это на частныхъ дицахъ. Тогда законная частная діятельность становится невозможною; масто ея занимаеть незаконная, что, въ свою очередь, спять отражается на казив. Такимъ то образомъ, въ этомъ круговороть все сдвигается съ принадлежащаго ему законваго и выгодиваннаго мъста; всякое правильное движение становится невозможнымъ; и вмъсто его, къ общей невыгодь и трать силъ, являются безпорядокъ и случайность; предпримчивость же можеть существовать только тамъ, гдь есть прочное, разумное основание для разсчета и соображения въ постоявныхъ элементахъ и строгомъ законномъ ограждения частной дъятельности. Великое было бы, конечно, дало добиться отъ массъ (и въ этомъ-то и будеть великая заслуга, несомнанно ожидаемая отъ образованія) сознанія справедливости законныхъ требованій; но някакими усиліями, накакими софизмами не добьются никогда спокойнаго подчиненія незаконнымъ требованіямъ, безъ того, чтобъ человікъ не искаль, въ свою очередь, вознаградить себя за это на счеть другого, да такь еще, чтобь урвать при случав и на запасъ. И вотъ начинается между большинствомъ круговая порука насилій и обмановь; біла тому только, кто руководствуется иными правилами: онь будеть непремьно смолоть между лвумя жерновами.

«Возьмемь примъръ: человъкъ подряжается у казны строить домъ. Что по настоящему онъ долженъ принять въ соображение? Ценность матеріала, работы, продолжительность затраты капитала, разумные проценты. Все производство обезпечилъ онъ, повидимому, требуемыми закономъ документами; но едва прикоснудся къ дълу. какъ и начинаются всевозможныя трибуляціи. Работники не явились во время; отговариваются, что ихъ гоняли туда-то, и туда: вивсто ихъ наскоро нанимаются другіе, дороже. Матеріаль не доставляется-потеряль-де лошадей, на такомъ-то наряль; вижето онаго покупается или самимъ подрядчикомъ или, въ счетъ его, другой матеріаль; часто вся работа останавливается. Подрядчику, конечно, предоставляется взыскивать съ виновныхъ, съ ихъ поручителей. Но когда еще онъ добьется до удовлетворенія? Иногда проходять года... Да это требуеть и расходовь и досуга, а между тымь время идеть. Иногда кончается тымь, что работа передается другому. и первый подрядчикъ терпитъ убытокъ. Впередъ наука, - говоритъ онъ: - и при следующемъ подрядь, непремынно приметь все это въ разсчеть: и лишнюю на запасъ заготовку матеріала, и за подряженіе лишвихъ людей, и другіе извістные расходы, и заломить цену вдвое; или, если съуметь поставить силу на своей стороне, самь прижметь рабочихь, второстепенныхъ поставщиковъ; поставить похуже матеріаль, выгадывая на всемъ этомъ... Теперь возьмемъ другой примъръ: если казна беретъ у хавбопащиа муку не по надлежащей цвив, онъ постарается непременно уменьшить убытокъ дурнымъ качествомъ ея, подмѣсью; если будетъ затрудненіе при сдачь-будеть выгода развѣ пріемщику, а провіанть все-таки поступить дурной; и это неминуемо отразится на техъ, кто долженъ будеть волею и неволею употреблять его, и выразится бользнями и нерьдко смертностью.

Исходя изъ подобныхъ соображеній, г. Завалишинъ не соглашается

съ г. Романовымъ въ томъ, что "край развернется быстро. если бу-детъ идти такъ же, какъ въ настоящее время", и что нужно только дать туда денегъ и людей. Напротивъ, онъ приводитъ факты, по кото-рымъ видно, что край вовсе не такъ хорошо устроился, какъ увъряютъ, и что денегъ и людей много потрачено, — и все понапрасну. Показанія г. Завалишина говорять следующее: вместо обиннабцати иностранных в судовъ въ мать, оказалось по сентябрь всего пять, и то ничтожнаго количества тоннъ. Сахаръ не только въ Иркутскъ не продавался по 7 руб. 50 коп., но и въ Благовъщенскъ стоилъ 14 рублей, а на устъъ Амура—по 9 р., такъ что провозъ отъ устъя до Благовъщенска обходится едва ли не дороже, чъмъ провозъ отъ Нижняго до Кяхты. Изъ этого г. Завалищинъ дълаетъ такое сравнение: "съ одной стороны, сахаръ изъ России, оплативній или пошлину въ пескѣ, или акцизъ въ свекловицѣ, привезенный гужемъ за 6 и болѣе тысячъ верстъ, можетъ продаваться въ Иркутскѣ по 14 р., и даже продавался по 12; а съ другой стороны—худнаго качества сахаръ, при водяной доставкъ моремъ в по великолъпной, не полагающей препятствій рікі, не плати ни ношлины, ни акциза, продается въ Благовъщенскъ по 14 р.; во сколько же онъ обощелся бы съ доставкою въ Читу и Иркутскъ? А по общему отзыву, эта часть пути — самая трудная, а потому и самая дорогая для провзда, твиъ болве для провоза"... Въ самомъ дълъ, соображение это довольно занимательно. Къ сожальнію, для панегиристовь Амура, оно не имьло случая подтверциться на практикв, потому что, по увъренію г. Завалишина. "не только въ Иркутскв, но и во всемъ Забайкальв. никогда не было еще, и до сихъ поръ нътъ привоза никакихъ капитальныхъ товаровъ по Амуру, въ сколько нибудь значительномъ количествъ" ("Въстн. Пром." № 10, стр. 61). Оттого небывалой дешевизны здёсь дёйствительно нють; все по прежнему выписывается изъ Россіи, и какъ это ни дорого обходится, но все же дешевле, чъмъ черезъ Амуръ.

Такимъ образомъ оказывается, что привозъ не былъ особенно обильнымъ до сихъ поръ. Остается еще торговля мѣстными произведеніями, особенно вывозъ ихъ за-границу. Вѣдь и на это много разсчитывали восторженные поклонники пріобрѣтеннаго намп Амура. Но г. Завалишинъ поражаетъ ихъ и насъ такимъ плачевнымъ замѣчаніемъ: "какой ужъ тутъ отпускъ за-границу, если своимъ русскимъ продаютъ сухари по 6 рублей, а свѣжее мясо доходитъ до 12 р. с. за пудъ! "Въ другой статьѣ онъ объясняетъ, что такія цѣны стояли въ зиму съ 1857 на 1858 г., по случаю потопленія казеннаго скота, и что при этомъ продавцы требовали еще отъ покупателей, чтобы тѣ на каждый фунтъ хорошаго мяса брали фунтъ дурного... По такимъ-то разсчетамъ и вышла торговля на Амурѣ, цън-

ностью въ милліонъ... При такихъ условіяхъ не только намъ отпускать за-границу было нечего, по и самимъ-то, пожалуй, выгодите было бы по-купать мясо, которое бы привозилось къ устью Амура въ консервахъ изъ Англіи. А къ этому еще г. Завалишинъ прибавляетъ слъдующія обстоятельства:

Если мука и крупа приходять скла подмоченными, сущеная капуста, не тронувнись съ мъста, оказывается съ червями, масло—съ саломъ, медъ в соль—съ водою, постное масло—вытекшимъ, солонина до отправления испорченною, такъ какая тутъ еще будетъ торговля отпускная, когла частвый привозъ съ избыткомъ поглащается своими требованіями, какъ свидьтельствують цыны, показывая въ то же время и дороговизну сплава (которая будетъ еще неминуемо возвышаться) — и что вы при этихъ пѣнахъ будете отпускать за-границу? Притомъ, отпускъ за-границу требуетъ другихъ прісмовъ и привычекъ, неже и обычные у насъ. Голодный все събстъ; а для заграничнаго торга нельзя разсчитывать на это обстоятельство: нужно пѣчто инос. А кому же неизвѣстны гразность приготовленія и неаккуратность, а иногда и недобросовѣстность нашей торговли?

Остается торговля съ прибрежными жителями по Амуру, и она также нашла себъ панегиристовъ. Нъкто г. Паргачевскій, служившій приказчикомъ у г. Зимина и самъ для себя пріобрътавшій соболей въ мънъ съ инородцами, увъряль, что русскіе поступають въ торговлѣ съ инородцами такъ благородно и великодушно, какъ никогда не поступаль ни одинъ пародъ въ мірѣ: никого не обижають, не обманывають, пріобрътаютъ всеобщее сочувствіе и довъріе, и пр. Вслъдствіе всего этого г. Паргачевскій выводить, между прочимъ, что нужно запретить манчжурамъ продавать водку. Но противъ всѣхъ такихъ увъреній и требованій г. Завалиншинъ возражаетъ вотъ что ("Въстн. Пром." № 10 стр. 64—65):

«Во всемъ этомъ вътъ правды, и мы не понимаемъ, что за несчастная страсть и манера увърять въ невозможномъ и, въ противорьче собственнымъ сужденіямъ и вопреки постояню повторяющемуем опыту предъ глазами, утверждать, что русскіе поступають иначе, особливо въ приложения къ настоящему случаю, видя, какой сортъ людей дъйствуеть въ торговыхъ и другихъ предпріятіяхъ по Амуру, гдь притомъ и надзоръ, и управа надъ ними почти невозможны. Да, пора бы, право, обратить вниманіе и на то противорічіе, что, когда діло дойдеть до подробнаго разбора фактовь, то все наполнено и частными и оффиціальными даже признаніями о печальныхъ явленіяхъ по всёмъ отраслямь и частной, и общественной деятельности, до того, что мы уже хвалимся (а въдь все то же, все прежняя замашка всемъ тщеславиться!) тыть, что безпощадно обнажаемъ свои язвы; когда дойдеть до непосредственваго приложенія, до того, чтобы имьть съ кьмь-нибудь дьло, то и начальники и частные люди объявляють цёлыя сословія мошенниками, что, конечно, такъ же несправедливо, какъ и общія похвалы. А лишь коснется до общахь обозрѣній, до возгласовъ частныхъ и оффиціальныхъ, тотчасъ русскіе являются образцовыми людьми, идеадами безкорыстія, самопожертвованія, исполнительности и пр... Итакъ, относительно утвержденій г. Паргачевскаго, повторимъ, что, зная, какіе люди туть большею частью дъйствують, сразу поймешь, что должно происходить, и что есть вещи и льда, которыя невозможно, чтобъ не происходили, что торговля должна идти средствами рег fas et nefas... А что эти торговыя продыки не любять и туть гласности, - доказательствомъ самъ г. Паргачевскій, который, по словамъ бывшаго его хозянна Зимина,

ие хотель дать отчета, какими средствами онъ, независимо отъ пріобретенныхъ для хозяевъ, пріобраль и для себя соболей. Уваренія, что русскіе вели себя будто бы примерно, опровергаются вполне предписаніемъ начальства, предъ отправленіемъ въ 1857 году, гда прямо говорится, что дошло до сваданія его о насиліяхь и обманахь, что русские продавали винтовки и порохъ даже и тогда, когда неизвъстно было, не употребятъ-ли ихъ противъ насъ самихъ. Эго не танна, какъ и то, что торговали в служащіе, которые, какъ неплатящіе повинностей и на готовомъ содержанів, находились, конечно, въ выгодныхъ условіяхъ для торговли, особенно подмішивая при томъ немножко обмана. Что пріобратенные такимъ образомь маха она могли продавать съ выгодою для себя и съ большею выгодою для куппа, особенно, когда продавецъ голоденъ, - это ясно; но въдь не такая торговля можеть имать залоть будущаго развитія. Что касается до жезанія, чтобъ запретить манчжурамь продавать водку, то, послі всего, что печатается обь откупахь, очень понимаемь, что русскимь хочется вирть такой выгодный товарь (кто не знасть, какъ върсиъ разсчеть на слабость инородцевъ къ водкъ и табаку?) въ своихь рукахь; въдь, не для своего же употребленія перекупають они сами китайскую водку у манчжурских вторговцевь? Что обманывали фальшивою монетою, оловянными и натергыми ртутью рублями, - эго доказывають сибдственным діла; относительно же довірчивости инородцевь къ русскимъ и скрытности противъ манчжурь и при нихъ, - это точь-въ-точь, какъ у насъ все простонародье, особенно изъ бурять, ни за что не станеть говорить откровенно при русскихъ чиновникахъ, а про ихъ притесненія — и ни при комъ, даже о томъ, что и помимо ихъ сделалось гласнымъ. А разве можно при томъ предположить, чтобъ съ при-амурскими инородцами русские обращались дучше, чъмъ со своими?

Скептическія положенія г. Завалишина, давно уже имъ повторяемыя въ нъсколькихъ газетахъ и журналахъ, обратили на себя нъкоторое вниманіе хвалителей нашихъ амурскихъ успіховъ и вслідствіе того, напримфръ, въ Иркутской газетъ, появились разныя сознанія въ промахахъ и исправленія прежде сообщенных изв'ястій. Но все это скрашивалось тімь, что, конечно, теперь еще многаго нътъ, время еще не настало, однако, скоро оно настанеть, и настанеть непременно, какъ только край станеть васеляться. "Денего и модей!" воніяль г. Романовъ въ "Русскомъ Въстникъ". "Надо колонизировать При-амурскій край, — изъяснялъ корреспондентъ "Сиб. Въдомостей" еще въ прошломъ году, —въ большихъ размърахъ распространить тутъ русское населеніе, развить пароходство и судоходство по Амуру, т.-е. сдълать изъ этой ръки то, къ чему она предназначена самою природою: быть великимъ торговымъ путемъ для Восточной Сибири... Начало всему этому - заключалъ корреспондентъ - положено уже въ предыдущіе годы"... Затемъ следовали известія, что близь устья Амура существуеть ужь городъ Николаевскъ, что вездъ строятся казачьи станицы, что много есть ужъ по Амуру зародышей будущихъ городовъ, и т. и. Эго, по крайней мъръ, было скромно, и потому нельзя было не върить и нельзя было не поддаться нъкоторымъ надеждамъ. Но неугомонный г. Завалишинъ разрушаетъ и эти надежды. И, что всего горестиве, онъ показываетъ даже, какъ и отчего эти надежды несбыточны, и показываетъ такъ ясно и просто, что и усомниться трудно. Возьмемъ

изъ его статей нѣсколько фактовъ и по этой части, чтобы дополнить характеристику того, что донынѣ дѣлалось и теперь дѣлается на Амурѣ.

Начнемъ съ того, что г. Завалишинъ, вопреки всемъ увереніямъ, что народъ валомъ валитъ изъ Россіи на Амуръ, утверждаетъ, что добровольных в переселенцевъ до сикъ поръ никого не было. Какъ ни неожиданно подобное утверждение, но ему нельзя не повърить уже и потому, что Иркутская газета, прежде говорившая о множествъ переселенцевъ, сама тоже созналась, что добровольных вереселенцевъ дъйствительно никого не было, но что они непремънно будутъ... И то хорошо, разумъется; но теперь двло не о будущемъ; двло въ томъ, что теперь нътъ переселенцевъ. Были охотники въ 1855 году; но послъ ихъ не нашлось, несмотря на всв вызовы и льготы. Г. Завалишинъ самъ удивляется этому и спрашиваетъ: "кажется, давно-ли было, что Амуръ составлялъ идеалъ стремленій всего здішняго населенія, и когда ничего не требовали, никакихъ льготь, вромь дозволенія, хотя бы безмольнаго, - хотя бы только непрепятствованія переселяться туда? Какъ же это случилось, что въ такой короткій промежутокъ дело повернулось такъ, что переселеніе на Амуръ, въ повсемъстномъ почти убъждении, сдълалось непривлекательнымъ?.. "И въ отвътъ на эти вопросы онъ разсказываетъ следующую простую исторію ("Въстн. Пром." № 10, стр. 69-71).

«Добровольныхъ переселенцевъ 1855 года, сплавили на устье Амура, сказавъ имъ, что ихъ поселять близко; въ надежде на это, зажиточные взяли съ собой много хльба и другихъ хозяйственныхъ предметовъ и пригнали много скота, какъ воругъ имь объявили, что они могуть взять только небольшое, опредъленное количество всего. Такимъ образомъ, тотъ, кто не имътъ провожавшихъ его родныхъ или знакомыхъ, съ къмъ могъ бы отослать изляшнее, -чего не позволяли взять. - бросили даромъ, или продали за безцінокъ купцамъ, особенно скотъ (по причині страшной дороговизны прокорма, около Шилкинскаго завода); а ть, разумьется, перепродали, при случав, и даже въ казну, съ огромнымъ барышемъ. И вышло то, что этотъ образъ дъйствія доставиль выгоду, конечно, однимъ спекулянтамъ-купцамъ, а на переселенцевъ пали всю невыгоды. Надо сказать, что такія же точно послыдствія имыли и вст другія распоряженія, предпринятыя, будто бы, для пользы края и улучшенія участи низшаго класса. Оттого-то онъ и недовърчявъ къ подобнымъ обыцаніямъ и ничто его такъ не пугаетъ, какъ перемѣны, о которыхъ говорятъ ему, что для него онъ къ лучшему. Настоящее положение добровольныхъ поселенцевъ на устьъ Амура вотъ каково: можетъ быть, что ови разъезжають звиою съ колокольчиками и бубенчиками, да въ этомъ-ли дело и желательный успехь? На четвертый годъ пребыванія своего на мѣстѣ, они не довели хлѣбопашества до одной еще десятины на ревизскую душу, оставались долье двухъ льтъ на казенномъ проловольстви и залолжали въ казну. Воть и говорять теперь, что они льнти, что нужны мпры строгости: но извѣстно, что это средство ръшительно безполезно.

«Разумвется, что после этого нельзя было ожидать болые добровольныхы переселенцевы, особенно, когда и последнія известія оты выходившихы съ Амура не были вы пользу переселенія. Какы о характеристическомы явленіи, упомянемы о томы, что векоторые отставные нижніе чины, иные семейные, вышли отмуда; а какы бы, казалось, не остаться на томы приволью, которое, какы уверяють, существуеть тамы для нихы, особенно когда уже разы были на мысть?

«Между козаками также не нашлось добровольных в переселенцев»: воть и стали переселять козаковъ— конных в по наряду и выбору, пыних — по жребію. Были, правда, между козаками, такъ-называемые добровольно, будто бы, илущіе за других в но ото быль только скрытый наемъ. Такъ какъ отпрытый наемъ не отпускался, то наемщикъ объявляль, что идеть за такого то добровольно. Но и тутъ, несмотря на то, что брали иногда огромную плату, эти наемщики были преиму мественно изъ таких в, которымъ или не при чемъ было оставаться, или семья развълялась такъ, что ни отправляющейся, ни остающейся части хозяйствовать было невозможно, или, наконенъ, ихъ побуждала крайняя нужда въ дены ахъ. Что же касается до добровольных в изъ другого званія, въ небольшомъ числь (изъ расформированнаго гарнизоннаго полубатальона), то это исключительные случаи, объясняемые положениемъ, въ какомъ оти налодились.

«Предполагають еще одно средство: приглашать на Амурь съ безвыгодныхъ или менье выгодныхъ мьсть. По, во первыхъ, гдь пы в сетественнаго добровольнаго предпочтения, тамъ всь приманки льготами, вспомощесть ваниями отъ театровъ, концертовъ и пр. искусственныя средства—капля въ морь; во-вторыхъ, по нашему убъжденю, это очень вредно для будущато, когда все же, рано вли поздно, придется опять заселять и эти мьста: въдь вельзя же, ради неимънгя къмъ заселять одно мьсто, превращать другия, промежуточныя, въ пустыни, та еще искусственными средствами. Хорошо и то, что люди сами живуть туть и хотять жить, потому что, какъ бы худо мъсто ни было, но кто прижился на немъ, тъхъ удержать болье причинъ и легче, нежели водворять новыхъ.

«Наконедъ, чтобы найти благовидный предлогь выселить кого-нибудь на Амуръ, не выказывая прямого насилія, прибылюють къ выселеною резбросанных между посударственными крестьянами черезполосно козиковь, подъ предлогом уничтоженія чрезполосности и сокращеній разстопном. Но зачьть же не слідали этого при образованія вейска? и за что эти люди будуть отвічать за чужія ошибки? Мы давно, еще съ 1834 года, настойчиво обращали на это внимане. При обращеніи горных крестьянь вт пілніе козаки—быль самый благопріятный случая сділать размінь съ общими государственными крестьянами, какъ для уничтоженія чрезполосности, такъ и для сокращенія протяженія въ преділы соразмірности, чтобы сділать возможнымь доброе управленіє: а то десятый батальонь, въ одну линію, протянуть слишкомъ на 300 версть. Тогда не слілали этого, по доводамъ неосновательнымь, а теперь выселяють для этого цілья селенія!»

Такимъ образомъ и принудительныя переселенія были очень слабы, и только разстроивали экономію тёхъ мѣстъ, откуда выселялся народъ. У козаковъ, которыхъ стали переселять по жребію, первымъ слѣдствіемъ этого была небрежность обработки своей земли и весьма естественное стараніе заблаговременно сократить свое хозяйство. А между тѣмъ, новымъ переселенцамъ ѣсть было нечего. Въ 1857 г. хотѣли переселить на Амуръ цѣлую пѣшую козачью бригаду; 500 семействъ было переселено, но затѣмъ переселеніе вдругъ остановилось, по увѣренію корреспондента "Спб. Вѣдомостей" — вслюдствіе неопредъленности нашихъ отношеній къ Китото. Но переселеніе началось раньше, чѣмъ получено извѣстіе о заключеніи айгунскаго трактата; когда же отношенія были болѣе неопредѣленны, — до трактата или послю него?.. Настоящая причина остановки переселенія 3.500 семействъ, уже опредѣленныхъ жребіемъ и разстроившихъ свое хозяйство, заключалась въ томъ. что хлюба не было; оттого и объявили, чтобы шли только тѣ, кто можетъ идти на своемъ содержаніи, а

прочіе могуть оставаться. Но это объявлено было уже въ августь, когда здѣсь только доканчивають сѣно и убирають хлѣбъ; подъ паръ землю парять и поднимають залежи къ слѣдующему году гораздо ранѣе лѣтомъ. и естественно, что всѣ, назначенные жребіемъ къ переселенію, ничего этого не дѣлали... Въ августѣ поправляться было уже нѣсколько поздно...

Участь переселенцевъ вообще была незавидна. Песмотря на увъренія г. Романова, что "страну успали и умали обезпечить продовольствиемъ, какъ это было всегда, а служащихъ въ ней -теплымъ и удобнымъ помъщеніемъ", — оказывается, что и продовольствіе, и пом'ященія били въ положеній весьма печальномъ. Смертность была очень велика: много казаковъ погибло на сплавк в 1857 года, много другихъ — при приготовления къ ней, когда, по неимънію хоть бы временной казармы при амурскихъ магазинахъ, на Ингодъ, люди жили въземлянкахъ, и больные не вмъщались въ занимаемыхъ подъ дазареты домахъ. Хотя всв отряды едва-ли доходили до 500 человъкъ, число больныхъ доходило до 100, а смертность въ мъсяцъ — до 15 человъкъ ("Мор. Сборн." № 7, стр. 52). Относительно помъщеній для поселенцевъ г. Завалишинъ ръшительно не согласенъ съ отрадными извъстіями, которыя сообщались въ газетахъ. Писали, что въ Влаговъщенскъ строится церковь, построено нъсколько десятковъ домовъ: г. Завалишинъ увъряетъ, что церковь не строится, а развъ только-что. можеть быть, заложена; дома же въ сущности - ни что иное, какъ "мазанки въ одинъ плетень, поздво обиззанныя и потому зимою сырыя и холодныя, - отчего бользни и ихъ последствія". Писали, что на Амура станицы строятся; г. Завалишинъ говорить, что дъйствительно строятся. но уже и переносятся на другія міста, не успівь отстроиться; планы, судя по рисунку, однообразны и неудобны ("Мор. Сборн." № 5 и 7). Вообще хозяйственныя распоряженія въ томъ крав характеризуются, между прочимъ, следующими эпизодами. разсказанными г. Завалишинымъ:

«Мы остановились на причинахъ разстройства хозяйства, особенно у козаковъ. Первое отягощение составили штабныя постройки. Прежние козаки имъли значительный капиталь, который преимущественно и поглощенъ постройками. Ихъ предназначено было окончить въ три года, и аргументь, который тогда приводили въ причину такой поспъшности, такъ страненъ, что не знаешь, что и думать. Чтобы понять, во что обощлась дъйствительная стоимость этихъ построекъ, достаточно сказать, что чиновникъ особыхъ порученій при мнѣ докладываль, что за бревно, за которое казна платила 15 коп., давали въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по нѣскольку пуловъ хлѣба, стоявшаго тогда въ дорогой цѣнѣ; въ другихъ — возили бревно по нѣскольку десятковъ верстъ, и оно обходилось по 1 р. 50 к. с. и дороже; къ тому же всѣ передѣлки, не-избѣжныя при торопливомъ, ошибочномъ и неискусномъ веденіи работъ, разумѣется. не входили въ смѣту.

«Несмотря на такую торопливость и такіе убытки козакамъ, постройки эти не достигли вполнѣ цѣли (такъ, напр., въ госпиталѣ 2-й бригады нельзя было держать зимою больныхъ) и оставлены недоконченными; слѣдовательно, оказались не такъ не-

обходимыми, какъ говорили, по меньшей мерь — не такъ къ спеху. Ныне одне изъ нихъ, какъ штабъ 4-го батальова и госпиталь 1-й бригады, истреблены огнемъ; другія, какъ 12-го батальона, сплавлены на Амуръ, чтобы извлечь изъ нихъ какую-нибудь пользу; предполагалось сделать то же и со всеми зданиями штаба 2-й бригады» («Морск. Сборв. № 7, стр. 64).—«Остается разсмотрыть обычныя жалобы на недостатки, будто бы, средствъ. Но если разсмотръть всь средства, - и гласныя и негласныя, -то окажется, что средства были огромныя. Путь рекьизицій, раскладокъ, нарядовъ, произвольныхъ цънъ за продукты и работу, такой скользкий и покатистый путь, что разъ вступившему на него уже ньть возврата, и движение будеть все ускоряться на пути къпропасти. Г-нъ министръ внутреннихъ ділъ говорить, что эти средства не только раззорительны для народа, но и невыгодны для казны; но кто самъ не следить за действительными случаями, тоть и вообразить себе не можеть, во что обращается это, повидимому, легкое для начальства, распоряжение средствами въ последнихъ инстанціяхъ. Каково бываеть конечное укотребленіе такихъ легко 10бытыхъ средствъ, приведемъ два примъра, лично нами провъренныхъ. При провозъ пороха нарядомъ (это еще за прогоны), здёсь, въ мёсте плавнаю начальства, собирали подводы для одного транспорта по шести даен срязу, после определеннаго дня, не считая запрещенія отлучаться изъ селенія до того времени. Само собою разумъется, что прогоны, платимые за въсколько часовъ проезда, не могли окупать потери ивскольких дней. И потомъ этотъ порохъ, стоивший казні, по разціний того, что она платила, - слишкомъ по двадцати рублей пудь, вдругъ утопили, еще до отправленія, въ Шилкинскомъ заводь, въ количествь до двухъ тысячь пудовь. Другое обстоятельство: когда добудуть матеріала, работу, провозъ далеко ниже дійствительной ихъ стоимости, -говорять, что обощлось дешево, а потому изъ остаточных суммъ дають награды людямъ, которымъ ужъ никакъ нельзя пожаловаться на скудость содержанія, Я бы почель это за клевету, есля бы лично не слышаль о томь оть самихь, получавшихъ подобное награжденіе» («Въсти. Пром.» № 10, стр. 77).

Вслъдствіе всъхъ фактовъ и соображеній, представленныхъ г. Завалишинымъ, являются слъдующіе выводы о нашихъ прогрессахъ на Амуръ:

- 1) Правильнаго сообщенія по Амуру нътг еще ни льтомг, ни зимою. и для жельзной дороги нътг никаких условій.
- 2) Торговли въ настоящемъ смыслъ нътъ ни русской, ни иностранной: приходъ иностранныхъ судовъ ничтоженъ.
  - 3) Добровольного движенія для заселенія Амура ньтъ.
- 4) Средства были, и средства огромныя: но растрачены не такъ, какъ слъдовало, вслъдствіе чего до сихъ поръ Россія должна была тратиться для Амура, а не Амуръ приносилъ пользу Россіи.

А окончательный выводъ изъ всего этого — прямо противоположенъ выводамъ, сдъланнымъ г. Романовымъ въ "Русскомъ Въстникъ". Г. Романовъ говоритъ: "край развернется быстро, если будетъ идти впередъ такъ же, какъ идетъ въ настоящее время". Г. Завалишивъ утверждаетъ, напротивъ: "край можетъ развернуться только при условіи — если перемпънятъ путъ, по которому до силъ поръ шли; иначе эта быстрота только пособитъ быстръе скатиться въ пропастъ" ("Въстн. Пром.", стр. 83).

Таковы два противоположныя воззрѣнія на существующее значеніе нашихъ поселеній на Амурѣ и нашихъ дѣйствій въ этомъ краѣ. Мы пред-

ставляемъ ихъ читателямъ не съ темъ, чтобы бросить тень на самое пріобрътение Амура. Вовсе нътъ: пріобрътение останется пріобрътениемъ и будетъ имъть свою историческую цену. Но всякій согласится, что главное дъло не въ самыхъ земляхъ, а въ томъ, чтобы ими воспользоваться. И въ этомъ-то отношении важно всякое указание сдъланныхъ ошибокъ, всякое добросовъстное разрушение несбыточных внадеждъ и преувеличенныхъ восторговъ... Можеть быть, самъ г. Завалишинъ ошибается въ некоторыхъ случаяхъ, и даже иногда преувеличиваетъ дъло; но намъ кажется, что въ вопросахъ подобнаго рода, какъ вопросъ о заселени и значени Амура, гораздо лучше преувеличенная осторожность, нежели преувеличенная довърчивость. Притомъ, для людей, знакомыхъ съ общимъ порядкомъ дъль въ нашемъ любезномъ отечествъ, не можетъ быть ничего особенно страннаго и непонятнаго въ разсказахъ г. Завалишина. Очень неръдко мы видимъ, какъ частные корыстные разсчеты, небрежность, невъжество или недобросовъстность обращають въ ничто и даже дълають вредными самыя полезныя начинанія. Въ прошломъ місяців ны говорили о томъ, что производила, въ теченіе многихъ леть, неудовлетворительная администрація на Кавказъ. Теперь намъ представился случай заговорить объ Амуръ, и тутъ мы нашли печатно оглашенныя свёдёнія о разных распоряженіях низшей администраціи, вредныхъ для развитія края... Какъ и чемъ это поправить, и когда это можеть быть поправлено, — мы не можемъ ничего сказать. Замътимъ только, что мы вовсе не хотимъ обвинять отдъльныя лица и сваливать все на ихъ личные недостатки; это было бы съ нашей стороны очень опрометчиво. Мы очень хорошо понимаемъ, что гдв тотъ или другой недостатовъ восходить на степень общаго явленія, тамъ нужно искать причинъ его уже не въ свойствахъ того или другого лица, а гораздо глубже, — въ самомъ общественномъ порядкъ...

Скажемъ, въ заключеніе, что г. Маакъ объщаетъ, въ предисловіи къ своей книгѣ, отправиться вскорѣ во вторую экспедицію на Амуръ. Точность и добросовъстность его нынѣшнихъ замѣтокъ внушаютъ къ нему довъріе, и мы не можемъ не пожелать, чтобъ онъ теперь былъ самостоятельнѣе въ своихъ дѣйствіяхъ, нежели въ первую экспедицію: тогда онъ, можетъ быть, представитъ намъ довольно обстоятельную и точную картину края и разрѣшитъ хоть отчасти ту путаницу, которая до сихъ поръ существуетъ у насъ въ свѣдѣніяхъ о нашемъ положеніи на Амурѣ.

Потерянный рай. Поэма Іоанна Мильтона, съ пріобщеніемъ поэмы—Возвращенный Рай. Въ двухъ отдёленіяхъ и пяти пъсняхъ, переводъ съ прозы, въ стихахъ, Елизаветы Жадовской. Москва. 1859.

Изданіе чистенькое; но на это смотрѣть не должно. Переводъ съ прозы г-жи Жадовской — безобразнѣйшая спекуляція, какую себѣ можно только представить. Тутъ все есть — и ловкая штука, и бездарность, и прямой обманъ...

Извъстно, что "Потерянный рай" пришелся очень по вкусу нашей публикъ. Первый переводъ его вышелъ, кажется, въ 1810 г., и съ тъхъ поръ появлялось нъсколько переводовъ и, кажется, болъе досятка изданій его. Прежніе переводы были въ прозъ; г - жъ Елизаветъ Жадовской вздумалось, что поэма Мильтона будетъ имъть у насъ еще болъе успъха, если переложить ее въ стихи. Кстати же, у насъ имя г-жи Жадовской (не этой, а Юліи) имъетъ очень хорошую извъстность въ литературъ. Вотъ и принялась г-жа Елизавета Жадовская — переводить съ прозы, то-есть, перекладывать въ стихи прозаическій старый переводъ. Перевела она выдержки изъ трехъ пъсенъ "Потеряннаго рая" (4-й, 8-й и 9-й), да одну пъснь "Возвращеннаго", да часть одной пъсни изъ "Потеряннаго" перенесла въ "Возвращенный", составила, такимъ образомъ, книжечку стиховъ въ 140 разгонистыхъ страничекъ и издала подъ вышеписаннымъ громкимъ заглавіемъ... А затъмъ на оберткъ значится: июна 1 р. 65 к. сер... И даже 65! Что, хоть бы ужъ ровно 60!

Ясно, что спекуляція разсчитана именно на то, что читатели не разберуть, въ чемъ дёло, и выпишуть себѣ отрывочки г-жи Елизаветы Жадовской, въ полной увѣренности получить полный стихотворный переводъ ноэмы Мильтона. Немудрено, что кое-кто и попадется на эту штуку именно потому, что обманъ ужъ слишкомъ нагло сдѣланъ— и вотъ почему мы спѣшимъ предупредить читателей объ этомъ переводѣ.

О стихахъ г-жи Елизаветы Жадовской можно судить по следующему обращеню къ Мильтону, которое напечатано на особой четвертке, въ начале книги, очевидно, ради ея утолщенія:

Мильтонъ, Божественный писатель, Настрой мий лиру самъ мою, Сердець и лушъ очарователь, Дай повторить мий піснь твою; Ее начну съ четвертой темы, Ее, ее я пробрянчу Дай дивный ладъ твоей поэмы И вдохновенье;—такъ начну.

Всв знаки препинанія мы оставили такъ, какъ они стоять въ подлинникъ. По этому можно судить и о грамотности г-жи Елизаветы Жадовской.

Мы сказали, что г-жа Елизавета Жадовская перекладывала въ стихи русскій старый переводъ. Въ этомъ убѣдились мы, во-первыхъ, потому, что содержаніе каждой пѣсни изложено почти буквально сходно съ изложеніемъ стараго перевода; а во-вторыхъ, и бѣглымъ сличеніемъ нѣвоторыхъ мѣстъ. Возьмемъ хоть съ пачала. Вотъ проза:

«То устремляеть онь (сатана) печальные взоры на вертоградь райскій, котораго прелестный видь открыть предъ его глазами; то обрашаеть ихъ къ небесамъ, къ сему лучезарному світилу, которое, достигнувъ до средины пути своего, блистало съ высоты своихъ блестящихъ чертоговъ».

#### А воть стихотворный переводь съ прозы:

И устремляеть опъ печальный Свой взоръ на пышный вертоградъ: Эдемскихъ прелестей отрадой Его томется злобный взглядъ. Тутъ къ небесамъ онъ взоръ вращаетъ, Глі лучезарный блескъ свътвлъ Собой природу освъщаетъ, Гдв ихъ чертогъ блестящій былъ.

Не знаемъ, что побудило г-жу Елизавету Жадовскую выступить съ книжечкою такихъ стиховъ, да еще выступить въ такихъ павлиныхъ перьяхъ, но считаемъ справедливымъ замътить, что ея "Потерянный рай" — есть явленіе, весьма невзрачное въ русской литературъ.

Р. S. Считаемъ нужнымъ оговориться, что, охуждая переводъ г-жи Елизаветы Жадовской, мы вовсе не отвергаемъ пользы перевода на русскій языкъ лучшихъ произведеній иностранной поэзіи. Наши замѣчанія имѣютъ вотъ какой смыслъ: зачѣмъ г-жа Жадовская выдрала изъ поэмы Мильтона отрывки, и отрывки далеко не лучшіе, зачѣмъ перевела ихъ на плохіе стихи съ старой русской прозы, зачѣмъ перепутала даже и то, что сама выбрала, а главное—зачѣмъ свои вирши издала подъ названіемъ поэмы Мильтона "Потерянный рай", да еще съ присовокупленіемъ "Возвращеннаго"?.. Такъ нужно понимать наши слова, а никакъ не въ томъ смыслѣ, будто мы глумимся надъ Мильтономъ, надъ поэзіей, и утверждаемъ, что намъ никакихъ переводовъ не нужно, что намъ и того, что есть, слишкомъ достаточно. Нѣтъ, не за то осуждаемъ мы г-жу Елизавету Жадовскую, что она переводила Мильтона, а за то, что плохо перевела, перевела не все, что слѣдовало, а выдала такъ, что будто все ею сдѣлано.

Оговорка эта сдълана нами не для обычныхъ нашихъ читателей, а изъ предосторожности предъ московскими публицистами. Съ нами ужъ былъ въ нынъшнемъ году такой случай. Нъкоторые господа сдълали съ глас-

ностью и сатирой то же самое, что г-жа Елизавета Жазовская произвела съ Мильтономъ, — т. - е. выдрали кое-какіе отрывочки изъ давно ходив-шихъ въ обществъ сужденій и анекдотовъ, перевели ихъ съ простой житейской прозы на патетическую реторику и даже поэзію съ хромыми рифмами, прибавили разныя обращенія, въ родъ обращенія г-жи Елизаветы Жадовской къ Мильтону, и пошли писать... Услужливые люди, — да и самя эти сочинители отчасти, - выдали эти плохіе отрывочки за настоящій, полный образецъ гласности и сатиры. Мы, съ свойственною намъ мягкостью и благодушіемъ, осмълились замътить, что это не совствиъ такъ, и предостеречь читающую публику отъ заблужденія. Московскіе публицисты, очень дорого оценивше отрывочки обличенія и гласности (чуть-ли не дороже, чъмъ переводъ г-жи Е. Жадовской), возстали на насъ цълычь хоромъ, да въдь какъ!.. Цълый годъ насъ преследовали за то, что им надъ обличительной литературой глумимся и гласности не уважаемъ... Еще недавно упрекали насъ за это, и, кажется, такъ и въ следующій годъ перейдуть, не усивыши смекнуть, въ чемъ дело... Но читатели видятъ, что мы не были въ этомъ случав горды и скрытны; мы много разъ склонялись на объясненія съ почтенными публицистами, употребляли всв старанія вразумить ихъ, наконецъ, даже избъгали всего, что могло ввести ихъ въ заблужде-ніе. Вотъ и теперь, — мы нарочно оговорились въ нашемъ сужденіи о переводъ г-жи Е. Жадовской, — чтобы московские публицисты, въ обличенияхъ своихъ противъ насъ, не взяли къ слъдующему году еще лишняго греха на душу... Можетъ быть и это не поможетъ; но мы, по крайней мъръ, не будемъ считать себя виноватыми въ недоразумъніяхъ.

#### 1860

**Литературные** дъятели прежняго времени. *Е. Колбасина*. Спб. 1859.

Г-нъ Колбасинъ, какъ извъстно нашимъ читателямъ, не лишенъ дарованія для писанія повъстей. Но, кромъ повъстей, онъ занимается еще и исторією литературы. Нъсколько очерковъ его, помъщенныхъ въ журналахъ, были въ свое время прочитаны безъ скуки. Теперь они изданы отдъльною книжкой. Первое мъсто между ними занимаетъ біографія И. И. Мартынова, года четыре тому назадъ напечатанная въ "Современникъ". Главное ея достоинство заключается въ томъ, что она составлена при помощи собственныхъ записокъ Мартынова. бывшихъ въ рукахъ у автора и, слъдовательно, имъетъ значеніе первоначальнаго источника. Два другіе очерка: "Кургановъ" и "Воейковъ", меньшіе по объему, не имъютъ того значенія, но тоже могутъ быть довольно новы и любопытны для читателей, незнакомыхъ съ библіографическими трудами послъдняго времени и съ нашими старинными журналами.

Вообще, изложение г. Колбасина довольно правильно и живо. особенно если есть подъ руками у него хорошіе матеріалы. Н'ять сомн'янія. что если онъ будеть бол'я трудиться и строже судить самого себя, то изъ него можеть выйти д'ятель, далеко не безполезный въ ряду нашихъ историковъ литературы, начинающемся г. Галаховымъ и оканчивающемся г. Тихменевымъ.

Взглядовъ особенбо новыхъ и смълыхъ нътъ у г. Колбасина, да его нельзя и винить за это: сколько мы можемъ судить по его литературной карьеръ 1), — онъ еще находится въ томъ литературномъ возрастъ, въ которомъ только собираются матеріалы и перевариваются чужія мысли и мнѣнія, а собственные взгляды еще довольно шатки и неопредъленны. Мы можемъ быть благодарными г. Колбасину ужъ и за то, ежели онъ беретъ

<sup>1)</sup> Первыя произведенія его появились не болье 10 льть тому назадь, въ «Литературныхъ Вечерахъ» Фумели, 1850 г.

изъ чужихъ взглядовъ то, что болѣе подходитъ къ современнымъ требованіямъ и что дѣйствительно оказывается лучшимъ въ сравненіи съ остальнымъ. Упрекать же его можемъ лишь тогда, когда онъ беретъ взгляды отсталые и давно опровергнутые и осмѣянные не только на бумагѣ, но и въ жизни. Но такіе взгляды попадаются у него довольно рѣдко. Мы укажемъ здѣсь на одинъ примѣръ, не очень рѣзкій, но непріятный именно потому, что онъ касается практическихъ отношеній писателей.

Г. Колбасинъ весьма благосклонно смотрить на старинную моду-Г. Колоасинъ весьма олагосклонно смотрить на старинную моду— имъть литературныхъ милостивцевъ, хотя и не одобряетъ меценатства не-въжественныхъ вельможъ. Онъ съ умиленіемъ разсказываетъ о томъ, какъ Мартыновъ обращалъ на себя вниманіе разныхъ начальственныхъ лицъ, и о томъ, какъ нъкто Быковъ нарочно прівзжалъ изъ Рязани въ Москву и Петербургъ,— на поклонъ Державину, Капнисту и Мерзлякову, и т. п. Изъ этихъ подобострастныхъ отношеній къ писателямъ, г. Колбасинъ выводить такое заключение: "при всъхъ недостаткахъ прежней литературы, водить такое заключение: "при всёхъ недостаткахъ прежней литературы, представители ел, своимъ авторитетомъ и вліяніемъ, воспитывали, быть можетъ, гораздо болье людей въ эстетическомъ и нравственномъ отношеніи, чымъ нынышніе университеты и различныя заведенія". Мы не хотимъ ратовать за "различныя заведенія", но относительно воспитательнаго вліянія писателей, мныніе г. Колбасина очень опоздало. Теперь мы знаемъ характеръ отношеній молодыхъ писателей и всякаго рода юношей къ литературнымъ авторитетамъ того времени. Изъ воспоминаній г. Аксакова мы видыли, какъ юноши принимались и теривлись старцами только до тыхъ поръ, пока почтительно и съ одушевленіемъ читали ихъ сочненія; изътьхъ же воспоминаній и изъ библіографическихъ розысканій г. Лонгинова и другихъ мы знаемъ, какъ въ почтенной семьъ авторитетовъ принятъ тёхъ же воспоминаній и изъ библіографическихъ розысканій г. Лонгинова и другихъ мы знаемъ, какъ въ почтенной семь авторитетовъ принятъ быль Карамзинъ, лишь только обнаружилъ нёкоторую самостоятельность, какъ относился къ нимъ даже Батюшковъ. Журналы двадцатыхъ годовъ покажутъ намъ, какъ было встръчено ареопагомъ появленіе первыхъ опытовъ Пушкина, въ которыхъ онъ ръшительно выбился изъ рутины державинскаго и карамзинскаго тона... Можно замътить, конечно, вполнъ справедливо, что всъ эти противники новыхъ талантовъ принадлежали къ числу людей отсталыхъ... Но въдь это теперь мы считаемъ ихъ отсталыми, а тогда они еще были въ полномъ цвътъ и пользобались авторитетомъ. Сенковскій еще не имълъ въ публикъ репутаціи отсталаго и отжившаго, когда ругалъ Гоголя, г. Шевыревъ еще пользовался уваженіемъ многихъ, когда унижалъ Кольцова и Лермонтова... Въдь не только то можно назвать отсталостью, что уже для всъхъ кажется негоднымъ и ненужнымъ; нътъ, отсталость начинается гораздо раньше. — тотчасъ, какъ только человъкъ замкнулся въ собственномъ авторитетъ и не хочетъ знать ничего

новаго, выходящаго изъ молодой жизни и охватывающаго будущность. И эта отсталость всегда была въ кружкъ признанныхъ авторитетовъ, она составляетъ ихъ естественную принадлежность, и только удивительнымъ нодвигомъ постояннаго самонаблюденія и самоотверженнаго увлеченія общимъ дѣломъ, можетъ иной человѣкъ избѣгнуть этой отсталости. Пушкинъ не дожилъ до нея; Жуковскій, говорятъ, былъ въ восторгѣ отъ Гоголя, — но не отъ того направленія, за которое мы цѣнимъ Гоголя. И если Жуковскій съ своими друзьями имѣлъ на Гоголя вліяніе, то ужъ, конечно, не благотворное: для Жуковскаго или непонятно, или противно было то мовое, что проглядывало въ авторѣ "Мертвыхъ душъ"... А кто ратовалъ за это новое? Бѣлинскій, ровесникъ Гоголя. А кто же изъ авторитетовъ признавалъ тогда Бѣлинскаго? Да и къ кому могъ бы онъ идти, чтобы получить "эстетическое и нравственное воспитаніе"? Нѣтъ, онъ самъ себѣ былъ авторитетомъ, самъ себя воспиталъ, и если искалъ какой - нибудь внѣшней опоры, то развѣ въ молодыхъ друзьяхъ своихъ, для которыхъ самъ скоро сдѣлался авторитетомъ, а ужъ никакъ не въ отживавшихъ старцахъ съ почетными именами. Вспомнинъ, что онъ и началъ-то нападками на Пушкина, въ то время какъ Пушкинъ былъ еще живъ.

И послъ Бълинскаго нътъ возврата на путь литературныхъ ухаживаній и поклоненій для русскаго писателя, который сознасть въ себъ силы хоть настолько, чтобы о себъ-то "смъть свое суждение имъть", не дожидаясь приговора какой-нибудь знаменитости. Странно теперь жалыть о томъ добродушномъ времени, когда люди стремились хоть взилянуть на прославленнаго писателя и, въ свою очередь, удостоиться отъ него хоть милостиваго взгляда... Теперь это уже сделалось признакомъ мелкости и пошлости натуры, особенно въ тъхъ людяхъ, которые сами хотять выступить на литературное поприще. Въ современной литературъ нътъ литературнаго генеральства, и это прекрасно. Мы всъ проповъдуемъ "служение дълу, а не лицамъ"; стыдно было намъ изивнять этому служению въ нашихъ собственныхъ отношеніяхъ другъ къ другу. Это очень хорошо сознаетъ молодое поколъніе писателей, сознаетъ, кажется, и почтенная фаланга людей прославленныхъ. Теперь молодой человъкъ безъ особеннаго трепета можеть войти въ собрание литературныхъ знаменитостей, безъ подобострастія высказать свое мнініе, безь замиранія сердца сдів ать возражение человъку, прославленному ученостью или талантомъ. Онъ уже не побоится встретить тоть принижающій, высокомерный взглядь, которымь, говорять, награждали прежде подобныхъ смъльчаковъ; не побоится увидѣть на почтенныхъ лицахъ и той отечески-снисходительной, умильной мины, которая говоритъ: "а, ну-ка, ну-ка, что ты скажешь? развернись-ка, а мы послушаемъ!.." Нѣтъ, нынъ молодой человъкъ, сознающій въ себъ нъсколько внутренней силы и желающій трулиться, можеть гордо и независимо держать себя, не кланяться знаменитостямь, не просить заслуженные авторитеты, чтобы они удостоили взнуздать его и навьючить окаменьлостями своихъ взглядовъ и мнѣній... Ему не нужно этого: права труда, знанія и таланта признаются съ каждымъ годомъ все больше въ литературѣ... Теперь только тотъ захочетъ добиваться разимхъ покровительствъ литературныхъ, кто, при страсти къ литературной репутаціи. болѣе имѣетъ наклонности бить баклуши, нежели серьезно трудиться. Вотъ почему мы считаемъ совершенно неумѣстнымъ сожалѣніе г. Колбасина о добромъ старомъ времени, когда юные писатели и вообще люди образованные ъздили изъ дальнихъ городовъ на поклонъ къ литературнымъ знаменитостямъ...

изъ дальнихъ городовъ на поклоне къ литературнымъ знаменитостимъ...

Вирочемъ, такихъ устарълыхъ нагля довъ и соображеній немного у т. Колбасина. Вольшею частью онъ повторяетъ довольно върно тъ выводы, которые добыты новъйшими историко-литературными изслъдованіями. Попадаются у него и мелкія ошибки, въ родь тъхъ, какія были замъчены въ прошломъ году въ статьъ о Воейковъ. (Въ отдъльномъ изданіи, вирочемъ, исправлено то, что было замъчено тогда). По ошибки эти, очевидно, произошли отъ нъкоторой небрежности въ составленіи статьи, да и вообще отъ недостатка спеціальнаго знакомства съ предметомъ: ихъ нельзя приписать коренному непониманію того, за что авторъ взялся. Напротивъ, мы еще разъ съ удовольствіемъ повторимъ, что въ ряду изслъдователей русской старины, отъ г. Галахова до гг. Тихменева и Семевскаго, г. Колбасинъ могъ бы занять довольно видное мъсто, если бы далъ себъ трудъ попристальнъе заняться и поосновательнъе изучить то, о чемъ пишетъ. Слогъ у него очень чистый, видно знакомство съ литературными пріемами, живое, повъствовательное изложеніе... При такихъ задаткахъ нельзя сомнъваться, что если онъ еще нъсколько поучится, займется и будетъ при писаніи поосмотрительнъе, то въ дальнъйшихъ своихъ упражненіяхъ по части историко-литературной будетъ, по крайней мъръ, столько же замъчателенъ, какъ уже сдълался замъчателенъ въ своихъ повъстяхъ и разсказахъ.

# Повъсти и разсказы С. Т. Славутинскаго. Москва. 1860.

Лътъ семь тому назадъ была большая мода на повъсти изъ простонароднаго быта, и по этому случаю глубокихъ критиковъ нашихъ занималъ тогда вопросъ: "можетъ-ли простонародная жизнь быть введена собственно въ литературу, безъ всякаго ущерба для истины, цвъта и значенія своего? Одинъ изъ глубокомысленнайшихъ тогдашнихъ критиковърфиниль этотъ вопросъ отрицательно, на томъ основаніи, что "искусство имъетъ свои незыблемыя правила, сохраненіе которыхъ, рядомъ съ случайнымъ, жесткимъ ходомъ жизни— невозможно; ибо какая есть возможность произвести эстетическій эффектъ и въ то же время цъликомъ выставить бытъ, мало подчиняющійся вообще эффекту? Воззрѣніе это до сихъ норъ тайкомъ сохраняется нъкоторыми, и еще недавно выразилось, напр., осужденіемъ всѣхъ комедій Островскаго, какъ противныхъ условіямъ искусства и слишкомъ уже близкихъ къ жизни. Любопытствующіе могутъ еще долго, въроятно, дюбоваться, какъ это воззрѣніе черезъ неправильные промежутки продолжаетъ прорываться грязнымъ волканомъ въ "Нашемъ Времени". Но что странно до неприличія въ наше время, то было очень простительно семь лѣтъ тому цазадъ, и им вполнѣ оправдываемъ глубокомысленнаго критика, вспомнивши о его затруднительномъ положеніи въ виду простонародныхъ разсказовъ того времени.

Нужно вамъ сказать о происхождении тогдашней страсти въ подобнымъ разсказамъ, чтобы вы удобнъе могли понять, почему мы критика считаемъ правымъ и даже весьма проницательнымъ въ этомъ случаъ.

Семь лътъ тому назадъ о крестьянскомъ вопросъ не было и помину,

следовательно, разсказы о жизни крестьянской вопрост не было и помину, следовательно, разсказы о жизни крестьянъ (разумфется, безъ всякаго отношенія къ ихъ юридическимъ правамъ или, правильне сказать, обязанностямъ) никого не могли задевать за живое, никому не досаждали. А все другое въ то время казалось очень сомнительнымъ и встречалось съ большимъ недоброжелательствомъ известною частью публики, отъ которой преимущественно зависитъ процевтаніе русской литературы. Чтобы никого не раздражать, русскіе писатели изобрени было тогда особенный какой-то, даже не средній, а скоре общій родъ людей, которыхъ званіе, общественное значеніе, сословныя отношенія и проч. оставлялись на догадку читателя, а изображалось только любящее сердце и мечтательное воображеніе. Но и тутъ выходила часто неудача. Изображенъ, напримеръ, въ повести герой совершенно безъ всякаго званія, и такъ искусно, что следовъ нельзя найти: непомнящій родства, да и только. Но вздумается же автору заметить въ одномъ мёсте, что герой крутиль себе усъ; а въ другомъ мёсте сказано, что онъ въ танцахъ платье у дамы оборваль: сейчасъ же офицеры и раздражаются, — мундиръ, дескать, нашъ мараютъ. И неосторожный авторъ наживаетъ хлопотъ... Въ этой-то крайности и решились, наконецъ, къ мужикамъ обратиться; техъ, дескать, какъ хочешь описывай: они не прочитаютъ, а кто прочитаетъ, такъ тотъ не обидится и на свой счетъ не приметъ. За то ужъ и досталось же бёднымъ мужичкамъ! За нёсколькими писателями, действительно наблюдавшими народ-

ную жизнь, потянулись цёлыя толим такихъ сочинителей, которымъ до народа и дёла - то никогда не было, и думушки - то о немъ въ голову не приходило, а теперь довелось писать о немъ. Говорятъ, въ то время "Сказанія русскаго народа" Сахарова и "Пословицы" Снегирева поднялись въ цёнв, и даже "Быта русскаго народа" Терещенка разошлось нёсколько экземпляровъ. Съ помощью такихъ источниковъ, изъ русскаго народнаго быта стали отхватывать драматическія представленія, на манеръ пословицъ Альфреда Мюссе, и разсказы въ самомъ безпримърномъ родъ. Тогда-то обратили на себя общее вниманіе гг. Данковскій, Лазаревскій, Мартыновъ и многіе имъ подобные. Тогда-то г. Потъхинъ сочинить "Крестьянку", г. Михайловъ "Ау" и "Африкана", г. Мей — "Кириллыча", тогда-то принялись за изображеніе простого быта даже такіе писатели, которые до того были насквозь пропитаны духомъ классической древности или полусвътскихъ салоновъ: такъ г. Майковъ произвелъ тогла "Дурочку Дуню", а г. Авд'вевъ ухитрился изобрѣсть "Огненнаго змія". Словомъ—простонародная повѣсть точно такъ же обуяла тогда литературу, какъ въ 1856 и слъдующихъ годахъ обличительные разсказы о взяточникахъ. Но разница была въ томъ, что врестьянскія новѣсти были настолько же деликатны, насколько обличенія невѣжливы.

Къ мужикамъ тогда приступали съ тою же манерою, какъ и ко вефмъ другимъ членамъ общества, т.-е. заставляли ихъ постоянно прикидываться непомнящими родства. Какъ мужикъ съ своей деревней связанъ, къмъ управляется, какія повинности несетъ, чей онъ и какъ съ бариномъ, съ управляющимъ, съ окружнымъ или исправникомъ въдается - это вы могли открыть весьма въ ръдкихъ случаяхъ. — именно, когда попадался вамъ идеальный управляющій, какъ въ "Крестьянкъ", или идеальный исправникъ, какъ въ "Лъшемъ", напримъръ... Житейская сторона обыкновенно пренебрегалась тогда повъствователями, а бралось, безъ дальнихъ справокъ, сердце человъческое, и такъ какъ для него ни чиновъ, ни богатствъ не существуеть, то и изображалась его чувствительность у крестьянь и крестьянокъ. Обыкновенно герои и героини простонародныхъ разсказовъ сгорали отъ пламенной любви, мучились сомнаніями, разочаровывались совершенно такъ же, какъ "Тамаринъ" г. Авдъева или "Русскій Чер-кесъ" г. Дружинина. Разница вся состояла въ томъ, что виъсто: "я тебя страстно люблю: въ это мгновение я радъ отдать за тебя жизнь мою", они говорили: "я тея страхъ-какъ люблю; я таперича за тея жисть готовъ отдать". А впрочемъ, все обстояло, какъ следуетъ быть въ благовосиитанномъ обществъ: у г. Писемскаго одна Марфуша даже въ монастыр отъ любви ушла, не хуже Лизы "Дворянского гивада".

Въ виду такихъ - то данныхъ, вышеупомянутый критикъ и произнесъ

свое рашительное суждение о невозможности примирить истину простонароднаго быта съ незыблемыми законами искусства. И дайствительно: законы искусства требують, чтобы въ повасти или драма строго и естественно развивалось содержание само изъ себя и представляло внутрениюю борьбу въ человака какихъ - нибудь двухъ началъ; а жизнь нашихъ мужиковъ совершенно зависитъ отъ случайностей разнаго рода — отъ навзда станового, отъ расположения духа управляющаго, отъ бользии барской собаки или лошади, отъ нетрезвости земскаго и т. п., и, крома того, внутренней борьбы въ нихъ никакой натъ, потому что они, видители, "находятся еще въ первобытной непосредственности". Что прикажете дълать искусству въ такомъ загруднительномъ случав? Семь лътъ тому назадъ проницательный критикъ не могъ придумать другого разрашения, какъ, — отказаться искусству отъ нолнаго воспроизведения дайствительности простонаролнаго быта.

Но повернулось дело иначе. Пряничныя и кукольныя фигуры маиморусских влюдей, произведенныя по нужде тароватыми мастерами, тотчась же брошены и забыты, какъ только явилась возможность сиёле заглядывать въ другія сферы общества, боле знакомыя пишущему сословію и боле близкія читающей публике. Пошли изображать чиновниковъ, офицеровъ, откупщиковъ, помещиковъ, и крестьяне стали являться въ повестяхъ только уже по своимъ отношеніямъ къ этимъ сословіямъ. Но въ это самое время, когда повествователи всего мене заботились о муживе, и подошла незамётно пора настоящихъ разсказовъ изъ народной жизни.

Крестьянскій вопросъ заставиль всёхъ обратить вниманіе на отношеніе пом'вщиковъ и крестьянъ. Литература хот'вла тотчасъ принять посильное участіе въ разрѣшеніи вопроса, и между прочимъ принялась-было за путь беллетристической обработки существующихъ фактовъ. Но вскоръ было соображено, что въ минуту серьезнаго и мирнаго разсужденія о дель, не деликатно болтать о фактахъ, выставляющихъ одну сторону въ нехорошемъ видъ и могущихъ раздражать ее напоминаніями прошлаго, которое должно уже скоро кончиться. И такъ, этотъ предметъ беллетристикою оставленъ въ поков; но не могла быть оставлена безъ вниманія жизнь крестьянъ и существующія условія быта ихъ. Разъясненіе этого дела стало уже не игрушкой, не литературной прихотью, а настоятельною потребностью времени. Безъ всякаго шума и грома, безъ особенныхъ новыхъ открытій, взглядъ общества на народъ сталь серьезные и осмыслился нысколько, просто отъ предчувствія той діятельной роли, которая готовится народу въ весьма недалекомъ будущемъ. Вмъстъ съ тъмъ появились и разсказы изъ народнаго быта, совершенно уже въ другомъ родъ, нежели какіе появлялись прежде. До сихъ поръ ихъ явилось еще очень немного, и

къ числу этихъ немногихъ принадлежатъ разсказы г. Славутинскаго, на которые мы хотимъ теперь обратить внимание нашихъ читателей.

Г. Славутинскій не возвышается надъ многими, изъ предшествовавшихъ простонародныхъ разсказчиковъ, силою художественнаго таланта, а нъкоторымъ изъ нихъ уступаетъ. Но преимущество его заключается въ другомъ, именно въ самомъ отношении его къ предмету, за который онъ берется. Здёсь имъеть онъ ту особенность, что говорить постоянно такъ, какъ взрослый человъкъ долженъ говорить со взрослыми людьми о серьезномъ дёлё. Онъ не подлаживается ни къ читателямъ, ни къ народу, не старается, примъняясь къ нашинъ понятіямъ, смягчить передъ нами грубый колорить крестьянской жизни, не усиливается непремънно создавать идеальныя лица изъ простого быта. Онъ не считаеть нужнымъ и щегольнуть сочувствиемъ къ простому классу, которое съ такимъ самодовольствомъ старались выставить на показъ нъкоторые изъ прежнихъ, даже талантливыхъ писателей: "вотъ, молъ, я какой добрый. — какъ списходительно муживовъ расписываю; а стоятъ-ли они этого?" Напротивъ, г. Славутинскій обходится съ крестьянскимъ міромъ довольно строго: онъ не щадитъ красокъ для изображенія дурныхъ сторонъ его. не прячеть подробностей, свидътельствующихъ о томъ, какія грубыя и сильныя препятствія часто встрвчають въ немъ доброе намърение или полезное предприятие. Но, несмотря на это, признаемся, разсказы г. Славутинскаго гораздо болъе возбуждають въ насъ уважение и сочувствие къ народу, нежели всв приторпыя идилліи прежнихъ разсказчиковъ. Тъ, бывало, смотря на наролъ съ высоты своего величія, великодушно старались обойти его недостатки и выставить только хорошія стороны; они разсчитывали возбудить въ читателяхъ сожалъніе, благосклонность къ низшему сословію, и трактовали его съ той обидной ласковостью, которая обыкновенно происходить отъ увъренности въ неизмъримомъ превосходствъ собственномъ. Такъ обращаются иногда съ маленькими детьми, больными, сумасшедшими: оставляють ихъ говорить и делать глупости, капризничать, спорить, соглашаются съ ними для виду, даже въ нъкоторыхъ случаяхъ лодчиняются ихъ требованіямъ... Такое обращеніе бываеть, впрочемъ, ужасно обидно для датей, начинающихъ приходить въ сознание, и для здоровыхъ людей, которыхъ другіе считаютъ больными или поврежденными и потому не хотятъ принимать серьезно. Не особенно пріятно было подобное отношеніе писателей въ народу и для людей, действительно сочувствовавшихъ ему и понимавшихъ его жизнь. Оттого - то и пріятно видъть то мужественное, прямое и строгое воззрвніе на простой народъ, какое выражается въ раз-сказахъ г. Славутинскаго. Онъ говорить о мужикв просто какъ о своемъ братъ: вотъ, говоритъ, онъ каковъ, вотъ къ чему способенъ, а вотъ чего

въ немъ нѣтъ, и вотъ что съ нимъ случается, и почему. Читая такой разсказъ, и дѣйствительно становишься въ уровень съ этими людьми, входишь въ ихъ обстоятельства, начинаешь жить ихъ жизнью, понимаешь естественность и законность тѣхъ или другихъ поступковъ, разсказываемыхъ авторомъ. И несмотря на то, что мпого признаешь въ нихъ грубымъ и неправильнымъ, все-таки начинаешь болѣе цѣчить этихъ людей, нежели по прежнимъ, сахарнымъ разсказамъ: тамъ было высокомѣрное снисхожденіе, а здѣсь вѣра въ народъ. Такъ обыкновенно стараются расхваливать пріятеля, котораго считаютъ ниже себя и которому нужно еще составить репутацію; но человѣка, котораго вы признаете равнымъ вамъ и котораго значеніе и извѣстность уже утверждены, вы разбираете сложойно, смѣло и безпристрастно.

Впрочемъ, приторное любезничанье съ народомъ и насильная идеализація происходили у прежнихъ писателей часто и не отъ пренебреже-нія къ народу, а просто отъ незнанія или непониманія его. Витшняя об-становка быта, формальныя, обрядовым проявленія правовъ, обороты языка доступны были этимъ писателямъ и многимъ давались довольно легко. Но внутренній смысль и строй всей крестьянской жизни, особый складь иысли простолюдина, особенности его міросозерцанія — оставались для нихъ по большей части закрытыми. Вотъ отчего нерёдко писатели, даже хорошо изучивше народную жизнь, вдругъ переносили въ нее отвлеченную идею, зародившуюся въ ихъ головъ и обязанную своимъ началомъ вовсе не народному быту, а тому кругу, въ которомъ жили сами писатели. Выходила народность въ томъ же родъ, какая была въ народныхъ пъс-няхъ, сочиненныхъ Нелединскимъ-Мелецкимъ и Дельвигомъ. Въ ихъ время было въ употребленіи нъжное воркованье любящихся и томная задумчивость; цівликомъ перешло это и въ народныя півсни, въ которыхъ красная дъвица по цълымъ днямъ сидитъ въ грусти на бережку. поджидаючи милаго, а добрый молодець, котораго "погубили злые толки", хочеть отъ нихь въ лъсъ бъжать. Авторы, очевидно, не предполагали, что у красной дъвицы есть работа дома, либо на полъ, и что если нолодецъ убъжить въ дъвища есть разота дома, лиоо на полъ, и что если молодецъ уовжить въ лъсъ, то его поймаютъ, и съ нимъ поступлено будетъ, какъ съ бродягою. Подобнымъ образомъ, — въ эпоху появленія простонароднихъ повъстей было въ ходу "постановленіе собственнаго я въ разръзъ съ окружающей дъйствительностью" и анализъ тонкихъ душевныхъ ощущеній; то же самое пошло и въ повъстяхъ простонародныхъ: большею частью брался простолюдинъ или простая женщина, какъ-нибудь нацитавшіеся не тъми понятіями, которыя господствують въ окружающей ихъ средв, и затвиъ онъ или она начинають страдать и анализировать себя или предоставляють анализъ самому автору; поводомъ къ страданію обыкновенно служить любовь къ неровнъ, и тутъ уже романтизмъ въ полномъ ходу. Все это теперь представляется очень забавнымъ, но въ то время читалось и даже нравилось, потому что скрашивалось талантливымъ изложеніемъ и върно скопированными подробностями внъшней обстановки. Дъйствительно, талантъ и наблюдательность авторовъ поражали читателей до того, что искусственность и натянутость общей постройки повъсти ръдко кому били въ глаза. Но при этой натянутости, сдълавшейся общимъ свойствомъ простонародныхъ повъстей тогдашнихъ, онъ никакъ не могли пріобръсти прочнаго значенія. Натянутость эта происходила — частью отъ робости авторовъ, боявшихся выставлять цъликомъ всю жизнь простонародья, какъ она есть, частью же прямо отъ непониманья внутренняго смысла этой жизни и ея отношеній ко всѣмъ другимъ явленіямъ русскаго быта. Поэтому, только съ обращеніемъ большаго вниманія на всѣ стороны быта низшихъ классовъ и съ уясненіемъ ихъ значенія въ государственной жизни народа возможно было ожидать болѣе полнаго и жизненнаго, естественнаго воспроизведенія народнаго быта въ литературъ. Теперь время подошло къ этому, и начатки такого воспроизведенія мы видимъ въ разсказахъ г. Славутинскаго.

Захъ г. Славутинскаго.

Въ повъстяхъ его мы видимъ не отрывочное знаніе той или другой особенности жизни, — какого-нибудь обряда, обычая, примъты, причичитанья или поговорки; нътъ, въ нихъ находимъ мы полный пересказъ наблюденій надъ цълымъ строемъ жизни и, кромѣ того, пониманіе ея со-кровенныхъ тенденцій и принциповъ, нигдъ и никъмъ невысказанныхъ, но постоянно проявляющихся на дълъ. Этимъ пониманіемъ сущности дъла, а не одной его внъшности, особенно силенъ г. Славутинскій. Оно придаетъ ему то спокойствіе и увъренность, съ которыми онъ всегда ведетъ свой прасказът видно, ито предметъ за которыми онъ взегда видинъ находится разсказъ; видно, что предметъ, за который онъ взялся, вполне находится въ его распоряжении. Владъя такими данными, человъвъ съ сильнымъ поэтическимъ талантомъ могъ бы, конечно, создать художественное цълое, могъ бы дать прочную, типическую жазнь лицамъ, которыхъ выводитъ, могъ бы сдълать свои повъсти настолько же выше предшествовавдить, могь бы сдёлать свои повёсти настолько же выше предшествовавшихь попытокъ, насколько пёсни Кольцова выше романсовъ Дельвига и Мелецкаго. Но для этого, кромф знанія и вфрнаго взгляда, кромф таланта разсказчика, нужно еще многое другое: нужно не только знать, но глубоко и сильно самому перечувствовать, пережить эту жизнь, нужно быть кровно-связаннымъ съ этими людьми, нужно самому нфкоторое время смотрфть ихъ глазами, думать ихъ головой, желать ихъ волей; надовойти въ ихъ кожу и вь ихъ душу. Для всего этого человфку, который не вышелъ дфиствительно изъ среды ихъ, нужно имфть въ весьма значительной степени даръ—примфривать на себф всякое положеніе, всякое чувство и въ то же время умвть представить, какъ оно проявится въ личности другого темперамента и характера, — даръ, составляющій достояніе натуръ истинно художественныхъ и уже незамънимый пикакимъ знаніемъ.

Взамънъ этого исключительнаго дара, мы находимъ у г. Славутинскаго върный тактъ дъйствительности, помогающій ему очень легко и искусно выбирать и располагать отдъльныя черты его разсказовъ. Руководись этимъ тактомъ, онъ не позволяеть себъ ни малъйшей фальши въ представленіи дъйствительности и, съ помощью его же, приходить иногда къ такимъ идеальнымъ чертамъ, даваемымъ самою жизнью, какихъ никогла не могли придумать прежніе, салонно-простонародные разсказчики наши.

Мы, противъ обыкновенія нашего, говорияъ о произведеніяхъ г. Славутинскаго въ общихъ чертахъ, не представляя частныхъ указаній, доказательствъ и выписокъ; это потому, что мы надвемся на памятливость нашихъ читателей: двъ повъсти г. Славутинскаго "Своя рубашка" (названная въ отдъльномъ изданіи менве затъйливо: "Чужая бъда") и "Трифонъ Аоанасьевъ" — были помъщены въ "Современникъ" прошлаго года, и читатели собственнымъ впечатлъніемъ могутъ провърить наши слова. Впрочемъ, мы, съ своей стороны, готовы, въ подтвержденіе своихъмнъній, сказать нъсколько словъ еще объ одной повъсти г. Славутинскаго, "Читальщица", довольно давно уже помъщенной въ "Русскомъ Въстникъ" и теперь тоже перепечатанной въ книжкъ "Повъстей".

Въ "Читальщицъ" мы видимъ дъйствующими лица изъ разныхъ сферъ: отецъ Татьяны-читальщицы, Нахраповъ, — управляющій откупомъ. купецъ, изъ крестьянскаго рода, впрочемъ: воспитывается она у старушки генеральши Медынской: учитъ и образуетъ ее старикъ, учитель уъздный. извъстный въ городъ подъ именемъ Сенеки; подъ конецъ живетъ она въ деревнъ, съ своимъ дъдомъ, дряхлымъ, спившимся старикомъ. Такимъ образомъ, различныя сферы соприкасаются здъсь одна съ другой, и авторъ относится ко всъмъ имъ съ полнымъ безпристрастіемъ. Дъдъ Татьяны и отецъ ея изображаются въ очень сжатомъ очеркъ, такимъ образомъ (стр. 31 — 36):

«Отецъ ея, Андрей Нестеровъ Нахрановъ, былъ свободный хлѣбонашецъ села Л—ъ. Какъ многіе крестьяне этого села и другихъ окрестныхъ селеній, Андрей съ малольтства пошелъ по «питейной части». Отецъ его, Несторъ Савиновъ, тоже большую часть жизни своей провелъ. служа по кабакамъ да въ питейныхъ конторахъ. Впрочемъ, старшій Нахрановъ, когда сынъ его послѣдовалъ родительскому примъру, уже нѣсколько времени, какъ оставилъ питейную часть: ему не повезло какъ-то напослѣдокъ, онъ чуть-было не сгнилъ въ острогѣ за черезчуръ уже рискованное дѣльце. а потому и рѣшился домаячить свой вѣкъ дома, въ родномъ уголку. И сталъ Несторъ Савиновъ,—ему было тогда лѣтъ около сорока,—жить да поживать пріобрѣтенымъ всячески прибыткомъ, размашисто погуливая на вольныя денежки и нисколько

ихъ не сберегаючи. Будеть смышлень Андрюша, — говариваль онь, — и самъ деньгу наживеть, а я для него не работникъ. Вишь ты: не задалось мит въ хороше люди гыйти, хотя я и не хуже кого другого изъ нашей братьи умомь да хитростью раскидываль. Въдь чего-чего не приняль я на своемъ въку: и побоевъ, и страху разнаго, и больно много всякихъ трудовъ и скорбей, да и гръха довольно-таки на душу прихватиль... А что, много, что-ль, нажитку у меня осталось?.. такъ, пустяки сущје... Но что мое, то мое. Я наживалъ, я самъ и проживу, а Андрюшкъ, дураку эдакому, пичего не оставлю: да ему такія деньги и въ прокъ, пожалуй, не пойдуть. Пускай — какъ пришли, такъ и уходять!.. И того для Андрюшки довольно, что я его

родиль. да воть дорогу широкую указаль. Чего жъ еще больше-то?...

«Такія разсужденія Несторъ Савиновъ повершиль самымъ діломъ, а потому сынъего. Андрюшка, съ одиннадцатильтняго возраста сталъ жить на чужой стороне, одинъодинехонекъ, безъ присмотра, безъ призора. Много обидъ и гори онь вытерпълъ. много всякаго зла онъ увидълъ и научился помаленьку, но кръпко-накрічно, многимъ дурнымъ діламъ. Онъ иміль умъ быстрый, смітливый, хигрый, предпрінмяввый, а нравъ-скрытный, смедый до дерзости, веобыкновенно уперный и жестокій: совъсти же онъ совстмъ не имълъ. Лгать всегда и передъ всъми, обманывать и обкрадывать всякаго, кто входить съ нимъ въ какія-либо счощенія, поступать такимъ образомъ иной разъ и не изъ корысти, а изъ какого то особеннаго удовольствія, оди приктики, какъ онъ выражался, воть въ чемь заключалась вся жизнь Андрея Несторова Нахранова, воть въ какой сферь вращались всь его стремления, надежды и дъйствія. Онъ чрезвычайно скоро постигь всю грамоту в весь смысль той глубокорастлінной среды, которая у нась въ народь слыветь подъ названимъ питечной части. Двалцати двухъ льтъ отъ рождени онъ уже управляль откупом в въ какомъ-то увадномъ городкв, гдв, впрочемъ, недолго пробыль. Сътвхъ цоръ онъ занималь всегла должности управляющихъ или главныхъ ревизоровь по большимъ откупамъ. Впрочемъ, часто, очень часто, приводилось ему мінять міста в хозяевь, и почін вигів добромъ онъ не оканчивалъ: то на него, бывало, насчитывали, то онъ насчитывалъ: то у него имущество задерживали, то онъ захватывалъ чужое имущество. Въ такихъ случаяхъ всегда заводились дела тяжебныя: дела эти гянулись, путались, перепутывались, но постоянно шли какъ-то въ пользу Нахранова: онъ изь воды сухъ выходилъ, а все потому, что со всякимъ чиновнымъ дюдомъ завсегда старался жить какъ можно лучше, не жальль для этого хозяйскихъ денегь и хозяйскихъ водокъ. Всь рышительно чиновники, начиная съ мелкаго приказнаго полицейскихъ и судебныхъ мъстъ и доходя до самого судьи, заступающаго иногда въ увадь мъсто представителя благороднаго сословія, находились у него на жалованьи, и веб эти признательные чиновники за благостыню, перепавшую имъ отъ Нахрапова, готовы были при случай всячески помогать такому довкому человьку. Впрочемь, всь такіе процессы оканчивались обыкновенно мировыми, и часто обманутые Нахраповымъ хозяева откупщики считали совершенно необходимымъ не только вновь приглашать, но даже всячески переманивать его къ себь на службу. Упомянемъ здъсь коть мимоколомъ о техъ блистательныхъ качествахъ Нахранова, которыя делали его столь драгоценнымъ для откупныхъ дель. Никто лучше его не могь залить соседняго или управляемаго имъ саминъ откупа, когда этотъ откупъ, по новымъ торгамъ, долженъ былъ поступить черезъ два-три месяца къ другому откупщику, и когда новый откупщикъ, по неопытности или по скупости, не принималь отъ прежняго содержателя, по особой сдыкь съ нимъ, въ завъдывание свое всь откупныя дыла, еще до окончания срока содержанія. Никто лучше Нахранова не умъль сдать въ казенное управленіе дурно идущаго откупа. Никто проворные и довчые его не спускаль съ рукь ненужнаго больше разиню-партнера въ откупу, заставивъ его напередъ опорожнить свой карманъ для разныхъ пожертвованій, необходимыхъ, будто бы, для поддержанія откупного дала. Никто смалье и удачливае его не провозиль въ откупъ дешеваго контрабанднаго вина съ винокуреннаго завода какого-нибудь прогрессиста-барина. Никто,

при случаћ, не былъ жесточе Нахрапова въ преслъдованіи дерзкихъ крестьянъ-корченниковъ, посигающихъ на покупку себт винца поделевле...

«По разскажемъ, также вкратив, и о томъ, какъ вменно происходяли мвровыя между Нахрановымъ и обманутыми имъ хозяевами. При такихъ великоланыхъ случаяхъ обыкновенно шелъ пиръ горою, и великодущіе объяхъ сторонъ выказывалось въ широкихъ размерахъ. Хозяинъ, подпивши и обнималсь съ мошенникомъ, но вужнымъ ему для извъстныхъ пълей человькомъ, говариваль. бывало, громогласно въ такихъ выраженіяхъ: Ну Вогь тебя простигь! Надуль ты меня, разбойникъ ты здакой, важно надуль! Ла и то сказать, самъ я виновать, не вспомниль во время одиннадцатую заповадь: «не завай». Ну, поналуемся же... Теперь, брать, заживемь мы съ тобой душа въ душу. Я въдь на тебя кръпко надъюсь»... А нужный человъкъ. конечно, никогда не забывающій одиннаднатую заповідь, ціловаль обыкновенно своего патрона и въ плечо, и въ локоть, и въ грудь, даже слезы иногла при этомъ выдавливаль изъ глазъ, да приговариваль тихонько, такъ однако, чтобы никто. кроме патрона, не слыхаль его объясненій: «Виновать, благодітель! врагь попуталь, нужда смертная была... А вотъ теперича, да на семъ же мит мъстъ провалиться, и пусть глаза мои допнутъ, если попечусь хоть на волосъ отъ вашей милости... Ла я в къ буду помнить... благодетель вы мой ведикій! А вотъ насчеть-то дельца»... в прочее, все въ такомъ же родь...>

Какъ видите, выставлены передъ вами два человъка простого званія, не очень привлекательные; но это еще ничего въ сравнени съ тъпъ, что развивается дальше, въ исторіи отца Татьяны. Онъ влюбляется въ одну мъщанскую дъвушку, хочетъ соблазнить, но, не успъвъ, ръщается жениться на ней; для успъха сватовства опять употребляетъ разныя хитрости, дъйствуя особенно на набожную и безтолковую генеральшу Медынскую, крестную мать дъвушки, черезъ ея духовника. Дъвушку почти принуждаютъ видти за Андрея Несторича: и между твиъ, вскоръ послъ свадьби онъ начинаетъ пилить свою жену — зачемъ она унылый видъ имветъ и хвораетъ часто. "Вотъ не было печали, такъ черти накачали! Кабы во время знанье да въданье! Экую жаръ-птицу подхватилъ себъ!" и пр. въ этомъ родъ безпрестанно говорить онъ въ глаза женъ своей, и та, разумъется. сохнетъ еще больше. Родивши дочь, Таню, она окончательно сдълалась больна; Андрей Несторычь бросиль ее и завель себь Мароу, - дывушку. которую онъ соблазниль и надъ которой потомъ надругался не въ примъръ хуже, чемъ надъ женой своей. Скоро жена его умерла, и передъ смертью ея онъ пришелъ въ порывистое, изступленное раскаяние и объщалъ, по ея желанію, отдать Таню на воспитаніе къ Медынской. Объщаніе это онъ исполниль, а самь между темь продолжаль прежнюю жизнь. Но теперь въ немъ проявилось новое настроеніе: онъ быль вічно недоволень и озлоблень, и то, что прежде дълалъ изъ разсчета, съ самодовольнымъ наслаждениемъ ворысти, то теперь сталь дёлать съ неудержимыми порывами злости, съ какой-то болью души. Онъ чаще и чаще сталь обращаться къ прошедшему, припоминать все, что вытеривлъ и что заставилъ другихъ потеривть, припоминалъ жену свою, и тоска его еще увеличивалась. Заглушалась она только

дикимъ, неистовымъ разгуломъ, въ которомъ онъ доходилъ до врайней степени мрачнаго изступленія, до забытья, въ которомъ то воображалъ себя судьею надъ товарищами, то жертвою, осужденною на казнь; иногда онъ заставлялъ даже отпъвать себя, и ночью носили его въ гробу съ похороннымъ пъніемъ по отдаленнымъ улицамъ города. Но чаще всего срывалъ онъ зло на своей Мароъ; придравшись къ чему-нибудь, онъ ругалъ ее и потомъ билъ нещадно — за все, про все, за взглядъ, за слово, за молчаніе, за печаль, за веселость; а потомъ, избивъ страшно, требовалъ, чтобы она плясала и тъшила его самого и гостей. А между тъмъ онъ любилъ эту женщину, да и она, несмотря ни на что, была къ нему страстно привязана...

Во всемъ этомъ чрезвычайно много правды, и взглядъ автора на основу характера этого лица совершенно въренъ. Это одна изъ сильныхъ русскихъ натуръ, хорошая въ основъ, но безифрно жадная до жизни и между тъмъ не имъющая средствъ удовлетворить своей жадности. Обстоятельства толкнули его въ самый омуть разврата, прежде чемъ онъ еще умелъ понять, гдъ добро и гдъ вло, и онъ не пассивно погрузился, но дъятельно принялся нырять въ этомъ омутв. Но когда онъ утомился, силы стало поменьше, дъла ношли потише, да тутъ еще и жена-то сгибла по его милости, --ему стало нехорошо на душв и пришло время оглядки на себя, пришла тоска по напрасно-растраченнымъ юнымъ силамъ, по безумно загубленной жизни. Но, разумъется, онъ не только не хотълъ въ этомъ признаться, онъ даже не понималъ истиннаго свойства и причины своей хандры, оттего и старался топить ее въ разгуль и пьянствъ. Все это очень върно соображено и зам'вчено авторомъ, и намъ кажется, что именно такіе характеры. съ такими результатами, гораздо более общи и близки русской жизни, нежели, напримъръ, хоть бы питерщики г. Писемскаго. Но въ то же время мы должны заметить, что у г. Славутинскаго сделанъ лишь намекъ на развитіе этого характера, но не приведенъ онъ полно и последовательно, не сделанъ художнически цельно; оттого-то, разумеется, большинство читателей пропускаеть безъ вниманія это лицо, не замітивь даже основы этого характера. Между тъмъ, въ художнической обработкъ и при такомъ знаній діла, какое видимъ мы у г. Славутинскаго, Андрей Нахрановъ могъ бы составить особенный типъ въ нашей литературъ.

Но, обращая вниманія на художественный недостатокъ въ обрисовкъ характера, мы должны указать и на жизненную правду въ постановкъ этого лица. Авторъ не забылъ вліянія среды, въ которой Нахраповъ родился и выросъ, и вы, сквозь всъ гадости, дълаемыя этимъ героемъ, видите, однако, что самъ по себъ онъ могъ бы быть и не таковъ, но все окружающее его было таково, что для успъха въ немъ неглупому человъку только и надо было—совъсти не имъть. И хоть слабо развито это въ повъсти, но все же

замътно въ ней участіе другой силы, которая тянеть Нахранова на постыдный путь. Такъ, между прочимъ, является мимоходомъ Нилъ Александровичъ, баринъ-откупщикъ, съ изящною важностью, съ большимъ лаченіемъ въ аристократическомъ губернскомъ кругу, и. какъ ни ужасенъ Пахрановъ, но читатель инстинктомъ чувствуетъ, что этотъ грубый злодъй никогда не можетъ дойти до такого гнилого безобразія, какъ этотъ Нилъ Александровичъ. Жаль только, что въ повъсти и это опять-такв не развито съ тою живою обстоятельностью, которая имъетъ такое значеніе въ произведеніяхъ нашихъ писателей-художниковъ. Вообще, дъйствіе въ повъстяхъ г. Славутинскаго идетъ чрезвычайно быстро; онъ идетъ прямо впередъ, не смотря по сторонамъ и не останавливаясь на второстепенныхъ обстоятельствахъ. по сторонамъ и не останавливаясь на второстепенныхъ обстоятельствахъ. Только заключительныя сцены, особенно трагическаго свойства, обрисовываются у него полнъе и обстоятельнъе. Такъ въ "Читальщицъ" остановился онъ надъ изображеніемъ послъднихъ дней раскаявшагося Нахрапова. Нахраповъ, пьяный, въ дорогъ убилъ Мароу, совершенно ненаивъренно; чтобъ скрыть преступленіе, онъ, съ помощью кучера и сопровождавшаго его повъреннаго по откупу, свидътелей дъла, зарылъ Мароу подлъ дороги въ лъску, и самъ же, по возвращеніи въ городъ, поднялъ дъло о ея безвъстной пропажъ. Полиція, знавшая и Нахрапова и Мароу, употребила всъ усилія къ разысканію, но ничего не могла узнать; черезъ полгода, весною, когда найдено было тъло Мароы, опять было слъдствіе, и опять безуспъшное. Но на этотъ разъ стали ходить какіе-то слухи, неблагопріятные Нахрапову; а еще годъ спустя, одинъ изъ служителей откупа, обиженный Нахраповымъ, нашелъ средство опять поднять дъло, и началось третье слъдствіе, которое усилило прежнія подозрънія. Два года тянулось это дъло; Нахраповъ почти разорился на веденіе его и наконецъ таки кончилось оно въ его пользу; какъ вдругъ онъ, истомленный и отчаянный, ръэто дёло; Нахраповъ почти разорился на веденіе его и наконецъ таки кончилось оно въ его пользу; какъ вдругъ онъ, истомленный и отчаянный, рѣшился самъ во всемъ признаться. Признаніе это было такъ неожиданно для всёхъ, что его могли объяснить только разстройствомъ разсудка Нахрапова, и Нилъ Александровичъ даже настоялъ, чтобъ его подвергли освидътельствованію въ присутствіи губернскихъ властей. При этомъ свидътельствъ, Нахраповъ выразилъ изумленіе, какимъ образомъ его искреннее признаніе могло заставить думать, что онъ сошелъ съ ума, и прибавилъ, что вёдь не всякій же способенъ до конца жизни гнёвить Бога нераскаянно. что выдь не всяки же способень до конца жизни гнъвить бога нераскаянно. Этими отвътами остался очень недоволенъ губернаторъ и приказалъ наиисать въ протоколъ, что Нахрановъ признанъ "совершенно" неповрежденнымъ въ умъ, и слово "совершенно" подчеркнулъ собственноручно.

Тутъ - то и посадили Нахранова въ острогъ, и тутъ начинаются его
сцены съ дочерью. Дочь его, Таня, росла все время въ домъ старухи Медынской, пользовалась ея ласками, но, къ счастію, была удалена отъ влія-

нія приживалокъ и дворни, находясь подъ особеннымъ попеченіемъ старика-учителя Сенеки. Это быль добрый и честный человъкъ, скромный и убогій, но неутомимый и безкорыстный отвятель въ своей средъ, насколько силь его хватало... Онъ разсуждаль: "коли ужъ я живу въ міръ, такъ всякое дъло мірское—мое дъло. Хорошее оно—надо его поддержать, не выпускать его изъ глазъ; дурное—надо попробовать, не уступитъ-ли оно мъсто хорошему". Разумъется, дъйствовать приходилось ему въ очень узенькой сферъ, и средствъ у него не было, и потому пробы его противъ дурныхъ дълъ ограничива дись одивим уръщемнать с проставъ дурныхъ дълъ ограничива с проставъ дурныхъ дълъ ограничива с проставъ ныхъ делъ ограничивались одними увещаніями; а много-ли же можно сделать увѣщаніемъ? Но на людей простыхъ и юныхъ онъ могъ дѣйствовать благотворно, и подъ его - то вліяніемъ развилась Таня. Семека убѣдилъ Медынскую. что Танъ не нужно никакого особеннаго образованія, что онъ одинъ можетъ всему ее выучить, и съ раннихълътъ сталъ онъ ее готовить на подвигъ жизни. Будучи отчасти мистикомъ, онъ толковалъ ей о высо-кой цъли и особенномъ назначение ея, приготовлялъ ее къ самоотверженю и труду на пользу общую. И Таня дъйствительно готовилась на трудъ и горе и привыкла считать чъмъ-то должнымъ и неизбъжнымъ вет тяжелыя и непріятныя происшествія своей жизни. А жизнь ея, разумфется, протекала не весело въ домъ Медынской: сама старуха была уже дряхла и почти ничего не понимала, а разныя приживалки и прислуга смотрели на Таню съ пренебреженіемъ. Она безпрестанно вспоминала о судьбъ матери; дъя-нія отца также не были отъ нея скрыты, хотя онъ очень ръдко съ нею видълся и совершенно ни о чемъ не разсказывалъ ей и ее не разспрашивалъ. Даже, послъ смерти Медынской, онъ самъ пожелалъ, чтобъ она лучше взяла комнатку у старика учителя, а не переходила къ нему. Онъ какъ будто боялся выказать себя передъ нею, да и дъла его въ это время были ужъ очень плохи. Онъ пришель къ ней только въ ту минуту, когда задумалъ признаться въ убійствъ, и ей первой открылъ свое преступленіе. А потомъ, послъ губернаторскаго ръшенія, его посадили въ острогъ, и Таня къ нему ходить начала. Сначала онъ оскорблялся тъмъ, что вотъ родная дочь его тодить начала. Сначала онъ оскоролился тыпь, что вотъ родная дочь его по состраданію навъщаеть, и быль молчаливь и суровь, но потомь смягчился, и даже сталь съ ней нъжень. Скоро онъ умерь въ острогъ; его предсмертное состояніе изображено довольно живо. равно какъ и впечатлъніе, произведенное его смертью на Татьяну. Схоронивши его, Татьяна ръшилась посвятить себя одинокой и трудовой жизни. Сложенія она была слабаго и бользненнаго, и потому ей не трудно было отказаться отъ супружескаго счастья; но она не пошла въ монастырь, чтобъ тамъ укрыться отъ житейскихъ треволненій. Ея идеаль быль въ другомъ родѣ: она осталась сначала у Сенеки— учить маленькихъ дътей: потомъ отыскала стараго своего дъда, который, спившись, началь уже побираться по-міру, и ужхала въ деревнюжить съ нимъ и ухаживать за нимъ. Ода поддерживала его и себя своими трудами; зимой и въ ненастье шила она бабьи наряды, весной ходила работать въ огороды, а лътомъ на сънокосъ. Сначала эти работы утомляли ее, но мало-по-малу она свыклась съ ними. Кромъ того, она учить крестьянскихъ дътей грамотъ, лъчитъ больныхъ, чему выучилась тоже у Сенеки, и ходитъ читать исалтирь по умершимъ, за что и названа читальщицей. За труды свои она ничего не проситъ, но принимаетъ вознагражденіе, какое дадутъ; только за чтеніе исалтиря ничего не беретъ она, искренно въруя, что этимъ заслужитъ отпущеніе гръховъ отца своего...

Таковъ вдеальный характеръ, найденный, г. Славутинскимъ въ глуши русской жизни. Онъ едва намвченъ, въ рисункв его ивтъ той художественной полноты и яркости, какія мы привыкли видьть въ замвчательныхъ произведеніяхъ литературы. Это недостатокъ собственно исполненія. Но если отбросить въ сторону незыблемыя требованія искусства, то мы должны отдать полную справедливость автору за живую, умную и правдивую передачу двйствительной исторіи, за прямое и вврное указаніе, за существующій, не выдуманный, а присущій русской жизни идеальный образъ. Пусть это указаніе сдѣлано безъ особеннаго изящества и одушевленія; но мы рады тому, что все-таки указанъ такой фактъ, лучше и чище котораго не придумывали наши идеализаторы, при всемъ своемъ возвышенномъ настроеніи.

думывали наши идеализаторы, при всемъ своемъ возвышенномъ настроеніи. Кромѣ "Читальщицы", въ книжкѣ "Повѣстей" помѣщена "Исторія мсего дѣда", тоже бывшая въ "Русскомъ Вѣстникъ". Это исторія, какъ самъ авторъ предупреждаетъ, — въ родѣ Дубровскаго: богатый сосѣдъпомѣщикъ заѣдаетъ бѣднаго, но гордаго сосѣда, напустившись на него съ неправою тяжбою, которую, однако, всѣ оправдываютъ. Здѣсь является передъ нами весь произволъ номѣщичьей власти въ прошломъ столѣтіи и все безправіе, беззащитность — не только крѣпостныхъ, но даже и бѣдныхъ дворянъ передъ прихотью сильнаго магната. Разсказъ этотъ составляетъ "отрывокъ изъ записокъ", и къ нему очень идетъ короткій, сжатый и нъсколько спѣшный тонъ г. Славутинскаго. Впрочемъ, даже и здѣсь иногда, коть и читаешь нѣчто въ родѣ хрояики, хочется читателю отдохнуть на подробностяхъ, кочется видѣть болѣе отчетливое, болѣе внутреннее развитіе факта; но это желаніе весьма рѣдко удовлетворяется. Мы думаемъ, что именно этому обязаны разсказы г. Славутинскаго гораздо меньшимъ успѣхомъ въ публикѣ, нежели какого они заслуживаютъ.

что именно этому обязаны разсказы г. Славутинскаго гораздо меньшимъ успѣхомъ въ публикѣ, нежели клюго они заслуживаютъ.

Третья изъ напечатанныхъ теперь повѣстей, "Чужая бѣда", знакома читателямъ "Современника". Въ ней болѣе живыхъ картинъ и сценъ, движеніе повѣсти происходитъ болѣе въ самомъ дѣйствіи, а не въ пересказѣ автора. Но и въ ней замѣтенъ тотъ же недостатокъ художественной полноты въ очертаніи образовъ. Личность богатаго старика Терехина. кото-

рый насквозь видить всё плутни головы и можеть имъ противодействовать, но не хочеть, не желая вившиваться въ чужое двло, а потомъ, будучи самъ задътъ за живое, собираетъ всъ силы на борьбу съ головой, но уже поздно, - личность эта очерчена очень рельефно, и внутренній міръ этого старика раскрыть намъ авторомъ гораздо больше, нежели душевная жизнь другихъ лицъ въ его повъстяхъ. Но и здъсь авторъ не воспользовался случаемъ возсоздать въ своемъ разсказъ весь процессъ образованія и развитія такого характера и такого особеннаго отношенія одного лица къ обществу. Онъ отчетливо выставиль намъ Терехина въ томъ моментъ, въ какомъ онъ засталъ его, намекнуль даже на причины, отъ которыхъ старикъ сдълался такимъ суровымъ и несообщительнымъ, но намекнулъ слабо, въ общихъ чертахъ, и изъ повъсти мы можемъ понять, если подумаемъ пристально, но не можемъ осязательно и живо почувствовать, какъ именно и отчего сложился такой характеръ, и какимъ образомъ проявляется онъ во все стороны жизни. Оттого при чтеніи повести мы почти не имеемъ руководительной нити, и не можемъ опредълить, что вменно долженъ онъ сдвлать въ такомъ-то случав, куда онъ пойдетъ и до чего дойдетъ. Узнавши потомъ изъ разсказа о его поступкъ, мы видимъ, что такой образъ дъйствій возможенъ и естественъ; но мы все-таки смутно постигаемъ его внутреннюю необходимость. Вотъ отчего повъсть не производитъ такого цъльнаго и глубокаго впечатленія, какого можно бы ожидать, судя по основной ея мысли и по интересу взятаго характера.

Выходить, стало быть, что глубокомысленный критикь, о которомъ мы говорили въ началъ рецензіи, и теперь остается правъ съ одной стороны: требования искусства не удовлетворяются произведениемъ, въ которомъ выставлена вся правда народной жизни. Но мы смъемъ думать, что въ настоящемъ случав это - простая случайность, зависящая отъ личности автора и вообще отъ недостатка еще въ насъ того чутья къ внутреннему развитію народной жизни, которое такъ сильно у некоторыхъ писателей нашихъ въ отношени къ жизни образованныхъ влассовъ. Но никакъ не ръшимся мы сказать, чтобъ это зависъло отъ самого предмета, никакъ не согласимся, что искусство должно отказаться отъ простонародныхъ предметовъ, потому что ихъ полное и совершенное воспроизведение несогласно съ его требованіями. Напротивъ, въ повъстяхъ же г. Славутинскаго, особенно въ последней, им видимъ, что где онъ не спешить впередъ, а отдается своей наблюдательности и останавливается на картинахъ народной жизни, тамъ у него выходятъ живыя, занимательныя страницы, западающія въ память и въ то же время неподдельно верныя действительности, какъ и весь строй повъстей его. И во всякомъ случав, если ужъ выбирать нежду искусствомъ и действительностью, то пусть лучше будуть неудовлетворяющіе эстетическимъ теоріямъ, но вфриме симслу дфйствительности, разсказы, нежели безукоризненные для отвлеченнаго искусства, но искажающіе жизнь и ея истинное значеніе.

Съ этой точки зранія, мы находимъ особенный интересъ въ повастяхъ г. Славутинскаго. Въ вихъ нътъ даже ни малъйшей претензіи на эстетическія украшенія; онв просто-върная передача двйствительныхъ фактовъ, безъ прикрасъ, безъ натинутостей, безъ дидактическихъ основъ. А между темъ въ нихъ всегда оказывается и умная мысль въ результать. и логически върное, понятное, хотя и не вполнъ раскрытое, развитие характеровъ и объяснение зависимости ихъ отъ вліянія окружающей среды. в, наконецъ, являются сами собою даже идеальныя лица русской жизни, съ болве живыми и чистыми тенденціями, нежели сочиненные и теалы образованнаго общества. И все это выходить безъ нарочитыхъ усилій со стороны автора, просто по силь истины изображаемыхъ предметовъ. По нашему мниню, инсатель, у котораго хотя въ блидныхъ очеркахъ проявилось такъ естественно все это богатство русской жизни, заслуживаеть полваго участія публики, еще такъ недавно ивтересовавшейся сладенькими идилліями народнаго быта. На этомъ основаній ин и остановились такъ долго вадъ произведеніями г. Славутинскаго, желая указать на ихъ зваченіе нашимъ читателямъ.

## Братчина. Часть І. Спо. 1859.

О происхожденіи этого почтеннаго и благонамѣреннаго наданія, вѣроятно, знають наши читатели. О внѣшней сторонѣ исполненія воть отчетъ издателя, П.И. Мельникова, помѣщенный въ началѣ книги, въ видѣ предисловія:

«Бывшіе студенты Императорскаго Казанскаго Университета на объдъ, 5-го ноября 1857 г., положили вздать въ пользу недостаточных студентовъ этого заведенія ученолитературный сборникъ на слъдующихъ основаніяхъ:

«1) Помъстить въ немъ статьи, написанныя лицами, получившими образованіе въ Казанскомъ Университеть.

«2) Издержки по изданію покрыть сборомъ денегь по подпискі, къ которой призашены всії бывшіе студенты Казанскаго Университета.

«3) Вырученныя отъ продажи деньги немедленно отправить по назначенію.

«4) Просить перваго студента Казанскаго университета, Сергъя Тимовеевича. Аксакова дать название сборнику.

«5) Редакцію сборника поручить П. Мельникову.

«Покойный Сергъй Тимофеевичъ Аксаковъ предложилъ назвать сборникъ «Братчиной» и доставить для него статью «Собираніе бабочекъ» — одно изъ послъднихъ произведеній извъстнаго нашего писателя.

«Съ 5-го ноября 1857 г. до сего времени на изданіе «Братчины» поступили деньги отъ следующих в лиць: А. М. Княжевича 100 руб., П. А. Бузгакова 50 р.,

А. С. Киндякова 25 р., П. А. Шестакова (изъ Вологды) 20 р., отъ И. Х. Нордстрема и Х. Х. Нордстрема по 15 р., отъ О. М. Отсолига, г. Эйлера, г. Веретенникова, А. П. Безобразова, А. В. Попова и П. П. Мельникова по 10 р., отъ г. Маршалова, А. И. Артемьева. В. П. Перпова, Е. К. Огородникова, Н. И. Второва, М. Н. Ахматова, Н. П. Безобразова (изъ Орда), М. Я. Китарры (изъ Москвы) по 5 р., отъ г. Уржумцева 3 р., отъ И. В. Базилева (язъ Уфы) доставлено пожергвованныхъ бывшими казанскими студентами, находящимися въ Оренбургской губерній, 144 р. Всего 472 руб.

«Расходы по изданію книги, напечатанной въ числі 1.500 экземпляровъ, были слідующіє: за наборъ и печать 258 р., за корректуру 18 р., за бумагу 166 р., за бро-

шюровку 30 р. Всего 472 р.

«Всв экземиляры «Братчины» сданы книгопродавцу А. И. Давыдову на комчиссію съ обыкновенною уступкою 20 прец. и съ условіемъ, чтобы по мъръ выручки денегь за продажу экземпляровъ онъ отправляль ихъ прямо отъ себя въ Казанскій Увиверситетъ.

«Этоть отчеть прилагается здысь для свыдыя лиць, принимавшихъ участіе вы

изданіи «Братчины».

«Вторая часть «Братчины» будеть напечатана, когда соберется достаточная для того сумма.

О содержаніи "Вратчины" намъ много говорить не приходится. Открывается она статьею С. Т. Аксакова "Собираніе бабочекь", изъ которой видно, что почтенный авторъ "Семейной Хроники" исполненъбыльстрастною любовью не къ однёмъ птицамъ и рыбамъ, но и къ бабочкамъ. Весьма живо и трогательно описываетъ опъ свою страсть къ ихъ собиранію, драматическую борьбу съ другимъ товарищемъ, который тоже составлялъ собраніе насъкомыхъ, восторги свои, когда ему удавалось поймать такую бабочку, какой не было у товарища, и пр. Все это было, надобно замътить, въ Казани, во время университетскаго курса. "Какъ будто земля горъла подъ нашими ногами, такъ быстро пробъжали мы Новую Горшечную улицу и Арское поле", говоритъ авторъ, описывая свою первую экскурсію. Въ другой разъ, описывая, какъ онъ поймалъ ръдкую бабочку — Кавалера Подалиріуса, онъ говоритъ такимъ образомъ:

«Я такъ быль поражень неожиданностью, что не вгругь повъриль своимъ глазамъ, но, опомнившиев, съ судорожнымъ напряженемъ смахнулъ рампеткой бабочку съ вершины еще цвътущаго репейника... Кавалеръ исчезъ: смотрю завернувшійся мѣшечекъ рампетки—и ничего въ немъ не нахожу: онъ пустъ! Мысль, что я брежу на яву, что я видъль сонъ, мелькнула у меня въ головъ -и вдругь вижу, въ самомъ сгибъ флероваго мѣшка, безцѣнную свою добичу, желаннаго, произеннаго и моленнаго Кавалера, лежащаго со сложенными крыльями, въ самомъ удобночъ положения, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнилъ и, не помня себя отъ восторга, не вынимая бабочки изъ рампетки, побѣжалъ домой. Какъ изступленый закричалъ я, еще издали, своему дядькъ Евсенчу, который ожидалъ меня у крылына: строжки, дрожки»! Добрый мой Евсенчъ, испуганный мемъ голосомъ и страннымъ видомъ, побѣжалъ ко миѐ навстрѣчу. Но и поепѣшиль объяснить ему, въ чемъ состояло дѣло, и просилъ, умолялъ, чтобы онъ вельть поскорѣе залежить мнѐ дошадь».

Дрожки нужны были затёмъ, чтобы фхать сейчасъ же къ Александру Панаеву, другу автора, и показать ему повую находку. "Четверть часа бзды до Панаева показались мив долгимъ днемъ", прибавляетъ г. Аксаковъ. Възаключение своего разсказа, авторъ восклицаетъ: "Быстро, но горячо прошла по душв моей страсть—иначе я не могу назвать ее—ловить и собирать бабочекъ. Она доходила до излишествъ, до крайностей, до смѣшного; можетъ быть, на нѣсколько мѣсяцевъ она помѣшала мив внимательно слушать лекціи... нужды нѣтъ! Я не жалѣю объ этомъ. Всикое безкорыстиое стремленіе, напряженіе силъ душевныхъ правственно полезно человтку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминаніе этого времени, многихъ счастливыхъ, блаженныхъ часовъ". Прочитавъ это признаніе и припомнивъ, сколько душевныхъ силъ уходило у автора на собираніе бабочекъ, какъ потомъ на уженье рыбы и на прекрасное чтеніе цлохихъ стиховъ разныхъ знаменитостей но ихъ просьбѣ,—мы могли только восъкликнуть отъ глубины души:

Oh, que de biens perdus! Oh. trop heureux enfant!

Статья г. Перевощикова о сочиненіяхъ Пуансо имѣетъ цѣлью обратить на эти сочиненія вниманіе геометровъ и астрономовъ. Стало быть, до насъ съ вами она не касается.

Замътки о Неаполъ М. П. Веселовскаго написаны хорошимъ слогомъ, хотя и уступаютъ въ этомъ "Описанію нижегородской ярмарки", нъкогда помъщенному въ "Москвитянивъ". А жаль: къ изображенію Везувія очень шелъ бы тонъ, съ какимъ г. М. В. говорилъ о цыганскомъ изніи и пр. Впрочемъ, при внимательномъ чтеніи не трудно еще между объими статьями отыскать нъчто родственное.

Разсказъ г. Мартынова "Швейка" принадлежитъ къ числу народнихъ разсказовъ, которыми онъ такъ отличался лётъ семь тому назадъ. Народность его состоитъ въ томъ, что швейка говоритъ: "бараня", вмъсто барыня, "въ самой вещи", вмъсто въ самомъ дълъ, "пацероска" вмъсто папироска, и пр., да употребляетъ слова въ родъ: чулъ, хизнула, припертень, и т. п.

О томъ, какъ глубоко проникъ г. Мартиновъ въ народную жизнь, свидътельствуетъ помѣщенная тутъ же другая статья его: "Замѣтки о бытѣ вятскихъ крестьянъ". Вотъ нѣкоторые пункты этихъ замѣтокъ: "Пища. Кушанья и у крестьянъ, какъ обыкновенно, можно раздѣлить на скоромныя (молосныя, по мѣстному выговору) и постныя. Національныя блюда русскаго человѣка—одни и тѣ же по цѣлой Россіи. Щи, каша, блины, пироги—гдѣ не отыщется ихъ?" и пр. "Питья. Самое любимое національное питье русскаго крестьянина—квасъ, какой бы ни былъ, хотя бы, по поговоркѣ, носъ на сторону воротилъ, все же квасъ, а не вода", и т. д. "Посуда употребляется двухъ родовъ: глиняная и деревянная.

Къ первой принадлежатъ: горшки, корчаги. плошки; ко второй — чашки, ложки, кадочки, ведра, лоханки. Еще у многихъ—чугуны, котелки: желъзное: уполовники, ковши. Изъ бересты: бураки, кузова. Ни ножей столовнуъ, ни вилокъ не употребляется: все это при столъ замъняетъ (?) одинъ ножъ хлъбникъ". И все о посудъ. Таковы и всъ замътки. Подъними не стыдно было бы подписать свое имя г. Семевскому.

Всего любонытные въ "Братчинъ" восноминанія— о Державинъ, В. И. Панаева, и о Мейеръ, П. П. Пекарскаго. Но интересъ ихъ не однороденъ. Въ восноминаніяхъ о Мейеръ занимаетъ насъ эта достойная личность, заслужившая такую безграничную любовь и уваженіе всъхъ своихъ учениковъ. Несмотря на краткость и неполноту воспоминаній г. Пекарскаго они служатъ любонытнымъ матеріаломъ для изученія этой личности, особенно по тъмъ подлиннымъ замъткамъ и мыслямъ самого Мейера,

которыя въ нихъ приведены.

Мейеръ, по словамъ г. Пекарскаго, пользовался не только общей любовью, но и безграничнымъ, безусловнымъ авторитетомъ надъ своими слушателями. "Какой бы горячій споръ ни возникалъ въ аудиторіи, - говоритъ г. Пекарскій, - онъ мгновенно прекращался, если кто нибудь, вижето всякихъ возраженій, говориль: это сказаль Мейеръ, это его мысль. Въ мое время, да навърное и послъ, у студентовъ юридическаго факультета это считалось неопровержимымъ аргументомъ". Но не надозно думать, чтобы столь гибельное вліяніе на умственную свободу молодого поколенія было преднамъренно со стороны Мейера. Такой оборотъ дъла, къ несчастію, неизбъженъ при ребяческомъ положеній всего, что у насъ есть лучшаго. Профессоръ учитъ своихъ слушателей служить делу, а не лицамъ, проповъдуеть имъ самостоятельность мышленія, необходимость собстьеннаго изследованія и убежденія; слушатели очень довольны и начинають съ того, что поклоняются лицу профессора и указаніемъ на его мивніе замъняють всякое разумное изслъдование. Прискорбны, конечно, такие результаты; но къ чести Мейера надо замътить, что онъ не хотълъ ихъ. не вызываль. Это видно даже изъ воспоминацій г. Пекарскаго о точъ, какъ онъ обращался со студентами. Вотъ, напримъръ, начало сближенія вхъ съ профессоромъ, котораго сначала очень боялись и лекцій котораго понимали очень плохо.

<sup>«</sup>Въ тъ времена, въ Казани, существоваль на Воскресенской улицъ кафе-ресторанъ Берти, куда собирались послъ лекцій нъкоторые бездомные студенты; туда же, первое время, когда еще не успъль обзавестись своимъ хозяйствомъ, ходиль объдать и Мейеръ, Замътивъ между студентами своихъ слушателей, онъ тотчасъ же постарался завести съ ними разговоръ. Какъ теперь помню, ръчь зашла о современной литературъ и, слъдовательно, о журналистикъ. Тогдашнія «Отечественныя Записки» читались съ большою охотою студелтами, которые были въ восторть отъ Го-

голя и осыпали насмашками «Москвитянина», силивнагося гогда въ критическомъ отдыль возставать противъ «Отечественных» Записокъ». Критика послъдвито журнала, напротивъ, находила такое одобрение, что пълыя страницы разборовъ многимъ извъстны были почти наизуеть. Однако, студенты не знали автора ихъ и въ провинціальной наивности, увірены были, что правивніняся имъ критическія статья писаны самимъ редакторомъ «Отечественныхъ Записокъ». Мейеръ вывель изъ заблужденія студентовъ, разсказавъ съ большинь увлеченіемъ, что за человькъ быль Вълинскій, авторъ неподписанныхъ критикъ, и какое значеніе имбетъ онъ для нашей литературы. Заметить надобно, что въ 40 годахъ, въ провинци, все дюди арелыхъ льть и известные своею солидностью, всь, кто быль съ весомь по своей должности или по владвемымъ имъ душамъ, на годили статьи Бълинскаго или головоломными. или еретическими, а потому студенты очень удивились, что ихъ профезсорь, читающій въ аудиторіи такую мудрость, какой они еще не раскусили хорошенько, удостояваеть раздыять ихъ миние касательно Вылинскаго. Подъ конець бесьды разговоръ такъ оживился, что студенты совершенно забыли, что разсуждають съ профессоромъ, и не чувствовали того правственнаго гнета, который, вибств съ благотовкинымъ поддакиваниемъ всему, что изречеть профессорь, убиваеть всякую самостоятельность мысли и делаеть изъ юноши какую-то благовоспитанную машину, но не человѣка.

«Слъдствіемъ этого сближенія было то, что одинь изъ студентовь рискнуль зайти къ Мейеру и признался откровенно, что его лекціи понимаются весьма плохо, а занисываются еще хуже. Мейера сначала это озадачило, но, не показавъ и тъни неудовольствія, онъ вывъдаль искусно у гостя, что читаетъ тотъ серьезнаго и какивъ предметомъ преимущественно занимается. Оказалось, что студенть, кромі повістей, почти ничего не читаль, а занимался всіми предметами одинаково, то-есть каждое утро ходиль на лекціи, а дома списываль тетрадки, которыя ему достались оть прежняго курса. Мейеръ, выслушавъ все это, предложиль студенту итсколько княгь, которыя могли быть пособіемъ для слушателей его лекцій, и въ то же время терпівливо повториль все, что казалось въ нихъ труднымъ и неповятнымъ.

«На другой день студенть сь торжествомь объявиль товарищамь, что онь быль у Мейера, что тоть поясниль мьста, казавшіяся темными, даль домой книгь, чтобы заниматься, и, наконець, что онь такой добрый, что ему не стыдно признаться, чего не знаешь или не понимаешь... Сь тьхь порь студенты юридическаго факультета стали чаще ходить къ профессору, лекцій записывались все лучше и лучше, и скеро все темное и непонятное въ нихъ исчезле, самая отвлеченность изложенія перестала пугать слушателей, напротивь, пріучала ихъ къ мышленію и заставляла слідить сь напряженнымъ вниманіемь за каждымъ словомъ профессора.

«Не прошло года, и студенты такъ свыклись съ Мейеромъ, что для нихъ сълалось потребностью ходить къ нему за совътами, спрашивать разъясненій, брать нужныя книги. Не бывали у Мейера только самые отсталые, потому что имъ всегда было какъ-то неловко передъ наставникомъ; они одни только и не очень жаловали его. благоразумно умалчивая о томъ при товарищахъ. Съ самаго прівзда въ Казань, Мейеръ работаль неутомимо: кромь пригоговленія къ каждой лекцій, онъ писаль диссертацію на полученіе званія магистра; между этими занятіями находиль время (по его словамъ, «для отдохновенія») учиться птальянскому языку. Однако, множество занятій не мішало ему принямать безпрестанно студентовь, вногла цілые часы проводить съ ними, ни разу не показавъ нетерпянія, что его такимъ образомъ отрывають оть дела. Онь считаль одною изь обязанностей своего званія быть вы постоянныхъ сношеніяхъ съ студентами, при чемъ всегда старался знакомиться короче съ характеромъ и наклонностями каждаго изъ нихъ. Мейеръ любиль даже дёлать свои заключенія о молодыхъ людяхъ по наружности ихъ. Само собою разумъется, что ему не разъ случалось обманываться, и часто онъ ожидаль многаго отъ такихъ, которые вовсе не оправдывали потомъ его блистательныхъ на нихъ надеждъ; однако, были примъры его особенной проницательности касательно стугентовъ.—«Знакомы вы съ Т.?» спросиль однажды Мейерь своего слушателя.—«Да.— отвъчаль тотъ:—хотя Т. мят и не товарищъ по курсу, однако, я знаю его довольно корошо».—«Сегодня я его экзаменоваль и замътиль, что у него вовсе нътъ охоты серьезно заниматься; а это жаль: у него такія выразительныя черты лица и такіе умные глаза, что я убъжденъ, что, при доброй воль и самостоятельности, онъ могъ бы сдълаться замъчательнымъ человъкомъ». — Предчувствіе профессора оправдывается: студентъ, о которомъ шла рычь, сдълался писателемъ, его произведенія замъчены публикой, и отъ дальнъйшихъ его твореній зависитъ, чтобы сбылись слова Мейера окончательно.

«Когда студенть являдся на квартиру молодого профессора, то кто бы у него ни быль изъ постороннихъ, несмотря ни на какія занятія, онъ оставлядь все, привътливо приглашаль студента занять самое покойное місто, старансь ободрить молодого человька, часто смушеннаго и растроганнаго отъ такого вниманія. Съ ранвиго утра Мейеръ быль уже одьть и сидьть за книгами и тетрадями; только больной—онъ дозволядь себь надъвать хадать, и если его заставаль такъ студенть, то сколько было извиненій передъ гостемъ! Нерьдко студенть являдся къ нему разо утромъ, когда профессоръ не успіль еще обриться: но, чтобы не заставить дожидаться, онъ бросаль торопливо бритву и являдся съ одною бритою щекою. Начинался разговоръ, время проходило, между тімь являлись другіе студенты, туть уже пекогда думать объ оконченіи туалета, и только приближеніе часа, кегда надобно идти въ университетъ, заставляло профессора прощаться съ своими молодыми гостями.

«Самымъ обыкновеннымъ предлогомъ, чтобы идти къ Мейеру, считались разспросы в просъбы о дополнении и объяснении прочитаннаго имъ на лекции. Исполняя это всегда съ ведичайшей готовностью, профессорь двобилъ рекомендовать то изи другое сочинение или статью, имъвшия соотношение къ декциямъ, и которыя у него были въ библіотекъ. При возвращени ихъ. Мейеръ, какъ бузто невзначай, выспрашявалъ бравшаго книги, какого онъ мавнія о прочитанномъ и послужило-зи оно ему на пользу, и поэтому не читать или было прочитать взятую у Мейеру книгу не было никакой возможности. Мейеръ собственно на себя тратилъ очень немного: все, что сберегалі отъ скромнаго содержанія во время пребыванія за границей и отъ профессорскаго жалованья потомъ, онъ употреблялъ на пополненіе и умноженіе свеей библіотеки».

Такимъ образомъ. Мейеръ вовсе не поднималь себя передъ студентами на недосягаемую высоту величія. Онъ обращался съ ними просто и довърчиво, открывалъ имъ самые источники своихъ знапій, старался поставить ихъ, по возможности, вровень съ собою. Не его вина, если въ студентахъ оказалось слишкомъ мало самодъятельности для этого и если большая часть изъ нихъ умъла за всъ его попеченія и труды платить ему только пассивной привязанностью.

Воспоминанія В. И. Панаева о Державинѣ любопытны съ другой стороны. Въ нихъ видимъ мы, что такое была связь молодого поколѣгія инсателей со старымъ и въ какихъ формахъ проявлялось благодѣтельное вліяніе литературныхъ авторитетовъ на воспитавіе новыхъ людей. Мы обращаемъ на статью В. И. Панаева особенное вниманіе тѣхъ, которые съ одобреніемъ отзываются объ этомъ вліянін; язъ нея увидятъ опи, до чего вліяніе доходило. Не угодно-ли взять, наприхѣръ, такія данныя.

Отецъ В. И. Панаева пользовался расположеніемъ Державина, ибо "принадлежаль къ образованивйшимъ людямъ своего времени и быль въ короткихъ отношеніяхъ съ тогдашними литераторами". Въ доказательство дружества его съ Державинымъ, В. И. Панаевъ приводитъ слъдующее письмо, которымъ отецъ его поздравлялъ Державина съ полученіемъ ордена св. Владиміра 2-й степени.

«Милостивый государь, «Гаврило Романовичъ!

•По искренняйшей преданности и привязанности къ вамъ моей сердечной, судите о той радости, какую я чувствовалъ, получа извъстіе о послъдовавшемъ къ вамъ во второй день сентября Монаршемъ Высочайшемъ благоволеніи. Моя радость была одна изъ тѣхъ, которыхъ источникъ въ самой душь находится. Больше и не могу изъяснить. Примите мое поздравленіе съ новыми почестями, на вась возложенными. Богъ, любящій доброльте в и правоту сердна, да умножить награды и благонолучіе ваше—къ удовольствію добрыхъ и честныхъ людей. Съ симъ чистосердечнымъ желаніемъ и совершеннымъ высоконочитаніемъ пребуду навсегда,

мелостивый государь,
вашего превосходительства
всепокорнайшій слуга
Пвана Панасва.

Не правда - ли, что такимъ образомъ писали, бывало, поздравленія помѣщикамъ управляющіе ихъ имѣній, изъ дворовыхъ?

А вотъ и знакомство самого В. И. Панаева съ Державинымъ. Въ 1814 г., будучи уже кандидатомъ университста и сочинителемъ идиллій, В. И. Нанаевъ получилъ отъ своего брата изъ Петербурга изв'ястіе, что Державинъ спрашивалъ о немъ и любопытствовалъ прочесть его идилліи. Разумвется, юный идилликъ съ тренетомъ и радостью послалъ ихъ въ россійскому Пиндару, "озаботившись чистенько переписать ихъ". Державинъ отвъчалъ ему письмомъ, хвалилъ его, но совътовалъ не торопиться и вычищать хорошенько слогъ. Въ заключение письма указываль, какъ на образецъ, на идиллію Вакунина, которую туть же и прилагаль. "Въ благодарственномъ отвътномъ письив - говоритъ г. Панаевъ - я, по студентской совъсти, никакъ не мого воздержаться, чтобы не сказать откровеннаго своего мития остихахъ Бакунина; помею даже выраженія. "Есля (писалъ я) литература есть своего рода республика, гдв и последній изъ гражданъ имъетъ свой голосъ, то позвольте сказать, что прекрасное стихотвореніе г. Бакунина едва-ли можеть назваться идилліею; оно, напротивъ, отзывается и увлекаетъ любезною философіею вашихъ гораціанскихъ одъ". Признаться, я домо колебался, оставить или исключить изъ письма моего эту педантическую выходку, но школьное убъждение превозмогло, и письмо было отправлено. Впоследствін, будучи уже въ Петербурга, съ удовольствіемъ узналъ я отъ одного изъ ученыхъ посетителей Державина, что

онъ остался доволенъ письмомъ моимъ, читалъ его гостямъ своимъ, собиравшимся у него по воскресеньямъ, и хвалилъ мою смюлость".

Въ самомъ дѣлѣ, какая смѣлость, какой подвигъ! Видно, что автору многаго это стоило, да видно, что и самъ Державинъ не былъ пріученъ къ. такимъ жестокимъ нападеніямъ на него и такимъ республиканскимъ противорѣчіямъ...

Хорошо также первое свиданіе г. Панаева съ Державинымъ. Прочтите и увидите, какого нравственнаго вліянія искали въ его авторитетъ нъкоторые молодые люди, благоговъвшіе передъ его талантомъ.

«Съ благоговениемъ вступилъ я въ кабинетъ великаго поэта. Онъ стоялъ посреде комнаты, какъ на портреть, только, витето бархатнаго тулуна, въ сфренькомъ, серебристомъ бухарскомъ халать, и медленно, шарча ногами, шель ко мяв на встрычу. Отъ овладъвшаго мною замъшательства, не помню хорошенько, въ какихъ словахъ я ему отрекомендовался; помню только, что онь два раза меня поцеловаль, а когда я хотыть попыловать его руку, оне не даль и попыловавь меня еще въ добъ, сказаль: «Ахъ, какъ похожь ты на своего дъдушку!»—На котораго?-спросиль я и тотчасъ же почувствоваль, что вопросъ мой быль некстати, потому что Гавріиль Романовичь не могь знать деда моего съ отцовской стороны, не выбажавшаго никогда изъ Тобольской губернін. «На Василія Михайловича (Страхова), съ которымъ ходили мы подъ Пугачева, отвъчаль Державинъ. Ну, садись, продолжаль онъ: върно, прітхалъ сюда на службу»? - Точно такъ, и прошу не отказать мнё въ вашемъ, по этому случаю, покровительствь. - «Воть то-то и біда, что не могу быть тебь полезнымъ. Иное дело, если бы это было леть за двенадцать вазадъ: тогда бы и тебъ пригодился; тогда я служиль, а теперь оть всего въ сторонь. Слова эти меня поразвли. Какг! вскричаль я: съ вашимъ промкимъ именемъ, съ вашею славою, ны не можете быть мив полезнымь? - «Не горячись, возразиль онъ съ добродушною улыбною: поживешь, такъ узнаешь. Впрочемъ, если гдь намьтишь, скажи мив: я попробую, попрошу». За симъ онъ сталъ разспрашивать меня о родныхъ, о Казани, о тамошнемъ университеть, о моихъ занятіяхъ, совітуя и на службь не покидать упражненій въ словесности; прощаясь же, просиль посъщать его почаще. Раскланявшись, я не вдругь догадался, какъ мнъ выйти изъ кабинета, потому что онъ весь, не исключая и самой двери, состояль изъ силошныхъ шкановъ съ книгами».

Конечно, бывають такія минуты душевнаго восторга, благодарности, любии, когда у человѣка, ни съ того, ни съ сего, противъ всякаго обычая, кочется и руку поцѣловать. Но цѣловать руку у человѣка, къ которому пріѣхаль, между прочимь, за тѣмъ, чтобы просить покровительства для прінсканія мѣста, и черезъ 45 лѣтъ разсказывать объ этомъ съ совершенной беззастѣнчивостью и выставлять, какъ что-то необычайное, замѣчательное, то, что этотъ человѣкъ не далъ вамъ поцѣловать его руку, — все это, признаемся, не внушаетъ намъ особеннаго довѣрія и уваженія къ благотворности нравственной связи тогдашнихъ молодыхъ людей съ литературными корифеями. Не особенно располагаетъ въ пользу этой связи и то практическое употребленіе, которое благоговѣющій юноша желаетъ сдѣлать изъ поэтическаго таланта и изъ громкаго имени обожаемаго имъ писателя.

Вообще отношенія автора воспоминаній (и мы знаемъ, что не одного его) къ Державину были въ высшей степени подобострастин. Въ каждомъ оборотѣ фразы видно это. Онъ, напр., выпросилъ у Державина экземиляръ его сочиненій для Казанскаго Общества любителей словесности, и когда тотъ далъ ему экземиляръ, онъ "позволилъ себть (!!) сказать: не будетели такъ милостивы, не означите ли на первомъ томѣ вашею рукою, что дарите ихъ обществу? Съ этой надписью они будутъ еще драгоцивните". И въ Державинѣ не производили тошноты такія рѣчи, и онъ не только не гонялъ отъ себя людей, говорившихъ такимъ образомъ, но даже и не останавливалъ ихъ и не замѣчалъ, что имъ, въ этомъ случав, слѣдуетъ "вычишать слогъ".

Конечно, авторитеты и въ наше время еще очень неразумно принимаются многими; доказательствомъ служитъ вышеприведенное замъчаніе г. Пекарскаго объ авторитетъ Мейера. Но мы знаемъ, что современные авторитеты имъютъ уже гораздо больше уваженія къ себъ и сами стараются отвращать отъ себя курево восхваленій, понимая его гадость и удушливость для живой души. За то они увольняются и отъ обязанности употреблять свой литературный авторитетъ для покровительства на службъ поклонни-камъ своего таланта...

# ЗАГРАНИЧНЫЯ ПРЕНІЯ.

### о положении русскаго духовенства.

(Русское духовенство. Берлинъ. 1859).

Книжка эта составлена изъ нѣсколькихъ статей разныхъ авторовъ и издана по поводу вышедшей въ прошломъ году за-границей вниги "Описаніе сельскаго духовенства въ Россіи". Вотъ уже въ другой разъ приходится намъ говорить объ опроверженіяхъ на эту книгу, а самой книги мы еще не видали. Въ прошломъ году мы уже замѣтили странность такого явленія, разбирая "Мысли свѣтскаго человѣка объ "Описаніи сельскаго духовенства". Не можемъ не повторить и теперь выраженія нашего удивленія, тѣмъ болѣе, что въ книгѣ, лежащей теперь передъ нами, мы находимъ много упрековъ автору "Описаніе сельскаго духовенства" именно за то, что онъ издалъ книгу свою за-границей, а не на родинѣ. Эти упреки прежде всего поразили насъ своей странностью, и мы считаемъ нелишнимъ привести ихъ и сдѣлать по поводу ихъ нѣсколько замѣчаній.

Въ книжкѣ семь статей. Авторъ первой изъ нихъ, — "Разоблаченіе клеветы на русское духовенство", — говоритъ въ заключеніе своего разбора: "грустно, что передъ Европою выставлено въ такой мрачной картинѣ наше духовенство, и кѣмъ же? служителемъ самой церкви... Если онъ былъ проникнутъ, дѣйствительно, сознаніемъ недостатковъ и скорбей своего званія, зачѣмъ, подражая Хаму, открывать наготу отца, передъ чужими людьми? Вѣроятно, авторъ боялся, что духовные слишкомъ скоро узнаютъ всѣ его преувеличенія, всѣ его прикрасы, всѣ обобщенія и представленія частныхъ случаевъ въ видѣ общаго характера всего сословія" (стр. 50). Ясно, что авторъ приписываетъ появленіе книги за-границею тому обстоятельству, что авторъ ея боялся скорыхъ обличеній, если бы излаль ее въ Россіи.

Другой авторъ въ статьв: "Сужденіе о книгь— "Описаніе сельскаго духовенства", — говорить въ этомъ же родь: "Хорошъ-ли быль бы сынъ, который бы, замытивъ въ нихъ недостатки, сталь про нихъ кричать вслухъ цылаго свыта? Нытъ, любовь къ нимъ, чистая, искренняя любовь, никогда бы на то не рышилась; нытъ, она скорые заставила бы сына обратиться въ самимъ родителямъ или, еще лучше, къ тымъ довыреннымъ лицамъ, которыя бы могли на нихъ имыть большое вліяніе, обратиться съ просьбою, чтобы они своимъ авторитетомъ озаботились исправить недостатки родителей, столько тяжкіе для любящаго сына... Какъ назвать человыка. который въ училищь, какъ въ лоны родительскомъ, получилъ воспитаніе— и чрезъ то средства къ жизни— и потомъ удалился на страну оглече и тамъ рышился вслухъ всего свыта такъ безстыдно позорить мысто своего образованія?" (стр. 133). Далые, говоря о томъ, что авторъ "Описанія" изобразиль только мрачную сторону духовенства, авторъ статьи восклицаеть: "И гды же все это? Не въ родной нашей землю, гды бы не могли ему новырить, а далеко, далеко отъ насъ, за-границею", и т. д. (стр. 134).

Жалобы эти могуть показаться очень основательными тёмъ, кто незнакомъ со всёми условіями, отъ которыхъ зависить въ Россіи выходъ книгъ, трактующихъ о духовныхъ предметахъ. Но стоитъ раскрыть намъ Цензурный Уставъ, и дёло объяснится. Тамъ мы видимъ, что одинъ изъ основныхъ пунктовъ устава есть то, что не должно пропускать въ печать ничего противнаго православной Церкви. Но этимъ дъло не ограничивается. Всякая книга и статья, трактующая о предметахъ духовныхъ, не довъряется разръшенію одного общаго, гражданскаго цензора, а отсы-лается въ духовную цензуру. Подробностей устава духовной цензуры мы не знаемъ; но, на основани многихъ фактовъ, которыхъ намъ привелось быть свидътелями, полагаемъ, что онъ очень строгъ или очень неопредълененъ. Такъ, напр., мы постоянно видимъ, что отзывы о лицахъ духовнаго званія смѣшиваются съ мнѣніями о самой Церкви, и на этомъ основаніи, какъ противные православію, не пропускаются въ печать, за весьма ръдкими исключеніями. Такое смътеніе понятій нашли мы отчасти и въ книжкъ "Русское духовенство". Авторъ одной изъ статей ея нападаетъ, напр., на г. Погодина за то, что онъ высказалъ такую мысль: "какъ чи-новники въ частной жизни еще не составляютъ юстиціи, такъ точно и духовные, вив священнослуженія, еще не составляють Церкви". Мысль г. Погодина ясна: онъ именно хочеть отделить частную личность священника отъ общаго понятія о Церкви, ея ученіи, таинствахъ и пр. Но авторъ статейки очень резко замечаеть: "удивительно, какъ академикъ и профессоръ могъ высказать такую дикую мысль", и замечаніе это сопровождаетъ тремя восклицательными знаками!!! (стр. 58). Очевидно, что авторъ самъ не имъетъ должнаго понятія о различіи между частными личностями и между тъмъ служеніемъ, которое на нихъ возложено. Можно сказать безъ преувеличенія, что такое смъшеніе этихъ двухъ понятій, совершенно различныхъ между собою, господствуетъ, въ большей или меньшей степени, во всемъ нашемъ духовенствъ. Что оно проявляется и въ центральной его дъятельности, свидътельствуетъ (не говоря ни о чемъ другомъ) уже и тотъ фактъ, что "Описаніе сельскаго духовенства" до сихъ поръ не дозволено въ Россіи. По отзывамъ людей, читавшихъ ее, и изъ выписокъ, сдъланныхъ въ опроверженіяхъ, видно, что книга эта во все не враждебна хрисгіанской Церкви и ученію православія. Она не подкапываетъ нипакихъ догматовъ, не возстаетъ противъ основъ церковнаго строенія, а ограничивается только излеженіемъ темныхъ сторонъ быта сельскаго духовенства, недостатковъ семинарскаго образованія, злоупотребленій, допускаемыхъ консисторіями и архіереями. И между тъмъ она до сихъ поръ запрещена въ продажъ, между тъмъ какъ опроверженія на нее — одно напечатано въ Петербургъ, другое привезено сюда изъ Берлина и разръшено къ свободной продажъ во всъхъ книжныхъ лавкахъ.

Мы не осуждаемъ безусловно дъйствій духовной цензуры: они могутъ оправдываться разними особенными соображеніями. Но мы хотимъ указать на ен характеръ для того, чтобы видна была неосновательность упрека автору "Описанія" за то, что его книга напечатана за-границей. Оправданіе его противъ этого упрека очень просто: онъ не могъ ее напечатать въ Россіи. Если теперь, уже напечатанную, ее не допускають въ Россію, то какъ же можно думать, что ее дозволили бы, если бъ авторъ или издатель вздумаль здъсь представить ее въ цензуру? Если человъка не пускають идти прямымъ путемъ, — можно-ли казнить его за то, что онъ обойдетъ окольнымъ?..

Но, скажуть намъ, — чего не позволяють, того и не нужно дълать. Если авторъ зналъ, что его книгу не позволить цензура, то онъ не долженъ былъ даже и писать ее, не только-что посылать за-границу. Совершенная правда. Но для автора, — впрочемъ, онъ остается тутъ въ сторонъ уже и потому, что не самъ издалъ свою книгу, — итакъ — для издателя эти самыя соображенія могли представляться въ другомъ видъ. Онъ могъ думать: "намъренія автора не дурны; онъ хочетъ обратить общее вниманіе на объдственное положеніе духовенства, для того, чтобы приняты были мъры къ его улучшенію. По моимъ убъжденіямъ, законъ этого не запрещаетъ; но тъ, которые служатъ истолкователями и блюстителями закона, расходятся со мною во взглядъ на этотъ пунктъ. Попробую же я, обошедши ихъ, предстать на общій судъ прямо съ моими убъжденіями и

съ моимъ пониманіемъ закона". Какова бы ни была степень справедливости этихъ разсужденій, но то достовърно, что они неизбълсно и пеминуемо являются у людей, которые лишены возможности свободно и прямо выражать свои мысли. Дѣло это очень важно, и о немъ слъдуетъ серьезно подумать тѣмъ, кого оно касается. Выскажемъ объ этомъ съ своей стороны нѣсколько замѣчаній, въ надеждѣ, что духовная цензура не увидить въ нихъ ничего противнаго христіанству и православію.

Во время крымской войны и вслъдъ за ея окончаніемъ — у насъ оказалась потребность въ перемънахъ и улучшеніяхъ по всемъ почти частямъ общественнаго быта и государственнаго управленія. Перемъны эти понемножку начали делаться и теперь делаются; о нихъ стали говорить въ оффиціальных в отчетах в приказахъ, стали толковать въ обществъ. Такое положение дълъ отразилось и въ литературъ; стали писать о многихъ предметахъ, которые прежде не смели появляться въ печати. При этомъ, само собою разумъется, главное дъло состояло въ показани недостатковъ всего существующаго, для свъдънія и соображенія тъхъ, кому приходилось придумывать мізры исправленія и улучшенія; иногда предлагались въ литературъ и проекты самыхъ улучшеній. Въ числь недостатковъ, на которые нападала литература, всегда можно отличить два рода: одни за-ключаются въ злоупотребленіяхъ или неспособности личностей, другіе въ самой организаціи изв'єстной отрасли... Это стремленіе въ обличенію было такъ обще и въ то же время такъ скромно и благонамъренно, что правительство рашилось ему не противиться. Всладствие этого, какъ общая цензура, такъ и частныя цензуры встал втодомство свътских стали пропускать въ печати много такихъ статей, въ которыхъ указывались не только личния злоупотребленія, но и накоторые частные недостатки той или другой статьи самыхъ законовъ. Все это, конечно, практической пользы принесло очень мало; но за то оживило литературу, дало публикъ чтеніе дъльное и близкое къ жизни, вмъсто прежнихъ приторныхъ идиллій и глупыхъ сказокъ всякаго рода, заставило благословлять наше время, въ которое оглашаются такія вещи и, наконецъ, — смягчило то глухое, безмольное, но темъ более мрачное и зловещее раздражение, которое прежде таилось и смутно бродило въ обществъ и, неръдко, отъ злоупотребленій частныхъ переходило даже на общій характеръ правительственныхъ действій. Прежде слухи о какихъ-нибудь безпорядкахъ администраціи пересказывались только въ кружкахъ знакомыхъ; но такъ какъ безпорядковъ и злоупотребленій было немало, то слухами о нихъ переполнены были всъ кружки, заняты всв собранія... Слухи эти перемвшивались, переплетались съ другими, преувеличивались до громадныхъ размфровъ, задъвали людей совершенно невинныхъ, щадя дъйствительныхъ негодяевъ, и т. п.

Какъ совершенная нелѣпость, слухи эти могли быть вредны для самого общества, но никому не могли принести пользы. Литература взялась извлечь изъ нихъ пользу, приняла ихъ подъ свой контроль и, затѣмъ, пустила ихъ въ свѣтъ подъ своей отвѣтственностью. То, что напечатано, тѣмъ хорошо, что ужъ твердо и неизиѣнно сидитъ въ книгѣ. Передѣлать, исказить, переврать ужъ нельзя: сейчасъ можно справиться; если невѣрно, — отпереться тоже нельзя: улика на лицо; если кто хочетъ отвѣчать, — опять удобство: обвиненіе закрѣплено печатью, у всѣхъ предъ глазами, и, слѣдовательно, отвѣчающій знаетъ, что именно ему опровергать, противъ чего оправдываться. Такъ и идетъ теперь наша свѣтская литература, разумѣется, въ тѣхъ предѣлахъ, какіе указаны ей Цензурнымъ Уставомъ и о которыхъ мы говорили въ одной изъ нашихъ рецензій въ прошломъ году <sup>1</sup>).

Совершенно не то видимъ мы въ вопросахъ, касающихся духовнаго въдомства. Современная литература обходить эти вопросы, и обходить не по пренебрежению къ нимъ, а именно потому, что не имъетъ возможности свободно высказывать свои наблюденія, инфиія и предположенія. Некоторые замечають, что Церковь и не нуждается въ этомъ, такъ накъ она есть установление не человъческое, а божественное и, слъдовательно, совершенное и никакимъ перемънамъ не подлежащее. Такъ. Но въдь никто изъ писателей и не думаетъ касаться самыхъ догматовъ православія, самыхъ основъ церковнаго устройства. И во всякомъ случав — на статън подобнаго рода и могло бы быть налагаемо запрещение, если бы только онъ случились. А затъмъ, указанія на частные недостатки духовныхъ лицъ и временныя нужды Церкви могли бы быть печатаемы совершенно свободно. Въдь и въ свътской цензуръ до сихъ поръ не пропущено ни одной статьи, которая бы посягала на основной принципъ русскаго государственнаго устройства — самодержавіе, да и не слышно было, чтобъ представлялись въ цензуру подобныя статьи; а, между тъмъ, частныя злоунотребленія обличались, и цензура пропускала ихъ на томъ основаніи, что онв не только не разрушають нашего государственнаго принципа, но еще укрвилають его, когда показывають, что всв недостатки происходять не отъ него, а отъ частныхъ злоупотребленій. То же самое могло бы быть и въ духовномъ въдомствъ. Основамъ православія нисколько не повредить, если стануть писать, напримерь, о духовных консисторіяхь, о существующихъ отношеніяхъ высшей духовной власти въ низшему причту, объ отношеніяхъ священника къ прихожанамъ, объ организаціи учебной части въ духовныхъ училищахъ, о значени различныхъ жъръ, прини-

<sup>1)</sup> Просимъ читателя справиться въ библіографіи августовской книжки «Современника» за 1859 г. (томъ III, стр. 141 настоящаго изданія). Прим. издата. добролюбовъ, т. пп.

маемыхъ и принимавшихся противъ раскола, и пр., и пр. Въдь устройство духовныхъ консисторій, преподаваніе агрономіи или медицины въ семинаріяхъ, и т. п., не опредъляется ни Священнымъ Писаніемъ, ни Соборами, ни отцами Церкви; это - дело временныхъ потребностей и сообразно съ ними можетъ измъняться... Что же касается до личнихъ недостатковъ духовныхъ служителей, то здесь, кажется, нужно бы дать уже полную свободу нечатать все, что угодно, безъ всякаго ограниченія, и притомъ темъ съ большею смелостью, чемъ выше стоитъ духовное лицо. о которомъ нишутъ. Пусть будетъ и ложь нечататься — бъды нать; служитель Церкви-не чиновникъ, котораго дъятельность теряется въ сотнъ другихъ подобныхъ. На свищенника устремлены взгляды цълаго прихода, - нъсколькихъ сотенъ, иногда и тысячъ человакъ. Ложь о немъ, не подъ рукою пущенная и коварно разнесенная шепотомъ, а гласная, напечатанная — всегда вызоветь опровержение, и истина явится послы нея еще въ болбе яркомъ свътъ. Недопущенная въ печать ложь все - таки останется и, затанвшись гдв - нибудь въ темнотв, станетъ оттуда поражать честнаго деятеля сплетнями и клеветами, которыхъ даже и опровергнуть нельзя, потому что онв неуловимы, а какъ же бороться съ неуловимымъ? Не все же клеветники и злодби между людьми пишущими: найдутся и такіе, которые напишуть частую правду, изъ искренняго желанія добра. Зачемъ же ихъ-то подводить подъ общую мерку и не давать ихъ замечаніямъ гласности? Неужели въ духовномъ сословіи должны мы подозрѣвать боязнь огласки, опасение открыть предъ людьми свои педостатки? Это было бы слишкомъ печально!.. Уступая силъ общаго направленія, мірскіе люди всвув въдомствъ и всвув состояній подвергли себя публичному обличению и не считають преступниками тахъ, кто всенародно и печатно раскрываеть ихъ недостатки. А духовенство должно бы, кажется, подавать примъръ смиренномудрія; оно должно бы болье всъхъ другихъ сословій сохранить память о первоначальномъ христіанскомъ обществъ, въ которомъ существовала открытая, всеобщая исповедь; оно должно бы постоянно помнить примъръ первоверховнаго апостола Павла, который, не убоясь никакихъ последствій, предъ лицомъ новообращенныхъ обличиль Петра въ слабости и двоедушіи за то, что тотъ неодинаково вель себя въ глазахъ христіанъ изъ язычниковъ и христіанъ изъ евреевъ. И между твиъ что же мы видимъ? -- всв поднялясь на самообличение, всв стремятся заявить истину о своей жизни и обстановив своего быта: одно духовенство не только молчить, но еще смотрить съ непріязнью и подозрініемъ на всякую постороннюю попытку въ этомъ родв... Достойно-ли это истинныхъ пастырей Церкви, которые должны подавать свётскимъ людямъ примъръ самоотверженія, смиренія и любви къ правдъ?

Опасаются, чтобы выходки противъ частныхъ лицъ духовныхъ, повторяясь въ печати чаще и чаще, не бросили тъни вообще на духовенство и не повели къ презрънію даже самой Церкви. Но это опасеніе (еслибы оно даже и было основательно) никакъ не можетъ быть успокоено запрещениемъ печатанія обличительных в статей на духовных в. Этимъ путемъ не остановишь даже и печатнаго ихъ распространенія, а напротивъ — придашь имъ значение, котораго безъ того онъ не могли бы имъть. Объ этомъ еще въ двадцатыхъ годахъ Пушкинъ говорилъ, въ посланіи къ цензору:

> Чего боишься ты? Повырь мин: чьи забавы-Осмінвать законъ, правительство и прачы, Тотъ не подвергнется взысканью твоему, Тотъ не знакомъ тебь, - мы знаемь, почему --И рукопись его, не погибая въ Леть, Безъ подписи твоей разгуливаеть въ свъть...

Теперь явилась возможность печатать за-границей, стало быть, ужъ и не рукопись будеть разгуливать, а книга печатная, которая, во всякомъ случав, надежнве и върнве рукописи и скорве распространяется. И даже ничтожная вещь, напечатанная за-границей, обратить на себя общее вниманіе, именно потому, что она за-границей явилась. Всякій знаеть, что многихъ вещей здёсь не дозволяютъ печатать, и потому всикій думаеть: "а, за-границей напечатано! значитъ что-нибудь новое, что нибудь такое, чего здёсь нельзя печатать! "И на этомъ основаніи бросаются досгавать книгу, платять за нее большія деньги и потомъ, какъ диковинкой, хвастаются и даютъ читать темъ, кто не въ состояни самъ купить... А будь она здёсь напечатана, — на нее бы и вниманія не обратили. Доказательствомъ этого можетъ служить то самое дело, о которомъ мы теперь разсуждаемъ. Въ книжкв "Русское духовенство" есть статья: "Духовное званіе въ Россіи". Въ примъчани къ ней отъ издателя сказано, что она запиствована изъ одного русскаго повременнаго изданія. Между тімь мы, даже въ кругу людей. довольно близко интересующихся литературою, никогда и ни отъ кого не слышали ни одного упоминанія объ этой статьв. А въ то же время объ "Описаніи сельскаго духовенства" мы уже слышали иножество разнообразныхъ разсужденій, и наши знакомые выражали большое изумленіе, когда мы говорили, что до сихъ поръ еще не читали этой книги... Чтобы наше показаніе не принято было за произвольное, мы представимъ. пожалуй, удостовърение въ популярности "Описания" изъ самыхъ опровержений, изданныхъ въ Берлинъ.

Въ предисловіи издателя говорится, что "въ Россіи, неизвъстнымъ путемъ, появилась она во множеество экземпляровъ" (стр. XII).

Въ первой статьъ, въ самомъ началъ, засвидътельствовано: "книгу эту многіе читаютъ. перечитываютъ и находять, что нъкоторыя темана

краски, которыми очерчена жизнь сельского священника, взяты туть съ патуры" (стр. 1).

Во второй стать, тоже въ началь, говорится: "хотя книга эта напетана за-границею, но оттуда какими-то путями проникла и от Россію и здъсь ст ублеченіем читастся и перечитывается мночими" (стр. 61).

Въ "Мысляхъ свътскаго человъка", тоже перепечатанныхъ въ Берлинской книжкъ, указано на то, что "книга сія переведена уже на французскій и нъмецкій языкъ" (стр. 353), и что на нее "указывають даже въ наставленіе архипастырямъ" (стр. 357). Вообще, о распространеніи книги говорится вотъ что: "вредная и безсознательная книга, проникая мало-по-малу во всть слои общества, высшаго и низшаго, производить вездъ губительныя опустошенія" (стр. 353).

И такъ, къ чему же служатъ всё предосторожности, вся боязливость относительно печатанія въ Россіи обличительныхъ статей на духовенствой Вёдь все равно: потока не остановишь. До сихъ поръ не писали ничего, потому что еще мало интересовались духовнымъ вопросомъ. Теперь, начиная приходить къ сознательной жизни, захотёли нёсколько сознательнёе взглянуть и на значеніе духовенства въ нравственной жизни народа, и потому стали интересоваться духовенствомъ. А коли уже стали интересоваться, — писать будутъ, какія бы препятствія ни ставили... Только, разумѣется, чёмъ больше станутъ мёшать, тёмъ раздраженіе будеть сильнёе. Это и очень естественно: люди скромные, люди среднихъ стремленій, махнутъ рукой и замолчать; а если кто пойдетъ окольнымъ путемъ, чтобътолько заявить себя, такъ это, разумѣется, на первый разъ самые задорные люди, и вся процаганда попадетъ въ ихъ руки...

Впрочемъ, если бы даже и могли остановить печатное слово, - все-таки дълу не помогли бы. Общее мнъніе составляется не по книжкамъ и статейкамъ; напротивъ, книжки и статейки служатъ обыкновенно только отраженіемъ общественнаго мивнія. А общее понятіе о духовенствів давно уже составлено въ нашемъ обществъ, и если спросить по совъсти кого угодно изъ духовныхъ, каждый, конечно, сознается, что понятіе это далеко не въ ихъ пользу. Виною этого предшествующіе факты русской жизни и поведеніе самого духовенства, а ужъ никакъ не литература. Мужики наши ничего не читають; а можно-ли сказать, чтобъ они очень уважали священниковъ и причетниковъ? Стоитъ послушать сказки народа и заметить, какая тамъ роль дается всегда "попу, попадьъ, поповой дочери и попову работнику", стоитъ припомнить названія, которыми честять въ народъ "поповскую породу", чтобы понять, что туть уваженія никакого не сохранилось. О помъщикахъ нечего и говорить... И замъчательно, что чъмъ необразованнъе помъщикъ, тъмъ онъ хуже обходится со священникомъ. На это примъры есть въ той же берлинской книжев ... А все винять литературу!..

Вотъ слова священника Грекова, въ статъъ "О духовномъ званіи въ Россін" (стр. 147):

«Вообще, неуваженіе къ священному сану такъ развито у свётскихъ модей, что каждый даже мелкій чиновникъ, одинъ изъ чиела тьхъ, о которыхъ кто-то изъ поэтовъ написалъ: «коллежскій регистраторъ—почтовой станціи диктаторъ»,—считаетъ себя не только выше священника, но в прямо требуеть отъ него подобострастнаго уваженія, а господа познатнъе, въ особенности поміщики, играютъ нами, какъ шашками. Иной на своемъ въку тъмъ только и занимается, что перемъняеть въ своей деревнъ священниковъ, интригуя противъ нихъ. Спросите: «по какому праву такъ распоряжаются священниками, когда и рабство крестьянъ нынъ считается уже недостойнымъ просвъщенія?»—вамъ отвътитъ поміщикъ, не запинаясь: «какъ по какому праву? Моя деревня, моя церковь, мой попъ, мой и приходъ». Посль этого вы, конечно, отгадаете, что у такого владъльца образованному священнику еще труднъе жить, чёмъ необразованному».

Въ подтверждение словъ своихъ, священникъ разсказываетъ случай объ одной помъщицъ, которая, перемънивъ въ короткое время до пяти священниковъ, обратилась, наконецъ, съ просьбою къ епископу—посвятить ей во священники дьячка ея, который, кромъ невъжества, имълъ еще физическій недостатокъ—былъ слъпъ на одинъ глазъ. "Когда же Владыка спросилъ: что ее заставляетъ домогаться имътъ священникомъ собственнаго дъячка?—она отвъчала: "Владыко святый, —Богъ съ ними, съ учеными: многаго требуютъ выполнять, а гдъ намъ все исполнить?" — "Такъ этотъ же, — возразилъ владыка, — вовсе ничего не знаетъ". — "Это правда, — отвъчила помъщица; — но за то онъ у меня такой послушный, какъ мокрая курица" (стр. 149).

Въ другомъ мъстъ своей статьи, почтенный священникъ сознается, что "общимъ недостаткомъ духовенства считаютъ обыкновенно недостатокъ доброй нравственности". Онъ удивляется, откуда такое нареканіе на духовенство, и спрашиваетъ: "чёмъ оно заслужило такую репутацію?" (стр. 159).

Вообще, всё статьи берлинской книжки, имфющія въ виду защиту духовенства, исполнены жалобъ на его жалкое положеніе и на недостатокъ уваженія къ нему въ обществъ. Жалобы эти вполнё справедливы. Но гдё же причина такого неуваженія? Причинъ, конечно, много; но мы не опибемся, если скажемъ, что одну изъ важныхъ причинъ составляетъ рёшительная невозможность у насъ гласныхъ, печатныхъ сужденій о духовенствъ. У насъ можно писать только общія похвальныя мёста о духовныхъ; но на это ни одинъ порядочный писатель не рёшится. Оттого у насъ, при необычайномъ обиліи разсказовъ всякаго рода изъ частной, семейной жизни разныхъ сословій, нигдё почти не является участія духовнаго лица: какъ будто они не имфютъ ни малѣйшаго соприкосновенія съ нашей дѣйствительной жизнью... И продолжають они являться только въ устныхъ анектельной жизнью...

дотахъ не совство скромнаго свойства, да въ простонародныхъ сказкахъ скандалезнаго содержанія, да въ сплетняхъ, разносимыхъ изъ дома въ домъ набожными старушками.

Кром'в того, отсутствие гласных разсуждений о духовенств'в, какъ будто ограждая его отъ неосновательных вареканий, а въ самовъ дъл'в, напротивъ, подвергая имъ, — въ то же время лишаетъ самихъ духовныхъ всъхъ удобствъ гласности. Не желая видъть статей о себъ, они потому самому принуждены отказаться и отъ всякаго притязания самимъ возвышатъ голосъ въ защиту отъ мелкихъ неприятностей и притъснений, которымъ иногда подвергаются. Слъдствиемъ того бываетъ, что ими помыкаютъ очень многие, какъ людьми совершенно безгласными. Оттого и происходятъ такие случаи, о которыхъ говорится, напримъръ, въ статъъ "Разоблачение клеветъ" (стр. 54 — 55).

«Что можеть сдалать у насъ, напримъръ, сельский священник»? Помъщики и земское начальство педозрительно сметрять на всякое увеличене вліянія духовенства. Въ немъ они могуть видьть постоянных свидьтелей своихъ злоупотребленій и стараться уронить ихъ значеніе и силу. Недавно въ К—ской спархіи донеели губернатору на священниковъ, какъ на бунтовщиковъ, за то, что они стали склонить къ трезвости своихъ прихожавъ и усићи къ этему убъдить нъкоторыхъ. Въ одномъ сель N.., спархіи священникъ сталь убъждать управляющаго не тиранить крестьянъ, а мхъ убъждалъ къ терпънію, потому что не долго имъ терпъть; и его выставили возмутителемъ крестьянъ противъ помъщика, и онъ лишился мѣста. Случилось священнику пъсколькихъ раскольниковъ обратить къ Церкви: ихъ единомышленники сплетаютъ при посредствъ земской власти, на него рядъ обвиненій, и онъ также лишается мѣста этого и переводится на другое».

Если бы относительно духовенства допускалась у насъ полная гласность, то, конечно, было бы менёе возможности для подобныхъ случаевъ. Обманъ, и особенно обманъ оффиціальный, всегда живетъ подъ покровомъ и негласности, и тайны. Какъ скоро является возможность публичнаго протеста противъ него, — онъ становится, по крайней мёрё, осторожнёе, зная, что его всякій можетъ обличить и провёрить... Только для этого нужно, разумёется, дать равную возможность и право рёчи обёммъ сторонамъ. Иначе дёло будетъ только испорчено и внушитъ подозрёніе въ своей правотё всёмъ благонамёреннымъ людямъ.

Разсуждение это можеть быть примънено и къ настоящему случаю. Мы читаемъ нъсколько опровержений на "Описание сельскаго духогенства", и очень желали бы върить словамъ ихъ отомъ, что "Описание" это гнусно, безнравственно, противно духу православия, и совершенно ложно... Но. по совъсти, мы не можемъ принять такого ръшения, не видавъ самой книги. Изъ отрывочныхъ небольшихъ выписокъ въ пять-шесть строчекъ нельзя видъть настоящаго смысла полной ръчи автора, и тъмъ менъе можно судить объ истинномъ значения всей этой книги. Напротивъ, въ опровер-

женіяхъ мы находимъ много доказательствъ того, что авторъ "Описанія" сказалъ много правды, а съ другой стороны, видимъ крайнее раздражение и неосновательность многихъ возражений. Въ прошломъ году мы видъли, какъ "Свътский человъкъ", обвиняя автора за ръзкость тона, самъ въ то же время не стыдится обременять его весьма грубыми и бездоказательными ругательствами, которыя тёмъ непріятнёе видёть въ печати, что обвиняемый авторъ, очевидно, лишенъ возможности печатно защищаться передъ русской публикой. Теперь мы видимъ, что, кромъ своей легкомысленности, этотъ разборъ "Свътскаго человъка" весьма во многомъ расходится съ понятіями самих в духовных в, пишущих в о том в же предметв. Такъ, напр., "Свътскій человъкъ" пишетъ, что въ "Описаніи" "все представлено въ превратномъ видъ" (стр. 373); другая же обличительная статья начинается словами: "не одна только ложь и клевета, а частью и грустная правда высказана въ книгъ" "Описаніе сельскаго духовенства" (стр. 1). "Свътскій человъкъ" возстаетъ противъ желанія автора, чтобы преподаваніе медицины было усилено въ семинаріяхъ, и считаеть даже богопротивною мысль, что священники, врачи духовные, должны быть въ своихъ приходахъ вивств и врачами твлесными. Прикоснувнись къ какому - нибудь мужику, больному позорною бользнью, — какъ послъ того приступить священникъ къ совершеню Святыхъ Таинъ? — восклицаетъ "Свътскій человъкъ", полагая, какъ видно, достоинство христіанина въ большей или меньшей элегантности. Но духовныя лица, пишущія противъ "Описанія", напротивъ, признають всю пользу преподаванія медицины въ семинаріяхъ. Вообще, какъ люди болъе знакомые съ дъломъ, они гораздо болъе дълаютъ признаній въ справедливости тъхъ или другихъ замътокъ "Описанія". Только сами издатели книги оказываются еще болъе поверхностными и представляютъ доводы еще болъе неосновательные и пустые, нежели самъ "Свътскій человъкъ". По всему видно, что они не могли хорошенько уразумъть даже общаго смысла тъхъ статей, которыя попались имъ въ руки для изданія. Встатьи, не смотря на свои частныя противоръчія въ разныхъ частяхъ, даютъ одинъ общій выводътотъ, что внъшнее положение русскаго духовенства и самаго духовнаго образованія и управленія далеко неудовлетворительно. Самъ "Свътскій человъкъ" соглашается, что преобразованія нужны (стр. 372). Издатели же книги, напротивъ, даютъ понять въ предисловін, что все должно оставаться въ томъ видъ, какъ есть, неизминнымъ. Они говорятъ, правда, объ учении православія; но они указывають на его неизминность въ упрекъ тъмъ, которые пишуть о дурномъ положении духовенства (такъ какъ въ "Описания" никто не находитъ выходокъ противъ въры православной), следовательно, по ихъ понятіямъ, и ученіе веры, и положеніе

причта, и программы семинарскія — все это одинаково должно остаться неизміннымъ.

Кромъ того, издатели поступають совершенно не христіанскимъ образомъ, пуская въ публику безыменныя обвиненія и ничъмъ ихъ не подтверждая. Они говорятъ, напримъръ, что журналы наши стремятся къ разрушенію религіи и нравственности. Такъ, напр., въ одномъ изданіи пишутъ,
что модиться все равно въ христіанскомъ-ли храмѣ или въ языческомъ,
а въ другомъ — отвергаютъ бракъ. Затъмъ, издатели говорятъ: "чтобы
не вводить читателя въ грустныя размышленія, ограничимся приведенными примърами" (стр. ІХ). Но развъ два примъра составляютъ все направленіе всъхъ журналовъ? Да и гдъ же еще это было напечатано, и въ
какомъ видъ? Много писали о несчастіяхъ брачной жизни и о непрочности супружескаго блаженства: но въдь за это еще нельзя казнить наши
журналы такимъ выводомъ, какъ сдълали издатели. По нашему, лучше
ужъ прямо разбирать статью и доказывать свои обвиненія, нежели пускать
такіе уклончивые доносы изъ-за угла, никого не называя, но явно желая
возбудить недоброжелательство ко всей русской литературъ.

Впрочемъ, нужно сказать, что вся книжка, при всемъ разнообразія и даже н'вкоторой противуположности статей, промикнута духомъ нетерпимости къ чужимъ мивніямъ и притязаніемъ — захватить право рвчи только въ свою пользу. Кром'в того, въ ней находимъ чрезвычайно много фразъ, длинныя, водянистыя общія міста, и очень нало діла. Нісколько фактовъ приводится въ стать в первой: "Разоблачение клеветъ", и въ этомъ отношении она заслуживаетъ внимания. Но за то авторъ ея чрезвычайно смутно различаеть предметы, не умъеть логически провести взятой имъ мысли и обнаруживаетъ такія отсталыя, дикія понятія, которыхъ давно уже не одобряетъ просвъщенное духовенство и правительство наше. Онъ, напр., обвиняетъ правительство за то, что оно не преследуеть раскольниковь, и советуеть лишать ихъ известныхъ гражданскихъ выгодъ и приманивать ихъ изъ раскола, объщая эти выгоды въ случав присоединенія къ православію... Признаемся, мы не считаеть тавихъ совътовъ согласными съ правилами христіанской любви и правды. Впрочемъ, чтобы насъ не обвинили въ голословности показанія, приведемъ все разсуждение автора, сдълавши несколько примечаний подъ строкою.

«Кто не согласится, что расколь русскій есть невыжество, крайнее, безсмысленное невыжество? Всякое невыжество искореняется только просвышеніемь. Забота правительства должна быть обращена особенно на образованіе народа. Долже всего этому просвыщенію будуть противиться раскольники; но они увлекутся сбщимь духомъ, общимь движеніемь. Организовать въ одно пілое этоть осадокъ русской жизни, дать ему единство подъ управленіемь какой-либо іерархів—въ высшей степени неблагоразумно и вредно. Это звачило бы—среди русскаго государства создать другое,

совершенно враждебное всёмъ началамъ государства, торжественно признать отъ имени правительства вождей, предводителей возмутительной анархической толпы, не котящей знать ни церковной, ни гражданской власти, не имѣющей ни малѣйшаго уваженія къ ихъ предписаніямъ и распоряженіямъ: это значило бы еще на долгое, на очень долгое время, даже навсегда, отдалить возможность ихъ присоединенія къ церкви, подчиненія уставамъ государственнымъ, дать возможность образоваться партіи, способной произвесть переворотъ въ Россіи, который отодвинеть ее во времена допетровскія, дать возможность верховнаго господства Пугачева съ его клевретами 1).

Духовенство одно, безъ содъйстви гражданской власти, ничего не можетъ сдълать къ уничтоженто раскола 2). Расколъ прежде всего есть отчужденте отъ Церкви, вражда противъ нея; потому слово духовнаго лица выслушивается враждебно в не можетъ имѣть дъйствия, кромъ ръдкихъ случаевъ 3). А какте плоды могутъ приносить мудрыя дъйствия гражданской власти, — примъръ этого показаль въ недавнее время Уралъ. Раскольники прямо говорятъ, что правительство не хочеть ихъ присоединентя къ Церкви, что оно велитъ имъ оставаться въ старой въръ. Въ послъднее время въ Вятской и Костромской епархіяхъ и, въроятно, и въ другихъ сосъднихъ распространвлись печатные манифесты отъ имени: то Императора Александра, то Императора Константина, въ которыхъ имъ поведъвается оставаться въ старой въръ. Многіе раскольники говорятъ, что если бы Царъ хотълъ, чтобы мы присоединились къ Церкви, то онъ прямо бы сказалъ: а то мы не слыхали отъ него подобнаго слова. Отчего бы, въ самомъ дълъ, не выдать манифеста къ раскольникамъ, не въ видъ ръшительнаго приказа, но въ видъ сильнаго увъщания раскольникамъ, не въ видъ рыштельнаго приказа, но въ видъ сильнаго увъщания раскольникамъ, не въ видъ рыштельнаго приказа, но въ видъ сильнаго увъщания раскольникамъ присоединиться къ Церкви 4). Между раскольниками надобно различать людей различныхъ убъж-

<sup>1)</sup> Трудно совместить въ немногихъ строкахъ болье прогиворьчій, чемъ завсь. Если расколь такъ беземисленъ, то съ какой стати опасаться, что онъ организуется въ партію, да еще способную произвести переворотъ въ Россіи?. И если все раскольники составляють анархическую возмутительную толну, то какимъ образомъ могутъ они создать особое государство среди русскаго гесударства? Какъ видно, авторъ не имбетъ ни малейшаго понятія о самыхъ первыхъ требованіяхъ и условіяхъ государственной жизни. Да и почему онъ думастъ, что партія, желающая произвести переворотъ, непременно нуждается, для успеха въ этомъ. — въ признанни отъ правительства? Кажется, напротивъ, всякая скрытая партія, всякое тайное общество, какъ скоро оно открыто узаконяется и получаетъ право гражданства, уже чрезъ то самое теряетъ половину своей разрушительной силы.

<sup>2)</sup> Хорошо признаніе, если оно вышло изъ усть духовнаго лица!. Такъ воть каковы наши миссіоноры, наши проповъдники въры Христовой: имъ нужно содъйствіе гражданской власти,—исправниковъ, становыхь, окружныхъ, и т. д.! А кто же содъйствоваль христіанскимъ миссіонерамь, отправлявшимся на проповъдь въ отдаленныя страны, къ народамъ дикимъ, невъдомымъ?.. «Духовенство одно ничето не можеть сдълать!» И въ чемъ же? Въ такомъ дълъ, которое только и возможно сдълать словомъ духовнаго убъжденія!.. Понималь-ли авторъ, какъ онъ роняетъ дъло, которое взялся защищать?...

<sup>3)</sup> Выше, авторъ самъ же сказаль, что расколь враждебень и гражданской власти такъ же, какъ перковной; а ниже овъ говорить, что расколь еще враждебнье государству, нежели Церкви. Стало быть, если гражданская власть выбшается въ это дёло, то она можеть только увеличить раздражение раскольниковъ.

<sup>4)</sup> Какъ прикажете разсуждать съ подобнымъ авторомъ? То онъ говоритъ, что раскольники составляютъ анархическую толцу, не хотящую знать ни церковной, ни гражданской власти; то увъряетъ, что раскольники потому только не обращаются, что правительство не даетъ приказанія на это!.. Невозможно быть до того ограниченнымъ человькомъ, чтобы не замѣтить противоръчія этихъ двухъ мыслей; и по-

деній. Одни привлавны къ расколу съ полною увіренностью. Что злісь только оня могуть найти спасеніе. Противъ такихъ дюдей строни міры и безполезны, и беззаконны. Хотя это люди самые упорные въ расколь, но слово убъядентя, согрітов дюбовію евангельскою, во имя вічнаго спасенія, скоріе найлеть доступь кь ихь сердну. Примъры обращенія подобныхъ людей изъ раскола въ Перкви представляетъ о. Парфеній съ своими товарищами. Есть раскольники, которые слідують расколу потому, что следовали ему ихъ отцы, не разсуждая, по упорству и упраметву русскаго характера, и такихъ строгія міры могуть только ожесточить. Простішение есть единственное средство вывести ихъ изъ этого состояния. Есть еще раскольники, которые держатся раскола потому, что здісь они нахолять выгоды, возможность безнаказанно удовлетворять своимъ страстямъ, не стісняться законами ни государственными, ни церковными, однимъ словомъ, жить по своей воль и наживаться на счеть простяковь, не имъя никакой въры. Можеть ли правительство оставить подобинать модей безъ списисній? 1) Стройя миры противь пиять не будуть посягательствомъ на религозныя убъжденія, но только законнымь преслідованемъ граждан скаго безпорядка. Не костерь, не пытки 2) мы признаемъ нужными противъ нихъ, но только такія міры, которыя бы не оставляли имъ выгоды виішней оставаться въ расколь. Они бросять расколь, когда увидять, что, оставансь въ нечъ, они теряють свои вившиня выгоды. Выли случаи, что бабы, несившия званіе раскольничьихъ поновъ, изъ за матеріальныхъ выгодъ служили противъ раскольниковъ 3). Конечно. Перковь не пробритаеть въ нихъ добрыхъ сыновей. но. по крайней мара, ихъ дети воспитаются въ Церкви, по крайней мірь, они не будуть соблазнять и увлекать другихъ къ отпаденію отъ Церкви временными выгодами. Есть еще раскольвики, которые охотно бы перешли въ Перковь, если бы не связывали ихъ отношенія родственныя или коммерческія съ другими раскольниками. Они рады были бы случаю, который бы даль имъ возможность, не подвергая себя преследованию со стороны единовърцевъ, перейти къ Церкви. Но такой случай могутъ представить только понультельный мары правительства. Всего вредине въ дал обращения раскольниковъ непостоянство мфръ правительства: слабия миры миняются строими,

тому мы имъемъ право предполагать здъсь въ авторъ недобросовъстную уловку. Онъ котълъ подъйствовать на йзвъстныя лица и потому ръшился сначала запугать ихъ тъмь, что раскольники, при малъйшемъ послабленіи, бунтъ произведуть, а потомъ ужь и приступить къ убъжденію, что слідуеть манифестъ выдать объ обрашеніи раскольниковъ... Уловка эта придумана недурно, но прикрыта ужъ очень неискусно!...

<sup>1)</sup> А можетъ-ли правительство проникнуть въ сердце каждаго изъ раскольниковъ и опредълительне сказать, что такой-то держится раскола по убъждению такой-то по привычкъ, а этотъ—изъ выгодъ? Не потребуется-ли для такого разбирательства нъчто въ родъ инквизиции? И не откроетъ-ли это общирнаго поприща для взятокъ и вся-каго рода злоупотребленій чиновниковъ?

<sup>2)</sup> Какая гуманность! Авторъ не желаеть жечь и пытать раскольниковъ!.. Еще этого только и недоставало!..

<sup>3)</sup> И такъ, авторъ не стыдится, для привлеченія людей къ православію, предлагать нѣчто въ родѣ подкупа!.. Что за іезуитскій складъ мыслей!!. И прочтите дальше: онъ и оправдываетъ-то эту мѣру по-іезуитски. «Конечно,—говоритъ.—они не будутъ добрыми христіанами, да за то вредить не будуть!..» А гдѣ же Христовы правила, заповѣдующія пастырямъ заботиться прежде всего и больше всего о спасеніи лушъ своихъ пасомыхъ? Можетъ- ли христіанскій пастырь съ таквить безиравственнымъ равнодушіемъ отзываться о душевномъ благѣ своей паствы? «Они,—говоритъ,—конечно, не исправятся такими мѣрами и не будутъ добрыми сынами Церкви; да это ничего: лишь бы не вредили!» Какой коммерческій, барышническій взглядъ на дѣло вѣры!..

строгія елабыми 1). Поэтому раскольники смотрять на всё стіснительныя міры противь нихь, какъ на вопросъ денежный. Они говорять, что вірно поналобился отъ насъ милліонъ, — и везуть его. Какъ мало вірять раскольники въ искрейность желанія правительства обратить ихъ въ Церковь, и напротивь убіждены, что діло вдеть только объ ихъ деньгахь, — разскажу одинь случай. Возникло діло о совращеніи въ расколь мужа и жены. Архіерей пожелаль самъ поговорить съ ними, чтобы подійствовать на нихъ силою убіжденія. Онъ призваль ихъ и началь говорить имъ сильно о томъ, что они потеряють візчоє спасеніе вні Церкви. Видимо, обоимъ имъ стало неловко; сила убіжденія была велика... И вотъ жена толкаеть мужа, мужь выгаскиваеть изъ за пазухи деньги и подаеть ихъ архіерею. «Что это значить»? спрашиваеть архіерей. «Да ужъ перестаньте говорить, батюшка, мы не знаемъ, что отибчать, оставьте насъ въ покої».

«Можно себь представить всю скорбь архіерея... Чтобы дійствовать на раскольника путемъ убъжденія, нужно архіерею иміть денежныя средства, на которыя бы онъ могъ посылать особыхъ, къ тому приготовленныхъ, месстонеровъ изъ священниковъ-ли, или изъ другихъ лиць, давая имъ хорошее сод ржани. По архиетей не импеть въ своемъ распоряжения денегь на подобныя издержки. Но, во всячемъ случав, неправду говорить авторь (Описанія), что раскольники не переходять, и всь донесенія объ этомъ не болье, какъ ложь. Гди только гражданское начальство содийствуеть дуковной власти, тамь дъйствія противь раскола бывають плодотворны 21. Но что явлать духовному начальству, когда всв его усили парализуются действими свътскихъ властей? А между тымъ вопросъ о расколь вредные для государства, нежели для Церкви; расколъ грозитъ большею опасностью государству, нежели Церкви, отъ которой раскольники, какъ гнидые члены, уже совсьмъ отділены. Понятно, почему Искандеръ съ своею брагіею громко вошеть противъ всяких строгихъ міръ на расколъ. Они видять въ этой общинь зародынъ демократическаго начала, противнаго Церкви и государству, долженствующее въ ихъ идеяхъ преобраз вать общество Русское. Но только ихъ сленая, фанатическая любовь къ своимъ идеямъ можеть въ этомъ териистомъ поль видьть съми свободы. Какъ ни ненавистна имъ пеставленная отъ Бога власть, но думаю, что они въ тысячу разълучие согласятся быть подъ ея управленіемъ, нежели подъ управленіемъ какихъ-нибудь і мельяновъ Пугачевыхъ в

<sup>1)</sup> Какъ по всему видно, авторъ желаетъ, чтобъ постоянно употребляемы были строиз мары.

<sup>2)</sup> Самъ того не замъчая, авторъ указываетъ на способъ, воторымъ производится обращение раскольниковъ. Онъ говоритъ: «мамъ, гом гражданское начальство содъйствуетъ». Значитъ, здъсь разумъются не общія правительственныя мѣры, а распоряженія частныхъ, мелкихъ начальниковъ. А чѣмъ могутъ дъйствовать частные начальники? Вѣдь не предоставленіемъ гражданскихъ правъ и превыщаетъ обращающимся: это превышаетъ вхъ власть. Ясно, что они могутъ дъйствовать только принудительными мѣрами... И авторъ радуется этому, и хочетъ, чтобъ вездѣ у насъ распространялось слово истины евангельской подобнымъ образомъ!..

<sup>3)</sup> Да вѣдь авторъ самъ же говорить, что стоитъ манифесть издать, и всѣ раскольники обратятся! Какія же туть опасенія пугачевщины? И стоитъ ли туть обращать ввиманіе на мнѣнія—хоть бы Искандера съ братіей? Мы не понимаемъ, почему авторъ какъ будто склоняется на эти мнѣнія, выражая свой страхъ предъ расколомъ: вѣдь онъ же сказаль, что расколь есть ни что иное, какъ невѣжество, что
его держится безсмысленная толиа, не знающая даже никакихъ законовъ. не толькочто неспособная составить особое управленіе, и что, наконець—они очень наклонны
къ обращенію, если только превительство выскажетъ ясное желаніе этого... Намъ,
кажется, что авторъ совершенно сбидся и спутался и наговорилъ совершенно противное тому, что хотѣлъ сказать.

Расколь отличается рашительною нетерпимостью къ другимъ вареваніямъ и обычаямъ, заклятою враждою противъ всахъ, не принадлежаниямъ ихъ обществу <sup>1</sup>). И этотъ духъ вражды, нетерпимости, вмасть съ крайнимъ неважествомъ, прилаетъ такой характеръ расколу, что всякое благородное сердце должно обливаться кровью при мысли о немъъ.

Вотъ качовы сужденія автора по поводу раскола! Видно, что онъ не обладаетъ особенно свѣтлымъ взглядомъ и не совсѣмъ вскусно прикрываетъ свои затаенныя мысли... И всякій изъ читателей согласится, что подобный авторъ и подобныя разсужденія не могутъ внушить особеннаго довѣрія человѣку безпристрастному. Послѣ этого какъ же мы можемъ на слово вѣрить его обвиненіямъ противъ автора "Описаніе сельскаго духовенства"?

Но замъчательно, что даже и этотъ авторъ не можетъ не сознаться въ справедливости многихъ замъчаній о недостаткахъ духовнаго званія. Такъ, напр., восхваляя семинарское образованіе, онъ. однакоже, не можетъ не признать слъдующихъ фактовъ (стр. 10):

«Что касается до нравственнаго воспитанія въ духовныхъ училиналь, то его педьзя назвать вполит удовлетворительнымъ. У насъ болье учать, чиль воспитывають. Воспитаніе ограничивается почти только отринательными мірами: стараются не допускать воспитанниковъ до шалостей и проступковъ; но мало заботятся о возбужденіи воли къ самодъятельностии, о развитіи живого сознанія своиль будущиль, обязанностей и стремленія дъйствовать неуклонно и неутомимо въ званіи учителя, руководителя, духовнаго отца народа. Безпрекословное повиновеніе даже одноми капризу начальника—воть что считается обязанностью ученка! Оттого въ характері семинариста образуется какая-то упругость, тялучесть, способность сживаться съ обстоятельствами, выносить то, чего другой никогда бы, можеть быть, не перенесь, но ньть жажды свободной дъятельности, стремленія простереть свое вліяніе дамо казенной формы;—яснье сказать, ньть желанія и ревности стать чіть-нибудь болье, чёть однить совершителемь тачнствь и обрядовь для народа»...

Можетъ быть, автору кажется, что это недостатокъ неважный; но едвали не онъ - то и служитъ причиною того, до рабства смиреннаго, безпрекослевнаго отношенія, въ которомъ находятся часто духовныя лица не только къ своимъ начальникамъ, но и къ помѣщикамъ, значительнымъ прихожанамъ и вообще лицамъ, сколько-нибудь вліятельнымъ... Авторъ статьи самъ сознаетъ это и говоритъ далѣе (стр. 13):

«Не осуждаемъ намъреній начальства духовныхъ училищь; оно имъетъ въ виду послушаніе вноческое и исполненіемъ своихъ приказаній безъ разсужденія лумаетъ пріучить къ смиренію. Но прямо скажемъ, что оно ощибается и достипаетъ противо-положныхъ результатовъ. Монашеское послушаніе есть обътъ произвольный, и потому не обязательный для всьхъ; требуй его отъ того, кто сознательно отрекся отъ своей воли! Начальникъ не долженъ забывать, что онъ не есть законъ, а наблюдатель за исполнениемъ закона. Зная горькія слъдствія непослушанія, подчиняются и капризу; но въ душь остается скорбное чувство оскорбленнаго достоинства. Опытъ показываетъ, что безропотно послушные подобнаго рода приказаніямъ, въ жизни семейной и общественной, сами становятся деспотами. Ласковое, довърчивое, отече-

<sup>1)</sup> Къ сожалънію, самъ авторъ не чуждъ такой же нетерпимости въ отношеніи къ раскольникамъ.

ское обращеніе смягчить грубость первоначальнаго воспитанія, дасть свободу развитію мальчиковъ, принесстъ имъ рішеніе на многіе вопросы жизни, укажеть имъ в настоящій способь дійствованія въ будущемъ ихъ служеніи».

Говоря о духовныхъ консисторіяхъ, авторъ также не можеть не согласиться, что ихъ положеніе дурно. Вотъ его слова (стр. 28):

«Консисторіи всё ругають: лучшею считають Петербургскую; въ Московской, по крайней мёрі, члены не беруть взятокъ, а въ провинціальныхъ, говорять, они не уступають и подъячимь въ этомъ дёль. Рёшительное преобразованіе ихъ необходимо не только для спокойствія духовенства, но и для чести человічества. Самые строгіе, самые дёятельные архіерей, несмотря на все свое желаніе, не въ силахъ исправить это зло при нынішнемъ устройстві, и украсить Георгіемъ 1-й степени нужно бы того, кто изобрёль бы проекть, разбивающій на голову это полчище взяточниковъ».

Архіереевъ авторъ защищаетъ отъ нареканій "Описанія"; но и тутъ не можетъ не замѣтить, что дѣйствительно— "жалкія формы, груды письменныхъ дѣлъ изъ архіерея дѣлають только чиновника; придумайте мѣры къ сокращенію этихъ пустыхъ переписокъ, этой формальности, которою всегда можетъ прикрыться злоупотребленіе, но которая отнимаетъ время отъ дѣлъ духа и жизни" (стр. 41).

Такихъ сознаній довольно много можно найти во всей книжкъ; но мы обращаемъ внимание только на первую статью ея, потому что въ ней только соблюдено еще ивкоторое уважение къ фактамъ и есть двльныя указанія. Статья священика Грекова тоже имбеть ибкоторое достоинство, но факты, приводимые въ ней, слишкомъ частны и не дають еще права ни на какіе общіе выводы: онъ говорить о своемъ приходь только. Что же касается до остальныхъ няти статей, то въ нихъ ничего нътъ, кремъ общихъ мъстъ реторической амилификации. Одинъ, напр., въ опровержение того, что вынъшнее преподавание въ семинарияхъ отстало и схоластично, приводитъчто бы вы думали? -- на 23 страницахъ имена русскихъ архіереевъ, проповъдниковъ, ученихъ и вельможъ, получившихъ образование въ духовныхъ училищахъ съ ХVII въка. Между этими пменами есть, конечно, никому неизвъстныя или замъчательныя вовсе не съ блестящей стороны, какъ напр. Красовскій, Сидоровскій, Исаевъ, Донковъ, Никита Крыловъ, Проконовичъ-Антонскій, Кирьякъ Кандратовичъ, Рубанъ, Д. С. С. Шпилевскій, и т. п. Но это бы еще не бъда. Дурно то, что весь этотъ перечень нейдетъ къ дълу. Мы всъ знаемъ, что первый университетъ основанъ у насъ въ 1775 году, а гимназіи стали открываться въ царствованіе Императора Александра I. Поэтому мы нимало не возстаемъ противъ того, что Ломоносовъ, напр., учился сначала въ московскомъ и кіевскомъ духовныхъ училищахъ; но только что же изъ этого? Неужели подобные факты, хоть бы ихъ было вдесятеро больше, чъмъ представлено авторомъ, доказываютъ, что нынъшнее преподавание въ семинарияхъ и то, какое было 20 — 30 льтъ тому назадъ, вполнъ современны и удовлетворительны?

Другой авторъ, написавшій "О благотворномъ участій Церкви и пастырей ея въ судьбахъ Россіи", хочеть доказать, что несправедливо упрекать нынъшнее наше духовенство въ разпыхъ недостаткахъ, котому что оно имъло полезное вліяніе на нашу исторію... Какъ будто эти двъ вещи какъ-нибудь вяжутся между собою!..

Противъ такихъ статей спорить нечего: яспо, что авторы ихъ болве любятъ фразу, нежели дъло, и разсуждение съ ними будетъ переливаниемъ изъ пустого въ порожнее.

Но мы замѣтили еще одну черту во всѣхъ статьяхъ опроверженій, — это противорѣчіе авторовъ въ разныхъ вопросахъ. Мы выше уже указалл ихъ нѣсколько. Приведемъ здѣсь еще одно, касающееся предмета ловольно важнаго — жалованья духовенству. Одно опроверженіе на "Описаніе" такъ порицаетъ сго автора, недовольнаго тѣмъ, что архіереи не согласились на предполагавшееся введеніе жалованья (стр. 23—24):

«Прилвчно-ли, законно-ли јерею произносить проклятіе на архісреевь за то. что они возставали противъ жалованья духовенству? Безь всикато прекослова, говоритъ апостоль, меньшее от большаю благословляется... Неужели авторь книги не могь отгадать причинъ, которыя побуждали архіереевъ на подобной мара? 1) Дімо шло о епархіяхъ, гдв духовенство имветъ достаточное содержаніе и безъ того. 2) Опречоние аненета свя и в и в постои остом сы в в стои в в на степень чинов. никовъ, зависимыхъ отъ гражданскаго начальства, а для силы Церкви, для ея значенія, для сохраненія ея чистоты, требуется ея самостоятельность. 3) Вознагражденіе отъ прихожанъ за совершеніе требъ сближаеть свищенника съ прихожанами, поставляеть ихъ въ болье тьсное взаимное отношение, заставляеть священника заботиться о любви прихожань, а прихожань принимать участие въ его семейномъ положеніи. Одинъ архіерей писаль къ Н., что некоторые священники, получающіе жалованье, не хотять совершать требы, не хотять служить молебновъ, требуя за нихъ неумфреннаго вознагражденія. - Прихожане не терпять въ священникь корыстолюбія и притязательности, но съ любовію дають по мірь средствъ своихъ, и почли бы себя оскороленными, если бы священникъ отказался принять приношение ихъ усердія. Разсказывали мнь примьры, что прихожане стали удаляться оть священниковь. какъ отъ чиновниковъ, когда тъ стали жалованье получать; ихъ подкупають, говорять они, и особенно этимъ пользовались раскольники, чтобы отдалить народъ отъ духовенства».

Намъ кажется, что статья эта писана тоже соттскимъ человѣкомъ, мало понимающимъ настоящее положеніе и надобности духовенства. Онъ говоритъ, между прочимъ, съ нѣкоторою небрежностью: "средства жизни священниковъ дѣйствительно скудны, но надобно припомнить, что и потребности ихъ ограниченны. Они рождены въ этой скудости, въ ней восинтаны и имъ не тяжело и нести ее" (стр. 23). Такой отзывъ показываетъ — или человѣка богатаго изъ духовныхъ, или вовсе не духовнаго. Духовное лицо, священнивъ Грековъ, говоритъ вотъ что (стр. 153):

"Порокт корыстолюбія вт духовенство зависить не оть восшитанія и не оть природныхь наклонностей духовнаго сословія, а отт способовт

его содержанія. Обезпечьте насъ, какъ слѣдуетъ, дайте намъ приличное содержаніе и тогда требуйте от насъ совершеннаго безкорыстія. Мы не только не пожалвенъ тогда о своихъ доходахъ, но, напротивъ, буденъ радоваться, что избавились от этой тяжной и горькой необходимости питаться подаяніемъ. — Это мысль общая всего духовенства, желаніе постоянно высказываемое".

Одно сопоставление подобныхъ мъстъ доказываетъ уже, какъ необходимо для духовенства гласное, печатное обсуждение вопросовъ, касающихся его вившияго положенія и устройства. Пусть не боятся духовные, что подобнымъ обсуждениемъ можетъ быть унижено достоинство православной Церкви. Напротивъ, ничъмъ оно столько не ослабляется, какъ постояннымъ молчаніемъ о духовномъ сословін, постояннымъ отчужденіемъ его отъ того движенія, которое совершается въ литературъ. Образованное общество, съ одной стороны видя недостатки, неизбъжно существующе въ духовенствъ, а съ другой -- замъчан, что всъ молчать о нихъ, между тъмъ какъ громко говорять о всемъ другомъ, - общество имфетъ полное право думать, что духовенство само враждебно всякому исправлению и усовершенствованію, нетершимо ко всякому постороннему мивнію и желаеть навсегда остаться при твхъ же порядкахъ, какіе у него существуютъ нынв... Такое мивніе сделалось теперь почти повсемъстнымъ въ обществъ, и духовенство не иначе можеть измънить его, какъ дозволениемъ свободно и гласно обсуждать его действія и даже некоторыя условія теперешней организаціи духовнаго відомства.

Надвенся, что просвъщенное духовенство приметь безъ огорченія и безъ всякихъ подозрвній наши искреннія замвчанія, имвющія въ виду единственно общую пользу. Появленіе въ печати этой статьи да послужить доказательствомъ того, что и духовное въдомство не желаетъ ствснять благонамвреннаго и спокойнаго обсужденія относящихся къ нему вопросовъ, до которыхъ, наконецъ, необходимо же когда-нибудь дотронуться.

## когда же придеть настоящій день?

'Schlage die Trommel und fürchte dich nicht. Heine.

(Наканунѣ, повъсть И. С. Тургенева. "Русскій Вѣстникъ", 1860 г., № 1).

Эстетическая критика савлалась теперь принадлежностью чувствительных барышень. Изъ разговоровъ съ ними служители чистаго искусства могуть почерпнуть много тонкихъ и вфримхъ замечаній, и затемъ написать критику въ такомъ родъ. "Вотъ содержание новой повъсти г. Тургенева (разсказъ содержанія). Уже изъ этого бледнаго очерка видно, какъ много туть жизни и поэзім самой свіжей и благоуханной. Но только чтеніе самой пов'єсти можеть дать понятіе о томъ чуть в кътончайшимъ поэтическимъ оттънкамъ жизни, о томъ остромъ психическомъ анализъ, о томъ глубокомъ пониманіи невидимыхъ струй и теченій общественной мысли, о томъ дружелюбномъ и вмъстъ смъломъ отношении къ дъйствительности, которыя составляють отличительныя черты таланта г. Тургенева. Посмотрите, напримъръ, какъ тонко подмъчены эти исихическія черты (повтореніе одной части изъ разсказа содержанія и затемъ — выписка); прочтите эту чудную сцену, исполненную такой граціи и прелести (выписка); припомните эту поэтическую живую картину (выписка), или вотъ это высокое, смълое изображение (выписка). Не правда-ли, что это проникаетъ въ глубину души, заставляетъ сердце ваше биться сильнее, оживляетъ и украшаетъ вашу жизнь, возвышаетъ предъ вами человъческое достоинство и великое, въчное значение святыхъ идей истины, добра и красоты! Comme c'est joli, comme c'est délicieux!"

Малому знакомству съ чувствительными барышнями одолжены мы тъмъ, что не умъемъ писать такихъ пріятныхъ и безвредныхъ критикъ. Откровенно признаваясь въ этомъ и отказываясь отъ роли "воспитателя эстетическаго вкуса публики", мы избираемъ другую задачу, болъе скромную и болъе соразмърную съ нашими силами. Мы хотимъ просто подвести итогъ тъмъ даннымъ, которыя разсъяны въ произведени писателя и которыя мы принимаемъ какъ совершившійся фактъ, какъ жизненное явленіе, стоящее предъ нами. Работа не хитрая, но нужная, потому что, за множествомъ занятій и отдыховъ, ръдко кому придеть охота самому всмотръться во всъ подробности литературнаго проязведенія, разобрать, провърить и поставить на свое мъсто всъ цифры, изъ которыхъ составляется этотъ сложный отчетъ объ одной изъ сторонъ нашей общественной жизни, и затъмъ подумать объ итогъ и о томъ, что онъ объщаетъ и къ чему насъ обязываетъ. А такого рода провърка и размышленіе очень небезполезны по поводу новой повъсти г. Тургенева.

Мы знаемъ, что чистые эстетики сейчасъ же обвинять насъ въ стремленіи навязывать автору свои мнінія и предписывать задачи его таланту. Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нать, мы ничего автору не навязываемъ, мы заранве говоримъ, что не знаемъ, съ какой цвлью, вследствіе какихъ предварительныхъ соображеній изобразиль онъ исторію, составляющую содержание повъсти "Наканунъ". Для насъ не столько важно то, что хотпьят сказать авторъ, сколько то, что сказалось инъ, хотя бы и ненамфренно, просто вследствие правдиваго воспроизведения фактовъ жизни. Мы дорожимъ всякимъ талантливымъ произведеніемъ именно потому, что въ немъ можемъ изучать факты нашей родной жизни, которая безъ того такъ мало открыта взору простого наблюдателя. Въ нашей жизни до сихъ поръ нътъ публичности, кромъ оффиціальной; вездъ мы сталкиваемся не съ живыми людьми, а съ оффиціальными лицами, служащими по той или другой части: въ присутственныхъ мъстахъ — съ чистописателями, на балахъ-съ танцорами, въ клубахъ-съ картежниками, въ театрахъсъ парикиахерскими паціентами, и т. д. Всякій хоронить дальше свою душевную жизнь; всякій такъ и смотрить на васъ, какъ будто говорить: "въдь я сюда пришелъ, чтобъ танцовать, или чтобъ прическу показать; ну, и будь доволенъ тъмъ, что я дълаю свое дъло, и не взлумай, пожалуйста, выпытывать отъ меня мои чувства и понятія". И дъйствительно, — никто никого не выпытываеть, никто никъмъ не интересуется, и все общество идетъ врозь, досадуя, что должно сходиться въ оффиціальныхъ случаяхъ, въ родъ новой оперы, званаго объда или какого нибудь комитетскаго засъданія. Гдъ же туть узнать и изучить жизнь человъку, не посвятившему себя исключительно наблюденію общественных вравовь? А тутъ еще какое разнообразіе, какая даже противоположность въ различныхъ кругахъ и сословіяхъ нашего общества. Мысли, сделавшіяся въ одномъ вругъ уже пошлыми и отстальми, въ другомъ - еще жарко оспариваются; что у однихъ признается недостаточнымъ и слабымъ, то другимъ кажется слишкомъ ръзкимъ и смълымъ, и т. п. Что надаетъ, что побъждаетъ, что начинаетъ водворяться и преобладать въ нравственной жизни общества,—на это у насъ нътъ другого ноказателя, кромъ литературы и, преимущественно, художественныхъ ся произведеній. Писательхудожникъ, не заботясь ин о какихъ общихъ заключеніяхъ относительно состоянія общественной мысли и нравственности, всегла умъстъ, однако же, уловить ихъ существеннъйшія черты, ярко освътить и прямо поставить ихъ предъ глазани людей размышляющихъ. Вотъ почему и полагаемъ мы, что какъ скоро въ писатель-художникъ признается талантъ, т.-е. умънье чувствовать и изображать жизненную правду явленій, то, уже въ силу этого самаго признанія, произведенія его даютъ законный поводъ къ разсужденіямъ о той средъ жизни, о той эпохъ. которая вызвала въ писателъ то или другое произведеніе. И мъркою для таланта писателя будетъ здъсь то, до какой степени широко захвачена имъ жизнь, въ какой мъръ прочны и многообъятны тъ образы, которые имъ созданы.

Мы сочли нужнымъ высказать это для того, чтобы оправдать свой пріемъ—толковать о явленіяхъ самой жизни на основаніи литературнаго произведенія, не навизывая, впрочемъ, автору никакихъ заранѣе сочиненныхъ идей и задачъ. Читатель видитъ, что для насъ именно тѣ про-изведенія и важны, въ которыхъ жизнь сказалась сама собой, а не по заранѣе придуманной авторомъ программѣ. О "Тысячѣ душъ", напримъръ, мы вовсе не говорили, потому что, по нашему мнѣнію, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана къ заранѣе сочиненной идеѣ. Стало быть, тутъ не о чемъ толковать, кромѣ того, въ какой степени ловко составилъ авторъ свое сочиненіе. Положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ, изложенныхъ авторомъ, невозможно, потому что отношеніе его къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво. Совсѣмъ не такія отношенія автора къ сюжету видимъ мы въ новой повѣсти г. Тургенева, какъ и въ большей части его повѣстей. Въ "Наканунъ" мы видимъ неотразимое вліяніе естественнаго хода общественной жизни и мысли, которому невольно подчинилась сама мысль и воображеніе автора.

Поставляя главной задачею литературной критики—разъяснение тѣхъ явлений дѣйствительности, которыя вызвали извѣстное художественное произведение, мы должны замѣтить притомъ, что въ приложении въ повѣстямъ г. Тургенева эта задача имѣетъ еще особенный смыслъ. Г. Тургенева по справедливости можно назвать представителемъ п пѣвцомъ той морали и философіи, которая господствовала въ нашемъ образованномъ обществѣ въ послѣднее двадцатилѣтіе. Онъ быстро угадывалъ новыя потребности, новыя идеи, вносимыя въ общественное сознаніе, и въ своихъ

произведеніяхъ непременно обращаль (сколько позволяли обстоятельства) внимание на вопросъ, стоявшій на очереди и уже смутно начинавшій волновать общество. Мы надъемся при другомъ случав проследить всю литературную деятельность г. Тургенева, и потому топерь не станемъ распространяться объ этомъ. Скажемъ только, что этому чутью автора къ живымъ струнамъ общества, этому умѣнью тотчасъ отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только-что еще начинающее проникать въ сознаніе лучшихъ людей, мы приписываемъ значительную долю того успаха, которымъ постоянно пользовался г. Тургеневъ въ русской публикв. Конечно, и литературный таланть самъ по себв много помогь этому усивху. Но читатели наши знають, что таланть г. Тургенева не изъ тъхъ титаническихъ талантовъ, которые, единственно силою поэтическаго представленія, поражають, захватывають вась и влекугь къ сочувствію такому явленію или идев, которымъ мы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная порывистая сила, а напротивъ-мягкость и какая-то поэтическая умъренность служать характеристическими чертами его таланта. Поэтому мы полагаемъ, что онъ не могъ бы вызвать общую симпатію публики, если бы касался вопросовъ и потребностей, совершенно чуждыхъ его читателямъ, или еще не возбужденныхъ въ обществъ. Нъкоторые замътили бы прелесть поэтическихъ описаній въ его повъстяхъ, тонкость и глубину въ очертаніяхъ разныхъ лицъ и положеній, но, безъ всякаго сомнънія, этого было бы недостаточно для того, чтобы сдълать прочный усивхъ и славу писателю. Безъ живого отношенія къ современности, всякій, даже самый симпатичный и талантливый повъствователь, долженъ подвергнуться участи г. Фета, котораго и хвалили когда-то, но язъ котораго теперь только досятокъ любителей помнитъ десятокъ лучшихъ стихотвореній. Живое отношеніе къ современности спасло г. Тургенева и упрочило за ничъ постоянный успъхъ въ читающей публикъ. Нъкоторый глубокомысленный критикъ даже упрекаль когда-то г. Тургенева за то, что въ его дъятельности такъ сильно отразились "всъ колебанія общественной мысли". Но мы, несмотря на это, видимъ здівсь именно самую жизненную сторону таланта г. Тургенева, и этой стороной объясняемъ, почему съ такой симпатіей, почти съ энтузіазмомъ, встрвчалось до сихъ поръ каждое его произведение.

Итакъ, мы можемъ сказать смѣло, что если уже г. Тургеневъ тронулъ какой-нибудь вопросъ въ своей повъсти, если онъ изобразилъ какую нибудь новую сторону общественныхъ отношеній, — это служитъ ручательствомъ за то, что вопросъ этотъ дъйствительно поднимается или скоро поднимется въ сознаніи образованнаго общества, что эта новая сторона жизни начинаетъ выдаваться и скоро выкажется ръзко и ярко предъ

глазами всѣхъ. Поэтому, каждый разъ, при появленіи повѣсти г. Тургенева, дѣлается любопытнымъ вопросъ: какія же стороны жизни изображены въ ней, какіе вопросы затронуты?

Вопросъ этотъ представляется и теперь, и въ отношени къ новой повъсти г. Тургенева онъ интересиве, чъмъ когда-либо. До сихъ поръ путь г. Тургенева, сообразно съ путемъ развитія нашего общества, былъ довольно ясно намиченъ въ одномъ направлении. Исходилъ онъ изъ сферы высшихъ идей и теоретическихъ стремленій и направлялся къ тому, чтобы эти идеи и стремленія внести въ грубую и пошлую действительность, далеко отъ нихъ уклонившуюся. Сборы на борьбу и страданія героя, хлонотавшаго о побъдъ своихъ началъ, и его паденіе предъ подавляющею силою людской пошлости и составляли обыкновенно интересъ повъстей г. Тургенева. Разумъется, самыя основанія борьбы, то-есть, идек и стремленія, видоизмънялись въ каждомъ произведени, или, съ теченіемъ времени и обстоя-тельствъ, выказывались болъе опредъленно и ръзко. Такимъ образомъ Лиш-няго человъка смънялъ Насынковъ, Насынкова— Гудинъ, Гудина—Лавренкій. Каждое изъ этихъ лицъ было смълве и поливе предыдущихъ, но сущность, основа ихъ характера и всего ихъ существованія была одна и та же. Они были вносители новыхъ идей въ извъстный кругъ, просвътители, пропагандисты, — хоть для одной женской души, да пропагандисты. За это ихъ очень хвалили и точно-въ свое время они видно очень нужны были, и дело ихъ было очень трудно, почтенно и благотворно. Не даромъ же всё встречали ихъ съ такой любовью, такъ сочувствовали ихъ душевнымъ страданіямъ, такъ жалели объ ихъ безилодныхъ усиліяхъ. Не даромъ никто тогда и не думалъ замътить, что всъ эти господа — отличные, благородные, умные, но въ сущности бездъльные люди. Рисуя ихъ образы въ разныхъ положеніяхъ и столкновеніяхъ, самъ г. Тургеневъ относился въ нимъ обывновенно съ трогательнымъ участіемъ, сердечной болью объ ихъ страданіяхъ, и то же чувство возбуждаль постоянно въ массъ читателей. Когда одинъ мотивъ этой борьбы и страданій начиналъ казаться уже недостаточнымъ, когда одна черта благородства и возвышенности характера начинала какъ будто покрываться некоторой пошлостью, г. Тургеневъ умълъ находить другіе мотивы, другія черты, и опять попадалъ въ самое сердце читателя и опять возбуждаль къ себъ и своимъ героямъ восторженную симпатію. Предметь казался неистощимымь.

Но, въ послъднее время, въ нашемъ обществъ, обнаружились требованія совершенно отличныя отъ тъхъ, которыми вызванъ былъ къ жизни Рудинъ и вся его братія. Въ отношеніи къ этимъ лицамъ въ понятіяхъ образованнаго большинства произошло коренное измъненіе. Вопросъ пошелъ уже не о видоизмъненіи тъхъ или другихъ мотивовъ, тъхъ или другихъ началъ

ихъ стремленій, а о самой сущности ихъ д'вятельности. Въ теченіе того періода времени, пока рисовались передъ нами всв эти просвъщенные поборники истины и добра, краснорфчивые страдальцы возвышенных убъжденій, подросли новые люди, для которыхъ любовь къ истинъ и честность стремленій уже не въ диковинку. Они съ дітства, непримітно и постоянно, напитывались теми понятіями и стремленіями, для которых в прежде лучшіе люди должны были бороться, сомпіваться и страдать въ эрізломъ возрасть 1). Поэтому самый характеръ образованія въ нынвинемъ молодомъ обществъ получилъ другой цвътъ. Тъ понятія и стремленія, которыя прежде данали титло передового человъка, теперь уже считаются первой и необходимой принадлежностью самой обыкновенной образованности. Отъ гимназиста, отъ посредственнаго кадета, даже иногда отъ порядочнаго семинариста вы услышите нынъ выражение такихъ убъждений, за которыя въ прежнее время долженъ быль спорить и горячиться, напр., Бълинскій. И гимназисть или кадеть высказывають эти понятія, - такъ трудно, съ бою достававшіяся прежде, — совершенно спокойно, безъ всякаго азарта и самодовольства, какъ вещь, которая иначе и быть не можетъ, и даже немыслима иначе.

Встрвчая человвка такъ-называемаго прогрессивнаго направленія, теперь никто изъ порядочныхъ людей уже не предается удивленію и восторгу, никто не смотрить ему въ глаза съ нъмымъ благоговъніемъ, не жметь ему таинственно руки и не приглашаетъ шепотомъ къ себъ, въ кружокъ избранныхъ людей, — поговорить о томъ, что неправосудіе и рабство гибельны для государства. Напротивъ, теперь съ невольнымъ, презрительнымъ изумленіемъ останавливаются предъ человъкомъ, который выказываетъ недостатокъ сочувствія къ гласности, безкористію, эманципаціи, и т. п. Теперь даже люди, въ душть не любящіе прогрессивныхъ идей, должны показывать видъ, что любятъ ихъ для того, чтобы имъть доступъ въ порядочное общество. Ясно, что при такомъ положеніи дълъ, прежніе съятели добра, люди Рудинскаго закала, теряютъ значительную долю своего прежняго кредита. Ихъ уважаютъ, какъ старыхъ наставниковъ; но рѣдко кто, вошедши въ свой разумъ, расположенъ выслушивать опять тѣ уроки, которые съ такою

<sup>1)</sup> Насъ уже упрекали однажды въ пристрастій къ молодому покольнію, и указывали на пошлость и пустоту, которой оно предается въ большей части своихъ представителей. Но мы никогда и не думали отстаивать всьхъ молодыхъ людей огуломъ, да это и не согласно было бы съ нашей пылью. Пошлость и пустота составляють достояніе всьхъ временъ и всьхъ возрастовъ. Но мы говорили, и теперь говоримъ о людяхъ избранныхъ, людяхъ лучшихъ, а не о толпь, такъ какъ и Рудинъ, и вет люди его закала принадлежали въдь не къ толпъ же, а къ лучшимъ людямъ своего времени. Впрочемъ, мы не будемъ неправы, если скажемъ, что и въ массъ общества уровень образованія въ послъднее время все-таки возвысился.

жадностью принимались прежде, въ возрасть датства и первоначальнаго развитія. Нужно уже пачто другое, нужно идти дальше 1).

"По, скажуть намь, въдь общество не дошло же до крайней точки въ своемъ развити; возможно дальнъйшее совершенствование, уиственное и нравственное. Стало быть, нужны для общества и руководители, и проновъдники истины, и пронагандисты, словомъ — люди Рудинскаго типа. Все прежнее принято и вошло въ общее сознаще, — положимъ. Но это не исключаетъ возможности того, что явятся новые Рудины, проновъдники новыхъ, высшихъ тенденцій, и опять будутъ бороться и стралать и опять возбуждать къ себъ симпатію общества. Предметъ этотъ, дъйствительно, неистощимъ въ своемъ содержаніи и постоянно можетъ приносить новые лавры такому писателю, какъ г. Тургеневъ".

Жалко было бы, если бы подобное замъчание оправдалось именно теперь. Къ счастью, оно, кажется, опровергается последнимъ движеніемъ литературы нашей. Разсуждая отвлеченно, нельзя не сознаться, что мысль о въчномъ движение и въчной смънъ идей въ обществъ, а слъдовательно и о постоянной необходимости проповъдниковъ эгих в идей, - вполнъ справедлива. Но въдь нужно же принять во внимание и то, что общества живуть не за твиъ только, чтобъ разсуждать и мвняться идеями. Идеи и ихъ постепенное развитие только потому в имфють свое значение, что онв, рождаясь изъ существующихъ уже фактовъ, всегда предшествують изивненіямь въ саной действительности. Известное положеніе дель создаеть въ обществъ потребность, потребность эта сознается, вслъдъ за общинъ сознаніемъ ея должна явиться фактическая перемена въ пользу удовлетворенія сознанной всеми потребности. Таким в образом в, после періода сознаванія извістных идей и стремленій должень являться въ обществів періодъ ихъ осуществленія; за размышленіями и разговорами должно сльдовать дело. Спрашивается теперь: что же делало наше общество въ последнія 20-30 леть? Покаместь ничего. Оно училось, развивалось, слушало Рудиныхъ, сочувствовало ихъ неудачанъ въ благородной борьбъ за

<sup>1)</sup> Противъ этой мысли можеть, повидимому, свидктельствовать необыкновенный успьхь, которымъ встрвчаются изданія сочиненій некоторыхъ нашихъ писателей сороковыхъ годовъ. Особенно яркимъ примъромъ можетъ служить Бълинскій, котораго сочиненія быстро разошлись, говорять, въ количестве 12.000 экземпляровъ. Но, по нашему мнёнію, этотъ самый фактъ служить лучшимъ подтвержленіемъ нашей мысли. Бълинскій былъ передовой изъ передовыхъ, дальше его не пошель ни одинъ изъ его сверстниковъ, и тамъ, где расхватано въ нёсколько мёсяцевъ 12.000 экземпляровъ Бълинскаго, Рудинымъ просто дълать нечего. Успьхъ Бълинскаго доказываетъ говсе не то, что его идеи еще новы для нашего общества и требуютъ большихъ усилій для распространенія, а именно то, что онѣ дороги и святы теперь для большинства и что ихъ проповъданіе теперь ужъ не требуетъ отъ вовыхъ дѣятелей ни героязма, ни особенныхъ талантовъ.

убъжденія, приготовлялось къ дѣлу, но ничего не дѣлало... Въ головѣ и сердцѣ накопилось такъ много прекраснаго; въ существенномъ порядкѣ дѣлъ замѣчено такъ много нелѣпаго и безчестнаго; масса людей, "сознающихъ себя выше окружающей дѣйствительности". ростетъ съ каждымъгодомъ, такъ что скоро, пожалуй, всѣ будутъ выше дѣйствительности... Кажется, нечего желать, чтобъ мы продолжали вѣчно идти этимъ томительнымъ путемъ разлада, сомиѣнія и отвлеченныхъ горестей и утѣшеній. Кажется, ясно, что теперь нужны намъ не такіе люди, которые бы еще болѣе "возвышали насъ надъ окружающей дѣйствительностью", а такіе, которые бы подняли—или насъ научили поднять—самую дѣйствительность до уровня тѣхъ разумныхъ требованій, какія мы уже сознали. Словомъ, нужны люди дѣла, а не отвлеченныхъ, всегда немножко эникурейскихъ разсужденій.

Сознаніе этого хотя смутно, но уже во многихъ выразилось при по-явленіи "Дворянскаго гитада". Талантъ г. Тургенева, витст в съ его втрнымъ тактомъ действительности, вынесъ его и на этотъ разъ съ торжествомъ изъ труднаго положенія. Онъ умъль поставить Лаврецкаго такъ, что надъ нимъ трудно иронизировать, хотя онъ и принадлежить къ тому роду типовъ, на которые мы смотримъ съ усмешкой. Драматизмъ его положенія заключается уже не въ борьбъ съ собственнымъ безсиліемъ, а въ столкновеніи съ такими понятіями и нравами, съ которыми борьба действительно устранитъ самаго энергическаго и смълаго человъка. Онъ женатъ, и отступился отъ своей жены; но онъ полюбилъ чистое, свътлое существо, воспитанное въ такихъ понятіяхъ, при которыхъ любовь къ женатому человъку есть ужасное преступленіе. А между тъмъ. она его тоже любить, и его притязанія могуть безпрерывно и страшно терзать ея сердце и совъсть. Надъ такимъ положениемъ поневоль задумаешься горько и тяжко, и мы помнимъ, какъ болъзненно сжалось наше сердце, когда Лаврецкій, прощаясь съ Лизой, сказалъ ей: "ахъ, Лиза. Лиза! какъ бы мы могли быть счастливы!" и когда она, уже смиренная монахиня въ душъ, отвътила: "вы сами видите, что счастье зависить не оть насъ. а отъ Бога", и онъ началъ-было: "да, потому что вы..." и не договорилъ... Читатели и критики "Дворянскаго гивзда", помвится, восхищались многимъ другимъ въ этомъ романъ. Но для насъ существеннъйшій интересъ его заключается въ этомъ трагическомъ столкновеніи Лаврецкаго, пассивность котораго, именно въ этомъ случав, мы не можемъ не извинить. Здёсь Лаврецкій, какъ будто измъняя одной изъ родовыхъ чертъ своего типа, почти не является даже пропагандистомъ. Начиная съ первой встрвчи съ Лизой, когда она шла къ объднъ, онъ во всемъ романъ робко склоняется предъ незыблемостью ея понятій, и ни разу не смъсть приступить къ ней съ холодными разувъреніями. Но и это, конечно, потому, что здъсь пропаганда была бы самымъ дъломъ, котораго Лаврецкій, какъ и вся его братія, боится. При всемъ томъ, намъ кажется (по крайней мърѣ, казалось при чтеніи романа), что самое положеніе Лаврецкаго, самая коллизія, изображенная г. Тургеневымъ и столь знакомая русской жизни, должна служить сильною пропагандою и наводить каждаго читателя на рядъ мыслей о значеніи цѣлаго огромнаго отдъла понятій, заправляющихъ нашей жизнью. Теперь, по разнымъ печатнымъ и словеснымъ отзывамъ, мы знаемъ, что были не совсѣмъ правы: смыслъ положенія Лаврецкаго былъ понять иначе или совсѣмъ не выясненъ многими читателями. Но что въ немъ есть что-то законно-трагическое, а не призрачное, это было понятно, и это, вмѣстѣ съ достоинствами исполненія, привлекло къ "Дворянскому гнѣзду" единодушное, восторженное участіе всей читающей русской публики.

Послѣ "Дворянскаго гнѣзда" можно было опасаться за судьбу новаго произведенія г. Тургенева. Путь созданія возвышенныхъ характеровъ, првнужденныхъ смиряться подъ ударами рока, сдѣлался очень скользкимъ. Посреди восторговъ отъ "Дворянскаго гнѣзда", слышались и голоса, выражавшіе неудовольствіе на Лаврецкаго, отъ котораго ожидали больше. Самъ авторъ счелъ нужнымъ ввести въ свой разсказъ Михалевича, за тѣмъ, чтобы тотъ обругалъ Лаврецкаго байбакомъ. А Илья Ильичъ Обломовъ, появившійся въ то же время, окончательно и рѣзко объяснилъ всей русской публикв, что теперь человъку безсильному и безвольному лучше ужъ и не смѣщить людей, лучше лежать на своемъ диванѣ, нежели

лучше ужъ и не смёшить людей, лучше лежать на своемъ диванѣ, нежели бъгать, суетиться, шумъть, разсуждать и переливать изъ пустого въ порожнее цълые годы и десятки лътъ. Прочитавши Обломова, публика порожнее цёлые годы и десятки лёть. Прочитавши Обломова, публика поняла его родство съ интересными личностями "лишнихъ людей", и сообразила, что эти люди теперь ужъ дёйствительно лишніе, и что отъ нихъ
толку ровно столько же, сколько и отъ добрёйшаго Ильи Ильича. "Что
же теперь создастъ г. Тургеневъ?" — думали мы, и съ большимъ любопытствомъ принялись читать "Наканунѣ".

Чутье настоящей минуты и на этотъ разъ не обмануло автора. Сознавши, что прежніе герои уже сдёлали свое дёло и не могутъ возбуждать прежней симпатіи въ лучшей части нашего общества, онъ рёшился
оставить ихъ и, уловивши въ нёсколькихъ отрывочныхъ проявленіяхъ вѣяніе новыхъ требоганій ж изни, попробовалъ стать на дорогу, по которой
совершается передовое движеніе настоящаго времени.

Въ новой повёсти г. Тургенева мы встрёчаемъ другія положенія, другіе типы, нежели къ какимъ привыкли въ его произведеніяхъ прежняго
періода. Общественная потребность дёла, живого дёла, начало презрёнія
къ мертвымъ принципамъ и нассивнымъ добродётелямъ выразилось во

къ мертвымъ принципамъ и нассивнымъ добродътелямъ выразилось во

всемъ стров новой повъсти. Безъ сомнънія, каждый, кто будеть читать нашу статью, уже прочиталь теперь "Наканунъ". Поэтому мы, вмъсто разсказа содержанія повъсти, представимъ только коротенькій очеркъ главныхъ ея характеровъ.

Героиней романа является дъвушка, съ серьезнымъ складомъ ума, съ энергической волей, съ гуманными стремленіями сердца. Развитіе ея совершилось очень своеобразно, благодаря особеннымъ обстоятельствамъ семейнымъ.

Отецъ и мать ен были люди очень ограниченные, но не злые; мать даже положительно отличалась добротою и мягкостью сердца. Съ самаго дътства Елена была избавлена оть семейнаго деспотизма, который губитъ въ зародышъ такъ много прекрасныхъ натуръ. Она росла одна, безъ подругъ, совершенно свободно; никакой формализмъ не стъснялъ ее. Николай Артемьичъ Стаховъ, отецъ ся, человъкъ туповатый, но корчившій изъ себя философа скентическаго тона и державшійся подальше отъ семейноп жизни, сначала только восхищался своей маленькой Еленой, въ которой рано обнаружились необыкновенныя способности. Елена, пока была мала, тоже съ своей стороны обожала отца. Но отношенія Стахова къ жен в были не совсъмъ удовлетворительны: онъ женился на Аннъ Васильевиъ для ен приданаго, не питалъ къ ней никакого чувства, обходился съ нею почти съ пренебрежениемъ и удалялся отъ нея въ общество Августы Христіановны, которая его обирала и дурачила. Анна Васильевна, больная и чувствительная женщина, въ родъ Марын Дмитріевны "Дворянскаго гназда", кротко переносила свое положение, но не могла на него не жаловаться всемъ въ дом'в, и между прочимъ, даже дочери. Такимъ образомъ, Елена скоро сделалась поверенною горестей своей матери и становилась невольно судьею между ею и отцомъ. При впечатлительности ен натуры, это имъло большое вліяніе на развитіе ся внутреннихъ силъ. Чъмъ менъе она могла дъйствовать практически въ этомъ случав, тымъ болье представлялось работы ея уму и воображенію. Принужденная съ раннихъ леть всматриваться во взаимныя отношенія близкихъ ей людей, участвуя и сердцемь и головой въ разъяснении смысла этихъ отношений и произнесения суда надъ ними, Елена рано приучила себя къ самостоятельному размышлению, къ сознательному взгляду на все окружающее. Семейныя отношенія Стаховыхъ очеркнуты у г. Тургенева очень бъгло, но въ этомъ очеркъ есть глубоко върныя указанія, весьма много объясняющія первоначальное развитіе характера Елены. По натур'в своей она была ребенкомъ внечатлительнымъ и умнымъ; положение ея между матерью и отцомъ рано вызвало ее на серьезныя размышленія, рано подняло ее до самостоятельной роли. Она становилась въ уровень съ старшими, дълала ихъ подсудимыми предъ

собою. И въ то же время размышленія ся не были холодии, съ ними сливалась вся душа ся, потому что дёло шло о людяхъ слишкомъ близкихъ, слишкомъ дорогихъ для нея, объ отношеніяхъ, съ которыми связаны были самыя святыя чувства, самые живые интересы дёвочки. Оттого-то ся размышленія прямо отражались на ся сердечномъ расположеніи: отъ обожанія отца она перешла къ страстной привязанности къ матери, въ которой она стала видёть существо притъсненное, страдающее. Но въ этой любви къ матери не было ничего враждебнаго къ отцу, который не быль ни злодёмъ, ни положительнымъ дуракомъ, ни домашнимъ тираномъ. Онъ былъ только весьма обыкновенной посредственностью, и Елена охладъла къ нему, инстинктивно, а потомъ, можетъ, и сознательно, рёшивши, чго любить его не за что. Да скоро ту же посредственность увидала она и въ матери, и въ сердцё ся, вмёсто страстной любви и уваженія, осталось лишь чувство сожалёнія и снисхожденія: г. Тургеневъ очень удачно очертиль ся отношенія къ матери, сказавши, что она "обходилась съ матерью, какъ съ больной бабушкой". Мать признала себя ниже дочери; отецъ же, какъ только дочь стала переростать его умственно, что было очень нетрудно, охладёль къ ней, рёшиль, что она странная, и отступился отъ нея.

А въ ней между тѣмъ все росло и расширялось сострадательное, гуманное чувство. Боль о чужомъ страданіи была возбуждена въ ея ребяческомъ сердцѣ убитымъ видомъ матери, конечно, еще прежде, нежели она стала понимать хорошенько, въ чемъ дѣло. Эта боль давала ей себя чувствовать постоянно, сопровождала ее при каждомъ новомъ шагѣ ея развитія, придавала особенный, задумчиво-серьезный складъ ея мыслямъ, мало-по-малу вызвала и опредѣлила въ ней дѣятельныя стремленія и всѣ ихъ направила къ страстному, неодолимому исканію дсбра и счастья для всѣхъ. Еще смутны были эти исканія, слабы силы Елены, когда она нашла новую пищу для своихъ размышленій и мечтаній, новый предметъ своего участія и любви— въ странномъ знакомствъ съ нищей дѣвочкой Катей. На десятомъ году подружилась она съ этой дѣвочкой, тайкомъ ходила къ ней на свиданіе въ садъ, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички — игрушекъ Катя не брала; сидѣла съ ней по цѣлымъ часамъ, съ чувствомъ радостнаго смиренія ѣла ея черствый хлѣбъ; слушала ея разсказы, выучилась ея любимой пѣсенкѣ, съ тайнымъ уваженіемъ и страхомъ слушала, какъ Катя обѣщалась убѣжать отъ своей злой тетки, чтобы жить на всей Божьей волю, исама мечтала отомъ, какъ она надѣнетъ сумку и убѣжитъ съ Катей. Катя скоро умерла, но знакомство съ ней не могло не оставить рѣзкихъ слѣдовъ въ характерѣ Елены. Къ ея чистымъ, человѣчнымъ, сострадательнымъ расположеніямъ оно прибавило еще новую сторону: оно внушило ей то презрѣніе или, по крайней мѣрѣ, то строгое равно-

душіе къ ненужнымъ излишествамъ богатой жизни, которое всегда проникаетъ душу не совстмъ испорченнаго человъка въ виду безпомощной нищеты.
Скоро вся душа Елены загорълась жаждою дъятельнаго добра в жажда эта
стала на первый разъ удовлетворяться обычными дълами милосердія, какія
возможны были для Елены. "Нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видъла ихъ во снъ, разспрашивала о нихъ встуч своихъ
знакомыхъ". Даже "вст притъсненныя животныя, худыя дворовыя собаки,
осужденные на смерть котята, выпавшіе изъ гнтзда воробы, даже насткомыя
и гады находили въ Елент покровительство и защиту: она сама кормила
ихъ, не гнушалась ими". Отецъ ея называлъ все это пошлымъ нтжинчаньемъ;
по Елена не была сантиментальна, потому что сантиментальность именно характеризуется избыткомъ чувствъ и словъ присовершенномъ недостаткт дъятельной любви, а чувство Елены постоянно стремилось проявиться на дъяъ.
Пустыхъ ласкъ и нтжностей она не теритъла и вообше не придавала значенія словамъ безъ дъла и уважала только практически-полезную дъятельность. Даже стиховъ она не любила, даже въ художествт тольку не знала.

Но дъятельныя стремленія души зръють и кръпнуть только при дъя-тельности просторной и вольной. Надо испробовать нъсколько разъ свои силы, испытать неудачи и столкновенія, узнать, чего стоять разныя усилія и какъ преодолъваются разныя препятствія, для того, чтобы пріобръсть отвату и ръшимость, необходимыя для дъятельной борьбы, чтобы узнать мъру своихъ силъ и умъть найти для нихъ соотвътственную работу. Елена, при всей свободъ своего развитія, не могла найти достаточно средствъ для того, чтобы дъятельно упражнять свои силы и удовлетворять свои стремленія. Ей никто не мізшаль дізлать, что она хочеть; но дізлать било нечего. Ее не ственяли педантизмомъ систематическаго ученія, и потому она успъла образоваться, не принявши въ себя множество предразсудковъ, неразлучныхъ съ системами, курсами и вообще съ рутиною образованія. Она много и съ участіемъ читала; но одно чтеніе не могло удовлетворять ее; оно имѣло только то вліяніе, что разсудочная сторона развилась въ Еленѣ сильнѣе другихъ, и умственная требовательность стала пересиливать даже живыя стремленія сердца. Подаваніе милостыни, уходъ за щенками и котятами, защита мухи отъ паука — тоже не могли удовлетворить ее: когда она стала побольше и поумнъе, она не могла не увидъть всю скудость этой дъятельности; да притомъ — эти занятія требовали отъ нея весьма мало усилій и не могли наполнять ся существованія. Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше; но чего—она не знала, а если и знала, то не умъла приняться за дъло. Отъ этого и находилась она постоянно въ какой-то ажитаціи, всегда ждала и искала чего-то; отъ этого и наруж-ность ен приняла такой особенный характеръ. "Во всемъ ен существъ, въ

выраженій лица, внимательном и немного пугливом. Въ ясном, но изминичивом взоръ, въ улыбкъ, какъ будто напряженной, въ голост тижом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое ... Исно, что она еще находится въ неопредъленных сомнъніях относительно самой себя, она еще не опредълила своей роли. Она поняла, чего ей не нужно, и смотритъ гордо и независимо на обычную обстановку своей жизни; но что ей нужно, и главное — что дълать, чтобы достигнуть того, что нужно, — этого она еще не знаетъ, и потому все существо ея напряжено, неровно, порывисто. Она все ждетъ, все живетъ наканунъ чего-то... Она готова къ самой живой, энергической дъятельности, но приступить къ дълу сама по себъ, одна — она не смъетъ.

Въ этой-то несмвлости, въ этой практической пассивности, при 60гатствъ внутреннихъ силъ и при томительной жаждъ дъятельности—мы и видимъ живую связь героини г. Тургенева со всъмъ нашимъ образован-нымъ обществомъ. По тому, какъ задуманъ характеръ Елены, она представляетъ явленіе исключительное, и если бы на самомъ дълъ она являлась вездв выразительницею своихъ возарвній и стречленій — она бы оказалась чуждою русскому обществу и не имъла бы для насътакого смысла, какъ теперь. Она была бы лицомъ сочиненнымъ, растеніемъ, неудачно пересаженнымъ на нашу почву откуда-нибудь изъ другой земли. Но върное чутье дъйствительности не позволило г. Тургеневу придать своей героинъ полнаго соотвътствія практической дъятельности съ теоретическими ея понатіями и внутренними порывами души. На это еще не даетъ писателю матеріаловъ наша общественная жизнь. Во всемъ нашемъ обществъ замътно теперь только еще пробудившееся желаніе приняться за настоящее дъло. сознание пошлости разныхъ красивыхъ игрушекъ, возвышенныхъ разсужденій и неподвижных формъ, которыми мы такъ долго себя тешили и дурачили. Но мы еще все-таки не вышли изъ той сферы, въ которой такъ спокойно было намъ спать, да и не знаемъ хорошенько, гдъ выходъ; а если кто и узнаетъ, то еще боится открыть его. Это трудное, томительное положеніе общества необходимо кладетъ свою печать и на художественное произведеніе, вышедшее изъ среды его. Въ обществъ могутъ быть отдъльныя сильныя натуры, отдёльныя лица могутъ достигать высокаго развитія нравственнаго; воть и въ литературныхъ произведеніяхъ являются такія личности. Но все это такъ и остается только въ очеркъ натуры лица, а въ жизнь не переносится; предполагается возможнымъ, но въ дъйствитель-ности не совершается. Въ Ольгъ "Обломова" мы видъли женщину идеальную, далеко ушедшую въ своемъ развитии отъ всего остальнаго общества; но гдъ ея практическая дъятельность? Она способна, кажется, создать новую жизнь, а живеть, между темь, въ той же пошлости, въ какой и всв

ея подруги, потому что отъ этой пошлости некуда уйти ей. Штольцъ ей нравится, какъ экергическая, деятельная натура; а между темъ и онъ, при всемъ искусствъ автора "Обломова" въ обрисовкъ характеровъ, является передъ нами только со своими способностими и не даетъ видъть, какъ онъ ихъ примъняетъ; онъ лишенъ почвы подъ ногами и плаваетъ передъ нами какъ будто въ какомъ-то туманъ. Теперь въ Еленъ г. Тургенева мы видимъ новую почытку созданія энергическаго, д'вятельнаго характера, и не можемъ сказать, чтобы обрисовка самаго характера-не удалась автору. Если и редко кому случалось встречать такихъ женщинъ, какъ Елена, за то, конечно, многимъ приходилось замъчать въ самыхъ обыкновенныхъ женщинахъ зародыши техъ или другихъ существенныхъ чертъ ея характера, возможность развитія многихъ изъ ея стремленій. Какъ идеальное лицо, составленное изъглучшихъ элементовъ, развивающихся въ нашемъ обществъ, Елена понятна и близка намъ. Самыя стремленія ея опредъляются для насъ очень ясно. Елена какъ будто служить отвітомъ на вопросы и сомнівнія Ольги, которая, поживши съ Штольцемъ, томится и тоскуетъ, и сама не можетъ дать себъ отчета, о чемъ. Въ образъ Елены объясняется причина этой тоски, необходимо поражающей всякаго порядочнаго русскаго человъка, какъ бы ни хороши были его собственныя обстоятельства. Елена жаждеть д'явтельнаго добра, она ищетъ возможности устроить счастье вокругь себя, потому что она не понимаетъ возможности не только счастья, но даже и спокойствія собственнаго, если ее окружаетъ горе, несчастія, бъдность и униженіе ея ближнихъ.

Но какую же дъятельность, сообразную съ такими внутренними требованіями, могъ дать г. Тургеневъ своей героинъ? На это даже и отвлеченнымъ образомъ трудно отвътить; а художественно создать эту дъятельность, вфроятно, еще и невозможно для русскаго писателя настоящаго времени. Неоткуда взять д'вятельности, и поневол'в автора заставиль свою героиню дешевымъ образомъ проявлять свои высокія стремлевія въ подачъ милостыни да въ спасении заброшенныхъ котятъ. За дъятельность, требующую большаго напряженія и борьбы, она и не умъетъ и боится приняться. Она видить во всемь окружающемь, что одно давить другое, и потому, именно вследствие своего гуманнаго, сердечнаго развития, старается держаться въ сторонъ отъ всего, чтобы какъ - нибудь тоже не начать давить другихъ. Въ домъ ни въ чемъ не замътно ея вліяніе; отецъ и мать ей какъ чужіе; они боятся ея авторитета, но никогда она не обратится къ нимъ съ совътомъ, указаніемъ или требованіемъ. Для нея живеть въ дом'в компаньонка Зоя, молодая, добродушная немка: Елена отъ нея сторонится, почти не говорить съ ней, и отношенія ихъ очень холодны. Туть же проживаеть ПГубинь, молодой художникь, о ноторомымы сейчась будемь говорить: Елена уничтожаеть его своими приговорами, но и не думаеть постараться пріобръсти надъ нимь какое-нибудь вліяніе, которое было бы ему очень полезно. Во всей повъсти нъть пи одного случая, гдъ бы жажда дъятельнаго добра заставила Елену витыпаться въ дъла окружающей ее среды и проявить чъмъ-нибудь свое вліячіе. Мы не думаемъ, чтобъ это зависъло отъ случайной ошибки автора; нътъ, въ нашемъ обществъ еще очень недавно, да и не между женшинами, а изъ среды мужчинъ, возвышался и блисталъ особенный типъ людей, гордившихся своимъ устраненіемъ отъ окружающей ихъ среды. "Тутъ невозможно сохранить себя чистымъ, — говорили они, — и притомъ вся эта среда такъ мелка и пошла, что лучше удалиться отъ нея въ сторону"... И они точно удалялись, не сдълавъ ни одной энергической попытки для исправленія этой пошлой среды, и удаленіе ихъ считалось единственнымъ честнымъ выходомъ изъ ихъ положенія, и прославлялось, какъ подвить. Естественно, что, имъя въ виду такіе примъры и понятія, авторъ не могъ лучше освътить домашнюю жизнь Елены, какъ поставивъ ее совершенно въ сторонъ отъ этой жизни. Впрочемъ, какъ мы сказали, безсилію Елены приданъ тить домашнюю жизнь Елены, какъ поставивъ ее совершенно въ сторонъ отъ этой жизни. Впрочемъ, какъ мы сказали, безсилію Елены приданъ въ повъсти особенный мотивъ, вытекающій изъ ея женственнаго, гуманнаго чувства: она боится всявихъ столкновеній, — не по недостатку мужества, а изъ опасенія нанести кому-нибудь оскорбленіе и вредъ. Никогда не испытавъ полной, дъятельной жизни, она воображаетъ еще, что ея идеалы могутъ быть достигнуты безъ борьбы, безъ ущерба кому бы то ни было. Послъ одного случая (когда Инсаровъ героически бросилъ въ воду пьянаго нъмца), она писала въ своемъ дневникъ: "Да, съ нимъ шутить нельзя, и заступиться онъ умъетъ. Но къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ Или, можетъ быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцомъ, и остаться кроткимъ и мягкимъ? Эта простая мысль пришла ей въ голову только теперь, да и то еще въ видъ вопроса, котораго она такъ и не разрѣщаетъ.

Въ этой-то неопредъленности, въ этомъ бездъйствіи при безпрерыв-

Въ этой-то неопредъленности, въ этомъ бездъйствии при безпрерывномъ томительномъ ожидании чего - то, доживаетъ Елена до двадцатаго года своей жизни. По временамъ ей очень тяжело; она сознаетъ, что силы ея пропадаютъ даромъ, что жизнь ея пуста; она говоритъ про себя: "хоть бы въ служанки куда - нибудь пошла, право; мнъ было бы легче". Это тяжкое расположение увеличивается въ ней тъмъ, что она ни въ комъ не находитъ отзыва на свои чувства, ни въ комъ не видитъ опоры для себя. Иногда ей кажется, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цълой Россіи... Ей становится страшно, и потребность сочувствія развивается сильнъе, и она напряженно и трепетно

ждетъ другой души, которая бы упъла понять ее, отозваться на ея святыя чувства, помочь ей, научить ее, что надо дълать. Въ ней являлось желаніе отдаться кому-нибудь, слить съ къмъ-нибудь свое существо, и ей становилась непріятною даже эта самостоятельность, съ которою она такъ одиноко стояла въ кругу близкихъ ей людей. "Съ шестнадцатилътняго возраста она жила собственною своею жизнью, но жизнью одинокою. Ея душа разгоралась и погасала одиноко, она билась, какъ птица въ клъткъ, а клътки не было; никто не стъснялъ ее; никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась сама себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то безсмысленнымъ, не то непонитнымъ. "Какъ жить безъ любви, а любить некого", — думала она, и страшно становилось ей отъ этихъ думъ, отъ этихъ ощущеній.

При такомъ - то настроеніи ея сердца, лівтомъ, на дачів въ Кунцовів, застаєть ее дійствіе повівсти. Въ короткій промежутокъ времени являются передъ нею три человівка, изъ которыхъ одинъ привлекаєть къ себів всю ея душу. Туть есть, впрочемъ, и четвертый, эпизодически введеный, но тоже не лишній господинъ, котораго мы тоже будемъ считать. Трое изъ этихъ господъ — русскіе, четвертый — болгаръ, и въ немъ-то нашла свой идеалъ Елена. Посмотримъ на всівхъ этихъ господъ.

Одинъ изъ молодыхъ людей, страстно, по - своему, влюбленный въ Елену, - художникъ Павелъ Яковлевичъ Шубинъ, хорошенькій и граціозный юноша літь 25, добродушный и остроумный, веселый и страстный, безпечный и талантливый. Онъ доводится двоюроднымъ племянивкомъ Аннъ Васильевиъ, матери Елены, и потому очень близокъ съ молодой дъвушкой, и надъется заслужить ея серьезное расположение. Но она постоянно смотритъ на него свысока и считаетъ его неглупымъ, но балованнымъ ребенкомъ, съ которымъ нельзя обращаться серьезно. Впрочемъ, Шубинъ говорить своему другу: "было время, я ей нравился"; и дъйствительно, у него много условій для того, чтобы нравиться; немудрено, что и Елена на минуту придала болъе значенія его хорошимъ сторонамъ, нежели его недостаткамъ. Но скоро она увидъла художествиность этой натуры, увидела, что здесь все зависить отъ минуты, ничего нетъ постояннаго и надежнаго, весь организмъ составленъ изъ противоръчій: лень заглушаеть способности, а даромъ потраченное время вызываеть потомъ безилодное раскаяніе, поднимаетъ желчь, возбуждаетъ презрѣніе къ самому себъ, которое, въ свою очередь, служить утъщениемъ въ неудачахъ и заставляетъ гордиться и любоваться собою. Все это Елена поняла инстинктивно, безъ тяжелыхъ мукъ недоумънія, и потому рѣшеніе ея отно-сительно Шубина совершенно спокойно и беззлобно. "Вы воображаете, что во мив все притворно; вы не вврите моему раскаянію, не вврите, что я

могу искренно плакать! "—говорить ей однажды ПІубинь въ отчаянномъ порывъ. И она не отвъчаеть: "не върю", а говорить просто "пъть. Павель Яковлевичь, я върю въ ваше раскаяніе, и въ ваши слезы я върю; но мит кажется, самое ваше раскаяніе васъ забавляеть, да и слезы тоже". ПІубинь такъ и дрогнуль отъ этого простого приговора, который дъйствительно должень быль глубоко вонзиться въ его сердце. Онъ самъ никогда не предполагаль, чтобъ его порывы, противортия, страданія, метанія изъ стороны въ сторону — можно было понять и объяснить такъ просто и върно. При этомъ объясненіи онъ даже перестаеть дълаться "интереснымъ человъкомъ". И дъйствительно, какъ только Елена составила о немъ митніе, — онъ уже не занимаеть ее. Ей все равно — туть онъ или нътъ, помнить о ней или забыль, любить ее или пенавидить: у ней съ нимъ ничего нътъ общаго, хотя она не прочь искренно похвалить его, если онъ сдълаетъ что-нибудь достойное его таланта...

Другой начинаетъ занимать ея мысли. Этотъ совершенно въ иномъ родъ; онъ неуклюжъ, старообразенъ, лицо его некрасиво и даже нъсколько смъшно, но выражаетъ привычку мыслить и доброту. Кромъ того, по словамъ автора, какой-то "отпечатокъ порядочности замъчался во всемъ его пеуклюжемъ существъ". Это Андрей Петровичъ Берсеневъ, бывшій другъ Шубина. Онъ философъ, ученый, читаетъ исторію Гогенштауфеновъ и другія нъмецкія книжки и исполненъ скромности и самоотверженія. На возгласы Шубина: "намъ нужно счастья, счастья! Мы завоюемъ себъ счастье!" — онъ недовърчиво возражаетъ: "будто нътъ ничего выше счастья?" — и затъчъ между ними происходитъ такой разговоръ:

- А напримъръ? - спросилъ Шубинъ и остановился.

- Да вотъ напримъръ, мы съ тобой, какъ ты говоришь, молоды, мы хорошіе люди, положимъ, каждый изъ насъ желаетъ себъ счастья. Но такое-ли это слово: «счастье», которое соединило, воспламенило бы насъ обоихъ, заставило бы подать другь другу руки? Не эгоистическое-ли, я хочу сказать, не разъединяющее-ли это слово?
  - А ты знаешь такія слова, которыя соединяють?

— Да; и ихъ не мало; и ты ихъ знаешь.

— Ну-ка, какія это слова?

 Да коть бы искусство, такъ какъ ты художникъ; родина, наука. свобода, справедливость.

- А любовь?-спросиль Шубинъ.

— II любовь — соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь, не любовь-наслажденіе, любовь-жертва.

Шубинъ нахмурился.

 — Это хорошо для нъмцевъ; я хочу любить для себя; я хочу быть номеромъ первымъ.

— Номеромъ первымъ, —повторилъ Берсеневъ. — А мив кажется, поставить себя номеромъ вторымъ —все назначеніе нашей жизни.

— Если вст такъ будутъ поступать, какъ ты совътуешь, — промолвилъ съ жалобной гримасой Шубинъ: — никто на земль не будеть есть ананасовъ; вст другимъ ихъ предоставлять будутъ. — Значитъ, ананасы не нужны, а впрочемъ, не бойся всегда вайдутся любители даже хльбъ отъ чужого рга отнимать».

Изъ этого разговора видно, какіе благородные принципы у Берсенева и какъ душа его способна къ тому, что называется самоотвержениемъ. Онъ выражаетъ искреннюю готовность пожертвовать своимъ счастьемъ для одного изъ тъхъ словъ, которыя онъ называетъ "соединяющими". Этимъ онъ долженъ привлечь сочувствие такой девушки, какъ Елена. Но тутъ же видно и то, почему онъ не можетъ овладать всею ея душею, всей полнотой ея жизни. Это одинъ изъ героевъ пассивныхъ добродътелей, чедовъкъ, умъющій многое перенести, многимъ пожертвовать, вообще выказать благородное поведеніе, когда приведеть къ тому случай; но онъ не съумъетъ и не посмъетъ опредълить себя на широкую и смълую дъятельность, на вольную борьбу, на самостоятельную роль въ какомъ-нибудь дълъ. Онъ самъ хочеть быть нумеромъ вторымъ, потому что въ этомь видить назначение всего живущаго; и, дъйствительно, роль его въ повъсти напоминаетъ отчасти Бизьменкова въ "Лишнечъ человъкъ", и еще болье Крупицына въ "Двухъ пріятеляхъ". Онъ, влюбленный въ Елену, становится посредникомъ между нею и Инсаровымъ, котораго она полюбила, великодушно помогаетъ имъ, ухаживаетъ за Инсаровымъ во время его бользии, отказывается отъ своего счастья въ пользу друга, хотя и не безъ стесненія сердца, и даже не безъ ропота. Сердце у него доброе и любящее, но изъ всего видно, что добро онъ всегда будеть дълать не столько по влеченію сердца, сколько потому, что надо далать добро. Онъ находить, что надо жертвовать своимъ счастьемъ для родины, науки и пр., и этимъ самымъ онъ осуждаетъ себя быть въчнымъ рабомъ и мученикомъ идеи. Онъ отдъляетъ свое счастье, напр., отъ родины; онъ, бъднякъ, не умфетъ возвыситься до того, чтобы понять благо родины нераздъльно съ своимъ собственнымъ счастьемъ и чтобы не понимать счастья для себя иначе, какъ при благоденствін родины. Напротивъ, онъ какъ будто боится, что его личное счастье будеть мешать благу родины, торжеству справедливости, успъхамъ науки, и т. п. Оттого онъ боится желать себъ счастія и, по благородству своихъ принциповъ, ръшается жертвовать имъ для означенныхъ имъ идей, считая это, разумъется, большимъ одолжениемъ съ своей стороны. Ясно, что такого человъка только и хватить на пассивное благородство. Но не ему слиться душою съ какимъ-нибудь великимъ дъломъ, не ему позабыть весь міръ для любимой мысли, не ему воспламениться ею и сражаться за нее, какъ за свою радость, свою жизнь, за свое счастье... Онъ дълаетъ то, что велитъ сму долгъ, стремится къ тому, что признаетъ справедливымъ по принципу; но дейстнія его вялы, холодны, неувъренны, потому что онъ постоянно сомнъвается въ своихъ силахъ.

Онъ отлично кончилъ курсъ въ университетъ, любитъ науку, занимается постоянно и желаетъ быть профессоромъ: кажется, чего проще? Но, когда Елена спрашиваетъ его о профессорствъ, онъ считаетъ нужнымъ съ похвальною скромностью оговориться: "конечно, я очень хорошо знаю все, чего мнъ недостаетъ для того, чтобы быть достойнымъ такого высокаго... Я хочу сказать, что я слишкомъ мало подготовленъ; но я надъюсь получить позволеніе съъздить за-границу"... Точь-въ-точь вступленіе въ академической ръчи: "надъюсь, мм. гг., что вы благосклонно извините сухость и блъдность моего изложенія", и пр...

А между темъ профессорство, о которомъ Берсеневъ такъ отзивается, составляетъ завътную мечту его! На вопросъ Елены, будетъ ли онъ вполиъ доволенъ своимъ положениемъ, если получитъ канедру, - онъ отвъчаетъ: "вполев, Елена Николаевна, вполев. Какое же можетъ быть лучшее призваніе? Подумайте, пойти по следамъ Тимовея Николаевича... Одна мысль о подобной д'вятельности наполняетъ меня радостью и смущеніемъ... да, смущеніемъ, котораго... которое происходить отъ сознанія монхъ малыхъ силъ". То же сознание своихъ малыхъ силъ заставляетъ его упорно не вирить тому, что Елена его полюбила, а нотомъ соврушаться, что она къ нему стала равнодушна. Это самое созвание проглядываеть в въ томъ, когда онъ рекомендуетъ своего пріятеля Инсарова, между прочимъ, тамъ, что онъ денегъ взаймы не беретъ. Тъмъ же сознаніемъ отзываются даже его разсужденія о природъ. Онъ говорить, что природа возбуждаеть въ немъ какое-то безпокойство, тревогу, даже грусть, и спрашиваеть Шубина: "что это значитъ? Сильнее-ли мы сознаемъ передъ нею, передъ ея лицомъ, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же мало того удовлетворенія, какимъ она довольствуется, а другого, то-есть, я хочу сказатьтого, чего намъ нужно, у нея нътъ? Въ этомъ пустопорожне-романтическомъ родъ большая часть разсужденій Берсенева. А между тымь, въ одномъ мъстъ повъсти упоминается, что онъ разсуждаеть о Фейербахъ: вотъ любонытно бы послушать, что онъ о Фейербахв-то говоритъ!..

Итакъ. Берсеневъ — весьма хорошій русскій дворанинъ, воспитанный въ началахъ долга и пустившійся потомъ въ ученость и философію. Онъ гораздо дѣльнѣе и надежнѣе Шубина, и если его повести по какому-нибудь пути, то онъ пойдетъ охотно и прямо. Но самъ вести онъ не можетъ, не только другихъ, но даже и себя самого: иниціативы нѣтъ у него въ натурѣ. и онъ не успѣлъ ее пріобрѣсти ни въ воспитаніи, ни въ послѣдующей жизни. Елена сначала почувствовала симпатію къ нему за то, что онъ добрый и все о дѣлѣ говоритъ. Она даже совѣстится передъ нимъ своего невѣжества, по тому случаю, что онъ все приноситъ ей книги. которыхъ онъ читать не можетъ. Но совершенно привязаться къ нему, от-

дать ему свою душу, свою судьбу она не можеть: она еще прежде, чъмъ увидъла Инсарова, инстинктивно поняла, что Берсеневъ не то, чего ей нужно. И дъйствительно, можно съ достовърностью утверждать, что Берсеневъ струсилъ бы, если бъ Елена вздумала навязаться ему на шею, и непремънно убъжалъ бы подъ разинми, весьма благовидными предлогами.

непремънно убъжать бы подъ разными, весьма благовидными предлогами.
Впрочемъ, на безлюдьи, въ которомъ жила Елена, она увлеклась-было на минуту Берсеневымъ и уже спрашивала себя: не онъ-ли тотъ, кого такъ давно и такъ жадно ждала душа ея, кто долженъ былъ вывести ее изъ всъхъ недоумъній и указать ей путь дъятельности? Но самъ же Бер-

сеневъ привелъ въ ней Инсарова, и очарование исчезло...

Въ Инсаровъ, строго говоря, нътъ начего чрезвычайнаго. Берсеневъ и Шубинъ, и сама Елена, и, наконецъ, даже авторъ повъсти характеризують его все болье отрицательными качествами. Онъ никогда не лжеть, не измінняєть своему слову, не береть взаймы денегь, не любить разговаривать о своихъ подвигахъ, не откладываетъ исполненія принятаго рішенія, его слово не расходится съ дівломъ, и т. п. Словомъ, въ немъ нівть тъхъ чертъ, за которыя долженъ горько упрекать себя всякій человъкъ, имъющій претензію считать себя порядочнымъ. Но, кромъ того, онъ болгаръ, питающій въ душт страстное желаніе освободить свою родину, и этой мысли онъ предается весь, открыто и уверенно, въ ней заключается конечная цъль его жизни. Онъ не думаетъ ставить свое личное благо въ противоположность съ этой целью; подобная мысль, столь остественная въ русскомъ ученомъ дворянинъ Берсеневъ, не можетъ даже въ голову придти простому болгарину. Напротивъ, онъ погому-то и хлопочеть о свободъ родины, что въ этомъ видитъ свое личное спокойствіе, счастье всей своей жизни; онъ бы оставиль въ поков порабощенную родину, если бъ только могь найти удовлетворение себъ въ чемъ-нибудь другомъ. Но онъ никакъ не можеть понять себя отдельно отъ родины. "Какъ же это можно быть довольнымъ и счастливымъ, когда свои земляки страдаютъ? — думаетъ онъ. — Какъ же можетъ человъкъ уснокоиться, нока его родина чорабощена и угнетена? И какое занятіе можеть быть для него пріятно, если оно не ведеть къ облегчению участи бъдныхъ земляковъ?" Такимъ образомъ, онъ дълаетъ свое задущевное дъло совершенно спокойно, безъ натяжекъ и фанфаронадъ, такъ же просто, какъ встъ и пьетъ. Покамъстъ ему приходится еще мало работать для прямаго выполненія своей идеи; но что же двлать? Ему приходится теперь и всть плохо и мало, и даже иной разъ голодать случается; но все-таки пища, хоть и скудная, состав-ляеть необходимое условіе его существованія. Такъ и освобожденіе родины: онъ учится въ московскомъ университетъ, чтобы образоваться вполнъ и сблизиться съ русскими, и въ течени новъсти довольствуется некамъстъ тъмъ, что переводитъ болгарскія пъсни на русскій языкъ, составляеть болгарскую грамматику для русскихъ и русскую для болгаръ, переписывается съ своими земляками и собирается ъхать на родину — подготовлять возстаніе, при первой вепышкъ восточной войны (дъйствіе новъсти въ 1853 году). Конечно, это скуднал пища для дъятельнаго патріотизма Инсарова; но опъ свое пребываніе въ Москвъ и не считаетъ еще настоящею жизнью, свою слабую дъятельность не считаетъ удовлетворительною даже для своего личнаго чувства. Онъ также живетъ наканунгь велекаго дня свободы, въ который существо его озврится сознаніемъ счастія, жизнь наполнится и будетъ уже настоящей жизнью. Этого дня жлетъ онъ, какъ правдника, и вотъ почему не приходитъ ему въ голову сомпъваться въ себъ и холодно разсчитывать и взвъщивать, сколько именно можетъ онъ сдълать и съ какимъ великимъ мужемъ успъетъ поравняться. Будетъ-ли онъ Тимоееемъ Николаичемъ или Иваномъ Иваничемъ. — до этого ему ръщительно нътъ дъла; придется - ли быть нумеромъ первымъ или вторымъ, — онъ объ этомъ и не думаетъ. Онъ будетъ дълать то, къ чему влечетъ его натура; если натура у него такая, что лучше не найдется, онъ станетъ первымъ нумеромъ, пойдетъ во главѣ; если найдутся люди кръпче и смълѣе его, онъ нойдетъ за ними, и въ обоихъ случаяхъ останеття ненямъннымъ и върнымъ себъ. Гдѣ стать и до чего дойти, — это опредъляютъ обстоятельства; но онъ хочетъ идти, онъ не можетъ не илти, не поляють обстоятельства; но онъ хочеть идти, онъ не можеть не идти, не по-тому, чтобы боялся нарушить какой-нибудь долгь, а потому, что онъ умеръ бы, если бы ему нельзя было двинуться съ мъста. Въ этомъ огромная раз-ница между нимъ и Берсеневымъ. Берсеневъ тоже способенъ къ жертвамъ и подвигамъ; но онъ похожъ при этомъ на великодушную дъвушку, которая для спасенія отца ръшается на ненавистный бракъ. Съ затаенной болью и тяжкой покорностью судьбъ ждетъ она дня свадьбы, и рада была бы, если бъ что-нибудь ей помъшало. Инсаровъ, напротивъ, дня своихъ подвиговъ, наступленія своей самоотверженной деятельности ждетъ страстно и нетеритливо, какъ влюбленный юноша ждетъ дня свадьбы съ любимой давушкой. Одна только боязнь и тревожить его: какъ бы что-нибудь не разстроило, не отсрочило желанной минуты. Любовь къ свободъ родины у Инсарова не въ разсудкъ, не въ сердцъ, не въ воображении: она у него во всемъ организмъ, и что бы ни вошло въ него, все претворяется силою этого чувства, подчиняется ему. сливается съ нимъ. Оттого, при всей обыкновенности своихъ способностей, при всемъ отсутствии блеска въ своей натуръ, онъ стоитъ неизмъримо выше, дъйствуетъ на Елену не-сравненно сильнъе и обаятельнъе, нежели блестящій Шубинъ и умный Берсеневъ, хотя оба очи тоже люди благородные и любящіе. Елена даласть о Берсеневъ очень мъткое замъчание въ своемъ дневникъ (на который вообще авторъ не пожалълъ своего глубокомислія и остроумія): "Андрей Петровичъ, можетъ быть, ученъе его (Инсарова), можетъ быть, даже умнъе... Но, я не знаю, —онг переда нима такой маленькій".

Разсказывать-ли исторію сближенія Елены съ Инсаровынъ и любви

ихъ? Кажется, не нужно. В вроятно, наши читатели хорошо помнять эту исторію; да в вдь этого и не разскажешь. Намъ страшно прикоснуться своей холодной и жесткой рукою къ этому нъжному поэтическому созданію; сухимъ и безчувственнымъ пересказомъ мы боимся даже профанировать чувство читателя, непремвино возбуждаемое поэзіей тургеневскаго разсказа. Пввецъ чистой, идеальной женской любви, г. Тургеневъ такъ глубоко заглядываеть въ юную, дъвственную душу, такъ полно охватываеть ее и съ такимъ вдохновеннымъ трепетомъ, съ такимъ жаромъ любви рисуетъ ея лучшім мгновенім, что намъ въ его разсказв такъ и чуется— и колебаніе дъвственной груди, и тихій вздохъ, и увлаженный взглядъ, слышится каж-дое біеніе взволнованнаго сердца, и наше собственное сердце млъетъ и замираетъ отъ томнаго чувства, и благодатныя слезы не разъ подступаютъ къ гла-замъ, и изъ груди рвется что-то такое, — какъ будто мы свидълись съ ста-рымъ другомъ послъ долгой разлуки или возвращаемся съ чужо́ины къ родимымъ мъстамъ. И грустно, и весело это ощущение: тамъ свътлыя воспоминанія дітства, невозвратно мелькнувшаго, тамъ гордыя и радостныя надежды юности, тамъ идеальныя, дружныя мечты чистаго и могучаго воображенія, еще не смиреннаго, не униженнаго испытаніями житейскаго опыта. Все это прошло и не будетъ больше; но еще не пропалъ человъкъ, который хоть въ воспоминаніи можетъ вернуться къ этимъ свётлымъ грезамъ, къ этому чистому, младенческому упоенію жизнью, къ этимъ идеальнымъ, величавымъ заимсламъ и -- содрогнуться потомъ, при взглядъ на ту грязь, ношлость и мелочность, въ которой проходить его теперешняя жизнь. И благо тому, кто умъеть пробуждать въ другихъ такія воспоминанія, вызвать такое настроеніе души... Талантъ г. Тургенева всегда быль силенъ этою стороною, его повъсти постоянно производили своимъ общимъ строемъ такое чистое впечатльніе, и въ этомъ, конечно, заключается ихъ существенное значеніе для общества. Не чуждо этого значенія и "Наканунь" въ изображеніи любви Елены. Мы увърены, что читатели и безъ насъ съумъють оцьнить всю прелесть тъхъ страстныхъ, нъжныхъ и томительныхъ сценъ, тъхъ тонкихъ и глубокихъ психологическихъ подробностей, которыми рисуется любовь Елены и Инсарова съ начала до конца. Вмъсто всякаго разсказа мы напомнимъ только дневникъ Елены, ея ожиданіе, когда Инсаровъ долженъ былъ придти проститься, сцену въ часовенкъ, возвращеніе Елены домой послѣ этой сцены, ея три посъщенія къ Инсарову, особенно послѣднее 1), потомъ прощанье съ матерью, съ родиной, отъѣздъ, наконецъ, послѣднюю прогулку ся съ Инсаровымъ по Canal Grand, слушанье Травіаты и возвращеніе. Это послѣднее изображеніе особенно сильно подѣйствовало на насъ своей строгой истипой и безконечно-грустной прелестью; для насъ это самое задушевное, самое симпатичное мѣсто всей повѣсти.

Предоставляя саминъ читателямъ насладиться припоминаніемъ всего развитія повъсти, мы обратимся опять къ характеру Инсарова, или, лучше, къ тому отношению, въ какомъ стоитъ онъ къ окружающему его русскому обществу. Мы уже видели, что онъ здесь почти не действуетъ для 10стиженія своей главной цели; только разъ видимъ мы, что онъ уходитъ за 60 верстъ для примиренія поссорившихся земляковъ, жившихъ въ Троицкомъ посадъ, да въ концъ его пребыванія въ Москвъ упомянуто, что онъ разъезжаль по городу и видался украдкой съ разными лицами. Да, разумвется, ему и нечего было дълать, живя въ Москвв; для настоящей двятельности нужно было вхать ему въ Болгарію. И онъ повхаль туда, но на дорогъ смерть застигла его, и дъятельности его мы такъ и не видимъ въ новъсти. Изъ этого ясно, что сущность новъсти вовсе не состоитъ въ представлении намъ образца гражданской, т.-е. общественной доблести. какъ нъкоторые, можетъ быть, подумаютъ. Тутъ нътъ упрека русскому молодому покольнію, неть указанія на то, каковь должень быть гражданскій герой. Если бъ это входило въ планъ автора, то онъ долженъ былъ бы поставить своего героя лицомъ къ лицу съ самымъ деломъ. — съ партіями, съ народомъ, съ чужимъ правительствомъ, съ своими единомышленниками, съ вражеской силой... Но авторъ нашъ вовсе не хотелъ, да, сколько мы можемъ судить по всемъ его прежнимъ произведеніямъ, и не въ состояніи быль бы написать героическую эпонею. Его дело совсемь другое: изъ всей Иліады и Одиссеи онъ присвоиваеть себъ только разсказъ о пребываніи Улисса на остров'в Калипсы, и дал'ве этого не простирается. Давши намъ понять и почувствовать, что такое Инсаровъ и въ какую среду попаль онь, -г. Тургеневь весь отдается изображению того, какъ Инсаровъ

<sup>1)</sup> Есть яюди, которыхъ воображение до того засалено и развращено, что въ этой прелестной, чистой и глубоко-нравственной сценъ полнаго, страстнаго сліянія двухъ любящихъ существъ, они увидять только матеріалъ для сладострастныхъ представленій. Судя обо всѣхъ по себѣ, они возопіютъ даже, что эта сцена можетъ имѣтъ дурное вліяніе на нравственность, ибо возбуждаетъ нечистыя мысли. Но пусть ихъ вопіютъ: вѣдь есть люди, которые и при видѣ Венеры Милосской говорятъ съ пріапической улыбкой: «а она... того... годится»... Но не для этихъ людей—искусства и поэзія, да не для нихъ и истинная нравственность. Въ нихъ все претворяется во что-то отвратительно-нечистое. Но дайте прочитать эти же сцены невинной, чистой сердцемъ дѣвушкѣ, и, повѣрьте, ничего, кромѣ самыхъ свѣтлыхъ и благсродныхъ помысловъ, не вынесетъ она изъ этого чтенія.

любить и какъ его любять. Тамъ, гдъ любовь должна, наконецъ, уступить мъсто живой гражданской дъятельности, онъ прекращаетъ жизнь своего героя и оканчиваетъ повъсть.

тероя и оканчиваетъ повъсть.

Въ чемъ же, стало быть, смыслъ появленія болгара въ этой исторіи? Что туть значить болгаръ, почему не русскій? Развѣ между русскими уже и нѣтъ такихъ натуръ, развѣ русскіе неспособны любить страстно и рѣшительно, неспособны очертя голову жениться по любви? Или это просто прихоть авторскаго воображенія, и въ ней не нужно отыскивать никакого особеннаго смысла? "Взялъ, молъ, себъ болгара, да и кончено; а могъ бы взять и цыгана, и китайца, пожалуй..."

Ответь на эти вопросы зависить отъ возгрения на весь смыслъ повести. Намъ кажется, что болгаръ дъйствительно здъсь могъ быть замънень, пожалуй, и другою національностью— сербомъ, чехомъ, итальянцемъ, венгромъ, - только не полякомъ и не русскимъ. Почему не полякомъ, объ этомъ,

разумъется, и вопроса быть не можеть; а почему не русскимъ. — въ этомъ заключается весь вопросъ, и мы постараемся отвътить на него, какъ умъемъ. Дъло въ томъ, что въ "Наканунъ" главное лицо — Елена. Въ ней сказалась та смутная тоска по чемъ-то, та почти безсознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новыхъ людей, которая охватываеть теперь все русское общество, и даже не одно только такъ-пазываемое обра-зованное. Въ Еленъ такъ ярко отразились лучшія стремленія нашей совре-менной жизни, а въ ея окружающихъ такъ рельефно выступаетъ все пошлое той же жизни, что невольно береть охота провести аллегорическую параллель. Тутъ все бы пришлось на мъстъ: и не злой, но пустой и тупо важничающій Стаховъ, въ соединеніи съ Анной Васильевной, которую Шу-бинъ называетъ курицей, и нъмка-компаньонка, съ которой Елена такъ колодна, и сонливый, но по временамъ глубокомысленный Уваръ Ивано-вичъ, котораго волнуетъ только извъстіе о контробомбардонь, и даже неблаговидный лакей, доносящій на Елену отцу, когда уже все діло кончено... Но подобныя параллели, несомнівню доказывающія игривость воображенія, становятся натянуты и смішны, когда уходять въ большія подробности. Поэтому мы удержимся отъ подробностей и сділаемъ лишь нізсколько самыхъ общихъ замъчаній.

Развитіе Елены основано не на большой учености, не на обширномъ опытъ жизни; лучшая, идеальная сторона ея существа раскрылась, выросла и созръла въ ней при видъ кроткой печали родного ей лица, при видъ бъдныхъ, больныхъ и угнетенныхъ, которыхъ она находила и видъла всюду, даже во снъ. Не на подобныхъ-ли впечатлъніяхъ выросло и воспиталось все лучшее въ русскомъ обществъ? Не характеризуется-ли у насъ каждый истинно порядочный человъкъ ненавистью ко всякому насилію, произволу,

притъсненію и желанісмъ помочь слабынь и угнетеннымъ? Мы не говоримъ: "борьбою въ защиту слабыхъ отъ обиды сильныхъ", потому что этого нътъ, но именно желанісмъ, совершенно такъ, какъ у Елены. Мы тоже рады сделать и доброе дело, когда оно заключаеть въ себе только положительную сторону, т. е. не требуетъ никакой борьбы, не предполагаетъ никакого сторонняго противодъйствія. Мы подадимъ милостыню, сдълаемъ благотворительный спектакль, пожертвуемъ даж. частью своего достоянія въ случав нужды: но только чтобы этимъ двло и ограничилось. чтобы намъ не приплось хлопотать и бороться съ разными непріятностями изъ-за какого-нибудь бъднаго или обиженнаго. "Леланіе дъятельнаго добра" есть въ насъ, и силы есть, но боязнь, неувъренность въ своихъ си-лахъ и, наконецъ, незнаніе: — что дълать? — постоянно насъ останавливають, и мы, самя не зная какъ, — вдругь оказываемся въ сторонв отъ общественной жизни, холодными и чуждыми ея интересамъ, точь-въ-точь какъ Елена въ окружающей ее средъ. Между тъмъ желание попрежнему кинить въ груди (говоримъ о твхъ, кто не старается искусственно заглупить это желаніе), и мы все ищемъ, жаждемъ, ждемъ... ждемъ, чтобы намъ хоть кто-нибудь объясниль, что делать. Съ болью недоуменія, почти съ отчанніемъ пишетъ Елена въ своемъ дневникъ: "О, если бы мнъ вто-нибудь сказаль: воть что ты должна делать! Выть доброю - этого мало; делать добро... да, это главное въ жизни. Но какъ дълать добро?" Кто изъ людей нашего общества, сознающихъ въ себъ живое сердце, мучительно не задавалъ себъ этого вопроса? Кто не признавалъ жалкими и ничтожными всв-тв формы двятельности, въ которыхъ проявлялось, по мврв силъ, его желаніе добра? Кто не чувствоваль, что есть что то другое, висшее, что мы даже и могли бы сделать, да не знаемъ, какъ приняться надобно... И гдъ же разръшение сомнъний? Мы томительно, жадно ищемъ его въ свътлыя минуты своего существованія, и нигдъ не находимъ. Все окружающее, кажется напъ, или томится темъ же недоуменіемъ, какъ и мы, или загубило въ себъ человъческій образъ и сузило себя до преслъдованія только своихъ мелкихъ, эгоистическихъ, животныхъ интересовъ. И такъ, день изо дня, проходитъ жизнь, пока она не умерла въ сердцв че-ловъка, и день изо дня ждетъ живой человъкъ: не будетъ-ли завтра лучше, не разръщится-ли завтра сомивнье, не явится-ли завтра тоть, кто скажеть намъ, какъ делать добро...

Эта тоска ожиданія давно уже томить русское общество, и сколько разъ уже ошибались мы, подобно Елень, думая, что жданный явился, и потомъ охладывали. Она страстно привязалась-было къ Анны Васильевнь; но Анна Васильевна оказалась начтожною, безхарактерною... Почувствовала-было расположеніе къ Шубину, какъ наше общество одно время увле-

валось художественностью; но въ Шубивѣ не оказалось дѣльнаго содержанія, одни блестки и капризы, — а Еленѣ не до того было, чтобы, посреди ея исканій, любоваться игрушками. Увлеклась на минуту серьезною наукою въ лицѣ Берсенева; но серьезная наука оказалась скромною, сомнѣвающеюся, выжидающею перваго нумера, чтобы пойти за нимъ. А Еленѣ именно нужно было, чтобы явился человѣкъ, не нумерованный и не выжидающій себѣ назначенія, а самостоятельно и неодолимо стремящійся къ своей цѣли и увлекающій къ ней другихъ. Такимъ-то, наконецъ, явился предъ нею Инсаровъ, и въ немъ-то нашла она осуществленіе своего идеала, въ немъ-то увидѣла возможность отвѣта на вопросъ: какъ ей дѣлать добро.

Но почему же Инсаровъ не могь быть русскимъ? Въдь онъ въ повъсти не дъйствуеть, а только собирается на дъло; это и русскій можеть. Характеръ его тоже возможенъ и въ русской кожъ, особенно въ такихъ проявленіяхъ. Онъ любитъ сильно и ръшительно; но неужели невозможно и это для русскаго человъка?

Все это такъ, и все таки сочувствие Елены, такой девушки, какъ мы ее понимаемъ, не могло обратиться на русскаго человъка съ твиъ правомъ, съ тою естественностью, какъ обратилось оно на этого болгара. Все обаяніе Инсарова заключается въ величін и святости той идеи, которой проникнуто все его существо. Елена, жаждущая двятельнаго добра, но не знающая, какъ его дълать, мгновенно и глубоко поражается, еще не видавши Инсарова, разсказомъ о его замыслахъ. "Освободить свою родину, говорить она: - эти слова и выговорить страшно - такъ они велики! " И она чувствуетъ, что слово ея сердца найдено, что она удовлетворена, что выше этой цели нельзя поставить себе и что на всю ся жизнь, на всю ся будущность достанеть деятельнаго содержанія, если только она пойдеть за этимъ человъкомъ. И она старается всмотръться въ него, ей хочется проникнуть въ его душу, раздълить его мечты, войти въ подробности его илановъ. А въ немъ только и есть постоянная, слитая съ нимъ, идея родини и ея свободы; и Елена довольна, ей нравится въ немъ эта ясность и определенность стремленій, спокойствіе и твердость души, могучесть самаго зачысла, и она скоро сама далается эхомъ той иден, которая его одушевляеть. "Когда онъ говорить о своей родинь, — пишеть она въ своемъ дневникъ, - онъ ростетъ, ростетъ, и лицо его хорошъетъ, и голосъ, какъ сталь, и нътъ, кажется, тогда на свъть такого человъка, предъ къмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ, онъ дълалъ и будеть делать. Я его разспрошу"... Черезъ несколько дней она опять пишетъ: "а въдь странно, однако, что я до сихъ поръ, до двадцати лътъ, никого не любила! Миъ кажется, что у Д. (буду называть его Д., миъ нравится это имя: Динтрій) оттого такъ ясно на душъ, что онъ весь отдался своему дълу, своей мечтъ. Изъ чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... тому горя мало, тотъ ужъ ни за что не отвъчаетъ. Не и хочу; то хочетъ". И понявши это, она сама хочетъ слиться съ нямътакъ, чтобы уже не она хотъла, а онъ, и то, что его одушевляетъ. И мы очень хорошо понимаемъ ея положеніе; увърены, что и все русское общество, хотя еще и не увлечется, подобно ей, личностью Инсарова, но пойметъ возможность и естественность чувства Елены.

Мы говоримъ: общество не увлечется само, и основываемъ это пред-положение на томъ, что этот Инсаровъ все еще намъ чужой человъкъ. Самъ г. Тургеневъ, столь хорошо изучившій лучшую часть нашего обще-ства, не нашелъ возможности сдълать его нашимъ. Мало того, что онъ вывезъ его изъ Болгаріи, онъ недостаточно приблизилъ къ намъ этого героя даже просто какъ человъка. Въ этомъ, если хотите смотръть даже на литературную сторону, главный художественный недостатокъ повъсти. Мы понимаемъ одну изъважныхъ причинъ его, не зависящихъ отъ автора, и потому не дълаемъ упрека г. Тургеневу. Но, тъмъ не менъе, блъдность очертаній Инсарова отражается на самомъ внечатлівній, производимомъ повъстью. Величіе и красота идей Инсарова не выставляются предъ нами съ такою силою, чтобы мы сами прониклись ими и въ гордомъ одушев-леніи воскливнули: идемъ за тобою! А между тѣмъ идея эта такъ свята, такъ возвышенна... Гораздо менѣе человѣчныя, даже просто фальшивыя идеи, горячо проведенныя въ художественныхъ образахъ, производили лихорадочное дъйствіе на общество: Карлы Мооры, Вертеры, Печорины вызывали толпу подражателей. Инсаровъ ихъ не вызоветъ. Правда, что и мудрено было ему выказаться вполнъ съ своей идеей, живя въ Москвъ и ничего не дълая; въдь не въ реторическихъ же разглагольствіяхъ упражнаться. Но мы изъ повъсти мало узнаемъ его и какъ человъка; его внутренній міръ не доступенъ вамъ; для насъ закрыто, что онъ делаетъ, что думаеть, чего надвется, какія испытываеть перемены въ своихъ отношеніяхъ, какъ смотритъ на ходъ событій, на жизнь, несущуюся передъ его глазами. Даже любовь его въ Еленъ остается для насъ не вполнъ раскрытою. Мы знаемъ, что онъ полюбилъ ее страстно; но какъ это чувство вошло въ него, что въ ней привлекло его, на какой степени было это чув-ство, когда онъ его замътиль и ръшился-было удалиться,—всъ эти вну-треннія подробности и многія другія, которыя такъ тонко, такъ поэтически умъетъ рисовать г. Тургеневъ, остаются темными въ личности Инсарова. Какъ живой образъ, какъ лицо дъйствительное, Инсаровъ отъ насъ еще далекъ. Елена могла полюбить его со всей силой души своей, потому что она видела его въ жизни, а не въ повести; для насъ же онъ близокъ и дорогъ только какъ представитель иден, которая поражаетъ и насъ,

какъ Елену, мгновеннымъ свътомъ и озаряетъ мракъ нашего существованія. Поэтому то мы и понимаемъ всю естественность чувства Елены къ Инсарову, поэтому то и сами, довольные его непреклонною върностью идеъ, не замъчаемъ, на первый разъ, что онъ обозначается передъ нами лишь въ блъдныхъ и общихъ очертаніяхъ.

И еще хотять, чтобъ онъ быль русскимъ! "Нътъ, онъ не могъ бы быть русскимъ" — восклицаетъ сама Елена, въ отвътъ на явившееся-было сожалъніе, что онъ не русскій. И дъйствительно, такихъ русскихъ не бываетъ, не должно и не можетъ быть, въ настоящее время, по крайней мъръ. Не знаемъ, какъ развиваются и разовьются новыя покольнія, но тъ, которыя мы видимъ теперь дъйствующими, развивались вовсе не такъ, чтобы могли уподобиться Инсарову. На развитіе каждаго отдъльнаго человъка имъютъ вліяніе не только его частныя отношенія, но и вся общественная атмосфера, въ которой суждено ему жить. Иная развиваетъ героическія тенденціи, другая — мирныя наклонности; иная раздражаетъ, другая убаюкиваетъ. Русская жизнь сложилась такъ хорошо, что въ ней все вызываетъ на спокойный и марный сонъ, и всякій безсонный человъкъ кажется, не безъ основанія, безпокойнымъ и совершенно лишнимъ для общества. Сравните, въ самомъ дълъ, обстоятельства, при которыхъ начинается и проходитъ жизнь Инсарова, съ обстоятельствами, встрѣчающими жизнь каждаго русскаго человъкъ.

Болгарія порабощена, она страдаеть подътурецкимъ игомъ. Мы, слава Богу, никъмъ не порабощены, мы свободны, мы—великій народъ, не разъръшавшій своимъ оружіемъ судьбы царствъ и народовъ; мы владъемъ

другими, а нами никто не владветъ...

Въ Болгаріи нътъ общественныхъ правъ и гарантій. Инсаровъ говоритъ Еленъ: "если бъ вы знали, какой нашъ край благодатный. А между тъмъ его топчутъ, его терзаютъ; у насъ все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; какъ стадо гоняютъ насъ поганые турки, насъ ръжутъ..." Россія, напротивъ того, государство благоустроенное; въ ней существуютъ мудрые законы, охраняющіе права гражданъ и опредъляющіе ихъ обязанности, въ ней царствуетъ правосудіе, процвътаетъ благодътельная гласность. Церквей ни у кого не отнимаютъ и въры не стъсняютъ ръшительно ничъмъ, а, напротивъ, поощряютъ ревность проповъдниковъ въ обличеніи заблудшихъ; правъ и земель не только не отнимаютъ, но еще даруютъ ихъ тъмъ, кто не имълъ доселъ; въ видъ стада никого не гоняютъ.

"Въ Болгаріи, — говорить Инсаровъ, — послёдній муживъ, послёдній нищій и я — мы желаемъ одного и того же, у всёхъ одна цёль". Такой монотонности вовсе нётъ въ русской жизни, въ которой каждое сословіе,

даже каждий кружокъ живутъ своею отдъльною жизнью, имъютъ свои особыя цъли и стремленія, свое установленное назначеніе. При существующемъ у насъ благоустройствъ общественномъ, каждому остается только упрочивать собственное благосостояніе, для чего вовсе не нужно соединяться съ цълой націей въ одной общей идеъ, какъ это происходить въ Болгаріи.

Инсаровъ былъ еще младенцемъ, когда турецкій ага похитиль его мать и потомъ зарізалъ, а отецъ его былъ разстрілянъ за то, что, желая отмстить агі, поразиль его кинжаломъ. Когда и кого изъ русскихъ лей могли встрітить въ жизни подобныя впечатлінія Слыхано ли что нибудь подобное въ русской земліз Конечно, уголовныя преступленія везді возможны; но у насъ, если бы какой - нибудь ала и похитиль и убиль или умориль потомъ чужую жену, такъ мужа и до отмщенія бы не допустили, ибо у насъ есть законы, для всізсь равные и нелицепріятно наказывающіе преступленіе.

Словомъ, Инсаровъ съ молокомъ матери всасываетъ ненависть къ поработителямъ, недовольство настоящимъ порядкомъ вещей. Ему не нужно напрягать себя, не нужно доходить долгимъ рядомъ силлогизмовъ до того, чтобы опредълить направленіе своей дъятельности. Какъ скоро онъ не лънивъ и не трусъ, онъ уже знаетъ, что ему дълать и какъ вести себя: разбрасываться ему некуда. Да и задача-то у него удобопонятная, какъ говоритъ Пубинъ: "стоитъ только турокъ вытурить — велика штука!" И Инсаровъ знаетъ, притомъ, что онъ правъ въ своей дъятельности, пе только передъ собственною совъстью, но и передъ людскимъ судомъ: его замыслы найдутъ сочувствіе во всякомъ порядочномъ человъкъ. Представьте же теперь что - нибудь подобное въ русскомъ обществъ: неудобопредставимо!.. Въ русскомъ переводъ Инсаровъ выйдетъ ни что иное, какъ разбойникъ, представитель "противообщественнаго элемента", о которомъ русская публика знаетъ очень хорошо изъ красноръчивыхъ изслъдованій г. Соловьева, сообщенныхъ "Русскимъ Въстникомъ". Кто же, спрашивается, можетъ полюбить такого? Какая благовоспитанная и умная дъвушка не побъжитъ отъ него, что есть мочи, съ врикомъ: quelle horreur!!

Понятно-ли теперь, почему не можетъ быть русскій на мѣстѣ Инсарова? Натуры, подобныя ему, родятся, конечно, и въ Россіи въ немаломъ количествѣ, но онѣ не могутъ такъ безпрепятственно развиться и такъ беззастѣнчиво проявлять себя, какъ Инсаровъ. Русскій современный Инсаровъ всегда останется робкимъ, двойственнымъ, будетъ таиться, выражаться съ разными прикрытіями и экивоками... а это-то и уменьшаетъ довѣріе къ нему. Выйдетъ, пожалуй, даже иной разъ, что онъ лжетъ и

противоръчитъ себъ; а извъстно, что люди лгутъ обыкновенно либо изъ выгодъ, либо изъ трусости. Какое же сочувствіе можно питать къ корыстолюбцу и трусу, особенно когда душа томится жаждою дъла и ищетъ мощной головы и руки, которая бы повела ее?

Бываютъ, правда, и у насъ небольше герои, нъсколько похожее на Инсарова отватою и сочувствиемъ къ угнетеннымъ. Но они въ нашей средъ являются смышными Донь - Кихотами. Отличительная черта Донь - Кихота-непонимание ни того, за что онъ берется, ни того, что выплетъ изъ его усилій. -- удивительно ярко выступаеть въ нихъ Они, напримъръ, вдругъ вообразятъ, что надо спасать крестьянъ отъ произвола помъщиковъ; и знать того не хотятъ, что накакого произвола тутъ нътъ, что права помъщиковъ строго опредълены закономъ и должны быть неприкосновенны, пока законы эти существують, и что возстановить крестьянъ собственно противъ этого произвола значитъ, не избавивши ихъ отъ помъщика, полвергнуть еще наказанію по закону. Или, напр., зададуть себъ работу: спасать невинныхъ отъ судебной неправды, — какъ будто бы у насъ судьи по своему произволу такъ и дълають, что хотять. Дъла у насъ всв, какъ извъстно, вершатся по закону, а чтобы растолковать законъ такъ или иначе, - на это не геройство нужно, а привычка къ судейскимъ изворотамъ. Вотъ Донъ-Кихоты наши и возятся попусту... А то выдумають вдругь взятки искоренять, — и ужь какая туть мука пой-деть бъднымъ чиновникамъ, берущимъ гривенникъ за какую - нибудь справку! Со свъту сгонятъ ихъ наши героп, принимающие на себя защиту страждущихъ. Оно, конечно, благородно и высоко: да можно-ли сочувствовать этимъ неразумнымъ людямъ? И въдь мы еще говоримъ не о тъхъ холодныхъ служителяхъ долга, которые поступаютъ такимъ образомъ просто по обязанности службы; мы имбемъ въ виду русскихъ людей, дъйствительно, искренно сочувствующихъ угветеннымъ и готовыхъ даже на борьбу для ихъ защиты. И эти-то выходятъ безполезны и сифины, потому что не понимають общаго значенія той среды, въ которой действують. Да и какъ имъ понять, когда они сами - то въ ней находятся, когда верхушки ихъ тянутся вверхъ, а корень все-таки прикрапленъ къ той же почвъ? Они хотятъ прогнать горе ближнихъ, а оно зависитъ отъ устройства той среды, въ которой живутъ и горюющіе, и предполагаемые утъ-шители. Какъ же тутъ быть? Всю эту среду перевернуть, — такъ надо будетъ повернуть и себя; а подите - ка, сядьте въ пустой ящикъ да и попробуйте его перевернуть вижсте съ собою. Какихъ усилій это потребуетъ отъ васъ! — между тъмъ какъ, подойдя со стороны, вы однимъ толчкомъ могли бы справиться съ этимъ ящикомъ. Инсаровъ именно тъмъ и беретъ, что не сидеть въ ящикъ: притъснители его отечества — турки, съ кото-

рыми онъ не имбетъ ничего общаго; ему стоитъ только подойти да и толк нуть ихъ, насколько силы хватитъ. Русскій же герой, являющійся обык новенно изъ образованнаго общества, самъ кровно связанъ съ темъ, н что долженъ возставать. Онъ находится въ такомъ положении, въ каком быль бы, напр., одинъ изъ сыновей турецкаго аги, вздумавшій освобож дать Волгарію отъ турокъ. Трудно даже предположить такое явленіе; н если бы оно случилось, то, чтобы сынъ этотъ не представлялся намъ глу пымъ и забавнымъ малымъ, нужно, чтобы онъ отрекся ужъ отъ всего, чт его связывало съ турками: - и отъ втры, п отъ національности, и от круга родныхъ и друзей, и отъ житейскихъ выгодъ своего положения Нельзя не согласиться, что это ужасно трудно в что подобная решитель ность требуетъ нъсколько другого развитія, нежели какое обыкновени получаеть сынь турецкаго аги. Не иного легче дается геройство и рус скому человъку. Вотъ отчего у насъ симпатичныя, энергическія натуры удовлетворяютъ себя мелкими и ненужными бравадами, не достигая д настоящаго, серьезнаго героизма, т.-е. до отреченія отъ цалой нассы по нятій и практическихъ отношеній, которыми они связаны съ обществен ной средою. Робость ихъ предъ громадою противныхъ силъ отражаетс даже на теоретическомъ ихъ развитии: они боятся или не умъютъ дохо дить до кория и, задумывая, напр., карать зло, только и бросаются и какое-нибудь мелкое проявление его и утомляются страшно, прежде чем успъють даже подумать объ его источникъ. Не хочется имъ поднять рук на то дерево, на которомъ и они сами выросли; вотъ они и стараются увъ рить себя и другихъ, что вся гниль его только снаружи, что только счи стить ее стоить, и все будеть благополучно. Выгнать изъ службы из сколько взиточниковъ, наложить опеку на несколько помещичьихъ име ній, обличить цізловальника, въ одномъ кабакіз продавшаго дурного ка чества водку, — вотъ и воцарится правосудіе, крестьяне во всей Россі будуть благоденствовать, и откупа сделаются превосходною вещью дл народа. Такъ искренно думають многіе, и действительно тратять вс свои силы на подобные подвиги, и за то не шутя считають себя героями

Намъ разсказывали объ одномъ подобномъ геров, человъкв, какъ го ворили, чрезвычайно энергическомъ и талантливомъ. Еще будучи въ гим назіи, онъ затвяль двло съ однимъ гувернеромъ, по тому поводу, что он утаиваетъ бумагу, назначаемую для выдачи воснитанникамъ. Двло пошл какъ-то неловко; герой нашъ умвлъ задъть и инспектора, и директора, былъ исключенъ изъ гимназіи. Сталъ онъ готовиться въ университетъ, между твмъ принялся давать уроки. При одномъ изъ первыхъ же уроков онъ замвтилъ. что мать двтей, которыхъ онъ училъ, ударила по щекъ свог горничную. Онъ вспыхнулъ, поднялъ въ домѣ гвалтъ, привелъ полицію

формально обвинилъ хозяйку дома въ жестокомъ обращении съ прислугой. Потянулось слёдствіе, въ которомъ онъ ничего, разумбется, не могъ дока-зать, и его чуть не присудили къ строгому наказанію за ложное показаніе и клевету. Уроковъ послі этого онъ ужь не могь достать. Опредівлился, съ большимъ трудомъ, по чьей-то особенной милости на службу: дали ему переписать какое-то решение очень нелешаго свойства; онъ не вытеривлъ и заспориль; ему сказали, чтобъ молчаль, — онъ не послушался; ему велъли убираться вонъ. Отъ нечего дълать, приняль онъ приглашение одного изъ своихъ бывшихъ товарищей — вхать съ нимъ на лето въ деревню; прівхалъ, увидалъ, что тамъ делается, да и принялся толковать — и своему товарищу, и отцу его, и даже бурмистру и мужикамъ — о томъ, какъ беззаконно больше трехъ дней на барщину крестьянь гонять, какъ непозволительно съчь ихъ безъ всякаго суда и расправы, какъ безчестно таскать по почамъ крестьянскихъ женщинъ въ барскій домъ, и т. п. Кончилось темъ, что мужиковъ, которые его съ участіемъ послушали, перепороди, а ему старый баринъ велълъ запречь лошадей и попросилъ его не являться больше въ ихъ краяхъ, если хочетъ цълъ остаться. Кое - какъ переколотившись лято, герой нашъ къ осени поступилъ въ университетъ, благодари тому, что на экзамен в попадались ему все вопросы незадорные, на которых в нельзя было разгуляться и заспорить. Поступиль онь на медицинскій факультеть и занимался действительно хорошо; но, въ практическомъ курсь, когда профессоръ у кровати больного объяснялъ свою премудрость, онъ никогда не могъ удержаться, чтобъ не оборвать отсталаго или шарлатанящаго профессора: какъ только тотъ совретъ что-нибудь, такъ онъ и пойдетъ ему доказывать, что это чепуха. Вследствие такихъ выходокъ, герой нашъ не оставленъ при университетъ, не посланъ за границу, а назначенъ въ ка-кой-то отдаленный госпиталь. Здъсь онъ на первыхъ же порахъ уличилъ смотрителя и грозиль на него жаловаться; потомъ, въ другой разъ, поймаль и пожаловался, за что получиль выговорь отъ главнаго доктора; получая выговоръ, онъ, конечно, очень крупно поговорилъ и вскоръбылъ переведенъ изъ госпиталя... Досталось ему вслъдъ затъмъ провожать какую-то партію; онъ принялся шумъть за солдатъ съ начальникомъ партіи и съ чиновникомъ, завъдывавшимъ продовольствіемъ. Видя, что слова не помогаютъ, написалъ рапортъ, что солдаты не доблаютъ и не допиваютъ по милости чиновника и что начальникъ партіи этопу потакаетъ. По прибытін на место-следствіе; допрашивають солдать, те говорять: довольны; герой нашъ приходить въ негодование, говорить дерзости генералъ-штабъдоктору и, мъсяцъ спустя, разжалывается въ фельдиерские помощники. Пробывши двъ недъли въ этой должности и не выдержавъ нарочито звърскаго обращения съ нимъ, онъ застръливается.

Не правда-ли, - явление необыкновенное, сильная, порывистая натура? А между темъ посмотрите, на чемъ гибнеть онъ. Во всехъ его поступкахъ нътъ ничего такого, что бы не составляло прямой обязанности всяваго честнаго человъка на его мъстъ; а ему нужно, однаво, много героизма, чтобъ поступать такимъ образомъ, нужна самоотверженная рышимость гибнуть за добро. Спрашивается теперь: если ужъ въ немъ есть эта рішимость, то не лучше-ли воспользоваться ею для дела большого, которымъ бы дъйствительно достигалось что - нибудь существенно-полезное? Но въ томъ-то и бъда, что онъ не сознаетъ налобности и возможности такого дъда и не понимаетъ того, что его окружаетъ. Онъ не хочетъ видъть круговой поруки во всемъ, что дълается передъ его глазами, и воображаетъ, что всякое, зам'вченное имъ зло есть не болве, какъ злочнотребление прекраснаго установленія, возможное лишь какъ р'ядкое исключеніе. При такихъ понятіяхъ, русскіе герои только и могутъ, разумвется, ограничиваться мизерными частностями, не думая объ общемъ, тогда какъ Инсаровъ, напротивъ, частное всегда подчиняетъ общему, въ уверенности, что "и то не уйдетъ". Такъ, въ отвътъ на вопросъ Елены, отомстилъ-ли онъ убійцъ своего отца, Инсаровъ говоритъ: "Я не искалъ его. Я не искалъ его не нотому, чтобы я не могъ убить его, — я бы очень спокойно убилъ его, — но потому, что тутъ не до частной мести, когда дѣло идетъ объ освобожденіи народа. Одно помѣшало бы другому. Въ свое время и то не уйдетъ". Вотъ въ этой любви къ общему дѣлу, въ этомъ предчувствіи его, которое даеть силу спокойно выдерживать отдельныя обиды, и заключается великое превосходство болгара Инсарова предъ всеми русскими героями, у которыхъ общаго дёла-то и въ помине нетъ.

Впрочемъ, и подобныхъ - то героевъ у насъ очень немного. да и изъ пихъ большая часть не выдерживаетъ себя до конца. Гораздо многочислентъе въ нашемъ образованномъ обществъ другой разрядъ людей—занимающихся размышленіями. Изъ этихъ тоже есть много такихъ, которые хоть и размышляютъ, но ничего не умъютъ понять; но объ этихъ мы не говоримъ. Мы хотимъ указать только на тъхъ, дъйствительно съ свътлою головою людей, которые путемъ долгихъ сомнъній и исканій дошли до того же единства и ясности идеи, съ какими является передъ нами, безъ всякихъ особенныхъ усилій, Инсаровъ. Эти люди понимаютъ, гдъ корень зла, и знаютъ, что надо дълать, чтобы зло прекратить; они глубоко и искречно проникнуты мыслью, до которой добились наконецъ. Но— въ нихъ нътъ уже силы для практической дъятельности; они столько ломали себя, что патура ихъ какъ-то надсълась и обезсилъла. Они съ сочувствіемъ смотрятъ на приближеніе новой жизни, но сами идти ей навстръчу не могутъ и вим не можетъ удовлетвориться свъжее чувство человъка, жаждущаго дъятельнаго добра и ищущаго себъ руководителя.

Никто изъ насъ не беретъ готовыми человѣчныхъ понятій, во имя которыхъ нужно потомъ вести жизненную борьбу. Оттого ни въ комъ и нѣтъ той ясности, той цѣльности воззрѣній и дѣйсгвій, которыя такъ естественны, коть бы, напр, въ Инсаровѣ. У него впечатлѣнія жизни, дѣйствующія на сердце и пробуждающія его энергію, постоянно подкрѣпляются требованіями разсудка, всѣмъ теоретическимъ образованіемъ, которое онъ получаетъ. У насъ совершенно наоборотъ. Одинъ изъ нашихъ знакомыхъ, держащійся передовыхъ мнѣній и сгорающій тоже жаждою дѣятельнаго добра, но человѣкъ кротчайшій и бозвреднѣйшій въ мірѣ, вотъ что разсказывалъ намъ о своемъ развитіи, въ объясненіе своей теперешней бездѣятельности.

"По натуръ своей - говорилъ овъ-я быль мальчикъ очевь добрый и впечатлительный. Я, бывало, плакалъ и метался, слушая разсказъ о какомъ-нибудь несчастій, я страдаль при видь чужого страданія. Помню, что я не спаль ночи, теряль аппетить и не могь ничего делать, когда ктонибудь въ домъ былъ боленъ; помню, что не разъ приходилъ я въ нъкотораго рода бышенство, при виды истязаній, какія чиниль одинь мой родственникъ надъ своимъ сыномъ, моимъ пріятелемъ. Все, что я видълъ, все, что слышаль, развивало во мвв тяжелое чувство недовольства; въ душв моей рано началъ шевелиться вопросъ: да отчего же все такъ страдаетъ и неужели нътъ средства помочь этому горю, которое, кажется, всъхъ одолъло? Я жадно искалъ отвъта на эти вопросы, и скоро инъ дали отвътъ, разумный и систематическій. Я началь учиться. Порвая пропись, которую я написаль, была такова: "истинное счастие заключается въ спокойстви совъсти". На разспросы мои о совъсти, мнь объяснили, что она караетъ насъ за дурные поступки и награждаеть за хорошіе. Все мое вниманіе устремилось теперь на то, чтобы узнать, какіе поступки хороши, какіе дурны. Это было не трудно: кодексъ нравственности быль готовъ – и въ прописяхъ, и въ домашнихъ наставленіяхъ, и въ особомъ курсъ. "Почитай старшихъ", "Не надъйся на свои силы, ибо ты -ничто", "Будь доволенъ тъмъ, что имъешь, и не желай большаго", "Теривніемъ и покорностью пріобр'втается любовь общая" и пр. въ такомъ род'в писалъ я въ прописяхъ. Дома и отъ вс'вхъ окружающихъ слышалъ я то же самое; а въ разныхъ курсахъ узналъ я, что совершеннаго счастья на землъ неможеть быть, но что насколько оно возможно, настолько достигнуто въ благоустроенныхъ государствахъ, изъ которыхъ наилучшее есть ное отечество. Я узналъ, что Россія теперь не только велика и обильна, но что и порядокъ въ ней господствуетъ самый совершенный; что стоятъ только исполнять законы и приказанія старшихъ да быть умфреннымъ, и тогда полнъйшее благополучіе ожидаетъ человъка, какого бы онъ ни быль званія и состоянія. Оградны мнв были всв эти открытія, и я жадно ухватился за

нихъ, какъ за лучшее ръшеніе всьхъ моихъ сомявній. Вздумаль было я новърять ихъ моимъ неопытнымъ умомъ, но многое пришлось мив не подъ силу, а что оказывалось доступнымъ, то выходило такъ, върно. И вотъ я довфрчиво и восторженно предался новооткрытой системь, въ ней заключиль всв свои стремленія и льть двана щати быль уже маленькимъ философомъ и страшимиъ партизаномъ законности. Я дошель до того убъжденія, что во всякоть несчастін виновать самъ человівкь, или тімъ, что не поберегся, не остерегся, или тамъ, что не хоталъ довольствоваться малымъ, или темъ, что не проникнуть достаточнымь уважениемъ къ закону и къ волъ старшихъ. Собственно законъ я еще не совстиъ хорошо представляль себв, но онь олицетворялся для меня во всякомы начальствъ и старшинствъ. Оттого въ этотъ періодъ мосй жизни я постоянно стоялъ за учителей, начальниковъ и т. д., и былъ очень любимъ начальствомъ и старшими классами. Разъ меня чуть не выкинули въ окно товарищи: одинъ учитель сказалъ цълому классу: "свиньи вы!"; всъ пришли въ азартъ по окончаніи класса, а я принялся защищать учителя и доказывать, что онъ имъль полное право сказать это. Въ другой разъ исключенъ былъ одинъ изъ нашихь товарищей за грубость начальству; всё жалёли о немъ, потому что онъ быль лучшій между нами, но я утверждаль, что онъ наказаніе вполив заслужиль, и очень удивлялся, какъ онъ, будучи такимъ умнымъ мальчикомъ, не могъ понять, что покорность старшимъ есть первый долгъ нашъ и первое условіе счастья. Такъ съ каждымъ днемъ укрѣплялся я въ своихъ понятіяхъ законности и, мало-по малу, привыкъ смотръть на большинство людей только какъ на орудіе исполненія высшихъ приказаній. Я порываль такимь образомь живую связь съ душою человъка, я пересталъ тревожиться бъдствіями своихъ собратій, пересталь отыскивать возможность облегчить ихъ. "Сами виноваты", говорилъя про себя, и сталь даже питать къ нимъ не то злобу, не то презрѣніе, какъ къ людямъ, неумѣющимъ пользоваться спокойно и смирно тѣми благами, которыя имъ предлагаются по силъ общественнаго благоустройства. Все, что было добраго въ моей натуръ, обратилось въ другую сторону - къподдержанію правъ старшихъ надъ нами. Я чувствоваль, что въ этомъ заключается самоотверженіе, отреченіе отъ собственной самостоятельности, убъхденъ былъ, что дълаю это въ видахъ общей пользы, и считалъ себя чуть не героемъ. Я знаю, что многіе такъ и остаются на этой степени, а другіе ее видоизміняють слегка и увіряють, что они совсимь перемінились. Но мив, къ счастью, действительно пришлось переменить свое направленіе довольно рано. Л'вть четырнадцати я самъ им'влъ уже старшинство кое надъ чемъ и въ классе, и въ доме и, разумется, оказался при этомъ очень плохъ. Я умълъ дълать все, что отъ меня требовали, но что и какъ

мив требовать - этого я не зналъ. При всемъ томъ я былъ суровъ и недоступенъ. Но скоро мив стало созветно, и я принялся повврять свои прежнія понятія о начальствв. Поводомъ къ этому быль одинъ случай, пробудившій опять живыя ощущенія въ моемъ мертвівшемъ сертив. Какъ старшій брать и уминца, я училь, между прочимь, одну язъ сестерь моихъ. Мит дано было право присуждать ей наказанія за ліность, ослушаніе и пр. Разъ опа что - то была разстянна и никакъ не хотела понять моихъ толкованій; я вельлъ ей стать на кольни. Она тотчасъ собралась съ мыслями и, принявши внимательный видъ, стала просить, чтобъя повторилъ еще разъ свои слова. Но я потребовалъ, чтобъ она прежде исполнила приказаніе — стала на колъни; она заупрямилась. Тогда я схватиль ее за руки, поднялъ съ мъста, потомъ положилъ ей свои локти на плечи и изо-всехъ силь надавиль внизъ. Ведная девочка опустилась на колени и взвизгнула: у ней свихнулась нога при этомъ движении. Я очень испугался; но когда мать стала бранить меня за такое обхождение съ сестрой, я очень хладнокровно старался доказать, что она сама виновата, что еглибъ она тотчасъ послушалась моего приказанія, то ничего бы этого и не было. Однако же, втайнъ и мучился, тъмъ болъе, что сестру свою и очень любиль. Въ это время выяснилась мнв мысль, что ввдь и старшее могутъ быть неправы и делать нельности, и что уважать нужно собственно завонъ, вакъ онъ есть, а не какъ проявляется въ толкованіяхъ того или другого лица. Тутъ пошла у меня критика дъйствій лицъ, и я изъ консервативной безотвытственности стремительно перескочиль въ opposition légale. Но долгое время я приписываль все дурное однимъ только частнымъ злоупотребленіямъ и нападаль на нихъ-не во имя насущныхъпотребностей общества, не изъ состраданія къ несчастнымъ братьямъ, а просто во имя положительнаго закона. Вь то время я, конечно, съ жаромъ сталь бы говорить противъ жестокаго обращения съ неграми, но, подобно нъкоему московскому публицисту, отъ всей души обвиниль бы Брауна, совершенно противозаконно вздумавшаго освобождать негровъ. Но я быль еще тогда очень молодъ (въроятно, моложе почтеннаго публициста), мысль моя двигалась и бродила; я не могь остановиться на этомъ и, после многихъ соображеній, дошель, наконець, до сознанія, что и законы могуть быть несовершенны, что они имъютъ относительное, временное и частное значеніе и должны подлежать перемънамъ съ теченіемъ времени и по требованіямъ обстоительствъ. Но опять, во имя чего такъ разсуждалъ я? Во имя высшаго, отвлеченнаго закона справедливости, а вовсе не по внушению живого чувства любви къ собратьямъ, вовсе не по сознанію тъхъ прямыхъ, на стоятельных вадобностей, которыя указываются идущею передъ нами жизнью. И что же? Воть я сдълаль и последній шагь: оть отвлеченнаго

закона справедливости я перешель къ болве реальному требованию человъческато блага; я всъ свои сомпънія и умствованія привель, наконець, къ одной формулъ: человъкъ и его счастье. Но въдь эта формула была въ душь моей еще въ дътствъ, прежде чьмъ я началь обучаться разнымъ наукамъ и писать назилательныя прописи. И, сказать-ли? — теперь я ее лучше понимаю и основательные могу доказать; но тогда я чувствоваль ее сильные, она болые была связана съ моимъ существомъ, и даже, кажется, я готовъ быль тогда больше сдълать для нея, чемъ теперь. Я стараюсь теперь не делать ничего, противоречащаго сознанному мною закону, стараюсь не отнимать счастья у людей; но этой нассивной ролью я и ограничиваюсь. Броситься на ноискъ счастья, приблизить его къ людямъ, разрушить все, что ему мъщаетъ — это я могъ бы только тогда, если бы мон дътскія чувства и мечты безпрепятственно развились и окръпли. А между тъмъ они глохли и умирали во мив лътъ цятнадцать, и только теперь я снова возвращаюсь къ нимъ, и нахожу ихъ бледными, тощими, слабыми. Мий еще нужно возстановлять ихъ, прежде чинъ употреблять въ дило; даи кто знаетъ, удастся-ли возстановить?"...

Намъ кажется, что въ этомъ разсказъ есть черты далеко не исключительныя, а напротивъ, могущія служить общимъ указаніемъ на тъ препятствія, какія встръчаетъ русскій человъкъ на пути самостоятельнаго развитія. Не всъ съ одинаковою силою привязываются къ морали прописей, но никто не уходитъ отъ ея вліянія, и на всъхъ она дъйствуетъ парализующимъ образомъ. Чтобы избавиться отъ нея, человъкъ долженъ много силъ потерять, и много утратить въры въ себя при этой безпрерывной вознъ съ безобразной путаницей сомивній, противоръчій, уступокъ, изворотовъ, и т. п.

Такимъ образомъ, кто сохранилъ у насъ силу на геройство, такъ тому незачъмъ быть героемъ, цъли настоящей онъ не видитъ, взяться за дъло не умъетъ и потому только донкихотствуетъ. А кте понимаетъ, что нужно и какъ нужно, такъ тотъ уже всего себя на это пониманіе и положилъ, и въ практической дъятельности шагу ступить не умъетъ, и сторонится отъ всякаго вмъшательства, какъ Елена въ домашней средъ. Да еще Елена все-таки смълъе и свободнъе, потому что на нее подъйствовала только общая атмосфера русской жизни, но, какъ мы сказали уже, не наложила своей печати рутина школьнаго образованія и дисциплины.

Выходить, что наши лучшіе люди, какихъ мы видали до сихъ поръвъ современномъ обществъ, только что способны понять жажду дъятельнаго добра, сжигающую Елену, и могутъ оказать ей сочувствіе, но никакъ не съумъютъ удовлетворить этой жажды. А это еще передовые, это еще называются у насъ "дъятели общественные". А то большая часть умныхъ

и внечатлительных людей обжить оть гражданских доблестей и носвящаеть себя различным музамь. Хоть бы ть же Шубинь и Версеневь въ "Наканунь": славныя натуры, и тоть и другой умьють цьнить Инсарова, даже стремятся душою вследь за нимь; еслнов имь немножко другое развитіе, да другую среду, они бы тоже не стали спать. Но что же имь делать туть, въ этомъ обществей Перестроить его на свой ладь? Да ладу-то у нихъ неть никакого, и спль то неть. Починивать въ немъ коечто, отрезывать и отбрасывать понемножку разныя дрязги общественнаго устройства? Да не противно-ли у мертваго зубы вырывать, и къ чему это поведеть? На это способны только герои, въ родъ господъ Паншиныхъ и Курнатовскихъ.

Кстати — здѣсь можемъ мы сказать нѣсколько словъ о Курнатовскомъ, тоже одномъ изъ лучшихъ представителей русскаго обра ованнаго общества. Эго новый видъ Паншина, только безъ свѣтскихъ и художественныхъ талантовъ, и болѣе дѣловой. Онъ очень честенъ и даже велакодушенъ; въ доказательство его великодушія Стаховъ, прочащій его въ женихи Еленѣ, приводитъ факгъ, что онъ, какъ только достигъ возможности безбѣдно существовагь своимъ жалованьемъ, тотчасъ отказался въ пользу братьевъ отъ ежегодной суммы, которую назначилъ ему отецъ. Вообще въ немъ много хорошаго: эго признаетъ даже Елена, изображающая его въ цисьмѣ къ Инсарову. Вотъ ея сужденія, по которымъ однимъ только мы и можемъ, впрочемъ, составить понятіе о Курнатовскомъ: онъ въ ходѣ повѣсти не участвуетъ. Разсказъ Елены, впрочемъ, такъ полонъ и мѣтокъ, что больше намъ ничего и не нужно, и потому, вмѣсто пери раза, мы прямо приведемъ ея письмо къ Инсарову:

«Поздравь меня, мылый Динтрій, у меня женихъ. Онъ вчера у насъ обедаль; папенька познакомился съ нимъ, кажется, въ англійскомъ клуов и пригласиль его. Разумћется, онъ пріћажалъ вчера не женихомъ. По добрая мамаша, которой папенька сообщиль свои надежды, шепнула мнв на ухо, что это за гость. Зовуть его Егорь Андреевичъ Курнатовскій: онъ служить оберъ-секретаремъ при сенать. Опишу тебъ сперва его наружность. Онъ небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложенъ; черты у него правильны, онъ коротко острижень, носить большие бакенбарды. Глаза у него небольшіе (какъ у тебя), каріе, быстрые, губы плоскія, широкія; на глазахъ в на губахъ постоянная улыбка, оффиціальная какая-то: точно она у него дежуритъ. Держится онъ очень просто, говорить отчетнию. и все у него отчетнию: онъ ходить, смъется, встъ, словно дело делаетъ. «Какъ она его изучила!» думаещь ты, можетъ быть, въ эту минуту. Да: для того, чтобъ описать тебь его. Да и какъ же не изучать своего жениха! Въ немъ есть что-то жельзное... и тупое. и пустое, въ то же время и честное; говорять, онъ, точно, очень честенъ. Ты у меня тоже жельзный, да не такъ какъ этотъ. За столомъ онъ сидълъ возлѣ меня, противъ васъ сидълъ Шубинъ. Сперва ръчь зашла о какихъ-то коммерческихъ предпріятіяхъ; говорятъ, онъ въ нихъ толкъ знаетъ и чуть-было не брогилъ своей службы. чтобы взять въ руки большую фабрику. Ротъ не догадался: Погомъ Шубинъ заговорилъ о театрь: г. Курнатовскій объявиль, и, я должна сознаться, безь ложной скромности, что онь

ВЪ ХУДОЖЕСТВЕ НИЧЕГО НЕ СМЫСЛИТЬ. ЭТО МИЕ ТЕСЯ НАВОМИЯТО... НО Я ВОЈУМЛАТ ИЛТЬ, МЫ СЪ ДВИТРІСНЕ ВСЕ ТАВИ ИВАЧЕ НЕ ПОНИМАСМЕ ХУГОЖЕСТВЕ. ЭТОГЕ ВАКЕ ОУЛГО ХО-ТЕЛЬ СКАЗАТЬ: Я НЕ ПОЦИМАЮ СТО. ТА ОНО Й НЕ ВУЖВО. ВО РЕ СЛЯГОУСТІЗСИВОМЕ ГОГУДАРСТВЕ ЛОПУСКАСТСЯ. КЪ ПСТЕРОУРГУ В ВЪ СОМИНЕ Й БИЦ ОНЬ. ВЕРОЗОМЕ. ЛОБОЕНО РАВНОДИВСТВЕ, ОНЕ РАЗТ ДАЖЕ ИЗМАЛЬ СЕСЯ ПРОВЕТРЕМЬ. МЫ ТОБОЕНИЕ ЧЕРВООА-ОЧЕ. Й ПОТУМАЛЯ: СЕТИ ОНЕ ДМИТРІЙ ЭТО СКАЗАТЬ. МИЕ ОШ И ВИРАЛИЗО Е. А ЭТОТЕ ПУСКАЙ СЕТИ ОНЕ ДМИТРІЙ ЭТО СКАЗАТЬ. МИЕ ОШ ЕТО ИС ИЗВРАНИЗО Е. А ЭТОТЕ ПУСКАЙ СЕТИ ОНЕ ХВАСТАСТСЯ! СО МНОЮ ОНЕ ОБИЛЕ ОЧЕНЕ 11-К. ВСЕТЬ НИКЬ КОГДА ОНЕ ХОЧЕТЬ ПОХІЗАЛИТЬ КОГО. ОНЕ ГОВОРИТЬ, ЧТО У ТАКТІСТЮ СЕМЕ ВОЗГОВОВНЕ САМОГОВЕТЬ. ТРУГОЛЕСНИТЬ. СИССОБЕНЬ ВЪ САМОПОЖЕРНОВАНИЮ СТЫ БИДИШЬ. Я ОСЯПРИСТВАЕТНАЭ Т.-С. КЪ ВОЛЕРИСТВЯНО СВОИХЪ ВЫГОДЬ. НО ОНЬ ОЭЛЬШОЙ ДЕСПОТЬ. БЕДА ПОПАСТЬСЯ СМУ ВЬ РУКЯ! За СТОЛОМЬ ЗАГОВОРИЛИ О ВЗЯТКАХЪ.

 Я понвмаю. — сказаль онь, что, во многихь случалхь берушій взятку не виновать: онь иначе поступить не могь. А все-таки, если онь подалея, должно его раздавить.

«Я вскрикнула. - Раздавить невиноватаго!

«— Да, ради принципа.

с— Какого? спросиль Шубивъ. Курнатовскій не то смыталея, не то упислія, и сказаль: этого нечего объяснять.—Панаша, который, кажется, благоговість передь нить, подхватиль, что, конечно, нечего, и, къ досаль моей, разговерь этогь прекратилен. Вечеромъ пришель Версеневь и вступиль сь нимь въ ужасный сперь Накогда я еще не видала нашего добраго Андрея Петровича вътакомъ възнения. Гос подинь Курнатовскій вовсе не отрицаль пользы науки, университетовь и т. д. А межлу тімь я понимала негодоване Андрея Петровича. Тоть смотрить на все это какъ на гимнастику какую то. Шубинь подощель во мяв послі стола и сказаль: вотъ этоть и ніжго другой (онъ твоего имени произнести не можеть)—оба правтическіе дюди, а посмотрите, какая разница: тамь настоящій, живой, жизнью дачный илеаль, а здісь даже не чувство долга, а просто сдужебная честность и лільность безь содержанія.— Шубинь умень, и я, для тебя, запомниїа его умныя слова; а но моему, что же общаго между вами? Ты вършшь, а тоть віть, потому что только въ самого себя вършть нельзя».

Елена сразу поняла Курнатовскаго и отозвалась о немъ не совстиъ благосклонно. А между тъмъ, вникните въ этотъ характеръ и приномните своихъ знакомыхъ дѣловыхъ людей, съ честью подвизающихся для пользы общей; навѣрное многіе изъ нихъ окажутся хуже Курнатовскаго, а найдутся-ли лучше — за это поручиться трудно. А все отчего? Именно оттого, что жизнь, среда не дѣлаетъ насъ ни умными, ни честными, ни дѣлтельными. И умъ, и честность, и силы къ дѣятельности мы должны пріобрѣтать изъ иностранныхъ книжекъ, которыя притомъ нужно еще согласить и соразмѣрить со Сводомъ Законовъ. Немудрено, что за этой трудной работой холодѣетъ сердце, замираетъ все живое въ человъкъ, и онъ превращается въ автомата, мѣрно и неизмѣнно совершающаго то, что ему слѣдуетъ. И все-таки, опять повторишь: это еще лучшіе. Тамъ, за ними, начинается другой слой: съ одной стороны совсѣмъ сонные Обломовы, уже окончательно потерявшіе даже обаяніе краснорѣчія, которымъ плѣняли барышень въ былое время, съ другой — дѣятельные Чичиковы, неусып-

ные, неустанные, героические въ достижени своихъ узенькихъ и гаденькихъ интересцевъ. А еще дальше возвышаются Брусковы, Большови, Кабановы, Уланбековы, и все это злое илемя предъявляетъ свои права на жизнь и волю русскаго люда... Откуда тутъ взяться героизму, а если и народится герой, такъ гдѣ набраться ему свъта и разума для того, чтобы не пропасть его силъ даромъ, а послужить добру да правдѣ? И если наберется наконецъ, то гдѣ ужъ геройствовать надломленному и надорванному, гдѣ ужъ грызть орѣхи беззубой бълкѣ? Лучше же и не обольщаться понапрасну, лучше выбрать себѣ какую - нибудь спеціальность да и зарыться въ ней, заглушая недостойное чувство невольной зависти къ людямъ, живущимъ и знающимъ, зачѣмъ они живутъ.

Такъ и поступили въ "Наканунъ" Шубинъ и Берсеневъ. Шубинъ расходился было, узнавши о свадьбъ Елены съ Инсаровымъ, и началъ: "Инсаровъ... Инсаровъ... Къ чему ложное смирение? Ну, положимъ, онъ молодець, онъ постоить за себя; да будто ужъ мы такая совершенвая дрянь? Ну, хоть я, развъ дрянь? Развъ Богь меня такъ-таки всъм и обидълъ? и пр... И тотчасъ же свернулъ, бъднякъ, на художество: "можетъ, — говоритъ, - и я современемъ прославлюсь своими произведеніями"... И точно — онъ сталъ работать надъ своимъ талантомъ, и изъ него замвчательный ваятель выходить. И Берсеневъ, добрый, самоотверженный Берсеневъ, такъ искренио и радушно ходившій за больнымъ Пнсаровымъ, такъ великодушно служившій посредникомъ между нимъ, своимъ сопершикомъ и Еленой, и Берсеневъ, это золотое сердце, — какъ выразился Инсаровъ, -- не можетъ удержаться отъ ядовитыхъ размышленій, уб'єдившись окончательно во взаимной любви Инсарова и Елены. "Пусть ихъ! — говоритъ онъ. — Не даромъ мит говариваль отецъ: мы съ тобой, брать, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, мы — труженики, труженики и труженики. На гвай же свой кожаный фартукъ, труженикъ, да становись за свой рабочій станокъ, въ своей темной мастерской! А солище пусть другимъ сілеть! И въ нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!" Какимъ адомъ зависти и отчаннія въютъ эти несправедливые попреки.— неизвъстно кому и за что!.. Кто-жъ виноватъ во всемъ, что случилось? Не самъ-ли Берсеневъ? Нътъ, русская жизнь виновата: "кабы были у насъ путные люди, по выраженію Шубина, не ушла бы отъ насъ эта давушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, какъ рыба въ воду". А людей путныхъ или непутныхъ делаетъ жизнь, общій строй ея въ известное время и въ извъстномъ мъстъ. Строй нашей жизни оказался таковъ, что Берсеневу только и осталось одно средство спасенія: "изсушать умъ наукою безплодной". Онъ такъ и делаетъ, и ученые очень хвалили, по слованъ

автора, его сочиненія: "О нъкоторыхъ особенностяхъ древне-германскаго права въ дълъ судебныхъ наказаній" и "О значеніи городского начала въ вопросъ цивилизаціи". И еще благо, что хоть въ этомъ могъ найти спасеніе...

Вотъ Еленъ—такъ не оставалось пикакого рессурса въ Россіи послъ того, какъ она встрътилась съ Инсаровымъ и поняла иную жизнь. Оттогото она не могла ни остаться въ Россіи, ни возвратиться въ нее одна, послъ смерти мужа. Авторъ очень хорошо умълъ понять это и предпочелъ лучше оставить ея судьбу въ неизвъстности, нежели возвратить ее подъродительскій кровъ и заставить доживать свои дни въ родной Москвъ, въ тоскъ одиночества и бездъйствія. Призывъ родной матери, дошедшей до нея почти въ ту самую минуту, какъ она лишилась мужа, не смягчилъ ея отвращенія отъ этой пошлой, безцвътной, бездъйственной жизни. "Вернуться въ Россію! Зачъмъ? Что дълать въ Россіи?" — написала она матери и отправилась въ Зару, чтобы потеряться въ волнахъ возстанія.

И какъ хорощо, что она приняла эту решимость! Что, въ самомъ двль, ожидало ее въ Россін? Гдь для нея тамъ цвль жизни, гдь жизнь? Возвратиться опять къ несчастнымъ котятамъ и мухамъ, подавать нищимъ деньги, не ею выработанныя и Богъзнаетъ какъ и почему ей доставшіяся, радоваться успахамъ въ художества Шубина, трактовать о Шеллинга съ Берсеневымъ, читать матери "Московскія Віздомости", да видіть, какъ на общественной арен'в подвизаются правила вт вид'в развыхъ Курнатовскихъ, — и нигдъ не видъть настоящаго дъла, даже не слышать въянія новой жизни... и понемногу, медленно и томительно вянуть, хиръть, замирать... Нътъ, ужъ если разъ она попробовала другой жизни, дохнула другимъ воздухомъ, то легче ей броситься въ какую угодно опасность, нежели осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь... И мы рады, что она избъгла нашей жизни и не оправдала на себъ эти безнадежно-печальныя, раздирающія душу предвіщанія поэта, такъ постоянно и безпощадно оправдывающіяся надъ самыми лучшими, избранными натурами въ Россіи:

> Вдали отъ солица и природы, Вдали отъ свъта и искусства, Вдали отъ жизни и любии, Мелькнуть твои младые годы, Живыя помертвъють чувства, Мечты развъются твои.

И жизнь твоя пройдеть незрима, Въ краю безлюдномъ, безымянномъ, На незамвченной землв, — Какъ исчезаеть облакъ дыма На небв тускломъ и туманномъ, Въ осенней безпредвльной мглв...

Намъ остается свести отдёльныя черты, разбросачныя въ этой стать ва неполноту которой просимъ извиненія у читателей), и сдёлать общее заключеніе.

Инсаровъ, какъ человъкъ сознательно и всецъю проникнутый великой идеей освобожденія родины и готовый принять въ ней дъятельную
роль, не могъ развиться и проявить себя въ современномъ русскомъ обществъ. Даже Елена, такъ полно умъвшая полюбить его и такъ слиться съ
его идеями, и она не можетъ оставаться среди русскаго общества, хотя
тамъ—всъ ея близкіе и родные. И такъ, великимъ идеямъ великимъ сочувствіямъ нѣсъ еще мъста среди насъ?.. Все героическое, дъятельное
должно бъжать отъ насъ, если не хочетъ умереть отъ бездъйствія или погибнуть напрасно? Не такъ-ли? Не таковъ-ли смыслъ повъсти, разобранной нами?

Мы думаемъ, что пѣтъ. Правда, для широкой дѣятельности пѣтъ у насъ открытаго поприща; правда, ваша жизнь проходитъ въ мелочалъ, въ плутияхъ, интрижкахъ, сплетняхъ и подличаный; правда, наши гражданскіе дѣятели лишены сер цца и часто кръпколобы; наши умники палецъ о палецъ не ударятъ, чтобы доставить торжество своимъ убѣжденіямъ, наши либералы и реформаторы отправляются въ своихъ проектахъ отъ юридическихъ тонкостей, а не отъ стона и вопля несчастныхъ братьевъ. Все это такъ. Но мы все-таки думаемъ, что теперь въ нашемъ обществѣ есть уже мѣсто великимъ идеямъ и сочувствіямъ, и что недалеко время. когда этимъ идеямъ можно будетъ проявиться на дѣлъ.

Дъло въ томъ, что какъ бы ни была плоха наша жизнь, но въ ней уже оказалась возможность такихъ явленій, какъ Елена. И мало того, что такіе характеры стали возможны въ жизни, они уже охвачены художническимъ сознаніемъ, внесены въ литературу, возведены въ типъ. Елена—лицо идеальное, но черты ея намъ знакомы, мы ее понимаемъ, сочувствуемъ ей. Что это значитъ? То, что основа ея характера — любовь къ страждущимъ и притъсненнымъ, желаніе дъятельнаго добра, томитальное исканіе того, кто бы показалъ, какъ дълать добро, — все это, наконецъ, чувствуется въ лучшей части нашего общества. И чувство это такъ сильно и такъ близко къ осуществленію, что оно уже не обольщается, какъ прежде, ни блестящимъ, но безплоднымъ умомъ и талантомъ, ни добросовъстной, но отвлеченной учено тью, ни служебными добродътелями, ни даже добрымъ, великодушнымъ, но пассивно развитымъ сердцемъ. Для удовлетворенія нашего чувства, нашей жажды нужно болъе: нуженъ человъкъ, какъ Инсаровъ, — но русскій Инсаровъ.

На что жъ онъ намъ? Мы сами говорили выше, что намъ не нужно героевъ-освободителей, что мы народъ владътельный, а не порабощенный...

Да, извић мы ограждены, да если бъ и случилась вићшния борьба, то мы можемъ быть спокойны. У насъ для всеннихъ подвиговъ всегда было довольно героевъ, и въ восторгахъ, какіе донынв испытывають барышни отъ офицерской формы и усиковъ, можно видіть неоспоримое доказательство того, что общество наше умветь цвнить этихъ героевъ. Но развъ мало у насъ враговъ внутреннихъ? Развъ не нужна борьба съ ними и развъ не требуется геройства для этой борьбы? А гдъ у насъ люди, способные къ дълу? Гдъ люди пъльные, съ дътства охваченные одной идеей, сжившіеся съ ней такъ, что имъ нужно— или доставить торжество этой идеъ, или умереть? Нътъ такихъ людей, погому что наша общественная среда до сихъ поръ не благопріятствовала ихъ развитію. И воть отъ нея то, отъ этой среды, отъ ея пошлости и мелочности и должны освободить насъ новые люди, которыхъ появленія такъ нетеривливо и страстно ждетъ все лучшее, все свѣжее въ нашемъ обществѣ.

Трудно еще явиться такому герою: условія для его развитія и особенно для перваго проявленія его дъятельности крайне неблагопріятим,

Трудно еще явиться такому герою: условія для его развитія и особенно для перваго проявленія его д'явтельности крайне неблагопріятны, а задача гораздо сложніве и трудніве, чімь у Инсарова. Врагь вившній, притівснитель привиллегированный гораздо легче можеть быть застигнуть и побіждень, нежели врагь внутренній, разсіянный повсюду въ тысячів разных видовь, неуловимый, неуязвимый, а между тімь тревожащій васъ всюду, отравляющій всю жизнь вашу и не дающій вамь ни отдохнуть, ни осмотрівться въ борьбів. Сть этимъ внутреннимъ врагомъ ничего не сдівлаещь обыкновеннымъ оружіємь; отъ него можно избавиться только перемівнивши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, въ которой онъ зародился, вырось и усилился, и обвізявши себя такимъ воздухомъ, которымъ онъ дышать не можеть.

Возможно-ли это? Когда это возможно? Изъ этихъ вопросовъ можно отвъчать категорически только на первый. Да, это возможно, и вотъ почему. Мы говорили выше о томъ, какъ наша общественвая среда подавляетъ развитіе личностей, подобныхъ Инсарову. Но теперь мы можемъ сдълать дополненіе къ своимъ словамъ: среда эта дошла теперь до того, что сама же и поможетъ явленію такого человъка. Въчная пошлость, мелочность и апатія не могутъ же быть законнымъ удъломъ человъка, и люди, составляющіе общественную среду нашу и закованные въ ея условія, давно уже поняли всю тяжесть и нельпость этихъ условій. Одни скучаютъ, другіе рвутся всты силами куда-нибудь, только бы избавиться отъ этого гнета. Разные исходы придумывались, разныя средства употреблялись, чтобы чъмъ-нибудь оживить мертвость и гнилость нашей жизни; но все это было слабо и недъйствительно. Наконецъ, теперь появляются уже такія понятія и требованія, какія мы видимъ въ Еленъ; требованія эти

принимаются обществомъ съ сочувствіемъ: мало того — они стремятся къ двятельному осуществленію. Это значитъ, что ужъ старая общественная рутина отживаетъ свой въкъ; еще н'сколько колебаній, еще н'сколько сильныхъ словъ и благопріятныхъ фактовъ, и яватся дъятели!

Выше мы заматили, что рашимость и энергію сильной натуры убиваеть у насъ еще въ самомъ началъ то идиллическое восхишение всъмъ на свътъ. то расположение къ лънивому самодовольству и сонному нокою, кот фое встрвчаетъ каждый изъ насъ, еще ребенковъ, во всемъ окружающевъ и къ которому его тоже стараются пріучить всевозможными совъгами и наставлевіями. Но въ последнее время и это условіе сильно изм'єнилось. Вездъ и во всемъ замътно самосознаніе, нездъ понята несостоятельность стараго порядка вещей, везтъ ждутъ реформъ и исправлений, и никто уже не убаюкиваетъ своихъ дътей пъснью о томъ, какое непостижниое совершенство представляеть современный порядокъ дъль въ Россіи. Напротивъ, теперь каждый ждеть, каждый надвется, и двти теперь подростають, напитываясь надеждами и мечтами лучшаго будущаго, а не привязываясь насильно къ трупу отжившаго прошедшаго. Когда придетъ ихъ чередъ приняться за дъло, они уже внесуть из него ту энергію, послі довательность и гармовію сердца и мысли, о которых в мы едва могли пріобрасти теоретическое понятіе.

Тогда и вълитературъ явится полный, ръзко и живо очерченний, образъ русскаго Инсарова. И не долго намъ ждать его: за это ручается то лихорадочисе, мучительное нетеривне, съ которыми ми ожидаемъ его появления въ жизни. Онъ необходимъ для насъ, безъ него вся наша жизнь идетъ какъ-то не въ зачетъ, и каждый день ничего не значитъ с мъ по себъ, а служитъ только кануномъ другого дня. Придетъ же онъ, наконецъ, этотъ день! И, во всякомъ случаъ, канунъ недалекъ отъ слъдующаго за нимъ дня: всего то какая-нибудь ночь раздъляетъ ихъ!..

**Кобзарь.** Тараса Шевченка. Коштомъ Цлатона Семеренка. Спб. 1860 г.

Появленіе стихотвореній Шевченка интересно не для однихъ только страстныхъ приверженцевъ малороссійской литературы, но и для всякаго любителя истинной ноэзіи. Его произведенія интересуютъ насъ совершенно независимо отъ стараго спора о томъ. возможна-ли малороссійская литература: споръ этотъ относился къ литературъ книжной, общественной, цивилизованной, — какъ хотите называйте, — но, во всякомъ случав, къ литературъ искусственной, а стихотворенія Шевченка именно тъмъ и отли-

чаются, что въ нихъ искусственнаго ничего ивтъ. Конечно, по-малороссійски не выйдеть хорошо "Онвгинъ" или "Герой нашего времени"; такъ же какъ не выйдутъ статьи г. Безобразова объ аристократіи или моральныя статьи г жи Туръ о французскомъ обществъ. Понечно, всъ эти статьи можно перевести и на малороссійский языкъ, но считать этотъ языкъ дъйствительно малороссійскимъ будетъ великое заблужденіе. Тъ малороссы, которымъ доступно все, что занимаетъ Онъгина и г жу Туръ, говорятъ уже почти по-русски, усвоивши себъ весь кругъ названій предметовъ, постепенно образовавшійся въ русскомъ языкъ цивилизацією высшихъ классовъ общества. Настоящіе же малороссы, свободные отъ вліянія русскаго языка, такъ же чужлы языку книжной литературы, какъ и нашя простоязыка. языка, такъ же чужды языку книжной литературы, какъ и наши просто-людины. Въдь и у насъ языкъ литературы — собственно не русскій, и че-резъ сто льтъ надъ нами, конечно, будутъ такъ же сивяться, какъ мы те-нерь сивеися надъ языкомъ ассамблей петровскаго времени. Но у насъ безтолковая сивсь пяти языковъ организовалась довольно скоро и составила то, что мы теперь называемъ языкомъ образованнаго общества. Это оттого, во первыхъ, что намъ ужъ рѣшительно нечѣмъ было взаться; новыя полятія и новые предметы врываются толной, назвать ихъ не умѣемъ, да и около насъ негдѣ взять; а между тѣмъ названіе нужно, во что бы то ви стало. Поневолѣ брали готовое или выдумывали какъ попадется. Вовторыхъ, книжныя понятія и слова хотя и не прошли въ народъ, но всетими захратили у посталова и попадется. таки захватили у насъ довольно значительную часть общества и пронивли въ законодательство. Въ Малороссіи эта масса общества, занятаго литературнымъ языкомъ, несравненно меньше, да нѣтъ и имъ такой нужды перевертывать на свой ладъ каждое название вновь являющагося у нихъ предмета: они получаютъ эти названия не изъ какого-нибудь латинскаго языка,—гдъ ужъ какъ ни бейся, а надобно "us" отбросить и дать слову свое склонение,—а изъязыка родственнаго, имъющаго почти тъ же формы. Такимъ образомъ слова, принятыя въ русскомъ, целикомъ входять въ малороссійскій языкъ, и случается встръчать такія малороссійскія статьи, въ которыхъ почти только що, ажь, бо, ча, и тому подобныя частицы и напоминають объ особенностяхъ наръчія.

Но, само собою разумъется, что никто не откажетъ малороссійскому, какъ всякому другому, народу въ правъ и способности говорить своимъ языкомъ о предметахъ своихъ нуждъ, стремленій и воспоминаній; никто не откажется признать народную поэзію Малороссіи. И къ этой-то поэзіи должны быть отнесены стихотворенія Шевченка. Онъ — поэтъ совершенно народный, такой, какого мы не можемъ указать у себя. Даже Кольцовъ нейдетъ съ нимъ въ сравненіе, потому что складомъ своихъ мыслей и даже своими стремленіями иногда отдаляется отъ народа. У Шевченка, напро-

тивъ, весь кругъ его думъ и сочувствій находится въ совершенномъ соотвътствій со смысломъ и строемъ народной жизни. Овъ вышелъ изъ народа, жилъ съ народомъ, и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни быль съ нимъ кръпко и кровно связанъ. Быль онъ и въ кругу образованнаго общества, малорусскаго и великорусскаго, но долгое время встръчалъ въ немъ лишь отталкивающую презрительную грубость, притъсненія, насилія, несправедливость, и за то, при первыхъ же лучахъ правственнаго, свободнаго сознанія. тамъ силінае устремился онъ душою къ своей бъдной родинъ, припоминая ея сказанія, повторяя ея пісни, представляя себъ ея жизнь и природу. Что вытеривлъ Шевченко въ юныхъ летахъ и на чемъ воспитывался умъ и талантъ его, объ этомъ онъ самъ разсказалъ недавно въ письмъ къ одному изъ редакторовъ "Народнаго Чтенія" ("Нар. Чт. " 1860 г., кв. II, стр. 229 - 236). Мы решаемся привести почти все это письмо, полагая, что разсказы о судьов лидей, подобныхъ Шевченку, должны получать самую широкую извъстность въ нашей публикъ. Вотъ разсказъ Шевченка:

«Я-сынъ крапостнаго крестьянина, Григорія Шевченка. Родился въ 1814 гозу февраля 25, въ селъ Кириловкъ, Звенигородскаго убяда. Клевской губернів, въ вибній одного поміщика. Лишившись отца и матери на осьмомъ году жизни, пріютилея я въ школь у приходскаго дьячка, въ видь школяра пописача. Эги школяры въ отношеній къ дьячкамъ то же самое, что мальчики, отданные родителями вли иною властью, на выучку къ ремесленникамъ. Права надъ ними мастера не имъютъ никакихъ определенныхъ границъ: они – полные рабы его. Все домашния работы и выполнение всевозможныхъ прихотей самого хозявна и его домашнихъ лежатъ на нихт безусловно. Предоставляю вашему воображению представить, чего могь требовать оть меня дьячокъ, - замътъте, горькій пьяница, - и что и должень быль веполнять съ рабской покорностію, не имъя ни единаго существа въ міръ, которое заботилось бы, или могло заботиться, о моемъ положении. Какъ бы то ви было, только въ течение двухъ-льтвей тяжкой жизни въ такъ-называемой школь, прошель и Граматку, Часлочень и, наконецъ, Псалтырь. Подъ конецъ моего школьнаго курса, дьячокъ посылалъ меня читать, вийсто себя. Псалтырь по усопшихъ крипостныхъ лушахъ и благоволилъ платить мий за то десятую конійку, въ виде поощрення. Моя помощь доставляла суровому учителю возможность предаваться больше прежняго дюбимому своему занятію, витетт съ своимъ другомъ, Іоною Лимаремъ, такъ что, по возвращени отъ молитвословнаго подвига, я почти всегда находиль ихъ обоихъ мертвецки пьяными. Дьячокъ мой обходился жестоко не со мною однимъ, но и съдругими, и мы всё глубоко его ненавидели. Безтолковая его придирчивость сделала насъ въ отношении къ нему лукавыми и мстительными. Мы налували его при всякомъ удобномъ случав и дълали ему всевозможныя пакости. Этотъ первый деспотъ, на котераго я наткнулся въ моей жизни, поселилъ во мив на всю жизнь глубокое отвращение и презръние ко всякому насилію одного человъка налъ другимъ. Мое дітское сердце было оскорблено этимъ исчадіемъ деспотическихъ семинарій миллюнъ разъ. и я кончилъ съ нимъ такъ, какъ вообще оканчиваютъ выведенные изъ терптнія беззащитные люди. - местью и быствомъ. Найдя его однажды безчувств ино пьянымъ, я употребиль пр тивъ вего собственное его оружіе-розги и, насколько хватило дітских в силь, отплатиль ему за всвего жестокости. Изъ вскур пожитковъ пъяницы дъячка драгоцениващею вещью казалась мив всегда какая-то книжечка съ кунштиками, то есть гравированными картинками, втроятно, самой плохой работы. Я не счель гртхомъ или не устояль противъ искушенія похитить эту драгоцівность, и ночью біжаль въ містечко Лысянку.

«Тамъ я нашелъ себі новаю учителя вь особі маляра дьякона, который, какъ я вскорь убъдился, очень мало отличался своими правилами и обычаями отъ моего перваго наставника. Три дня я терикцию таскать на гору ветрами воду изътръчки Тикача и растираль на жельзномь листь краску мыдику. На четвертый день терприрожения изменило, и и бржань въ соло Тарасовку къ делику матару, стававшемуся въ окологкъ изображенјемъ великомученика Пикиты и Изача Вонча. Късемуто Анеллесу обратился я, съ твердою рышимостью перепести в в испытанія, какъ думаль я тогда, перазлучныя со всякою наукою. Усвоить себь его великое вскусство. хоть въ самой малой степени, желаль я страстно. По-увы! - Аветтесь по мотрыль внимательно на мою левую руку в отклыль мив на треть. Онь облавиль мив, къ моему крайнему огорченю, что во мы, ньть способностей на къ чему, ни даже къ шевству или бондарству.

«Потерявъ всякую надежду сділаться когда-нибудь хоть посредственнымъ маляромъ, съ сокрушеннымъ сердцемъ возвратилел я въ родное село. У меня была въ виду скромная участь, которой мое воображение призыло, однокожь, какую то простодушную предесть: я хотыль сдылаться, какъ выражается Гомерь, пастыремы стадъ непорочнымъв, съ темъ, чтобы, ходя за громадскою ватагою, чигать свою лютезную краденную книжку съ кунштиками. По и это не удалось мак. Помещику, только-что наслідовавшему достояніе отца своего, понадобился расгоропный мальчикь, и оброванный школяръ-ородяга попалъ прямо въ тиковую куртку, въ такте же шаровары и ваконецъ-въ комнатные козачки.

«Изобратение комнатныхъ казачковъ принадлежитъ цивилизаторамъ задивировской Украины-полякамъ; помъщики иныхъ национальностей перенимали и перенимають у нихь козачковь, какь выдумку, нео порим умную. Выкраю ных гда к зацкомъ сделать козака ручнымь съ самаго детства - го то же самое, что въ Ленандін покорить произволу человька быстроногаго оденя... Польскіе помічний былого Временя содержали козачковъ, кромѣ лакейства, еще въ качествъ музыкантовъ и танцоровъ. Козачки вгради для панской потехи веселыя двусмысленныя песевки, сочиненныя народною музыкою съторя подъльяную руку, и пускались передъланами, какъ говорять поляки, сюды-туды-натрисюды. Новьйшіе представители вельможной шляхты, съ чувствомъ просвъщивной гордости, называють это покровитильствомъ украинской народности, которымъ-де всегда отличанись ихъ предки. Мой помъщикъ, въ качествъ русскаго нъмца, смотрълъ на козачка болье практическимъ взглядомъ и, покровительствуя моей народности на свой манерь, вміниль мні въ обязанность только молчание и неподвижность въ уголку передней, пока не раздастся его голосъ, повельвающій подать стоящую туть же возль него трубку, или налить у него передъ носомъ стаканъ воды. По врожденной мнв продерзости характера, я нарушаль барскій наказъ, напівня чуть слышнымъ голосомь гайдачацкія унылыя пісни и срисовывая украцкою картины суздальской школы, украшавшія панскіе покои. Рисоваль я карандашемъ, который - признаюсь въ этомъ безъ всякой совъсти - украль у конторщика.

«Баринъ мой быль человькъ дъятельный: онъ безпрестанно вздиль то въ Мевъ, то въ Вильно, то въ Петербургъ и таскалъ за собой въ обозъ меня, для сидънья въ передней, подаванья трубки и тому подобныхъ на юбностей. Нельзя сказать, чтобъ я тяготился своимъ тогдашнимъ положениемъ: оно только теперь приводитъ меня въ ужасъ и кажется мнъ какимъ-то дикимъ и несвязнымъ сномъ. Въроятно, многіе изъ русскаго народа посмотрятъ когда-то по моему на свое прошедшее. Странствуя съ своимъ бариномъ съ одного постоялаго двора на другой, я пользовался всякимъ удобнымъ случаемъ украсть со станы дубочную картинку и составиль себа такимъ образомъ драгоцънную коллекцію. Особенными моими любимцами были историческіе герои, какъ-то: Соловей-Разбойникъ, Кульневъ, Кутузовъ, козакъ Платовъ и другіе. Впрочемъ, не жажда стяжанія управляла мною, но непреодолимое желаніе срисовать

съ нихъ какъ только возможно верныя копів.

«Однажды, во время пребыванія нашего въ Вильно, въ 1829 г., декабря 6, павъ

и нани убхали на балъ въ такъ-называемые рессирсы (дворянское собраніе), по случаю тезоимевитства въ Бозь почившаго императора Наколая Павловича. Въ домь все успокоилось, успуло. Я зажегъ свъчку въ усливенной комнать, развернулъ съ и краденыя сокровища и, выбравъ изъ нихъ козака Платова, принядся съ благ говъніемъ копировать. Время летьло для меня незамьтно. Уже я добрател до маленькихъ козачковъ, гарцующихъ около дюжихъ копыть генеральскиго коня, какъ позади меня отворилась дверь и вошелъ мой помыщикъ, возвративанием съ блага. Онъ съ остервеньніемъ выдралъ меня за уши и надаваль и оцечинь—не за мое и кусство, нъть! (на искусство онъ не обратиль внимания), а за то, что и могъ бы сжечь не только домъ, но и горотъ. На другой день онъ вельль кучеру Ситоркъ выпороть меня хорошенько, что и было исполнено съ достодолжнымъ усерлемъ.

«Въ 1832 году мят исполнилось восемнациять літь, и такъ какъ належды моего помещика на мою лакейскую расторочность не оправлались, то онь, внявь неотступной моей просьбф, законтрактовать меня на четыре года разныхъ жавопреныхъ дыть цеховому мастеру, некоему Ширлеву, въ С.-Петер орга. Ширлевь соедвияль въ себъ всв качества дъячка-спартанца, дъякона-маляра и другого дъячка - хиромантика; но, несмотря на весь гнетъ тройственнаго его генія. я. въ свытамя весеннія ночи, бівгаль въ Льтній садъ рисовать со статуй, украшающихъ сте прамединейное создание Петра. Въ одинъ изъ такихъ селисовъ познакомился я съ художникомъ Иваномъ Максимовиченъ Сошенкомъ, съ которымъ и до сихъ поръ нахожусь въ самыхъ искреннихъ братскихъ отношенияхъ. По совьту Сошенка, я началь пробовать акварелью портреты съ натуры. Для многочи-ленных в грязных в пробы терпыливо служиль мив моделью другой мой земляйь и другь, козакь Ивань Ничиноренко, дворовый человъкъ нашего помъщика. Однажды помъщикъ увидать у Пичипоренко мою работу, в она ему до того поправилась, что онъ началь удогреблять меня для сиятия портретовъ съ любимыхъ своихъ любовницъ, за которые иногда награждалъ меня цілымъ рублемъ серебра.

«Въ 1837 году Сошенко представить меня конференцъ секретарю Академія Художествъ, В. И. Григоровичу, съ просьбою — освободить меня отъ моей жалкой участи. Григоровичь передаль его просьбу В. А. Жуковскому. Тотъ сторговатся предварительно съ мовмъ помъщвкомъ и просидъ К. П. Брюдова написать съ него, Жуковскаго, портретъ, съ цалью разыграть его въ частной дотерев. Великій Брюдовъ тотчасъ согласился, и вскоръ портретъ Жуковскаго быль у него готовъ. Жуковскій, съ помощью графа М. Ю. Вісльгорскаго, устроилъ дотерею въ 2.300 рубл. ассигнаціями, и этою цѣною куплева была моя свобода, въ 1835 году апръля 22.

«Съ того же дня началъ я постщать классы Академіи Художествъ и вскоръсдъдался однимъ изъ любимыхъ учениковъ-говарищей Брюлова. Въ 1544 году удостоился я званія свободнаго художника.

«О первыхъ литературныхъ монхъ опытахъ скажу только, что они начались въ томъ же Лътнемъ саду, въ свътлыя безлунныя ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращеннаго жизнью въ школь, въ помъщичьей передней, на постоялыхъ дворахъ и въ городскихъ квартирахъ; но, когда дыхание свободы возвратило монмъ чувствамъ чистоту первыхъ льтъ дътства, проведенныхъ подъ убогою батьковскою страхою, она, спасибо ей, обняза и призасказа меня на чужой сторонь. Изъ первыхъ, слабыхъ монхъ опытовъ, написанныхъ въ Льтнемъ салу, напечатана только одна балгада Причиния. Какъ в когда написались последовавшія за нею стихотворенія, объ этомъ теперь я не чувствую охоты распространяться. Краткая исторія моей жизни, набросанная мною въ этомъ нестройномъ разсказѣ въ угожденіе вамъ, сказать правду, обощнась мнь дороже, чьмъ я думалъ. Сколько льть потерянныхъ! сколько цвътовъ увядшихъ! И что же я купиль у судьбы своими усидіями не погибнуть? Едва-ли не одно страшное уразумініе своего прошедшаго. Оно ужасно, оно темъ более для меня ужасно, что мои родные братья и сестра. о которыхъ мий тяжело было вспоминать въ своемъ разскази, до сихъ поръ-крипостные. Да, милостивый государь, они крыпостные до сихъ поръ!»

И такъ, вотъ какія внечатлінія ложились на душу юноши за предъломъ простой жизни "подъ убогою батьковскою стрехою"; котъ что встретиль онь "въ школь, въ помещичьей передней, на постоялыхъ дворахъ и въ городскихъ квартирахъ"... Подобныя впечатленія способны были убить юную душу, развратить всв правственныя силы, загубить и затоптать человека Но, видно, богато быль одарень душевными силами этотъ мальчикъ, что онъ вышелъ, хоть и не соясфиъ, можетъ быть, невредимо изъ всего этого. А если ужъ вышелъ, то онъ не могъ не обратиться къ своей Украйнъ, не могъ не посвятить всего себя тому, что въяло на него святыней чистаго воспоминанія, что освежало и согревало его въ самыя трудныя и темныя минуты жизни... И онъ остался въренъ своимъ первоначалінымъ двямъ, въренъ своей Украйнъ. Онъ поетъ преданія ся прошлой жизни, поетъ ея пастоящее- не въ техъ кругахъ, которые наслаждаются плодами новійшей русской цивилизаціи, а въ тіхъ, гді сохранилась безыскусственная простота жизни и близость въ природъ. Оттого-то онъ такъ близокъ къ малороссійскимъ думамъ и песнямъ, оттого-то въ немъ такъ и слышно въяніе народности. Онъ смело могъ сказать о своихъ думахъ:

AVME MOI, IVME MOI, Квіти мої, діти! Вироставъ васъ, доглядавъ васъ,-Де жъ мині васъ діти? Въ Украіну идіть, діти, Въ нашу Украіну, По-підъ тинню, спротами, А я-тутъ загину. Тамъ найдете щире сердце, И слово ласкаве, Тамъ найдете щиру правду А ще, може, й славу... Привитай же, моя ненько, Моя Украіно, Моіхъ дітокъ неразумянхъ, Якъ свою дитину.

И мы не сомнъваемся, что Украйна съ восторгомъ приметъ "Кобзаря", давно ужъ ей, впрочемъ, знакомаго. Онъ близокъ къ народной пъснъ, а извъстно, что въ пъснъ вылилась вся прошедшая судьба, весь настоящій характеръ Украйны; пъсня и дума составляютъ тамъ народную святыню, лучшее достояніе украинской жизни: въ нихъ горитъ любовь къ родинъ, блещетъ слава прошедшихъ подвиговъ; въ нихъ дышетъ и чистое, нъжное чувство женской любви, особенно любви материнской; въ нихъ же выражается и та тревожная оглядка на жизнь, которая заставляетъ козака, свободнаго отъ битвы, "искать свою долю". Весь кругъ

жизненныхъ насущныхъ интересовъ охватывается въ пъснъ, сливается съ нею, и безъ нея сама жизнь дълается невозможною. По словамъ Шевченка, —

Наша дума, наша пісня, Не вмре, не загиве... Отъ де, люде, наша слава, Слава України! Безъ золота, безъ каменю, Безъ хитрої мови. А голосна та правдива. Якъ Господа слово.

У Шевченка мы находимъ всъ элементы украинской народной изсни. Ея историческія судьбы внушили ему цълую поэму "Гайдамаки", чудноразнообразную, живую, полную силы и совершенно върную народному характеру, или по крайней ифрф характеру малороесійскихъ историческихъ думъ. Поэтъ совершенно проникается настроенимъ эпохи, и только въ лирическихъ отступленіяхъ виденъ современный разсказчикъ. Онъ не отступиль, напр., предъ изображениемь того случая, когда гайдамацкий герой Гонта убиваетъ своихъ малольтнихъ дътей, узнавь, что ихъ сдълали католиками въ језунтскомъ коллегічмъ; онъ долго останавливается надъ этимъ эпизодомъ и съ любовью рисуеть подробности и последствія убійства. Не отступиль онъ и предъ изображениемъ произведенияхъ гайдамаками ужасовъ, въ главе "Венкетъ у Лисянци"; не отступилъ и предъ трудною задачею воспроизвести народныя сцены въ Чигиринъ (въглавъ: "Свято въ Чигирини"). Много надо поэтической силы, чтобы приняться за такіе предметы и не изм'внить имъ ни однимъ стихомъ, не внести своего, современнаго воззрвнія ни въ одномъ намекв. А Шевченко именно выполниль свое дело такъ, что во всей полив сохранено полное единство и совершенная верность характеру казацкихъ возстаній на ляховъ, сохранившемуся почти неизменнымъ до довольно поздняго времени. Сила козацкой ненависти къ ляхамъ выражается у Шевченка въ восклицаніи казака Ереми, у котораго похитили они невъсту. "Отчего не умеръ я вчера, еще не зная объ этомъ, -- говорить онъ... А теперь если и умру, такъ все равно-изъ гроба встану для того, чтобы мучить ляховъ ".

Но въ лирическихъ отступленіяхъ, какъ сказали мы, является предъ нами современный поэтъ, любящій славу родимаго края и съ грустной отрадой припоминающій подвиги отважныхъ предковъ. Приведемъ одно изъ такихъ отступленій, которое особенно поразило насъ своею глубокою грустью 1):

<sup>1)</sup> Мы приводимъ всё стихи въ подлинникѣ; они, кажется, такъ понятны, что иѣтъ надобности переводить ихъ. Замѣтимъ только, что по ореографіи, принятой въ книгѣ Шевченка и сохраненной нами, і — есть острое наше и, а и — тоть средній звукъ между и и ы, который такъ характеризуетъ малороссійское нарѣчіе.

Гомоніла Украіна, Довго гомоныя, Довго, довго кровъ степами Текла-черновила. Текла--текла, та й висохла. Степи зеленнотъ: Діди лежить, а надъ ними Могили синіють. Та що съ того, що високі? Ніхто іхъ не знае, Ніхто широ не заплаче, Ніхто не згалае. Тілько вітерь тихесенько Повіс надъ вими. Тілько роса ранесенько Слезами дрібними Іхъ умяе. Зійде солнце. Осушить, пригріе; А унуки? імь байдуже, Жито собі сіють. Богато іхъ, а хто скаже, Де Гонги могила,-Мученика праведного Де похоронили? Де Залізнякъ, душа щира. Ле одпочивае? Тяжко! важко!...

Кромъ "Гайдамаковъ", въ "Кобзаръ" напечатаны еще "Иванъ Підкова", "Тарасова Нічь", "Гамалія" — небольшія пьесы тоже историческо-козацкаго содержанія.

Не менъе любопытны пьесы и въ другомъ родъ, пьесы, изображающія лихо и недолю обыкновенной жизни и нъжное чувства дъвической и материнской любви. Особенно живо и поэтично изображаются эти чувства въ трехъ прелестныхъ поэмахъ: "Тополя", "Наймичка" и "Катерина". Въ "Катеринъ" вы видите несчастіе бъдной дъвушки, которая полюбила москаля, офицера. Начинается поэма добродушнымъ обращеніемъ:

Кохайтеся, чернобріві, Та не зъ Москалями. Бо Москалі—чужі люде, Роблять лихо зъ вами. Москаль любить жартуючи, Жартуючи кине; Піде въ свою Мссковщину, А дівчина гине.

Но эта откровенная, простая мораль, такъ добросердечно высказываемая, вовсе не кладетъ дидактическаго оттинка на всю повъсть, которая, напротивъ, вся исполнена самой свъжей, неподдъльной поэзіи. У

Катерины родился сынъ. и она идетъ въ "Московщину" — отыскивать отца его. Прощаніе матери съ ней, ея путь, ея встрѣча съ милымъ, который ее отталкиваетъ, все это изображено съ тою нѣжностью грусти, съ тою глубиною и кротостью сердечнаго сожалѣнія, равныя которымъ встрѣчаются именно только въ малороссійскихъ пѣсняхъ. Въ "Наймичкъ" представляется исторія дѣвушки, подкинувшей своего ребенка къ бездѣтнымъ старикамъ, потомъ нанявшейся къ нимъ въ служанки, всю свою жизнь заключившей въ материнской любви и только предъ смертью открывшей сыну, что она — мать его. Весь этотъ разсказъ получаетъ особенную прелесть отъ той совершенной простоты, съ которою из бражается все дѣло. Ни одного фразистаго мѣста, ни одного хвастливаго стиха; все такъ ровно, спокойно, какъ будто покорная, тихая преданность этой матери перешла въ душу самого поэта...

Вообще, спокойная грусть, не похожая ни на безилодную то ку нашихъ романическихъ героевъ, ни на горькое отчаяніе, заливаемое часто
разгуломъ, но тъмъ не менъе тяжелая и сжимающая сердце, составляетъ
постоянный элементъ стихотвореній Шевченка. Какъ вообще въ малороссійской иоэзіи, грусть эта имъетъ созерцательный характоръ, переходитъ
часто въ вопросъ, въ думу. Но это не рефлексія, это движеніе не головнос, а прямо выливающееся изъ сердца. Отгого оно не охлаждаетъ теплоты чувства, не ослабляетъ его, а только дълаетъ его сознательнъе,
яснъе, — и оттого, конечно, еще тяжеле. Вотъ размышаеніе поэта по
поволу оскорбленій, которыхъ натериълась въ селъ Катерина, родивши
сына:

Оттаке-то на сімъ світі Роблять людямь люде! Того вяжуть, того рыкуть. Той самъ себе губить... А за віщо? Святий знае! Світь, бачця, широкий, Та нема въ немъ прихилитись Въ світі одинокимъ. Тому доля запродала Одъ краю до краю, А другому оставила Те, де заховають. Le mos mi anose, de mos mi donni. Illo cepue scipasocs Зъ ними жити, стъ лыбити? Пропали, пропали!

Въ такомъ родъ постоянно бываютъ думы поэта. Мы не беремъ на себя оцънки и указанія всъхъ поэтическихъ достоинствъ Шевченка; мы указываемъ только на нъкоторыя стороны его произведеній, могущія и

въ великоруссахъ, мало знакомихъ съ Малороссіей, какъ мы, пробудить сочувствіе. Поэтому мы и беремъ болье общія веши, такія мысли и чувства, которыя, будучи народно-украинскими, понятны и близки, однако, всякому, кто не совсьмъ извратилъ въ себъ лучшіе человъческіе инстинкты. Думаемъ, что маленькія разницы малороссійскаго нарьчія отъ русскаго не помышали читателямъ понять наши выписки.

## Сочиненія А. И. Подолинскаго. Два тома, Свб. 1860 г.

Одинъ глубокомысленный фельетонисть, а можеть быть, и библіографъ, говорилъ недавно гдв-то, что нашу опоху въ литературф можно назвать "эпохою полныхъ собраній". Оно, если хотите, не остроумно и даже нескладно, но, твмъ не менве, справедливо. Кто не собиралъ и не издавалъ своихъ сочиненій въ послѣдніе годы! Люди, которыхъ всв до того забыли, что уже никто о нихъ понятія не имветъ, вдругъ являются съ полнымъ собраніемъ своихъ сочиненій… Теперь недостаетъ, кажется, только полнаго собранія твореній барона Розена, Өедора Кони, Грекова, Ознобишина и г-жи Каролины Павловой, для того, чтобы составилась полная русская библіотека всвхъ нашихъ поэтовъ. Можно надъяться, что скоро этотъ недостатовъ будетъ пополненъ, какъ пополнился теперь одинъ изъ пробъловъ въ нашей литературв изданіемъ стихотвореній А. П. Подолинскаго.

Что сказать объ этомъ поэтъ? Рывшись нъкогда въ старинныхъ журналахъ, мы помнимъ, что имъ восхищались "Галатея" и "Сынъ Отечества", что его жестоко отдълалъ однажды за "Борскаго" эксъ-студентъ Надоумко, что потомъ о немъ говорили какъ о большомъ талартъ. къ сожальнію попавшемъ на ложную дорогу и сбившемся съ толку. Первый сказалъ это тотъ же Надоумко, который оканчиваетъ свой жестокій разборъ "Борскаго" объясненіемъ, что "сказать по совъсти, сія поэма не приноситъ большой чести нашей литературъ, но за то она дълаетъ честь, и честь величайшую, — таланту поэта. скрывающемуся въ ней, какъ въ первовесенней, едва завернувшейся почкъ". Въ подтвержденіе своихъ словъ Надоумко приводитъ два мъста, дъйствительно принадлежащія къ числу лучшихъ въ поэмъ, —одно психологически-тонкаго свойства, а другое въ описательномъ родъ. Послъднее въ самомъ дълъ недурно, особенно для того романтическаго времени. Это — описаніе возвращенія Борскаго въ отцовскій домъ, послъ долгаго отсутствія;

Но годы странствій протекли, И нывѣ Борскій видитъ снова

Предвам отческой земли И свии дъдовскаго крова. Гремя, съ воротъ упаль затворъ, Они скрипять, в торонливо Проходить Борскій длинный дворъ. Погосий плющемъ и кранивон. Какой повсюду мертвый сонъ! Кругомъ былого явть и твии! Но воть въ крыльцу подходить онъ: Полуиставныя ступени Трещать и, съ грохотомъ глухимъ, Что шагь, колеблются подъ нимъ. Хоть бы одна душа родная На этотъ шумъ огозвалась! Лишь стая ласточекъ взвилась, Въ испунь гитала покилая. И кверху сь крикомъ понеслась..

Выписавии эти стихи, Надоунко двлаеть такое воззвание: "ахъ, г. Подолинскій! г. Подолинскій! Уноляенъ васъ, отъ лица всей русской литературы, сохранить въ вашенъ сердцъ сей соященный отнь Весты, коимъ оно исполнено! Изберите только для себя другую, достойнъйшую васъ дорогу къ соятилищу музъ! Дай Богъ, чтобы Борскій былъ послъднимъ вашимъ шагомъ на распутіи лясиваго романтизма! И да увидитъ въ васъ русская позвія не дополненіе къ толиъ гаеровъ, тъщащихъ по заказу литературную чернь, но истиннаго поэта, составляющаго вя честь и украшеніе" ("Въстн. Евр." 1829 г., № 7).

Сущность этого мивнія перешла и въ позднайшіе отзивы Балинскаго. Въ "Литературныхъ мечтаніяхъ" (Бал., ч. 1, стр. 57) онъ говоритъ: "Подолинскій подаль о себа самыя лестныя надежды и, въ несчастію, не выполниль ихъ. Онъ владаль поэтическимъ языкомъ и не быль лишенъ поэтическаго чувства. Мив кажется, что причина его неуспъха заключается въ томъ, что онъ не созналь своего назначенія и шель не по своей дорого". Это было писано въ 1834 г., а черезъ восемь латъ, въ "Обозраніи Литературы" 1841 года. Балинскій даеть сладующій отзывъ: "Подолинскій быль человоко съ замычательными дарованіемъ: въ его мелкихъ стихотвореніяхъ и въ поэмахъ много чувства и поэтическихъ мастъ; но у него никогда не бывало цалаго, особенно въ поэмахъ, которыя бадны содержаніемъ, слабы по концепціи, бладны по выполненію" (Бал., ч. VI, стр. 63).

Всв эти отзывы заставляють предполагать, что были какія-то враждебныя вліянія, увлекавшія на ложный путь "замвчательный таланть" Подолинскаго, и что иначе онъ бы чудеса надвлаль. Что же это были за вліянія, и на какой путь они влекли Подолинскаго и какой путь быль бы для него пригоднве и болве свойствень его таланту?

Намъ кажется, что вліянія эти были совершенно ті же, какъ и на всіхъ нашихъ поэтовъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ: Байронъ и Байронъ, и больше пичего. Когда теперь съ этой мыслью читаешь раздирательныя поэмы Подолинскаго - "Нищаго", "Борска о", то оно выходить ужасно забавно. Такъ и представляется трехлітній мальчикъ, нылающій воинственнымъ энтузіазмомъ и собирающійся сейчась же отправиться на поражение враговъ отечества. По всему видно, что г. Подолинский одаренъ быль отъ природы кротчайшею душою, невлобивищимъ, чувствительныйшимъ сердцемъ, склоннымъ къ умиленію, восторгу и всьмъ симпатическимъ чувствамъ... Онъ былъ бы радъ довольствоваться малымъ, все витеть въ радужномъ светь, довериться первому встречному... Но встречный-то этотъ и оказался Байронъ!.. Можете себъ представить, что произошло въ душъ скромнаго и робкаго человъка, когда онъ познакомялся съ разрушительнымъ негодованиемъ великаго поэта. Не поддаться ему онъ не могъ; Байронъ и не такихъ покорялъ своей силой, а г. Подолинскій и не такому, какъ Байронъ, непремъпно поддался бы. Но стить какъ-пибуль съ своей натурой байроническія тенденціи онъ тоже не могъ: онъ были ему чужды едва-ли не болве, чвиъ трехлетиему мальчику представление о дъйствительной войнъ. Вникните, въ самомъ дълъ, въ его положение: онъ долженъ непремвино находить, что ничто уже его не привлекаетъ, ничто не зажигаетъ въ немъ страсти, отъ всего онъ отрекся. — а между тыть онь никакъ не можеть представить: что же бы такое могло его особенно разжигать и отъ чего бы ему съ такимъ страданіемъ нужно было отрекаться? Онъ себъ жилъ спокойно въ своей колев, въ даль не пускался, ни о какихъ душевныхъ пожарахъ понятія не имфлъ, а тутъ вдругъ оказывается, что душа у него испепелена и что онъ ничемъ не долженъ воспламеняться!.. Затрудненіе, въ какомъ онъ долженъ очутиться, можетъ быть уподоблено только следующему казусу. Проезжаете вы на почтовыхъ черезъ незнакомый городишко; вамъ хорошо вхать, вы пообъдали на предыдущей станціи, задремали, во время остановки выглянули-было изъ дилижанса, да и опять спрятались, не находя ничего интереснаго въ разсматриваніи городской м'встности и предпочитая свой послізобізденный сонъ. Но вдругъ предъ вами предстаетъ существо, начинающее самымъ энергическимъ манеромъ ругать весь городъ: что и Дворянская улицадрянь, и Марья Петровна зла, и Василій Григорьевичъ глупъ, и Сидора Карпыча дочь неспособна любви внушить, и т. д. Вамъ собственно нътъ никакого дела до этого: вы ни съ кемъ въ городе не знакомы, вы себе ъдете да дремлете. Но вдругъ вы поставлены въ необходимость послъдовать примъру энергическаго ругателя и тоже приняться за этотъ городъ. что туть станете делать? Конечно, вы можете тоже сказать, что дочь Сидора Карпыча любви вамъ не внушаетъ; но вы сами чувствуете, что въ этомъ мало заслуги съ вашей стороны, потому что вы въ глаза не видали ни Сидора Карпыча, ни его дочери, а если-бъ увидали, такъ еще, можетъ, и полюбили бы. И голосъ вашъ невольно дълается робкимъ, и вы. вмъсто проклятій недостойному городу, скромно изрекаете: "я не хочу здъсь объдать", подразумъвая: "потому что я ужъ пообъдаль педавно".

То же самое произопло со многими изъ нашихъ поэтовъ, начитавшихся Байрона. Байронъ, какъ извъстно, проклинаетъ и презираетъ все: и небо и землю, и исторію и философію, и любовь и политику... Наши тоже хотъли пуститься на эту дорогу; но оказалось, что они ръшительно не знаютъ, ни неба, ни земли, ни философіи, ни истэріи, ни любви, ни политики... Поэтому, когда герой Байрона говоритъ, напр., что ему противно общество и даже любовь не услаждаетъ его, то мы переводили это такимъ образомъ:

> Теперь меня ужт не влечеть Пи зовт друзей, ни шумь застольный, Ни зовт кт восторгамь милыхь дівт. Ни взорт, исполненный приманокт, Ни звукт бокалогь, на напіль, Ни пляска різвая цыганокт...

Эти стихи мы припомнили изъ одной элегіи поэта Башилова, вамъ, конечно, неизв'єстнаго; но это ничего: возьмите и другихъ. — то же самое выйдетъ...

Подолинскій никакъ не могъ остановиться на такихъ предметахъ, какъ Башиловъ: онъ быль для этого слишкомъ идеаленъ и кротокъ. Но за то онъ такъ таки и не нашелъ, что же бы за вещь такая была, которая должна бы его привлекать, а между тѣмъ не привлекаетъ... Поэтому онъ вездъ говоритъ объ этомъ въ общихъ чертахъ: все, говоритъ, миф опротивъло, нично меня не утѣшаетъ, я отъ весслія бѣгу, я кладенъ сталъ душою... И все это отъ вліянія какого то незримаго демона:

Я незримаго присутствіе
Сердцемъ сжатымъ познаю;
Льетъ онъ холодъ и безчувствіе
Въ душу грустную мою;
Онъ любви и влохновенія
Развіваетъ дымомъ сны,
Съ нимъ и слезы умиленія,
Какъ ребячество смішны...
И зародынів наслажденія
Умеріцвляетъ зтобный духт,
Какъ младенца до рожденія
Въ лоні матери недугъ...

Видите, — несмотря на всю пустоту и дрянность окружающей жизни, скромный поэть нашь не прочь бы насладиться ея посильными дарами; но не потому ихъ отвергаеть, чтобы ужъ поняль ихъ ничтожность и не считаль ихъ интересными и пріятными; нѣть, онъ просто боится, онъ точно какъ Піпекинъ у Гоголя: ему чрезвычайно хочется, ему очень любопытно и важно распечатать письмо Хлестакова, но какой - то голосъ шенчеть ему въ одно ухо: не смъй, не смъй, пе распечатывай. Ну, сами посудите, — въ этакомъ-то положеніи какой же Байронъ можеть быть?...

Многіе изъ нашихъ поэтовъ увлекались байронизмомъ; но Подолинскій былъ съ нимъ всёхъ смённеве. Въ его стихотвореніяхъ вы видите челов'єка, который положительно не знаетъ, что дёлать съ собой: у него просто нётъ и не бывало слубины и энергіи страсти, а онъ долженъ увърять себя и другихъ, что все въ мір'є недостойно его страсти. Но что же именно недостойно? Вотъ въ этомъ-то и затрудненіе, тутъ-то и начинается его горе. Ему собственно все нравится, и онъ долженъ придумывать, что бы объявить для себя постылымъ. Ну и придумаетъ. Вотъ, напримірть, ему кажется, что ужъ нісеню соловья никто не можеть слушать безъ особеннаго умиленья, кроміз человізка самаго разочарованнаго; вслійдствіе такого убіжденія онъ и увірнеть: мніз все, говорить, въ жизни постыло, я все въ мір'є презираю, ничто не въ силахъ увлечь меня, и даже, — говорить, —

Ецва на пѣсню соловья Отозвалась душа моя...

Или вдругъ представляется ену, что кто не восхищается видомъ горъ въ Швейцаріи, такъ ужъ это самъ сатана. И вотъ герой его, для полной обрисовки его отчужденія отъ всего міра, посылается въ Швейцарію, которую поэтъ называеть "отчизною Телля". Что же онъ тамъ дълаеть?

Въ отчизию Телля видъть онъ Съ снъгами слитый небосклонъ И горы льдистою громадой; И гулъ паденія длавинъ Съ какой-то горестной отрадой Онъ слушаль въ сумракв долинъ.

Здёсь любонытно именно то, что онъ занимался этимъ "въ отчизнё Телля"... И поэтъ серьезно полагаеть, что ужъ если въ отчизнё Телля горы не взволновали человёка, то что же послё этого остается для него—не только въ отчизнё Телля, но и въ цёломъ мірё!..

Итакъ, вліяніе Байрона на Подолинскаго состояло, главнымъ образомъ, въ томъ, что разрушило мирную идиллію, которую поэтъ нашъ, по натуръ своей, наклоненъ былъ сдълать изъ всего въ міръ. Но въ немъ не было силы удержаться на отрицанія; онъ даже дошель до того, что отрицанье и сомн'янье есть грѣхъ, дѣйствіе кичливаго ума, на которое влечеть человѣка духъ злобы. Всякое недовольство происходить оттого, что

Онъ несбыточными (снами Божеству приличныхъ думъ Заразилъ нашъ гордый умъ.

Пришедши къ такому сознанію, поэтъ сталъ искать себъ усновоенія въ мірѣ сладкихъ грезъ, въ мистическихъ созерцаніяхъ; у него же мечтательность была одничь изъ существенныхъ свойствъ таланта. Эгои стороною, равно какъ и нѣжностью, томностью чувства, онъ нѣсколько напоминаетъ одного изъ современныхъ поэтовъ. Полонскаго. Но, кромъ стенени таланта, между ними есть еще и та разница, что въ основъ поэзіи Полонскаго, даже въ фантастическихъ ея проявленіяхъ, мы видимъ гуманное начало, видимъ близость его къ людямъ и жизни; у Подолинскаго же эоирность, фантазія составляютъ самую сущность поэзіи. Онъ, но его собственному признанію, въ изображенія поэта.—

Въ міръ необъятняя, въ міръ ин й Перелетя воображеньемь. На меръ спосетовеньей ст предосемъ 1. могат. какъ житель неземной. И часто грудь ете страдаеть: Не зная салостей земных. Онг. илу наобенно ответ лет. А замините не можеть илу...

Это значить, что для него поэзія уже не есть произведеніе впечатльній вившияго міра, возбудившихъ ту пли иную реакцію въ его душѣ, а въ самомь дѣлѣ наитіе какихъ-то невещественныхъ, заоблачныхъ силъ, уносящихъ поэта на седьмое небо. Вслъдствіе такого воззрѣнія, поэтъ и на все смотритъ фантастическимъ образомъ. Напримъръ, слезы, по его мнѣнію, опять не просто физіологическій процессъ, а слѣдствіе какой-то особенной, благодатно-фантастической исторіи, происшедшей съ Адамомъ. Слезы эти понравились Адаму:

Слезъ врачующую силу Праотецъ благословилъ И въ возмездье за могилу Внука плакать надчаль...

Видите-ли какъ: это, стало быть, дъло условное, секретъ, который бы могъ составить монополію, если бы внукъ Адамовъ не разболталъ его всъмъ, а передалъ бы опять-таки одному кому-нибудь изъ своего рода!..

Подобной чепухой занимается поэтъ постоянно и очень серьезно увъряетъ, что—

> Теряясь вы наслаждения. Онъ чувствуеть, онъ слышить вы отдаленыя Созвучье стройное міровъ.

Это ужъ совершенно напоминаетъ г. Гербеля, у котораго тоже

Душа утопада въ водшебномъ стиньи, Леткла въ невъдомый чёръ, И тамъ за хаосомъ, въ зали мірозданця, Впивада надзвъздный зомръ.

Первое произведеніе, обратившее на г. Подолинскаго вниманіе публики (въ 1827 г.), была поэма "Дивъ и Пери". Это было самое безопасное подражаніе Байрону; основа пьесы — борьба добра и зла — принадлежить байроническому направленію, но смягченіе и просветленіе злой силы подъ вліяніемъ добра было очень подъ стать таланту Подолинскаго, и въ этой поэмъ оказалось дъйствительно исколько исжанкъ, задушевныхъ стиховъ. Вотъ откуда и пошло преданіе о "блестящихъ надеждахъ", поданных в Подолинскимъ въ началь его поприща. Эти надежды были уже преданіемъ въ 1834 году и, конечно, еще раньше потерялись бы, или даже вовсе бы не родились, если-бъ кто-вибудь раньше вздумалъ разсудить: могутъ ли въ поэзій произвести что-нибудь воображеніе и чувство, направленныя совершенно фантастически и оторванныя отъ всякой почвы? Какъ только родился этотъ вопросъ, который уже самъ собою подразумъвалъ отвътъ отрицательный, — такъ Подолинскій и уничтожился, исчезъ въ русской литературъ. Въ 1837 г. появилась его полма "Смерть Пери", которая несравненно лучше "Дива и Пери"; но на эту поэму никто уже не обратилъ никакого вниманія. Ясно уже было, что мистика не въ состояни дать живого, удовлетворительнаго содержания поэзи; а г. Подолинскій ушель въ мистику очень далеко и сділался въ поэзіи чімъ-то въ родъ того, что билъ Кифа Мокіевичъ въ философіи. Онъ спрашиваль, напр., цвъты:

> Скажите, такъ же-ли, какъ люди, И вы страдаете, цвёты? Не бъются-ль сердцемъ ваши груди? Васъ не волнують-ли мечты? и пр.

Онъ думаетъ о себъ:

Я прахомъ разсыниюсь, я буду землей, Но чувство, кто знаетъ, утрачу-ль? Кто знаетъ, любовью не взгрогну-ль чужой, Отрадной слезой не заплачу-ль? Одинъ изъ его героевъ сидитъ съ своей воздюбленной ночью на берегу моря и страшно тоскуетъ. Она его спращиваетъ, отчего ему такъ тяжело. Онъ говоритъ, что не хочетъ нарушить грустной мыслъю своею сладкій сонъ ея души. Но она настаиваетъ. Тогда онъ разражается:

Такъ взгляни жъ на это море, какъ роскошно на просторъ
Влещетъ тканью золотой,
Озаренное луной!
Что же, если-оъ перлъ вселенной,
Пеожиданно, мгновенно.
Мъсяцъ на неб! потухъ.
И упалъ на волны вдругъ
Мракъ холодный и угръмый?...

Съ простой, реальной точки зрѣнія все это очень смѣнно, и послѣ подобныхъ стишковъ отъ Подолинскаго для живого наслажленія намъ ждать нечего. Но мы не можемъ разстаться съ нимъ, не сказавши, что любители ратклифовскаго могутъ у него найти весьма дикія легенды, въ родъ Дѣвичь-Горы и пана Бурлая, патріоты — стихотворенія на француза и на войну, гдѣ говорител между прочимъ о нашихъ врагахъ:

Завидно имъ, что есть держава, Гдь власть — святыня. Царь — любовь, Гдв сь каждыма выс мь вновы и вновы Мужасть сила, кріпнеть слава: Гдв твердо въ благу все мдеть, Гдв было-бы чуждо, было бы ного Корыста, смуть и страха слово—Что къ намъ ихъ ненависть зоветь.

Наконецъ, чистые эстетики тоже могутъ быть увърены, что почеринутъ своего рода наслаждение изъ стихотворений г. Подолинскаго, ибо у него есть эротическия и описательныя пьески, ничъмъ не уступающия про-изведениямъ гг. Захария Тура. Всеволода Крестовскаго и другихъ самоновъйшихъ поэтовъ. Существование въ наше время подобныхъ поэтовъ и служитъ лучшимъ оправданиемъ полнаго собрания сочинений Подолинскаго, изданныхъ очень изящно и продающихся по три цълковыхъ.

## БЛАГОНАМЪРЕННОСТЬ И ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ.

Повъсти и разсказы А. Илешеева. Москва 1860. Двъ части.

Повъсти г. Плещеева печатались во всъхъ нашихъ лучшихъ журналахъ и были прочитываемы въ свое время. Потомъ о нихъ забывали. Толковъ и споровъ повъсти его никогда не возбуждали ни въ публикъ, ни въ литературной критикъ: никто ихъ не хвалилъ особенно, но и не бранилъ никто. Большею частью, —повъсть прочитывали и оставались довольны; тъмъ дъло и кончалось...

Указанный нами весьма достовърный фактъ говоритъ, конечно, не въ пользу особенной оригинальности и яркости таланта автора, да и самъ онъ, очевидно, не претендуетъ на эти качества. Следовательно, и мы можемъ уволить себя отъ скучнъйшихъ эстетическихъ разсужденій о достоинствахъ и недостаткахъ собственно литературнаго таланта г. Илещеева. Мы это дълали не разъ и при обозрвніи литературной двятельности другихъ писателей; но за иныхъ на насъ всиндывались приверженцы "въчныхъ " красотъ искусства, полагающіе, что о произведеніяхъ, наприміръ. гг. Тургенева или Майкова нельзя разсуждать иначе, какъ прикидывая къ нимъ шекспировскую и дантовскую мерку. За г. Плещеева никто, кажется, не подымется на насъ: всякій понимаеть, что смішно, говоря объ обыкновенныхъ журнальныхъ разсказцахъ, становиться на ходули и, спотыкаясь на каждомъ словъ, важно возвъщать автору и читателямъ сбивчивые принципы доморощенной эстетики. Мы полагаемъ, что этотъ беззубый пріемъ неприличенъ также и при разборъ повъстей г-жи Кохановской, "Первой Любви" Тургенева, "Тысячи Душъ" г. Писемскаго, и т. п. Но есть господа, слишкомъ уже погрузившеся въ патріотическую эстетику и полагающіе, что произведеніямъ нашихъ лучшихъ талантовъ можно приписывать великое значение съ той же самой точки зрвнія, съ какой поставляются на удивление въкамъ творения Гомера и Шекспира. При всемъ уваженіи къ нашимъ первостепеннымъ талантамъ, мы не считаємъ удобнымъ разсматривать ихъ съ такой точки, и потому, при разборѣ русскихъ повѣстей, стихотвореній и пр., мы всегда старались указывать не на "вѣчное и абсолютное", на вѣки нерушимое художество ихъ, а на тотъ прямой сиыслъ, который имѣютъ они для насъ, для нашего общества и времени. Сочинить брошюрку о томъ, что эпосъ Гомера воскресть въ усовершенствованномъ видѣ въ "Мертвыхъ душахъ", провозгласитъ Лермонтова Байрономъ, поставить Островскаго выше Пекспира— это все не новость въ русской литературѣ. Да еще и не то бываю: теперь, вѣролтно, уже никто не помнитъ, кто у насъ писалъ историческіе романы лучше Вальтеръ-Скотта, кто у насъ приравнивался къ Гете, чьи чухоночки гречанокъ Байрона милѣй, кто въ Россіи воскресилъ Корнеля геній величавый, кто на снѣгахъ возростилъ Феокритовы нѣжныя ромы, и пр., и пр. А все это было провозглашаемо въ русской литературѣ и даже возбуждало споры и толки. Теперь по возможности стараются удерживаться отъ такой сиѣшной игры въ имена, но сущность современныхъ эстетическихъ разсужденій о "вѣчныхъ, общечеловѣческихъ, міровыхъ" достоинствахъ нашихъ нисателей постоянно напоминаетъ намъ наивность старинныхъ восклицаній о россійскихъ Гомерахъ и нашихъ родняхъ Байронахъ...

такъ какъ о великомъ міровомъ значеніи таланта г. Плещеева никто не думаєть, то мы, значить, можемъ быть спокойны, отстраняя отъ себя эстетическій судъ надъ ними и обращаясь къ вопросу, который насъ интересуетъ гораздо болѣе, именно—къ характеру содержанія его произведеній. Г. Плещеевъ написалъ довольно много: передъ нами лежатъ два томика, въ нихъ восемь повъстей; да тутъ еще нѣтъ "Папироски" и "Дружескихъ совѣтовъ", капечатанныхъ имъ въ 1848 и 1849 г., да нѣтъ "Пашинцева" ("Рус. Въстн." 1859 г. № 21—23), "Двухъ Карьеръ" ("Совр." 1859 г. № 12) и "Призванія" ("Свѣточъ" 1860 г., № 1—2),—трехъ большихъ повъстей, напечатанныхъ имъ уже послѣ изданія его книжекъ. Изъ нихъ тоже могло бы составиться почти такихъ же два томика. Все это было прочитано безъ неуловольствія, нѣкоторое время занимало собою извѣстную часть русской публики, наравнѣ съ произведеніями другихъ беллетристовъ, не заслужившихъ подозрѣнія въ геніальности. Что же, сказалось-ли что-нибудь въ этой массѣ печатной бумаги, имѣетъ-ли этотъ десятокъ большихъ и малыхъ повѣстей какое-нибудь отношеніе къ тому, что занимаетъ теперь наше общественное вниманіе? Или это новѣсти просто для упражненія въ процессѣ чтенія, въ родѣ произведеній гг. Каменскаго, Воскресенскаго, Вонлярлярскаго и нѣкоторыхъ новѣйшихъ, имена которыхъ могутъ быть не безъпзвѣстны отчасти и читателямъ "Современника"?..

Намъ пріятно на этотъ вопросъ отв'ячать, что разсказы г. Плещесва никакъ не могутъ быть отнесены къ послъднему разряду. Элементъ общественный проникаетъ ихъ постоянно, и этимъ отличаетъ отъ множества безцвътныхъ разсказовъ тридцатыхъ и пятидесятыхъ годовъ. Тоглашніе разсказы, какъ извъстно, отличались тъмъ, что въ нихъ человъкъ представлялся животнымъ не общественнымъ, а изолированнымъ. Нужно было автору два-три-четыре лица для развитія сюжета, — такъ эти два-три-четыре лица и являлись въ повъсти, безъ всякаго отношения къ остальному міру, какъ будто бы они жили на необитаемомъ островъ, гдъ все нужное являлось для нихъ по щучьему велънью. Для развизки же обыкновенно приводился, неизвъстно откуда, какой-нибудь таинственный deus ex machina, въ родъ богатаго дядюшки, сердитаго начальника, пожара, навод-ненія, благодътельнаго вельможи, и т. п. Это было, впрочемъ, болъе въ тридцатыхъ годахъ; въ пятидесятыхъ же обыкновенно герои, заброшенные на необитаемый островъ, сами начинали чувствовать разочарование и увзжали съ острова, оставляя героинь плакать и сокрушаться: тамъ дало и кончалось... Всв эти продълки мало коснулись г. Плещеева, такъ какъ начало его литературной д'вятельности относится къ сороковымъ годамъ, когда была въ ходу литература Горемикъ, Бъдныхъ людей, Петербургскихъ вершинъ и угловъ, — и возобновилась она только въ послъдніе годы, когда во всей силь процвытало обличительное направленіе. Во все время жалкой безцвътности пятидесятыхъ годовъ г. Илещеевъ не появлялся въ печати и, такимъ образомъ, спасся отъ необходимости бъжать съ своими героями на необитаемый островъ и остался въ дъйствительномъ мір'в мел-кихъ чиновниковъ, учителей, художниковъ, небольшихъ помъщиковъ, полусвътскихъ барынь и барышень, и т. п. Мірокъ этогъ знаковъ ему, какъ видно, довольно хорошо и изображается имъ съ полной откровенностью. Въ исторіи каждаго героя пов'єстей г. Плещеева вы видите, какъ онъ связанъ съ своей средою, какъ этотъ мірокъ тяготъетъ надъ нимъ своими требованіями и отношеніями, словомъ — вы видите въ героъ животное табунное, а не уединенное. Элементъ общественности присутствуетъ въ каждой повъсти...

Таково главное достоинство разсказовъ г. Плещеева; по нужно признаться, что это достоинство принадлежить ему наравнъ съ очень многими изъ современныхъ беллетристовъ. Что человъкъ вполнъ зависить отъ об щества, въ которомъ живетъ, и что поступки его обусловливаются тъмъ положениемъ, въ какомъ онъ находится, — это уже сдълалось телерь почти неизбъжной точкой отправления для всякаго мало-мальски здравомислящаго повъствователя. Далъе — что устройство нашей общественной среды не совсъмъ удовлетворительно и что житейския отношения наши совсъмъ не

благопріятствують нормальному развитію и свободной, здравой діятельности человівка, — объ этомъ тоже написано у насъ весьма много разсказовів, даже самыми посредственными беллетристами. Разладъ человівка, хотя сколько нибудь порядочнаго, съ окружающей дійствительностью сдіялался общею темою современной литературы. Въ этомъ предметів сходятся всів партіи, всів направленія, всів оттінки литературныхъ мніній. Возьмете-ли вы "Русскій Візстникъ" или "Библіотеку для Чтенія", "Сынъ Отечества" или "Моду" — вездів одно и то же. Поэтому изображеніе антагонизма честныхъ стремленій съ пошлостью окружающей среды само по себів теперь уже недостаточно для привлеченія общаго участія; нужно, чтобъ изображеніе было ярко, сильно, чтобы взяты были новым положенія, открыты въ предметів новыя стороны, — тогда только произведеніе будсть имізть прочный успіхъ, и авторъ выдвинется на замізтное місто въ литературів.

Повъсти г. Плещеева не выходять изъ уровия, который установился вообще для произведеній той школы беллетристовъ, которую, пожалуй, по главному ен представителю, мы можемъ назвать тургоневскою. Постоянинй мотивъ ен тотъ, что "среда запъдаетъ человъка". Мотивъ хорошій и очень сильный; но имъ до сихъ поръ не умъли еще у насъ хорошо воспользоваться. Человъкъ "заъденный средою" изображался иногда въ повъстихъ тургоневской школы довольно живо; но самая "среда" и ен отношенія къ человъку рисовались блъдно и слабо. Изображеніе "среды" приняла на себя щедринская школа, по та взяла только оффиціальную сторону дъла, да и то (и это главное) — въ проявленияхъ чрезвычайно мелкихъ. Отгого во всъхъ нашихъ повъстяхъ, — обличительныхъ или художественныхъ, все равно, — всегда есть много недоговореннаго и — главное — всегда есть мъсто двумъ копросамъ: съ одной стороны — чего же именно добиваются эти люди, никакъ не умъющіе ужиться въ своей средъ? а съ другой стороны, — отчего же именно зависитъ противоположность этой среды со всякимъ порядочнымъ стремленіемъ и на чемъ въ такомъ случать опирается ен сила?

Сколько ни подбирай отвлеченностей для ръшенія этихъ вопросовъ, они не происнятся, нока не будуть переработаны въ общемъ сознаніи самые факти общественной жизни, отъ которыхъ зависить вся сущность дъла. Эта переработка фактовъ постоянно совершается въ самой жизни: но для ускоренія и большей полноты сознательной работы общества можетъ быть полезна и беллетристика, и полезна тъмъ болье, чъмъ больше художественной полноты и силы будутъ имъть ея образы. До сихъ поръ школа "разъъдающей среды" не дала намъ внолнъ художественныхъ разсказовъ потому именно, что никогда въ ней не являлось полнаго соотвътствія между двумя элементами, изъ борьбы которыхъ слагалось содержаніе повъсти. Вы видъли человъка заъденнаго; но вамъ не было ярко и полно представлено,

какая сила его всть, почему именно его вдять и зачёмы онь позволяеть себя всть: на все это вы находили вы новыстяхы развы намеки, а инкакы не полные отвыты. Такимы образомы, исполнение всегда было вы этихы повыстяхы далеко ниже идеи, которая бы могла придать имы жизненность, и оттого всё повысти этого рода имеють лишь временный, исторический смыслы, тотчасы исчезающий, какы скоро вы обществы чозникаюты и всеголько новыя комбинации житейскихы отношений и новыя требования оты жизни.

новыя комбинаціи житейских отношеній и новыя требованія отв жизни.
Теперь покам'єсть пов'єсти, о которых в мы говоримъ, читаются, хотя уже я не съ тімъ интересомъ, какъ пятнадцать лість тому назадъ. Но уже и теперь являются запросы, которымъ герои подобныхъ повъстей ръши-тельно не въ состояніи удовлетворить. У свъжаго и здравомысляшаго чи-тателя при чтеніи, напр., хоть бы повъстей г. Плещеева тотчасъ является вопросъ: чего же именно хотять эти благонамфренные герои, изъ-за чего они убиваются? И для разръшенія своего копроса, читатель вникаетъ въ обстоятельства, служащія источникомъ бъдъ для благородныхъ героевъ. Но туть мы не встръчаемъ ничего опредъленнаго: все такъ туманно, отрывочно, мелко, что не выведень общей мысли, не составинь себъ понятія о цъли жизни этихъ господъ. Они горячатся (какъ Костинъ) изъ-за Фредерики Бремеръ и Жоржъ Занда, и тъмъ навлекаютъ на себя нерасположение "среды"; вразумляютъ (какъ Городковъ) высшаго начальника относительно негодности своего ближайшаго начальника, и черезъ то сами попадаютъ въ опалу; воціютъ (какъ Костинъ опять) о пользъ обличительной литературы и тымъ возстановляють противъ себя нужныхъ людей... Изъ всего этого видно, что у нихъ есть добрыя стремленія, есть желаніе, чтобы людямъ было получше жить на свътъ, чтобы уничтожилось все. что мъшаетъ общему благу. Но даютъ-ли они себъ ясное понятіе о томъ, что нужно для осуществленія ихъ желаній? Сознаютъ-ли они, какія обязанности налагаются на нихъ самихъ, какъ скоро они убъждаются въ необходимости достиженія той цели, которая кажется имъ святою и высокою? Нътъ, они постоянно отличаются самымъ ребяческимъ, самымъ полнымъ отсутствіемъ сознанія того, къ чему они идутъ и какъ слъдуетъ идти. Все, что въ нихъ есть хорошаго, - это желаніе, чтобы вто-нибудь пришель, вытащиль ихъ изъ болота, въ которомъ они вязнутъ, взвалилъ себъ на илечи и потащилъ въ мъсто чистое и свътлое. Они бы не стали противиться такому переселенію; напротивъ, были бы очень рады. Но надо согласиться, что въ этомъ особенной заслуги съ ихъ стороны нътъ, и что если есть люди, лишенные даже желанія выйти изъ болота, такъ и это еще не даетъ наиъ права считать героями тъхъ, которые желают изъ него выбраться.

Намъ скажутъ, что въ Костинъ, Городковъ и пр. намъ и не выставляются герои и идеалы, а просто показывается, какъ жизнь ломаетъ и

переламываеть иногда своимъ жерновомъ доброе стремленіе, зародыши добра и честности. Но мы и не требуемъ непремънно иосальности, мы хотимъ только большей опредъленности и сознательности въ этихъ лицахъ. И это нужно намъ потому, что вы хотимъ сочувствовать честнымъ лицамъ повъсти, а между тъмъ для насъ очень трудно сочувствие къ людямъ ничтожнымъ, безцвътнымъ, нассивнымъ, къ людямъ ни то, ни се... Да и самый хуложественный интересъ повъсти требуеть, чтобы въ изображении борьбы выставлялись враги, которыхъ силы уравнованивались бы чамъ-нибудь. А туть — представляется громадное чудовище, называемое "дурною средою" или "пошлою дъйствительностью", и, противъ этого чудовища, выводятся какіе-то пухленькіе младенцы, наивные, ничего не знающіе и неум'вющіе, ко всему дов'врчивые и по своему внутреннему безсилію находящівся дівствительно въ полной зависимости оть окружающей "среды". Скажутъ, что другихъ нътъ, что среда-то наша именно такими и лълаетъ всёхъ людей, попадающихъ въ нее. Положимъ. Но въ такомъ случав, что же остается писателю? Остается причислить къ той же "средв" и своихъ героевъ и уже относиться къ нимъ точно такъ же отрицательно, какъ относится онъ ко всему, ихъ окружающему. Если наша среда не телько сама не хороша, но губить и все хорошее, что въ нее попадаеть, и если дурное начало такъ въ ней сильно, что до сихъ поръ невозможно было выискать достаточно твердаго и дъятельнаго характера, который бы устоялъ противъ нея и поставилъ на своемъ; если такъ, то ясно, что въ этой средъ нечего и искать, кром'в предмета для самой безпощадной сатиры. Такимъ образомъ, отношение автора къ своимъ благороднымъ юношамъ будетъ совершенно другое: не сочувствие мечтательнымъ и неопредъленнымъ ихъ стреиленіямъ будеть онъ возбуждать въ читатель, а скорье насмышку надъ тъмъ, что они, кромъ своихъ отвлеченныхъ фантазій, ничему существенно-полезному не обучаются. Герон г. Плещеева, напр., обыкновенно поступаютъ на службу; тамъ не уживаются или просто не получаютъ хода и удаляются въ отставку. Затъмъ они пробують литературную работу; но у нихъ таланта не хватаетъ. Послъ того имъ остается лишь два средства существованія: давать уроки и переписывать бумаги. Больше они ничего не ум'єють, ни къ чему не способны. Хоть бы веслами работать ум'єли, на Неву или, на Волгу перевозчиками бы нанялись, или если бы расторопность была поступили бы въ дворники, а то мостовую мостить, съ шарманкой ходить, раскъ показывать пошли бы, когда ужъ больно тошно приходится имъ въ своей - то средъ... Такъ въдь ничего не умъютъ, никуда сунуть носа не могутъ. А тоже на борьбу лъзутъ, за счастье человъчества вступаются, хотятъ быть общественными дъятелями... Да спрашивается, что они могутъ дълать-то, тщедушные и кабинетные люди? Мечтатели они

всв, а не двятели и даже не прожектеры. Мечтаютъ-то они очень хорошо, благородно и смъло; но всякій изъ насъ можетъ сказать имъ: "какое дъло намъ, мечталъ ты или нвтъ?" — и твмъ покончитъ разговоръ съ ними. Разсуждая исихологически, конечно, нельзя не уважитъ прекрасныхъ свойствъ души Костина и Городкова; но для общественнаго дъла, смъемъ думать, отъ нихъ такъ же мало могло быть толку, какъ и отъ другихъ юношей, о которыхъ разсказываетъ г. Плешеевъ въ другихъ повъстяхъ. За что же будемъ мы имъ сочувствовать? Зачъмъ же нисать симпатическіе разсказы объ ихъ мечтахъ и внутреннихъ страданіяхъ, не приводящихъ ни къ чему путному?

За такія жосткія строки насъ, разумъется, упрекнутъ въ неблагородствъ и сухости сердца, въ недостаткъ симпатіи къ высокимъ стремленіямъ и въ фаталистическомъ поклоненіи факту. Мы заранъе признаемь справедливость всъхъ подобныхъ упрековъ и потому продолжаемъ свои объясненія, предавшись судьбъ.

Да, прекраснымъ стремленіямъ души мы не придаемъ нивакого практическаго значенія, пока они остаются только стремленіями: да, мы цѣнимъ только факты, только по дѣйствіямъ признаемъ достоинство людей. Почему мы такъ судимъ, объясняется очень просто. Прекрасными стремленіями мы признаемъ всѣ естественныя неиспорченныя стремленія человѣческой природы; всѣ прекрасныя стремленія мы признаемъ слѣдствіемъ естественныхъ. нормальных потребностей человъка. Какъ скоро требование искусственно. нормальных потреоностен человъка. Какъ скоро треоование искусственно, мы его признаемъ дурнымъ, вреднымъ или смъшнымъ, какъ бы оно ни было прекрасно и величественно. Ежели правда, что Неронъ сжегъ Римъ, чтобы имъть живой матеріалъ для описанія пожара Трои, то, при всемъ великольній подобнаго зрълища и при всей эстетичности цъли, мы будемъ считать подобную фантазію отвратительною, какъ противную нормальной человъческой природъ. Такъ точно отвратительны, напр.. факирскія истязанія надъ собою, браминское презръне къ паріямъ, кулачное право, и т. п. Потому именно все это и гадко (а въ иныхъ проявленіяхъ и смѣшно), что составляетъ искаженіе человѣческой природы. Сущность природы собственно человъка опредълить вкратцъ довольно мудрено; но что во всякомъ случав не подлежить сомнвнію, такъ это ея способность къ развитію. Для того, чтобы имъть возможность развиваться, она требуеть изобжанія вся-кихъ столкновеній и помъхъ. А для этого она, очевидно, предписываеть человъку не мъшать и другимъ, потому что вначе онъ и самъ себъ помъ-шаетъ, остановитъ и стъснитъ себя въсвоемъ развития. Такимъ образомъ. призлавая въ человъкъ одну только способность къ развитію и одну только наклонность къ дъятельности (какого бы то ни было рода) и отдыху, мы изъ этого одного прямо можемъ вывести — съ одной стороны естественное

требование человъва, чтобъ его никто не стъсняль, чтобъ предоставили ему пользоваться его личными неотъемлемыми средствами и безмездными, ниже естественное сознаніе, что и ему не нужно посягать на права другихъ и вредить чужой двятельности. Это самый простой законъ, по которому птица не старастся свить гнвздо именно на томъ мвств, гдв уже вьетъ тнвздо другая птица, стадо барановъ снокойно раздвляетъ между собою лугъ, гдв насется, и т. и. А между твиъ къ этому закону и сводятся всв стремленія къ независимости, самостоятельности и строгой справедливости, всв гуманныя чувства, всв антипатіи къ деспотизиу и рабству. Все это такія качества, которыя вовсе не составляють высшаго, тысячельтіями цивилизаціи выработаннаго и съ большимъ трудомъ, въ университетахъ, академіяхъ и эстетикахъ добываемаго совершенства. Напротивъ, качества эти доложны быть присущи каждому человъку, даже на самой низшей степени развитія. Вспомнимъ хоть Карамзина, нашего незабвеннаго исторіографа: по его словамъ, даже "народы дикіе любятъ свободу и независимость". Что же касается до гуманныхъ чувствъ, т.-е. до того, чтобы никому не мъшать и ни у кого не отничать ничего, — такъ этотъ принципъ мы даже у хищныхъ животныхъ видимъ: волки не бросаются другъ на друга, чтобы отнять добычу, а предпочитаютъ ее добывать сами; шакалы и гіены ходять цвлыми сталми, и кровопролитныя войны между ними весьма необычны; вообще — воронъ ворону глаза не выклюнеть. Но волки овецъ таскають; значить, принципъ нестъсненія чужой дъя-

Но волки овецъ таскають; значить, принципъ нестъсненія чужой дъятельности у нихъ слабъ? — Да въдь мы не говоримъ, чтобы уваженіе къ чужому и чувство гуманности было (и въ волкахъ и въ людяхъ) слъдствіемъ какихъ-нибудь возвышенныхъ идей. Мы выводимъ его изъ простого разсчета: "буду лучше свое дъло дълать, чъмъ другимъ мъшать; такъ будетъ мив выгоднъе и спокойнъе". На этомъ-то основаніи и волкъ не дерется съ волкомъ, а хватаетъ овцу, еще ни къмъ не захваченную, изъ-за которой исторіи быть не можетъ. Это онъ дълаетъ вслъдствіе естественнаго побужденія — голода, такъ же точно, какъ человъкъ срываетъ цвътокъ, удить рыбу, убиваетъ и жарить себъ какую-нибудь утку или куропатку. Тутъ не можетъ быть борьбы съ подобнымъ себъ, нътъ враждебныхъ столкновеній съ своей породой, — воть о чемъ именно мы говоримъ. Человъкъ, териъливо просидъвшій цвлый день за уженьемъ какихъ-нибудь ершей, не захочетъ, однако, стащить рыбу изъ чужого садка, предполагая, что это можеть кончиться не хорошо. И, съ другой стороны, человъкъ, владъющій садкомъ, можеть снокойно смотръть на чужихъ рыбаковъ, ловящихъ рыбу въ свободныхъ мъстахъ ръзи. но не останется равнодушнымъ, когда потащутъ рыбу изъ его садка. Тутъ естественное требованіе, чтобъ

ему не мъшали и не стъсняли его правъ, вызываетъ его даже на борьбу. — и здъсь опять тотъ же разсчетъ: чтобы мнъ не потерять возможности дъйствовать безпрепятственно и свободно, надо избъгать всякихъ помъхъ; но ужъ если помъха явилась, то надо тотчасъ удалить ее. Иначе вся свобода дъятельности уничтожается, всякая возможность естественнаго развитія останавливается.

Все это отступление мы сдълали къ тому, чтобы показать, какъ просты и естественны для человъка тъ стремленія и понятія, которыя обыкновенно выставляются въ герояхъ повъстей нашихъ, какъ что-то особенное, высшее, поднимающее ихъ надъ уровнемъ обыкновенной толпы. Если посмотрфть просто и безпристрастно, то окажется, что желаніе избавиться отъ стесненій и любовь къ сачостоятельной деятельности такъ же точно неотъемлемо принадлежать человвку, какъ желаніе пить, всть, любить женщину. Было время, когда можно было удивить всякимъ фокусомъ, и люди, по целымъ неделямъ лишавшие себя пищи и питавшиеся только водою, возбуждали удивление толны и считались правственными феноменами. Но теперь ны не уважаемъ подобныхъ заслугъ, равно какъ не уважаемъ человъка и за то, если онъ лишилъ себя способности любить женщину или заглушилъ въ себъ собственную волю до того, что уже превратился въ автомата, только исполняющаго чужія приказанія. Всв подобныя личности и всь подобныя продълки мы признаемъ искажениемъ человъческой природы и нарушениемъ естественнаго порядка вещей. Значить, нормальнымъ положеніемъ мы признаемъ то, чтобы человінь пиль, бль, любиль женщину, сознаваль свою личность, стремился къ свободной двятельности. Послв этого, съ какой же стати требовать отъ насъ симпатіи къ человъку только за то, что онъ пьетъ и встъ, или ненавидитъ ствснение? Неужели это съ его стороны заслуга, а не естественное, неизбъжное требование его организма? Человъку не нравится, когда велять дълать не то, что онъ хочетъ, и не такъ, какъ онъ хочетъ: какое образование. какое душевное величие нужно для этого — не правда-ли!! Подумайте-ка. въ самомъ деле: ведь онъ чувствуетъ, что ему руки связываютъ, въдь ему тяжело, что онъ стъсненъ, въдь онъ желаетъ дълать что - нибудь по своему разуму и волъ!.. Въдный благородный юноша или мужъ! Какъ не пролить слезы сочувствія надъ его участью!

И точно, слезы проливались, благородные юноши изображались въ повъстяхъ десятками и, не смотря на свою очевидную пошлость, занимали собою нашихъ талантливъйшихъ писателей и въ общемъ мнъніи признавались за людей весьма способныхъ и нужныхъ. На это были, говорятъ, въ свое время и свои причины; но теперь мы можемъ смотръть на дъло немножко иначе. Требуя отъ людей дъла, мы строже можемъ допрашивать

всякихъ мечтателей, какъ бы ни были высоки ихъ мечтанія; и по допросв

окажется, что мечтатели эти—весьма ничтожные люди.
"Нътъ, неправда!—закричатъ поклонники Гамлетовъ Ицигровскаго
уъзда и всъхъ, имъ подобныхъ: — отчего же, если высокія мечты этихъ тероевъ такъ естественны и просты, — отчето же они не раздъляются цв-лымъ міромъ? Отчего только у немногихъ избранныхъ натуръ проявляются эти стремленія, а большинство не только не понимаетъ ихъ, но даже ста-рается имъ противодъйствовать? Не есть ли великая заслуга уже и то, что эти мечтатели умъли понять и усвоить истинныя человъческія стремленія, тогда какъ все вокругь ихъ искажено, развращено, предано лжи или совершенно безразлично ко всему?"

Подобные вопросы и замъчанія приходится слышать очень часто; но вствони происходять только от в поверхностнаго взгляда на дъло. Конечно, можно признать извъстную долю заслуги въ человъкъ, даже и ничего не сдълавшемъ для общества, только уже за то, что онъ силою размышленія и самостоятельных в наблюдений дошель до сознания ложности того, что всёми окружающими его выдается за истину. Среди выродившихся субъектовъ человеческой породы замечателень быль бы экземплярь, настолько сохранившій въ себъ первоначальный типъ человьчества, что никакими силами нельзя стереть и уничтожить его. О такой личности можно бы написать и любопытную повъсть, и надъ воспроизведениемъ или созданиемъ ея могь бы не безплодно потрудиться самый первостепенный таланть какого угодно европейскаго народа. Но въдь не такія личности видимъ мы въ нашей литературъ. Намъ не представляютъ внутренней работы и нравственной борьбы человъка, сознавшаго ложность настоящаго порядка и упорно, неотступно добивающагося истины; новаго Фауста никто намъ и не думалъ изображать, хоть у насъ есть даже и повъсть съ такимъ на-званіемъ... Нътъ, наши благородные юноши обыкновенно получаютъ свои возвышенныя стремленія довольно просто и безъ большихъ хлопотъ: они учатся въ университетъ и наслушиваются прекрасныхъ профессоровъ, или въ гимназіи еще нападають на молодого, пылкаго учители, или входять въ кружокъ прекрасныхъ молодыхъ людей, одушевленныхъ благороднъйшими стремленіями, свято чтущихъ Грановскаго и восхищающихся Мочаловычъ, или, наконецъ, читаютъ хорошія книжки, т.-е. "Отечественныя Записки" сороковыхъ годовъ. Весьма часто всъ эти счастливыя случайности сходятся вмъстъ и помогаютъ одна другой. Такимъ образомъ развитіе простыхъ человъческихъ стремленій совершается въ добрыхъ юно-шахъ безъ особенныхъ героическихъ усилій: имъ хочется ъсть, имъ со всъхъ сторонъ говорять: пойдемте объдать, и они идутъ. Вотъ и все. А отчего же другіе нейдуть? Отчего изъ людей, точно также учив-

тихся и слышавшихъ прекрасныя наставленія, выходятъ взяточникв, фаты, формалисты, мелкіе десноты, и т. д., и т. д.?..

И на эти вопросы легко отвѣтить: отъ глуности, или, лучше сказать, отъ наивности. Видя, что естественная наклонность къ самостоятельной, пормальной дъятельности встрѣчаетъ препятствіе на прямой дорогѣ, веѣ эти люди пробуютъ свернуть съ нея немножко, въ надеждъ, что, обошедши одно препятствіе, они опять могуть попасть на свой прежній путь. Разсчетъ онять тотъ же: "лучше я обойду, чѣмъ драться и лѣзть на проломъ". Но здѣсь разсчетъ оказывается ошибочнымъ, потому что препятствіе не одно, а тысячи ихъ, и чѣмъ далѣе человѣкъ уклоняется отъ первоначальнаго пути, тѣмъ сильнѣе умножаются и препятствія. И онъ уже поневолѣ принужденъ вилять, нырять, наклоняться, перескаквиать, топтать, что можетъ, по дорогѣ, и самого себя подставлять подъ всякія мерзости, гдѣ нужно, — чтобы только какъ-нибудь продолжать свое странствіе. Человѣкъ въ наивности своей думаетъ: "заплачу дечьги за полученіе мѣста, если нельзя получить иначе; за то и принесу пользу на этомъ мѣстѣ". Но оказывается, что единовременной платой нельзя отдълаться, нужны и потомъ расходы, если не въ видѣ прямыхъ денежныхъ приношеній, то въ видѣ разныхъ обѣдовъ, вечеровъ, экстренныхъ подей, и т. д. Для поддержавія этого оказывается нужнимъ дѣлать безвозвратные займы, принимать благодарности, брать взятки, чтобы получать взятки и благодарности, надо кривить душою въ дѣлахъ, при этомъ необходимо награждать негодяевъ и тѣснить честныхъ людей, и т. д. Такъ и запутывается человѣвъ, при каждомъ шагѣ все-таки думая, что онъ избираеть наилучшее средство для устраненія помѣхъ и доставлення простора своей дѣлать мотомът в потомът в напотиться в дългото на занужноства в напотиться в дъпотиться в нагома и нельзгаться на потомът в нагома на потомът в нагома на потомът в запуты в на

Ставленія простора своей дѣятельности.

Благородные юноши, которыми такъ долго и усердно занималась наша литература, не запутываются такимъ образомъ, и потому представляются гораздо выше остальной толпы. Но, всмотрѣвшись въ нихъ пристальнѣе, вы найдете, что если они не заблуждаются, такъ это единственно потому, что никуда нейдутъ, а сидятъ все на одномъ мѣстѣ. Они ничуть не проницательнѣе тѣхъ, которые пошли по окольной дорогѣ, ничуть не яснѣе ихъ понимаютъ высокую важность охраненія своихъ человѣческихъ стремленій неприкосновенными отъ постороннихъ помѣхъ, они только — лѣнивѣе. При началѣ жизненнаго поприща у тѣхъ и другихъ одинаково есть желаніе идти прямо, свободно и сознательно къ цѣли полезной и доброй; тѣмъ и другимъ одинаково представляются громадныя препятствія, которыя на первыхъ же шагахъ нужно преодолѣть. И ни тѣ, ни другіе не имѣютъ достаточно бодрости и силы, что н прямо начать борьбу съ этими препятствіями: одни хотятъ обойти и, такимъ образомъ, теряютъ изъ

виду цель и попадають въ отвратительное болото всяческаго разврата, а другіе остаются на містів и сидить, сложа руки, съ презрівніемъ и желчью отзываясь о тёхъ, которые ударились въ сторону, и дожидаясь, не явится-ли какой - нибудь титанъ да не отодвинетъ-ли гору, заслонившую имъ путь. И-что всего забавнъе-эти господа начинаютъ жаловаться - не на свою лвнь и безсиліе, и даже не на гору, ставшую на ихъ пути, а на своихъ товарищей, отправившихся въ обходъ. И общая людямъ наклонность къ дъятельности выражается въ нихъ тъмъ, что они нападають на несчастныхъ путниковъ и стараются толкнуть ихъ на примую дорогу. "Да въдь тутъ нельзя идти, - возражаютъ бъдняки: - тамъ мы найдемъ другую дорогу". — Нътъ, вы должны идти здъсь! — кричатъ разгорячившеся юноши, а между темъ и сами нейдутъ, и горы не прокапывають, не сравнивають, не взрывають и не сказывають, нфть-ли гдф тропинки, по которой бы можно подняться. Они сами ничего не знають, ничего не умъють, къ грубой работв неспособны, шумнаго взрыва не вынесуть ихъ нервы; они ничъмъ не могутъ помочь путникамъ, кромъ прика: "не ходите туда, а идите здесь "... тогда какъ здесь-то и нельзя идти, не прокладывая новой дороги.

"Но все-таки они понимають, что не нужно уклоняться въ сторону, а слъдуеть держаться прямой дороги; оттого они никакъ не могутъ попасть въ тину вонючаго болота, въ которое погружаются другіе на окольной дорогь: воть за что заслуживають они уваженія".

Нимало. Если мы будемъ такъ легко расточать наше уважение всёмъ, кто не дълаетъ мерзостей, то принуждены будемъ согласиться со всёми нелёпостями г. Ахшарумова, который именно съ этой точки находить какія-то великія патріархальныя доблести въ Ильё Ильиче Обломовъ. Людей "гордыхъ тъмъ, что не вредятъ", очень много на свёть; но мы не желаемъ даже г. Ахшарумову наслаждаться такой гордостью. Идиллическія мечты о счастливомъ уединеніи отъ людей — теперь вовсе не кстати. Элементъ общественный вступиль въ свои права, и мы должны разсматривать себя какъ членовъ общества, обязанныхъ что-нибудь дёлать для него, такъ какъ иначе мы будемъ ему вредны уже однимъ своимъ тунеядствомъ.

Да и можно - ли назвать истиннымъ пониманіемъ и убѣжденіемъ то смутное, робкое полузнаніе, которымъ отличаются доблестные представители лучшихъ стремленій въ нашей литературѣ? По нашему мнѣнію, убѣжденіе и знаніе только тогда и можно считать истиннымъ, когда оно проникло внутрь человѣка, слилось съ его чувствомъ и волею, присутствуетъ въ немъ постоянно. даже безсознательно, когда онъ вовсе о томъ и не думаетъ. Такое знаніе, если оно относится къ области практической, не-

премѣнно выразится въ дѣйствіи, и не перестанетъ тревожить человѣка, пока не будетъ удовлетворено. Это своего рода жажда, незаглушаемая, неотлагаемая. Когда я мучусь жаждой въ безводной равнинъ, и вдругъ вижу ручеекъ, то я брошусь къ нему, несмотря на то, что онъ окруженъ колючими кустами, изъ которыхъ выглядываютъ змѣи. Самое худое, что я могу потериѣть въ этихъ кустахъ. — это смерть: но вѣдь я все равно умру же отъ жажды, стало быть, я ничѣмъ не рискую... Такъ дѣйствуетъ и исгинное, живое, полное убѣжденіе: человѣкъ можетъ подвергаться опасности умеретъ, добиваясь его осуществленія; но это ничего не значитъ. — онъ точно также умеръ бы и отъ того, если бы принужденъ былъ заглушить свое убѣжденіе... Найдите же хоть въ комъ - нибудь изъ добрыхъ юношей нашей литературы такую рѣшительность и полиоту убѣжденій. Не найдете ни въ одномъ.

Но это бы еще ничего: мы уже сказали, что не требуемъ героизма, а хотимъ только большей сознательности и опредъленности стремленій въ добрыхъ юношахъ. И этого не находимъ. Они заражены очень высокимъ мнѣніемъ о своей чистотъ и твердости, и потому никакъ не хотятъ оглянуться вокругь себя и уразумьть хорошенько свои отношенія ко всему окружающему. Въ наивности и неумьлости они не уступають самому простодушному изъ тьхъ людей, которые всю жизнь идуть въ сторону отъ прямой дороги, воображая, что—все равно—придуть къ той же точкъ. Первое, что представляется въ нашихъ юношахъ, это жалоба на своихъ спутниковъ. Они хотятъ идти прямо, но толиа около нихъ стремится въ сторону и ихъ тащитъ за собою; прямостремительные юноши начинаютъ волноваться и шумъть на толиу, зачъмъ она не такъ идетъ, начинаютъ жаловаться на толчки, получаемые ими отъ бъгущихъ мимо ихъ, утверждаютъ, наконецъ, что нътъ возможности идти прямо, ибо толца не пускаетъ... Но благонамъренные, прямые юноши не даютъ себъ труда даже подумать серьезно о томъ, отчего же, однако, ихъ спутники именно въ этомъ мъстъ сворачивають въ сторону? Неужели такъ, по прихоти, безъ всякой причины и надобности? Если бы они задали себъ этотъ вопросъ, то увидели бы, что причина не въ толит идущихъ, а въ препятстви, стоящемъ на дорогъ; что прямую дорогу всякій бы охотнъе выбраль, если-бъ не встрътилось на ней особенныхъ неудобствъ, и что вовсе не толца виновата въ томъ, если прямой путь стремительныхъ юношей затрудняется. Стоило бы немножечко подумать, и всё эти жалобы на "среду", на ея неприготовленность, пошлость и злонамъренность исчезли бы сами собою. Положимъ, что и "среду" похвалить не за что: вмъсто того, чтобы проложить прамую дорогу, она дълаеть такіе крюки, изъ которыхъ потомъ и выбраться не можеть: это очень глупо и неразсчетливо. Но въдь и юно-

ши-то сами не пролагаютъ дороги, а толкутся на одномъ мъстъ, въ бездвльи и недоумвніи, сваливая вину на другихъ и даже не понимая, что другіе измвняють прямое направленіе рвшительно по той же самой причинв, по которой они сами останавливаются. Доблестные юноши мало имъють человъчества въ груди и смотрять на все какъ-то оффиціально, при всей видимой враждъ своей ко всякой формалистикъ; они вообрапри всеи видимон враждъ своей ко всякой формалистикъ; они воображаютъ, что человъкъ идетъ въ сторону и дълаетъ подлости именно потому, что ужъ это такое его назначеніе, такъ сказать — должность, чтобы дълать подлости; а не хотять подумать о томъ, что, можетъ быть, этому человъку и очень бы хотълось пройти прямо и не сдълать подлости, и онь очень бы радъ былъ, если-бъ кто провелъ его прямой дорогой, — да не оказалось къ тому близкой возможности. Благонамъренные юноши возне оказалось къ тому олизкои возможности. Благонамъренные юноши возстаютъ ужаснъйшимъ манеромъ, напримъръ, на взяточниковъ, на дурныхъ помъщиковъ, на свътскихъ фатовъ, и т. п. Все это прекрасно и благородно; но, во-первыхъ, безплодно, а во-вторыхъ—даже и не вполнъ справедливо. Въ оффиціальной сухости своихъ понятій о людяхъ и въ самообольщеніи собственной гордости, добрые юноши полагаютъ, что только имъ однимъ доступны человъческія стремленія, а другіе всъ уже соверимъ однимъ доступны человъческія стремленія, а другіе всъ уже совер-шенно имъ чужды. Они воображають, что чиновникъ чувствуеть особен-ное наслажденіе отъ неправаго разръшенія дъла, что помѣщикъ отъ при-роды призванъ къ тому, чтобы съчь и обременять работами своихъ кре-стьянъ, что свътскій франтикъ бываетъ наверху блаженства, ломая свои ноги еженощно въ теченіе цѣлой зичы и просиживая по цѣлымъ часамъ за своимъ туалетомъ. Юноши никакъ не хотятъ понять того, что все это дълается вслъдствіе общаго человъческаго стремленія— найти себъ воз-можно лучшее положеніе, обезпечить себъ возможность свободной и по-койной жизни. Сдълайте такъ, чтобы чиновнику было равно выгодно койной жизни. Сдвлайте такъ, чтобы чиновнику омло равно выгодно—
рвшать-ли двла честно или нечестно, — неужели вы думаете, что онъ всетаки сталъ бы кривить душой, по какому-то темному дьявольскому влеченію натуры? Дайте двламъ такое устройство, чтобы "расправы" съ
крестьянами не могли приводить помвщика ни къ чему, кромъ строгаго
суда и наказанія, —вы увидите, что "расправы" прекратятся. Поставьте
какого угодно фата, даже аристократической породы и военнаго званія,
въ такое общество, въ которомъ танцмейстерское совершенство встръчается
съ насмъшливой улыбкой, на туалетъ не обращаютъ вниманія и предъявляють человьку болье серьезныя требованія: и онь — даже онь! — сды-лается серьезные. Надвемся, что противь этихь положеній спорить не стануть: о нихь уже такь часто и такь много говорено было вь "Совре-менникь", а теперь мы встрычаемь повтореніе тыхь же мыслей и вь дру-гихь изданіяхь. На такой мысли основана даже цылая повысть г. Плещеева: "Пашинцевъ", напечатанная въ прошломъ году въ "Русскомъ Въстникъ". Пашинцевъ этотъ — ни то, ни се, "ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свътъ"; есть у него и хорошія наклонности, и не глупъ онъ, и сердце у него доброе, по воспитанъ онъ дурно и фатовства въ немъ много. Пріъхавши изъ Петербурга въ губернскій городъ, онъ попадаетъ въ идеально хорошую семью и начинаетъ серьезно работать надъ своимъ развитіемъ; но, познакомившись съ обществомъ губернскимъ и получивъ тамъ нъкоторые успъхи, онъ опять тонетъ въ его грязи и пошлости. Въ заключеніе здравомыслъ повъсти, г. Заборскій, повторяєть о немъ старую пъсню, — что его "среда завла". Мы противъ этого не споримъ; мы требуемъ только продолженія и распространенія этой мысли. Нашинцевъ, какъ и множество другихъ героевъ повъстей этого рода, вовсе не представляетъ феномена; вся среда, затдающая его, состоитъ именно изъ такихъ же людей, какъ и онъ самъ: у всъхъ есть добрыя наклонности, но нъть иниціативы въ характеръ, нъть ръшимости на самостоятельную дъятельность. Теперь обратитесь же къ каждому изъ членовъ этой "средн" съ вопросомъ г - жи Простаковой: портной учился у другого, другой у третьяго, и т. д... То-есть, одного завла среда, другого среда, третьяго среда, да въдь изъ этихъ — одного, другого, третьяго — среда-то и состоить; кто же или что же сдълало ее такою завдающею? Въ чемъ главная-то причина, корень-то всего? Намъ кажется, что благородные юноши, нейдущіе по дурной дорогѣ, а стояще на одномъ мѣстѣ, прежде всего, на досугѣ, должны были бы объ этомъ подумать и сообразно съ тѣмъ расположить свои дъйствія, или, по крайней мара, свои наставленія путни-

положить свои дъиствія, или, по крайней мъръ, свои наставления путникамъ, сворачивающимъ въ сторону.

Между тѣмъ, юноши вовсе объ этомъ не думаютъ и вымещаютъ свой гнѣвъ на первомъ встрѣчномъ. Въ другой повѣсти г. Плещеева, "Благодѣяніе", это выражается довольно хорошо. Прекрасный юноша Городковъ принятъ на службу и облагодѣтельствованъ важнымъ лицомъ; у важнаго лица правитель канцеляріи — Юконцовъ, взяточникъ и негодяй; этотъ Юконцовъ дѣлается ближайшимъ начальникомъ Городкова и начинаетъ ему накостить. Городковъ, въ своей наивности воображающій, что важное лицо и благодѣтель его только по невѣдѣнію терпитъ при себѣ такого человѣка, какъ Юконцовъ, принимается еразумлять благодѣтель кочетъ выдать за Городковъ, принимается еразумлять благодѣтель хочетъ выдать за Городкова свою отцвѣтшую любовницу и дѣлаетъ ему это предложеніе черезъ Юконцова же. Городковъ ругаетъ Юконцова и говоритъ: "не можетъ быть, чтобъ генералъ былъ такъ низокъ и безсовѣстенъ; это вы сами выдумали нарочно". Разумѣется, все это передается генералу, и вслѣдъ за тѣмъ Городковъ выгоняется изъ службы и уми-

раетъ отъ чахотки. Спрашивается: какая же причина его гибели? Его же собственная наивность. Вольно же ему было предполагать, что благодътель его такъ добръ и глупъ вмъстъ, вольно ему было видъть преиятствіе для своей честности въ Юконцовъ, который вовсе не былъ настоящимъ самостоятельнымъ препятствіемъ, а былъ (пожалуй и не теперь, а гораздо прежде, но все-таки былъ) такимъ же несчастнымъ путникомъ, принужденнымъ—или остановиться въ началъ пути, или уклониться въ окольныя дорожки, такъ какъ прямая дорога была заставлена.

"Такъ, значитъ, надо считать главнымъ препятствіемъ это важное лицо, благодътеля Городкова?..." Боже мой, какой наивный вопросъ!.. Неужели нужно отвъчать на него?.. Нътъ, нътъ, и тысячу разъ нътъ: благодътель Городкова тоже долженъ быть отнесенъ къ несчастнымъ и неразумнымъ путникамъ, — и не только онъ, но и его начальникъ, и начальникъ его начальника, и всякій человъкъ вообще, вся среда...

Кто же виновать во всемь этомь, гдъ же коренное начало всъхъ этихъ номъхь, толчковъ и безнокойствъ?

А гдв начало толчковъ, которые вы получаете въ узкомъ переулкъ, выводящемъ къ какой-нибудь ярмарочной площади? — Не виноватъ тутъ никто: васъ толкаетъ и твснить одинъ, потому что его твснитъ другой, а того третій. Но вся причина въ томъ, что къ ярмарочной выставкъ всъ спъщатъ, а улица твсна... Хотите не испытывать толчковъ въ своемъ путешествіи для закупокъ нужныхъ вамъ вещей? Не деритесь понапрасну съ людьми, бъгущими вивстъ съ вами. — а постарайтесь устроить, вивсто кратковременной ярмарки, постоянный торгъ, да сдълайте улицу пошире. Тогда и не будетъ никакой давки, и "среда" перестанетъ обременять насъ.

Но чтобъ устроить такой торгъ, надо имъть капиталъ, и довольно большой; а юноши наши тъмъ-то и илохи, что ихъ одолъла всяческая скудость и нищета. Недостатку большого капитала еще можно бы помочь: недаромъ у насъ нынче развились акціонерныя компаніи, и все дълается на паяхъ и въ складчину. Но, къ несчастью, этимъ бъднякамъ и въ складчинъ-то участвовать нечъмъ: ничего-то они не умъютъ, ничего не знаютъ, ни на что не годятся. Ежели ихъ дожидаться, то придется капиталъ составлять медленнъе, чъмъ Акакій Акакіевичъ скапливалъ деньги на шинель. Вмъстъ съ прекрасными желаніями, въ нихъ господствуетъ такая вялость, запуганность, такое младенчество воззрънія, что на нихъ столько же мало надежды въ практическомъ отношеніи, какъ и на пустъйшихъ фатовъ и закоренълыхъ взяточниковъ. У г. Плещеева (мы беремъ примъры только изъ его повъстей, но могли бы привести и много другихъ), напримъръ, Костинъ — чего, кажется, добродътельнъе? А между тъмъ, припомните эту повъсть (она была въ "Современникъ"): какая наивность,

какое незнаніе жизни, какая неопределенность въ средствахъ и цели, и какая бёдность средствъ у этого прекраснаго, безукоризненнаго юноши!.. Онъ умираетъ въ чахоткъ (безукоризненные герои у г. Плещеева, подобно какъ у г. Тургенева и другихъ, умираютъ отъ изпурительныхъ болъзней). ничего нигдъ не сдълавши; но мы не знаемъ, что бы могъ онъ дълать на свътъ, если бы даже и не подвергся чахоткъ и не былъ безпрерывно за-ъдаемъ средою. Намъ пришло въ голову: что если бы Костина поселить въ Англіи, не давши ему, разумъется, готоваго содержанія; что бы опъ сталъ тамъ дълать, на что бы годился?.. По всей въроятности, и тамъ умеръ бы съ голоду, если бы не нашелъ случая давать уроки русскаго языка... Да тамъ о немъ и не пожалъли бы, потому что людей, одаренныхъ благонамъренностью, но не запасшихся мужествомъ и средствама для осуществленія своихъ благихъ намъреній, тамъ давно уже перестали цънить.

Признаемся, мы бы не стали всего этого говорить по поводу повъстей г. Плещеева, если бы видъли, что онъ самъ не возвышается надъ поклоненіемъ благонамъренности своихъ героевъ. Но мы замътили въ немъ и другое, болъе простое и правильное отношеніе къ нимъ, въ которомъ уже обнаруживается требованіе дъла, а не однихъ желаній и надеждъ. Если г. Плещеевъ съ преувеличенною симпатіей рисуетъ намъ своихъ Костинихъ и Городковыхъ, такъ это, конечно, зависитъ отъ того, что другихъ, болъе выдержанныхъ практически типовъ, въ томъ же направленіи, до сихъ поръ еще не представляло русское общество. Что же дълать? Недавно мы видъли, какъ одинъ изъ талантливъйшихъ нашихъ писателей пробовалъ созданіе дъльнаго, практическаго характера, и какъ ему мало удалось это созданіе, несмотря на то, что онъ взялъ еще не русскаго человъка и далъ ему такую цъль жизни, которая представляла полную возможность наполнить его исторію самой живой дъятельностью... Видно, еще не пришло время созданія дъятельныхъ и твердыхъ и въ то же время честныхъ характеровъ въ нашей литературъ. Но оно приближается: самыя попытки доказываютъ это, какъ бы онъ ни были неудачны. А съ другой стороны, о томъ же самомъ свидътеліствуетъ и распространеніе ироническаго воззрънія на всъхъ "лишнихъ людей", которымъ такъ много симпатизировали прежде.

Это проническое отношение замъчаемъ мы и во многихъ повъстяхъ г. Плещеева. Его герои вообще раздъляются на три разряда: одни умираютъ отъ чахотки, — это лучшие (смотри выше); другие спиваются съ кругу, — это тоже не совсъмъ дурные; третьи устраиваются такъ себъ, женятся на богатыхъ, успъшно служатъ, и т. п., — это ужъ совсъмъ пустые. Собственно говоря, если смотръть съ общественной точки, то между

этими тремя разрядами разпицы оказывается мало: всф бездфльничають, не столько потому, что нельзя ничего делать, сколько потому, что ленивы и ничего не умъютъ, и всъ губятъ себя и тъхъ, кто ихъ любить, не по злости и не съ намъреніемъ, а просто по невинности разсудка и по без-характерности. Поземцевъ (въ повъсти "Призваніе"), принадлежащій въ послъднему разряду, женится и губить свою жену, грубыть образомъ заводя связь съ какой-то кокеткой и делая жене безсовестные упреки; Булневъ, второго разряда, точно также безтолково женится и губить свою жену твиъ, что влюбляется въ какую-то дъвчонку, на которую тратится, скрываеть отъ жены причину своихъ долгихъ отлучекъ, своей печали и, наконецъ, запиваетъ горькую. Такъ точно Пашинцевъ (удостоенный авторомъ даже несчастной смерти) разстранваеть семейное счастіе, приняв-шись "развивать" и привязавши къ себъ дъвушку, къ которей самъ ничего не чувствоваль и которая была уже невъстой другого; то же самое двлаетъ и Ивельевъ, принадлежащій къ самому послъднему разряду (въ "Шалости"). Положимъ, что Ивельевъ это дълаетъ просто отъ бездълья, изъ празднаго любопытства, а Пашинцевъ съ долею искренняго убъждеиія, что онъ принесетъ пользу дъвушкъ; но результаты-то одни и тъже. Какъ видите, если сделать resume изъ повестей г. Плещеева, то выйдеть, что хорошо толкующие и благонам вренные юноши не могуть даже "гордитьсятьиъ, что не вредять". Костинъ, Городковъ, Заборскій, правда, не дълаютъ того, что другіе; но и ови, по неумънью соображать свои средства съ предстоящимъ имъ дъломъ, тоже скоръе способны вредить тъмъ, кто ихъ любитъ, нежели приносить пользу. Костинъ, напринъръ. совершенно безвинно сделался причиной страданій бедной женщины, полюбившей его, жены того помъщика, у котораго быль онь учителемъ дътей: и бъда была не въ томъ, что она полюбила его, а въ томъ, что онъ ничего не могъ для нея сделать, не могъ даже убъжать никуда съ нею, такъ какъ самъ не имълъ ни пристанища, ни копъйки, да и никакого таланта за душою.

Разумбется, если разсуждать исихологически, то мы никакъ не поставимъ Костина на одну доску съ какимъ-нибудь Позеицевымъ или даже Пашинцевымъ. Какъ можно! Но въ отношенів къ дѣлу отъ нихъ отъ всѣхъ, по нашему мнѣнію, одинъ толкъ. Вотъ почему намъ пріятно то отрицательное, насмышливое отношеніе автора къ подобнымъ героямъ, какое мы видимъ въ "Піталости", въ "Наслъдствъ", въ "Призваніи" и др. Намъ кажется только, что такое отношеніе надобно еще распространить... Намъ теперь вовсе не нужны люди съ хорошими мечтами и съ пдиллическими ожиданіями. Мы пожили довольно, стали нѣсколько опытны и сами уже большею частью понимаемъ, что хорошее—хорошо, а дурное—дурно. Ру-

ководителей для этого намъ не нужно. Даже для искорененія общественныхъ неправдъ не такъ уже нужно слово убѣжденія, какъ нужно практическое пособіе. Мошеничать, обманывать, извиваться, ползать, топтать другихъ и каждую минуту бояться за себя, чтобъ тоже не затоптали, — это никому не можетъ быть пріятно, за это никто не станетъ особенно держаться. Поэтому нечего кричать людямъ: не ползите, а идите прямо, не купайтесь въ лужъ, не вшьте гнилого хлѣба: это всякій радъ сдѣлагь и безъ насъ. А нужно позаботиться, чтобы выровнять дорогу, заготовить свѣжаго провіанта. Иначе самые искренніе, благонамъренные крики будутъ имѣть то же значеніе, какъ и фразистая поддѣлиа подъ филантроцію, и какой-нибудь современный Костинъ рискуетъ быть поставленъ на одну доску съ г. Кокоревымъ: отъ воззваній того и другого польза одинаковая.

Нечего опасаться, что практическія начинанія дільных влюдей встрівтятъ противодъйствіе въ "средъ". Среда эта, по преимуществу состоя-щая изъ людей добродушныхъ, спокойныхъ и даже отчасти апатичныхъ, довольно живо и върно изображена во многихъ повъстяхъ г. Илещеева, даже чисто-анекдотического характера. Изъ всъхъ этихъ разсказовъ, сценъ и описаній этого простого быта безъвсяких в претензій — можно видіть, что. при всей видимой анатіи и неразвитости этихъ людей, есть и у нихъ что-то гнетущее, отъ чего они хотъли бы избавиться, есть спутное сознаніе неудовлетворительности своего положенія. Уже одна возможность такихъ исторій, какая описана въ повъсти "Отецъ и дочь", съ казначеемъ, у котораго начальникъ взялъ казенныя деньги безъ росписки и потомъ отрекся, —или хоть такихъ, какъ въ "Чиновницв", гдв назначение чиновника на мъсго зависитъ отъ горничной жены важнаго начальника. -- одна возможность такихъ происшествій должна пробуждать чувство положительнаго недовольства. Никакого сомнънія не можеть быть въ томъ, что всъ эти "отсталые, невъжественные, закоснълые въ рутинь", и пр., и пр., люди, какъ ихъ честятъ прогрессивные юноши, съ радостью примуть все, что можеть имъ представить прочныя гарантіи въ общественной жизни и возможность, не мошенничая, пользоваться ея благами. Только не накидывайтесь на нихъ безъ всякаго права и резона, не требуйте отъ нихъ того, за что не можете вознаградить ихъ. У нихъ нътъ самоотверженія, нътъ и иниціативы: въ этомъ ихъ горе, ихъ вина, если хотите. Но въдь иниціативою-то въ своемъ характеръ и вы не можете похвастать, о добродътельные и благонамъренные юноши, выставленные намъ на показъ нашей литературою! Самоотвержение ваше тоже болбе отрицательное и пассивное. такъ что им значительную долю его приписываемъ лъна, обломовщинъ. Вы не лъзете за неправымъ стяжаниемъ и почетомъ, за чинами, орденами

м отличіями, за домами и деревнями: такъ. — да вѣдь вы и ни за чѣмъ не лѣзете. Конечно, Тентетниковъ не ѣздитъ покупать мертвыхъ душъ, какъ Чичиковъ; да онъ, если бы и захотѣлъ, такъ не могъ и не съумѣлъ бы этого сдѣлать: онъ и въ своемъ-то имѣніи не выдержалъ, упрыгался на первыхъ же порахъ и прекратилъ всякій надзоръ надъ работами. Что же тутъ за самоотверженіе? Этакимъ-то самоотверженіемъ Обломовъ и выработаль себѣ свой характеръ.

Да, перечитывая повъсти г. Плещеева, мы всего болъе рады были въ нихъ въянію этого духа сострадательной насмъшки надъ платоническимъ благородствомъ людей, которыхъ такъ возносили иные авторы. Начальные типы пустыхъ либеральчиковъ, безъ всякаго уже сочувствія къ нимъ, набросаны уже были въ пъкоторыхъ повъстяхъ г. Тургенева. Но у г. Тургенева эти господа были постоянно второстепенными лицами и какъ бы оттъняли собою главныхъ героевъ, которые уже истинно проникнуты благонамъренностью и дъйствительно "завдены средою", въ родъ того, какъ Паншинъ при Лаврецкомъ или Пигасовъ при Рудинъ. У г. Плещеева эти лица — главныя, они составляютъ часто основу и цъль повъсти, и изъ ихъ изображеній все болье выясняется требованіе дъла и дъла, вмъсто громкихъ словъ, младенческихъ мечтаній, несбыточныхъ надеждъ и върованій.

Было одно время, когда восиввалась любовь къ женщинв, и надъ страданіями платоническихъ любовниковъ читательницы проливали слезы, а читатели меланхолически задумывались. Потомъ стали смъяться надъ платонической любовью, и платоническія горести ни въ комъ уже не встрвчали особеннаго сочувствія. Какимъ-то страннымъ случаемъ дѣло повернулось у насъ на общественные вопросы, и вотъ мы двадцать лѣтъ читали повѣсти и романы, въ которихъ восиввалась платоническая любовь къ общественной дъятельности, платоническій либерализмъ и благородство. Надъ этимъ новымъ платонизмомъ тоже проливали слезы и задумывались; но пора очнуться и отъ этого. Если платонизмъ въ женской любви смъщонъ, то въ тысячу разъ смѣшнѣе платонизмъ въ любви къ родинѣ, къ народу, къ правдѣ, и пр.

Мы надвемся, чт) слова наши не покажутся никому странными и непонятными: въ то время, когда все проникнуто стремленіемъ къ положительности и реализму, можно ожидать одобренія мысли о томъ, что платоническая, бездіятельная, плаксивая и отвлеченная дюбовь къ общему
діблу никуда не годится. Можно, кажется, надіяться и на то, что наши
будущіе талантливые повъствователи дадугь намъ героевъ съ болье здоровымъ содержаніемь и дівятельнымъ характеромъ, нежели вст платоническіе любовнаки диберализма, являвшіеся въ повъстяхъ школы, господствовавшей до сихъ поръ.

**Перепъвы**. Стихотворенія Обличительнаго поэта. Спб. 1860 г.

Пустота, блъдность, мелочность и отсутствіе искренности въ совре-менной русской поззіи— въ послъднее время особенно ясно обнаружились у насъ въ особомъ родъ стихотворныхъ произведеній, который годъ отъ году все болве распространяется. Этотъ особый родъ — нъчто среднее между подражаніемъ и пародіей, хотя часто и безъ претензіи на значеніе пародіи. Стихотвореніями подобнаго рода наполнены теперь всѣ наши журналы, какъ юмористические, такъ и серьезные: вся разница въ томъ, что одни печатаютъ пустенькіе стишки безъ поэзій, вполив сознавая ихъ отрицательный смыслъ, а другимъ этого сознанія недостаеть. Оттого, напримъръ, Пр. Вознесенскій, Знаменскій, Гейне изъ Тамбова, Амосъ Шишкинъ, Обличительный поэтъ, и пр., и пр., не имъютъ протензій на поэтическое творчество: ихъдъло—перефразировка и пересмъиванье общихъ мъстъ и всякихъ нелъпостей, забравшихся въ поззію; а гг. Аполлонъ Ка-пелькинъ. Апухтинъ, Крестовскій, Лиліеншвагеръ, Розенгеймъ, Зоринъ, З. Туръ, Случевскій, Кусковъ, Пилянкевичъ, Вейнбергъ. Кроль. Поповъ, и пр., и пр.. — полагають навърное, что они, между прочимь, горять не-беснымъ огнемъ и призваны повъдать міру нъчто художественное. Можеть быть, современемъ, они и дъйствительно что нибудь поведають, такъ какъ они всв только еще начали свою литературную карьеру на нашей памяти; но мы не хотимъ заглядывать въ будущее, а говоримъ о настоящемъ. Въ настоящемъ же трудно решить, кому отдать преимущество -- этимъ-ли добродутнымъ юношамъ, серьезно и искренно творящимъ свои стихи, или тъмъ господамъ, которые не занимаются версификаціею иначе, какъ на смъхъ. У тъхъ и другихъ замъчаемъ мы отсутствие душевнаго жара, недостатокъ страсти и убъжденія, много чужого, ничего собственнаго; тв и другіе одинаково повторяють зады, тв и другіе одинаково ненужны, без-полезны, ничтожны. У однихъ, правда, можно замітить (если очень вни-мательно и снисходительно всматриваться) порывъ къ чему-то, желаніе что-то выразить, хоть и неудачное желаніе, но все-таки искреннее; но за то у другихъ видно большее уважение къ требованиямъ здраваго смысла и значительно меньшая наклонность удаляться отъ простых в понятій и чувствъ обыкновенных в смертных в. Притом в же последніе и темъ хороши, что никого не вызывають на эстетическую вритику и не повергають въ мечтательное настроеніе духа. Словомъ, мы, по своему личному вкусу, наклонны къ тому мивнію, что ужъ если писать стихи, какими въ последніе годы наполнялись всв наши журналы, то ужъ лучше всего писать ихъ на смехъ, или, по крайней мъръ, съ примъсью проніи.

Отчего вдругъ такое строгое осуждение нашимъ стихотворцамъ, изъ которыхъ иныхъ самъ же "Современникъ" не разъ поощрялъ и пускалъ въ ходъ? Такой вопросъ можетъ придти въ голову многимъ читателямъ, и мы считаемъ нелишнимъ объясниться.

Записные любители литературы, слъдящіе за встми ся мелочами, помнять, конечно, что около 10 льть, почти тотчась посль того, какъ пере стали печататься въ "Отечественныхъ Запискахъ" посмертныя стихотворенія Кольцова и Лермонтова, т.-е. съ 1844 или 1845 года, въ нашихъ журналахъ стихотворенія почти не печатались; исключеніе составляль одинъ "Москвитянинъ". Съ 1854—55 г. опять стихи сдълались почти необходимостью каждой журнальной книжки. Искать причину такого мелкаго явленія въ міровыхъ событіяхъ, конечно, немножко забавно; но, кажется, міровыя событія дайствительно туть не совсамь въ сторона. Дало въ томъ, что художественный, младенчески беззаботный и граціозно-ребяче-скій періодъ нашей поэзіи былъ уже завершенъ Пушкинымъ; Лерчонтовъ не выказалъ вполев своихъ силъ и до конца жизни не умълъ, что называется, стать на свои ноги, потому и не могъ образовать поваго направленія; Кольцовъ остается особнявомъ до сихъ поръ: его оригинальные опыты оказались тоже недостаточно сильными, чтобъ повернуть нашу ли-рику на новый путь. Послъ нихъ нуженъ быль поэтъ, который бы умълъ осмыслить и узаконить сильные, но часто смутные и какъ будто безотчетные порывы Кольцова, и вложить въ свою поэзію положительное начало, жизненный идеаль, котораго недоставало Лермовтову. Нътъ ни мальйшаго сомнянія, что естественный ходъ жизни произвель бы такого поэта; мы даже можемъ утверждать это, не какъ предположение или выводъ, но какъ совершившийся фактъ. Но, къ сожальнию, наступившия вслъдъ за тъмъ событія уничтожили всякую возможность высказаться и развиться въ новомъ талантъ тому направленію, которое съ двухъ разныхъ сторонъ, послъ Пушкина, пробивалось у насъ въ Кольцовъ и Лермонтовъ. Общепослъ пушкина, прооивалось у насъ въ кольцовъ и дермонтовъ. Оощественная жизнь остановилась; вся литература остановилась; естественно, что и лирика должна была остановиться. И въ самомъ дѣлѣ, немного можно насчитать стиховореній изъ того времени, которыя бы не составляли болѣе или менѣе красиваго перифрага пушкинскихъ мотивовъ, или же попытокъ въ гейневскомъ родѣ, — а сущность поэзіи Гейне, по понятіямъ тогдашнихъ стихотворцевъ нашихъ, состояла въ томъ, чтобы сказать съ риемами какую-нибудь безсвязицу о тоскъ, любви и вътръ. Сначала это казалось временнымъ и случайнымъ безсиліемъ, происходящимъ отъ небойкости наличныхъ поэтическихъ дарованій и отъ узости ихъ воззрѣній на свое призваніе; тогда думали исправить ихъ критикой и нас-мѣшкой. Читатели "Современника" припомнять, можетъ быть, пародіи,

появлявшіяся въ немъ съ самаго начала 1847 года. Но года черезъ три оказалось, что и пародировать нечего: пустота содержація въ лирикъ донла до того, что превосходила всякую пародію. И, что всего хуже, ясно было, что причина этой пустоты кроется гораздо глубже, нежеля въ литературныхъ талантахъ и возяръніяхъ того или другого автора: она скрывалась въ томъ, что въ самой жизни какъ будто замерло или затаилось все, на что могъ бы могучичъ и живымъ звукомъ отозваться поэтъ. Тогда литерагоры и журналисты разсудили, каждый про себя, но совершенно согласно другъ съ другомъ, — что не стоитъ и печатать мертвыхъ и затхлыхъ стиховъ, если нельзя нечатать сколько-нибудь путныхъ произведеній. Дъло совершенно понятное, точно такъ, какъ вполиъ понятно и то, почему "Москвитянинъ" въ эту эпоху составлялъ исключеніе и набивалъ каждую книжку множествомъ стихотвореній: его поприще нисколько не стъснялось общимъ состояніемъ литературы; онъ печаталь стихи г. Шевырева, М. Диитріева, Ө. Миллера, Н. Берга, и т. п. Гг. Фетъ и Языковъ также въ это время печатались въ "Москвитянинъ"; къ нимъ подъ-стать являлись по временамъ и другіе. Въ прочихъ же журналахъ появлялось обыкновенно развъ по три-четыре стихотворенія въ годъ, и то почти исключительно съ именами Фета и Майкова, которые тутъ-то и утвердили свою репутацію. Въ 1850 году г. Щербина оживилъ-было нъсколько дѣтскій театръ наней поэзіи нъсколькими новыми маріонеткачи: но тъ очень скоро потеряли занимательность.

Въ 1844—55 гг. русская жизнь была такъ сильно встрахнута ивсколькими радостными и горестными событіями, что перенести ихъ молча было невозможно. Литература заговорила публика стала слупать; стихи полились вслёдъ за прозой, на нихъ стали обращать вниманіе. Ихъ всегда было много, но прежде на нихъ и счотрёть не стоило; теперь они касались или могли касаться того. что всёхъ занимало: нельзя било совсёмъ пренебрегать ими. Во множествё вещей рутинныхъ, вялыхъ и нелецияхъ попадались, однакоже, и пьески, обнаруживающія живое чувство и свётлую мысль: эти пьески должны были явиться въ свётъ, а своимъ появленіемъ онѣ, разумётся, прокладывали дорогу и другимъ. Съ расширеніемъ круга предметовъ, доступныхъ вообще литературѣ, расширялся и кругъ содержанія лирической поэзіи: теперь опять стало можно ожидать появленія мощнаго таланта, который охватитъ весь строй нашей жизни, согласитъ съ нимъ свой напѣвъ и поставить свою поэзію въ уровень съ живою дѣйствительностью. А въ ожиданіи такого поэта стали внимательные присматриваться ко всему, въ чемъ можно было предполагать хоть какіе нибудь задатки дарованія: извѣстно, что когда чего-нибудь нетериѣливо ждешь, то при малѣйшемъ шорохѣ предполагаешь приближеніе ожидаемаго предмета.

Таково, по нашему мнѣнію, естественное основаніе для нечатанія множества посредственных стишьовь, появляющихся въ нашихъ журналахъ; это явленіе имѣетъ нѣкоторую аналогію съ тѣмъ реторическимъ движеніемъ, которое, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, такъ шумно давало себя чувствовать возгласами о нашемъ быстромъ прогресст и о "настоящемъ времени, когда", и пр. Но множество разрушенныхъ иллюзій должно, наконецъ, научить человѣка быть менѣе наивнымъ; для того, чтобы это наученіе ускорилось, весьма полезны насмѣшки постороннихъ людей, кричащихъ намъ при каждомъ разочарованіи: "что, несолоно хлебалъ? Что, поналъ пальцемъ въ небо"? И если смѣющихся очень много и насмѣшки очень часты, то значитъ, что иллюзіи уже близки къ концу, что ихъ нелѣпость видна почти всѣмъ, по крайней мѣрѣ, значительногу большинству, а только немногіе, особенио наивные или восторженные люди продолжаютъ ими увлекаться. каться.

немногіе, особенно наивные или восторженные люди продолжають ими увлекаться.

Въ этомъ смыслѣ считаемъ мы полезными стихотворнил пародіи и не только не пренебрегаемъ ими, но даже придаемъ имъ большое значеніе. Онѣ встрѣчають сочувствіе, читаются съ удовольствіемъ и означають, что то, на что онѣ намекають, уже не пользуется особеннымъ сочувствіемъ публики. Говорять, что осмѣять все можно; правда, но не всякое осмѣяніе имѣетъ успѣхъ, даже не всегда оно безопасно, хотя бы для репутаціи, утвердившейся весьма прочно. Аристофанъ, — и тотъ немале нажиль себѣ хлопотъ, даже въ потомствѣ, за осмѣяніе Сократа; въ новѣйшее время подобный примѣръ мы видѣян въ Гейне. Съ насмѣшкой повторяется то же самое, что и съ серьезнымъ озлобленіемъ или нападеніемъ: въ сужденіи здраваго смысла, управляющаго массами, форма почти уничтожается передъ сущностью дѣла. Путкинъ, въ своихъ знаменитыхъ стихахъ, говоря, между прочимъ: "Кому вѣнецъ, — мечу или крику³" и пр., весьма серьезно издѣвался надъ свободнымъ словомъ; но, тѣмъ не менѣе, лучшая часть публаки не простила ему этихъ стиховъ. Точно такъ не прощаеть общественное мнѣніе и самыхъ остроумныхъ насмѣшекъ надъ тѣмъ, что дорого и свято для большинства. Попробуй теперь кто-нибудь издать геніальнѣйшій пасквиль на Гарибальди: вся Европа закипитъ негодзваніемъ, и не только автора назовуть безовѣстнымъ негодземъ, но никто не признаетъ въ немъ ни малѣйшаго остроумы, хотя бы оно и было у него дѣйсгвительно. Возьмемъ примѣръ ближе: попробуйте перенародировать Гоголя въ его "Мертвыхъ душахъ", "Ревизоръ" и лучшихъ повѣстяхъ. — много-ли усиѣха будете вы имѣть?.. А того же Гоголи въ "Перепискъ" мэжно народировать не только безнаказанно, но даже съ большимъ успѣхоль...

Такимъ образомъ, виля, какъ принимается безчисленное множество пародій, появившихся въ послѣднее время и потѣшающихся все болье надъ

реликвіями пушкинскаго періода, мы считаемъ себя въ правъ заключить, что время процвътанія этого рода поэзій уже прошло. "А если прошло, то и толковать о немъ много не стоитъ, и убиваться налъ выставленіемъ его смышныхъ сторонъ не нужно?" Не всегда оно такъ бываетъ; по въ настоящемъ случать это замъчаніе кажется намъ вполеть справедливымъ. Пародій на безцъльныя и бездъльныя пьески съ претензіей на художественность, насмъщки надъ высокими мечтами въ виду житейской пошлости, надъ отвлеченно-абсолютнымъ спокойствіемъ предъ жизненными, реальными вопросами нужды и горя —были въ ходу давнымъ давно. Предметъ этотъ далеко еще не исчернанъ, потому что, несмотря на многочисленныя насмъщки и критическія наставленія, поэзія наша до сихъ поръ никакъ не хочетъ идти въ ладъ съ живой, человъческой дъйствительностью. Но теперь уже протяворъчіе ціпты съ реальной правдой выражается иначе. теперь уже противоръчіе пінты съ реальной правдой выражается иначе, а потому и насмъшка, и пародія должны принять другія формы, настроить себя нъсколько на другой ладъ. Мы читали много пародій, въ которыхъ, вмъсто возвышенныхъ предметовъ, трактуемыхъ поэтомъ, подставляются предметы житейскіе, и затъмъ идетъ весьма близкое подражаніе. Напримъръ, вмъсто "цвътокъ засохшій, безуханный", читаемъ: "ременный кнутъ, небезуханный"; вмъсто: "скажи мнъ, вътка Палеттины" — "скажи мнъ, ветхая бунажка", и затъмъ пародія перебираетъ, что могло случиться съ кнухая бумажка", и затыть пародія перебираеть, что могло случиться съ кнутомь и съ синенькой бумажкой, въ чьихъ рукахъ они были, кого съкъ кнутъ, и какія гадости покупались бумажкою. Это, конечно, забавно само по себъ, и въ то же время справедливо опошляеть тѣ quasi высокія, а въ самомъ дѣлѣ ребяческія и смѣшныя мечты, которыя посвящены поэтами цвѣтку безуханному и вѣткъ. Но подобнаго рода пародіи хороши именно только тогда, когда онѣ, во-первыхъ, обращены на стихотвореніе, имѣющее большую извѣстность, и, во-вторыхъ, когда само содержаніе пародіи забавно. Если же авторъ пародіи выбираетъ себѣ на жертву какое-нибудь изъ незначительныхъ произведеній незначительнаго поэта и основываетъ весь смыслъ своей пародіи на незначительной утрировкѣ мысли подлинника, то мы не понимаемъ цѣли и смысла подобной работы. Есть, напр., у г. Полонскаго стихотвореніе: "Мое сердце—родникъ, моя пѣсня— волна", и пр. Оно нѣсколько страдаетъ неопредѣленностью и излишкомъ смѣлой мечтательности; но прямо дурнымъ нельзя его назвать; нельзя сказать и того, чтобы оно заключало въ себѣ полное выраженіе характера и манеры поэта; его оно заключало въ себѣ полное выраженіе характера и манеры поэта; его не многіе знають даже изъ любителей стиховъ. Зачѣмъ же, спрашивается, написана воть эта пародія, которую находимъ мн въ "Перепѣвахъ".

Пусть моя пѣсня смутна и темна, Но за то ей душа отзывается, Неуловимая, будто волна, Она звуками вся разсыпается, Все въ ней — и слезы, и муки любви, И укоръ, и мольбы откликаются... Но не умомъ понять пёсни мом,—
Въщимъ сердцемъ онъ понимаются.

Конечно, это стихотвореніе безцвѣтно и ничтожно; но отъ этого оно вовсе не дѣлается злымъ и забавнымъ.

Многія изъ пародій даже не достигають до красоты подливника. Это опять происходить оттого, что Обличительный поэть береть не ръзко-ложныя стихотворенія и не стремится осмъять слабыя стороны, вообще отличающія взятаго имъ автора, а просто выбираеть стихотворенія похуже, да и старается ихъ исказить еще больше. Напр., у г. Фета есть пренельпое стихотвореніе:

Буря на небѣ вечернемъ, Моря сердитаго шумъ, Буря на морѣ, и лумы. Много мучительныхъ думъ, и пр.

Само по себъ, это стихотвореніе—пародія; его иначе никто и не приметь, какъ за написанное на смъхъ (если не предупредить, разумъется, что тутъ бездна поэтическихъ красотъ). Обличительный поэтъ пишетъ на это пародію:

Звізды на небі вечернемъ; Робкій волнуется умь... Волны на морі и думы — Много мучительныхъ думъ; Пьянство ночное въ трактері, Різкій вакхическій шумъ; Звізды, и волны, и думы— Хоръ возрастающихъ думъ.

Неужели стоило нарочно придумывать чепуху, ничуть не болъе яркую, чъмъ та, для осмъянія которой она придумана?

Такова большая часть стихотвореній Обличительнаго поэта: они вялы и робки. Напримірь, въ двухъ или трехъ пьесахъ онъ пародируеть г. Бенедиктова: извъстно, какія метафоры и тропы употребляеть этоть поэтъ. Въ пародін на него желательна такая смілость, которая бы презирала всі требованія здраваго смысла и заботилась только о трескотні фразы; пародін же Обличительнаго поэта далеко не достигають даже той смілости, какою отличается и самъ г. Бенедиктовь, сочиняющій свои стихи не на сміхъ, а очень серьезно.

Въ "Перепъвахъ" есть пародіи и на греческія стихотворенія ІЦербины, и на пъсни его о природъ, и на философическій родъ Огарева, и на еврейскія пъсни Мея, и на римскіе очерки Майкова — не говоря уже о Фетъ, доставившемъ Обличительному поэту пространную канву. Но ръдкія пародіи имъютъ цъну сами по себъ, какъ забавныя стихотворенія; а какъ обличенія названныхъ стихотворцевъ, кому же онъ теперь пужны? Всъ почти пьесы, перепьтыя Обличительнымъ поэтомъ, давнымъ-давчо забыты даже любителями, не говоря о большинствъ публики. Безплодность направленія, общаго этимъ стихотвореніямъ, также теперь ужъ не новость. Теперь даже сами "поэты" сознаютъ это, только не хотятъ признаться. Оттогото въ новъйшихъ произведеніяхъ русской музы и замътно порыванье къ чему-то, только стихотворцы не знаютъ еще сами, — къ чему, а если и знаютъ, то на бъду себъ же. Они узнаютъ, напримъръ, что мысль пужна въ поэзів, и вслъдствіе того привязываютъ къ своимъ стихамъ какой-нибудь моральный хвостъ, совсъмъ другого цвъта, некстати, неловко, словомъ, такъ, какъ дълаетъ часто г. Жемчужниковъ. На это есть одна пародія въ "Перепъвахъ", по нашему мнѣнію, недурная:

Бдемъ мы лѣсомъ, несками сыпучими:
Солнышка бдизокъ закатъ;
Сосны вокругъ насъ иглами колючимв,
Какъ исполяны, грозятъ.
Иѣсно ямщикъ затанулъ нашъ унылую...
Камень, песокъ да сосна...
Такъ бы все плакалъ подъ пѣсню тоскливую:
Родиной вѣстъ она.

А то вообразять, что "обличать" надо: и выходить г. Розенгеймь! Или придумають, что надо собственное міросозерцаніе сочинить, непохожее на простой взглядь, а имѣющее въ себѣ нѣчто мистическое и символическое: является г. Кусковъ! Всѣ подобныя стремленія, какъ они ни неудачны, доказывають, однако же, что художественный индифферентизиъ къ общественной жизни и нравственнымъ вопросамъ, въ которомъ такъ счастливо прежде покоились гг. Фетъ, Майковъ (до своихъ патріотическихъ твореній) и другіе, — теперь уже совсѣмъ не удается новымъ людямъ, выступающимъ на стихотворное поприще. Кто и хотѣлъ бы сохранить прежнее безстрастіе къ жизни, —и тотъ не рѣшается, видя, что "чистая художественность" теперь привлекаетъ общее вниманіе единственно только вътвореніяхъ Кузьмы Пруткова. Такимъ образомъ, всѣ эти атогозо, farniente, вечера и дѣвы—съ облаками, луной, соловьями и ручьями—пропадаютъ сами собою. Пусть ихъ печатаются еще нѣсколько времени, — это послужитъ только къ болѣе рѣшительному ихъ паденію. Мѣсяца три тому назадъ, въ нѣсколькихъ журналахъ разомъ появились "весенніе звуки", "весеннія ночи" и "весеннія мечти", кажется. Все это было очень тепло, живописно, мило, словомъ — художественно; но мы нѣсколько разъ заставали чтеніе этихъ стиховъ у нашихъ знакомыхъ, сопровождаемое та-

кимъ постояннымъ смѣхомъ, съ какимъ едва-ли прочтутся "Перепѣвы" Обличительнаго поэта.

Обличительнаго поэта.

Мы думаемъ, что теперь время и пародіи быть нѣсколько строже къ себѣ; иначе и она испытаєтъ то же, что испытываетъ кочедія нразовъ. "Бригадиръ" теперь не соберетъ въ театръ многочисленной публики; такъ точно и пародія на "Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ" не будетъ ходить по рукамъ и переписываться съ жадностью. Скоро пораженъ будетъ забвеніемъ и тотъ родъ пародій, который направленъ исключительно на художественные недостатки прежнихъ поэтовъ. Вопросъ чистаго искусства уже проигранъ фактически; надъ нимъ и хлопотать не стоитъ.

Но для насмѣшки и пародіи предстоитъ еще большая работа; сопровождать русскую жизнь въ новомъ пути, который ей теперь открывается, и преслѣдовать свисткомъ всякаго, кто безъ толку супется на этотъ путь и начнетъ тутъ вертѣться, дѣла не дѣлая, а только мѣшая другимъ. И надо замѣтить, что исполненіе подобной задачи, въ вилу настоящихъ дѣятелей русской лирики, легче, нежели когда-нибудь. Трудно пародировать

телей русской лирики, легче, нежели когда-нибудь. Трудно пародировать истиннаго поэта, съ цёлью выставить его дурныя стороны; еще труднёе пародировать цёлое литературное направленіе, ежели оно, хотя и ложно въ извёстныхъ отношеніяхъ, но согрёто отнемъ истинной поэзіи. Ложь и въ извъстныхъ отношеніяхъ, но согрьто огнемъ истинной поэзіи. Ложь и правда такъ въ этомъ случать сливаются, недостатки такъ переплетаются живыми достоинствами, что рфдкая пародія, задъвая одни, можеть не тронуть другія; а какъ скоро истинное достоинство задъто— пародія неудачна. Чтобы съ полнымъ успъхомъ ее сдълать въ указанныхъ нами случаяхъ, надо быть самому поэтомъ, противопоставлять талантъ таланту. Для пародированія современной русской лирики вовсе не нужно имъть поэтическаго дарованія; нужно только умъть писать стихи и понять, въчемъ дъло. И для того, чтобы понять, даже ума особеннаго не нужно. Все дъло въ томъ, что совокупность современныхъ поэтовъ нашихъ лишена страсти и энергіи и оттого не можетъ имъть сосредоточенности, а страждетъ, напротивъ, забросанностью, неопредъленностью, неръшительностью. Стихи нашихъ новъйшихъ стихотворцевъ — дъланные. Это совсѣмъ не то, что выходитъ у человъка, котораго извъстное впечатлъніе или мысль поразили такъ, что не могутъ изъ сердца выдти, преслъдуютъ, мучать его, не даютъ ему ничего другого видъть и слышать, пока онъ имъ не дастъ жизни въ стихъ, соотвътственномъ его внутреннему о нихъ представленію. Нътъ, наши поэтики не такъ воспріимчивы къ жизни: если ихъ что и поразитъ, то не надолго; ихъ вниманіе и участіе раздълено между многими предметами, и ничто особенно не западаетъ имъ въ душу. Они скажуть себъ: "а изъ этого бы недурно стихи написать", и если досугъ есть — напишутъ, а то, пожалуй, и оставятъ... Предметь ихъ стихотвореаія не связанъ съ ними кровно и душевно, имъ не жалко его бросить. Мы говоримъ это такъ утвердительно не на основании какихъ-нибудь личныхъ знакомствъ, а на основаніи самихъ стихотвореній, которыя намъ приводилось читать. Во всехъ ихъ вы видите, что авторъ не восприняль въ себя свой предметь, не слился съ нимъ, не положилъ души своей на его изображение: вы читаете описания, очень живыя иногда.мивнія, иногда умныя, - чувства, повидимому, искреннія, и совстив тъмь вы остаетесь въ полнъйшемъ невъдъни объ авторъ. Десять стиховъ Лермонтова скажутъ вамъ о его характерф, взглядф, направлении гораздо больше, нежели о какомъ-нибудь новъйшемъ пінтв десятки стихотвореній, въ которыхъ онъ, кажется, и мыслить, и чувствуеть. Это отъ того. что тамъ вы видите самостоятельное, живое, личное воззрѣніе поэта, а здёсь всё мысли - готовыя, чувства - рутинныя, взгляды отъ общихъ началъ примъняются къ частному предмету или случаю, а не отъ предмета возводятся къ общимъ началамъ. Такъ иногда вы слушаете юношу, который описываетъ красавицу: греческій посъ, южные глаза, матовый цвътъ лица, и т. д., — наспортъ, изложенный корошимъ слогомъ... Это значитъ. что юноша не любить красавицу; не такъ сталь бы онъ говорить, есля-бъ любиль: не до этихъ формальныхъ определеній было бы ему, онъ поспешиль бы вамь сказать, какъ она на него взглянула, что оно при ней почувствовалъ и, конечно, одной-двумя чертами онъ изобразилъ бы вамъ и красавицу, и себя самого, и свои взаимныя отношенія, гораздо лучше, чвиъ самымъ длиннымъ описаніемъ ея прелестей.

Наши поэтики не нашли еще своей суженой красавицы, не полюбили еще всей душею; можетъ быть, многіе и неспособны страстно полюбить, но всё увёряють, что любять. Воть туть-то и надо ловить и обличать ихъ; туть-то и годится пародія. Если она и никого не исправить, то, по крайней мёрё, облегчить, можетъ быть, будущему таланту отысканіе настоящей красавицы и избавить его отъ напрасныхъ метаній изъ стороны въ сторону, которыми такъ страдають наши новёйшіе стихотворцы.

## ЧЕРТЫ

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКАГО ПРОСТОНАРОДЬЯ.

(**Разсказы изъ народнаго русскаго быта.** *Марка Вовчка*, Изданіе К. Солдатенкова и П. Щенкина. М. 1859).

Въ прошломъ году нъкоторыя обстоятельства, всего болъе досадныя для насъ самихъ, помъшали намъ подробно говорить о малороссійскихъ разсказахъ Марка Вовчка, переведенныхъг. Тургеневымъ. Мы должны были ограничиться только небольшою выдержкою изъ статьи г. Костомарова, написанной имъ для "Современника" еще тогда, когда "Народні Оповідання" только-что появились въ малороссійскомъ подлинникъ. Надъемся быть нъсколько счастливъе теперь, при появленіи новой книжки разсказовъ Марка Вовчка, еще болъе любопытныхъ для насъ, такъ какъ они взяты изъ жизни народа великорусскаго.

Мы вовсе не изъ-землячества интересуемся изображеніями изъ великорусскаго быта болбе, чемъ малороссійскаго. У насъ есть на это другія причины, заключающіяся въ техъ мивніяхъ, какичь въ последнее время подвергался великорусскій крестьянинъ, преимущественно передъ малорусскимъ. Узкій патріотизмъ, вев человъческіе интересы подчиняющій землячеству, достаточно надобдаеть и въ немцахъ какого нибудь ландграфства Гессенъ-Гамбургскаго или княжества Лихтенштейнскаго; им можемъ отъ него и освободить себя. У насъ нътъ причинъ разъединенія съ малорусскимъ народомъ; мы не понимаемъ, отчего же, если я изъ Нижегородской губернін, а другой изъ Харьковской, то между нами уже не можеть быть столько общаго, какъ если бы онъ быль изъ Псковской. Если сами малороссы не совстви довтряють намъ, такъ этому виной такія историческія обстоятельства, въ которыхъ участвовала административная часть русскаго общества, а ужь никакъ не народъ. Да это, впрочемъ, понимаетъ масса людей въ самой Малороссіи: москалями зовуть тамъ солдать, такъ точно, какъ панами зовуть помъщиковъ...

Сами разсказы Марка Вовчка служать доказательствомъ того, что благоразумные малороссы умъють цвнить народъ русскій, не двлая рвзкой разницы между Малой и Великой Россіей. Новая книжка "Народныхъ разсказовъ" проникнута тъмъ же характеромъ и тенденціями, какъ и прежнія "Народні Оповідапня". Великія силы, таящіяся въ народъ, и разные способы ихъ проявленія подъ вліяніемъ кръпостнаго права — вотъ что видимъ мы въ этихъ разсказахъ. Тонъ автора, обрывието пъвучій, характеръ разсказа грустный и задумчивый, второстепенныя подробности, полныя чистой и свъжей поэзіи въ описаніяхъ и бъглыхъ замъткахъ — все это осталось таково же, какъ и въ прежнихъ разсказахъ. Только имена людей и мъстъ, изображенія природы, игры и пъсни вводять насъ въ великорусскій бытъ, да еще отношенія крестьянъ къ кръпостному праву имъютъ здъсь свой особенный оттънокъ.

Эта-то особенность и занимаетъ насъ всего болъс. Въ малороссійскихъ разсказахъ мы видъли злоупотребленія помъщичьей власти, и злоупотребленія неръдко довольно крутыя. Это даже подало, говорять, поводь одному извъстному русскому критику объявить произведенія Марка Вовчка "мер-зостно-отвратительными картинками", и причисливши ихъ къ обличительной литературв, вследствие этого отвергнуть въ авторе ихъвсякий талантъ литературный. Мы не читали статейки строгаго критчка, потому что давно уже перестали интересоваться его литературными приговорами; но, тъмъ не менъе, мы понимаемъ процессъ, посредствомъ котораго онъ со-ставилъ свое заключение. Онъ — приверженецъ теории "искусства для искусства"; разсказы Марка Вовчка нашли себъ хвалителей тоже въ числъ приверженцевъ этой теоріи. Можете себъ представить, что именно нравилось въ этихъ разсказахъ такимъ хвалителямъ. Мы сами слышали, какъ двое художественныхъ цънителей восхищались необыкновенною прелестью и поэтичностью одного мъста, которое, кажется, такъ читается: "геть, геть, далеко въ полъ крестъ надъ его могилой виднъется". Строгій критикъ, осудившій Марка Вовчка, оказался даже нівсколько благоразумние подобныхъ цвнителей, понявши, что "геть геть, далеко въ полъ" еще не есть чрезвычайная высота художественности. А что онъ ничего другого не въ состояніи быль понять въ "Народныхъ разсказахъ", такъ это опять совершенно естественно, и весьма страненъ былъ бы тотъ, кто сталъ бы ожидать отъ него такого пониманія. Тогда онъ сдёлался бы отступникомъ теоріи "искусства для искусства"; а можетъ-ли онъ отступить отъ нея? Безъ нея что бы онъ сталь дёлать на свётъ, куда бы годился онъ? Безъ нея онъ долженъ былъ бы исчезнуть, какъ исчезъ Иванъ Александровичъ Чернокнижниковъ, какъ исчезалъ Кузьма Петровичъ Прутковъ на то время, когда у насъ поднимались великіе общественные вопросы...

Но дело не въ приговорахъ художественнаго критика: Богъ съ нимъ, въдь его никто не принимаетъ серьезно, стало быть, художественныя по-тъхи его остаются совершенно безвредными. Мы имъемъ въ виду другіе толки, другія мижнія, о которыхъ считаемъ удобнымъ поговорить теперь. по новоду книжки Марка Вовчка. Мивнія эти довольно распространены въ извъстной части нашего общества, называющей себя образованною, и между тъмъ они обнаруживають не только непонимание дъла, но и крайнее легкомыслів или самую неразумную недобросовъстность. Мивнія, о которыхъ мы говоримъ, касаются характеристики русскаго крестьянина и его отношеній къ крізностному праву. Крізностное право приходить къ своему концу и дълается достояніемъ исторіи; о немъ нечего толковать, оно отжило свой въкъ. Но факты, тяготъвшіе надъ государствомъ въ теченіе стольтій, не проходять даромь, не остаются безь всякаго следа. Какоенибудь мъстничество держится въ нравахъ, спустя два стольтія посль его уничтоженія закономъ; можно ли требовать, чтобы внезанно пересоздались всв отношенія, бывшія следствіемь такого явленія, какъ крепостное правов Нътъ, еще долго будеть оно отзываться намъ-и въ книжкахъ, и въ гостивных разговорахъ, и въ цъломъ устройствъ нашихъ житейскихъ отношеній. Понятія не только отживающаго поколенія, не только того, которое теперь дайствуеть, но и того, которое еще только готовится выступить на общественную службу, сложились, если не примо на основании крвпостного, несвободнаго устройства, то, во всякомъ случав, не безъ сильнаго его вліянія. До посл'ядняго времени нельзя было съ достаточною прямотою возставать противъ этихъ понятій, потому что основаніе ихъ, - кръпостное начало, -- было узаконено и принято государствомъ. Теперь это начало отвергнуто, признано противнымъ правамъ человъчества. лишено покровительства законовъ, и, стало быть, понятія и требованія, имъ порожденныя и воспитанныя, находять себь осуждение въ томъ самомъ, что прежде служило имъ оградою. Теперь дело литературы — преследовать остатки крепостнаго права въ общественной жизни и добивать порожденныя имъ понятія, возводя ихъ къ коренному ихъ началу. Марко Вовчокъ, въ своихъ простыхъ и правдивыхъ разсказахъ, является почти первымъ и весьма искуснымъ борцомъ на этомъ поприщъ. Въ последнихъ своихъ разсказахъ онъ даже не старается, какъ въ прежнихъ, выставлять передъ нами преимущественно то, что называется обыкновенно "злоупотребленіемъ помъщичьей власти". Что ужъ толковать озлоупотребленіи того, что само по себъ дурно, — о злоупотребленіи пьянства или воровства, напримъръ! Что ужъ говорить о такихъ явленіяхъ, къ которымъ подавало поводъ крѣпостное право, но безъ которыхъ оно могло иногда и обходиться! Нътъ, авторъ беретъ теперь нормальное положение крестьянина у помъщика, не

влоупотребляющаго своимъ правомъ, и кротко, безътнъва, безътовечи рисуетъ намъ это грустное, безотрадное положение. И изъ этихъ очерковъ, — въ которыхъ каждый, кто хоть немного имъль дёло съ русскимъ народомъ, узнаетъ знакомыя черты. — изъ этихъ очерковъ возстаетъ передъ нами характеръ русскаго простолюдина, сохранившій основныя черты свои посреди всёхъ обезличивающихъ, давящихъ, убивающихъ отношеній, которымъ онъ быдъ подчиненъ въ теченіе иёсколькихъ столѣтій. На нѣкоторыя черты этого характера мы и хотимъ теперь обратить вниманіе.

Извъстно, что о русскоиъ народъ существуютъ два митил, противо-положныя другь другу въ самомъ корит. Одни полагають, что русскій человъкъ ни на что самъ по себъ не годится и представляеть не болъе, какъ нуль: если подставить къ нему какія-нибудь иностранныя цифры, то выйдетъ что-нибудь, а если нъть, такъ онъ и останется въ полнъйшемъ ничтожествъ. Пругіе, напротивъ, имъють о русскихъ то же понятие, какое вивють насчеть обезьянь ивкоторые простолюдины, уверяюще, что обе-ЗЬЯНА ВСЕ ПОНИМАЕТЪ И ГОВОРИТЬ УМВЕТЬ. ТОЛЬКО ИЗЪ ХИТРОСТИ СКРЫВАЕТЪ свои дарованія. У насъ, видите-ли, что ни мужикъ, то геній; мы не учены, да намъ и науки никакой не нужно, — русскій мужикъ топоромъ больше сдълаеть, чъмъ англичане со всъми ихъ машинами; все онъ умъетъ и на все способенъ, да только,— не знаю ужъ почему,— не показываетъ своихъ способностей. Эти два мивнія многими распространяются не только на Великую, но и на Малую и Бълую Россію и на все славянское племя. Первое мивніе, какъ извъстно, теперь уже отстало: оно процвътало до 1812 г. Отечественная война показала намъ, что мы такое есть на свътъ, и мы до того пронивлись славою двенадцатаго года, что наконецъ сделали - таки его смъщнымъ-и у себя, и передъ иностранцами. Такимъ образомъ. въ одной каррикатурной исторіи Россіи, изданной во Франціи во время восточной войны, Олегъ идетъ на Константинополь съ крикомъ: "не посрамимъ русской земли. умремъ за въру и отечество! Мы то же герои, что и въ 1812 году!" То же кричитъ и Игорь и Святославъ, и т. д. Дъйствительно, двънадцатый годъ сдълался для насъ неисчернаемымъ источникомъ само-хвальства и замъною всъхъ добродътелей. Толкуютъ намъ о взяткахъ, а мы вспонинаемъ двъчадцатый годъ, указываютъ на коминесаріатъ — мы обращаемся къ двънадцатому году, говорять о движеніи идей — мы сей-чась же къ двънадцатому году и къ Пушкину... Такъбыло до 1857 года, въ концъ котораго появились первыя оффиціальныя распоряженія объ освобожденій крестьянъ. Туть общество осмотрълось и, все продолжая восхищаться Пушкинымъ и двенадцатымъ годомъ, сделало однакоже более точное опредъление своихъ мивний. Оно нашло, что дввнадцатый годъ. какъ и Пушкинъ, не принадлежить всему народу безъ исключенія, что не всякая голь перекатная способна понимать прелесть Евгенія Онфгина, да не всемъ поголовно принадлежитъ и заслуга вымораживанія французовъ. Решено было, что въ Россіи движеніе идей и движеніе доблестей совершалось въ одной извъстной части народа, и о высокомъ значении этой части въ судьбахъ всей Россіи, именно въ этомъ отношеніи, "Могковскій Въстникъ " уже объщалъ намъ представить статью одного знаменитаго русскаго писателя. Будемъ ждать объщанной статьи, и тогда, если позволять обстоятельства, попробуемъ вникнуть въ подробности дъла, защищаемаго знаменитымъ писателемъ, а теперь будемъ продолжать изложение того, какъ въ образованной части общества сформировалось въ послъднее время нъсколько болье опредъленное понятие о доблестяхъ русскаго народа. Доблести эти, по новъйшей редакціи, принадлежать собственно "извъстной части", масса же народа, хотя тоже, конечно, имбетъ ихъ, но еще не можетъ быть вполив признапа ихъ обладательницею, ибо еще не начала жить "сознательной жизнью". Это мивніе такъ было хорошо выдумано, что къ нему пристали всв-и тв, которые уввряли, что русскій челов'явь - нуль, и тв, которые давали понять, что онъ-хитрая обезьяна. Первые говорили: "ну да, когда кто-нибудь возьмется за дело и внушить русскому человеку, что и какъ надо дълать, такъ онъ и сдълаетъ... Мы въдь о томъ именно и говорили, что онъ самъ по себъ, безъ руководителя, никуда не годится". пругіе тоже восклицали: "ну да, и мы въдь стояли на томъ, что русскій человъкъ способенъ ко всему; а само собой разумъется, что надо эту способность направить. надо умъть его вести хорошенько". Такимъ образомъ веф согласились, что русскій челов'якъ есть существо удобо руководимое и неотлагаемо нуждающееся въ руководительствъ, въ мирномъ, такъ сказать, и отеческомъ попеченіи о развитіи и направленіи его рукъ, ума и воли. Читатель, конечно, безъ комментаріевъ понимають, что значить такое соединеніе противоположных в мевній и гав туть главный жизненный пункть... Замвтимъ еще, что здвсь-то и споціализировалось понятіе о русскомъ чоловъкъ, какъ о великорусскомъ крестьянинъ по преимуществу. Славянское племя было вызываемо на сцену только въ разговорахъ уже весьма выспренняго свойства, и то преимущественно людьчи, любящими толковать о гніоніи Европы. Но что же касается до общепринятых толковъ, то въ нихъ великорусскій крестьянинъ явно отдъдялся даже отъ малорусскихъ и белорусскихъ своихъ собратій.

Относительно бѣлорусскаго крестьянина дѣло давно рѣшенное: забитъ окончательно, такъ что даже лишился употребленія человѣческихъ способностей. Не знаемъ, въ какой степени ложно это мнѣніе, потому что не изучали спеціально бѣлорусскаго края; но повѣрить ему, разумѣется, не можемъ. Цѣлый край такъ вотъ взяли да и забили, — какъ бы не такъ!

Это такъ же, какъ итальянцевъ забили, разслабили, лишили любви къ родинъ и къ свободъ!.. Посмотрите-ка теперь на нихъ... Во всякомъ случать, вопросъ о характеристикъ бълоруссовъ долженъ скоро быть разъясненъ трудами мъстныхъ писателей. Кстати, — мы уже слышали, что съ будущаго года предположено изданіе "Бълорусскаго Въстника", редакцію котораго принимаетъ на себя нъкто г. А. Крейцъ, человъкъ, на усердіе и благородство направленія котораго можно надъяться.

Что касается до малорусскихъ крестьянъ, то они заслужили отзывы, гораздо болъе благопріятные. Наше образованное общество училось исторія за извътно, ито въ исторія говорится о крока об смерте тьной борь бъ

Что касается до малорусскихъ крестьянъ, то они заслужили отзывы. тораздо болѣо благопріятные. Наше образованное общество училось исторій; а извѣстно, что въ исторій говорится о кровавой, спертельной борьбѣ Украйны за свою народность. Кромѣ того, наше образованное общество отличается вкусомъ къ изящнымъ искусствамъ и поэзій; а извѣстно, что Малороссія изобилуетъ прелестными пѣснями, прославляющими козацкую удаль и иѣжныя семейныя чувства. Все это, въ соединеній съ тѣмъ обстоятельствомъ, что крѣпостное право водворено въ Малороссій очень недавно (это тоже извѣстно изъ исторій), и поставило нашихъ образованныхъ людей въ необходимость пѣсколько выгородить малороссовъ изъ того повальнаго осужденія на удоборуководимость, которымъ характеризовали русскаго человѣка. "Малороссъ лѣнивъ, упрямъ, но гордъ и независимъ по характеру; у него тогчасъ слагается протестъ противъ всякаго нарушенія его правъ, и хотя протестъ этотъ остается недѣятельнымъ, но все же онъ заявляется". Такъ благоволили отзываться о малороссахъ весьма умные люди, такіе, которые даже перестали гордиться тѣмъ. что они малороссовъ лишь изрѣдка, да и то въ шутку, называютъ хохлами. Разумѣется, къ своему разсужденію они все-таки прибавляли, что руководительство необходимо и малороссу, потому что и онъ тоже необразованъ и грубъ, но что, во всякомъ случаѣ, надо стараться, чтобы не было поводовъ къ такимъ пепеченіямъ о немъ, какія изображены въ "Народныхъ Оповіданняхъ" Марка Вовчка.

Къ великоруссамъ вообще были гораздо суровъе. Не то, чтобы ихъ считали достойными такого обращенія. какое выставлено въ малороссійскихъ разсказахъ, а такъ, знаете, находили, что для великорусса это бы ничего: онъ, дескать, привыкъ, и не очень чувствителенъ къ подобному обхожденію. Тонкія и деликатныя чувства въ немъ заглохли; сознанія собственнаго достоинства и чувства чести для него не существуеть, правъ собственной личности и личности другого онъ не понимаетъ, и потому весьма многія вещи, которыя возмущаютъ насъ до глубины дущи, не возбуждаютъ въ немъ ни малъйшаго негодованія, не вызывають даже слабаго протеста. Мало того: русскій мужикъ даже не понимаетъ иныхъ мѣръ, кромѣ строгости. Напрасно будете вы взывать къ его человѣческому до-

стоинству, къ святымъ чувствамъ долга и права: онъ не пойметъ насъ, потому что эти чувства ему незнакомы. Для него нужны иныя побужденія; нужно, чтобы требованія долга олицетворялись въ извъстномъ начальствъ, съ строгою карою за каждое преступленіе ихъ. Оттого-то необходимо удержать еще на долгое время тълесное наказаніе въ крестьянскихъ общинахъ, оттого-то опасно выводить ихъ изъ-подъ благодътельнаго, отеческаго надзора помъщиковъ.

Такъ толкуютъ многіе умные люди, да че печатно. Раскройте любую книжку "Журнала Землевладъльцевъ", изъ котораго недавно перепечатаны великольные "Вечера съ разговоромъ", извъстные, въроятно, нашимъ читателямъ по выпискъ изъ нихъ въ "Свисткъ". Да обратитесь и къ "Сельскому Благоустройству",— и тамъ найдете то же самое, и ежели захотите поискать, то отыщете начто подобное и въ другихъ журналахъ, только, разумъется, нъсколько въ иныхъ формахъ. Мы выставяли самую грубую, т.-е. самую простую форму мивнія о томъ, что, всявдствіе чего бы то ни было, мужикъ русскій имфеть теперь низшую породу, не кели прочіе люди, принадлежащіе въ привилегированнымъ классамъ. А бываетъ форма гораздо болъе замысловатая. Напримъръ: "Удивительно созданъ русскій человъкъ! Какая сила терпънія, какое величіе самоотверженія! Мы кричимъ и хлопочемъ, едва насъ пальцемъ тронетъ вто-нибудь, а русскій мужичекъ безропотно переносить всевозможныя тягости и обремененія и, въ надеждв на милость Божію, спокойно идеть своею свренькой полоской, неустанно работая и зная, что не ему будутъ принадлежать плоды трудовъ его. Мы эгоистически разсчитываемъ каждый свой шагь, принесеть-ли онъ начь пользу, а простого русскаго человъка пошлите на върную смерть, - онъ пойдетъ безпрекословно, даже не спрашивая, зачемъ его посылають ... и т. д., и т. д. Вы видите, что сущность мивнія та же самая: мужикъ, дескать, грубъ и необразованъ, и потому не имъетъ ни сознанія правъ своей личности, ни собственнаго разума и воли. Но форма здъсь, очевидно, дипломатическая, и потому въ подобныхъ формахъ высказываются обыкновенно такіе образованные люди, которые готовится къ ораторскимъ торжествамъ и въ ожиданіи ихъ дають объды знаменитымъ иностранцамъ и предъ оными расточають свое красноръчіе.

Но справедливы-ли въ сущности миваія образованныхъ и краснорвчивыхъ людей? Точно-ли существенная и отличительная черта русскаго простого человвка—, недостатокъ иниціативы", необходимость посторонняго понуканья? "Громъ не грянетъ, —мужикъ не перекреститси". говорятъ въ свое подкръпленіе краснорвчивые знатоки русской народности, выдавая этотъ пошлый афоризиъ какого-то грамотъя за народную русскую пословицу. Но что они подъ громомъ-то разумѣютъ? "Не апплосисменты-ли", о которыхъ говоритъ Щедринъ въ началѣ своихъ "Губернскихъ очерковъ"? Не душеспасительное-ли русское слово, убъждающее русскаго человѣка работать не въ прокъ себѣ? Да, если взять юрилическую точку зрѣнія и трактовать крестьянина, какъ вешь себѣ не принадлежащую, то, конечно, выйдетъ, что у него и не должно быть никакой иниціативы, что она была бы преступленіемъ, и что такъ какъ за преступленіе наказываютъ, то онъ очень хорошо дѣлаетъ, что ее не обнаруживаетъ. Но оставьте крѣпостное воззрѣніе, да оставьте не въ формальностяхъ только, а совсѣмъ, въ самой сущности оставьте, и постарайтесь представить себѣ русскаго мужичка, какъ обыкновеннаго независимаго человѣка, какъ гражданина, пользующагося всѣми правами и преимуществами свободнаго государства. Если у васъ достанетъ на это воображенія и если вы хоть немножко знаете основаніе характера и быта русскаго простонародья, то въ вашемъ воображеніи тотчасъ явится картина людей, очень хорошо и умно умѣющихъ располагать своими поступками. А чтобы помочь вамъ въ подобномъ представленіи, мы беремъ книжку Марка Вовчка и напомнимъ вамъ нѣсколько русскихъ характеровъ, въ ней изображенныхъ.

Надо замѣтить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественною полнотою, а только лишь намѣчены въ коротенькихъ разсказцахъ Марка Вовчка. Мы не можемъ искать у него эпопеи нашей народной жизни, — это было бъ ужъ слишкомъ много. Такой эпопеи мы можемъ ожидать въ будущемъ, а теперь покамѣстъ нечего еще и думать о ней. Самосознаніе народныхъ массъ далеко еще не вошло у насъ въ тотъ періодъ, въ которомъ оно должно выразить всего себя поэтическимъ образомъ; писатели изъ образованнаго класса до сихъ поръ почти всѣ занимались народомъ, какъ любопытной игрушкой, вовсе не думал смотрѣть на него серьезно. Сознаніе великой роли народныхъ массъ въ экономіи человѣческихъ обществъ едва начинается у насъ, и рядомъ съ этимъ смутнымъ сознаніемъ появляются серьезныя, искренно и съ любовью сдѣланныя наблюденія народнаго быта и характера. Въ числѣ этихъ наблюденій едва-ли не самое почетное мѣсто принадлежитъ очеркамъ Марка Вовчка. Въ нихъ много отрывочнаго, недосказаннаго, иногда фактъ берется случайный, частный, разсказывается безъ поясненія его внутреннихъ или внѣшнихъ причинъ, не связывается необходимымъ образомъ съ обычнымъ строемъ жизни. Но строгой оконченности и всесторонности, повторяемъ, невозможно еще требовать отъ нашихъ разсказовъ изъ крестьянской жизни: она еще не открываетъ намъ себя во всей полнотѣ, да и то, что открыто намъ, мы не всегда умѣемъ или не всегда можемъ хорошо вы-

разить. Для насъ довольно и того, что въ разсказахъ Марка Вовчка им видимъ желаніе и умёнье прислушиваться къ этому еще отдаленному для насъ, но сильному въ самомъ себъ, гулу народной жизни; им чуемъ въ нихъ присутствіе русскаго духа, встрѣчаемъ знакомые образы, узнаемъ ту логику, тѣ требованія и наклонности, которыя мы и сами замѣчали когдато, но пропускали безъ вниманія. Вотъ чѣмъ и дороги для насъ эти разсказы; вотъ почему и цѣнимъ мы такъ высоко ихъ автора. Въ немъ видимъ мы глубокое вниманіе и живое сочувствіе, въ немъ находимъ мыширокое пониманіе той жизни, на которую смотрять такъ легко и которую понимаютъ такъ узко и убого многіе изъ образованнѣйшихъ нашихъ экономистовъ, славянистовъ, юристовъ, либераловъ, нувеллистовъ, и пр. и пр.

Въкнижкъ Марка Вовчка шесть разсказовъ, и каждый изънихъ представляетъ намъ женскіе типы изъ простонародья. Рядомъ съ женскими лицами рисуются, большею частью нъсколько въ тъни, и мужскія личности. Это обстоятельство ближайшимъ образомъ объясияется, конечно, тъмъ, что авторъ разсказовъ Марка Вовчка — женщина. Но мы увидимъ, что выборъ женскихъ лицъ для этихъ разсказовъ оправдывается и сахою сущностью дъла. Возьмемъ прежде всего разсказъ "Маша", въ которомъ это высказывается съ особенной ясностью.

Мы помнимъ первое появление этого разсказа. Люди, еще върующие въ святость и неприкосновенность крипостного права, пришли отъ него въ ужасъ и съ негодованіемъ упрекали вольнодумную цензуру, осмълившуюся пропустить такой разсказъ. А въ разсказъ раскрывается естественное и ничемъ незаглушимое развитие въ крестьянской девочке любви къ свободъ и отвращения въ рабству. Ничего преступнаго тутъ нътъ, какъ видите; но на приверженцевъ кръпостныхъ отношеній подобный разсказъ дъйствительно долженъ быль произвести потрясающее дъйствие. Онъ залеталъ въ ихъ последнее убъжище, сбивалъ ихъ съ последней позиціи, въ которой они считали себя неприступными. Видите-ли. они, какъ люди гуманные и просвъщенные, согласились, что кръпостное право въ основаніи своемъ противно правамъ человічества. Они вполнів понимають, что принадлежность человъка другому такому же человъку есть нельность, несообразная съ усивхами современнаго просвъщенія. Все это такъ... Но, всявдъ за темъ, они говорили, что ведь мужикъ еще не созрелъ до настоящей свободы. что онъ о ней и не думаетъ, и не желаетъ ея, и вовсе не тягогится своимъ положеніемъ, — развѣ ужъ только гдѣ барщина очень тяжела и приказчикъ крутъ... "Да и помилуйте, откуда заберется мужику въ голову имсль о свободъ? Книгъ онъ не читаетъ, не только запрещенныхъ, а и вовсе никакихъ (а въдь извъстно, что все это вольнодумство не отъ чего другого, какъ отъ книгъ происходитъ); съ литераторами не знакомъ; дъла у него довольно, такъ что утоній сочинять и недосугъ... Живетъ онъ себъ, какъ жили отцы и дъды, и если его теперь хотятъ освобождать, такъ это чисто по милости, по великодушію. . И повърьте, что мужикъ не скоро еще очнется, не скоро въ толкъ возьметъ, что такое и зачѣчъ даютъ ему... Многіе, очень многіе еще всплачутся по прежней жизни". Такъ увѣряли умине и просвѣщенные землевладѣльцы и ихъ единомышленники и считали невозможнымъ всякое возраженіе. И вдругъ, представьте себъ—имъ не возражаютъ даже, а прямо уличаютъ ихъ во лжи, оспариваютъ дѣйствительность факта, на который они ссылаются. Имъ разсказываютъ случай, доказывающій, что и въ крестьянскомъ сословіи возможна и естественва любовь къ свободному труду и независимой жизни, и что развитіе этого чувства не нуждается даже въ пособіи литературы. Вотъ какой простой случай имъ разсказываютъ.

У крестьянской старушки воснятываются двѣ сироты: племянница ея

у крестьянской старушки воспятываются двѣ сироты: племянница ел Маша и племянникъ Оедя. Оедя — какъ быть мальчикъ, веселый, смирный, покорный; а Маша съ малолътства выказываетъ большую своеобычливость. Она не довольствуется тъмъ, чтобы выслушать приказаніе, а непремънно требуетъ, чтобы сказали ей, зачъмъ и почему; ко всему она прислушивается и присматривается и чрезвычайно рано обнаруживаетъ на-клонность имъть свое сужденіе. Будь бы дъвочка у строгаго отца съ ма-терью, у нея эту дурь, разумъется, мигочъ бы выбили изъ головы, какъ обыкновенно и дълается у насъ съ сотнями и тысячами дъвочекъ и мальчиковъ, обнаруживающихъ въ дътствъ излишнюю интливость и неумъстную претензію на преждевременную дъятельность разсудка. Но, къ счастью или несчастью Маши, тетка ея была добрая и простая женщина, которая не только не карала Машу за ея юркость, но даже и сама-то ей поддавалась и очень конфузилась, когда не могла удовлетворать разспросамъ племянницы или переспорить ее. Такимъ образомъ Маша получила убъжденіе, что она имфетъ право думать, спрашивать, возражать. Этого ужъ жденіе, что она имветъ право думать, спрашивать, возражать. Этого ужъ было догольно. На седьмомъ году случилось съ ней происшествіе, которое дало особенный обороть асвиъ ея имслямъ. Тетка съ Федей повхала въ городъ; Маша осталась одна караулить избу. Сидить она на заваленкъ и играетъ съ ребятишками. Вдругъ проходитъ мимо барыня; остановилась, посмотръла и говоритъ Машъ: "что это такъ разшумълась! Свою барыню знаешь? А? чья ты?" Маша оробъла, что-ли, не отвътила, а барыня-то ее и выбранила: "дура ростешь, не умъешь говорить". Маша въ слезы. Барина положения по рынъ жалко стало. "Ну, поди, — говоритъ, — ко мнъ, дурочка". Маша нейдетъ; барыня приказываетъ ребятишкамъ подвести къ ней Машу. Маша ударилась бъжать, да такъ и не пришла домой. Воротилась тетка съ Өедей изъ города, — нътъ Маши; пошли искать, искали-искали, не нашли;

ужъ на возвратномъ пути она сама къ нимъ вышла изъ чьего-то коноплянника. Тетка хотъла ее домой вести, — нейдетъ. "Меня, — говоритъ, — барыня возъметъ, не пойду я". Кое-какъ тетка ее успокоила и тутъ же ей паставление дала, что надо барыню слушаться, хоть она и сурово прикажетъ...

« — А если не послушаенься? — промодвила Маша.

 Тогда горя не оберешься, голубчикъ, говорю 1).—Любо развѣ кару-то приимать?..

• Өедя даже смутился, смотрить на сестру во всв глаза.

- Убъжать можно. говорить Маша, убъжать далеко... Вогь Тростинскіе лівтось бытали.
  - Ну, и поймали ихъ, Маша... А которые на дорогѣ померли.
- А пойманныхъ то въ острогъ посадили, распивали всяческа, говоритъ Оедя.
- Натерићлись они и стыда и горя, дититко, я говорю: а Маша все свое: «да чего всё за барыню такъ стоятъ»?
- « Она барыня, —толкуемъ ей: ей права даны, у ней казна есть... такъ ужъ ведется.
  - с Вотъ что, сказала девочка. А за насъ-то кто-жъ стоитъ?
  - «Мы съ Оедей переглянулись: что это на нее нашло?
  - « Неразумная ты головка, дитятко, говорю.
  - « Да кто-жь за насъ? —твердить.
  - « Сами мы за себя, да Богъ за насъ, —отвъчаю ей» (стр. 29).

И съ той поры у Маши тэлько и рвчей, что про барыню. "И кто ей отдаль насъ? и какъ? и зачвиъ? и когда? Барыня одна, — говоритъ, — а насъ-то сколько! Пошли бы себв отъ нея, куда захогвли: что она сдвлаетъ?" Старушка-тетка, разумвется, не могла удовлетворить Машу, и дввочка должна была сама доходить до разръшенія свояхъ вопросовъ. Между твиъ скоро пришлось ей примвнить и на практикъ свой радикальний образъ мыслей. Барыня вспомнила про Машу и велъла сгаростъ посылать ее на работу въ барскій садъ. Маша уперлась: "не пойду", — говорить, да и только. Теткъ стало жалко дъвочку: сказала старостъ, что больна Маша. За эту отговорку и ухватилась дъвчонка: какъ только господская работа, она больна. Ужъ бары и и къ себъ ее требовала и допрашивала: "чъмъ больна?" — "Все болитъ", отвъчаетъ Маша. Барыня побранитъ, погрозитъ и прогонитъ ее. А на другой разъ опять то же.

Сколько ни уговаривалъ Машу братъ ея, сколько ни просила тегка, на которую барыня тоже гиввалась за племяницу, — ничто не помогало. Маша не только не хотвла работать, да еще при этомъ и держала себя такъ, какъ будто бы она была въ полномъ правъ, какъ будто бы то. что она двлала, такъ и должно было двлать ей. Она не хогвла, напримъръ, попросить у барыни, чтобъ освободила ее отъ работы. "Стоило только по-

<sup>1)</sup> Разсказъ веденъ отъ лица тетки.

клониться, попроситься,— разсуждаеть простодушная тетка,— барыня ее отпустила бы сама; да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глазъто на барыню не подниметь, и голось то глухо звучить... А вѣдь извъстень нравъ барскій: ты обмани— да поклонись пизко, ты злой человѣкъ— да почтителенъ будь, просися, молися: ваша, моль, власть казнить и миловать — простите! и все тебѣ простится; а чуть возмутился сердцемъ, слово горькое сорвалось, — будь ты и прардивъ, и честенъ — милости надътобой не будеть: ты грубіянъ! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а вѣдь какъ она Машу донимала! "Погодите, — бывало на насъгрозится, — я васъ всѣхъ проучу! "Хоть она и не карала еще, да съ такими посулками время невесело шло ".

А въ Машъ отвращение отъ барской работы дошло до какого то ожесточения, вызывало ее на безсознательный, безумный героизмъ. Разъ братъ упрекнулъ ее, что она отъ работы отговаривается болъзнью, а въ пляскахъ да играхъ предъ всей деревней отличается. "Развъ, — говоритъ, — ты думаешь, до барыни не дойдетъ! Нехорошо, что ты насъ подъ барскій гнъвъ подводишь". Послъ этого Маша перестала ходить на улицу. Скучно ей, тоскливо смотритъ она изъ окошка на игры подругъ, слеза бъжитъ у ней по щекъ, а не выйдегъ изъ избы. Тетка стала посылать ее къ подругамъ, братъ сталъ упрашивать, чтобы она перестала сердиться на его попрекъ: "я, — говоритъ, — бедя, не сердита, а только ты не упрашивай меня понапрасну, — не пойду". Такъ и не ходила, а по ночамъ не спала да по огороду все гуляла, одна одинешенька; и никому того не сказывала, —да разъ невзначай тетка ее подстерегла... "Богъ съ тобой, Маша, — говоритъ ей тетка. — "Китъ бы тебъ, какъ люди живутъ. Отбыла барщину, да и не боишься ничего... А то вотъ по ночамъ бродишь, а днемъ показаться за ворота не смъешь". — "Не могу, — шепчетъ, — не могу! Вы хоть убейте меня — не хочу". Такъ и оставили ее...

Между тъмъ Маша вкироста стала нертстой красорищей Старухо.

Между тёмъ Маша выросла. стала невъстой, красавицей. Старухатетка начинаетъ ей загадывать о замужней жизни и пророчить счастье замужемъ. Но Машъ и то не по нраву: "что жъ замужемъ-то, одинаково, — говоритъ. — Какое счастье!.." Тетка толкуетъ, что не все горе на свътъ, есть и счастье. "Есть, да не про нашу честь", отвъчаетъ Маша съ горькой усмъшкой... Слушая такія ръчи. Оедя начинаетъ задумываться и пригорюниваться. Но Оедя не можетъ предаваться своимъ думамъ: онъ отбываетъ барщину. Маша же продолжаетъ упорно отказываться отъ всякой работы. Всъ на деревнъ стали дивиться и роптать на бездълье Маши, а барыня однажды такъ разсердилась, что велъла немедленно силою привести къ себъ Машу. Привели ее. Барыня бросилась къ ней, бранится и серпъ ей въ руки суетъ: "выжни мнъ траву въ цвътникъ". Да и стала

надъ нею: "жни"! Маша какъ взмахнула сериомъ-прямо себъ по рукъ угодила. Кровь брызнула, барыня перепугалась: "ведите ее домой скорве! вотъ платочекъ - руку перевязать! " Твиъ двло и кончилось; Маша не оценила даже барской милости: какъ пришла домой, такъ сорвала съ руки барынинъ платочекъ и далеко отъ себя бросила...

Упрямое сопротивление Маши всякому наряду на работу, ея тоска, ея странные запросы — дурно подъйствовали на ен брата. И онъ закручинился, и онъ отъ работы отбился. Старуха-тетушка нашла, что парня пора женить, и говорить ему разъ о невъстахъ. "Коли свои, - говоритъ, - не по нраву, такъ бы въ Дерновку събздилъ, тамъ есть дъвушки хорошія ".-"Дерновскія всв вольныя", отозвалась Маша. — "Что-жъ что вольныя, вразумляеть тетка... Разв'в вольныя не выходять за барскихъ? Лишь бы имъ женихъ нашъ приглянулся". — "Если бы я вольная была, — заговорила Маша, а сама такъ и задрожала, - я бы, говорить, лучше на плаху головою". Оедя очень огорчился этимъ отзывомъ. "Ужъ очень ты барскихъто обижаень, Маша, --проговориль онъ, и въ лицъ изивнился: --они тоже въдь люди Вожіи, только что безчастные". Да и вышель сътъпъ словомъ... Тетка начала по обычаю уговаривать Машу, говоря, что кручиной да слезами своей судьов не поможеть, а развъчто въку не доживешь. А Маша отвъчаеть, что оно и лучше умереть-то скоръе. "Что мнъ туть-то, -говорить, - на свъть-то? "

Такъ живетъ бъдная семья, страдая отъ неумъстно-поднятихъ и беззаконно разросшихся вопросовъ и требованій дівочки. У дурной помівщицы, у сердитаго управляющаго подобная блажь имъла бы, конечно, очень дурной конецъ. Но разсказъ представляеть намъ добрую, кроткую помъщицу, да еще съ либеральными наклонностями. Она ръшилась дать позволение своимъ крестьянамъ выкупаться на волю. Можно представить себъ, какъ подъйствовало это извъстіе на Машу и Оедю. Но мы не можемъ удержаться, чтобы не выписать здесь вполне двухъ маленькихъ главъ, составляющихъ заключение этого разсказа Марка Вовчка.

«А Өедя все сумрачити да угрюмий, а Маша въ глазахъ у меня таетъ... слегла. Одинъ разъ я сижу подле нея-она задумалась крепко; вдругъ входить Өедя-бодро такь, весело... «здравствуйте», - говорить. Я-то обрадовалась: «здравствуй, здравствуй, голубчикъ!» Маша только взглянула: чего, моль, веселье такое?

Маша! - говорить Өедя: —ты умирать собиралась, — молода еще, видно, ты

умирать-то.

«Самъ посмъявается. Маша молчить.

Да ты очнись, сестрица, да прислушайся: я тебѣ вѣсточку принесъ.
 Богъ съ тобой и съ вѣсточкой, — отвѣтила. — Ты-себѣ веселись, Оедя, а миѣ

«Какая въсточка, Өедя, скажи мнъ?» спрашиваю.

 Услышь, тетушка, милая!— и обнялъ меня крѣпко-крѣпко и поцьловалъ.— Очнись, Маша! - за руку Машу схватиль и приподняль ее. - Барыня объявила намь: кто хочетъ откупаться на волю-откупайся...

«Какт всирикнетъ Маша, какт бросится брату въ ноги! Пілуетъ и слезами обливаетъ, дрожитъ вся, голосъ у ней обрывается: «откупи меня, родной, откупи! Влагослови тебя Господи! Милый мой! откупи меня! Господи. помоги же намъ, помоги!..

«Осдя-то самъ ръкою разливается, а у меня сердце покатилось, стою, смотрю на нихъ.

 Погоди-жъ Маша, - проговорилъ Оедя. - дай эпомниться то! Обсудить обдумать надо хорошенько.

Не надо, Оедя! Откупайся скорьй .. скорьй, братецъ милый!

- Помъхи еще есть, Маша. - я вступилася: - придется продать почитай по-

следнее. Какъ, чемъ кормиться-то будемъ?

« — Я буду работать... Братець! безустанно буду работать. Я выпрошу, выплачу у людей... Я закабалюсь, куда хочешь, только выкупя ты меня! Редной мей, выкупи. Я вѣдь изныла вся! Я дня веселаго, сна спокочнаго не знала. Пежалѣй ты моей юноств! Я вѣдь не живу—я томлюсь... Охъ. выкупя меня, выкупи! Или ко ней...

«Одъваетъ его, торонитъ, сама молитъ-рыдаетъ... Я и не опомниласъ, какъ она его выпроводила... Сама по избъ ходитъ, руки ломаетъ... И мое сердне трепешетъ, словно въ молодости, -- вотъ что затъвается! Трудно миъ было сообразиться, еще

труднъй успокоиться...

«Ждемъ мы Оедю, ждемъ не тождемся! Какъ завидѣта его М ина. горько заплакала, а онъ намъ еще издали кричитъ: «слава Богу!» Маша такъ и упала на лавку, долго еще плакала... Мы унимать: пускай поплачу.—говоритъ, не тревожъте: сладко мнѣ и любо, словно я на свътъ Божій нарождаюсь съизнову! Теперь мнѣ работу да-

вайте. Я здорова... я сильная какая! если-бъ вы знали!...

«Вотъ и откупились мы. Избу, вее спродали... Жалко мив было покидать, и бедь сгрустнулось: садилъ, ростилъ.—все прощай! Только Маша веселая и бограя—слезки она не выронила. Какое! Словно она изъ живой воды вышла, — въ глазахъ блескъ, на лицъ румянецъ; кажется, что ка клая жилка радостью дрожитъ... Діло такъ и кипитъ у нея... «Отдохни, Маша!»—«Отдыхать? и работать хочу!»—и засмътся весело! Тогда я впервые узнала, что за смъхъ у нея звонкій! Тогда Маша білоручкой слыла, а теперь Машу первой рукольтьницей, первой работницей величаютъ. И женихи къ намъ толпой... А барыня-то гифвалась — Боже мой! Сосъда смъются: «Холонка глупая васъ отуманила! Она нарочно больною притворилась... Вёдь вы, небось, даромъ почти ее отпустили?» Барыня и въ правду Машей не дорожилась.

«Поселились мы въ избушкѣ ветхой, въ городѣ, да трудиться стали. Богъ намъ цомогалъ, мы и новую избу срубили... Оедя женился. Маша замужъ пошла... Свекровь въ ней души не слышитъ: «она меня словно дочь родная утѣшаетъ; что это

за веселая! что это за работящая! - Вольна съ той поры не бывала.

"Фантазія! Идиллія въ соціальномъ вкусь! Мечты будущаго золотого въка! " закричали посль этого разсказа практическіе люди съ гуманными взглядами, но съ тайною симпатіею къ крыпостнымъ отношеніямъ. "Гдь это видано, чтобы въ простой мужицкой натурь могла въ такой степени развиться любовь къ свободь и сознаніе правъ своей личности? Если когданибудь и бывало что нибудь подобное, такъ это чрезвычайный эксцентрическій случай, обязанный своимъ происхожденіе иъ какимъ нибудь особеннымъ обстоятельствамъ... Разсказъ о Машь вовсе не представляетъ картины изъ русскаго быта; онъ есть просто заоблачная выдумка, нравоучительная притча, которая такъ же точно прилична Испаніи, Бразиліи, какъ и Россіи. Авторъ взялъ не типъ русской простой женщины, а явленіе ис-

ключительное, и потому разсказъ его фальшивъ и лишевъ художественнаго достоинства. Требованіе художественности состоить въ томъ, чтобы воплощать", и пр...

Тутъ почтенные ораторы пускались въ разсужденія о художественности и чувствовали себя совершенно въ своей тарелкъ.

Но они могли разсуждать, сколько имъ угодно, а разсказъ сдълаль внечатлъние на публику. Людямъ, не заинтересованнымъ въ дълъ, и въ голову не пришло возражать противъ возможности и естественности такого факта, какой разсказанъ въ "Машъ". Напротивъ онъ казался вполнъ нормальнымъ и понятнымъ для всякаго, знакомаго съ крестьянской жизнью. Въ самомъ дълъ, неужели, даже разсуждая а priori, возможно отвергать въ крестьянинъ присутствие того, что мы считаемъ необходимой принадлежностью человъческаго смысла у каждаго изъ людей? Сознание своей личности уже непремънно предполагаетъ и сознание о ея неприкосновенности, о ея правахъ. А неужели мы ръшимся поставить русскихъ мужиковъ на степень существъ, даже не сознающихъ своей личности? Это ужъ было бы слишкомъ...

Но, пожалуй, ставьте ихъ куда угодно, факты докажуть вамъ, что такія лица, какъ Маша и Өедя, далеко не составляють исключенія въ массь русскаго народа. Такихъ проявленій самостоятельности, какія выказались въ Машъ, конечно, нельзя встрътить часто. Но это ничего не значить. Форма можеть быть та или другая - это зависить отъ обстоятельствъ, — но сущность дъла остается та же. Люди говорятъ разными языками; одинъ бываетъ разговорчивъ, другой нетъ, одинъ имеетъ громкій голось, а другой — слабый, — бывають даже и совстви намые, но всетаки остается неподлежащею сомивнію та истина, что человъкъ имъеть даръ слова. Такъ точно, при всемъ разнообразіи степеней, въ каких проявляется въ русскомъ простолюдинъ мысль о своихъ естественныхъ правахъ и стремление освободиться отъ обязаннаго, барщиннаго труда-никакого сомнънія не можетъ быть въ томъ, что эта мысль и стремленіе существують. Что крестьянинъ нашъ находится въ такомъ положени, въ которомъ подобныя стремленія ватрівчають обыкновенно препятствія почти неодолимыя, -- это опять несочиванно и извъстно всъмъ и каждому. Но именно сила-то этихъ препятствій и даетъ намъ міру того, какъ сильны внутреннія стремленія простолюдина, которыя сохраняють свою жизненность даже посреди самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Взгляните, въ самомъ дълъ, на положение крестьянскаго мальчика или дъвочки, и подивитесь, какъ у нихъ могутъ сохраниться человъческія стремленія. Отецъ, мать, вст родные, подчиненные кръпостной власти, свыкшиеся съ своимъ положеніемъ и извідавшіе, можеть быть, собственнымъ горькимъ опытомъ все

неудобство самостоятельныхъ проявленій своей личности, — всъ стараются, изъ желанія добра мальчику, съ малыхъ лётъ внушить ему безпрекословную покорность чужому приказу, отречение отъ собственнаго разуна и воли. Умственныя способности раскрываются въ ребенкъ какъ бы для того только, чтобы понять весь ужасъ, всъ бъдствія, какія можеть навлечь на человъка наклонность къ разсужденіямъ, вопросамъ и требованіямъ. Всякая свободная, естественная логика замъняется житейскими правилами, примъненными къ рабскому положенію ребенка, въ ролъ тъхъ увъщаній, какія тетка дълала Машъ, говоря, что "извъстенъ правъ барскій: будь негодяй, да поклонись — и все ничего; будь и чистъ, и святъ, да скажи слово поперекъ — и пътъ тебя хуже". Исходный пунктъ всъхъ этихъ разсужденій — отрицаніе личности въ подчиненномъ существъ, признаніе его за тварь, за вещь, для которой нътъ другого закона бытія, кромъ произвола того, кому она подчинена... Къ такимъ попятіямъ приходятъ люди послъ долгаго ряда страданій, униженій, убъдившись въ своемъ безсилія противъ судьбы: и для того только, чтобы предохранить близкихъ людей отъ подобныхъ же страданій и безплодныхъ попытокъ, стараются они внушить и имъ эти понятія. Многое и принимается слабымъ разсудкомъ и слабою волею ребенка; тамъ, гдъ подобныя внушевія поддерживаются еще практически — пинками да кулаками за всякій вопросъ, за каждое возраженіе — тамъ и выростаютъ робкія, безотвътныя, тупыя существа, ни на человъка наклонность къ разсужденіямъ, вопросачь и требованіямъ. Всяженіе-тамъ и выростаютъ робкія, безотв'ятныя, тупыя существа, ни на что не годныя, кром'в какъ на то, чтобы всякому подставлять свою слину: кто хочетъ—побей, а кто хочетъ—садись да повзжай... Но это исключенія; въ общей массъ людей невозможно исказить человъческую природу до такой степени, чтобы въ ней не осталось и слѣда естественныхъ инстинктовъ и здраваго смысла. Одинъ изъ знаменитыхъ современныхъ публицистовъ Европы замътилъ недавно, что еслибъ деспотизмъ могь только надъ двумя поколѣніями въ міръ процарствовать спокойно, безъ протестовъ противъ него, онъ бы могъ навъки считать обезпеченнымъ свое господство: двухъ поколѣній ему достаточно было бы, чтобы исказить въ свою пользу смыслъ и совъсть народа. Но въ томъ-то и дъло, что деспотизмъ и рабство, противные природъ человъка, никогда не могли достигнуть нормальности, никогда не могли покорить себъ вполнъ и умъ, и совъсть человъка. Подчиняясь силъ, даже заставляя себя строить силлогизмы въ пользу этого подчиненія, челов'якъ, однако же, невольно чувствовалъ, что силлогизмы эти условны и случайны, и что естественныя, истинныя, гораздо высшія требованія справедливости— совершенно имъ противоположны. Отсюда постоянно напряженное, неспокойное, недовольное положеніе массъ, даже безропотно, повидимому, подчинившихся наложенному на нихъ закону рабства. Въ исторіи всёхъ обществъ, где существовало

рабство, вы видите родъ спиральной пружинки: пока она придавлена—держится неподвижно, но чуть давленіе ослаблено или снято—она немедленно выскакиваетъ кверху. По примому закону ен устройства она естественно стремится къ расширенію, и только постороння сила можетъ ее сдерживать. Такъ и людская воли и мысль могутъ сдерживаться въ положеніи рабства посторонними силами; но какъ бы эти силы ни были громадны, онт не въ состояніи, не сломавши, не уничтоживши спиральной пружинки, отнять у нея способность къ расширенію, точно такъ же, какъ не въ состояніи, не истребивши народа, уничтожить въ немъ наклонность къ самостоятельной дъятельности и свободному разсужденію.

Къ счастью, не отнимается эта наклонность и у нашихъ простолюдиновъ. Между крестьянскими дътими вы встрътите нередко такихъ же наивныхъ радикаловъ, какъ и между дътьми другихъ сословій. В вроятно, каждому изъ нашихъ читателен не разъ случалось ловить двтей въ ихъ мечтахъ и воздушныхъ замкахъ, провозглащаемыхъ ими во всеуслышаніе. Случалось, въроятно, входить и въ разсужденія съ дътьми по этому поводу, съ целью довести ихъ ad absurdum. Вспомните же, какъ трудно обыкновенно достигалась подобная задача. Для ребенка не существуетъ наша условная, житейская логика, наши приличія, наше положительное законодательство. Тамъ, гдъ взрослаго человъка можно остановить однимь словомъ: "не велъно, не принято", и т. п., —съ ребенкомъ нътъ возмож-ности справиться. Маша никакъ не можетъ понять, отчего всъ такъ стоятъ за барыню, и почему ен всъ боятся: "она въдь одна, а насъмного; пошли бы всв, куда захотвли, — что она сдвлаеть ... Такія двтекія разсужденія, ставящія въ тупикъ взрослаго челов'єка, чрезвычайно часто случается слышать; они общи всемъ детямъ, которыхъ не совсемъ забили при самомъ началь развитія. Въ крестьянскихъ дътяхъ они встречаются не только не меньше, чъмъ въ дътяхъ другихъ сословій, но даже еще чаще. Причина понятна: крестьянскія діти, говоря вообще, свободніве восимтываются, отношенія между младшими и старшими тамъ проще и ближе, ребенокъ раньше двлается двятельнымъ членомь семьи и участникомъ общихъ трудовъ ен. А съ другой стороны, и то много значить, что естественный, здравый смыслъ ребенка тамъ меньше искажается искусственными, повидимому, удовлетворительными отвътами, какіе находить мальчибъ или девочка образованнаго сословія. Мы ведь съ ранних влеть изучаемъ множество наукъ въ родъ минологіи и геральдики и съ малольтства искажаемъ свой разсудокъ разными казунстическими тонкостями и софизмами. Крестьянскій ребенокъ въ своей необразованной семьъ не можеть слышать ничего подобнаго, и потому долго остается верень природе и здравому смыслу, пока, наконець, не угомонить его тяготьние внышней

силы, вооруженной всёми пособіями новейшей цивилизаціи и опирающейся на всё силлогизмы и хріи, изобретенныя просвещенными и красноречивыми людьми...

Выми людьми...

Вотъ эта-то сида, тяготъющая надъ простолюдиномъ и останавливающая нормальный ходъ его мысли, и оставляетъ обыкновенно болъе свободы женщинъ, нежели мужчинъ; и вотъ почему сказали мы выше. что самая сущность дъла оправдываетъ выборъ женскаго лица для изображенія живыхъ, свободныхъ стремленій мысли и воли въ крестьянскомъ сословіи. Крестьянскій мальчикъ рано надъваетъ на себя тягу, испытываетъ на дълъ несостоятельность всъхъ своихъ думъ и мечтаній и пріучается регулярно убивать свою мысль и заглушать свои высшія стремленія. Дъ вушка, какъ ни много раздъляетъ она общіе труды съ мужчипами, всетаки имъетъ нъсколько болъе свободы предаться своимъ мыслямъ. Самый родъ многихъ занятій благопріятствуеть этому: за пряжей, тканьемъ, шитьемъ и вязаньемъ гораздо удобнъе думать и мечтать, нежели при съяньи, паханьи, жнитвъ, молотьбъ, рубкъ дровъ, и пр. Притомъ же, можно предполагать, что и у крестьянъ, какъ вообще во всъхъ сословіяхъ, воспріимчивость и воображеніе сильнъе у женщинъ, нежели у мужчинъ. И дъйствительно, припомнивъ многія наблюденія надъ жизнью просто-наролья, мы находимъ, что женщины здъсь вообще болье мужчинъ на-клонны къ разсужденіямъ о предметахъ возвышенныхъ — о душъ, о бу-дущей жизни, о началъ міра, и т. п. Знахарство, врачебное искусство, знаніе травъ и наговоровъ принадлежитъ преимущественно женщинамъ. знание травъ и наговоровъ принадлежитъ преимущественно женщинамъ. Сказки, легенды и всякаго рода преданія хранятся въ устахъ старушекъ; разсказы о святыхъ мѣстахъ и чужихъ земляхъ также разносятся по Руги стравницами и богомолками. На разговоръ о томъ, какъ на свѣтѣ правды не стало, и какъ всѣ въ мірѣ беззаконствуютъ, можно въ нѣсколько минутъ навести всякую бабу. Правда, заключеніе разговора будетъ неотрадное: "все, дескать, это по гръхамъ нашимъ, и видно ужъ такъ намъ на роду написано, судьба наша такая несчастная, и ничего съ нею не по-дълаешь"... Но говорится это больше по привычкъ; а когда станешь про-должать разговоръ и предлагать средства для выхода изъ настоящаго по-ложенія, то и окажется, что самая фаталистическая старуха не прочь бы ими воспользоваться, да только боится и не довъряетъ.

У мужчинъ замѣчается тотъ же видимый фатализмъ; но это опять не фатализмъ вѣры, а фатализмъ отчаянія: такъ, больной, убѣжденный вънеизбѣжности близкой смерти и потерявшій довѣренность къ лѣкарямъ, не хочетъ принимать лѣкарства. Такъ и мужикъ, отчаявшись въ возможности выйти изъ своего положенія, не хочетъ и говорить о немъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы больному хотѣлось умереть и чтобы мужику было

сладко его положеніе. И тотъ, и другой приняли бы съ радостью всякое средство, которое могло бы послужить къ ихъ дъйствительному облегченію. Мало того, — врачи-психологи говорятъ — и нельзя не върить этому, — что всякій больной, самый отчаянный, до послъдней ръшительной минуты не теряетъ надежды на возможность такого средства, не перестаетъ въ глубинъ души ждать его, хоти, повидимому, уже совершенно покорилси своей участи и готовится къ смерти. То же самое и съ людьми, находящимися въ стъсненномъ положеніи и, повидимому, примирившимися съ нимъ: они отчаялись и смирились только видимо, а внутри ихъ непремънно бродитъ желаніе и надежда выйти изъ этого положенія. Первые слухи объ освобожденіи были встръчены крестьянами очень недовърчиво. Намъ не разъ случалось, въ отвътъ на эту новость, слышать отъ мужика: "давно ужъ объ этомъ толкуютъ; да гдв ужъ тому быть? И такъ въкъ изжи-вемъ". Но, при всемъ своемъ недовъріи и наружномъ равнодушіи, тотъ же крестьянинъ съ любонытствомъ разспрашивалъ о подробностихъ разныхъ правительственных в распоряженій, относящихся въ делу освобожденія. А потомъ, когда стало ясно, что съ нимъ не шутятъ, вопросъ объ освобождени сталъ для крестьянъ нашихъ ръшительно на первомъ планъ, какъ самое важное и жизненное дъло. Теперь пътъ уголка во всей Россіи, гдъ бы не разсказывали о томъ, какъ, при началъ дъла освобожденія, помъщичьи крестьяне собирали сходки и отправляли депутацін—или въ по-мъщику, или въ свищеннику, или даже въ земскимъ властямъ, чтобы разузнать, что и какъ намърены ръшить на счетъ ихъ... Памятенъ также и тоть азарть, съ которымъ народъ, въ Петербургъ, бросился къ сенат-ской книжной лавкъ, когда однажды, въ началъ 1856 года, разнесся

слухъ, что вышелъ и продается указъ объ освобождении врестьянъ.

Да и безъ этихъ демонстрацій, есть одинъ фактъ, безмольный, но убѣдительно свидѣтельствующій въ пользу того, что отвращеніе къ крѣпостному состоянію, къ крѣпостному труду сильно развито въ массѣ. Совсѣмъ отказаться отъ работы, протестовать прямо врестьянинъ не можетъ. Отдѣлываться отъ барскихъ приказовъ такъ, какъ Маша въ разсказѣ Марка Вовчка, возможно очень рѣдко, да и то въ одиночку, а не скопомъ, не цѣлой гурьбою. Какъ скоро подобная наклонность отказаться отъ барской работы обнаруживалась по мъстамъ, то послѣдствія, какъ извѣстно, бывали для крестьянъ очень непріятныя. Поэтому, волей - неволей, надобило работать. Но что же, однако? Во всей Россіи, во всѣхъ врѣпостныхъ имѣніяхъ, безъ всякаго, конечно, соглашенія и уговора, крестьяне заявляють свой протесть противъ обязательнаго труда особымъ способомъ: они работаютъ плохо. Большею частью они даже сами не умѣютъ формулировать объясненія для своихъ поступковъ, но фактъ, что барщинская

работа очень неспора, — повсемъстенъ. Кромъ профессора Горлова и (въроятно) его усердныхъ слушателей и поклонниковъ въ университетъ, всъ согласны въ томъ, что вольнонаемный трудъ несравненно споръе и выгодите обязательнаго. Объ этомъ даже многіе землевладъльцы писали въ своемъ журналъ. Чего же вамъ еще? Отъ чего происходитъ это явленіе, какъ не отъ безсознательнаго присутствія въ каждомъ мужякъ, въ каждой бабъ крестьянской того же чувства, которое такъ ясно и сознательно выразилось въ Машъ Марка Вовчка? Разница въ степени развитія и въ формъ проявленія, а основа и здъсь, и тамъ одна и та же.

въ Машъ Марка Вовчка Разпица въ степени развитія и въ формъ проявленія, а основа и здѣсь, и тамъ одна и та же.

Да, мы находимъ, что въ "Машъ" разсказанъ не исключительный 
случай, чуждый нашей жизни и могущій произойти развъ съ одною изъ 
ста тысячъ крестьянскихъ душъ, — какъ претендуютъ плантаторы и художественные критики. Напротивъ, мы смѣло говоримъ, что въ личчости 
Маши схвачено и воплощено высокое стремленіе, общее всей массѣ русскаго народа, териѣливо, но неотступно ожидающей свѣтлаго праздника 
освобожденія. Мы никогда не согласимся съ тѣми, кто хочеть отрицать 
въ народѣ даже это ожиданіе, утверждая, что онъ еще не получиль вкуса 
къ самостоятельной жизни, къ свободному распоряженію своими поступками. Благодаря историческимъ трудамъ послѣдняго времени и еще болѣе новъйшимъ событіямъ въ Европѣ, мы начинаемъ нечножко понимать 
внутренній смыслъ исторіи народовъ, и теперь менѣе, чѣмъ когда-нибудь, 
можемъ отвергать постоянно во всѣхъ пародахъ стремленія, — болѣе или 
менѣе сознательнаго, но всегда проявляющагося въ фактахъ, — къ возстановленію своихъ естественныхъ правъ на нравственную и матеріальную 
независимость отъ чужого произвола. Въ русскомъ народѣ это стремленіе 
не только существуетъ наравнѣ съ другими народами, но, вѣроятно, еще 
сильнѣе, нежели у другихъ. Говоримъ это вовсе не потому, чтобы раздѣляли хоть малѣйшую долю мнѣнія о превосходствѣ славянскаго племени 
надъ всѣми прочими и о данноуъ ему свыше призваніи—

Хранить для міра достоянье Высокихъ жертвъ и чистыхъ дёль. Хранить племенъ святое братство, Любви живительный сосудъ, И въры пламенной богатство, И правду, и безкровный судъ,—

и всё подобныя прелести, о которых в такъ звучно укветь пъть господинъ Хомяковъ. Нътъ, безъ всяких в тонких в соображеній о племенных в различіяхъ, мы просто смотримъ на предшествующія событія и на результатъ ихъ — современное положеніе народа. Всякому ясно, что человѣкъ совсѣмъ голодный съ большимъ аппетитомъ будетъ ѣсть свой обѣдъ, нежели тотъ, кто передъ обѣдомъ успѣлъ позавтракать; тотъ, у кого вовсе

нать никаких в средствъ къ жизни, будеть ихъ отыскивать энергичнае и упориве, нежели тоть, у кого есть хоть плохая возможность прожить коекакъ. Изъ всёхъ европейскихъ народовъ самый консервативный, самый преданный установившимся законамъ и преданіямъ, конечно, англичане: и это какъ нельзя болже понятно. Они имъли время внутренняго броженія, время, когда ови должны были дорогою ціною покупать себі самыя ничтожныя права; но, купивши ихъ, они успокоились, если не вполнъ удовлетворенные, то, по крайней мфрф, обезпеченные въ самыхъ первыхъ, необходимыхъ своихъ требсваніяхъ. При этой обезнеченности, дальньйшія стремленія сами собою получають характеръ спокойный, умъренный, чуждый всякой порывистости и лихорадочности. Человъкъ, запасшійся зонтикомъ, хотя и чувствуетъ непріятность подъ дождемъ, но все таки онъ прикрыть хоть ивсколько, и потому не имветь надобности бъжать къ дому такъ торопливо, какъ тв, у которыхъ нечемъ прикрыться... Вотъ этого-то зонтика, подъ которымъ переноситъ дождь большая часть европейскихъ народовъ, и не успъла дать намъ наша предшествующая исторія. Мы еще только готовимся вступить на тоть путь, которымъ прошла Европа; мы еще недавно и глядеть-то стали на ея путешествие и одва начинаемъ различать дорогу. Отъ этого идемъ мы тобко, неровно, какъ бы ощупью; отъ этого и кажется, что у насъ нътъ иниціативы. Но мы чувствуемъ надобность идти, котя бы до первой станцін; намъ нельзя оставаться на одномъ мъстъ, нельзя и остановиться на дорогъ. Ясно, что начало нашего пути должно быть совершаемо съ большею ръшимостью, спътностью и твердостью, нежели продолжение пути, которое мы видимъ теперь у другихъ народовъ. Наши нужды настоятельнъе, безъ удовлетворенія ихъ трудиве прожить, нежели безъ удовлетворенія того, къ чему стремятся теперь европейские народы. Брайтовская реформа въ Англіи, свобода прессы во Франціи, требуеная какичъ-нибудь Фавромъ или Оливье, безъ сомнанія, вещи нужныя, и, современемъ, она будута достигнуты; но для нихъ еще время териитъ, онъ далеко не такъ существенны и настоятельны, какъ законное обезпечение гражданскихъ правъ и матеріальнаго быта милліоновъ народа, до сихъ поръ болъе или менъе териъвшихъ отъ тяжелаго вліянія произвола. Для этихъ милліоновъ дъло идетъ не о какой-нибудь прибавкъ къ правамъ, которыя они уже пріобръли прежде, а чисто на-чисто о созданіи хоть какихъ-нибудь правъ, потому что подъ вліяніемъ криностного принципа они, если не de jure, то de facto, не нивли вовсе никакихъ. Ясно, что жажда пріобратенія этихъ правъ, если ужъ она разъ почувствована, должна быть сильне. нежели всякое стремленію къ расширенію правъ уже существующихъ; ясно, что здёсь именно всего сильне можеть обнаружиться деятельность народнаго духа, и потому

этотъ предметъ заслуживаетъ особеннаго вниманія всѣхъ людей, истиннолюбящихъ народное благо. Многіе до сихъ поръ полагаютъ, что народъ,
еще не получившій свободы, не долженъ заслуживать и серьезнаго вниманія, такъ какъ онъ живетъ и дѣйствуетъ не самъ по себѣ, а какъ ему
велятъ. И это разсужденіе было бы справедливо, если бы оно относилось
къ массъ окончательно обезличенной и совершенно лишенной всѣхъ человъческихъ стремленій. Но мы уже сказали, что не вѣримъ даже въ возможность подобнаго обезличенія цѣлаго народа и, ни въ какомъ случаѣ,
не можемъ навязать его народу русскому. А если потребность возстановить независимость своей личности существуетъ, то намъ нѣтъ надобности
знать, получила-ли она формальное разрѣшеніе или нѣтъ: будетъ-ли она
освящена формальнымъ образомъ, или нѣтъ, — во въякомъ случаѣ она проявится въ фактахъ народной жизни, рѣшительно и неотлагаемо. Заглушить эту потребность или повернуть ее по своему никто не въ состояніи;
это рѣка, пробивающаяся черезъ всѣ преграды и не могущая остановиться
въ своемъ теченіи, потому что подобная остановка была бы противна ея
естественнымъ свойствамъ.

Но какое же именно направленіе можетъ принять на практикъ это стремленіе къ пріобрътенію самостоятельности и свободы? Извъстно, что эти понятія самыя неопредъленныя, и, можетъ быть, ни одно изъ словъ, обращающихся въ разговорномъ обиходъ человъчества, не возбуждало столько споровъ, какъ слово "свобода". Ученые и философствующіе люди доселъ не могутъ окончательно согласиться въ опредъленіи этого понятія; какъ же пойметъ его нашъ простолюдинъ? Многіе увъряютъ, что. по глупости и необразованности своей. подъ свободой онъ будетъ разумъть возможность ничего не дълать, никого не слушаться, каждый день нациваться и буянить; читатели наши уже знаютъ, къ какому разряду принадлежатъ люди, провозглащающіе такое мнъніе. Потому мы о нихъ не станемъ распространяться, а скажемъ только, что эти люди, отзываясь подобнымъ образомъ о крестьянахъ, судятъ по себъ, не принимая въ соображеніе разницы условій, подъ которыми выростають они и простолюдины. Для изученія этой разницы имъ опять надо обратиться къ Марку Вовчку: у него найдуть они поучительный разсказъ въ этомъ смыслъ, подъ названіемъ "Игрушечка".

Въ "Игрушечка" разсказывается исторія развитія прекрасной дѣтской натуры, подобной Машѣ, но только натуры барской. Сравните оба разсказа, и вы увидите, какъ несравненно больше залоговъ правильнаго, «дороваго развитія заключаетъ въ себѣ жизнь простолюдина, нежели жизнь барченка или барышни. Тамъ и требованія проще, и цѣль ближе и опредѣленнѣе, и самый способъ разсужденія не такъ пскаженъ. Самое пе-

чальное и гибельное искажение мысли простолюдина состоить въ томъ, что онъ теряеть ясное сознаше своихъ человъческихъ правъ, своей личной самобытности и непринадлежности никому другому. На этомъ пути онъ, дъйствительно, доходить до величайшихъ нельпостей, насильственно убивая въ себъ самыя законныя требованія и стремленія своей природы. Но такъ какъ природныя требованія всегда сохраняють извъстную долю силы надъ человъкомъ, то всегда есть надежда навести бъдняка на правильную точку зрвнія. А какъ скоро ужь онъ на эту точку станеть, - онъ ее применить и къ делу; въ этой практичности состоить особенность крестьянской мысли, и въ этомъ заключается ея сила. Мы обыкновенно философствуемь для препровожденія времени, иногда для пищеваренія, и большею частью о предметахъ, до которыхъ намъ дела нетъ и которыхъ мы никакимъ образомъ измънить не въ состоянии. да и не намърены. Крестьянину вовсе не до такой умственной роскоши; онъ человыкъ рабочій, онъ задумывается надъ тімъ, что можеть имъть отношение къ его жизни, и задумывается именно для того, чтобы въ душъ своей найти основание для практической даятельности. Приномните, о чемъ разсуждала, чего допытывалась Маша и къ чему ее привели вст ея разнышленія. Науъ кажется, что въ ея лицъ авторъ весьма удачно выставилъ главнъще вопросы, съ которыхъ должна начинаться работа мысли въ целомъ сословіи. Первый вопросъ, разум'вется, должень касаться личной неприкосновенности: "что же это такое? Я не хочу, а меня тащать; зачвыв неизвъстно, по какому праву - непонятно; этого не должно быть ". Въ этомъ простомъ разсужденіи заключается уже зародышь всёхъ возможныхъ правъ и гарантій общественныхъ. Изв'єстень процессъ мышленія: когда я хочу объяснить чей-нибудь поступокъ со мной, я ставлю самого себя на мъсто другого и стараюсь придумать, что могло бы заставить меня на этомъ мвств поступить такимъ образомъ; если никакихъ достаточныхъ мотивовъ не оказывается, я признаю поступокъ несправедливымъ. Поэтому, если ребенокъ задумываеття надъ твиь, по какому праву другіе посягають на его личность, и кончаеть твиъ, что не находить туть викакого права, то уже въ этомъ разсуждения вы находите гарантию того, что въ ребенкъ нътъ наклонности посягать самому на чужую личность. Такимъ образомъ, люди, возстающие противъ насилія и произвола, тъмъ самымъ дають уже намъ некоторое ручательство въ томъ, что они сами не будуть прибъгать къ насилію и не дадуть простора своему произволу; желаніе неприкосновенности для своей личности заставить ихъ уважать и личность другихъ. Конечно, и въ людяхъ, дъйствующихъ произвольно и насильственно, надобно тоже предполагать присутствие некотораго желанія, чтобы съ ними не поступали такъ, какъ они съ другими; но, позволительно думать, что,

вслъдствие совершенно уродливаго развития, даже это желяние въ нихъ не довольно сильно и притомъ подвержено множеству ограничений. Замъчено, что люди, гордые и деспотичные съ низшими, ночти всегда являются подлыми ласкателями и безпрекословными овечками передъ высшими. Замъчено также, что самые неумолимые, самые несносные управляющие въ помъщичьихъ имънияхъ бываютъ изъ лакеевъ, и что вообще лакеи себя держатъ предъ мужиками гораздо высокомъриъе, чъмъ ихъ господа. Читатель можетъ самъ дополнить эти наблюдения еще нъсколькими примърами изъ болъе общирнаго круга, и онъ непремънно придетъ къ заключению, что употребление насилия надъ другими заглушаетъ или, по крайней мъръ, очень ослабляетъ въ человъкъ способность истинно и глубоко возмушаться противъ насили надъ нимъ самимъ. Въ послъднее время мы видали, правла, что люди, весь свой въкъ не знавшие другого закона, кромъ произвола, вдругъ начали кричатъ противъ произвола, когда онъ задъваль ихъ интересы. Но за то эти люди обыкновенно покричатъ, пошумятъ, да и отстанутъ: энергически, дъятельно защищать то, что они считаютъ своимъ правомъ, они не могутъ, потому что сознание права вообще у нихъ очень нотускнъло и стерлось.

Итакъ, первое, что является непререкаемой истиной для простого смысла, есть неприкосновенность личности. Рядомъ съ этимъ неизбъжно является и понятіе объ обязанности и правахъ труда. "Я не имъю права на стъспение чужой личности, такъ какъ никто не имъетъ права стъснять меня самого; значить, я не могу разсчитывать жить на чужой счеть: это значило бы отнимать у другихъ плоды ихъ трудовъ, т.-е. насиловать, по-рабощать ихъ личность. Стало быть, я необходимо долженъ заботиться самъ объ обезпечени своей жизни, долженъ работать: живя своимъ трудомъ, я не буду имъть надобности отнимать чужое и, вмъсть съ тъмъ, имъя матеріальное обезпеченіе, буду имъть средства постоянно сохранять свою собственную независимость". Таковы простыйшія соображенія, изъ которыхъ вытекаетъ обязанность трудиться, ясная, какъ день, для всякаго простого человъка. И эти соображенія не выдуманы нами теоретически: они прочно и глубово лежатъ въ душъ каждаго простолюдина. Ему обывновенно даже и въ голову не приходитъ, чтобы можно было жить на свътъ, ничего не дълая: такъ онъ далеко отъ этого на правтикъ. Скажите любому крестьянину въ рабочую пору, чтобъ онъ отдохнулъ, бросилъ работу, вы получите простой отвътъ: а гдъ жъ мы хлъба-то возьмемъ? Не поработаешь, такъ и не повшь.

Стоитъ только обернуть разсужденіе, приводящее къ мысли объ обязанности работать, и мы получимъ выводъ о правахъ труда. "Если я долженъ работать для своего обезпеченія, потому что не могу и не долженъ

воспользоваться плодами трудовъ моего состда, то очевидно, что и состдъ долженъ имъть въ виду то же самое соображение. Онъ долженъ работать для себя, и я никакъ не хочу и не считаю справедливымъ отдавать ему то, что я заработалъ". И вотъ мы прямо приходимъ къ требованіямъ и ръшеніямъ, къ которымъ пришла Маша у Марка Вовчка, и которыя. въ гораздо меньшей, едва замътной степени, проявляются во всемъ кръпостномъ населеніи русскомъ. "Что мив работать на другихъ? Лучше в вачего не буду дълать", — такъ разсуждають люди, лишенные полныхъ правъ на свой трудъ, и — или вовсе отказываются отъ труда, гдъ можно, какъ Маша, напримъръ, или стараются употреблять какъ можно меньше усилій и усердія для чужой работы, какъ дълають помещичьи крестьяне по всей Россіи. Отсюда мы можемъ сдвлать простой выбодъ о томъ, куда направятся крестьянскія силы. какъ скоро они получать право свободно располагать своимъ трудомъ: какъ Маша, при первой въсти о возможности свободы, закричала, что она работать будеть, хоть закабалить себя, только бы заработать свой выкупъ, такъ точно и цълая масса, послъ освобожденія, обратится къ усиленному труду, къ заботамъ объ улучшеній своего положенія. Теперь відь ужь весь трудь освобожденнаго работника его, ому принадлежить неотъемлемо, значить, чемъ больше онъ потрудится, темъ больше и пріобратеть, тамъ лучше будеть и его положеніе. При такихъ условіяхъ даже и временное лишеніе личной свободы не такъ тяжело. Замвчательно, что Маша, для пріобрътенія свободы, хочеть закабалить себя; это значить, что для нея главнымъ образомъ не то тяжело, что она не можетъ дълать всего, что хочетъ, а то горько, что она должна отречься отъ правъ на свой трудъ безъ всякаго резона, Богъ-въсть зачъмъ. Отдавая себя въ кабалу, она знаеть, что туть условія делаются обязательными съ объихъ сторонъ; она будетъ въ кабальной работъ, а за нее за то выплатять выкупь. Такимъ образомъ, для нея видно здёсь начало и основаніе ея рабства; да виденъ и конецъ, и притомъ конецъ, до нѣкоторой степени все-таки сообразный со смысломъ, такъ какъ кабальный терминъ разсчитывается пропорціонально величинъ уплаты и стоимости работы закабаленнаго. Ничего подобнаго не было въ томъ состоянии, подъ которымъ жила Маша у своей барыни: тамъ ни начала, ни конца, ни входа. ни выхода, ни смысла, ни разсчета, —одинъ только произволъ и, вследствіе того, полное отсутствіе всякихъ личныхъ гарантій и опредъленныхъ правъ; что захотять, то съ тобой и сделають, безъ резона. безъ отчета, безъ ответа... Это-то всего более и невыносимо для человека, у котораго хоть чуть-чуть начинаеть просыпаться требование справедливости, отъ природы присущее всемъ людянъ, но во многихъ заглушаемое приниженіемъ и придушеніемъ ихъ личности.

Такимъ образомъ, предполагая, что крестьяне получаютъ свободу, мы видимъ вслъдъ за этимъ, какъ прямой результатъ - увеличение количества и возвышение качества ихъ труда. Само собою разумъется, что мы не смвемъ прилагать всехъ вышензложенныхъ разсуждений, какъ непременнаго условія, къправительственнымъ мірамъ освобожденія, приводимымъ теперь къ концу въ редакціонной коммиссіи. Мы говорили только о томъ, что должно быть вообще, по требованію логики и наблюденій надъ крестьянскимъ бытомъ и характеромъ: но мы ни мало не хотимъ касаться спеціально хозяйственных в административных вопросовъ, подлежащихъ разсужденію коммиссіи, и заранье опредвлять возможныя последствія тыхь мвръ, какія будуть приняты правительствомъ. Мары эти весьма естественно могутъ произвести свои особыя дъйствія, весьма различныя отъ тьхъ, какія мы можемъ предвидьть, разсуждая о діль въ общихъ чертахъ и представляя только логическія его определенія. Но наша задача состоить только въ указанія на некоторыя черты народнаго характера. а вовсе не въ опредъления способа дъиствий крестьянскихъ комитетовъ и коминссій, до которыхъ намъ здась совсамъ натъ дала. Поэтому, останавливаясь на самыхъ общихъ намекахъ на то, какимъ образомъ должна быть принята и употреблена свобода каждымъ простолюдиномъ нашимъ, мы теперь возвратимся въ той параллели, въ которой, какъ мы сказали, подаетъ поводъ разсказъ "Игрушечка".

"Игрушечка" есть не болве, какъ искаженіе имени Аграфева: Груша, Грушечка, но искаженіе, полное грустнаго и тяжелаго значенія. Эта Груша, крестьянская двючка, въ самомъ двлв была весь свой ввив игрушечкой своей барышни и барыни, а барышни и барыня, загубившія ея ввив, были въ сущности совершенно невинныя, добрыя созданія, которыя никогда бы не согласились мучить, губить людей: онв могли только играть, забавляться ими. Вся барская жизнь, изображенная въ "Игрушечкв", полна такой идилліи, что становится соввстно сказать жесткое слово объ этихъ господахъ. Ни малъйшаго слъда какого-нибудь разсчета, преднамъренности, злобы или хитрости не видно во всей ихъ жизни, во всвхъ ихъ, даже самыхъ дурныхъ, поступкахъ. Какъ они живутъ и что ихъ занимаетъ, это намъ всего лучше разскажетъ сама "Игрушечка" (стр. 132—135).

«Господа наши были мотоды. Нашу барыню всё красавицей величали. Такая была высокая да статная, чернобровая. бёлая, — только лёнивая... Господи. какая она ужъ лёнивая.-то уродилась! И глянетъ-то она на тебя въ полъ-глаза. Всей работы у нея было, всего дёла, что изъ горницы въ горницу плаваетъ, склонивши головку на бокъ, и длиннымъ своимъ платьемъ шелковымъ шуршитъ. Оживится немножко она раявё, какъ гостьи наёдутъ, говорливыя. да веселыя, да осудливыя. Подпимутъ на зубки и чепчики разные, и генеральшу московскую, поахаютъ о городё Парижё да побранятъ свой уёздъ, — тогда и наша барыня головку подниметъ

и заговорить себь громче... Баринъ поживъе ся быль, веселыя пъсенки все изваль, да насвистываль. Говорили, что не башковать онь, ну да за то смирень быль. Съ барынею они жили согласно. И она была барыни вобрая. Никого они не карали, не казнили, они и сероипися-то рыско сероились. Приди кто изъ людей съ какой просыбой къ нимъ ничего, не высоинть, развъ только пускать не велять, коли докучило, или пообъщають, да не совлають - забудуть. Жили да поживали наши госпола 10вольны да веселы, мирны да спокойны. Вотъ это сидять, бывало, въ гостиной: баринь свистить, а бариня глазками по горниць поводить. И вдругь ей въ голову пришло: «мой другь -говорить барину, -а відь толубые то обой были бы лучше въ тостиной!» - Баринъ такъ и вскочить горошкомъ. - Душечка, какая мысль тебъ хорошая пришла! Гов у меня-то разсудокь по сихъ порь быль? Я давай себя по лбу ляскать... «Ну такого дела откладывать нечего, сегодня же въ городъ поимемь, а къ воскресевью чтобы все готово было . Да, да! подхватить барыня, повлуть Анна Петровна в Клавдія Ивановна, — воть удвится-го: А ужь Анна Оедоровна такъ разсердится, что за объдомъ нячего всть не станеть. Непремвано къ воскресенью, мой дружовь! И примутся хлопотать, примутся суетиться. Во страсть эти дни живуть: все имъ чулится, что карета во дворъ въбзжаеть. «Охъ, кто-то прі-**Ехалъ**, кажется», говорять, а сами въ лиць мыниются. Удивить хогять, видите, и вдругь - если бъ застали, что ствиы ободраны! А инысь треногь, оручись заботь у них, кажись, и не бывало. Никогва я не визили, чтобы баринь нашь призивумался, чтобы барына всилакнула. - нешшо безгенежье, или барышня за спораеть. А безденежье ихъ часто пристукивало. Любили они оба и жить роскошно, и наряжаться богато. Барыня все шелковыя разныя шагья носила, да въ тонкихъ кружевахъ ходила. Баринъ тоже щеголь ведикій быль: шейный платочекь осе голубинамі крылышкомъ завизыналь, да бынало иной разъ съ утра по самаю объда бъется и не сладить. «Воть день-то несчастный выдался , -выботнеть: - сникакь не слажу!.. И барыня къ нему туть на помочь придеть, и Арину Ивановну кликнуть, да словно къ вънцу прибирають, - всть около него въ заботть такой, глопотахь... А ужь вакъ вырядитея онъ-такимъ брындикомъ выйдеть, передъ зеркалами останавливается, да такъ пріятно на себя поглядываеть и рукой все себя по щект поглаживаеть...

«Это еще все бы не разгорь быль, если-бь только не мыняли они всего до ниточки каждый годь по скольку разь. Мало ли на одинь домь шло? И къ Рождеству,
и къ Святой, бывало, все обновляють. И какъ ужь весело тогда баринь кломочеть!
Самъ картины прибиваетъ... Впов чудно покажется какъ сказать, а скажу приоду:
до страсти любиль онь гвоздики вбивать, и случись, что по усердно кто ему услужить поснъщить, то такъ огорчится... Потомъ ужъ всъ такъ и знали, сами не
брались никогда, а ему приготовять молотокъ. И правду тоже надо сказать, что
ужъ никто такъ гвоздика не вобъеть: такъ онъ наловчился, что только глинетъ—и
потрафить, куда надо гвоздику...

«Повдуть-ли въ городъ господа—чего они не накупять! И самоваровъ навезутъ и сушенаго горошку, а дома подъ самоварами въ кладовой полки ломитея, и горошку садовники на цвлый годъ заплеають; понавезуть они обои штофаме, какихъто рыбокъ горькихъ въ банкахъ, табакерки съ музыкой... Разносчики-ли навлутъ—купцы хитрые, зоркіе — сколько они денегъ оберуть! «Не берите, балюшка. — говорять барину, — это оченно дорогое, вы воть себъ подешевле возбмите». Барина словно подожжеть: «подавай мить самое дорогое!» Да и куплить такое жъ самое въ три-дорога. Еще, бывало, и сдачи не возъметь. И поглядываетъ на купцовъ бородатыхъ: воть я вамь пустиль пыла въ глаза! А купцы отъ радости даже вздыхать почнуть... А какъ именины справляють или рожденіе! Пойдуть туть сборы да приборы такіе, —сохрани Боже! И вина выписывають, и конфеты выписывають, и шаль и чепчикъ барынъ, и шейный платочекъ и желтыя перчатки барину... «Да ужъ, кстати, будуть посыдать, —говорять, —то выписать и то, и воть это-бъ выписать», в нятое-десятое... Да такъ наберется, что на почту тельгу надо посыдать... Хоть много

имъ утѣхи на именинахъ бывало, да много-жъ и млонотъ, и тревогъ не маз видь совевмъ измучател, пока отбутугь, ходючи да думаючи тяжко что лучше въ объту подать? да какъ цввты уставить? да чъмъ ненеральну бы удивить и покойнаго спа ее лишить? Изморител, бынало, слото на барцинить.

Это изображение барской жизни надо причислить къ лучшимъ страницамъ последней книги Марка Вовчка. Въ добродушномъ тоит разсказчицы намъ слышится уже не раздраженный, озлобленный памфлетизыв, но страстная борьба, а спокойный, нелицепріятный, торжественный судъ исторін надъ самой сущностью, надъ принципомъ криностного права. Въ этомъ разсказв видны намъ не только пустота и ничтожество добрыхъ господъ. выросшихъ въ криностныхъ понятіяхъ, но ясно просвичивають самыя основныя причины этой пустоты и ничтожества. Вы видите, что этихъ людей забили и обезличили хуже, чемъ всякаго крестьянина; ихъ лишили сознанія своего достоинства и обязанностей, у нихъ отняли всякую возможность серьезно взглянуть на себя, у нихъ вынули душу и замънили ее нъсколькими условными требованіями и септенціями житейской цивилизаціи. Вмісто всіху веліній здраваго симсла, имъ съ малолітства вбито въ голову и срослось съ ними понятіе, что они должны жить на чужой счеть, сами ничего не делая, что это ихъ право, ихъ призвание на земль. Сообразно съ этимъ призваніемъ ведено было все ихъ воспитаніе, все умственное и нравственное развитие. Оттого они ничему не выучены, ничего не умъютъ, ни къ чему не наклонны особенно, оттого они не знаютъ, чъмъ наполнить пустоту своего времени, оттого они не умфють даже разсчитать своихъ расходовъ, предвидъть свое безденежне, сообразить, что имъ нужно купить и чего не нужно. У нихъ не можетъ быть подобнаго разсчета, потому что имъ сказано: "ты имъешь то-то и можешь наслаждаться тъмъто , но никогда не дано даже и мысли о томъ, что они собственными трудами должны пріобръсти право на пользованіе благами жизни. Мысль о трудъ, какъ необходимомъ условін жизни и основаніи общественной нравственности, столько же недоступна имъ, какъ и мысль объ уважении въ каждомъ человъкъ его естественныхъ, неотъемлемыхъ правъ. Имъ никогда не придетъ въ голову взглянуть на себя серьезно, задать себъ вопросъ-зачемъ они живутъ на свете и что такое составляютъ они среди общества, отъ котораго требують и получають всякаго рода блага и услуги. Вотъ объ нихъ-то можно съ полнымъ правомъ сказать, что въ нихъ нътъ никакой иниціативы и что жизнь ихъ лишена всякаго внутренняго смысла. Сами по себв они-ничто; они живутъ животною, почти автоматическою жизнью, покамъстъ не истощены средства, доставшіяся имъ по милости судьбы; какъ скоро этихъ средствъ нетъ, они-несчастнъйшія, безпомощнъйшія существа. Лишенные всякихъ рессурсовъ въ обезпеченію своего существованія, лишенные всякой опоры въ себъ самихъ, не понимая даже того, что значитъ уваженіе къ самому себѣ, они готовы на всевозможныя униженія и пошлости, чтобы только перебиться какъ - нибудь. Игрушечкины господа, промотавши безъ толку все свое имѣнье, перевзжають на житье къ тетенькѣ, старой ханжѣ и скрагѣ, которая каждый день попрекаетъ ихъ и читаетъ имъ наставленія. И они принуждены безмольно и покорно сносить ея обращеніе: имъ ничего болѣе не остается, какъ жить у кого - нибудь изъ милости, предаваясь совершенно капризамъ того, кто ихъ кормитъ. За то у нихъ остается привиллегія дармоѣдства и ничего недѣланья...

А между тъмъ ничего - недъланье-то привито къ нимъ искусственно! Естественная, ничемъ и никогда незаглушаемая потребность деятельности не теряетъ и надъ ними своего вліянія. Веда только въ томъ, что, по своему уродливому воспитанію, ни баринъ, ни барыня не только взяться ни за что не умъють, но даже не могуть и придумать для себя какой. нибудь дъльной работы: такъ ограниченъ кругъ ихъ знаній и стремленій! И прінскивають они для себя спеціальности въ родъ вбиванія гвоздиковъ да подвязыванья галстуха голубинымъ крылышкомъ, и придунываютъ труды и заботы въ родъ перемъны обоевъ и мебели... Въдь вотъ пристрастился же этотъ господинь къ вбиванію гвоздиковъ и сделался весьма искуснымъ мастеромъ своего дъла: почему же не быть бы ему искуснымъ плотникомъ, сапожникомъ, обойщикомъ? И конечно, будь бы онъ иначе воспитанъ и находись въ другихъ обстоятельствахъ. — такъ онъ бы и нашелъ какое - нибудь полезное занятіе для себя и не былъ бы такимъ паразитнымъ существомъ, способнымъ только завдать чужой ввкъ и чужіе труды. Тогда бы объ быль и гораздо самостоятельные, тверже, независимъе, не зналъ бы этихъ маленькихъ, но для него тяжкихъ огорчений, которыя онъ испытываетъ при неудачной повязкъ галстуха или въ то время, какъ въ гостиной ствин ободраны. Тогда остественно получиль бы онъ наклонность и разсчитывать и обдумывать свою жизнь и не впадаль бы въ такое положение, которое описываетъ "Игрушечка": "Пиры у господъ за пирами, а тутъ глядь — денегъ нътъ. Вотъ, судять тогда они въ гостиной и сидять-прічныли. Одинъ въ окошко глядить, другой въ другое: "ахъ-ахъ, ха-ахъ", — ахаютъ. А прошла бъда, продали или заложили деревеньку, денежки зазвенъли опять, и опять объды званые, гости нахлынули, пиръ горой, и весело живется, и хорошо ыпъ (разумъется, опять до перваго безденежья). Ничего нельзя представить глупъе такого положенія, и только съ малолітства къ нему пріученные въ состояніи переварить его. За то какую же и скуку-то они испытывають: не даромъ ходять изъ угла въ уголъ, да смотрять въ-полглаза, точно сонные; недаромъ убиваютъ время надъ повязываньемъ галстуха голубинымъ крылышкомт. Да и объды-то, и вечера-то они больше затъмъ даютъ, чтобы чъмънибудь занять и развлечь себя: тоска ихъ одолъваетъ смертная, а помочь не знаютъ чъмъ и не думаютъ, что тутъ серьезная помощь нужна...

И у такихъ-то родителей, въ такой жизни хочетъ развиться живая, пытливая натура дъвочки, ихъ дочери! Нечего и говорить, что стремленія ея не получають удовлетворенія и всъ понытки остаются совершенно безуспътными. Но исторія ея развитія, такъ знакомая во иногихъ подробностяхъ каждому изъ насъ, свидътельствуетъ съ одной стороны, — какъ сильны и незаглушимы въ человъкъ естественныя, природвыя требованія мысли и сердца, и съ другой стороны, — какое безчисленное иножество препятствій противопоставляется имъ въ барской жизни и въ нашемъ уродливомъ воснитаніи.

Откуда, въ самомъ дълъ, у дочери такихъ родителей, видящей вокругъ себя все то. что выше описано, можетъ родиться наклонность къ самымъ радикальнымъ вопросамъ, къ пытливой, не лътски-серьезной думъ о жизни и ея условіяхъ? Откуда въ ней уваженіе къ требованіямъ справедливости, преврвніе къ самоуниженію и рабству? Никто ей не внушаеть ничего подобнаго, ничто кругомъ не располагаетъ къ такимъ мыслямъ... Но достаточно одного: чтобы милые родители избавили ее отъ своего надзора и не заботились объ ея нравственномъ воспитанія, достаточно этого, чтобы естественныя стремленія человъческой природы явственно выразились въ ней и получили свою силу. Достаточно было самаго легкаго соприкосновенія съ обдной девочкой, съ "Игрушечкой", которой она помыкала, чтобы расшевелить въ ней природныя требованія добра и правды... Но все это ни къ чему не могло повести: естественно человъку дышать, но не можетъ же онъ дышать безъ воздуха; естественно зерну прозябать, но не взойдетъ же съмя, брошенное на голую каменную плиту; такъ не разовьется и живой организмъ человъческій, попашни въ среду такого бездушнаго, автоматическаго, барскаго существованія, какое мы видимъ у игрушечкиныхъ господъ. Вотъ исторія барышни, большею частью вертящаяся около ея отношеній къ "Игрушечкъ".

Барышня увидала на улицъ въ деревнъ дъвочку: "дай мнъ эту дъвочку!" — Привели ее въ барскій домъ, заставили играть съ барышней. На другой день послъ того господа собирались вытажать въ другую вотчину, и дъвочку надо было отпустить. Но барышня заупрямилась: "хочу дъвочку съ собою взять". Такъ и сякъ ее уговаривали, — нътъ, слушать ничего не хочетъ, плачетъ. Дълать нечего, барыня велъла снарядить дъвочку въ дорогу. Мать ея бъдная приходитъ, съ горькими слезами упрашиваетъ: "отдайте дочку". Барыня отвъчаетъ кротко и резонно: "Я бы тебъ отдала, да барышня не пускаетъ, — очень ей твоя дочка понравилась;

ты не плачь пожалуйста: она въдь скоро барышнъ прискучить. дътямь забава не надолго-тогда сейчась твою дочку мы перешлемь къ тебъ". И не подовръвая, сколько людовдства заключается въ этомъ добродушномъ отвътъ, барыня довершаетъ его, говоря своей ключницъ и приживалкъ, Аринъ Ивановнъ: "Ахъ, какъ жалко мить эту женщину, - просто, я на нее смотръть не могу! Идите, душечка Арина Ивановна, скажите ей что нибудь. дайте ей вото денега... ну отдайте чтонибудь изъ моихъ вещей похуже... только поскорве, чтобъ она шла себв, чтобъ туть не плакала". Видите-ли, какое положение безвыходное: барыня здёсь сама точно на барщине, точно чиновникъ, исполняющий свой долгъ: "по совъсти, какъ человъкъ, я вамъ сочувствую, во по точному смыслу законовъ я долженъ васъ посадить въ тюрьму". Такъ и она: у ней доброе сердце, она сама мать, ей жалко бъдную женщину; но noblesse oblige, и помъщичее право тоже oblige, - противъ своей воли она должна отнять дочь у матери... А чтобъ утъщить мать, она хочетъ дать ей за дочь несколько денегь, какъ будто не отъ этой самой женщины и подобныхъ ей получила она свои деньги: дешевое великодушие!.. И цъль этого великодушія главная та, чтобы избавить себя отъ зрълища слезъ и отчания матери: чтобъ она шла себъ, чтобы только туто не плакала...

Барышня, требуя себъ Грушу, которую тутъ же и назвали Пгрушечкой, разумъется, и не подозръваетъ всей безиравственности своихъ требованій, потому что она еще не имъетъ понятія о юридическихъ отношеніяхъ, существующихъ между нею и крестьянской дъвочкой. Ей просто хочется имъть подругу, и она не отпускаетъ отъ себя ту, которая ей понравилась. Но въ ея положеніи нельзя безнаказанно имъть никакихъ требованій: окружающая жизнь немедленно обращаетъ самое простое ея желаніе въ деспотическое насиліе и безчеловъчный произволъ. Вотъ, напр., сцена, показывающая намъ, какъ ребенокъ развращается гнуснъйшимь образомъ въ самомъ дътскомъ возрастъ.

Игрушечку любитъ барышня, и за то терпъть не можетъ Арина Ивановна. Разъ приходитъ въ барскіе хоромы мужичекъ, съ поклономъ и гостинцемъ отъ матери къ Игрушечкъ; Арина Ивановна не пускаетъ его,
онъ упрашиваетъ, она бранится. Игрушечка, играя съ барышней недалеко отъ дъвичьей, услыхала ихъ споръ и зарыдала. Барышня тотчасъ
пристала: "о чемъ плачешь?" Та сказала. Тогда, несмотря на увъщанія
Арины Ивановны, барышня настоятельно потребовала, чтобы мужичка пустили и гостинецъ Игрушечкъ отдали; даже сама дверь растворила мужичку. Поговорила съ мужичкомъ дъвочка, разумъется, припомнила свою
мать, родной домъ, и принялась плакать, разсматривая свой гостинецъ—

двъ рубашечки, да глиняную уточку, да пряничекъ медовый. Арина Ивановна принялась насмъхаться надъ рубашечками и хотъла ихъ взять да "зашвырнуть куда нибудь подальше". Но барышна не позволила и Арину Ивановну прогнала изъ комнаты. Между тъмъ Игрушечка все плачегъ, и барышня все подлъ нея сидитъ, да поглядываетъ на нее призадумавщись. Богъ-въсть, что она думала; можетъ, приходила къ мысли, зачъмъ же это она такое горе дълаетъ бъдной дъвочкъ, разлучая се съ матерью. Но въ комнату, переждавши не много, опять входитъ Арина Ивановна. Происходитъ слъдующая сцена (стр. 127).

- «— Что вы, Зинанда Петровна, такъ заскучали? спрашиваетъ барышню Арина Ивановъа.
  - «Барышня вздохнула и на меня пальчикомъ показала...
  - Она все плачеть по своей мамь, она къ своей мамь хочеть.
- 4— Да пусть себь хочеть! Чего-жъ вамъ-то безпокоиться? Не хогите не пустимъ, мой ангелъ, вы не безпокойтесь!
  - · Л плачеть?
- «— Мало чего нътъ! Да вы въде ее взили себъ въ забаву, вы ея госпожа, мое сокровище, —что съ ней захотите, то и сдълаете: плакать прикажете — плачь! прикажете веселиться — веселись!
  - «- A какъ она не станетъ?
  - Не станеть? Да мы ее такъ проучимъ, что она у насъ шелковая будеть!
- Мив жалко Игрушечку...
- Вотъ то-то и есть, что вы все жалѣете! И проку изъ нея не будетъ. Вы не жалѣйте!
  - Жалко Игрушечку, твердитъ барышня, жалко Игрушечку!
- Говорю, перестаньте жалкть, перестанеть она и плакать, и всю ея блажь какъ рукой сниметь».

Такъ въ самомъ зародышъ подавляются добрыя и справедливыя стремленія барышни. У ней есть не только доброта, по которой она жалветь плачущую девочку, но и зачатки уваженія къ человеческимъ правамъ и недовъріе къ насильственному праву собственнаго произвола: когда ей говорять, что можно заставить Игрушечку делать, что угодно, она возражаетъ: "а какъ она не станетъ? " Въ этомъ возражени уже видно инстинктивное проявление сознания о томъ, что каждый имъетъ свою волю, и что насиліе чужой личности можеть встрітить противодійствіе совершенно законное. Но всв эти зародыши здравой мысли тотчасъ же уничтожаются рабскимъ внушениемъ подлой ключницы и приживалки, а главное — самое положение барышни очень благопріятствуеть заглушению здравыхъ тенденцій. Между тъмъ вакъ Маша и ей подобныя упорно идутъ дальше и дальше въ своихъ разсужденіяхъ и запросахъ, однажды проявившихся, Зиночка рада, напротивъ, усыпить все, что поднимается изъ глубины ея сознанія. Дівло понятное: для Маши, кромів естественнаго влеченія, и самый интересъ жизни состоить въ томъ, чтобы добиться теоретическаго и практическаго торжества здравыхъ понятій: вёдь искаженіе человіческаго

смысла и господство произвола обрушивается на нее всякаго рода ствененіями и насиліями. Барышня находится совершенно въ обратномъ отношеній къ вопросу. Производя въ ней сначала некоторое замешательство и неловкость, какъ все противное естественнымъ требованіямъ организма, принципъ произвола и насилія принимается ею, однако же, довольно легко и скоро проникаетъ въ ея существо. Онъ убиваетъ въ ней правственную жизнь, онъ ядовить для нея, такъ же точно, какъ и для техъ, которымъ приходится страдать отъ нея; но способъ его дъйствія на нее и другихъ чрезвычайно различень: техт онъ отравляеть, какъ обыкновенный ядь, производящій мучительныя конвульсій; на нее онъ действуеть какъ опіумъ, дающій ей плинительные призраки, но чрезь то самое притуплиющій и медленно губящій здравыя силы организма. Трудно отказаться отъ отравы хашиша тому, кто разъ допустиль себя ею увлечься; еще трудне отказаться отъ нравственнаго яда произвола и господства, когда они приносять намъ, хотя тоже призрачныя, но для человъка, стоящаго еще на низшихъ ступеняхъ развитія, весьма привлекательныя удобства. Основаніе уваженія къ чужимъ правамъ заключается, какъ мы говорили, прежде всего въ инстинктъ самосохраненія, въ желаніи оградить неприкосновенность и своихъ собственныхъ правъ; а если постоянные примъры показывають ребенку, что онъ можеть нарушать чужия права безнаказанно, то гдв жъ его слабой мысли найти достаточную опору противъ соблазна? Первоначальнымъ побужденіемъ къ труду служить также естественная необходимость упражиять свои силы, и, следовательно, охота трудиться должна находиться въ прямой пропорціи съ количествомъ силь человіка, которое опять зависить во многомъ отъ упражненія. Поэтому естественно, что пока силъ мало, то и охота къ труду слаба, и ежели никакихъ другихъ побужденій къ работъ пътъ, то ребенокъ очень охотно привыкаеть лъниться, отчего силы его, оставаясь безъ упражненія, такъ и не получають надлежащаго развитія. Это мы видимъ не только въ физическомъ, но и въ правственномъ развитіи: при началь ученья двти очень неохотно принимаются за всякій урокъ, гдъ имъ нужно много соображать и добиваться толку; они предпочитають, чтобъ имъ все было растолковано и чтобъ съ ихъ стороны требовалось только пассивное воспріятіе. Многіе родители и заботятся объ этомъ: целую толпу учителей, гувернеровъ и репетиторовъ приглашають, чтобъ разжевать и положить въ ротъ ихъ дътямъ всякое знаніе; за то такія дъти и остаются на весь въкъ обезьянами, иногда очень учеными и вообще понятливыми, но неспособными возвыситься до самобытной человъческой мысли.

И не одними матеріальными удобствами способствуєть положеніе барышни искаженію ся мыслв и чувства: неестественное само въ себъ, по-

ложеніе это вызываєть такіе уродливые факты, которые еще болѣе сбивають ее съ толку. Возьмемь для примѣра хоть продолженіе той же сцены Зиночки съ Игрушечкою.

Выслушавши совъты Арины Ивановны, барышня приступаеть къ дввочкъ съ приказаніемъ, чтобъ та веселилась, при чемъ Арина Ивановна покатывается со смъху.

 Веселись, Игрушечка. —приказываеть барышия: веселись и маку свою сейчасъ забудь. Слышишь, что я теби приказываю? Пу, забыла свою маму?

«— Пітъ. - говорю. - не забыла!

«Арина Ивановна ко мић:

«— Да ты смъещь ли такъ отвъчать барышнь, а? что? Ахъ, ты, грубіянка! Велять тебв смъяться— сейчасъ у меня смъйся!

«Сминось я передъ ней, слезы свои горькія глотаючи.

- «— Иу, воть видите, мой ангель, она и смъстея. утъщаеть барышию Арина Ивановна. А барышил глибить на меня такими-то пытановми гласновами.
- Игрушечка, говоритъ: какъ же ты и плачень и смћеньси? А и вот че стала-6ъ.
- «— И. голубчикъ, равняетесь съ кѣмъ! ей на это Арина Ивановна. Ей что прикажутъ, то она и можетъ.

«— Вотъ, Игрушечка, ты какая! — проговорила барышня: — вотъ какая!... (стр. 128).

Совъты и увъренія Арины Ивановны, какъ видите, подтверждаются фактами, которые производять на барышню непріятное, но неотразимое впечатлъніе. Она пробуеть себя и Игрушечку, приказываеть ей веселиться, она еще не довъряеть, чтобы подобныя истязанія надъ подобнымъ же ей человъкомъ могли быть дъйствительны. И что же? Бълный ребенокъ, запуганный и безпомощный, поддается: это озадачиваеть и даже какъ будто огорчаетъ барышню: она чувствуетъ, что тутъ что-то неладно. "Я бы этого не сдълала", говорить она, переходя отсюда къ мысли, что и Игрушечка, какъ такой же человъкъ, не должна была бы этого дълать. Но туть сейчасъ готово объяснение, что Игрушечка вовсе не "такой же человъкъ", а холопка, которая "что ей прикажутъ, то и можетъ"... Фактъ на лицо: отчего же и не повърить такому объяснению, тъмъ болъе, что ово усыпляетъ инстинктивное безпокойство барышни на этотъ счетъ, снимаетъ съ нея нравственную отвътственность и льстить ся тщеславію, поднимая ее на степень существа высшаго, по праву могущаго распоряжаться волею и личностью другихъ людей!.. Такимъ образомъ, мысль о своемъ родствъ со всъми людьми и ополноправности каждаго человъка, мысль о солидарности человъческихъ отношеній быстро заглушается въ ней при самомъ зарожденіи. Остается только на первыхъ порахъ какое-то обидное сожальніе, какъ будто разочарованіе въ надеждахъ на друга: "вотъ, Игрушечка, ты какая! восклицаеть барышня въ первую минуту. Но потомъ и это проходитъ: она сама, уже безъ подстреканій Арины Ивановны, начинаетъ впоследствіи стращать Игрушечку: "не скучай; ты знаешь, — я все съ тобой могу сделать; я ведь тебя баловать не буду", и пр...

Такія сцены, повторяясь каждый день и каждый часъ, способны убить режий здравый смыслъ и человъческое чувство уже прежде, нежели они успрють проявиться. Такъ и бываеть со многими. Но Зиночка, какъ мы сказали, оставлена родителями на произволъ судьбы въ обществъ Игрушечки, и никто, кром'в Арины Ивановны, не внушаеть ей барской теоріи. Это спасаеть ея нравственныя силы и даеть имъ возможность развиться хоть до степени пытливаго и упорнаго желанія и исканія, если не настоящей самодъятельности. Нъкоторые вопросы преслъдують ее очень серьезно: ей все хочется знать, отчего и какъ? Она разспрашиваетъ Игрушечку о ея прежней жизни, о деревенскихъ работахъ; та разсказываетъ. Послв этихъ разсказовъ, - говоритъ Игрушечка, - "случалось, что такъ меня она обниметь кръпко да и говорить мив: - Игрушечка, я бъ сама не дошла, какъ все это дълается. Кто-жъ у васъ додумался, Игрушечка?"-"Я не знаю, — говорю ей, — кто додумался, а всв у насъ упъютъ". — "Можетъ, твоя мама. Игрушечка!" — "Можетъ, —говорю". Тъмъ, разумъется, и ограничивались объясненія съ Игрумечкой, да это еще было лучшее, что барышня могла слышать. От отцомъ и матерыю дело уже вовсе не шло на ладъ. Разъ, напр., Игрушечка расплакалась, услыхавши, что продано ея родное село, и, стало быть, она ужъ туда больше не вернется. Варышня потолковала съ ней, посмотръла на нее, да и задумалась: "Какъ, - говоритъ, - это все на свътъ дълается!" - Да что спрашиваетъ Игрушечка. — "Да какъ же, — говорить Зиночка. — ты замъчаешь-ли, что когда одни плачуть, другіе сміются; одни говорять одно, а другіе опять совсемъ другое. Вотъ ты илачень, что Тростиво продали, а мама и напа всегда въ радости, когда деньги получаютъ . И вдругъ, въ тревогь, она бросается къ Игрушечкъ: "Да нельзя развъ, чтобъ всъ веселы были! Нельзя, Игрушечка!" — Видно нельзя, говорить. — "Отчего-жъ!" — Да не бываеть такъ, — говорить та: — вотъ въдь и мы съ вами, все мы вивств, а мысли у насъ разныя приходять. - "Да отчего жъ такъ? Отчего?" На этомъ разговоръ застаетъ дъвочекъ Арина Ивановна и допрашиваетъ, о чемъ такъ горячо разсуждаютъ. Но барышня уже не довъряеть ей и не хочеть сказывать; тогда Арина Ивановна напускается на Игрушечку, далаеть тревогу и докладываеть господамь, что Игрушечка барышню пугаеть и въ слезы вводитъ. Тв приходять и начинають допросъ. Эта сцена тоже очень характерна и показываетъ, какое участіе въ воспитаніи дочери принимають добрые господа, не лишенные, впрочемь, привычекъ образованнаго общества. Мать спрашиваетъ:

- Зиночка, что такое было? О чемъ ты съ Игрушечкой говорила? Поди ближе и скажи мамъ.
  - « Говорили, что одни люди плачуть, а другіе люди веселы...

Что, дружочекъ?

«Удивилась очень барыня, и баринъ во всь глаза глядить; а барышил эпагь:

Что одни люди смеются, а другіе въ слезахъ.

- «Барыня съ бариномъ переглянулись и оба на барышию посмотрыи.
- Ну, скажи, мама, заговорила барышня: скажи мић, отчего это такъ на свъть?
- «Вскочила она къ барына на кольни, обнимаетъ и прижимается въ ней, и въ глаза глядитъ—ждетъ слова отъ нея заватнаго, а барыня ей въ отеатъ:

Умныя діти, мой дружочекъ, никогда не плачутъ.

 А бываеть же скучно, мама, и умнымъ, бываеть чего-то больно. будто и скучно...

«А барыня: «умныя дати, дружочекь мой, всегда веселы».

- Ахъ. Воже мой, какая ты мама! Ну, глупыя скучають, плачуть—развѣ ужъ тебь ихъ совсьмъ и не жалко?
- Глуныхъ двтей наказываютъ, Зиночка, отозвался баринъ. взявши себя за подбородокъ. — и они сейчасъ умивютъ.
- Да Зиночка у насъ умница, говоритъ барыня: она никогда у насъ не скучаетъ, никогда не плачетъ. Это какой-то мужичокъ иногда приходитъ, подъ окномъ у нея плачетъ, а Зиночка умница.

«Подиялясь и пошли себь. Выходя, говорить барыня Аринв Ивановий:

Вы напугали меня, Арина Ивановна; я думала — Богъзнаетъ что такое.
 вышло пустяки такіе, что даже и понять-то трудно».

Тъмъ и покончилась исторія; барашня только вздохнула тяжело, и слезы у ней къ глазамъ подступили...

Въ табихъ-то условіную точится живая душа, жаждущая знанія, правды, порывающаяся разрешить себе загадку жизни. Погда она подросла немножко, ей и гувернантокъ выписывали: одна была тихая, добрая, но педантическая въ своемъ дълъ и вовзе неумълая ибмочка: она все двлала по пунктамъ и никакъ не хотвла удовлетворить любознательности ученицы, любившей забъгать и впередъ и въ сторону. Не сошлись онъ, п видя, что дело нейдеть на ладъ, немочка сама просила, чтобъ ее отпустили. Прівхала на ся місто вертлявая француженка; та принялась болтать и разсказывать, и сначала совершенно околдовала Зиночку и прибрала къ рукамъ весь домъ. Но и француженка не удовлетворила пытливую дъвочку: ей надо было знать корень и причину всего, надо было серьезно разобрать и понять каждую вещь, а у Матильды Яковлевны все было, разумъется, легко, мило, поверхностно и - пусто. Черезъ нъсколько времени барышня сама это заметила, охладела въ француженев, перестала ее и разспрашивать, а все сама задумывалась. Арина Ивановна приписывала ея скуку точу, что манзель ее ученьемъ замучила; но Зиночка отвъчала печально: "да я ничего не знаю и ничему не выучилась, - какъ же замучила?" И стала она все больше и больше задумываться, да и кончила темь, что на пятнадцатомъ году стала умомъ мешаться. Грустное и тихое было ея номѣшательство, — все она задумывалась да нлакала, особенно когда видѣла чужія слезы. Игрушечка хотѣла утѣшать ее: нолноте, говорить, — со всѣми плакать не станеть васъ. "Игрушечка, — отвѣчала помѣшанная: — когда плачетъ человѣкъ, ты знаешь-ли, какъ ему больно! А я знаю! Я знаю, какъ больно! Вскорѣ въ этомъ помѣшательствѣ она и умерла.

Мы нарочно остановились на ижкоторыхъ чертахъ характера и развитія этой дівушки, чтобы яснье указать разницу условій, отъ которыхъ зависить направление мысли и воли — въ образованномъ обществъ и въ простыхъ классахъ. Каждый согласится, что въ нашемъ воспитаніи, даже самомъ лучшемъ, очень мало серьезности, мало пищи для пытливаго ума. гораздо больше ненужныхъ и непонятныхъ формальностей и отвлеченностей, нежели отвътовъ на живые вопросы о міръ и людяхъ, весьма рано возникающіе въ детской душе. Следовательно, все им, считающіе себя образованными, подвергались болье или менье той нравственной порчы в тому медленному умершвленію силь духа, которое такъ ярко рисуется намъ въ сценахъ Зиночки съ Ариной Ивановной и съ милыми редителями. Къ этому прибавимъ еще, что вившнее положение весьма многихъ людей въ такъ называемомъ образованномъ обществъ совершенно схоже съ положениемъ Зиночки: нътъ надобности самому трудиться, есть возможность распоряжаться другими и употреблять ихъ для своихъ капризовъ. есть поводъ считать себя чень-то высшимъ, чемъ эта масса людей, какъ будто созданныхъ только для службы намъ. Все это чрезвычайно деморализируетъ и разслабляетъ человъка, и вотъ гдъ истинная причина той общей вялости, мелочности и пустоты, на которую такъ много и такъ давно жалуются серьезные люди въ нашемъ образованномъ обществъ. Ръшимся выговорить слово правды: цёлыя покольнія жили и прожили у насъ, не сделавъ ничего путнаго и показавъ только, что они негодны къ настоящему делу, потому именно, что въ ихъ понятіяхъ и привычкахъ всегда бродила закваска крвностныхъ воззрвній, и вся жизнь ихъ слагалась, съ самаго начала, подъ вліяніемъ крівностного устройства. Пригнетая и сдавливая однихъ вибшнимъ образомъ, оно, въ то же время, еще ръшительнъе, внутренно и существенно, губило и техъ самыхъ, которые хотели жить угнетеніемъ другихъ. Оно ихъ разслабило, опошлило, развратило, обездушило и сдълало гораздо жалче, гораздо ничтожнъе и негоднъе тъхъ, которыхъ они эксплуатировали своимъ произволомъ... Хорошо, что теперь уже прекратилась возможность такой эксплуатаціи; а то Богь знасть, до чего бы она довела и ту,и другую сторону...

Послъ смерти барышни еще продолжается грустная исторія Игрушечки, но мы уже не будемъ на ней останавливаться: — Игрушечка такъ и осталась до конца жизни игрушечкою судьбы и добрыхъ господъ своихъ. Хотъла-было она хорошо, счастливо пристроиться: полюбился ей 
Андрей, барскій столяръ, и она ему понравилась. Да пришли они просить 
барскаго разръшенія на свадьбу въ то время, какъ господа послъднюю свою 
вотчину, и Андрея съ Игрушечкою въ томъ числъ, продали. Приходъ 
ихъ только напомнилъ барынъ, что ей жалко разстаться съ Игрушечкой, 
и она принялась упрашивать новаго владъльца, чтобъ онъ уступилъ ей 
оту дъвушку. Тотъ согласился. Игрушечка заикнулась было, что любитъ 
Андрея, но барыня жалостливо возразила: "ахъ, ахъ, Игрушечка! Не 
стыдно-ли тебъ, и ты могла бы меня оставить? Ахъ, какъ кожно! Боже 
мой! Все насъ покидаетъ!" И заплакала. Повели ее подъ руки въ карету, посадили; и Игрушечку втолкнули тоже, и помчались онъ... Андрей 
только издали смотрълъ на это, блъдный, какъ смерть. Новый баринъ его 
былъ очень круть, не какъ прежаје господа. Черезъ два мъсяца Игрушечка узнала, что въ селъ ихъ "несчастье случилось... Шесть человъкъ 
на поселенье пошло... Андрей шестымъ"... (стр. 171). Такъ погибла ея 
послъдняя надежда на счастье, па возможность быть, наконецъ, чъмъ-то 
побольше "игрушечки". побольше "игрушечки".

побольше "игрушечки" видимъ мы лицо совершенно пассивное: постоянно тоскливое, грустное расположение — вотъ ея единственный протестъ на свою несчастную судьбу. И немудрено: вспомнимъ, что она оторвана отъ своихъ, выхвачена насильно изъ простой народной жизни и брошена въ этотъ тихій омутъ, гдъ ее держатъ для забавы, насильно заставляютъ веселиться и безпрестанно запугиваютъ и придавливаютъ. Простотъ и свъжести первыхъ лѣтъ жизни, первыхъ впечатлѣній дѣтства, надо приписать еще и то, что она въ этой обстановкъ не сдѣлалась подлой и льстивой холопкой, доносчицей и смутьянкой, подобной тымъ "благороднымъ" приживалкамъ, типъ которыхъ находимъ мы въ Василисъ Перегриновнъ, въ "Воспитанницъ" Островскаго.

въ "Воспитанницъ" Островскаго.

Но въ самой покорности несчастныхъ, вынужденныхъ покориться поневолъ, мы видимъ часто гораздо болъе ръшимости и энергіи, нежели въ суетливыхъ исканіяхъ и метаньяхъ изъ стороны въ сторону, въ которыхъ такъ часто изживаютъ у насъ цълый въкъ даже очень хорошіе люди. Для дополненія параллели, которую мы проводили выше, мы укажемъ теперь на коротенькій разсказъ Марка Вовчка "Саша".

Исторія простая: Саша привезена изъ деревни въ горничныя къ барынинъ племянникъ соблазниль ее, да потомъ такъ привязался къ ней, что хотълъ на ней жениться. Какъ только онъ о женитьбъ замичилея.

икнулся, Сашъ сейчасъ косы обръзали и заперли ее въ темную... Онъ хо-дилъ, плакалъ, клянчилъ, бился, какъ рыба объ ледъ, наконецъ выпро-

силъ Сашъ свободу, поклявшись, что не будетъ пытаться жениться на ней. И пошло все своимъ чередомъ, только Сашъ такъ горько было, что все опостыльло, и она вымолила у господъ позволеніе въ монастырь идти, гдъ и умерла вскоръ. А опъ — "и до сей поры ходитъ на ея могилу и все молится тамъ". Жениться не захотълъ; всегда ходитъ печальный такой: "нътъ, — говоритъ, — никто ужъ меня не повеселитъ такъ, какъ моя Саша покойница! Богъ судья дяденькъ и тетенькъ!.."

Изъ остова разсказа уже видно отчасти, какая разница между этими двумя людьми. Но вотъ нъсколько частныхъ чертъ, еще яснъе рисующихъ оба характера.

Саша отдалась молодому человъку вполнъ, беззавътно; она исчезла въ немъ, заключила всв чувства и стремленія въ любви къ нему. Когда узнали объ ихъ любви и стали надъ ней издъваться, она говорила: "что жъ, люди смъются, пускай себъ! Я люблю его, я его. Что жъ инв о себъ думать-то? Думай онъ. Хорошо ему — весело, что смъются — смъйтесь; а обидно ему покажется — самъ онъ знаеть, что сдълать. А и послушаюсь его слова, его приказу". Это разсуждение какъ нельзя болъе сообразно съ положениемъ Саши и показываетъ въ ней очень умный взглядъ на свои отношенія къ молодому барину. Полюбивши се и воспользовавшись ея расположениемъ, онъ дълался естественно ен заступникомъ, покровителемъ, связывался съ нею единствомъ интересовъ, и онъ первый долженъ быль бы понимать это, если бы быль человъкъ здраво и честно развитый. Саша считала его такимъ и понимала за него то, до чего онъ еще не съумълъ возвыситься съ своимъ образованіемъ. Онъ быль человъкъ добрый и честный въ душъ, хотя и легкомысленный; онъ очень полюбилъ Сашу, и самъ признался ей: "я въдь тебя обмануть сбирался, Саша, обмануть хотълъ и потомъ бросить, — ты прости меня! Не бросилъ — силъ не было, потому что полюбилъ кръпко<sup>2</sup>. И онъ точно не бросилъ ее: до конца жизни любилъ, и по смерти любилъ. Но его воспитание и положение были таковы, что не давали ему никакой возможности серьезно вникауть въ свои обязанности и поступить такъ, какъ предписывало и требование честности, и даже его собственное сердце. Саша покорна своей судьбъ; что же ей, въ самомъ дълъ, предпринять можно въ ея положения Она тутъ не при чемъ; у ней ньтъ ни силы, ни воли; онг долженъ все устроить, и будь бы у него сердце и симслъ Саши — онъ бы не призадумался надъ ничтожными препятствіями, представлявшимися ему, и не сталь бы потомь плакаться на дяденьку и тетеньку. Но въ томъ-то и дъло, что такой смыслъ, такой ха-рактеръ не даются людямъ его положенія. Сата порабощена внъшнимъ образомъ, и снимите съ нея этотъ гнетъ, -- она способна подняться до какихъ угодно нравственныхъ и умственныхъ высотъ. А любимый ею юноша

лишенъ внутренно всякой самостоятельности, всякой опоры въ себф самомъ, и порабощенъ всемъ существомъ своимъ забавнымъ ничтожностямъ, которыя такъ ценятся въ свете. Онъ жалуется, что отецъ съ детства забилъ и запугалъ его; но отецъ отцомъ, а главное то все-таки въ томъ, что ему не хочется потерать некоторых в преимуществъ своего положентя, хотя и ничтожныхъ, но уже привычныхъ ему и льстящихъ его тщеславію. Онъ настолько образованъ, что понимаетъ отчасти ихъ ничтожность, по понимаетъ лишь теоретически, холоднымъ соображениемъ, безъ участия сердца. Оттого-то онъ и для борьбы не находить въ себъ силъ, да и покоритьсято не можеть съ достоинствомъ и твердостью. Вотъ, напримъръ, разговоръ его съ Сашей: "Скажи, Саша, скажи, что делать? — спрашиваетъ онъ ее въ тоскъ. - Мучусь я, и голова кругомъ идетъ... Охъ, Саша, если бъ можно мнв было жениться на тебв ". — "Женись", — говорить Саша очень просто, понимая, что туть никакой невозможности изть. - "А люди-то что скажутъ? — возражаетъ онъ. — Подумай ка. Саша, какъ люди-то напустатся, — дядя, жена его злая еще пуще, — всё, всё родные! Заклюють они насъ, Саша! Умеръ бы я теперь съ радостью . И заплакалъ. А Саша опять говорить ему простой отвъть: "ну, умремь, коли хочешь". Она на все готова; по ней, если съ нимъ нельзя жить, то и умереть нипочемъ... Но онъ поплакалъ, поплакалъ и ръшилъ: "нетъ, — говоритъ. — гръхъ умереть отъ своей руки (благочестие тутъ напало!); лучше я женюсь на тебъ, Саша, --будъ что будетъ". И храбро прибавляетъ: "что мнъ они? что мив ихъ бояться?.. "И точно, ему отъ нихъ даже наслъдства получать не приходится; а между темъ овъ выговариваетъ свое решение, точно геройскій подвигь совершаеть, и придаеть ему несравненно больше значенія, чемъ Саша своей готовности умереть, высказанной ею совершенно искренно и съ прямою решимостью исполнить ее на деле. И чемъ же разръшается его геройство? тъмъ, что онъ проситъ у тетеньки съ дяденькой позволенія жениться на Сашъ, съ приговоромъ, что въдь "всъ мы равны передъ Богомъ, тетенька", а потомъ слезливо смотритъ, какъ барыня тутъ же, при немъ, его возлюбленной косы обръзываетъ... Тутъ и поняла его Саша, и когда онъ потомъ пришелъ къ ней въ ея чуланчикъ, она "не обрадовалась и не опечалилась при видъ его, а такъ, будто скучнъе ей стало". Въ другой разъ собрался онъ какъ-то въ тетенькъ съ требованиемъ, и такъ бодро пошелъ; подруга Саши обрадовалась и испугалась, а Саша говорить ей: "ахъ, милая, сядь да утишься: не изъ тучи громъ... Пошелъ онъ къ господамъ, — и храбръ онъ, пока идетъ; а лицомъ къ лицу станетъ, руки у него опустятся - оробъетъ. Я знаю его; повърь моему слову". И точно, такъ и вышло: храбрость кончилась темъ, что онъ объшалъ теткъ оставить мысль о женитьбъ на Сашъ... За то Сашъ свободу

дали; подруга ел опять стала выражать надежду, что "можеть послъ..." Но Саша уже совершенно осмотрълась въ своемъ положени и ноняла его во всъхъ частяхъ. Вотъ что она отвъчаетъ: "попусту не надъйся; онъ пугливъ больно. Не всякую въдь любовь въ люди показать хочется, милая! Какъ не цвътно наряжена, не красно убрана, то дома, въ уголкъ подъ лавку хоронятъ: "сиди, любовь, утъщай меня, а въ люди не выходи; осудятъ люди и хозяина пристыдятъ". И на возражение подруги, что "онъ въдь любитъ ее", она прибавляетъ: "ахъ, себя-то самого еще больше любитъ, скажу тебъ". Въ другой разъ, когда подруга совътуетъ ей: "да прямо скажи ему, научи его", — Саша отвъчаетъ: "на цълый въкъ не научишь, голубушка. Эта грамотка не дается ученьемъ". И, такимъ образомъ, понявши, что ей нечего ждать и надъяться. Саша точно не долго ждала: пошла въ монастырь, да и тамъ не много пожила: исчезло то, что ее привязывало къ жизни, исчезли и ея жизненныя сили... А омъ ничего — живетъ, и все къ ней на могилку ходитъ... И зачъмъ шляется ...

Подобное же явленіе, но насколько съ другой развязкою съ мужской стороны, раскрывается поредъ нами въ разсказъ "Надежа". Вникнувши въ этотъ разсказъ, мы еще яснъе понимаемъ ту разницу, которая отличаетъ чувства и поступки простого человъка отъ чувствъ и поступковъ людей, развращенныхъ неестественнымъ своимъ воспитаниемъ и положеніемъ. Общее разслабленіе, бользненность, неспособность къ сосредоточенной и глубовой страсти характеризуеть если не всехъ, то большинство нашихъ "цивилизованныхъ" собратій. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего имъ нужно и чего имъ жалко. Желають они такъ, что жить безъ того не могуть, и все-таки ничего не дълають для осуществленія своихь желаній; страдають они такъ, что умереть лучше, — а живуть себъ, ничего, только меланхолическій видъ принимаютъ. Не то у простого человъка: онъ или неглижируетъ, вниманія не обращаеть на предметь, и уже не толкуеть о своихъ желаніяхъ; или, ужъ если привяжется, если решится, то привяжется и решится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не страшать его, когда ихъ нужно одольть для достиженія страстно-желаннаго и глубоко-задуманнаго. Если же нельзя достигнуть, простой человъкъ не останется, сложа руки; по малой мъръ, онъ измънитъ все свое положение, весь образъ своей жизни: убъжить, въ солдаты наймется, въ монастырь пойдетъ; часто онъ просто, естественнымъ образомъ не переживаетъ неудачи въ достижени цели, которая уже проникла все существо его и сдълалась ему необходима для жизни; если же физическое сложение его слишкомъ кръпко и можетъ вынести больше, нежели сколько нужно для крайняго раздраженія нервовъ и фантазіи, - онъ не церемонится покончить съ собою насильственнымъ образомъ. И это тоже служить для насъ свидътельствомъ, какъ для простого, здороваго человъка, разъ почувствовавшаго свою личность и ея права, неспосна жизнь безплодная, безполезная, автоматическая, безъ принциповъ и стремленій. безъ смысла и правды, жизнь, подобная той, какую проводятъ, напримъръ. Игрушечкины господа и многіе другіе въ томъ же родъ.

Игрушечкины господа и многіе другіе въ томъ же родѣ.
Въ "Надёжѣ" мы видимъ дѣвушку, полюбившую крестьянскаго парня и ожидающую, что онъ на ней посватается. Тутъ то же положеніе: надъ ней сивются, ей колють глаза ея женихомъ, потому что завидують сй дъвушки: - женихъ ея Иванъ лучше всъхъ парией на селъ, - она сносить все и ждеть, пока онь порешить дело. А онь поехаль въ другое село, тамъ у него пріятель завелся, фабричный, - подпоили тамъ его, сосватали, да и женили на родив этого фабричнаго. Воротился онъ къ себв въ село. очнулся, увиделъ, что наделалъ, да ужъ поздно было. Тугъ начинаются страданія б'єдной Надёжи, которую на см'єхъ подымають многіе, а пуще во вхъ жена Ивана, баба бойкая и безстыжая. Горько Надежь: и любовь ея была сильна, такъ что ей тошно жить безъ милаго, да и натура у ней нъжная, деликатная, что называется, — такъ что попреви и насмъшки глубоко язвятъ ее и заставляютъ тяжко страдать. Ивану тоже не легко: онъ горячо любитъ Надёжу, да и совъсть его неспокойна, чувствуеть онь, что виновать передъ дъвушкой, что загубиль ея въкъ. Оба страдають, но страдають внутренно, сосредоточенно, молча: ни она никому не пожаловалась, ни онъ никому ни слова не сказалъ, и между собой они ничего не говорили, да и виделись издали. Разъ онъ хотель остановить ее и высказать свое горе, но она отъ него убъжала; онъ издалека следилъ за ней, а самъ изсохъ, пожелтелъ, изменился весь. Накопецъ, не выдержалъ онъ, зашелъ разъ въ избу къ Надежиной теткъ, горько заплакаль передъ Надёжей, а она только и могла сказать ему: "ты забудь, что я на свётё живу, не томи, не мучь меня, желанный!... Тутъ вломилась вдругъ въ избу жена Ивана, слёдившая за мужемъ, началась горячая перебранка; Надёжа бросилась вонъ изъ избы... Ве веръ былъ холодный, дождливый; она, сама не своя, простояла, прижавшись у плетня. пока тетка выпроводила ссорившихся и отыскала ее. Этого вечера было довольно, чтобы окончательно ее сгубить. Слегла она въ этотъ же вечеръ и больше не встала. Иванъ, какъ безумный, ходилъ это время; передъ смертью Надёжи, когда она ужъ лежала безъ намяти, прибъжаль онъ къ ней, посмотрълъ, поплакалъ, да потомъ и самъ слегъ. "Въ четвергъ схоронили Надёжу, а въ среду на другой недълв и Ивана на погостъ отнесли"...

Разсказъ этотъ болъе, нежели какой-нибудь другой изъ разсказовъ

Марка Вовчка, можно заподозрить въ идеализаціи: мы такъ привыкли смотрёть на крестьянина, какъ на существо грубое, недоступное томкимо ощущеніямъ любви, нёжности, совёстливости, и т. п. Но едва-ли мы можемъ вполнё довёрять нашимъ наблюденіямъ на этотъ счетъ: чузства простолюдина немногорёчивы вообще, а мы такъ привыкли къ краснорьчю, что легко можемъ не замётить самаго сильнаго чувства, если оно не украшено реторикой. Притомъ же, простолюдинъ передъ нами постарается затаить даже и то немногое, что передъ своимъ братомъ онъ бы и могъ высказать. Судить намъ о нёжныхъ чувствахъ крестьянъ по ихъ поведенію передъ нами—будетъ столько же основательно, какъ судить о кротости и сострадательности воиновъ по ихъ дёйствіямъ во время сраженія. Мы, къ несчастью, должны признать справедливость наблюденія, — давно, впрочемъ, сдёлавшагося общимъ мёстомъ, — что мундиръ и сюртукъ не внушають особеннаго довёрія крестьянамъ.

Но, сколько можно судить по некоторыме частныме случаяме и по отрицательнымъ признакамъ, мы готовы утверждать, что такого рода нёж-ныя, деликатныя натуры существують и въ простопъ классъ, по крайней мъръ въ той же мъръ, какъ въ другихъ сословіяхъ. Надо замътить, что подобным натуры вообще встрвчаются ръже, чъмъ намъ кажется. Мы часто восхищаемся нъжною прелестью дъвицы, плачущей о смерти собачки и приходящей въ восторгъ отъ искусства какого - нибудь художника. въ родв навловскаго ПІтраусса. Но въдь не въ этомъ состоитъ истинная нъж-ность и деликатность души. Не въ безплодныхъ сожаленияхъ и востор-тахъ надо искать ее, а въ дъйствительной чуткости души къ страданиямъ и радостямъ другихъ. Прежде чъмъ разсудокъ успъеть опредълить образъ поведенія, требуемый въ извістномъ случав, человісь деликатный, по первому внушенію сердца, уже старается расположить свои дъйствія такъ, чтобы они принесли какъ можно болье добра и удовольствія для другихъ, или, по крайней мъръ, чтобы никому не причинили непріятностей. Сущность деликатнаго характера состоить въ топъ, что ему въ тысячу разъ легче самому перенести какое-нибудь неудобство, даже несчастіе, нежели заставлять другихъ переносить его. Если онъ потеряеть вашу вещь, онъ продастъ послёднее, останется безъ гроша самъ, но, во что бы то ни стало, постарается вознаградить васъ за потерю. Если онъ далъ вамъ денегъ взаймы и видитъ, что вы нуждаетесь, онъ самъ будетъ переносить нужду, но не спросить своего долга. Если онъ самъ занялъ, онъ не успокоится, пока не расквитается съ вами. Главная его мысль, главная забота — о томъ, чтобы не стъснить кого - нибудь, не быть кому-нибудь въ тягость. И точно, можетъ быть такой человъкъ пе доставить вамъ особеннаго удовольствія (и даже навърное не доставить, если вы его къ тому не вызо-

вете), но за то и никакой непріятности онъ вамъ не сділаєть. Онъ постоянно и чутко смотрить, не помвшаль ли онь вамь, не скучно-ли вамь съ нимъ, не стъсняетесь - ли вы его присутствиемъ или обращениемъ съ вами, и т. п. Въ нормальномъ своемъ положени, т.-е. въ соединени съ энергіей характера и правильно развитымъ сознанісмъ своего достоинства, такая деликатность составляеть одно изъ высшихъ достоинствъ человъка. Въ ней соединяются тогда и честность, и справедливость, и двятельное участіе въ судьбъ ближняго... Но, вслъдствіе ложнаго направленія воспитанія и вообще извращеннаго общественнаго устройства, врожденная деликатвость нажныхъ натуръ большею частью принимаетъ неправильное развитие. Извъстно, что у насъ въ воспитании господствуетъ начало слъпого авторитета, способное убить двятельную силу въ самыхъ энергическихъ и гордыхъ натурахъ. Но если тв еще способны къ борьбъ и неръдко выбиваются изъ-подъ нравственнаго гнета, налагаемаго на нихъ, то натуры нъжныя и тонкія всегда склоняются подъ этимъ гнетомъ, и очень редко въ состояни бывають подняться. Оне обыкновенно бывають богато одарены отъ природы; чуткая воспримчивость очень рано обогащаеть ихъ множествомъ разнообразныхъ наблюденій и, такимъ образомъ, облегчаетъ имъ широкое развитие разсудка и воображения и даетъ пищу для сердечныхъ стремленій. Но ничего ніть легче, какъ забить такія натуры: для нихъ упрекъ хуже, чемъ строгое наказание для другого, насмъшка тяжелъе, чъмъ для другого брань, неудачная и строго осужденная попытка повергаетъ ихъ въ уныніе и заставляеть опустить руки. Имъ можно съ дътства на твердить, что они глупы. — и они не станутъ разсуждать при другихъ. И не то, чтобъ они повърили въ свою глупость, нътъ: они убъждены въ глубинъ души, что они умнъе многихъ, даже, можетъ быть, всехъ окружающихъ, но природная деликатность не позволяетъ имъ высказывать при другихъ сужденій, которыя могутъ показаться и кажутся глупыми. "Что же за охота людямъ слушать то, что имъ представляется глупымъ", думають они, и хранять свои мысли при себъ. Позже, вышедши на практическую двятельность, волей-неволей показавши себя, попавши въ другой кругъ, въ которомъ замъчаютъ уже не пренебрежение, а уваженіе въ себъ, они все - таки не могуть освободиться изъ - подъ вліянія прежнихъ впечатленій и остаются молчаливы, скромны и переносливы гораздо болве, чемъ бы имъ следовало. Разсудокъ заставляетъ ихъ знать себъ цъну, но онъ ръдко бываеть въ силахъ побъдить ихъ закоренълое недовъріе въ себъ, во многихъ случаяхъ превращающееся въ чистое малодушіе. У нихъ нетъ предпріимчивости, потому что они постоянно опасаются взяться за что - нибудь выше своихъ силъ; они сторонятся отъ управленія всякимъ дівломъ, боясь, чтобы своимъ вліяніємъ не стіснить

другихъ; они не хотятъ даже правильно оценить результатовъ своей деятельности, изъ опасенія поставить себя слишкомъ высоко и заслонить чьюнибудь чужую заслугу. Такимъ образомъ, они постоянно въ борьбъ и противорвчій съ собственнымъ разсудкомъ, ввчно недовольны собой, ввчно страдають отъ саноосужденія, и нередко действительно отказываются отъ роли, въ которой могли бы быть полезнъе всякаго другого. Нужно уже слишкомъ сильно возбудить въ нихъ страсть къ чему-нибудь, чтобы вызвать ихъ на энергическую, рискованную даятельность, въ которой нужно доставлять не только удовольствія, но и непріятности другимъ, и идти наперекоръ многому. И надо прибавить, однако, что и самая страст-ность у подобныхъ людей принимаетъ обыкновенно оттанокъ накоторой робости: далекая отъ порывистости, страсть имветь у нихъ хронический, продолжительный, но тихій, сдержанный характеръ. Для дела это бываетъ даже хорошо, но для нихъ и тутъ мало радости: они все боятся копрометировать и себя и свое дело и сделаться смешными, сожалеють о недостаткъ энергіи въ себъ, сокрушаются о своей апатичности, и т. н. Спокойное разсужденіе доказываеть имъ, что у нихъ и энергія есть, и страстности достаточно, и что апатія далека отъ нихъ; но — спокойный разсудокъ гораздо менъе имъетъ на нихъ вліянія, нежели они сами думаютъ. Недовъріе къ себъ, проникшее въ ихъ натуру, заставляетъ ихъ недовърять и разсудку, а чуткая, бользненая воспріничивость береть свое.

Такимъ образомъ, неблагопріятныя обстоятельства могутъ весьма несчастно направить врожденную нажность и деликатность души: они могутъ лишить ее энергіи и привести къ отчаннію въ самомъ себъ. Обратимся же теперь въ крестьянскому міру: кто не согласится, что тамъ развъ въ видъ редкаго исключения могутъ встретиться обстоятельства, которыя бы лелъяли правильное и полное развитіе нъжной, доброй натуры! Напротивъ, вся обстановка жизни тамъ ведетъ въ тому, чтобы натура твердая огрубъла и ожесточилась, а слабая, нъжная—запугалась, сжалась и пропала въ покорномъ отчаянии. Такъ зачастую и бываеть, и вогъ гдъ, намъ кажется, можно найти объяснение двухъ противоположныхъ митний о русскомъ народъ, одного - что онъ звърь дикій, а другого - что онъ скотина безгласная. И къ тому и къ другому можетъ приближаться не одинъ русскій мужикъ, а всякій человъкъ, какого бы то ни было сословія и народа. Полной гармонія чувствъ, такъ - называемыхъ въ психологіи симпатическихъ и эгоистическихъ, т.-е. полнаго и неразрывнаго сліянія самоножертвованія съ самосохраненіемъ, мы еще не достигли въ человъческихъ обществахъ. Поэтому, вездъ встръчаются два разряда натуръ: одив съ преобладаниемъ эгонзма, стремящагося наложить свое влияние на другихъ, а другія съ избыткомъ преданности, побуждающимъ отрекаться отъ своихъ интересовъ въ пользу другихъ. При несчастномъ развитіи, натуры перваго рода дѣлаются враждебными всему, что не м.гъ, забываютъ всѣ права и становится способными ко всевозможнымъ насиліямъ; а натуры послѣдняго разряда теряютъ всякое уваженіе къ своему человѣческому достоинству и допускаютъ другихъ помыкать собою, дълаясь дѣйствительно чѣмъ-то въ родѣ укрощеннаго домашняго животнаго...

Къ несчастью, надо признаться, что объ крайности въ крестьянскомъ нашемъ сословін выказываются несравненно ярче, нежеля въ другихъ классахъ общества. Но обратилось-ли это въ природу простолюдина? Точноли надо върить, что вкусъ къ рабству, привычка возить кого-нибудь на своихъ плечахъ и быть погоняемымъ — сд. второю натурою мужика? И точно-ли надо, съ другой стороны, серьезно опасаться, что тв мужики. которые желають свободы, непремвино распорядятся съ нею звърски, принявшись буйствовать, какъ только ихъ предоставять самимъ себъ? Мы не думаемъ, именно потому, что, при всъхъ искъженіяхъ крестьянскаго развитія, мы видимъ въ народныхъ массахъ нашихъ много того, что мы на-звали "деликатностью". Мы знаемъ, что это слово многимъ покажется очень страннымъ въ примънении къ крестьянству, но мы не умъемъ найти лучшаго выраженія. Смиреніе, покорность, теривніе, самопожертвованіе в прочія свойства, воспъваемыя въ нашемъ народъ профессоромъ Шевыревымъ, Тертіемъ Филиповымъ и другими славянофилами того же закала, составляютъ жалкое и безобразное искаженіе этого прекраснаго свойства деликатности. Но, произведенное насильственно, это искажение и поддерживается постоянно искусственными комбинаціями разнаго рода. А какъ скоро жизнь получить свой естественный ходь, тогда и внутреннія свойства человъка скоро примутъ свое прямое направленіе. Звърства человъкъ не станетъ показывать, если его къ тому не вынудять, -- это ужъ всякому понятно: нынче ужъ перестали върить даже и въ то, что змъя стремится непременно ужалить человека безъ всякой причины, просто по ненависти къ человъческому роду; тъмъ менъе върять въ существование подобныхъ миончески-змънныхъ натуръ между людьми. Точно такъ же нельзя върнть и существованію овець, которыя бы за честь считали попасть на зубы льву, или людей, отъ природы имеющихъ наклонность къ тому, чтобы ихъ таскали за носъ и плевали имъ въ физіономію. Если мы видимъ, что множество людей позволяють подвергать себя подобнымь экспериментамь, то повърьте, что это дълается не иначе, какъ по необходимости. Съ этой стороны, значить, бояться нечего: искаженная, убитая и обращенная во вредъ простолюдину "деликатность" его приметь свое естественное направленіе при первой возможности.

Но и въ теперешнемъ искаженномъ состоянии крестьянскаго быта и

мысли, мы видимъ следы живого, хорошаго направленія этой деликатности. Сюда причисляемъ мы прежде всего сознаніе, о которомъ мы говорили выше, и которое въ простомъ классъ несравненно развитъе, нежели въ сословіяхъ, обезпеченныхъ постоянчымъ доходомъ, -- сознаніе, что надо жить своимъ трудомъ и не дармофдствовать. Извъстно, что "мірофдъ" на всей Руси составляеть одно изъ самыхъ позорныхъ названій, а этимъ именемъ величаютъ не только какого-нибудь старосту, земскаго или сотскаго, но и всякаго мужика, разжиртвшаго на мірской счеть. Въ крестьянскомъ сословін почти невообразимъ тотъ разрядъ людей, къ которому принадлежить такое множество прекрасныхь, образованныхь, молодыхъ и старыхъ господъ въ большихъ городахъ, — господъ, многіе годы очень недурно проживающихъ "на шарамыжку", безъ всякихъ опредъленныхъ средствъ и съ въчными, тоже неопредъленными, долгами. Между крестьянами сохраняется обыкновенно очень върный и умный взглядъ на людей, вышедшихъ изъ среды ихъ и нажившихъ себъ большое состояние разными темными путями. Намъ самимъ случалось говорить съ мужиками, помнившими карьеру ивкоторыхъ извъстныхъ богачей, вышедшихъ изъ простонародья: не только преклопенія предъ богатствовъ, такъ обыкновеннаго между нашими просквщенными и "учеными" людьми, мы не замвтили здвсь, но даже встрътили очень суровое суждение о средствахъ необычайнаго обогащенія милліонеровт, о которыхъ шла р'ячь. Изъ словъ крестьянина видно было, что онъ очень хорошо понимаеть эти средства, но что душа его отвращается отъ нихъ, и что ежели бы ему даже представился случай ими воспользоваться, то онъ не решился бы. Говорять, наши мужики лукавы и при случав надують вась самымъ мошенническимъ образомъ, чтобы зашибить себъ лишнюю копъйку. Да, бываетъ и это, хотя не такъ часто, какъ разсказывають, и притомъ болье въ городахъ и придорожныхъ или торговыхъ селахъ, имъющихъ много случаевъ позаимствоваться моралью отъ высшихъ классовъ общества. Но надо замътить, во-первыхъ, что нужда чего не заставитъ д'влать; а во - вторыхъ, что обманъ и надувательство крестьяне позволяють себъ по большей части относительно другихъ классовъ общества, съ которыми они не только не чувствують никакого родства и солидарности, но даже, напротивъ, находятъ себя въ правъ быть недовърчивычи и враждебными. Съ своимъ же братомъ, въ своемъ обществъ, они, по общимъ отзывамъ, бываютъ очень чествы. И это не удивительно: съ одной стороны - надобность трудиться для своего обезпеченія понимается простыми людьми гораздо живъе и осуществляется легче, нежели въ высшихъ классахъ общества, которыхъ члени надъляются достаточнымъ запасомъ матеріальных удобствъ еще прежде своего рожденія; объ этомъмы говорили много, разбирая разсказъ "Маша". Съ другой стороны, уважение къ личности и правамъ другихъ, и, вслъдствіе того, внимательность къ общему мновію также гораздо сильное въ людяхъ простыхъ, вежели въ тохъ, кто поставленъ судьбою въ положеніе, болое благопріятное для лови и капризовъ. Какимъ образовъ въ людяхъ послодняго разряда развивается пренебреженіе къ чужимъ прававъ и на мосто всякаго закона ставится вздорный, самолюбивый произволь, это мы видъли въ воспитаніи барышни, описанной намъ "Игрушечкою". Что дълается у нихъ изъ общественнаго мновнія, показываеть намъ баринъ, отказывающійся жениться на Сашт, изъ опасенія, что скажутъ"?.. Основаніе этого опасенія, конечно, можеть быть выведено изъ добраго источника — уваженія къ общественному мибнію; присутствіе того же начала мы видимъ, наприморъ, и въ Надёжь. Но, всматриваясь ближе въ тотъ и другой случай, мы находимъ между ними большую разницу. Скаженъ здось объ этой разниць посколько словъ, чтобы еще дополнить сдбланную уже начи прежде параллель между простолюдинами и людьми "образованными" въ нашемъ обществъ.

Наше образованное общество, какъ извъстно, не имъетъ себъ подобнаго въ безразличности, съ которою оно смотритъ на общественную мораль. Люди, завъдомо негодные, уличенные, осужденные, принимаются у насъ въ хорошемъ обществъ, какъ будто бы за ними ничего дурного съ роду не бывало. Являясь въ домъ къ человъку, извъстному своей честностью, вы никакъ не можете быть поэтому увърены, что не встрътитесь у него съ людьии очень и очень нечистыми. Въ другихъ земляхъ, даже не пользующихся особенной славою гражданского героизма, бывали примъры, что люди, уличенные, напримёръ, въ казнокрадствъ видъли вдругъ, что съ ними вмъстъ никто объдать не хочегъ, а другіе, при одномъ подозръній ихъ въ такомъ же діль, приходили въ такое волненіе, что лишали себя жизни. У насъ нъть надобности въ такой кругой мъръ, и невозможно ожидать нодобныхъ манифестацій: общественное сознаніе нейдеть дальше сплетенъ. На какомъ вамъ угодно балу или великосвътскомъ вечеръ, за званымъ объдомъ, въ какомъ хотите собраніи, гдъ довольно много публики, разговоритесь съ первымъ попавшимся на глаза болтуномъ о другихъ господахъ, которые будуть подвертываться вамъ на глаза: Воже мой, сколько грязныхъ исторій, отвратительныхъ анекдотовъ, безобразныхъ сценъ передадутъ вамъ чуть не о половинъ присутствующихъ!.. Этотъ вышель въ люди наушничествомъ и шпіонствомъ, тоть залізть въ казенный сундукъ, тотъ находится на содержании у такой-то старухи, чрезъ которую и сдёлаль карьеру; одинъ занимался контрабандой, другой сводничествомъ, третій тиранитъ крестьянъ, четвертый — отъявленный взяточникъ, пятый — шулеръ... Болтунъ вамъ, можетъ быть, и прибавитъ и перевретъ многое: но замъчательно, что все собравшееся общество не разъ

уже слышало подобныхъ болтуновъ, знаетъ все, что говорять о каждомъ изъ присутствующихъ, и нимало не заботится даже о томъ, чтобы хоть удостовъриться въ справедливости или ложности слуховъ. "Говорятъ, что онъ наворовалъ все, что теперь имъетъ; да и точно, откуда бы вдругъ взяться безъ того его богатству? Но, впрочемъ, что намъ за дело? Обеди у него хорошіе; князь такой-то и генераль такой-то къ нему ходять, и по службъ онъ хорошо идетъ; стало быть, и намъ не стать предъ нямъ спъсивиться и гнушаться его знакомствомъ". Такъ обыкновенно разсуждаютъ у насъ и жмутъ руку негодяю, котораго въ душ в готовы презирать, да не смжють. Мы не хотимъ пускаться здъсь въ разборъ причинъ такого состоянія образованнаго нашего общества, предоставляя себь разсмотрыть это при другомъ случав. Здёсь же, отметимъ только факть, что общественный судь о правственномъ достоинствъ людей если и существуетъ у насъ, то лишь въ видъ сплетенъ и разговоровъ, ничего не значащихъ для практики; вся же строгость общественнаго мивнія обращена на принятыя формы и приличія. Несоблюденіе ихъ карается безпощадно; съ людьми "неприличными" не знакомятся; людей, не умъющихъ держать себя, не пускаютъ въ порядочное общество, — развъ если они ужъ очень богаты... Такимъ образомъ, забота о всякаго рода щенетильностяхъ наполняетъ всю нашу жизнь, опредъляеть всв наши дъйствія, отъ повязки галстуха и часа объда, отъ подбора мягкихъ словъ въ разговоръ и ловкаго поклона — до выбора себъ рода занятій, предмета дружбы и любви, развитія въ себъ тъхъ и другихъ вкусовъ и наклонностей. Не сущность дъла, а лишь принятая и условленная форма обращаеть на себя общее внимание. А чемъ условливается принятая форма, по чему судять о ея достоинствъ? По тому, на сколько въ ней выражается барство въ дурномъ его смыслъ, т.-е. съ произволомъ и тунеядствомъ. Неприлично быть актеромъ — не потому, что это пустое занятіе, а потому, что актеръ, видите-ли, наемникъ, за деньги выделывающій всякія штуки передъ публикой, т.-е. человекъ, все-таки хоть какимъ-нибудь трудомъ достающій себъ хльбъ. Это ужъ не годится: порядочный человекъ долженъ не нуждаться въ труде для поддержки своего существованія: онъ долженъ быть бълоручкою и бездъльникомъ, а трудъ-это плебейское дъло... Не такъ лестно служить въ армін, какъ въ гвардін. Почему? Не потому, чтобы въ гвардін представлялось болье возможности принести пользу службь, а всего болье потому, что тамъ форма лучше и что гвардейская экипировка и содержаніе, будучи гораздо дороже, съ нерваго же взгляда обличають человька, который можеть тратить много денегъ. Неприлично шутить съ прислугою, —не изъ опасенія, чтобы своею шуткою случайно не оскорбить человъка, который, по своему положенію, не можеть отв'єтить на нее обратно, а, напротивъ, изъ боязни,

чтобы на наши шутки слуга и самъ не вздумалъ отвѣтить шуткою и, такимъ образомъ, не сталъ бы съ нами за панибрата... Нельзя жениться на простой дъвушкъ— не потому, чтобы она не могла удовлетворить стремленіямъ образованнаго человъка и понять его интересы, а просто потому, что она нашихъ пріемовъ не знаетъ, и манерами и разговоромъ будетъ насъ компрометировать. Вотъ къ чему сводится вся боязнь барина, который не смъетъ жениться на Сашъ, хотя онъ любитъ ее, находитъ въ ней полное удовлетвореніе и не можетъ не видъть, что она увите и чище его самого и всъхъ его родныхъ и знакомыхъ, которыхъ мити онъ боятся...

самого и всёхъ его родныхъ и знакомыхъ, которыхъ митнія онъ боится...

Не тотъ характеръ имъетъ страхъ общественнаго суда въ простомъ
быту. Есть, правда, и тамъ свои привычки, которыя всёмъ слёдуетъ соблюдать; но и несоблюденіе ихъ не возстановляеть всего общества противъвиновнаго. Молодой парень можеть, напр., брить себъ бороду, нуждающійся біднякъ можетъ въ воскресенье, вийсто храма Вожія, отправиться работать на свою полосу,— это не вызоветъ преслідованій со стороны одно-сельцевъ. За то дійствительные правственные грйхи судятся очень строго, и если общее мивніе не имветь часто серьезных практических послвд-ствій, такъ это отъ решительной невозможности привести въ действіе общее желаніе. При въбздъ въ деревню, вашъ ямщикъ встръчается съ мужичонкомъ, котораго онъ не преминетъ обругать и которому вслъдъ пошлетъ еще нъсколько недобрыхъ словъ, называя его, между прочимъ, Ванькою - во-ромъ. Вы спрашиваете, что это значитъ, и ямщикъ объясняетъ вамъ поромъ. Вы спрашиваете, что это значить, и ямщикъ объясняеть вамъ похожденія Ваньки, изъ которыхъ видно, что онъ дъйствительно воръ всесвътный и отъявленний. "Такъ зачъмъ же вы его у себя держите и даете
ему шляться на воль?"— "Да что же намъ съ нимъ дълать-то? — возражаетъ крестьянинъ. — Въ солдаты сдать его хотъли — не годится, дескать,
не приняли... Колотили сколько разъ — неймется... Что-жъ тутъ будешь
дълать? Въдь не судиться же съ нимъ". — "А отчего жъ бы и не судиться?" — "Э!" — съ досадой крикнетъ ямщикъ въ отвътъ, и только рукой махнетъ, не желая словъ тратить. Изъ его восклицанія и жеста поймите его положение и сообразите, сколько ему надо нравственной чистоты и твердости, чтобы не развратиться въ конецъ подъ вліяніемъ тягот вющихъ надъ нимъ обстоятельствъ разнаго рода. Немудрено, что и въ крестьянскомъ быту общее мн вніе часто бываетъ нел впо, иногда нечестно по неискренности, иногда совсвиъ скрыто по малодушію. Противъ всего этого мы не думаемъ спорить; мы даже готовы прибавить, что во всвух случаяхъ, гдв нужно собирать голоса и по нимъ узнавать общее мявніе, въ крестьянскомъ сословіи, вслёдствіе его непривычки вести собственныя дёла по своему собственному желанію, оказывается гораздо больше безтолковщины, чёмъ гдё-либо. Но мы утверждаемь одно, что тамъ болёе внимательности

къ достоинству человъка, менъе безразличія къ тому, каковъ мой сосъдъ и какимъ я кажусь моему сосъду. Забота о доброй славъ тамъ встръчается чаще, чемъ въ другихъ сословіяхъ, и въ виде боле нормальномъ. Известно, что естественная потребность заслужить доброе расположение людей переходить нередко въ болезненное искание репутации, для которой нередко и совершаются всевозможныя гадости. Но это именно бываеть у людей "образованнаго" общества, которые, обогащаясь всякаго рода познаніями, открывають для себя множество целей и путей, но чтобы достигнуть этихъ цълей, не имъютъ достаточно силъ, да и на счетъ пути-то оказываются очень ленивы... Видя, что существеннаго-то не могуть достигнуть, они начинають гоняться за видимостью: "пусть, дескать, я не богать, да другіе будутъ говорить, что богать - все пріятиве". Такое исканіе репутаціи въ простомъ языкв называется просто надувательствомъ и шелыганствомъ, и стремленія къ доброй славѣ никакъ нельзя съ нимъ смѣшивать. Это послѣд-нее есть прямое послѣдствіе благожелательства къ людямъ и уваженія къ ихъ личности. Въ своемъ крайнемъ развитии оно переходитъ опять въ излишнюю угодливость, робость, боязнь общественнаго мижнія, - и это мы неръдко видимъ въ нашихъ крестьянахъ, которыхъ вообще всв обстоятельства жизни такъ и ведутъ къ пресловутому смиренномутрею славянофиловъ. Но, во всякомъ случать, по своему основавію и существеннымъ свойствамъ, эта чуткость народа къ общественному мизнію, къ доброй славъ-служить однимъ изъ доказательствъ способности его къ высокому гражданскому развитію, на началахъ живыхъ и справедливыхъ.

Мы отдалились отъ разсказа о Надёжь, по поводу котораго заговорили о деликатности, объ уважении къ личности другого и о доброй славъ, какъ выражении того, довольны или недовольны пами наши ближніе. Но мы опять приходимъ именно въ этому разсказу, и въ вемъ хотимъ показать разницу воззр'вній на то, что постыдно и что не постыдно въ простомъ и въ такъ-называемомъ цивилизованномъ обществъ. Надёжа страдаетъ отъ намековъ и насмъщекъ подругъ, Надёжа считаетъ себя обезславленною; а между тъмъ, какъ видно изъ разсказа, Иванъ не соблазнилъ ее, не сдълалъ ей того, что на житейскомъ языкъ нашемъ называется "безчестьемъ" дъвушки. Страдаетъ и Иванъ, и всъ дъйствующія лица этой исторіи признають его глубоко виновнымь, хотя онь и не воспользовался любовью дьвушки. Отчего-жъ они оба страдаютъ и сокрушаются? Чего имъ стыдно и тяжело? По нашимъ житейскимъ понятіямъ онъ ничъмъ не обязанъ передъ ней, она ничъмъ не осрамила себя передъ нимъ и передъ людьми, потому что не дала ему ничего сдълать надъ собою неприличнаго... Да, но понятія простыхъ людей не таковы. Мы знаемъ, что на счетъ физической чистоты они не очень даже и заботятся, и мы говоримъ поэтому, что деревенскіе нравы очень развратны. Пожалуй, смотрите на это, какъ хотите, но согласитесь, что въ отчаяніи Надёжи и Ивана правственная сторона дѣла понята гораздо выше и чище, нежели въ нашяхъ житейскихъ сужденіяхъ и привычкахъ. Надёжа знаетъ, что она хоть и сохранила сное физическое цѣломудріе, но поругана въ самыхъ святыхъ, самыхъ задушевныхъ своихъ чувствахъ; онъ тоже знаетъ, что нарушилъ внутренній чиръ дѣвушки, отравилъ ея душевное спокойствіе и оскрернилъ святыню ея сердца уже тѣмъ, что привлекъ на ея тайну нескромное и насмѣшливое вниманіе постороннихъ людей. Припомнимъ же и сравничъ съ эгой тонкостью и гуманностью чувства грубость какого-нибудь Андрея Колосова, котораго гуманные другыхъ его считаютъ еще лучшимъ изъ многихъ!.. И точно, онъ лучше другихъ: вѣдь другіе-то поступаютъ, большею частью, какъ князь Н., описанный въ "Лишнемъ человъкъ"...

Но отчего же Надёжа стидится своего чувства, если оно такъ чисто? Да она и не то, чтобы стыдилась, а ей просто чего-то неловко. Она живетъ какъ будто подъ вліяніемъ той мысли, что на нее всв подруги сердятся за предпочтеніе, оказанное ей Пваномъ, думаютъ, что она его завлекла, и потомъ насмѣх ются надъ нею за неудачу... Вользненное развитіе ея тонкой и нѣжной организаціи дѣлаетъ ее слишкомъ робкою и подозрительною: она сама себя считаетъ отверженною обществомъ. Притомъ же, въ ней дѣйствительно страдаетъ ея достоинство: она вдругъ очутилась въ положеніи человѣка, которому ни съ того, ни съ сего дали въ обществъ пощечину. Конечно, если разсудить хладнокровно, такъ это само по себъ въдоръ: при обсужденіи нравственнаго достоинства человѣка надо счотрѣть на то, заслуживалъ-ли онъ быть битымъ; а тамъ —битъ-ли онъ былъ въ дѣйствительности или нѣтъ, — это уже другой вопросъ, вопросъ силы, а не права. Но страшиваемъ: много-ли въ образованномъ обществъ найдется людей, которые могли бы возвыситься надъ фактомъ пощечины и не сконфузиться —не только если самимъ придется незаслуженно получить ее, но даже если случится быть хоть свидѣтелями при подобномъ казусѣ?..

Здравостью и основательностью общественнаго мивнія едва-ли какоенибудь сословіе въ общемъ составт своемъ можеть особенно похвалиться.
Не могуть ими похвалиться и простолюдины: тотъ же разсказъ "Надёжа",
рисуя намъ отношенія къ ней подругь ея, показываетъ намъ всю грубость
и ошибочность ихъ сужденій. Это обстоятельство не осталось для насъ незамтченнымъ, и мы не намтрены его оправдывать, хотя и должны оговорить, что подобнаго рода ложныя и невтжественныя понятія гораздо простительнте крестьянамъ, нежели другимъ, высшимъ классамъ общества.
имтющимъ претензію на образованность. Мы уже говорили выше о томъ.
какъ много препятствій въ своемъ развитіи встртчаетъ крестьянинъ, и

какъ много внутренней силы нужно ему имъть для того, чтобы уберечься отъ полнаго искаженія въ себъ здраваго смысла и чистой совъсти. И при этомъ-то положеніи все еще мы видимъ здъсь существованіе такихъ натуръ, въ которыхъ хоть слабо и неровно, но неугасимо горятъ живые человъческіе инстинкты, такъ что оскорбленіе и неудовлетвореніе ихъ влечеть за собою смерть самаго организма. Такія лица, какъ Надежа, съ перваго взгляда представляющіяся исключительными, оказываются, при внимательномъ разсмотръніи обстоятельствъ и характера, вовсе не такъ ръдкими въ крестьянскомъ сословіи, какъ мы привыкли думать. Повторяемъ, если не чаще, чъмъ въ средъ благовосцитанныхъ юношей и барышень, то, по крайней мъръ столько же часто, встръчаются деликатныя натуры, подобныя Надёжъ, и въ простонародьи.

Да еще это пассивная сторона, нассивная роль подобныхъ натуръ.

Да еще это пассивная сторона, пассивная роль подобных натуръ. Сама по себъ Надёжа прекрасная личность; но ее надо покопть и лелъять, и отъ нея за то дожидаться нъжности и ласки. А чуть на нее невзгода, она и сожмется вся, и спрячется въ самое себя, и ничего, кромъ горькихъ слезъ, отъ нея не добъешься... Бываютъ въ простонародьи натуры столь же нъжныя и благожелательныя. но поэнергичнъе, подъятельнъе. Такія натуры тоже не покажутся совствъ непонятными тому, для кого не сонстять чуждо изученіе нашего простонародья. Одну изъ такихъ личностей видимъ мы въ "Катеринъ" Марка Вовчка.

Катерина тоже очень чутка къ насмѣшкамъ, упрекамъ и даже простымъ шуткамъ, имѣющимъ самый невинный характеръ. Еще маленькой дъвочкой привезла ее барыня изъ Малороссіи въ великорусскую деревню; здѣсь показались странными—и ея языкъ, и рубашка вышитая, и взглядъ темный и задумчивый... Стали ее тормошить дѣвчонки и смѣяться надъ ней. Само собою разумѣется, что умаленькой дѣвочки не могло быть твердаго разумнаго сознанія о смыслѣ и достоинствѣ всего, что она дѣлаетъ; она не могла, подобно философу какому-нибудь, продолжать дѣлать свое, презирая крики толиы; она должна была принимать къ сердцу выходки подругъ. Если бъ она была сварлива, она стала бы со всѣми ссориться и защищать себя силою; но ея деликатность, инстинктивное уваженіе къ себѣ и къ другимъ не допускали ее до этого. Потому она просто переставала дѣлать то, что другимъ не допускали ее до этого. Потому она просто переставала дѣлать то, что другимъ казалось страннымъ или смѣшнымъ. Осмѣнли разъ ея рукавчики шитые на рубашкѣ— она больше ни разу не надѣла своей вышитой рубашки. Подкараулили ее разъ у курганчика, къ которому она одна уходила, и подслушали малорусскую пѣсню, которую она тамъ пѣла, да стали приставать къ ней и разспрашивать— она перестала ходить къ кургану и никогда больше не пѣла той пѣсни... Но, вмѣстѣ съ этой чутко стыю ко всякому внѣшнему впечатлѣнію, Катерина обладала внутреннею силою,

которая непремінно требовала себі исхода, непремінно должна была выразиться въ какой-нибудь дъятельности. Долго обстоятельства жизни шли наперекоръ стремленіямъ Катерины: ее увезли съ собой господа въ другуи вотчину, незнакомую; ее выдали замужъ за человъка, котораго она не могла любить. Она никому не пожаловалась на свою судьбу, слова не сказала с своемъ житъв-бытъв, никого не допустила даже пожалвть ее въ глаза, и съ мужемъ не ссорилась, а "только опуститъ глаза и неподвижная таказ станеть, строгая и суровая передъ нимъ"... Хотвлось ей найти себв какое-нибудь дело въ жизни, да не находилось такого дела. Выучилась она ивть хорошо, такъ что душа рвалась и томилась отъ ем ивсенъ. На вст свадьбы ее первую приглашали, и она пъла тамъ грустныя пъсни, и душу отводила себъ. Да не довольно ей было этого: тяжко ей было до того, что она было пить пріучилась. Разъ ей сказала подружка: "Катерина, голубушка! не ней много: туть чужіе люди есть - осудять тебя: лучше ты спог намъ! "Тогда она отвътила вотъ что: "ахъ, вы, люди безжалостные! Все вамъ пой да пой, -- отдохнуть не дадите! Дайте отдохнуть, дайте вынити вина забывчиваго! "Горько, видно, казалось ей жить на свътъ безъ дъла безъ пользы. Такъ бы, можетъ, и загубила она свою душу, да. къ счастью отыскалось ей д'вло: прослышала она про знахарку въ околодкъ и ръшилась выучиться у ней лівчить болівни; она же съ малолівтства нивла страсті разсматривать да узнавать всякіе цвёти и трави. Вотъ какъ разсказиваетъ сама знахарка о приходъ въ ней Катерины (стр. 57).

«Приходить ко мив, спрашиваеть: - «какъ мив на свъть жить? - А сама во вс глаза глядить на меня, -перепугала. «Живи, косатка, какъ люди», говорк. - Ната скажи, какъ мнѣ жить, мнь!» - «Сядь-ка, да перекрестись, да модитву прочит и на тебя напущено». Она съла, перекрестилась и заплакала. А тутъ у меня трави висять по ствнамь, и на окив на солнышив сущились. - «На что тебь травы столь ко?»-спрашиваетъ. - «Людямъ помогаю». - «Помоги же и мнѣ, родная!» - «Да что тебя болить-то? скажи .. - «Душа моя болить!» - проговорила тихо, а у самой слези потекли. -- «А голова не болить?» -- «И голова болить. и вся я больна! -- Воть я е травку даю; она покловилась и пошла. Я-было вздремнула, слышу-опять стучатся опять она. - «Что тебь?» - «Научи меня, родная, какими ты зельями лічишь?» разсердилась и гоню ее, а она ужъ такъ-то плачетъ, разливается. - «Не научиши то убей меня туть! Все равно я пропаду... Я воть, - говорить, - ужь скольго мая лась на свыть-все пусто да пусто, никого не радую, и ничто меня не веселить, дила у меня нить душевнаго никакого». —Я думаю — дурветь она, а жалко мнв ег Я тамъ и показала ей кое-что, больше для утьхи ей. Гдь-жъ, думаю, ей запом нить! А она въдь запомнила все. Начала. слышу, ужъ сама лъчить. Досадно мн и обидно было, что она у меня кусокъ хлаба отбиваетъ. Разъ она пришла, и полн руки травъ. Я ее неласково встречаю, а она словно не видитъ. - «Знаешь эти травь бабушка? -- «Не знаю, говорю, да и знать не хочу». - «Натъ, говоритъ, ты возьми Я тебь это принесла. Полезныя травы, пылющія!»—«Ты на чемь ихъ испробоваля то, что ручаешься?»—«Да на себь, бабушка».—«Какъ на себь?»—«А такъ, говорит въдь я прежде-то всегда сама попью: не свалитъ-тогда и людямъ даю». -- Удивил она меня, ей-Богу! А говорить-то вёдь такь, что сердце ей вёрить... И воть той поры она мню травы-то всякія носить. Спасибо ей, не обидъла меня за мо науку».

И какъ только нашла себѣ Катерина "дѣло душевное", тотчасъ она и пить бросила, и ласковая такая стала, привѣтливая. Сама за себя она стала спокойна, только чужая печаль все крушила ее и не давала ей покою. У всякаго больного разспрашивала она прежде, нътъ-ли у него печали какой. Одна больная сказала ей: "что разсказывать-то? Чужая бъда никому не разумна". "Ужъ мнъ-ли не разумна! — отвътила Катерина: — мнъ-ли не горька! Нъту на свътъ бъломъ, нъту мнъ чужой печали, — все моя печаль. Пожила бы ты съ мое — узнала бы! " Больная удивилась и, вспомнивъ про мужа Катерины, котораго та не хотъла утъщить и полюбить, какъ онъ ни любилъ ее, проговорила въ видъ возраженія: "а мужъто твой?" Катерина не разсердилась, а только подумала немного и сказала: "и его печаль—моя печаль, да не мое дело помочь ему!.. Не своей волей за бълу я ему стала; а у него воля была неразумная". Какъ ярко высказывается въ этихъ простыхъ словахъ сознательная, самобытная энергія характера Катерины!.. Она далеко выше, напримъръ, Игрушечки или Сани: она не дастъ распоряжаться своей душою, не предастся тому, съ къмъ связала ее судьба противъ воли; она хочетъ всъхъ любить, всъхъ видъть счастливыми, но она ищетъ свободнаго простора для своей двятельности и любви. Если ее приведутъ насильно и скажутъ: "осчастливь вотъ этого, а не того", вся натура ея возмутится противъ такого насилія, и при всей ея любвеобильности, у нея не достанеть силь для выполненія приказанія. Мягкость и нъжность ея натуры призывають ее посвятить себя на пользу ближнихь; но оть этого вольнаго служенія далеко до отреченія отъ своей личности, до допущенія себя сдёлаться игрушкой чужого произвола. П'втъ, въ ней сознаніе своего достоинства, своей самостоятельности настолько же сильно, какъ и сознание кровнаго родства ея съ людьми и взаимной обязанности людей — поддерживать другь друга въ общихъ трудахъ и заботахъ жизни. Только благопріятныхъ обстоятельствъ развитія да болье общирнаго круга дъятельности недостаетъ ей для того, чтобы занять высокое мъсто въ ряду лучшихъ дъятелей, которыхъ память сохраняется въ исторіи и въ преданіяхъ народныхъ.

Рѣдко встрѣчаются лица, до такой степени чисто сохранившіяся оть двухъ противоположныхъ крайностей — отъ доведенія благодушія до потери собственной свободы и отъ эгонстическаго возвышенія собственной личности до забвенія правъ другихъ. Но надо замѣтить, что рѣдки они не въ одномъ простонародьи; во всѣхъ классахъ общества мы видимъ, къ сожалѣнію, что если въ человѣкѣ преобладаетъ доброта, то ужъ она до того доходитъ, что имъ всѣ помыкаютъ, а если въ немъ самолюбіе сильно, то онъ надъ другими озорничаетъ, сколько можетъ. При такомъ ходѣ дѣлъ, мы нерѣдко еще удивляемся нравственнымъ качествамъ иныхъ лю-

дей за то только, что они не столько подличають, или не столько вольничають надъ другими, сколько могли бы по своему положению. Такъ, мы восхваляемъ добраго помъщика, берущаго не слишкомъ обременительный оброкъ съ крестьянъ, честнаго откупщика, у котораго въ откупъ продается сносная водка, чиновника, хотя и кривящаго душою по приказу начальства, но уменощаго держать себя не слишкомъ по-лакейски, и пр., и пр. Принужденные имъть такую мърку для оценки нравственнаго достоинства людей среди нашего общества, мы должны быть очень довольны, когда видимъ хоть возможность появленія въ крестьянскомъ сословін такихъ личностей, какъ Катерина. Если бы изъ такихъ людей состоядо большинство, то, конечно, исторія, не только наша, но и всего человічества, имъла бы совствъ иной характеръ. Намъ важно ужъ и то, что подъ грудою всякой дряни, нанесенчой съ разныхъ сторонъ на наше простонародье, мы въ немъ еще находимъ довольно жизненной силы, чтобы хранить и заставлять пробиваться наружу добрые человъческие инстинкты и здравыя требования мысли. Часто эти обпаруживания природныхъ силъ бывають слабы, едва примътны, часто замирають, едва пробившись на свътъ Божій; ръдко сохраняются они такъ упорно противъ всъхъ невзгодъ, какъ мы видъли въ Машъ и Катеринъ. Но и то уже много, если мы замътимъ хоть въ слабой степени присутствие въ народътъхъ началъ, которыя такъ ярко выразились въ этихъ двухъ женщинахъ. А что ин ихъ замътимъ, если будемъ внимательно и съ любовью наблюдать бытъ простонародья, -- за это можно смело ручаться. Затемъ уже не трудво намъ будетъ сообразить, отчего развитие этихъ началъ въ народъ по большей части останавливается такъ рано и нередко совсемъ заглушается; не хитро также будетъ понять и то, въ какой стелени самъ простолюдинъ бываетъ виновенъ въ неполнотв или совершенной остановкъ своего развитія, и въ какой степени виноваты въ этомъ мы всь, причисляющіе себя къ людянъ образованнымъ. Удостоивши же подумать объ этомъ, мы должны придти къ вопросу о томъ: что намъ делать, чтобы устранить по возможности все, что такъ страшно мъщаетъ развитію хорошихъ качествъ народа?

Вопроса этого мы не станемъ рѣшать здѣсь; рѣшеніе его несравненно легче вывести, нежели понятнымъ образомъ написать въ русской книгѣ: длинная и трудная можетъ изъ этого внйти исторія! Но мы можемъ здѣсь еще разъ обратить вниманіе читателей на мысль, развитіе которой составляетъ главную задачу этой статьи, — мысль о томъ, что народъ способенъ ко всевозможнымъ возвышеннымъ чувствамъ и поступкамъ наравнѣ съ людьми всякаго другого сословія, если еще не больше, и что слѣдуетъ строго различать въ немъ послѣдствія внѣшняго гнета отъ его внутреннихъ и естественныхъ стремленій, которыя совсѣмъ не заглохли, какъ мно-

гіе думаютъ. Кто серьезно проникнется этой мыслью, тотъ почувствуетъ въ себъ болье довърія къ народу, больше охоты сблизиться съ нимъ, въ полной надеждь, что онъ пойметъ, въ чемъ заключается его благо, и не откажется отъ него по лъни или малодушію. Съ такимъ довъріемъ къ силамъ народа и съ надеждою на его добрыя расположенія, можно дъйствовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дъло кръпкія, свъжія силы и предохранить ихъ отъ того искаженія, какому они такъ часто подвергаются при настоящемъ порядкъ вещей.

Искаженіе это доставляеть много страданій несчастнымъ, но служить, большею частью, къ выгодъ тъхъ, кто поставлень выше ихъ, кто владьеть ими. Но не надо забывать, что бываеть обороть и въ противную сторону: не все натуры мягкія и податливыя, какъ Саша или Надежа, не все твердыя и благоразумныя, какъ Катерина, не все огрицательно-упорныя противъ зла, какъ Маша; — встръчаются и другія, суровыя и безпощадныя натуры, въ которыхъ внутренняя реакція всякому посягательству на ихъ личность развивается до размъровъ поистинъ сокрушительныхъ и получаетъ наступательный характеръ. Насъ заставиль подумать объ этомъ обстоятельствъ (котораго, впрочемъ, упускать изъ виду ни въ какомъ случаъ не слъдуетъ) характеръ Ефима, въ разсказъ Марка Вовчка "Купеческая дочка". Мы ничего еще не говорили объ этомъ разсказъ; обратимся же кстати къ нему и закончимъ нашу статью, растянувщуюся такъ неимовърно и неожиданно для насъ самихъ.

Ефимъ — мужикъ, кучеръ барскій, высокій бородачъ, смуглый, румяный; глаза у него такъ и сверкаютъ, лицо такое удалое, гордое, улыбка веселая да насмъшливая. Барыня его горничную наняла, купеческую дочку бъдную, Анну Акимовну. Съ перваго раза понравилась ему она, и съ перваго же раза обидъла: прошла мичо его — не взглянула, на первый вопросъ его — едва слово молвила. Зад гла она его за живое своей спъсью, и пошель онъ ее неотступно преследовать, решившись во что бы то ни стало смирить ее, овладъть ею. Множество дълаль онъ ей всическихъ маленькихъ непріятностей; ссорились они постоянно, и, между тъмъ, все больше другъ другомъ интересовались Прошелъ годъ; дворня замъчаеть, что у Анны Акимовны разговоръ все какъ то на Ефима сводится. "Вотъ Ефимъ повхалъ лошадей ковать; Ефимъ пъсни хорошо постъ; вотъ Ефиму бы жениться, и на комъ это ему Богъ приведеть?" — такъ разсуждаютъ дворовые при Аннъ Акимовнъ, а она сама ничего, только слушаетъ, да старается похитръе на эту ръчь навести. Догадался про ея хитрость поваренокъ Миша и пересказалъ Ефину; замътила Анна Акимовна, что Ефинъ что-то знаетъ, и вышла у нихъ ссора нешуточная; Анна Акимовна попрекнула Ефина мужичествомъ.

— Зазнатся, зазнатся ты очень, -накинулась на него Анна Акимовна - Вотъ ужъ посади за столъ... Забылъ, кто ты такой... что за вельможа?.. Что ты о себъ думаень?

- Ефимъ сталъ передъ нею, головой покачиваетъ:

- Ты-то отъ какихъ князей родь ведень?

«— Да какъ ты емьешь равняться-то? Белеовьстный ты такой! Мой батюшка кунецъ былъ, свою торговлю велъ...

— Да-съ, да-съ! Памъ не безызвестно-съ! Ну, что вы, купцы? Ведь одинъ обманъ отъ васъ только. Я вотъ хоть бы вчера платокъ купилъ; божилось лихое твое племя: износу изтъ,—а вотъ посмотри-ко,—весь світител!

«И покойно такъ разсказываетъ, платокъ развергываета: а она-то дрожитъ вся

бладная

- А барыні жаловаться буду!—крикнула.—Ты не смій издіваться, мужакъ безтолковый.
  - Постой, постой, -заговориль Ефинь, словно изучился.
  - с Да,- мужикъ безтолковый,--кричитъ Анна Акимовна.
- «Ефима словно кто противъ шерети повелъ: кудрями онъ тряхнузъ и бороду погладилъ.
- «— Погоди, погоди!—началъ онъ, сдерживая свой голосъ звучний. Говоришь ты: мужикъ... Ну, призваюсь тебъ самъ, точно, я мужикъ. И изъ деревни я недавно тоже пригнаюсь. Жилъ я, пахалъ, съялъ, кормился самъ и продавалъ, и съ людьми чисто поступалъ, дружно жилъ. Я праву веселаго. А ты купеческая дочка, Анна Акимовна, чъмъ ты взяла? Что изъ себя-то ты взглялна? Это сущій пустякъ. Первое дѣло—душа, нравъ. Ты задорна, строитива больно...
  - Какъ ты смъешь? -- запищала она. А онъ свое:
- «— Літь ты хоть не молодыхь, а уваженія тебі ни отъ кого ніту... Какі ты себі ни величайся, какъ ни кичись, идуть люди, а сами и не спросять: что это за Анна Акимовна на світі живеть?.. Мой-то батклика землю пахаль, и всякь скажеть: «добрый мужичокъ быль покойникь!» А твой, хоть и въ лисьихъ шубахь ходиль, да слава-то нехороша».

Размолвились они шибко, и говорить другъ съ другомъ перестали. только за столомъ одинъ другому все шпильки разныя подлускаютъ. А между тъмъ оба похудъли, поблъднъли, оба задумываются и пригорюниваются, когда одни. Наконецъ, Ефимъ помелъ решительно. Разъ, после долгихъ насмъщевъ Анны Акимовны надъ мужиками и мужицкими привычкими, Ефимъ выговорилъ: "эхъ. матупка Аниа Акимовна! А я, мужикъ, ведь за васъ посвататься хотелъ. Что? - думаю, - девушка она хоть нетолковая, хоть вздорная, ерошливая, да за обозомъ сбредетъ". Она вспыхнула и вздрогнула: а онъ продолжалъ: "полноте, матушка, не извольте гивваться: нездоровье приключится. Опаски насчеть сватовства не имвите. Пришла-было дурь въ голову, и прошла. Всякъ сверчокъ знай свой шестокъ. Мы себъ ровню повысмотримъ". И точно, Ефимъ сталъ почти каждый день уходить со двора, принарядившись; приходиль съ пъснею и весь повесельль. Анна Акимовна притихла; ждеть, что будеть. Разъ вечеромъ приходить Ефинъ и объявляеть въ людской, что хочетъ идти къ барынъпозволенья просить жениться; потомъ обращается въ купеческой дочкъ: "ужъ вы, Анна Акимовна, стараго гивва не помните, не обидьте мою суженую. Дъвочка славная!" Анна Акимовна побълъла вся, и губы у ней

задрожали. Побълъла вся и вышла. Спряталась въ уголку на лъстницъ и принялась горько плакать; долго плакала и къ ужину не пришла... Какъ сказали объ этомъ Ефиму, онъ прямо къ ней бросился, обнялъ ее кръпко и цъловать сталъ... Она такъ и ахнула, глянула на него, узнала, да такъ и обвилась руками около его шеи, а сама плачетъ-плачетъ...

«Онъ ее на рукахъ вынесъ изъ того уголка. Она вырываться,— не нускаетъ; поставилъ противъ мѣсяца світа:

Ага, купеческая дочка, Анна Акимовна! — промолвиль: — теперь ты моя!
 И такъ вымолвиль, словно онъ врага своего лютаго полониль; и у самого слезы двъ скатились, и такая усмъшка злобная! Страшно и чудно на него смотръть тогда было»...

Женились они. Съ перваго же дия свадьбы Ефимъ началъ чулить надъ женою, смирять ее. Попросилъ онъ ее, чтобы на дъвичникъ и на свадьбу позвала своихъ знакомыхъ и родню дальнюю — купчихъ; она позвала. Ефимъ никого отъ себя на дъвичникъ не пригласилъ, и Анна Акимовна была очень рада: она очень боялась убогихъ гостей. - чуть дверь отворится, она въ лицъ измънится. но никто не пришелъ изъ убогихъ, купчихи однъ сидъли и оръхи щелкали. За то на другой день, только что изъ-подъ вънца, въ дверяхъ уже полодые были встръчены съ хлъбомъсолью мужиченкомъ въ лантишкахъ и въ зипунишкъ ветхонькомъ. Отвориди дверь, — вся изба полна мужиками въ лаптяхъ. Авна Акимовла за-шаталась и могла только прошентать: "злодъй! "Кунчихи понятились назадъ, надулись: Ефинь попросиль ихъ не спесивиться, погулять на свадьбв; он'в отъ него къ ствив отвернулись: тогда Ефинь имъ и двери настежь... Анна Акимовна такъ была убита, что на другой же день захворала серьезно. Ефимь затужиль, закручинился, целыя ночи надъ нею просиживалъ и все глядълъ на нее; но и тутъ былъ суровъ съ нею, и только разъ ивжными словами упранивалъ ее, чтобъ лечилась. Она только отвернулась. Посл'в того онъ сталъ еще суровъе; а когда она выздоровьла, то житья ей не даваль, — все за прежнюю гордость отплачиваль. "Утеряли, говорить, -- вы, Анна Акимовна, свое-то княжество за мною! Воть въдь маху-то дали, — просто бъда!" Она все молчить, а онъ все глятить на нее, какъ на своего врага жестокаго, да приговариваетъ иной разъ съ усмъшкою: "жгуча крапива родится, да уварится!" Опа сохла и чахла отъ его попрековъ; да ему и самому не легко было жить такъ; постарълъ онъ, сморщился, веселость свою потерялъ, усмъшка стала у него язви-тельная, да слова такія ъдкія и злобныя... Недолго выдержала Аяна Акимовна; умерла она осенью, тихо, безъ мученій. Ефима не было дома въ это время: усланъ былъ куда-то барынею. Какъ воротился, увидълъ ее на столъ -- сталъ тутъ, ни слова не сказавии, я "простоялъ цълую ночь, не шевельнулся, не вздохнулъ. На утро пошелъ, гробъ купилъ, къ священнику зашелъ, попросилъ, и могилу вырылъ ей самъ. Сзывалъ на похороны. Совсъмъ спокоенъ человъкъ былт, кажись, а все чего-то странию было; все сердце педоброе чупло, въшало..." И точно, вышло недоброе.

«Отнесли на погостъ Анну Акямовну, и въ сырую землю схоронвля. Заходиля съ кладбища люди; поминальный объдъ быль, и Ефимъ самъ распоря кател. Какъ разошлись већ, онъ лошадей на водоной поведъ в говорить Мешь:

- Миша, слушай да помни: Коли и пропалу, все мое добро отказываю же-

виной теткі; пусть ей все отладуть. Слышаль?

«Перепугался до смерти Миша.

Слышу, говоритъ.

· - Ну, помна!.. II поскакаль.

«Вбежаль Миша въ людскую, дрожить всемъ теломъ.

-- Ефимъ хочетъ руку на себя наложить!

«Всполониль вебхъ: побъжали въ водопою. Геб лошади подъ горою въ ракитв привязаны, а Ефима вътъ ницф... Окликать, искать, и нашли его шашку около колода, стараго, заброшеннаго... А въ колодий томъ давно еще дъвочка утонула.— и дна въ вемъ не было. Около этого самаго колодиа шашку его нашли, скликали людей съ баграми и крюками, да съ говоромъ шумнымъ Ефима мертваго выволжди» (стр. 113).

Нътъ сомнънія, что въ Ефимъ всякій признаетъ черты чисто русскаго характера. и притомъ характера, не сглаженнаго образованностью, т -е. обычнаго именно въ простонародьи. Это дуроломство, эта песнособность къ мирному забвенію и прощенію, эта безсмысленная охота неотступно и безкойечно пилить человъка попреками, въ то же время чувствуя къ нему сильную привязанность, — это все такія черты, какія любятъ приписывать русскому человъку и сонмъ его порицателей, и партія его quasi-защитниковъ. Послъдніе видять здъсь, конечно, величіе духа, находять прототилы подобныхъ характеровъ въ Иванъ Грозномъ и Петръ Великомъ и даже иногда, для параллели, тревожать суровыя добродътели спартанцевъ и древнихъ римляпъ. Мы признаемся, что почтенные защитники русскаго народа хватають немножко далеко. Восхищаться такимъ характеромъ, какъ у Ефима, довольно трудно для человъка, не лишеннаго сердца. Но одного нельзя отнять у него — силы; одного нельзя не признать, что опасно шутить съ этой сялой.

Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, какимъ страшнымъ мщеніемъ отплатилъ онъ за оскорбленіе своего самолюбія Аннѣ Акимовнѣ! И какой фатальный, неогразимый характеръ имѣетъ его мщеніе! Если бъ онъ просто задумаль и холодно исполнилъ свой планъ— довести дѣвушку до замужества съ нимъ, — это была бы жалкая интрига, свидѣтельствующая только о черствости и злости его. Но тутъ дѣло шло не такъ: онъ самъ полюбилъ ее, оттого-то онъ и обядѣлся такъ глубоко ея пренебреженіемъ; добиваясь ея любви, онъ удовлетворялъ скорѣе потребности сердца, нежели голосу мести; онъ не могъ хотѣть загубить ее, — доказательство въ томъ,

что онъ не перенесъ ея гибели. Но какая-то сила подталкиваетъ его на безпрестанныя и жестокія оскорбленія ся. Сила эта дика, неразумна, ги-бельна для него самого; но онъ не силенъ преодолъть ся влеченіе, потому что враждебныя обстоятельства не дали въ немъ достаточно развиться гуманнымъ и разумнымъ требованіямъ природы. Победа надъ гордой женщиной доставила ему двойное наслажденіе— и удовлетвореніе самолюбія, и достиженіе взаимности, которой онъ добивался. Но злоба его была сильнъе любви: онъ былъ столько гордъ и самонадъянъ, что не могъслишкомъ дорого ценить полученную взаимность женщины; а оскороленія, ею нанесенныя, запали глубоко въ его сердце, и опъ не могъ забыть и простить ихъ. Никакой покорностью, никакимъ пожертвованиемъ нельзя было умилостивить его; ему самому было тяжело, его гнела какая то тоска, онъ становился все мрачиве, по мврв того, какъ исполнялъ свое ищение надъ любимой женой; но остановиться не могъ. Въ немъ проснулось какое-то ненасытное, безконечное желаніе унижать ее. вимещать надъ ней свою тоску и свое терпъніе, надругаться надь нею, какъ будто въ намереніи возстановить, такимъ образомъ, свои собственныя попранныя права, свое достоинство, которое видаль униженнымь и презраннымь. Все его воведеніе объясняется тамъ общимъ закономъ реакцін, по которому краяность вызываеть всегда другую крайность. Много лать прожиль Ефимъ, не думая о своемъ человъческомъ достоинствъ и вынося, по своему положению, множество унизительных в условій. Но представился случай, гдв его до-стоинство особенно больно было поражено— въ столкновеніи съ женщиной, которая ему нравилась и которой положеніе онъ считалъ равнымъ своему; горечь обиды пробудила въ немъ сознаніе; а разъ подумавши о своемъ униженій, почувствовавъ его, онъ со всей энергіей своей натуры устремился къ тому, чтобы поднять свое достоинство. Женитьба на Аннъ Акимовнъ была для него недостаточна; онъ не могь ясно сознавать всю великость того шага, который делала "купеческая дочка", выходя за него, пужика; для того, чтобы вполнъ чувствовать свою побъду, ему нужно было постоянное напомянаніе о ней, непрерывное упражненіе правъ побъдителя надъ своею жертвою. Сколько онъ ни обижаль ее, сколько ни смиряль, сколько ни издъвался надъ нею, все ему казалось мало. Она покорно и молча сознала свое безсиліе, признала его права надъ ней, а ему все казалось, что онъ еще недостаточно доказалъ и возстановилъ предъ нею свое достоинство. Оттого его мщеніе было безсмысленно, невольно, мучительно для него самого, и ничтить не могло удовлетвориться, сдълалось условіемъ жизни. Умирая, Ефимъ думалъ, въроятно, что онъ еще не довольно показалъ себя, и если бы его жена воскресля, нътъ сомивнія, что онъ началъ бы съ ней опять ту же исторію, при первомъ удобномъ случать. Въдь онъ было пришелъ въ разумъ во время ея бользии — сталъ ее уговаривать изжиными словами; но она отвернулась тогда отъ него, и онъ слълался еще суровъе, еще безнощадите.

Величія духа туть, конечно, мало; но, въ натурь, действующей такимъ образомъ, нельзя отрицать присутствія силы, которая, будучи пиаче воснитана и направлена, могла бы получить болже разумный человъческій характеръ. Прибавимъ еще, что сила эта вовсе не есть исключительная принадлежность немногихъ натуръ, а составляетъ явленіе довольно обак-новенное въ нашемъ простонародьи. Обстоятельства не благопрія гствують правильному ея развитію и упражненію; оттого она проявляется большею частью въ дійствіяхъ уродливыхъ, беззаконныхъ, даже преступныхъ. Нельзя хвалить этого, но можно все-таки въ самыхъ недостаткахъ и преступленіяхъ различать то, что производится ввѣшнимъ гнетомъ обстоя-тельствъ, отъ того, что даетъ сама натура человѣка. Къ чему ведутъ наше простонародье всѣ виѣшчія обстоятельства, его окружающія? Какой хапростонародые всв вившил обстоятельства, его окружающий Какой характеръ долженъ сообщаться всвиъ его наклопностямь оть того положенія, въ которомъ оно находится? Едва ли кто-нибудь изъ самыхъ заклатихъ поборниковъ плантаторства станетъ утверждать, что положеніе нашихъ крестьянъ могло способствовать развитію въ нихъ примоты, силы, гражданскаго героизма, и т. п. Не нужно доказывать, что все, окружающее бытъ и воспитаніе нашего простонародья, вело его, въ большей или меньшей степени, къ развитію пороковъ слабости, пеизбъжно соединенныхъ съ рабскимъ или кръпостнымъ, вообще угнетеннымъ состояніемъ. — лести, обмана, подличанья, продажности, лёни, воровства и пр., вообще, всъхъ тёхъ пороковъ, въ которыхъ надо дёйствовать тайкомъ, изподтишка, а не употреблять открытую силу, не идти прамо, глядя въ лицо опасности... И при всемъ томъ посмотрите, какъ много сохранилось въ народъ именно этого энергическаго, отважнаго элемента. Мы не станемъ здъсь указывать на деблестные подвиги нашихъ крестьянъ для спасенія погибающихъ въ огнѣ и въ водѣ, не будемъ припоминать ихъ храбрости въ охотѣ на медвъдя, или хоть бы въ послѣдней войнѣ. Что бы ни доказывали всѣ подобные факты, мы оставляемъ ихъ въ сторонъ; мы заговорили о порокахъ и преступленіяхъ, и потому, не выходя изъ этой колеи, укажемъ только на уголовную статистику низшихъ классовъ нашего народа. Прочтите хоть рядъ извъстій въ этомъ родь, въ бывшемъ "Русскомъ Дневникъ" или въ ныньшней "Съверной Пчелъ", и постарайтесь дать себъ отчетъ о преобладающемъ характеръ преступленій. Вы придете въ удивленіе, если привыкли считать русскій народъ только плутоватымъ, а впрочемъ, слабымъ и апатичнымъ: южныя страсти встръчаете вы на каждомъ шагу, кровавыя сцены изъ-за любви и ревности, отравленія, заръзыванья, зажигательства;

примфры міценія, самаго звфрскаго попадав тся вамъ безпрестанно въ этихъ извфстіяхъ; а извфстно, любятъ-ли у насъ все дълать извфстнымъ, и какъ много, вслфдствіе того, доходитъ до публики изъ того. что дълается...

Что вывести изъ этого? Намъ кажется возможнымъ одно заключеніе:

народъ не замеръ, не опустился, источникъ жизни не изсякъ въ немъ; но силы, живущія въ немъ, не находя себъ правильнаго и своболнаго выхода, принуждены пробивать себ'в неестественный путь и поневол'в обнаруживаться шумно, сокрушительно, часто къ собственной ногибели. Какъ это дурно, нечего и говорить; какъ желательно, чтобы силы народа направились лучше и служили въ пользу, а не во вредъ ему самому, -- этого тоже объяснять не нужно. Но, къ сожальнію, еще очень многимъ нужно доказывать. что эти силы существують въ народъ и что дурное или хорошее направление ихъ зависить отъ обстоятельствъ народной жизни, а не отъ того, чтобы масса народа нашего принадлежала къ какой-нибудь особенной породъ, способной только либо къ апатіи, либо къ звърству. Еще не мало у насъ, въ образованномъ обществъ, такихъ господъ, которымъ ничего не стоитъ обвинить повально пълый народъ въ неспособности къ гражданской жизни и всякому самостоятельному устройству, равно какъ не мало и такихъ, которые готовы такъ защищать народъ и принисать ему такія возвышенныя чувствованія, что, слушая ихъ, следуеть только оплакивать совершенную гибель народнаго достоинства. Для тахъ и другихъ господъ мы считаемъ весьма полезнымъ внимательное размыш-леніе надъ книжкою разсвазовъ Марка Вовчка. Чтобы облегчить имъ этотъ трудный процессъ, мы пробовали въ этой статьъ анализировать нѣкоторыя, наиболье любопытныя, черты народной жизни, представленныя въ "Народныхъ разсказахъ" очень живо и ярко, но, при бъгломъ и поверх-ностномъ чтеніи, могшія не возбудить въ читателяхъ того вниманія, какого онъ заслуживають. Чтобы расширить кругь сужденія о качествахъ нашего народа, мы старались также провести насколько параллелей между людьми простого званія и между лицами того общества, которое называеть себя образованнымъ, на томъ основанія, что, одолъвши пять шесть головоломныхъ наукъ, въ размърахъ германскихъ гимназическихъ курсовъ, но съ гръхомъ пополамъ, и ударившись въ ранній космополитизмъ, оно разор-вало связь съ народомъ и потеряло способность даже понимать основныя черты его характера. Не много превмуществъ, въ отношения къ правственнымъ качествамъ, нашли мы въ этомъ обществъ; не много оказалось въ немъ правъ на особенное возвышение его предъ простонародьемъ. Не заходя далеко, а только раскрывая подробнъе смыслъ немногихъ разсказовъ Марка Вовчка, такъ върныхъ русской дъйствительности, мы нашли. что неестественныя, крыпостныя отношенія, существовавшія до сихъ поръ между на-

родомъ и высшими классами, будучи матеріально и правственно вредны для крестьянъ, были еще болъе гибельны для самихъ владъльцевъ. Людямъ, въ положении Игрушечкиныхъ господъ, они приносили, повидимому, иъкоторую выгоду визшнюю: но, черезъ это самое они, во всей своей нельности и безчеловъчии, впивались въ душу этихъ господъ, дълались основаніемъ ихъ морали, изгоняли изъ нихъ здравыя понятія и ділали ихъ никуда негодными, — между тёмъ какъ на "Машу", "Катерину", "На-дежу" и вевхъ, находившихся въ ихъ положеніи, тъ же отношенія дъяствовали болъе визиниять образомъ, не проникая внутры ихъ уже и по-тому, что были всегда тяжелы и непріятны. Правда, и въ этомъ классъ модей крипостное устройство произвело значительное искажение понятий и стремленій: въ Надёжь и ел подругахъ, въ безотвътной Игрушечкъ, въ свирыномъ Ефимы мы видыли, какъ ложно развиваются въ нихъ нерыдко самыя добрыя начала, самыя естественныя требованія. Но это, во всякомъ случав. двиствіе не прямое, а посредственное, не положительное, а отрицательное. и. главное. — это ложное развитие естественныхъ началъ вовсе не доставляетъ бъдникамъ выгоды, даже и вижшней. Ихъ можно сравнить съ людьми, которые вынуждены всть хлебъ поноламъ съ мякиной: долгое употребление такой инщи, конечно, имветъ вліяние на организмъ и искажаетъ его здоровье; но едва-ли кто-нибудь станетъ утверждать, что, повыши насколько лать мякиннаго хлаба, человакъ далается неспособнымъ всть частый хлвбъ. Напротивъ, твхъ людей, которымъ бывшее крипостное устройство и всв общественныя отношенія, бывшія слъдствіемъ его, шли въ прокъ, можно уподобить гастрономамъ, разслабившимъ и изнъжившимъ свой желудокъ тончайшими изобрътеніями поварскаго искусства: ясно, что они, во-первыхъ, будутъ гораздо криче держаться за свой изящный столь, нежели бъдняки за свою мякину, а вовторыхъ, если ужъ принуждены будутъ състь на грубую пищу, то гораздо скорже погибнуть отъ нея, нежели тъ же бъдняки, переведенные съ мякины на чистый хльбъ...

Прочитавъ наши отрывочныя и несвязныя замѣчанія (которыя въ печати представятся еще болѣе несвязными, нежели какъ были въ рукописи), одни, конечно, найдутъ ихъ давно знакомыми и излишними, а другіе—неосновательными, преувеличенными и неправдоподобными. Большая часть людей, любящихъ литературу, замѣтитъ при этомъ, что въ статъѣ нашей вовсе нѣтъ критики Марка Вовчка. Мы привыкли къ подобнымъ замѣчаніямъ и, кажется, уже не одинъ разъ объясняли, какъ мы понимаемъ задачи критики русскихъ беллетристическихъ произведеній. Но теперь кстати будетъ сказать еще нѣсколько словъ объ этомъ предметѣ, въ заключеніе нашей статьи.

Мы сказали въ началъ, что Марко Вовчокъ не даетъ намъ поэмы народной жизни, что у него видимъ мы только намеки, абрисы, а не полныя, отдъланныя картины. Слъдовательно, нечего намъ было и пускаться въ опредъленіе абсолютно - эстетическихъ достоинствъ "Разсказовъ". Нужно было показать, въ какой степени ясны, живы и върны эти намеки, и въ какой мъръ важны тъ явленія жизни, къ которымъ они относятся. Мы и обратились къ этому пути: мы анализировали характеры, изображенные Маркомъ Вовчкомъ, приводили обстоятельства, способствовавшія правильному или ложному ходу ихъ развитія, приноминали русскую дъйправильному или ложному ходу ихъ развитія, приноминали русскую дънствительность и говорили, насколько, по нашему мавнію, върно и живо воспроизведены авторомъ русскіе характеры, насколько общирно значеніе тъхъ явленій, которыхъ онъ коснулся. По нашимъ соображеніямъ вышло, что книжка Марка Вовчка върна русской дъйствительности, что разсказы его касаются чрезвычайно важныхъ сторонъ народной жизна и что въ легкихъ наброскахъ его мы встръчаемъ штрихи, обнаруживающіе руку искуснаго мастера и глубокое, серьезное изученіе предмета. Для подтвержденія этих выводовь, мы пускались въ довольно пространныя раз-сужденія о свойствахъ нашего простонародья и о разныхъ условіяхъ на-шей общественной жизни. Теперь читателю представляется ръшить, върномей общественной жизни. Теперь читателю представляется решить, верноли, во-первыхъ, поняли мы смыслъ разсказовъ Марка Вовчка и, во вторыхъ, справедливы-ли, и насколько справедливы наши замъчанія о русскомъ народъ. Гъмая эти два вопроса. читатель тутъ же решитъ для
себя и вопросъ о степени достоинства книги Марка Вовчка. Если мы исказили ея смыслъ, пли наговорили небывальщины о народной жизни, т.-е.
если явленія и лица, изображенныя Вовчкомъ, вовсе не рисуютъ намъ
нашего парода, какъ мы старались доказать. — а просто разсказываютъ
исключительные, курьезные случаи, не имъющіе никакого значенія, то
очевидно, что и литературное достоинство "Народныхъ разсказовъ" совершенно ничтожно. Если же читатель согласится съ нами во взглядъ на
смыслъ разобранной нами книги, если онъ признаетъ, общность и великое смыслъ разобранной нами книги, если онъ признаетъ общность и великое значеніе тіхъ черть, какія нами указаны въ книгт Марка Вовчка, то, разумітется, онь не можеть не признать высокаго достоинства въ лите-ратурномъ явленіп, такъ разносторонне, живо и вітрно изображающемъ нашу народную жизнь, такъ глубоко заглядывающемъ въ душу народа. Такимъ образомъ, литературно-критическая цвль наша будетъ досгигнута безъ помощи эстетическихъ туманностей, всегда очень скучныхъ и безплодныхъ.

Что касается до другой цёли, которую мы инёли въ виду въ этой статьё, — она также не чужда литературё. Именно, пользуясь книгою Марка Вовчка, мы хотёли привлечь вниманіе людей, пишущихъ на во-

просъ о вибшнемъ положении и внутреннихъ свойствахъ народа, готоваго теперь вступить въ новый періодъ своей жизни. До сихъ поръ мы слышали самые разноръчивые отзывы о нашемъ простовародьи, и — нечего скрывать — всего громче высказывались самыя невѣжественныя и враж-дебныя мивнія. Литература, по своему существу, долженствующая быть проводникомъ идей просввищенныхъ, а не невѣжественныхъ, слвлала. однако, очень мало по этому вопросу, который теперь для насъ несравненно важное не только пінтическаго описанія разныхъ видовъ розы, или лекцій о санскритскомъ эпосів, но даже и всіхъ достоинствъ г-жи Свівчиной. Мы можемъ насчитать въ нашей литературъ рядъ именъ — въ родъ, статскаго совътника Григорія Вланка, магистра Николая Белобразова, графа Н. Толстого, Орлова-Давыдова и т. п., можемъ припочнить мизнія въ родъ того, что грамота портить мужика, что налка необходима для порядка въ народъ, и т. д. Но мало наберемъ мы людей, которые бы съ любовью и знаніемъ дёла старались возстановить предъ публикой до-стоинство народа и защитить его полное право на участіе во всёхъ пре-имуществахъ гражданской жизни. Противъ мракобъсія и палки возста-вали много; но и тутъ самыя блестящія стальи были нацисаны съ точки зрънія отвлеченнаго права и общихъ требованій цивилизаціи, и едва-ли была хоть одна статья, въ которой бы толково разбиралось, до какой степени и при какихъ условіяхъ наша народа можетъ обойтись безъ палки и не получить вреда отъ грамоты. Видио, къ сожалянію, что литература наша еще мало имъетъ общаго съ народомъ. Участь разсказовъ Марка наша еще мало имбеть общаго съ народомъ. Участь разсказовъ марка Вовчка служить новымъ тому доказательствомъ: уже около двухъ лъть они извъстны публикъ изъ "Русскаго Въстника": въ началъ вынъшняго года вышли они отдъльной книжкой; а журналы наши до сихъ поръ едва сказали о нихъ "нъсколько теплыхъ словъ", по журнальной рутинъ. А наполнялись они въ это время важными разсуждевіями о первой любви, о художественности г. Никитина, о нравственности Елены въ "Наканунъ" и тому подобныхъ художествахъ. Одинъ критикъ взялся было сказать свое слово о Маркъ Вовчкъ, да и то доказалъ только полную несостоятельность свою - говорить о предметь, такъ далеко превосходящемъ его тельность свою — говорить о предметь, такъ далеко превосходящемъ его разумъніе... Неужели же такъ и суждено нашей литературъ навсегда остаться въ узенькой сферъ пошленькаго общества, волнуемаго карточными страстишками, любовью къ звъздамъ и боязнью пожелать чего-нибудь страстно и твердо? Неужели только эта грошовая "образованность", дълающая изъ человъка ученаго попугая и подставляющая ему, вмъсто живыхъ требованій природы, рутинныя сентенціи отжившихъ авторитетовъ всякаго рода, — неужели она только будетъ всегда красоваться передъ нами въ лучшихъ произведеніяхъ нашей литературы, занимать собою нашихъ талантливыхъ публицистовъ, критиковъ, поэтовъ? Не порали ужъ намъ, отъ этихъ тощихъ и чахлыхъ выводковъ неудавшейся цавилизаціи, обратиться къ свѣжимъ, здоровымъ росткамъ народной жизни, помочь ихъ правильному успѣшному росту и цвѣту, предохранить отъ порчи ихъ прекрасные и обильные плоды? Событія зовутъ насъ къ этому, говоръ народной жизни доходитъ до насъ, и мы не должны пренебрегать никакимъ случаемъ прислушаться къ этому говору.

Читатели, признающіе истину этихъ соображеній, — надъемся, — поймутъ и извинять намъ длинноту нашей статьи.

## лучъ свъта въ темномъ царствъ 1.

(Гроза. Драма въ пяти дъйствіяхъ А. Н. Островскиго. Спб. 1860.)

Незадолго до появленія на сцент "Грозн", мы разбирали очень подробно всв произведенія Островскаго. Желая представить характеристику таланта автора, мы обратили тогда внимание на явления русской жизни, воспроизводиныя въ его пьесахъ, старались уловить ихъ общій характеръ и допытаться, таковъ-ли симслъ этихъ явленій въ действительности, какимъ онъ представляется намъ въ произведеніяхъ нашего драматурга. Если читатели не забыли, - мы пришли тогда къ тому результату, что Островскій обладаеть глубокимь пониманіемь русской жизни и великимъ умвньемъ изображать резко и живо саныя существенныя ея стороны. "Гроза" вскоръ послужила новымъ доказательствомъ справедливости нашего заключенія. Мы хотели тогда же говорить о ней, но почувствовали, что намъ необходимо пришлось бы при этомъ повторить многія изъ прежнихъ нашихъ соображеній, и потому решились молчать о "Грозв". предоставивъ читателямъ, которые поинтересовались нашимъ мивніемъ, провърить на ней тъ общія замъчанія, какія мы высказали объ Островскомъ еще за нъсколько мъсяцевъ до появленія этой пьесы. Наше ръшеніе утвердилось въ насъ еще болве, когда мы увидвли, что по поводу "Грозн" появляется во всёхъ журналахъ и газетахъ цёлый рядъ большихъ и маленькихъ рецензій, трактовавшихъ діло съ самыхъ разнообразныхъ точекъ эрвнія. Мы думали, что въ этой массь статеекъ скажется, наконецъ, объ Островскомъ и о значеніи его пьесъ что-нибудь побольше того, нежели что мы видёли въ критикахъ, о которыхъ упоминали въ началъ первой статьи нашей о "Темномъ царствъ" 2). Въ этой надеждъ и сознании того, что

<sup>1)</sup> См. статьи «Темное царство», въ «Современникѣ» 1859 г. № VП, IX. (Томъ III, стр. 1 настоящаго взданія).

1) См. «Современникъ» 1859 г. № VII. (Томъ III наст. изд.).

Прим. изд.
Прим. изд.

наше собственное мивніе о смыслів и характерів произведеній Островскаго высказано уже довольно опреділенно, мы и сочли за лучшее оставить разборъ "Грозы".

Но теперь, снова встрвчая пьесу Островскаго въ отдвльномъ изданіи п припоминая все, что было о ней писано, мы находимъ, что сказать о ней нѣсколько словъ съ нашей стороны будетъ совсѣмъ не лишнее. Она даетъ намъ поводъ дополнить кое что въ нашихъ замѣткахъ о "Темномъ царствъ", провести далѣе нѣкоторыя изъ мыслей, высказанныхъ нами тогда, и—кстати—объясниться въ короткихъ словахъ съ нѣкоторыми изъ критиковъ, удостоившихъ насъ прямою или косвенною бранью.

тиковъ, удостоившихъ насъ прямою или косвенною бранью.

Надо отдать справедливость нѣкоторымъ изъ критиковъ: они умѣли понять различіе, которое раздѣляетъ насъ съ ними. Они упрекаютъ насъ въ томъ, что мы приняли дурную методу — разсматривать произведеніе автора и затѣмъ, какъ результатъ этого разсмотрънія, говорить, что въ немъ содержится и каково это содержимое. У нихъ совсѣмъ другая метода: они прежде говорятъ себѣ — что должено содержаться въ произведеніи (по ихъ понятіямъ, разумѣется) и въ какой мѣрѣ все долженое дъйствительно въ пемъ находится (опять сообразно ихъ понятіямъ). Понятно, что, при такомъ различіи возярѣній, они съ негодованіемъ смотрятъ на наши разборы, уподобляемые однимъ изъ нихъ "прінсканію морали къ баснѣ". Но мы очень рады тому, что, ваконецъ, разница открыта, и готовы выдержать какія угодно сравненія. Да, если угодно, нашъ способъ критики похолитъ и на прінсканію нравственнаго вывода въ баснѣ: разница, — напоходить и на прінсканіе правственнаго вывода въ баснъ: разница, -- напоходить и на прискание нравственнаго вывода въ оасят: разница, — на-примъръ, въ приложени къ критикъ комедія Островскаго, — и будетъ лишь настолько велика, насколько комедія отличается отъ басни, и на-сколько человъческая жизнь, изображаемая въ комедіяхъ, важнъе и ближе для насъ, нежели жизнь ословъ, лисицъ, тростинокъ и прочихъ персона-жей, изображаемыхъ въ басняхъ. Во всякомъ случав, гораздо лучше, по нашему мнѣнію, разобрать басню и сказать: "вотъ какая мораль въ ней содержится, и эта мораль кажется намъ хороша, или дурна, и вотъ по-чему".—нежели ръшить съ самаго начала: въ этой баснъ должна быть та-кая-то мораль (напр., почтеніе къ родителямъ), и вотъ какъ должна она быть выражена (напр., въ видъ птенца, ослушавшагося матери и вы-павшаго изъ гнъзда); но эти условія не соблюдены, мораль не та (напр., небрежность родителей о дътяхъ), или высказана не такъ (напр., въ при-мъръ кукушки, оставляющей свои яйца въ чужихъ гнъздахъ). — значитъ басня не годится. Этотъ способъ критики мы видъли не разъ въ приложеній къ Островскому, хотя никто, разумъется, и не захочеть въ томъ признаться, а еще на насъ же, съ больной головы на здоровую, свалять обвиненіе, что мы приступаемъ къ разбору литературныхъ произведеній

съ заранъе принятыми идеями и требованіями. А между тъмъ, чего же съ заранъе принятыми идеями и треоованіями. А между тъмъ, чего же яснъе, — развъ не говорили славянофилы: слъдуетъ изображать русскаго человъка добродътельнымъ и доказывать, что корень всякаго дображизнь по старинъ; въ первыхъ пьесахъ своихъ Островскій этого не соблюлъ, и потому "Семейная картина" и "Свои люди" недостойны его и объясняются только тъмъ, что онъ еще подражалъ тогда Гоголю. А западвики развъ не кричали: слъдуетъ научать въ комедіи, что суевъріе вредно, а Остров-скій колокольнымъ звономъ спасаетъ отъ погибели одного изъ своихъ героевъ; следуетъ вразумлить всехъ. что истинное благо состоитъ въ обра-Зованности, а Островскій въ своей комедіи позорить образованнаго Вихорева передъ неучемъ Бородкинымъ; ясно, что "Не въ свои сани не са-дись" и "Не такъ живи, какъ хочется"—плохія пьесы. А приверженцы художественности развъ не провозглашали: искусство должто служить въч-нымъ и всеобщимъ требованіямъ эстетики, а Островскій, въ "Доходномъ мъстъ", низвелъ искусство до служенія жалкимъ интересамъ минуты; потому "Доходное мъсто" недостойно искусства и должно быть причислено къ обличительной литературъ!.. А г. Некрасовъ, изъ Москвы, развъ не утверждаль: Большовь не должень въ насъ возбуждать сочувствія, а между тімь 4-й акть "Своихъ людей" написань для того, чтобы возбудить въ насъ сочувствіе въ Большову; стало быть, четвертый актъ лишній!.. А г. Павловъ (Н. Ф.) развъ не извивался, давая разумъть такія положенія: русская народная жизнь можеть дать матеріаль только для балаганныхъ представленій; въ ней нътъ элементовъ для того, чтобы изъ нея состроить что-нибудь сообразное "въчнымъ" требованіямъ искусства; очевидно по-этому, что Островскій, берущій сюжеты изъ простонародной жизни, есть не болье, какъ балаганный сочинитель... А еще одинъ московскій критикъ развъ не строилъ такихъ заключеній: драма должна представлять намъ героя, проникнутаго высокими идеями; геропня "Грозы", напротивъ, вся проникнута мистицизмомъ, слъдовательно, не годится для драмы, ибо не можетъ возбуждать нашего сочувствія; слъдовательно, "Гроза" имъетъ только значение сатиры, да и то неважной, и пр., и пр...

Кто следиль за темь, что нисалось у насъ по поводу "Грози", тотъ легко приномнить и еще несколько нодобныхъ критикъ. Нельзя сказать, чтобъ всё оне были написаны людьми совершенно убогими въ умственномъ отношени; чемъ же объяснить то отсутствие прямого взгляда на вещи, которое во всёхъ нихъ поражаетъ безпристрастнаго читателя? Безъ всякаго сомнёния, его надо приписать старой критической рутине, которая осталась во многихъ головахъ отъ изучения художественной схоластики въ курсахъ Кошанскаго, Ивана Давыдова, Чистякова и Зеленецкаго. Извёстно, что, по мнёнию сихъ почтенныхъ теоретиковъ, критика есть приложение къ

извъстному произведенію общихъ законовъ, налагаемыхъ въ курсахъ тъхъ же теоретиковъ: подходить подъ законы — отлично; не подходить—плохо. Какъ видите, придумано недурно для отживающихъ стариковъ: покамъстъ такое начало живетъ въ критикъ, они могутъ быть увърены, что не будутъ считаться совсвиъ отсталыми, что бы ни происходило въ литературномъ міръ. Въдъ законы прекрасио установлены ими въ муъ учебникахъ, на основаніи тъхъ произведеній, въ красотукоторыхъ они въруютъ; пока все новое будутъ судить на основаніи утвержденныхъ ими законовъ, до тъхъ поръ изищивиъ и будетъ признаваться только то, что съ ними сообразно, ничто новое не посмъеть предъявить своихъ правъ; старички будутъ правы, въруя въ Карамзина и не призааван Гоголя, какъ думали быть правыми почтенные люди, восхищавшіеся подражателями Расина и ругавшіе Піск пира пьянымъ дикаремъ. вслъдъ за Вольтеромъ, или преклонявшіеся предъ "Мессіадой" и на этомъ основаніи отвергавшіе "Фауста". Рутинерамъ, даже самычь бездарнымъ, нечего бояться критики, служащей нассивною повъркою неподвижныхъ печего бояться критики, на зло ей составить себъ имя, на зло ей основать школу и добиться того, чтобы съ ними сталъ соображаться какой-нибудь новый теоретикъ, при составленіи новаго кодекса искусства. Тогда и критика смиренно признаетъ ихъ достоинства; а до тъхъ поръ она должив находиться въ положеніи несчастныхъ неаполитанцевъ, въ началъ ная виняка смиренно признаетъ ихъ достоинства; а до тъхъ порь она должив находиться въ положеніи несчастныхъ неаполитанцевъ, въ началъ ная виняка свиренно признаетъ ихъ достоинства; а до тъхъ порь она должив королемъ, пока его королевскому величеству не угодно будетъ оставить свою столяцу.

Мы удивляемся, какъ почтенные люди рѣшаются признавать за критикою такую ничтожную, такую унизительную роль. Вѣдь, ограничивая ее приложеніемъ въйчныхъ и общихъ" законовъ нокусства къ частнымъ

тикою такую ничтожную, такую унизительную роль. Вёдь, ограничивая ее приложеніемъ "візчныхъ и общихъ" законовъ искусства къ частнымъ и временнымъ явленіямъ, черезъ это самое осуждаютъ искусство на неподвижность, а критикъ даютъ совершенно приказное и полицейское знаподвижность, а критикъ дають совершенно приказное и полицейское значеніе. И это дълють многіе отъ чистаго сердца! Одинъ изъ авторовъ, о которомъ мы высказали свое мнѣніе нъсколько непочтительно, напомнилъ намъ, чго неуважительное обращеніе судьи съ подсудимымъ есть преступленіе. О наивный авторъ! Какъ онъ преисполненъ теоріями Кошанскаго и Давыдова! Онъ совершенно серьезно принимаетъ пошлую метафору, что критика есть трибуналъ, предъ который авторы являются въ качествъ подсудимыхъ! Въроятно, онъ принимаетъ также за чистую монету и мнъніе, что плохіе стихи составляютъ гръхъ предъ Аполлономъ, и что плохихъ писателей въ наказаніе топять въ рѣкѣ Летѣ!.. Иначе — какъ же не видъть разницы между критикомъ и судьею? Въ судъ тяпутъ людей по подозрѣнію въ проступкѣ или преступленіи, и дѣло судьи рѣшить, правъ или виноватъ обвиненный; а писатель развъ обвиняется въ чемъ-нибудь, когда подвергается критикъ! Кажется, тъ времена, когда занятіе книжнымъ діломъ считалось ересью и преступленіемъ, давно уже прошли. Критикъ говоритъ свое мибніе, правится или не правится ему вещь; и такъ какъ предполагается, что опъ не пустоявонъ, а человъкъ разсудительный, то онъ и старается представить резоны, почему онъ считаеть одно хорошимъ, а другое дурнымъ. Онъ не считаетъ своего мивнія ръшительнымъ приговоромъ, обязательнымъ для всехъ; если ужъ брать сравненіе изъ юридической сферы, то онъ скорве адвокать, нежели судья. Ставши на извъстную точку зрънія, которая ему кажется наиболъе справедливою, онъ излагаетъ читателямъ подробности дъла, какъ онъ его понимаетъ, и старается имъ внушить свое убъждение въ пользу или противъ разбираемаго автора. Само собою разумбется, что онъ при этомъ можеть пользоваться встии средствами, какія найдеть пригодными, лишь бы они не искажали сущности дъла: онъ можетъ васъ приводить въ ужасъ или въ умиленіе, въ смехъ или въ слезы, заставлять автора делать невыгодныя для него признанія или доводить его до невозможности отвѣчать. Изъ критики, исполненной такимъ образомъ, можетъ произойти вотъ какой результать: теоретики, справясь съ своими учебниками, могуть всетаки увидъть, согласуется-ли разобранное произведение съ ихъ неподвижными законами, и, исполняя роль судей, порвшать, правъ или виновать авторъ. Но извъстно, что въ гласномъ производствъ неръдки случаи, когда присутствующіе въ судів далеко не сочувствують тому рівшенію, какое произносится судьею сообразно съ такими то статьями кодекса: общественная совъсть обнаруживаеть въ этихъ случаяхъ полный разладъ со статьями закона. То же самое еще чаще можетъ случаться и при обсужде-ніи литературныхъ произведеній: когда критикъ-адвокатъ надлежащимъ образомъ поставитъ вопросъ, сгруппируетъ факты и броситъ на нихъ свътъ извъстнаго убъжденія,— общественное мнѣніе, не обращая внима-нія на кодексы піитики, будетъ уже знать, чего ему держаться.

Если внимательно присмотрёться къ опредёленію критики "судомъ" надъ авторами, то мы найдемъ, что оно очень напоминаетъ то понятіе, какое соединяютъ съ словомъ "критика" наши провинціальныя барыни и барышни и надъ которымъ такъ остроумно подсмѣивались, бывало, наши романисты. Еще и нынъ не рѣдкость встрѣтить такія семейства, которыя съ нѣкоторымъ страхомъ смотрятъ на писателя, потому что онъ "на нихъ критику напишетъ". Несчастные провинціалы, которымъ разъ за-

брела въ голову такая мысль, дъйствительно представляютъ изъ себя жилкое зрелище подсудимыхъ, которыхъ участь зависить отъ почерка пера литератора. Они смотрять ему въ глаза, конфузится, извиняются, оговариваются, какъ будто въ самонъ деле виноватые, ожидающие казни или милости. Но надо сказать, что такіе наивные люди начинають выводиться теперь и въ самыхъ далекихъ захолустьихъ. Вмъсть съ темъ, какъ право "смъть свое суждение имъть" перестаеть быть достояниемъ только извъстнаго ранга или положенія, а делается доступно всемъ и каждому, вместь съ темъ и въ частной жизни появляется более солидности и самостоятельности и менже тренета предъ всякимъ постороннимъ судомъ. Теперь уже высказывають свое митніе просто затимь, что лучше его объявить, нежели скрывать, высказывають потому, что считають полезнымь обмень мыслей, признають за каждымъ право заявлять свой взглядъ и свои требованія, наконецъ, считають даже обязанностью каждаго участвовать въ общемъ движеніи, сообщая свои наблюденія и соображенія, какія кому по силамъ. Отсюда далеко до роли судьи. Если я вапъ скажу, что вы по дорогв платокъ потеряли, или что вы идете не въ ту сторону, куда вамъ нужно, в т. п., - это еще не значить, что вы мой подсудимый. Точно такъ же не буду я вашимъ подсудимымъ и въ томъ случав, когда вы начнете описывать меня, желая дать обо мнв понятіе вашимъ знакомычъ. Входя въ первый разъ въ новое общество, я очень хорошо знаю, что надо мною дълаютъ наблюденія и составляютъ мизнія обо миз; но неужели миз поэтому следуеть воображать себя передъ какимъ-то ареонагомъ и заранее трепетать, ожидая приговора? Безъ всякаго сомненія, замечанія обо мне будутъ сделаны: одинъ найдетъ, что у меня носъ великъ, другой — что борода рыжая, третій — что галстухъ дурно повязанъ, четвертый — что я угрюмъ, и т. д. Ну, и пусть ихъ замъчаютъ, мив-то что за дъло до этого? Въдь моя рыжая борода — не преступленіе, и никто не можетъ спросить у меня отчета, какъ я смъю имъть такой большой носъ. Значитъ, тутъ мив и думать не о чемъ: нравится или нетъ моя фигура, это дело вкуса, и высказывать мивнія о ней я никому запретить не могу; а съ другой стороны, меня и не убудетъ отъ того, что замътятъ мою неразговорчивость, ежели я дъйствительно молчаливъ. Такимъ образомъ, первая критическая работа (въ нашемъ смыслѣ) — подмъчаніе и указаніе фактовъ — совершается совершенно свободно и безобидно. Затъмъ другая работа — сужденіе на основаніи фактовъ- продолжаеть точно также держать того, кто судить, совершенно въ равныхъ шансахъ съ темъ, о комъонъ судитъ. Это потому, что, высказывая свой выводъ изъ извъстныхъ данныхъ, человъкъ всегда и самого себя подвергаетъ суду и повъркъ другихъ относительно справедливости и основательности его мивнія. Если, наприміврь, кто-нибудь, на основаніи того, что мой галстухь повязана не совсіма наящию, рімнігь, что и дурю воспитань, то такой судьи рискуєть дать окружающима не совсіма вноское понятіє о его логикі. Точно такъ, если какой набудь критикъ упрекаетъ Остроноваго за то, что лицо Катерини въ "Грояв" отвратительно и безиравственно, то онъ не внушаетъ особеннаго довърія къ чистотъ собетненнаго правственнаго чукства. Такимъ образомъ, пока критикъ указываетъ факты, разбираетъ ихъ в дълаетъ свои внюди, авторъ безопасенъ, и самое дъло безопасенъ, такъм от претендоватъ только на то, когда критикъ пскажаетъ факты, лжетъ. А если онъ представляетъ дъло върно, то какимъ бы тономъ онъ ни говорилъ, къ какимъ бы винодамъ, отъ его критики, какъ отъ велякаго свободнаго и фактами подтверждаемато ражсуждентя, всетда будетъ боле пользы, нежели вреда—для самого автора, если онъ хорошъ, и во велякомъ случат для литературы — даже если авторъ окажется и дуренъ. Критика — не судейская, а обыкновенная, какъ мы ее понимаемъ, — хороша уже и тъмъ, что людямъ, не привывшимъ сосредоточивать своихъ мислей на литературъ, даетъ, такъ сказать, экстрактъ писателя и тъмъ облегчаетъ возиожность пониматъ характеръ и значеніе его произведеній. А какъ скоро писатель понять надлежащимъ образомъ, мивніе о немъ не замедать составиться, и справедливость будетъ сму отдана, безъ велякъъ разръшеній со стороны почтенныхъ составителей кодексовъ.

Правда, нвогда, объненая характеръ нзивстнаго автора или произведень, критикъ самъ можетъ найти въ произведеніи то, чего въ немъ пове нвъть. Но въ этихъ случаяхъ критикъ вестра самъ видаетъ себя. Если онъ вздумаетъ придать разбираемому творенію мысль болье живую и широкую, пежели какая дъйствительно положена из основаніе сто авторомъ, то, очевидно, онъ не въ состояніи будетъ достаточно подтарать свою мысль указаніли на самое сочивеніе, ц. такимъ образомъ, критика, показавщи, чвиъ би могло бить разбираемое произведеніе, чрезъ то самое только ясибе выкажетъ биритики можно указать, напримърь, на разборъ этотъ многие находити подкольно водъ потовкимъ, оч

етъ дъло, и будь только факты на лицо въ критикъ, — фальшивыя умствованія не надують читателя. Напримъръ, одинъ г. П — ій, разбирая "Грозу", ръшился послъдовать той же методъ, какой мы слъдовали въ статьяхъ о "Темномъ царствъ", и, изложивши сущность содержанія пьесы, принялся за выводы. Оказалось, по его соображеніячъ, что Островскій въ "Грозъ" вывелъ на смъхъ Катерину, желая въ ея лицъ опозорить русскій мистицизмъ. Ну, разумъется, прочитавши такой выводъ, сейчасъ и видишь, къ какому разряду умовъ принадлежитъ г. П — ій и можно-ли полагаться на его соображенія. Никого такая критика не собъеть съ толку, никому она не опасна...

Совсемь другое дело та критика, которая приступаеть въ авторамъ, точно къ мужикамъ, приведеннымъ въ рекрутское присутствіе, съ форменною маркою и кричитъ то "лобъ!", то "затылокъ!" смотря по тому, подходить новобранецъ подъ мъру или нътъ. Тамъ расправа короткая и ръшительная; и если вы върите въ въчные законы искусства, напечатанные въ учебникъ, то вы отъ такой критики не отвертитесь. Она по пальцамъ докажеть вамъ, что то, чъмъ вы восхищаетесь, никуда не годится, а отъ чего вы дремлете, зъваете или получаете мигрень, это-то и есть настоящее сокровище. Возьмите, напримъръ, хоть "Грозу": что это такое? Дерзкое оскороление искусства, ничего больше, — и это очень легко доказать Раскройте "Чтенія о словесности" заслуженнаго профессора и академика Ивана Давидова, составленныя имъ съ помощью перевода лекцій Блэра, или загляните хоть въ кадетскій курсъ словесности г. Плаксина, — тамъ ясно опредвлены условія образцовой драмы. Предметомъ драмы непремънно должно быть событие, гдъ мы видимъ борьбу страсти и долга, съ несчастными последствіями победы страсти, или съ счастливним, когда побъждаеть долгь. Въ развити драмы должно быть соблюдаемо строгое единство и последовательность; развязка должна естественно и необходимо вытекать изъ завязки; каждая сцена должна непремянно способствовать движенію действія и подвигать его къ развязків; поэтому, въ пьесв не должно быть ни одного лица, которое примо и необходимо не участвовало бы въ развити драмы, не должно быть ни одного разговора, не относящагося къ сущности пьесы. Характеры дъйствующихъ лицъ должны быть ярко обозначены, и въ обнаружении ихъ должна быть необходима постепенность, сообразно съ развитіемъ действія. Языкъ долженъ быть сообразенъ съ положениемъ каждаго лица, но не удаляться оть чистоты литературной и не переходить въ вульгарность.

Вотъ, кажется, всъ главныя правила драмы. Приложимъ ихъ къ "Гротъ".

"Предметь драмы дъйствительно представляеть борьбу въ Катеринъ

между чувствомъ долга супружеской върности и страсти къ молодому Борису Григорьевичу. Значитъ, первое требованіе найдено. Но затямъ, отправляясь отъ этого требованія, мы находимъ, что другія условія образцовой драмы нарушены въ "Грозъ" самымъ жестокимъ образомъ.

"И, во-первыхъ, — "Гроза" не удовлетворяетъ самой существенной внутренней цѣли драмы — внушить уваженіе къ нравственному долгу и по-казать пагубныя послѣдствія увлеченья страстью. Катерина, эта безнравственная, безстыжая (по мѣткому выраженію Н. Ф. Павлова) женщина, выбѣжавшая ночью къ любовнику, какъ только мужъ уѣхалъ изъ дому, эта преступница представляется намъ въ драмѣ не только не въ достаточно мрачномъ свѣтѣ, но даже съ какимъ-то стяніемъ мученичества вокругъ чела. Она говоритъ такъ хорошо, страдаетъ такъ жалобно, вокругъ нея все такъ дурно, что противъ нея у васъ иѣтъ негодованія: вы ее сожальете, вы вооружаетесь противъ ся притѣснителей, и, такимъ образомъ, въ ся лицѣ оправлываете порокъ. Слѣдовательно, драма не выполняетъ своего высокаго назначенія и дѣлается, если не вреднымъ примѣромъ, то, по крайней мѣрѣ, праздною игрушкой.

"Далъе, съ чисто-художественной точки зрънія находимъ также недостатки весьма важные. Развитіе страсти представлено недостаточно: мы не видимъ, какъ началась и усилилась любовь Катерины къ Ворису и чъмъ именно была она мотивирована; поэтому, и самая борьба страсти и долга обозначается для насъ не вполнъ ясно и сильно.

"Единство впечатлѣнія также не соблюдено: ему вредитъ примѣсь посторонняго элемента—отношеній Катерины къ свекрови. Вмѣшательство свекрови постоянно препятствуетъ намъ сосредоточивать наше вниманіе на той внутренней борьбѣ, которая должна происходить въ душѣ Катерины.

"Кром'в того, въ пьест Островскаго зам'вчаемъ ошибку противъ первихъ и основныхъ правилъ всякаго поэтическаго произведенія, непростительную даже начинающему автору. Эта ошибка спеціально называется въ драм'в — "двойственностью интриги": здівсь мы видимъ не одну любовь, а дві, — любовь Катерины къ Борису и любовь Варвары къ Кудряшу. Это корошо только въ легкихъ французскихъ водевиляхъ, а не въ серьезной драм'в, гдів вниманіе зрителей никакъ не должно быть развлекаемо по сторонамъ.

"Завязка и развязка также грёшать противъ требованій искусства. Завязка заключается въ простомъ случав — въ отъвзле мужа; развязка также совершенно случайна и произвольна: эта гроза, испугавшая Катерину и заставившая ее все разсказать мужу, есть ни что иное, какъ deus ex machina, не хуже водевильнаго дядюшки изъ Америки.

"Все дъйствіе идетъ вяло и медленно, потому что загромождено сце-

нами и лицами, совершенно ненужными. Кудряшъ и Шапкинъ, Кулигинъ, Өеклуша, барыня съ двумя лакеями, самъ Дикой, —все это лица, существенно не связанныя съ ссновою пьесы. На сцену безпрестанно входятъ ненужныя лица, говорять вещи, неидущія къ дѣлу, и уходять, опять неизвъстно зачѣмъ и куда. Всъ декламаціи Кулигина, всъ выходки Кудряша и Дикого, не говоря уже о полусумасшедшей барынъ и о разговорахъ городскихъ жителей во время грозы, — могли бы быть выпущены безъ всякаго ущерба для сущности дѣла.

ущеров для сущности дъла.

"Строго опредъленныхъ и отдъланныхъ характеровъ въ этой толиъ ненужныхъ лицъ мы почти не находимъ, а о постепенности въ ихъ обнаруженіи нечего и спрашивать. Они являются намъ прямо ех авгирто, съ ярлычками. Занавъсъ открывается: Кудряшъ съ Кулигинымъ говорятъ о томъ, какой ругатель Дикой; вслъдъ затъмъ является и Дикой и еще за кулисами ругается... Тоже и Кабанова. Такъ же точао и Кудряшъ съ перваго слова даетъ знать себя, что онъ "лихъ на дъвокъ"; и Кулигинъ при самомъ появленіи рекомендуется, какъ самоучка-механикъ, восхищающійся природою. Да такъ съ этимъ они и остаются до самаго конца: Дикой ругается, Кабанова ворчитъ, Кудряшъ гуляетъ ночью съ Варварой... А полнаго всесторонияго развитія ихъ характеровъ мы не видимъ во всей пьесъ. Сама геропия изображается весьма неудачно; какъ видно, самъ авторъ не совсъмъ опредъленно понималъ этотъ характеръ, потому что, не выстав ляя Катерину лицемъркою, заставляетъ ее, однако же, произносить чувствительные монологи, а на дълъ показываетъ ее намъ, какъ женщину безстыжую, увлекаемую одною чувственностью. О геротъ нечего и говорить, — такъ онъ безцвътенъ. Сами Дикой и Кабанова, характеры наиболъе въ депге ъ г. Островскаго, представляютъ (по счастливому заключенію г. Ахшарумова или кого-то другого въ этомъ родъ) намъренную утрировку, близкую къ пасквилю, и даютъ намъ не живыя лица, а "квинтъ-эссенцію уродствъ" русской жизни.

"Наконецъ и языкъ, какимъ говорять дъйствующія лица, превосходить всякое теривніе благовоспитаннаго человъка. Конечно, купцы и мъщане не могуть говорить изящнымъ литературнымъ языкомъ; но въдь нельзя же согласиться и на то, что драматическій авторъ, ради върности, можетъ вносить въ литературу всъ площадныя выраженія, которыми такъ богатъ русскій народъ. Языкъ драматическихъ персонажей, кто бы они ни были, можетъ быть простъ, но всегда благороденъ и не долженъ оскорблять образованнаго вкуса. А въ "Грозъ" послушайте, какъговорятъ всъ лица: "Пронзительный мужикъ! что ты съ рыломъ-то лъзешь! Всю внутренную разжигаетъ! Женщины себъ тъла никакъ нагулять не могутъ"!.. Что это за фразы, что за слова? Поневолъ повторишь съ Лермонтовымъ:

Съ кого они портреты пишутъ? Гяв разговоры эти слышутъ? А если и случалось имъ, Такъ мы ихъ слышать не хотимъ.

Можетъ быть, "въ городъ Калиновъ, на берегу Волги", и есть люди, которые говорятъ такииъ образомъ, но что же намъ-то за дъло до этого?" Читатель понимаетъ, что мы не употребляли особенныхъ стараній,

чтобъ сделать убедительною эту критику; оттого въ ней легко приметить въ иныхъ мъстахъ живыя нитки, которыми она сшита. Но уверяемъ, что ее можно сдалать чрезвычайно убадительною и побадоносною; можно ею уничтожить автора, разъ ставши на точку зранія школьных в учебниковъ. И если читатель согласится дать намъ право приступить къ пьесъ съ заран ве приготовленными требованіями относительно того, что и какъ въ ней должно быть, -- больше намъ ничего не нужно: все, что несогласно съ принятыми у насъ правилами, мы съумћемъ уничтожить. Выписки изъ комедін явятся весьма добросовъстно для подтвержденія нашихъ сужденій; плтаты изъразныхъ ученыхъ книгъ, начиная съ Аристотеля и кончая Фишеромъ, составляющимъ, какъ извъстно, послъдній, окончательный моментъ эстетической теоріи, докажуть вамъ солидность нашего образованія; легкость изложенія и остроуміе помогуть намъ увлечь ваше вниманіе, и вы, сами не замъчая, придете къ полному согласию съ нами. Только пусть ни на минуту не заходить въ вашу голову сомнение въ нашемъ полномъ правъ предписывать автору обязанности и затемь судимь его, верень - ли онъ этимъ обязанностямъ, или провинился передъ ними?...

Но вотъ въ этомъ - то и горе, что отъ подобнаго сомнънія не убережется теперь ни одинъ читатель. Презрънная толпа, прежде благоговъйно разинувъ ротъ, внимавшая нашимъ въщаніямъ, теперь представляетъ плачевное и опасное для нашего авторитета зрълище — массы, вооруженной, по прекрасному выраженію г. Тургенева, "обоюдо-острымъ мечомъ анализа". Всякій говоритъ, читая нашу громоносную критику: "вы предлагаете намъ свою "бурю", увъряя, что въ "Грозъ", то, что есть, — лишнее, а чего нужно, того недостаетъ. Но въдь автору "Грозы", въроятно, кажется совсъмъ противное; позвольте намъ разобрать васъ. Разскажите, анализируйте намъ пьесу, покажите ее, какъ она есть, и дайте намъ ваше мнѣніе о ней, на основаніи ея же самой, а не по какимъ-то устарѣлымъ соображеніямъ, совсъмъ ненужнымъ и постороннимъ. По вашему, того-то и того-то не должно быть; а, можетъ быть, оно въ пьесъ-то и хорошо приходится, такъ тогда ночему-жъ не должно? " Такъ осмъливается резонировать теперь всякій читатель, и этому обидному обстоятельству надо приписать то, что, напримъръ, великолъпныя критическія упражненія Н. Ф. Павлова по поводу "Грозы" потерпъли такое ръшительное фіаско. Въ самомъ дълъ, на кри-

тика "Грозы" въ "Нашемъ Времени" поднялись већ — и литераторы, и публика, и, конечно, не за то, что онъ осмелился показать недостатокъ уваженія къ Островскому, а за то, что въ своей критикт онъ выразиль неуваженіе къ здравому смыслу и доброй волъ русской публики. Давно уже всь видять, что Островскій во многомъ удалился отъ старой сценической рутины, что въ самомъ замысле каждой изъ его пьесъ есть условія, необходимо увлекающія его за предалы извастной теоріи, на которую указали ны выше. Критикъ. которому эти уклоненія не правятся, долженъ былъ начать съ того, чтобъ ихъ отивтить, охарактеризовать, обобщить, и затвиъ прямо и откровенно поставить вопросъ между ними и старой теоріей. Это была обязанность критика не только передъ разбираемымъ авторомъ, но еще больше передъ публикой, которая такъ постоянно одобряетъ Островскаго, со всъми его вольностими и уклоненіями. и съ каждой новой пьесой все больше къ нему привизывается. Если критикъ находить, что публика заблуждается въ своей симпатіи къавтору, который оказывается преступникомъ противъ его теоріи, то онъ долженъ быль начать съ защиты этой теоріи и съ серьезныхъ доказательствъ того, что уклоненія отъ нея не могуть быть хороши. Тогда онъ, можеть быть, и успаль бы убадить накоторыхъ и даже многихъ, такъ какъ у Н. Ф. Павлова нельзя отнять того, что онъ владъетъ фразою довольно ловко. А теперь — что онъ едълалъ? Онъ не обратилъ ни мальйшаго вниманія на тотъ фактъ, что старые за-коны искусства, продолжая существовать въ учебникахъ и преподаваться съ гимназическихъ и университетскихъ канедръ, давно ужъ, однако, потеряли святыню неприкосновенности въ литературъ и въ публикъ. Онъ отважно принялся разбивать Островского по пунктамъ своей теоріи, насильно заставляя читателя считать ее неприкосновенною. Онъ счелъ удобнымъ только попронизировать на счетъ господина, который, будучи "ближнимъ и братомъ" г. Навлова по мъсту въ первомъ ряду креселъ и по "свъжимъ" перчаткамъ, осмълился, однако, восхищаться пьесою, которая была такъ противна Н. Ф. Павлову. Такое пренебрежительное обращеніе съ публикою, да и съ самымъ вопросомъ, за решение котораго критикъ взялся, естественно должно было возбудить большинство читателей скоре противъ него, нежели въ его пользу. Читатели дали замътить критику, что онъ съ своей теоріей вертится, какъ бълка въ колесъ, и потребовали, чтобъ онъ вышелъ изъ колеса на прямую дорогу. Округленная фраза и ловкій силлотизмъ показались имъ недостаточными: они потребовали серьезныхъ подтвержденій для самыхъ посылокъ, изъ которыхъ г. Павловъ дълалъ свои заключенія и которыя выдавалъ, какъ аксіомы. Онъ говорилъ: это дурно, потому что много лицъ въ пьесъ, не содъйствующихъ прямому развитію хода дъйствія. А ему упорно возражали: да почему же въ пьесъ не можеть

быть лицъ, не участвующихъ прямо въ развитіи драмы? Критикъ увърялъ, что драма потому уже лишена значенія, что ея героиня безправственна; читатели останавливали его и задавали вопросъ: съ чего же вы берете, что она безправственна? и на чемъ основаны ваши правственныя понятія? Критикъ считалъ пошлостью и сальностью, недостойною искусства, — и ночное свиданіе, и удалой свисть Кудряша, и самую сцену признанія Катерины передъ мужемъ; его опять спрашивали: отчего именно находить онъ это пошлымъ, и почему свътскія интрижки и аристокрагическія страсти достойнъе искусства, нежели мъщанскія увлеченія? Почему свисть молодого парня болье пошль, нежели раздирательное пые игальянскихъ арім какимъ-нибудь свътскимъ юношей? Н. Ф. Павловь, какъ верхъ своихъ доводокъ, ръшиль свысока, что пьеса, подобная "Грозь", есть не драма, а балаганное представленіе. Ему и тутъ отвътили: а почему же вы такъ презрительно относитесь о балаганъ? Еще эго вопросъ, точно - ли всякая прилизанная драма, даже хоть бы въ ней всъ три единства соблюдены были, лучше всякаго балаганнаго представленія. Относительно роли балагана въ истеріи театра и въ дълъ народнаго развитія мы еще съ вами погана въ истеріи театра и въ дѣлѣ народнаго развитія мы еще съ вами по-споримъ. Послѣднее возраженіе было довольно подробно развито печатно. И гдѣ же раздалось оно? Добро бы въ "Современникъ", который, какъ извѣстно, самъ имѣетъ при себѣ "Свистокъ", слѣдовательно. не можетъ скандализироваться свистомъ Кудряша, и вообще долженъ быть накло-ненъ ко всякому балаганству. Нѣтъ, мысли о балаганъ высказаны были въ "Библіотекъ для Чтенія", извъстной поборницъ всъхъ правъ "искусства", высказаны г. Анненковымъ, котораго никто не упрекнетъ въ излишней приверженности къ "вульгарнымъ" началамъ. Если мы върно поняли мысль г. Анненкова (за что. конечно, никто поручиться не можетъ), онъ находитъ, что современная драма съ своей теоріей дальше отклонилась отъ жизненной правлы и красоты, пежели первоначальные балаганы, и что лля жизненной правды и красоты, пежели первоначальные балаганы, и что для возрожденія театра необходимо прежде возвратиться къ балагану и сызнова начинать путь драматическаго развитія. Вотъ съ какими мивніями стольнулся г. Павловъ даже въ почтенныхъ представителяхъ русской критики, не говоря уже отвух, которые благомыслящими людымя обвиняются въ презрвнія къ наукв и въ отрицаніи всего высокаго! Понятно, что здвеь уже нельзя было отдвлаться болже или менве блестящими репликами, а надо было приступить къ серьезному пересмотру основаній, на которыхъ утверждался критикъ въ своихъ приговорахъ. Но, какъ скоро вопросъ перешелъ на эту почву, кратикъ "Нашего Времени" оказался несостоятельнымь и должень быль замять свои критическія разглагольствованія.

Очевидно, что критика, дълающаяся союзницей школяровъ и принимающая на себя ревизовку литературныхъ произведеній по параграфамъ

учебниковъ, должна очень часто ставить себя въ такое жалкое положение: осудивъ себя на рабство предъ господствующей теорией, она обрекаетъ себя, вивств съ твиъ, и на постоянную, безплодную вражду ко всякому прогрессу, ко всему новому и оригинальному въ литературъ. И чъмъ сильнъе новое литературное движеніе, тъмъ болье она противъ него ожесточается и тъмъ яснъе выказываетъ свое беззубое безсиліе. Отыскивая какого-то мертваго совершенства, выставляя намъ отжившіе, индифферентные для насъ идеалы, швыряя въ насъ обломками, оторванными отъ прекраснаго цёлаго, адепты подобной критики постоянно остаются въ сторонъ отъ живого движенія, закрывають глаза оть новой, живущей красоты, не хотять понять новой истины, результата новаго хода жизни. Они смотрять свысока на все, судять строго, готовы обвинять всякаго автора за то, что онъ не равняется съ ихъ chefs d'oeuvre'amu, и нахально пренебрегають живыми отношеніями автора къ своей публикъ и въ своей эпохъ. Это все, види-те-ли, "интересы минуты", — можно ли серьезнымъ критикамъ компроме-тировать искусство, увлекансь такими интересами! Бъдные, бездушные люди! какъ они жалки въ глазахъ человъка, умъющаго дорожить дъловъ жизни, ея трудами и благами! Человъкъ обыкновенный, здравомыслящій, беретъ отъ жизни, что она даетъ ену. и отдаетъ ей, что можетъ; но педанты всегда забирають свысока и парализирують жизнь мертвыми идеалами и отвлеченіями. Скажите, что подумать о человъкъ, который, при видъ хорошенькой женщины, начинаеть вдругь резонировать, что у нея стаяъ не таковъ, какъ у Венеры Милосской, очертание рта не такъ хорошо, какъ у Венеры Медицейской, взглядъ не имъетъ того выражения, какое находимъ мы у рафаэлевскихъ малоннъ, и т. д., и т. д. Всв разсужденія и сравненія подобнаго господина могуть быть очень справедливы и остроумны; но къ чему могутъ привести они? Докажутъ-ля они вамъ, что женщина, о которой идетъ ръчь, не хороша собой? Въ состояни-ли они убъдить васъ даже въ томъ, что эта женщина менве хороша, чвиъ та или другая Венера? Конечно. нътъ, потому что красота заключается не въ отдъльныхъ чертахъ и линіяхъ, а въ общемъ выраженіи лица, въ томъ жизненномъ смыслъ, который въ немъ проявляется. Когда это выражение симпатично мив, когда этотъ сумслъ доступенъ и удовлетворителенъ для меня, тогда я просто отдаюсь красотъ всъмъ сердцемъ и смысломъ, не дълая никакихъ мертвыхъ сравненій, не предъявляя претензій, освященныхъ преданіями искусства. И если вы хотите живымъ образомъ действовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту, то умъйте уловить въ ней этотъ общій смыслъ, это вѣяніе жизни, умѣйте указать и растолковать его мнѣ: тогда только вы достигнете вашей цѣли. То же самое и съ истиною: она не въ діалектическихъ тонкостяхъ, не въ върности отдъль-

ныхъ умозаключеній, а въ живой правдѣ того, о чемъ разсуждаете. Дайте мив понять характеръ явленія, его місто въ ряду другихъ, его смислъ и значение въ общемъ ходъ жизни, и повъръте, что этимъ путемъ вы привеле меня къ правильному сужденію о деле гораздо верие, чемъ посредствомъ всевозможныхъ силлогизмовъ, подобранныхъ для доказательства вашей мысли. Если до сихъ поръ невежество и легковеріе такъ еще сильны въ людяхъ, это поддерживается именно темъ способомъ критическихъ разсужденій, на который мы нападаемъ. Вездів и во всемъ преобладаеть синтезъ; говорятъ заранъе: это полезно, и бросаются во всв стороны, чтобы прибрать доводы, почему полезно; оглушають вась сентенціей: воть какова должна быть нравственность, - и затемъ осуждають какъ безиравственное все, что не подходить подъ сентенцію. Такимъ образомъ постоянно и искажается человъческій смысль, и отнимается охота и возможность разсуждать каждому самому. Совсемъ не то выходило бы, когда бы люди пріучились къ аналитическому способу сужденій: вотъ какое діло, вотъ его последствія, вотъ его выгоды и невыгоды; взвесьте и разсудите, въ какой мъръ оно будетъ полезно. Тогда люди постоянно имъли бы передъ собою данныя, и въ своихъ сужденіяхъ исходили бы изъ фактовъ, не блуждая въ синтетическихъ туманахъ, не связывая себя отвлеченными теоріями и идеалами, когда-то и къмъ-то составленными. Чтобы достигнуть этого, надобно, чтобы всв люди получили охоту жить своимъ умомъ, а не полагаться на чужую опеку. Этого, конечно, еще не скоро дождемся им въ человъчествъ. Но та небольшая часть людей, которую им называемъ "читающей публикой", даетъ намъ право думать, что въ ней эта охота къ самостоятельной умственной жизни уже пробудилась. Поэтому, мы считаемъ весьма неудобнымъ третировать ее свысока и надменно бросать ей сентенціи и приговоры, основанные Богъ-знаетъ на какихъ теоріяхъ. Самымъ лучшимъ способомъ критики мы считаемъ изложеніе самого дъла такъ, чтобы читатель самъ, на основании выставленныхъ фактовъ, могъ сдёлать свое заключение. Мы группируемъ данныя, дёлаемъ соображенія объ общемъ смысль произведенія, указываемъ на отношеніе его къ дъйствительности, въ которой мы живемъ, выводичъ свое заключение и пытаемся обставить его возможно лучшимъ образомъ, но при этомъ всегда стараемся держаться такъ, чтобы читатель могъ совершенно удобно произнести свой судъ между нами и авторомъ. Намъ не разъ случалось принимать упреки за накоторые иронические разборы: "изъ вашихъ же вынисокъ и изложенія содержанія видно, что этотъ авторъ плохъ или вреденъ, — говорили намъ, — а вы его хвалите, — какъ вамъ не стидно". Признаемся, подобные упреки ни мало насъ не огорчали: читатель получалъ не совство лестное метые о нашей критической способности. - правда;

но главная цёль была все-таки достигнута. — негодная книга (которую иногда мы и не могли прямо осудить) такъ и показалась читателю негодною, благодаря фактамъ, выставленнымъ передъ его глазами. И мы всегда были того мифнія, что только фактическая, реальная критика и можетъ имъть какой-нибудь смыслъ для читателя. Если въ произведеніи есть что-нибудь, то покажите намъ, что въ немъ есть; это гораздо лучше, чъмъ пускаться въ соображенія о томъ, чего въ немъ нѣтъ и что бы должно было въ немъ находиться.

Разумвется, есть общія понятія и законы, которые всякій человвив непремънно имъетъ въ виду, разсуждая о какомъ бы то ни было предметв. Но нужно различать между этими естественными законами, выте-кающими изъ самой сущности двла, и между положеніями и правилами, установленными въ какой-нибудь системъ. Есть извъстныя аксіомы, безъ которыхъ мышленіе невозможно, и ихъ всякій авторъ предполагаетъ въ своемъ читатель, такъ же, какъ всякій разговаривающій — въ своемъ собеседникъ. Довольно сказать о человъкъ, что онъ горбатъ или косъ, чтобы всякій увидель въ этомъ недостатокъ, а не преимущество его организаціи. Такъ точно достаточно зам'ятить, что такое-то литературное произведение безграмотно или исполнено лжи, чтобы этого никто не счелъ достоинствомъ. Но когда вы скажете, что человъкъ ходить въ фуражкъ, а не въ шлянъ, этого еще недостаточно для того, чтобы я получиль о немъ дурное мижніе, хотя въ извъстномъ кругу и принято, что порядочный человъкъ не долженъ фуражку носить. Такъ и въ литературномъ произведеніи — если вы находите несоблюденіе какихъ-нибудь единствъ, или лица не необходимыя для развитія интриги, такъ это еще ничего не говорить для читателя, непредубъжденнаго въ пользу вашей теоріи. Только то, что каждому читателю должно показаться нарушениемъ естественнаго порядка вещей и оскорбленіемъ простого здраваго смысла, могу я считать не требующимъ отъ меня опроверженій, предполагая, что эти опроверженія сами собою явится въ умѣ читателя, при одномъ моемъ указанія на фактъ. Но никогда не нужно слишкомъ далеко простирать подобное предположение. Критики, подобные Н. Ф. Павлову. г. Некрасову изъ Москвы, г. Пальховскому и пр., темъ и грешать особенно, что предполагають безусловное согласіе между собою и общимъ мнъніемъ гораздо въ большемъ количестве пунктовъ, чемъ следуетъ. Иначе сказать, — они считаютъ непреложными, очевидными для всъхъ аксіомами множество такихъ мнъній, ко-торыя только имъ кажутся абсолютными истинами, а для большинства дю-дей представляютъ даже противоръчіе съ нъкоторыми общепринятыми понятіями. Напримъръ, всякому понятно, что авторъ, желающій сділать что-нибудь порядочное, не долженъ искажать дъйствительность: въ этомъ

требованіи согласны и теоретики, и общее мивніе. Но теоретики въ то же время требують и тоже полагають, какъ аксіому. — что авторъ долженъ совершенствовать дъйствительность, отбрасывая изъ нея все ненужное и выбирая только то, что спеціально требуется для развитія интриги и для развизки произведенія. Сообразно съ этимъ вторымъ требованіемъ, на Островскаго напускались много разъ съ великою яростью: а между тымъ оно не только не аксіома, но даже находится въ явномъ противоръчіи съ требованіемъ относительно върности дъйствительной жизни, которое всъми признано, какъ необходимое. Какъ вы, въ самомъ дълъ, заставите меня върить. что въ теченіе какого-пибудь получаса, въ одну комнату, пли одно мъсто въ плошали, приходять одня за другимъ, десять пеловъкъ, пли одно мвсто на площади, приходять одинъ за другимъ десять человъкъ, именно тв, кого нужно, именно въ то время, какъ ихъ тутъ нужно, встръчають. кого имъ нужно, начинають ех abrupto разговоръ о томъ. что нужно, уходять и дълають что нужно, потомъ опять являются, когда имъ нужно. Двлается-ли это такъ въ жизни, похоже ли это на истину? Кто не знаетъ. что въ жизни самое трудное двло подогнать одно къ другому благопріятныя обстоятельства, устроивъ теченіе діль сообразно съ логической на-добностью. Обыкновенно человікь знасть, что ему ділать, да не можеть такъ потрафить. чтобы направить на свое діло вст средства, которыми такъ легко распорижается писатель. Нужныя лица не приходять, письма не получаются, разговоры идуть не такъ, чтобъ подвинуть дело... У всякаго въ жизни много своихъ делъ, и редко кто служить, какъ въ нашихъ драмахъ, машиною, которою двигаетъ авторъ, какъ ему удобнъе, для дъй-ствія его пьесы. То же надо сказать и о завязкъ съ развязкою. Много-ли ствія его пьесы. То же надо сказать и о завязкѣ сь развязкою. Миого-ли мы видимъ случаевъ, которые бы въ своемъ концѣ представляли чистое, логическое развитіе начала? Въ исторіи мы еще можемъ примѣтить это въ теченіе вѣковъ; но въ частной жизни не то. Правда, что историческіе законы и здѣсь тѣ же самые, но разница въ разстояніи и размѣрѣ. Говоря абсолютно и принимая въ соображеніе безконечно малыя величины, конечно, мы найдемъ, что шаръ—тотъ же многоугольникъ; но попробуйте играть на бильярдѣ многоугольниками, —совсѣмъ нето выйдетъ. Такъ точно и историческіе законы о логическомъ развитіи и необходимомъ возмездіи—представляются въ происшествіяхъ частной жизни далеко не такъ ясно и полно, какъ въ исторіи народовъ. Придавать имъ нарочно эту ясность, значить насиловать и искажать существующую дѣйствительность. Будто бы въ самомъ дѣлѣ всякое преступленіе носитъ въ себѣ самомъ свое на-казаніе? Булто оно всегла сопровожлается мученіями совѣсти, если не жазаніе? Будто оно всегда сопровождается мученіями совъсти, если не внъшнею казнью? Будто бережливость всегда ведетъ къ достатку, чест-ность награждается общимъ уваженіемъ, сомнъніе находитъ свое разръшеніе, доброд'втель доставляеть впутреннее довольство? Не чаще-ли видимъ противное, хотя, съ другой стороны, и противное не можетъ быть утверждаемо, какъ общее правило... Нельзя сказать, чтобъ люди были злы по природъ, и потому нельзя принимать для литературныхъ произведеній принциповъ въ родъ того, что, напримъръ, порокъ всегда торжествуетъ, а добродътель наказывается. Но невозможно, даже смъшно сдълалось строить драмы и на торжествъ добродътели! Дъло въ томъ, что отношенія человъческія ръдко устранваются на основаніи разумнаго разсчета, а слагаются большею частью случайно, и затъмъ значительная доля поступковъ однихъ съ другими совершается какъ бы безсознательно, по рутинъ, по минутному расположению, по вліннію множества посторониихъ причинъ. Авторъ, ръшающійся отбросить въ сторону всв эти случайности въ угоду логическимъ требованія пъ развитія сюжета, обыкновенно теряетъ среднюю мфру и дфлается похожъ на человфка, который все измвряеть на maximum. Онъ, напримвръ, нашель, что человъсъ можеть, безъ непосредственнаго вреда для себя, работать пятнадцать часовъ въ сутки, и на этомъ разсчетв основываетъ свои требованія отъ людей, которые у него работають. Само собою разумвется, что разсчеть этоть, возможный для экстронныхъ случаевъ, для двухъ-трехъ дней, обазывается совершенно нелецымъ, какъ норма постоянной работы. Таковымъ же нередко оказывается и логическое развитие житейскихъ отношений, требуеное теоріею отъ драмы.

Намъ скажутъ, что мы впадаемъ въ отрицаніе всякаго творчества и не признаемъ искусства иначе, какъ въ видъ дагерротипа. Еще больше, насъ попросятъ провести дальше наши мненія и дойти до крайнихъ ихъ результатозъ, то-есть, что драматическій авторъ, не имѣя права ничего отбрасывать и ничего подгонять нарочно для свой цели, оказывается въ необходимости просто записывать всв ненужные разговоры всвхъ встрвчныхъ лицъ, такъ что действіе, продолжавшееся неделю, потребуеть и въ драм'в ту же самую неделю для своего представленія на театр'в, а для иного происшествія потребуется присутствіе всехъ тысячь людей, прогуливающихся по Невскому проспекту или по Англійской набережной. Да, оно такъ и придется, если оставить высшимъ критеріумомъ въ литератур'в все-таки ту теорію, которой положенія мы сейчасъ оспаривали. Но мы вовсе не къ тому идемъ; не два-три пункта теоріи хотимъ мы исправить; нътъ, съ такими исправленіями она будетъ еще хуже, запутаннъе и противоръчивъе; мы просто не хотимъ ее вовсе. У насъ есть для сужденія о достоинствъ авторовъ и произведеній другія основанія, держась которыхъ мы надъемся не придти ни къ какимъ нелепостямъ и не разойтись съ здравымъ смысломъ массы публики. Объ этихъ основаніяхъ мы уже говорили и въ первыхъ статьяхъ объ Островскомъ, п потомъ въ

стать в о "Наканунть"; но, можеть быть, нужно еще разъ вкратить изложить ихъ.

Мѣрою достоинства писателя или отдѣльнаго произведенія мы при-нимаемъ то, насколько служатъ они выраженіемъ естественныхъ стремле-ній извѣстнаго времени и народа. Естественныя стремленія человъчества, приведенныя къ самому простому знаменателю, могутъ быть выражены въ двухъ словахъ: "чтобъ всвиъ было хорошо". Понятно, что, стремясь къ этой цели, люди, по самой сущности дела, сначала должны были отъ нея удалиться: каждый хотель, чтобъ ему было хорошо, и, утверждая свое благо, мешаль другимъ: устроиться же такъ, чтобъ одинъ другому не мъшаль, еще не умбли. Такъ неопытные танцоры не умбють распорядиться своими движеніями и безпрестанно сталкиваются съ другими парами, даже въ довольно пространной залъ. Послъ, попривыкши, они станутъ лучше расходиться даже и въ залъ меньшаго объема и при большемъ количествъ танцующихъ. Но пока они не пріобръли ловкости, до тъхъ поръразумъется, и невозможно допустить, чтобы въ залъ пускались въ вальсъ многія пары; чтобы не переколотиться другь объ друга, необходимо мнотимъ пережидать, а самымъ неловкимъ и вовсе отказаться отъ танцевъ и, можетъ быть, състь за карты, проиграть, и даже много... Такъ было и въ устройствъ жизни: болъе ловкіе продолжали отыскивать свое благо, другіе сиділи, принимались за то, за что не слідовало, проигрывали; общій праздникъ жизни нарушался съ самаго начала, многимъ стало не до веселья; многіе пришли въ убъжденію, что въ веселью только тѣ п призваны, кто ловко танцуетъ. А ловкіе танцоры, устроившіе свое благосостояніе, продолжали следовать естественному влеченію и забирали себе все больше простора, все больше средствъ для веселья. Наконецъ, они те ряли міру; остальнымъ становилось отъ нихъ очень тісно, и они вскакивали съ своихъ мъстъ и подпрыгивали — уже не за тъмъ, чтобы танцовать хотъли, а просто потому, что имъ даже сидъть-то стало неловко. А между тъмъ въ этомъ движени оказалось, что и между ними есть люди, не лишенные накоторой легкости. — и та пробовали вступить ва круга веселящихся. Но привилегированные, первоначальные танцоры спотрыли на нихъ уже очень непріязпенно, какъ на непризванныхъ, и не пускали ихъ въ кругъ. Начиналась борьба, разнообразная, долгая, большею частью неблагопріятная для новичковъ: ихъ осмъивали, отталкивали, ихъ осуждали платить издержки праздника, у нихъ отнимали ихъ дамъ, а у дамъ кавалеровъ, ихъ совсвиъ прогоняли съ праздника. Но чемъ хуже становится людямъ, тёмъ они сильнёе чувствуютъ нужду, чтобъ было хорошо. Лишеніями не остановишь требованій, а только раздражишь; только принятіе пищи можеть утолить голодь. До сихъ поръ, поэтому, борьба не

кончена; естественныя стремленія, то какъ будто заглушаясь, то появляясь сильне, все ищуть своего удовлетворенія. Въ этомъ состоить сущность исторіи.

Во вст времена и во встать сферахъ человтческой дъятельности появлялись люди, настолько здоровые и одаренные натурою, что естественныя стремленія говорили въ нихъ чрезвычайно сильно, незаглушаемо. Въ практической дъятельности они часто дълались мучениками своихъ стремленій, но никогда не проходили безследно, никогда не оставались одинокими; въ общественной дъятельности они пріобрътали партію, въ чистой наукъ дълали открытія, въ искусствахъ, въ литературъ образовали школу. Не говоримъ о двятеляхъ общественныхъ, которыхъ роль въ исторіи всякому должна быть понятна после того, что мы сказали на предыдущей страницъ. Но замътимъ, что и въ дълъ науки и литературы, за великами личностями всегда сохранялся тотъ характеръ, который мы обозначили выше, - сила естественныхъ, живыхъ стремленій. Съ искаженіемъ этихъ стремленій въ массь совиадаеть водвореніе многихъ нельпыхъ цонятій о мір'в и челов'як'; эти понятія, въ свою очередь, машали общему благу. Чтобы не заходить далеко, вспомнимъ, сколько зла причинили человъчеству нелъпости фетишизма и всякаго рода восмогоническія бредни, а по-томъ астрологическія и кабалистическія мистеріи на разные лады. Люди чистой науки, дълавшіе астрономическія и физическія огкрытія, или уста-новлявшіе новыя философскія начала, умъли слушать волосъ естественныхъ, здравыхъ требованій ума и помогали человъчеству избавляться отъ твхъ или другихъ искусственныхъ комбинацій, вредившихъ устройству общаго благоденствія. Съ каждымъ изъ этихъ людей человвчество двлало новый шагъ въ развити правильныхъ, естественныхъ цонятій, и по важности этихъ шаговъ можемъ мы опредълять личное достоинство каждаго дъятеля. То же самое прилагается и кълюдямъ прикладныхъ знаній: техникамъ, механикамъ, агрономамъ, врачамъ и пр... То же видимъ и въ области искусствъ, и въ литературъ.

Литератору до сихъ поръ предоставлена была небольшая роль въ этомъ движени человъчества къ естественнымъ началамъ, отъ которыхъ оно отъклонилось. По существу своему, литература не имъетъ дъятельнаго значенія: она только или предполагаетъ то, что нужно сдълать, или изображаетъ то, что уже дълается и сдълано. Въ первомъ случать, то есть, въ предположеніяхъ будущей дъятельности, она беретъ свои матеріалы и основанія изъ чистой науки; во второмъ, — изъ самыхъ фактовъ жизни. Такимъ образомъ, вообще говоря, литература представляетъ собою силу служебную, которой значеніе состоитъ въ пропагандть, а достоинство опредъляется тъмъ, что и какъ она пропагандпруетъ. Въ литературъ, впрочемъ,

явлилось до сихъ поръ ивсколько двятелей, которые въ своей пропагандъ стоять такъ высоко, что ихъ не превзойдуть ни практические двители для блага человъчества, ни люди чистой науки. Эти писатели были одарены такъ богато природою, что умъли. какъ бы по инстинкту, приблизиться къ естественнымъ понятіямъ и стремленіямъ, которыхъ еще только искали современные имъ философы съ помощью строгой начки. Мало того, то, что философы только предугадывали въ теоріи, геніальные писатели ужѣли это схватывать въ жизни и изображать въ дъйствіи. Такимъ образомъ, служа полнъйшими представителями высшей степени человъческаго сознанія въ извъстную эпоху, и съ этой высоты обозръвая жизнь людей и природы и рисуя ее передъ нами, они возвышались надъ служебною ролью литературы и становились въ рядъ историческихъ дъятелей, способствовавшихъ человъчеству въ ясивниемъ созвании его живыхъ силъ и естественныхъ паклонностей. Таковъ быль Шекспиръ. Многія изъего пьесъ могутъ быть названы открытіями въ области человъческаго сердца; его литературиам дъятельность подвинула общее сознаніе людей на нъсколько ступеней, на которыя до него никто не поднимался и которыя только были издали указываемы нъкоторыми философами. И вотъ почему Шекспиръ имъетъ такое всемірное значеніє: имъ обозначается нѣсколько новыхъ ступеней человѣ-ческаго развитія. Но за то Шекспиръ и стоитъ внѣ обычнаго ряда писа-телей; имена Данте, Гёте, Байрона часто присоединяются къ его имени, но трудно сказать, чтобъ въ каждомъ изъ нихъ такъ полно обозначалась цълая новая фаза общечеловъческого развитія, какъ въ Шекспиръ. Что же касается до обыкновенныхъ талантовъ, то для нихъ именно остается та служебная роль. о которой мы говорили. Не представляя міру ничего новаго и невъдомаго, не намъчая новыхъ путей въ развити всего человъчества, не двигая его даже и на принятомъ пути, они должны ограничиваться болье частнымь, спеціальнымь служеніемь: они проводять въ сознаніе массъ то, что открыто передовыми діятелями человічества, раскрывають и проясняють людямь то, что въ нихъ живеть еще смутно и неопредъленно. Обыкновенно это происходить не такъ, впрочемъ, чтобы литераторъ заимствовалъ у философа его идеи, потомъ проводилъ ихъ въ своихъ произведеніяхъ. Нетъ, оба они действують самостоятельно, оба исходять изъ одного начала-дъйствительной жизни, но только различнымъ образомъ принимаются за дёло. Мыслитель, замечая въ людяхъ, напримъръ, недовольство настоящимъ ихъ положениемъ, соображаетъ всъ факты и старается отыскать новыя начала, которыя бы могли удовлетворить возникающія требованія. Литераторъ-поэтъ, замічая то же недовольство, рисуетъ его картину такъ живо, что общее вниманіе, остановленное на ней, само собою наводитъ людей на мысль о томъ, что же именно имъ

нужно. Результать одинь, и значение двухъ даятелей было бы одно и то нужно. Результать одинь, и значение двухь двятелем облю об одно и то же; но исторія литературы показываеть намь, что, за немногими исключеніями, литераторы обыкновенно опаздывають. Тогда какъ мыслители, привязываясь къ самымъ незначительнымъ признакамъ и неотступно преслъдуя попавшуюся мысль до самыхъ послъднихъ ея основаній, веръдко подмъчають новое движеніе въ самомъ еще ничтожномъ его зародышть, — литераторы по большей части оказываются менъе чуткими: они подмъчають и рисуютъ возникающее движеніе тогда уже, когда оно довольно явственно и сильно. За то, впрочемъ, они ближе къ понятіямъ массы и больше имъютъ въ ней усивха; они подобны барометру, съ которымъ всякій справляется, между тъмъ, какъ метеоролого-астрономическихъ выкладокъ и предвъщаній никто не хочетъ знать. Такимъ образомъ, признавая за литературою главное значеніе пропаганды, мы требуемъ отъ нея одного качества, безъ котораго въ ней не можетъ быть никакихъ достоинствъ, вменно — приоды. Надо, чтобы факты, изъ которыхъ исходитъ авторъ и которые онъ представляетъ намъ, были переданы ътрно. Какъ скоро этого итътъ. литературное произведение теряетъ всякое значение; оно становится даже вреднымъ, потому что служитъ не къ просвътлънію человъческаго сознанія, а, напротивъ, еще къ большему пемраченью. И тутъ уже напрасно стали бы мы отыскивать въ авторъ какой - нибудь талантъ, кромъ развъ талента враля. Въ произведеніяхъ историческаго характера правда должна бить фактическая; въ беллетристикъ, гдъ происшествія вымышлены, она замъняется логическою правдою, то - есть разумною вфроятностью и сообразностью съ существующимъ ходомь дель.

Но правда есть необходимое условіе, а еще не достоинство произведенія. О достоинств'я мы судимъ по широт'я взгляда автора, в'ярности пониманія и живости изображенія т'яхъ явленій, которыхъ онъ коснулся. И прежде всего, по принятому нами критерію, мы различаемъ авторовъ, служащихъ представителями естественныхъ, правильныхъ стремленій народа, отъ авторовъ, служащихъ органами разныхъ искусственныхъ тенденцій и требованій. Мы уже вид'яли, что пскусственныя общественныя комбинаціи, бывшія сл'ядствіемъ первоначальной неум'ялости людей въ устройств'я своего благосостоянія, во многихъ заглушили сознаніе естественныхъ потребностей. Въ литературахъ вс'яхъ народовъ мы находимъ множество писателей, совершенно преданныхъ искусственнымъ интересамъ и ни мало не заботящихся о нормальныхъ требованіяхъ челов'яческой природы. Эти писатели могутъ быть и не лжецы; но произведенія ихъ, т'ямъ не мен'яе, ложны, и въ нихъ мы не можемъ признать достоинствъ, разв'я только относительно формы. Вс'я, наприм'яръ, п'явцы иллюминацій, военныхъ торжествъ, р'язни и грабежа по приказу какого-вибудь честолюбца, сочини-

тели льстивыхъ диопрамбовъ, надписей и мадригаловъ - не могутъ им вть въ нашихъ глазахъ никакого значенія, потому что они весьма далеки отъ естественныхъ стремленій и потребностей народныхъ. Въ литературѣ они то же въ сравнения съ истиниыми писателями, что въ наукт астрологи и алхимики предъ истинными натуралистати, что сочники предъ курсомъ физіологін, гадательныя книжки предъ теоріей въроятностей. Между авторами, не удаляющимися отъ естественных в попятій, мы различаем в людей, болве или менве глубоко проникнутых в насущными требованіями эпохи, болъе или менъе широко обнимающихъ движение, совершающееся въ человъчествъ, и болъе или менъе сильно ему сочувствующихъ. Тутъ степени могутъ быть безчислениы. Одинъ авторъ чожеть исчернать одинъ вопросъ, другой десять, третій можеть всв ихъ подвести подъ одинъ высшій вопросъ и его поставить на разръшение, четвертый можетъ указать на вопросы, которые поднимаются еще за разръшениемъ этого высшаго вопроса и т. д. Одинъ можетъ холодно, эпически излагать факты, другой съ лирической силой ополчаться на ложь и воспевать добро и правду. Одинъ можеть брать діло съ поверхности и указывать надобность внішних и частных в поправокъ; другой можеть забирать все съ кория и выставлять на видъ внутреннее безобразіе и несостоятельность предмета, или внутреннюю силу и красоту новаго зданія, воздвигаемаго при новомъ движеніи человічества. Сообразно съ широтою взгляда и силою чувства авторовъ будетъ разниться и способъ изображенія предметовъ, и самое изложеніе у каждаго изъ нихъ. Разобрать это отношение внашней формы из внутренней сила уже нетрудно; самое главное для критики — опредалить, стоитъ-ли авторъ въ уровень съ теми естественными стремленіями, которыя уже пробудились въ народъ или должны скоро пробудиться по требованию современнаго порядка дёлт; затёмъ — въ какой мёрё умёль онъ ихъ понять и внразить, и взялъ-ли онъ существо дёла, корень его, или только внёшность, обнялъ-ли общность предмета, или только некоторыя его стороны.

Считаемъ излишнимъ распространяться о томь, что мы здѣсь разумѣемъ не теоретическое обсужденіе, а поэтическое представленіе фактозъжизни. Въ прежнихъ статьяхъ объ Островскомъ мы достаточно говорили о различіи отвлеченнаго мышленія отъ художническаго способа представленія. Повторимъ здѣсь только одно замѣчаніе, необходимое для того, чтобы поборники чистаго искусства не обвинили насъ опять въ навязываньи художнику "утилитарныхъ темъ". Мы нисколько не думаемъ, чтобы всякій авторъ долженъ былъ создавать свои произведенія подъ вліяніемъ извѣстной теоріи: онъ можетъ быть какихъ угодно мнѣній, лишь бы талантъ его былъ чутокъ къ жизненной правдѣ. Художественное произведеніе можетъ быть выраженіемъ извѣстной идеи, не потому, что авторъ задался

этой идеей при его созданіи, а потому, что автора его поразили такіе факты дъйствительности, изъ которыхъ эта идея вытекаетъ сана собою. Такимъ образомъ, напр., философія Сократа и комедін Аристофана, въ отношенін къ религіозному ученію грековъ, служать выраженіемъ одной и той же общей идеи - разрушенія древнихъ върованій; но вовсе нъть надобности думать, что Аристофанъ задавалъ себъ именно эту цель для своихъ комедій: она достигается у него просто картиною греческих в правовъ того времени. Изъ его комедій мы решительно убъждаемся, что въ то время, когда онъ писалъ, царство греческой мисологіи уже прошло, т.-е. онъ практически приводить насъ въ тому, что Сопрать и Платоль доказываютъ философскимъ образомъ. Такова и вообще бычаеть разница въ способъ дъйствія произведеній поэтических в собственно теоретических в. Она соотвітствуетъ разницъ въ самомъ способъ мышленія художника и мыстителя: одинъ мыслить конкретнымъ образомъ, никогда не теряя изъ виду частныхъ явленій и образовъ, а другой стремится все обобщить, слить частные признаки въ общей формулъ. Но существояной разници между истиннымъ знаніемъ и истинной поззіей быть не можеть: таланть есть приладлежность натуры человъка, и потому онъ несомнънно гарантируетъ намъ извъстную силу и широту естественныхъ стремленій въ томъ, кого мы признаемъ талантливымъ. Следовательно, и произведенія его должны создаваться подъ вліяніемъ этихъ естественныхъ, правильных в потребностей натуры; сознаніе нормальнаго порядка вещей должно быть въ немъ ясно и живо, идеалъ его простъ и разуменъ, и онъ не отдастъ себя на служение неправдъ и безсмыслиць, не потому, чтобы не хотьль, а просто потому, что не можеть, -не выйдеть у него ничего хорошаго, если онъ и вздумаетъ понасиловать свой талантъ. Подобно Валааму, захочетъ онъ проклинать Израиля, и, противъ его воли, въ торжественную минуту вдохновенія, въ его устахъ явятся благословенія вивсто проклятій. А если и удастся ему выговорить слово проклятія, то оно лишено будеть внутренниго жара, будеть слабо и невразумительно. Намъ нечего ходить далеко за примврами: наша литераратура изобилуетъ ими едва - ли не болъе всякой другой. Возьмите хоть Пушкина и Гоголя: какъ бъдны и трескучи заказныя стихотворенія Пушкина; какъ жалки аскетическія понытки Гоголя въ литературъ! Доброй воли было у нихъ много, но воображение и чувство не давали достаточно матеріала для того, чтобы сдівлать истинно поэтическую вещь на заказныя, искусственныя темы. Да и не мудрено: действительность, изъ которой почерпаетъ поэтъ свои матеріалы и свои вдохновенія, имъстъ свой натуральный сиыслъ, при нарушенія котораго уничтожается самая жизнь предмета и остается только мертвый остовъ его. Съ этимъ-то остовомъ и принуждены были всегда оставаться писатели, хотъвшіе, виъсто естественнаго смысла, придать явленіямъ другой, противный ихъ сущности.

Но, какъ мы уже сказали, естественныя стремленія человъка и здравыя, простыя понятія о вещахъ искажены и почти заглушены во многихъ. Вслъдствіе неправильнаго развитія, часто людямъ представляется совершенно нормальнымъ и естественнымъ то, что въ сущности составляетъ нелъпъйшее насиліе природы. Съ теченіеми времени человъчество все болье и болфе освобождается отъ искусственныхъ искаженій и приближается къ естественнымъ требованіямъ и воззрвніямъ; мы уже не видимъ таинственныхъ силь въ каждомъ лъсъ и озеръ, въ громъ и молніи, въ солниъ и авъздахъ; мы уже не имъсмъ въ образованныхъ странахъ кастъ и паріевъ; мы не перемъщиваемъ отношеній двухъ половъ, подобно народамъ Востока; мы не признаемъ класса рабовъ существенной принадлежностью государства, какъ было у грековъ и римлянъ; мы отрицаемся отъ инквизиционныхъ началъ, господствовавшихъ въ средневъковой Европъ. Если все это еще и встръчается нынъ по мъстамъ, то не иначе, какъ въ видъ исключенія; общее же положеніе изм'янилось къ лучшему. Но все-таки и теперь еще люди далеко не пришли къ ясному сознанію встать естественных потребностей, и даже не могуть еще согласиться въ томъ, что для человъка естественно, что нътъ. Общую формулу. — что человъку естественно стремиться къ лучшему, - всъ принг мають; но разногласія возникають изъ за того, что же должно считать благомъ для человъчества. Мы полагаемт, напримъръ, что благо въ трудъ, и потому трудъ считаемъ естественнымъ для человъка; а "Экономическій указатель" увъряетъ, что людямъ естественно лениться, ибо благо состоитт въ пользовани капиталомъ. Мы думаемъ, что воровство есть искусственная форма пріобретенія, къ которой человъкъ вынуждается крайностью; а Крыловъ говоритъ, что это есть естественное качество иныхъ людей и что-

Вору дай хоть милліонъ, Онъ воровать не перестанетъ.

А между тыть Крыловь — знаменитый баснописець, а "Экономическій указатель" издается г. Вернадскимь, докторомь и статскимь совытникомь: минніями ихъ пренебрегать невозможно. Что туть дылать, какъ рышить? Намь кажется, что окончательнаго рышенія туть никто не можеть брать на себя; всякій можеть считать свое минніе самымь справедливымь, но рышеніе вь этомь случай болье, нежели когда-нибудь, надо предоставить публикь. Это дыло до нея касается, и только во имя ея можемь мы утверждать наши положенія. Мы говоримь обществу: "намь кажется, что вы воть къ чему способны, воть что чувствуете, воть чымь недовольны, воть чего желаете". Дыло общества сказать намь, ошибаемся мы или ныть. Тымь болье, вь такомь случав, какъ разборь комедій Островскаго, мы прямо можемь положиться на общій судь. Мы говоримь: "воть что авторь из-

образилъ; вотъ что означаютъ, по нашему мненію, воспроизведенные имъ образы, вотъ ихъ происхожденіе, вотъ смыслъ; мы находимъ, что все это имъстъ живое отношение къ вашей жизни и нравамъ и объясняетъ вотъ какія потребности, которыхъ удовлетвореніе необходимо для вашего блага". Скажите, кому же иначе судить о справедливости нашихъ словъ, какъ не тому самому обществу, о которомъ идетъ ръчь и къ которому она обрашается? Его ръшение должно быть одинаково важно и окончательно-и для насъ, и для разбираемаго автора.

Авторъ нашъ принимается публикою очень хорошо; значитъ, одна половина вопроса ръшается положительнымъ образомъ: публика признаетъ, что онъ върно понимаетъ и изображаетъ ее. Остается другой вопросъ: върноли мы понимаемъ Островскаго, принисывая его произведеніямъ извъстный смыслъ? Нъкоторую надежду на благопріятный отвътъ подаетъ намъ, вопервыхъ, то обстоятельство, что критики, противоположныя нашему воззрвнію, не были особенно одобряемы публикой, и, во-вторыхъ, то, что самъ авторъ оказывается согласнымъ съ нами, такъ какъ въ "Грозъ" мы находимъ новое подтверждение многихъ изъ нашихъ имслей о талантв Островскаго и о значеніи его произведеній. Впрочемъ, еще разъ, — наши статьи и самыя основанія, на которыхъ мы утверждаемъ свои сужденія, у всёхъ предъ глазами. Кто не захочеть согласиться съ нами, тотъ, читая и повъряя наши статьи по своимъ наблюденіямъ, можетъ придти къ собственному заключенію. Мы и тыть будемь довольны.

Теперь, объяснившись относительно основаній нашей критики, просимъ читателей извинить намъ длиниоту нашихъ объясненій. Ихъ бы, конечно, можно было изложить на двухъ-трехъ страницахъ, но тогда бы этимъ страницамъ долго не пришлось увидъть свъта. Длиннота происходитъ оттого, что часто безконечнымъ перефразамъ объясняется то, что можно бы обозначить просто однимъ словомъ; но, въ томъ - то и беда, что эти слова, весьма обыкновенныя въ другихъ европейскихъ языкахъ, русской статъв дають обыкновенно такой видь, въ которомь она не можеть явиться нередь публикой. И приходится поневоль перевертываться всячески съ фразой, чтобы ввести какъ-нибудь читателя въ сущность излагаемой мысли.

Но обратимся же къ настоящему предмету нашему — къ автору "Грозы".

Читатели "Современника" помнять, можеть быть, что мы поставили Островскаго очень высоко, находя, что онъ очень полно и многосторонне ум'влъ изобразить существенныя стороны и требованія русской жизни. Другіе авторы брали частныя явленія, временныя, вн'вшнія требованія общества, и изображали ихъ съ большимъ или меньшимъ усивхомъ, какъ, напр., требованіе правосудія, въротерпимости, здравой администраціи, уничтоженія откуновъ, отмѣненія крѣностного права, и пр. Иные авторы брали болѣе внутреннюю сторону жизни, но ограничивались очень тѣснымъ кругомъ и подмъчали такія явленія, которыя далеко не имъли общенароднаго значенія. Таково, напр., изображеніе, въ безчисленномъ множествъ повастей, людей, ставшихъ по развитию выше окружающей ихъ среды, но лишенныхъ энергіи воли и погибающихъ въ бездійствіи. Повісти эти имвли значеніе, потому что ясно выражали собою негодность среды, изшающей хорошей даятельности, и хотя смутно-сознаваемое требование энертическаго примънентя на дъяв началь, признаваемыхъ нами за истину въ теоріи. Смотря по различію талантовъ, и повъсти этого рода имъли больше или меньше значенія; но всв онв заключали въ себь тоть недостатокъ, что попадали лишь въ небольшую (сравнительно) часть общества и не имъли почти пикакого отношенія къ большинству. Не говоря о массь народа, даже въ среднихъ слояхъ нашего общества мы видимъ гораздо больше людей, которымъ еще нужно пріобретеніе в уясненіе правильныхъ понятій, нежели такихъ, воторые съ пріобрътенными идеями не знаютъ кула дъваться. Поэтому, значение указанных в повъстей и романовъ остается весьма спеціальнымъ и чувствуется болѣе для кружка извѣстнаго сорта, нежели для большинства. Нельзя не сознаться, что дѣло Островскаго гораздо плодотворнъе: онъ захватилъ такія общія стремленія и потребности, которыми проникнуто все русское общество, которыхъ голосъ слышится во всъхъ явленіяхъ нашей жизни, которыхъ удовлетвореніе составляетъ необходи-мое условіе нашего дальнъйшаго развитія. Мы не станемъ теперь повторать того, о чемъ говорили подробно въ нашихъ первыхъ статьяхъ; но кстати замътимъ здъсь странное недоумъніе, происшедшее относительно нашихъ статей у одного изъ критиковъ "Грозы"— г. Аполлона Григорьева. Нужно замътить, что г. А. Григорьевъ одинъ изъ восторженныхъ почитателей таланта Островскаго; но, должно быть, отъ избытка восторга, - сму никогда не удается высказать съ накоторой ясностью, за что же именно онъ цънитъ Островскаго. Мы читали его статьи и никакъ не могли добиться толку. Между тъмъ, разбирая "Грозу", г. Григорьевъ посвящаетъ намъ нъсколько страничекъ и обвиняетъ насъ въ томъ, что мы прицъпили ярлычки къ лицамъ комедій Островскаго, раздълили всъ ихъ на два разряда: самодуровъ и забитыхъ личностей, и, въ развитіи отношеній между ними, обычныхъ въ купеческомъ быту, заключили все дело нашего комика. Высказавъ это обвиненіе, г. Григорьевъ воскляцаетъ, что нѣтъ, не въ этомъ состоитъ особенность и заслуга Островскаго, а въ народности. Но въ чемъ же состоитъ народность, — г. Григорьевъ не объясняетъ, и потому его реплика показалась намъ очень забавною. Какъ будто мы не признавали народности у Островскаго! Да мы именно съ нея и начали, ею про-

должали и кончили. Мы искали, какъ и насколько произведенія Островскаго служатъ выражениемъ народной жизни, народнихъ стремлений: что это, какъ не народность? Только что мы не кричали про нее съ волклицательными знаками черезъ каждыя двф строки, а постарались опредфлить ея содержание, чего г. Григорьеву не заблагоразсудилось ни разу сдълать. А еслибъ онъ это попробовалъ, то, можетъ быть, пришелъ бы къ тымь же результатамь, которые осуждаеть у нась, и не сталь бы попусту обвинять насъ, будто мы заслугу Островскаго заключаемъ въ върномъ изображении семейныхъ отношений купцовъ, живущихъ по-старинъ. Всякій, кто читаль наши статьи, могь видіть, что мы вовсе не кунцовъ только имфли въ виду, указывая на основныя черты отношевій, господствующихъ въ нашемъ бытъ, и такъ хорошо воспроизведенныхъ въ комедіяхъ Островскаго. Современныя стремленія русской жизни, въ самых в обширных в размърахъ, находятъ свое выражение въ Островскомъ, какъ комикъ, съ от-рицательной стороны. Рисуя намъ въ яркой картинъ ложныя отношения, со всеми ихъ последствіями, онъ черезъ то самое служить отголоскомъ стремленій, требующихъ лучшаго устройства. Произволъ съ одной стороны и недостатокъ сознанія правъ своей личности съ другой, — вотъ основанія, на которыхъ держится все безобразіе вланиныхъ отношеній, развиваемыхъ въ большей части комедій Островскаго; требованія права, законности, уваженія къ человѣку—вотъ что слышится каждому внимательному читателю изъ глубины этого безобразія. Что же, развів вы станете отрицать обширное значение этихъ требований въ русской жизни? Разв'в вы не сознаетесь, что подобный фонъ комедій соотв'ятствуеть состоянію русскаго общества болве, нежели какого бы то ни было другого въ Европъ Возьмите исторію, вспомните свою жизнь, оглянитесь вокругъ стбя, вы вездъ найдете оправдание нашихъ словъ. Не мъсто здъсь пускаться намъ въ историческія изысканія; довольно замѣтить, что наша исторія до нов'яйшихъ временъ не способствовала у насъ развитію чувства законности (съ чтиъ и г. Пироговъ согласенъ; зри — Положеніе о наказаніяхъ въ Кіевскомъ округѣ), не создавала прочныхъ гарантій для личности и давала обширное поле произволу. Такого рода историческое развитіе, разумвется, имело следствіемъ упадокъ правственности общественной: уважение къ собственному достоинству потерялось, въра въ право, а слъдовательно, и сознание долга - ослабли, произволъ попиралъ право, подъ произволъ подтачивалась хитрость. Нъкоторые писатели. лишенные чутья нормальныхъ потребностей и сбитые съ толку искусственными комбинаціями, признавая эти несомнънные факты, хотъли ихъ узаконить, прославить, какъ норму жизни, а не какъ искажение естественныхъ стремлений. произведенное неблагопріятнымъ всторическимъ развитіемъ. Такъ, напримфръ, произволъ хотъли присвоить русскому человъку, какъ особевное, естественное качество его природы — подъ названіемъ "широты натуры"; илутовство и хитрость тоже хотъли узаконить въ русскомъ народъ полъ названіемъ смътливости и лукавства. Нъкоторые критики хотъли даже въ Островскомъ видъть пъвца широкихъ русскихъ натуръ; оттого-то и поднято было однажды такое бъснованіе изъ-за Любима Торцова, выше котораго ничего не находили у нашего автора. Но Островскій, какъ человъкъ съ сильнымъ талантомъ и, слъдовательно, съ чутьемъ истини, съ инстинктивною наклонностью къ естественнымъ, здравымъ требованіямъ, не могъ поддаться искушенію, и произволъ, даже самый широкій, всегда выходилъ у него, сообразно дъйствительности, произволомъ, тяжельнуъ, безобразнымъ, беззаконнымъ. — и въ сущности пьесы всегда слышался протестъ противъ него. Онъ умълъ почувствовать, что такое значить подоблая широта натуры, и заклеймилъ, ошельмовалъ ее нъсколькими тинами и названіемъ самодурства.

Но не очъ сочинилъ эти типы, такъ точно, какъ не онъ выдумалъ и слово "самодуръ". То и другое взялъ онъ въ самой жизни. Исно, что жизнь, давшая матеріалы для такихъ комическихъ положеній, въ какихъ ставятся часто самодуры Островскаго, жизнь, давшая имъ и приличное названіе, не поглощена уже вся ихъ вліяніемъ, а заключаетъ въ себъ задатки болве разумнаго, законнаго, правильнаго порядка двлъ. И двиствительно, послё каждой пьесы Островского, каждый чувствуеть внутри себя это сознание, и, оглядиваясь кругомъ себя, замъчаеть то же въ другихъ. Следя пристальные за этой мыслью, всматриваясь въ нее дольше и глубже. замъчаень, что это стремление въ новому, болье естественному устройству отношеній заключаеть въ себъ сущность всего, что мы называемъ прогрессомъ, составляетъ прямую задачу нашего развитія, поглощаетъ всю работу новыхъ покольній. Куда вы ни оглянитесь, везд'я вы видите пробужденіе личности, предъявление ею своихъ законныхъ правъ, протестъ противъ насилія и произвола, большею частью еще робкій, неопределенный, готовый спрятаться, но все-таки уже дающій замітить свое существованіе. Возьмите хоть законодательную и административную сторону, которая хотя въ частныхъ своихъ проявленіяхъ всегда имветъ много случайнаго, но въ общемъ своемъ характеръ все-таки служитъ указателемъ положенія народа. Особенно этотъ указатель въренъ тогда, когда законодательныя итры запечатлвны характеромъ льготъ, уступокъ и расширенія правъ. Мвры обременительныя, стёсняющія народъ въ его правахъ, могуть быть вызваны, вопреви требованію народной жизни, просто действіемь произвола, сообразно выгодамъ привилегированнаго меньшинства, которое пользуется стъснениемъ другихъ; но мъры, которыми уменьшаются привилегіи и расширяются

общія права, не могуть имъть свое начало ни въ чемъ иномъ, какъ въ прямыхъ и неотступныхъ требованіяхъ народной жизни, неотразимо дъйствующихъ на привилегированное меньшинство, даже вопреки его личнымъ, непосредственнымъ выгодамъ. Взгляните же, что у насъ дълается въ этомъ отношения: крестьяне освобождаются, и сами помъщики, утверждавшіе прежде, что еще рано давать свободу мужику, теперь убъждаются и сознаются, что пора развязаться съ этимъ вопросомъ, что онъ дъйствительно созр'влъ въ народномъ сознаніи... А что же иное лежить въ основаніи этого вопроса, какъ не уменьшеніе произвола и не возвышеніе правъ человъческой личности? То же самое и во всъхъ другихъ реформахъ и улучшеніяхъ. Въ финансовыхъ реформахъ, во всехъ этихъ коминссіяхъ и комитетахъ, разсуждавшихъ о банкахъ, о податяхъ и пр., что видъло общественное мивніе, чего отъ нихъ надъялось, какъ не опредъленія болье правильной, отчетливой системы финансоваго управленія, и, сл'вдовательно, введенія законности вивсто всякаго произвола? Что заставило предоставить некоторыя права гласности, которой прежде такъ боялись. — что, какъ не сознаніе силы того общаго протеста противъ безправія и произвола, который въ теченіе многихъ літь сложился въ общественномъ митній и, наконецъ, не могъ себя сдерживать? Что сказалось въ полицейскихъ и административныхъ преобразованіяхъ, въ заботахъ о правосудій, вь предположеніяхъ гласнаго судопроизводства, въ уменьшеній строгостей къ раскольникамъ, въ самомъ уничтожении откуповъ?.. Мы не говоримъ о практическомъ значени всехъ этихъ меръ, мы только утверждаемъ, что самая попытка приступить къ нимъ доказываетъ сильное развитие той общей идеи, на которую мы указали: хотя бы всв онв рушились или остались безуспъщными, это бы могло показать только - недостаточность или ложность средствъ, принятыхъ для ихъ исполненія, но не могло бы свидътельствовать противъ потребностей, ихъ вызвавшихъ. Существование этихъ требованій такъ ясно, что въ литературъ нашей они выразились немедленно, какъ только оказалась фактическая возможность ихъ проявленія. Сказались они и въ комедіяхъ Островскаго, съ полнотою и силою, какую мы встрачали у немногихъ авторовъ. Но не въ одной только степени силы достоинство комедій его: для насъ важно и то, что онъ нашелъ сущность общихъ требованій жизни еще въ то время, когда они были скрыты и высказывались весьма немногими и весьма слабо. Первая его пьеса появилась въ 1847 году; извъстно, что съ того времени до послъднихъ годовъ, даже лучшіе наши авторы почти потеряли следъ естественныхъ стремленій народныхъ и даже стали сомніваться въ ихъ существованіи, а если иногда и чувствовали ихъ въяніе, то очень слабо, неопредъленно. только въ какихъ-нибудь частныхъ случаяхъ, и, за немногими исключе-

ніями, почти никогда не умъли найти для нихъ истиннаго и приличнаго выраженія. Общее положеніе отразилось, разумфется, отчасти и на Островскомъ; оно, можетъ быть, во многомъ объясляетъ ту долю неопредвленности изкоторыхъ его пьесъ, которая подала поводъ къ такимъ напад-камъ на него въ началъ питидесятыхъ годовъ. Но теперь, внимательно соображая совокупность его произведеній, мы находимъ, что чутье истинныхъ потребностей и стремленій русской жизни никогда не оставляло его; оно иногда и не показывалось на первый взглядъ, но всегда находилось въ корив его произведеній. За то — кто хотвлъ безпристрастно доискаться коренного ихъ смысла, тотъ воегда могъ найти, что дело въ нихъ представляется не съ поверхности, а съ самаго кория. Эта черта удерживаетъ произведенія Островскаго на ихъ высотв и теперь, когда уже всв стараются выражать тв же стремленія, которыя мы находимъ въ его пьесахъ. Чтобы не распространяться объ этомъ, замътимъ одно: требование права, уважение личности, протестъ противъ насилия и произвола вы на одите во множествъ нашихъ литературныхъ произведеній последнихъ леть; во въ нихъ, большею частью, д'яло не проведено жизненнымъ, практическимъ образомъ, почувствована отвлеченная, философская сторона вопроса и изъ нея все выведено: указывается право, а оставляется безъ вниманія реальная возможность. У Островскаго не то: у него вы находите не только нравственную, но и житейскую, экономическую сторону вопроса, а въ этомъто и сущность дъла. У него вы ясно видите, какъ самодурство опирается на толстой мошнѣ, которую называетъ "Божіимъ благословеніемъ", и какъ безотвътность людей передъ нимъ опредъляется матеріальною отъ него зависимостью. Мало того, вы видите, какъ эта матеріальная сторона во всъхъ житейскихъ отношеніяхъ господствуетъ надъ отвлеченною, и какъ люди, лишенные матеріальнаго обезпеченія, мало ценять отвлеченныя права и даже теряють ясное сознание о нихъ. Въ самонь деле, сытый человъкъ можетъ разсуждать хладнокровно и умно, следуетъ-ли ему есть такое-то кушанье; но голодный рвет я къ пищь, гдь ни завидить ее и какова бы она ни была. Это явленіе, повторяющееся во всехъ сферахъ общественной жизни, хорошо замъчено и понято Островскимъ, и его пьесы яснъе всякихъ разсужденій показывають внимательному читателю, какъ система безправія и грубаго, мелочного эгоизма, водворенная самодурствомъ, прививается и къ темъ самымъ, которые отъ него страдаютъ; какъ они, если мало-мальски сохраняють въ себъ остатки энергіи, стараются употребить ее на пріобрътеніе возможности жить самостоятельно, и уже не разбирають при этомъ ни средствъ, ни правъ. Мы слишкомъ подробно развивали эту тему въ прежнихъ статьяхъ нашихъ, чтобы опять къ ней возвращаться; притомъ же мы, припомнивши стороны таланта Островскаго, которыя повторялись въ "Грозъ", какъ и въ прежнихъ его произведеніяхъ, должны все-таки сдълать коротенькій обзоръ самой пьесы и показать, какъ мы ее понимаемъ.

По настоящему, этого бы и не нужно; но критики, до сихъ поръ написанныя на "Грозу", показывають намъ, что наши замъчанія не будуть лишни.

Уже и въ прежнихъ пьесахъ Островскаго мы замъчали, что это не комедіи интригъ и не комедіи характеровъ собственно, а нъчто новое, чему мы дали бы название "пьесъ жизни", если бы это не было слишкомъ обширно и потому не совству опредъленно. Мы хотимъ сказать, что у него на первомъ планъ является всегда общая, независящая ни отъ кого изъ дъйствующихъ лицъ, обстановка жизни. Онъ не караетъ ни злодвя, ни жертву; оба они жалки вамъ, неръдко оба смъшвы, но не на нихъ непосредственно обращается чувство, возбуждаемое въ васъ пьесою. Вы видите, что ихъ положение господствуетъ надъ ними, и вы вините ихъ только въ томъ, что они не выказывають достаточно энергів для того, чтобы выйти изъ этого положенія. Сами са модуры, противъ котерыхъ естественно должно возмущаться ваше чувство, по внимательномъ разсмотрении, оказываются болъе достойны сожальнія, нежели вашей злости: они и добродътельны и даже умны по своему, въ пределахъ, предписанныхъ имъ рутиною и полдерживаемыхъ ихъ положениемъ; но положение это таково, что въ немъ невозможно полное, здоровое человъческое развитие. Мы видъли это особенно въ анализъ характера Русакова.

Такимъ образомъ, борьба, требуемая теорією отъ драмы, совершается въ пьесахъ Островскаго не въ монологахъ дъйствующихъ лицъ, а въ фактахъ, господствующихъ надъ ними. Часто сами персонажи комедін не имъють яснаго или и вовсе никакого сознанія о смысл'я своего положенія и своей борьбы; но за то борьба весьма отчетливо и сознательно совершается въ душъ зрителя, который невольно возмущается противъ положенія, порожлающаго такіе факты. И вотъ почему мы никакъ не решаемся считать ненужными и лишними тв лица пьесъ Островскаго, которыя не участвуютъ прямо въ интригв. Съ нашей точки зрвнія, эти лица столько же необходимы для пьесы, какъ и главныя: они показывають намъ ту обстановку, въ которой совершается действіе, рисують положеніе, которымь определяется смыслъ двятельности главныхъ персонажей пьесы. Чтобы хорошо узнать свойства жизни растенія, надо изучать его на той почві, на которой оно растетъ; оторвавши его отъ почвы, вы будете имъть форму растенія, но не узнаете вполнъ его жизни. Точно такъ не узнаете вы жизни общества, если вы будете разсматривать ее только въ непосредственныхъ отношеніяхъ нівсколькихъ лицъ, пришедшихъ почему пибудь въ столкновеніе другъ съ другомъ: тутъ будетъ только дѣловая, оффиціальная сторона жизни, между тѣмъ какъ намъ нужна будничная ея обстановка. Посторонніе, недѣятельные участники жизненной драмы, повидимому заиятые только своимъ дѣломъ каждый, — имѣютъ часто однимъ своимъ существованіемъ такое вліяніе на ходъ дѣла, что его ничѣмъ и отразить нельзя. Сколько горячихъ идей, сколько обширныхъ плановъ, сколько восторженныхъ порывовъ рушится при одномъ взглядѣ на равнодушную, прозаическую толцу, съ презрительнымъ индифферентизмомъ проходящую мимо насъ! Сколько чистыхъ и добрыхъ чувствъ замираетъ въ насъ, изъ боязни, чтобы не быть осмѣяннымъ и поруганнымъ этой толиой! А съ другой стороны, и сколько преступленій, сколько порывовъ произвола и насилія останавливается предъ рѣшеніемъ этой толиы, всегда какъ будто равнодушной и податливой, но въ сущности весьма неуступчивой въ томъ, что разъ ею признано. Поэтому, чрезвычайно важно для насъ знать, каковы понятія этой толиы о добрѣ и злѣ, что у ней считается за истину и что за ложь. Этимъ опредѣляется нашъ взглядъ на положеніе, въ какомъ находятся главныя лица пьесы, а, слѣдовательно, и степень нашего участія къ нимъ.

Въ "Грозъ" особенно видна необходимость такъ-называемыхъ "не-нужныхъ" лицъ: безъ нихъ мы не можемъ понять лица героини и легко можемъ исказить смыслъ всей пьесы, что и случилось съ большею частью критиковъ. Можетъ быть, намъ скажутъ, что все-таки авторъ виноватъ, если его такъ легко не понять; но им замътимъ на это, что авторъ пишетъ для публики, а публика, если не сразу овладъваетъ вполнъ сущностью его пьесъ, то и не искажаетъ ихъ смысла. Что же касается до того, что нъкоторыя подробности могли быть отдъланы лучше, — мы за это не сто-ямъ. Безъ сомпънія, могильщики въ "Гамлетъ" болье кстати и ближе связаны съ ходомъ дъйствія, нежели, напримъръ, полусумасшедшая барыня въ "Грозъ"; но мы въдь не то толкуемъ, что нашъ авторъ — Шекспиръ, а только то, что его постороннія лица имъютъ резонъ своего появленія и оказываются даже необходимыми для полноты пьесы, разсматриваемой, какъ она есть, а не въ смыслѣ абсолютнаго совершенства.

"Гроза", какъ вы знаете, представляеть намъ идиллію "темнаго царства", которое мало - по - малу освъщаеть намъ Островскій своимъ талантомъ. Люди, которыхъ вы здёсь видите, живутъ въ благословенняхъ мъстахъ: городъ стоить на берегу Волги, весь въ зелени; съ крутыхъ береговъ видны далекія пространства, покрытыя селеньями и нивами; лѣтній благодатный день такъ и манитъ на берегъ, на воздухъ, подъ открытое небо, подъ этотъ вѣтерокъ, освѣжительно вѣющій съ Волги... И жители, точно, гуляютъ иногда по бульвару надъ рѣкой, хоть ужъ и приглядѣлись

къ красотамъ волжскихъ видовъ; вечеромъ сидятъ на заваленкахъ у воротъ и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проподятъ время у себя дома, занимаются хозяйствомъ, кушаютъ, спятъ, — спать ложатся очень рано, такъ что непривычному человъку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задають себь. Но что же имъ дълать, какъ не спать, когда они сыты? Ихъ жизнь течетъ такъ ровно и мирно, пикакіе интересы міра ихъ не тревожать, потому что не доходять до нихъ; царства могутъ рушиться, новыя стравы открываться, лицо земли можеть измъняться, какъ ему угодно, міръ можеть начать новую жизнь на новыхъ началахъ, — обитатели городка Калинова будутъ себъ существовать попрежнему въ поливищемъ невъдвин объ остальномъ мірв. Изръдка забъжить въ нимъ неопредъленний слухъ, что Наполеонъ съ двадесятью языкъ опять подымается, или что антихристъ народился; но и это ови принимаютъ болъе какъ курьезную штуку, въ родъ въсти о томъ, что есть страны, гдъ всъ люди съ песьими головами: покачаютъ головой, выразятъ удивленіе къ чудесамъ природы, и пойдуть себъ закусить... Смолоду ещо показывають нъкоторую любознательность, но пищи взять ей неоткуда: свъдънія заходять къ нимъ, точно въ древней Руси временъ Даніила Паломника, только отъ странницъ, да и тъхъ ужъ нынче вемного настоящихъто, приходится довольствоваться такими, которыя "сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слыхать много слыхали", какъ Оеклуша въ "Грозъ". Отъ нихъ только и узнаютъ жители Калинова о томъ, что на свътъ дълается; иначе они думали бы, что весь свътъ таковъ же, какъ и ихъ Калиновъ, и что иначе жить, чемъ они, совершенно невозможно. Но и сведънія, сообщаемыя Оеклушами, таковы, что неспособны внушить большого желанія промънять свою жизнь на иную. Оеклуша принадлежить къ партіи патріотической и въ высшей степени консервативной; ей хорошо среди благочестивыхъ и наивныхъ калиновцевъ: ее и почитаютъ, и угощаютъ, и снабжають всёмь нужнымь; она пресерьезно можеть увёрять, что самые гръшки ея происходять отъ того, что она выше прочихъ смертныхъ: "простыхъ людей, -- говоритъ, -- каждаго одинъ врагъ смущаетъ, а къ намъ, страннымъ людямъ, къ кому шесть, къ кому двѣнадцать приставлено, вотъ и надо ихъ всѣхъ побороть". И ей вѣрятъ. Ясно, что простой инстинктъ самосохраненія долженъ заставить ее не сказать хорошаго слова о томъ, что въ другихъ земляхъ дълается. И въ самомъ дълъ, прислушайтесь къ разговорамъ купечества, мѣщанства, мелкаго чиновничества въ уѣздной глуши, — сколько удявительныхъ свѣдѣній о невѣрныхъ и погавыхъ царствахъ, сколько разсказовъ о тѣхъ временахъ, когда людей жгли и мучили, когда разбойники города грабили и т. п., — и какъ мало свѣдѣній о европейской жизни, о лучшемъ устройствѣ быта! Даже въ такъ - называемомъ образованномъ обществъ, въ объевропенвшихся людяхъ, на множество энтузіастовъ, восхищающихся новыми парижскими улицами и мобилемъ, развъ вы не найдете почти такое же множество солиднихъ цѣнителей, которые запугиваютъ своихъ слушателей тѣмъ, что нигдъ, кромъ Австріи, во всей Европъ порядка нѣтъ, и никакой управы найти нельзя!.. Все это и ведетъ къ тому, что Оеклуша высказываетъ такъ положительно "бла - алѣпіе, милая, бла - алѣпіе, красота дивная! Да что ужъ и говорить, — въ обътованной землъ живете! "Оно несомнънно такъ и выходитъ, какъ сообразить, что въ другихъ - то земляхъ дѣлается. Послушайте-ка Оеклушу:

«Говорять, такія страны есть, милая дівушка, гді и парей-то ніть православныхь, а салтаны землей правять. Въ одной земль сидить на троні, салтань Махнуть туренкій, а въ другой—салтань Махнуть персидскій: и судь творять они, милая дівушка, надь всіми людьми, и что ни судять они, все неправильно. И не могуть они, милая дівушка, ни одного ліла разсудить праведно, —такой ужь имъ преділь положень. У насъ законъ праведный, а у нихь, милая, неправедный: что по нашему закону такъ выходить, а по ихнему все напротивъ. И всь судьи у нихъ, въ ихнихь странахъ, тоже все неправедныс: такъ имъ, милая дівушка, и въ просьбахъ пишуть: «суди меня, судья неправедный!» А то есть еще земли, гль псь люди съ песьими головами».

"За что же такъ съ песьими" вспрашиваетъ Глаша. "За невърность", коротко отвъчаетъ Өеклуша, считая всякія дальнъйшія объясненія излишними. Но Глаша и тому рада: въ томительномъ однообразіи ея жизни и мысли, ей пріятно услышать сколько-нибудь новое и оригинальное. Въ ея душъ смутно пробуждается уже мысль, что вотъ, однако же. живутъ люди и не такъ, какъ мы; оно, конечно, у насъ лучше, а впрочемъ, кто ихъ знаетъ! Въдь и у насъ нехорошо; а про тъ земли то мы еще и не знаемъ хорошенько; вое-что только услышишь отъ добрыхъ людей ... И желаніе знать побольше да поосновательные закрадывается въ душу. Это для насъ ясно изъ словъ Глаши, по уходъ странияци: "вотъ еще какія земли есть! Какихъ-то, какихъ-то чудесъ на свёте неть! А мы туть сидимъ, ничего не знаемъ. Еще хорошо, что добрые люди есть: нътъ, нътъ, да и услышишь, что на бъломъ свъть дълается; а то бы такъ дураками и померли". Какъ видите, неправедность и невърность чужихъ земель не возбуждаетъ въ Глашъ ужаса и негодованія; ее занимаеть только новое свъдъніе, которое представляется ей чемъ-то загадочнымъ. — "чудесами", какъ она выражается. Вы видите, что она не довольствуется объясненіями Өеклүши, которыя возбуждають въ ней только сожальние о своемъ невъжествъ. Она, очевидно, на полдорогѣ къ скептицизму. Но гдѣ-жъ ей сохранить свое недовфріе, когда оно безпрестанно подрывается разсказами, подобными Өеклушинымъ Какъ ей дойти до правильныхъ понятій, даже просто до разумныхъ вопросовъ, когда ея любознательность заперта въ такомъ кругъ,

который очерченъ около нея въ городъ Калиновъ? Да еще мало того, какъ бы она осмълилась не върить да допытываться, когда старшіе и лучшіе люди такъ положительно успокоиваются въ убъжденіи, что принятыя ими понятія и образъ жизни — наилучшіе въ мірѣ, и что все новое происходить отъ нечистой силы? Страшна и тяжела дли каждаго новичка понытка идти наперскоръ требованіямъ и убъжденіямъ этой темной массы, ужасной въ своей наивности и искренности. В вдь ота проклянеть насъ, будеть бъгать, какъ зачумленныхъ, -- не по злобъ, не по разсчетамъ, а по глубовому убъжденію въ томъ, что мы сродни антихристу; хорошо еще, если только полоумнымъ сочтетъ и будеть подсмъиваться... Она ищетъ званія, любить разсуждать, но только въ извъстныхъ предълахъ. предписанныхъ ей основными понятіями, въ которыхъ путается разсудокъ. Вы можете сообщить калиновскимъ жителямъ нѣкоторыя географическія знаможете сообщить калиновскимъ жителямъ нѣкоторыя географическія знанія; но не касайтесь того, что земля на трехъ китахъ стоитъ и что въ
Іерусалимѣ есть пунъ земли — этого они вамъ не уступятъ, хотя о пунѣ
земли имѣютъ такое же ясное понятіе. какъ о Литвѣ, въ "Грозѣ". — "Это,
братецъ ты мой, что такое!" спрашиваеть одинъ мирный гражданинъ у
другого, показывая на картину. — "А это литовское разореніе, отвъчаетъ
тотъ. — Битва! видишь! Какъ наши съ Литвой бились". — "Что жъ это
такое Литва!" — "Такъ она Литва и есть", отвъчаетъ объясняющій. —
"А говорятъ, братецъ ты мой, она на насъ съ неба упала", продолжаетъ
первый; но собесѣднику его мало до того нужды: "ну съ неба, такъ съ
неба", отвъчаетъ онъ... Тутъ женщина вмѣшивается въ разговоръ: "толкуй еще! Всѣ знаютъ, что съ неба: и гъѣ былъ какой бой съ ней, тамъ для куй еще! Всв знають, что съ неба; и гдъ быль какой бой съ ней, тамъ для намяти курганы насынаны". — "А что, братецъ ты мой! Въдь это такъ точно!" восклицаеть вопрошатель, вполнъ удовлетворенный. И послъ этого спросите его, что опъ думаеть о Литвъ! Подобный исходъ имъють всъ вопросы, задаваемие здась людямъ естественной любознательностью. И это вовсе не оттого, чтобы люди эти были глупве, безтолков ве мяогихъ другихъ, которыхъ мы встръчаемъ въ академіяхъ и ученыхъ обществахъ. Неть, все дело въ томъ, что они своимъ положениемъ, своею жизнью подъ гнетомъ произвола, всв пручены уже видъть безотчетность и безмысленность, и потому находять неловкимь и даже дерзкимь пастойчиво доискиваться разумныхь основаній въ чемь бы то ни быле. Задать вопрось, на это ихъ еще станетъ; но если отвътъ будетъ таковъ. что "пушка сама по себъ, а мортира сама по себъ", то они уже не смъютъ пытать дальше и смиренно довольствуются даннымъ объясненіемъ. Секретъ подобнаго равнодушія къ логик ваключается прежде всего въ отсутствіи всякой логичности въ жизненных отношеніяхъ. Ключь этой тайны даетъ намъ, напримъръ, слъдующая реплика Дикого, въ "Грозъ". Кулигинъ, въ отвътъ

на его грубости, говоритъ: "за что, сударь, Савелъ Прокофычть, честнаго человъка обижать изволите?" Дикой отвъчаетъ вотъ что:

«Отчеть, что-ли, я стану тебі давать? Я и поважите тебя некому отчета не даю. Хочу такь думать о тебь, такъ и думаю. Для другихь ты честный человікь, а я думаю, что ты разбойникь,—воть и все. Хотілось тебі это слышать огь меня? Такъ воть слушай! Говорю, что разбойникь, и конець! Что-жъ ты судаться, что-ли, со мной будещь? Такъ ты знай, что ты червякь. Захочу— помилую, захочу—раздавлю».

Какое теоретическое разсуждение можетъ устоять тамъ, гдф жизнь основана на такихъ началахъ! Отсутствие всякаго закона, всякой логики --воть законъ и логика этой жизни. Это не анархія, но нечто еще гораздо худшее (хотя воображение образованнаго европейца и не умъетъ представить себь ничего хуже анархіи). Въ анархін такъ ужъ и пъть пикакого начала: всякъ молодецъ на свой образецъ, никто никому не указъ. всякій на приказаніе другого можеть отвічать, что я, моль, тебя знать не хочу, и, такимъ образомъ, всв озорничаютъ и ни въчемъ согласиться не могутъ. Положение общества, подверженнаго такой анархіи (если только она возможна), дъйствительно ужасно. Но вообразите, что это самое анархическое общество разделилось на две части: - одна оставила за собою право озорничать и не знать викакого закона, а другая принуждена признавать закономъ всякую претензію первой и безропотно сиссить всё ся капризи, всъ безобразія... Не правда-ли, что это было бы еще ужаснъе? Анархія осталась бы та же, потому что въ обществъ все-таки разумныхъ началъ не было бы, озорничества продолжались бы попрежнему; но половина людей принуждена была бы страдать отъ нихъ и постоянно питать ихъ собою. своимъ смиреніемъ и угодливостью. Ясно, что при такихъ условіяхъ озорничество и беззаконіе приняли бы такіе разміры, каких в никогда не могли бы они имъть при всеобщей анархіи. Въ самомъ дълъ, что ни говорите, а человъкъ одинъ, предоставленный самому себъ, не много надуритъ въ обществъ и очень скоро почувствуетъ необходимость согласиться и сговориться съ другими въ видахъ общей пользы. Но никогда этой необходимости не полувствуетъ человъкъ, если онъ во множествъ подобныхъ себъ находить обширное поле для упражненія своихъ капризовъ, и если въ ихъ зависимомъ, униженномъ положени видить постоянное подкръпление своего самодурства. Такимъ образомъ, имъя общимъ съ анархіею отсутствіе всякаго закона и права, обязательнаго для всёхъ, самодурство въ сущности несравненно ужаснъе анархіи, потому что даетъ озорничеству больше средствъ и простора и заставляетъ страдать большее число людей. — и опасиве ея еще въ томъ отношенія, что можеть держаться гораздо дольше. Анархія (повторимъ, если только она возможна вообще) можетъ служить только переходнымъ моментомъ, который самъ себя съ каждымъ шагомъ

долженъ образумливать и приводить къ чему-нибудь болъе здравому; самодурство, напротивъ, стремится узаконить себя и установить, какъ незыблемую систему. Оттого оно, вмъстъ съ такимъ широкамъ понятіемъ о своей собственной свободь, старается, однако же, принять всъ возложным мъры, чтобы оставить эту свободу навсегда только за собой, чтобы оградить себя отъ всякихъ дерзкихъ попитокъ. Для достиженія этой цъли оно признаетъ какъ будто нъкотормя высшія требованія, и хотя само противъ нихъ тоже проступается, по предъ другими стоитъ за нихъ твердо. Нъсколько минутъ спусти послъ реплики, въ которой Дикой такъ ръшительно отвергалъ, въ пользу собственнаго каприза, всъ нравственныя и логическія основанія для сужденія о человъкъ, — этотъ же самый Дикой напускается на Кулигина, когда тотъ, для объясненія грозы, выговорилъ слово электричество. "Ну, какъ же ты не разбойникъ, — кричитъ онъ: — гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобъ мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Госноди, оборониться. Что ты, татаринъ, что-ли? Татаринъ ты? А, говори: татаринъ? И ужъ тутъ Кулигинъ не смъсть отвътить ему: "хочу такъ думать и думаю, и никто мнъ не указъ". Куда тебъ, — онъ и объясненій то своихъ представить не можетъ: принимаютъ съ ругательствами, да и говорить то не даютъ. Поневолъ тутъ резонировать перестанешь, когда на всякій резонъ кулакъ отвъчаетъ, и всегда въ концъ концовъ кулакъ остается правымъ...

Но — чудное дъло! — въ своемъ непререкаемомъ, безотвътственномъ темновъ владычествъ, давая полную свободу своимъ прихотямъ, ставя ни по что всякіе законы и логику, самодуры русской жизни начинаютъ, однако же, ощущать какое-то недовольство и страхъ, сами не зная, передъ чтиъ и почему. Все, кажется, попрежнему, все хорошо: Дикой ругаетъ, кого хочетъ; когда ему говорятъ: "какъ это на тебя никто въ целомъ доме угодить не можеть! "-онъ самодовольно отвъчаеть: "воть поди-жъ ты!" Кабанова держить попрежнему въ страхъ своихъ дътей, заставляетъ невъстку соблюдать всъ этикеты старины, ъстъ ее, какъ ржа жельзо, считаетъ себя вполнъ непогръшимой и ублажается разными Өеклушани. А все какъ-то неспокойно, нехорошо имъ. Понимо ихъ, не спросясь ихъ, выросла другая жизнь, съ другими началами, и хоть далеко она. еще и не видна хорошенько, но уже даеть себя предчувствовать и посылаеть нехорошія виденія темному произволу самодуровъ. Они ожесточенно ищуть своего врага, готовы напуститься на самаго невиннаго, на какого-нибудь Кулигина; но нътъ ни врага, ни виновнаго, котораго могли бы они уничтожить: законъ времени, законъ природы и исторіи беретъ свое, и тяжело дышутъ старые Кабановы, чувствуя, что есть сила выше ихъ, которой они одольть не могуть, къ которой даже и подступить не знають какъ. Они не хотять уступать (да никто покаместь и не требуеть оть нихъ устуцокъ), но съёживаются, сокращаются; прежде они хотвли утвердить свою систему жизни на ввки нерушимую, и теперь тоже стараются проповъдывать; но уже надежда изминяеть имъ и они въ сущности хлопочуть только о томъ, какъ бы на ихъ въкъ стало... Кабанова разсуждаетъ о томъ, что "послъднія времена приходятъ", и когда Өеклуша разсказываеть ей о разныхъ ужасахъ настоящаго времени — о желъзныхъ дорогахъ и т. п., она пророчески замъчаетъ: "и хуже, милая, будетъ". — Намъ бы только не дожить до этого, со вздохомъ отвъчаетъ Өеклуша. — "Можетъ и доживемъ", фаталистически говорить опять Кабалова, обнаруживая свои сомнънія и неувъренность. А отчего она тревожится? Народъ по желъзнымъ дорогамъ вздитъ, - да ей то что отъ этого? А вотъ видите-ли: она, "хоть ты ее всю золотомъ осынь", не повдеть по дьявольскому изобрътенію; а народъ вздить все больше и больше, не обращая вниманія на ея проклятія; разв'в это не грустно, разв'в не служить свид'втельствомъ ея безсилія? Объ электричеств'в пров'ядали люди, - кажется, что туть обиднаго для Дикихъ и Кабановыхъ? Но видите-ли, Дикой говорить, что "гроза въ наказанье намъ посылается, чтобъ мы чувствовали", а Кулигинъ не чувствуетъ, или чувствуетъ совсемъ не то, и толкуетъ объ электричествъ. Развъ это не своеволіе, не пренебреженіе власти и значенія Дикого? Не хотять върить тому, чему онь върить, - значить, и ему не върять, считають себя умиве его; разсудите, къ чему же это поведеть? Не даромъ Кабанова замвчаетъ о Кулигинв: "вотъ времена-то пришли. какіе учители проявились! Коли старикъ такъ разсуждаетъ, чего ужъ отъ молодыхъ-то требовать! " и Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старыхъ порядковъ, съ которыми она въкъ изжила. Она предвидить конець ихъ, старается поддержать ихъ значене, но уже чувствуетъ, что нътъ къ нимъ прежняго почтенія, что ихъ сохраняють уже неохотно, только поневоль, и что при первой возможности ихъ бросять. Она уже и сама какъ-то потеряла часть своего рыцарскаго жара; уже не съпрежней энергіей заботится она о соблюденій старыхъ обычаевъ, во многихъ случаяхъ она ужъ махнула рукой, поникла предъ невозможностью остановить потокъ, и только съ отчанниемъ смотритъ, какъ онъ затопляетъ мало-помалу пестрые цвътники ен прихотливыхъ суевърій. Точно последніе язычники предъ силою христіанства, такъ поникаютъ и стираются порожденія самодуровъ, застигнутыя ходомъ новой жизни. Даже решимости вступить на прямую открытую борьбу въ нихъ нетъ; они только стараются какънибудь обмануть время, да разливаются въ безплодныхъ жалобахъ на новое движеніе. Жалобы эти всегда слышались отъ стариковъ, потому что всегда новыя покольнія вносили въ жизнь что-нибудь новое, противное

прежнимъ порядкамъ; но теперь жалобы самодуровъ принимаютъ какойто особенно мрачный, похоронный тонъ. Кабанова только тъмъ и утъщается, что еще какъ-нибудь, съ ея помощью, пролипятъ старые порядки до ен смерти; а тамъ, пусть будетъ, что угодно, — она ужъ не увидитъ. Провожая сына въ дорогу, она замъчаетъ, что все дълается не такъ, какъ нужно по ея: сынъ ей и въ ноги не кланяется, — надо этого именно потребовать отъ него, а самъ не догадался; и женъ своей онъ не "приказываетъ", какъ житъ безъ него, да и не умъетъ приказатъ, и при прощаньи не требуетъ отъ нея земного поклона; и невъстка, проводивши мужа, не воетъ и не лежитъ на крыльцъ, чтобы показать свою любовь. По возможности, Кабанова старает и водворить порядокъ, но уже чувствуетъ, что невозможно вести дъло совершенно по-старинъ; напримъръ, относительно вытъя на крыльцъ она уже только замъчаеть невъсткъ въ видъ совъта, но не ръщается настоятельно требовать... За то проводы сына впушаютъ ей такія грустныя размышленія:

«Молодость-то что значить! Смышно смотрыть то даже на няхы! Кабы не свои, насмылась бы досыта. Ничего то не знають, никакого порядка. Проститься-то путемь не умікоть. Хорошо еме, у кою от домо смарше есть. — ими домь-то и держится, пока живы. А амог можее глупые, на свою волю хомять: а выйдуть на волюто, такь и путаются на позорь, на сміхть добрымь людямь. Конечно, кто и пожалість, а больше все сміются. Да не сміяться-то нельзя: гостей ноюкуть—посадить не умікоть, да еще, гляди, позабулуть кого изь родныхь. Сміхь да и голько! Такъто вото старина то и выводится. Въ другой домь и взойта то не хочется. А в взойдешь-то, такъ плюнешь, да вонъ скорье. Уто будеть, какъ старики то перемруть, какъ будеть свыть стоять, ужсь я и не знаю. Ну, да ужсь хоть то хорошо, что не увижу ничего».

Пока старики перемруть, до техъ поръ молодые успеють состареться, - на этотъ счеть старуха могла бы и не безпокоиться. Но ей, видители, важно не то собственно, чтобы всегда было кому смотреть за порядкомъ и научать неопытныхъ; ей нужно, чтобы всегда нерушимо сохраняись именно тв порядки, остались неприкосновенными именно тв понятія, которыя она признаеть хорошими. Въ узости и грубости своего эгоизма, она не можеть возвыситься даже до того, чтобы помириться на торжествъ принцица, хотя бы и съ пожертвованіемъ существующихъ формъ; да и нельзя отъ нея ожидать этого, такъ какъ у нея собственно нътъ никакого принципа, нътъ никакого общаго убъжденія, которое бы управляло ея жизнью. Она въ этомъ случав гораздо ниже того сорта людей, которыхъ принято называть просвещенными консерваторами. Те расширили нъсколько свой эгоизмъ, сливши съ нимъ требование порядка общаго, такъ что для сохраненія порядка они способны даже жертвовать нікоторыми личными вкусами и выгодами. На мъсть Кабановой они бы, напримъръ, не стали предъявлять уродливыхъ и унизительныхъ требованій земныхъ

поклоновъ и оскорбительныхъ "ваказовъ" отъ мужа женъ, а озаботились бы только о сохраненіи общей идеи — что жена должна бояться своего мужа и покорствовать свекрови. Невъстка не испытывала бы такихъ тижелыхъ сценъ, хотя и была бы точно такъ же въ полной зависимости отъ старухи. И результатъ былъ бы тотъ, что какъ бы ни плохо было моло-дой женщипъ, но териъніе ен продолжалось бы несравненно дольше, будучи испытываемо медленнымъ и ровнымъ гнетомъ, нежели когда оно раздражалось ръзкими и жестокими выходками. Отсюда ясно, разунъется, что для самой Кабановой и для тойстарины, которую она защищаетъ, гораздо выгодиве было бы отказаться отъ изкоторыхъ пустыхъ формъ и сдвлать частныя уступки, чтобы удержать сущность дела. Но порода Кабановыхъ не понимаетъ этого: они не дошли даже до того, чтобы представлять или защищать какой-нибудь принципъ внв себя, - они сами принцинъ, и потому все, касающееся ихъ, они признають абсолютно важнымъ. Имъ нужно не только, чтобы ихъ уважали, но чтобъ уважение это выражалось именно въ извъстнихъ формахъ: вотъ еще на какой степеви стоятъ они! Оттого, разумъется, внъшній видъ всего, на что простирается ихъ вліяніе, болье сохраняеть въ себъ старины и кажется болье неполвижнымъ, чемъ тамъ, где люди, отказавшись отъ самодурства, стараются уже только о сохранени сущности своихъ интересовъ и значения; но въ самомъ-то дълъ внутреннее значение самодуровъ гораздо ближе къ своему концу, нежели вліяніе людей, умъющихъ полдерживать себя и свой принцинъ вижшиними уступками. Оттого-то такъ и печальна Кабанова, оттогото такъ и бъщенъ Дикой: они до последняго момента не хотели укоротить своихъ широкихъ замашекъ и теперь находятся въ положеніи богатаго купца наканунъ банкротства. Все у него по прежнему, и праздникъ онъ задаетъ сегодня, и милліонный оборотъ порешиль поутру, и кредить еще не подорванъ; но уже ходять какіе-то темные слухи, что у него нъть наличнаго капитала, что его аферы не надежны, и завтра и всколько кредиторовъ намерены предъявить свои требованія; денегь неть, отсрочки не будеть, и все зданіе шарлатанскаго призрака богатства будеть завтра опрокинуто. — Дъло плохо... Разумъется, въ подобныхъ случаяхъ, купедъ устремляеть всю свою заботу на то, чтобы надуть своихъ кредиторовъ и заставить ихъ върить въ его богатство: такъ точно Кабановы и Дикіе хлопочуть теперь о томъ, чтобы только продолжилась въра въ ихъ силу. Поправить свои дела они ужъ и не разсчетывають; но они знають, что ихъ своевольство еще будеть имать довольно простора до тахъ поръ, пока всъ будутъ робъть передъ ними; и вотъ почему они такъ упорны, такъ высокомфры, такъ грозны даже въ последнія минуты, которыхъ уже немного осталось имъ, какъ они сами чувствуютъ. Чемъ мене чувствують они

дъйствительной силы, тъмъ сильнъе поражаетъ ихъ вліяніе свободнаго, здраваго смысла, доказывающее имъ, что они лишены всякой разунной опоры, тъмъ наглъе и безумнъе отрицаютъ они всякія требованія разума, ставя себя и свой произволь на ихъ мъсто. Наивность, съ которой Дикой говоритъ Кулигину: "хочу считать тебя мощенникомъ, такъ и считаю; и дела мив и втъ до того, что ты честный человекъ, и отчета никому не даю, почему такъ думаю", — эта наивность не могла бы высказаться во всей своей самодурной нелъпости, если бы Кулигинъ не вызвалъ ее скромнымъ запросомъ: "да за что же вы обижаете честнаго человъка?.." Дикой хочетъ, видите, съ перваго же раза оборвать всякую попытку требовать отъ него отчета, хочетъ показать, что онъ выше не только отчетности, но и обыкновенной логики человъческой. Ему кажется, что если онъ признаеть надъ собою законы здраваго смысла, общаго всёмъ людямъ, то его важность сильно пострадаеть отъ этого. И ведь въ большей части случаевъ такъ действительно и выходитъ, — потому что его претензіи бывають противны здравому смыслу. Отсюда и развиваются въ немъ въчное недовольство и раздражительность. Онъ самъ объясняетъ свое положение, когда говоритъ о томъ, какъ ему тяжело деньги выдавать. "Что ты мнъ прикажень дълать, когда у меня сердце такое! Въдь ужъ знаю, что надо прикажень двлать, когда у меня сердце такое! Въдь ужь знаю, что надо отдать, а все добромъ не могу. Другъ ты мив, и я тебъ долженъ отдать, а приди ты у меня просить—обругаю. Я отдать—отдамь, а обругаю. Потому, только заикнись мив о деньгахъ, у меня всю нутренную разжигать станетъ; всю нутренную разжигаетъ, да и только... Ну, и въ тъ поры ни за что обругаю человъка". Отдача денегъ, какъ фактъ матеріальный и наглядный, даже въ сознаніи самого Дикого пробуждаетъ нъкоторое размышленіе: онъ сознаетъ, какъ онъ нелъпъ, и сваливаетъ вину на то, "что сердце у него такое"! Въ другихъ случаяхъ онъ даже и не сознаетъ хорошенько своей нелъпости; но, по сущности своего характера, непремънно долженъ при всякомъ торжествъ здраваго смысла чувствовать такое же раздражение, какъ и тогда, когда приходитъ необходимость выдавать деньги. Ему тяжело расплачиваться воть почему: по естественному эгоизму онъ желаеть, чтобы ему было хорошо; все окружающее его убъждаеть. что это хорошее достается деньгами; отсюда прямая привязанность къ деньгамъ. Но тутъ его развитіе останавливается, эгоизмъ его остается въ пределахъ отдельной личности и знать не хочеть ея отношеній къ обществу, въ своимъ ближнимъ. Ему надо побольше денегъ, - это онъ знаетъ, и потому жедаль бы ихъ только получать, а не отдавать. Когда же, по естественному ходу дълъ, доходить до отдачи, то онъ сердится и ругается: онъ принимаетъ это какъ несчастіе, наказаніе, въ род'в пожара, наводненія, штрафа, а не какъ должную, законную расплату за то, что для него

дълаютъ другіе. Такъ и во всемъ: по желанію себъ добра, онъ хочетъ простора, независимости; но знать не хочеть закона, опредъявошаго пріобратение и пользование всякими правами въ обществъ. Онъ только хочеть больше, какъ можно больше правъ для себя; когда же нужно признать ихъ и за другими, онъ считаетъ это посягательствомъ на его личное достоинство, и сердится, и старается всячески оттянуть дело и воспреиятствовать ему. Даже когда онъ и знаеть, что ужъ непремвино надо уступить, и уступить потомъ, а все-таки прежде постарается напакостить. "Я отдать-отдамъ, а обругаю!" И надо полагать, что чемъ значительнъе выдача денегъ и чъмъ настоятельнъе необходимость ся, тъмъ сильнъе ругается Дикой... Изъ этого следуеть, - что, во-первыхъ, ругательство и все бъщенство его, хотя и непріятны, но не особенно страшны; и кто, убоявшись ихъ, отступился бы отъ денегь и подумаль, что ихъ ужъ и получить нельзя, тотъ поступилъ бы очень глупо; во-вторыхъ, что напрасно было бы надъяться на исправление Дикого посредствомъ какихъ-нибуль вразумленій: привычка дурить ужъ въ немъ такъ сильна, что онъ подчиняется ей даже вопреки голосу собственнаго здраваго смысла. Ясно, что его никакія разумныя убъжденія не остановять до тъхъ поръ, пока съ ними не соединяется осязательная для него, вифшняя сила: Кулигина онъ ругаетъ, не внимая никакимъ резонамъ; а когда его самого однажды на перевозт, на Волгъ, гусаръ обругалъ, такъ онъ съ гусаромъ не посиълъ связаться, а опять-таки выместиль свою обиду дома: двв недвли посль этого всв прятались отъ него по чердавамъ да по чуланамъ...

Всё подобныя отношенія дають вамъ чувствовать, что положеніе Дикихъ, Кабановыхъ и всёхъ подобныхъ имъ самодуровъ далеко уже не
такъ спокойно и твердо, какъ было нёвогда, въ блаженныя времена натріархальныхъ нравовъ. Тогда, если вёрить сказаніямъ старыхъ людей,
Дикой могъ держаться въ своей высокомфрной прихотливости, не силою,
а всеобщимъ согласіемъ. Онъ дурилъ, не думая встрётить противодъйствія, и не встрёчалъ его: все окружающее было проникнуто одной мыслью,
однимъ желаніемъ— угодить ему: никто не представлялъ другой цёли своего существованія, кромё исполненія его прихотей. Чёмъ больше сумасбродствовалъ какой-нибудь дармоёдъ, чёмъ наглёе попиралъ онъ права
человёчества, тёмъ довольнёе были тё, которые своимъ трудомъ кормили
его и которыхъ онъ дёлалъ жертвами своихъ фантазій. Благоговейные
разсказы старыхъ лакеевъ о томъ, какъ ихъ вельможные бары травили
мелкихъ помѣщиковъ, надругались надъ чужими женами и невинными дёвушками, сёкли на конюшит присланныхъ къ нимъ чиновниковъ, и т. п., —
разсказы военныхъ историковъ о величіи какого-нибудь Наполеона, безстрашно жертвовавшаго сотнями тысячъ людей для забавы своего генія,

восноминанія галантных стариковь о какомъ-нибудь Донъ-Жуант ихъ времени, который "никому спуску не давалъ" и умълъ опозорить всякую дъвушку и перессорить всякое семейство, -- всъ подобные разсказы доказывають, что еще и не очень далеко отъ насъ это патріархальное время. Но, въ великому огорчению самодурныхъ дармовдовъ, - оно быстро отъ пасъ удаляется, и теперь положение Дикихъ и Кабановыхъ далеко не такъ пріятно: они должны заботиться о томъ, чтобы укрѣпить и оградить себя, потому что отвеюду возникають требованія, враждебныя ихъ произволу и грозящія имъ борьбою съ пробуждающимся здравымъ смысломъ огромнаго большинства человъчества. — Отсюда возникаетъ постоянная подозрительность, щепетильность и придирчивость самодуровъ: сознавая внутренно, что ихъ не за что уважать, но не признаваясь въ этомъ даже самимъ себъ, они обнаруживають недостатокъ увъренности въ себъ мелочностью своихъ требованій и постоянными, кстати и некстати, напоминаніями и внушеніями о томъ, что ихъ должно уважать. Эта черта чрезвычайно выразительно проявляется въ "Грозъ", въ сценъ Кабановой съ дътьми, когда она, въ отвътъ на покорное замъчание сына: "могу-ли я. маменька, васъ ослушаться возражаеть: "не очень то вынче старшихъ-то уважають! "и затемъ начинаетъ пилить сына и невестку, такъ что душу вытягиваетъ у посторонняго зрителя.

«Кабановъ. Я, кажется, маменька, изъ вашей воле не на шагъ.

«Каба нова. Поиврила бы я тебв. мой другь, кабы свеими глазами не видала, да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтеніе родителямь отъ двтей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болганей оть двтей переносить.

«Кабановъ. Я, маменька...

«Каванова. Если родительница когда и обидное, по вашей гордости, скажеть, такъ, я думаю, можно бы перенести!— А.—какъ ты думаещь?

«Кавановъ. Да когда же и, маменька, не переносилъ отъ васъ?

«Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны съ насъ, дураковъ, и взыскивать.

«Кабановъ (вздыхая.—въ сторону). Ахъ ты Господи! (матери). Да смѣемъли мы, маменька, подумать!

«Каванова. Выдь отъ любви родители и строги-то къ вамъ бываютъ, отъ любви васъ и бранятъ-то, все думаютъ добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдуть дътки-то по людямъ славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даетъ, со свъту сживетъ... А, сохрани Господи, какимъ-нибудь словомь снохѣ не угодить, —ну, и пошелъ разговоръ, что свекровь заѣла совсѣмъ.

«Кавановъ. Нешто, маменька, кто говорить про васъ?

«КАБАНОВА. Не слыхала, мой другь, не слыхала, ласть не хочу. Ужь кабы я слышала, н бы съ тобой, мой милый, тогда не такъ заговорими».

И послѣ этого сознанія, старуха все-таки продолжаеть на цѣлыхъ двухъ страницахъ пилить сына. Она не имѣеть на это никакихъ резоновъ, но у ней сердце неспокойно: сердце у нея вѣщувъ, оно даетъ ей чувствовать, что что-то неладно, что впутренняя, живая связь между нею

и младшими членами семьи давно рушилась, и теперь они только механически связаны съ нею и рады были бы всякому случаю развязаться.

Мы очень долго останавливались на господствующихъ лицахъ "Грозы", потому что, цо нашему мябнію, исторія, разыгравшаяся съ Катериною, рѣшительно зависитъ отъ того положенія, какое неизбѣжно выпадаєть на ея долю между этими лицами, въ томъ бытѣ, который установился подъ ихъ вліяніемъ. "Гроза" есть, безъ сомивнія, самое рѣшительное произведеніе Островскаго; вганичны отношенія самодурства и безгласности доведены въ ней до самыхъ трагическихъ послъдствій; и при всемъ томъ большая часть читавшихъ и видѣвшихъ эту пьесу соглашается, что она производить внечатлѣніе менѣе тяжкое и грустное, нежели другія пьесы Островскаго (не говоря, разумѣется, объ его этюдахъ чисто-комическаго характера). Въ "Грозъ" есть даже что-то освѣжающее и ободряющее. Это "что-то" и есть, по нашему мнѣнію, фонъ пьесы, указанный нами и обнаруживающій шаткость и близкій конецъ сакодурства. Затѣмъ, самый характеръ Катерины, рисующійся на этомъ фонѣ, тоже вѣстъ на насъ новою жизнью, которая открывается намъ въ самой ся гибели.

Дѣло въ томъ, что характеръ Катерины, какъ онъ исполненъ въ

Дело въ томъ, что характеръ Катерины, какъ онъ исполненъ въ "Грозв", составляетъ шагъ впередъ, не только въ драматической демтельности Островскаго, но и во всей нашей литературъ. Онъ соотвътствуетъ новой фазъ нашей народной жизни, онъ давно требовалъ своего осуеть новой фазъ нашей народной жизии, онъ давно требоваль своего осуществленія въ литературф, около него вертфлись наши лучшіе писатели; но они умфли только понять его надобность и не могли уризумфть и почувствовать его сущности: это съумфлъ сдфлать Островскій. Ни одна изъкритикъ на "Грозу" не хотфла или не умфла представить надлежащей оцфики этого характера; поэтому мы рфшаемся еще продлить нашу статью, чтобы съ нфкоторой обстоятельностью изложить, какъ им понимаемъ характеръ Катерины и почему созданіе его считаемъ такъ важнымъ для нашей литературы.

Русская жизнь дошла, наконецъ, до того, что добродътельныя и по-чтенныя, но слабыя и безразличныя существа не удовлетворяютъ обще-ственнаго сознанія и признаются никуда негодными. Почувствовалась нественнаго сознанія и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность въ людяхъ, хотя бы и менѣе прекрасныхъ, но болѣе дѣятельныхъ и энергичныхъ. Иначе и невозможно: какъ скоро сознаніе правды и права, здравый смыслъ проснулись въ людяхъ, они непремѣнно требуютъ не только отвлеченнаго съ ними согласія (которымъ такъ блистали всегда добродѣтельные герои прежняго времени), но и внесенія ихъ въ жизнь и въ дѣятельность. Но, чтобы внести ихъ въ жизнь, надо побороть много препятствій, подставляемыхъ Дикими, Кабановыми, и т. п.; для преодолѣнія препятствій нужны характеры предпріимчивые, рѣши-

тельные, настойчивые. Нужно, чтобы вь нихъ воплотилось, съ ними слилось то общее требование правды и права, которое, наконецъ, прорывается въ людяхъ сквозь всъ преграды, поставленныя Дикиии-самодурами. Теперь большая задача представлялась въ томъ, какъ же долженъ образоваться и проявиться характеръ, требуемый у насъ новымъ поворотомъ общественной жизни. Задачу эту пытались разръшать наши писатели, но всегда болбе или менве неудачно. Намъ кажется, что всв ихъ неудачи происходили оттого, что они просто логическимъ процессомъ доходили до убъкденія, что такого характера ищеть русская жизнь, и затімь крошли его сообразно съ своими понятіями о требованіяхъ доблести вообще и русской въ особенности. Такимъ образомъ и явился, напримъръ, Калиновичъ, чуть не таскающій купца за бороду, чтобъ тотъ пожертвоваль десять тысячь на пользу общества, и истязающій въ тюрьм'в стараго князя, на любовниців котораго женился, чтобъ составить себ'в карьеру. Такъ явился и Штольцъ, отлично управляющій имініями и уміющій живо уничтожать фальшивые векселя, при помощи благодівтельнаго начальства. Явился Інсаровъ, бросающій німца въ воду, не соглашающійся жить даромъ въ гостяхъ на дачъ у пріятеля и даже ръшающійся жениться на любичой дъвушкъ!! Явилась и княжна Зинаида, нъчто среднее между Печоринымь и Ноздревымъ въ юбкъ... Все это были претензии на сильные, цъльные характеры. Но верхъ ихъ представляль въ прошломъ году Ананій Яковлевъ, по поводу котораго московскій господинъ Аполлонъ Майковъ напечаталь такую удивительную статейку въ "Санктпетербургскихъ Въдомостяхъ", что я не постигаю, какъ Кузьма Прутковъ до сихъ поръ не составилъ изъ нея новой серін афоризмовъ. Вамъ извъстно, можетъ быть, что Ананій Яковлевъ, извъстясь о младенцъ, котораго въ его отсутствіе прижила его жена съ помъщикомъ, воспаляется гаввомъ и весьма почтительно объясняясь съ помещикомъ, грубитъ, однакоже, бурмистру, колотить свою жену и, наконець, разъярившись до нельзя, хватаеть младенца объ уголь головой, послъ чего бъжить въ лъсъ, но, проголодавшись, предаетъ себя въ руки правосудія. Лицо, очевидно, сильное, хотя болье въ физическомъ, нежели въ правственномъ и литературномъ смыслъ. Но не эта сила рвется наружу изъ тайниковъ русской жизни, и не таково должно быть ея проявленіе. Оттого-то мы вовсе не понимаемъ, какимъ образомъ можно "Горькую судьбину" возвышать надъ уровнемъ безчисленнаго ипожества повъстей, комедій и драмъ, обличающихъ кръпостное право, тупость чиновничества и грубость русскаго мужика. Если вы даете ее намъ, какъ пьесу безъ особенныхъ претензій, просто мелодраматическій случай, въ родъ жестокихъ произведеній Сю, то мы ничего не говоримъ и останемся даже довольны: все-таки это лучие, нежели, напр., умильныя представленія г. Н. Львова и графа Соллогуба, поражающія васъ полнымъ искаженіемъ понятій о долгв и чести. Но если вы претендуете на какоето бол'ве высокое и общее значеніе этой пьесы, то мы ръшительно не видимъ никакой возможности согласиться съ вами. Ананій Яковлевъ, взятый не какъ малодушное исключеніе, а какъ типъ, представляется намъ клеветою на русскую натуру и русскую жизнь, которая такъ же мало спо-собна развивать характеры, подобные Ананію, какъ и пом'яшиковъ, по-добныхъ Чеглову. Одно изъ двухъ: если Ананій точно сильная натура, какъ его и хочетъ представить авторъ, — тогда онъ гивъвъ свой долженъ обратить прямо на причину своего несчастія, либо совствъ преодолъть себя по соображенію, что туть никто не виновать; такія развязки постоянно мы и видимь въ русской жизни, когда сильные характеры сталкиянно мы и видимъ въ русской жизни, когда сильные характеры сталкиваются съ враждебными обстоятельствами. Если же онъ просто малодушный и безтолковый озорникъ, какъ выходитъ по сущности дѣла, то нужно признаться, что положеніе, взятое для него въ пьесѣ, вовсе нейдетъ къ этому типу, да и развито совсѣмъ не такъ, чтобы ярко обозначить его существенныя черты. Впрочемъ, — Богъ съ ней, съ этой пьесой: она уже забыта теперь, какъ забыты князь Луповицкій и другія благонамъренныя, но фальшивыя произведенія, имѣвшія претензію на представленіе характеристическихъ народныхъ типовъ. Мы остановились на минуту передъ нею потому только, что многіе принимали Ананія за чисто-русскій типъ. А намъ, напротивъ, показалось, что въ немъ просто дается намъ утрировка того, что у нѣкоторыхъ писателей называется "пиротою русской натуры". Авторъ "Горькой судьбины", по нашему мнѣнію, ненамѣренно постигаетъ результата, полобнаго тому, какой достигался комеліяренно достигаетъ результата, подобнаго тому, какой достигался комедіями, писанными по повельнію Петра Великаго противъ раскольниковъ. Извъстно, что въ тъхъ комедіяхъ раскольникъ всегда выставлялся какимъ-то дикимъ и безсмысленнымъ чудовищемъ, и, такимъ образомъ, комедія говорила: "смотрите, вотъ они каковы; можно-ли дов'вряться ихъ ученію и соглашаться на ихъ требованія? Такъ точно и "Горькая судьбина", рисуя намъ Ананія Яковлева, говоритъ: "вотъ каковъ русскій челов'єкъ, когда онъ почувствуетъ немножко свое личное достоинство и, всл'єдствіе того, расходится! И критики, признающіе за "Горькой судьбиной" общее значеніе и видящіе въ Ананіи типъ, д'єдаются соучастниками этой клеветы, конечно, ненам'єренной со стороны автора.

Не такъ понятъ и выраженъ русскій сильный характеръ въ "Грозъ". Онъ прежде всего поражаетъ насъ своею противоположностью всякимъ самодурнымъ началамъ. Не съ инстинктомъ буйства и разрушенія, но и не съ практической ловкостью—улаживать для высокихъ цълей свои собственныя дълишки — не съ безсмысленнымъ, трескучимъ павосомъ, но и

не съ дипломатическимъ, педантскимъ разсчетомъ является онъ передъ нами. Нътъ, онъ сосредоточенно - ръшителенъ, неуклонно въренъ чутью естественной правды, исполненъ въры въ новые идеалы и самоотверженъ, въ томъ смыслъ, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тъхъ началахъ, которыя ему противны. Онъ водится не отвлеченными принципами, не практическими соображеніями, не мгновеннымъ пасосомъ, а просто натурою, всёмъ существомъ своимъ. Въ этой цёльности и гармоніи характера заключается его сила и существенная необходимость его въ то время, когда старыя, дикія отношенія, потерявъ всякую внутреннюю силу, продолжають держаться внашнею механическою связью. Человакь, только логически понимающій нелапость самодурства Дикихь и Кабановыхъ, ничего не сдалаеть противь нихь уже потому, что предъ ними всякая логика исчезаеть; никакими силлогизмами вы не убъдите цень, чтобы она распалась на узникъ, кулакъ, чтобъ отъ него не было больно прибитому; такъ не убъдите вы и Дикого поступать разумнъе, да не убъдите и его домашнихъ — не слушать его прихотей: приколотитъ онъ ихъ всъхъ, да и только, что съ этимъ дълать будешь? Очевидно, что характеры, сильные одной логической стороной, должны развиваться очень убого и имъть весьма слабое вліявіе на общую діятельность тамъ, гдів всею жизнью управляеть не логика, а чистійшій произволь. Не очень благопріятно господство Дикихъ и для развитія людей, сильныхъ такъ - называемымъ практическимъ смысломъ. Что ни говорите объ этомъ смыслів, но въ сущности онъ есть ни что иное, какъ умънье пользоваться обстоятельствами и располагать ихъ въ свою пользу. Значить, практическій смыслъ можеть вести человъка къ прямой и честной дъятельности только тогда, когда обстоятельства располагаются сообразно съ здравой логикой и, слъдовательно, съ естественными требованіями человъческой правственности. Но тамъ, гдв все зависитъ отъ грубой силы, гдв неразумная прихоть нвсколькихъ Дикихъ или суевърное упрамство какой - нибудь Кабановой разрушаетъ самые върные логические разсчеты и нагло презираетъ самыя первыя основания взаимныхъ правъ, тамъ умънье пользоваться обстоятельствами, очевидно, превращается въ умѣнье примѣняться къ прихо-тямъ самодуровъ и поддѣлываться подъ всѣ ихъ нелѣпости, чтобы и себѣ проложить дорожку къ ихъ выгодному положению. Подхалюзины и Чичиковы -- вотъ сильные практические характеры "темнаго царства": друтихъ не развивается между людьми чисто - правтическаго закала, подъ вліяніемъ господства Дикихъ. Самое лучшее, о чемъ можно мечтать для этихъ практиковъ, это уподобленіе Штольцу, т.-е. умѣнье обдѣлывать кругленько свои дѣлишки безъ подлостей; но общественнаго живаго дѣя-теля изъ нихъ не явится. Не больше надеждъ можно полагать и на характеры патетическіе, живущіе минутою и вспышкою. Ихъ порыви случайны и кратковременны; ихъ практическое значеніе опредъляєтся удачей. Пока все идетъ согласно ихъ надеждамъ, опи бодры, предпріиччивы: какъ скоро противодъйствіе сильно, они падаютъ духомь, охладъваютъ. отступаются отъ дъла и ограничиваются безплодными, хотя и громкими. восклицаніями. И такъ какъ Дикой и ему подобные вовсе неспособны отдать свое значеніе и свою силу безъ сопротивленія, такъ какъ ихъ вліяніе връзало уже глубокіе слъды въ самомъ быть и потому не можетъ быть уничтожено однимъ разомъ, то на патетическіе характеры нечего и смотръть, какъ на что-нибудь серьезное. Даже при самыхъ благопріятимхъ обстоятельствахъ, когда бы видимый успѣхъ ободрялъ ихъ, т.-е. когда бы самодуры могли понять шаткость своего положенія и сталя дълать уступки, — и тогда патетическіе люди не очень много бы сдълали! Они отличаются тъмъ, что, увлекаясь внѣшнимъ видомъ и ближайшими послъдствіями дъла, никогда почти не умѣютъ загляпуть въ глубину, въ самую сущность дъла. Оттого они очень легко удовлетворяются, обманутие какими - нибудь частными, ничтожными признаками успѣха ихъ пачалъ. Когда же ошибка ихъ станетъ ясною для нихъ самихъ, тогда они дълаются разочарованными, впалаютъ въ апатію и ничего-недѣланье. Дивот Кабанова продолжаютъ торжествовать.

Такимъ образомъ, перебирая разнообразные типы, являвшіеся въ нашей жизни и воспроизведенные литературою, мы постоянно приходили къ
убъжденію, что они не могутъ служить представителями того общественнаго движенія, которое чувствуется у насъ теперь и о которомъ мы, — по
возможности подробно, — говорили выше. Видя это, мы спративали себя:
какъ же, однако, опредълятся новыя стремленія въ отдъльной личности?
какими чертами долженъ отличаться характеръ, которымъ совершится
ръшительный разрывъ съ старыми, нельшыми и насильственными отношеніями жизни? Въ дъйствительной жизни пробуждающагося общества мы
видъли лишь намеки на ръшеніе нашихъ вопросовъ, въ литературъ—
слабое повтореніе этихъ намековъ; но въ "Грозъ" составлено изъ нихъ
цълое, уже съ довольно ясными очертаніями; здъсь является передъ нами
лицо, взятое прямо изъ жизпи, но выясненное въ сознаніи художника и
поставленное въ такія положенія, которыя даютъ ему обнаруживаться
полнъе и ръшительнъе, нежели какъ бываетъ въ большинствъ случаевъ
обыкновенной жизни. Такимъ образомъ, здъсь нътъ дагерротипной точности, въ которой нъкоторые критики обвиняли Островскаго; но есть
именно художественное соединеніе однородныхъ чертъ, проявлявшихся
въ разныхъ положеніяхъ русской жизни, но служащихъ выраженіемъ
одной идеи.

Ръшительный, цъльный русскій характеръ, дъйствующій въ средъ Дикихъ и Кабановыхъ, является у Островскаго въ женскомъ типъ, и это не лишено своего серьезнаго значенія. Извъстно, что крайности отражаются крайностими и что самый сильный протестъ бываетъ тотъ, который поднимается, наконецъ, изъ груди самыхъ слабыхъ и терпъликыхъ. Поприще, на которомъ Островскій наблюдаетъ и показываетъ на чъ русскую жизнь, не касается отношеній чисто общественныхъ и государственныхъ, а ограничивается семействомъ; въ семействъ же кто болъе всего выдерживаетъ на себъ весь гнетъ самодур тва, какъ не женщина? Какой приказчикъ, работникъ, слуга Дикого можетъ быть столько загнанъ, забитъ, отръшенъ отъ своей личности, какъ его жена? У кого можетъ накинъть столько горя и неголованія противъ не тъпъхъ, фантавій самодура? кипъть столько горя и негодованія противъ нелъпых фантазій самодурав И, въ то же время, кто менъе ея пиъетъ возможности высказать свой ропоть, отказаться отъ исполненія того, что ей противнов Слуги и приказчики связаны только матеріально, людскимъ образомъ; они могутъ оставить самодура тотчасъ, какъ найдутъ себв другое мвсто. Жена, по господствующимъ понятіямъ, связана съ нимъ неразрывно, духовно, посредствомъ таинства; что бы мужъ ни делалъ, она должна ему повиноваться и разделять съ нимъ безсимсленную жизнь. Да если бъ, наконецъ, она и могла уйти, то куда она двиется, за что примется? Кудряшъ говоритъ: "я нуженъ Дикому, поэтому я не боюсь его и вольничать ему надъ собою не дамъ". Легко человъку, который пришелъ къ сознаню того, что онъ дъйствительно нуженъ для другихъ; но женщина, жена? Къ чему нужна она? Не сама - ли она, напротивъ, все беретъ отъ мужа? Мужъ сй даетъ жилище, поитъ, кормитъ, едвваетъ, защищаетъ ее, даетъ ей положение въ обществъ... Не считается-ли она, обыкновенно, обременениемъ для мужчины? Не говорять ли благоразумные люди, удерживая молодых в людей отъ женитьбы: "жена то вёдь не лапоть, съ ноги не сбросищь"! И въ общемъ мнёніи самая главная разница жены отъ лаптя въ томъ и состойть, что она приносить съ собою цёлую обузу заботь, отъ которыхъ мужъ не можетъ избавиться, тогда какъ лапоть даетъ только удобство, а если неудобенъ будеть, то легко можетъ быть сброшенъ... Находясь въ подобномъ положении, женщина, разумъется, должна позабыть, что и она такой ноложении, женщина, разумъется, доджна позаоыть, что и она такой же человъкъ, съ такими же самыми правами, какъ и мужчина. Она можетъ только деморализоваться, и если личность въ ней сильна, то получитъ наклонность къ тому же самодурству, отъ котораго она столько страдала. Это мы и видимъ, напримъръ, въ Кабанихъ, точно такъ, какъ видѣли въ Уланбековой. Ел самодурство только уже и мельче и оттого, можетъ быть, еще безсмысленнъе мужского: размъры его меньше, но за то въ своихъ предѣлахъ, на тѣхъ, кто ужъ ему попался, она дъйствуетъ еще несноснъе. Дикой ругается, Кабанова ворчитъ; тотъ прибъетъ, да и кончено, а эта грызетъ свою жертву долго и неотступно; тотъ шумитъ изъ - за своихъ фантазій и довольно равнодушенъ къ вашену поведеню, покамъстъ оно до него не коснется; Кабаниха создала себъ цълый мірокъ особенныхъ правилъ и суевърныхъ обычаевъ, за которые стоитъ со всъяъ тупоуміемъ самодурства. Вообще— въ женщинъ, даже достигшей положенія независимаго и соп атоге упражняющейся въ самодурствъ, видно всегда ея сравнительное безсиліе, слъдствіе въкового ея угнетенія: она тяжеле, подозрительный, бездушиты въ своихъ требованіяхъ; здравому разсужденію она пе поддается уже не потому, что презираетъ его, а скоръе нотому, что боится съ нимъ не справиться: "начнешь, дескать, разсуждать, а еще что изъ этого выйдетъ. — оплетутъ какъ разъ" — и, вслъдствіе того, она строго держится старины и различныхъ наставленій, сообщенныхъ ей какою-нибудь Феклушею...

Ясно изъ этого, что если ужъ женщина захочетъ высвободиться изъ подобнаго положенія, то ея дъло будетъ серьезно и ръшительно. Какомунибудь Кудряшу ничего не стоитъ поругаться съ Дикимъ: оба они нужин ниоудь кудряту ничего не стоить поругаться съ дикаль. обасни кудрята другу другу, и, стало быть, со стороны Кудрята не нужно особеннаго героизма для предъявленія своихъ требованій. За то его выходка и не поведеть ни къ чему серьезному: поругается онъ, Дикой погрозить отдать его въ солдаты, да не отдасть; Кудрять будеть доволень тімь, что отгрызся, а діла опять пойдуть попрежнему. Не то съ женщиной: она должна имъть много силы характера уже и для того, чтобы заявить свое недовольство, свои требованія. При первой же попыткъ, ей дадутъ почувствовать, что она ничто, что ее раздавить могутъ. Она знаетъ, что это дъйствительно такъ, и должна смириться; иначе, надъ нею исполнятъ угрозу-прибыють, запруть, оставять на покаяніи, на хлібі и на воді, лишать свъта дневного, испытають всъ домашнія исправительныя средства добраго стараго времени, и приведутъ - таки къ покорности. Жен-щина, которая хочетъ идти до конца въ своемъ возстаніи противъ угне-тенія и произвола старшихъ въ русской семьв, должна быть исполнена тероическаго самоотверженія, должна на все р'вшиться и ко всему быть готова. Какимъ образомъ можетъ она выдержать себя? Гдв взять ей тотова. Какимъ ооразомъ можеть она выдержать сеоя: 1 дв взять ен столько характера? На это только и можно отвъчать тъмъ, что естественныхъ стремленій человъческой природы совствиъ уничтожить нельзя. Можно ихъ наклонять въ сторону, давить, сжимать, но все это только до извъстной степени. Торжество ложныхъ положеній показываетъ только, до какой степени можеть доходить упругость человъческой натуры; но чти положеніе неестественнъе, тъмъ ближе и необходимъе выходъ изъ него. И значить, ужъ одно очень неестественно, когда его не выдерживають

даже самыя гибкія натуры, наиболье подчинявшіяся вліянію силы, производившей такія положенія. Если ужъ и гибкое тьло дитяти не поддается какому-нибудь гипнастическому фокусу, то очевидно, что онъ невозможень для взрослыхь, которыхь члены болье тверды. Взрослые, конечно, и не допустять съ собою такого фокуса; но надъ дитятею легко
могуть его попробовать. Гдъ береть дитя характерь для того, чтобы ему
воспротивиться всьми силами, хотя бы за сопротивленіе объщано было
самое страшное наказаніе? Отвъть одинь: въ невозможности выдержать
то, къ чему его принуждають... То же самое надо сказать и о слабой женщинь, ръшающейся на борьбу за свои права: дъло дошло до того, что ей
ужъ невозможно дальше выдерживать свое униженіе, воть она и рвется
изъ него, уже не по соображенію того, что лучше и что хуже, а только
по инстинктивному стремленію къ тому, что выносимо и возможно. Натура замъняеть здъсь и соображенія разсудка, и требованія чувства и
воображенія: все это сливается въ общемь чувствъ организма, требующаго себь воздуха, пищи, свободы. Здъсь-то и заключается тайна цъльности характеровь, появляющихся въ обстоятельствахъ, подобныхъ тъмъ,
какія мы видъли въ "Грозь", въ обстановкъ, окружающей Катерину.

изъ него, уже не по соображенію того, что лучше и что хуже, а только по инстинктивному стремленію къ тому, что выносимо и возможно. Натмура замъняеть здъсь и соображенія разсудка, и требованія чувства и воображенія: все это сливается въ общемъ чувствъ организма, требующаго себь воздуха, пищи, свободы. Здъсь-то и заключается тайна цъльности характеровъ, полвляющихся въ обстановъв, окружающей Катерину. Такимъ образомъ, возникновеніе женскаго энергическаго характера вполят соотвътствуетъ тому положенію, до какого доведено самодурство въ драмъ Островскаго. Оно дошло до крайности, до отрицанія всякаго здраваго смысла; оно болье, чъть когда-нибудь, враждебно естественнымъ требованіямъ человъчества и ожесточениве прежняго силится остановить ихъ развитіе, потому что въ торжествъ ихъ видитъ приближеніе своей неминуемой гибели. Черезъ это оно еще болье вызываетъ ропотъ и протесть даже въ существать самыхъ слабыхъ. А вибетъ съ тъль, самодурство, какъ мы видъли, потеряло свою самоувъренность, лишилось и твердости въ дъйствіяхъ, утратило и значительную долю той силы, которая заключалась дая него въ наведеніи страха на всъхъ. Поэтому, протесть противъ него не заглушается уже въ самомъ началѣ, а можетъ превратиться въ упорную борьбу. Тъ, которымъ еще сносно жить, не хотятъ теперь рисковать на подобную борьбу, въ надеждѣ, что и такъ не долго прожить самодурству. Мужъ Катерины, молодой Кабановъ, хоть и много терпить отъ старой Кабанихи, но все же онъ свободнѣе: онъ можетъ и къ Савелу Прокофьичу выпить сбъгать, онъ и въ Москву съёздить отъ матери и тамъ развернется на волѣ, а коли плохо ему ужъ очень придется отъ старухи, такъ есть на комъ вылить свое сердце—онъ на жену вскинется... Такъ и живеть сеоѣ, и воспитываеть свой характеръ, на на отъ матери и тамъ развернется на комъ вылить свое сердце—онъ на жену вскинется... Такъ и живеть сеоѣ, и воспитываеть свой характеръ, на на отъ матери и тамъ развернется на волѣ, а коли плохо отрады, передышаться

ей нельзя; если можеть, то пусть живеть безь дыханья, забудеть, что есть вольный воздухъ на свъть, пусть отречется отъ своей природы и сольется съ капризнымъ деспотизмомъ старой Кабанихи. Но вольный воздухъ и свъть, вопреки всъмъ предосторожностямъ погибающаго самодурства, врываются въ келью Катерины; она чувствуетъ возможность удовлетворить естественной жаждъ своей души, и не можетъ долже оставаться неподвижною: она рвется къ повой жизни, хотя бы пришлось умереть въ этомъ порызъ. Что ей смерть? Все равно — она ве считаетъ жизнью и то прозябание, которое выпало ей на долю въ семьъ Кабановыхъ.

Такова основа всёхъ действій характера, изображеннаго въ "Грозе". Основа эта надежнёе всёхъ возможныхъ теорій и наоосовъ, потому что она лежить въ самой сущности даннаго положенія, влечетъ человёка къ делу неотразимо, не зависить оть той или другой способности или впечатлёнія въ частности, а опирается на всей сложности требованій организма, на выработкъ всей натуры человека. Теперь любопытно, какъ развивается и проявляется подобный характеръ въ частныхъ случаяхъ. Мы можемъ прослёдить его развитіе по личности Катерины.

Прежде всего, васъ поражаетъ необыкновениая своеобразность этого характера. Ничего ивтъ въ неиъ вившняго, чужого, а все выходитъ какъто изнутри его; всякое впечатлъніе переработывается въ неиъ и затъмъ сростается съ нимъ органически. Это мы видимъ, напримъръ, въ простодушномъ разсказъ Катерины о своемъ дътекомъ возрастъ и о жизни въ домъ у матери. Оказывается, что воспитаніе и молодая жизнь ничего не дали ей: въ домъ ея матери было то же, что у Кабановыхъ, — ходили въ перковь, шили золотомъ по бархату, слушали разсказы странницъ, объдали, гуляли по саду, опять бесъдовали съ богомолками и сами молились... Выслушавъ разсказъ Катерины. Варвара, сестра ея мужа, съ удивленіемъ замъчаетъ: "да въдь и у насъ то же самое". Но разница опредъляется Катериною очень быстро въ пяти словахъ: "да здъсь все какъ будто изъподъ неволи"! И дальнъйшій характеръ показываетъ, что во всей этой внъшности, которая такъ обыденна у насъ повсюду, Катерина умъла находить свой особенный смыслъ, примънять ее къ своимъ потребностямъ и стремленіямъ, пока не налегла на нее тяжелая рука Кабанихи. Катерина вовсе не принадлежитъ къ буйнымъ характерамъ, никогда не довольнымъ, любящимъ разрушать, во что бы то ни стало. Напротивъ, это характеръ по преимуществу созидающій, любящій, идеальный. Вотъ почему она старается все осмыслить и облагородить въ своемъ воображеніи; то настроеніе, при которо иъ, по выраженію поэта,

Весь міръ мечтою благородной Передъ нимъ очищенъ и омыть,—

это настроеніе до последней крайности не покидаеть Катерину. Всякій внешній диссонансь она старается согласить съ гармоніей своей души, всякій недостатокъ покрываеть изъ полноты сворхъ внутреннихъ силъ. Грубые, суевърные разсказы и безсмысленныя бредни странницъ превращаются у ней въ золотые, поэтические сны воображения, не устрашающие, а ясные, добрые. Бъдны ея образы, потому что матеріалы, представляемые ей действительностью, такъ однообразны; но и съ этими скудными средствами ея воображение работаеть неутомимо и уносить ее въ новый міръ, тихій и свътлый. Не обряды занимають ее въ церкви: она совсъмъ и не слышить, что тамъ поють и читають; у ней въ душв иная музыка. иныя виденія, для нея служба кончается неприметно, какъ будто въ одну секунду. Ее занимають деревья, странно нарисованныя на образахъ. и она воображаеть себв цвлую страну садовь, гдв все такія деревья, и все это цвътетъ. благоухаетъ, все полно райскаго пънія. А то увидить она въ солнечный день, какъ "изъ купола свътлый такой столбъ внизъ идетъ, и въ этомъ столов ходитъ дымъ, точно облака". — и вотъ она уже видитъ, "будто ангелы въ этомъ столов летаютъ и поютъ". Иногда представится ей, - отчего бы и ей не летать? и когда на горъ стоить, то такъее и тянеть летыть: воть такъ бы разбъжалась, подняла руки, да и полетъла. Она страиная, сумасбродная съ точки зрвнія окружающихъ; но это потому, что она никакъ не можетъ принять въ себя ихъ возаръній и наплонностей. Она береть отъ нихъ матеріалы, потому что иначе взять ихъ не отвуда; но не береть выводовъ, а ищетъ ихъ сама, и часто приходить вовсе не къ тому, на чемъ успоконваются они. Подобное отношение къ визмнимъ впечатленіямъ мы замечаемъ и въ другой среде, въ людяхъ, по своему воспитанію привыкшихъ къ отвлеченнымъ разсужденіямъ и умъющихъ анализировать свои чувства. Вся развица въ томъ, что у Катерины, какъ личности непосредственной, живой, все делается по влечение натуры. безъ отчетливаго сознанія, а у людей развитыхъ теоретически и сильныхъ умомъ-главную роль играеть логика и анализъ. Сильные умы именно и отличаются той внутренней силой, которая даеть имъ возможность не поддаваться готовымъ воззрвніямъ и системамъ, а самимъ создавать свои взгляды и выводы, на основаніи живыхъ впечатлівній. Они ничего не отвергаютъ сначала, но ни на чемъ не останавливаются, а только все принимають въ сведеню и переработывають по своему. Аналогические результаты представляеть намъ и Катерина, хотя она и не резонируеть и даже не понимаетъ сама своихъ ощущеній, а водится прямо натурою. Въ сухой, однообразной жизни своей юности, въ грубыхъ и суевърныхъ повятіяхъ окружающей среды, она постоянно умела брать то, что соглашалось съ ея естественными стремленіями къ красотв, гармоніи, довольству, счастью. Въ

разговорахъ страненцъ, въ земныхъ повлонахъ и причитаньяхъ она видъла не мертвую форму, а что-то другое, къ чему постоянно стремилось вя сердце. На основанін ихъ опа строила себ'в иной міръ, безъ страстей, безъ нужды, бевъ горя, міръ, весь посвященный добру и наслажденію. Но въ четь настоящее добро и истинное наслаждение для человъка, она не могла опредълить себъ; вотъ отчего эти внезапные порывы какихъ-то безотчетныхъ. неясныхъ стремленій, о которыхъ она вспоминаетъ: "Иной разъ, бывало, рано утромъ въ садъ уйду, еще только солнышко восходить, - упаду на колени, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу: такъ меня и найдутъ. И объ чемъ я молилась тогда, чего просила — не знаю; ничего мив не надобно, всего у меня было довольно". Бъдная дъвочка, не получившая широкаго теоретическаго образованія, не знающая всего, что на свътъ дълается, не понимающая хорошенько даже своихъ собственныхъ потребностей, не можеть, разумвется, дать себв отчета въ томъ, что ей нужно. Покамъстъ она живетъ у матери, на полной свободъ, безъ всякой житейской заботы, пока еще не обозначились въ ней потребности и страсти вврослаго человъка, она не умъетъ даже отличить своихъ собственныхъ мечтаній, своего внутренняго міра — отъ вившнихъ впечатльній. Забываясь среди богомоловъ въ своихъ радужныхъ думахъ и гуляя въ своемъ свътломъ царствъ, она все думаетъ, что ея довольство происходитъ именно отъ этихъ богомолокъ, отъ лампадокъ, зажженныхъ по всемъ угламъ въ домъ, отъ причитаній, раздающихся вокругъ нея: своими чувствами она одушевляетъ мертвую обстановку, въ которой живетъ, и сливаетъ съ ней внутренній міръ души своей. Это періодъ дътства, для многихъ тянущійся долго, очень долго, но все таки имъющій свой конецъ. Если конецъ приходить очень поздно, если человъкъ начинаетъ понимать, чего ему нужно. тогда уже. когда большая часть жизни изжита, — въ такомъ случав ему ничего почти не остается, кромв сожалвнія о томъ, что такъ долго принималь онъ собственныя мечты за действительность. Онъ находится тогда въ печальномъ положени человъка, который, надъливъ въ своей фантази всъми возможными совершенствами свою красавицу и связавъ съ нею жизнь свою, вдругъ замвчаеть, что всв совершенства существовали только въ его воображени, а въ ней самой нътъ и саъда ихъ. Но характеры сильные ръдко поддаются такому рашительному заблужденію: въ нихъ очень сильно требованіе ясности и реальности, и оттого они не останавливаются на неопределенностяхъ и стараются выбраться изъ нихъ во что бы то ни стало. Замътивъ въ себъ недовольство, они стараются прогнать его; но, видя, что оно не проходить, кончають темъ, что дають полную свободу высказаться новымъ требованіямъ, возникающимъ въ душъ, и затъмъ уже не успокоятся, пока не достигнутъ ихъ удовлетворенія. А тутъ и сама жизнь приходить на помощьдля однихъ благопріятно, расширеніемъ круга впечатлѣпій, а для другихъ трудно и горько—стѣсненіями и заботами, разрушающими гармоническую стройность юныхъ фантазій. Послѣдній путь выпаль на долю Катеринъ, какъ выпадаетъ онъ на долю большей части людей въ "темпомъ царствъ" Дикйхъ и Кабановыхъ.

Въ сумрачной обстановкъ новой семьи начала чувствовать Катерина недостаточность вибиности, которою думала довольствоваться прежде. Подъ тяжелой рукою бездушной Кабанихи въть простора ея свътлымъ видъніямъ, какъ нътъ свободы ея чувствамъ. Въ порывъ нъжности къ мужу, она хочеть обнять его, — старуха кричить: "что на шею виснешь, безстыдница? Въ ноги кланяйся!" Ей хочется остаться одной и ногрустить тихонько, какъ бывало, а свекровь говоритъ: "отчего не воещь?" Она ищеть свъта, воздуха, хочеть помечтать и порезвиться, полить свои цветы. посмотръть на солнце, на Волгу, послать свой привътъ всему живому,а ее держать въ неволъ, въ ней постоянно подовржваютъ нечистые, развратные замыслы. Она ищетъ прибъжища по прежнему въ религозной практикъ, въ посъщени церкви, въ душеспасительныхъ разговорахъ, но и здъсь не находить уже прежнихъ впечатленій. Убитая дневной заботой и вечной неволей, она уже не можеть съ прежней изностью мечтать объ ангелахъ, поющихъ въ пыльномъ столбъ, освъщенномъ солицемъ, не можетъ вообразить себъ райскихъ садовъ съ ихъ невозмущаемымъ видомъ и радостью. Все врачно, страшно вокругъ нея, все въетъ холодомъ и какой-то неотразимой угрозой: и лики святыхъ такъ строги, и церковныя чтенія такъ грозны, и разсказы странницъ такъ чудовищны... Они все тв же въ сущности, они ни мало не измънились, но измънилась она сама: въ ней уже нъть охоты строить воздушныя видънія, да ужъ и не удовлетворяеть ее то неопредъленное воображеніе блаженства, которымъ она наслаждалась прежде. Она возмужала, въ ней проснулись другія желанія. болье реальныя; не зная иного поприща, кром'в семьи, иного міра, кром'в того, какой сложился для нея въ обществъ ея городка, она, разумъется. и начинаетъ сознавать изъ всъхъ человъческихъ стремленій то, которое всего неизбъжнье и всего ближе къ ней. — стремленіе любви и преданности. Въ прежнее время ен сердце было слишкомъ полно мечтами, она не обращала вниманія на молодыхъ людей, которые на нее заглядывались, а только см'вялась. Выходя замужъ за Тихона Кабанова, она и его не любила, она еще и не понимала этого чувства; сказали ей, что всякой девущит надо запужъ выходить, показали Тихона, какъ будущаго мужа, она и пошла за него, оставаясь совершенно индифферентною въ этому шагу. И здъсь тоже проивляется особенность характера: но обычнымъ нашимъ понятіямъ, ей бы слъдовало противиться, если у ней рашительный характерь; но она и не ду-

маеть о сопротивленій, потому что не имбеть достаточно основаній для этого. Ей нътъ особенной охоты выходить замужъ, но истъ и отвращения отъ замужества; нътъ въ ней любви къ Тихону, но нътъ любви и ни къ кому другому. Ей все равно покамвсть, воть почему она и позволяеть двлать съ собою что угодно. Въ этомъ нельзя видать ни безсилія, ни апатін, а можно находить только недостатокъ опытности, да еще слишкомъ большую готовность делать все для другимъ, мало заботясь о себе. У ней мало знанія и много дов'врчивости, воть отчего до времени она не выказываеть противодъйствія окружающимъ и рѣшается лучие териъть, нежели дѣлать на зло имъ. Но когда она пойметь, что ей нужно, и захочетъ чего-нибудь достигнуть, то добьется своего, во что бы то ни стало: тутьто и проявится вполнъ сила ея характера, не растраченная въ мелочныхъ выходкахъ. Сначала, по врожденной добротъ и благородству души своей, она будеть дълать всв возможныя усилія, чтобы не нарушить мира и правъ другихъ, чтобы получить желаемое съ возможно-большимъ соблюдениемъ всъхъ требованій, какія на нее налагаются людьми, чъмъ-нибудь связанными съ ней; и если они съумъють воспользоваться этимъ первоначальнымъ настроеніемъ и різшатся дать ей полное удовлетвореніе, - хорошо тогда и ей, и имъ. Но если нътъ, — она ни передъ чъмъ не остановится, — законъ, родство, обычай, людской судъ, правила благоразумія — все исчеметъ для нея предъ силою внутренняго влеченія; она не щадить себя и не думасть о другихъ. Такой именно выходъ представился Катеринъ, и другого нельзи было ожидать среди той обстановки, въ которой она находится.

Чувство любви къ человъку, желаніе найти родственный отзывъ въ другомъ сердцъ, потребность нъжныхъ наслажденій естественнымъ образомъ открылись въ молодой женщинъ и измънили ея прежнія, неопредъленныя и безплодныя мечты. "Ночью. Варя, не спится мить, —разсказываеть она. — все мерещится шепоть какой-то: кто-то такъ ласково говорить со мной, точно голубь воркуеть. Ужъ не снятся мнъ. Варя. какъ прежде, райскія деревья, да горы; а точно меня кто-то обнимаеть такъ горячо, горячо, или ведетъ меня куда-то, и я иду за нимъ, иду"... Она сознала и уловила эти мечты уже довольно поздно; но, разумъется, онъ преслъдовали и томили ее задолго прежде, чемъ она сама могла дать себе отчетъ въ нихъ. При первомъ ихъ появленій, она тотчасъ же обратила свое чувство на то, что всего ближе къ ней было,— на мужа. Она делго усиливалась сроднить съ нимъ свою душу, увърить себя, что съ нимъ ей ничего не нужно, что въ немъ-то и есть блаженство, котораго она такъ тревожно ищеть. Она со страхомъ и недоумъніемъ смотръла на возможность искать взаимной любви въ комъ-нибудь, кромъ него. Въ пьесъ, которая застаетъ Катерину уже съ началомъ любви къ Борису Григорычу, все еще видны

последнія, отчаянныя усилія Катерины— сделать себе милымъ своего мужа. Сцена ея прощанія съ нимъ даеть намъ чувствовать, что и тутъ еще не потеряно для Тихона, что онъ еще можетъ сохранить права свои на любовь этой женщины; но эта же сцена въ короткихъ, но ръзкихъ очер-кахъ передаетъ намъ цълую исторію истязаній, которыя заставили вытеривть Катерину, чтобы оттолкнуть ея первое чувство отъ мужа. Тихонъ является здёсь простодушнымъ и пошловатымъ, совсёмъ не злымъ. но до крайности безхарактернымъ существомъ, не смъющимъ ничего сдълать вопреки матери. А мать—существо бездушное, кулакъ-баба, заключающая въ китайскихъ церемоніяхъ— и любовь, и религію, и правственность. Между нею и между своей женой Тихонъ представляетъ одинъ изъ множества тахъ жалкихъ типовъ, которые обыкновенно называются безвредными, хотя они въ общемъ-то смыслъ столь же вредны, какъ и сами самодуры, потому что служать ихъ върными помощниками. Тихонъ самъ по себъ любитъ жену и готовъ бы все для нея сдълать; но гнетъ, подъ которымъ онъ выросъ, такъ его изуродовалъ, что въ немъ никакого сильнаго чувства, никакого решительнаго стремленія развиться не можеть. Въ немъ есть совъсть, есть желаніе добра, но онъ постояние дъйствуетъ противъ себя, и служитъ покорнымъ орудіемъ матери, даже въ отношеніяхъ своихъ къ женв. Еще въ первой сценв появленія семейства Кабановыхъ на бульваръ мы видимъ, каково положение Катерины между мужемъ и свекровью. Кабаниха ругаетъ сына, что жена его не боится; онъ ръшается возразить: "да зачъмъ же ей бояться? Съ меня и того доводьно, что она меня любитъ". Старуха тотчасъ же вскидывается на него: "какъ. зачемь бояться? Какъ зачемъ бояться? Даты рехнулся, что-ли? Тебя не станеть бояться, меня и подавно: какой же это порядокъ-то въ домъ будетъ! Въдь ты, чай, съ ней въ законъ живешь. Али, по вашему, законъ ничего не значить?" Нодъ такими началами, разумъется, чувство любви въ Катеринъ не находить простора и прячется внутрь ея, сказываясь только по временамъ судорожными порывами. Но и этими порывами мужъ не умъетъ пользоваться: онъ сляшкомъ забитъ, чтобы понять силу ея страстнаго том-ленія. "Не разберу я тебя, Катя, — говоритъ онъ ей: — то отъ тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то такъ сама лъзешь". Такъ обыкновенно дюжинныя и испорченныя натуры судять о натура сильной и свъжей: они, судя по себъ, не понимають чувства, которое схоровилось въ глубинъ души, и всякую сосредоточенность принимаютъ за апатію: когда же. наконецъ, не будучи въ состояни скрываться долъе. внутренняя сила хлынеть изъ души широкимъ и быстрымь потокомъ, -- они удивляются и считають это какимъ-то фокусомъ, причудою, въ роде того, какъ имъ самимъ приходитъ иногда фантазія впасть въ павось или кутнуть. А между

твить, эти норывы составляють необходимость въ натурт сильной и бынають твить разительные, чтить они дольше не находять себт выхода. Они
неумышленны, не соображены, а вызваны естественной необходимостью.
Сила натуры, которой нтт возможности развиваться двятельно, выражается и нассивно — теритнемъ, сдержанностью. Но только не ситинвайте этого теритнія съ твить, которое происходить оть слабаго развитія
личности въ человтить съ ттить, которое происходить оть слабаго развитія
личности въ человтить всякаго рода. Нтть, Катерина не привыкнеть къ
нимъ никогда; она еще не знаетъ, на что и какъ она рашится, она ничтить не нарушаетъ своихъ обязанностей къ свекрови, двлаетъ нсе возможное, чтобы хорошо уладиться съ мужемъ, но по всему видно, что она оувствуеть свое положение и что ее тинеть вырваться изъ него. Никогда ьна не жалуется, не бранить свекрови; сама старуха не можеть на нее взвести этого; и однако же, свекровь чувствуеть, что Катерина составляеть для нея что-то неподходящее, враждебное. Тяхонъ, который какъ огня боится матери и притомъ не отличается особенною деликатностью и нъжностью, совъстится, однако, передъ женою, когда, по повельное матери. долженъ ей наказывать, чтобъ она безъ него "въ окна глазъ не пялила" и "на молодыхъ парней не заглядывалась". Онъ видитъ, что горько оскорбляетъ ее такими ръчами, хотя хорошенько и не можетъ попять ея состоянія. По выход'в матери изъ комнаты, онъ ут'вшаетъ жену такимъ образомъ: нія. По выход'в матери изъ комнать, онъ утвіпаетъ жену такимъ образомъ: "все къ сердцу-то принимать, такъ въ чахотку скоро попадеть. Что ее слушать-то! Ей вёдь что-нибудь надо же говорить. Ну и нущай она говорить, а ты мимо ушей пропущай! "Вотъ этотъ индифферентизмъ точно плохъ и безнадеженъ; но Катерина никогда не можетъ дойти до него, хотя по наружности она даже меньше огорчается, нежели Тихонъ, меньше жалуется, но въ сущности она страдаетъ гораздо больше. Тихонъ тоже чувствуетъ, что онъ не имфетъ чего-то нужнаго; въ немъ тоже есть недовольство; но оно находится въ немъ на такой степени, на какой, напримеръ, можеть быть влечение къ женщинъ у десятилътняго мальчика съ развра-щеннымъ воображениемъ. Онъ не можеть очень ръшительно добиваться независимости и своихъ правъ — уже и потому, что онъ не знаетъ, что съ ними дълать; желаніе его больше головное, внѣшнее, а собственно натура его, поддавшись гнету воспитанія, такъ и осталась почти глухою къ естественнымъ стремленіямъ. Поэтому, самое исканіе свободы въ немъ получаетъ характеръ уродливый и дълается противнымъ, какъ противенъ цинизмъ десятилътняго мальчика, безъ смысла и внутренней потребности повторяющаго гадости, слышанныя отъ большихъ. Тихонъ, видите, наслышанъ отъ кого-то, что онъ "тоже мужчина", и потому долженъ въсемъв имъть извъстную долю власти и значенія; поэтому онъ себя ставитъ гораздо выше жены и, полагая, что ей ужъ такъ и Богъ судилъ терпъть и смиряться, — на свое положение подъ началомъ у матери смотритъ, какъ на горькое и унизительное. Затъмъ, онъ наклоненъ къ разгулу, и въ немъ-то, главнымъ образомъ, и ставитъ свободу: точно какъ тотъ же мальчикъ, не умъющій постигнуть настоящей сути, отчего такъ сладка женская любовь, и знающій только внашнюю сторону дала, которая у него и превращается въ сальности! Тихонъ, собираясь увзжать, съ безстидивишимъ цинизмомъ говоритъ женъ, упрашивающей его взять ее съ собою: "съ этакой-то неволи отъ какой хочешь красавицы жены убъжишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я все-таки мужчина. — всю жизнь вотъ этакъ жить, какъ ты видишь, такъ убъжешь и отъ жены. Да какъ я знаю теперича, что недъли двъ никакой грозы на меня не будетъ, кандаловъ этихъ на ногахъ нѣтъ, такъ до жены ли мнѣ? Катерина только и можетъ отвътить ему на это: "какъ же мнъ любить то тебя, когда ты такія слова говоришь? Но Тихонъ не понимаетъ всей важности этого мрачнаго и ръшительнаго упрека; какъ человъкъ, уже махнувшій рукою на свой разсудокъ, онъ отвъчаетъ небрежно: "слова-какъ слова! Какія же мнв еще слова говорить! "-и торопится отдълаться отъ жены. А зачёмъ? Что онъ хочетъ дёлать, на чемъ отвести душу, вырвавшись на волю? Онъ объ этомъ самъ разсказываетъ потомъ Кулигину: "на дорогу-то маменька читала-читала мит наставленія-то, а я какъ вытхаль, такъ загуляль. Уже очень радь, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пиль, и въ Москвъ все пилъ; такъ это кучу, что на-поди. Такъ, чтобы ужъ на ивлый годо отпуляться!.. "Воть и все! И надо сказать, что въ прежнее время, когда еще сознаніе личности и ея правъ не поднялось въ большинствъ, почти только подобными выходками и ограничивались протесты противъ самодурнаго гнета. Да и нынче еще можно встрътить множество Тихоновъ, упивающихся если не виномъ, то какими-нибудь разсужденіями и спичами, и отводящихъ душу въ шумъ словесныхъ оргій. Это именно люди, которые постоянно жалуются на свое стесненное положение, а между тъмъ заражены гордою мыслью о своихъ привилегіяхъ и о своемъ превосходствъ надъ другими: "какой ни на есть, а все таки я мужчина, — такъ каково мнъ териъть-то". То-есть: "ты терии, потому что ты баба и стало быть, дрянь, а мив надо волю, -- не потому, чтобъ это было человвическое, естественное требованіе, а потому, что таковы права моей привилегированной особы"... Ясно, что изъ подобныхъ людей и замашекъ никогда и не могло, и не можеть ничего выйти.

Но не похоже на нихъ новое движеніе народной жизни, о которомъ им говорили выше и отраженіе котораго нашли въ характеръ Катерины. Въ этой личности мы видимъ уже возмужалое, изъ глубины всего организма возникающее требованіе права и простора жизни. Здѣсь уже не воображеніе, не наслышка, не искусственно возбужденный порывъ является намъ, а жизненная необходимость натуры. Катерина не капризничаетъ, не кокетничаетъ сноимъ недовольствомъ и гнѣвомъ, — это не въ ея натурѣ; она не хочетъ импонировать на другихъ, внетавиться и похвалиться. Напротивъ, живетъ она очень мирно и готова всему подчиниттся, что только не противно ея натурѣ; принципъ ея, еслибъ она могла сознать и опредълить его. былъ бы тотъ, чтобы какъ можно менѣе своей личностью стѣснять другихъ и тревожить общее теченіе дѣлъ. Но за то, признавая и уважая стремленія другихъ, она требуетъ того же уваженія и къ себѣ, и всякое насиліе, всякое стѣсненіе возмущаетъ ее кровно, глубоко. Еслибъ она могла, она бы прогнала далеко отъ себя все, что живетъ неправо и вредитъ другимъ; но, не будучи въ состояніи сдѣлать этого, она идетъ обратнымъ путемъ — сама бѣжитъ отъ губителей и обидчиковъ. Только бы не подчиниться ихъ началамъ, вопреки своей натурѣ, только бы не помириться съ ихъ неестественными требованіями, а тамъ что выйдетъ — лучшая-ли доля для нея или гибель, — на это она ужъ не смотритъ: въ томъ и другомъ ихъ неестественными требованіями, а тамъ что выйдеть — лучшая-ли доля для нея или гибель, — на это она ужъ не смотрить: въ томъ и другомъ случать для нея избавленіе... О своемъ характерт Катерина сообщаетъ Варт одну черту еще изъ воспоминаній дітства: "такая ужъ я зародилась горячая! Я еще літь шести была, не больше, — такъ что сдітала! Обидітли меня чімъ-то дома, а діто было къ вечеру, ужъ темно — я выбітала на Волгу, сіта въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли, версть за десять "... Эта дітская горячность сохранилась въ Катерині; только, вмітст съ общей возмужалостью, прибавилась въ ней и сила выдерживать впечатлітнія и господствовать надъ ними. Взрослая Катерина, поставленная въ необходимость терпіть обиды, находить въ себъ силу долго переносить ихъ, безъ напрасныхъ жалобъ, полусопротивленій и всякихъ шумныхъ выходокъ. Она терпить до тіхъ поръ, пока не заговорить въ ней какой-нибудь интересъ, особенно близкій ея сердцу и законный въ ея глазахъ, пока не оскорблено въ ней будетъ такое требованіе ея натуры. безъ удовлетворенія котораго она не можетъ оставаться спокойною. Тогда она ужъ ни на что не посмотрить. Она не будетъ прибътать къ дипломатическимъ уловкамъ, къ обманамъ и плутнямъ, — не такова она. Если ужъ нужно непремітно обманывать, такъ она лучше постарается перемочь себя. Варя совітуеть Катериніъ скрывать свою любовь къ Борису; она говорить: "обманывать-то я не уміть, скрыть-то ничего въ Борису; она говоритъ: "обманывать-то я не умѣю, сврыть-то ничего не могу", и вслѣдъ за тѣмъ дѣлаетъ усиліе надъ своимъ сердцемъ, и опять обращается къ Варѣ съ такой рѣчью: "не говори мнѣ про него, сдѣлай милость, не говори! Я его и знать не хочу! Я буду мужа любить. Тиша. голубчикъ мой, ни на кого тебя не промъняю!" Но усиліе уже выше ея

возможности; черезъ минуту она чувствуетъ, что ей не отдълаться отъ возникшей любви: "развъ я хочу о немъ думать, —говоритъ она: — да что дълать, коли изъ голови нейдетъ "? Въ этихъ простихъ словахъ очень ясно выражается, какъ сила естественныхъ стремленій, непримътно для самой Катерины, одерживаетъ въ ней побъду надъ всъми внъшними требованіями, предразсудками и искусственными комбинаціями, въ которыхъ запутана жизнь ея. Замътимъ, что теоретическимъ образомъ Катерина не могла отвергнуть ни одной изъ этихъ комбинацій, не могла освободиться ни отъ какихъ отсталыхъ мнъній; она пошла противъ всъхъ нихъ, вооруженная единственно силою своего чувства, инстинктивнымъ сознаніемъ своего прямого, неотъемлемаго права на жизнь, счастье и любовь... Она нимало не резонируетъ, но съ удивительною легкостью разръщаетъ всъ трудности своего положенія. Вотъ ея разговоръ съ Варварой.

«Варвара. Ты какая-то мудреная, Богъ съ тобой! А по моему — делай, что хочешь, тодько бы шито да крыто было.

«Катерина. Не хочу я такъ, да и что хорошаго! Умет я лучше бубу тер-

- «Варвара. А не стерпится, что-жъ ты сделаень?
  - «Катерина. Что я слылаю?
  - «Варвара. Да, что савлаешь?
  - Катерина. Что мнь только захочется, то и совлаю.
  - «Варвара. Сделай, попробуй, такъ тебя завек завлять.
  - «Катерина. А что мнь! Я уйду, да и была такова.
  - «Варвара. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

Катерина. Эхъ. Варя, не знаешь ты мосто характеру! Конечно, не дай Вого мому случиться, а уже коли очень мнь заъсь опостылить, такъ не удержать меня никакой силой. Въ окно выброшусь, въ Волу кинусь. Не хочу заъсь жить, такъ не стану, хоть ты меня ръжь».

Вотъ истинная сила характера, на которую во всякомъ случат можно положиться! Вотъ высота, до которой доходитъ наша народная жизнь въ своемъ развитіи, но до которой въ литературт нашей умъли подниматься весьма немногіе, и никто не умълъ на ней такъ хорошо держаться, какъ Островскій. Онъ почувствовалъ, что не отвлеченныя върованія, а жизненные факты управляютъ человъкомъ, что не образъ мыслей, не принципы, а натура нужна для образованія и проявленія кртінкаго характера; и онъ умълъ создать такое лицо, которое служитъ представителемъ великой народной идеи, не нося великихъ идей ни на языкъ, ни въ головъ, самоотверженно идетъ до конца въ неравной борьбъ и гибнетъ, вовсе не обрекая себя на высокое самоотверженіе. Ея поступки находятся въ гармоніи съ ея натурой, они для нея естественны, необходимы, она не можетъ отъ нихъ отказаться. хотя бы это имъло самыя гибельныя послъдствія. Претендованные въ другихъ твореніяхъ нашей литературы, сильные характеры похожи на фонтанчики, бьющіе довольно красиво и бойко, но зависящіе въ своихъ протанчики, бьющіе довольно красиво и бойко, но зависящіе въ своихъ протанчики, бьющіе довольно красиво и бойко, но зависящіе въ своихъ про-

явленіяхъ отъ посторонняго механизма, подведеннаго къ нимъ; Катерина, напротивъ, можетъ быть уподоблена большой, многоводной ръкъ: она течетъ, какъ требуетъ ея природное свойство; характеръ ея течентя измъ-няется сообразно съ мъстностью, черезъ которую она проходитъ. но теченіе не останавливается; ровное дно, хорошее — она течетъ спокойно. камни большіе встрѣтились—она черезъ нихъ перескакиваеть, обрывъ— льется каскадомъ, запружають ее—она бушуеть и прорывается въ другомъ мъстъ. Не потому бурлить она, чтобы водъ вдругъ захотълось пошумъть или разсердиться на препятствія, а просто потому, что это ей не-обходимо для выполненія ея естественныхъ требованій, для дальнъйшаго теченія. Такъ и въ томъ характеръ, который воспроизведенъ намъ Островскимъ: мы знаемъ, что онъ выдержить себя, не смотря ни на какія препятствія; а когда силъ не хватить, то погибнеть, но не измѣнить себѣ. Высокіе ораторы правды, претендующіе на "отреченіе отъ себя для великой иден", весьма часто оканчиваютъ тъмъ, что отступаются отъ своего служенія, говоря, что борьба со зломъ еще слишкомъ безнадежна, что она повела бы только къ напрасной гибели, и пр. Они справедливы, и нельзя пхъ упрекать въ малодушін; но, во всякомъ случав, нельзя не видіть въ этомъ, что "идея", которой они хотять служить, составляеть для нихъ что-то внышнее, безъ чего они могутъ обойтись, что они умыють очень хорошо отделить отъ своихъ личныхъ, прямыхъ потребностей. Ясно, что какъ бы ни быль великъ ихъ азартъ въпользу идеи, онъ всегда будетъ гораздо слабъе и ниже того простого, инстинктивнаго, неотразимаго влеченія, которое управляеть поступками личностей въ родъ Катерины, даже и не думающихъ ни о какихъ высокихъ "идеяхъ". Въ положеніи Катерины мы видимъ, что, напротивъ, всѣ "идеи",

Въ положени Катерини мы видимъ, что, напротивъ, всѣ "идеи", внушенныя ей съ дѣтства, всѣ принципы окружающей среды — возстаютъ противъ ея естественныхъ стремленій и поступковъ. Страшная борьба, на которую осуждена молодая женщина, совершается въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи драмы, и вотъ гдѣ оказывается вся важность вводныхъ лицъ, за которыхъ такъ упрекаютъ Островскаго. Всмотритесь хорошенько: вы видите, что Катерина воспитана въ понятіяхъ одинаковыхъ съ понятіями среды, въ которой живетъ, и не можетъ отъ нихъ отрѣшиться, не имѣя никакого теоретическаго образованія. Разсказы странницъ и внушенія домашнихъ хоть и переработывались ею по своему, но не могли не оставить безобразнаго слѣда въ ея душѣ: и дѣйствительно, мы видимъ въ пьесѣ, что Катерина, потерявъ свои радужныя мечты и идеальныя, выспреннія стремленія, сохранила отъ своего воспитанія одно сильное чувство — страхъ какихъ-то темныхъ силъ, чего-то невѣдомаго, чего она не могла ни объяснить себѣ хорошенько, ни отвергнуть. За каждую чего она не могла ни объяснить себѣ хорошенько, ни отвергнуть. За каждую

мысль свою она боится, за самое простое чувство она ждеть себъ кары: ей кажется, что гроза ее убъетъ, потому что она гръшница, картины геея въчной муки... А все окружающее поддерживаетъ и развиваетъ въ ней этоть страхь: Оеклуши ходять къ Кабаних в толковать о последних временахъ; Дикой твердитъ, что гроза въ наказание намъ посылается, чтобъ мы чувствовали; пришедшая барыня, наводящая страхъ на всёхъ въ городъ, показывается нъсколько разъ съ тъмъ, чтобы зловъщимъ голосомъ прокричать надъ Катериною: "всв въ огнв горвть будете въ неугасимомъ". Всв окружающие полны суевърнаго страха, и всв окружающие, согласно съ понятиями и самой Катерины, должны смотръть на ея чувство къ Борису, какъ на величайшее преступление. Даже удалой Кудряшъ, esprit - fort этой среды, и тоть находить, что девкань можно гулять съ парнями, сколько хочешь, - это ничего, а бабамъ надо ужъ взаперти сидъть. Это убъждение такъ въ немъ сильно, что, узнавъ о любви Бориса къ Катеринъ, онъ, несмотря на свое удальство и нъкотораго рода безчинство, говоритъ, что "это дъло бросить надо". Все противъ Катерины, даже и ея собственныя понятія о добрів и злів; все должно заставить еезаглушить свои порывы и завянуть въ холодномъ и мрачвомъ формализмъ семейной безгласности и покорности, безъ всякихъ живыхъ стремленій, безъ воли, безъ любви, - или же научиться обманывать людей и совъсть. Но не бойтесь за нее, не бойтесь даже тогда, когда она сама говорить противъ себя: она можетъ на время или покориться повидимому, или даже пойти на обманъ, какъ ръчка можетъ скрыться подъ землею или удалиться отъ своего русла; но текучая вода не остановится и не пойдеть назадъ, а все-таки дойдеть до своего конца, до того мъста, гдъ можетъ она слиться съ другими водами и витстт бъжать къ водамъ океана. Обстановка, въ которой живеть Катерина, требуеть, чтобы она лгала и обманывала: "безъ этого нельзя, — говоритъ ей Варвара, — ты вспомни, гдъ ты живешь; у насъ на этомъ весь домъ держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало". Катерина поддается своему положенію, выходить къ Ворису почью, прячеть отъ свекрови свои чувства въ течение десяти дней... Можно подумать: вотъ и еще женщина сбилась съ пути, выучилась обманывать домашнихъ и будетъ развратничать втихомолку, притворно лаская мужа и нося отвратительную маску смиренницы! Нельзя было бы строго винить ее и за это: положение ся такъ тажело! Но тогда она была бы однимъ изъ дюжинныхъ лицъ того типа, который такъ уже изношенъ въ повъстяхъ, показывавшихъ, какъ "среда забдаетъ хорошихъ людей". Катерина не такова: развязка ея любви, при всей домашней обстановкъ, — видна заранъе, еще тогда, какъ она только подходитъ къ дълу. Она не занимается психологическимъ анализомъ, и потому не можетъ высказывать тонкихъ наблюденій надъ собою; что она о себъ говоритъ. такъ ужъ это, значитъ, сильно даетъ ей знать себя. А она, при первомъ предложении Варвары о свидании ся съ Борисомъ, вскрикиваетъ: "пътъ. нътъ, не надо! что ты, сохрани Госноди: если я съ нимъ коть разг увижусь, я убълу изъ дому, я ужь не пойду домой ни за что на соъть!" Это въ ней не разумная предосторожность говорить, это-страсть; и ужъ видно, что какъ она себя ни сдерживала, а страсть выше ея, выше всяхъ ея предразсудковъ и страховъ, выше встхъ внушеній, слышанныхъ ею съ дътства. Въ этой страсти заключается для нея вся жизнь; вся сила ея натуры, всв ея живыя стремленія сливаются зд'ясь. Къ Борису влечеть ее не одно то, что онъ ей нравится, что онъ и съ виду и по ръчамъ не похожъ на остальныхъ, окружающихъ ее; къ нему влечетъ ее и потребность любви, не нашедшая себъ отзыва въ мужъ, и оскорбленное чувство жены и женщины, и смертельная тоска ея однообразной жизни и желаніе воли, простора, горячей, беззапретной свободы. Она все мечтаетъ, какъ бы ей "полетъть невидимо, куда бы захотъла"; а то такая мысль приходитъ: "кабы моя воля, каталась бы я теперь на Волгъ, на лодкъ, съ пъснями, либо на тройкъ на хорошей, обнявшись"... "Только не съ мужемъ", подсказываетъ ей Варя, и Катерина не можетъ скрыть своего чувства и сразу ей открывается, вопросомъ: "а ты почемъ знаеть?" Видно. что замъчание Варвары для нея самой объяснило многое: разсказывая такъ наивно свои мечты, она еще не понимала хорошенько ихъ значенія. Но одного слова достаточно, чтобы сообщить ея мыслямъ ту опредъленность, которую она сама боялась имъ дать. До сихъ поръ она еще могла сомнъваться, точно - ли въ этомъ новомъ чувствъ то блаженство, котораго она такъ томительно ищетъ. Но разъ произнесии слово тайны, она уже и въ мысляхъ своихъ отъ нея не отступится. Страхъ сомивния, мысль о гръхъ и о людскомъ судъ, — все это приходитъ ей въ голову, но уже не имъетъ надъ нею силы; это уже такъ. формальности, для очистки совъсти. Въ монологъ съ ключемъ (последнемъ во второмъ актъ) мы видимъ женщину, въ душъ которой опасный шагъ уже сдъланъ, но которая хочетъ только какъ-нибудь "заговорить" себя. Она дълаетъ попытку стать нъсколько въ сторону отъ себя и судить поступокъ, на который она рашилась, какъ дело постороннее; но мысли ея все направлены къ оправданію этого поступка. "Вотъ, — говоритъ, — долго-ли погибнуть-то... Въ неволъто кому весело... Вотъ хоть я теперь — живу, маюсь, просвъту себъ не вижу... свекровь сокрушила меня"... и т. д. — все оправдательныя статьи. А потомъ еще облегантельныя соображенія: "видно ужъ судьба такъ хочетъ... Да какой же и гръхъ въ этомъ, если я на него взгляну разъ...

Да хоть и поговорю - то, такъ все не бѣда. А можетъ такого случая - то еще во всю жизнь не выйдетъ"... Этотъ монологъ возбудилъ въ нѣкоторыхъ критикахъ охоту иронизировать надъ Катериною, какъ надъ безстыжею инокриткою; но мы не знаемъ большаго безстыдства, какъ увърять, будто бы мы, или кто-нибудь изъ нашихъ идеальныхъ друзей, не причастны такимъ сдълкамъ съ совъстью... Въ этихъ сдълкахъ не личности виноваты, а тъ понятія, которыя имъ вбиты въ голову съ малолътства и которыя такъ часто противны бывають естественному ходу живыхъ стремленій души. Пока эти понятія ве выгнаны изъ общества, пока полная гармонія идей и потребностей природы не возстановлена въ человъческомъ существъ, до тъхъ поръ подобныя сдълки неизбъжны. Хорошо еще и то, если, дълая ихъ, приходять къ тому, что представляется натурою и здравымъ сунсломъ, и не падаютъ подъ гнетомъ условныхъ наставленій искусственной морали. Именно на это и стало силы у Катерины, и чъмъ сильное говорить въ ней натура, томъ спокойное смотрить она въ лицо дътскимъ бреднямъ, которыхъ бояться пріучили ее окружающіе. Поэтому намъ кажется даже, что артистка, исполняющая роль Катерины на петербургской сцень, дълаетъ маленькую ошибку, придавая монологу, о которомъ мы говоримъ, слишкомъ много жара и трагичности. Она, очевидно, хочетъ выразить борьбу, совершающуюся въ душъ Катерины, и съ этой точки зрвнія она передаеть трудный монологь превосходно. Но намъ кажется, что сообразные съ характеромы и положениемы Катерины въ этомы случав-придавать ен словамъ больше спокойствін и легкости. Борьба собственно уже кончена, остается лишь небольшое раздумые, старая ветошь покрываеть еще Катерину, и она мало-по-малу сбрасываеть ее съ себя... Окончание монолога выдаеть ся сердце: "будь, что будеть, а я Бориса увижу", заключаеть она, и въ забытьи предчувствія восклицаеть: "ахъ, кабы ночь поскоръй!"

Такая любовь, такое чувство не уживется въ стѣнахъ кабановскаго дома, съ притворствомъ и обманомъ. Катерина хоть и рѣшилась на тайное свиданіе, но въ первый же разъ, въ востортѣ любви, говоритъ Борису, увѣряющему, что никто ничего не узнаетъ: "Э. что меня жалѣть, никто не вичоватъ, — сама на то пошла. Не жалѣй, губи меня! Пусть всѣ знаютъ, пусть всѣ видятъ, что я дѣлаю... Коли я для тебя грѣха не побоялась, побоюсь-ли я людского суда?"

И точно, она ничего не боится, кром'в лишенія возможности вид'вть ен избраннаго, говорить съ нимъ, наслаждаться съ нимъ этими л'втними ночами, этими новыми для нея чувствами. Прівхалъ мужъ, и жизнь ей стала не въ жизнь. Надо было тайться, хитрить; она этого не хот вла и не ум'вла: надо было оцять воротиться къ своей черствой, тоскливой

жизни, — это ей показалось горче прежняго. Да еще надо было бояться каждую минуту за себя, за каждое свое слово, особенно передъ свекровью; надо было бояться еще и страшной кары для души... Такое положение невыносимо было для Катерины: дни и почи она все думала, страдала, экзальтировала свое воображение, и безъ того горячее, и конецъ былъ тотъ, что она не могла вытеривть — при всемъ народъ, столиившемся въ галлереъ старинной церкви, покаялась во всемъ мужу. Первое движение его было страхъ, что скажетъ мать. "Не надо, не гооори, матушка здъсъ", шепчетъ онъ, растерявнись. Но, мать уже прислушалась и требуетъ полной исповъди, въ заключение которой выводить свою мораль: "что. сынокъ. пуда воля-то ведетъ?"

Трудно, конечно, болже насмъяться надъ здравниъ смисломъ, чтиъ какъ дълаетъ это Кабаниха чъ своемъ восклицании. Но. въ "темномъ царствъ ", здравый смыслъ ничего не значить: съ "преступницею" приняли м'вры, совершенно ему противныя, но обычныя въ томъ быту: мужъ, по повелънію матери, побиль маленько свою жену, свекровь заперла ее на замокъ и начала ъсть поъдомъ... Колчены воля и покой бъдной женщины: прежде хоть ее попрекнуть не могли, хоть могла она чувствовать свою полную правоту передъ этими людьми. А теперь въдь, такъ или иначе. она передъ ними виновата, она нарушила свои обязанности къ нимъ, принесла горе и позоръ въ семью; теперь самое жестокое обращение съ ней имветь уже поводы и оправдание. Что остается ей? Пожалвть о неудачной попыткъ вырваться на волю и оставить свои мечты о любви и счастьи. какъ уже покинула она радужныя грези о чудныхъ садахъ съ райскимъ принемъ. Остается ей покориться, отречься отъ самостоятельной жизни и сдълаться безпрекословной угодницей свекрови, кроткою рабою своего мужа и никогда уже не дерзать на какія-нибудь попытки опять обнаружить свои требованія... Но нътъ, не таковъ характеръ Катерины; не за тъмъ отразился въ ней новый типъ, создаваемый русской жизнью, — чтобы сказаться только безплодной попыткой и погибнуть после первой неудачи. Нетъ, она уже не возвратится къ прежней жизни: если ей нельзя наслаждаться своимъ чувствомъ, своей волей вполнъ законно и свято, при свътъ бълаго дня, передъ всёмъ народомъ, если у нея вырывають то, что нашла она и что ей такъ дорого, она ничего тогда не хочеть въ жизни, она и жизни не хочетъ. Пятый актъ "Грозы" составляетъ аповеозу этого характера, столь простого, глубокаго и такъ близкаго къ положению и къ сердцу каждаго порядочнаго человъка въ нашемъ обществъ. Никакихъ ходуль не подставилъ художникъ своей героинъ, онъ не далъ ей даже героизма, а оставилъ ее той же простой, наивной женщиной, какой она являлась передъ нами и до "гръха" своего. Въ пятомъ актъ у ней всего два монолога, да разговоръ съ Борисомъ; но они полны. въ своей сжатости, такой силы, такихъ многозначительныхъ откровеній, что, принявшись за нихъ, мы боимся закомментироваться еще на цълую статью. Постараемся ограничиться нъсколькими словами.

Въ монологахъ Катерины видно, что у ней и теперь нътъ ничего формулированнаго; она до конца водится своей натурой, а не заданными рвиеніями, потому что для ръшеній ей бы надо было имъть логическія, твердыя основанія, а между темъ вев начала, которыя ей даны для теоретическихъ разсужденій, решительно противны ся натуральнымъ влеченіямъ. Оттого она не только не принимаетъ геройскихъ позъ и не произноситъ изреченій, доказывающихъ твердость характера, а даже, напротивъявляется въ видъ слабой женщины, не умъющей противиться своимъ влеченіямъ, и старается оправдывать тотъ героизмъ, какой проявляется въ ея поступкахъ. Она решилась умереть, но ее стращить мысль, что это гръхъ, и она какъ бы старается доказать намъ и себъ, что ее можно и простить, такъ какъ ей ужъ очень тяжело. Ей хотелось бы пользоваться жизнью и любовью; но она знаеть, что это -преступление, и потому говорить въ оправдание свое: "что-жъ, ужъ все равно, ужъ душу свою я въдь погубила! " Ни на кого она не жалуется, никого не винитъ, и даже на мысль ей не приходить ничего подобнаго; напротивъ, она предъ всеми виновата, даже Бориса она спрашиваеть, не сердится-ли онъ на нее, не проклинаетъ - ли... Нътъ въ ней ни злобы, ни презрънія, ничего, чъмъ такъ красуются обыкновенно разочарованные герои, самовольно покидающіе свъть. Но не можеть она жить больше, не можеть, да и только; отъ полноты сердца говорить она: "ужъ измучилась я... Долго-ль мив еще мучиться? Для чего мив теперь жить, - ну, для чего? Ничего мив не надо, ничего мив не мило, и свътъ Божій не милъ! — а смерть не приходитъ! Ты ее вличешь, а она не приходитъ. Что ни увижу, что ни услышу, только тутъ (показывая на сердце) больно". При мысли о могилъ ей дълается легче, - спокойствие какъ будто проливается ей въ душу. "Такъ тихо, такъ хорошо... А объ жизни и думать не хочется... Опять жить?.. Нътъ, нътъ, не надо... не хорошо. И люди мит противны, и домъ мит противенъ, и стъны противны! Не пойду туда! Нътъ, пътъ, не пойду... Придешь къ нимъ — они ходять, говорять, — а на что миъ это?.. " И мысль о горечи жизни, какую надо будеть терпеть, до того терзаеть Катерину, что повергаетъ ее въ какое то полугорячечное состояніе. Въ последній моменть особенно живо мелькають въ ея воображеніи все домашніе ужасы. Она вскрикиваеть: "а поймають меня да воротять домой насильно!.. Скоръй, скоръй"... И дъло кончено: она не будетъ болъе жертвою бездушной свекрови, не будеть болже томиться взаперти, съ безхарактернымъ и противнымъ ей мужемъ. Она освобождена!..

Грустно, горько такое освобождение; но что же делать, когда другого выхода нътъ... Хорошо, что нашлась въ бъдной женщинъ ръшимость хоть на этотъ страшный выходъ. Въ томъ и сила ея характера, оттого - то "Гроза" и производить на насъ висчатление освежающее, какъ иы сказали выше. Безъ сомивнія, лучше бы было, еслибъ возможно было Катеринъ избавиться другимъ образомъ отъ своихъ мучителей, или ежели бы эти мучители могли измъниться и примирить ее съ собою и съ жизнью. Но ни то, ни другое—не въ порядкъ вещей. Кабанова не можетъ оставить того, съ чемъ она воспитана и прожила целый векъ; безхарактерный сынъ ен не можетъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, пріобръсти твердость и самостоятельность до такой степени, чтобы отречься отъ всъхъ пельпостей, внушаемыхъ ему старухой; все окружающее не можетъ перевернуться вдругъ такъ, чтобы сделать сладкою жизнь молодой женщины. Самое большее, что они могуть сдвлать, - это простить ее, облегчить ивсколько тягость ся домашняго заключенія, сказать ей нісколько милостивыхъ словъ, можетъ быть подарить право имвть голосъ въ хозяйствъ, когда спросятъ ея мивнія. Можетъ быть, этого и достаточно было бы для другой женщины, забитой, безсильной, и въ другое время, когда самодурство Кабановыхъ покоилось на общемъ безгласіи и не имъло столько поводовъ выказывать свое наглое презрѣніе къ здравому смыслу и всякому праву. Но мы видимъ, что Катерина не убила въ себъ человъческую природу и что она находится только вившнимъ образомъ, по положение своему, подъ гнетомъ самодурной жизни; внутренно же, сердцеиъ и смысломъ — сознаетъ всю ея нелвность, которая теперь еще увеличивается твив, что Дикіе и Кабановы, встрвчая себв противорвчіе и не будучи въ силахъ побъдить его, но желая поставить на своемъ, прямо объявляютъ себя противъ логики, то есть, ставятъ себя дураками предъ большинствомъ людей. При такомъ положении дель, само собою разумъется, что Катерина не можетъ удовлетвориться великодушнымъ прощеніемъ отъ самодуровъ и возвращениемъ ей прежнихъ правъ въ семьв: она знаетъ, что значитъ милость Кабановой и каковы могутъ быть права невъстки при такой свекрови... Нътъ, ей бы нужно было не то, чтобъ ей что-нибудь уступили и облегчили, а то, чтобы свекровь, нужъ, всъ окружающие — слълались способны удовлетворить тъмъ живымъ стремленіямъ, которыми она проникнута, признать законность ея природныхъ требованій, отречься отъ всявихъ принудительныхъ правъ на нее и переродиться до того, чтобы сдълаться достойными ея любви и довърія. Нечего и говорить о томъ. въ какой мёрё возможно для нихъ такое перерождение...

Менње невозможности представляло бы другое ръшеніе — бъжать съ Борисомъ отъ произвола и насилія домашнихъ. Несмотря на строгость формальнаго закона, несмотря на ожесточенность грубаго самодурства, подобпые шаги не представляють невозможности сами по себь, особенно для
такихъ характеровъ, какъ Катерина. И она не препебрегаетъ этипъ выходомъ, потому что она не отвлеченная героиня, которой хочется смерти
по принципу. Убъжавши изъ дому, чтобы свидъться съ Борисомъ, и уже
задумывая о сперти, она однако вовсе не прочь отъ побъга: узпавши, что
Борисъ тдетъ далеко, въ Сибирь, она очень просто говоритъ ему: "возьми
меня съ собой отсюда". Но тутъ-то и всилываетъ передъ начи на минуту
камень, который держитъ людей въ глубинъ омута, названнаго нами "темнымъ царствомъ". Камень этотъ— матеріальная зависимость. Борисъ ничего не имъетъ и вполить зависитъ отъ дяди — Дивого; Дикой съ Кабановыми уладили, чтобъ его отправить въ Кяхту, и. конечно, не дадутъ
ему взять съ собой Катерину. Оттого онъ и отвъчаетъ ей: "нельзя. Катя:
не по своей волъ я тду, дядя посылаетъ, ужъ и лошади готовы", и пр.
Борисъ — не герой, онъ далеко не стоитъ Катерины, она и полюбила-то
его больше на безлюдьи. Онъ хватилъ "образованія", и никакъ не справится ни съ старымъ бытомъ, ни съ сердцемъ своимъ, ни съ здравымъ
смысломъ, — ходитъ, точно потерянный. Живетъ онъ у дяди потому, что
тотъ сму и сестръ его долженъ часть бабушкина наслъдства отдать, "если
они будутъ къ нему почтительнымъ и, слъдовательно, ничего не дастъ
сму; да этого мало, Борисъ такъ разсуждаетъ: "нътъ, онъ прежде налоему; да этого мало, Борисъ такъ разсуждаетъ: "нътъ, онъ прежде нало-мается надъ нами, наругается всячески, какъ его душъ угодно, а кончитъ мается надъ нами, наругается всячески, какъ его душъ угодно, а кончитъ все-таки тъмъ, что не дастъ ничего, или такъ какую-нибудь малость, да еще станетъ разсказывать, что изъ милости далъ, что и этого бы не слъдовало". А все-таки онъ живетъ у дяди и сноситъ его ругательства; зачъмъ?—неизвъстно. При первомъ свиданіи съ Катериной, когда она говоритъ о томъ, что ее ждетъ за это, Борисъ прерываетъ ее словами: "ну, что объ этомъ думать, благо намъ теперь хорошо". А при послъднемъ свиданіи плачется: "кто жъ это зналъ, что намъ за нашу любовь такъ мучиться съ тобой! Лучше бы бъжать мнъ тогда! "Словомъ, это одинъ изътъхъ весьма неръдкихъ людей, которые не умъютъ дълать того, что понимаютъ, и не понимаютъ того, что дълаютъ. Типъ ихъ много разъ изображался въ нашей беллетристикъ — то съ преувеличеннымъ состраданіемъ въ нимъ, то съ излишнимъ ожесточеніемъ противъ нихъ. Островскій даетъ ихъ намъ такъ, какъ они есть, и съ особеннымъ, свойственнымъ ему умъньемъ рисуетъ двумя-тремя чертами ихъ полную незначительность, хотя, впрочемъ, не лишенную извъстной степени душевнаго благородства. О Борисъ нечего распространяться; онъ, собственно, долженъ быть отнесенъ тоже въ обстановкю, въ которую попадаетъ героиня довролювовъ т. нь. пьесы. Онъ представляетъ одно изъ обстоятельствъ, делающихъ необходимымъ фатальный конецъ ся. Будь это другой человъкъ и въ другомъ положенін, тогда бы и въ воду бросаться не надо. Но въ томъ-то и дело, что среда, подчиненная силь Дикихъ и Кабановыхъ, производить обыкновенно Тихоновъ и Борисовъ, не способныхъ воспринуть и принять свою человъческую природу, даже при столкновеніи съ такими характерами, какъ Катерина. Мы сказали выше изсколько словъ о Тихоив; Борисътакой же въ сущности, только "образованиый". Образованіе отняло у него силу дълать пакости. - правда; но оно не дало ему силы противиться накостямъ, которыя делають другіе; оно не развило даже въ немъ способности такъ вести себя, чтобы оставаться чуждымъ всему гадкому, что кишить вкругь него. Ивть, мало того, что не противодъйствуеть, - онь подчиняется чужимъ гадостямъ, онъ волей неволей участвуетъ въ нихъ и долженъ принимать всв ихъ послъдствія. Но онъ понимаетъ свое положеніе, толкуєть о немь и нередко даже обланываеть, на первый разь, истинноживыя и крынкія натуры, которыя, суля по себь, дунають, что если человъкъ такъ думаетъ, такъ понимаетъ, то такъ долженъ и дълать. Смотря съ своей точки, этакія натуры не затруднятся сказать "образованнымъ" страдальцамъ. удаляющимся отъ горестныхъ обстоятельствъ жизни: "возьми и меня съ собой, я пойду за тобою всюду". Но туть-то и окажется безсиліе страдальцевь; окажется, что они и не предвидали, и что они проклинають себя, и что они рады бы, да нельзя, и что воли у нихъ нъть, а главное-что у нохъ нътъ ничего за душою, и что для продолженія своего существованія они должны служить тому же самому Дикому, отъ котораго виветв съ нами хотвли бы избавиться.

Ни хвалить, ни бранить этихъ людей нечего; но нужно обратить вниманіе на ту практическую почву, на которую переходить вопросъ; надо признать, что человъку, ожидающему наслъдства отъ дяди, трудно сбросить съ себя зависимость отъ этого дяди, и затъмъ надо отказаться отъ излишнихъ надеждъ на племянниковъ, ожидающихъ наслъдства, хотя бы они и были "образованы" по самое нельзя. Если тутъ разбирать виноватаго, то виноваты окажутся не столько племянники, сколько дяди, или, лучше сказать, ихъ наслъдство.

Впрочемъ, о значеніи матеріальной зависимости, какъ главной основи всей силы самодуровь въ "тенномъ царствъ", мы пространно говорили въ нашихъ прежнихъ статьяхъ. Поэтому здъсь только напоминаемъ объ этомъ, чтобы указать ръшительную необходимость того фатальнаго конца, какой имъетъ Катерина въ "Грозъ" и, слъдовательно, ръшительную необходимость характера, который бы, при данномъ положеніи, готовъ быль къ такому концу.

Мы уже сказали, что конець этотъ кажется намъ отраднымъ; легко монять, почему: въ немъ данъ страшный вызовъ самодурной силъ, онъ говорить ей, что уже нельзя идти дальше, нельзя долъе жить съ ен насильственными, мертвящими началами. Въ Катеринъ видинъ мы протестъ противъ кабановскихъ понятій и нравственности, протестъ, доведенный до конца, провозглашенный и подъ домашней пыткой, и надъ бездной, въ которую бросилась бъдная женщина. Она не хочетъ мириться, не хочетъ пользоваться жалкимъ прозябаніемъ, которое ей даютъ въ обиънъ за ен живую душу. Ен погибель — это осуществленная пъснь плъна вавилонскаго: играйте и пойте намъ пъсни стонскія, — говорили Гуденмъ и: ъ побъдители; но печальный пророкъ отозвался, что не въ рабствъ можно пъть священныя пъсни родины, что лучше пусть языкъ ихъ прилипнетъ къ гортани и руки отсохнутъ, нежели примутся они за гусли и запоютъ стонскія пъсни на потъху владыкъ своихъ. Несмотря па все свое отчанніе, эта пъснь производитъ высоко-отрадное, мужественное впечатлъніе: чувствуеть, что не погибъ бы народъ еврейскій, еслибъ весь и всегда одушевленъ былъ такими чувствами...

Но и безъ всякихъ возвышенныхъ соображеній, просто по человъчеству, напъ отрадно видъть избавленіе Катерины — хоть черезъ смерть, коли пельзя иначе. На этотъ счетъ мы имъемъ въ самой драмъ страшное свидътельство, говорящее намъ, что жить въ "тейнойъ царствъ" хуже смерти. Тихонъ, бросаясь на трунъ жены, вытащенный изъ воды, кричитъ въ самозабвеніи: "хорошо тебъ, Катя! А я - то зачъмъ остался жить на свътъ да мучиться!" Этимъ восклицаніемъ заканчивается пьеса, и намъ кажется, что ничего нельзя было придумать сильнъе и правдивъе такого окончанія. Слова Тихона дають ключъ къ уразумънію пьесы для тъхъ, кто бы даже и не понять ея сущности ранве; они заставляють зрителя по-думать уже не о любовной интригв, а обо всей этой жизни, гдв живые за-видують умершимь, да еще какимь — самоубійцамь! Собственно говоря, восклицаніе Тихона глупо: Волга близко, кто же мвинаеть и ему броситься, если жить тошно? Но въ томъ-то и горе его, то-то ему и тяжко, что онъ ничего, ръшительно ничего сдълать не можеть, даже и того, вь чемъ при-знаеть свое благо и спасеніе. Это нравственное растлініе, это уничтоже-ніе человіка дійствуєть на нась тижелье вслкаго, самаго трагическаго происшествія: тамъ видишь гибель одновременную, конецъ страданій, часто избавление отъ необходимости служить жалкимъ орудимъ какихъ-нибудь гнусностей; а здъсь — постоянную, гнетущую боль, разслабленіе, полутрупъ, въ теченіе многихъ лътъ согнивающій заживо... И думать, что этотъ живой трупъ – не одинъ, не исключеніе, а цълая масса людей, под-верженныхъ тлетворному вліянію Дикихъ и Кабановыхъ! И не чаять для

нихъ избавленія—это, согласитесь, ужасно! За то какою же отрадною, свѣжею жизнью въетъ на насъ здоровая личность, находящая въ себъ рѣшимость покопчить съ этой гвилою жизнью, во что бы то ни стало!.. На этомъ мы и кончаемъ. Мы не говорили о многомъ—о сценъ ноч-

ного свиданія, о личности Кулигина, не лишенной тоже значенія въ пьесъ, о Варваръ и Кудряшъ, о разговоръ дикото съ Кабановой и пр. и пр. Это оттого, что наша цвль была указать общій смысль пьесы, и, увлекаясь общимъ, мы не могли достаточно входить въ разборъ всваъ подробностей. Литературные судьи останутся опять недовольны: whpa художественнаго достоинства пьесы недостаточно опредълена и выяслена, лучшія м'яста не указаны, характеры второстепенные и главные не отд'ялены строго, а всего пуще — искусство опять сдълано орудіемъ какой-то но-сторонней идеи!.. Все это мы знаемъ, и имъемъ только одинъ отвътъ: пусть читатели разсудять сами (предполагаемъ, что всѣ читали или видѣли "Грозу"), — точно-ли идея. указанная нами, совстьмъ посторонняя "Грозъ", навязанная нами насильно, или же она дъйствительно вытекаеть изв самой пьесы, составляеть ся сущность и опредвляеть прямой ея смыслъ?.. Если мы ошиблись, пусть намъ это докажуть. дадутъ другой смыслъ ньесъ, болъе къ ней подходящій... Если же наши мысли сообразны съ пьесою, то мы просимъ отвътить еще на одинъ вопросъ: точноли русская живая натура выразилась въ Катеринъ, точно - ли русская обстановка во всемь, ее окружиющемь, точно - ли потребность возникающаго движенія русской жизни сказалась въ смыслю пьесы, какъ она понята нами? Если "нътъ", если читатели не признають здъсь ничего знакомаго, родного ихъ сердцу, близкаго къ ихъ насущнымъ потребностямъ, тогда, конечно, нашъ трудъ потерянъ. Но ежели "да", ежели наши читатели, сообразивъ наши замътки, найдутъ, что точно русская жизнь и русская сила вызваны художникомъ въ "Грозъ" на ръшительное дело, и если они почувствуютъ законность и важность этого дела, тогда мы довольны, что бы ни говорили наши ученые и литературные судьи.

La Confession d'un poète, par Nicolas Sémenow. Paris. 1860. (Исповъдь поэта, сочин. Николая Семенова. Парижъ).

Все, что написано по-французски, принадлежитъ собственно къ французской литературъ и потому, по настоящему, не должно бы имъть мъста въ русской библіографіи. Но мы питаемъ большую нъжность къ нашимъ соотечественникамъ, на какомъ бы языкъ они ни говорили, и никакъ не

хотимъ уступить ихъ иноземцамъ. Г. Кокоревъ, графъ Соллогубъ, Наркисъ Атрѣшковъ, Николай-де-Жеребцовъ, инженеръ-полковникъ Комаровъ и другіе французскіе литераторы изъ русскихъ остаются постоянно близки нашему сердцу не менѣе тѣхъ русскихъ писателей, которые простираютъ свое презрѣніе къ иностраннымъ языкамъ до того что, Blinde Kuh переводятъ "слѣпая корова"... Нашъ патріотизмъ такъ великъ, что никакой языкъ, даже языкъ статей г. Аполлона Григорьева, не помъщаетъ намъ тотчасъ признать пашего соотечественника, гдѣ бы мы его на встрѣтили, не только въ Парижѣ, но даже въ первочъ и третьемъ отдѣленіи Санктпетербургской Академіи Наукъ. Не упрекайте же насъ за намъреніе разбирать въ числѣ русскихъ книгъ французское сочиненіе г. Семенова.

Въ отношеніи къ этому авгору мы имъемъ, впрочемъ и другія причины, почему обращаемъ на пего вниманіе. Главная причина та, что намъ жаль юный (можеть, онъ и старый, но изъучтивости всегда говоритсяюный) таланть, до сихъ поръ не нашедшій себъ достойной оцівнки. Представьте себъ, младой россійскій юноша ощутиль вдругь призваніе къ твор-честву и неразлучное съ нимъ стремленіе къ славъ. Онъ горить желаніемъ раскрыть свою душу предъ целымъ міромъ. Россія, какъ ни огромно ея протяжение, тъсна для него, удивления семидесяти миллионовъ, говорящихъ по-русски, мало ему... Онъ хочетъ заявить себя предъ Европой, онъ желаетъ поразить блескомъ своего генія весь образованный міръ. И воть онъ прибътаетъ къ всемірному языку — сочиняеть книжку по - французски, спъшить въ Парижъ, печатаетъ свою рукопись въ великолъпной типографіи Дюбюнссона въ Rue - Coq - Héron, можетъ быть самой литературной изъ парижскихъ улицъ, нъчто въ родъ Армянскаго переулка въ Москвъ, отдаеть свою книжку на попечение г. Amyot, раздъляющаго съ Франкомъ любовь нашихъ соотечественниковъ, и ждетъ, что заговоритъ о немъ Европа. Онъ имъетъ всъ шансы для прославленія своего имени: лучшіе изъ соотечественниковъ прочтутъ его по французски скорве, чвиъ если бы онъписалъ по русски; въ мивніи каждаго порядочнаго русскаго, романъ его будетъ заранъе выигрывать 50 процентовъ уже потому, что онъ идетъ изъ Парижа; кромъ того, сокровища таланта русскаго автора доступны теперь для удивленія встхъ образованных влюдей Европы; но особенно важно то, что новое французское твореніе должно вызвать похвалы парижской прессы; а такъ какъ извъстно, что журналистика всего міра повторяетъ то, что говорится въ Парижъ. то, безъ всякаго сомнънія, имя г. Семенова скоро

разнесется во всв концы вселенной и прогремить въ обоихъ полушаріяхъ.
Такъ, конечно. разсчитывалъ юный романистъ и, можетъ быть, въ мечтахъ своихъ возносился уже выше Вандомской колонны, противъ которой помъщается книжный магазинъ г. Амьо, его издателя. Судите же, каково

должно быть его разочарованіе: прошло около года послів изданія его романа, и никто не заикнулся о немъ. Парижская пресса прошла его молчаиісмъ, и онъ можетъ разсчитывать разв'я нопасть въ будущій Annuairedes deux Mondes, который съ особенной любовью занимается состояніемъ русской науки и литературы, считая въ числъ главныхъ ея представите-лей гг. Лешкова и Луганскаго, или, какъ онъ выражается, Zeschkoff в Zouganski. Г. Семеновъ ждалъ всемірной славы, а ея-то и пѣтъ... Малотого, и сама Россія осталась до сихъ поръ въ невъдѣніи о твореніи. давшемъ Европъ новое доказательство русскаго генія. Русскіе журналы заняты были поздними сожальніями о томъ, что Россія потеряла г жу Свъчину, столь благод втельно дайствовавшую на развитие истинной цивилизаціи за границей; но никто не пожальть о томъ, что русскіе читатели, не знающіе по - французски, лишены счастія познакомиться съ талантомъ г. Семенова... Мало того, даже въ петербургские салоны не проникъ розовый томикъ г. Семенова, несмотря даже на то, что онъ многократно и съ особенной настоятельностью обращается къ свътскимъ дамамъ и молодымъ джентльменамъ. Правда, онъ пенелитъ ихъ молніями своего гивва, но твиъ интереспве долженъ бы онъ казаться: поэтъ во гнъвъ!.. Въдь это море въ бурю! И если вы стоите на берегу, въ полной безопасности, какъ же не полюбоваться на величественное явленіе природы!.. Но habent sua fata. libelli—глубокомысленно замътили бы мы, если бы назначали свою рецен-зію для "Отечественныхъ Записокъ". Несмотря на всъ шансы успъха, книжка г. Семенова прошла незамъченною, и уже перешла теперь на толкучіе рынки Латинскаго квартала, где продается за четверть цены. По всему видно, что нашего романиста постигла участь Матрены, которую обезсмертиль Крыловь въ одномъ изъ сбоихъ комментаріевъ на собственныя басни:

И сдълалась Матрена Ни пава, ни ворона.

Отъ русской литературы г. Семеновъ бъжалъ, а французская не при-знада его.

Такъ не будетъ же этого, — сказали им сами себъ: — им не допустимъ погибнуть въ безвъстности нашего соотечественника, не оставииъ его ни въ тъхъ, ни въ съхъ! Если французскія павы не хотятъ признать его, то им будемъ благороднъе ихъ и убъдимъ русскую литературу принять г. Семенова въ свою среду, какъ настоящую кровную ворону!..

Въ самомъ дёлё, стоитъ пробёжать романъ, чтобы увидёть, что авторъ его, хотя и пишетъ по-французски, но, по своимъ понятіямъ, стремленіямъ и сочувствіямъ, остался истинно - русскимъ человёкомъ, принадлежащимъ къ нашему лучшему обществу. Чтобы убёдить васъ въ этомъ, мы разска-

жемъ вкратцъ содержаніе "Исповъди поэта", предполагая, что вы имъете несчастіе до сихъ поръ еще не знать ея.

Надо замѣтить прежле всего, что г. Семеновъ говорить не отъ своего имени, а отъ имени нѣкотораго поэта, по имени Евгенія. Сужденіе самого автора о его героф можно находить въ заключительномт письмѣ его друга, графа N. По мнѣнію графа, "сердце Евгенія заключало въ себѣ сокровища доброты и благородства, горячую любовь къ истинѣ и справедливости; онъ былъ страстенъ и порывистъ; ненависть его, если онъ ненавидѣлъ, доходила до изступленія; но этотъ недостатокъ искупался въ немъ тысячами достоинствъ: онъ былъ прямодушенъ, мужественъ, какъ его предки, безкорыстенъ, предавъ тѣмъ, кого любилъ, до того, что готовъ былъ жертвовать для нихъ всѣмъ, даже жизнью. Но, что особенно отличало его, это духъ изумительной правоты, свободной отъ всякихъ предразсудковъ, и поэтическій ароматъ, исходившій изъ его души " (стр. 214). И такъ, вотъ съ кѣмъ вы имѣете дѣло: этотъ изумительный Евгеній, это совершенство въ нѣкоторомъ родѣ — разсказываетъ вамъ исторію своего сердца.

На балѣ mademoiselle Евлалін, содержанки вышеупомянутаго графа N\* (какъ видно, г. Семеновъ хотъль дать Евроит понятие о нашей гласности, и потому многія лица въ своемъ романъ не означаетъ иначе, какъ только буквами). - Евгеній влюбился въ прелестную испанку. Инесу, которую содержаль баронъ Ризенштейнъ. Вы не пугайтесь, что дело начинается такъ прозаически: сейчасъ же дойдеть и до поэзін. Испанка дала Евгенію свой альбомъ, чтобъ овъ импровизировалъ въ него стишки. Онъ сначала-было окрысился, потому что "смъшно же восивнать прелестные глазки d'une courtisane" — какъ это приличнъе сказать по-русски — мы ужъ и не знаемъ. Но такъ какъ Евгеній — человъкъ bien élevé, то онъ и не могъ сделать невежливости даже куртизанке — и взялъ альбомъ, съ начвреніемъ, однакоже, написать испанкв quelque bonne méchanceté. Эта bonne méchanceté весьма удачно импровизирована была виъ изъ нъсколькихъ общихъ мъстъ, до сихъ поръ, впрочемъ, принимаемыхъ за остроуміе въ извъстномъ кругъ общества. Чтобы дать вамъ понятіе о точъ, какъ нашъ поэтъ (или г. Семеновъ—на сей разъ это все равно) мастерски владветь французскимъ языкомъ и стихомъ, мы выписываемъ его импровизацію.

> L'amour est cher à Pétersbourg. Aux yeux de plus d'une siréne Bourse vide est preuve certaine D'un manque de cœur et d'amour.

Or, je suis un trop pauvre hère. Et pour qui t'aime, ange malin, La bourse a tort d'etre légère Alors que le coeur est trop plein. Je dissimule en vain ma plaie Sous les replis d'un madrigal. C'est pour l'amour triste monnaie. Quand il demande un capital.

Отдавши испанкъ альбомъ, поэтъ удалился и пошелъ играть въ карты. Но черезъ часъ пошелъ ее отыскивать. Онъ ее нашель въ дальней, слабо освъщенной комнатъ, читающею его стихи и плачущею. Произопло, разумфется, объяснение, изъ котораго оказалось, что испанка имфеть возвышенимя чувства, вовсе не торгуетъ собою, любитъ Евгенія, но только не хочетъ обманывать своего любовника... Объяснение было прервано на самомъ интересномъ мъстъ; но, тъмъ не менъе, дъло было кончено. Испанки, какъ извъстно всемъ, даже не читавшимъ писемъ В. П. Боткина, страстин и ръшительны; следовательно, ничего нътъ удивительнаго, что Инеса на другое же утро бросила свою великольничю квартиру, продала мебель, отослала вырученныя деньги къ Ризенштейну, своему бывшему любовнику, наняла маленькую квартиру и, къ вечеру, прибъжала къ Евгенію съобъявленіемъ, что она его навъки. Вотъ что значатъ поэзія, особенно такая, въ которой поэтъ называеть себя "ип рацуге hère", избъгая такимъ образомъ вульгарнаго pauvre diable и въ то же время счастливо приближаясь къ языку Шиллера и Гёте!..

Все было прекрасно, несмотря на то, что рашуге herè быль дійствительно небогать: онъ получаль сто целковыхь въ месяць отъ своихъ родителей, а осгальное приходило ему случайно - то при счастливой игръ, то за удачные стишки. Испанка, однакоже, не тяготилась своимъ положеніемъ, потому что безъ уна была отъ Евгенія и его талантовъ. Но поэтъ всегда найдеть себъ причину печали: онь вздумаль тосковать о томъ, что Инеса досталась ему не дъвою!.. Надо сказать, что онъ самъ, какъ "jeune homme élégant et distingué". по его собственному признанію, имъль-таки на своемъ въку не одну интрижку, и даже не задолго до встръчи съ Инесою только-что бросилъ какую-то княгиню С\*. Связь его съ этой княгиней не была тайною, и Инеса знала про нее, но (по своей испорченности, очевидно) и не думала оскорбляться этимъ и ревновать прошедшее своего Евгенія. Но поэтъ нашъ не изъ такихъ: нося въ сердце своемъ "горячую любовь къ истинъ и справедливости", онъ питаетъ, какъ видно, не менъе горячую любовь и къ кое-чему другому, - онъ не можетъ никакъ примириться съ мыслью, что "другой владель его Инесою, другой покрываль это прекрасное тело своими ласками". Вследствие того, додно угро, держа ее въ своихъ объятіяхъ, онъ былъ охваченъ холоднымъ бешенствомъ, безумнымъ желаніемъ задушить ее "... Къ счастью, па этотъ разъ смертоубійственное намърение не исполнилось, и мысли поэта приняли другой оборотъ, хотя въ томъ же разрушительномъ направлени: ему захотълось во что бы то ни стало убить Ризенштейна. Онъ не могъ только придумать приличнаго предлога для дуэли... Но, къ счастью, оказалось, что баронъ одержанъ былъ той же, истинно-нъмецкой страстью — убивать своихъ ближнихъ. Такимъ образомъ, въ то самое время, какъ Евгеній обдумывалъ проектъ ссоры съ барономъ, предупредительный нъмецъ самъ къ нему явился и безъ всякихъ предисловій освъдомился, не желаетъ-ли поэтъ драться съ нимъ. Поэтъ отвъчалъ: "съ величайнимъ удовольствіемъ", и на другой день они дрались и, разумъется, Евгеній убилъ Ризенштейна (иначе бы и романа продолжать нельзя было). Послъ дуэли произошла прелестная сцена. Ночь передъ дуэлью Евгеній провелъ съ Инесой; въ семъ часовъ утра, когда она еще спала, онъ отправился; покончивъ дъло, онъ вернулся къ ней и засталъ ее за чаемъ. "Зачъмъ ты сегодня такъ рано поднялся и ушелъ?" спросила она его. — "Я дрался съ Ризенштейномъ и убилъ его", отвъчалъ поэтъ. — "Правда?" спросила она. — "Честное слово!" отвъчалъ онъ. — "О, благодарю", воскликнула она и бросилась ему на шею... Потомъ они принялись, конечно, за чай...

После этого происшествія поэть съ испанкою стали жить спокойнее, только поэтъ надълаль долговъ. Чтобъ заплатить ихъ, онъ написаль романъ; романъ не годился. Но редакторъ журнала, куда Евгеній адресовался, быль человъкъ, какихъ мало даже между журналистами, благороднъйшими людьми въ міръ, какъ извъстно. Онъ сказаль поэту: "вашъ романъ шлохъ, и, надо думать, что вы очень стеснены въ делахъ, если решились подписать ваше имя подъ такимъ произведениемъ: вотъ же вамъ тисяча рублей, которые вы желали получить за вашъ романъ. Мы съ вами сочтемся, когда вы напишете что-нибудь достойное васъ". Подобный героизмъ, рисковавшій быть принятымь за самую оскорбительную пронію, исполниль радостью и признательностью сордце поэта. Онъ взялъ деньги, разумбется, съ твердимъ намбреніемъ немедленно отплатить за нихъ геніальнымъ твореніемъ, и жилъ нъсколько времени спокойно съ своей Инесой. Проживши деньги и не написавши ничего, онъ решился вступить въ службу, съ жалованьемъ 500 рублей въ годъ. Это было немного, но всетаки... Неизвъстно, сколько бы времени продлилось счастье поэта, еслибъ не помъщали его родители. Они прівхали изъ провинціи въ Петербургъ, узнали, разумвется, исторію своего сына, и въ одинъ день, когда поэтъ попросиль у отца денегь впередъ, отецъ принялся убъждать его - оставить Инесу. Поэтъ сказалъ, что лучше пусть возьмутъ жизнь его. Послъ отца, принялась мать за дѣло; поэть быль непоколебимъ. Правда, что резоны родителей не отличались особенной убъдительностью. "Мы увърены, что она превосходная женщина, потому что ты не полюбиль бы такъ сильно

женщину обыкновенную. Но новфрь, что ея любовь не стоить любви твоихъ родителей; а мы принуждены будемъ отвратить отъ тебя наше сердце, если ты не разорвешь этой связи"... Вотъ что говорили они своему сыну. Онъ бы могъ, конечно, спросить ихъ: въ силу какихъ же соображеній отвращается отъ него ихъ сердце за то, что онъ любить прекрасную женщину? Но ему не пришло этого въ голову, или, лучше сказать, онъ въ глубинъ души совершенно понималъ и даже одобрядъ соображения своихъ родителей: единственный аргументъ его противъ пихъ состоялъ въ томъ, что онъ съ Инесою достойны были составить исключение изъ общаго правила... Такимъ образомъ, онъ довелъ своихъ родителей до того, что они отказались давать ему его жалованье—100 цълковыхъ, и объщали лишить наслёдства. Онъ побъжалъ къ Инесъ разсказать ей все. Она посовътовала ему обмануть родителей, сказавши, что онъ ее бросилъ; онъ тотчасъ ощутилъ благородное негодование, на которое она отвъчала, что не могутъ же они жить вдвоемъ на 500 рублей, которые онъ получаеть въ департаментъ, и что если онъ не умъетъ для нея достать больше, то она не хочетъ для него жить на чердакъ. Само собою разумъется, что эти слова обнаружили поэту всю ничтожность и гнусность своей возлюбленной; онъ бросился отъ нея къ своимъ родителямъ и объявилъ, что нокончилъ съ нею. Родители заплатили его долги, благословили его и увхали изъ Петербурга съ облегченнымъ сердцемъ. Но сынъ не могъ утвшиться, и черезъ мъсяцъ, когда Инеса явилась къ нему просить прощенія и соглашалась переносить съ нимъ бълность, - онъ не могъ устоять. Онъ написалъ родителямъ, что отказывается отъ ихъ денегъ, - конечно, не отъ тъхъ, которые ношли въ уплату долговъ его, а на будущее время, - и решился жить съ Инесою на 500 р. въ годъ. Лъто они прожили отлично, къ осени пришли нужды и долги, - Инеса захворала, къ поэту прівхала тетушка и во что бы то ни стало задумала женить его на богатой невъстъ-дъвиць Даровой. Евгеній сначала уперся, но потомъ, имъя въ виду свое стъсненное положеніе, нашель, что это наилучшій возможный выходь. Свои мысли на этоть счеть сообщиль онъ Инесь, объяснивь, конечно, что все это делается для ея счастія. Она отвъчала: "что делать, если въть другого выхода; но только это очень тяжело. Не лучше-ли, если я наймусь въ какой-нибудь магазинъ? Тогда я тебъ не буду стоить такъ много". Поэтъ нашелъ средство. предлагаемое Инесою, неудовлетворительнымъ, и решился обделать свои дъла съ дъвицею Даровой. Для этого онъ немедленно нашелъ денегъ взаймы, на обновление своего гардероба, и наняль квартиру уже отдельно отъ Инесы. Несмотря на то, слухи о связи его дошли до девицы Даровой чрезъ нъкоего господина Равенфельса; узнавъ объ этомъ, поэтъ написалъ къ нему письмо, начинавшееся словами: "вы подло оклеветали меня", и

оканчивавшееся требованіемъ, чтобъ онъ отказался отъ клеветы, подъ страхомъ, въ противномъ случав, получить публичную пощечину. Равенфельсъ отрекся, и все обдалалось благополучно. Къ довершению своего удовольствія, поэть нашель возможность доставлять развлеченія Инесь: графъ N., его другь, предложиль ей ложу въ театръ и всякія увоселенія вивств съ его любовницею. Все шло, стало быть, какъ нельзя лучше. Одно только безпокоило поэта: онъ сталъ замъчать, что Инеса уже не такъ радостно встручаеть его, не такъ пламенно ласкаеть, какъ прежде. Къ тому же, онъ однажды встрътилъ у нея князя № (не смъщивайте съ вышереченнымъ графомъ N\*), молодого красавца и богача, великоленнейшаго изъ нетербургскихъ Донъ-Жуановъ. Вы, безъ сомнънія, предчувствуете, что случилось ?.. Да, читатели, трагическая развязка явилась: однажды, поздно вечеромъ, пришелъ поэтъ къ своей Инесъ, ждалъ ея возвращения съ бала, ждаль прлую ночь - и дождался только въ девять часовъ утра... ('держивая свое бъщенство, онъ спросиль ее, зачънъ она такъ рано вышла сегодня утромъ; она отвътила, что выходила на минуту къ кому-то возлъ; тогда онъ уличилъ ее въ въроломствъ и проклядъ! Она умоляла, она плакала, она объясняла, что князь у напоиль ее и заставиль потерять сознаніе. Поэть быль непреклонень въ своемь гивав! Инеса внушала ему неодолимое отвращение... Да и какъ иначе! Помилуйте, онъ, поэтъ Евгеній, съ своею чистою душою, со всеми сокровищами своего сердца, удостоилъ полюбить ее, --ее, "чье тело другой покрывалъ уже прежде него. своими ласками"; онъ столько сделаль для ея счастія — убиль другого, написалъ плохой романъ, поссорился съ благоразумными родителями, даже... даже ръшился жениться на дъвицъ Даровой, которую не любилъ... А она. — въроломная, безсовъстная Инеса! — она позволила себъ слушать лю. безности красавца Донъ-Жуана, решилась съ нимъ уживать, решилась... вирочемъ, правда, послъ ужина она ужъ ни на что не ръшалась: она потеряла сознаніе... Но все равно: тімъ хуже для нея. Поэтъ никогда не простить ей подобнаго цинизма, ибо любить истину и справедливость и отличается отъ простыхъ смертныхъ поэтическимъ ароматомъ, истекающимъ изъ души его. На этотъ разъ ароматъ былъ силенъ: поэтъ далъ Инес'в coup de pied такой энергическій, что она alla rouler à l'autre bout de la chambre. Затъмъ написалъ покаянное письмо къ любезнымъ родителямъ и сделался боленъ: родители пріфхали къ покаявшемуся блудному сыну. Инеса тоже раскаялась и написала къ поэту письмо, съ мольбамине проклинать и простить ее. Но овъ не смягчился: преступление ея было ужъ слишкомъ велико! Поэтому онъ отвъчалъ ей: "я васъ не прощаю и не проклинаю, потому что я слишкомъ презираю васъ". Восхищенный такимъ отвътомъ, отецъ поэта увезъ его къ себъ въ провинцію.

Затъмъ идетъ не очень интересный для пасъ разсказъ о жизни поэта въ провинціи и за-границей. Въ провинціи онъ завелъ-было интрижку съ табать и въ провинціи и за-границей. Въ провинціи онъ завелъ-было интрижку съ табать и въ провинціи онъ завелъ-было интрижку съ табать и въ провинціи и за-границу. Путь лежаль черезъ Петербургъ. Здѣсь Евгеній узналь, что Инеса на содержиніи у князя N., и получиль уже къ ней совершенное омерзѣніе. Она поймала его въ маскарадъ, начала-было просить прощеніе, но онъ не далъ ей выговорить слова, обругаль самымъ отчаниныть манеромъ и ушелъ, задыхаясь отъ гнѣва. Исполнивъ этотъ долгъ совѣсти, онъ отправился за-границу. Здѣсь онъ продолжалъ грустить объ Инесъ, хотя уже нерѣдко. "увлеченный красотою какой-нибудь римлянки или венеціанки, забывалъ Инесу въ ихъ объятіяхъ". Но настоящій праздникъ сердца билъ для него въ Испаніи: андалузинки, одна другой плѣнительнѣе, заставляли его забывать одну лля другой; онъ перевъжалъ изъ Гренады въ Малагу, изъ Малаги въ Севилью. н пр., утопать въ наслажденіяхъ любви съ новыми избранницами... Но въ Севильъ обезпокоенъ письмочъ Инесы, которая, какъ оказалось, вразумлена была строгими рѣчами поэта и искупила свою вину: она бросила князя N., принялась содержать себя работой, разстропла свое здорове и давно бы умерла съ голоду, если бы не нашла помощи у графа N., друга Евгенія. Теперь графъ и Инеса просили Евгенія пріѣхать и простить преступницу передъ ея смертью. Поэтъ немедленно явился. простиль, и Инеса умерла съ спокойной совѣстью. Затѣмъ поэтъ перевезъ ея бренные останки въ свою деревню, наслѣдованную имъ отъ дяди, и черезъ годъ съ небольшимъ самъ тихо угасъ отъ грусти по своей Инесъ, которую въ глубинѣ своего сердца не переставаль любить, несмотря на всѣ ея преступленія. Передъ смертью онъ почувствоваль въ вплѣ письма графа N. къ олному изъ общихъ друге о сеть моральь въ вплѣ письма графа N. къ олному изъ общихъ друге о смерть Евгенія. Затъсь-то на-графа N. къ олному изъ общихъ друге о сеть избавалье ви чатателей.

Романъ на этомъ кончается; но у него есть мораль, въ видъ письма графа N. къ одному изъ общихъ друзей о смерти Евгенія. Здъсь-то находимъ мы описаніе высокихъ качествъ поэта, приведенное нами выше; здъсь же передаются и окончательныя, зрълыя сужденія поэта о людяхъ, о добродътеляхъ и поровахъ, и въ особенности о женщинахъ. Сущность этихъ сужденій состоитъ въ томъ, что не слъдуетъ быть слишкомъ жестокимъ къ потеряннымъ женщинамъ, ибо онъ по большей части не получили возвышенныхъ идей при своемъ воспитаніи и впадаютъ въ порокъ по невъдънію или по необходимости. Прочитавъ это, мы нашли, такъ сказать, въ примъръ Инесы представляется намъ возможность добрыхъ чувствъ даже въ такомъ глубокомъ омутъ развращенія, въ какой неоднократно впадала прекрасная испанка. Такая идея показалась намъ истинно-гуманною, благородною и возвышенною. Мы, признаемся, порадовались за то, что нашъ соотечественникъ выступаетъ передъ Европою представителемъ такихъ прогрессивныхъ понятій... "Вотъ, молъ, каковы наши! Смотрите и поучайтесь! Многіе-ли у васъ дошли до той высоты цивилизаціи, которая выражается въ романъ г. Николая Семенова?.. Послъ этого и говорите, что русскіе—варвары, что мы отстали въ цавилизаціи! Извините, мы перегнали васъ!.."

Полные справедливой патріотической гордости вслідствіе таких мислей, мы дали прочитать романь г. Семенова одной францужений, въ надежді возбудить ея удивленіе къ нашей цивилизаціи вообще, и къ поэту г. Семенова въ особенности. Надежды наши оправдались, только не совсёмъ такъ, какъ мы ожидали. Француженка, прочитавъ "Исповъдь поэта", точно почувствовала удивленіе и, отдавая намъ книгу, сказала:

- Я не знаю русскаго общества; но никогда не думала я, чтобъ въ немъ до сихъ поръ господствовали такіе варварскіе нравы и понятія...
- Какъ такъ? воскликнули мы, и тотчасъ предположили: върно наша цивилизація зашла ужъ такъ далеко, что европенцы не въ состоянім даже понять ее! Но оказалось, что и тутъ наше предположеніе было не вполять върно.
- Какъ же иначе дупать о васъ, продолжала француженка. Вы мив даете автора, который пишеть русскую повъсть по-французски, значить, хочеть сказать что-яибудь любопытное и новое- не только для русскихъ, но и для другихъ націй, напримеръ и для насъ, бедныхъ французовъ. Что же онъ намъ говоритъ Онъ показываетъ намъ, какъ диковинку, что въ женщинъ, бывшен нъсколько разъ на содержани у разныхъ лицъ, могутъ сохраниться добрыя расположенія. Онъ бы лучше принялся доказывать, что человъкъ, объдавшій каждый день въ теченіе тридцати лътъ, тъмъ не менъе сохраняетъ и на тридцать-первомъ году потребность всть, и умреть съ голоду, если не повстъ какихъ нибудь дней десять. Это было бы столько же ново и умно!.. Повърьте, что у насъ вы не найдете человъка, который бы сомнъвался въ истинъ, съ такимъ трудомъ открытой вашимъ авторомъ... У насъ уже никто не говоритъ объ этомъ, такъ какъ никто не хочетъ прослыть пошлакомъ. Но еще это куда бы ни шло: у васъ цивилизація такъ нова, что вамъ простительно говорить съ эмфазомъ всякія пошлости, которыя у насъ всякій понимаетъ безъ словъ (можете представить, какъ меня коробило при такихъ комплиментахъ!)... Но и никакъ не думала, чтобъ вы до сихъ поръ стояли на такихъ отсталыхъ пошлостяхъ, да и тъхъ хорошенько не понимали... Никогда я не думала, чтобъ допотопные азіатскіе взгляды на женщину до сихъ поръ были въ такомъ ходу у васъ, какъ мнв показалъ вашъ прелестный романистъ...

— Однако, — возразилъ я, — гдъ же вы нашли слъды азіатскихъ взглядовъ? По моему мнънію, поэтъ г. Семенова — человъкъ образованный, прогрессивный, передовой, можно сказать, во всъхъ отношеніяхъ... Француженка принялась хохотать; я принялъ обиженную физіономию, какъ человъкъ, обиженный въ святъйшихъ своихъ интересахъ. Тогда француженка вошла въ азартъ и съ чрезвычайной живостью стала мнъ говорить следующее:

— Ну, не права - ли жъ я была, сказавъ, что азіатскія понятія у васъ господствуютъ? Если вы называете поэта г. Семенова передовымъ васъ господствуютъ Если вы называете поэта г. Семенова передовымъ человъкомъ, то что жъ другіе-то? По вашему, стало быть, ужъ и это много, что онъ, послѣ всего, что сдѣлала и вытерпѣла для него любимая женщина, рѣшился простить ее? Можетъ быть, у васъ нашлись бы такіе, которые бы и этого не сдѣлали? Да, судя по роману и по вашимъ словамъ, можно думать, что дѣйствительно такъ. Вѣдь родители Евгенія требовали же, чтобъ ихъ сынъ бросилъ Инесу, хотя она и прекрасная женщина... Какой резонъ, какое право имѣли они для такого требованія? Они говорили, что такая женщина скоро утвшится съ другимъ, а Евгеній увъряль, что нътъ, но всъ были согласны, что если утвшится, то будетъ недостойной и преступной женщиной... О, какая мораль, какой нравственный кодексъ!.. Да понимаете-ли вы, сколько дикости самой свирфной за-ключается въ такихъ разсужденіяхъ?.. Въдь это турецкіе наши, — ваши благовоснитанные люди, — "передовне", какъ вы говорите!.. Мало того, что они требуютъ любви и върности въ настоящемъ, сами позволяя себъ всевозможныя уклоненія, въ родъ женитьбы вашего поэта, — нъть, они простирають свои посягательства и на прошедшее, и на будущее любимой женщины, —все-таки не принимая за то никакихь обязательствъ на себя... Нъть, это хуже, чъмъ турки... Турокъ покупаеть женщину, какъ вещь, и имъеть логичность —продолжать смотръть на нее, какъ на вещь. Если продавецъ надуль его и продаль вещь не въ томъ видъ, какъ говорилъ, — турокъ не вымещаеть этого на самой вещи, а винить продавца; если женщина половия от продавца сели женщина половия от продавца; если женщина половия от продавца сели женщина половия от продавца; если женщина продавца; если женщина половия от продавца; если женщина половия от продавца; если женщина прод щина надовла ему, онъ ее бросаеть или перепродаеть; онъ ее ужъ, по крайней мъръ, и не считаетъ преступницей за то, что она будетъ при-надлежать другому. У васъ турецкія понятія, какъ я вижу, вполнъ сохранились: вы смотрите на женщину, какъ на вещь, которая должна принадлежать мужчинь; вы находите, что мужчина есть властелинь, иньющій полное право для своей забавы купить, похитить, обольстить и потомъ бросить женщину... Это все у васъ называется "шалостями", не-множко побольше сбиванія цвітныхъ головокъ тросточкою въ саду, нем-ножко поменьше раззоренія птичьихъ гивіздъ... Ну, что же, — если женщины позволяють до сихъ поръ такъ поступать съ собой, такъ и пользуйтесь ихъ слабостью: на то вы турки, на то вы азіаты... Но зачёмъ же вы въ этому примъшиваете какія то высшія требованія? Какъ вы можете быть столько нельпы, чтобы считать, напримъръ, для женщины обязательною любовь къ вамъ, после того, какъ вы ее бросите? Да еслибъ Евгеній вашь быль человівкь сколько-нибудь развитой и порядочный, онь бы сказалъ своимъ родителямъ и себъ самому прежде всего: "конечно, если я Инесу брошу, то она должна утвшиться съ къмъ-нибудь другимъ; глупо и смешно было бы требовать, чтобы она вечно обо мие плакала, и еслибъ это случилось, то не имъло бы даже особенной заслуги, а только показало бы некоторую особенность ея характера. Но изъ того, что она утъщится, вовсе не следуетъ, что ея чувства не истинны и не прочны, что ими можно играть по моей прихоти". Зеркала, вазы, статуэтки, и другія вещи, украшающія наши комнаты, конечно, раздетится въ дребезги, если въ нихъ пускать каменьями; но кто же въ этомъ виноватъ? Зеркало сдълано, чтобы смотраться въ него, а не за тамъ, чтобъ въ него камни бросать. Такъ и женщина, и любовь, - онъ въдь существують вовсе не за тъмъ, чтобъ вы производили надъ ними свои свиръные опыты... Если мужчина, для испытація върпости своей возлюбленной, станеть ее бить, морить голодомъ, ухаживать за другой, а къ ней подпустить одного изъ своихъ друзей — богача и красавца, умнаго и ловкаго Ловеласа, и будетъ потомъ въ претензін, что она ему измінила, - я назову такого мужчину сумасшедшимъ... Нътъ, мало того, въ цивилизованномъ народъ и сумасшествія такого не можеть быть, - надо прибавить, что это сумасшедшій изъ варваровъ, изъ дикихъ... Чтобы удостовъриться въ достоинствъ своихъ часовъ, онъ ихъ хлопъ изо всей силы о камень, и увъряетъ, что они никуда не годятся, потому что скомкались и разбились отъ удара... И какъ же это вы до сихъ поръ еще не понимаете и не знаете, что любовь, какъ дружба, какъ жалованье, какъ слава, какъ все на свътъ, должна быть заслуживаема и поддерживаема. Вы ничего не дълаете, бъете баклуши и вините родъ человъческій за то, что онъ вамъ не собираетъ національной подписки, не строитъ великольпныхъ дворцовъ и виллъ, пе вадаеть вамъ каждый день праздниковъ, а просто-на-просто оставляеть васъ едва съ кускомъ хльба. Да помилуйте, вы должны еще и за этотъ кусокъ быть благодарны: — и его вы не заслужили... В вроятно, у васъ есть люди, которые, ничего не делая, считають себя въ праве пользоваться всемъ, чемъ другіе, и даже больше? Это должно быть такъ, судя по вашимъ воззрвніямъ на любовь. Вы все хотите получить и сохранить, не обязывая себя ни къ чему. Вы не храните себя въ юности для первой избранницы вашего сердца, вы очень свободно удовлетворяете первому физическому желанію, даже часто прежде, чемъ оно сделается очень настоятельнымъ. Но отъ женщины вы требуете, чтобы она себя хранила для васъ отъ начала до конца своей жизни. Если она созрела, желанія проснулись, она встрвчаетъ человъка, который имъ способенъ удовлетворить, который ей нравится, она должна, по вашему, или бъжать отъ этого че-ловъка (созерцая въ туманъ васъ, ея будущаго обладателя), или же отдать ему всю свою жизнь, навъки, несмотря на все, что потомъ случится. Онъ ее бросить, она почувствуеть повыя расположенія, ся понятія выростуть и расширятся, — все равно: она должна оставаться вфрна своем: первому увлечению, своему первому господину, - иначе вы ее обвините въ изм'вив, въ непостоянствъ, въ дурномъ поведени, вы на нее смотрите какъ на преступницу... Ну, скажите пожалуйста, на что это похоже. Глъ же тутъ взаимность, гдъ тутъ равенство отношеній между двумя любящими существами, давно признанное у насъ въ Европъ и извъстное также и вамъ, какъ вы говорите? Поэть вашъ мъсяца не можетъ прожить, чтобы не завести интрижки, и отъ этого вовсе не считаетъ себя недостойнымъ обладать Инесой. Напротивъ, онъ полагаетъ, что дълаеть ей милость, возвращаясь къ ней... А она... для нея онъ не находить достаточно обидныхъ словъ, чтобъ выразить всю вя гнусность, когда она сошлась съ другимъ послъ того, какъ онъ ее бросилъ!.. Безсовъстный человъкъ! Да онъ долженъ быль бы сгоръть отъ стыда, когда она стала со слезами просить у него прощенья за одинъ такой поступокъ, какихъ онъ зналъ за собою десятки! Если ужъ человъческое созпание такъ глубоко спало въ немъ прежде, такъ хоть бы оно проснулось!.. Но нъть, върно ужъ это не его вина. а вина вашихъ правовъ: онъ не только имълъ безстыдство смотръть ей прамо въ глаза при этомъ, - онъ нашелъ въ себъ дикую силу обругать ее!.. О, какая гадость, какая гнусность!.. И после этого, по мненю вашего автора, Инеса могла продолжать любить его!.. Нътъ, извините меня, -еслибъ это была русская барышня, я бы ничего не могла вамъ говорить, но Инеса не русская, она не могла не почувствовать величайшаго отвращенія къ безстыдству и безсердечію вашего поэта... В'вроятно, г. Семеновъ изобразилъ всю эту исторію въ такомъ видѣ потому, что такое развитіе всего сообразиве съ вашими нравами. Но повърьте мив, что для насъ, французовъ, тутъ есть нравственная невозможность: никогда французъ не позволить себъ такого турецкаго суда надъ женщиной, и никогда француженка не протянетъ руки человъку, имъвшему несчастие показаться передъ нею такимъ безсинсленнымъ и безправственнымъ животнымъ. Мы имъемъ, конечно, свои недостатки относительно семейнаго устройства, но, по крайней мъръ, у насъ нътъ такихъ дикихъ взглядовъ на женщину, какими отличаются у васъ "передовые" люди, подобные поэту г. Семенова. У насъ женщина не собственность, а въ настоящемъ смыслъ подруга

мужчины, и потому о прошедшемъ ея онъ заботится лешь настолько, насколько оно касается настоящаго. Конечно, женщяну, еще сохранившую любовь къ другому, мужчина можетъ упрекать, зачёмъ она сощлась съ нимъ, не оставивъ прежняго чувства. Но дал ве этого мы нейдемъ; рев ности къ прошедшему, страсти обладать женщиной исключительно во всъ времена, у насъ уже нътъ. Мы умтемъ пользоваться настоящимъ. Бывало, препятствіемъ къ счастью влюбленныхъ служило даже прошедшее ихъотцовъ и дедовъ: если у него былъ дедъ маркизъ, а у ноя мещанинъ, или наоборотъ, то считалось для нихъ безчестнымъ сходиться. Теперь это осталось только какъ редкое исключение у некоторыхъ глупыхъ фамилій. Потомъ, прошед шее самой женщины было большимъ препятствиемъ для счастья, но французы могутъ гордиться темъ, что они вышли и изъ этого предразсудка раньше и ръшительнъе другихъ. Теперь, впрочемъ, только у васъ, я думаю, эта нелъпость и осталась... Скажите, какъ вы сходитесь съ мужчинами? Вы имъете, напримъръ, прогрессивныя мнънія; сходясь съ человъкомъ тъхъ же мнъній, вы требуете, чтобъ онъ непремънно съ дътства имвль ихъ, или нътъ? Если онъ воспитанъ былъ въ отсталихъ, жалкихъ понятіяхъ и перешелъ черезь множество разныхъ системъ, чтобы дойти до истины, — вы отвергаете его? Вы ревнуете, зачемъ онь первый жаръ своей юной души посвятиль на защиту мевній недостойныхь. и вследствіе того считаете его преступнымъ, отказываете ему въ вашемъ уваже. ніи?.. В вроятно, нізтъ... Отчего же вы не хотите приложить того же къ женщинъ Въдь вы признаете, что молодая дъвушка можетъ имъть чувства и желанія? Если она имъ удовлетворяеть, но неудачно такъ что потомъ должна искать другихъ удовлетвореній, -- дълаетъ ли она престуиленіе? Вы говорите, что эта перемъна удовлетворенія всегда ведеть къ развращенію; я не понимаю этого. Есть девушки, которыя такъ воспитаны, что уже съ десяти лътъ думають о томъ, какъ бы повыгодиве продать себя, —однъ въ замужество, другія — такъ. Если онъ съ этимъ разсчетомъ и остаются на всю жизив, то, конечно, это женщины безъ сердца, женщины развратныя, съ которыми сходиться нехорошо и опасно. Но вы знаете, конечно, какъ дълается большая часть первыхъ "паденій" женщины. Ловкость, лукавство и наглость мужчины приходять на подмогу къ естественной потребности любви въ дъвушкъ, и она отдается. - чисто, искренно, довърчиво... Ничего нътъ легче, какъ обольстить дъвушку, для человъка наглаго; но что же тутъ позорнаго для нея-то? И какой же мужчина, знающій эти дела, захочеть тиранить бедную женщину за то, что онъ ее встрътилъ не раньше, а позже другого? Если она ему нравится своей личностью и характеромъ, то какая же ему надобность до того, что къ ней прежде него прикасался кто-нибудь? Неужели вы до сихъ поръ такъ скотски-чувственны, что для васъ всего дороже маленькая особенность физическаго акта?.. У насъ это вывелось... У насъ умъютъ уважать чувства женщины, и самолюбіе мужчины удовлетворяется не тъмъ, что опъ съумъль воспользоваться первой неопытностью, а тъмъ, если онъ умъетъ внушить серьезное чувство женщинъ, уже узнавшей жизнь и мужчинъ. и потому гораздо болъе осмотрительной и разборчивой. Впрочемъ, что-жъ я вамъ это толкую? Вы должны знать это хоть по французской литературъ. Право женщины на ея чувства и полная законность ихъ, обязанность мужчины давать любовь за любовь и не придавать увлеченіямъ женщины громадныхъ размъровъ въ сравненіи съ его собственными—все это было темою сотни романовъ. Послъ Манонъ Леско, я думаю, произведенія въ этомъ смыслъ не прерывались до послъдняго времени... И послъ этого, на томъ же самомъ языкъ, вашъ господинъ Семеновъ разсказываетъ намъ безстыдное поведеніе своего поэта, выставляя его еще благороднымъ... Да, върно, онъ не читалъ толкомъ ни одной французской книги! Онъ хоть бы въ Беранже заглянулъ: изъ однъхъ его пъсенъ онъ понялъ бы, куда ушли наши взгляды, и постыдился бы писать свою козацкую ченуху!...

Въ безсвязныхъ и порывистыхъ, отчасти обидныхъ для насъ, но ворсе безвредныхъ словахъ француженки я понялъ ясно только слъдующее: что Европа гніетъ, французская нація развращена до мозга костей, француженки потеряли всякое нравственное чувство, и г. Семеновъ напрасно потратилъ свой талантъ на вразумленіе такихъ глубоко падшихъ народовъ, какъ всъ европейцы, знающіе по-французски и, слъдовательно, напитанные идеями аббата Прево и Беранже. Послъ этого я надъюсь, что если г. Семеновъ, еще не издалъ своего новаго романа "Profil de Don Juan moderne", возвъщеннаго на оберткъ "Исповъди поэта", то онъ и не издастъ его по-французски, а переведетъ на родной языкъ, для назиданія отечественной публики.

## ЗАБИТЫЕ ЛЮДИ.

(Сочиненія Ө. М. Достоевскиго. Два тома. Москва. 1860 г.).

Униженные и оскорбленные, романь въ 4-хъ частяхъ Ө. М. Достоевскаго. "Время" 1861 г. № I—VII.

"Опять о забитыхъ личностяхъ! Мало еще было толковано о нихъ въ "Темномъ царствъ", мало вообще надождалъ ими "Современникъ" въ своемъ критическомъ отделе! И ведь пришла же человеку въ голову безобразная мысль — превратить дело художественной критики въ патологическіе этюды о русскомъ обществъ... Вотъ хоть бы теперь: на очереди стоитъ чрезвычайно важный для искусства вопросъ о сущности и степенв творческаго таланта одного изъ замечательнейшихъ деятелей нашей литературы, вопросъ тъмъ болъе интересный, что о немъ, въ теченіе пятнадиати лътъ, были высказаны самыя разнообразныя мнънія. Появленіе "Бъдныхъ людей было встрачено величайшимъ восторгомъ всей литературной партім, признавшей Гоголя; Вълинскій провозгласиль, что хотя г. Достоевскій и многимъ обязанъ Гоголю, какъ Лермонтовъ Пушкину, но что, тъмъ не менъе, онъ-самъ по себъ, вовсе не подражатель Гоголя, а талантъ самобытный и громадный. Онъ началъ такъ, прибавлялъ Бълинскій, какъ не начиналъ еще ни одинъ изъ русскихъ писателей. Мало того, - Бълинскій пророчествовалъ такимъ образомъ: "Талантъ г. Достоевскаго принадлежитъ къ разряду техъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолжение его поприща, явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится темъ, что о нихъ забудуть именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы" ("Отечественныя Записки" 1846 г. № III, стр. 20). Это было писано еще въ то время, вогда въ ходу были повъсти гг. Соллогуба, Луганскаго, Гребенки и т. п.; г. Гончаровъ еще не появлялся тогда съ "Обыкновенной исторіей"; гг. Тургеневъ и Григоровичъ едва напечатали нѣсколько незначьтельныхъ разсказовъ; объ Островскомъ, Писемскомъ, Толстомъ и другихъ, впослъдствіи прославившихся писателяхъ, не было еще ни слуху, ни духу. Прошло съ тѣхъ поръ еще три года: новые писатели возникали и пріобрѣтали себѣ почетную извѣстность; г. Достоевскій все продолжалъ писать, и ни одно изъ его новыхъ произведеній не сравнилось съ первою его повѣстью. Въ половинъ 1849 года лытературная дѣятельность его прекратилась, и литература не выразила при этомъ особенныхъ сожальній. Если въ теченію песятильтична модирація г. Постоевскаго прогла и вепомичали в немъ то десятилътняго молчанія г. Достоевскаго иногла и вспоминали о немъ, то развъ затъмъ, чтобы посмъяться надъ собственвымъ простодушіемъ, съ которымъ производили его въ геніи за первую повъсть, и о непомърномъ самолюбіи, до котораго довело его общее поклоненіе. Но, два года тому назадъ, г. Достоевскій снова появился въ литературь, хоти имя его было уже слишкомъ бледно предъ новыми светилами, загоревшимися на горизонть русской словесности въ послъднее десятильтие. Въ эти два года онъ напечаталъ четыре большихъ произведенія, и объ нихъ еще не произне-сенъ безпристрастный судъ критики. Теперь именно и предстоитъ для критика задача — опредълить, насколько развился и возмужалъ талантъ г. Достоевскаго, какія эстетическія особенности представляеть онъ въ сравненія съ новыми писателями, которыхъ еще не могла им'ять въ виду критика Бълинскаго, какими недостатками и красотами отличаются его новыя произведенія и на какое дъйствительно мъсто ставять они его въ ряду такихъ писателей, какъ гг. Гончаровъ. Тургеневъ, Григоровичъ, Толстой и пр. Критику предстоить художественный вопросъ, существенно важный для исторіи нашей литературы,—а онъ собирается толковать о забитыхъ людяхъ. — предметъ даже вовсе не эстетическомъ".

Всякій разъ, когда я начинаю писать критическую статью, меня начинають осаждать требованія и возгласы подобнаго рода. По мивнію одного критика, мив отъ нихъ нѣтъ другого спасенія, какъ признаться откровенно, что рѣшеніе вопросовъ подобной важности — мив не подъсилу. Я бы, пожалуй, и готовъ прязнаться: но вѣдь это, во первыхъ, для самолюбія обидно, а во-вторыхъ — зачѣмъ же мив клепать на себя? Разумѣстся, критика должна служить приложеніемъ вѣчныхъ законовъ искусства къ частному произведенію, должна какъ въ зеркалв, представить достоинства и недостатки автора, указать ему вѣрный путь, а читателямъ — мѣста, которыми они должны или не должны восхищаться. Такова вѣдь должна быть настоящая критика? Да, но знаете-ли, что чистая теорія критики, такъ же точно неприложима бываетъ, какъ и теорія о томъ, какъ сдѣлаться богатымъ и счастливымъ, или какъ пріобрѣсти любовь

женщинъ. Еще ежели попадетъ такая теорія на человека, имеющаго все шансы нравиться женщинамъ, ежели придется теорія богатетва и счастья по человъку умъренному, аккуратному, искательному и ловкому, -такъ, пожалуй, будеть и на дело похоже: у такого человека есть залоги на счастье и богатство, приближающие его къ принципамъ книжной теоріи. А что, какъ эта мораль изъ прописей, предлагаемая подъвидомъ "руководства къ счастливой и богатой жизни" и состоящая въ томъ, что "будь бережливъ", "никогда не давай воли своимъ страстямъ", "ловольствуйся малынъ", "сноси теривливо всв оскорбленія отъ твхъ, отъ кого находишься въ зависимости", и пр. т. п., -- что, ежели эта мораль будетъ примъняема къ натуръ горячей, расточительной, безпокойной? Въдь не стоитъ тогда и изучать теорію счастья, точно такъ, какъ не стоить робкому и безобразному старцу заниматься изучениемъ "искусства нравиться женщинамъ", когда тамъ на первомъ планъ стоятъ развязность, молодость и благообразіе, ежели уже не красота. То же самое и съ критикой: хорошо, если вамъ попадется произведение, приближающееся хоть скольконибудь къ идеальнымъ требованіямъ, имвющее какіе-нибудь шансы "быть долговъчнымъ и счастливымъ", т.-е. составить собою что-нибудь санобытное, замъчательное, не по отношению къ какимъ-нпбудь другимъ интересамъ, а по своему внутреннему достоинству. Тогда можно и съ эстетической точки зрвнія заняться имъ, можно и въ художественныя тонкости пуститься, и всё пятнышки въ немъ проследить. Да это сделается тогда само собою, по тому же невольному чувству, по которому вы хлопочете, чтобы прекрасной картинъ дано было хорошее освъщение, и невольно делаете движение, чтобы согнать севшую на нее муху... Но подынать вычные законы искусства, толковать о художественныхъ красотахъ по поводу созданій современныхъ русскихъ повъствователей - это (да простять мив г. Анненковъ и всв его последователи!) такъ же смешно, какъ развивать теорію генераль-баса въ поощреніе тапёра, не сбивающагося еъ такта, или пуститься въ изложение математической теоріи въроятностей по поводу ошибки ученика, невърно ръшившаго уравнение первой степени.

Для людей, которые всё уткнулись въ "свою литературу", для которыхъ нётъ другихъ событій общественной жизни, кром'в выхода новой книжки журнала, действительно долженъ казаться громадно-важнымъ ихъ муравейникъ. Зная только отвлеченныя теоріи искусства (им'ввшія, впрочемъ, когда-то свое жизненное значеніе), да занимаясь сравненіемъ повъстей г. Тургенева, наприм'връ, съ пов'єстями г. Шишкина, или романовъ г. Гончарова съ романами г. Карновича, —точно немудрено придти въ паеосъ и воскликнуть:

Такой-то муравей быль силы непомерной...

Но повърьте, что только праздные люде могуть толииться около этого муравья и по цълымъ часамъ любоваться, какъ онъ показываетъ сною силу. У бельшинства людей есть свои запятія, и если имъ любопытно подчасъ видъть проявление силы, то ужъ не такой-же.

Я бы хотъль здъсь поговорить о размърахъ силы, проявляющейся въ современной русской беллетристикъ, но это завело бы слишкомъ далеко... Лучте ужъ до другого раза. Предметъ этотъ никогда не уйдетъ. А теперь обращусь собственно къ г. Достоевскому и, главное, къ его послъднему роману, чтобы спросить читателей: забавно было бы, или пътъ, заниматься эстетическимъ разборомъ такого произведения?

Реманъ г. Достоевскаго очень недуренъ, до того недуренъ, что едвали не его только и читали съ удовольствіемь, чуть-ли не о немъ только и говорили съ полною похвалою... Явился было ему соперникъ въ "Чужомъ имени" г. Ахтарумова, но, со второй же части, говорятъ, обнаружилась въ этомъ романъ такая неблаговидная поплость во вкусъ романовъ Полевого, что читатели бросили романъ недочитавнымъ. "Бъдяне дворяне" г. Потъхина тоже, говорятъ, остались далеко позади "Униженныхъ и Оскорбленныхъ". Словомъ сказать, романъ г. Достоевскаго до сихъ поръ представляетъ лучшее литературное явленіе нынѣшвяго года. А попробуйте примънить къ нему правила строго-художественной критики.

Больтая часть нашихъ читателей, конечно, знаетъ содержаніе "Униженныхъ и Оскорбленныхъ". Поэтому постараюсь изложить главныя черты романа въ самыхъ короткихъ словахъ.

женных и Оскорбленных ". Поэтому постараюсь изложить главныя черты романа въ самых воротких словах в.

Разсказъ веденъ отъ лица Ивана Петровича, "неудавшагося литератора". Герой романа — князь Валковскій. Иванъ Петровичъ воспитанъ у помъщика Ихменева, который вивстъ съ тъмъ управляетъ и сосъднимъ имъніемъ князя Валковскаго. Валковскій очень довъряетъ Ихменеву и даже посылаетъ къ нему подъ надзоръ въ деревню 19-лътняго сына своего Алешу, накутившаго что - то въ Петербургъ. Но черезъ годъ князь прівхаль въ имъніе, поссорился съ Ихменевымъ, — по наговорамъ, будто тотъ интриговалъ, чтобы женить Алешу на своей 17-лътней дочери, Наташъ, — отняль у него управленіе имъньемъ, сдълаль на него начетъ и завелъ процессъ. Для "хожденія по дълу" Ихменевъ перевхалъ въ Петербургъ. Вотъ завезъв помана тербургъ. Вотъ завязка романа.

тербургъ. Вотъ завязка романа.

Въ Петербургъ, конечно, Ихменевы встрътили Ивана Петровича; онъ страстно влюбился въ Наташу, она въ него, они объяснились между собою и съ родителями, получили радостное согласіе и совътъ — подождать годикъ, пока Иванъ Петровичъ заработаетъ себъ что-нибудь побольше теперешняго. Но, между тъмъ, Алеша тоже началъ бывать у Ихменевыхъ, тайкомъ отъ отца; старики его принимали ласково, потому что онъ и въ

21 годъ быль милымъ и незлобнымъ ребенкомъ. Онъ влюбился въ Наташу, а Наташа въ него, - да такъ, что въ одинъ прекрасный вечеръ бъжала къ нему изъ дома родительскаго. Иванъ Петровичъ все это зналъ, всему помогалъ, переносилъ въсти отъ дочери къ родителямъ, отъ родителей къ дочери, и пр. Но скоро дъятельность его раздвояется: онъ поселился въ квартиръ одного старика, умершаго на его рукахъ; къ старику ходила внучка, дъвочка лътъ 13, Нелли; явилась она и къ Ивану Петровичу, но, не нашедъ делушки, тотчасъ убъжала. Иванъ Петровичъ успъль ее выследить, спасъ отъ развратной женщины, которая уже продала-было ее какому-то кутилъ, и поседилъ у себя. Съ этяхъ поръ Иванъ Петровичъ мечется безпрестанно отъ Нелли къ Наташъ в отъ Паташи къ Нелли. Между твив, князь Валковскій, видя, что сынь не отстаеть отв Наташи, выдумаль остроумное средство: прівхаль въ Наташь и при немь же попросиль ея согласія на замужество съ его сыномъ. Вст были очень рады такому обороту дъла, но вътренный Алеша, въ которомъ только препятствія еще и поддерживали любовь, совстив теперь успокоился пасчеть Наташи, сталъ пропадать по нъскольку дней. Вздить по баланъ, и уже безъ всякаго принужденія знакомиться и сходиться съ невъстой, которую приготовиль ему отець. Черезъ изсколько дней опъ, разумъется, влюбился въ нее такъ же страстно, какъ и въ Наташу, а еще четезъ изсколько дней убъдился, что онъ ее любить болье Наташи. Разсчеть князя - отца оказался въренъ; его скоро поняла и Наташа и очень энергически, какъ по писанному, все высказала книзю. Князь обидълся и за то, черезъ нъсколько дней, весьма цинически и съ приправою разныхъ оскороленій высказалъ то же самое, то есть, признался во всехъ своихъ разсчетахъ Ивану Петровичу. Между прочимъ, прівхавъ къ нему въ квартиру, князь увидалъ Нелли, и она была имъ страшно испугана и сдълалась больна. Иванъ Петровичь опять въ хлонотахт: туть больная, тамъ идетъ къ развязкъ; отецъ Алеши хочетъ женить его, невъста его, Катя, хочетъ познакомиться съ Наташей, чтобы попросить у нея прощенія и согласія; отецъ Натапи горячится изъ-за дочери и -- то ее проклинаетъ, то хочетъ вызывать князя на дуэль; мать рвется къ дочери, сама Наташа еле на ногахъ держится. Наконецъ все устраивается: Алеша увяжаеть въ деревню, выбств съ Катей и ея семействомъ. Наташа ръшается идти къ родителямъ. Чтобы смягчить отца и приготовить его къ прощенію, употребляють орудіемь маленькую Нелли, заставляя ее разсказывать ему свою исторію, или, лучше сказать, исторію ея матери. Дівло состоить въ томъ, что мать Нелли была обольщена однимъ господиномъ, бъжала отъ отца, была имъ проклята, потомъ ограблена и брошена своимъ любовникомъ и умерла въ сыромъ углу, отъ чахотки и голода, напрасно выналивая прощеніе у отца. Разсказъ, точно, производить сильное впечатльніе, такъ что Ихменевъ рышается при къ Наташь. Но это оказывается рышительно не нужно: Наташа сама прибыжала къ родителямъ и, разумыется, встрычена была съ распростертыми объятіями. Вслыдъ затымъ, при посредствы пріятеля Ивана Петровича, ходока Маслобоева, открылось, что Нелли — дочь князя Валковскаго, что обольститель ея матери былъ именно онъ, и что — мало того — онъ былъ женатъ на матери Нелли законнымъ образомъ. Но уликъ законныхъ противъ князя не было, и нельзя было предприяять противъ него никакихъ мыръ. Алеша, разумыется, женился на каты униженные и оскорбленные такъ и осгались неотомщенными. Нелли скоро затымъ умерла; а Наташа съ родителями отправилась въ провинцію, гды старикъ Ихменевъ выхлопоталь себы какое-то мысто, проигравъ окончательно свой процессъ съ княземъ и лишившись своей послыдней деревеньки. Ихменевки.

Въ романъ очень много живыхъ, хорошо отдъланныхъ частностей, герой романа хоть и мътитъ въ мелодраму, но по мъстамъ выходитъ недуренъ; характеръ маленькой Нелли обрисованъ положительно хорошо; очень живо и натурально очеркнутъ также и характеръ старика Ихменева. Все это даетъ право роману на вниманіе публики, при общей бълности хорошихъ повъстей въ настоящее время. Но все это еще не возвышаетъ его настолько, чтобы примънять общія художественныя требованія ко всъмъ его частностямъ и сдълать его предметомъ подробнаго астетическаго разбора.

Возьмите, напримъръ, хоть самый пріемъ автора: исторію любви и страданій Наташи съ Алешей разсказываетъ намъ человъкъ, самъ страстно въ нее влюбленный и ръшившійся пожертвовать собою для ея счастья. Я признаюсь, — всё эти господа, доводящіе свое душевное величіе до того, чтобы зазнамо цёловаться съ любовникомъ своей невёсты и быть у него на-побъгушкахъ, мнё вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили, или любили головою только, и выдумать ихъ въ литературё могли только творцы, болёе знакомые съ головною, нежели съ сердечною любовью. Если же эти романическіе самоотверженцы точно любили, то какія же должны быть у нихъ тряпичныя сердца, какія куричьи чувства! А этихъ людей показывали еще намъ, какъ идеалъ чего-то! Первый, сколько помнится, устроилъ подобную комбинацію любовнаго самоотверженія г. Тургеневъ и недавно повторилъ ее въ "Наканунъ", имъя, впрочемъ, на этотъ разъ осторожность дать понять читателю, что Берсеневъ еще самъ не отдаваль себъ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ къ Еленъ, когда понадобилось его содъйствіе Инсарову. Г. Достоевскій тоже не въ первый разъ беретъ такого героя: его ужъ мы видъли въ мечтателъ "Бълыхъ ночей". Но то была шутка въ сравненіи съ нынъшничь его романомъ. Теперь мы

видимъ умнаго, благороднаго и развитаго человъка, который тоже попадъ въ такую комбинацію и собирается намъ разсказать объ этомъ. Какъ бы мы ни смотрели на правственное достоянство его подвига, но намъ любонытно следить за нимъ въ его разсказе. Изъ всёхъ униженныхъ и оскорбленныхъ въ романъ-онъ униженъ и оскорбленъ една ли не болъе всъхъ; представить, какъ въ его душъ отражались эти оскорбленія, что онъ выстрадалъ, смотря на погибающую любовь свою, съ какими мыслями и чувствами принимался онъ помогать мальчишкв, обольстителю своей невесты, какія безконечныя варіаціи любви, ревности, гордости, состраданія, отвращенія, ненависти разыгрывались въ его сердць; что чувствоваль онъ, когда видълъ приближение разрыва между своей невъстой и ея любовникомъ, - представить все это въ живомъ, подлинномъ разсказъ самого оскорбленнаго человъка, - это задача смълая, требующая огромнаго таланта для ея удовлетворительнаго исполненія. Одной неудачной попыткой на разъясненіе одной частицы такой задачи Эрнестъ Федо сразу пріобръль себъ европейскую извъстность и массу поклонниковъ. Что же, если бы мы нашли хорошее, поэтическое ръшеніе всей задачи! Кромъ того, что у насъ было бы художественное цълое, - намъ разъяснился бы цълый разрядъ характеровъ, цълый рядъ нравственныхъ явленій; им знали бы, какъ намь судить объ этихъ кроткосердыхъ герояхъ и какую цену принисывать ихъ гуманному обезличению себя, такъ какъ мы знаемъ теперь, напримъръ, послъ комедій Островскаго, какъ намъ смотръть на патріархальную размашистость русской натуры.

Г. Достоевскій изв'ястень любовью къ рисованію психологических в тонкостей. Мивніе о его, кажется, "Двойникв", что это "собственно не новъсть, а психологическое развитие", подало даже новодъ въ одному очень извъстному анекдоту. Потому можно было надъяться, что г. Достоевскій именно попадеть на ту идею, о которой и говориль. Тогда бы, разумъется, могъ быть толкъ и о художественности исполненія. Но, на самомъ дълъ, вы въ романъ не только слабаго изображенія внутренняго состоянія Ивана Петровича не находите, но даже не видите ни малъйшаго намека на то, чтобы авторъ объ этомъ заботился. Напротивъ, онъ избъгаетъ всего, гдв бы могла раскрыться душа человъка любящаго, ревнующаго, страдающаго. Пять мъсяцевъ, въ которые Алеша успъль прельстить Натату и увлекъ ее за собою, — не удостоены и пяти строчекъ. Первые полгода жизни Алеши съ Наташею пропущены почти безъ всякихъ объ-ясненій. Дъйствіе романа продолжается какой-нибудь мъсяцъ, и тутъ Иванъ Петровичь безпрерывно на побъгушкахъ, такъ что ему наконецъ раза два дълается дурно, и онъ чуть не схватываетъ горячку. Но вотъ и все: что именно у него на душъ, мы этого не знаемъ, хотя и видимъ, что ему

нехорошо. Словомъ, предъ нами не страстно-влюбленный, до самоножертвованія любящій человъкъ, разсказывающій о заблужденіяхъ и страданіяхъ своей милой, объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ его сердцу, о поруганіи его святыни; передъ нами просто авторъ, неловко взявшій изявстную форму разсказа, не подумавъ о томъ, какія она на него налагаетъ обязанности. Оттого тонъ разсказа ръшительно фальшивый, сочиненный; и самъ разсказчикъ, который, по сущности дѣла, должевъ бы быть дѣйствующимъ лицомъ, является намъ чѣмъ-то въ родѣ наперсника старинныхъ трагедій. Къ нему приходитъ отецъ Наташи—сообщить о своихъ намѣреніяхъ; за нимъ присылаетъ ея мать — разспросить о Наташѣ; его зоветъ къ себѣ Наташа, чтобы излить предъ нимъ свое сердце; къ нему обращается Алеша—высказать свою любовь, вѣтренность и расказніе; съ нимъ знакомится Ката, невъста Алеши, чтобы поговорить съ нимъ о любви Алеши къ Наташѣ; ему попадается Нелли, чтобы выказать свой характеръ, и Маслобоевъ, чтобы разузнать и разсказать объ отношеніяхъ Нелли къ князю; наконецъ, самъ князь везетъ его къ Борелю и даже напивается тамъ, чтобы высказать Ивану Петровичу всю гадость своего характера. А Иванъ Петровичъ все слушаетъ и все записываетъ. Вотъ и все его участіе въ романъ.

Если уже таково отношеніе къ дѣлу даже того самаго лица, которое берется разсказывать намъ о своемъ кровномъ дѣлѣ, то нельзя ожидать, чтобъ онъ съумѣлъ очень глубоко ввести насъ въ сердечную жизнь другихъ дѣйствующихъ лнцъ. И точно — романъ представляетъ намъ калейдоскопъ происшествій, которыхъ случайными свидѣтелями можемъ мы сдѣлаться на улицѣ, въ гостинной или на иномъ чердакѣ, и при этомъ представленіи стоитъ нѣкто, изъясняющій, что означаютъ и почему выходятъ такія-то и такія-то вещи. Завязка романа, напримѣръ, основывается на любви Наташи къ Алешѣ. Наташа представлена дѣвушкою умною, серьезною, съ хорошо развитымъ нравственнымъ чувствомъ, безъ особенныхъ, и даже безъ всякихъ чувственныхъ понолзновеній. Алеша — мальчишка уже въ 21 годъ, вѣтренный, циническій, лишенный всякой нравственной основы въ характерѣ до того, что онъ не конфузится никакой своей пакости, а напротивъ — тотчасъ же самъ о ней разсказываетъ, прибавляя, что знаетъ, какъ это дурно, и вслѣдъ затѣмъ опять повторяетъ ту же пакости, а напротивъ — тотчасъ же самъ о ней разсказываетъ, прибавляя, что знаетъ, какъ это дурно, и вслѣдъ затѣмъ опять повторяетъ ту же пакости, а напротивъ — тотчасъ же самъ о ней разсказчивъ говоритъ, между прочимъ: "онъ не могъ бы солгать, а еслибъ и солгаль, то вовсе не подозрѣвая въ этомъ дурного". Видите, это былъ наивный, милый ребенокъ, не вѣдающій разницы добра и зла, хотя и достигшій 21 года, воспитанный въ свѣтскомъ петербургскомъ обществѣ, испытавшій въ немъ кое-что и притомъ бывшій сынкомъ такого отца, какъ князь Валковскій. Идеализируя характеръ Алеши

(какъ и слъдуетъ по правиламъ рыцарскаго великодушія, говоря о соперникъ), разсказчикъ замъчаетъ, что онъ "могъ бы сдълать и дурной по-ступокъ, принужденный чьимъ-нибудь сильнымъ вліяніемъ, но, сознавъ послъдствія такого поступка, умеръ бы отъ раскаянія". А черезъ двъ стра-ницы происходить сцена встръчи Алеши съ убъжавшей изъ дому Наташей. Иванъ Петровичъ пробуеть напомнить ему: что, говоритъ, вы дълаете, — какой страшный ударъ наносите ея отцу и матери и пр... Алеша отвъчаеть: "да, это ужасно... Я это и прежде говорилъ... Но что же дълать? измёнить нельзя"... А туть еще и измёнять-то было нечего. И Але-ша, вырвавши дочь изъ семейства, не умеръ отъ раскаянія, да и потомъ, бросивъ Наташу и женившись на Катъ, тоже не умеръ... Словомъ сказать, по описанію, это обаятельный, милый ребеновъ, только очень вътренный, а по ходу дела — это рано развращенный, эгонстическій и пустой мальчишка, не имъющій никакого направленія, никакого убъжденія, поддаю-щійся на минуту всякому постороннему вліянію, но постоянно върный только влеченіямъ своихъ капризовъ и чувственности, которыхъ онъ не умветъ даже стыдиться. Трудно сказать, въ чемъ заключается его обаятельность, чемъ онъ могъ подъйствовать на умную и серьезную девушку, какъ Наташа. Она краснеть за него, когда онъ начинаетъ врать Ивану Петровичу разную чепуху въ тотъ самый моментъ, какъ онъ встретилъ Наташу, чтобы увезти ее къ себе; она умоляетъ Ивана Петровича взглядомъ— не судить его строго... Ну, скажите, какое же увлечение, какая любовь при такихъ отношеніяхъ?

Но мало-ли бываеть аномалій, а г. Достоевскій имбеть, такъ сказать, привилегію на ихъ изображеніе. Отъ г. Голядкина до Оомы Оомы Оомича въ "Сель Степанчиковь", онъ изобразилъ на своемъ въку много бользненныхъ, ненормальныхъ явленій. Могь взяться и за изображеніе исключительной, ненатуральной любви Наташи къ дряннъйшему фату, который, по всьмъ ожиданіямъ здраваго смысла, не могъ не казаться ей противнымъ. Положимъ даже, что самая ненормальность-то, странность подобныхъ отношеній и поразила художника, и заставила его заняться ихъ воспроизведеніемъ. Но въдь мы знаемъ, что художникъ— не пластинка для фотографіи, отражающая только настоящій моментъ: тогда бы въ художественныхъ произведеніяхъ и жизни не было, и смысла не было. Художникъ дополняеть отрывочность схваченнаго момента своимъ творческимъ чувствомъ, обобщаетъ въ душь своей частныя явленія, создаеть одно стройное цълое изъ разрозненныхъ чертъ, находитъ живую связь и послъдовательность въ безсвязныхъ, повидимому, явленіяхъ, сливаетъ и переработываетъ въ общности своего міросозерцанія разнообразныя и противоръчивыя стороны живой дъйствительности. Оттого истинный художникъ, совершая свое созда-

ніе, им'ветъ его, въ душт своей, цальшь и полнимъ, съ началомъ и концомъ его, съ его сокровенными пружинами и тайными послъдствіями, непонятными часто для логическаго мышленія, но открывшимися вдохновенному взору художника. Такими именно истинный художникъ представляетъ свои созданія и для другихъ: они для встхъ дълаются просты, понятны, законны. Вещи, самыя чуждыя для насъ въ нашей привычной жизни, кажутся намъ близкими въ созданіи художника: намъ знакомы, какъ будто родственныя, и мучительныя исканія Фауста, и сумасшествіе Лира, и ожесточеніе Чайльдъ-Гарольда; читая ихъ, мы до того подчиняемся творческой силт генія, что находимъ въ себъ силы, даже изъ-подъ всей грязи и пошлости, обсынавшей насъ, просунуть голову на свътъ и свъжій воздухъ и сознать, что дъйствительно — созданіе поэта върно человъческой природъ, что такъ должно быть, что пначе и быть не можетъ... Разумъется, не вст геніи, и не отъ вступно ожидать подобнаго эффекта, но все же, до извъстной степени, онъ есть и въ каждомъ художественномъ произведеніи, и притомъ поэты съ меньшимъ талавтомъ обыкновенно являются публикъ съ созданіями, въ которыхъ и идеи отразились сравнительно меньшей важности и общирности; по все же хоть что нибудь, хоть въ самыхъ маленькихъ размѣрахъ, но отразилось что нибудь полно и самобытно: иначе нечего искать въ произведеніи и признаковъ художественнаго талавта.

Такъ пусть бы въ романъ г. Достоевскаго отразилась въ своей полноть хоть этакая маленькая, миніатюрная задача жизни 1): какъ можетъ спрадная козявка, подобная Алешъ, внушить къ себъ любовь порядочной дъвушкъ. Разъясни намъ авторъ хоть это, — мы бы готовы были прослъдить его шагъ за шагомъ, и вступить съ нимъ въ какія угодно художественныя и психологическія разсужденія. Но въдь и этого нътъ: пять мъсяцевъ, въ которые возникла и дошла до своего страшнаго пароксизма любовная горячка Наташи, не удостоены ни одной страничкой. Сердце героини отъ насъ скрыто, и авторъ, повидимому, смыслитъ въ его тайнахъ не больше нашего. Мы съ довъріенъ обращаемся къ нему и спрашиваемъ: какъ же это могло случиться? А онъ отвъчаетъ: вотъ подите же, —случилось да и только. — Да, пожалуй, прибавитъ къ этому: чрезвычайно странний случай... а впрочемъ, это бываетъ. — Не угодно-ли искать художественнаго смысла въ подобномъ произведеніи?

А потомъ, когда Наташа уже совершила свой странный шагъ, нелъпость котораго она понимала еще раньше, потомъ—какъ она жила съ Алешей? Какой процессъ совершился въ душѣ ея съ первыхъ дней этой но-

<sup>1)</sup> Не говорю, чтобъ художникъ задавалъ себѣ задачу, а чтобъ у него этразизась, разрѣшилась она сама собою, хотя бы не вѣдомо для него; а то опять скажутъ, что я навязываю художнику утилитарныя темы.

вой жизни до того дня, когда мы въ первый разъ опять видимъ ее въ разговоръ съ Иваномъ Петровичемъ, и когда она высказываетъ ръшеніе, что съ Алешей должна разстаться? Обо всемъ этомъ мы имъемъ нъсколько незначительныхъ словъ, вброшенныхъ мимоходомъ въ описаніе квартирной обстановки Наташи и ровно ничего не объясняющихъ... Какъ видно, не это интересовало автора, не тутъ было для него главное дъло. Въ чемъ же? Разобрать трудно уже и потому, что дъйствіе романа страннымъ и ненужнымъ образомъ двоится между исторіей Наташи и исторіею маленькой Нелли, чъмъ ръшительно нарушается стройность внечатлѣнія. Но, какъ объ эти исторіи вертятся около князя Валковскаго, то можно полагать, что эти исторіи вертятся около князя Валковскаго, то можно полагать, что основу романа, зерно его, составляєть именно всспроизведеніе характера этого князя. Но, всматриваясь въ изображеніе этого характера, вы найдете съ любовью обрисованное силошное безобразіе, собраніе злодъйскихъ и циническихъ чертъ, но вы не найдете туть человъческаго лица... Того примиряющаго, разрѣшающаго начала, которое такъ могуче дѣйствуетъ къ искусствѣ, ставя передъ вами полнаго человѣка и заставляя проглядывать его человѣческую природу сквозь всѣ наплывныя мерзости, — этого начала иѣтъ никакихъ слѣдовъ въ изображеніи личности князя. Оттогото вы не можете ни почувствовать сожалѣнія къ этой личности, ни возненавидѣть ее той высшей ненавистью, которая направляется уже не противъ личности собственно, но противъ типа, прогивъ извѣстнаго разряда явлеличности собственно, но противъ типа, противъ извъстнаго разряда явленій. И відь хоть бы неудачно, хоть бы какъ-нибудь попробоваль авторъ заглянуть въ душу своего главнаго героя... Нъть ничего, ни попытки, ни намека... Какъ и что сдълало киязя такимъ, какъ опъ есть? Что его занимаеть и волнуеть серьезно? Чего онъ боится и чему, наконецъ, върить? А если ничему не въритъ, если у него душа совсъмъ вынута, то какимъ образомъ и при какихъ посредствахъ произошелъ этотъ любопытный про-цессъ? Мы въ правъ требовать отъ автора объясненій на подобныя вещи, даже не предъявляя на него особенно громадныхъ претензій. Не говоря о гигантахъ поэзін, мы имѣемъ даже у себя произведенія, удовлетворяющія этимъ скромнымъ требованіямъ: мы знаемъ, напримѣръ, какъ Чичиковъ и Плюшкинъ дошли до своего настоящаго характера, даже знаемъ отчасти, какъ облънился Илья Ильичъ Обломовъ... Но г. Достоевскій этимъ требованіемъ принебрегъ совершенно. Какъ же послъ этого разбирать характеръ внязя съ эстетической точки зрънія?

Да и вообще надо быть слишкомъ наивнымъ и несвъдущимъ, чтобы серьезно и пространно, съ доказательствами, выписками и примърами, разбирать эстетическое значение романа, который даже въ изложени своемъ обнаруживаетъ отсутствие претензій на художественное значение. Во всемъ романъ дъйствующія лица говорятъ, какъ акторъ: они употребляють его

любимыя слова, его обороты; у нихъ такой же складъ фрази... Исключенія чрезвычайно рѣдки. Начиная съ того, что веѣ лица называютъ другъдруга непремѣнно голубчикомг (исключая, можетъ быть, князя), и оканчивая тѣмъ, что они веѣ любятъ вертѣтьси на одномъ и томъ же словѣ и тянуть фразу, какъ самъ авторъ. — во всемъ виденъ самъ сочинитель, а не лицо, которое говорило бы отъ себя. Можно бы обо всемъ этомъ долго толковать, еслибъ мнѣ не было скучно убѣждать читателей въ томъ, что для меня въ сущности вовсе не интересно; можно бы сгруппировать нѣсколько выписокъ, которыя всѣ вмѣстѣ представили бы нѣчто довольно комическое. Но отъ всего этого я хочу уволить себя. Приведу, пожалуи. одну только выписку, за то длинную, — это когда Наташа, понявши наташа исторически излагаетъ предшествовавшія обстоятельства до того вечера, когда Алеша объявиль Катѣ, невѣстѣ своей, что любитъ Наташу. Затѣмъ она продолжаетъ:

«Вы спросили себя въ тоть вечерь: «что теперь дълать? Алеша во всемь подчинится, но въ этомъ ужь ни за что не подчинится; вполнъ вспытано. Мало того, чёмъ больше его гнать, мучить, тъмъ больше въ немъ будетъ сопротивления. потому что онъ именно таковъ, какъ веѣ слабые, но честные люди: не говите ихъ. не пресладуйте, они не подумаютъ сопротивляться; а пресладуйте, то вы сами же разожжете въ нихъ сопротивление, которое, безъ нашего пресладования имъ бы и въ голову, можетъ быть, не пришло. Соблазномъ тоже, оказалось теперь, нельзя взять прежнее вліяние еще слишкомъ сильно, и вы только въ этотъ вечеръ вполнѣ догадалесь, какъ оно сильно. Что жъ дѣлать?

«Вы и придумали:

«Что, если прекратить недъ нимъ всякое преслідованіе? Что, есля снать се мею то, чёмъ тяготится теперь его сердце: снать то, что онъ считаетъ своимъ долгомъ, обязанностью? Відь, можетъ быть, тогда въ немъ пройдетъ и жаръ и все влеченіе къ этимъ обязанностямъ.

«Воть, напримъръ, онъ любить теперь эту Наташу; чего жь лучше: сказать ему прямо, что не только онъ можеть теперь ее любить, но даже поэполяется ему исполнить въ отношени къ ней всё свои обязанности, все, чёмъ онь сградаеть за эту Наташу. В не только поэполить, но даже какъ-нибудь обратить это поэполение чуть не въ приказъ; сказать ему, что онъ долженъ на ней жениться, чаще тверлить ему, что это его обязанность, —однимъ словомъ, все, что онъ говорилъ самъ себе каждый день свободно, отъ сердца, все это обратить теперь даже въ принуждение. Ну, что тогда будетъ?

« — Наталья Николавна!—вскричаль князь:—все это одно разстройство вашего воображенія, ваша мнительность; вы внѣ себя, вы преувеличиваете! И князь съ видомъ сожальнія пожаль плечами.

— Воть что тогда будеть, —продолжала Наташа, какь будто не обращая ни мальйшаго вниманія на слова князя. — Во-первыхь, думали вы, я окончательно привлеку къ себъ его сердце, и онъ устыдится всякой недовърчивости ко мнь; а это мнь очень пригодится теперь! Первое впечатльніе будеть, положимь, невыгодно: онь обрадуемся. Онъ хоть и увлекается повой мюбовью, но въдь онъ самь еще не знаеть про эту мовую мюбовь; онь до сихь порь еще думаеть и увърень, что по прежнему, какь полгода назадь, съ тымь же жаромь, съ тою же страстью любить свою Наташу. Онь хоть и привязался къ Катеринь Өедоровнь, но думаеть, что это только такь;

ему хорошо, весело съ нею, — извъстно почему: да онъ и не спрашиваетъ объ этомъ! И хоть сердце каждый день влечетъ его все сильнъе в сильнъе къ новой любой, во онъ совершенво увъренъ, что тамъ, от преженей любой, у Наташи все по старому в никаквхъ нътъ перемънъ. Онъ потому еще обрадуется, что, дъйствительно, до сихъ поръ еще любитъ эту Наташу; въдь она другъ его, онъ такъ привыкъ къ ней; онъ даже о своей Кать (съ которой онъ теперь на ты) ъдеть къ ней, къ первой, разсказывать; онъ столько разъ вадълъ ея страданій!. И потому онъ обрадуется, положимъ такъ, да и пусть его; оно даже в хорошо: радосты обновляеть, черезъ радосты старое забывается; одно горе памятно; все это только на минуту; за то будущее выиграно...

«За то онъ, первый разъ за вск эти полгода, дяжетъ спать спокойно, съ обдегченнымъ сердцемъ: оно уже не будетъ больть за Наташу. Онъ не будетъ просыпаться во сив и съ тоскою думать: «какъ-то она? что-то она? чтмъ это кончится? чтмъ устроится?» Теперь все хорошо, и на другой же день онъ почувствуетъ совствъ небольно, безъ всикато разсчета, что, слава Богу, онъ уже не должникъ; теперь все устроилось, и она уже все получила, что онъ даже больше ей отдаль, чтмъ сама она думала; онъ отдастъ ей всю свою будущность, и должна же она опілить это, тогда какъ до сихъ поръ, онъ дсяженъ былъ цінить все, чтмъ жертвовала ему наташа. Вотъ в легче на душі и дышется свободнье, и такъ неволю ото все подумается, такъ безъ расчету, съ такимъ добрымъ, теплымъ чувствомъ! А вы смотрите, да про себя думаете: «это все хорошо; нъсколько дней пройдеть, и съ нимъ случится то же самое, что бываеть со встми влюблеными скоро послѣ свадьбы: препятствій нітъ, все достигнуто, и любовь сама собою охладьветь; тамъ наступаєть скука; тамъ захочется новато; жизнь не любить покоя: сердпу хочется жить»...

«А туть какь нарочно *повая любов*ь еще прежде началась: она ужь есть в взобретать ее не надобно...

Романы, романы, — произнесъ князь вполгодоса, какъ будто про себя: — уединеніе, мечтательность и чтеніе ремановъ!

 Да, на этой-то новой любен вы все и основали,—продолжала Наташа, не слыхавъ и не обративъ вниманія на слова князя, вся въ лихорадочномъ жару и все болье и болье увлекаясь: — и какіе шансы для этой новой любен! Выль ова началась еще тогда, когда онъ еще не узналъ всехъ совершенствъ этой опочики! Въ ту самую минуту, когда онъ, въ тотъ вечеръ, открывается этой опециаль, что онъ не можеть ее любить, потому что долгь и другая любовь запрещають ему это, -- эта отвушка, вдругъ, выказываетъ передъ нимъ столько благородства, столько сочувствія къ нему и къ своей соперниць, столько сердечнаго прощенія, что онъ, хоть и выриль въ ея красоту, но и не думаль до этого мгновенія, чтобъ она была такъ премрасна! Онъ и ко мит тогда прібхаль, - тодько и говориль что о ней: она слишкомъ сильно поразила его. Да, онъ на завтра же непремено долженъ быль почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное существо, хотя изъ одной только благодарности. Да и почему жъ къ ней не вхать? Ведь та, прежияя, уже не страдаеть, судьба ея рішена, відь той цілый вікь отдается, а туть одна какаянибудь минутка... И что за неблагодарная была бы эта Наташа, еслибъ она ревновала даже къ этой минуткъ? И вотъ, незамьтно, отнимается у этой Наташи, вивсто минуты, день, другой, третій... А между темъ въ это время довушка высказывается передъ нимъ, въ совершенно неожиданномъ. новомъ и своеобразномъ видъ; она такая благородная энтузіастка и въ то же время она такой наивный ребенокъ, и въ этомъ такъ сходна съ нимъ характеромъ. Они клянутся другъ-другу въ дружбъ, въ братствъ, неразлучности на всю жизнь. Правда, они съ любовью говорять между собой в о Наташь, но они хотять жить втроемь, всегда. «Въ какія-нибуль иятьшесть часовь разговора» вся душа его открывается для новыхь ощущеній, в сердце его отдается все... Туть еще новыя идеи, и причина ихъ опять Катя. Онъ еще, можеть быть, не сейчась начнеть сравнивать, думаете вы, но это неминуемо. Прыдеть это время; онъ сравнить свою преженою любовь съ своими невыми. свъжими ощущениями: тамъ все знакомое, всегдащиее; тамъ такъ серьезны, гребовательны; тамъ его ревнують, бранить; тамъ слезы... А если и начинають съ нимъ шалить, играть. то какъ будто не съ ровней, а съ ребенкомъ... а главное: все такое прежнее, извъстное»...

Силлогизмы Наташи поразительно върны, какъ будто она имъ въ семинаріи обучалась. Психологическая проницательность ея удивительна, постройка рѣчи сдѣлала бы честь любому оратору, даже изъ древнихъ. Но, согласитесь, вѣдь очень причѣтно, что Наташа говоритъ слогомъ г. Достоевскаго? И слогъ этотъ усвоенъ большею частью дѣйствующихъ лицъ.

Надо еще замътить, что г. Достоевскій (какъ весьма многіе, впрочемъ, изъ нашихъ литераторовъ) любитъ возвращаться къ одничъ и темъ же лицамъ по итскольку разъ и пробовать съ разныхъ сторонъ тъ же характеры и положенія. У него есть нісколько любимых типовт, напримвръ, типъ рано развившагося, болъзненнаго, самолюбиваго ребенка, -и воть онъ возвращается къ нему и въ Неточкъ, и въ Маленькомъ герот, и теперь въ Нелли... Характеръ Нелли-тотъ же, что характеръ Катя въ Неточкъ, только обстановка ихъ различна. Есть типъ человъка, отъ болъзненнаго развитія самолюбія и подозрительности доходящаго до чрезвычайныхъ уродствъ и даже до помъщательства, и онъ даетъ намъ г. Голядкина, музыканта Ефимова (въ "Неточкв"), Оому Оомича (въ "Селъ Степанчиковъ "). Есть типъ циника, бездушнаго человъка, лишь съ энергіей эгонзма и чувственности, — онъ его намъчаетъ въ Быковъ (въ "Бълныхъ людяхъ"), неудачно принимается за него въ "Хозяйкъ", не оканчиваетъ въ Петръ Александровичъ (въ "Неточкъ"), п, наконецъ, теперь раскрываетъ вполнъ въ князъ Валковскомъ (котораго, кстати, даже и зовуть тоже Петромъ Александровичемъ). Къ этому есть еще у г. Достоевскаго идеалъ какой-то дъвушки, который ему никакъ не удается представить: Варенька Доброселова въ "Бъдныхълюдяхъ", Настенька въ "Селъ Степанчиковъ ", Наташа въ "Униженныхъ и Оскорбленныхъ " - все это очень умныя и добрыя девицы, очень похожія на автора по своимъ понятіямъ и по манеръ говорить, но въ сущности очень безцвътныя. Авторъ чиветъ помъстить ихъ въ очень интересную обстановку, но это и все, что для нихъ онъ дълаетъ. Надо признаться, что даже Варенька Доброселова интересуетъ насъ болве своями несчастіями и твии разсказами, которые г. Достоевскій сочиниль за нее, нежели сама по себь, просто какъ поэтическое созланіе.

Эта бъдность и неопредъленность образовъ, эта необходимость повторять самого себя, это неумънье обработать каждый характеръ даже настолько, чтобъ хоть сообщить ему соотвътственный способъ вижиняго вы-

раженія, — все это, обнаруживая, съ одной стороны, недостатокъ разно-образія въ запасв наблюденій автора, съ другой стороны, прямо говорить противъ художественной полноты и цвльности его созданій... И думаете-ли вы, либители эстетики, что можно было бы помочь г. Достоевскому, или оказать услугу искусству, сдвлавши доскональный — détaillé et raisonné-разборъ художественныхъ несовершенствъ и достоинствъ этого романиста? И неужели полагаете вы, что покамъстъ литература имъетъ хоть малъйшую возможность хоть издалека прислушиваться къ общественнымъ интересамъ и хоть неяснымъ, кроткинъ лепетомъ выразить свое къ нимъ участіе, — неужели думаете вы возбудить въ комъ-нибудь интересъ даже самыми блестящими эстетическими этюдами по поводу... ну. да просто такъ, а propos de bottes, изъ-за появленія новой драмы г. Потѣхина, новаго отрывка г. Гончарова, новаго романа г. Достоевскаго?.. Развѣ дождемся такого времени, когда литература опять разорветь уже рышительно всякую (и теперь, правда, слишкомъ слабую) связь съ обществомъ и ограничена будетъ одними только собственными, домашними интересами. когда литераторы принуждены будуть писать только о литераторахъ и только для литераторовъ, — тогда, въроятно, съ усиъхомъ будутъ повторяться и явленія въ родъ Мерзляковскаго разбора Россіады, или въ родъ прекрасной статьи г. Боткина о Фетъ. Но пока литература (то-есть, собственно изящная), не достигая дъйствительно художественнаго значенія, имъетъ по крайней мъръ практическій смыслъ, дозвольте же придать нъсколько практическій характеръ и самой критикъ.

Г. Достоевскій, вфроятно, не будеть на меня стовать, что я объявляю его романь, такъ сказать, "ниже эстетической критики". Я втдь интъв въ виду вообще современную нашу литературу, и если провтриль свою мысль несколькими беглыми замечаніями о его романе, такъ это потому, что онъ мит попался чодъ руку. А если бы взять другія изъ твореній, имтвшихъ у насть успехъ въ последніе годы, такъ многія изъ нихъ оказались бы, можетъ быть, еще болте несостоятельными. Г. Достоевскій, по крайней мтрт какъ намъ кажется, судя по некоторымъ местамъ его сочиненій, не имтетъ такихъ претензій, не придаетъ себт такой важности, какъ другіе. Онъ изобразиль некоторыя свои литературныя отношенія въ запискахъ Ивана Петровича: я не считаю нескромнымъ сказать это, потому что самъ авторъ явно не хотть скрываться. Онъ съ такими подробностями разсказываетъ тамъ содержаніе "Бедныхъ людей", какъ первой повъсти Ивана Петровича, — что нетъ возможности ошибиться. Такъ тутъто онъ, между прочимъ, сознается, что писалъ многое вследствіе необходимости, писалъ къ сроку, написывалъ по три съ половиною печатныхъ листа въ два дня и двт ночи; называетъ себя почтовою клячею въ лите-

ратурћ; смћется надъ критикомъ, увврявшимъ, что отъ его сочиненія пах-нетъ потомъ и что онъ ихъ слишкомъ обдѣлываетъ 1). Словомъ, г. до-стоевскій смотритъ, повидимому, на свои произведенія, какъ мы всв, обыкновенные люди,— не какъ на несокрушимый памятникъ для потоиства, а просто — какъ на журнальную работу. А ужъ извъстио, что такое журнальная работа: тутъ не до обработки, не до подробностей, не до строгости къ себъ въ развитіи мысли... Довольно того, что хоть кое какъ успъешь бросить эту мысль на бумагу. Можно это сравнить воть съ чъмъ: вы доэть, въ васъ сейчасъ родилось чувство, васъ поразило впечатлѣніе, которое вы можете изобразить великолѣнными стихами. У васъ уже мелькають въ головъ образы, готово нъсколько стиховь, нъсколько мъткихъ выраженій... Но вамъ мѣшаютъ, отъ васъ требуютъ немедленнаго отчета въ вашемъ впечатлъніи, у васъ, наконецъ, вовсе отнимаютъ возможность предаться влеченію вашего чувства и прінскать для него живне звуки. Дълать нечего, вы берете карандашъ и записную книжку и набрасываете шероховатой прозой остовъ того прекраснаго стихотворенія, которое уже слагалось у васъ въ головъ. Такъ поступаетъ постоянно, въ течение всел своей карьеры, журнальный работникъ. Человъкъ, конечно, все-таки ви-денъ, — въдь и въ остовъ стихотворенія можно разобрать до нъкоторой степени, какого полета поэтъ могъ написать его; уцелеють, пожалуй. и нъсколько удачныхъ страницъ, какъ внезапно сложившійся стихъ попадаеть въ черновой набросокъ. Но, въ общемъ, все это будетъ очень жалко. Одно лишь остается неизмъннымъ, при спъшной-ли работъ, при многодумной-ли провъркъ каждой страницы. — это общій характеръ убъжденій че-ловъка, его воззръній на жизнь. его симпатій и антипатій. Отъ торопливости въ работъ можно дълать частныя ошибки, высказываться неясно или односторонне, впадать въ мелкія противорвчія и двлать скачки, терял нить строгихъ логическихъ выводовъ. Но если бы кто противорвчіе общихъ убъжденій и симпатій въ своихъ сочиненіяхъ сталь оправдывать спъшностью работы, тотъ показалъ бы только, что онъ неспособенъ ни къ какимъ убъжденіямъ.

И вотъ почему, если мы обратимся отъ отвлеченныхъ эстетическихъ разсужденій къ идеямъ и положеніямъ, развиваемымъ у извъстнаго автора, то найдемъ самое лучшее средство къ уразумьнію сущности его таланта. Тутъ уже мърка нашихъ требованій измъняется: авторъ можетъ ничего не дать искусству, не сдълать шага въ исторіи литературы собственно, и все-таки быть замъчательнымъ для насъ по господствующему направленію и смыслу своихъ произведеній. Пусть онъ и не удовлетворяетъ художе-

<sup>1)</sup> Такой именно отзывъ быль когда-то о г. Достоевскомъ, и даже. если не ошибаюсь, въ «Современникъ».

ственнымъ требованіямъ, пусть онъ иной разъ и промахнется, и выравится нехорошо: ны ужъ на это не обращаемъ вниманія, мы все-таки готовы толковать о немъ много и долго, если только для общества важенъ почему-нибудь смыслъ его произведеній. Есть, конечно, писатели, у которыхъ ни для чего нътъ своего глаза, которые ни о чемъ не могутъ сказать своих слов; произведенія таких господъ - сплошная, гладкая, большею частью удобочитаемая пошлость, въ родъ обыкновенныхъ газетныхъ фельетоновъ, повъстей г. Толбина или князи Кугушева, или стихотвореній г. Грекова, Апухтина, и т. п. Говорить о нихъ, точно, нечего. Есть другіе, у которыхъ отразится въ головѣ какая-набудь мизерная, давно ходячая, односторонняя или фальшивая идейка, и они надъ нею трудятся: объ этихъ можно иной разъ и поговорить, смотря по удачв исполненія. Вотъ г. Колбасинъ, напримъръ, овладълъ идеею, что "всъ мужчины измънщики и истянной любви не понимають": онъ и написалъ на эту тему съ полдюжины повъстей изъ быта всъхъ европейскихъ націй. Если кому кажется, что г. Колбасинъ повъствуетъ превосходно, тотъ можетъ, пожалуй, говорить и о г. Колбасинъ, — какъ, моль, онъ хорошо проводить свою идею! У другихъ писателей встръчаются идеи не столько пошлыя и маленькія, но за то болъе фальшивыя. Вотъ, напримъръ, по міросозерцанію г. Писемскаго выходить, что русскій человъкъ ни въ чемъ мъры не знаетъ, - что, ежели онъ не умираетъ съ голоду, то пьянствуетъ; если не подъ башмакомъ у жены, то колотитъ ее; если не видить себъ ни откуда ни пинка, ни плети, то бросается на всехъ, какъ зверь дикій: если взятокъ не беретъ, то норовитъ всякаго въ кандалы заковать за взятый гривепникъ. Ну, и объ этомъ нужно поговорить, опять-таки если кому покажется, что въ сочиненіяхъ г. Писемскаго иден эти выходять ужъ очень убъдительны.

Но есть другого рода писатели, интересные совствъ другимъ образомъ. Это тт, у которыхъ художественное чутье, хотя бы даже и слабое, направлено здраво, въ которыхъ не только втрно отражаются явленія жизни, но которымъ доступенъ, болте или менте, и общій таинственный смысль ея. Такіе писатели становятся замтительными художниками, если ихъ воспріимчивость многообъемлюща, если жизнь открывается имъ не въ отдъльныхъ только явленіяхъ, а во всемъ своемъ стройномъ теченіи, если чутки они не къ одной только внтышей сторонт явленій. но и къ ихъ внутренней связи и последовательности. Тогда они создаютъ что-нибудь прочно остающееся въ литературт и служатъ двигателями общественнаго сознанія. Но и люди съ болте ограниченною воспріничивостью, съ болтье слабымъ, только бы втрнымъ, чутьемъ, не проходятъ безъ слъда и заслуживаютъ вниманія, если хоть одну черту разъяснили, или даже только указади намъ въ этой жизни, которая у всёхъ насъпредътлазами, веёхъ задёваеть собою и, однако же, такъ немногихъ наводить на серьезную думу, такъ немногими понимается.

## 11.

Въ произведенияхъ г. Достоевскаго мы находимъ одну общую черту, болъе или менъе замътную во всемъ, что онъ писалъ: это боль о человъкъ, который признаетъ себя не въ силахъ или наконенъ даже не въ правъ быть человъкомъ настоящимъ, полиымъ, самостоятельнымъ человъкомъ, самимъ по себъ. "Каждый человъкъ долженъ быть человъкомъ и относиться къ другимъ, какъ человъкъ къ человъку", — воть идеалъ, сложившійся въ душт автора помимо всяких тусловных и парціальных воз-зртній, новидимому, даже помимо его собственной воли и сознанія, какъ-то à priori, какъ что-то составляющее часть его собственной натуры. И между твиъ, вступая въ жизнь и оглядываясь вокругъ себя, онъ видитъ, что исканія человъка сохранить свою личность, остаться самимъ собою, ни-когда не удаются, и кто изъ вщущихъ не успъетъ рано умереть въ чахоты или другой изнурительной бользии, тоть въ результать доходить только — или до ожесточенія, нелюдимства, сумасшествія, или до простого, тихаго отупівнія, заглушенія въ себів человівческой природы, до искренняго признанія себя чівть-то гораздо ниже человівка. Есть много такихъ, которые даже какъ будто родятся съ этимъ посліднимъ сознаніемъ, которыхъ мысль о своемъ человівческомъ значенів какъ будто никогда съ роду не посъщала. Это — точно существа другого міра, точно въ нихъ ничего нътъ общаго съ остальнымъ человъчествомъ... Что за причина такого перерожденія, такой аномаліи въ человъческихъ отношеніяхъ? Какъ это происходитъ? какими существенными чертами отличаются подобиня явленія? къ какимъ результатамъ ведутъ они? Вотъ вопросы, на которые естественнымъ и необходимымъ образомъ наводятъ читателя произведенія г. Достоевскаго. Правда, разрѣшенія всѣхъ предложенныхъ вопросовъ у него нътъ; но если бы онъ ихъ ръшилъ, то, конечно, и не сталъ бы писать о нихъ повъсти. Литературное произведение, искреннее, а не заказное, только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее решеніе взятаго факта составляетъ еще вопросъ, разгадка котораго занимаетъ самого автора. Но у сильныхъ талантовъ самый актъ творчества такъ проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда изъ простой по-становки фактовъ и отношеній, сдъланной художникомъ, ръшеніе ихъ

вытекаетъ само собой. У г. Достоевскаго не достало на это силы дарованія, его разсказамъ нужны дополненія и комментаріи. Но, тъмъ не менье, вопросъ у него поставленъ, и никто изъ читателей не можетъ самъ избавиться отъ этого вопроса послъ прочтенія его повъстей. Самый тонъ каждой повъсти, мрачный, упылый, бользненный, — такъ и вышибаетъ изъ сердца раздражительный вопросъ, такъ и подымаетъ въ васъ какуюто нервичю боль... Подобное впечатление очень не нравилось многимъ; одинъ критивъ прямо обвинялъ г. Достоевскаго именно за мрачный колоритъ его повестей: критику, неизвътно почему, казалось, что русской литературъ нужны разсказы веселенькие, граціозные, розовые. Желаніе его исполнилось скоро: послъ отзыва его о г. Достоевскомъ (въ началь 1849 г.) дъйствительно русская литература вдалась въ разсказы великосвътской жизни, изъ нравовъ древней Аркадіи, перенесенной въ Костром скую губернію, изъ сферы супружескихъ непріятностей во всъ времена п у всехъ народовъ, изъ круга образованныхъ молодыхъ людей, очень много и неопределенно разсуждавшихъ о возвышенныхъ предметахъ... Много авторитетныхъ именъ (теперь - увы! - теряющихъ свое обаяніе!) создалось въ этотъ недолгій промежутокъ, до техъ поръ, пока опять не завладълъ общинъ вниманіемъ новый родъ литературы — обличительный. Прошель и этоть родь еще скорве, чемь родь щигровских гамлетовь. пошехонскихъ пастушекъ и подмосковныхъ графинь, -- и прошелъ не потому, чтобы представители его бъдны были талантами, а потому, что съ самаго начала пошли они по ложной дорогъ. У одняхъ, по необходимости, вслъдствіе вившнихъ требованій, а у другихъ и наивно, простосердечно, міросозерцаніе явилось чрезвычайно узкимъ и односторонничь; въ чиновникъ такъ и видъли только чиновника; въбъдъ, происшедшей отъ взяточпичества городничаго, такъ и видъля только слъдствие его взяточничества; всякаго станового изображали, какъ конечную цель и крайнюю исходную точку существующихъ порядковъ. "Выть или не быть "благоденствію въ Россіи - это зависъло огъ того, будетъ или не будета служить становымъ честный чиновникъ Фроловъ: на этой мысли была у насъ построена целая комедія, не безъ усивха игравшаяся на Александринскомъ театръ. Никто, кажется, исключая г. III едрина, не вздумалъ заглянуть въ душу этихъ чиновниковъ— злодъевъ и взяточниковъ— да посмотръть на тъ отношенія, въ какихъ проходить ихъ жизнь. Никто не приступиль къ разсказу объ ихъ подвигахъ съ простою мыслью: "бъдный человъкъ! Зачъмъ же ты крадешь и грабишь? Въдь не родился же ты воромъ и грабителемъ, въдь не изъ особаго же племени вышло, въ самомъ дълъ, это такъ-называемое крапивное съмя" Голько у г. Щедрина и находимъ мы по мъстамъ подобные запросы, и за то онъ до сихъ поръ остается не только

выше всёхъ своихъ сверстниковъ по обличительной литературъ, по и вообще выше многихъ изъ литераторовъ нашихъ, увлекавшихъ нашу публику разсказами съ претензією на широкое пониманіе жизни. Но нельзя не видъть, что и у г. Пієдрина "обличеніе" перетягиваетъ. Ни въ одномъ изъ "Губернскихъ очерковъ" его не нашли мы въ такой степени живого, до боли сердечной прочувствованнаго отношенія къ бъдному человъчеству, какъ въ его "Запутанномъ дълъ", напечатанномъ 12 лътъ тому назадъ. Видно, что тогда были другіе годы, другія силы, другіе идеалы. То было направатанном в деять тому назадъ. направленіе живое и дъйственное, направленіе истинно-гуманическое, не сбитое и не разслабленное разными юридическими и окономическими сентенціями. Тогда, къ вопросу о томъ, отчего человъкъ злится или воруетъ, относились такъ же, какъ и къ вопросу, зачъмъ онъ страдаетъ и всего боится; съ любовью и болью начинали приниматься за натологическое избоится; съ любовью и болью начинали приниматься за натологическое изследованіе подобныхъ вопросовъ, и, если бы продолжалось это направленіе, оно, безъ сомивнія, было бы плодотвориве всёхъ, за нинъ последовавшихъ. Ныне у насъ решенія просты: если люди воруютъ, значитъ —
нолиція плохо делаетъ свое дело; если взятки берутся, значитъ — начальникъ колпакъ... и т. п. А тогда выходило иной разъ: воруетъ человекъ оттого, что работы не нашелъ себе и съ голоду умиралъ; взятки
беретъ, — чтобъ пятнадцать душъ семейства прокормить... Результаты,
очень непохожіе въ нравственномъ отношеніи: одинъ будитъ въ васъ человеческое чувство и мужественную мысль, другой ведетъ васъ въ полицію
и заставляетъ замирать на юридической формъ.

Т. Лостоевскій въ первомъ же своемъ произведенія, ченася замира-

Т. Достоевскій въ первомъ же своемъ произведеніи явился замѣчательнымъ дѣятелемъ того направленія, которое назвалъ я по преимуществу гуманическимъ. Въ "Бѣдныхъ людяхъ", написанныхъ подъ свѣжимъ вліяніемъ лучшихъ сторонъ Гоголя и наиболѣе жизненныхъ пдей Бѣлинскаго, г. Достоевскій, со всею энергіей и свѣжестью молодого таланта. принялся за анализъ поразившихъ его аномалій нашей бѣдной дѣйствительности и въ этомъ анализѣ умѣлъ выразить свой высоко-гуманный идеалъ. Идеалъ этотъ не принадлежалъ ему исключительно и не имъ внесенъ въ русскую литературу. Въ видѣ сентенцій о томъ, какъ "самый презрѣнный и даже преступный человѣкъ есть тѣмъ не менѣе братъ нашъ". и т. п., гуманическій идеалъ проявлялся еще въ нашей литературъ конца прошлаго столѣтія, вслѣдствіе распространенія у насъ въ то время идей и сочиненій Руссо. Но эти привозныя сентенціи плохо тогда ладили съ русской жизнью и мало было людей, которые бы могли серьезно и глубоко ими проникнуться. Державинъ все воспѣвалъ ничтожество людей вообще и величіе нѣкоторыхъ сановниковъ въ особенности; о правахъ же человѣческихъ думалъ такъ мало, что умиленно восторгался тѣмъ, какъ ему—

Про Карамзина, конечно, нечего и говорить: чтобы видать, до какой степени сознание общихъ человъческихъ правъ и интересовъ было ему чуждо, довольно перелистовать его "Письма русскаго путешественника", особенно изъ Франціи. У Пушкана проявляется кое-гд в уваженіе къ человъческой природа, къ человъку, какъ человъку, но и то большею частью въ эпикурейскомъ смыслъ. Вообще же онъ былъ слишкомъ мало серьезенъ, или, говоря словами эстетиковъ, слишкомъ гармониченъ въ своей натуръ, для того чтобы заниматься какими-нибудь аномаліями жизни. Онъ во всемъ видълъ только прекрасное и рисовалъ только поэтическія стороны: прелесть роскошнаго пира, стройность колоннъ, идущихъ въ битву, грандіозность падающей лавины, "благоухание словеснаго елея", пролившагося на него съ какой-то "высоты духовной", и пр., и пр. Только Гоголь, да и то не вдругъ, вноситъ въ нашу литературу гуманическій элементъ: въ "Старосвътскихъ помъщикахъ" выразился онъ ужъ очень ясно, но, какъ видно, важность его не вполнъ оцънилъ тогда самъ Гоголь. По крайней мъръ, "Ревизоръ" обработанъ въ этомъ отношенія довольно слабо, что и подало поводъ нъкоторымъ называть всю комедію фарсомъ и всв лицакаррикатурами. Но чемъ далее, темъ сильнее выказывалась у Гоголя гуманическая сторона его таланта, и даже вопреки своей коль, въ ожидания свътлыхъ и чистыхъ идеаловъ, онъ все изображалъ своимъ могучимъ словомъ "бъдность да бъдность, да несовершенство нашей жизни". По этомуто пути направился и г. Достоевскій.

Въ разныхъ видахъ и случаяхъ представилъ намъ г. Достоевскій недостатокъ уваженія человѣка къ самому себѣ и недостатокъ уваженія къ человъку другихъ людей. Кажется бы, дъло простое — думается, когда читаешь эти повъсти: - человъкъ родился, значитъ, долженъ жить, значить, имветь право на существованіе; это естественное право должно им'ять и естественныя условія для своего поддержанія, т.-е. средства жизни. А такъ какъ эта потребность средствъ есть потребность общая, то и удовлетворение ея должно быть одинаково общее, для встут, безъ подраздъленій, что воть, дескать, такіе-то имъють право, а такіе-то нъть. Отрицать чье-нибудь право въ этомъ случат — значитъ отрицать самое право на жизнь. А если такъ, то, въ пределахъ естественныхъ условій. ръшительно всякій человъкъ долженъ быть полнымъ, самостоятельнымъ человъкомъ и, вступая въ сложныя комбинаціи общественныхъ отношеній, вносить туда вполнъ свою личность и, принимаясь за соотвътственную работу, хотя бы и самую ничтожную, тъмъ не менъе-никакъ не скрадывать, не уничтожать и не заглушать свои прямыя человъческія права и требованія. Кажется, ясно. А между твив — отчего же этотъ Макаръ Алексвевичъ Дъвушкинъ "прячется, скрывается, трепещетъ", безпре-

рывно стыдится за свою жизнь, "да вокругъ себя смущеннымъ взоромъ поводитъ, да прислушивается къ каждому слову", и сдинственное утъщение находитъ въ томъ, что онъ человъкъ маленькій, человъкъ ничтожный! Отчего Горшковъ этотъ — "жалкій, хилой такой; колінки у него дрожать, руки дрожать, голова дрожить, робкій, бонтся всіхъ, ходить стороночкой "? Отчего это отецъ Покровскаго иміветь такой видъ, что "онъ роночкой ? Отчего это отецъ Покровскаго имъетъ такой видъ, что "онъ чего-то какъ будто стыдится, что ему какъ будто самого себя совъстно". и въ разговорахъ съ сыномъ — "приподымается немного со стула, отвъчаетъ тихо, подобострастно, почти съ благоговъніемъ"? А отчего г. Голядкинъ въ мучительныхъ и безплодныхъ попыткахъ "быть въ своемъ правъ" и "идти своей дорогой" — съеживается до послъднихъ уступокъ своего настоящаго права и, наконецъ, не выдержавъ въ слабой головъ своей идеи, что подъ его право всв подканываются, мъщается въ разсудкъ? Отчего также г. Прохарчинъ двадцать лътъ скряжничаетъ и бъдствуетъ, все отъ мысли о необезпеченности и, наконецъ, отъ этой мысли за-хварываетъ и умираетъ? Отчего этотъ молодой чиновникъ Пумковъ считаетъ себя извергомъ человъчества и мъщается на томъ, что его отдадутъ въ солдаты за то, что онъ, увлекшись нъжностями съ невъстою, не успъль переписать къ сроку порученной отъ его превосходительства бумаги, которая къ тому же вовсе и не была срочною? Отчего маленькая Неточка такъ уничтожается передъ Катей? Отчего Росталевъ отрекается отъ своей воли предъ Оомою Оомичемъ и считаетъ себя ръшительно недостойнымъ любви Настеньки, своей гувернантки, которую страстно любитъ? Отчего Наташа теряетъ свою волю и разсудокъ, и Иванъ Петровичъ почтительно сторонится предъ вертопрахомъ Алешею? Отчего старикъ Ихменевъ, перенося всевезможныя мученія отцовской любви, не хочетъ простить свою дочь, чтобъ не показать вида уступки князю и его сыну? Отчего маленькая Нелли такъ дико принимаетъ одолженія Ивана Петровича и идетъ собирать милостыню, чтобы на собранныя деньги купить ему разбитую ем чашку? Гдв причина всвхъ этихъ дикихъ, поразительно-странныхъ людскихъ отношеній? Въ чемъ корень этого непонятнаго разлада между твмъ. что должно бы быть по естественному, разумному порядку, и тамъ, что оказывается на дълъ?

Мы уже сказали, что прямого отвъта на такіе запросы не даетъ ни одно лицо, ни одна повъсть Достоевскаго въ отдъльности. Чтобы найти отвъть, мы должны группировать ихъ и пояснять одни другими.

Люди, которыхъ человъческое достоинство оскорблено, являются намъ у г. Достоевскаго въ двухъ главныхъ типахъ: кроткомъ и ожесточенномъ. Первые не дълаютъ уже никакого протеста, склоняются подъ тяжестью свсего положенія и серьезно начинаютъ увърять себя, что они—нуль, ни-

чего, и что если его превосходительство заговорить съ ними, то они должны считать себя счастливыми и облагодътельствованными. Другіе, напротивъ: видя, что ихъ право, ихъ законныя требованія, то, что имъ свято, съ чъмъ они въ міръ вошли, — попирается и не признается, они хотятъ разорвать со всъмъ окружающимъ, сдълаться чуждыми всему, быть достаточными самимъ для себя и ни отъ кого въ міръ не попросить и не принять ни услуги, ни братскаго чувства, ни добраго взгляда. Само собою понятно, что имъ пе удается выдержать характеръ, и оттого они въчно недовольны собою, проклинаютъ себя и другихъ, задумываютъ самоубійство, и т. п.

Между этими двумя врайностями стоитъ еще разрядецъ людей, которыхъ можно, пожалуй, отнести скоръе къ первому типу: эго люди, потерявшіе широкое сознаніе своего человъческаго права, но замънившіе его сакою-нибудь узенькою фикцією условнаго права, утвердившіеся въ этой фикція и бережно ее хранящіе. При всякомъ случав, гдъ подобные господа воображають, что ихъ личное достоинство въ опасности, они готовы повторять, напримъръ, что "я титулярный совътникъ", "мнъ самъ Василій Петровичъ руку подаетъ", "меня штабъ - офицерша Похлестова знаетъ", и т. п. Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые до нельзя и сами всъхъ болье несчастные своей обидчивостью.

Кто наблюдаль въ нашемъ обществъ на тътьмъ, что называется "мелкимъ людомъ", тотъ знаетъ, что кроткіе и покорившіеся люди тоже иногда
бываютъ обидчивыми и щенетильными. Это зависитъ отъ отношеній: предъ
начальникомъ отдъленія номощникъ столоначальника — насъ, смирился совершенно; но съ другими помощниками онъ считаетъ себя "въ своемъ
правъ" и за это право держится ревниво и угрюмо. Послъдняя сторона
развита г. Достоевскимъ въ "Двойникъ", въ которомъ много хорошихъ
мъстъ погибло, къ сожалънію, въ общей растянутости и неудачной фантастичности разсказа. Но мы покамъстъ обратимся теперь къ анализу первой черты, — совершеннаго смиренія и тупого успокоенія на своемъ положенін, каково оно вышло.

Кажется, тутъ бы и говорить не о чемъ: человъкъ убъдился, что онъ глупъ, или безобразенъ, или манеръ не имъетъ. — иу, и ладно, и бросить эту матерію... Что тутъ капитель-то тянуть! И еще ему же спокойнъе: знаетъ. что слъпъ, такъ и подсматривать нечего... Сиди да слушай, что другіе скажутъ. И какой интересъ — описывать то, какъ слъпой не видитъ?..

Но вотъ въ томъ-то и заслуга художника: онъ открываетъ, что слѣпой-то не совсѣмъ слѣпъ; онъ находитъ въ глупомъ-то человѣкѣ проблески самаго яснаго здраваго смысла; въ забитомъ, потерянномъ, обезличенномъ человѣкѣ онъ отыскиваетъ и показываетъ намъ живыя, никогда-незаглупимыя стремленія и потребности человѣческой природы, вынимаетъ въ

самой глубинт души запрятанный протесть дичности противъ вившняго, насильственнаго давленія, и представляеть его на нашъ судъ и сочувствіе. Такія открытія діласть намъ Гоголь въ нівкогорыхъ повістяхъ свояхъ; то же, только въ нівколько затійлиной формів, находинъ ми въ "Білнихъ людяхъ" г. Достоевскаго и отчасти въ другихъ его повістяхъ. Чиновникъ Дівушкинъ, наприміръ, живетъ-себі: дожилъ до сілыхъ волосъ, прослужилъ безъ малаго тридцать лівтъ тихо и скромно, ни о чемъ не задумывансь, ни на что не претендуя. "Что это вы пишете мит—объясняется онъ съ Варенькой—про удобства, про покой и про развил разности! Маточка мол, я не брюзгивъ и не требователенъ, никогда лучше теперешняго не жилъ; такъ чего же на старости лівтъ привередничать? Я сымъ, оботя, обутъ; да и куда намъ затъм зативатом. Ис трафскаго рода!.. Родитель былъ не изъ дворянскаго званія, и со веей то семьей своей билъ біздиве меня по доходу.—Я не ніженка! "И точно, онъ не ніженка: квартиру занимаетъ за перегородкой въ кухив, платить за нее два цілковыхъ и утівшается тівть, что онъ "ото всіхъ особивчкомъ, помаленьку живетъ, втяхомолочку живетъ". "Ситъ я", говорить. — а за столъ платить пять цілковыхъ въ міженць: можно представить, какая туть сытость. Обуть и одъть онъ, — тоже соотивітственно. воть уже иїтоже сознаеть, что онъ человівъ перченый, на міздимя деньги училоя, и слога не имбетъ, и высокихъ матерій понимать не можеть, а потому далеко и не лізеть. Съ общественныть своинъ положеніемь онъ примирился отлично. Онъ дошель до такихъ выводовъ, успоконтельныхъ и резонныхъ: "всякое состояніе опредълено Всевышнимь на долю человіческую. Тому опредълено быть въ генеральскихъ вноостахъ, этому служить титулярнимь совітникомъ; такому-то повелівать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человіка разечитано; иной на одно способень, а другой на лочтое. а способности устроень саминъ Богомъ". Утвердившись уже по способности человъка разсчитано; иной на одно способенъ, а другой на другое, а способности устроены самимъ Богомъ". Утвердившись въ такихъ цълительныхъ мысляхъ, Макаръ Алексъичъ, вмъстъ съ тъмъ, совершенно теряетъ всякую опору внутри себя, въ собственномъ разсудкъ, и высшею, единственною мърою своихъ достоинствъ считаетъ уже не собственное сознаніе, а мнъніе начальства и формальныя отношенія. Достоинства свои онъ описываетъ такимъ образомъ: "состою я уже около 30 лътъ на службѣ, служу безукоризненно, поведенія трезваго, въ безпорядкахъ никогда не замѣченъ. Какъ гражданинъ, считаю себя собственнымъ сознаніемъ моимъ, какъ имѣющаго свои недостатки, но вмѣстѣ съ тѣмъ и добродѣтели. Уважаемъ начальствомъ, и сами его превосходительство мною довольны (собственное-то сознаніе куда пошло!); и хотя еще они доселъ не оказывали мнъ особенныхъзнаковъ благорасположенія, по язнаю. что они довольны". Далве Макаръ Алексвичъ опять показываетъ, какъ сильно его собственное сознаніе: а, говорить, "въ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ никогда не замъченъ, чтобы этакъ противъ постановленій что-нибудь, или въ парушеніи общественнаго спокойствія. — въ этомъ я никогда не замъченъ, этого не было; даже крестика выходила"... Какъ видите, престика составляеть въ нъкоторомъ родъ базисъ философіи Макара Алексвича и самый высшій, последвій аргументь его. Онъ не лишенъ и амбиціи, но она удовлетворяется тоже довольно легко: онъ разъ, напримвръ, вынилъ неосторожно, дебону надълалъ, по его словамъ, и послъ того пишеть къ Варенькъ, утъшая ее: "вы, — говорить, — обо мет не безпокойтесь; спашу вамъ объявить, что амбиція моя мна всего дороже, и увъдомляю васъ, что изъ начальства еще никто ничего не знаеть, да и не будеть знать, такь что они всть будуть патать ко мню уважение по прежиему". Вообще Макаръ Алексвичъ до того дошель, что даже сапоги и шинель носить не для себя, а для другихъ, въ особенности же для его превосходительства; и чай пьетъ тоже больше для другихъ, и все для другихъ изъ амбиціи. "По мнъ все равно, хоть бы и въ трескучій морозъ безъ шинели и безъ сапоговъ ходить — я перетерплю и все вынесу. мнв ничего: человъкъ-то я простой, маленькій". Но "сапоги нужны для поддержки чести и добраго имени; въ дырявыхъже сапогалъ и то и другое пропало". То-ссть, какъ же пропало? А такъ, что "влругъ его превосходительство замътять и невзначай какъ-нибудь отнесутся на мой счеть — бъда"!.. Къ этому кодексу морали и житейской мудрости, выработавшемуся въ головъ Макара Алексъича, прибавьте умилительно-подловатое впечатлиніе, оставшееся въ немъ отъ сцены, когда у вего отле-тила пуговица въ присутствій генерала, и генераль даль ему сто рублей и ножаль руку. Сцена эта, дъйствительно превосходная, много разъ была цитирована, и потому, конечно, памятна читателямъ. А вотъ мысли о ней самого Макара Алексвича. "Клянусь вамъ, — пишетъ онъ Варенькъ. что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего здополучія, глядя на васъ, на ваши бъдствія, и на себя, на униженіе мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнъ сто рублей дороги, какъ то, что его превосходительство сами мнв. соломв, пьяниць, руку мою недостойную пожать изволили! Этимъ они меня самому себъ возвратили. Этимъ поступкомъ они мой духъ воскресили. жизнь мин слише на въки сдълали, и я твердо увъренъ, что я какъ ни гръшенъ предъ Всевышнимъ, но молитва о счастін и благополучін его превосходительства дойдеть до престола Ero! Въ этихъ изліяніяхъ душевныхъ вы видите доброту, чувствительность, благородство, если хотите - даже утонченную

деликатность Макара Алексвича; но, согласитесь, что видь вамъ жалко то униженіе, въ какое онъ ставить себя, и только сила состраданія прогоняеть въ васъ то чувство отвращенія, которое иначе невольно возбулилось бы въ васъ такимъ искаженіемъ человіческой природы... Забитый, тощій несъ Улисса, съ воемъ и ласкою встрічающій своего господина, ненизміримо ближе и равніве съ нимъ, нежели этотъ чиновникъ съ благодітельнымъ его превосходительствомъ. Полное отсутствіе какого бы то ни было сознанія о своемъ достоинстві, полное признаніе своего ничтожества, псключеніе себя изъ того рода существь, къ которому равно принадлежать и Макаръ Алексвичь и его благодітель, — вотъ что видите вы въ излінніяхъ его благодарности. А онъ, между тімъ, счастливъ, самъ счастливъ собственнымъ униженіемъ, и въ умиленіи молитъ Бога простить ему "роноть и либеральныя мысли", которыя онъ позволяль себі подчасъ "въ прежнее грустное время"...

Вотъ образецъ того, что нужно въ общенъ механизмѣ для усившнаго теченія дѣлъ. Кажется, ничего не можетъ быть лучше. Общество, достигнувшее того, что въ немъ вырабатываются подобные типы, можетъ, кажется, назваться образцовымь, совершеннымь, безукоризненнымь въ синслъ государственной теоріи. Здісь не только установлена и поддержи вается извістнаго рода ісрархія... Это бы еще не штука: мало-ли что можно установить и поддержать силою, — и кардинальское управление держится до сихъ поръ въ Римъ... Но здъсь не то: здъсь установившаяся јерархія не имъстъ даже надобности быть поддерживаема: такъ ясна для всъхъ ея польза и необходимость, до такой степени заслужила она внутреннее одобреніе каждаго, даже начиенве ею ублаготвореннаго, до такой степени всв при ней сознають себя счастливыми и довольными... Нельзя всвиъ быть богатыми, всвиъ талантливыми, всвиъ красивыми; нельзя всвиъ начальствовать, всёмъ быть на первыхъ мёстахъ; но истинный идеалъ государ-ства состоитъ въ томъ, чтобы всякій былъ доволенъ на своемъ мёсть, всякій сознаваль законность и глубокую справедливость своего положенія и съ такою же охотою повиновался, съ какою другіе повельвають, такъ же быль спокоснъ и счастливъ при своихъ десяти целковыхъ жалованья, какъ другіе — при двадцати тысячахъ дохода. Воть тогда можеть осуществиться идеаль золотого въка; тогда, если даже кто и непріятности отъ другихъ потерпитъ, — и это не разстроитъ ни общаго хода дълъ, ни его собственнаго счастія, потому что и въ непріятностяхъ этихъ онъ будеть видеть дівло закопное и полезное и будетъ примиряться съ ними, какъ съ годовыми перемінами. Всякій членъ идеальной іерархіи будетъ разсуждать, какъ разсуждаеть, напримівръ, Макаръ Алексівичь о начальническихъ распеканціяхъ, по поводу насмѣшника, дерзнувшаго иронически о нехъ

отозваться: "отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь!.. Ну, да положимъ и такъ, напримъръ, для тона распечь, — ну, и для тона можно; нужно пріучать, нужно острастку давать... А такъ какъ разные чины бываютъ, и каждый чинъ требуетъ совершенно соотвътственной по чину распеканціи, то естественно, что послѣ этого и тонъ распеканціи выходитъ разночинный; — это въ порядкѣ вешей! Да выдь на томъ и свыть стоить, что вся мы одинъ передъ другимъ тону запаемъ, что всякъ изъ насъ одинъ другого распекаетъ. Безъ этой предосторожности и свыть бы не стоялъ, и порядка бы не было.

Вообразите себъ идеальное государство, которое бы въ основание своей организаціи положило подобную философію и въ которомъ всть члени прониклись бы ею глубоко и искренно, всемъ сердцемъ, всемъ существомъ своимъ: что за счастливое было бы государство! Какое въчно - нерушимое спокойствіе, какая непрерывная тишина, какой миръ и благодушіе царили бы въ немъ! Никто бы не домогался того, чего не дано ему; викто не рвался бы съ мъста, на которомъ поставлевъ; никто не разсуждалъ бы о томъ, что выше его званія. Отъ бъдняка мысль сдълаться богатымъ была бы такъ же далека, какъ желаніе пролізть сквозь прольныя уши; столоначальникъ не думалъ бы критиковать распоряжений своего секретаря, какъ не критикуетъ онъ наступленія ночи после дня, и наобороть: даже какой-нибудь юноша изъ мелкой сошки, посаженный за переписку бумагь, точно такъ не вздумалъ бы тогда мечтать о подвигахъ, о славъ, и т. п., какъ теперь не приходить ему въ голову мечтать, напримъръ, о превращеній своемъ въ крокодила, обитающаго въ Египть, или въ допотопнаго мастодонта, открытаго въ съверныхъ льдахъ. Всюду разлито было бы благодатное спокойствіе, безъ всякихъ порывовъ и треволненій. Всь были бы на своихъ мъстахъ. Одни ъздили бы въ коляскахъ, жили въ великолъпнихъ налатахъ, занимались распеканіемъ другихъ; другіе ходили бы пъшкомъ по грязи, въ дырявыхъ сапогахъ, жили въ сырыхъ углахъ и получали распеканціи, — но тъ и другіе одинаково были бы спокойны и довольны своей участью. Тъ и другіе существовали бы ридомъ, другь подль друга, такъ же безмятежно. какъ существуютъ дубъ и крапива. хотя и отнесенные Линнеемъ къ одному разряду по его системъ, но нимало не помышляющие о соблазнительномъ равенствъ другъ съ другомъ. Не было бы тогда гнусной зависти, непозволительныхъ стремленій. всякаго рода опасоній и подкоповъ: люди жили бы, какъ святые въ царствъ небесномъ: много будетъ въ рако обителей, много степеней блаженства, но низшія степени будуть братски сочувствовать высшимь и сами наслаждаться отблескомь того высшаго блаженства, котораго удостоены избранные. Такъ было бы и на землё въ томъ идеальномъ государстве, въ которомъ бы все

члены прониклись тами чистыми понятіями объ общественной ісрархій, какія сейчасъ были приведены... II что всего важиве — подобное устроиство могло бы длиться ввачно, потому что оно не заключаеть въ себъ никакихъ элементовъ разрушенія, — ничего, что бы объщало, хоть въ отдаленномъ будущемъ, нарушить общее спокойствіе и блаженство. Идеальное общество, основанное на здравыхъ понятіяхъ объ общественной ісрархій, могло бы существовать пране ввка спокойно, мирно и счастливо, и развъ какой - нибудь геологическій переворотъ могъ бы разрушить его идеальныя совершенства...

развъ какой - нибудь геологическій перенороть могь бы разрішить его идеальныя совершенства...

Но, къ величайшему сожальнію друга человъчества, не отыскивается философскій камень, не бываеть полнаго совершенства на земль, явть нигдь такого идеальнаго общества, какое мы предполагали... Говорять, въ давнія времена, которыхъ мы сь вами, читатель, уже и не припомнимъ, было ньчто подобное устроено въ Индіи, да и то при помощи самого Брамы. Парія отъ Брамива быль такъже далекъ, и пропасть между ними была почти такъ же непереходима, говорять, какъ пропасть между Макаромъ Алексьичемъ и его превосходительствомъ. А на томъ свъть, говорять, изъ семи круговъ, въ которыхъ давались смертнымъ разине виды блаженства, самымъ высшимъ считался тотъ, гдъ человъкъ терялъ совершенно свою личность, волю, сознаніе, погружался въ лоно Брамы и ръшительно, безъ слъда, уничтожался въ немъ. Это была высшая точка верховнаго блаженства, какую только могло вообразить себъ индійское ученіе. Кажется, чего бы лучше: общество съ подобными началами не должно бы погибнуть, но должно бы постоянно расширять кругъ своихъ счастливыхъ членовъ... Но — таково несовершенство человъческой природы! — и индійское ученіе и устройство рушилось, и если теперь остается еще, то лишь въ жалкихъ подражаніяхъ и передълкахъ, далекихъ отъ совершенствъ первоначальнаго образца. Нѣчто подобное устрояли - было отцы іззуиты въ Парагвайской республикъ; но и тамъ успъхъ былъ далеко не полонъ. О другихъ слабыхъ попыткахъ достигнуть идеала, дъланныхъ учрежденіяхъ, преподавалась въ разныхъ учрежденіяхъ, преподавалась въ разныхъ учрежденіяхъ, преподавалась въ разныхъ учрежденіяхъ, преподавалась въ проникала даже въ домашнее въсщитаныхъ учрежденияхъ, преподавалась въ школахъ, проповъдывалась въ церквахъ монахами разныхъ орденовъ, проникала даже въ домашнее воспитаніе, захватывая, такимъ образомъ, человъка въ самые нѣжные, самые впечатлительные его годы: но—все не въ прокъ! Большинство принимало теорію, не имъло ничего сказать противъ нея; но не могло или не умъло успокоиться на ней. Какое - то исканіе не переставало тревожить людей, и вотъ какая - нибудь пустая случайность, ничтожное столкновеніе, — и все взволновано, и идеалъ непрерывной тишины взлетѣлъ прахомъ на воздухъ... Моралисты утверждали, что все это отъ растленности человеческаго рода и отъ помраченія ума его; другіе, напротивъ, кричали, что теорія будто бн идеальной организаціи, состоящая въ обезличеніи человека, противна естественнымъ требованіямъ человеческой природы, и потому должна быть отвергнута, какъ негодная, и уступить место другой, признающей всё права личности и принципъ безконечнаго развитія, безконечнаго шествія впередъ, то - есть, прогресса, въ противоположность застою.

Мы, то - есть, русскіе, и преимущественно дитераторы, обыкновенно держали себя въ сторонъ отъ всъхъ этихъ споровъ, происходившихъ на западъ Европы. Мы въ это время занимались своими вопросами: о торговль древнъйшей Руси, о талантъ г. Щербины, объ Іаковъ мнихъ, о зооморфическихъ божествахъ у славянъ; восхищались пъніемъ Маріо и письмами Ивана Александровича Черновнижникова, жалъли о почти единовременной кончинъ Жуковскаго, Гоголя и Загоскина, и удивлялись ковамъ англичанъ, готовившимся противъ насъ... Словомъ- мы, какъ и всегда, дълали свое дъло, и въ то, что насъ не касается, не изшались: "помаленечку, втихомолочку жили, никого не троган. - старались, чтобъ воды не замутить". Тъмъ не менъе, во время уже очень недавнее, когда кто-то крикнулъ: "прогрессъ!" да и спрятался, — и пошли съ твхъ поръ хвалить прогрессъ и бранить застой на чемъ свътъ стоитъ. Какъ и почему случилось это - объясните! Говорять, потому, что прогрессъ необходимъ человъку, что скоръе заръзать его можно, чъмъ заставить не желать прогресса... Не знаю, можеть, оно и такъ. Посмотримъ, не отвътять-ли намъ что-нибудь взятыя нами лица, воспроизведенныя художническою силою. Извъстно, что въдь художникъ всегда безиристрастенъ: къ спорамъ и теоріямъ онъ не прикасается, а наблюдаетъ только факты жизни да и рисуетъ ихъ, какъ умъетъ. — вовсе не думая, кому это послужить, для какой иден пригодится. И поэтому-то именно, заивчательный художникъ важенъ въ общественномъ смыслъ: въ жизни-то еще когда наберешь фактовъ, да и тъ будутъ блъдны, отрывочны, побужденія неясны, причины смъщаны; а тутъ, пожалуй, и одно или два явленія представлены, да за то такъ, что послв нихъ уже никакого сомнънія не можеть быть относительно целаго разряда подобныхъ явленій.

Нужно сказать, что некоторая доля художнической силы постоянно сказывается въ г. Достоевскомъ, а въ первомъ его произведени сказалась даже въ значительной степени. Отъ него не ускользнула правда жизни. и онъ чрезвычайно метко и яспо положилъ грань между оффиціальнымъ настроеніемъ, между внёшностью, форменностью человека, и темъ, что составляетъ его енутреннее существо, что скрывается въ тайникахъ его

натуры и лишь по временамъ, въ минуту особеннаго настроенти, мелькомъ проявляется на поверхности. Изъ наблюденій автора, переданныхъ намъ въ его разсказахъ, оказывается, что въдь ни одного человъка нътъ, кто бы въ самомъ дълъ, всемъ сердцемъ и душою возлюбилъ идеальную организацію, объщающую столько мира и довольства людамъ. Даже люди, наиболже ею пропитанные, и тъ безпрестанно проговариваются и уклоняются. Да вотъ хоть бы самъ Макаръ Алексвичъ: вы, можеть быть, думаете, что онъ въ самомъ двлв успокоился на томъ, что "всикому свое мъсто назначено, а мъста по способностимъ распредълены" и т. д.! Вовсе нътъ; это когда онъ резонируетъ въ спокойномъ положении, такъ и говорить такимъ образомъ. А чуть что-нибудь заденеть его за живое. — онъ совсемъ меняется, и лезуть ему въ голову сами собою "либеральныя мысли". Онъ тогда спрашиваетъ: "отчего же это такъ все случается, что вотъ хорошій-то человікь въ запустіньи находится, а къ другому кому счастье само напрашивается?.. Знаю, знаю, маточка (спашить онъ прибавить, обращаясь къ Варенькъ), — что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правув истинв, - зачемъ одному еще въ чрезв матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ Воспитательнаго дома на свътъ Божій выходитъ? И въдь бываетъ же такъ, что счастье-то часто Иванушкъ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачокъ, ройся въ мынкахъ дъдовскихъ, пей, эшь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братець. вотъ какой! Гришно, маточка (снова спишть оговориться боязливый Макаръ Алексвичь), оно грвшно этакъ думать, да тута помеволь какз-то гръсъ въ душу мъзетъ". Разчувствовавшись, Макаръ Алексвичъ уже не ограничивается и сомниніями, а даже до негодованія доходить и задіваеть людей почище себя: "что фракъ-то на непъ сидитъ гоголемъ, что въ лорнетку-то золотую онъ на васъ смотритъ, безстыдникъ. — такъ ужъ ему все съ рукъ сходитъ, такъ ужъ и рѣчь его непристойную снисходительно слушать надо! Полно, такъ-ли, голубчики?" Какъ хотите, а вѣдь это чуть не вызовъ со стороны бъднаго чиновничка: видно, не совствы же угомонилось его сердце, не совство успокоился онъ на томъ. что "если бы мы другъ-другу тону не задавали, то и свъть бы не стояль, и порядку бы не было". Нътъ, онъ издаетъ теперь вопли сердечные и сознаетъ за собою право вопить и жаловаться: "а еще люди богатые не любять. — заивчаеть онь, — чтобы бъдняви на худой жребій вслухь жаловались, дескать, они безпокоять, они-де назойливы. Да и всегда бъдность назойлива; спать, что-ли, мъшають иль стоны голодные?.. " И переполненное горечью сердце внушаеть ему такія мысли, вызываеть наружу такіе инстинкты, которыхъ онъ самъ испугался и отрекся бы въ обыкновен-

номъ положении, но которые теперь сами собою, неодолимо являются во всей своей силь. "Теперь на меня такая тоска нашла, — пишеть разо-горченный Дввушкинь, — что я самь мончь мыслямь до нубины души горченный Дввушкинъ, — что я самъ мои чъ мыслямъ до глубины души сталь сочувствовать, и хотя я самъ знаю, наточка, что этикъ сочувствіемъ не возьмешь, но все-таки нъкоторымъ образомъ справеоливость воздашь себъ. И подлинно, родная моя, часто самого себя, безъ всякой причины, упичтожаешь, въ грошъ не ставишь и ниже щенки какойнибудь сортируешь. А если сравненіемъ выразиться, такъ это, можеть быть, отъ того провсходить, что я самъ запуганъ и загнанъ, какъ хоть бы и тотъ бъдненькій мальчикъ, что милостыни у меня просилъ". Вотъ этакія-то мысли, западая въ человъка и развиваясь въ нечъ съ чрезвытайного бългатова и правиваясь въ нечъ съ чрезвытайного бългатова и правивансь въ нечъ съ чрезвътова и правивансь въ нечъ съ чрезвътова и правивансь в нечъ съ чрезвътова и правивансь въз нечъ съ чрезвътова и правивансь в правивансь в нечъ съ чрезвътова и правивансь в правивансь в нечъ съ чрезвътова и правивансь в правивансь чайною быстретою и силою, при помощи его природныхъ инстинктовъ, — и губятъ всеобщую тимину и спокойствие въ томъ идеальномъ общественномъ механизмъ, который такъ отрадно рисовался намъ выше. И нельзя сказать, чтобы авторъ здесь выдумываль, клеветаль на человеческую сказать, чтобы авторъ здъсь выдумываль, клеветаль на человъческую природу. Можно замътить, пожалуй, что Макаръ Алексъичъ, для своего образования и положения, является уже слишкомъ иъткимъ оцъщикомъ противоръчий оффиціальныхъ основъ жизни съ ея дъйствительными требованиями; но это потому, что, сочиняя въ теченіе полугода, чуть не каждый день, письма къ Варенькъ, Макаръ Алексъичъ изощрилъ свой слогъ; а съ другой стороны — почему же и автору немножко не придти къ нему на помощъ? Но помощь эта касается единственно словеснаго выраженія мыслей; сами же мысли чисто принадлежать Макару Алексвичу. — это скажетъ всякій, хоть недолгое время, хоть разъ бывавшій въ его положеніи. Макаръ Алексвичь формулироваль свои тяжкія сомнівнія въ письмахъ къ Варенькъ; другіе не формулирують ихъ иначе, какъ своимь номахъ къ даренькъ, другте не формулирують ихъ иначе, какъ своимъ по-веденіемъ, разными странными поступками и печальными ихъ результа-тами. Если вы, напримъръ, имъли бы терпъніе хоть перелистовать без-конечнаго г. Голядкина,—вы увидъли бы, что и онъ мучится и сходитъ съ ума совершенно по тъмъ же общимъ причинамъ,—вслъдствіе неудачнаго разлада бъдныхъ остатковъ его человъчности съ оффиціальными тре-бованіями его положенія. Голядкинъ не такъ бъденъ и задавленъ, какъ Дввушкинъ; онъ можетъ себв позволять даже некоторый комфортъ; даже въ своемъ кругу видитъ людей, которыхъ оффиціально имъетъ право считать ниже себя, такъ какъ онъ состоитъ помощникомъ столоначальника въ департаментъ. Вслъдствіе того, онъ пріобрълъ нъкоторое условное уваженіе въ себъ и какое-то смутное понятіе о "своемъ правъ". Но тутъ онъ и спутался. Случалось обстоятельство, пря которомъ нужно было выставить вовсе не это, чиновпое право, а совстмъ другое: ему понравилась дъвушка. Какъ искатель незавидный, онъ былъ отстраненъ, и вотъ тутъ-то

перевертываются вверхъ дномъ всв его понятія. Макаръ Алексьевичъ нашелъ возможность удовлетворить добротв своего сердца, быть полезнымъ
для любимаго существа, и потому въ немъ все больше и яснве развивается
гуманное сознаніе, понятіе объ истинномъ человьческомъ достоинствь.
Яковъ Петровичъ Голядкинъ, напротивъ, получалъ нескалько афронтовъ
отъ родныхъ своей возлюбленией и отъ своего соперника и потому, оскорбленный въ своемъ человеческомъ чувствв, но не умея хорошенько сознать этого, прямо хватается за свое чиновное право. "Это моя частная
жизнь, это не касается моихъ оффиціальныхъ отношеній", находится онь
сказать, когда ему отказываютъ отъ званаго обеда въ доме родителя его
возлюбленной. И затёмъ, его мысли совершенно разстраиваются; онъ уже
не знаетъ, что же онъ — въ праве или не въ праве... Онъ чувствуетъ
только одно, что тутъ что-то не такъ, не ладно. Хочетъ онъ объясниться
со всеми—врагами и недругами—все не удается, характера не хвагаета... со всвии—врагами и недругами—все не удается, характера не хвагаетт... И приходить онъ къ idée fixe, къ пункту своего помъщательства: что жить въ свътъ можно только интригами, что хорошо на свътъ только тому, кто въ свътъ можно только интригами, что хорошо на свътъ только тому, кто хитритъ, подличаетъ, другихъ обижаетъ... И вотъ у него является въ умъ ръшимость—тоже хитрить, тоже подконы вести, интриговать... Но гдъ ужъ ему пускаться на такія штуки? Не такъ онъ жилъ прежде, не такъ приготовленъ, характеръ у него не такой... "Натура - то твоя такова: душа ты правдивая, —разсуждаетъ онъ самъ съ собою. — Нътъ, ужъ лучше мы съ тобой потерпимъ. Яковъ Петровичъ, —подождемъ и потерпимъ". И къ этому прибавляется еще у него мысль, тоже обличающая его характеръ, — мысль, что все еще "ножеть объясниться и устроиться къ лучшему". Оттого-то онъ никакъ не можетъ ни на что решиться, дажевисказаться порядкомъ не можетъ, и, несмотря на "присугствие страшной энерги въ себъ", въчно мнется, труситъ и ворочается съ половины дороги. Все, что въ немъ было живого, здраваго и сознательнаго, какъ-то не выливалось въ обычную форму, въ которой онъ дозелъ сидълъ такъ хорошо, и. едва поднявшись, осъдало опять на дно его души, но осъдало какъ - то безпорядочно, болъзненно, совершенно не подъ-стагь къ стройности чиновнаго механизма, въ которомъ онъ былъ вставленъ. Характеризуя его противоръчія, авторъ, между прочимъ, говорить: "позволить обидъть себя онъ никакъ не могъ согласиться, а тъмъ болъе - дозволить затереть себя, какъ ветошку, и, наконецъ, дозволить это совсемъ развращенному человъку... Не споримъ, впрочемъ, не споримъ: можетъ быть. еслибъ кто захотълъ, еслибъ ужъкому, напримъръ, вотъ такъ непремънно захотълось обратить въ ветошку господина Голядкина, то и обратилъ бы, обратиль бы безъ сопротивленія и безнаказанно (господинь Голядкинь самь въ иной разъ это чувствоваль), и вышла бы ветошка, а не Голядкинъ, — такъ, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка то эта была бы не простая, ветошка эта была бы съ амбиціей, была бы съ одушевленість и чувствати. хотя бы и съ безотвътной амбиціей и съ безотвътными чувствани и далеко въ грязных склядках этой ветошки скрытыми, но все-таки съ чувствами". Мнъ кажется, трудно лучше характеризовать положение забитых людей, подобных Голядкину, людей, дъйствительно какъ будто превращенных въ тряницу и только въ грязныхъ складкахъ хранящихъ остатки чего то человъческаго, неслыштрязных складках хранящих остатки чего то человъческаго, неслышнаго, безотвътнаго, но все какъ-то по временамъ дающаго себя чувствовать. Вотъ опо дало себя чувствовать и г. Голядкину, и всею тяжестью обрушились тяжкія сомивнія и вопросы на бъдный разсудокъ и фантазію Якова Петровича. "Такъ это не такъ? Тутъ не каждый въ своемъ правъ? Тутъ берутъ интригамя? Давай же, когда такъ, и я буду интриговать... Да гдъ мив интриговать? Натура у меня глупая—правдивая,—никогда окольными путями... Но другіе же вст окольными путями ходять, иначо человъка затрутъ, а я затереть себя не могу позволить... А что, въ самомъ дълъ, еслибъ я"... И господинъ Голядкинъ, вообще наклонный къ мелапхоліи и мечтами, возбуждать себя къ несвойственной его характеру дълтельности. Онъ раздвояется, самого себя онъ видитъ вдвойнъ... Онъ группируетъ все подленькое и житейски ловкое, все галенькое и усифигруппируетъ все подленькое и житейски ловкое, все гаденькое и усившное, что ему приходитъ въ фантазію; но, отчасти практическая робость, отчасти остатокъ гдв-то въ далекихъ складкахъ скрытаго правственнаго чувства препятствують сму принять всѣ придуманныя имъ пронырства и гадости на себя, и его фантазія создаеть ему "двойника". Воть основа его помъшательства. Не знаю, върно-ли я понимаю основную идею "Двойника"; никто, сколько я знаю, въ разъяснении ея не хотълъ забираться далъе того, что "герой романа — сумасшедшій". Но мнъ кажется, что если ужъ для каждаго сумасшествія должна быть своя причина, а для сумасшествія, разсказаннаго талантливымъ писателемъ на 170 страницахътвиъ болве, то всего естественные предлагаемое мною объяснение, которое само собою сложилось у меня въ головъ при перелистываныи этой повъсти (всю ее силошь я, признаюсь, одольть не могь). Авторъ, кажется, самъ не чуждъ быль такого объясненія: такъ, по крайней мѣрѣ, представляется по нѣкоторымъ иѣстамъ повѣсти. Напр., первое признаніе г. Голядкинымъ своего двойника описывается авторомъ такъ: это былъ "не тотъ г. Голядкинъ, который служилъ въ качествъ помощника своего столоначальника; не тоть, который любиль стушеваться и зарытьсявь толпь, не тоть, наконець, чья походка яс чо выговариваеть: "не троньте меня, и я вась трогать не буду". или: "не троньте меня,—выдь я вась не

затрогиваю"; — нать, эт. быль другой г. Голядкань, совершению бругой, но вивств съ твиъ и совершению положій на перваю". И далье безпрестанно г. Голидкинь - младшій ведеті себя съ такою ловкостью и безстыдствомъ, какія только въ мечтахъ и во можны: онъ ко встиь подбивается, передъ всти семенить. бъгаеть съ портфелемь его превосходительства, изъ чего г. Голядкинь-старшій заключаеть, что онъ уже "по особому"... Г. Голядкинь-младшій всегда умбеть остаться правымъ, ускользнуть отъ объясненій, отвернуться и полольститься, когда нужно; онъ особому "... Г. Голядкин - младшій всегда умбеть остаться правымъ, ускользнуть отъ объясненій, отвервуться и полольститься, когда нужно, онъ снособень даже заставить другого заплатить за събление имъ растегай; и при всемь томъ онъ со всвян хорошъ, онь смъю разсуждаеть томъ, глъ Голядкинъ-старшій умильно теристея, онъ сидить въ гостиной тамъ, куда Голядкинъ-старшій и въ передною показать носъ бейтся... Нечего и говорить, что г. Голя кинъ все это самого же себя рисусть въ видъ дюйника скоеге. Выдумнвая его небавалые, фантастическіе подваги, озъ имъсть, что вотъ поступай онъ только такимъ образенъ (какъ голомоторые люди и поступай онъ только такимъ образенъ (какъ голомоторые люди и поступають) — и по службъ онъ успъвать бы, и насмъщъкамъ товарищей не подвергался, и не быль бы затерть камиъ - не биль бы такъ безболно обиженъ драгоцънною Клагою Олсуфьевною и ся родними. Но, вмъсто того, чтобы любоваться на подобные подвиги, г. Голядкинъ возмущается противъ инхъ всею долею того забитаго, загнаннаго сознанія, какая ему осталась послъ ровнаго и тихаго гнета жизни, столько лътъ пепрерывно поконвшагося на немъ. Ему противны даже въ мечтахъ тъ поступки, тъ средства, которыми выбиваются "пъкоторые люди"; онъ съ по толинымъ страхомъ отбрасываетъ свои же мечты на другое лицо и веячески позоритъ и ненавидитъ его. Въ минуты же просвътлънія, когда онъ онять начинаетъ яснъе сознавать свою собственную личвость, онъ всионинаетъ о своихъ поползновеніяхъ на хитрость, ему мерещится строгій голось старичка Антона Антоныча: "а что, и вы тоже собирадись хитрить?" — и онъ блѣднѣетъ, тернется, — и снова представляется ему образь его дойника, который бы изъ всего этого вывернулся, посеменивъ ножками, и еще сильнѣе ростетъ раздраженіе г. Голядкина противъ такой подля, зловредной личности... Порою къ нему номъ дакленная его карествамъ мысли, что, оместь бить, все устроится къ нучшему, — п воть ему раздражноствамъ мысли, что, можеть быть, все устроится къ лучшему,—и вотъ ему разъ представляется даже, будто Клара Олсуфьевна, плъненная его качествами, присылаеть ему письмо, въ которомъ приказываеть увезти ее отъ злостныхъ и неблагонамъренныхъ интригантовъ. И г. Голядкинъ точно отправляется подъ окна Клары Олсуфьевны — ждать ее, а отсюда уже отвозять его въ сумасшедшій домъ...

Ну, посудите же--зачъмъ было сходить съ ума человъку? Оставайся

бы онъ только вёренъ безмятежной теоріи, что онъ въ своемъ правѣ. и всѣ въ своемъ правъ, что если новый коллежскій раньше его произведенъ. такъ этому такъ и следуетъ быть, и что если Клара Олсуфьевна его отвергла, такъ опять это значить, что ему къ ней и соваться не слъдовало. словомъ, продолжай онъ идти своей дорогой, никого не затрагивая, и помня, что все на свътъ законнъйшимъ образомъ распредъляется по способностямъ, а способлести самою натурою даны, и т. д. - воть и продолжаль бы человъкъ жить въ прежнемъ довольствъ и спокойствии. Такъ въдь нъть же: встало что - то со дна души и выразилось мрачивишимъ протестомъ, въ какому только способень быль ненаходчивый г. Голядкинь, - сумасшествіемъ... Не скажу, чтобъ г. Достоевскій особенно искусно развиль идею этого сумас нествія, но надо признаться, что тема его — раздвоеніе слабаго, безхарактернаго и необразованнаго человъка между робкою прямотою дъйствій и платоническимъ стремленіемъ къ ингригь, раздвоеніе, подъ тяжестью котораго сокрушается, наконець, разсудокъ бъдняка. — тема эта. для хорошаго выполненія, требуеть таланта очень сильнаго. При хорошей обработкъ, изъ г. Голядкина могло бы выйти не исключительное, странное существо, а типъ, многія черты котораго нашлись бы во многихъ изъ насъ. Приночните ваши встрвчи съ чиновнымъ людомъ; приномните тъхъ, которые называють себя людьми неискательными, спокойными, любящими по правдъ жить. Вспоманте, какъ они любять говорить о своей неискательности, и какъ иногда. вдругъ, круго изувниется направление разговора. при упоминании о комъ-нибудь изъ ихъ сослуживцевъ, начальниковъ или знакомыхъ, усивнающемъ больше другихъ. Туть сейчасъ пойдеть: и "хорошо тому жить. у кого бабушка ворожить . и "правдой выкъ не проживешь", и жалобы на собственную неспособность къ подлостямъ, и проняческое, какъ будто уничижительное перечисление собственныхъ заслугъ: "что, дескать, мы — что по шести-то часовъ спины не разгибаемь, да дъда-то вев нами держатея - эка важность... А воть -- пойти къ его превосходительству на баль, да польку тамъ отхватать, да но утрамъ вивсто двла-то но магазинамъ разъбзжать — его супруги коммиссіи испол-нять — вотъ это двло, вотъ съ этимъ и въ честь попадешь... А мы — что? Клячи водовозныя, волы подъяремные — только въ черную работу и годимся"... и т. д. А затъмъ разговоръ непречънно принамаетъ такой обороть: что ведь "и им, дескать, могли бы подличать, и мы могли бы финтить"... и въ доказательство разскажутъ вамъ нъсколько случаевъ, гдъ точно человъку удобяо было сподличать, а онъ не захотълъ... В всёхъ подобныхъ господахъ ръшительно сидитъ тенденція г. Голидкина къ сумасшедшену дому; дайте имъ только побольше мечтательности и меданхоліии переходъ будетъ недалекъ...

Господнить Голядкий, вирочей, человых ужь соисьмы сумасшедпій; оставимь его. А воть еще есть лицо у г. Достоевскаго, тоже сумасшецшій, но скоръе только мономайь — г. Прохарчинь. Человых этоть
тоже сообразиль, должно быть, еще при началь соогослужебнаго поприща, что , одному на семь свыть назначено из каретахь Бадить, другому
въ худыхъ сапогахъ по грязи шленать", и, причислявь себя къ послъднему разраду, напиль себе уголь и живеть, не думая пытать судьбы своей. Но прочнаго спокойствія ныть у него на душе; характерь у пего боязливый, какъ у всіхъ забитыхъ, в хотя онт вперло выруеть въ нерушимость споей философіи, по на свыть видить и случайности разнаго рода:
бользни, пожары, внезапиня увольненія отъ служби по желапію начальства... Бъдняка начинаеть преследовать мысль о непрочности, о необезнеченности его положенія. Мысль, конечно, очень егтественная. Натуралень и результать ея—рышеніе откладывать и копить деньги, на всякій
случай. Но исполненіе уже дико, хотя тоже понятно въ г. Прохарчины:
оть причеть звоньую монету себя въ тюфякъ... Да и куда же ему дъвать,
въ сачоть дыль? Въ сундукъ положить — утащать; поручить кому-нибудь—никому довърнться нельзя; въ ломбардь положить — помилуйте,
это значить прамо объявить себя богачемь. Крезонь какимъ-то., у него
деньги въ ломбардь лежать" — значь содже обитателей угловъ!. Вотът. Прохарчинь и прачеть деньги въ тюфякъ, и 10 лють прачеть и 15,
в 20, можеть быть и больше, и даже самъ, кажется, высчитать корошенько
не межеть, сколько у него тамъ спрятано; а потревожить тюфякъ — боитея
любопытныхъ глазъ... Живеть онъ довольно спокойно, т.-е. передъ кеякить сторонится, всего робъеть и радъ, что сего не трогають. Вдругь вивстъ сты нимъ поселяются новые жильцы — хорошіе люди, но "надемышники". Замътивь боязаньвость Прохарчинь: ходить самь не свой, лица
неть нужт, такъ и ждеть, что его выгонить: ходить самь не свой, лица
неть нужт. За истъ? Запасецъ хоть и сдълань, да выдь уже его теперь
же съ нимъ будеть? Запасецъ хоть и сдълань, да выдь уже его тепер совстить соился съ толку обдивжка прохарчинъ: ходитъ самъ не свой, лица на немъ нѣтъ, такъ и ждетъ, что его выгонятъ изъ службы, и тогда что же съ нимъ будетъ? Запасецъ хоть и сдѣланъ, да вѣдь уже его теперь истощать придется, а пополнять неоткуда... Волненіе Прохарчина выразилось, какъ водится, между прочимъ, тѣмъ, что онъ, встрѣтясь съ какимъто закоснѣлымъ пьяччужкой, хватилъ черезъ край и привезенъ домой въ безчувствіи и больн й. Едва очнувнись, снъ началъ бредить и тосковать о томъ, что вотъ живешь живешь, да и съ сумочкой; нынче нуженъ, завтра

нужент, а потомъ и не нуженъ, и ступай по-міру... Его начинаютъ убъ-ждать, что ему бояться нечего: человѣкъ онъ хорошій, смирный и пр... Онъ отвѣчаетъ: "да вотъ онъ вольный, я вольный; а какъ лежишь, ле-жишь, да и того"...—Чего?—"Анъ и вольнодумецъ"... Всѣ приходятъ въ ужасъ и негодованіе при одной мысли, что Прохарчинъ можетъ быть вольнодумцемъ; но онъ возражаетъ: "стой, я не того... ты нойми только, вольнодумцемъ; но онъ возражаетъ: "стой, я не того... ты нойми только, баранъ ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потомъ и не смирный, сгрубилъ; пряжку тебъ, и пошелъ вольнодумецъ!... "Словомъ сказать, господинъ Прохарчинъ слълался истиннымъ вольнодумцемъ: не только въ прочность мъста, но даже въ прочность собственнаго смиренія пересталъ върить. Точно будто вызвать на бой кого - то хочетъ: "да что, дескать, въчно, что-ли, я пресмыкаться-то буду! Въдь я и сгрублю, пожалуй, — я и сгрубить могу... Только, что тогда будетъ!.. "Но разгулился этакъ господинъ Прохарчинъ передъ смертью: въ ту же ночь, не осиливъ волненія, онъ умеръ, возбудивъ общее сожальніе въ жильцахъ. А по смерти его нашли въ тюфякъ, въ разныхъ сверточкахъ, серебряной монеты на 2.497 рублей съ полтиною ассигнаціями, отчего жильцы, в въ особенности хозяйка, пришли уже въ неголованіе. сти хозяйка, пришли уже въ негодованіе...

Господивъ Прохарчинъ, какъ забитый, запуганный человѣкъ, ясенъ; о немъ и распространяться нечего. О его внезапной тоскъ и страхъ отставки тоже нечего много разсуждать. Привести развъ мнъніе его сожителей, во время его болъзни: "Всъ охали и ахали; всъмъ было и жалко и горько, и всё межъ темъ дивились, что вотъ какъ же это такимъ обра-зомъ могъ совсемъ заробеть человекъ? И изъ чего жъ заробелъ? Добро бы былъ при мёстё большомъ, женой обладалъ, детей поразвелъ: добро бъ его тамъ подъ судъ какой ни-на-есть притянули; а то ведь и человекъ совсёмъ дрянь, съ однимъ сундукомъ и съ немецкимъ замкомъ; лежалъ слишкомъ двадцать лёть за ширмами, молчалъ, свету и горя не зналъ, скопидомничаль, и вдругь вздумалось теперь человъку, съ пошлаго, съ празднаго слова какого-нибудь, совстмъ перевернуть себъ голову, совстмъ забояться о томъ, что на свъть вдругъ стало жить тяжело... А и не разсудиль человькь, что встя тяжело!.. Прими онь воть только это въ разсчеть, —говориль потомь Океаніввь, — что всть встя тяжело, такъ сберегъ бы человъкъ свою голову, пересталъ бы куралесить и по-тянулъ бы свое кое-какъ, куда слъдуетъ". И въдь правъ Океаніевъ: дъйствительно, Прохарчинъ оттого и по-

гибъ, что съ пути здравой философіи сбился.

Но кто же не сбивался съ нея? У кого не бывало случаевъ, порывовъ, увлеченій, внезанно нарушавшихъ ровный ходъ мирно устроеннаго механизма жизни? Вотъ еще, пожалуй, примъръ, изъ г. Достоевскаго: юный

чиновникъ, Вася Шумковъ, изъ низкаго состоянія трудолюбіемъ и благонравіемъ вышелъ, за почеркъ и кротость любимъ начальствомъ и самимъ его превосходительствомъ, Юліаномъ Мастаковичемъ; получаетъ отъ него приватныя бумаги для переписки, да еще за эту честь и деньгами отъ него награждается время отъ времени. Къ этому еще опъ имъетъ преданнаго друга Аркашу: мало того, онъ полюбилъ, заслужилъ взаимность и уже женихомъ объявленъ... Чего ему еще! Онъ переполненъ счастіемъ; жизнь ему улыбается. Триста рублей жалованья, да приватныхъ отъ Юліана Мастаковича — житье съ женою коть куда! Они же такъ любять другь друга! Вася ничего не помнить, ни о чемь не думаеть, кром'в своей невъсты; у него есть бумаги, данныя для переписки Юліаномъ Мастаковичемъ; сроку остается два дня, но Вася, съ свойственнымъ влюбленному юношь легкомысліемь, говорить: "еще усивю", и не выдерживаеть, чтобь въ вечеръ подъ повый годъ не отправиться съ пріятелемъ къ нев'яств... Но, возвратившись домой и заствии на целую ночь писать, онъ поражается суровой дъйствительностью: всъхъ бучасъ никакъ не перепишешь къ сроку. — а завтра къ тому же новый годъ, надо еще идти — росписаться у его превосходительства. Напрасно Аркаша его удерживаетъ, объщая за него росписаться, - Вася бонтся, что Юліанъ Мастаковичъ могуть обидъться. Напрасно также добрый другь уговаряваеть его не сокрушаться. напоминая о великодушін Юліана Мастаковича: это еще болье убиваеть Васю. Какъ! онъ, ничтожный червякъ, презрънное, жалкое существо, удостоенъ такого высоваго вниманія, получаеть частныя порученія, слышитъ милостивыя слова... и вдругъ — что жев — нерадвије, неислодни тельность, неблагодарность! Всю чудовищиесть, всю черноту своего поступка Вася и измерить не можеть, ибо соразмеряеть се съ разстоянимь, раздъляющимъ его отъ Юліана Мастаковича, — а вто же можеть измърить это разстояніе ?! У бъдняка голова кружится при одномъ взглядь на эту страшную пропасть... Онь было думаеть идти къ Юліану Мастаковичу и принести повинную; но какъ ръшиться на подобную дерзость? Другъ его хочеть объясниться за своего друга, даже отправляется къ его превосходительству, но заговорить тоже не рышается. Быдный Вася сидить за письмомъ два дня и двв ночи, у него мутител въ головъ, онъ уже ничего не видить и водить сухимъ перомъ по бумагь. Наконецъ, любовь, ничтожество, гиввъ Юліана Мастаковича, недавнее счастье, черная неблагодарность, страхъ за свое поливищее безсиліе—сламывають несчастваго, онъ убъждается, что ему теперь одна дорога—въ солдаты, и ившается на этой мысли. А Юліанъ Мастаковичь благодушно замътиль: "Боже, какъ жаль! И дёло - то, порученное ему, было неважное, и вовсе неспъшное... Такъ-таки, ни изъ-за чего погибъ человъкъ! "

Положинъ, что г. Достоевскій слишкомъ ужъ любить сводить съ ума положимъ, что г. достоевские слишкомъ ужъ люонтъ сводить съ ума своихъ героевъ; ноложимъ, что у Васи его ужъ до-нельзя слабое сероще (такъ и повъсть называется). Но, всмотритесь въ основу этой повъсти. — вы придете къ тому же результату: что идеальная теорія общественнаго механизма, съ упокоеніемъ всъхъ людей на своемъ мъстъ и на своемъ лълъ, вовсе не обезпечиваетъ всеобщаго благоденствія. Оно точно, будь на мъстъ Васи писальная машинка, —было бы превосходно. Но въ томъ-то и дъло, что никакъ человъка не усовершенствуещь до такой степени, чтобъ онъ ужъ совершенио машиною сдълался; въ большой массъ еще такъ — это мы видимъ въ военныхъ эволюціяхъ, на фабрикахъ и пр., но пошло дѣло по одиночкъ— не сладишь. Есть такіе инстинкты, которые никакой формъ. никакому гнету не поддаются и вызываютъ человъка на вещи совстять никакому гнету не поддаются и вызывають человька на вещи совствъ несообразныя, чрезъ что, при обычномъ порядкъ вещей, и составляють его несчастие. Вотъ хотя бы для этого Васи: — если ужъ пробудилось въ немъ чувство, если ужъ онъ не можеть отстранить отъ себя человъческихъ потребностей, то ужъ гораздо лучше было бы для него вовсе и не имъть этого похвальнаго сознания о своемъ ничтожествъ, о своемъ безирелъльнъйшемъ, жалкомъ недостоинствъ предъ Юліаномъ Мастаковичемъ. Смотря на дъло обыкновеннымъ образомъ, онъ сказалъ бы просто: "ну, что же дълать, — не успълъ; обстоятельства такія вышли", — и остался бы довольно спокоенъ. А много-ли найдемъ мы людей въ положеніи Васи, которые бы способны были къ такой храбрости! Большая часть, проникнутая сознаніемъ своего безсилія и величіемъ начальнической милости. — съ трепетомъ возится за его порученіемъ, и хоть не сходитъ съ ума, но сколько вы терживаетъ опасеній, сомпьній, сколько тяжелыхъ часовъ переживаетъ. выдерживаетъ опасеній, сомивній, сколько тяжелыхъ часовъ переживаеть, ежели что нибудь не сдівлается, или сдівлается не совствиъ такъ, какъ поручено... И все это відь не изъ - за дівла (до котораго Васів и всякому

ручено... И все это въдь не изъ - за дъла (до котораго Васъ и всякому другому подобному ни малъйшей нужды нътъ), а именно изъ-за того, какъ взглянутъ, что скажутъ. — изъ-за того, что отъ этого взгляда жизнь Васи зависитъ, въ этомъ словъ вся его участь можетъ заключаться

Говорятъ, отрадно человъку имъть за собою кого нибудь, кто о вемъ заботится, за него думаетъ и ръщаетъ, вся его жизнь, в в его поступки и даже мысли усграиваетъ. Говорятъ, это такъ согласно съ естественаой инерціей человъка, съ его потребностью отдаваться кому - нибудь безз чвътно, поставить для души какой-нибудь образецъ и владыку, въ волъ котораго можно бы почивать спокойно. Все это очень можетъ быть справедливо, въ извъстной степени, и можетъ оправдываться даже исторіею. Но едва-ли это мнъпе можетъ найти себъ оправданіе въ тенденціяхъ современныхъ обществъ. Оттого - ли, что общества новыхъ временъ вышли изъ состоянія младенчества, въ которомъ естественное чувство безсилія

необходимо заставляетъ искать чужого покровительства; оттого - ли, что прежије, извъстные намъ изъ исторіи покровители и опекуны обществъ часто такъ плохо оправдывали надежды людей, довърявшихъ имъ свою участь. — но только теперь общественныя тепленціи повсюлу приничають болъе мужественный, самостоятельный характеръ. Высокія добродътели слиной, безумной преданности, безусловнаго довирія къ авторитетамъ, безотчетной върш въ чужое слово — становятся все ръже и ръже; мертвенное подчинение всего своего существа извъстной формальной програмиъ — и въ орденъ іезунтовъ осталось уже една - ли не на бумагъ только. "Есте-ственная человъку инерція" признается уже какимъ-то отрицательнымъ качествомъ, въ родъ способности воды замерзать; напротивъ на первомъ планв стоить тенерь иницианива, т.-е. способность человъка самостоятельно, самому по себъ, браться за дъло. — и о достоинствахъ человъка судять уже по степени присутствія въ немъ иниціативы и по ея направленію. Все какъ-то стремится стать на свои ноги, и жить по милости другихъ считаетъ недостойнымъ себя. Такое измѣненіе тенденцій произошло въ обществахъ новыхъ народовъ Европы съ конца прошлаго столътія. Можемъ сказать, что изминение это не миновало отчасти и насъ. Не касаясь другихъ сферъ, недоступныхъ въ настоящее время нашему описанию, возьмемъ хотя литературу. То-ли она представляетъ теперь, что за полвъка назадъ? Съ одной стороны, литература въ своемъ кругу—лицо самостоя-тельное, не ищущее милостивцевъ и не нуждающееся въ нихъ: только иногда, очень рёдко, какой-нибудь стихотворецъ пришлетъ изъ далекой провинціи журнальному сотруднику водянистые стишки, съ просьбой о протекции для пом'вщенія ихъ въ такомъ-то журналь. Да эти чудаки большею частью оказываются людьми стараго в ку, на склон в летъ взыгравшими поэтическимъ вдохновеніемъ. Съ другой стороны, посмотрите и на отношение публики къ литературъ: недоступныхъ пьедесталовъ ужъ нътъ, непогръшимые авторитеты не признаются, митие, что дужъ, конечно, верхъ совершенства, если написано такимъ-то", вы едва-ли часто услышите; а отзывъ, что "это прекрасно потому, что такимъ-то одобрено", въроятно еще ръже. Всякій, худо-ли, хорошо-ли, старается судить самъ, пускать въ ходъ собственный разумъ, и теперь самый обывновенный читатель не затруднится отозваться, вовсе не съ чужого голоса,—что, на-примъръ, "Свои собаки" Островскаго — безцвътны и не новы, "Первая дюбовь" Тургенева — пошлость, "Полемическія красоты" Чернышевскаго — нахальны до неприличія, и т. п. Другіе читатели выскажуть опять, можетъ быть, мнѣнія совершенно противоположныя, и, расхваливъ "Первую любовь", назовутъ гнилью "Обломова"... Тѣ и другіе могутъ ошибаться; но все же это люди, говорящіе свое мнівніе и не боящіеся того, что

высказывають его о лицахь уважаемыхь, даровитыхь, высоко поставленныхь и признанныхь въ литературф. Мы не станемь говорить, что способствовало такому измъненію въ читающей публикь, и даже согласимся, пожалуй, что на первый разь это всеобщее разнузданіе литературныхъ сужденій произвело страшный сумбурь: всякій пореть дичь, какая только ему придеть въ голову. Но въдь какъ же иначе и дълаются всё человъческія дъла? Въдь только Минерва вышла изъ головы Юпитера во всеоружіи, а наши земныя дъла всё начинаются понемножку, съ ошибками и недостатками. Да чего вамъ лучше—сами-то гражданскія общества съ чего начались, какъ не со столпотворенія вавилонскаго?

Слъдовало бы ожидать, что, при всеобщемъ стремленія къ поддержанію своего человъческаго достоинства, исчезнуть и тъ забитыя личности, которыхъ нъсколько экземиляровъ взяли мы у г. Постоевскаго, Олнакожъ,

нію своего человъческаго достоинства, исчезнуть и тъ забитыя личности, которыхъ нъсколько экземиляровъ взяли мы у г. Достоевскаго. Однакожъ, оглянитесь вокругъ себя—вы видите, что онъ не исчезли, что герои г. Достоевскаго — явленіе вовсе не отжившее. Отчего же они такъ крѣинтся Хорошо, что-ли, имъ? Нътъ, мы видъли, что никому изъ нихъ не приноситъ особеннаго счастья его забитость. безотвътность и отреченіе отъ собственной воли, отъ собственной личности. Замерло, что-ли, въ нихъ все человъческое? Нътъ, и не замерло. Мы нарочно прослъдили четыре лица, болъе или менъе удачно изображенныхъ авторомъ, и нашли, что живы эти люди, и жива душа ихъ. Они тупъютъ, забываются въ полуживотномъ снъ, обезличиваются, стираются, теряютъ, повидимому, и мысль и волю, и еще нарочно объ этомъ стараются, отгоняя отъ себя всякія навожденія мысли и увъряя себя, что это не ихъ дъло... Но искра Божья все-таки тлъется въ нихъ, и никакими средствами, пока живъ человъкъ, невозможно потушить ее. Можно стереть человъка, обратить въ грязную ветошку, но всетаки гдъ-нибудь, въ самыхъ грязныхъ складкахъ этой ветошки, сохранится и чувство, и мысль. — хоть и безотвътныя, незамътныя, но все чувство и мысль... чувство и мысль...

"А что же въ нихъ, если они незамътны и безотвътны, — скажетъ читатель. — Все равно, значитъ, что ихъ и нътъ. И вотъ поэтому-то, въ-

читатель. — Все равно, значить, что ихъ и нъть. И воть поэтому-то, въроятно, и продолжають до сихъ поръ существовать эти несчастныя созданія, забитыя до степени грязной ветошки, о которую обтирають ноги ". Мало-ли что незамѣтно, читатель. — незамѣтно потому, что не хотять замѣчать. Незамѣтно до поры до времени, но бываеть такая пора, что все выходить наружу. Вѣдь воть г. Достоевскій нашель же возможность подсмотрѣть живую душу въ отупѣвшихъ, одеревенѣлыхъ чертахъ своихъ героевъ. А бывають такіе случаи, что "безотвѣтное" чувство, глубоко запрятанное въ человѣкъ, вдругъ громко отзовется, и всѣ услышать его. Дѣло въ томъ, что въ человѣкъ ничѣмъ не заглушимо чувство справедли-

вости и правомърности; онъ можетъ смотрътъ безмольно на всякія пеправды, можетъ терпътъ всякія обиды безъ ропота, не выразить ни однямъ знакомъ своего негодованія; но все-таки онъ не можетъ быть нечувствителень къ неправдъ. насколько ее видитъ и понимаетъ, все - таки въ душѣ его больно отзывается обида и униженіе, и терпъпію даже самаго убитаго и трусливаго человъка всегда есть предълъ. Вмъстъ съ тъмъ, въ человъкъ необходимо есть чувство любви; всякій имъетъ кого-пвбудь, дорогого для себя, —друга, жену, дътей, родныхъ, любовницу. На вихъ примъриваетъ онъ свое положеніе, ихъ сравниваетъ съ другими, объ ихъ довольствъ думаетъ, и со стороны ему разсуждается вольнъе и ястъе. Себя, ноложимъ, Макаръ Алексвевичъ обрекъ на горькую долю и о себъ не жальетъ: я ужъ, гозоритъ, таковскій, — пусть мною всъ помыкаютъ... и не доъмъ-то я—не бъда, и обидятъ то меня — такъ не великъ баринъ. Но вотъ его чувство обращается на чистое, пъжное существо, котор е дълается ему всего дороже въ жазни, на Вареньку: онъ уже придается въ кареты и видитъ, что тамъ барыни сидятъ все гораздо хуже Вареньки; ему уже приходятъ въ голову мысли о несправедливости судьбы, ему становится какъ-то враждебнымъ весь этотъ людъ, разъъзжающій въ каретахъ и перенархивающій изъ одного великольпяаго магазина въ другой, словомъ, скрытая боль, накишъвшая въ груди, подымается наружу и даетъ себя чувствовать. И бываетъ это вовсе не такъ рѣдко, какъ можно предсловомъ, скрытая боль, накинъвшая въ груди, подымается наружу и даетъ себя чувствовать. И бываетъ это вовсе не такъ ръдко, какъ можно предполагать, не зная дъла; бываетъ это тъмъ чаще, что въ большинствъ 
случаевъ человъкъ загнанный и забитый бываетъ крайне стъсневъ и въ 
матеріальномъ отношенін, а между тъмъ принуж тенъ бываетъ выполнять 
разныя общественныя условія. Макаръ Алексвичъ сокрушается, что скажутъ его превосходительство, увидъвъ его плачевный вицъ мундиръ, говоритъ, что пьетъ чай собственно для другихъ, до глубины души возмущается насмѣшкою денартаментскаго сторожа, не давшаго ему щетки почистить шинель, подъ тъмъ предлогомъ, что объ его шинель казенную щетку можно испортить... Въ самомъ дълъ, каково положение: поставленъ человъкъ въ кругу другихъ, долженъ вести съ ними дъло, быть одътымъ. человъкъ въ кругу другихъ, долженъ вести съ ними дъло, быть одътимъ, какъ они, нить и ъсть, какъ они, и въ то же время онъ лишенъ всякой возможности даже хоть подражаніе сносное устроить. Ужъ не говоря объ отличныхъ сапогахъ, — хоть бы какіе-нибудь сапоги, — такъ и тъхъ нътъ: были одни, да и у тъхъ подошвы отстали... Понятны трагическія восклицанія Макара Алексъича: "пожалуй, и самъ я скажу, что не нужно его, малодушія-то; да при всемъ этомъ рышите сами, въ какихъ сапогахъ я завтра на службу нойду! Воть оно что, маточка; а въдь подобная мысль погубить человъка можетъ, совершенно погубить". И мало-ли людей,

страдающихъ и изнывающихъ въ подобныхъ заботахъ? А еще если есть любимое существо, если есть семейство? Сколько горя, сколько тоски самой прозаической, но оттого не меньше тягостной и ужасной! Средь этихъ-то прозаической, но оттого не меньше тигостной и ужасной! Средь этихъ-то заботъ чувствуетъ человъкъ, до чего онъ уничиженъ, до чего онъ обиженъ жизнью; тутъ-то носылаетъ онъ желчиме укоры тому, на чемъ повидимому, такъ сладостно нокоится въ другое время, по изложенной выше философіи Макара Алексъича. И въ этомъ то пробужденіи человъческаго сознаніи онъ всего болъе заслуживаетъ наше сочувствіе, и возможностью подобныхъ сознательныхъ движеній онъ искупаетъ ту противную, апатичную робость и безотвътность, съ которою всю жизнь подставдиетъ себя чужому произволу и всякой обидъ.

Но отчего же подобныя всимшки "Божьей искры" такъ слабы, такъ бъдны результатами? Отчего пробужденное на мигъ сознаніе засынаетъ спова такъ скоро? Отчего человъческіе инстинкты и чувства такъ мадо проявляются въ практической лъятельности, сграничиваясь больше везпо-

проявляются въ практической дъятельности, сграничиваясь больше вздо-хами да пустыми мечтами?

хами да пустыми мечтами?

Да оттого и есть, что у людей, о которыхъ мы говоримъ, ужъ характеръ такой. Въдь будь у нихъ другой характеръ, — не могли бы они и быть довелены до такой степени унижевія, пошлости и ничтожества. Вопросъ, значитъ, о томъ, отчего образуются въ значительной массъ та іе характеры, какія общія условія развиваютъ въ человіческомъ обществів инерцію, въ ущербъ дівтельности и подвижности силъ.

Можетъ быть, вина въ нашемъ національномъ характеръ? Но відь этимъ вопросъ не різшаєтся, а телько отдаляется: отчего же національный характеръ сложился такой, по преимуществу инертный и слабый? Придется только різшеніе, вмісто настолщаго времени, перенести на историческую почву.

ческую почву.

Притомъ же это еще вопросъ спорный: въдь не мало кричатъ у насъ и о ширинъ и размашистости русской натуры. Не произнесемъ своего сужденія о всемъ народъ: мы имъемъ въ виду лишь одинъ ограниченный кругъ его. Но признаться надобно — забавны восторги этой размашистостью, выражающеюся въ томъ, что иные господа парятся въ баняхъ, поддавая на каменку шамианское, другіе бьютъ посуду и зеркала въ трактирахъ, третьи — проводятъ всю жизнь въ псовой охотъ, а въ прежтрактирахъ, третън — проводять всю жизнь въ псовон охотъ, а въ прежнія времена такъ еще обращали эту охоту и на людей, зашивая медко-помъстныхъ лизоблюдовъ въ медвѣжьи шкуры и потомъ травя ихъ собаками... Этакая - то размашистость водится во всякомъ невѣжественномъ обществъ, и вездѣ падаетъ съ развитіемъ образованія. Но гдѣ же наша размашистость въ кругу обыкновенныхъ людей, да и откуда ей взяться? Возьмите у насъ хоть незрълыхъ еще юношей, учащихся наукамъ: чего

они ждуть, какую себь цъль предполагають въ жизни? Въдь всъ мечты большей части ограничены карьерой, вся цаль жизни въ томъ, чтобы получше устроиться. Это несравненно реже встречаете вы у другихъ народовъ Европы. Не говоря о французахъ, которые имъютъ репутацію хвастунимекъ, - возьмите другихъ, хоть, напримеръ, скромнихъ немцевъ. Ръдкій нъмецкій студенть не лельеть въ душъ какон - вибудь любимой идеи, — у нихъ все больше удараются въ теорію, — какой-пибудь громал-ной мечты. Или онъ откроетъ новыя начала философіи и проложить повые пути для мысли; или радикально преобразуеть существующе педагогические методы, и после него человечество будеть воспитываться на новыхъ основаніяхъ; или онъ будеть великичъ композиторомъ, поэт иъ. художникомъ... Наконецъ, если и угомонится онъ, съузятся его стремленія, ръшится онъ быть учителемъ какой - нибудь сельской школы, — и тутъ онъ задаетъ себъ вопросъ и дукаетъ, какъ онъ будетъ учить, какъ пріобрътетъ расположеніе мальчиковъ и уваженіе общины, и т. п. Во всемъ этомъ вы видите что - то двятельное и самостоятельное: "я то то сдълаю, - а что я за это получу, ужъ тамъ само собою следуеть "... Это не тоть складъ размашистыхъ мечтаній, какъ, напр., у городничаго, мечтающаго, что его сделають генераломь за то, что Хлестаковь женится ва его дочери... Мы взяли въ примъръ намца; возьмите кого хотите другого, вездъ вы найдете болье обширный размахъ воображенія, болье иниціативы въ самыхъ мечтахъ и планахъ, нежели у насъ. Англичанинъ. напр., вышедъ изъ школы и переставъ мечтать о томъ, чтобы быть Чата-момъ, Веллингтономъ или Байрономъ, начинаетъ, положимъ, строить планы обогащенія. Это, конечно, и у насъ возбуждаетъ мечты многихъ. Но какая же разница и въ средствахъ, и въ размърахъ! Наши мечтатели о богатствъ большею частью ухватываются за ругинныя средства, берутъ то, что подъ рукою и что плохо лежить, и неръдко останавливаются на достижени всевозможнаго комфорта. Между тъмъ англичанинъ въ своихъ соображеніяхъ — изобрътеть нъсколько машинь, перевдеть нъсколько разъ всъ океаны, оснуеть нъсколько колоній, устроить нъсколько фабрикъ, сдълаетъ нъсколько громадныхъ оборотовъ и затинтъ собою всъхъ Ротшильдовъ... И что всего важнъе, — онъ въдь пойдетъ исполнять свою задачу, и хоть половины не выполнитъ, но кое-чего все-таки достигнетъ... То же надо сказать и о французахъ: мы напрасно такъ ужъ наповалъ и осуждаемъ ихъ, какъ пустозвоновъ. Нътъ, и они исполняютъ по временамъ задачи не маленькія, и во всякомъ случав размахъ у нихъ шире нашего. Мы вонъ возимся надъ какимъ-нибудь энциклопедическимъ словаремъ, надъ какими - нибудь измъненіями въ паспортной или акцизной системъ... А они — "составимъ, говорятъ, энциклопедію" — и составили, — не чета нашей; "издадимъ, говорятъ, совсемъ новый кодексъ" — и издали тотчасъ; "отмънимъ то и другое въ нашей жизни" — и отмънили. Даже въ нынѣшнемъ, опошленномъ и униженномъ французскомъ обществъ, все-таки, въ строъ разговора, въ поведеніи каждаго француза, вы замѣчаете еще довольно широкія замашки. Тамъ вы слышите: при встрѣчъ съ Ламорисьеромъ, я ему скажу, что онъ поступилъ безчестно; въ другомъ мъстъ: у меня почти готова записка императору относительно его итальянской политики; въ третьемъ: нътъ, я напишу Персиньи, что такія мъры не годятся, — и пр., въ такомъ родъ... Вы видите, что человъкъ считаетъ себя чъмъ-то, даетъ себъ трудъ судить и спорить и никакъ не хочетъ безусловно повергаться въ прахъ предъ каждымъ словомъ хоть бы Мопітешта. Правда, что онъ ничего серьезнаго большею частью не дълаетъ, но по крайней мърѣ духомъ не падаетъ и не предается тому робкому, безнадежному чувству безсилія, при которомъ можно "обратить человъка въ грязную ветошку".

А почему у насъ это "обращение въ ветошку" такъ легко и удобно, — объ этомъ проницательный читатель не ждеть, конечно, отъ насъ ръшительныхъ объяспений: для нихъ еще время не пришло. Приведемъ лишь нъсколько самыхъ общихъ чертъ, на которыя находимъ указания даже прямо въ произведенияхъ автора, по поводу котораго намъ представляются всё эти вопросы.

Прежде всего, припоманте, что говорить Макаръ Алексвичь, когда избытокъ тоски вызываеть изъ глубины души его несколько сивлыхъ сужденій. "Зпаю, что это грешно... Это вольнодуиство... Грехъ мив въ душу лезеть"... Вы видиге, что самая мысль его связана суевернымъ ужасомъ греха и преступленія. И кто же изъ насъ не знаетъ происхожденія этого сусвернаго страха? Какой отецъ, отпуская детей своихъ въ школу, училъ ихъ надеяться только на себя и на свои способности и труды, ставить выше всего науку, искать только истиннаго знанія и въ немъ только видеть свою опору, и т. п. Напротивъ, не говорили-ли всякому изъ насъ: "старайся заслужить вниманіе начальства, будь смирневе, исполняй безпрекословно, что тебе прикажуть, не уминчай. Ежели захочешь уминчать, такъ и изъ праваго выйдешь неправымъ: начальство не полюбитъ, — что тогда выйдеть изъ тебя? Пропадешь"... Въ такихъ началахъ, въ такихъ внушеніяхъ мы выросли. Насъ съ детства наши кровные родные старались пріучить къ мысли о нашемъ ничтожестве, о нашей полной зависимости отъ взгляда учителя, гувернера, и вообще всякаго высшаго по положенію лица. Припомните, какъ часто случалось вамъ слышать отъ домашнихъ: "молодецъ, тебя учитель хвалитъ", или наоборотъ: "скверный мальчишка, — начальство тобою недовольно", — и при этомъ не принималось ни-

какихъ объясненій и оправданій. А часто-ди случалось вамъ слишать, чтобы васъ похвалили за какой-инбудь самостоятельний поступокъ, чтобъ сказали даже просто: "молодець, ты воть это дѣло очень хорошо изучилъ и можешь его дальше повести", или что вибудь въ этомъ родь?

Такимъ образомъ, направленные съ дѣтства, какъ мы вступаемъ въ дѣйствительную жизнь? Не говорю о богачахъ и баричахъ: до тѣхъ намъ дѣла нѣтъ; мы говоримъ о бѣдномъ людѣ средняго класса. Нѣкоторые и по окончаніи ученическаго періода не выходять изъ - подъ крыла родительскаго; за нихъ просятъ, кланиются, подличаютъ, велятъ и имъ кланиются, и подличаютъ, велятъ и имъ кланиство и подличать, выхлонатъдваютъ мѣстечко, перѣдко теплое... Подобные птенцы имѣютъ шансы дойти до степеней извъстныхъ. Но огромное большинство бѣдняковъ, не пуѣющихъ ни кола, ни двора, не знающихъ, ку за приклонить голову, — что дѣлаетъ это большинство? По необходимости тоже подличаетъ и кланяется, и выкланиваетъ себѣ на первый разъ возможность жить безбѣдно гдѣ-пябудь въ углу на чердакѣ, тратя по двугривенному въ день на свое пропитаніе, — да и это еще по чьей-нябудь милости, потому что, собственно говора, нужды въ людяхъ нигдѣ у насъ не чувствуется, да и сами эти люди не чувствуютъ, чтобъ они были на что нябудь ну дны... Залѣтьте, что вѣдь у насъ, если человъкъ маломальски чему поучился, то ему нѣтъ другого выхода, кромѣ какъ въ чиновники. Въ послѣднее врсия всякій, обученый до степени кое-какого знания хотя одного иностраннаго языка, норовитъ сыскать себѣ средства ники. Въ послѣднее врсия всякій, обученный до степени кое-какого зна-нія хотя одного вностраннаго языка, норовить сыскать себѣ средства жизни посредствомъ литературы; но литература наша тоже наводнена вся-каго рода претепдентами и не можеть достаточно питать ихъ. Поневолѣ опять обращается цѣлая масса людей ежегодно къ чиновнической дѣятель-ности, и поневолѣ терпитъ все, сознавая свою ненужность и коренную без-полезность. Болѣзненное чувство господина Прохарчина, что воть онъ се-годня нуженъ, завтра нуженъ, а послѣ завтра можетъ и ненужнымъ сдѣ-латься, какъ и вся его канцелярія, — одно это чувство объясняетъ намъ достаточную долю той покорности и кротости, съ которою онъ переноситъ всѣ обиды и всѣ тяготы жизни.

да и какъ же быть иначе? Гдв взять силъ и решимости для противодействія? Будь еще дёло между личностами, одинъ на одинъ, — тогда бы, можеть быть, раздраженное человеческое чувство выказалось сильнее и решительнее; а вёдь туть и личностей-то неть никакихъ, кроме неповинныхъ, потому что не свою волю творятъ. Мы видёли даже, что начальникъ Макара Алексейча, напримеръ, — благодетельное лицо Юліанъ Мастаковичъ, — очень милый человькъ... Кто же теснитъ и давитъ Макара Алексейча? Обстоятельства! А что делать противъ обстоятельствъ, когда они сложились такъ прочно и неизменно, такъ неразлучны съ на-

шимъ порядкомъ, съ нашей ципилизаціей? Ихъ громадность въ состояніи подавить и не одного Макара Алевсвича, который сознается: "случается мнв рано утромъ, на службу спвта, заглядвться на городъ, какъ опътамъ пробуждается, встаетъ, дымится, кипитъ, гремитъ, — тутъ иногда предъ такимъ зрелищемъ такъ умалишься, что какъ будто бы щелчекъ какой получилъ отъ кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетенься, тише воды, ниже травы, своею дорогою, и рукой махнешь"!.. Подобное же впечатленіе производятъ чудеса современной цивилизаціи, нагроможденныя въ Петербургъ, на Аркадія, друга Васи Пічмкова. Но ужъ мы не станемъ его здёсь выписывать...

Да, человъкъ поглощается и уничтожается общимъ впечатлъніемъ того громаднаго механизма, котораго онъ не состояніи даже обнять своимъ разсудкомъ. Подобно древнему язычнику, падавшему ницъ предъ невътого громаднаго механизма, котораго онъ не состоянів даже обнять своимъ разсудкомъ. Подобно древнему язычнику, падавшему ницъ предъ невъдомыми, грандіозными явленіями природы, падаеть нынѣшній смертньй предъ чудесами высшей цивилизаціи, которая хоть и тяжко отзывается на немъ самомъ, но поражаеть его своими гигантскими размѣрами. Туть уже нѣтъ рѣчи о борьбѣ, тутъ и для характеровъ болѣе сильныхъ возможно только безилодное раздраженіе, желчные жалобы и отчанніе. Возьмете хоть онять послѣдній романъ г. Достоевскаго. Вотъ, напримѣръ, сильный, горячій характеръ маленькой Нелли; но, посмотрите, какъ она поставлена, и можетъ-ли ей въ этой обстановкѣ придти хоть малѣйшая мысль о борьбѣ—постоянной и правильной? Ея мать умерла, задолжавъ Бубнова береть ее къ себъ и вступаетъ, разумѣется, налъ нею во всѣ права воспитательницы и госпожи. Ез быотъ, мучатъ и тиранятъ всячески, что же съ этимъ дѣлать? Бубнова—ея благодѣтельница, и не будь она, такъ другая на ея мѣстѣ могла бы дѣлать то же самое... Нелли даже злобно рада своимъ побоямъ: она считаетъ ихъ уплатою за кусокъ хлѣба и за отрепье, какое даетъ ей Бубнова. Но ей тяжко другое: она видитъ, къ чему ее готовитъ Бубнова, ей и обидно, и страшно, и горько... Но опять—что же она сдѣлаетъ? Вѣдь не зарѣзать же Бубнову! А убтжать отъ неи—куда убѣжишь, чтобы не нашли? И вотъ она продана, и избавляется случайнымъ образомъ, когда уже надъ нею готово совершиться мерзкое преступленіе... Затъмъ—она знаетъ, что она дочь, законная дочь князя. Но что же изъ этого? Нужны документы, у ней ихъ вѣтъ; нужно бить юристомъ, чтобы затѣять дѣло, да и то у князя есть деньги и связи, подъйствительнъе всѣхъ юристовъ... Бѣдная Нелли хоть и попадаетъ подъйствительнъе всѣхъ юристовъ... Бѣдная Нелли хоть и попадаетъ подъйствительнъе всѣхъ юристовъ... Бѣдная Нелли хоть и попадаетъ подъйствительнъе всъхъ людей, изъ милостт.... что она живетъ у чужихъ людей, изъ милости...

Ну, да это, положимъ, ребенокъ. Возьмемъ изъ того же романа друдовродювовъ. т. пр. гое лицо - Ихменева. Это характеръ крвикій, но крвикій не на борьбу. а на упорство въ раздраженія. Свой гиввъ, свою горечь онъ изливаетъ то на безотвътную жену, то на дочь, которую страстно любить, но тъмъ не мен'ве проклинаетъ и всколько разъ. Отчего онъ всю силу свою не употребить прямо куда следуеть, - противъ своего обидчика - киязяв. Да онъ бы и желаль этого болье всего на свыть; но въ двлахъ съ княземъ надо соблюдать установленным церемонім и условія. Затвинь процессь — ну, и идеть онъ неспынно, годами, по законному порядку. Порядовъ этотъ оказывается въ пользу князи, — сколько ни апеллируй — все въ его пользу... Приходится платить, продавать съ аувціона Ихменевку... Въдь знаеть и чувствуеть старикъ, что это несправедливо, оскорбительно, безсовъство: но какъ же это передълаещь? И вы чемъ тугь сила? Даже и не въкнязъ: убей Ихменевъ князя, а деревию его все-таки продадутъ... Да и убить-то князя нельзя; онъ такъ хорошо ограждень! Ихиеневъ вознивлъ-било это намъреніе, узнавъ, что князь сказалъ одному чиновнику, что "вслъдствіе въкоторыхъ семейныхъ обстоятельствъ", хочеть возвратить старику штраф. ныя съ него 10 тысячъ. Это значило назначать плату за безчестье его дочери. Старикъ расходился и ръшилъ вызвать князя на дуэль. Вотъ разсказъ Ивана Петровича объ успъхахъ его попытки.

«Отъ меня онъ кинутся прямо къ киязю, не засталь его дома и оставилъ ему записку: въ запискъ онъ писалъ, что знаетъ о словамъ его, сказанныхъ чиновнику. что считаетъ ихъ себъ смертельнымъ оскорблениемъ, а князя низкимъ человъкомъ и вслъдствіе всего этого вызываетъ его на дуэль, предупреждая при этомъ, чтобъ князь не смълъ уклоняться отъ вызова, иначе будетъ обезчещенъ публично.

Анна Андреевна разсказывала мит, что онъ воротился ломой въ такомъ в лени и разстройствъ, что даже слегъ. Съ ней быль очень нѣженъ, но на разсир см ея отвъчаль мало и видно было, что онъ чего-то ждаль съ лихорадочнымъ нетеривнемъ. На другое утро пришло по городской почтъ письмо; прочтя его, онъ векрикнуль и схватиль себя за голову. Анна Андреевна обмерла отъ страха. Но онъ тогчасъ же схватиль шляпу, палку и выбѣжаль вонъ.

«Письмо было отъ князя. Сухо, коротко и вѣжливо онъ извѣшалъ Ихменева, что въ словахъ своихъ, сказанныхъ чиновнику, онъ никому не обязанъ никакимъ отчетомъ, что хотя онъ очень сожалѣетъ Ихменева за проигранный процессъ, но, при всемъ своемъ сожалѣніи, никакъ не можетъ найти справелливымъ, чтобъ проигравшій въ тяжбѣ имѣлъ право, изъ мщенія, вызывать своего соперника на дуэль; что же касается до «публичнаго безчестія», которымъ ему грозили, то князь просилъ Ихменева не безпокоиться объ этомъ, потому что никакого публичнаго безчестія не будетъ да и быть не можетъ; что письмо его немедленно будетъ представлено куда слѣдуетъ и что предупрежденная полиція навѣрно въ состояніи принять надзежащім мѣры къ обезпеченію порядка и спокойствія.

«Ихменевъ, съ письмомъ въ рукт, тотчасъ же бросился къ князю. Князя опять не было дома: но старикъ успъть узнать отъ лакея, что князь теперь върно у графа N. Долго не думая, онъ побъжалъ къ графу. Трафскій швейцаръ остановиль его, когда онъ уже подымался на лъствицу. Взбышенный до послъдней степени, старикъ удариль его палкой. Тотчасъ же его схватили, вытащили на крыльно и передали полицейскимъ, которые препроволили его въ часть. Доложили графу. Когда случивщийся тутъ князь объясниль честолюбивому старичку, что это тотъ самый Ихменевъ,

отець той самой Натальи Николаевны (а князь не разъ прислуживаль графу по этимъ дъламъ), то вельможный старичокъ только засмънлея и перемъниль гнъвъ на милость; сдълано было распоряжение отпустить Ихменева на всъ четыре стороны; но выпустили его только на третій день, при чемъ (павърно по распоряжению внязя) объявили старику, что самъ князь упросиль графа его помиловать.

«Старикъ воротился домой, какъ безумный, бросился на постель и цёлый часъ лежалъ безъ движенія; наконецъ приподнялся, и, къ ужасу Анны Андреевны, объявилъ торжественно, что на опки проклинаетъ дочь и лишаетъ ее своего родитель-

скаго благословенія.

«Анна Андреевна пришла въ ужасъ, но надо было помогать старику, и она, сама чуть не безъ памяти, весь этотъ день и почти всю ночь ухаживала за нимъ, примачивала ему голову уксусомъ, обкладывала льдомъ. Съ нимъ быль жаръ и бредъ».

Вотъ вамъ и все. Не въ князѣ тутъ сила, а въ гомъ, что каковъ бы онъ ни былъ, онъ всегда огражденъ отъ всякой попытки Ихиеневыхъ и т. п.—своимъ экипажемъ, швейцаромъ, связями, наконецъ даже полицейскимъ порядкомъ, необходимымъ для охранения общественнаго спокойствия.

Такъ, стало быть, положение этихъ несчастимхъ, забитыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ людей совсёмъ безвыходно? Только имъ и остается, что молчать и теривть, да, обратившись въ грязную ветошку, хранить въ самыхъ дальнихъ складкахъ ея свои безотвътныя чувства?

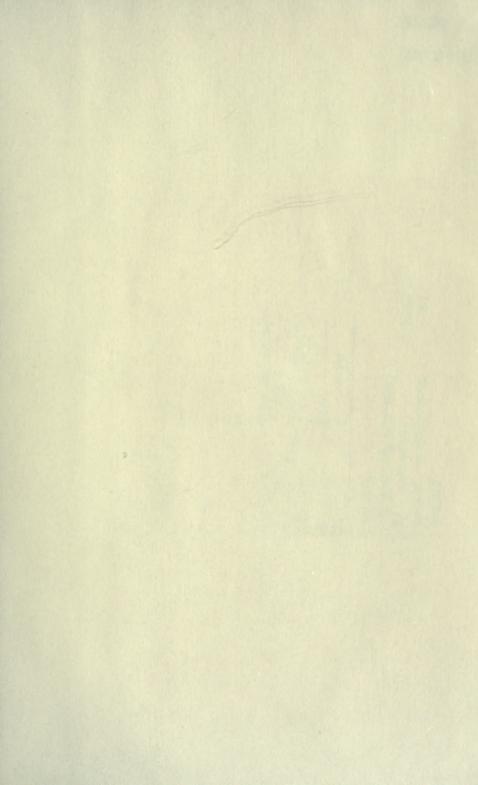
Не знаю, можеть быть и есть выходъ; но, во всякомъ случав, вы были бы наивны, читатель, если бы ожидали отъ меня подробныхъ разъяснений по этому предмету. Пробовалъ якогда-то начинать подобным объясненія, но никогда не доходили они, какъ следуетъ, до своего назначенія. Теперь ужъ и писать не стану. Да и вообще - неужели вы, читатели, до сихъ поръ не зам'втили, что мы съ нашею литературою все повторяемъ только зады? Произвела жизнь наша, много леть тому назадъ, изв'естный разрядъ личностей; лътъ двадцать тому назадъ художники ихъ принфтили и описали; теперь критик в опять пришлось обратиться къ разбору произведеній одного изъ этихъ художниковъ; вотъ она сгруппировала, съ картинъ художника, нъсколько личностей, кое-что обобщила, сдълала кое-какіе выводы и замъчанія... И вотъ все, что покамъстъ ны можемъ. Мы нашли, что забитыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ личностей у насъ много въ среднемъ классъ, что имъ тяжко и въ нравственномъ и въ физическомъ смыслъ, что, несмотря на наружное примяреніе съ своимъ положеніемъ, они чувствують его горечь, готовы на раздражение и протесть, жаждуть выхода... Но тутъ и кончается предълъ нашихъ наблюденій. Гав этотъ выходъ, когда и какъ — это должна показать сама жизнь. Мы только стараемся идти за нею и представлять для людей, которые не любять или не умъють следить сами за ея явленіями, то или другое изъ общихъ положеній действительности. Берите же, пожалуй, фактъ, намекъ или указаніе, сообщенное въ печати, какъ матеріалъ для вашихъ соображеній; но главное, следите за непрерывнымъ, стройнымъ, могучимъ, ничемъ несдержимымъ

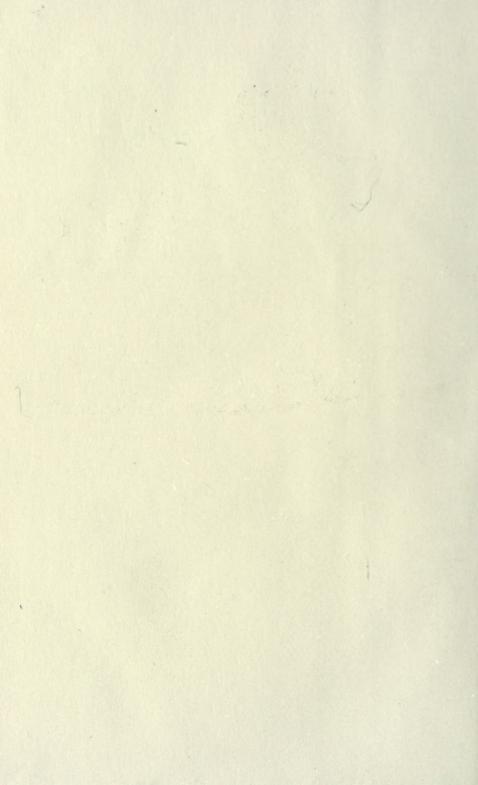
теченіемъ жизни, и будьте живы, а не мертвы. Со времени появленія Макара Алексвича съ братією, жизнь уже сдвлала многое, только это многое еще не формулировано. Мы замвтили, между прочимъ, общее стремленіе къ возстановленію человвческаго достоинства и полноправности во всвхъ и каждомъ. Можетъ быть, здвсь уже и открывается выходъ изъ горькаго положенія загнанныхъ и забитыхъ, конечно, пе ихъ собственными усиліями, но при помощи характеровъ, менве подвергшихся тяжести подобнаго положенія, убивающаго и гнетущаго. И вотъ этимъ-то людямъ, имвющимъ въ себв достаточную долю иниціативы, полезно вникнуть въ положеніе двла, полезно знать, что большая часть этихъ забитыхъ, которыхъ они считали, можетъ быть, пропавшими и умершими нравственно, — всетаки крвпко и глубоко. хотя и затаенно даже для себя самихъ, хранитъ въ себв живую душу и ввчное, неисторжимое никакими муками сознаніе своего человвческаго права на жизнь и счастье.

конецъ третьяго тома.









	13 to 10		LR D6346P
	10 28 mg	DATE	Dobroly (Hag. 0.
	5 Busi	N.	Д62764 Dobrolyubov, Nikolai Сочиненія (Изд.О.Н.Поповой). [Translit.: Sochinen

